This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

UC-NRLF
B 3 961 960

Main Lib. Slavic Dept.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1898 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1898.

БИБЛІОТЕКА

8 36 и
1895
v.3-4

MAIN LIBRARY

Типографія А. Ф. Маркса, Ср. Подьяч., № 1.

PG3420
A1
1898
v. 3-11
MAIN

ДЫМЪ.

РОМАНЪ ВЪ XXVIII ГЛАВАХЪ.

(НАПИСАНО ВЪ 1867 ГОДУ.)

469842

CALIFORNIA

I.

10-го августа 1862 года, въ четыре часа пополудни, въ Баденъ-Баденѣ, передъ извѣстною „Conversation“ толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; все кругомъ—зеленыя деревья, свѣтлые дома уютнаго города, волнистыя горы—все празднично, полною чашей раскинулось подъ лучами благосклоннаго солнца; все улыбалось какъ-то слѣпо, довѣрчиво и мило, и та же неопредѣленная, но хорошая улыбка бродила на человѣчьихъ лицахъ, старыхъ и молодыхъ, безобразныхъ и красивыхъ. Самыя даже насурмленныя, набѣленныя фигуры парижскихъ лоретокъ не нарушали общаго впечатлѣнія яснаго довольства и ликованія, а пестрыя ленты, перья, золотыя и стальныя искры на шляпкахъ и вуаляхъ невольно напоминали взору оживленный блескъ и легкую игру весеннихъ цвѣтовъ и радужныхъ крылъ: одна лишь повсюду разсыпавшаяся, сухая, гортанная трескотня французскаго жаргона не могла ни замѣнить птичьяго щебетанья, ни сравниться съ нимъ.

А впрочемъ, все шло своимъ порядкомъ. Оркестръ въ павильонѣ игралъ то попурри изъ „Травіаты“, то вальсъ Штрауса, то *Скажите ей*, россійскій романсъ, положенный на инструменты услужливымъ капельмейстеромъ; въ игорныхъ залахъ, *вокругъ* зеленыхъ столовъ, тѣснились *тѣ же всѣмъ знакомыя* фигуры, съ тѣмъ же тупымъ и

жаднымъ, не то изумленнымъ, не то озлобленнымъ, въ сущности хищнымъ выраженіемъ, которое придаетъ каждымъ, даже самымъ аристократическимъ чертамъ картежная лихорадка; тотъ же тучноватый и чрезвычайно щегольски одѣтый помѣщикъ изъ Тамбова, съ тою же непостижимою, судорожною поспѣшностью, выпуча глаза, ложась грудью на столъ и не обращая вниманія на холодныя усмѣшки самихъ „крупіэ“, въ самое мгновенье возгласа: „rien ne va plus!“ разсыпалъ вспотѣвшею рукою по всѣмъ четвероугольникамъ рулетки золотые кружки луидоровъ, и тѣмъ самымъ лишалъ себя всякой возможности что-нибудь выиграть, даже въ случаѣ удачи; что̀ нисколько не мѣшало ему, въ тотъ же вечеръ, съ сочувственнымъ негодованіемъ поддакивать князю Кокò, одному изъ извѣстныхъ предводителей дворянской оппозиціи, тому князю Кокò, который въ Парижѣ, въ салонѣ принцессы Матильды, въ присутствіи императора, такъ хорошо сказалъ: „Madame, le principe de la propriété est profondement ébranlé en Russie“. Къ русскому дереву—à l'Arbre russe—обычнымъ порядкомъ собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, привѣтствовали другъ друга величественно, изящно развязно, какъ оно и слѣдуетъ существамъ, находящимся на самой высшей вершинѣ современнаго образованія, но, сойдясь и усѣвшись, рѣшительно не знали, что сказать другъ другу, и пробавлялись либо дрянненькимъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, либо затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давнымъ-давно выдохшагося французскаго эксъ-литератора, въ жидовскихъ башмаченкахъ на мизерныхъ ножкахъ и съ презрѣнною бородкой на паскудной мордочкѣ, шута и болтуна. Онъ имъ вралъ, à ces princes russes, всякую прѣсную дребедень изъ старыхъ альманаховъ *Шаривари* и *Тентамарра*, а они, ces princes russes, заливались благодарнымъ смѣхомъ, какъ бы невольно сознавая и подавляющее превосходство чужестраннаго умника, и собственную окончательную неспособность *придумать что-нибудь* забавное. А между тѣмъ тутъ была

почти вся „fine fleur“ нашего общества, „вся знать и моды образцы“. Тутъ былъ графъ Х., нашъ несравненный дилетантъ, глубокая музыкальная натура, который такъ божественно „сказываетъ“ романсы, а въ сущности двухъ нотъ разобрать не можетъ, не тыкая вкось и вкривь указательнымъ пальцемъ по клавишамъ, и поетъ не то какъ плохой цыганъ, не то какъ парижскій коаферъ; тутъ былъ и нашъ восхитительный баронъ Z., этотъ мастеръ на всѣ руки: и литераторъ, и администраторъ, и ораторъ, и шулеръ; тутъ былъ и князь У., другъ религіи и народа, составившій себѣ во время оно, въ блаженную эпоху откупа, громадное состояніе продажей сивухи, подмѣшанной дурманомъ; и блестящій генералъ О. О., который что-то покорилъ, кого-то усмирилъ, и вотъ, однако, не знаетъ куда дѣться и чѣмъ себя зарекомендовать; и Р. Р., забавный толстякъ, который считаетъ себя очень больнымъ и очень умнымъ человѣкомъ, а здоровъ какъ быкъ и глупъ какъ пень... Тотъ же Р. Р. почти одинъ въ наше время еще сохранилъ преданія львовъ сороковыхъ годовъ, эпохи *Героя нашего времени* и графини Воротынской. Онъ сохранилъ и походку въ раскачку на каблукахъ, и „le culte de la pose“ (по-русски этого даже и сказать нельзя), и неестественную медлительность движеній, и сонную величественность выраженія на неподвижномъ, словно обиженномъ лицѣ, и привычку, зѣвая, перебивать чужую рѣчь, тщательно разсматривать собственные пальцы и ногти, смѣяться въ носъ, внезапно передвигать шляпу съ затылка на брови и т. д., и т. д. Тутъ были даже государственные люди, дипломаты, тузы съ европейскими именами, мужи совѣта и разума, воображающіе, что золотая булла издана папой, и что англійскій „poor-tax“ есть налогъ на бѣдныхъ; тутъ были, наконецъ, и рьяные, но застѣнчивые поклонники камелій, свѣтскіе молодые львы съ превосходнѣйшими проборами на затылкахъ, съ прекрасными висячими бакенбардами, одѣтые въ настоящіе лондонскіе костюмы, молодые львы, которымъ, казалось, ничего не мѣшало быть такими же пошляками, какъ и пресловутый *французскій* говорунъ; но нѣтъ! не въ ходу,

знать, у насъ родное,—и графиня Ш., извѣстная законодательница модъ и гранъ-жанра, прозванная злыми языками „Царицей Осъ“ и „Медузою въ чепцѣ“, предпочитала, въ отсутствіи говоруна, обращаться къ тутъ же вертѣвшимся итальянцамъ, молдаванцамъ, американскимъ „спиритамъ“, бойкимъ секретарямъ иностранныхъ посольствъ, нѣмчикамъ съ женоподобною, но уже осторожною физіономіей и т. п. Подражая примѣру графини, и княгиня Babette, та самая, у которой на рукахъ умеръ Шопенъ (въ Европѣ считаютъ около тысячи дамъ, на рукахъ которыхъ онъ испустилъ духъ), и княгиня Annette, которая всѣмъ бы взяла, если бы по временамъ, внезапно, какъ запахъ капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала въ ней простая деревенская прачка; и княгиня Pachette, съ которою случилось такое несчастіе: мужъ ея попалъ на видное мѣсто и вдругъ, Dieu sait pourquoi, прибилъ градского голову и укралъ 20,000 р. с. казенныхъ денегъ; и смѣшливая княжна Зизи, и слезливая княжна Зозо; всѣ онѣ оставляли въ сторонѣ своихъ земляковъ, немилостиво обходились съ ними... Оставимъ же и мы ихъ въ сторонѣ, этихъ прелестныхъ дамъ, и отойдемъ отъ знаменитаго дерева, около котораго онѣ сидятъ въ такихъ дорогихъ, но нѣсколько безвкусныхъ туалетахъ, и пошли имъ Господь облегченія отъ грызущей ихъ скуки!

II.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ „русскаго“ дерева, за маленькимъ столомъ передъ кофейной Вебера, сидѣлъ красивый мужчина лѣтъ подъ тридцать, средняго роста, сухощавый и смуглый, съ мужественнымъ и пріятнымъ лицомъ. Нагнувшись впередъ и опираясь обѣими руками на палку, онъ сидѣлъ спокойно и просто, какъ человѣкъ, которому и въ голову не можетъ придти, чтобы кто-нибудь его замѣтилъ или занялся имъ. Его каріе, съ желтизной, большіе выразительные глаза медленно посматривали кругомъ, то слегка прищуриваясь отъ солнца, то вдругъ упорно провожая какую-нибудь мимо проходившую, *эксцентрическую* фигуру, причемъ быстрая, почти

дѣтская усмѣшка чуть-чуть трогала его тонкіе усы, губы и выдающійся крутой подбородокъ. Одѣтъ онъ былъ въ просторное пальто нѣмецкаго покроя, и сѣрая мягкая шляпа закрывала до половины его высокій лобъ. На первый взглядъ онъ производилъ впечатлѣніе честнаго и дѣльнаго, нѣсколько самоувѣреннаго малаго, какихъ довольно много бываетъ на бѣломъ свѣтѣ. Онъ, казалось, отдыхалъ отъ продолжительныхъ трудовъ, и тѣмъ простодушнѣе забавлялся разстилавшеюся передъ нимъ картиной, что мысли его были далеко, да и вращались онѣ, эти мысли, въ мірѣ, вовсе не похожемъ на то, что̀ его окружало въ этотъ мигъ. Онъ былъ русскій; звали его Григоріемъ Михайловичемъ Литвиновымъ.

Намъ нужно съ нимъ познакомиться, и потому приходится разсказать въ короткихъ словахъ его прошедшее, весьма незатѣйливое и несложное.

Сынъ отставного служаки-чиновника изъ купеческаго рода, онъ воспитывался не въ городѣ, какъ слѣдовало ожидать, а въ деревнѣ. Мать его была дворянка, изъ институтокъ, очень доброе и очень восторженное существо, не безъ характера однако. Будучи двадцатью годами моложе своего мужа, она его перевоспитала, насколько могла, перетащила его изъ чиновничьей колеи въ помѣщичью, укротила и смягчила его дюжій, терпкій нравъ. По ея милости онъ сталъ и одѣваться опрятно, и держаться прилично, и браниться бросилъ; сталъ уважать ученыхъ и ученость, хотя, конечно, ни одной книги въ руки не бралъ, — и всячески старался не уронить себя: даже ходить сталъ тише и говорилъ разслабленнымъ голосомъ, все больше о предметахъ возвышенныхъ, что̀ ему сто̀ило трудовъ немалыхъ. „Эхъ! взялъ бы, да выпоролъ!“ думалъ онъ иногда про себя, а вслухъ произносилъ: „да, да, это... конечно; это вопросъ“. Домъ свой мать Литвинова также поставила на европейскую ногу; слугамъ говорила: „вы“, и никому не позволяла за обѣдомъ наѣдаться до сопѣнія. Что̀ же касается до имѣнія ей принадлежавшаго, то ни она сама, ни мужъ ея ничего съ нимъ сдѣлать *не сумѣли*: оно было давно запущено,

но многоземельно, съ разными угодьями, лѣсами и озеромъ, на которомъ когда-то стояла большая фабрика, заведенная ревностнымъ, но безалабернымъ бариномъ, процвѣтавшая въ рукахъ плута купца и окончательно погибшая подъ управленіемъ честнаго антрепренера изъ нѣмцевъ. Госпожа Литвинова уже тѣмъ была довольна, что не разстроила своего состоянія и не надѣлала долговъ. Къ несчастью, здоровьемъ она похвалиться не могла и скончалась отъ чахотки въ самый годъ поступленія ея сына въ московскій университетъ. Онъ не кончилъ курса, по обстоятельствамъ (читатель узнаетъ о нихъ впослѣдствіи), и угодилъ въ провинцію, гдѣ потолокся нѣсколько времени безъ дѣла, безъ связей, почти безъ знакомыхъ. По милости нерасположенныхъ къ нему дворянъ его уѣзда, проникнутыхъ не столько западною теоріей о вредѣ „абсентэизма“, сколько доморощеннымъ убѣжденіемъ, что „своя рубашка къ тѣлу ближе“, онъ въ 1855 году попалъ въ ополченіе и чуть не умеръ отъ тифа въ Крыму, гдѣ, не видавъ ни одного „союзника“, простоялъ шесть мѣсяцевъ въ землянкѣ на берегу Гнилого моря; потомъ послужилъ по выборамъ, конечно, не безъ непріятностей, и, поживъ въ деревнѣ, пристрастился къ хозяйству. Онъ понималъ, что имѣніе его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлѣвшимъ отцомъ, не давало и десятой доли тѣхъ доходовъ, которые могло бы давать, и что въ опытныхъ и знающихъ рукахъ оно превратилось бы въ золотое дно; но онъ также понималъ, что именно опыта и знанія ему недоставало—и онъ отправился за границу учиться агрономіи и технологіи, учиться съ азбуки. Четыре года слишкомъ провелъ онъ въ Мекленбургѣ, въ Силезіи, въ Карлсруэ, ѣздилъ въ Бельгію, въ Англію, трудился добросовѣстно, пріобрѣлъ познанія: не легко они ему давались; но онъ выдержалъ искусъ до конца, и вотъ теперь, увѣренный въ самомъ себѣ, въ своей будущности, въ пользѣ, которую онъ принесетъ своимъ землякамъ, пожалуй даже всему краю, онъ собирается возвратиться на родину, куда съ отчаянными заклинаніями и мольбами *въ каждомъ* письмѣ звалъ его отецъ, совершенно сбитый

съ толку эманципаціей, разверстаніемъ угодій, выкупными сдѣлками, новыми порядками, однимъ словомъ... Но зачѣмъ же онъ въ Баденѣ?

А затѣмъ онъ въ Баденѣ, что онъ со дня на день ожидаетъ пріѣзда туда своей троюродной сестры и невѣсты—Татьяны Петровны Шестовой. Онъ зналъ ее чуть не съ дѣтства и провелъ съ ней весну и лѣто въ Дрезденѣ, гдѣ она поселилась съ своей теткой. Онъ искренно любилъ, онъ глубоко уважалъ свою молодую родственницу, и окончивъ свою темную, приготовительную работу, собираясь вступить на новое поприще, начать дѣйствительную, не коронную службу, предложилъ ей, какъ любимой женщинѣ, какъ товарищу и другу, соединить свою жизнь съ его жизнью—на радость и на горе, на трудъ и на отдыхъ, „for better for worse", какъ говорятъ англичане. Она согласилась, и онъ отправился въ Карлсруэ, гдѣ у него оставались книги, вещи, бумаги... Но почему же онъ въ Баденѣ, спросите вы опять?

А потому онъ въ Баденѣ, что тетка Татьяны, ее воспитавшая, Капитолина Марковна Шестова, старая дѣвица 55 лѣтъ, добродушнѣйшая и честнѣйшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнемъ самопожертвованія и самоотверженія, esprit fort (она Штрауса читала,—правда, тихонько отъ племянницы) и демократка, заклятая противница большого свѣта и аристократіи, не могла устоять противъ соблазна хотя разочекъ взглянуть на самый этотъ большой свѣтъ въ такомъ модномъ мѣстѣ, каковъ Баденъ... Капитолина Марковна ходила безъ кринолина и стригла въ кружокъ свои бѣлые волосы, но роскошь и блескъ тайно волновали ее, и весело и сладко было ей бранить и презирать ихъ... Какъ же было не потѣшить добрую старушку?

Но оттого-то Литвиновъ такъ спокоенъ и простъ, оттого онъ такъ самоувѣренно глядитъ кругомъ, что жизнь его отчетливо ясно лежитъ предъ нимъ, что судьба его опредѣлилась, и что онъ гордится этою судьбой, и радуется ей, какъ дѣлу рукъ своихъ.

III.

— Ба! *ба! ба! вотъ* онъ гдѣ! раздался вдругъ надъ

самымъ его ухомъ пискливый голосъ, и отекшая рука потрепала его по плечу.

Онъ поднялъ голову—и узрѣлъ одного изъ своихъ немногочисленныхъ московскихъ знакомыхъ, нѣкоего Бамбаева, человѣка хорошаго, изъ числа пустѣйшихъ, уже немолодого, съ мягкими, словно разваренными щеками и носомъ, взъерошенными жирными волосами и дряблымъ тучнымъ тѣломъ. Вѣчно безъ гроша и вѣчно отъ чего-нибудь въ восторгѣ, Ростиславъ Бамбаевъ шлялся съ крикомъ, но безъ цѣли, по лицу нашей многосносной матушки земли.

— Вотъ что̀ называется встрѣча!—повторилъ онъ, расширяя заплывшіе глазки и выдвигая пухлыя губки, надъ которыми странно и неумѣстно торчали крашеные усы.— Ай да Баденъ! Всѣ сюда какъ тараканы лѣзутъ. Какъ ты сюда попалъ?

Бамбаевъ „тыкалъ“ рѣшительно всѣхъ на свѣтѣ.

— Я четвертаго дня сюда пріѣхалъ.

— Откуда?

— Да на что̀ тебѣ знать?

— Какъ на что̀! Да постой, постой, тебѣ, можетъ-быть, не извѣстно, кто еще сюда пріѣхалъ! Губаревъ! Самъ, своей особой! Вотъ кто здѣсь! Вчера изъ Гейдельберга прикатилъ. Ты, конечно, съ нимъ знакомъ?

— Я слышалъ о немъ.

— Только-то? Помилуй! Сейчасъ, сію минуту мы тебя къ нему потащимъ. Этакого человѣка не знать! Да вотъ кстати и Ворошиловъ... Постой, ты, пожалуй, и съ нимъ не знакомъ? Честь имѣю васъ другъ другу представить. Оба ученые! Это даже фениксъ! Поцѣлуйтесь!

И сказавъ эти слова, Бамбаевъ обратился къ стоявшему возлѣ него красивому молодому человѣку съ свѣжимъ и розовымъ, но уже серьезнымъ лицомъ. Литвиновъ приподнялся и, разумѣется, не поцѣловался, а обмѣнялся коротенькимъ поклономъ съ „фениксомъ“, которому, судя по строгости осанки, не слишкомъ понравилось это неожиданное представленіе.

— Я сказалъ: фениксъ, и не отступаю отъ своего *слова, продолжалъ* Бамбаевъ: — ступай въ Петербургъ,

въ — ій корпусъ, и посмотри на золотую доску: чье тамъ имя стоитъ первымъ? Ворошилова, Семена Яковлевича! Но Губаревъ, Губаревъ, братцы мои!! Вотъ къ кому бѣжать, бѣжать надо! Я рѣшительно благоговѣю передъ этимъ человѣкомъ! Да не я одинъ, всѣ сподрядъ благоговѣютъ. Какое онъ теперь сочиненіе пишетъ, о... о... о!..

— О чемъ это сочиненіе? спросилъ Литвиновъ.

— Обо всемъ, братецъ ты мой, въ родѣ, знаешь, Бёкля... только поглубже, поглубже... Все тамъ будетъ разрѣшено и приведено въ ясность.

— А ты самъ читалъ это сочиненіе?

— Нѣтъ, не читалъ, и это даже тайна, которую не слѣдуетъ разглашать; но отъ Губарева всего можно ожидать, всего! Да!—Бамбаевъ вздохнулъ и сложилъ руки.— Что если бъ еще такія двѣ, три головы завелись у насъ на Руси, ну что бы это было, Господи Боже мой! Скажу тебѣ одно, Григорій Михайловичъ: чѣмъ бы ты ни занимался въ это послѣднее время, — а я и не знаю, чѣмъ ты вообще занимаешься, — какія бы ни были твои убѣжденія,—я ихъ тоже не знаю,—но у него, у Губарева, ты найдешь, чему поучиться. Къ несчастію, онъ здѣсь не надолго. Надо воспользоваться, надо идти. Къ нему, къ нему!

Проходившій франтикъ съ рыжими кудряшками и голубою лентою на низкой шляпѣ обернулся и съ язвительною усмѣшкой посмотрѣлъ сквозь стеклышко на Бамбаева. Литвинову досадно стало.

— Что ты кричишь? промолвилъ онъ:—словно гончую на слѣдъ накликаешь! Я еще не обѣдалъ.

— Что-жъ такое! Можно сейчасъ у Вебера... втроемъ... Отлично! У тебя есть деньги заплатить за меня? прибавилъ онъ вполголоса.

— Есть-то есть; только я, право, не знаю...

— Перестань, пожалуйста; ты меня благодарить будешь, и онъ радъ будетъ. Ахъ, Боже мой! перебилъ самого себя Бамбаевъ.—Это они финалъ изъ „Эрнани“ играютъ. Что за прелесть!.. A son... mo Carlo... Экой однако я! Сейчасъ въ слезы. Ну, Семенъ Яковлевичъ! Ворошиловъ! Идемъ что ли?

Ворошиловъ, *который все* еще продолжалъ стоять не-

подвижно и стройно, сохраняя прежнее, нѣсколько горделивое достоинство осанки, знаменательно опустилъ глаза, нахмурился и промычалъ что-то сквозь зубы... но не отказался; а Литвиновъ подумалъ: „Что же! продѣлаемъ и это, благо время есть“. Бамбаевъ взялъ его подъ руку, но прежде чѣмъ направился въ кофейную, кивнулъ пальцемъ Изабеллѣ, извѣстной цвѣточницѣ Жокей-Клуба: ему вздумалось взять у ней букетъ. Но аристократическая цвѣточница не пошевельнулась; да и съ какой стати было ей подходить къ господину безъ перчатокъ, въ запачканной плисовой курткѣ, пестромъ галстукѣ и стоптанныхъ сапогахъ, котораго она и въ Парижѣ-то никогда не видала? Тогда Ворошиловъ, въ свою очередь, кивнулъ ей пальцемъ. Къ нему она подошла, и онъ, выбравъ въ ея коробкѣ крошечный букетъ фіалокъ, бросилъ ей гульденъ. Онъ думалъ удивить ее своею щедростью; но она даже бровью не повела, и когда онъ отъ нея отвернулся, презрительно скорчила свои стиснутыя губы. Одѣтъ Ворошиловъ былъ очень щегольски, даже изысканно, но опытный глазъ парижанки тотчасъ подмѣтилъ въ его туалетѣ, въ его турнюрѣ, въ самой его походкѣ, носившей слѣды рановременной военной выправки, отсутствіе настоящаго, чистокровнаго „шику“.

Усѣвшись у Вебера въ главной залѣ и заказавъ обѣдъ, знакомцы наши вступили въ разговоръ. Бамбаевъ громко и съ жаромъ потолковалъ о высокомъ значеніи Губарева, но скоро умолкъ и, шумно вздыхая и жуя, хлопалъ стаканъ за стаканомъ. Ворошиловъ пилъ и ѣлъ мало, словно нехотя, и разспросивъ Литвинова о родѣ его занятій, принялся высказывать собственныя мнѣнія... не столько объ этихъ занятіяхъ, сколько вообще о различныхъ „вопросахъ“... Онъ вдругъ оживился и такъ и помчался, какъ добрый конь, лихо и рѣзко отчеканивая каждый слогъ, каждую букву, какъ молодецъ-кадетъ на выпускномъ экзаменѣ, и сильно, но не въ ладъ размахивая руками. Съ каждымъ мгновеніемъ онъ становился все рѣчистѣй, все бойчѣй, благо никто его не прерывалъ: онъ *словно читалъ* диссертацію или лекцію. Имена новѣйшихъ

ученыхъ, съ прибавленіемъ года рожденія или смерти каждаго изъ нихъ, заглавія только-что вышедшихъ брошюръ, вообще имена, имена, имена—дружно посыпались съ его языка, доставляя ему самому высокое наслажденіе, отражавшееся въ его запылавшихъ глазахъ. Ворошиловъ видимо презиралъ всякое старье, дорожилъ однѣми сливками образованности, послѣднею, передовою точкой науки; упомянуть, хотя бы некстати, о книгѣ какого-нибудь доктора Зауэрбенгеля о пенсильванскихъ тюрьмахъ или о вчерашней статьѣ въ „Азіатикъ Джёрналъ“, о Ведахъ и Пуранахъ (онъ такъ и сказалъ: „Джёрналъ“, хотя, конечно, не зналъ по-англійски) — было для него истинною отрадой, благополучіемъ. Литвиновъ слушалъ его, слушалъ, и никакъ не могъ понять, какая же собственно его спеціальность? То онъ велъ рѣчь о роли кельтійскаго племени въ исторіи; то его уносило въ древній міръ и онъ разсуждалъ объ эгинскихъ мраморахъ, напряженно толковалъ о жившемъ до Фидіаса ваятелѣ Онàтасѣ, который, однако, превращался у него въ Іонатана, и тѣмъ на мигъ наводилъ на все его разсужденіе не то библейскій, не то американскій колоритъ; то онъ вдругъ перескакивалъ въ политическую экономію и называлъ Бастіà дуракомъ и деревяжкой, „не хуже Адама Смита и всѣхъ физіократовъ...“ „Физіократовъ!“ прошепталъ ему вслѣдъ Бамбаевъ... „Аристократовъ?..“ Между прочимъ Ворошиловъ вызвалъ выраженіе изумленія на лицѣ того же самаго Бамбаева небрежно и вскользь кинутымъ замѣчаніемъ о Маколеѣ, какъ о писателѣ устарѣломъ и уже опереженномъ наукой; что̀ же до Гнейста и Риля, то онъ объявилъ, что ихъ сто̀итъ только назвать, и пожалъ плечами. Бамбаевъ также плечами пожалъ. „И все это разомъ, безо всякаго повода, передъ чужими, въ кофейной“, размышлялъ Литвиновъ, глядя на бѣлокурые волосы, свѣтлые глаза, бѣлые зубы своего новаго знакомца (особенно смущали его эти крупные сахарные зубы, да еще эти руки съ ихъ неладнымъ размахомъ); „и не улыбнется ни разу; а со всѣмъ тѣмъ, должно-быть, добрый малый и крайне неопытный...“ *Ворошиловъ* угомонился наконецъ, голосъ

его, юношески-звонкій и хриплый какъ у молодого пѣтуха, слегка порвался... кстати жъ Бамбаевъ началъ декламировать стихи и опять чуть не расплакался, что̀ произвело впечатлѣніе скандала за однимъ сосѣднимъ столомъ, около котораго помѣстилось англійское семейство, и хихиканье за другимъ: двѣ лоретки обѣдали за этимъ вторымъ столомъ съ какимъ-то престарѣлымъ младенцемъ въ лиловомъ парикѣ. Кельнеръ принесъ счетъ; пріятели расплатились.

— Ну, воскликнулъ Бамбаевъ, грузно приподнимаясь со стула: — теперь чашку кофе и маршъ! Вонъ она, однако, наша Русь, прибавилъ онъ, остановившись въ дверяхъ и чуть не съ восторгомъ указывая своей мягкой, краспою рукой на Ворошилова и Литвинова...—Какова?

„Да, Русь“, подумалъ Литвиновъ; а Ворошиловъ, который уже опять успѣлъ придать лицу своему сосредоточенное выраженіе, снисходительно улыбнулся и слегка щелкнулъ каблуками.

Минутъ черезъ пять они всѣ трое поднимались вверхъ по лѣстницѣ гостиницы, гдѣ остановился Степанъ Николаевичъ Губаревъ... Высокая, стройная дама въ шляпкѣ съ короткою черною вуалеткой проворно спускалась съ той же лѣстницы, и увидавъ Литвинова, внезапно обернулась къ нему и остановилась, какъ бы пораженная изумленіемъ. Лицо ея мгновенно вспыхнуло и потомъ такъ же быстро поблѣднѣло подъ частой сѣткой кружева; но Литвиновъ ея не замѣтилъ, и дама проворнѣе прежняго побѣжала внизъ по широкимъ ступенямъ.

IV.

— Григорій Литвиновъ, рубашка-парень, русская душа, рекомендую, воскликнулъ Бамбаевъ, подводя Литвинова къ человѣку небольшого роста и помѣщичьяго склада, съ разстегнутымъ воротомъ, въ куцой курткѣ, сѣрыхъ утреннихъ панталонахъ и въ туфляхъ, стоявшему посреди свѣтлой, отлично убранной комнаты;—а это, прибавилъ онъ, обращаясь къ Литвинову: — это онъ, тотъ *самый, понимаешь*? Ну, Губаревъ, однимъ словомъ.

Литвиновъ съ любопытствомъ уставился на „того самаго“. На первый разъ онъ не нашелъ въ немъ ничего необыкновеннаго. Онъ видѣлъ передъ собою господина, наружности почтенной и немного туповатой, лобастаго, глазастаго, губастаго, бородастаго, съ широкой шеей, съ косвеннымъ, внизъ устремленнымъ взглядомъ. Этотъ господинъ осклабился, промолвилъ: „Ммм... да... это хорошо... мнѣ пріятно...“, поднесъ руку къ собственному лицу, и тотчасъ же, повернувшись къ Литвинову спиной, ступилъ нѣсколько разъ по ковру, медленно и странно переваливаясь, какъ бы крадучись. У Губарева была привычка постоянно расхаживать взадъ и впередъ, то-и-дѣло подергивая и почесывая бороду концами длинныхъ и твердыхъ ногтей. Кромѣ Губарева, въ комнатѣ находилась еще одна дама въ шелковомъ поношенномъ платьѣ, лѣтъ пятидесяти, съ чрезвычайно подвижнымъ, какъ лимонъ желтымъ лицомъ, черными волосиками на верхней губѣ и быстрыми, словно выскочить готовыми, глазками; да еще какой-то плотный человѣкъ сидѣлъ, сгорбившись, въ уголку.

— Ну-съ, почтенная Матрена Семеновна, началъ Губаревъ, обращаясь къ дамѣ и видно не считая нужнымъ знакомить ее съ Литвиновымъ:—что-бишь вы начали намъ разсказывать?

Дама (звали ее Матреной Семеновной Суханчиковой, она была вдова, бездѣтная, небогатая, и второй уже годъ странствовала изъ края въ край) заговорила тотчасъ съ особеннымъ, ожесточеннымъ увлеченіемъ:

— Ну, вотъ онъ и является къ князю, и говоритъ ему: ваше сіятельство, говоритъ, — вы въ такомъ санѣ и въ такомъ званіи, говоритъ, что̀ вамъ сто̀итъ облегчить мою участь? Вы, говоритъ, не можете не уважать чистоту моихъ убѣжденій! И развѣ можно, говоритъ, въ наше время преслѣдовать за убѣжденія? И что жъ, вы думаете, сдѣлалъ князь, этотъ образованный, высокопоставленный сановникъ?

— Ну, что̀ онъ сдѣлалъ? промолвилъ Губаревъ, задумчиво закуривая папироску.

Дама выпрямилась и протянула впередъ свою костлявую правую *руку съ отдѣленнымъ* указательнымъ пальцемъ.

— Онъ призвалъ своего лакея и сказалъ ему: „сними ты сейчасъ съ этого человѣка сюртукъ и возьми себѣ. Я тебѣ дарю этотъ сюртукъ!“

— И лакей снялъ? спросилъ Бамбаевъ, всплеснувъ руками.

— Снялъ и взялъ. И это сдѣлалъ князь Барнауловъ, извѣстный богачъ, вельможа, облеченный особенною властью, представитель правительства! Что жъ послѣ этого еще ожидать!

Все тщедушное тѣло г-жи Суханчиковой тряслось отъ негодованія, по лицу пробѣгали судороги, чахлая грудь порывисто колыхалась подъ плоскимъ корсетомъ; о глазахъ уже и говорить нечего; они такъ и прыгали. Впрочемъ, они всегда прыгали, о чемъ бы она ни говорила.

— Вопіющее, вопіющее дѣло! воскликнулъ Бамбаевъ.—Казни нѣтъ достойной!

— Ммм... ммм... Сверху до низу все гнило, замѣтилъ Губаревъ, не возвышая впрочемъ голоса.—Тутъ не казнь... тутъ пужна... другая мѣра.

— Да полно, правда ли это? промолвилъ Литвиновъ.

— Правда ли? подхватила Суханчикова.—Да въ этомъ и думать нельзя сомнѣваться, д-у-у-у-у-мать нельзя...—Она съ такою силою произнесла это слово, что даже скорчилась.—Мнѣ это сказывалъ одинъ вѣрнѣйшій человѣкъ. Да вы его, Степанъ Николаевичъ, знаете — Елистратовъ Капитонъ. Онъ самъ это слышалъ отъ очевидцевъ, отъ свидѣтелей этой безобразной сцены.

— Какой Елистратовъ? спросилъ Губаревъ.—Тотъ, что былъ въ Казани?

— Тотъ самый. Я знаю, Степанъ Николаичъ, про него распустили слухъ, будто онъ тамъ съ какихъ-то подрядчиковъ или винокуровъ деньги бралъ. Да вѣдь кто это говоритъ? Пеликановъ! А возможно ли Пеликанову вѣрить, когда всѣмъ извѣстно, что онъ просто—шпіонъ!

— Нѣтъ, позвольте, Матрена Семеновна, вступился Бамбаевъ: — я съ Пеликановымъ пріятель; какой же онъ шпіонъ?

— *Да, да, именно,* шпіонъ!

— Да постойте, помилуйте...

— Шпіонъ, шпіонъ! кричала Суханчикова.

— Да нѣтъ же, нѣтъ, постойте; я вамъ что́ скажу, кричалъ въ свою очередь Бамбаевъ.

— Шпіонъ, шпіонъ! твердила Суханчикова.

— Нѣтъ, нѣтъ! Вотъ Тентелеевъ, это другое дѣло! чаревѣлъ Бамбаевъ уже во все горло.

Суханчикова мгновенно умолкла.

— Про этого барина я достовѣрно знаю, продолжалъ онъ обыкновеннымъ своимъ голосомъ: — что когда третье отдѣленіе его вызывало, онъ у графини Блазенкрампфъ въ ногахъ ползалъ и все пищалъ: „спасите, заступитесь!“ А Пеликановъ никогда до такой подлости не унижался.

— Мм... Тентелеевъ... проворчалъ Губаревъ:—это... это замѣтить надо.

Суханчикова презрительно пожала плечомъ.

— Оба хороши, заговорила она: — но только я про Тентелеева еще лучше анекдотъ знаю. Онъ, какъ всѣмъ извѣстно, былъ ужаснѣйшій тиранъ со своими людьми, хотя тоже выдавалъ себя за эманципатора. Вотъ онъ разъ въ Парижѣ сидитъ у знакомыхъ, и вдругъ входитъ мадамъ Бичеръ-Стоу, — ну, вы знаете, *Хижина дяди Тома*. Тентелеевъ человѣкъ ужасно чванливый, сталъ просить хозяина представить его; но та, какъ только услыхала его фамилію: „Какъ?“ — говоритъ: — „смѣть знакомиться съ авторомъ Дяди Тома?“ Да хлопъ его по щекѣ!—„Вонъ!“ говоритъ, — „сейчасъ!“ — И что́ жъ вы думаете? Тентелеевъ взялъ шляпу, да поджавши хвостъ и улизнулъ.

— Ну, это мнѣ кажется, преувеличено, замѣтилъ Бамбаевъ. — „Вонъ!“ она ему точно сказала, это фактъ; но пощечины она ему не дала.

— Дала пощечину, дала пощечину! съ судорожнымъ напряженіемъ повторила Суханчикова:—я не стану пустяковъ говорить. И съ такими людьми вы пріятель!

— Позвольте, позвольте, Матрена Семеновна, я никогда не выдавалъ Тентелеева за близкаго мнѣ человѣка; я про Пеликанова *говорилъ*.

— *Ну, не Тентелеевъ*, такъ другой: Михневъ, напримѣръ

— Что же этотъ такое сдѣлалъ? спросилъ Бамбаевъ, уже заранѣе оробѣвъ.

— Что? Будто вы не знаете? На Вознесенскомъ проспектѣ всенародно кричалъ, что надо-молъ всѣхъ либераловъ въ тюрьму; а то еще къ нему приходитъ старый пансіонскій товарищъ, бѣдный, разумѣется, и говоритъ: „можно у тебя пообѣдать?“ А тотъ ему въ отвѣтъ: „нѣтъ, нельзя; у меня два графа сегодня обѣдаютъ... п'шолъ прочь!“

— Да это клевета, помилуйте! возопилъ Бамбаевъ.

— Клевета?.. клевета? Во-первыхъ, князь Вахрушкинъ, который тоже обѣдалъ у вашего Михнева...

— Князь Вахрушкинъ, строго вмѣшался Губаревъ:— мнѣ двоюродный братъ; но я его къ себѣ не пускаю... Ну, и упоминать о немъ, стало-быть, нечего.

— Во-вторыхъ, продолжала Суханчикова, покорно наклонивъ голову въ сторону Губарева: — мнѣ сама Прасковья Яковлевна сказала.

— Нашли на кого сослаться! Она, да вотъ еще Саркизовъ, это первые выдумщики.

— Ну-съ, извините; Саркизовъ лгунъ, точно, онъ же съ мертваго отца парчевой покровъ стащилъ, объ этомъ я спорить никогда не стану; но Прасковья Яковлевна, какое сравненіе! Вспомните, какъ она благородно съ мужемъ разошлась! Но вы, я знаю, вы всегда готовы...

— Ну полноте, полноте, Матрена Семеновна, перебилъ ее Бамбаевъ.—Бросимте эти дрязги, и воспаримте-ка въ горнія. Я вѣдь стараго закала кочерга. Читали вы M-lle de la Quintinie? Вотъ прелесть-то! И съ принципами вашими въ самый разъ!

— Я романовъ больше не читаю, сухо и рѣзко отвѣчала Суханчикова.

— Отчего?

— Оттого, что теперь не то время; у меня теперь одно въ головѣ: швейныя машины.

— Какія машины? спросилъ Литвиновъ.

— Швейныя, швейныя; надо всѣмъ, всѣмъ женщинамъ, *запастись швейными* машинами, и составлять общества; *этакъ онѣ всѣ будутъ* хлѣбъ себѣ зарабатывать, и вдругъ

независимы станутъ. Иначе онѣ никакъ освободиться не могутъ. Это важный, важный соціальный вопросъ. У насъ такой объ этомъ былъ споръ съ Болѐславъ Стадницкимъ. Болѐславъ Стадницкій чудная натура, но смотритъ на эти вещи ужасно легкомысленно. Все смѣется... Дуракъ!

— Всѣ будутъ въ свое время потребованы къ отчету, со всѣхъ взыщется, медленно, не то наставническимъ, не то пророческимъ тономъ, произнесъ Губаревъ.

— Да, да, повторилъ Бамбаевъ: — взыщется, именно взыщется. А что, Степанъ Николаичъ, прибавилъ онъ, понизивъ голосъ:—сочиненіе подвигается?

— Матеріалы собираю, отвѣчалъ насупившись Губаревъ, и обратившись къ Литвинову, у котораго голова начинала ходить кругомъ отъ этой яичницы незнакомыхъ ему именъ, отъ этого бѣшенства сплетни, спросилъ его: чѣмъ онъ занимается?

Литвиновъ удовлетворилъ его любопытству.

— А! значитъ, естественными науками. Это полезно, какъ школа; какъ школа, не какъ цѣль. Цѣль теперь должна быть... мм... должна быть... другая. Вы, позвольте узнать, какихъ придерживаетесь мнѣній?

— Какихъ мнѣній?

— Да, то-есть, собственно, какія ваши политическія убѣжденія?

Литвиновъ улыбнулся.

— Собственно у меня нѣтъ никакихъ политическихъ убѣжденій.

Плотный человѣкъ, сидѣвшій въ углу, при этихъ словахъ внезапно поднялъ голову и внимательно посмотрѣлъ на Литвинова.

— Что такъ? промолвилъ съ странною кротостью Губаревъ.—Не вдумались еще, или уже устали?

— Какъ вамъ сказать? Мнѣ кажется, намъ, русскимъ, еще рано имѣть политическія убѣжденія или воображать, что мы ихъ имѣемъ. Замѣтьте, что я придаю слову: „политическій“ то значеніе, которое принадлежитъ ему по праву, и что...

— Ага! *изъ недозрѣлыхъ*, съ тою же кротостью не-

ребилъ его Губаревъ, и подойдя къ Ворошилову, спросилъ его:—прочелъ ли онъ брошюру, которую онъ далъ ему?

Ворошиловъ, который, къ удивленію Литвинова, съ самаго своего прихода словечка не проронилъ, а только хмурился и значительно поводилъ глазами (онъ вообще либо ораторствовалъ, либо молчалъ), Ворошиловъ выпятилъ по-военному грудь, и, щелкнувъ каблуками, кивнулъ утвердительно головой.

— Ну, и что жъ? Остались довольны?

— Что̀ касается до главныхъ основаній, доволенъ; но съ выводами не согласенъ.

— Ммм... Андрей Иванычъ мнѣ однако хвалилъ эту брошюру. Вы мнѣ потомъ изложите ваши сомнѣнія.

— Прикажете письменно?

Губаревъ видимо удивился: онъ этого не ожидалъ; однако, подумавъ немного, промолвилъ:

— Да, письменно. Кстати я васъ попрошу изложить мнѣ также свои соображенія... насчетъ... насчетъ ассоціацій.

— По методѣ Лассаля прикажете или Шульце-Делича?

— Ммм... по обѣимъ. Тутъ, понимаете, для насъ, русскихъ, особенно важна финансовая сторона. Ну, и артель... какъ зерно... Все это нужно принять къ свѣдѣнію. Вникнуть надо. Вотъ и вопросъ о крестьянскомъ надѣлѣ...

— А вы, Степанъ Николаичъ, какого мнѣнія насчетъ количества слѣдуемыхъ десятинъ? съ почтительною деликатностью въ голосѣ спросилъ Ворошиловъ.

— Ммм... А община? глубокомысленно произнесъ Губаревъ, и прикусивъ клокъ бороды, уставился на ножку стола.—Община... Понимаете ли вы? Это великое слово! Потомъ, что̀ значатъ эти пожары... эти... эти правительственныя мѣры противъ воскресныхъ школъ, читаленъ, журналовъ? А несогласіе крестьянъ подписывать уставныя грамоты? И наконецъ, то, что̀ происходитъ въ Польшѣ? Развѣ вы не видите, къ чему это все ведетъ? Развѣ вы не видите, что... мм... что намъ... намъ нужно теперь слиться съ народомъ, узнать... узнать его мнѣніе? — Губаревымъ внезапно овладѣло какое-то тяжелое, почти *злобное волненіе;* онъ даже побурѣлъ въ лицѣ и усиленно

дышалъ, но все не поднималъ глазъ и продолжалъ жевать бороду.—Развѣ вы не видите...

— Евсеевъ подлецъ! брякнула вдругъ Суханчикова, которой Бамбаевъ, изъ уваженія къ хозяину, разсказывалъ что-то вполголоса. Губаревъ круто повернулъ на каблукахъ и опять заковылялъ по комнатѣ.

Стали появляться новые посѣтители; подъ конецъ вечера набралось довольно много народу. Въ числѣ ихъ пришелъ и господинъ Евсеевъ, такъ жестоко обозванный Суханчиковой: она очень дружелюбно съ нимъ разговаривала и попросила его провести ее домой; пришелъ нѣкто Пищалкинъ, идеальный мировой посредникъ, человѣкъ изъ числа тѣхъ людей, въ которыхъ, быть-можетъ, точно нуждается Россія, а именно — ограниченный, мало знающій и бездарный, но добросовѣстный, терпѣливый и честный: крестьяне его участка чуть не молились на него, и онъ самъ весьма почтительно обходился съ самимъ собою, какъ съ существомъ истинно достойнымъ уваженія. Пришло нѣсколько офицерчиковъ, выскочившихъ на коротенькій отпускъ въ Европу и обрадовавшихся случаю, конечно осторожно и не выпуская изъ головы задней мысли о полковомъ командирѣ, побаловаться съ умными и немножко даже опасными людьми; прибѣжали двое жиденькихъ студентиковъ изъ Гейдельберга: одинъ все презрительно оглядывался, другой хохоталъ судорожно... обоимъ было очень неловко; вслѣдъ за ними втерся французикъ, такъ-называемый, *n'ти жёномъ:* грязненькій, бѣдненькій, глупенькій... онъ славился между своими товарищами, комми-вояжерами, тѣмъ, что въ него влюблялись русскія графини; самъ же онъ больше помышлялъ о даровомъ ужинѣ; явился наконецъ Титъ Биндасовъ, съ виду шумный буршъ, а въ сущности кулакъ и выжига, по рѣчамъ террористъ, по призванію квартальный, другъ россійскихъ купчихъ и парижскихъ лоретокъ, лысый, беззубый, пьяный; явился онъ весьма красный и дрянной, увѣряя, что спустилъ послѣднюю копейку этому „шельмецу Беназету", а на дѣлѣ онъ выигралъ шестнадцать *гульденовъ*... Словомъ, много набра-

лось народу. Замѣчательно, поистинѣ замѣчательно было то уваженіе, съ которымъ всѣ посѣтители обращались къ Губареву, какъ наставнику или главѣ; они излагали ему свои сомнѣнія, повергали ихъ на его судъ; а онъ отвѣчалъ... мычаніемъ, подергиваніемъ бороды, вращаніемъ глазъ или отрывочными, незначительными словами, которыя тотчасъ же подхватывались на лету, какъ изреченія самой высокой мудрости. Самъ Губаревъ рѣдко вмѣшивался въ пренія; зато другіе усердно надсаживали грудь. Случалось не разъ, что трое, четверо кричали вмѣстѣ въ теченіе десяти минутъ, и всѣ были довольны и понимали. Бесѣда продолжалась за полночь и отличалась, какъ водится, обиліемъ и разнообразіемъ предметовъ. Суханчикова говорила о Гарибальди, о какомъ-то Карлѣ Ивановичѣ, котораго высѣкли его собственные дворовые, о Наполеонѣ III, о женскомъ трудѣ, о купцѣ Плескачевѣ, завѣдомо уморившемъ двѣнадцать работницъ и получившемъ за это медаль съ надписью: „за полезное“, о пролетаріатѣ, о грузинскомъ князѣ Чукчеулидзевѣ застрѣлившемъ жену изъ пушки, и о будущности Россіи; Пищалкинъ говорилъ тоже о будущности Россіи, объ откупѣ, о значеніи національностей и о томъ, что онъ больше всего ненавидитъ пошлое; Ворошилова вдругъ прорвало: единымъ духомъ, чуть не захлебываясь, онъ назвалъ Дрэпера, Фирхова, г-на Шелгунова, Биша, Гельмгольца, Стара, Стура, Реймонта, Іоганна Миллера физіолога, Іоганна Миллера историка, очевидно смѣшивая ихъ, Тэна, Ренана, г-на Щапова, а потомъ Томаса Наша, Пиля, Грина... „Это что же за птицы?“ съ изумленіемъ пробормоталъ Бамбаевъ. „Предшественники Шекспира, относящіеся къ нему какъ отроги Альпъ къ Монъ-Блану!“ хлестко отвѣчалъ Ворошиловъ, и также коснулся будущности Россіи. Бамбаевъ тоже поговорилъ о будущности Россіи и даже расписалъ ее въ радужныхъ краскахъ, но въ особенный восторгъ привела его мысль о русской музыкѣ, въ которой онъ видѣлъ что-то „ухъ! большое“, и въ доказательство затянулъ романсъ Варламова, но скоро былъ прерванъ общимъ крикомъ, что: „онъ-молъ поетъ

Miserere изъ „Троватора“ и прескверно поетъ“. Одинъ офицерчикъ подъ шумокъ ругнулъ русскую литературу, другой привелъ стишки изъ *Искры*; а Титъ Биндасовъ поступилъ еще проще: объявилъ, что всѣмъ бы этимъ мошенникамъ зубы надо повышибать—и баста! не опредѣляя впрочемъ, кто собственно были эти мошенники. Дымъ отъ сигаръ стоялъ удушливый; всѣмъ было жарко и томно, всѣ охрипли, у всѣхъ глаза посоловѣли, потъ лилъ градомъ съ каждаго лица. Бутылки холоднаго пива появлялись и опоражнивались мгновенно. „Что бишь я такое говорилъ?“ твердилъ одинъ: „да съ кѣмъ же я сейчасъ спорилъ и о чемъ?“ спрашивалъ другой. И среди всего этого гама и чада, попрежнему переваливаясь и шевеля въ бородѣ, безъ устали расхаживалъ Губаревъ, и то прислушивался, приникая ухомъ, къ чьему-нибудь разсужденію, то вставлялъ свое слово, и всякій невольно чувствовалъ, что онъ-то, Губаревъ, всему матка и есть, что онъ здѣсь и хозяинъ, и первенствующее лицо...

У Литвинова, часамъ къ десяти, сильно разболѣлась голова, и онъ ушелъ потихоньку и незамѣтно, воспользовавшись усиленнымъ взрывомъ всеобщаго крика: Суханчикова вспомнила новую несправедливость князя Барнаулова: чуть ли не приказалъ онъ кому-то ухо откусить.

Свѣжій ночной воздухъ ласково прильнулъ къ воспаленному лицу Литвинова, влился пахучею струей въ его засохшія губы. „Что это“, думалъ онъ, идя по темной аллеѣ: „при чемъ это я присутствовалъ? Зачѣмъ они собрались? Зачѣмъ кричали, бранились, изъ кожи лѣзли? Къ чему все это?“ Литвиновъ пожалъ плечами и отправился къ Веберу, взялъ газету и спросилъ себѣ мороженаго. Въ газетѣ толковалось о римскомъ вопросѣ, а мороженое оказалось скернымъ. Онъ уже собирался идти домой, какъ вдругъ къ нему подошелъ незнакомый человѣкъ въ шляпѣ съ широкими полями, и проговоривъ порусски: „я васъ не безпокою?“ присѣлъ за его столикъ. Тутъ только Литвиновъ, вглядѣвшись попристальнѣе въ незнакомца, узналъ въ немъ того плотнаго господина, который забился въ уголокъ у Губарева и съ такимъ вни-

маніемъ окинулъ его глазами, когда рѣчь зашла о политическихъ убѣжденіяхъ. Въ теченіе всего вечера господинъ этотъ не разѣвалъ рта, а теперь, подсѣвъ къ Литвинову и снявъ шляпу, глядѣлъ на него дружелюбнымъ и нѣсколько смущеннымъ взглядомъ.

V.

— Господинъ Губаревъ, у котораго я имѣлъ удовольствіе васъ видѣть сегодня, началъ онъ:—меня вамъ не отрекомендовалъ; такъ ужъ, если вы позволите, я самъ себя рекомендую: Потугинъ, отставной надворный совѣтникъ, служилъ въ министерствѣ финансовъ, въ С.-Петербургѣ. Надѣюсь, что вы не найдете страннымъ... я вообще не имѣю привычки такъ внезапно познакомиться... но съ вами...

Тутъ Потугинъ замялся и попросилъ кельнера принести его рюмочку киршвассера. „Для храбрости“, прибавилъ онъ съ улыбкой.

Литвиновъ съ удвоеннымъ вниманіемъ посмотрѣлъ на это послѣднее изо всѣхъ тѣхъ новыхъ лицъ, съ которыми ему въ тотъ день пришлось столкнуться, и тотчасъ же подумалъ: „этотъ не то что тѣ“.

Дѣйствительно не то. Предъ нимъ сидѣлъ, перебирая по краю стола тонкими ручками, человѣкъ широкоплечій, съ просторнымъ туловищемъ на короткихъ ногахъ, съ понурою курчавою головой, съ очень умными и очень печальными глазками подъ густыми бровями, съ крупнымъ правильнымъ ртомъ, нехорошими зубами и тѣмъ чисто русскимъ носомъ, которому присвоено названіе картофеля; человѣкъ съ виду неловкій и даже диковатый, но уже навѣрное не дюжинный. Одѣтъ онъ былъ небрежно: старомодный сюртукъ сидѣлъ на немъ мѣшкомъ, и галстукъ сбился на сторону. Его внезапная довѣрчивость не только не показалась Литвинову назойливостью, но напротивъ втайнѣ ему польстила: нельзя было не видѣть, что за этимъ человѣкомъ не водилось привычки навязываться незнакомымъ. Странное впечатлѣніе произвелъ онъ на Литвинова: онъ возбуждалъ въ немъ и уваженіе, и сочувствіе, и какое-то невольное сожалѣніе.

— Такъ я не безпокою васъ? повторилъ онъ мягкимъ, немного сиплымъ и слабымъ голосомъ, который какъ нельзя лучше шелъ ко всей его фигурѣ.

— Помилуйте, возразилъ Литвиновъ; — я, напротивъ, очень радъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, такъ и я радъ. Я слышалъ объ васъ много; я знаю, чѣмъ вы занимаетесь и какія ваши намѣренія. Дѣло хорошее. То-то вы и молчали сегодня.

— Да и вы, кажется, говорили мало, замѣтилъ Литвиновъ.

Потугинъ вздохнулъ.

— Другіе ужъ больно много разсуждали-съ. Я слушалъ. Ну что̀, прибавилъ онъ, помолчавъ немного и какъ-то забавно уставивъ брови: — понравилось вамъ наше Вавилонское столпотвореніе?

— Именно столпотвореніе. Вы прекрасно сказали. Мнѣ все хотѣлось спросить у этихъ господъ, изъ чего они такъ хлопочутъ?

Потугинъ опять вздохнулъ.

— Въ томъ-то и штука, что они и сами этого не вѣдаютъ-съ. Въ прежнія времена про нихъ бы такъ выразились: „они-молъ слѣпыя орудія высшихъ цѣлей“; ну а теперь мы употребляемъ болѣе рѣзкіе эпитеты. И замѣтьте, что собственно я нисколько не намѣренъ обвинять ихъ; скажу болѣе, они всѣ... то-есть почти всѣ, прекрасные люди. Про г-жу Суханчикову я, напримѣръ, навѣрное знаю очень много хорошаго: она послѣднія свои деньги отдала двумъ бѣднымъ племянницамъ. Положимъ, тутъ дѣйствовало желаніе пощеголять, порисоваться, но согласитесь, замѣчательное самоотверженіе въ женщинѣ, которая сама не богата! Про г-на Пищалкина и говорить нечего: ему непремѣнно, современемъ, крестьяне его участка поднесутъ серебряный кубокъ въ видѣ арбуза, а, можетъ-быть, и икону съ изображеніемъ его ангела, и хотя онъ имъ скажетъ въ своей благодарственной рѣчи, что онъ не заслуживаетъ подобной чести, но это онъ неправду скажетъ: онъ ея заслуживаетъ. У г-на Бамбаева, вашего пріятеля, сердце чудное; правда, у него, какъ у поэта Языкова, который, говорятъ, воспѣвалъ разгулъ,

сидя за книгой и кушая воду — восторгъ собственно ни на что не обращенный, но все же восторгъ; и г-нъ Ворошиловъ тоже добрѣйшій; онъ, какъ всѣ люди его школы, люди золотой доски, точно на ординарцы присланъ къ наукѣ, къ цивилизаціи, и даже молчитъ фразисто, но онъ еще такъ молодъ! Да, да, все это люди отличные, а въ результатѣ ничего не выходитъ; припасы первый сортъ, а блюдо хоть въ ротъ не бери.

Литвиновъ съ возрастающимъ удивленіемъ слушалъ Потугина: всѣ пріемы, всѣ обороты его неторопливой, но самоувѣренной рѣчи изобличали и умѣнье, и охоту говорить.

Потугинъ, точно, и любилъ, и умѣлъ говорить; но какъ человѣкъ, изъ котораго жизнь уже успѣла повытравить самолюбіе, онъ съ философическимъ спокойствіемъ ждалъ случая, встрѣчи по-сердцу.

— Да, да, началъ онъ снова, съ особымъ, ему свойственнымъ, не болѣзненнымъ, но унылымъ юморомъ:—это все очень странно-съ. И вотъ еще что прошу замѣтить. Сойдется, напримѣръ, десять англичанъ, они тотчасъ заговорятъ о подводномъ телеграфѣ, о налогѣ на бумагу, о способѣ выдѣлывать крысьи шкуры, то-есть о чемъ-нибудъ положительномъ, опредѣленномъ; сойдется десять нѣмцевъ, — ну, тутъ, разумѣется, Шлезвигъ-Гольштейнъ и единство Германіи явится на сцену; десять французовъ сойдется,—бесѣда неизбѣжно коснется „клубнички“, какъ они тамъ ни виляй; а сойдется десять русскихъ, мгновенно возникаетъ вопросъ,—вы имѣли случай сегодня въ томъ убѣдиться,—вопросъ о значеніи, о будущности Россіи, да въ такихъ общихъ чертахъ, отъ яицъ Леды, бездоказательно, безвыходно. Жуютъ, жуютъ они этотъ несчастный вопросъ, словно дѣти кусокъ гумиластика: ни соку, ни толку. Ну, и, конечно, тутъ же кстати достанется и гнилому Западу. Экая притча, подумаешь! бьетъ онъ насъ на всѣхъ пунктахъ, этотъ Западъ—а гнилъ! И хоть бы мы дѣйствительно его презирали, продолжалъ Потугинъ: — а то вѣдь это все фраза и ложь. Ругать-то мы его ругаемъ, а только его мнѣніемъ и дорожимъ, то-есть, въ сущности, мнѣніемъ парижскихъ лоботрясовъ. У

меня есть знакомый, и хорошій, кажется, человѣкъ, отецъ семейства, уже не молодой; такъ тотъ нѣсколько дней въ унынiи находился оттого, что въ парижскомъ ресторанѣ спросилъ себѣ une portion de biftek aux pommes de terre, а настоящій французъ тутъ же крикнулъ: Garçon! biftek pommes! Сгорѣлъ мой пріятель отъ стыда! И потомъ вездѣ кричалъ: Biftek pommes! и другихъ училъ. Самыя даже лоретки удивляются благоговѣйному трепету, съ которымъ наши молодые степняки входятъ въ ихъ позорную гостиную... Боже мой! думаютъ они, вѣдь это гдѣ я? У самой Anna Deslions!!

— Скажите пожалуйста, спросилъ Литвиновъ:—чему вы приписываете несомнѣнное вліяніе Губарева на всѣхъ его окружающихъ? Не дарованіямъ, не способностямъ же его?

— Нѣтъ-съ, нѣтъ-съ; у него этого ничего не имѣется...

— Такъ характеру, что ли?

— И этого нѣтъ-съ, а у него много воли-съ. Мы, славяне вообще, какъ извѣстно, этимъ добромъ не богаты и передъ нимъ пасуемъ. Г-нъ Губаревъ захотѣлъ быть начальникомъ, и всѣ его начальникомъ признали. Что прикажете дѣлать?! Правительство освободило насъ отъ крѣпостной зависимости, спасибо ему; но привычки рабства слишкомъ глубоко въ насъ внѣдрились; не скоро мы отъ нихъ отдѣлаемся. Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ; барином этимъ бываетъ, большею частью, живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ-называемое направленіе надъ нами власть возымѣетъ... теперь, напримѣръ, мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... Почему, въ силу какихъ резоновъ мы записываемся въ кабалу, это дѣло темное; такая ужъ видно наша натура. Но главное дѣло, чтобъ былъ у насъ баринъ. Ну, вотъ онъ и есть у насъ; это значитъ, нашъ, а на все остальное мы наплевать! Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское униженіе. Новый баринъ народился — стараго долой! То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ; въ ухо Якова, въ ноги Сидору! Вспомните, какія въ этомъ родѣ происходили у насъ продѣлки! Мы толкуемъ объ отрицаніи, какъ объ *отличительномъ нашемъ свойствѣ*; но и отрицаемъ-то мы

не такъ, какъ свободный человѣкъ, разящій шпагой, а какъ лакей, лупящій кулакомъ, да еще, пожалуй, и лупитъ-то онъ по господскому приказу. Ну-съ, а народъ мы тоже мягкій; въ руки насъ взять не мудрено. Вотъ такимъ-то образомъ и г-нъ Губаревъ попалъ въ барья; долбилъ-долбилъ въ одну точку и продолбился. Видятъ люди: большого мнѣнія о себѣ человѣкъ, вѣритъ въ себя, приказываетъ—главное, приказываетъ; стало-быть, онъ правъ, и слушаться его надо. Всѣ наши расколы, наши Онуфріевщины да Акулиновщины именно такъ и основались. Кто палку взялъ, тотъ и капралъ.

У Потугина покраснѣли щеки и глаза потускнѣли; но странное дѣло! рѣчь его, горькая и даже злая, не отзывалась желчью, а скорѣе печалью, и правдивою, искреннею печалью.

— Вы какъ съ Губаревымъ познакомились? спросилъ Литвиновъ.

— Я его давно знаю-съ. И замѣтьте, какая у насъ опять странность: иной, напримѣръ, сочинитель что ли, весь свой вѣкъ и стихами, и прозой бранилъ пьянство, откупъ, укорялъ... да вдругъ самъ взялъ да два винные завода купилъ и снялъ сотню кабаковъ — и ничего! Другого бы съ лица земли стерли, а его даже не упрекаютъ. Вотъ и г-нъ Губаревъ: онъ и славянофилъ, и демократъ, и соціалистъ, и все что угодно, а имѣньемъ его управлялъ и теперь еще управляетъ братъ, хозяинъ въ старомъ вкусѣ, изъ тѣхъ, что дантистами величали. И та же г-жа Суханчикова, которая заставляетъ г-жу Бичеръ-Стоу бить по щекамъ Тентелеева, передъ Губаревымъ чуть не ползаетъ. А вѣдь только за нимъ и есть, что онъ умныя книжки читаетъ, да все въ глубину устремляется. Какой у него даръ слова, вы сегодня сами судить могли; и это еще слава Богу, что онъ мало говоритъ, все только ёжится. Потому что когда онъ въ духѣ, да на-распашку, такъ даже мнѣ, терпѣливому человѣку, не въ мочь становится. Начнетъ подтрунивать да грязные анекдотцы разсказывать,—да, да, нашъ великій г-нъ Губаревъ разсказываетъ *грязные анекдоты* и такъ мерзко смѣется при этомъ...

— Будто вы такъ терпѣливы? промолвилъ Литвиновъ.— Я напротивъ полагалъ... Но позвольте узнать, какъ ваше имя и отчество?

Потугинъ отхлебнулъ немного киршвассеру.

— Меня зовутъ Созонтомъ... Созонтомъ Иванычемъ. Дали мнѣ это прекрасное имя въ честь родственника, архимандрита, которому я только этимъ и обязанъ. Я, если смѣю такъ выразиться, священническаго поколѣнія. А что вы насчетъ терпѣнья сомнѣваетесь, такъ это напрасно: я терпѣливъ. Я двадцать-два года подъ начальствомъ родного дядюшки, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Иринарха Потугина прослужилъ. Вы его не изволили знать?

— Нѣтъ.

— Съ чѣмъ васъ поздравляю. Нѣтъ, я терпѣливъ. Но „возвратимся на первое“, какъ говоритъ почтенный мой собратъ, сожженный протопопъ Аввакумъ. Удивляюсь я, милостивый государь, своимъ соотечественникамъ. Всѣ унываютъ, всѣ повѣсивши носъ ходятъ, и въ то же время всѣ исполнены надеждой, и чуть что, такъ на стѣну и лѣзутъ. Вотъ хоть бы славянофилы, къ которымъ г-нъ Губаревъ себя причисляетъ: прекраснѣйшіе люди, а та же смѣсь отчаянія и задора, тоже живутъ буквой „буки“. Все-молъ будетъ, будетъ. Въ наличности ничего нѣтъ, и Русь въ цѣлые десять вѣковъ ничего своего не выработала, ни въ управленіи, ни въ судѣ, ни въ наукѣ, ни въ искусствѣ, ни даже въ ремеслѣ... Но постойте, потерпите: все будетъ. А почему будетъ, позвольте полюбопытствовать? А потому что мы-молъ образованные люди,—дрянь; но народъ... о, это великій народъ! Видите этотъ армякъ? вотъ откуда все пойдетъ. Всѣ другіе идолы разрушены; будемте же вѣрить въ армякъ. Ну, а коли армякъ выдастъ? Нѣтъ, онъ не выдастъ, прочтите Кохановскую, и очи въ потолоки! Право, если бъ я былъ живописцемъ, вотъ бы я какую картину написалъ: образованный человѣкъ стоитъ передъ мужикомъ и кланяется ему низко: вылѣчи-молъ меня, батюшка-мужичокъ, я пропадаю отъ *болѣсти; а мужикъ*, въ свою очередь, низко кланяется

образованному человѣку: научи-молъ меня, батюшка-баринъ, я пропадаю отъ темноты. Ну, и разумѣется, оба ни съ мѣста. А стóило бы только дѣйствительно смириться— не на однихъ словахъ, — да попризанять у старшихъ братьевъ, чтó они придумали—лучше насъ и прежде насъ! Кельнеръ, *нохъ эйнъ глэзхенъ киршъ!* Вы не думайте, что я пьяница, но алкоголь развязываетъ мнѣ языкъ.

— Послѣ того, что вы сейчасъ сказали, промолвилъ съ улыбкой Литвиновъ:—мнѣ нечего и спрашивать, къ какой вы принадлежите партіи, и какого мнѣнія вы о Европѣ. Но позвольте мнѣ сдѣлать вамъ одно замѣчаніе. Вотъ вы говорите, что намъ слѣдуетъ занимать, перенимать у нашихъ старшихъ братьевъ; но какъ же возможно перенимать, не соображаясь съ условіями климата, почвы, съ мѣстными, съ народными особенностями? Отецъ мой, помнится, выписалъ отъ Бутеноповъ чугунную, отлично зарекомендованную вѣялку; вѣялка эта точно была очень хороша — и что же? она цѣлыхъ пять лѣтъ простояла въ сараѣ безо всякой пользы, пока ее не замѣнила деревянная американская—гораздо болѣе подходящая къ нашему быту и къ нашимъ привычкамъ, какъ вообще всѣ американскія машины. Нельзя, Созонтъ Ивановичъ, перенимать зря.

Потугинъ приподнялъ голову.

— Не ожидалъ я отъ васъ такого возраженія, почтеннѣйшій Григорій Михайловичъ, началъ онъ, погодя немного. — Кто же васъ заставляетъ перенимать зря? Вѣдь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вамъ пригодно: стало-быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатовъ—такъ вы не извольте безпокоиться: своеобразность въ нихъ будетъ въ силу самыхъ этихъ мѣстныхъ, климатическихъ и прочихъ условій, о которыхъ вы упоминаете. Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудокъ ее переваритъ по-своему; и со временемъ, когда организмъ окрѣпнетъ, онъ дастъ *свой* сокъ. Возьмите примѣръ хоть съ нашего языка. Петръ Великій наводнилъ его тысячами чужеземныхъ словъ, голландскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ: слова эти *выражали понятія,* съ которыми нужно было познакомить

русскій народъ; не мудрствуя и не церемонясь, Петръ вливалъ эти слова цѣликомъ, ушатами, бочками въ нашу утробу. Сперва, точно, вышло нѣчто чудовищное, а потомъ — началось именно то переваренье, о которомъ я вамъ докладывалъ. Понятія привились и усвоились; чужія формы постепенно испарились, языкъ въ собственныхъ нѣдрахъ нашелъ, чѣмъ ихъ замѣнить — и теперь вашъ покорный слуга, стилистъ весьма посредственный, берется перевести любую страницу изъ Гегеля, — да-съ, да-съ, изъ Гегеля, — не употребивъ ни одного не-славянскаго слова. Что произошло съ языкомъ, то, должно надѣяться, произойдетъ и въ другихъ сферахъ. Весь вопросъ въ томъ—крѣпка ли натура? а наша натура—ничего, выдержитъ: не въ такихъ была передрягахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные, да слабые народы; точно такъ же какъ восторгаться до пѣны у рта тому, что мы-молъ русскіе — способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своемъ здоровьѣ, но въ восторгъ отъ него не прихожу: совѣстно-съ.

— Все такъ, Созонтъ Иванычъ, заговорилъ въ свою очередь Литвиновъ: — но зачѣмъ же непремѣнно подвергать насъ подобнымъ испытаніямъ? Сами жъ вы говорите, что сначала вышло нѣчто чудовищное! ну — а коли это чудовищное такъ бы и осталось? Да оно и осталось, вы сами знаете.

— Только не въ языкѣ — а ужъ это много значитъ! А нашъ народъ не я дѣлалъ; не я виноватъ, что ему суждено проходить черезъ такую школу. „Нѣмцы правильно развивались“, кричатъ славянофилы: „подавайте и намъ правильное развитіе!“ Да гдѣ жъ его взять, когда самый первый историческій поступокъ нашего племени—призваніе себѣ князей изъ-за моря — есть уже неправильность, ненормальность, которая повторяется на каждомъ изъ насъ до сихъ поръ; каждый изъ насъ, хоть разъ въ жизни, непремѣнно чему-нибудь чужому, не русскому, сказалъ: „иди владѣти и княжити надо мною!“ — Я, пожалуй, готовъ согласиться, что, вкладывая иностранную суть въ *собственное тѣло, мы* никакъ не можемъ навѣрное знать

напередъ, что̀ такое мы вкладываемъ: кусокъ хлѣба или кусокъ яда?—да вѣдь извѣстное дѣло: отъ худого къ хорошему никогда не идешь черезъ лучшее, а всегда черезъ худшее — и ядъ въ медицинѣ бываетъ полезенъ. Однимъ только тупицамъ или пройдохамъ прилично указывать съ торжествомъ на бѣдность крестьянъ послѣ освобожденія, на усиленное ихъ пьянство послѣ уничтоженія откуповъ... Черезъ худшее къ хорошему!

Потугинъ провелъ рукой по лицу.

— Вы спрашивали меня, какого я мнѣнія о Европѣ, началъ онъ опять:—я удивляюсь ей и преданъ ея началамъ до чрезвычайности и нисколько не считаю нужнымъ это скрывать. Я давно... нѣтъ, недавно... съ нѣкоторыхъ поръ пересталъ бояться высказывать свои убѣжденія... вѣдь вотъ и вы не усомнились заявить г-ну Губареву свой образъ мыслей. Я, слава Богу, пересталъ соображаться съ понятіями, воззрѣніями, привычками человѣка, съ которымъ бесѣдую. Въ сущности я ничего не знаю хуже той ненужной трусости, той подленькой угодливости, въ силу которой, посмотришь, иной важный сановникъ у насъ поддѣлывается къ ничтожному въ его глазахъ студентику, чуть не заигрываетъ съ нимъ, зайцемъ къ нему забѣгаетъ. Ну, положимъ, сановникъ такъ поступаетъ изъ желанія популярности, а нашему брату, разночинцу, изъ чего вилять? Да-съ, да-съ, я западникъ, я преданъ Европѣ; то-есть, говоря точнѣе, я преданъ образованности той самой образованности, надъ которою такъ мило у насъ теперь потѣшаются—цивилизаціи—да, да, это слово еще лучше—и люблю ее всѣмъ сердцемъ, и вѣрю въ нее, и другой вѣры у меня нѣтъ и не будетъ. Это слово: ци... ви...ли...зація (Потугинъ отчетливо, съ удареніемъ произнесъ каждый слогъ), и понятно, и чисто, и свято, а другія всѣ, народность тамъ, что ли, слава, кровью пахнутъ... Богъ съ ними!

— Ну, а Россію, Созонтъ Иванычъ, свою родину, вы любите?

Потугинъ провелъ рукой по лицу.

— *Я ее страстно* люблю; и страстно ее ненавижу.

Литвиновъ пожалъ плечами.

— Это старо, Созонтъ Иванычъ, это общее мѣсто.

— Такъ что же такое? Что̀ за бѣда? Вотъ чего испугались! Общее мѣсто! Я знаю много хорошихъ общихъ мѣстъ. Да вотъ, напримѣръ: свобода и порядокъ—извѣстное общее мѣсто. Что̀ жъ, по-вашему, лучше какъ у насъ: чиноначаліе и безурядица? И притомъ, развѣ всѣ эти фразы, отъ которыхъ такъ много пьянѣетъ молодыхъ головъ: презрѣнная буржуазія, souveraineté du peuple, право на работу; развѣ онѣ тоже не общія мѣста? А что̀ до любви, неразлучной съ ненавистью...

— Байроновщина, перебилъ Литвиновъ: — романтизмъ тридцатыхъ годовъ.

— Вы ошибаетесь, извините-съ; первый указалъ на подобное смѣшеніе чувствъ Катуллъ, римскій поэтъ Катуллъ *), двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ. Я это у него вычиталъ, потому что нѣсколько знаю по-латыни, вслѣдствіе моего, если смѣю такъ выразиться, духовнаго происхожденія. Да-съ; я и люблю и ненавижу свою Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вотъ ее покинулъ: нужно было провѣтриться немного, послѣ двадцатилѣтняго сидѣнія за казеннымъ столомъ, въ казенномъ зданіи; я покинулъ Россію, и здѣсь мнѣ очень пріятно и весело; но я скоро назадъ поѣду, я это чувствую. Хороша садовая земля... да не расти на ней морошкѣ!

— Вамъ весело, вамъ пріятно, и мнѣ здѣсь хорошо, сказалъ Литвиновъ: — и я сюда учиться пріѣхалъ: но это не мѣшаетъ мнѣ видѣть хоть бы вотъ подобныя штучки...— Онъ указалъ на двухъ проходившихъ лоретокъ, около которыхъ кривлялось и картавило нѣсколько членовъ Жокей-Клуба, и на игорную залу, набитую биткомъ, несмотря на позднее время дня.

— Да кто жъ вамъ сказалъ, что и я слѣпъ на это? подхватилъ Потугинъ. — Только извините меня, ваше за-

*) Odi et amo. Quare id faciam, fortasse, requiris?
Nescio: sed fieri sentio et excrucior.
Катуллъ, LXXXVI.

мѣчаніе напоминаетъ мнѣ торжествующія указанія нашихъ несчастныхъ журнальцевъ, во время крымской кампаніи, на недостатки англійскаго военнаго управленія, разоблаченные *Тэймсомъ*. Я самъ не оптимистъ, и все человѣческое, вся наша жизнь, вся эта комедія съ трагическимъ концомъ не представляется мнѣ въ розовомъ свѣтѣ; но зачѣмъ навязывать именно Западу то, что̀, быть-можетъ, коренится въ самой нашей человѣческой сути? Этотъ игорный домъ безобразенъ, точно; ну, а доморощенное наше шулерство, небось, красивѣе? Нѣтъ, любезнѣйшій Григорій Михайловичъ, будемте посмирнѣе, да потише: хорошій ученикъ видитъ ошибки своего учителя, но молчитъ о нихъ почтительно; ибо самыя эти ошибки служатъ ему въ пользу и наставляютъ его на прямой путь. А если вамъ непремѣнно хочется почесать зубки насчетъ гнилого Запада, то вотъ бѣжитъ рысцой князь Кокò; онъ, вѣроятно, спустилъ въ четверть часа за зеленымъ столомъ трудовой, вымученный оброкъ полутораста семействъ, нервы его раздражены, притомъ я видѣлъ, онъ сегодня у Маркса перелистывалъ брошюру Вѣльйо... Отличный вамъ будетъ собесѣдникъ!

— Да позвольте, позвольте, поспѣшно проговорилъ Литвиновъ, видя, что Потугинъ приподнимается съ мѣста.—Я князя Кокò знаю очень мало, и ужъ, конечно, предпочитаю бесѣду съ вами...

— Очень вамъ благодаренъ, перебилъ его Потугинъ, вставая и раскланиваясь:—но я уже такъ-таки многонько бесѣдовалъ съ вами, то-есть собственно говорилъ я одинъ, а вы, вѣроятно, сами по себѣ замѣтили, что человѣку всегда какъ-то совѣстно и неловко становится, когда онъ много наговоритъ—одинъ. Особенно такъ, съ перваго раза: вотъ, молъ, я каковъ, посмотри! До пріятнаго свиданья... А я, повторяю, очень радъ моему знакомству съ вами.

— Да постойте, Созонтъ Иванычъ, скажите по крайней мѣрѣ, гдѣ вы живете и долго ли здѣсь намѣрены остаться?

Потугина какъ будто слегка покоробило.

— *Съ недѣлю я* еще останусь въ Баденѣ, а впрочемъ,

мы можемъ сходиться вотъ тутъ, у Вебера или у Маркса. А не то я къ вамъ зайду.

— Все-таки мнѣ нужно знать вашъ адресъ.

— Да. Но вотъ что: я не одинъ.

— Вы женаты? внезапно спросилъ Литвиновъ.

— Нѣтъ, помилуйте... зачѣмъ такъ несообразно говорить?.. Но со мной дѣвица.

— А! съ вѣжливою ужимкой, какъ бы извиняясь, промолвилъ Литвиновъ и потупилъ глаза.

— Ей всего шесть лѣтъ, продолжалъ Потугинъ.—Она сирота... дочь одной дамы... одной моей хорошей знакомой. Ужъ мы лучше будемъ сходиться здѣсь. Прощайте-съ.

Онъ нахлобучилъ шляпу на свою курчавую голову, и быстро удалился, мелькнувъ раза два подъ газовыми рожками, довольно скупо освѣщающими дорогу, ведущую къ Лихтенталевской аллеѣ.

VI.

„Странный человѣкъ!“ думалъ Литвиновъ, направляясь къ гостиницѣ, въ которой остановился: „странный человѣкъ! Надо будетъ отыскать его“. Онъ вошелъ въ свою комнату: письмо на столѣ бросилось ему въ глаза. „А! отъ Тани!“ подумалъ онъ и заранѣе обрадовался; но письмо было изъ деревни, отъ отца. Литвиновъ сломилъ крупную гербовую печать и принялся-было читать... Сильный, очень пріятный и знакомый запахъ поразилъ его. Онъ оглянулся и увидѣлъ на окнѣ въ стаканѣ воды большой букетъ свѣжихъ геліотроповъ. Литвиновъ нагнулся къ нимъ не безъ удивленія, потрогалъ ихъ, понюхалъ... Что-то какъ будто вспомнилось ему, что-то весьма отдаленное... но что именно, онъ не могъ придумать. Онъ позвонилъ слугу и спросилъ его, откуда взялись эти цвѣты? Слуга отвѣчалъ, что ихъ принесла дама, которая не хотѣла назваться, но сказала, что онъ-молъ, „герръ Злуитенгофъ“, по самымъ этимъ цвѣтамъ непремѣнно долженъ догадаться, кто она такая. Литвинову опять какъ будто что-то вспомнилось... Онъ спросилъ *у слуги*, какой наружности была дама?

Слуга объяснилъ, что она была высокаго роста и прекрасно одѣта, а на лицѣ имѣла вуаль.

— Вѣроятно русская графиня, прибавилъ онъ.

— Почему вы такъ полагаете? спросилъ Литвиновъ.

— Она мнѣ дала два гульдена, отвѣтилъ слуга и осклабился.

Литвиновъ услалъ его и долго потомъ стоялъ въ раздумьи передъ окномъ; наконецъ однако махнулъ рукой и снова принялся за письмо изъ деревни. Отецъ изливалъ въ немъ свои обычныя жалобы, увѣрялъ, что хлѣба никто даже даромъ не беретъ, что люди вышли вовсе изъ повиновенія и что, вѣроятно, скоро наступитъ конецъ свѣта. „Вообрази ты себѣ“, писалъ онъ между прочимъ: „послѣдняго моего кучера, калмычонка, помнишь? испортили, и непремѣнно такъ бы и пропалъ человѣкъ, и ѣздить было бы не съ кѣмъ, да, спасибо, добрые люди надоумили и посовѣтовали отослать больного въ Рязань къ священнику, извѣстному мастеру противъ порчи; и лѣченіе дѣйствительно удалось какъ нельзя лучше, въ подтвержденіе чего прилагаю письмо самого батюшки, яко документъ“. Литвиновъ съ любопытствомъ пробѣжалъ этотъ „документъ“. Въ немъ обозначалось, что: „дворовый человѣкъ Никаноръ Дмитріевъ былъ одержимъ болѣзнію, по медицинской части недоступною; и эта болѣзнь зависящая отъ злыхъ людей; а причиной онъ самъ, Никаноръ, ибо свое обѣщаніе передъ нѣкою дѣвицей не исполнилъ, а потому она черезъ людей сдѣлала его никуда неспособнымъ, и еслибъ не я въ этихъ обстоятельствахъ объявился ему помощникомъ, то онъ долженъ былъ совершенно погибнуть, какъ червь капустная; но азъ, надѣясь на Всевидящее Око, сдѣлался ему подпорой въ его жизни; а какъ я оное совершилъ, сіе есть тайна; а ваше благородіе прошу, чтобъ оной дѣвицѣ впредь такими злыми качествами не заниматься, и даже пригрозить не мѣшаетъ, а то она опять можетъ надъ нимъ злодѣйствовать“. Задумался Литвиновъ надъ этимъ документомъ; повѣяло на него степною глушью, слѣпымъ мракомъ заплѣснѣвшей жизни, и чудно показалось ему, что онъ прочелъ *это письмо* именно въ Баденѣ. Между тѣмъ полночь

уже давно пробила; Литвиновъ легъ въ постель и задулъ свѣчу. Но онъ не могъ заснуть; видѣнныя имъ лица, слышанныя имъ рѣчи то-и-дѣло вертѣлись и кружились, странно сплетаясь и путаясь, въ его горячей, отъ табачнаго дыма разболѣвшейся головѣ. То чудилось ему мычанье Губарева и представлялись его внизъ устремленные глаза съ ихъ тупымъ и упрямымъ взглядомъ; то вдругъ эти самые глаза разгорались и прыгали, и онъ узнавалъ Суханчикову, слышалъ ея трескучій голосъ, и невольно, шопотомъ, повторялъ за нею: „дала, дала пощечину“; то выдвигалась передъ нимъ нескладная фигура Потугина, и онъ въ десятый, въ двадцатый разъ припоминалъ каждое его слово; то, какъ куколка изъ табакерки, выскакивалъ Ворошиловъ въ своемъ общелкнутомъ пальто, сидѣвшемъ на немъ какъ новый мундирчикъ, и Пищалкинъ мудро и важно кивалъ отлично-выстриженною и дѣйствительно благонамѣренною головой; а тамъ Биндасовъ гаркалъ и ругался, и Бамбаевъ восторгался слезливо... А главное: этотъ запахъ, неотступный, неотвязный, сладкій, тяжелый запахъ не давалъ ему покоя, и все сильнѣй и сильнѣй разливался въ темнотѣ, и все настойчивѣе напоминалъ ему что-то, чего онъ никакъ уловить не могъ... Литвинову пришло въ голову, что запахъ цвѣтовъ вреденъ для здоровья ночью въ спальнѣ, и онъ всталъ, ощупью добрелъ до букета и вынесъ его въ сосѣднюю комнату; но и оттуда проникалъ къ нему въ подушку, подъ одѣяло, томительный запахъ, и онъ тоскливо переворачивался съ боку на бокъ. Уже лихорадка начинала подкрадываться къ нему; уже священникъ, „мастеръ противъ порчи“, два раза, въ видѣ очень прыткаго зайца съ бородой и косичкой, перебѣжалъ ему дорогу, и сидя въ огромномъ генеральскомъ султанѣ, какъ въ кустѣ, соловьемъ защелкалъ передъ нимъ Ворошиловъ... какъ вдругъ онъ приподнялся съ постели и, всплеснувъ руками, воскликнулъ: „Неужели *она*, не можетъ быть!“

Но для того, чтобъ объяснить это восклицаніе Литвинова, мы должны попросить снисходительнаго читателя вернуться *съ нами за нѣсколько* лѣтъ назадъ...

VII.

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ проживало въ Москвѣ, въ весьма стѣсненныхъ обстоятельствахъ, чуть не въ бѣдности, многочисленное семейство князей Осининыхъ. То были настоящіе, не татаро-грузинскіе, а чистокровные князья, Рюриковичи; имя ихъ часто встрѣчается въ нашихъ лѣтописяхъ при первыхъ московскихъ великихъ князьяхъ, русской земли собирателяхъ; они владѣли обширными вотчинами и многими помѣстьями, неоднократно были жалованы за „работы и кровь и увѣчья“, засѣдали въ думѣ боярской, одинъ изъ нихъ даже писался съ „вичемъ“; но попали въ опалу по вражьему наговору въ „вѣдунствѣ и кореньяхъ“; ихъ разорили „страшно и всеконечно“, отобрали у нихъ честь, сослали ихъ въ мѣста заглазныя; рухнули Осинины и уже не справились, не вошли снова въ силу; опалу съ нихъ сняли со временемъ и даже „московскій дворишко“ и „рухлядишку“ возвратили, но ничто не помогло. Забѣднялъ, „захудалъ“ ихъ родъ—не поднялся ни при Петрѣ, ни при Екатеринѣ, и все мельчая и понижаясь, считалъ уже частныхъ управляющихъ, начальниковъ винныхъ конторъ и квартальныхъ надзирателей въ числѣ своихъ членовъ. Семейство Осининыхъ, о которомъ у насъ зашла рѣчь, состояло изъ мужа, жены и пяти человѣкъ дѣтей. Проживало оно около Собачьей-Площадки, въ одно-этажномъ деревянномъ домикѣ, съ полосатымъ парадным крылечкомъ на улицу, зелеными львами на воротахъ и прочими дворянскими затѣями, и едва-едва сводило концы съ концами, должая въ овощную лавочку и частенько сидя безъ дровъ и безъ свѣчъ по зимамъ. Самъ князь былъ человѣкъ вялый и глуповатый, нѣкогда красавецъ и франтъ, но совершенно опустившійся; ему, не столько изъ уваженія къ его имени, сколько изъ вниманія къ его женѣ, бывшей фрейлинѣ, дали одно изъ московскихъ старозавѣтныхъ мѣстъ съ небольшимъ жалованьемъ, мудренымъ названіемъ и безо всякаго дѣла; онъ ни во что не *вмѣшивался* и только курилъ съ утра до вечера, не вы-

ходя изъ шлафрока и тяжело вздыхая. Супруга его была женщина больная и озлобленная, постоянно озабоченная хозяйственными дрязгами, помѣщеніемъ дѣтей въ казенныя заведенія и поддержкой петербургскихъ связей; она никакъ не могла свыкнуться съ своимъ положеніемъ и удаленіемъ отъ двора.

Отецъ Литвинова, въ бытность свою въ Москвѣ, познакомился съ Осиниными, имѣлъ случай оказать имъ нѣкоторыя услуги, далъ имъ однажды рублей триста взаймы; и сынъ его, будучи студентомъ, часто къ нимъ навѣдывался: кстати жъ его квартира находилась не въ дальнемъ разстояніи отъ ихъ дома. Но не близость сосѣдства привлекала его, не плохія удобства ихъ образа жизни его соблазняли: онъ сталъ часто посѣщать Осининыхъ съ тѣхъ поръ, какъ влюбился въ ихъ старшую дочь, Ирину.

Ей минуло тогда семнадцать лѣтъ; она только что оставила институтъ, откуда мать ее взяла по непріятности съ начальницей. Непріятность произошла отъ того, что Ирина должна была произнести на публичномъ актѣ привѣтственные стихи попечителю на французскомъ языкѣ, а передъ самымъ актомъ ее смѣнила другая дѣвица, дочь очень богатаго откупщика. Княгиня не могла переварить этотъ аффронтъ; да и сама Ирина не простила начальницѣ ея несправедливости; она уже заранѣе мечтала о томъ, какъ на виду всѣхъ, привлекая всеобщее вниманіе, она встанетъ, скажетъ свою рѣчь, и какъ Москва потомъ заговоритъ о ней... И точно: Москва вѣроятно заговорила бы объ Иринѣ. Это была дѣвушка высокая, стройная, съ нѣсколько впалою грудью и молодыми узкими плечами, съ рѣдкою въ ея лѣта блѣдно-матовою кожей, чистою и гладкою какъ фарфоръ, съ густыми бѣлокурыми волосами: ихъ темныя пряди оригинально перемежались другими, свѣтлыми. Черты ея лица, изящно, почти изысканно правильныя, не вполнѣ еще утратили то простодушное выраженіе, которое свойственно первой молодости; но въ медлительныхъ наклоненіяхъ ея красивой шейки, въ улыбкѣ, не то разсѣянной, не то усталой, сказывалась нервическая *барышня*, а въ самомъ рисункѣ этихъ, чуть

улыбавшихся, тонкихъ губъ, этого небольшого, орлинаго, нѣсколько сжатаго носа было что-то своевольное и страстное, что-то опасное и для другихъ, и для нея. Поразительны, истинно поразительны были ея глаза, изъ-черна сѣрые, съ зеленоватыми отливами, съ поволокой, длинные, какъ у египетскихъ божествъ, съ лучистыми рѣсницами и смѣлымъ взмахомъ бровей. Странное выраженіе было у этихъ глазъ: они какъ будто глядѣли, внимательно и задумчиво глядѣли изъ какой-то невѣдомой глубины и дали. Въ институтѣ Ирина слыла за одну изъ лучшихъ ученицъ по уму и способностямъ, но съ характеромъ непостояннымъ, властолюбивымъ и съ бѣдовою головой; одна классная дама напророчила ей, что ея страсти ее погубятъ — „vos passions vous perdront“; зато другая классная дама ее преслѣдовала за холодность и безчувственность, и называла ее „une jeune fille sans coeur“. Подруги Ирины находили ее гордою и скрытною, братья и сестры ея побаивались, мать ей не довѣряла, а отцу становилось неловко, когда она устремляла на него свои таинственные глаза; но и отцу и матери она внушала чувство невольнаго уваженія не въ силу своихъ качествъ, а въ силу особенныхъ, неясныхъ ожиданій, которыя она въ нихъ возбуждала, Богъ вѣдаетъ почему.

— Вотъ ты увидишь, Прасковья Даниловна, сказалъ однажды старый князь, вынимая чубукъ изо рта:—Аринка-то насъ еще вывезетъ.

Княгиня разсердилась и сказала мужу, что у него „des expressions insupportables“, но потомъ задумалась и повторила сквозь зубы:

— Да... и хорошо бы насъ вывезти.

Ирина пользовалась почти неограниченною свободою въ родительскомъ домѣ; ея не баловали, даже немного чуждались ея, но и не прекословили ей: она только того и хотѣла... Бывало, при какой-нибудь уже слишкомъ унизительной сценѣ: лавочникъ ли придетъ и станетъ кричать на весь дворъ, что ему ужъ надоѣло таскаться за своими же деньгами, собственные ли люди примутся *въ глаза бранить* своихъ господъ, что вы молъ за князья,

коли сами съ голоду въ кулакъ свищете, — Ирина даже бровью не пошевельнетъ и сидитъ неподвижно, со злою улыбкою на сумрачномъ лицѣ; а родителямъ ея одна улыбка горше всякихъ упрековъ, и чувствуютъ они себя виноватыми, безъ вины виноватыми, передъ этимъ существомъ, которому какъ будто съ самаго рожденія дано было право на богатство, на роскошь, на поклоненіе.

Литвиновъ влюбился въ Ирину, какъ только увидалъ ее (онъ былъ всего тремя годами старше ея), но долгое время не могъ добиться не только взаимности, но и вниманія. На ея обращеніи съ нимъ лежалъ даже отпечатокъ какой-то враждебности; точно онъ обидѣлъ ее, и она глубоко затаила обиду, а простить ея не могла. Онъ былъ слишкомъ молодъ и скроменъ въ то время, чтобы понять, что могло скрываться подъ этою враждебною, почти презрительною суровостью. Бывало, забывъ лекціи и тетради, сидитъ онъ въ невеселой гостиной Осининскаго дома, сидитъ и украдкой смотритъ на Ирину: сердце въ немъ медленно и горестно таетъ и давитъ ему грудь; а она какъ будто сердится, какъ будто скучаетъ, встанетъ, пройдется по комнатѣ, холодно посмотритъ на него, какъ на столъ или на стулъ, пожметъ плечомъ и скреститъ руки; или въ теченіе цѣлаго вечера, даже разговаривая съ Литвиновымъ, нарочно ни разу не взглянетъ на него, какъ бы отказывая ему и въ этой милостынѣ; или, наконецъ, возьметъ книжку и уставится въ нее, не читая, хмурится и кусаетъ губы, а не то вдругъ громко спроситъ у отца или у брата: какъ по-нѣмецки терпѣніе? Онъ попытался вырваться изъ заколдованнаго круга, въ которомъ мучился и бился безустанно, какъ птица, попавшая въ западню; онъ отлучился на недѣлю изъ Москвы. Чуть не сошедъ съ ума отъ тоски и скуки, весь исхудалый, больной, вернулся онъ къ Осининымъ... Странное дѣло! Ирина тоже замѣтно похудѣла за эти дни, лицо ея пожелтѣло, щеки осунулись... но встрѣтила она его съ большей еще холодностью, съ почти злораднымъ небреженіемъ, точно онъ еще увеличилъ ту тайную обиду, которую ей нанесъ... Такъ *мучила она его* мѣсяца два. Потомъ въ одинъ

день все измѣнилось. Словно вспыхнула пожаромъ, словно грозовою тучею налетѣла любовь. Однажды — онъ долго помнилъ этотъ день—онъ опять сидѣлъ въ гостиной Осининыхъ у окна и смотрѣлъ безсмысленно на улицу, и досадно ему было, и скучно, и презиралъ онъ самого себя, и съ мѣста двинуться онъ не могъ... Казалось, теки рѣка тутъ же подъ окномъ, бросился бы онъ въ нее съ ужасомъ, но безъ сожалѣнія. Ирина помѣстилась недалеко отъ него и какъ-то странно молчала и не шевелилась. Она уже нѣсколько дней не говорила съ нимъ вовсе, да и ни съ кѣмъ она не говорила; все сидѣла, подпершись руками, словно недоумѣвала, и лишь изрѣдка медленно осматривалась кругомъ. Это холодное томленіе пришлось, наконецъ, не въ мочь Литвинову; онъ всталъ и, не прощаясь, началъ искать свою шапку. „Останьтесь“, послышался вдругъ тихій шопотъ. Сердце дрогнуло въ Литвиновѣ, онъ не сразу узналъ голосъ Ирины: что-то небывалое прозвучало въ одномъ этомъ словѣ. Онъ поднялъ голову и остолбенѣлъ: Ирина ласково, да, ласково, глядѣла на него. „Останьтесь“, повторила она: „не уходите. Я хочу быть съ вами“. Она еще понизила голосъ. „Не уходите... я хочу“. Ничего не понимая, не сознавая хорошенько, что онъ дѣлаетъ, онъ приблизился къ ней, протянулъ руки... Она тотчасъ подала ему обѣ свои, потомъ улыбнулась, вспыхнула вся, отвернулась, и не переставая улыбаться, вышла изъ комнаты... Черезъ нѣсколько минутъ она возвратилась вмѣстѣ съ младшею сестрой, опять взглянула на него тѣмъ же долгимъ и кроткимъ взглядомъ и усадила его возлѣ себя... Сперва она ничего не могла сказать: только вздыхала и краснѣла; потомъ начала, словно робѣя, разспрашивать его объ его занятіяхъ, чего она прежде никогда не дѣлала. Вечеромъ того же дня она нѣсколько разъ принималась извиняться передъ нимъ въ томъ, что не умѣла оцѣнить его до сихъ поръ, увѣряла его, что она теперь совсѣмъ другая стала, удивила его внезапною республиканскою выходкой—(онъ въ то время благоговѣлъ передъ Робеспьеромъ и не дерзалъ громко *осуждать Марата*), а недѣлю спустя, онъ ужъ зналъ, что

она его полюбила. Да; онъ долго помнилъ тотъ первый день... но не забылъ онъ также и послѣдующихъ,— тѣхъ дней, когда еще силясь сомнѣваться и боясь повѣрить, онъ съ замираніями восторга, чуть не испуга, видѣлъ ясно, какъ нарождалось, росло, и неотразимо захватывая все передъ собою, нахлынуло, наконецъ, неожиданное счастье. Наступили свѣтлыя мгновенья первой любви, мгновенья, которымъ не суждено, да и не слѣдуетъ повторяться въ одной и той же жизни. Ирина стала вдругъ повадлива какъ овечка, мягка какъ шелкъ и безконечно добра; принялась давать уроки своимъ младшимъ сестрамъ,—не на фортепіано,—она не была музыкантшей,— но во французскомъ языкѣ, въ англійскомъ; читала съ ними ихъ учебники, входила въ хозяйство; все ее забавляло, все занимало ее; она то болтала безъ умолку, то погружалась въ безмолвное умиленіе; строила различные планы, пускалась въ нескончаемыя предположенія о томъ, что она будетъ дѣлать, когда выйдетъ замужъ за Литвинова (они нисколько не сомнѣвались въ томъ, что бракъ ихъ состоится), какъ они станутъ вдвоемъ... „Трудиться?“ подсказывалъ Литвиновъ... „Да, трудиться“, повторяла Ирина: „читать... но главное путешествовать“. Ей особенно хотѣлось оставить поскорѣе Москву, и когда Литвиновъ представлялъ ей, что онъ еще не кончилъ курса въ университетѣ, она каждый разъ, подумавъ немного, возражала, что можно доучиться въ Берлинѣ или... тамъ гдѣ-нибудь. Ирина мало стѣснялась въ выраженіи чувствъ своихъ, а потому для князя и княгини расположеніе ея къ Литвинову оставалось тайной не долго. Обрадоваться они не обрадовались, но, сообразивъ всѣ обстоятельства, не сочли нужнымъ наложить тотчасъ свое „veto“. Состояніе Литвинова было порядочное... „Но фамилія, фамилія!..“ замѣчала княгиня. „Ну, конечно, фамилія“, отвѣчалъ князь: „да все жъ онъ не разночинецъ, а главное: вѣдь Ирина не послушается насъ. Развѣ было когда-нибудь, чтобъ она не сдѣлала того, чего захотѣла? Vous connaissez sa violence! Притомъ же опредѣлительнаго еще ничего нѣтъ“. Такъ *разсуждалъ князь, и* тутъ же, однако, мысленно при-

бавилъ: „Мадамъ Литвинова—и только? Я ожидалъ другого“. Ирина вполнѣ завладѣла своимъ будущимъ женихомъ, да и онъ самъ охотно отдался ей въ руки. Онъ словно попалъ въ водоворотъ, словно потерялъ себя... И жутко ему было, и сладко, и ни о чемъ онъ не жалѣлъ, и ничего не берегъ. Размышлять о значеніи, объ обязанностяхъ супружества, о томъ, можетъ ли онъ, столь безвозвратно покоренный, быть хорошимъ мужемъ, и какая выйдетъ изъ Ирины жена, и правильны ли отношенія между ними—онъ не могъ рѣшить; кровь его загорѣлась, и онъ зналъ одно: идти за нею, съ нею, впередъ и безъ конца, а тамъ будь что будетъ! Но несмотря на всякое отсутствіе сопротивленія со стороны Литвинова, на избытокъ порывистой нѣжности со стороны Ирины, дѣло все-таки не обошлось безъ нѣкоторыхъ недоразумѣній и толчковъ. Однажды онъ забѣжалъ къ ней прямо изъ университета въ старомъ сюртукѣ, съ руками запачканными въ чернилахъ. Она бросилась къ нему навстрѣчу съ обычнымъ ласковымъ привѣтомъ, и вдругъ остановилась.

— У васъ нѣтъ перчатокъ, съ разстановкою проговорила она, и тотчасъ же прибавила:—фи! какой вы... студентъ!

— Вы слишкомъ впечатлительны, Ирина, замѣтилъ Литвиновъ.

— Вы... настоящій студентъ, повторила она: — vous n'êtes pas distingué.

И повернувшись къ нему спиной, она вышла вонъ изъ комнаты. Правда, часъ спустя, она умоляла его простить ее... Вообще, она охотно казнилась и винилась передъ нимъ; только—странное дѣло! она часто, чуть не плача, обвиняла себя въ дурныхъ побужденіяхъ, которыхъ не имѣла, и упорно отрицала свои дѣйствительные недостатки. Въ другой разъ онъ засталъ ее въ слезахъ, съ головою опертою на руки, съ распущенными локонами; и когда, весь перетревоженный, онъ спросилъ о причинѣ ея печали, она молча указала пальцемъ себѣ на грудь. Литвиновъ невольно вздрогнулъ. „Чахотка“! мелькнуло у него *въ головѣ*, и онъ схватилъ ее за руку.

— *Ты больна*? произнесъ онъ трепетнымъ голосомъ

(они ужъ начали въ важныхъ случаяхъ говорить „ты“ другъ другу).—Такъ я сейчасъ за докторомъ...

Но Ирина не дала ему докончить, и съ досадой топнула ножкой.

— Я совершенно здорова... но это платье... развѣ вы не понимаете?

— Что такое?.. это платье... проговорилъ онъ съ недоумѣніемъ.

— Что такое? А то, что у меня другого нѣтъ, и что оно старое, гадкое, и я принуждена надѣвать это платье каждый день... даже когда ты... когда вы приходите... Ты, наконецъ, разлюбишь меня, видя меня такой замарашкой!

— Помилуй, Ирина, что ты говоришь! И платье это премилое... Оно мнѣ еще потому дорого, что я въ первый разъ въ немъ тебя видѣлъ.

Ирина покраснѣла.

— Не напоминайте мнѣ, пожалуйста, Григорій Михайловичъ, что у меня уже тогда не было другого платья.

— Но увѣряю васъ, Ирина Павловна, оно прелесть какъ идетъ къ вамъ.

— Нѣтъ, оно гадкое, гадкое, твердила она, нервически дергая свои длинные, мягкіе локоны.—Охъ, эта бѣдность, бѣдность, темнота! Какъ избавиться отъ этой бѣдности! Какъ выйти, выйти изъ темноты!

Литвиновъ не зналъ что̀ сказать и слегка отворотился.

Вдругъ Ирина вскочила со стула и положила ему обѣ руки на плечи.

— Но вѣдь ты меня любишь? Ты любишь меня? промолвила она, приблизивъ къ нему свое лицо, и глаза ея, еще полные слезъ, засверкали веселостью счастья. — Ты любишь меня и въ этомъ гадкомъ платьѣ?

Литвиновъ бросился передъ ней на колѣни.

— Ахъ, люби меня, люби меня, мой милый, мой спаситель, прошептала она, пригибаясь къ нему.

Такъ дни неслись, проходили недѣли, и хотя никакихъ еще не произошло формальныхъ объясненій, хотя Литвиновъ все еще медлилъ съ своимъ запросомъ, конечно, не *по собственному желанію*, а въ ожиданіи повелѣнія отъ

Ирины (она какъ-то разъ замѣтила, что мы-де оба смѣшно молоды, надо хоть нѣсколько недѣль еще къ нашимъ годамъ прибавить); но уже все подвигалось къ развязкѣ, и ближайшее будущее обозначалось яснѣй и яснѣй, какъ вдругъ совершилось событіе, разсѣявшее, какъ легкую дорожную пыль, всѣ тѣ предположенія и планы.

VIII.

Въ ту зиму дворъ посѣтилъ Москву. Одни празднества смѣнялись другими; наступилъ чередъ и обычному большому балу въ Дворянскомъ Собраніи. Вѣсть объ этомъ балѣ, правда, въ видѣ объявленія въ *Полицейскихъ Вѣдомостяхъ*, дошла и до домика на Собачьей-Площадкѣ. Князь всполошился первый; онъ тотчасъ рѣшилъ, что надо непремѣнно ѣхать и везти Ирину, что непростительно упускать случай видѣть своихъ государей, что для столбовыхъ дворянъ въ этомъ заключается даже своего рода обязанность. Онъ настаивалъ на своемъ мнѣніи съ особеннымъ, вовсе ему не свойственнымъ жаромъ; княгиня до нѣкоторой степени соглашалась съ нимъ и только вздыхала объ издержкахъ; но рѣшительное сопротивленіе оказала Ирина. „Не нужно, не поѣду“, отвѣчала она на всѣ родительскіе доводы. Ея упорство приняло такіе размѣры, что старый князь рѣшился, наконецъ, попросить Литвинова постараться уговорить ее, представивъ ей, въ числѣ другихъ „резоновъ“, что молодой дѣвушкѣ неприлично дичиться свѣта, что слѣдуетъ „и это испытать“, что ужъ и такъ ее никто нигдѣ не видитъ. Литвиновъ взялся представить ей эти „резоны“. Ирина пристально и внимательно посмотрѣла на него, такъ пристально и такъ внимательно, что онъ смутился, и поигравъ концами своего пояса, спокойно промолвила:

— Вы этого желаете? вы?

— Да... я полагаю, отвѣчалъ съ запинкой Литвиновъ.— Я согласенъ съ вашимъ батюшкой... Да и почему вамъ не поѣхать... людей посмотрѣть и себя показать, прибавилъ *онъ съ* короткимъ смѣхомъ.

— *Себя показать*, медленно повторила она.— Ну, хо-

рошо, я поѣду... Только помните, вы сами этого желали.

— То-есть, я... началъ-было Литвиновъ.

— Вы сами этого желали, перебила она.—И вотъ еще одно условіе: вы должны мнѣ обѣщать, что васъ на этомъ балѣ не будетъ.

— Но отчего же?

— Мнѣ такъ хочется.

Литвиновъ разставилъ руки.

— Покоряюсь... но, признаюсь, мнѣ было бы такъ весело видѣть васъ во всемъ великолѣпіи, быть свидѣтелемъ того впечатлѣнія, которое вы непремѣнно произведете... Какъ бы я гордился вами! прибавилъ онъ со вздохомъ.

Ирина усмѣхнулась.

— Все это великолѣпіе будетъ состоять въ бѣломъ платьѣ, а что до впечатлѣнія... Ну, словомъ, я такъ хочу.

— Ирина, ты какъ будто сердишься?

Ирина усмѣхнулась опять.

— О, нѣтъ! Я не сержусь. Только ты... (Она вперила въ него свои глаза, и ему показалось, что онъ еще никогда не видалъ въ нихъ такого выраженія.) Можетъ-быть, это нужно, прибавила она вполголоса.

— Но, Ирина, ты меня любишь?

— Я люблю тебя, отвѣтила она съ почти торжественною важностью и крѣпко, по-мужски, пожала ему руку.

Всѣ слѣдующіе дни Ирина тщательно занималась своимъ туалетомъ, своею прической; наканунѣ бала она чувствовала себя нездоровою, не могла усидѣть на мѣстѣ, всплакнула раза два въ одиночку: при Литвиновѣ она какъ-то однообразно улыбалась... впрочемъ, обходилась съ нимъ попрежнему нѣжно, но разсѣянно, и то-и-дѣло посматривала на себя въ зеркало. Въ самый день бала она была очень молчалива и блѣдна, но спокойна. Часу въ девятомъ вечера Литвиновъ пришелъ посмотрѣть на нее. Когда она вышла къ нему въ бѣломъ тарлатановомъ платьѣ, съ вѣткой небольшихъ синихъ цвѣтовъ въ слегка приподнятыхъ волосахъ, онъ такъ и ахнулъ: до того она ему показалась прекрасною и величественною, ужъ точно не *по лѣтамъ*. „*Да, она* выросла съ утра", подумалъ

онъ: — „и какая осанка! Что значитъ, однако, порода?“ Ирина стояла передъ нимъ съ опущенными руками, не улыбаясь и не жеманясь, и глядѣла рѣшительно, почти смѣло, не на него, а куда-то вдаль, прямо передъ собою.

— Вы точно сказочная царевна, промолвилъ наконецъ Литвиновъ:—или нѣтъ: вы какъ полководецъ передъ сраженіемъ, передъ побѣдой... Вы не позволяли мнѣ ѣхать на этотъ балъ,—продолжалъ онъ, между тѣмъ какъ она попрежнему не шевелилась, и не то чтобы не слушала его, а слѣдила за другою, внутреннею рѣчью:—но вы не откажетесь принять отъ меня и взять съ собою эти цвѣты?

Онъ подалъ ей букетъ изъ геліотроповъ.

Она быстро взглянула на Литвинова, протянула руку, и внезапно схвативъ конецъ вѣтки, украшавшей ея голову, промолвила:

— Хочешь? Скажи только слово, и я сорву все это и останусь дома.

У Литвинова сердце такъ и покатилось. Рука Ирины уже срывала вѣтку...

— Нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ же, подхватилъ онъ торопливо, въ порывѣ благодарныхъ и великодушныхъ чувствъ: — я не эгоистъ, зачѣмъ стѣснять свободу... когда я знаю, что твое сердце...

— Ну, такъ не подходите, платье изомнете, поспѣшно проговорила она.

Литвиновъ смѣшался.

— А букетъ возьмете? спросилъ онъ.

— Конечно: онъ очень милъ, и я очень люблю этотъ запахъ. Мегсі... Я его сохраню на память...

— Перваго вашего выѣзда, замѣтилъ Литвиновъ:—перваго вашего торжества.

Ирина посмотрѣла на себя въ зеркало черезъ плечо, чуть согнувши станъ.

— И будто я въ самомъ дѣлѣ такъ хороша? Вы не пристрастны?

Литвиновъ разсыпался въ восторженныхъ похвалахъ. *Но Ирина уже* не слушала его и, поднеся букетъ къ *лицу, опять глядѣла* куда-то вдаль, своими страннымъ,

словно потемнѣвшими и расширенными глазами, а покоробленные легкимъ движеніемъ воздуха концы тонкихъ лентъ слегка приподнимались у ней за плечами, словно крылья.

Появился князь, завитой, въ бѣломъ галстукѣ, черномъ полиняломъ фракѣ и съ владимірскою лентой дворянской медали въ петлицѣ; за нимъ вошла княгиня въ шелковомъ платье шине, стараго покроя, и съ тою суровою заботливостію, подъ которою матери стараются скрыть свое волненіе, оправила сзади дочь, то-есть, безо всякой нужды встряхнула складками ея платья. Четверомѣстный ямской рыдванъ, запряженный двумя мохнатыми клячами, подползъ къ крыльцу, скрипя колесами по сугробамъ неразметаннаго снѣга, и тщедушный лакей въ неправдоподобной ливреѣ выскочилъ изъ передней и съ нѣкоторою отчаянностью доложилъ, что карета готова... Благословивъ на ночь оставшихся дѣтей и облачившись въ мѣховыя одежды, князь и княгиня направились къ крыльцу; Ирина въ жиденькомъ, коротенькомъ салопчикѣ,—ужъ какъ же ненавидѣла она этотъ салопчикъ!—молча послѣдовала за ними. Провожавшій ихъ Литвиновъ надѣялся получить прощальный взглядъ отъ Ирины, но она сѣла въ карету, не оборачивая головы.

Около полуночи онъ прошелся подъ окнами Собранія. Безчисленные огни громадныхъ люстръ сквозили свѣтлыми точками изъ-за красныхъ занавѣсей и по всей площади, заставленной экипажами, пахальнымъ, праздничнымъ вызовомъ разносились звуки штраусовскаго вальса.

На другой день, часу въ первомъ, Литвиновъ отправился къ Осининымъ. Онъ засталъ дома одного князя, который тотчасъ же ему объявилъ, что у Ирины болитъ голова, что она лежитъ въ постели и не встанетъ до вечера, что, впрочемъ, такое разстройство нимало не удивительно послѣ перваго бала.

— C'est très naturel, vous savez, dans les jeunes filles, прибавилъ онъ по-французски, что̀ нѣсколько поразило Литвинова, который въ то же мгновеніе замѣтилъ, что на князѣ *былъ не шлафрокъ*, какъ обыкновенно, а сюртукъ.—

И притомъ, продолжалъ Осининъ:—какъ ей было не занемочь послѣ вчерашнихъ происшествій!

— Происшествій? пробормоталъ Литвиновъ.

— Да, да, происшествій, происшествій, de vrais événements. Вы не можете себѣ представить, Григорій Михайловичъ, quel succès elle a eu! Весь дворъ замѣтилъ ее! Князь Александръ Ѳедоровичъ сказалъ, что ей мѣсто не здѣсь, и что она напоминаетъ ему графиню Девонширскую... ну, вы знаете, ту... извѣстную... А старикъ Блазенкрампфъ объявилъ во всеуслышаніе, что Ирина — la reine du bal, и пожелалъ ей представиться; онъ и мнѣ представился, то-есть, онъ мнѣ сказалъ, что онъ меня помнитъ гусаромъ, и спрашивалъ, гдѣ я теперь служу. Презабавный этотъ графъ, и такой adorateur du beau sexe! Да что я! княгиня моя... и той не давали покоя: Наталья Никитишна сама съ ней заговаривала... чего больше? Ирина танцовала avec tous les meilleurs cavaliers; ужъ подводили мнѣ ихъ, подводили... я и счетъ потерялъ. Повѣрите ли: такъ всѣ и ходятъ толпами вокругъ насъ; въ мазуркѣ только ее и выбирали. Одинъ иностранный дипломатъ, узнавъ, что она москвичка, сказалъ Государю: „Sire“, сказалъ онъ:—„décidément c'est Moscou qui est le centre de votre empire!“ а другой дипломатъ прибавилъ: „C'est une vraie révolution, Sire“; révélation или révolution.... что-то въ этомъ родѣ. Да... да... это... это... я вамъ скажу: это было что-то необыкновенное.

— Ну, а сама Ирина Павловна? спросилъ Литвиновъ, у котораго во время княжеской рѣчи похолодѣли ноги и руки:—веселилась, казалась довольна?

— Конечно веселилась; еще бы ей не быть довольной! А впрочемъ, вы знаете, ея сразу не разберешь. Всѣ мнѣ говорятъ вчера: какъ это удивительно! jamais on ne dirait que mademoiselle votre fille est à son premier bal. Графъ Рейзенбахъ между прочимъ... да вы его навѣрное знаете...

— Нѣтъ, я его вовсе не знаю и не зналъ никогда.

— Двоюродный братъ моей жены...

— *Не* знаю я его.

— *Богачъ*, камергеръ, въ Петербургѣ живетъ, въ ходу

человѣкъ, въ Лифляндіи всѣмъ вертитъ. До сихъ поръ онъ нами пренебрегалъ... да вѣдь я за этимъ не гонюсь. J'ai l'humeur facile, comme vous savez. Ну, такъ вотъ онъ. Подсѣлъ къ Иринѣ, побесѣдовалъ съ ней четверть часа, не болѣе, и говоритъ, потомъ, моей княгинѣ: „Ma cousine", говоритъ, „votre fille est une perle; c'est une perfection; всѣ поздравляютъ меня съ такой племянницей..." А потомъ, я гляжу: подошелъ онъ къ... важной особѣ и говоритъ, а самъ все посматриваетъ на Ирину... ну, и особа посматриваетъ...

— И такъ-таки Ирина Павловна цѣлый день не покажется? опять спросилъ Литвиновъ.

— Да; у ней голова очень болитъ. Она велѣла вамъ кланяться и благодарить васъ за вашъ букетъ, qu'on a trouvé charmant. Ей нужно отдохнуть... Княгиня моя поѣхала съ визитами... да и я самъ, вотъ...

Князь закашлялся и засѣменилъ ногами, какъ бы затрудняясь, что́ еще прибавить. Литвиновъ взялъ шляпу, сказалъ, что не намѣренъ мѣшать ему и зайдетъ позже освѣдомиться о здоровьи, и удалился.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Осининскаго дома онъ увидѣлъ остановившуюся передъ полицейскою будкой щегольскую двумѣстную карету. Ливрейный, тоще щегольской лакей, небрежно нагнувшись съ козелъ, разспрашивалъ будочника изъ чухонцевъ, гдѣ здѣсь живетъ князь Павелъ Васильевичъ Осининъ. Литвиновъ заглянулъ въ карету: въ ней сидѣлъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, геморроидальной комплексіи, съ сморщеннымъ и надменнымъ лицомъ, греческимъ носомъ и злыми губами, закутанный въ соболью шубу, по всѣмъ признакамъ важный сановникъ.

IX.

Литвиновъ не сдержалъ своего обѣщанія зайти попозже; онъ сообразилъ, что лучше отложить посѣщеніе до слѣдующаго дня. Войдя, часовъ около двѣнадцати, въ слишкомъ знакомую гостиную, онъ нашелъ тамъ двухъ младшихъ княженъ, Викториньку и Клеопатриньку. Онъ поздоровался съ ними, потомъ спросилъ: легче ли Иринѣ Павловнѣ *и можно ли ее видѣть.*

— Ириночка уѣхала съ мамасей, отвѣчала Викторинька; она хотя и сюсюкала, но была бойчѣе своей сестры.

— Какъ... уѣхала? повторилъ Литвиновъ, и что-то тихо задрожало у него въ самой глубинѣ груди.—Развѣ... развѣ... развѣ она объ эту пору не занимается съ вами, не даетъ вамъ уроковъ?

— Ириночка теперь усь больсе намъ уроковъ давать не будетъ, отвѣчала Викторинька. — Теперь ужъ не будетъ, повторила за ней Клеопатринька.

— А папа́ вашъ дома? спросилъ Литвиновъ.

— И папаси нѣтъ дома, продолжала Викторинька:— а Ириночка нездорова: она всю ночь плакала, плакала...

— Плакала?

— Да, плакала... Мнѣ Егоровна сказала, и глаза у ней такіе красные, такъ они и распу-ухли...

Литвиновъ прошелся раза два по комнатѣ, чуть-чуть вздрагивая, словно отъ холода, и возвратился къ себѣ на квартиру. Онъ испытывалъ ощущеніе подобное тому, которое овладѣваетъ человѣкомъ, когда онъ смотритъ съ высокой башни внизъ: вся внутренность его замирала, и голова кружилась тихо и приторно. Тупое недоумѣніе и мышья бѣготня мыслей, неясный ужасъ и нѣмота ожиданія, и любопытство, странное, почти злорадное, въ сдавленномъ горлѣ горечь непролитыхъ слезъ, на губахъ усиліе пустой усмѣшки, и мольба безсмысленная, ни къ кому не обращенная... о, какъ это все было жестоко и унизительно безобразно! „Ирина не хочетъ меня видѣть“, безпрестанно вертѣлось у него въ головѣ; „это ясно; но почему же? Что̀ такое могло произойти на этомъ злополучномъ балѣ? И какъ же возможна вдругъ такая перемѣна? Такъ внезапно... (Люди безпрестанно видятъ, что смерть приходитъ внезапно, но привыкнуть къ ея внезапности никакъ не могутъ, и находятъ ее безсмысленною). Ничего мнѣ не велѣть сказать, не хотѣть объясниться со мною...“

— Григорій Михайлычъ, произнесъ чей-то напряженный голосъ надъ самымъ его ухомъ.

Литвиновъ встрепенулся и увидалъ передъ собою своего

человѣка съ запиской въ рукахъ. Онъ узналъ почеркъ Ирины... Еще не распечатавъ записки, онъ уже предчувствовалъ бѣду и склонилъ голову на грудь, и поднялъ плечи, какъ бы хоронясь отъ удара.

Онъ собрался наконецъ съ духомъ и разомъ разорвалъ кувертъ. На небольшомъ листикѣ почтовой бумаги стояли слѣдующія слова:

„Простите меня, Григорій Михайлычъ. Все кончено между нами: я переѣзжаю въ Петербургъ. Мнѣ ужасно тяжело, но дѣло сдѣлано. Видно, моя судьба... да нѣтъ, я не хочу оправдываться. Предчувствія мои сбылись. Простите меня, забудьте меня: я не стою васъ.

„Ирина".

„Будьте великодушны: не старайтесь меня увидѣть".

Литвиновъ прочелъ эти пять строкъ и медленно опустился на диванъ, словно кто пихнулъ его въ грудь. Онъ выронилъ записку, подпялъ ее, прочелъ снова, шепнулъ: „въ Петербургъ", снова ее выронилъ, и только. На него нашла даже тишина; онъ даже своими закинутыми назадъ руками поправилъ подушку подъ головой. „Убитые насмерть не мечутся", подумалъ онъ; „какъ налетѣло, такъ и улетѣло... Все это естественно; я всегда этого ожидалъ... (Онъ лгалъ передъ самимъ собою: онъ никогда ничего подобнаго не ожидалъ.) Плакала?.. Она плакала?.. О чемъ же она плакала? Вѣдь она не любила меня! Впрочемъ, все это понятно и согласно съ ея характеромъ. Она, она меня не стоитъ... Вотъ какъ!" (Онъ горько усмѣхнулся.) „Она сама не знала, какая въ ней таилась сила, ну, а убѣдившись въ ея дѣйствіи на балѣ, какъ же ей было остановиться на ничтожномъ студентѣ... все это понятно".

Но тутъ онъ вспомнилъ ея нѣжныя слова, ея улыбки и эти глаза, незабвенные глаза, которыхъ онъ никогда не увидитъ, которые и свѣтлѣли и таяли при одной встрѣчѣ съ его глазами; онъ вспомнилъ еще одно, быстрое, робкое, жгучее лобзаніе — и онъ вдругъ зарыдалъ, зарыдалъ судорожно, бѣшено, ядовито, перевернулся ничкомъ, и *захлебываясь и задыхаясь*, съ неистовымъ наслажденіемъ,

какъ бы жаждая растерзать и самого себя и все вокругъ себя, забилъ свое воспаленное лицо въ подушку дивана, укусилъ ее...

Увы! тотъ господинъ, кого Литвиновъ видѣлъ наканунѣ въ каретѣ, былъ именно двоюродный братъ княгини Осининой, богачъ и камергеръ, графъ Рейзенбахъ. Замѣтивъ впечатлѣніе, произведенное Ириной на высокопоставленныя лица, и мгновенно сообразивъ, какія, „mit etwas Accuratesse", изъ этого факта можно извлечь выгоды, графъ, какъ человѣкъ энергическій и умѣющій прислуживаться, тотчасъ составилъ свой планъ. Онъ рѣшился дѣйствовать быстро, по-наполеоновски. „Возьму эту оригинальную дѣвушку къ себѣ въ домъ", такъ размышлялъ онъ: „въ Петербургъ; сдѣлаю ее своею, чортъ возьми, наслѣдницей, ну, хоть не всего имѣнія; кстати жъ у меня нѣтъ дѣтей, она же мнѣ племянница, и графиня моя скучаетъ одна... Все же пріятнѣй, когда въ гостиной хорошенькое личико... Да, да; это такъ: es ist eine Idee, es ist eine Idee!" Надобно было ослѣпить, отуманить, поразить родителей.—„Имъ же ѣсть нечего", продолжалъ графъ свои размышленія, уже сидя въ каретѣ и направляясь къ Собачьей-Площадкѣ, „такъ, небось, упрямиться не станутъ. Не такіе же ужъ они чувствительные. Можно и сумму денегъ дать. А она? И она согласится. Медъ сладокъ... она его вчера лизнула. Это мой капризъ, положимъ; пускай же они имъ воспользуются... дураки. Я имъ скажу: такъ и такъ; рѣшайтесь. А не то я возьму другую; сироту—еще удобнѣе. Да или нѣтъ, двадцать четыре часа сроку, und damit Punctum".

Съ этими самыми словами на губахъ, предсталъ графъ передъ княземъ, котораго уже наканунѣ, на балѣ, предварилъ о своемъ посѣщеніи. О послѣдствіяхъ же этого посѣщенія, кажется, много распространяться не стоитъ. Графъ не ошибся въ своихъ расчетахъ: князь и княгиня дѣйствительно не упрямились и взяли сумму денегъ, и Ирина дѣйствительно согласилась, не давъ истечь назначенному сроку. Не легко ей было разорвать связь съ *Литвиновымъ; она* его любила, и, пославши ему записку,

чуть не слегла въ постель, безпрестанно плакала, похудѣла, пожелтѣла... Но со всѣмъ тѣмъ, мѣсяцъ спустя, княгиня отвезла ее въ Петербургъ и поселила у графа, поручивъ ее попеченіямъ графини, женщины очень доброй, но съ умомъ цыпленка и съ наружностью цыпленка.

А Литвиновъ бросилъ тогда университетъ и уѣхалъ къ отцу въ деревню. Мало-по-малу его рана зажила. Сперва онъ никакихъ свѣдѣній не имѣлъ объ Иринѣ, да онъ и избѣгалъ разговоровъ о Петербургѣ и петербургскомъ обществѣ. Потомъ понемногу начали бродить на ея счетъ слухи, не дурные, но странные; молва занялась ею. Имя княжны Осининой, окруженное блескомъ, отмѣченное особенною печатью, стало чаще и чаще упоминаться даже въ губернскихъ кружкахъ. Оно произносилось съ любопытствомъ, съ уваженіемъ, съ завистью, какъ произносилось нѣкогда имя графини Воротынской. Наконецъ, распространилась вѣсть объ ея замужествѣ. Но Литвиновъ едва обратилъ вниманіе на эту послѣднюю новинку: онъ былъ уже женихомъ Татьяны.

Теперь читателю, вѣроятно, понятно стало, что̀ именно вспомнилось Литвинову, когда онъ воскликнулъ: „неужели!“ а потому мы снова вернемся въ Баденъ и снова примемся за нить прерваннаго нами разсказа.

X.

Литвиновъ заснулъ очень поздно и спалъ не долго: солнце только-что встало, когда онъ поднялся съ постели. Видныя изъ его оконъ, вершины темныхъ горъ влажно багровѣли на ясномъ небѣ. „Какъ тамъ, должно-быть, свѣжо подъ деревьями!“ подумалось ему, и онъ поспѣшно одѣлся, разсѣянно глянулъ на букетъ, еще пышнѣе распустившійся за ночь, взялъ палку и отправился за „Старый Замокъ“, на извѣстныя „Скалы“. Утро обхватило его своею сильною и тихою лаской. Бодро дышалъ онъ, бодро двигался; здоровье молодости играло въ каждой его жилкѣ; сама земля словно подбрасывала его легкія ноги. Съ каждымъ шагомъ ему становилось все привольнѣе, все веселѣй: онъ шелъ *въ росистой тѣни*, по крупному песку доро-

жекъ, вдоль елокъ, по всѣмъ концамъ вѣтвей окаймленныхъ яркою зеленью весеннихъ отпрысковъ. „Эко славно какъ!“ то-и-дѣло твердилъ онъ про себя. Вдругъ послышались ему знакомые голоса: онъ глянулъ впередъ и увидалъ Ворошилова и Бамбаева, шедшихъ къ нему навстрѣчу. Его такъ и покоробило: какъ школьникъ отъ учителя, бросился онъ въ сторону и спрятался за кустъ... „Создатель!“ взмолился онъ, „пронеси соотчичей!“ Кажется, никакихъ бы денегъ въ это мгновенье не пожалѣлъ онъ, лишь бы они его не увидали... И они дѣйствительно не увидали его: Создатель пронесъ соотчичей мимо. Ворошиловъ своимъ кадетски-самодовольнымъ голосомъ толковалъ Бамбаеву о различныхъ „фазисахъ“ готической архитектуры, а Бамбаевъ только подмычивалъ одобрительно; замѣтно было, что Ворошиловъ уже давно пробираетъ его своими фазисами, и добродушный энтузіастъ начиналъ скучать. Долго, закусивъ губу и вытянувъ шею, прислушивался Литвиновъ къ удалявшимся шагамъ; долго звучали то гортанные, то носовые переливы наставительной рѣчи; наконецъ, все затихло. Литвиновъ вздохнулъ, вышелъ изъ своей засады и отправился далѣе.

Часа три пробродилъ онъ по горамъ. Онъ то покидалъ дорожку и перепрыгивалъ съ камня на камень, изрѣдка скользя по гладкому мху; то садился на обломокъ скалы подъ дубомъ или букомъ, и думалъ пріятныя думы, подъ немолчное шептаніе ручейковъ, заросшихъ папоротникомъ, подъ успокоительный шелестъ листьевъ, подъ звонкую пѣсенку одинокаго чернаго дрозда; легкая, тоже пріятная дремота подкрадывалась къ нему, словно обнимала его сзади, и онъ засыпалъ... но вдругъ улыбался и оглядывался: золото и зелень лѣса, лѣсного воздуха били мягко ему въ глаза—и онъ снова улыбался и снова закрывалъ ихъ. Ему захотѣлось позавтракать, и онъ направился къ Старому Замку, гдѣ за нѣсколько крейцеровъ можно получить стаканъ хорошаго молока съ кофеемъ. Но не успѣлъ онъ помѣститься за однимъ изъ бѣлыхъ крашеныхъ столиковъ, находящихся на платформѣ передъ замкомъ, какъ послышался тяжелый храпъ лошадей, и по-

явились три коляски, изъ которыхъ высыпало довольно многочисленное общество дамъ и кавалеровъ... Литвиновъ тотчасъ призналъ ихъ за русскихъ, хотя они всѣ говорили по-французски... потому что они говорили по-французски. Туалеты дамъ отличались изысканнымъ щегольствомъ; на кавалерахъ были сюртуки съ иголочки, но въ обтяжку и съ перехватомъ, что не совсѣмъ обыкновенно въ наше время, панталоны сѣрые съ искоркой, и городскія, очень глянцовитыя шляпы. Низенькій, черный галстукъ туго стягивалъ шею каждаго изъ этихъ кавалеровъ, и во всей ихъ осанкѣ сквозило нѣчто воинственное. Дѣйствительно, они были военные люди; Литвиновъ попалъ на пикникъ молодыхъ генераловъ, особъ высшаго общества и съ значительнымъ вѣсомъ. Значительность ихъ сказывалась во всемъ: въ ихъ сдержанной развязности, въ миловидно-величавыхъ улыбкахъ, въ напряженной разсѣянности взгляда, въ изнѣженномъ подергиваніи плечъ, покачиваніи стана и сгибаніи колѣнъ; она сказывалась въ самомъ звукѣ голоса, какъ бы любезно и гадливо благодарящаго подчиненную толпу. Всѣ эти воины были превосходно вымыты, выбриты, продушены насквозь какимъ-то истинно-дворянскимъ и гвардейскимъ запахомъ, смѣсью отличнѣйшаго сигарнаго дыма и удивительнѣйшаго пачули. И руки у всѣхъ были дворянскія, бѣлыя, большія, съ крѣпкими, какъ слоновая кость, ногтями; у всѣхъ усы такъ и лоснились, зубы сверкали, а тончайшая кожа отливала румянцемъ на щекахъ, лазурью на подбородкѣ. Иные изъ молодыхъ генераловъ были игривы, другіе задумчивы; но печать отмѣннаго приличія лежала на всѣхъ. Каждый, казалось, глубоко сознавалъ собственное достоинство, важность своей будущей роли въ государствѣ, и держалъ себя и строго и вольно, съ легкимъ оттѣнкомъ той рѣзвости, того „чортъ меня побери“, которые такъ естественно появляются во время заграничныхъ поѣздокъ. Разсѣвшись шумно и пышно, общество позвало засуетившихся кельнеровъ. Литвиновъ поторопился допить стаканъ молока, расплатился и, нахлобучивъ шляпу, уже проскользнулъ-было мимо генеральскаго *пикника...*

— Григорій Михайлычъ, проговорилъ женскій голосъ.— Вы не узнаёте меня?

Онъ невольно остановился. Этотъ голосъ... Этотъ голосъ слишкомъ часто въ былое время заставлялъ биться его сердце... Онъ обернулся и увидалъ Ирину.

Она сидѣла у стола, и скрестивъ руки на спинкѣ отодвинутаго стула, склонивъ голову на бокъ и улыбаясь, привѣтливо, почти радостно глядѣла на него.

Литвиновъ тотчасъ ее узналъ, хотя она успѣла измѣниться съ тѣхъ поръ, какъ онъ видѣлъ ее въ послѣдній разъ, десять лѣтъ тому назадъ, хотя она изъ дѣвушки превратилась въ женщину. Ея тонкій станъ развился и расцвѣлъ, очертанія нѣкогда сжатыхъ плечъ напоминали теперь богинь, выступающихъ на потолкахъ старинныхъ итальянскихъ дворцовъ. Но глаза остались тѣ же, и Литвинову показалось, что они глядѣли на него такъ же, какъ и тогда, въ томъ небольшомъ московскомъ домикѣ.

— Ирина Павловна... проговорилъ онъ нерѣшительно.

— Вы узнали меня? Какъ я рада! какъ я... (Она остановилась, слегка покраснѣла и выпрямилась.) Это очень пріятная встрѣча, продолжала она уже по-французски. — Позвольте познакомить васъ съ моимъ мужемъ. Valérien, мсьё Литвиновъ, un ami d'enfance; Валеріанъ Владиміровичъ Ратмировъ, мой мужъ.

Одинъ изъ молодыхъ генераловъ, едва ли не самый изящный изо всѣхъ, привсталъ со стула и чрезвычайно вѣжливо раскланялся съ Литвиновымъ, между тѣмъ какъ остальные товарищи чуть-чуть насупились, или не столько насупились, сколько углубились на мигъ каждый въ самого себя, какъ бы заранѣе протестуя противъ всякаго сближенія съ постороннимъ штатскимъ, а другія дамы, участвовавшія въ пикникѣ, сочли за нужное и прищуриться немного, и усмѣхнуться, и даже изобразить недоумѣніе на лицахъ.

— Вы... Вы давно въ Баденѣ? спросилъ генералъ Ратмировъ, какъ-то не по-русски охорашиваясь и очевидно *не зная, о* чемъ бесѣдовать съ другомъ дѣтства жены.

— *Недавно*, отвѣчалъ Литвиновъ.

— И долго намѣрены остаться? продолжалъ учтивый генералъ.

— Я еще не рѣшилъ.

— А! Это очень пріятно... очень.

Генералъ умолкъ. Литвиновъ тоже безмолвствовалъ. Оба держали шляпы въ рукахъ, и, нагнувъ впередъ туловище и осклабясь, глядѣли другъ другу въ брови.

— „Deux gendarmes un beau dimanche, запѣлъ, разумѣется, фальшиво,—не фальшиво поющій русскій дворянинъ доселѣ намъ не попадался,—подслѣповатый и желтоватый генералъ съ выраженіемъ постояннаго раздраженія на лицѣ, точно онъ самъ себѣ не могъ простить свою наружность. Среди всѣхъ своихъ товарищей, онъ одинъ не походилъ на розу.

— Да что же вы не сядете, Григорій Михайлычъ, промолвила, наконецъ, Ирина.

Литвиновъ повиновался, сѣлъ.

— I say, Valérien, give me some fire, проговорилъ другой генералъ, тоже молодой, но уже тучный, съ неподвижными, словно въ воздухъ уставленными глазами и густыми шелковистыми бакенбардами, въ которыя онъ медленно погружалъ свои бѣлоснѣжные пальцы. Ратмировъ подалъ ему серебряную коробочку со спичками.

— Avez vous des papiros? спросила, картавя, одна изъ дамъ.

— De vrais papelitos, comtesse.

— „Deux gendarmes un beau dimanche“, чуть не со скрипомъ зубовъ затянулъ опять подслѣповатый генералъ.

— Вы должны непремѣнно посѣтить насъ, говорила между тѣмъ Литвинову Ирина.—Мы живемъ въ Hôtel de l'Europe. Отъ четырехъ до шести я всегда дома. Мы съ вами такъ давно не видались.

Литвиновъ взглянулъ на Ирину, она не опустила глазъ.

— Да, Ирина Павловна, давно. Съ Москвы.

— Съ Москвы, съ Москвы, повторила она съ разстановкой.—Приходите, мы потолкуемъ, старину вспомянемъ. А знаете ли, Григорій Михайлычъ, вы не много перемѣнились.

— Въ самомъ дѣлѣ? *А вы вотъ* перемѣнились, Ирина Павловна.

— Я постарѣла.

— Нѣтъ. Я не то хотѣлъ сказать...

— Irène? вопросительно промолвила одна изъ дамъ съ желтою шляпкой на желтыхъ волосахъ, предварительно пошептавшись и похихикавши съ сидѣвшимъ возлѣ нея кавалеромъ.—Irène?

— Я постарѣла, продолжала Ирина, не отвѣчая дамѣ, но я не перемѣнилась. Нѣтъ, нѣтъ, я ни въ чемъ не перемѣнилась.

— „Deux gendarmes un beau dimanche!“ раздалось опять. Раздражительный генералъ помнилъ только первый стихъ извѣстной пѣсенки.

— Все еще покалываетъ, ваше сіятельство, громко и на *о* проговорилъ тучный генералъ съ бакенбардами, вѣроятно намекая на какую-нибудь забавную, всему „бомонду“ извѣстную исторію и, засмѣявшись короткимъ, деревяннымъ смѣхомъ, опять уставился въ воздухъ. Все остальное общество также засмѣялось.

— What a sad dog you are, Boris! замѣтилъ вполголоса Ратмировъ. Онъ самое имя „Борисъ“ произнесъ на англійскій ладъ.

— Irène? въ третій разъ спросила дама въ желтой шляпкѣ. Ирина быстро обернулась къ ней.

— Eh bien, quoi? que me voules-vous?

— Je vous le dirai plus tard, жеманно отвѣчала дама. При весьма непривлекательной наружности, она постоянно жеманилась и кривлялась; какой-то острякъ сказалъ про нее, что она „minaudait dans le vide“, „кривлялась въ пустомъ пространствѣ“.

Ирина нахмурилась и нетерпѣливо пожала плечомъ.

— Mais que fait donc monsieur Verdier? Pourquoi ne vient-il pas? воскликнула одна дама съ тѣми для французскаго слуха нестерпимыми, протяжными удареніями, которыя составляютъ особенность великороссійскаго выговора.

— Ахъ, вуй, ахъ, вуй, мсьё Вердіе, мсьё Вердіе, *простонала другая*, родомъ прямо уже изъ Арзамаса.

— *Tranquillisez*-vous, mesdames, — вмѣшался Ратм-

ровъ:—monsieur Verdier m'a promis de venir se mettre à vos pieds.

— Хи, хи, хи!—Дамы заиграли вѣеромъ.

Кельнеръ принесъ нѣсколько стакановъ пива.

— Байришъ-биръ? спросилъ генералъ съ бакенбардами, нарочно бася и притворяясь изумленнымъ.—Гутенъ моргенъ.

— А что? Графъ Павелъ все еще тамъ? холодно и вяло спросилъ одинъ молодой генералъ другого.

— Тамъ,—такъ же холодно отвѣчалъ тотъ.—Mais c'est provisoire. Serge, говорятъ, на его мѣсто.

— Эге! процѣдилъ первый сквозь зубы.

— Н-да, процѣдилъ и второй.

— Я не могу понять, заговорилъ генералъ, напѣвавшій пѣсенку:—я не могу понять, что̀ за охота была Полю оправдываться, приводить разныя тамъ причины... Ну, онъ поприжалъ купца, il lui a fait rendre gorge... ну, и что-жъ такое? У него могли быть свои соображенія.

— Онъ боялся... обличенія въ журналахъ, пробурчалъ кто-то.

Раздражительный генералъ вспыхнулъ.

— Ну, ужъ это послѣднее дѣло! Журналы! Обличеніе! Если бъ это отъ меня зависѣло, я бы въ этихъ въ вашихъ журналахъ только и позволилъ печатать, что таксы на мясо или на хлѣбъ, да объявленія о продажѣ шубъ да сапоговъ.

— Да дворянскихъ имѣній съ аукціона, ввернулъ Ратмировъ.

— Пожалуй, при теперешнихъ обстоятельствахъ... Однако, что̀ за разговоръ въ Баденѣ, au Vieux-Château!

— Mais pas du tout! pas du tout! залепетала дама въ желтой шляпкѣ.—J'adore les questions politiques.

— Madame a raison, вмѣшался другой генералъ съ чрезвычайно пріятнымъ и какъ бы дѣвическимъ лицомъ.—Зачѣмъ намъ избѣгать этихъ вопросовъ... даже въ Баденѣ? — Онъ *при этихъ словахъ* учтиво взглянулъ на *Литвинова и снисходительно* улыбнулся. — Порядочный

человѣкъ нигдѣ и ни въ какомъ случаѣ не долженъ отступаться отъ своихъ убѣжденій. Не правда ли?

— Конечно, отвѣчалъ раздражительный генералъ, такъ же взбрасывая глазами на Литвинова и какъ бы косвенно его распекая:—но я не вижу надобности...

— Нѣтъ, нѣтъ, съ прежнею мягкостью перебилъ снисходительный генералъ. — Вотъ вашъ пріятель, Валеріанъ Владиміровичъ, упомянулъ о продажѣ дворянскихъ имѣній. Что жъ? Развѣ это не фактъ?

— Да ихъ и продать теперь невозможно; никому они не нужны! воскликнулъ раздражительный генералъ.

— Можетъ-быть... можетъ-быть. Потому-то и надо заявлять этотъ фактъ... этотъ грустный фактъ на каждомъ шагу. Мы разорены — прекрасно; мы унижены — объ этомъ спорить нельзя; но мы, крупные владѣльцы, мы все-таки представляемъ начало... un principe. Поддерживать этотъ принципъ—нашъ долгъ. Pardon, madame, вы кажется, платокъ уронили. Когда нѣкоторое, такъ сказать, омраченіе овладѣваетъ даже высшими умами, мы должны указывать—съ покорностью указывать (генералъ протянулъ палецъ)—указывать перстомъ гражданина на бездну, куда все стремится. Мы должны предостерегать, мы должны говорить съ почтительною твердостію: „воротитесь, воротитесь назадъ...“ Вотъ что мы должны говорить.

— Нельзя же, однако, совсѣмъ воротиться, задумчиво замѣтилъ Ратмировъ.

Снисходительный генералъ только осклабился.

— Совсѣмъ; совсѣмъ назадъ, mon très-cher. Чѣмъ дальше назадъ, тѣмъ лучше.

Генералъ опять вѣжливо взглянулъ на Литвинова. Тотъ не вытерпѣлъ.

— Ужъ не до семибоярщины ли намъ вернуться, ваше превосходительство?

— А хоть бы и такъ! Я выражаю свое мнѣніе не обинуясь; надо передѣлать... да... передѣлать все сдѣланное.

— И девятнадцатое февраля?

— *И девятнадцатое февраля — насколько это возможно. On est patriote ou on ne l'est pas.* А воля? сна

жуть мнѣ. Вы думаете, сладка народу эта воля? Спросите-ка его...

— Попытайтесь, подхватилъ Литвиновъ:—попытайтесь отнять у него эту волю...

— Comment nommez-vous ce monsieur? шепнулъ генералъ Ратмирову.

— Да о чемъ вы тутъ толкуете? заговорилъ вдругъ тучный генералъ, очевидно разыгрывавшій въ этомъ обществѣ роль избалованнаго ребенка. О журналахъ все? О щелкопёрахъ? Позвольте, я вамъ разскажу, какой у меня былъ анекдотъ съ щелкопёромъ — чудо! Говорятъ мнѣ: написалъ на васъ un folliculaire пашквиль. Ну я, разумѣется, тотчасъ его подъ цугундеръ. Привели голубчика...—Какъ же это ты такъ, говорю, другъ мой, folliculaire, пашквили пишешь? Аль патріотизмъ одолѣлъ? „Одолѣлъ“, говоритъ. Ну, а деньги, говорю, folliculaire, любишь? „Люблю“, говоритъ. Тутъ я ему, милостивые государи мои, далъ набалдашникъ моей палки понюхать.—А это ты любишь, ангелъ мой? „Нѣтъ, говоритъ, этого не люблю.“—Да ты, я говорю, понюхай какъ слѣдуетъ, рукито у меня чистыя. „Не люблю“, говоритъ, и полно.—А я, говорю, душа моя, очень это люблю, только не для себя. Понимаешь ты сію аллегорію, сокровище ты мое? „Понимаю“, говоритъ.—Такъ смотри же, впередъ будь паинька, а теперь вотъ тебѣ цѣлковый-рупь, ступай и благословляй меня денно и нощно. И ушелъ folliculaire.

Генералъ засмѣялся, и всѣ опять за нимъ засмѣялись—всѣ, исключая Ирины, которая даже не улыбнулась и какъ-то сумрачно посмотрѣла на разсказчика.

Снисходительный генералъ потрепалъ Бориса по плечу.

— Все это ты выдумалъ, другъ ты мой сердечный... Станешь ты палкой кому-нибудь грозить... У тебя и палки-то нѣтъ. C'est pour faire rire ces dames. Для краснаго словца. Но дѣло не въ томъ. Я сейчасъ сказалъ, что надобно совсѣмъ назадъ вернуться. Поймите меня. Я не врагъ такъ-называемаго прогресса: по всѣ эти университеты да семинаріи тамъ, да народныя училища, эти студенты, *поповичи, разночинцы*, вся эта мелюзга, tout

ce fond du sac, la petite propriété, pire que le prolétariat— (генералъ говорилъ изнѣженнымъ, почти разслабленнымъ голосомъ), voilà ce qui m'effraie... вотъ гдѣ нужно остановиться... и остановить. (Онъ опять ласково взглянулъ на Литвинова.) Да-съ, нужно остановиться. Не забудьте, вѣдь у насъ никто ничего не требуетъ, не проситъ. Самоуправленіе, напримѣръ, развѣ кто его проситъ? *Вы* его развѣ просите? Или ты? или ты? или вы, mesdames? Вы ужъ и такъ не только самимъ собою, всѣми нами управляете. (Прекрасное лицо генерала оживилось забавною усмѣшкой.)—Друзья мои любезные, зачѣмъ же зайцемъ-то забѣгать? Демократія вамъ рада, она кадитъ вамъ, она готова служить вашимъ цѣлямъ... да вѣдь это мечъ обоюдуострый. Ужъ лучше по-старому, попрежнему... вѣрнѣй гораздо. Не позволяйте умничать черни, да ввѣрьтесь аристократіи, въ которой одной и есть сила... Право, лучше будетъ. А прогрессъ... я собственно ничего не имѣю противъ прогресса. Не давайте намъ только адвокатовъ, да присяжныхъ, да земскихъ какихъ-то чиновниковъ,— да дисциплины, дисциплины пуще всего не трогайте, а мосты, и набережныя, и гошпитали вы можете строить, и улицъ газомъ отчего не освѣщать?

— Петербургъ со всѣхъ четырехъ концовъ зажгли, вотъ вамъ и прогрессъ! прошипѣлъ раздражительный генералъ.

— Да ты, я вижу, злобенъ, промолвилъ, лѣниво покачиваясь, тучный генералъ: — тебя бы хорошо въ оберъ-прокуроры произвести; а по-моему avec Orphée aux enfers le progrès a dit son dernier mot.

— Vous dites toujours des bêtises, захихикала дама изъ Арзамаса.

Генералъ пріосанился.

— Je ne suis jamais plus sérieux, madame, que quand je dis des bêtises.

— Мьсё Вердіе эту самую фразу уже нѣсколько разъ сказалъ, замѣтила вполголоса Ирина.

— De la poigne et des formes! воскликнулъ тучный генералъ:—de la poigne surtout. А сіе по-русски можно *перевести тако: вѣжливо*, но въ зубы!

— Ахъ ты, шалунъ, шалунъ неисправимый! подхватилъ снисходительный генералъ.—Mesdames, не слушайте его пожалуйста. Комара не зашибетъ. Онъ довольствуется тѣмъ, что сердца пожираетъ.

— Ну, однако, нѣтъ, Борисъ, началъ Ратмировъ, обмѣнявшись взглядомъ съ женою: — шалость шалостью, а это преувеличеніе. Прогрессъ—это есть проявленіе жизни общественной, вотъ что̀ не надо забывать; это симптомъ. Тутъ надо слѣдить.

— Ну да, возразилъ тучный генералъ и сморщилъ носъ. — Дѣло извѣстное, ты въ государственные люди мѣтишь!

— Вовсе не въ государственные люди... Какіе тутъ государственные люди! А правду нельзя не признать.

„Boris“ опять запустилъ пальцы въ бакенбарды и уставился въ воздухъ.

— Общественная жизнь, это очень важно, потому что въ развитіи народа, въ судьбахъ, такъ-сказать, отечества...

— Valérien, перебилъ „Boris“ внушительно: — il y a des dames ici. Я этого отъ тебя не ожидалъ. Или ты въ комитетъ попасть желаешь?

— Да они всѣ теперь, слава Богу, уже закрыты, подхватилъ раздражительный генералъ, и снова запѣлъ: „Deux gendarmes, un beau dimanche...“

Ратмировъ поднесъ батистовый платокъ къ носу и граціозно умолкъ; снисходительный генералъ повторилъ: „шалунъ! шалунъ!“ А „Boris“ обратился къ дамѣ, кривлявшейся въ пустомъ пространствѣ, и, не понижая голоса, не измѣняя даже выраженія лица, началъ разспрашивать ее о томъ, когда же она „увѣнчаетъ его пламя“, такъ какъ онъ влюбленъ въ нее изумительно и страдаетъ необыкновенно.

Съ каждымъ мгновеніемъ, въ теченіе этого разговора, Литвинову становилось все болѣе и болѣе неловко. Его гордость, его честная, плебейская гордость, такъ и возмущалась. Что̀ было общаго между нимъ, сыномъ мелкаго чиновника, и этими военными петербургскими аристократами? Онъ *любилъ все*, что̀ они ненавидѣли, онъ ненави-

дѣлъ все то, что они любили; онъ слишкомъ ясно это сознавалъ, онъ всѣмъ существомъ своимъ это чувствовалъ. Шутки ихъ онъ находилъ плоскими, тонъ невыносимымъ, каждое движеніе ложнымъ; въ самой мягкости ихъ рѣчей ему слышалось возмутительное презрѣніе — и однакоже онъ какъ будто робѣлъ передъ ними, передъ этими людьми, этими врагами... „Фу, какая гадость! Я ихъ стѣсняю, я имъ кажусь смѣшнымъ“, вертѣлось у него въ головѣ:— „зачѣмъ же я остаюсь? Уйдемъ, уйдемъ тотчасъ!“ Присутствіе Ирины не могло удержать его: невеселыя ощущенія возбуждала въ немъ и она. Онъ поднялся со стула и началъ прощаться.

— Вы уже уходите? промолвила Ирина, но, подумавъ немного, не стала настаивать и только взяла съ него слово, что онъ непремѣнно посѣтитъ ее. Генералъ Ратмировъ съ прежнею утонченною вѣжливостью раскланялся съ нимъ, пожалъ ему руку, довелъ его до конца платформы... Но едва Литвиновъ успѣлъ завернуть за первый уголъ дороги, какъ дружный взрывъ хохота раздался за нимъ. Хохотъ этотъ относился не къ нему, а къ давно ожидаемому мсьё Вердіе, который внезапно появился на платформѣ, въ тирольской шляпѣ, синей блузѣ и верхомъ на ослѣ; но кровь такъ и хлынула Литвинову въ щеки, и горько стало ему: словно полынь склеила его стиснутыя губы. „Презрѣнные, пошлые люди!“ пробормоталъ онъ, не соображая того, что нѣсколько мгновеній, проведенныхъ въ обществѣ этихъ людей, еще не давали ему повода такъ жестоко выражаться. И въ этотъ-то міръ попала Ирина, его бывшая Ирина! Въ немъ она вращалась, жила, царствовала, для него она пожертвовала собственнымъ достоинствомъ, лучшими чувствами сердца... Видно, такъ слѣдовало; видно, она не заслуживала лучшей участи! Какъ онъ радовался тому, что ей не вздумалось разспрашивать его о его намѣреніяхъ! Ему бы пришлось высказываться передъ „ними“, въ „ихъ“ присутствіи... „Ни за что! никогда!“ шепталъ Литвиновъ, глубоко вдыхая свѣжій воздухъ и чуть не бѣгомъ не спускаясь по дорогѣ *въ Баденъ*. Онъ думалъ о своей невѣстѣ, о своей милой,

доброй, святой Татьянѣ, и какъ чиста, благородна, какъ правдива казалась она ему! Съ какимъ неподдѣльнымъ умиленіемъ припоминалъ онъ ея черты, ея слова, самыя ея привычки... съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалъ ея возвращенія!

Быстрая ходьба успокоила его нервы. Возвратясь домой, онъ усѣлся за столъ, взялъ книгу въ руки, и внезапно ее выронилъ, даже вздрогнулъ... Что съ нимъ случилось? Ничего не случилось съ нимъ, но Ирина... Ирина... удивительнымъ, страннымъ, необычайнымъ вдругъ показалось ему его свиданіе съ нею. Возможно ли? онъ встрѣтился, говорилъ съ тою самой Ириной... И почему на ней не лежитъ того противнаго, свѣтскаго отпечатка, которымъ такъ рѣзко отмѣчены всѣ тѣ, другіе? Почему ему сдается, что она какъ будто скучаетъ, или груститъ, или тяготится своимъ положеніемъ? Она въ ихъ станѣ, но она не врагъ. И что могло ее заставить такъ радушно обратиться къ нему, звать его къ себѣ?

Литвиновъ встрепенулся. — О, Таня, Таня! воскликнулъ онъ съ увлеченіемъ: — ты одна мой ангелъ, мой добрый геній, тебя я одну люблю и вѣкъ любить буду. А къ той я не пойду. Богъ съ ней совсѣмъ! Пусть она забавляется своими генералами!

Литвиновъ снова взялся за книгу.

XI.

Литвиновъ взялся за книгу, но ему не читалось. Онъ вышелъ изъ дому, прогулялся немного, послушалъ музыку, поглазѣлъ на игру и опять вернулся къ себѣ въ комнату, опять попытался читать—все безъ толку. Какъ-то особенно вяло влачилось время. Пришелъ Пищалкинъ, благонамѣренный мировой посредникъ, и посидѣлъ часика три. Побесѣдовалъ, потолковалъ, ставилъ вопросы, разсуждалъ вперемежку—то о предметахъ возвышенныхъ, то о предметахъ полезныхъ, и такую, наконецъ, распространилъ скуку, что бѣдный Литвиновъ чуть не взвылъ. Въ искусствѣ наводить скуку, тоскливую, холодную, безвыходную и безнадежную *скуку, Пищалкинъ* не зналъ соперниковъ

даже между людьми высочайшей нравственности, извѣстными мастерами по этой части. Одинъ видъ его остриженной и выглаженной головы, его свѣтлыхъ и безжизненныхъ глазъ, его доброкачественнаго носа, возбуждалъ невольную унылость, а баритонный, медлительный, какъ бы заспанный его голосъ казался созданнымъ для того, чтобы съ убѣжденіемъ и вразумительностью произносить изреченія, состоявшія въ томъ, что дважды-два четыре, а не пять, и не три, вода мокра, а добродѣтель похвальна; что частному лицу, равно какъ и государству, а государству, равно какъ и частному лицу, необходимо нуженъ кредитъ для денежныхъ операцій. И со всѣмъ тѣмъ человѣкъ онъ былъ превосходный! Но ужъ таковъ предѣлъ судебъ на Руси: скучны у насъ превосходные люди. Пищалкинъ удалился; его замѣнилъ Биндасовъ, и немедленно, съ великою наглостью, потребовалъ у Литвинова взаймы сто гульденовъ, которые тотъ ему и далъ, несмотря на то, что не только не интересовался Биндасовымъ, но даже гнушался имъ и зналъ навѣрное, что денегъ своихъ не получитъ ввѣкъ; притомъ онъ самъ въ нихъ нуждался. Зачѣмъ же онъ далъ ихъ ему? спроситъ читатель. А чортъ знаетъ зачѣмъ! На это русскіе тоже молодцы. Пусть читатель положитъ руку на сердце и вспомнитъ, какое множество поступковъ въ его собственной жизни не имѣло рѣшительно другой причины. А Биндасовъ даже не поблагодарилъ Литвинова: потребовалъ стаканъ аффенталера (баденскаго краснаго вина) и ушелъ, не обтеревъ губъ и нахально стуча сапогами. И ужъ какъ же досадовалъ на себя Литвиновъ, глядя на красный загривокъ удалявшагося кулака! Передъ вечеромъ онъ получилъ письмо отъ Татьяны, въ которомъ она его извѣщала, что вслѣдствіе нездоровья ея тетки, раньше пяти, шести дней она въ Баденъ пріѣхать не можетъ. Это извѣстіе непріятно подѣйствовало на Литвинова: оно усилило его досаду, и онъ легъ спать рано, въ дурномъ настроеніи духа. Слѣдующій день выдался не лучше предшествовавшаго, чуть ли не хуже. Съ самаго утра комната Литвинова наполнилась *соотечественниками*: Бамбаевъ, Ворошиловъ, Пищалкинъ,

два офицера, два гейдельбергскіе студента, всѣ привалили разомъ и такъ-таки не уходили вплоть до обѣда, хотя скоро выболтались и видимо скучали. Они просто не знали, куда дѣться, и попавъ на квартиру Литвинова, какъ говорится, „застряли“ въ ней. Сперва они потолковали о томъ, что Губаревъ уѣхалъ обратно въ Гейдельбергъ, и что надо будетъ къ нему отправиться; потомъ немного пофилософствовали, коснулись польскаго вопроса; потомъ приступили къ разсужденіямъ объ игрѣ, о лореткахъ, принялись разсказывать скандальные анекдотцы; наконецъ, разговоръ завязался о томъ, какіе бываютъ силачи, какіе толстые люди и какіе обжоры. Выступили на свѣтъ Божій старые анекдоты о Лукинѣ, о дьяконѣ, съѣвшемъ на пари тридцать три селедки, объ извѣстномъ своей тучностью уланскомъ полковникѣ Изъѣдиновѣ, о солдатѣ, ломавшемъ говяжью кость о собственный лобъ, а тамъ пошло уже совершенное вранье. Самъ Пищалкинъ разсказалъ, зѣвая, что зналъ въ Малороссіи бабу, въ которой при смерти оказалось двадцать семь пудовъ съ фунтами, и помѣщика, который за завтракомъ съѣдалъ трехъ гусей и осетра; Бамбаевъ вдругъ пришелъ въ экстазъ и объявилъ, что онъ самъ въ состояніи съѣсть цѣлаго барана, „разумѣется, съ приправами“, а Ворошиловъ брякнулъ что-то такое несообразное насчетъ товарища, силача-кадета, что всѣ помолчали, помолчали, посмотрѣли другъ на друга, взялись за шапки и разбрелись. Оставшись наединѣ, Литвиновъ хотѣлъ-было заняться, но ему точно копоти въ голову напустили; онъ ничего не могъ сдѣлать путнаго, и вечеръ тоже пропалъ даромъ. На слѣдующее утро, онъ собирался завтракать, кто-то постучался къ нему въ дверь. „Господи“, подумалъ Литвиновъ, — „опять кто-нибудь изъ вчерашнихъ пріятелей“, и не безъ нѣкотораго содроганія промолвилъ:

— Herein!

Дверь тихонько отворилась, и въ комнату вошелъ Потугинъ.

Литвиновъ чрезвычайно ему обрадовался.

— Вотъ это мило! заговорилъ онъ, крѣпко стискивая руку *нежданому гостю:* — вотъ спасибо! Я самъ непре-

мѣнно навѣстилъ бы васъ, да вы не хотѣли мнѣ сказать, гдѣ вы живете. Садитесь пожалуйста, положите шляпу. Садитесь же!

Потугинъ ничего не отвѣчалъ на ласковыя рѣчи Литвинова, стоялъ, переминаясь съ ноги на ногу, посреди комнаты и только посмѣивался, да покачивалъ головой. Радушный привѣтъ Литвинова его, видимо, тронулъ, но въ выраженіи его лица было нѣчто принужденное.

— Тутъ... маленькое недоразумѣніе... началъ онъ не безъ запинки.—Конечно, я всегда съ удовольствіемъ... но меня собственно... меня къ вамъ прислали.

— То-есть, вы хотите сказать, промолвилъ жалобнымъ голосомъ Литвиновъ:—что сами собой вы бы не пришли ко мнѣ?

— О, нѣтъ, помилуйте!.. Но я... я, можетъ-быть, не рѣшился бы сегодня васъ безпокоить, если бы меня не попросили зайти къ вамъ. Словомъ, у меня есть къ вамъ порученіе.

— Отъ кого, позвольте узнать?

— Отъ одной вамъ извѣстной особы, отъ Ирины Павловны Ратмировой. Вы третьяго дня обѣщались навѣстить ее и не пришли.

Литвиновъ съ изумленіемъ уставился на Потугина.

— Вы знакомы съ г-жею Ратмировой?

— Какъ видите.

— И коротко знакомы?

— Я до нѣкоторой степени ей пріятель.

Литвиновъ помолчалъ.

— Позвольте васъ спросить, началъ онъ наконецъ: — вамъ извѣстно, для чего Иринѣ Павловнѣ угодно меня видѣть?

Потугинъ подошелъ къ окну.

— До нѣкоторой степени извѣстно. Она, сколько я могу судить, очень обрадовалась встрѣчѣ съ вами, ну, и желаетъ возобновить прежнія отношенія.

— Возобновить, повторилъ Литвиновъ.—Извините мою нескромность, но позвольте мнѣ еще спросить васъ. Вамъ извѣстно, какого рода были эти отношенія?

— *Собственно*—нѣтъ, не извѣстно. Но я полагаю, при-

бавилъ Потугинъ, внезапно обратившись къ Литвинову и дружелюбно глядя на него: — я полагаю, что они были хорошаго свойства. Ирина Павловна очень васъ хвалила, и я долженъ былъ дать ей слово, что приведу васъ. Вы пойдете?

— Когда?

— Теперь... сейчасъ.

Литвиновъ только руками развелъ.

— Ирина Павловна, продолжалъ Потугинъ: — полагаетъ, что та... какъ бы выразиться... та среда, что ли, въ которой вы ее застали третьяго дня, не должна возбудить ваше особенное сочувствіе; но она велѣла вамъ сказать, что чортъ не такой черный, какимъ его изображаютъ.

— Гм... Это изреченіе примѣняется собственно къ той... средѣ?

— Да... и вообще.

— Гм... Ну, а вы, Созонтъ Иванычъ, какого мнѣнія о чортѣ?

— Я думаю, Григорій Михайлычъ, что онъ во всякомъ случаѣ не такой, какимъ его изображаютъ.

— Онъ лучше?

— Лучше ли, хуже, это рѣшить трудно, но не такой. Ну что же, идемъ мы?

— Да вы посидите сперва немножко. Мнѣ, признаться, все-таки кажется немного страннымъ...

— Что, смѣю спросить?

— Какимъ образомъ вы, собственно вы, могли сдѣлаться пріятелемъ Ирины Павловны?

Потугинъ окинулъ самого себя взглядомъ.

— Съ моею фигурой, съ положеніемъ моимъ въ обществѣ, оно точно неправдоподобно; но вы знаете — уже Шекспиръ сказалъ: „Есть многое на свѣтѣ, другъ Горацій“, и такъ далѣе. Жизнь тоже шутить не любитъ. Вотъ вамъ сравненіе: дерево стоитъ передъ вами и вѣтра нѣтъ; какимъ образомъ листъ на нижней вѣткѣ прикоснется къ листу на верхней вѣткѣ? Никоимъ образомъ. А поднялась буря, все перемѣшалось — и тѣ два листа прикоснулись.

— Ага! *Стало-быть бури были?*

— Еще бы! Безъ нихъ развѣ проживешь? Но въ сторону философію. Пора идти.

Литвиновъ все еще колебался.

— О, Господи! воскликнулъ съ комической ужимкой Потугинъ: — какіе нынче стали молодые люди! Прелестнѣйшая дама приглашаетъ ихъ къ себѣ, засылаетъ за ними гонцовъ, нарочныхъ, а они чинятся! Стыдитесь, милостивый государь, стыдитесь. Вотъ ваша шляпа. Возьмите ее, и „форвертсъ!“ какъ говорятъ наши друзья, пылкіе нѣмцы.

Литвиновъ постоялъ еще немного въ раздумьѣ, но кончилъ тѣмъ, что взялъ шляпу и вышелъ изъ комнаты вмѣстѣ съ Потугинымъ.

XII.

Они пришли въ одну изъ лучшихъ гостиницъ Бадена и спросили генеральшу Ратмирову. Швейцаръ сперва освѣдомился объ ихъ именахъ, потомъ тотчасъ отвѣчалъ, что „die Frau Fürstin ist zu Hause“, и самъ повелъ ихъ по лѣстницѣ, самъ постучалъ въ дверь номера и доложилъ о нихъ. „Die Frau Fürstin“ приняла ихъ немедленно; она была одна: мужъ ея отправился въ Карлсруэ для свиданія съ проѣзжавшимъ сановнымъ тузомъ изъ „вліятельныхъ“.

Ирина сидѣла за небольшимъ столикомъ и вышивала по канвѣ, когда Потугинъ съ Литвиновымъ переступили порогъ двери. Она проворно бросила шитье въ сторону, оттолкнула столикъ, встала; выраженіе неподдѣльнаго удовольствія распространилось по ея лицу. На ней было утреннее, до верху закрытое платье; прекрасныя очертанія плечъ и рукъ сквозили черезъ легкую ткань; небрежно закрученная коса распустилась и падала низко на тонкую шею. Ирина бросила Потугину быстрый взглядъ, шепнула „merci“, и протянувъ Литвинову руку, любезно упрекнула его въ забывчивости. „А еще старый другъ“, прибавила она.

Литвиновъ началъ было извиняться. „C'est bien, c'est *bien“, поспѣшно* промолвила она и, съ ласковымъ васи-

ліемъ отнявъ у него шляпу, заставила его сѣсть. Потугинъ тоже сѣлъ, но тотчасъ же поднялся, и сказавъ, что у него есть безотлагательное дѣло и что онъ зайдетъ послѣ обѣда, сталъ раскланиваться. Ирина снова бросила ему быстрый взглядъ и дружески кивнула ему головой, но не удерживала его, и какъ только онъ исчезъ за портьеркой, съ нетерпѣливою живостью обратилась къ Литвинову.

— Григорій Михайлычъ, заговорила она по-русски своимъ мягкимъ и звонкимъ голосомъ: — вотъ мы одни наконецъ, и я могу сказать вамъ, что я очень рада нашей встрѣчѣ, потому что она... она дастъ мнѣ возможность... (Ирина посмотрѣла ему прямо въ лицо) попросить у васъ прощенія.

Литвиновъ невольно вздрогнулъ. Такого быстраго натиска онъ не ожидалъ. Онъ не ожидалъ, что она сама наведетъ рѣчь на прежнія времена.

— Въ чемъ... прощенія... пробормоталъ онъ.

Ирина покраснѣла.

— Въ чемъ?.. вы знаете въ чемъ, промолвила она и слегка отвернулась.—Я была виновата передъ вами, Григорій Михайлычъ... хотя, конечно, такая ужъ мнѣ выпала судьба (Литвинову вспомнилось ея письмо), и я не раскаиваюсь... это было бы, во всякомъ случаѣ, слишкомъ поздно; но, встрѣтивъ васъ такъ неожиданно, я сказала себѣ, что мы непремѣнно должны сдѣлаться друзьями, непремѣнно... и мнѣ было бы очень больно, еслибъ это не удалось... и мнѣ кажется, что для этого мы должны объясниться съ вами, не откладывая и разъ навсегда; чтобъ уже потомъ не было никакой... gêne, никакой неловкости, разъ навсегда, Григорій Михайлычъ; и что вы должны сказать мнѣ, что вы меня прощаете, а то я буду предполагать въ васъ... de la rancune. Voilà! Это съ моей стороны, можетъ-быть, большая претензія, потому что вы, вѣроятно, давнымъ-давно все забыли, но все равно, скажите мнѣ, что вы меня простили.

Ирина произнесла всю эту рѣчь, не переводя духа, и Литвиновъ могъ замѣтить, что въ глазахъ ея заблистали *слезы... да, дѣйствительно* слезы.

— Помилуйте, Ирина Павловна, поспѣшно началъ онъ:— какъ вамъ не совѣстно извиняться, просить прощенія... То дѣло прошедшее, въ воду кануло, и мнѣ остается только удивляться, какъ вы, среди блеска, который васъ окружаетъ, могли еще сохранить воспоминаніе о темномъ товарищѣ первой вашей молодости...

— Васъ это удивляетъ? тихо проговорила Ирина.

— Меня это трогаетъ, подхватилъ Литвиновъ:—потому что я никакъ не могъ вообразить...

— А вы все-таки мнѣ не сказали, что вы меня простили, перебила Ирина.

— Я искренно радуюсь вашему счастью, Ирина Павловна, я отъ всей души желаю вамъ всего лучшаго на землѣ...

— И не помните зла?

— Я помню только тѣ прекрасныя мгновенія, которыми я нѣкогда былъ вамъ обязанъ.

Ирина протянула ему обѣ руки. Литвиновъ крѣпко стиснулъ ихъ, и не разомъ ихъ выпустилъ... Что-то давно небывалое тайно шевельнулось въ его сердцѣ отъ этого мягкаго прикосновенія. Ирина опять глядѣла ему прямо въ лицо; но на этотъ разъ она улыбалась... И онъ въ первый разъ прямо и пристально посмотрѣлъ на нее... Онъ опять узналъ черты, когда-то столь дорогія, и тѣ глубокіе глаза съ ихъ необычайными рѣсницами, и родинку на щекѣ, и особый складъ волосъ надо лбомъ, и привычку какъ-то мило и забавно кривить губы и чуть-чуть вздрагивать бровями, все, все узналъ онъ... Но какъ она похорошѣла! Какая прелесть, какая сила женскаго молодого тѣла! И ни румянъ, ни бѣлилъ, ни сурьмы, ни пудры, никакой фальши на свѣжемъ, чистомъ лицѣ... Да, это была точно красавица!

Раздумье нашло на Литвинова... Онъ все глядѣлъ на нее, но уже мысли его были далеко... Ирина это замѣтила.

— Ну вотъ и прекрасно, громко заговорила она: — ну вотъ, теперь совѣсть моя покойна, и я могу удовлетворить мое любопытство...

— Любопытство, повторилъ Литвиновъ, какъ бы недоумѣвая.

— Да, да... Я непремѣнно хочу знать, что вы дѣлали все это время, какіе ваши планы; я все хочу знать, какъ, что, когда... все, все. И вы должны говорить мнѣ правду, потому что я предувѣдомляю васъ, я не теряла васъ изъ вида... насколько это было возможно...

— Вы меня не теряли изъ вида, вы... тамъ... въ Петербургѣ?

— Среди блеска, который меня окружалъ, какъ вы сейчасъ выразились. Именно, да, не теряла. Объ этомъ блескѣ мы еще поговоримъ съ вами; а теперь вы должны разсказывать, много, долго разсказывать, никто намъ не помѣшаетъ. Ахъ, какъ это будетъ чудесно! прибавила Ирина, весело усаживаясь и охорашиваясь въ креслѣ. — Ну же, начинайте.

— Прежде чѣмъ разсказывать, я долженъ благодарить васъ, началъ Литвиновъ.

— За что?

— За букетъ цвѣтовъ, который очутился у меня въ комнатѣ.

— Какой букетъ? я ничего не знаю.

— Какъ?

— Говорятъ вамъ, я ничего не знаю... Но я жду... жду вашего разсказа... Ахъ, какой этотъ Потугинъ умница, что привелъ васъ!

Литвиновъ навострилъ уши.

— Вы съ этимъ господиномъ Потугинымъ давно знакомы? спросилъ онъ.

— Давно... но разсказывайте.

— И близко его знаете?

— О, да! — Ирина вздохнула. — Тутъ есть особенныя причины... Вы, конечно, слыхали про Элизу Бѣльскую... Вотъ та, что умерла въ позапрошломъ году такой ужасной смертью?.. Ахъ, да вѣдь я забыла, что вамъ неизвѣстны наши исторіи... Къ счастью, къ счастью неизвѣстны. Oh, quelle chance! наконецъ-то, наконецъ одинъ человѣкъ, живой человѣкъ, который нашего ничего не знаетъ! И по-русски можно съ нимъ говорить, хоть дурнымъ языкомъ, да русскимъ, а не этимъ вѣчнымъ, притор-

нымъ, противнымъ петербургскимъ французскимъ языкомъ!

— И Потугинъ, говорите вы, находился въ отношеніяхъ съ...

— Мнѣ очень тяжело даже вспоминать объ этомъ, перебила Ирина.—Элиза была моимъ лучшимъ другомъ въ институтѣ, и потомъ, въ Петербургѣ, мы безпрестанно видались. Она мнѣ довѣрила всѣ свои тайны: она была очень несчастна, много страдала. Потугинъ въ этой исторіи велъ себя прекрасно, какъ настоящій рыцарь! Онъ пожертвовалъ собою. Я только тогда его оцѣнила! Но мы опять отбились въ сторону. Я жду вашего разсказа, Григорій Михайловичъ.

— Да мой разсказъ нисколько не можетъ интересовать васъ, Ирина Павловна.

— Это ужъ не ваше дѣло.

— Вспомните, Ирина Павловна, мы десять лѣтъ не видались, цѣлыхъ десять лѣтъ. Сколько воды утекло съ тѣхъ поръ!

— Не одной воды! не одной воды! повторила она, съ особымъ, горькимъ выраженіемъ: — потому-то я и хочу васъ слушать.

— И притомъ, я, право, не могу придумать, съ чего же мнѣ начать?

— Съ начала. Съ самаго того времени, какъ вы... какъ я переѣхала въ Петербургъ. Вы тогда оставили Москву... Знаете ли, я съ тѣхъ поръ уже никогда не возвращалась въ Москву!

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Прежде было невозможно; а потомъ, когда я вышла замужъ...

— А вы давно замужемъ?

— Четвертый годъ.

— Дѣтей у васъ нѣтъ?

— Нѣтъ, сухо отвѣтила она.

Литвиновъ помолчалъ.

— А до вашего замужества вы постоянно жили у этого, какъ бишь его, графа Рейзенбаха?

Ирина пристально посмотрѣла на него, какъ бы желая *отдать себѣ отчетъ*, зачѣмъ онъ это спрашиваетъ.

— Нѣтъ... промолвила она наконецъ.

— Стало-быть, ваши родители... Кстати, я и не спросилъ у васъ объ нихъ. Что они...

— Они оба здоровы.

— И попрежнему живутъ въ Москвѣ?

— Попрежнему въ Москвѣ.

— А ваши братья, сестры?

— Имъ хорошо; я ихъ всѣхъ пристроила.

— А!—Литвиновъ исподлобья взглянулъ на Ирину.— По-настоящему, Ирина Павловна, не мнѣ бы слѣдовало разсказывать, а вамъ, если только...

Онъ вдругъ спохватился и умолкъ.

Ирина поднесла руки къ лицу и повертѣла обручальнымъ кольцомъ на пальцѣ.

— Что жъ? Я не отказываюсь, промолвила она наконецъ.—Когда-нибудь... пожалуй... Но сперва вы... потому, вотъ видите, я хоть и слѣдила за вами, но объ васъ почти ничего не знаю; а обо мнѣ... ну обо мнѣ вы навѣрно слышали довольно. Неправда ли? Вѣдь вы слышали, скажите?

— Вы, Ирина Павловна, занимали слишкомъ видное мѣсто въ свѣтѣ, чтобы не возбуждать толковъ... особенно въ провинціи, гдѣ я находился, и гдѣ всякому слуху вѣрятъ.

— А вы вѣрили этимъ слухамъ? И какого рода были они?

— Признаться сказать, Ирина Павловна, эти слухи доходили до меня очень рѣдко. Я велъ жизнь весьма уединенную.

— Какъ такъ? Вѣдь вы были въ Крыму, въ ополченіи?

— Вамъ и это извѣстно?

— Какъ видите. Говорятъ вамъ, за вами слѣдили.

Литвинову снова пришлось изумиться.

— Зачѣмъ же я стану вамъ разсказывать, что вы и безъ меня знаете? проговорилъ Литвиновъ вполголоса.

— А затѣмъ... затѣмъ, чтобъ исполнить мою просьбу. Вѣдь я прошу васъ, Григорій Михайловичъ.

Литвиновъ наклонилъ голову и началъ... началъ, нѣсколько сбивчиво, *въ общихъ* чертахъ, передавать Иринѣ *свои незатѣйливыя похожденія*. Онъ часто останавливался

и вопросительно взглядывалъ на Ирину, дескать не довольно ли? Но она настойчиво требовала продолженія разсказа, и откинувъ волосы за уши, облокотившись на ручку кресла, казалось, съ усиленнымъ вниманіемъ ловила каждое слово. Глядя на нее со стороны и слѣдя за выраженіемъ ея лица, иной бы, пожалуй, могъ подумать, что она вовсе не слушала того, что̀ Литвиновъ ей говорилъ, а только погружалась въ созерцаніе... Но не Литвинова созерцала она, хотя онъ и смущался, и краснѣлъ подъ ея упорнымъ взглядомъ. Предъ нею возникала цѣлая жизнь, другая, не его, ея собственная жизнь.

Литвиновъ не кончилъ, а умолкъ подъ вліяніемъ непріятнаго чувства постоянно возраставшей, внутренней неловкости. Ирина на этотъ разъ ничего не сказала ему, не попросила его продолжать, и прижавъ ладонь къ глазамъ, точно усталая, медленно прислонилась къ спинкѣ кресла и осталась неподвижной. Литвиновъ подождалъ немного, и сообразивъ, что визитъ его продолжался уже болѣе двухъ часовъ, протянулъ-было руку къ шляпѣ, какъ вдругъ въ сосѣдней комнатѣ раздался быстрый скрипъ тонкихъ лаковыхъ сапогъ, и, предшествуемый тѣмъ же отмѣннымъ дворянски-гвардейскимъ запахомъ, вошелъ Валеріанъ Владиміровичъ Ратмировъ.

Литвиновъ всталъ со стула и обмѣнялся поклономъ съ благовиднымъ генераломъ. А Ирина отняла, не спѣша, руку отъ лица и, холодно посмотрѣвъ на своего супруга, промолвила по-французски:—А! вотъ вы уже вернулись! но который же теперь часъ?

— Скоро четыре часа, ma chère amie, а ты еще не одѣта—насъ княгиня ждать будетъ, отвѣчалъ генералъ, и изящно нагнувъ перетянутый станъ въ сторону Литвинова, съ свойственною ему почти изнѣженною игривостью въ голосѣ, прибавилъ:—Видно, любезный гость заставилъ тебя забыть время.

Читатель позволитъ намъ сообщить ему на этомъ мѣстѣ нѣсколько свѣдѣній о генералѣ Ратмировѣ. Отецъ его былъ *естественный*... Что̀ вы думаете? Вы не ошибаетесь—но мы *не то желали сказать*... естественный сынъ знатнаго вель-

можи Александровскихъ временъ и хорошенькой актрисы француженки. Вельможа вывелъ сына въ люди, но состоянія ему не оставилъ—и этотъ сынъ (отецъ нашего героя) тоже не успѣлъ обогатиться: онъ умеръ въ чинѣ полковника, въ званіи полиціймейстера. За годъ до смерти онъ женился на красивой молодой вдовѣ, которой пришлось прибѣгнуть подъ его покровительство. Сынъ его и вдовы, Валеріанъ Александровичъ, по протекціи попавъ въ пажескій корпусъ, обратилъ на себя вниманіе начальства—не столько успѣхами въ наукахъ, сколько фронтовой выправкой, хорошими манерами и благонравіемъ (хотя подвергался всему, чему неизбѣжно подвергались всѣ бывшіе воспитанники казенныхъ военныхъ заведеній),—и вышелъ въ гвардію. Карьеру онъ сдѣлалъ блестящую, благодаря скромной веселости своего нрава, ловкости въ танцахъ, мастерской ѣздѣ верхомъ ординарцемъ на парадахъ—большей частью на чужихъ лошадяхъ—и наконецъ, какому-то особенному искусству фамильярно-почтительнаго обращенія съ высшими, грустно-ласковаго, почти сиротливаго прислуживанья, не безъ примѣси общаго, легкаго какъ пухъ, либерализма... Этотъ либерализмъ не помѣшалъ ему, однако, перепороть пятьдесятъ человѣкъ крестьянъ въ взбунтовавшемся бѣлорусскомъ селеніи, куда его послали для усмиренія. Наружностью онъ обладалъ привлекательной и необычайно моложавой: гладкій, румяный, гибкій и липкій, онъ пользовался удивительными успѣхами у женщинъ: знатныя старушки просто съ ума отъ него сходили. Осторожно по привычкѣ, молчаливый изъ расчета, генералъ Ратмировъ, подобно трудолюбивой пчелѣ, извлекающей сокъ изъ самыхъ даже плохихъ цвѣтковъ, постоянно обращался въ высшемъ свѣтѣ — и безъ нравственности, безо всякихъ свѣдѣній, но съ репутаціей дѣльца, съ чутьемъ на людей и пониманьемъ обстоятельствъ, а главное — съ неуклонно-твердымъ желаніемъ добра самому себѣ — видѣлъ наконецъ передъ собой всѣ пути открытыми...

Литвиновъ *принужденно* усмѣхнулся, а Ирина только *плечами пожала.*

— Ну что, промолвила она тѣмъ же холоднымъ тономъ,—видѣли вы графа?

— Какъ же, видѣлъ. Онъ приказалъ тебѣ кланяться.

— А! Онъ все глупъ попрежнему, этотъ вашъ покровитель?

Генералъ Ратмировъ ничего не отвѣчалъ, а только слегка посмѣялся въ носъ, какъ бы снисходя къ опрометчивости женскаго сужденія. Благосклонные взрослые люди такимъ точно смѣхомъ отвѣчаютъ на вздорныя выходки дѣтей.

— Да, прибавила Ирина:—глупость вашего графа слишкомъ поразительна, а ужъ я, кажется, на что успѣла насмотрѣться.

— Вы сами меня къ нему послали, замѣтилъ сквозь зубы генералъ, и обратившись къ Литвинову, спросилъ его по-русски:—Пользуется ли онъ баденскими водами?

— Я, слава Богу, здоровъ, отвѣчалъ Литвиновъ.

— Это лучше всего, продолжалъ генералъ, любезно осклабясь: — да и вообще въ Баденъ не за тѣмъ ѣздятъ, чтобы лѣчиться; но здѣшнія воды весьма дѣйствительны, je veux dire, efficaces; и кто страдаетъ, какъ я, напримѣръ, нервическимъ кашлемъ...

Ирина быстро встала.—Мы еще увидимся съ вами, Григорій Михайловичъ, и я надѣюсь, скоро,—проговорила она по-французски, презрительно перебивая мужнину рѣчь:— а теперь я должна идти одѣваться. Эта старая княгиня несносна съ своими вѣчными parties de plaisir, гдѣ ничего нѣтъ, кромѣ скуки.

— Вы сегодня очень строги ко всѣмъ, пробормоталъ ея супругъ и проскользнулъ въ другую комнату.

Литвиновъ направился къ двери... Ирина его остановила.

— Вы мнѣ все разсказали, промолвила она, а главное утаили.

— Что такое?

— Вы, говорятъ, женитесь?

Литвиновъ покраснѣлъ до ушей... Онъ дѣйствительно съ намѣреніемъ не упомянулъ о Танѣ; но ему стало страхъ *досадно, во-первыхъ*, что Ирина знаетъ о его свадьбѣ, а *во-вторыхъ*, что она какъ будто уличила его въ желаніи

скрыть отъ нея эту самую свадьбу. Онъ рѣшительно не зналъ, что̀ сказать, а Ирина не спускала съ него глазъ.

— Да, я женюсь, проговорилъ онъ наконецъ и тотчасъ удалился.

Ратмировъ вернулся въ комнату.

— Ну, что же ты не одѣваешься? спросилъ онъ.

— Ступайте одни; у меня голова болитъ.

— Но княгиня...

Ирина обмѣрила мужа взглядомъ съ ногъ до головы, повернулась къ нему спиной, и ушла въ свой кабинетъ.

XIII.

Литвиновъ былъ весьма недоволенъ собою, словно въ рулетку проигрался или не сдержалъ даннаго слова. Внутренній голосъ говорилъ ему, что какъ жениху, какъ человѣку уже степенному, не мальчику, ему не слѣдовало поддаваться ни подстреканію любопытства, ни обольщеніямъ воспоминаній. „Очень нужно было идти!“ разсуждалъ онъ. „Съ ея стороны кокетство одно, прихоть, капризъ... Она скучаетъ, ей все пріѣлось, она ухватилась за меня... иному лакомкѣ вдругъ захочется чернаго хлѣба... ну, и прекрасно. Я-то зачѣмъ побѣжалъ? Развѣ я могу... не презирать ея?“ Это послѣднее слово онъ произнесъ, даже мысленно, не безъ усилія.—„Конечно, тутъ опасности никакой нѣтъ и быть не можетъ“, продолжалъ онъ свои разсужденія. „Вѣдь я знаю, съ кѣмъ дѣло имѣю. Но все-таки съ огнемъ шутить не слѣдуетъ... Моей ноги у нея не будетъ“. Литвиновъ самому себѣ не смѣлъ или не могъ еще признаться, до какой степени Ирина ему казалась красивою, и какъ сильно она возбуждала его чувство.

День опять прошелъ тупо и вяло. За обѣдомъ Литвинову довелось сидѣть возлѣ осанистаго „бель-ома“ съ пафабренными усами, который все молчалъ и только пыхтѣлъ, да глаза таращилъ... но внезапно икнувъ, оказался соотечественникомъ, ибо тутъ же съ сердцемъ промолвилъ по-русски: *„а я говорилъ*, что не надо было ѣсть *дыни!“. Вечеромъ тоже не произошло* ничего утѣшитель-

наго: Биндасовъ въ глазахъ Литвинова выигралъ сумму вчетверо больше той, которую у него занялъ, но не только не возвратилъ ему своего долга, а даже съ угрозой посмотрѣлъ ему въ лицо, какъ бы собираясь наказать его еще чувствительнѣе именно за то, что онъ былъ свидѣтелемъ выигрыша. На слѣдующее утро снова нахлынула ватага соотечественниковъ; Литвиновъ едва-едва отъ нихъ отдѣлался и, отправившись въ горы, сперва наткнулся на Ирину, — онъ притворился, что не узналъ ея и быстро прошелъ мимо,—потомъ на Потугина. Съ Потугинымъ онъ заговорилъ-было, но тотъ неохотно отвѣчалъ ему. Онъ велъ за руку нарядно одѣтую дѣвочку съ пушистыми, почти бѣлыми локонами, большими темными глазами на блѣдномъ, болѣзненномъ личикѣ и тѣмъ особеннымъ, повелительнымъ и нетерпѣливымъ выраженіемъ, которое свойственно избалованнымъ дѣтямъ. Литвиновъ провелъ часа два въ горахъ и возвращался домой по Лихтенталевской аллеѣ... Сидѣвшая на скамейкѣ дама съ синимъ вуалемъ на лицѣ проворно встала и подошла къ нему... Онъ узналъ Ирину.

— Зачѣмъ вы избѣгаете меня, Григорій Михайловичъ, проговорила она нетвердымъ голосомъ, какой бываетъ у человѣка, у котораго накипѣло на сердцѣ.

Литвиновъ смутился.—Я васъ избѣгаю, Ирина Павловна?

— Да, вы... вы...

Ирина казалась взволнованною, почти разсерженною.

— Вы ошибаетесь, увѣряю васъ.

— Нѣтъ, не ошибаюсь. Развѣ я сегодня утромъ—вотъ, когда мы съ вами встрѣтились,—развѣ я не видѣла, что вы меня узнали? Скажите, развѣ вы не узнали меня? Скажите?

— Я право... Ирина Павловна...

— Григорій Михайловичъ, вы человѣкъ прямой, вы всегда говорили правду: скажите, скажите мнѣ, вѣдь вы узнали меня? вы съ намѣреніемъ отвернулись?

Литвиновъ взглянулъ на Ирину. Глаза ея блестѣли страннымъ блескомъ, а щеки и губы мертвенно бѣлѣли сквозь частую сѣтку вуаля. Въ выраженіи ея лица, въ

самомъ звукѣ ея порывистаго шопота было что-то до того неотразимо скорбное, молящее... Литвиновъ не могъ притворяться долѣе.

— Да... я узналъ васъ, промолвилъ онъ не безъ усилія.

Ирина тихонько вздрогнула и тихонько опустила руки.

— Отчего же вы не подошли ко мнѣ? прошептала она.

— Отчего... отчего!—Литвиновъ сошелъ въ сторону съ дорожки, Ирина молча послѣдовала за нимъ. — Отчего? повторилъ онъ еще разъ, и лицо его внезапно вспыхнуло, и чувство, похожее на злобу, стиснуло ему грудь и горло.— Вы... Вы это спрашиваете, послѣ всего, что произошло между нами? Не теперь, конечно, не теперь, а тамъ... тамъ... въ Москвѣ.

— Но вѣдь мы съ вами рѣшили, вѣдь вы обѣщали... начала-было Ирина.

— Я ничего не обѣщалъ. Извините рѣзкость моихъ выраженій, но вы требуете правды—такъ посудите сами: чему, какъ не кокетству,—признаюсь, для меня непонятному,—чему, какъ не желанію испытать, насколько вы еще властны надо мною, могу я приписать вашу... я не знаю какъ назвать... вашу настойчивость? Наши дороги такъ далеко разошлись! Я все забылъ, все это переболѣло давно, я совсѣмъ другой человѣкъ сталъ; вы замужемъ, счастливы, по крайней мѣрѣ по наружности, пользуетесь завиднымъ положеніемъ въ свѣтѣ: къ чему же, зачѣмъ это сближеніе? Что я вамъ, что вы мнѣ? Мы теперь и понять другъ друга не можемъ, между нами теперь нѣтъ уже рѣшительно ничего общаго, ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ! Особенно... особенно въ прошедшемъ!

Литвиновъ произнесъ всю эту рѣчь торопливо, отрывисто, не поворачивая головы. Ирина не шевелилась, и только по временамъ, чуть-чуть протягивала къ нему руки. Казалось, она умоляла его остановиться и выслушать ее, а при послѣднихъ его словахъ слегка прикусила нижнюю губу, какъ бы подавляя ощущеніе остраго и быстраго уязвленія.

— Григорій Михайлычъ, начала она наконецъ голо-

сомъ уже болѣе спокойнымъ, и отошла еще дальше отъ дорожки, по которой изрѣдка проходили люди...

Литвиновъ въ свою очередь послѣдовалъ за ней.

— Григорій Михайлычъ, повѣрьте мнѣ: если бъ я могла вообразить, что у меня осталось на волосъ власти надъ вами, я бы первая избѣгала васъ. Если я этого не сдѣлала, если я рѣшилась, несмотря на... на мою прошедшую вину, возобновить знакомство съ вами, то это потому... потому...

— Почему? почти грубо спросилъ Литвиновъ.

— Потому, подхватила съ внезапною силой Ирина: — что мнѣ стало уже слишкомъ невыносимо, нестерпимо душно въ этомъ свѣтѣ, въ этомъ завидномъ положеніи, о которомъ вы говорите; потому, что встрѣтивъ васъ, живого человѣка, послѣ всѣхъ этихъ мертвыхъ куколъ—вы могли видѣть образчики ихъ четвертаго дня, тамъ au Vieu Château,—я обрадовалась какъ источнику въ пустынѣ, а вы называете меня кокеткой и подозрѣваете меня, и отталкиваете меня подъ тѣмъ предлогомъ, что я дѣйствительно была виновата передъ вами, а еще больше передъ самой собою!

— Вы сами выбрали свой жребій, Ирина Павловна, угрюмо промолвилъ Литвиновъ, попрежнему не оборачивая голову.

— Сама, сама... я и не жалуюсь, я не имѣю права жаловаться, поспѣшно проговорила Ирина, которой, казалось, самая суровость Литвинова доставляла тайную отраду;—я знаю, что вы должны осуждать меня, я и не оправдываюсь, я только хочу объяснить вамъ мое чувство, я хочу убѣдить васъ, что мнѣ не до кокетства теперь... Мнѣ кокетничать съ вами! Да въ этомъ смыслу нѣтъ... Когда я васъ увидала, все мое хорошее, молодое во мнѣ пробудилось... то время, когда я еще не выбрала своего жребія, все, что̀ лежитъ тамъ, въ той свѣтлой полосѣ, за этими десятью годами...

— Да позвольте же, наконецъ, Ирина Павловна! Сколько *мнѣ извѣстно, свѣтлая* полоса въ вашей жизни началась *именно съ той поры*, какъ мы разстались...

Ирина поднесла платокъ къ губамъ.

— Это очень жестоко, что̀ вы говорите, Григорій Михайлычъ; но я сердиться на васъ не могу. О, нѣтъ, не свѣтлое то было время, не на счастье покинула я Москву, ни одного мгновенья, ни одной минуты счастья я не знала... повѣрьте мнѣ, что̀ бы ни разсказывали вамъ. Если бъ я была счастлива, могла ли бы я говорить съ вами такъ, какъ я теперь говорю... Я повторяю вамъ, вы не знаете, что̀ это за люди... Вѣдь они ничего не понимаютъ, ничему не сочувствуютъ, даже ума у нихъ нѣтъ, ni esprit, ni intelligence, а одно только лукавство, да сноровка; вѣдь, въ сущности, и музыка, и поэзія, и искусство имъ одинаково чужды... Вы скажете, что я ко всему этому была сама довольно равнодушна; но не въ такой степени, Григорій Михайлычъ... не въ такой степени! Не свѣтская женщина теперь передъ вами, вамъ стоитъ только взглянуть на меня, не львица... такъ, кажется, насъ величаютъ... а бѣдное, бѣдное существо, которое, право, достойно сожалѣнія. Не удивляйтесь моимъ словамъ... мнѣ не до гордости теперь! Я протягиваю къ вамъ руку какъ нищая, поймите же это наконецъ, какъ нищая... Я милостыни прошу, прибавила она вдругъ съ невольнымъ, неудержимымъ порывомъ:—я прошу милостыни, а вы...

Голосъ измѣнилъ ей. Литвиновъ поднялъ голову и посмотрѣлъ на Ирину; она дышала быстро, губы ея дрожали. Сердце въ немъ вдругъ забилось, и чувство злобы исчезло.

— Вы говорите, что наши дороги разошлись, продолжала Ирина:—я знаю, вы женитесь по склонности, у васъ уже составленъ планъ на всю вашу жизнь, да, это все такъ, но мы не стали другъ другу чужды, Григорій Михайлычъ, мы можемъ еще понять другъ друга. Или вы полагаете, что я совсѣмъ отупѣла, что я совсѣмъ погрязла въ этомъ болотѣ? Ахъ, нѣтъ, не думайте этого, пожалуйста! Дайте мнѣ душу отвести, прошу васъ, ну хоть во имя тѣхъ прежнихъ дней, если вы не хотите забыть ихъ. Сдѣлайте такъ, чтобы наша встрѣча не пропала даромъ, это было бы очень *горько, она* и безъ того не долго *продолжится... Я не умѣю говорить* какъ слѣдуетъ, но вы

поймете меня, потому что я требую малаго, очень малаго... только немножко участія, только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы отвести...

Ирина умолкла, въ голосѣ ея звенѣли слезы. Она вздохнула, и робко, какимъ-то боковымъ, ищущимъ взоромъ посмотрѣла на Литвинова, протянула ему руку...

Литвиновъ медленно взялъ эту руку и слабо пожалъ ее.

— Будемте друзьями, шепнула Ирина.

— Друзьями, задумчиво повторилъ Литвиновъ.

— Да, друзьями... а если это слишкомъ большое требованіе, то будемте, по крайней мѣрѣ, хорошими знакомыми... Будемте запросто, какъ будто никогда ничего не случалось...

— Какъ будто ничего не случалось... повторилъ опять Литвиновъ.—Вы сейчасъ сказали мнѣ, Ирина Павловна, что я не хочу забыть прежнихъ дней... Ну, а если я не могу забыть ихъ?

Блаженная улыбка мелькнула на лицѣ Ирины, и тотчасъ же исчезла, смѣнившись заботливымъ, почти испуганнымъ выраженіемъ.

— Будьте какъ я, Григорій Михайлычъ, помните только хорошее; а главное, дайте мнѣ теперь слово... честное слово...

— Какое?

— Не избѣгать меня... не огорчать меня понапрасну... Вы обѣщаетесь? скажите!

— Да.

— И всякія дурныя мысли изъ головы выкините?

— Да... но понять васъ я все-таки отказываюсь.

— Это и не нужно... а впрочемъ погодите, вы меня поймете. Но вы обѣщаетесь?

— Я уже сказалъ: да.

— Ну спасибо. Смотрите же, я привыкла вамъ вѣрить. Я буду ждать васъ сегодня, завтра, я изъ дому не буду выходить. А теперь я должна васъ оставить. Герцогиня идетъ по аллеѣ... Она увидала меня, и я не могу не *подойти къ ней*... До свиданья... Дайте же мнѣ вашу руку, *vite, vite. До свиданія.*

И крѣпко стиснувши руку Литвинова, Ирина направилась къ особѣ среднихъ лѣтъ и сановитой наружности, тяжело выступавшей по песчаной дорожкѣ, въ сопровожденіи двухъ другихъ дамъ и ливрейнаго, чрезвычайно благообразнаго лакея.

— Eh bonjour, chère madame, проговорила особа, между тѣмъ какъ Ирина почтительно присѣдала передъ нею.— Comment allez-vous aujourd'hui? Venez un peu avec moi.

— Votre Altesse a trop de bonté, послышался вкрадчивый голосъ Ирины.

XIV.

Литвиновъ далъ удалиться герцогинѣ со всей ея свитой и тоже вышелъ на аллею. Онъ не могъ отдать себѣ яснаго отчета въ томъ, что онъ ощущалъ: и стыдно ему было, и даже страшно, и самолюбіе его было польщено... Нежданное объясненіе съ Ириной застигло его врасплохъ; ея горячія, быстрыя слова пронеслись надъ нимъ, какъ грозный ливень. „Чудачки эти свѣтскія женщины, думалъ онъ;—никакой въ нихъ нѣтъ послѣдовательности... и какъ извращаетъ ихъ среда, гдѣ онѣ живутъ, и безобразіе которой онѣ сами чувствуютъ!..“ Собственно онъ совсѣмъ не то думалъ, а только машинально повторялъ эти избитыя фразы, какъ бы желая тѣмъ самымъ отдѣлаться отъ другихъ, болѣе жуткихъ думъ. Онъ понималъ, что серьезно размышлять ему теперь не слѣдовало, что ему, вѣроятно, пришлось бы обвинить себя, и онъ шелъ замедленными шагами, чуть не усиленно обращая вниманіе на все, что попадалось ему навстрѣчу... Онъ вдругъ очутился передъ скамейкой, увидалъ возлѣ нея чьи-то ноги, повелъ вверхъ по нимъ глазами... Ноги эти принадлежали человѣку, сидѣвшему на скамейкѣ и читавшему газету; человѣкъ этотъ оказался Потугинымъ. Литвиновъ издалъ легкое восклицаніе. Потугинъ положилъ газету на колѣни и внимательно, безъ улыбки посмотрѣлъ на Литвинова; и Литвиновъ посмотрѣлъ на Потугина, тоже внимательно и тоже безъ улыбки.

— *Можно сѣсть возлѣ васъ?* спросилъ онъ наконецъ.

— Садитесь, сдѣлайте одолженіе. Только предувѣдомляю васъ: если вы хотите со мной разговоръ вести, не прогнѣвайтесь—я нахожусь теперь въ самомъ мизантропическомъ настроеніи, и всѣ предметы представляются мнѣ въ преувеличенно-скверномъ видѣ.

— Это ничего, Созонтъ Иванычъ, промолвилъ Литвиновъ, опускаясь на скамью:—это даже очень кстати... Но отчего на васъ нашелъ такой стихъ?

— По-настоящему мнѣ бы не слѣдовало злиться, началъ Потугинъ. — Я вотъ сейчасъ вычиталъ въ газетѣ проектъ о судебныхъ преобразованіяхъ въ Россіи, и съ истиннымъ удовольствіемъ вижу, что и у насъ хватились наконецъ ума-разума, и не намѣрены болѣе, подъ предлогомъ самостоятельности тамъ, народности или оригинальности, къ чистой и ясной европейской логикѣ прицѣплять доморощенный хвостикъ; а напротивъ, берутъ хорошее чужое цѣликомъ. Довольно одной уступки въ крестьянскомъ дѣлѣ... Подите-ка, развяжитесь съ общимъ владѣніемъ!.. Точно, точно, мнѣ не слѣдовало бы злиться; да на мою бѣду наскочилъ я на русскій самородокъ, побесѣдовалъ съ нимъ, а эти самородки да самоучки меня въ самой могилѣ тревожить будутъ!

— Какой самородокъ? спросилъ Литвиновъ.

— Да тутъ такой господинъ бѣгаетъ, геніальнымъ музыкантомъ себя воображаетъ. „Я, говоритъ, конечно, ничего, я нуль, потому что я не учился, но у меня не въ примѣръ больше мелодій и больше идей, чѣмъ у Мейербеера". Во-первыхъ, я скажу: зачѣмъ же ты не учился? а во-вторыхъ, не то что у Мейербеера, а у послѣдняго нѣмецкаго флейтщика, скромно высвистывающаго свою партію въ послѣднемъ нѣмецкомъ оркестрѣ, въ двадцать разъ больше идей, чѣмъ у всѣхъ нашихъ самородковъ; только флейтщикъ хранитъ про себя эти идеи и не суется съ ними впередъ въ отечествѣ Моцартовъ и Гайдновъ; а нашъ братъ-самородокъ „трень-брень" вальсикъ или романсикъ, и, смотришь — уже руки въ панталоны и ротъ презрительно скривленъ: я, молъ, геній. И въ живописи то же самое, и вездѣ. Ужъ эти мнѣ самородки! Да кто же

не знаетъ, что щеголяютъ ими только тамъ, гдѣ нѣтъ ни настоящей, въ кровь и плоть перешедшей науки, ни настоящаго искусства. Неужели же не пора сдать въ архивъ это щеголянье, этотъ пошлый хламъ вмѣстѣ съ извѣстными фразами о томъ, что у насъ на Руси никто съ голоду не умираетъ, и ѣзда по дорогамъ самая скорая, и что мы шапками всѣхъ закидать можемъ? Лѣзутъ мнѣ въ глаза съ даровитостью русской натуры, съ геніальнымъ инстинктомъ, съ Кулибинымъ... Да какая это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетанье съ-просонья, а не то полузвѣриная смѣтка. Инстинктъ! Нашли чѣмъ хвастаться! Возьмите муравья въ лѣсу и отнесите его на версту отъ его кочки: онъ найдетъ дорогу къ себѣ домой; человѣкъ ничего подобнаго сдѣлать не можетъ; что жъ? развѣ онъ ниже муравья? Инстинктъ, будь онъ распрегеніальный, недостоинъ человѣка: разсудокъ, простой, здравый, дюжинный разсудокъ — вотъ наше прямое достояніе, наша гордость; разсудокъ никакихъ такихъ штукъ не выкидываетъ; оттого-то все на немъ и держится. А что до Кулибина, который, не зная механики, смастерилъ какіе-то пребезобразные часы, такъ я бы эти самые часы на позорный столбъ выставить приказалъ; вотъ, молъ, смотрите, люди добрые, какъ не надо дѣлать. Кулибинъ самъ тутъ не виноватъ, да дѣло его дрянь. Хвалить Телушкина, что на адмиралтейскій шпиль лазилъ, за смѣлость и ловкость — можно; отчего не похвалить? Но не слѣдуетъ кричать, что, дескать, какой онъ носъ наклеилъ нѣмцамъ-архитекторамъ? и на что они? только деньги берутъ... Никакого онъ имъ носа не наклеивалъ: пришлось же потомъ лѣса вокругъ шпиля поставить, да починить его обыкновеннымъ порядкомъ. Не поощряйте, ради Бога, у насъ на Руси мысли, что можно чего-нибудь добиться безъ ученія! Нѣтъ; будь ты хоть семи пядей во лбу, а учись, учись съ азбуки! Не то молчи, да сиди, поджавши хвостъ! Фу! даже жарко стало!

Потугинъ снялъ шляпу и помахалъ на себя платкомъ.

— Русское художество, заговорилъ онъ снова:—русское искусство!.. Русское пруженье я знаю, и русское безсиліе

знаю тоже, а съ русскимъ художествомъ, виноватъ, не встрѣчался. Двадцать лѣтъ сряду поклонялись этакой пухлой ничтожности, Брюллову, и вообразили, что и у насъ, молъ, завелась школа, и что она даже почище будетъ всѣхъ другихъ... Русское художество, ха-ха-ха! хо-хо!

— Но однако, позвольте, Созонтъ Иванычъ, замѣтилъ Литвиновъ.—Глинку вы, стало-быть, тоже не признаете?

Потугинъ почесалъ у себя за ухомъ.

— Исключенія, вы знаете, только подтверждаютъ правило, но и въ этомъ случаѣ мы не могли обойтись безъ хвастовства! Сказать бы, напримѣръ, что Глинка былъ, дѣйствительно, замѣчательный музыкантъ, которому обстоятельства, внѣшнія и внутреннія, помѣшали сдѣлаться основателемъ русской оперы, никто бы спорить не сталъ; но нѣтъ, какъ можно! Сейчасъ надо его произвести въ генералъ-аншефы, въ оберъ-гофъ-маршалы по части музыки, да другіе народы кстати оборвать: ничего, молъ, подобнаго у нихъ нѣту, и тутъ же указываютъ вамъ на какого-нибудь „мощнаго“ доморощеннаго генія, произведенія котораго не что иное, какъ жалкое подражаніе второстепеннымъ чужестраннымъ дѣятелямъ—именно второстепеннымъ: этимъ легче подражать. Ничего подобнаго? О, убогіе дурачки-варвары, для которыхъ не существуетъ преемственности искусства, и художники—нѣчто въ родѣ Раппо: чужакъ, молъ, шесть пудовъ одной рукой поднимаетъ, а нашъ — цѣлыхъ двѣнадцать! Ничего подобнаго!? А у меня, осмѣлюсь доложить вамъ, изъ головы слѣдующее воспоминаніе не выходитъ. Посѣтилъ я нынѣшнею весной Хрустальный Дворецъ возлѣ Лондона; въ этомъ дворцѣ помѣщается, какъ вамъ извѣстно, нѣчто въ родѣ выставки всего, до чего достигла людская изобрѣтательность, — энциклопедія человѣчества, такъ сказать надо. Ну-съ, расхаживалъ я, расхаживалъ мимо всѣхъ этихъ машинъ и орудій, и статуй великихъ людей; и подумалъ я въ тѣ поры: если бы такой вышелъ приказъ, что вмѣстѣ съ исчезновеніемъ какого-либо народа съ лица земли, немедленно должно было бы исчезнуть изъ Хрустальнаго Дворца все то, что тотъ народъ выдумалъ, —

наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла въ таръ-тарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная: все бы преспокойно осталось на своемъ мѣстѣ, потому что даже самоваръ, и лапти, и дуга, и кнутъ—эти наши знаменитые продукты—не нами выдуманы. Подобнаго опыта даже съ Сандвичевскими островами произвести невозможно; тамошніе жители какія-то лодки да копья изобрѣли: посѣтители замѣтили бы ихъ отсутствіе. Это клевета! это слишкомъ рѣзко — скажете вы пожалуй... А я скажу: во-первыхъ, что я не умѣю порицать, воркуя; а во-вторыхъ, что, видно, не одному чорту, а и самому себѣ прямо въ глаза посмотрѣть никто не рѣшается, и не одни дѣти у насъ любятъ, чтобъ ихъ баюкали. Старыя наши выдумки къ намъ приползли съ Востока, новыя мы съ грѣхомъ пополамъ съ Запада перетащили, а мы все продолжаемъ толковать о русскомъ самостоятельномъ искусствѣ! Иные молодцы даже русскую науку открыли: у насъ, молъ, дважды-два тоже четыре, да выходитъ оно какъ-то бойчѣе.

— Но постойте, Созонтъ Иванычъ, воскликнулъ Литвиновъ.—Постойте! Вѣдь посылаемъ же мы что-нибудь на всемірныя выставки, и Европа чѣмъ-нибудь да запасается у насъ?

— Да, сырьемъ, сырыми продуктами. И замѣтьте, милостивый государь: это наше сырье большею частію только потому хорошо, что обусловлено другими прескверными обстоятельствами: щетина наша, напримѣръ, велика и жестка оттого, что свиньи плохи; кожа плотна и толста оттого, что коровы худы; сало жирно оттого, что вываривается пополамъ съ говядиной... Впрочемъ, что же я съ вами объ этомъ распространяюсь: вы вѣдь занимаетесь технологіей, лучше меня все это знать должны. Говорятъ мнѣ: изобрѣтательность! Россійская изобрѣтательность! Вотъ наши господа помѣщики и жалуются горько, и терпятъ убытки, оттого что не существуетъ удовлетворительной зерносушилки, которая избавила бы ихъ отъ необходимости сажать хлѣбные снопы въ овины, какъ во времена Рюрика: овины эти страшно убыточны, не хуже лаптей или рогожъ,

и горятъ они безпрестанно. Помѣщики жалуются, а зерносушилокъ все нѣтъ какъ нѣтъ. А почему ихъ нѣтъ? Потому что нѣмцу не нужны; онъ хлѣбъ сырьемъ молотитъ, стало-быть и не хлопочетъ объ ихъ изобрѣтеніи, а мы... не въ состояніи! Не въ состояніи—и баста! Хоть ты что! Съ пынѣшняго дня обѣщаюсь, какъ только подвернется мнѣ самородокъ или самоучка—стой, скажу я ему, почтенный! а гдѣ зерносушилка? подавай ее! Да куда имъ! Вотъ поднять старый стоптанный башмакъ, давнымъ-давно свалившійся съ ноги Сенъ-Симона или Фуріе, и почтительно возложивъ его на голову, носиться съ нимъ, какъ со святыней—это мы въ состояніи; или статейку настрочить объ историческомъ и современномъ значеніи пролетаріата въ главныхъ городахъ Франціи—это тоже мы можемъ; а попробовалъ я какъ-то предложить одному такому сочинителю и политико-эконому, въ родѣ вашего господина Ворошилова, назвать мнѣ двадцать городовъ въ этой самой Франціи, такъ знаете ли, что изъ этого вышло? Вышло то, что политико-экономъ, съ отчаянія, въ числѣ французскихъ городовъ назвалъ, наконецъ, Монфермель, вспомнивъ, вѣроятно, польдекоковскій романъ. И пришелъ мнѣ тутъ на память слѣдующій анекдотъ. Пробирался я однажды съ ружьемъ и собакой по лѣсу...

— А вы охотникъ? спросилъ Литвиновъ.

— Пострѣливаю помаленьку. Пробирался я въ болото за бекасами; натолковали мнѣ про это болото другіе охотники. Гляжу, сидитъ на полянѣ передъ избушкой купеческій приказчикъ, свѣжій и ядреный какъ лущеный орѣхъ, сидитъ, ухмыляется, чему—неизвѣстно. И спросилъ я его: „Гдѣ, молъ, тутъ болото, и водятся ли въ немъ бекасы?“— „Пожалуйте, пожалуйте“, запѣлъ онъ немедленно, и съ такимъ выраженіемъ, словно я его рублемъ подарилъ, „съ нашимъ удовольствіемъ-съ, болото первый сортъ; а что касательно до всякой дикой птицы — и Боже ты мой! — въ отличномъ изобиліи имѣется“. Я отправился, но не только никакой дикой птицы не нашелъ, самое болото давно высохло. Ну скажите мнѣ на милость, зачѣмъ вретъ русскій человѣкъ? Политико-экономъ зачѣмъ вретъ, и тоже о дикой птицѣ?

Литвиновъ ничего не отвѣчалъ и только вздохнулъ сочувственно.

— А заведите рѣчь съ тѣмъ же политико-экономомъ, продолжалъ Потугинъ: — о самыхъ трудныхъ задачахъ общественной науки, но только вообще, безъ фактовъ... фррр! такъ птицей и взовьется, орломъ. Мнѣ разъ, однако, удалось поймать такую птицу: приманку я употребилъ, какъ вы изволите увидѣть, хорошую, видную. Толковали мы съ однимъ изъ нашихъ нынѣшнихъ „вьюношей“ о различныхъ, какъ они выражаются, вопросахъ. Ну-съ, гнѣвался онъ очень, какъ водится; бракъ, между прочимъ, отрицалъ съ истинно-дѣтскимъ ожесточеніемъ. Представлялъ я ему такіе резоны, сякіе... какъ объ стѣну! Вижу: подъѣхать ни съ какой стороны невозможно. И блесни мнѣ тутъ счастливая мысль! Позвольте доложить вамъ, началъ я—съ „вьюношами“ надо всегда говорить почтительно—я вамъ, милостивый государь, удивляюсь; вы занимаетесь естественными науками—и до сихъ поръ не обратили вниманія на тотъ фактъ, что всѣ плотоядныя и хищныя животныя, звѣри, птицы, всѣ тѣ, кому нужно отправляться на добычу, трудиться надъ доставленіемъ живой пищи и себѣ и своимъ дѣтямъ... а вы вѣдь человѣка причисляете къ разряду подобныхъ животныхъ? — Конечно, причисляю, подхватилъ „вьюноша“: человѣкъ вообще не что иное, какъ животное плотоядное.—И хищное, прибавилъ я. — И хищное, подтвердилъ онъ.—Прекрасно сказано, подтвердилъ я. Такъ вотъ, я и удивляюсь тому, какъ вы не замѣтили, что всѣ подобныя животныя пребываютъ въ единобрачіи? Вьюноша дрогнулъ.—Какъ такъ?—Да такъ же. Вспомните льва, волка, лисицу, ястреба, коршуна; да и какъ же имъ поступать иначе, соблаговолите сообразить? И вдвоемъ-то дѣтей едва выкормишь.—Задумался мой вьюноша.—Ну, говоритъ, въ этомъ случаѣ звѣрь человѣку не указъ.—Тутъ я обозвалъ его идеалистомъ, и ужъ огорчился же онъ! Чуть не заплакалъ. Я долженъ былъ его успокоить и обѣщать ему, что не выдамъ его товарищамъ. Заслужить названіе идеалиста — легко ли! Въ томъ-то и штука, что нынѣшняя молодежь ошиблась въ расчетѣ. Она вообразила, что время

прежней, темной, подземной работы прошло, что хорошо было старичкамъ-отцамъ рыться на подобіе кротовъ, а для насъ-де эта роль унизительна, мы на открытомъ воздухѣ дѣйствовать будемъ, мы будемъ дѣйствовать... Голубчики! и ваши дѣтки еще дѣйствовать не будутъ; а вамъ не угодно ли въ норку, въ норку опять по слѣдамъ старичковъ?

Наступило небольшое молчаніе.

— Я, сударь мой, такого мнѣнія, началъ опять Потугинъ:—что мы не однимъ только знаніемъ, искусствомъ, правомъ, обязаны цивилизаціи, но что самое даже чувство красоты и поэзіи развивается и входитъ въ силу подъ вліяніемъ той же цивилизаціи, и что такъ называемое народное, наивное, безсознательное творчество есть нелѣпость и чепуха. Въ самомъ Гомерѣ уже замѣтны слѣды цивилизаціи утонченной и богатой; самая любовь облагораживается ею. Славянофилы охотно повѣсили бы меня за подобную ересь, еслибъ они не были такими сердобольными существами; но я все-таки настаиваю на своемъ—и сколько бы меня ни потчивали г-жей Кохановской и *Роемъ на спокоѣ*, я этого triple extrait de mougik russe нюхать не стану, ибо не принадлежу къ высшему обществу, которому отъ времени до времени необходимо нужно увѣрить себя, что оно не совсѣмъ офранцузилось, и для котораго собственно и сочиняется эта литература en cuir de Russie. Попытайтесь прочесть простолюдину—настоящему—самыя хлесткія, самыя „народныя“ мѣста изъ *Роя*: онъ подумаетъ, что вы ему сообщаете новый заговоръ отъ лихоманки или запоя. Повторяю, безъ цивилизаціи нѣтъ и поэзіи. Хотите ли уяснить себѣ поэтическій идеалъ нецивилизованнаго русскаго человѣка? Разверните наши былины, наши легенды. Не говорю уже о томъ, что любовь въ нихъ постоянно является какъ слѣдствіе колдовства, приворота, производится питіемъ „забыдущимъ“ и называется даже присухой, зазнобой; не говорю также о томъ, что наша такъ-называемая эпическая литература одна, между всѣми другими, европейскими и азіятскими, одна, замѣтьте, не представила—коли Ваньку-Таньку не считать—никакой типической пары любящихся существъ; что святорусскій богатырь свое знакомство съ

суженой-ряженой всегда начинаетъ съ того, что бьетъ ее по бѣлому тѣлу „нежалухою“—отчего „и женской полъ пухóлъ живетъ“;—обо всемъ этомъ я говорить не стану; но позволяю себѣ обратить ваше вниманіе на изящный образъ юноши, жёнь-премьѐ, какимъ онъ рисовался воображенію первобытнаго, нецивилизованнаго славянина. Вотъ, извольте посмотрѣть, идетъ жёнь-премьѐ; шубоньку сшилъ онъ себѣ кунью, по всѣмъ швамъ строченую, поясокъ семишелковый подъ самыя мышки подведенъ, персты закрыты рукавчиками, воротъ въ шубѣ сдѣланъ выше головы, спереди-то не видать лица румянаго, сзади-то не видать шеи бѣленькой, шапочка сидитъ на одномъ ухѣ, а на ногахъ сапоги сафьянные, носы шиломъ, пяты востры—вокругъ носика-то носа яйцо кати; подъ пяту-пяту воробей лети-перепурхивай.—И идетъ молодецъ частой мелкой походочкой, той знаменитой „щепливой“ походкой, которою нашъ Алкивіадъ, Чурило Пленковичъ, производилъ такое изумительное, почти медицинское дѣйствіе въ старыхъ бабахъ и молодыхъ дѣвкахъ, той самой походкой, которою до нынѣшняго дня такъ неподражаемо сѣменятъ наши по всѣмъ суставчикамъ развинченные половые, эти сливки, этотъ цвѣтъ русскаго щегольства, это nec plus ultra русскаго вкуса. Я это не шутя говорю: мѣшковатое ухарство, вотъ нашъ художественный идеалъ. Что́, хорошъ образъ? Много въ немъ матеріаловъ для живописи, для ваянія? А красавица, которая плѣняетъ ючошу, и у которой „кровь въ лицѣ быдто у заицы?.....“ Но вы, кажется, не слушаете меня?

Литвиновъ встрепенулся. Онъ, дѣйствительно, не слышалъ, что говорилъ ему Потугинъ: онъ думалъ, неотступно думалъ объ Иринѣ, о послѣднемъ свиданіи съ нею...

— Извините меня, Созонтъ Иванычъ, началъ онъ:—но я опять къ вамъ съ прежнимъ вопросомъ насчетъ... насчетъ госпожи Ратмировой.

Потугинъ сложилъ газету и засунулъ ее въ карманъ.

— Вамъ опять хочется узнать, какъ я съ ней познакомился?

— Нѣтъ, не то; я бы желалъ услыхать ваше мнѣніе...

о той роли, которую она играла въ Петербургѣ. Въ сущности, какая это была роль?

— А я, право, не знаю, что́ сказать вамъ, Григорій Михайлычъ. Я сошелся съ госпожею Ратмировой довольно близко... но совершенно случайно и не надолго. Я въ ея міръ не заглядывалъ и что́ тамъ происходило—осталось для меня неизвѣстнымъ. Болтали при мнѣ кое-что, да вы знаете, сплетня царитъ у насъ не въ однихъ демократическихъ кружкахъ. Впрочемъ, я и не любопытствовалъ. Однако, я вижу, прибавилъ онъ, помолчавъ немного:—она васъ занимаетъ.

— Да; мы побесѣдовали раза два довольно откровенно. Я все-таки себя спрашиваю: искренна ли она?

Потугинъ потупился. — Когда увлекается — искренна, какъ всѣ страстныя женщины. Гордость также иногда мѣшаетъ ей лгать.

— А она горда? Я скорѣй полагаю—капризна.

— Горда какъ бѣсъ; да это ничего.

— Мнѣ кажется, она иногда преувеличиваетъ...

— И это ничего; все-таки она искренна. Ну, а вообще говоря, у кого захотѣли вы правды? Лучшія изъ этихъ барынь испорчены до мозга костей.

— Но, Созонтъ Иванычъ, вспомните, не сами ли вы назвали себя ея пріятелемъ? Не сами ли вы почти насильно повели меня къ ней?

— Что жъ такое? Она просила меня васъ доставить; я и подумалъ: отчего же нѣтъ? А я дѣйствительно ея пріятель. Она не безъ хорошихъ качествъ: очень добра, то-есть щедра, то-есть даетъ другимъ, что́ ей не совсѣмъ нужно. Впрочемъ, вѣдь вы сами должны знать ее не хуже меня.

— Я знавалъ Ирину Павловну десять лѣтъ тому назадъ; а съ тѣхъ поръ...

— Эхъ, Григорій Михайлычъ, что́ вы говорите! Характеръ людской развѣ мѣняется? Какимъ въ колыбельку, такимъ и въ могилку. Или, можетъ-быть...—Тутъ Потугинъ нагнулся еще ниже:— можетъ-быть, вы ей въ руки попасть боитесь? Оно точно... Да вѣдь чьихъ-нибудь рукъ не миновать.

Литвиновъ насильственно засмѣялся.—Вы полагаете?

— Не миновать. Человѣкъ слабъ, женщина сильна, случай всесиленъ, примириться съ безцвѣтною жизнію трудно, вполнѣ себя позабыть невозможно... а тутъ красота и участіе, тутъ теплота и свѣтъ,—гдѣ же противиться? И побѣжишь, какъ ребенокъ къ нянькѣ. Ну, а потомъ, конечно, холодъ и мракъ, и пустота... какъ слѣдуетъ. И кончится тѣмъ, что ото всего отвыкнешь, все перестанешь понимать. Сперва не будешь понимать, какъ можно любить; а потомъ не будешь понимать, какъ жить можно.

Литвиновъ посмотрѣлъ на Потугина, и ему показалось, что онъ никогда еще не встрѣчалъ человѣка болѣе одинокаго, болѣе заброшеннаго... болѣе несчастнаго. Онъ не робѣлъ на этотъ разъ, не чинился; весь понурый и блѣдный, съ головою на груди и руками на колѣняхъ, онъ сидѣлъ неподвижно и только усмѣхался унылой усмѣшкой. Жалко стало Литвинову этого бѣднаго, желчнаго чудака.

— Мнѣ Ирина Павловна между прочимъ упомянула, началъ онъ вполголоса:—объ одной своей хорошей знакомой, которую звали, помнится, Бѣльской или Дольской...

Потугинъ вскинулъ на Литвинова свои печальные глазки.

— А! промолвилъ онъ глухо...—Она упомянула... ну, и что жъ? Впрочемъ, прибавилъ онъ, какъ-то неестественно зѣвнувъ: мнѣ домой пора—обѣдать. Прощенія просимъ.

Онъ вскочилъ со скамейки и проворно удалился, прежде чѣмъ Литвиновъ успѣлъ промолвить слово... Досада смѣпила въ немъ жалость, досада, разумѣется, на самого себя. Всякаго рода нескромность была ему несвойственна, онъ хотѣлъ выразить свое участіе Потугину, а вышло нѣчто подобное неловкому намеку. Съ тайнымъ неудовольствіемъ на сердцѣ вернулся онъ въ свою гостиницу.

„Испорчена до мозга костей“, думалъ онъ нѣсколько времени спустя... „но горда какъ бѣсъ! Она, эта женщина, которая чуть не на колѣни становится передо мною, горда? горда, а не капризна?“

Литвиновъ попытался изгнать изъ головы образъ Ирины; но это ему не удалось. Онъ именно потому и не вспоминалъ о своей невѣстѣ; онъ чувствовалъ: сегодня тотъ

образъ своего мѣста не уступитъ. Онъ положилъ, не тревожась болѣе, ждать разгадки всей этой „странной исторіи“; разгадка эта не могла замедлиться, и Литвиновъ нисколько не сомнѣвался въ томъ, что она будетъ самая безобидная и естественная. Такъ думалъ онъ, а между тѣмъ не одинъ образъ Ирины не покидалъ его—всѣ слова ея поочередно приходили ему на память.

Кельнеръ принесъ ему записку: она была отъ той же Ирины.

„Если вамъ нечего дѣлать сегодня вечеромъ, приходите: я не буду одна; у меня гости—и вы еще ближе увидите нашихъ, наше общество. Мнѣ очень хочется, чтобы вы ихъ увидали: мнѣ сдается, что они покажутъ себя въ полномъ блескѣ. Надобно жъ вамъ знать, какимъ я воздухомъ дышу. Приходите; я буду рада васъ видѣть, да и вы не соскучаетесь (Ирина хотѣла сказать: соскучитесь). Докажите мнѣ, что наше сегодняшнее объясненіе навсегда сдѣлало невозможнымъ всякое недоразумѣніе между нами. Преданная вамъ И.“.

Литвиновъ надѣлъ фракъ и бѣлый галстукъ и отправился къ Иринѣ. „Все это не важно, мысленно повторялъ онъ дорогой,—а посмотрѣть на *нихъ*... отчего не посмотрѣть? Это любопытно“. Нѣсколько дней тому назадъ эти самые люди возбуждали въ немъ другое чувство: они возбуждали въ немъ негодованье.

Онъ шелъ учащенными шагами, съ нахлобученною на глаза шляпой, съ напряженною улыбкой на губахъ, а Бамбаевъ, сидя передъ кофейной Вебера и издали указывая на него Ворошилову и Пищалкину, восторженно воскликнулъ: „Видите вы этого человѣка? Это камень! Это скала!! это гранитъ!!!“

XV.

Литвиновъ засталъ у Ирины довольно много гостей. Въ углу, за карточнымъ столомъ, сидѣло трое изъ генераловъ пикника: тучный, раздражительный и снисходительный. Они играли въ вистъ съ болваномъ, и нѣтъ словъ на человѣческомъ языкѣ, чтобы выразить важность, съ которою

они сдавали, брали взятки, ходили съ трефъ, ходили съ бубенъ... ужъ точно государственные люди! Предоставивъ разночинцамъ, aux bourgeois, обычныя во время игры прибаски и прибаутки, господа генералы произносили лишь самыя необходимыя слова; тучный генералъ позволилъ себѣ, однако, между двумя сдачами энергически отчеканить: „Ce satané as de pique!“ Въ числѣ посѣтительницъ Литвинова узналъ дамъ, участницъ пикника; но были также и другія, которыхъ онъ еще не видалъ. Была одна до того старая, что казалось, вотъ-вотъ сейчасъ разрушится: она поводила обнаженными, страшными, темно-сѣрыми плечами—и прикрывъ ротъ вѣеромъ, томно косилась на Ратмирова уже совсѣмъ мертвыми глазами; онъ за ней ухаживалъ: ее очень уважали въ высшемъ свѣтѣ, какъ послѣднюю фрейлину императрицы Екатерины. У окна, одѣтая пастушкой, сидѣла графиня Ш., „царица осъ“, окруженная молодыми людьми; въ числѣ ихъ отличался своей надменной осанкой, совершенно плоскимъ черепомъ и безцушно-звѣрскимъ выраженіемъ лица, достойнымъ бухарскаго хана или римскаго Геліогабала, знаменитый богачъ и красавецъ Финиковъ; другая дама, тоже графиня, извѣстная подъ короткимъ именемъ Lise, разговаривала съ длинноволосымъ, бѣлокурымъ и блѣднымъ „спиритомъ“; рядомъ стоялъ господинъ, тоже блѣдный и длинноволосый, и значительно посмѣивался: господинъ этотъ также вѣрилъ въ спиритизмъ, но сверхъ того занимался пророчествомъ, и на основаніи Апокалипсиса и Талмуда, предсказывалъ всякія удивительныя событія; ни одно изъ этихъ событій не совершалось,—а онъ не смущался, а продолжалъ пророчествовать. За фортепіанами помѣстился тотъ самый самородокъ, который возбудилъ такое негодованіе въ Потугинѣ; онъ бралъ аккорды разсѣянною рукой, d'une main distraite, и небрежно посматривалъ кругомъ. Ирина сидѣла на диванѣ между княземъ Кокѣ и г-жею Х., извѣстною нѣкогда красавицей и всероссійской умницей, давнымъ-давно превратившеюся въ дрянной сморчокъ, отъ котораго отдавало постнымъ масломъ и выдохшимся ядомъ. Увидѣвъ Литвинова, Ирина покраснѣла, встала, и когда

онъ подошелъ къ ней, крѣпко пожала ему руку. На ней было черное креповое платье съ едва замѣтными золотыми украшеніями; ея плечи бѣлѣли матовою бѣлизной, а лицо, тоже блѣдное подъ мгновенною алою волной по немъ разлитою, дышало торжествомъ красоты, и не одной только красоты: затаенная, почти насмѣшливая радость свѣтилась въ полузакрытыхъ глазахъ, трепетала около губъ и ноздрей...

Ратмировъ приблизился къ Литвинову и, помѣнявшись съ нимъ обычными привѣтствіями, не сопровожденными однако обычною игривостью, представилъ его двумъ-тремъ дамамъ: старой развалинѣ, царицѣ осъ, графинѣ Лизѣ... Онѣ приняли его довольно благосклонно. Литвиновъ не принадлежалъ къ ихъ кружку... но онъ былъ собой не дуренъ, даже очень, и выразительныя черты его молодого лица возбудили ихъ вниманіе. Только онъ не сумѣлъ упрочить за собою это вниманіе; онъ отвыкъ отъ общества и чувствовалъ нѣкоторое смущеніе, а тутъ еще тучный генералъ на него уставился. „Ага! рябчикъ! вольнодумецъ!“ казалось, говорилъ этотъ неподвижный, тяжелый взглядъ „приползъ-таки къ намъ; ручку, молъ, пожалуйте“. Ирина пришла на помощь Литвинову. Она такъ ловко распорядилась, что онъ очутился въ уголку возлѣ двери, немного позади ея. Заговаривая съ нимъ, ей всякій разъ приходилось къ нему оборачиваться, и онъ всякій разъ любовался красивымъ изгибомъ ея блестящей шеи, онъ впивалъ тонкій запахъ ея волосъ. Выраженіе благодарности, глубокой и тихой, не сходило съ ея лица: онъ не могъ не сознаться, что именно благодарность выражали эти улыбки, эти взоры, и самъ онъ весь закипалъ тѣмъ же чувствомъ, и совѣстно становилось ему, и сладко, и жутко... и въ то же время она постоянно какъ будто хотѣла сказать: „ну что? каковы?“ Особенно ясно слышался Литвинову этотъ безмолвный вопросъ, какъ только кто-нибудь изъ присутствовавшихъ произносилъ или совершалъ пошлость, а это случилось не однажды во время вечера. Разъ даже она не выдержала и громко засмѣялась.

Графиня Лиза, дама весьма суевѣрная и склонная ко

всему чрезвычайному, натолковавшись досыта съ бѣлокурымъ спиритомъ объ Юмѣ, вертящихся столахъ, самоиграющихъ гармоникахъ и т. п., кончила тѣмъ, что спросила его, существуютъ ли такія животныя, на которыхъ дѣйствуетъ магнетизмъ.

— Одно такое животное во всякомъ случаѣ существуетъ, отозвался издали князь Кокѳ.—Вы вѣдь знаете Мильвановскаго? Его при мнѣ усыпили, и онъ храпѣлъ даже, ей, ей!

— Вы очень злы, mon prince; я говорю о настоящихъ животныхъ, je parle des bêtes.

— Mais moi aussi, madame, je parle d'une bête...

— Есть и настоящія, вмѣшался спиритъ;—напримѣръ—раки; они очень нервозны и легко впадаютъ въ каталепсію.

Графиня изумилась.—Какъ? Раки! Неужели? Ахъ, это чрезвычайно любопытно! Вотъ это я бы посмотрѣла! Мсьё Лужинъ, прибавила она, обратившись къ молодому человѣку съ каменнымъ, какъ у новыхъ куколъ, лицомъ и каменными воротничками (онъ славился тѣмъ, что оросилъ это самое лицо и эти самые воротнички брызгами Ніагары и Нубійскаго Нила, впрочемъ ничего не помпилъ изо всѣхъ своихъ путешествій и любилъ одни русскіе каламбуры...). Мсьё Лужинъ, будьте такъ любезны, достаньте намъ рака.

Мсьё Лужинъ осклабился.—Живого-съ или только живо? спросилъ онъ.

Графиня не поняла его.—Mais oui, рака, повторила она, une écrevisse.

— Какъ, что̀ такое? рака? рака? строго вмѣшалась графиня Ш. Отсутствіе мсьё Вердіе ее раздражало: она понять не могла, зачѣмъ Ирина не пригласила этого прелестнѣйшаго изъ французовъ. Развалина, уже давно ничего не понимавшая—притомъ и глухота ее одолѣвала,—только помотала головою.

— Oui, oui, vous allez voir. Мсьё Лужинъ, пожалуйста...

Молодой путешественникъ поклонился, вышелъ и возвратился вскорѣ. Кельнеръ выступалъ за нимъ и, улыбаясь во весь ротъ, несъ блюдо, на которомъ виднѣлся большой черный ракъ.

— Voici, madame, воскликнулъ Лужинъ;—теперь можно приступить къ операціи рака. Ха, ха, ха! (Русскіе люди всегда первые смѣются собственнымъ остротамъ.)

— Хе, хе, хе! снисходительно, въ качествѣ патріота и покровителя всякихъ отечественныхъ продуктовъ, отозвался князь Кокò.

(Просимъ читателя не удивляться и не негодовать: кто можетъ отвѣчать за себя, что, сидя въ партерѣ Александринскаго театра и охваченный его атмосферой, не хлопалъ еще худшему каламбуру?)

— Mercі, mercі, промолвила графиня. — Allons, allons, monsieur Fox, montrez nous ça.

Кельнеръ поставилъ блюдо на круглый столикъ. Произошло небольшое движеніе между гостями; нѣсколько головъ вытянулось; одни генералы за карточнымъ столомъ сохранили невозмутимую торжественность позы. Спиритъ взъерошилъ свои волосы, нахмурился, и приблизившись къ столику, началъ поводить руками по воздуху: ракъ топорщился, пятился и приподнималъ клешни. Спиритъ повторилъ и участилъ свои движенія: ракъ попрежнему топорщился.

— Mais que doit elle donc faire? спросила графиня.

— Elle doâ rester immobile et se dresser sur sa quiou, отвѣчалъ съ сильнымъ американскимъ акцентомъ г. Фоксъ, судорожно потрясая пальцами надъ блюдомъ; но магнетизмъ не дѣйствовалъ, ракъ продолжалъ шевелиться. Спиритъ объявилъ, что онъ не въ ударѣ, и съ недовольнымъ видомъ отошелъ отъ столика. Графиня принялась утѣшать его, увѣряя, что даже съ мсьё Юмомъ случались иногда подобныя неудачи... Князь Кокó подтвердилъ ея слова. Знатокъ Апокалипсиса и Талмуда подошелъ украдкой къ столику и быстро, но сильно тыкая пальцами въ направленіи рака, также попыталъ свое счастье, но безуспѣшно: признаковъ каталепсіи не оказалось. Тогда призвали кельнера и велѣли ему унести рака, что̀ онъ и исполнилъ съ прежнею улыбкой во весь ротъ; слышно было, какъ онъ фыркнулъ за дверями... Въ кухнѣ потомъ много смѣялись über diese Russen. Самородокъ, который

продолжалъ брать аккорды во время опытовъ надъ ракомъ, придерживаясь минорныхъ тоновъ, потому нельзя вѣдь знать, какъ что̀ дѣйствуетъ — самородокъ сыгралъ свой неизмѣнный вальсъ, и, разумѣется, удостоился самаго лестнаго одобренія. Увлеченный соревнованіемъ, графъ Х., нашъ несравненный дилетантъ (смотри главу I) „сказалъ“ шансонетку своего изобрѣтенія, цѣликомъ выкраденную у Оффенбаха. Ея игривый припѣвъ на слова: „Quel oeuf? quel boeuf?“ заставилъ закачаться вправо и влѣво почти всѣ дамскія головы; одна даже застонала слегка, и неотразимое, неизбѣжное слово: „Charmant! charmant!“ промчалось по всѣмъ устамъ. Ирина переглянулась съ Литвиновымъ, и опять затрепетало около ея губъ то затаенное, насмѣшливое выраженіе... Но еще сильнѣе заиграло оно нѣсколько спустя, оно приняло даже злорадный оттѣнокъ, когда князь Кокò, этотъ представитель и защитникъ дворянскихъ интересовъ, вздумалъ излагать свои воззрѣнія передъ тѣмъ же самымъ спиритомъ и, разумѣется, немедленно пустилъ въ ходъ свою знаменитую фразу о потрясеніи собственности въ Россіи, при чемъ, конечно, досталось и демократамъ. Американская кровь заговорила въ спиритѣ: онъ началъ спорить. Князь, какъ водится, тотчасъ принялся кричать во всю голову, вмѣсто всякихъ доводовъ безпрестанно повторяя: c'est absurde! cela n'a pas le sens commun! Богачъ Финиковъ принялся говорить дерзости, не разбирая къ кому онѣ относились; талмудистъ запищалъ, сама графиня Ш. задребезжала... Словомъ, поднялся почти такой же несуразный гвалтъ, какъ у Губарева; только развѣ вотъ, что пива не было да табачнаго дыма, и одежда на всѣхъ была получше. Ратмировъ попытался возстановить тишину (генералы изъявляли неудовольствіе, послышалось восклицаніе Бориса: Encore cette satanée politique!), но попытка не удалась, и тутъ же находившійся сановникъ изъ числа мягко-пронзительныхъ, взявшись представить le résumé de la question en peu de mots, потерпѣлъ пораженіе; правда, онъ такъ мямлилъ и повторялся, такъ очевидно не умѣлъ ни выслушивать, ни понимать возраженія, и такъ несомнѣнно самъ не вѣдалъ,

въ чемъ собственно состояла la question, что другого исхода ожидать было невозможно; а тутъ еще Ирина исподтишка подзадоривала и натравливала другъ на друга споривших, то и дѣло оглядываясь на Литвинова и слегка кивая ему... А онъ сидѣлъ, какъ очарованный, ничего не слышалъ и только ждалъ, когда сверкнутъ опять передъ нимъ эти великолѣпные глаза, когда мелькнетъ это блѣдное, нѣжное, злое, прелестное лицо... Кончилось тѣмъ, что дамы взбунтовались и потребовали прекращенія спора... Ратмировъ упросилъ дилетанта повторить свою шансонетку, и самородокъ снова сыгралъ свой вальсъ...

Литвиновъ остался за полночь и ушелъ позднѣе всѣхъ. Разговоръ въ теченіе вечера коснулся множества предметовъ, тщательно избѣгая все мало-мальски интересное; генералы, окончивъ свою величественную игру, величественно къ нему присоединились: вліяніе этихъ государственныхъ людей оказалось тотчасъ. Рѣчь зашла о парижскихъ полусвѣтскихъ знаменитостяхъ, имена и таланты которыхъ оказались всѣмъ коротко извѣстными, о послѣдней пьесѣ Сарду, о романѣ Абу, о Патти въ *Травіатѣ*. Кто-то предложилъ играть въ „секретари“, au secrétaire; но это не удалось. Отвѣты выдавались плоскіе и не безъ грамматическихъ ошибокъ; тучный генералъ разсказалъ, что онъ однажды на вопросъ: qu'est ce que l'amour? отвѣчалъ: une colique remontée au coeur, и немедленно захохоталъ своимъ деревяннымъ хохотомъ; развалина съ размаха ударила его вѣеромъ по рукѣ; кусокъ бѣлилъ свалился съ ея лба отъ этого рѣзкаго движенія. Высохшій сморчокъ упомянулъ-было о славянскихъ княжествахъ и о необходимости православной пропаганды за Дунаемъ, но не найдя отголоска, зашипѣлъ и стушевался. Въ сущности больше всего толковали объ Юмѣ; даже „царица осъ“ разсказала, какъ по ней ползали руки, и какъ она ихъ видѣла и надѣла на одну изъ нихъ свое собственное кольцо. Иринѣ точно пришлось торжествовать: еслибъ Литвиновъ обращалъ даже больше вниманія на то, что *говорилось* вокругъ него, онъ все-таки не вынесъ бы ни *одного искренняго* слова, ни одной дѣльной мысли, ни

одного новаго факта изо всей этой безсвязной и безжизненной болтовни. Въ самыхъ крикахъ и возгласахъ не слышалось увлеченія; въ самомъ порицаніи не чувствовалось страсти: лишь изрѣдка изъ-подъ личины мнимо-гражданскаго негодованія, мнимо-презрительнаго равнодушія, плаксивымъ пискомъ пищала боязнь возможныхъ убытковъ, да нѣсколько именъ, которыхъ потомство не забудетъ, произносилось со скрипѣніемъ зубовъ... И хоть бы капля живой струи подо всѣмъ этимъ хламомъ и соромъ! Какое старье, какой ненужный вздоръ, какіе плохіе пустячки занимали всѣ эти головы, эти души, и не въ одинъ только этотъ вечеръ занимали ихъ они, не только въ свѣтѣ, — но и дома, во всѣ часы и дни, во всю ширину и глубину ихъ существованія! И какое невѣжество въ концѣ концовъ! Какое непониманіе всего, на чемъ зиждется, чѣмъ украшается человѣческая жизнь!

Прощаясь съ Литвиновымъ, Ирина снова стиснула ему руку и знаменательно шепнула: „Ну что? Довольны вы? Насмотрѣлись? Хорошо?“ Онъ ничего не отвѣчалъ ей и только поклонился тихо и низко.

Оставшись наединѣ съ мужемъ, Ирина хотѣла-было уйти къ себѣ въ спальню... Онъ остановилъ ее.

— Je vous ai beaucoup admirée ce soir, madame, промолвилъ онъ, закуривая папироску и опираясь на каминъ:— vous vous êtes parfaitement moquée de nous tous.

— Pas plus cette fois-ci que les autres, равнодушно отвѣчала она.

— Какъ прикажете понять васъ? спросилъ Ратмировъ.

— Какъ хотите.

— Гмъ. C'est clair.—Ратмировъ осторожно, по-кошачьи, стряхнулъ пепелъ папироски концомъ длиннаго ногтя на мизинцѣ. — Да, кстати! Этотъ новый вашъ знакомецъ — какъ бишь его?.. господинъ Литвиновъ — должно-быть пользуется репутаціей очень умнаго человѣка.

При имени Литвинова Ирина быстро обернулась.

— Что вы хотите сказать?

Генералъ усмѣхнулся.

— *Онъ все молчитъ... видно*, боится скомпрометироваться.

Ирина тоже усмѣхнулась, только вовсе не такъ, какъ ея мужъ.

— Лучше молчать, чѣмъ говорить... какъ говорятъ иные.

— Attrapé! промолвилъ Ратмировъ съ притворнымъ смиреніемъ. — Шутки въ сторону: у него очень интересное лицо. Такое... сосредоточенное выраженіе... и вообще осанка... Да.—Генералъ поправилъ галстукъ, и посмотрѣлъ, закинувъ голову, на собственные усы.—Онъ, я полагаю, республиканецъ, въ родѣ другого вашего пріятеля, господина Потугина; вотъ тоже умникъ изъ числа безмолвныхъ.

Брови Ирины медленно приподнялись надъ расширенными, свѣтлыми глазами, а губы сжались и чуть-чуть скривились.— Къ чему вы это говорите, Валерьянъ Владимірычъ? какъ бы съ участіемъ замѣтила она.—Только заряды на воздухъ тратите... Мы не въ Россіи, и никто васъ не слышитъ.

Ратмирова передернуло.

— Это не мое только мнѣніе, Ирина Павловна, заговорилъ онъ какимъ-то внезапно-гортаннымъ голосомъ:—другіе также находятъ, что этотъ баринъ смотритъ карбонаріемъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Кто же эти другіе?

— Да Борисъ, напримѣръ...

— Какъ? И этому нужно было выразить свое мнѣніе?

Ирина передвинула плечами, какъ бы пожимаясь отъ холода, и тихонько провела по нимъ концами пальцевъ.

— Этому... да, этому... этому. Позвольте доложить вамъ, Ирина Павловна, вы словно сердитесь; а вы сами знаете, кто сердится...

— Я сержусь? Съ какой стати?

— Не знаю; можетъ-быть, на васъ непріятно подѣйствовало замѣчаніе, которое я позволилъ себѣ насчетъ...

Ратмировъ замялся.

— Насчетъ? вопросительно повторила Ирина. — Ахъ, пожалуйста, безъ ироніи и поскорѣе. Я устала, спать хочу.—Она взяла свѣчку со стола.—Насчетъ?..

— Да насчетъ все того же господина Литвинова. Такъ какъ теперь уже нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что онъ очень васъ занимаетъ...

Ирина подняла руку, въ которой держала подсвѣчникъ,— пламя пришлось въ уровень съ лицомъ ея мужа,—и внимательно, почти съ любопытствомъ посмотрѣвъ ему въ глаза, внезапно захохотала.

— Что̀ съ вами? спросилъ, нахмурившись, Ратмировъ.

Ирина продолжала хохотать.

— Да что̀ такое? повторилъ онъ, и топнулъ ногой.

Онъ чувствовалъ себя обиженнымъ, уязвленнымъ, и въ то же время красота этой женщины, такъ легко и смѣло стоявшей передъ нимъ, его невольно поражала... она терзала его. Онъ видѣлъ все, всѣ ея прелести, даже розовый блескъ изящныхъ ногтей на тонкихъ пальцахъ, крѣпко охватившихъ темную бронзу тяжелаго подсвѣчника—даже этотъ блескъ не ускользнулъ отъ него... и обида еще глубже въѣдалась въ его сердце. А Ирина все хохотала.

— Какъ? вы? вы ревнуете? промолвила она, наконецъ, и обернувшись спиной къ мужу, вышла вонъ изъ комнаты.—„Онъ ревнуетъ!“ послышалось за дверями, и снова раздался ея хохотъ.

Ратмировъ сумрачно посмотрѣлъ вслѣдъ своей женѣ,— онъ и тутъ не могъ не замѣтить обаятельной стройности ея стана, ея движеній,—и сильнымъ ударомъ разбивъ папироску о мраморную плиту камина, швырнулъ ее далеко прочь. Щеки его внезапно поблѣднѣли, судорога пробѣжала по подбородку и глаза тупо и звѣрски забродили по полу, словно отыскивая что-то... Всякое подобіе изящества исчезло съ его лица. Подобное выраженіе должно было принять оно, когда онъ засѣкалъ бѣлорусскихъ мужиковъ.

А Литвиновъ пришелъ къ себѣ въ комнату и, присѣвъ на стулъ передъ столомъ, взялъ голову въ обѣ руки и долго оставался неподвижнымъ. Онъ поднялся, наконецъ, раскрылъ ящикъ и, доставъ портфель, вынулъ изъ внутренняго кармана карточку Татьяны. Печально глянуло на него ея лицо, искаженное и, какъ водится, состарѣнное фотографіей. Невѣста Литвинова была дѣвушка великороссійской крови, русая, нѣсколько полная и съ чертами лица немного тяжелыми, но съ удивительнымъ выраженіемъ доброты и кротости въ умныхъ, свѣтло-карихъ глазахъ,

съ нѣжнымъ бѣлымъ лбомъ, на которомъ, казалось, постоянно лежалъ лучъ солнца. Литвиновъ долго не сводилъ глазъ съ карточки, потомъ тихонько ее отодвинулъ и снова схватился обѣими руками за голову. „Все кончено!“ прошепталъ онъ, наконецъ.—„Ирина! Ирина!“

Онъ только теперь, только въ это мгновеніе понялъ, что безвозвратно и безумно влюбился въ нее, влюбился, съ самаго дня первой встрѣчи съ нею въ Старомъ-Замкѣ, что никогда не переставалъ ее любить. А между тѣмъ, какъ бы онъ удивился, какъ бы онъ не повѣрилъ, разсмѣялся бы, пожалуй, если-бъ это ему сказали нѣсколько часовъ тому назадъ?

— Но Таня, Таня, Боже мой! Таня! Таня! повторялъ онъ съ сокрушеніемъ; а образъ Ирины такъ и воздвигался передъ нимъ въ своей черной, какъ бы траурной одеждѣ, съ лучезарною тишиной побѣды на бѣло-мраморномъ лицѣ.

XVI.

Литвиновъ не спалъ всю ночь и не раздѣвался. Очень ему было тяжело. Какъ человѣкъ честный и справедливый, онъ понималъ важность обязанностей, святость долга, и почелъ бы за стыдъ хитрить съ самимъ собой, съ своею слабостью, съ своимъ проступкомъ. Сперва нашло на него оцѣпенѣніе: долго не могъ онъ выбиться изъ-подъ темнаго гнета одного и того же полусознаннаго, неяснаго ощущенія; потомъ имъ овладѣлъ ужасъ при мысли, что будущность, его почти завоеванная будущность, опять заволоклась мракомъ, что его домъ, его прочный, только что возведенный домъ внезапно пошатнулся... Онъ началъ безжалостно упрекать себя, но тотчасъ же самъ остановилъ свои порывы. „Что за малодушіе?“ подумалъ онъ. „Не до упрековъ теперь; надо теперь дѣйствовать; Таня моя невѣста, она повѣрила моей любви, моей чести, мы соединены навѣкъ и не можемъ, не должны разъединиться“. Онъ живо представилъ себѣ всѣ качества Татьяны, онъ мысленно перебиралъ и пересчитывалъ ихъ; онъ старался возбудить *въ себѣ и умиленіе*, и нѣжность. „Остается одно“, думалъ *онъ опять: „бѣжать*, бѣжать немедленно, не дожидаясь ея

прибытія, бѣжать ей навстрѣчу; буду ли страдать, буду ли мучиться съ Таней,—это невѣроятно,—но во всякомъ случаѣ, разсуждать объ этомъ, принимать это въ соображеніе—нечего; надо долгъ исполнить, хоть умри потомъ! Но ты не имѣешь права ее обманывать, шепталъ ему другой голосъ, ты не имѣешь права скрывать отъ нея перемѣну, происшедшую въ твоихъ чувствахъ; быть-можетъ, узнавъ, что ты полюбилъ другую, она не захочетъ стать твоей женой? Вздоръ! вздоръ!" возражалъ онъ: „это все софизмы, постыдное лукавство, ложная добросовѣстность; я не имѣю права не сдержать даннаго слова, вотъ это такъ. Ну, прекрасно... Тогда надо уѣхать отсюда, не видавшись съ тою"...

Но тутъ у Литвинова защемило на сердцѣ, холодно ему стало, физически холодно: мгновенная дрожь пробѣжала по тѣлу, слабо стукнули зубы. Онъ потянулся и зѣвнулъ, какъ въ лихорадкѣ. Не настаивая болѣе на своей послѣдней мысли, заг. ія эту мысль, отворачивалсь отъ нея, онъ принялся недо. вать и удивляться, какимъ образомъ онъ могъ опять... опять полюбить это испорченное, свѣтское существо, со всею его противною, враждебною обстановкой. Онъ попытался-было спросить самого себя: да полно, точно полюбилъ ли ты? и только махнулъ рукой. Онъ еще удивлялся и недоумѣвалъ, а вотъ уже передъ нимъ, словно изъ мягкой, душистой мглы, выступалъ плѣнительный обликъ, поднимались лучистыя рѣсницы—и тихо, и неотразимо вонзались ему въ сердце волшебные глаза, и голосъ звенѣлъ сладостно, и блестящія плечи, плечи молодой царицы, дышали свѣжестью и жаромъ нѣги...

Къ утру въ душѣ Литвинова созрѣло, наконецъ, рѣшеніе. Онъ положилъ уѣхать въ тотъ же день навстрѣчу Татьянѣ, и въ послѣдній разъ увидавшись съ Ириной, сказать ей, если нельзя иначе, всю правду и разстаться съ ней навсегда.

Онъ привелъ въ порядокъ и уложилъ свои вещи, дождался двѣнадцатаго часа и отправился къ ней. Но при видѣ ея полузавѣшенныхъ окопъ, сердце въ Литвиновѣ

такъ и упало... духа не достало переступить порогъ гостиницы. Онъ прошелся нѣсколько разъ по Лихтенталевской аллеѣ. „Господину Литвинову наше почтеніе!“ раздался вдругъ насмѣшливый голосъ съ высоты быстро-катившагося „догъ-карта“. Литвиновъ поднялъ глаза и увидалъ генерала Ратмирова, сидѣвшаго рядомъ съ княземъ М., извѣстнымъ спортсмэномъ и охотникомъ до англійскихъ экипажей и лошадей. Князь правилъ, а генералъ перегнулся на бокъ и скалилъ зубы, высоко приподнявъ шляпу надъ головой. Литвиновъ поклонился ему, и въ ту же минуту, какъ бы повинуясь тайному повелѣнію, бѣгомъ пустился къ Иринѣ.

Она была дома. Онъ велѣлъ доложить о себѣ: его тотчасъ приняли. Когда онъ вошелъ, она стояла посреди комнаты. На ней была утренняя блуза, съ широкими открытыми рукавами; лицо ея, блѣдное по-вчерашнему, но не по-вчерашнему свѣжее, выражало усталость; томная улыбка, которою она привѣтствовала своего гостя, еще яснѣе обозначила это выраженіе. Она протянула ему руку и посмотрѣла на него ласково, но разсѣянно.

— Спасибо, что пришли, заговорила она жалобнымъ голосомъ и опустилась на кресло.—Я не совсѣмъ здорова сегодня; я дурно ночь провела. Ну, что́ вы скажете о вчерашнемъ вечерѣ? Не права я была?

Литвиновъ сѣлъ.

— Я пришелъ къ вамъ, Ирина Павловна, началъ онъ...

Она мгновенно выпрямилась и обернулась; глаза ея такъ и вперились въ Литвинова.

— Что́ съ вами? воскликнула она. — Вы блѣдны какъ мертвецъ, вы больны. Что̀ съ вами?

Литвиновъ смутился.

— Со мною, Ирина Павловна?

— Вы получили дурное извѣстіе? Несчастье случилось скажите, скажите...

Литвиновъ въ свою очередь посмотрѣлъ на Ирину.

— Никакого дурного извѣстія я не получалъ, промолвилъ онъ не безъ усилія:—а несчастье дѣйствительно случилось, большое несчастье... и оно-то привело меня къ вамъ.

— Несчастье? Какое?

— А такое... что...

Литвиновъ хотѣлъ продолжать... и не могъ. Только руки онъ стиснулъ такъ, что пальцы хрустнули. Ирина наклонилась впередъ и словно окаменѣла.

— Ахъ! я люблю васъ! вырвалось, наконецъ, глухимъ стономъ изъ груди Литвинова, и онъ отвернулся, какъ бы желая спрятать свое лицо.

— Какъ, Григорій Михайлычъ, вы...—Ирина тоже не могла докончить рѣчь и, прислонившись къ спинкѣ кресла, поднесла къ глазамъ обѣ руки.—Вы... меня любите?

— Да... да... да, повторилъ онъ съ ожесточеніемъ, все болѣе и болѣе отворачивая свое лицо.

Все смолкло въ комнатѣ: залетѣвшая бабочка трепетала крыльями и билась между занавѣсомъ и окномъ.

Первый заговорилъ Литвиновъ.

— Вотъ, Ирина Павловна, началъ онъ: — вотъ то несчастье, которое меня... поразило, которое я долженъ бы былъ предвидѣть и избѣжать, если бъ какъ и тогда, какъ въ то московское время, я не попалъ тотчасъ въ водоворотъ. Видно, судьбѣ угодно было опять заставить меня, и опять черезъ васъ, испытать всѣ тѣ муки, которыя, казалось, не должны были уже повториться болѣе... Не даромъ я противился... старался противиться; да, знать, чему быть, того не миновать. А говорю я вамъ все это для того, чтобы кончить поскорѣе эту... эту трагикомедію, прибавилъ онъ съ новымъ порывомъ ожесточенія и стыда.

Литвиновъ опять умолкъ; бабочка попрежнему билась и трепетала. Ирина не отнимала рукъ отъ лица.

— И вы не обманываетесь? послышался ея шопотъ изъподъ этихъ бѣлыхъ, словно безкровныхъ рукъ.

— Я не обманываюсь, отвѣчалъ Литвиновъ беззвучнымъ голосомъ.—Я васъ люблю такъ, какъ никогда и никого не любилъ кромѣ васъ. Я не стану упрекать васъ: это было бы слишкомъ нелѣпо; не стану повторять вамъ, что, быть-можетъ, ничего бы этого не случилось, если бы вы сами иначе поступили *со мною*... Конечно, я одинъ виноватъ, *моя самонадѣянность* меня погубила; я по дѣломъ

наказанъ, и вы этого никакъ ожидать не могли. Конечно, вы не сообразили, что было бы гораздо безопаснѣе для меня, если бы вы не такъ живо чувствовали свою вину... свою мнимую вину передо мною, и не желали бъ ее загладить... но вѣдь сдѣланнаго не передѣлаешь. Я только хотѣлъ уяснить вамъ мое положеніе: оно ужъ и такъ довольно тяжело... По крайней мѣрѣ, не будетъ, какъ вы говорите, недоразумѣній, а откровенность моего признанія, я надѣюсь, уменьшитъ то чувство оскорбленія, которое вы не можете не ощутить.

Литвиновъ говорилъ, не поднимая глазъ; да если бъ онъ и взглянулъ на Ирину, онъ бы все-таки не могъ увидѣть, что происходило у ней на лицѣ, такъ какъ она попрежнему не отнимала рукъ. А между тѣмъ, то, что происходило на этомъ лицѣ, вѣроятно бы его изумило: и страхъ, и радость выражало оно, и какое-то блаженное изнеможеніе, и тревогу; глаза едва мерцали изъ-подъ нависшихъ вѣкъ и протяжное, прерывистое дыханіе холодило раскрытыя, словно жаждавшія губы...

Литвиновъ помолчалъ, подождалъ отзыва, звука... Ничего!

— Мнѣ остается одно, началъ онъ снова:—удалиться; я пришелъ проститься съ вами.

Ирина медленно опустила руки на колѣни.

— Но мнѣ помнится, Григорій Михайлычъ, начала она:— та... та особа, о которой вы мнѣ говорили, она должна сюда пріѣхать? Вы ее ожидаете?

— Да; но я ей напишу... она остановится гдѣ-нибудь на дорогѣ... въ Гейдельбергѣ, напримѣръ.

— А! Въ Гейдельбергѣ... Да... Тамъ хорошо... Но все это должно разстроить ваши планы. Увѣрены ли вы, Григорій Михайлычъ, что вы не преувеличиваете, et que ce n'est pas une fausse alarme?

Ирина говорила тихо, почти холодно, съ небольшими разстановками и глядя въ сторону, въ окно. Литвиновъ не отвѣтилъ на ея послѣдній вопросъ.

— Только зачѣмъ вы упомянули объ оскорбленіи? продолжала она.—Я не оскорблена... о, нѣтъ! И если кто-нибудь изъ насъ виноватъ, такъ во всякомъ случаѣ не вы;

не вы одни... Вспомните наши послѣдніе разговоры, и вы убѣдитесь, что виноваты не вы.

— Я никогда не сомнѣвался въ вашемъ великодушіи, произнесъ сквозь зубы Литвиновъ:—но я желалъ бы знать: одобряете ли вы мое намѣреніе?

— Уѣхать?

— Да.

Ирина продолжала глядѣть въ сторону.

— Въ первую минуту ваше намѣреніе мнѣ показалось преждевременнымъ... но теперь я обдумала то, что вы сказали... и если вы точно не ошибаетесь, то я полагаю, что вамъ слѣдуетъ удалиться. Этакъ будетъ лучше... лучше для насъ обоихъ.

Голосъ Ирины становился все тише и тише, и самая рѣчь замедлялась все болѣе и болѣе.

— Генералъ Ратмировъ, дѣйствительно, могъ бы замѣтить, началъ-было Литвиновъ...

Глаза Ирины опустились снова, и что-то странное мелькнуло около ея губъ—мелькнуло и замерло.

— Нѣтъ. Вы меня не поняли, перебила она его.—Я не думала о моемъ мужѣ. Съ какой стати? Ему и замѣчать было бы нечего. Но я повторяю: разлука необходима для насъ обоихъ.

Литвиновъ поднялъ шляпу, упавшую на полъ.

„Все кончено, подумалъ онъ, надо уйти".—И такъ, мнѣ остается проститься съ вами, Ирина Павловна, промолвилъ онъ громко, и жутко ему стало вдругъ, точно онъ самъ собирался произнести приговоръ надъ собою.—Мнѣ остается только надѣяться, что вы не станете поминать меня лихомъ... и что если мы когда-нибудь...

Ирина опять его перебила:

— Погодите, Григорій Михайлычъ, не прощайтесь еще со мною. Это было бы слишкомъ поспѣшно.

Что-то дрогнуло въ Литвиновѣ, но жгучая горечь нахлынула тотчасъ, и съ удвоенною силой, въ его сердце.

— Да не могу я остаться! воскликнулъ онъ.—Къ чему? Къ чему продолжать это томленіе?

— Не прощайтесь еще со мною, повторила Ирина.—Я

должна увидать васъ еще разъ... Опять такое нѣмое разставанье, какъ въ Москвѣ,—нѣтъ, я этого не хочу. Вы можете теперь уйти, но вы должны обѣщать мнѣ, дать мнѣ честное слово, что вы не уѣдете, не увидѣвшись еще разъ со мною.

— Вы этого желаете?

— Я этого требую. Если вы уѣдете, не простившись со мною, я вамъ никогда, никогда этого не прощу, слышите ли: никогда!—Странно! прибавила она, словно про себя:—я никакъ не могу себѣ представить, что я въ Баденѣ... Мнѣ такъ и чудится, что я въ Москвѣ... Ступайте.

Литвиновъ всталъ.

— Ирина Павловна, проговорилъ онъ:—дайте мнѣ вашу руку.

Ирина покачала головой.

— Я вамъ сказала, что не хочу прощаться съ вами...

— Я не на прощаніе прошу...

Ирина протянула-было руку, но взглянула на Литвинова, въ первый разъ послѣ его признанія, — и отвела ее назадъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, шепнула она:—я не дамъ вамъ моей руки. Нѣтъ... нѣтъ. Ступайте.

Литвиновъ поклонился и вышелъ. Онъ не могъ знать, отчего Ирина ему отказала въ послѣднемъ дружескомъ пожатіи... Онъ не могъ знать, чего она боялась.

Онъ вышелъ, а Ирина снова опустилась на кресло и снова закрыла себѣ лицо.

XVII.

Литвиновъ не вернулся домой: онъ ушелъ въ горы и, забравшись въ лѣсную чащу, бросился на землю лицомъ внизъ и пролежалъ тамъ около часа. Онъ не мучился, не плакалъ; онъ какъ-то тяжело и томительно замиралъ. Никогда онъ еще не испыталъ ничего подобнаго: то было невыносимо-ноющее и грызущее ощущеніе пустоты, пустоты въ самомъ себѣ, вокругъ, повсюду... Ни объ Иринѣ, *ни о* Татьянѣ не думалъ онъ. Онъ чувствовалъ одно:

палъ ударъ, и жизнь перерублена, какъ канатъ, и весь онъ увлеченъ впередъ и подхваченъ чѣмъ-то невѣдомымъ, но холоднымъ. Иногда ему казалось, что вихорь налеталъ на него, и онъ ощущалъ быстрое вращеніе и безпорядочные удары его темныхъ крылъ... Но рѣшимость его не поколебалась. Остаться въ Баденѣ... объ этомъ и рѣчи быть не могло. Мысленно онъ уже уѣхалъ: онъ уже сидѣлъ въ гремящемъ и дымящемъ вагонѣ и бѣжалъ, бѣжалъ въ нѣмую, мертвую даль. Онъ приподнялся наконецъ, и прислонивъ голову къ дереву, остался неподвижнымъ; только одною рукою онъ, самъ того не замѣчая, схватилъ и въ тактъ раскачивалъ верхній листъ папоротника. Шумъ приближавшихся шаговъ вывелъ его изъ оцѣпенѣнія: два угольщика съ большими мѣшками на плечахъ пробирались по крутой тропинкѣ. „Пора!“ шепнулъ Литвиновъ и вслѣдъ за угольщиками спустился въ городъ, повернулъ къ зданію желѣзной дороги и отправилъ телеграмму на имя Татьяниной тетки, Капитолины Марковны. Въ этой телеграммѣ онъ извѣщалъ ее о своемъ немедленномъ отъѣздѣ и назначилъ ей свиданіе въ Шрадеровой гостиницѣ въ Гейдельбергѣ. „Кончать, такъ кончать разомъ“, подумалъ онъ: „нечего откладывать до завтра“. Потомъ онъ зашелъ въ игорную залу, съ тупымъ любопытствомъ посмотрѣлъ двумъ-тремъ игрокамъ въ лицо, замѣтилъ издали гнусный затылокъ Биндасова, безукоризненное лицо Пищалкина и, постоявъ немного подъ колоннадой, отправился, не спѣша, къ Иринѣ. Не въ силу внезапнаго, невольнаго увлеченія отправился онъ къ ней; рѣшившись уѣхать, онъ также рѣшился сдержать данное слово и еще разъ съ нею повидаться. Онъ вступилъ въ гостиницу, не замѣченный швейцаромъ, поднялся по лѣстницѣ, никого не встрѣчая—и не постучавъ въ дверь, машинально толкнулъ ее и вошелъ въ комнату. Въ комнатѣ, на томъ же креслѣ, въ томъ же платьѣ, въ томъ же точно положеніи, какъ три часа тому назадъ, сидѣла Ирина... Видно было, что она не тронулась съ мѣста, не шевельнулась все это время. Она медленно приподняла голову, и увидавъ Литвинова, вся вздрогнула и ухвати-

лась за ручку кресла. — „Вы меня испугали", прошептала она.

Литвиновъ глядѣлъ на нее съ безмолвнымъ изумленіемъ. Выраженіе ея лица, угасшихъ глазъ—поразило его.

Ирина улыбнулась насильственно и поправила развившіеся волосы.—Это ничего... я, право, не знаю... я, кажется, заснула тутъ.

— Извините меня, Ирина Павловна, началъ Литвиновъ:—я вошелъ безъ доклада... Я хотѣлъ исполнить то, что̀ вамъ было угодно отъ меня потребовать. Такъ какъ я сегодня уѣзжаю...

— Сегодня? Но вы, кажется, сказали мнѣ, что вы хотѣли сперва написать письмо...

— Я послалъ телеграмму.

— А! вы нашли нужнымъ поспѣшить. И когда вы уѣзжаете? Въ которомъ часу, то-есть?

— Въ семь часовъ вечера.

— А! въ семь часовъ! И вы пришли проститься?

— Да, Ирина Павловна, проститься.

Ирина помолчала.

— Я должна благодарить васъ, Григорій Михайлычъ; вамъ вѣроятно не легко было сюда придти.

— Да, Ирина Павловна, очень не легко.

— Жить вообще не легко, Григорій Михайлычъ; какъ вы полагаете?

— Какъ кому, Ирина Павловна.

Ирина опять помолчала, словно задумалась.

— Вы мнѣ доказали вашу дружбу тѣмъ, что пришли, промолвила она наконецъ.—Благодарю васъ. И вообще я одобряю ваше намѣреніе какъ можно поскорѣе все покончить... потому что всякое замедленіе... потому что... потому что я, та самая я, которую вы упрекали въ кокетствѣ, называли комедіанткой—такъ, кажется, вы меня называли?..

Ирина быстро встала и, пересѣвъ на другое кресло, приникла и прижалась лицомъ и руками къ краю стола...

— *Потому* что я люблю васъ... прошептала она сквозь *стиснутые пальцы.*

Литвиновъ пошатнулся, словно кто его въ грудь ударилъ. Ирина тоскливо повернула голову прочь отъ него, какъ бы желая въ свою очередь спрятать отъ него свое лицо, и положила ее на столъ.

— Да, я васъ люблю... я люблю васъ... и вы это знаете.

— Я? я это знаю? проговорилъ наконецъ Литвиновъ.—Я?

— Ну, а теперь вы видите, продолжала Ирина:—что намъ точно надо уѣхать, что медлить нельзя... и намъ, и мнѣ нельзя медлить. Это опасно, это страшно... прощайте! прибавила она, порывисто вставая съ кресла:—прощайте!

Она сдѣлала нѣсколько шаговъ въ направленіи двери кабинета и, занеся руку за спину, торопливо повела ею по воздуху, какъ бы желая встрѣтить и пожать руку Литвинова; но онъ стоялъ, какъ вкопанный, далеко... Она еще разъ проговорила: „прощайте, забудьте“, и не оглядываясь бросилась вонъ.

Литвиновъ остался одинъ, и все еще не могъ придти въ себя. Онъ опомнился наконецъ, проворно подошелъ къ двери кабинета, произнесъ имя Ирины разъ, два, три раза... Онъ уже ухватился за замокъ... Съ крыльца гостиницы послышался звонкій голосъ Ратмирова.

Литвиновъ надвинулъ шляпу на глаза и вышелъ на лѣстницу. Изящный генералъ стоялъ передъ ложей швейцара и дурнымъ нѣмецкимъ языкомъ объяснялъ ему, что желаетъ нанять карету на цѣлый завтрашній день. Увидавъ Литвинова, онъ опять неестественно высоко приподнялъ шляпу и опять выразилъ ему свое „почитаніе“: онъ очевидно трунилъ надъ нимъ, но Литвинову было не до того. Онъ едва отвѣтилъ на поклонъ Ратмирова, и добравшись до своей квартиры, остановился передъ своимъ, уже уложеннымъ и закрытымъ, чемоданомъ. Голова у него кружилась и сердце дрожало, какъ струна. Что было теперь дѣлать? И могъ ли онъ это предвидѣть?

Да, онъ это предвидѣлъ, какъ оно ни казалось невѣроятнымъ. Это оглушило его какъ громомъ, но онъ это предвидѣлъ, хоть и *сознаться въ томъ* не смѣлъ. А впрочемъ, *онъ ничего не зналъ навѣрное*. Все въ немъ перемѣша-

лось и спуталось; онъ потерялъ нить собственныхъ мыслей. Вспомнилъ онъ Москву, вспомнилъ, какъ „оно“ и тогда налетѣло внезапною бурей. Онъ задыхался: восторгъ, но восторгъ безотрадный и безнадежный, давилъ и рвалъ его грудь. Ни за что въ свѣтѣ онъ бы не согласился на то, чтобы слова, произнесенныя Ириной, не были въ дѣйствительности ею произнесены... Но что же? перемѣнить принятое рѣшеніе эти слова все-таки не могли. Оно попрежнему не колебалось и стояло твердо, какъ брошенный якорь. Литвиновъ потерялъ нить своихъ мыслей... да; но воля его осталась при немъ пока, и онъ распоряжался собою, какъ чужимъ подчиненнымъ человѣкомъ. Онъ позвонилъ кельнера, велѣлъ подать себѣ счетъ, удержалъ мѣсто въ вечернемъ омнибусѣ: онъ съ намѣреніемъ отрѣзывалъ себѣ всѣ пути. „Тамъ потомъ хоть умри“, твердилъ онъ какъ въ прошедшую, безсонную ночь; эта фраза ему особенно пришлась по вкусу.—„Тамъ потомъ хоть умри“, повторялъ онъ, медленно расхаживая взадъ и впередъ по комнатѣ, и лишь изрѣдка невольно закрывалъ глаза и переставалъ дышать, когда эти слова, эти слова Ирины, вторгались ему въ душу и жгли ее огнемъ. „Видно, два раза не полюбишь, думалъ онъ; вошла въ тебя другая жизнь, впустилъ ты ее—не отдѣлаешься ты отъ этого яда до конца, не разорвешь этихъ нитей! Такъ; но что жъ это доказываетъ? Счастье... Развѣ оно возможно? Ты ее любишь, положимъ... и она... она тебя любитъ...“

Но тутъ ему опять пришлось взять себя въ руки. Какъ путникъ въ темную ночь, видя впереди огонекъ и боясь сбиться съ дороги, ни на мгновеніе не спускаетъ съ него глазъ, такъ и Литвиновъ постоянно устремлялъ всю силу своего вниманія на одну точку, на одну цѣль. Явиться къ своей невѣстѣ, и даже не собственно къ невѣстѣ (онъ старался не думать о ней), а въ комнату Гейдельбергской гостиницы—вотъ что̀ стояло передъ нимъ незыблемо, путеводнымъ огонькомъ. Что̀ дальше будетъ, онъ не вѣдалъ, да и вѣдать не хотѣлъ... Одно было несомнѣнно: назадъ онъ не вернется. „Тамъ хоть умри“, повторилъ онъ въ десятый разъ и взглянулъ на часы.

Четверть седьмого! Какъ долго еще приходилось ждать! Онъ снова зашагалъ взадъ и впередъ. Солнце склонялось къ закату, небо зардѣлось надъ деревьями, и алый полусвѣтъ ложился сквозь узкія окна въ его потемнѣвшую комнату. Вдругъ Литвинову почудилось, какъ будто дверь растворилась за нимъ тихо и быстро, и такъ же быстро затворилась снова... Онъ обернулся; у двери, закутанная въ черную мантилью, стояла женщина...

— Ирина! воскликнулъ онъ и всплеснулъ руками...

Она подняла голову и упала къ нему на грудь.

Два часа спустя, онъ сидѣлъ у себя на диванѣ. Чемоданъ стоялъ въ углу, раскрытый и пустой, а на столѣ, посреди безпорядочно разбросанныхъ вещей, лежало письмо отъ Татьяны, только что полученное Литвиновымъ. Она писала ему, что рѣшилась ускорить свой отъѣздъ изъ Дрездена, такъ какъ здоровье ея тетки совершенно поправилось, и что если никакихъ не встрѣтится препятствій, онѣ обѣ на слѣдующій день къ двѣнадцати часамъ прибудутъ въ Баденъ и надѣются, что онъ придетъ къ нимъ навстрѣчу на желѣзную дорогу. Квартира для нихъ была нанята Литвиновымъ въ той самой гостиницѣ, гдѣ онъ стоялъ.

Въ тотъ же вечеръ онъ послалъ записку къ Иринѣ, а на слѣдующее утро онъ получилъ отъ нея отвѣтъ. „Днемъ позже, днемъ раньше, писала она,—это было неизбѣжно. А я повторяю тебѣ, что вчера сказала: жизнь моя въ твоихъ рукахъ, дѣлай со мной, что хочешь. Я не хочу стѣснять твою свободу, но знай, что если нужно, я все брошу, и пойду за тобой на край земли. Мы вѣдь увидимся завтра? Твоя Ирина".

Послѣднія два слова были написаны крупнымъ и размашистымъ, рѣшительнымъ почеркомъ.

XVIII.

Въ числѣ лицъ, собравшихся 18-го августа къ 12 часамъ на площадку желѣзной дороги, находился и Литвиновъ. Не задолго передъ тѣмъ онъ встрѣтилъ Ирину: она

сидѣла въ открытой каретѣ съ своимъ мужемъ и другимъ, ужъ пожилымъ господиномъ. Она увидала Литвинова, и онъ это замѣтилъ: что-то темное пробѣжало по ея глазамъ, но она тотчасъ же закрылась отъ него зонтикомъ.

Странная перемѣна произошла въ немъ со вчерашняго дня—во всей его наружности, въ движеніяхъ, въ выраженіи лица; да и онъ самъ чувствовалъ себя другимъ человѣкомъ. Самоувѣренность исчезла, и спокойствіе исчезло тоже, и уваженіе къ себѣ; отъ прежняго душевнаго строя не осталось ничего. Недавнія, неизгладимыя впечатлѣнія заслонили собою все остальное. Появилось какое-то небывалое ощущеніе, сильное, сладкое—и недоброе; таинственный гость забрался въ святилище и овладѣлъ имъ, и улегся въ немъ, молчкомъ, но во всю ширину, какъ хозяинъ на новоселье. Литвиновъ не стыдился болѣе, онъ трусилъ—и въ то же время отчаянная отвага въ немъ загоралась; взятымъ, побѣжденнымъ знакома эта смѣсь противоположныхъ чувствъ; не безызвѣстна она и вору, послѣ первой кражи. А Литвиновъ былъ побѣжденъ, побѣжденъ внезапно... и что сталось съ его честностью?

Поѣздъ опоздалъ нѣсколькими минутами. Томленіе Литвинова перешло въ мучительную тоску: онъ не могъ устоять на мѣстѣ, и, весь блѣдный, терся и толпился между народомъ. „Боже мой, думалъ онъ, хоть бы еще сутки...“ Первый взглядъ на Таню, первый взглядъ Тани... вотъ что его страшило, вотъ что надо было поскорѣй пережить... А послѣ? А послѣ—будь, что будетъ!.. Онъ уже не принималъ болѣе никакого рѣшенія, онъ уже не отвѣчалъ за себя. Вчерашняя фраза болѣзненно мелькнула у него въ головѣ... И вотъ какъ онъ встрѣчаетъ Таню...

Продолжительный свистъ раздался наконецъ, послышался тяжелый, ежеминутно возраставшій гулъ, и медленно выкатываясь изъ-за поворота дороги, появился паровикъ. Толпа подалась ему навстрѣчу, и Литвиновъ двинулся за нею, волоча ноги, какъ осужденный. Лица, дамскія шляпки стали показываться изъ вагоновъ, въ одномъ окошкѣ *замелькалъ бѣлый* платокъ... Капитолина Марковна имъ *махала... Кончено:* она увидѣла Литвинова, и онъ ее

узналъ. Поѣздъ остановился. Литвиновъ бросился къ дверцамъ, отворилъ ихъ: Татьяна стояла возлѣ тетки и, свѣтло улыбаясь, протягивала руку.

Онъ помогъ имъ обѣимъ сойти, проговорилъ нѣсколько привѣтливыхъ словъ, недоконченныхъ и неясныхъ, и тотчасъ же засуетился, началъ отбирать билеты, дорожные мѣшки, плэды, побѣжалъ отыскивать носильщика, подозвалъ карету; другіе люди суетились вокругъ него, и онъ радовался ихъ присутствію, ихъ шуму и крику. Татьяна отошла немного въ сторону, и не переставая улыбаться, спокойно выжидала конца его торопливыхъ распоряженій. Капитолина Марковна, напротивъ, не могла устоять на мѣстѣ; ей все не вѣрилось, что она наконецъ попала въ Баденъ.—Она вдругъ закричала: „А зонтики? Таня, гдѣ зонтики?“ не замѣчая, что она крѣпко держала ихъ подъ мышкой; потомъ начала громко и продолжительно прощаться съ другой дамой, съ которой познакомилась во время переѣзда изъ Гейдельберга въ Баденъ. Дама эта была не кто иная, какъ извѣстная намъ г-жа Суханчикова. Она отлучалась въ Гейдельбергъ на поклоненіе Губареву и возвращалась съ „инструкціями“. На Капитолинѣ Марковнѣ была довольно странная пестрая мантилья и круглая дорожная шляпка въ видѣ гриба, изъ-подъ которой въ безпорядкѣ выбивались стриженые бѣлые волосы; небольшого роста, худощавая, она раскраснѣлась отъ дороги и говорила по-русски, пронзительнымъ и пѣвучимъ голосомъ... Ее тотчасъ замѣтили.

Литвиновъ усадилъ наконецъ ее и Татьяну въ карету, и самъ помѣстился противъ нихъ. Лошади тронулись. Поднялись разспросы, возобновились пожатія рукъ, взаимныя улыбки, привѣты... Литвиновъ вздохнулъ свободно: первыя мгновенья прошли благополучно. Ничего въ немъ, повидимому, не поразило, не смутило Тани: она также ясно и довѣрчиво смотрѣла, также мило краснѣла, также добродушно смѣялась. Онъ наконецъ самъ рѣшился взглянуть, не вскользь и мелькомъ, а прямо и пристально взглянуть на нее: до тѣхъ *поръ* его собственные глаза ему не *повиновались.* *Невольное* умиленіе стиснуло его сердце.

безмятежное выраженіе этого честнаго, открытаго лица отдалось въ немъ горькимъ укоромъ. „Вотъ—ты пріѣхала сюда, бѣдная дѣвушка, думалъ онъ, ты, которую я такъ ждалъ и звалъ, съ которою я всю жизнь хотѣлъ пройти до конца, ты пріѣхала, ты мнѣ повѣрила... а я... а я...“ Литвиновъ наклонилъ голову; но Капитолина Марковна не дала ему задуматься; она осыпала его вопросами.

— Это что̀ за строеніе съ колоннами? Гдѣ тутъ играютъ? Это кто идетъ? Таня, Таня, посмотри, какіе кринолины! А вотъ это кто? Здѣсь, должно-быть, все больше француженки изъ Парижа? Господи, что̀ за шляпка? Здѣсь все можно найти, какъ въ Парижѣ? Только, я воображаю, все ужасно дорого? Ахъ, съ какою отличною, умною женщиной я познакомилась! Вы ее знаете, Григорій Михайлычъ; она мнѣ сказала, что встрѣтилась съ вами у одного русскаго, тоже удивительно умнаго. Она обѣщалась навѣщать насъ. Какъ она всѣхъ этихъ аристократовъ отдѣлываетъ—просто чудо! Это что̀ за господинъ съ сѣдыми усами? Прусскій король? Таня, Таня, посмотри, это прусскій король. Нѣтъ? не прусскій король? Голландскій посланникъ? Я не слышу, колеса такъ стучатъ. Ахъ, какія чудесныя деревья!

— Да, тетя, чудесныя, подтвердила Таня—и какъ все здѣсь зелено, весело! Не правда ли, Григорій Михайлычъ...

— Весело... отвѣчалъ онъ сквозь зубы.

Карета остановилась наконецъ передъ гостиницей. Литвиновъ проводилъ обѣихъ путешественницъ въ удержанный для нихъ номеръ, обѣщалъ зайти черезъ часъ и вернулся въ свою комнату. Затихшее на мигъ очарованіе овладѣло имъ немедленно, какъ только онъ вступилъ въ нее. Здѣсь, въ этой комнатѣ, со вчерашняго дня царствовала Ирина; все говорило о ней, самый воздухъ, казалось, сохранилъ тайные слѣды ея посѣщенія... Литвиновъ опять почувствовалъ себя ея рабомъ. Онъ выхватилъ ея платокъ, спрятанный у него на груди, прижался къ нему губами, и тонкимъ ядомъ разлились по его жиламъ *знойныя воспоминанія*. Онъ понялъ, что тутъ ужъ нѣтъ *возврата, нѣтъ выбора*; горестное умиленіе, возбужденное

въ немъ Татьяной, растаяло, какъ снѣгъ въ огнѣ, и раскаяніе замерло... замерло такъ, что даже волненіе въ немъ угомонилось, и возможность притворства, представившись его уму, не возмущала его... Любовь, любовь Ирины— вотъ что стало теперь его правдой, его закономъ, его совѣстью... Предусмотрительный, благоразумный Литвиновъ даже не помышлялъ о томъ, какъ ему выбраться изъ положенія, ужасъ и безобразіе котораго онъ и чувствовалъ какъ-то легко и словно со стороны.

Часу еще не протекло, какъ уже явился къ Литвинову кельнеръ отъ новоприѣзжихъ дамъ: онѣ просили его пожаловать къ нимъ въ общую залу. Онъ отправился вслѣдъ за посланцемъ и нашелъ ихъ уже одѣтыми и въ шляпкахъ. Обѣ изъявили желаніе тотчасъ пойти осматривать Баденъ, благо погода была прекрасная. Особенно Капитолина Марковна такъ и горѣла нетерпѣніемъ; она даже опечалилась немного, когда узнала, что часъ фешенебельнаго сборища передъ Конверсаціонсгаузомъ еще не наступилъ. Литвиновъ взялъ ее подъ руку—и началась офиціальная прогулка. Татьяна шла рядомъ съ теткой и съ спокойнымъ любопытствомъ осматривалась кругомъ; Капитолина Марковна продолжала свои разспросы. Видъ рулетки, осанистыхъ крупіэ, которыхъ она—встрѣть она ихъ въ другомъ мѣстѣ,—навѣрное приняла бы за министровъ, видъ ихъ проворныхъ лопаточекъ, золотыхъ и серебряныхъ кучекъ на зеленомъ сукнѣ, игравшихъ старухъ и расписныхъ лоретокъ привелъ Капитолину Марковну въ состояніе какого-то нѣмотствующаго изступленія; она совсѣмъ позабыла, что ей слѣдовало вознегодовать—и только глядѣла, глядѣла во всѣ глаза, изрѣдка вздрагивая при каждомъ новомъ возгласѣ... Жужжаніе костяного шарика въ углубленіи рулетки проникало ее до мозгу костей—и только очутившись на свѣжемъ воздухѣ, она нашла въ себѣ довольно силы, чтобы, испустивъ глубокій вздохъ, назвать азартную игру безнравственною выдумкою аристократизма. На губахъ Литвинова появилась неподвижная, нехорошая *улыбка; онъ* говорилъ отрывисто и лѣниво, *словно досадовалъ или* скучалъ... Но вотъ онъ обер-

нулся къ Татьянѣ и втайнѣ смутился: она глядѣла на него внимательно и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто сама себя спрашивала, какого рода впечатлѣніе возбуждалось въ ней? Онъ поспѣшилъ кивнуть ей головой, она отвѣчала ему тѣмъ же и опять посмотрѣла на него вопросительно, не безъ нѣкотораго напряженія, словно онъ стоялъ отъ нея гораздо дальше, чѣмъ то было на самомъ дѣлѣ. Литвиновъ повелъ своихъ дамъ прочь отъ Конверсаціонсгауза и, минуя „русское дерево“, подъ которымъ уже возсѣдали соотечественницы, направился къ Лихтенталю. Не успѣлъ онъ вступить въ аллею, какъ увидалъ издали Ирину.

Она шла къ нимъ навстрѣчу съ своимъ мужемъ и Потугинымъ. Литвиновъ поблѣднѣлъ, какъ полотно, однако не замедлилъ шагу и, поровнявшись съ нею, отвѣсилъ безмолвный поклонъ. И она ему поклонилась любезно, но холодно, и быстро окинувъ глазами Татьяну, скользнула мимо... Ратмировъ высоко приподнялъ шляпу, Потугинъ что-то промычалъ.

— Кто эта дама? спросила вдругъ Татьяна. Она до того мгновенья почти не раскрывала губъ.

— Эта дама? повторилъ Литвиновъ. — Эта дама? Это нѣкая госпожа Ратмирова.

— Русская?

— Да.

— Вы съ ней здѣсь познакомились?

— Нѣтъ; я ее давно знаю.

— Какая она красивая!

— Замѣтила ты ея туалетъ? вмѣшалась Капитолина Марковна.—Десять семействъ можно бы цѣлый годъ прокормить на тѣ деньги, которыхъ стоятъ одни ея кружева. Это съ ней шелъ ея мужъ? обратилась она къ Литвинову.

— Мужъ.

— Онъ должно-быть ужасно богатъ?

— Право не знаю; не думаю.

— А чинъ у него какой?

— Чинъ генеральскій.

— Какіе у нея глаза! проговорила Татьяна:—и выра-

женіе въ нихъ какое странное: и задумчивое, и проницательное... я такихъ глазъ не видывала.

Литвиновъ ничего не отвѣчалъ; ему казалось, что онъ опять чувствуетъ на лицѣ своемъ вопрошающій взглядъ Татьяны, но онъ ошибался: она глядѣла себѣ подъ ноги, на песокъ дорожки.

— Боже мой! Кто этотъ уродъ? воскликнула вдругъ Капитолина Марковна, указывая пальцемъ на низенькій шарабанъ, въ которомъ, нагло развалясь, лежала рыжая и курносая женщина въ необыкновенно пышномъ нарядѣ и лиловыхъ чулкахъ.

— Этотъ уродъ! Помилуйте, это извѣстная мамзель Кора.

— Кто?

— Мамзель Кора... Парижская... знаменитость.

— Какъ? эта моська? Да вѣдь она пребезобразная?

— Видно, это не мѣшаетъ.

Капитолина Марковна только руками развела.

— Ну, вашъ Баденъ! промолвила она наконецъ. — А можно тутъ на скамейкѣ присѣсть? Я что-то устала.

— Конечно можно, Капитолина Марковна... На то и скамейки поставлены.

— Да вѣдь Господь васъ знаетъ! Вонъ, говорятъ, въ Парижѣ на бульварахъ тоже стоятъ скамейки: а сѣсть на нихъ неприлично.

Литвиновъ ничего не возразилъ Капитолинѣ Марковнѣ; онъ только въ это мгновеніе сообразилъ, что въ двухъ шагахъ оттуда находилось то самое мѣсто, гдѣ онъ имѣлъ съ Ириной объясненіе, которое все рѣшило. Потомъ онъ вспомнилъ, что онъ сегодня замѣтилъ у ней на щекѣ небольшое розовое пятно...

Капитолина Марковна опустилась на скамейку, Татьяна сѣла возлѣ нея. Литвиновъ остался на дорожкѣ; между имъ и Татьяной—или это ему только чудилось?—совершалось что-то... безсознательно и постепенно.

— Ахъ, она шутовка, шутовка, произнесла Капитолина Марковна, съ сожалѣніемъ покачивая головой. — Вотъ ея туалетъ продать, такъ не десять, а сто семействъ прокормить можно. Видѣли вы у ней подъ шля-

пой, на рыжихъ-то на волосахъ, брильянты? Это днемъ брильянты, а?

— У ней волосы не рыжіе, замѣтилъ Литвиновъ:—она ихъ краситъ въ рыжій цвѣтъ, теперь это въ модѣ.

Капитолина Марковна опять руками развела и даже задумалась.

— Ну, проговорила она наконецъ:—у насъ въ Дрезденѣ до такого скандала еще не дошло. Потому все-таки подальше отъ Парижа. Вы того же мнѣнія, не правда ли, Григорій Михайлычъ?

— Я? отвѣчалъ Литвиновъ, а самъ подумалъ: „О чемъ бишь это она?“—Я? Конечно... конечно...

Но тутъ послышались неторопливые шаги, и къ скамейкѣ приблизился Потугинъ.

— Здравствуйте, Григорій Михайлычъ, проговорилъ онъ, посмѣиваясь и кивая головой.

Литвиновъ тотчасъ схватилъ его за руку.

— Здравствуйте, здравствуйте, Созонтъ Иванычъ. Я, кажется, сейчасъ встрѣтилъ васъ съ... вотъ сейчасъ, въ аллеѣ.

— Да, это былъ я.

Потугинъ почтительно поклонился сидѣвшимъ дамамъ.

— Позвольте васъ представить, Созонтъ Иванычъ. Мои хорошія знакомыя, родственницы, только что пріѣхали въ Баденъ. Потугинъ, Созонтъ Иванычъ, нашъ соотечественникъ, тоже баденскій гость.

Обѣ дамы приподнялись немного. Потугинъ возобновилъ свои поклоны.

— Здѣсь настоящій раутъ, начала тонкимъ голоскомъ Капитолина Марковна; добродушная старая дѣвица легко робѣла, но пуще всего старалась не ударить въ грязь лицомъ:—всѣ считаютъ пріятнымъ долгомъ побывать здѣсь.

— Баденъ, точно, пріятное мѣсто, отвѣтилъ Потугинъ, искоса посматривая на Татьяну: — очень пріятное мѣсто Баденъ.

— Да; только ужъ слишкомъ аристократично, сколько я могу судить. Мы вотъ съ ней жили въ Дрезденѣ все это время... очень интересный городъ; но здѣсь рѣшительно раутъ.

„Понравилось словцо“, подумалъ Потугинъ. — Это вы

совершенно справедливо изволили замѣтить, произнесъ онъ громко:—за то природа здѣсь удивительная и мѣстоположеніе такое, какое рѣдко можно найти. Ваша спутница въ особенности должна это оцѣнить. Не правда ли, сударыня? прибавилъ онъ, обращаясь на этотъ разъ прямо къ Татьянѣ.

Татьяна подняла на Потугина свои большіе, ясные глаза. Казалось, она недоумѣвала, чего хотятъ отъ нея, и зачѣмъ Литвиновъ познакомилъ ее, въ первый же день пріѣзда, съ этимъ неизвѣстнымъ человѣкомъ, у котораго впрочемъ умное и доброе лицо, и который глядитъ на нее привѣтливо и дружелюбно.

— Да, промолвила она наконецъ:—здѣсь очень хорошо.

— Вамъ надобно посѣтить старый замокъ, продолжалъ Потугинъ: — въ особенности совѣтую вамъ съѣздить въ Ибургъ.

— Саксонская Швейцарія, начала-было Капитолина Марковна...

Взрывъ трубныхъ звуковъ прокатился по аллеѣ: это военный прусскій оркестръ изъ Раштадта (въ 1862 году Раштадтъ былъ еще союзною крѣпостью) начиналъ свой еженедѣльный концертъ въ павильонѣ. Капитолина Марковна тотчасъ встала.

— Музыка! промолвила она:—музыка à la Conversation!.. Надо туда идти. Вѣдь теперь четвертый часъ, не правда ли? Общество теперь собирается?

— Да, отвѣчалъ Потугинъ:—теперь самый для общества модный часъ, и музыка прекрасная.

— Ну, такъ мѣшкать нечего. Таня, пойдемъ.

— Вы позволите сопровождать васъ? спросилъ Потугинъ, къ немалому удивленію Литвинова: ему и въ голову придти не могло, что Потугина прислала Ирина.

Капитолина Марковна осклабилась.

— Съ великимъ удовольствіемъ, мсье... мсье...

— Потугинъ, подсказалъ тотъ и предложилъ ей руку.

Литвиновъ подалъ свою Татьянѣ, и обѣ четы направились къ Конверсаціонсгаузу.

Потугинъ продолжалъ разсуждать съ Капитолиной Мар-

ковной. Но Литвиновъ шелъ, ни слова не говоря, и только раза два безо всякаго повода усмѣхнулся и слабо прижалъ къ себѣ руку Татьяны. Ложь была въ этихъ пожатіяхъ, на которыя она не отвѣчала, и Литвиновъ сознавалъ эту ложь. Не взаимное удостовѣреніе въ тѣсномъ союзѣ двухъ отдавшихся другъ другу душъ выражали они, какъ бывало; они замѣняли пока—слова, которыхъ онъ не находилъ. То безмолвное, что̀ началось между ими обоими, росло и утверждалось. Татьяна опять внимательно, почти пристально посмотрѣла на него.

То же самое продолжалось и передъ Конверсаціонсгаузомъ, за столикомъ, около котораго они усѣлись всѣ четверо, съ тою только разницей, что при суетливомъ шумѣ толпы, при громѣ и трескѣ музыки, молчаніе Литвинова казалось болѣе понятнымъ. Капитолина Марковна пришла, какъ говорится, въ совершенный азартъ; Потугинъ едва успѣвалъ поддакивать ей, удовлетворять ея любопытству. На его счастье, въ массѣ проходившихъ лицъ внезапно появилась худощавая фигура Суханчиковой и блеснули ея вѣчно-прыгающіе глаза. Капитолина Марковна тотчасъ ее признала, подозвала ее къ своему столику, усадила ее—и поднялась словесная буря.

Потугинъ обратился къ Татьянѣ и началъ бесѣдовать съ нею тихимъ и мягкимъ голосомъ, съ ласковымъ выраженіемъ на слегка наклоненномъ лицѣ; и она, къ собственному изумленію, отвѣчала ему легко и свободно; ей было пріятно говорить съ этимъ чужимъ, съ незнакомцемъ, между тѣмъ какъ Литвиновъ попрежнему сидѣлъ неподвижно, съ тою же неподвижной и нехорошей улыбкой на губахъ.

Наступило наконецъ время обѣда. Музыка умолкла, толпа стала рѣдѣть. Капитолина Марковна сочувственно простилась съ Суханчиковой. Великое она къ ней возымѣла уваженіе, хоть и говорила потомъ своей племянницѣ, что ужъ очень озлоблена эта особа; но за то все про всѣхъ вѣдаетъ! А швейныя машины дѣйствительно надо завести, какъ только отпразднуется свадьба. Потугинъ раскланялся: Литвиновъ повелъ своихъ дамъ домой. При входѣ въ гостиницу ему вручили записку: онъ отошелъ въ сторону и торопливо со-

рвалъ конвертъ. На небольшомъ клочкѣ зеленевой бумажки стояли слѣдующія, карандашомъ начертанныя слова: „Приходите сегодня вечеромъ въ семь часовъ ко мнѣ на одну минуту, умоляю васъ. Ирина“. Литвиновъ сунулъ бумажку въ карманъ и, обернувшись, усмѣхнулся опять... кому? зачѣмъ? Татьяна спиной къ нему стояла. Обѣдъ происходилъ за общимъ столомъ. Литвиновъ сидѣлъ между Капитолиной Марковной и Татьяной и, какъ-то странно оживившись, разговаривалъ, разсказывалъ анекдоты, наливалъ вина себѣ и дамамъ. Онъ такъ развязно держалъ себя, что сидѣвшій напротивъ французскій пѣхотный офицеръ изъ Страсбурга, съ эспаньйолкой и усами à la Napoléon III, нашелъ возможнымъ вмѣшаться въ разговоръ и даже кончилъ тостомъ à la santé des belles moscovites! Послѣ обѣда Литвиновъ проводилъ обѣихъ дамъ въ ихъ комнату, и постоявъ немного у окна и насупившись, внезапно объявилъ, что долженъ отлучиться на короткое время по дѣлу, но вернется къ вечеру непремѣнно. Татьяна ничего не сказала, поблѣднѣла и опустила глаза. Капитолина Марковна имѣла привычку спать послѣ обѣда; Татьянѣ было извѣстно, что Литвиновъ зналъ эту привычку за ея тёткой: она ожидала, что онъ этимъ воспользуется, что онъ останется, такъ какъ онъ съ самаго пріѣзда еще не былъ наединѣ съ нею, не поговорилъ съ ней откровенно. И вотъ онъ уходитъ! Какъ это понять? И вообще, все его поведеніе въ теченіе дня...

Литвиновъ поспѣшилъ удалиться, не дожидаясь возраженій; Капитолина Марковна легла на диванъ, и поохавши, и вздохнувши раза два, заснула безмятежнымъ сномъ; а Татьяна отошла въ уголъ и сѣла на кресло, крѣпко скрестивъ на груди руки.

XIX.

Литвиновъ проворно всходилъ по лѣстницѣ Hôtel de l'Europe... Дѣвочка лѣтъ тринадцати, съ калмыцкимъ лукавымъ личикомъ, которая, повидимому, его караулила, остановила его, сказавши ему по-русски: „Пожалуйте сюда; Ирина Павловна сейчасъ придутъ“. Онъ посмотрѣлъ на нее съ недоумѣніемъ. Она улыбнулась, повторила: „По-

жалуйте, пожалуйте", и ввела его въ небольшую комнату, находившуюся противъ Ирининой спальни и наполненную дорожными сундуками и чемоданами, а сама тотчасъ исчезла, легонько притворивши дверь. Не успѣлъ Литвиновъ оглянуться, какъ та же дверь быстро распахнулась, и въ розовомъ бальномъ платьѣ, съ жемчугомъ на волосахъ и на шеѣ, появилась Ирина. Она такъ и бросилась къ нему, схватила его за обѣ руки и нѣсколько мгновеній оставалась безмолвной; глаза ея сіяли и грудь поднималась, словно она взбѣжала на высоту.

— Я не могла принять... васъ тамъ, начала она торопливымъ шопотомъ:—мы сейчасъ ѣдемъ на званый обѣдъ, но я непремѣнно хотѣла васъ видѣть... Вѣдь это ваша невѣста была, съ которой я васъ встрѣтила сегодня?

— Да, это была моя невѣста, проговорилъ Литвиновъ, упирая на слово „была".

— Такъ вотъ, я хотѣла увидать васъ на одну минуту, чтобы сказать вамъ, что вы должны считать себя совершенно свободнымъ, что все то, что произошло вчера, не должно нисколько мѣнять ваши рѣшенія...

— Ирина! воскликнулъ Литвиновъ: — зачѣмъ ты это говоришь?

Онъ произнесъ эти слова громкимъ голосомъ... Беззавѣтная страсть прозвучала въ нихъ. Ирина на мигъ невольно закрыла глаза.

— О, мой милый! продолжала она шопотомъ еще болѣе тихимъ, но съ увлеченіемъ неудержимымъ:—ты не знаешь, какъ я тебя люблю, но вчера я только долгъ свой заплатила, я загладила прошедшую вину... Ахъ! я не могла отдать тебѣ мою молодость, какъ бы я хотѣла, но никакихъ обязанностей я не наложила на тебя, ни отъ какого обѣщанія я не разрѣшила тебя, мой милый! Дѣлай что хочешь, ты свободенъ, какъ воздухъ, ты ничѣмъ не связанъ, знай это, знай!

— Но я не могу жить безъ тебя, Ирина, перебилъ ее уже шопотомъ Литвиновъ:—я твой на вѣкъ и навсегда со вчерашняго дня... Только у ногъ твоихъ могу я дышать...

Онъ трепетно припалъ къ ея рукамъ. Ирина посмотрѣла на его наклоненную голову.

— Ну, такъ знай же, промолвила она:—что и я на все готова, что и я не пожалѣю никого и ничего. Какъ ты рѣшишь, такъ и будетъ... Я тоже на вѣкъ твоя... твоя.

Кто-то осторожно постучался въ дверь. Ирина нагнулась, еще разъ шепнула: „твоя... прощай!“ Литвиновъ почувствовалъ на волосахъ своихъ ея дыханіе, прикосновеніе ея губъ. Когда онъ выпрямился, ея уже не было въ комнатѣ, только платье ея прошумѣло въ коридорѣ и издали послышался голосъ Ратмирова: „Eh bien! Vous ne venez pas?“

Литвиновъ присѣлъ на высокій сундукъ и закрылъ себѣ лицо. Женскій запахъ, тонкій и свѣжій, повѣялъ на него... Ирина держала его руки въ своихъ рукахъ. „Это слишкомъ... слишкомъ“, думалось ему. Дѣвочка вошла въ комнату и, снова улыбнувшись въ отвѣтъ на его тревожный взглядъ, промолвила:

— Извольте идти-съ, пока...

Онъ всталъ и вышелъ изъ гостиницы. Нечего было и думать тотчасъ возвратиться домой: надо было остепениться. Сердце въ немъ билось протяжно и неровно; земля, казалось, слабо двигалась подъ ногами. Литвиновъ вновь отправился по Лихтенталевской аллеѣ. Онъ понималъ, что наступало мгновенье рѣшительное, что откладывать дальше, скрываться, отворачиваться — становилось невозможнымъ, что объясненіе съ Татьяной неизбѣжно; онъ представлялъ, какъ она тамъ сидитъ и не шевелится, и ждетъ его... онъ предчувствовалъ, что онъ ей скажетъ; но какъ приступить, какъ начать? Онъ махнулъ рукой на все свое правильное, благоустроенное, добропорядочное будущее: онъ зналъ, что онъ бросается очертя голову въ омутъ, куда и заглядывать не слѣдовало... но не это его смущало. То дѣло было покончennое, а какъ предстать передъ своего судью? И хоть бы точно судья его встрѣтилъ—ангелъ съ пламеннымъ мечомъ: легче было бы преступному сердцу... а то еще самому придется ножъ вонзать... Безобразно! А вернуться назадъ, отказаться отъ того другого, воспользоваться свободой, которую ему сулятъ, которую признаютъ за нимъ... Нѣтъ! лучше умереть! Нѣтъ, не надо той по-

стылой свободы... а низвергнуться въ прахъ, и чтобы тѣ глаза съ любовію склонились...

— Григорій Михайлычъ! промолвилъ чей-то печальный голосъ, и чья-то рука тяжело легла на Литвинова.

Онъ оглянулся не безъ испуга и узналъ Потугина.

— Извините меня, Григорій Михайлычъ, началъ тотъ съ обычной своей ужимкой:—я, можетъ-быть, васъ обезпокоилъ, но, увидавъ васъ издали, я подумалъ... Впрочемъ, если вамъ не до меня...

— Напротивъ, я очень радъ, процѣдилъ сквозь зубы Литвиновъ.

Потугинъ пошелъ съ нимъ рядомъ.

— Прекрасный вечеръ, началъ онъ: — такъ тепло! Вы давно гуляете?

— Нѣтъ, недавно.

— Да что же я спрашиваю; я видѣлъ, какъ вы шли изъ Hôtel de l'Europe.

— Такъ вы за мной шли слѣдомъ?

— Да.

— Вы имѣете мнѣ что̀ сказать?

— Да, чуть слышно повторилъ Потугинъ.

Литвиновъ остановился и посмотрѣлъ на своего непрошеннаго собесѣдника. Лицо его было блѣдно, глаза блуждали; давнишнее, старое горе, казалось, выступило на его искаженныхъ чертахъ.

— Что̀ же собственно такое вы хотите мнѣ сказать? медленно проговорилъ Литвиновъ, и опять двинулся впередъ.

— А вотъ позвольте... сейчасъ. Если вамъ все равно— присядемте вотъ тутъ на скамеечку. Здѣсь будетъ удобнѣе.

— Да это что-то таинственное, промолвилъ Литвиновъ, садясь возлѣ него. — Вамъ словно не по себѣ, Созонтъ Иванычъ.

— Нѣтъ, мнѣ ничего; и таинственнаго тоже ничего нѣтъ. Я собственно хотѣлъ вамъ сообщить... то впечатлѣніе, которое произвела на меня ваша невѣста... вѣдь она, кажется, ваша невѣста?.. ну, словомъ, та дѣвица, съ которой вы меня сегодня познакомили. Я долженъ сказать, что я въ теченіе всей своей жизни не встрѣчалъ су-

щества болѣе симпатичнаго. Это золотое сердце, истинно ангельская душа.

Потугинъ произнесъ всѣ эти слова съ тѣмъ же горькимъ и скорбнымъ видомъ, такъ что даже Литвиновъ не могъ не замѣтить страннаго противорѣчія между выраженіемъ его лица и его рѣчами.

— Вы совершенно справедливо оцѣнили Татьяну Петровну, началъ Литвиновъ: — хотя мнѣ приходится удивляться во-первыхъ тому, что вамъ извѣстны мои отношенія къ ней, а во-вторыхъ и тому, какъ скоро вы ее разгадали. У ней, точно, ангельская душа; но позвольте узнать, вы объ этомъ хотѣли со мной бесѣдовать?

— Ея нельзя не разгадать тотчасъ, подхватилъ Потугинъ, какъ бы уклоняясь отъ послѣдняго вопроса:—стоитъ ей разъ заглянуть въ глаза. Она заслуживаетъ всевозможнаго счастья на землѣ, и завидна доля того человѣка, которому придется доставить ей это счастье! Нужно желать, чтобъ онъ оказался достойнымъ подобной доли.

Литвиновъ нахмурился слегка.

— Позвольте, Созонтъ Иванычъ, промолвилъ онъ: — я признаюсь, нахожу нашъ разговоръ вообще довольно оригинальнымъ... Я хотѣлъ бы знать: намекъ, который содержатъ ваши слова, относится ко мнѣ?

Потугинъ не тотчасъ отвѣчалъ Литвинову: онъ, видимо, боролся самъ съ собою.

— Григорій Михайлычъ, началъ онъ, наконецъ:—или я совершенно ошибся въ васъ, или вы въ состояніи выслушать правду, отъ кого бы она ни шла, и подъ какой бы невзрачной оболочкой она ни явилась. Я сейчасъ сказалъ вамъ, что видѣлъ, откуда вы шли.

— Ну да, изъ Hôtel de l'Europe. Что же изъ того?

— Вѣдь я знаю, съ кѣмъ вы тамъ видѣлись!

— Какъ?

— Вы видѣлись съ госпожей Ратмировой.

— Ну да, я былъ у ней. Что же далѣе?

— Что далѣе?.. Вы, женихъ Татьяны Петровны, вы видѣлись съ госпожею Ратмировой, которую вы любите... и которая любитъ васъ.

Литвиновъ мгновенно приподнялся со скамейки; кровь ударила ему въ голову.

— Что это? промолвилъ онъ, наконецъ, озлобленнымъ, сдавленнымъ голосомъ: — плоская шутка, шпіонство? Извольте объясниться.

Потугинъ бросилъ на него унылый взглядъ.

— Ахъ! не оскорбляйтесь моими словами, Григорій Михайлычъ; меня же вы оскорбить не можете. Не для того заговорилъ я съ вами и не до шутокъ мнѣ теперь.

— Можетъ-быть, можетъ-быть. Я готовъ вѣрить въ чистоту вашихъ намѣреній; но я все-таки позволю себѣ спросить васъ, съ какого права вы вмѣшиваетесь въ домашнія дѣла, въ сердечную жизнь чужого человѣка, и на какомъ основаніи вы вашу... выдумку такъ самоувѣренно выдаете за правду?

— Мою выдумку! Если бъ я это выдумалъ, вы бы не разсердились! а что до права, то я еще не слыхивалъ, чтобы человѣкъ поставилъ себѣ вопросъ: имѣетъ ли онъ право, или нѣтъ, протянуть руку утопающему.

— Покорно благодарю за заботливость, подхватилъ запальчиво Литвиновъ: — только я вовсе не нуждаюсь въ ней, и всѣ эти фразы о гибели, уготовляемой свѣтскими дамами неопытнымъ юношамъ, о безнравственности высшаго свѣта и такъ далѣе, считаю именно за фразы, и даже въ нѣкоторомъ смыслѣ презираю ихъ; а потому прошу васъ не утруждать своей спасительной десницы, и преспокойно позволить мнѣ утонуть.

Потугинъ опять поднялъ глаза на Литвинова. Онъ трудно дышалъ, губы его подергивало.

— Да посмотрите вы на меня, молодой человѣкъ, вырвалось у него, наконецъ, и онъ стукнулъ себя въ грудь:— неужели я похожъ на дюжиннаго, самодовольнаго моралиста, на проповѣдника? Развѣ вы не понимаете, что изъ одного участія къ вамъ, какъ бы сильно оно ни было, я бы слова не проронилъ, не далъ бы вамъ права упрекнуть меня въ томъ, что пуще всего мнѣ ненавистно—въ нескромности, въ назойливости. Развѣ вы не видите, что тутъ дѣло совсѣмъ другого рода, что передъ вами чело-

вѣкъ разбитый, разрушенный, окончательно уничтоженный тѣмъ самымъ чувствомъ, отъ послѣдствій котораго онъ желалъ бы предохранить васъ, и... и къ той же самой женщинѣ!

Литвиновъ отступилъ шагъ назадъ.

— Возможно ли! что̀ вы сказали... Вы... вы... Созонтъ Иванычъ? Но госпожа Бѣльская... этотъ ребенокъ...

— Ахъ, не разспрашивайте меня... вѣрьте мнѣ! То темная, страшная исторія, которую я вамъ разсказывать не стану. Госпожу Бѣльскую я почти не зналъ, ребенокъ этотъ не мой, а взялъ я все на себя... потому... потому что *она* того хотѣла, потому что *ей* это было нужно. Зачѣмъ бы я находился здѣсь, въ вашемъ противномъ Баденѣ? И наконецъ, неужели вы полагаете, неужели вы на одну минуту могли вообразить, что я изъ сочувствія къ вамъ рѣшился предостеречь васъ? Мнѣ жаль той доброй, хорошей дѣвушки, вашей невѣсты, а впрочемъ, какое мнѣ дѣло до вашей будущности, до васъ обоихъ?.. Но я за нее боюсь... за нее.

— Много чести, господинъ Потугинъ, началъ Литвиновъ:—но такъ какъ мы, по вашимъ словамъ, находимся оба въ одинаковомъ положеніи, то почему же вы самому себѣ не читаете подобныхъ наставленій, и не долженъ ли я приписать ваши опасенія другому чувству?

— То-есть, ревности, хотите вы сказать? Эхъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ, стыдно вамъ финтить и лукавить, стыдно не понять, какое горькое горе говоритъ теперь моими устами! Нѣтъ, не въ одинаковомъ мы положеніи съ вами! Я, я—старый, смѣшной, вполнѣ безвредный чудакъ... а вы! Да что тутъ толковать! Вы ни на одну секунду не согласились бы принять на себя ту роль, которую я разыгрываю, и разыгрываю съ благодарностью! А ревность? Не ревнуетъ тотъ, у кого нѣтъ хоть бы капли надежды, и не теперь бы мнѣ пришлось испытать это чувство впервые. Мнѣ только страшно... страшно за нее, поймите вы это. И могъ ли я ожидать, когда она посылала меня къ вамъ, что чувство вины, которую она признавала за собою, такъ далеко ее завлечетъ?

— Но позвольте, Созонтъ Иванычъ, вы какъ будто знаете...

— Я ничего не знаю, и знаю все. Я знаю, прибавилъ онъ и отвернулся:—я знаю, гдѣ она была вчера. Но ея не удержать теперь: она, какъ брошенный камень, должна докатиться до дна. Я былъ бы еще бо́льшимъ безумцемъ, если бы вообразилъ, что слова мои тотчасъ удержатъ васъ... васъ, которому такая женщина... Но полно объ этомъ. Я не могъ переломить себя, вотъ все мое извиненіе. Да и, наконецъ, какъ знать и почему не попытаться? Можетъ-быть, вы одумаетесь, можетъ-быть, какое-нибудь мое слово западетъ вамъ въ душу, вы не захотите погубить и ее, и себя, и то невинное, прекрасное существо... Ахъ! не сердитесь, не топайте ногой! Что мнѣ бояться, чего церемониться? Не ревность говоритъ во мнѣ теперь, не досада... Я готовъ упасть къ вашимъ ногамъ, умолять васъ... А впрочемъ, прощайте. Не бойтесь, все это останется втайнѣ. Я желалъ вамъ добра.

Потугинъ зашагалъ по аллеѣ, и скоро исчезъ въ уже надвигавшемся мракѣ... Литвиновъ его не удерживалъ.

„Страшная, темная исторія...“—говорилъ Потугинъ Литвинову, и не хотѣлъ ея разсказывать... Коснемся и мы ея всего двумя словами.

Лѣтъ за восемъ передъ тѣмъ ему пришлось быть временно прикомандированнымъ отъ своего министерства къ графу Рейзенбаху. Дѣло происходило лѣтомъ. Потугинъ ѣздилъ къ нему на дачу съ бумагами и проводилъ тамъ цѣлые дни. Ирина жила тогда у графа. Она никогда не гнушалась людей низко поставленныхъ, по крайней мѣрѣ не чуждалась ихъ, и графиня не разъ пеняла ей за ея излишнюю, московскую фамильярность. Ирина скоро отгадала умнаго человѣка въ этомъ скромномъ чиновникѣ, облеченномъ въ мундирный, до-верху застегнутый фракъ. Она часто и охотно бесѣдовала съ нимъ... а онъ... онъ полюбилъ ее страстно, глубоко, тайно... Тайно! *Онъ* такъ думалъ. Прошло лѣто; графъ пересталъ нуждаться въ постороннемъ помощникѣ. Потугинъ потерялъ Ирину изъ виду, но забыть ея не могъ. Года три спустя онъ совершенно неожиданно получилъ приглашеніе отъ одной мало знакомой ему дамы средней руки. Дама эта сперва не-

много затруднилась высказаться, но взявъ съ него клятву сохранить все, что онъ услышитъ, въ величайшемъ секретѣ, предложила ему... жениться на одной дѣвицѣ, которая занимала видное положеніе въ свѣтѣ и для которой свадьба стала необходимостью. На главное лицо дама едва рѣшилась намекнуть, и тутъ же обѣщала Потугину денегъ... много денегъ. Потугинъ не оскорбился, удивленіе заглушило въ немъ чувство гнѣва, но, разумѣется, отказался наотрѣзъ. Тогда дама вручила ему записку къ нему—отъ Ирины. „Вы благородный, добрый человѣкъ", писала она, „и я знаю, вы для меня все сдѣлаете; я прошу у васъ этой жертвы. Вы спасете существо, мнѣ дорогое. Спасая ее, вы спасете и меня... Не спрашивайте — какъ. Я ни къ кому не рѣшилась бы обратиться съ подобною просьбой, но къ вамъ я протягиваю руки и говорю вамъ: сдѣлайте это для меня". Потугинъ задумался и сказалъ, что для Ирины Павловны онъ, точно, готовъ сдѣлать многое, но хотѣлъ бы услышать ея желаніе изъ ея же устъ. Свиданіе состоялось въ тотъ же вечеръ: оно продолжалось не долго, и никто не зналъ о немъ, кромѣ той дамы. Ирина не жила уже у графа Рейзенбаха.

— Почему вы вспомнили именно обо мнѣ? спросилъ ее Потугинъ.

Она начала-было распространяться объ его хорошихъ качествахъ, да вдругъ остановилась...

— Нѣтъ, промолвила она:—вамъ надобно правду говорить. Я знала, я знаю, что вы меня любите; вотъ отчего я рѣшилась... И тутъ же разсказала ему все.

Элиза Бѣльская была сирота; родственники ея не любили и разсчитывали на ея наслѣдство... ей предстояла гибель. Спасая её, Ирина дѣйствительно оказывала услугу тому, кто былъ всему причиной и кто самъ теперь сталъ весьма близокъ къ ней, къ Иринѣ... Потугинъ, молча, долго посмотрѣлъ на Ирину, и согласился. Она заплакала и вся въ слезахъ бросилась ему на шею. И онъ заплакалъ... но различны были ихъ слезы. Уже все приготовлялось къ тайному браку, мощная рука устранила всѣ препятствія... *Но случилась болѣзнь*... а тамъ родилась

дочь, а тамъ мать... отравилась. Что было дѣлать съ ребенкомъ? Потугинъ взялъ его на свое попеченіе изъ тѣхъ же рукъ, изъ рукъ Ирины.

Страшная, темная исторія... Мимо, читатель, мимо!

Больше часу прошло еще, прежде чѣмъ Литвиновъ рѣшился вернуться въ свою гостиницу. Онъ уже приближался къ ней, какъ вдругъ услышалъ шаги за собой. Казалось, кто-то упорно слѣдилъ за нимъ и шелъ скорѣе, когда онъ прибавлялъ шагу. Подойдя подъ фонарь, Литвиновъ оглянулся, и узналъ генерала Ратмирова. Въ бѣломъ галстукѣ, въ щегольскомъ пальто на-распашку, съ вереницей звѣздочекъ и крестиковъ на золотой цѣпочкѣ въ петлѣ фрака, генералъ возвращался съ обѣда, одинъ. Взглядъ его, прямо и дерзко устремленный на Литвинова, выражалъ такое презрѣніе и такую ненависть, вся его фигура дышала такимъ настойчивымъ вызовомъ, что Литвиновъ почелъ своею обязанностью пойти, скрѣпя сердце, ему навстрѣчу, пойти на „исторію“. Но поровнявшись съ Литвиновымъ, лицо генерала мгновенно измѣнилось: опять появилось на немъ обычное игривое изящество, и рука въ свѣтло-лиловой перчаткѣ высоко приподняла вылощенную шляпу. Литвиновъ молча снялъ свою, и каждый пошелъ своей дорогой.

„Вѣрно, замѣтилъ что-нибудь!“ подумалъ Литвиновъ. „Хоть бы... другой кто-нибудь!“ подумалъ генералъ.

Татьяна играла въ пикетъ со своею тёткой, когда Литвиновъ вошелъ къ нимъ въ комнату.

— Однако, хорошъ ты, мой батюшка! воскликнула Капитолина Марковна, и бросила карты на столъ:—въ первый же день, да на цѣлый вечеръ пропалъ! Ужъ мы ждали васъ, ждали, бранили, бранили...

— Я, тётя, ничего не говорила, замѣтила Татьяна.

— Ну, ты извѣстная смиренница! Стыдитесь, милостивый государь! еще женихъ!

Литвиновъ кое-какъ извинился и подсѣлъ къ столу.

— Зачѣмъ же вы перестали играть? спросилъ онъ послѣ небольшого молчанія.

— Вотъ тебѣ на! Мы съ ней въ карты отъ скуки играемъ, когда дѣлать нечего... а теперь вы пришли.

— Если вамъ угодно послушать вечернюю музыку, промолвилъ Литвиновъ:—я съ великою охотой провожу васъ.

Капитолина Марковна посмотрѣла на свою племянницу.

— Пойдемте, тётя, я готова, сказала та:—но не лучше ли остаться дома?

— И то дѣло! Будемте чай пить, по-нашему, по-московскому, съ самоваромъ; да поболтаемте хорошенько. Мы еще не покалякали какъ слѣдуетъ.

Литвиновъ велѣлъ принести чаю, но поболтать хорошенько не удалось. Онъ чувствовалъ постоянное угрызеніе совѣсти; что̀ бы онъ ни говорилъ, ему все казалось, что онъ лжетъ, и что Татьяна догадывается. А между тѣмъ въ ней не замѣчалось перемѣны; она такъ же непринужденно держалась... только взоръ ея ни разу не останавливался на Литвиновѣ, а какъ-то снисходительно и пугливо скользилъ по немъ—и блѣднѣе она была обыкновеннаго.

Капитолина Марковна спросила ее, не болитъ ли у ней голова?

Татьяна хотѣла-было сперва отвѣчать, что нѣтъ, но одумавшись, сказала: „да, немножко“.

— Съ дороги, промолвилъ Литвиновъ, и даже покраснѣлъ отъ стыда.

— Съ дороги, повторила Татьяна, и взоръ ея опять скользнулъ по немъ.

— Надо тебѣ отдохнуть, Танечка.

— Я и такъ скоро спать лягу, тётя.

На столѣ лежалъ *Guide des Voyageurs;* Литвиновъ принялся читать вслухъ описаніе баденскихъ окрестностей.

— Все это такъ, перебила его Капитолина Марковна:—но вотъ что̀ не надо забыть. Говорятъ, здѣсь полотно очень дешево, такъ вотъ бы купить для приданаго.

Татьяна опустила глаза.

— Успѣемъ, тётя. Вы о себѣ никогда не думаете, а вамъ непремѣнно надо сшить себѣ платье. Видите, какія здѣсь всѣ ходятъ нарядныя.

— Э, душа моя! къ чему это? Что̀ я за щеголиха! Добро бы я была такая красивая, какъ эта ваша знакомая, Григорій Михайлычъ, какъ бишь ее?

— Какая знакомая?

— Да вотъ, что̀ мы сегодня встрѣтили.

— А, та! съ притворнымъ равнодушіемъ проговорилъ Литвиновъ, и опять гадко стыдно стало ему. „Нѣтъ! подумалъ онъ, этакъ продолжать невозможно“.

Онъ сидѣлъ подлѣ своей невѣсты, а въ нѣсколькихъ вершкахъ разстоянія отъ нея, въ боковомъ его карманѣ, находился платокъ Ирины.

Капитолина Марковна вышла на минуту въ другую комнату.

— Таня... сказалъ съ усиліемъ Литвиновъ. Онъ въ первый разъ въ тотъ день назвалъ ее этимъ именемъ.

Она обернулась къ нему.

— Я... имѣю сказать вамъ нѣчто важное.

— А! Въ самомъ дѣлѣ? Когда? Сейчасъ?

— Нѣтъ, завтра.

— А! завтра. Ну, хорошо.

Безконечная жалость мгновенно наполнила душу Литвинова. Онъ взялъ руку Татьяны, и поцѣловалъ ее смиренно, какъ виноватый; сердце въ ней тихонько сжалось, и не порадовалъ ее этотъ поцѣлуй.

Ночью, часу во второмъ, Капитолина Марковна, которая спала въ одной комнатѣ съ своей племянницей, вдругъ приподняла голову и прислушалась.

— Таня! промолвила она: ты плачешь?

Татьяна не тотчасъ отвѣчала.

— Нѣтъ, тётя, послышался ея кроткій голосокъ: — у меня насморкъ.

XX.

„Зачѣмъ я это ей сказалъ?“ думалъ на слѣдующее утро Литвиновъ, сидя у себя въ комнатѣ, передъ окномъ. Онъ съ досадой пожалъ плечами: онъ именно для того и сказалъ это Татьянѣ, чтобъ отрѣзать себѣ всякое отступленіе. На окнѣ лежала записка отъ Ирины: она звала его къ себѣ къ двѣнадцати часамъ. Слова Потугина безпрестанно приходили ему на память; они проносились зловѣщимъ, хотя слабымъ, какъ подземнымъ гуломъ; онъ сердился, и

никакъ не могъ отдѣлаться отъ нихъ. Кто-то постучался въ дверь.

— Wer da? спросилъ Литвиновъ.

— А! вы дома! Отоприте! раздался хриплый басъ Биндасова.

Ручка замка затрещала.

Литвиновъ поблѣднѣлъ со злости.

— Нѣтъ меня дома, промолвилъ онъ рѣзко.

— Какъ нѣтъ дома? Это еще что за штука?

— Говорятъ вамъ—нѣтъ дома; убирайтесь.

— Вотъ это мило! А я пришелъ-было денежекъ попризанять, проворчалъ Биндасовъ.

Однако, онъ удалился, стуча по обыкновенію каблуками.

Литвиновъ чуть не выскочилъ ему вслѣдъ: до того захотѣлось ему намять шею противному наглецу. Событія послѣднихъ дней разстроили его нервы: еще не много— и онъ бы заплакалъ. Онъ выпилъ стаканъ холодной воды, заперъ, самъ не зная зачѣмъ, всѣ ящики въ мебеляхъ и пошелъ къ Татьянѣ.

Онъ засталъ ее одну. Капитолина Марковна отправилась по магазинамъ за покупками. Татьяна сидѣла на диванѣ и держала обѣими руками книжку: она ее не читала и едва ли даже знала, что это была за книжка. Она не шевелилась, но сердце сильно билось въ ея груди и бѣлый воротничокъ вокругъ ея шеи вздрагивалъ замѣтно и мѣрно.

Литвиновъ смутился... однако, сѣлъ возлѣ нея, поздоровался, улыбнулся; и она безмолвно ему улыбнулась. Она поклонилась ему, когда онъ вошелъ, поклонилась вѣжливо, не по-дружески—и не взглянула на него. Онъ протянулъ ей руку; она подала ему свои похолодѣвшіе пальцы, тотчасъ высвободила ихъ и снова взялась за книжку. Литвиновъ чувствовалъ, что начать бесѣду съ предметовъ маловажныхъ значило оскорбить Татьяну; она по обыкновенію ничего не требовала, но все въ ней говорило: „я жду, я жду“... Надо было исполнить обѣщаніе. Но онъ,—хотя почти всю ночь ни о чемъ другомъ не думалъ,—онъ не приготовилъ даже первыхъ, вступительныхъ словъ, и рѣ-

шительно не зналъ, какимъ образомъ перервать это жестокое молчаніе.

— Таня, началъ онъ, наконецъ:—я сказалъ вамъ вчера, что имѣю сообщить вамъ нѣчто важное (онъ въ Дрезденѣ наединѣ съ нею начиналъ говорить ей „ты“, но теперь объ этомъ и думать было печего). Я готовъ, только прошу васъ заранѣе не сѣтовать на меня и быть увѣренной, что мои чувства къ вамъ...

Онъ остановился. Ему духъ захватило. Татьяна все не шевелилась и не глядѣла на него: только крѣпче прежняго стискивала книгу.

— Между нами, продолжалъ Литвиновъ, не докончивъ начатой рѣчи:—между нами всегда была полная откровенность; я слишкомъ уважаю васъ, чтобы лукавить съ вами; я хочу доказать вамъ, что умѣю цѣнить возвышенность и свободу вашей души, и хотя я... хотя, конечно...

— Григорій Михайлычъ, начала Татьяна ровнымъ голосомъ, и все лицо ея покрылось мертвенною блѣдностью:—я приду вамъ на помощь: вы разлюбили меня и не знаете, какъ мнѣ это сказать.

Литвиновъ невольно вздрогнулъ.

— Почему же?.. проговорилъ онъ едва внятно:—почему вы могли подумать?.. Я, право, не понимаю...

— Что же, не правда это? Не правда это, скажите? скажите?

Татьяна повернулась къ Литвинову всѣмъ тѣломъ; лицо ея съ отброшенными назадъ волосами приблизилось къ его лицу, и глаза ея, такъ долго на него не глядѣвшіе, такъ и впились въ его глаза.

— Не правда это? повторила она.

Онъ ничего не сказалъ, не произнесъ ни одного звука. Онъ бы не могъ солгать въ это мгновеніе, если бъ даже зналъ, что она ему повѣритъ, и что его ложь спасетъ ее; онъ даже взоръ ея вынести былъ не въ силахъ. Литвиновъ ничего не сказалъ, но она уже не нуждалась въ отвѣтѣ; она прочла этотъ отвѣтъ въ самомъ его молчаніи, въ этихъ виноватыхъ, потупленныхъ глазахъ,—и откинулась назадъ и уронила книгу... Она еще сомнѣвалась до

того мгновенья, и Литвиновъ это понялъ; онъ понялъ, что она еще сомнѣвалась — и какъ безобразно, дѣйствительно безобразно было все, что̀ онъ сдѣлалъ!

Онъ бросился передъ нею на колѣни.

— Таня, воскликнулъ онъ: — если бы ты знала, какъ мнѣ тяжело видѣть тебя въ этомъ положеніи, какъ ужасно мнѣ думать, что это я... я! У меня сердце растерзано; я самъ себя не узнаю; я потерялъ себя и тебя, и все... Все разрушено, Таня, все! Могъ ли я ожидать, что я... я нанесу такой ударъ тебѣ, моему лучшему другу, моему ангелу-хранителю!.. Могъ ли я ожидать, что мы такъ съ тобой увидимся, такой проведемъ день, каковъ былъ вчерашній!..

Татьяна хотѣла-было встать и удалиться. Онъ удержалъ ее за край ея одежды.

— Нѣтъ, выслушай меня еще минуту. Ты видишь, я передъ тобою на колѣняхъ, но не прощенія пришелъ я просить,—ты не можешь и не должна простить меня;— я пришелъ тебѣ сказать, что другъ твой погибъ, что онъ падаетъ въ бездну и не хочетъ увлекать тебя съ собою... А спасти меня... нѣтъ! даже ты не можешь спасти меня. Я самъ бы оттолкнулъ тебя... Я погибъ, Таня, я безвозвратно погибъ!

Татьяна посмотрѣла на Литвинова.

— Вы погибли! проговорила она, какъ бы не вполнѣ его понимая.—Вы погибли?

— Да, Таня, я погибъ. Все прежнее, все дорогое, все, чѣмъ я доселѣ жилъ,—погибло для меня; все разрушено, все порвано, и я не знаю, что̀ меня ожидаетъ впереди. Ты сейчасъ мнѣ сказала, что я разлюбилъ тебя... Нѣтъ, Таня, я не разлюбилъ тебя, но другое, страшное, неотразимое чувство налетѣло, нахлынуло на меня. Я противился пока могъ...

Татьяна встала; ея брови сдвинулись; блѣдное лицо потемнѣло. Литвиновъ тоже поднялся.

— Вы полюбили другую женщину, начала она: — и я догадываюсь, кто она... Мы съ ней вчера встрѣтились, не правда ли?.. Что жъ! Я знаю, что̀ мнѣ теперь остается дѣ-

лать. Такъ какъ вы сами говорите, что это чувство въ васъ неизмѣнно... (Татьяна остановилась на мигъ: быть-можетъ, она еще надѣялась, что Литвиновъ не пропуститъ этого послѣдняго слова безъ возраженія, но онъ ничего не сказалъ), то мнѣ остается возвратить вамъ... ваше слово.

Литвиновъ наклонилъ голову, какъ бы съ покорностью принимая заслуженный ударъ.

— Вы имѣете право негодовать на меня, промолвилъ онъ:—вы имѣете полное право упрекать меня въ малодушіи... въ обманѣ.

Татьяна снова посмотрѣла на него.

— Я не упрекала васъ, Литвиновъ, я не обвиняю васъ. Я съ вами согласна: самая горькая правда лучше того, что происходило вчера. Что за жизнь теперь была бы наша!

„Что за жизнь будетъ моя теперь!“ скорбно отозвалось въ душѣ Литвинова.

Татьяна приблизилась къ двери спальни.

— Я васъ прошу оставить меня одну на нѣсколько времени, Григорій Михайлычъ,—мы еще увидимся, мы еще потолкуемъ. Все это было такъ неожиданно. Мнѣ надо немного собраться съ силами... оставьте меня... пощадите мою гордость. Мы еще увидимся.

И сказавъ эти слова, Татьяна проворно удалилась и заперла за собою дверь на ключъ.

Литвиновъ вышелъ на улицу, какъ отуманенный, какъ оглушенный; что-то темное и тяжелое внѣдрилось въ самую глубь его сердца; подобное ощущеніе долженъ испытать человѣкъ, зарѣзавшій другого, и между тѣмъ легко ему становилось, какъ будто онъ сбросилъ, наконецъ, ненавистную ношу. Великодушіе Татьяны его уничтожило, онъ живо чувствовалъ все, что онъ терялъ... и что же? къ раскаянію его примѣшивалась досада; онъ стремился къ Иринѣ, какъ къ единственно оставшемуся убѣжищу,—и злился на нее. Съ нѣкоторыхъ поръ и съ каждымъ днемъ чувства Литвинова становились все сильнѣе и запутаннѣе; эта путаница мучила, раздражала его, онъ терялся въ этомъ хаосѣ. Онъ жаждалъ одного: выйти, наконецъ, на дорогу, на какую бы то ни было, лишь бы не кружиться

болѣе въ этой безтолковой полутьмѣ. Людямъ положительнымъ, въ родѣ Литвинова, не слѣдовало бы увлекаться страстью; она нарушаетъ самый смыслъ ихъ жизни... Но природа не справляется съ логикой, съ нашею человѣческой логикой; у ней есть своя, которую мы не понимаемъ и не признаёмъ до тѣхъ поръ, пока она насъ, какъ колесомъ, не переѣдетъ.

Разставшись съ Татьяной, Литвиновъ держалъ одно въ умѣ: увидѣться съ Ириной; онъ и отправился къ ней. Но генералъ былъ дома,—такъ, по крайней мѣрѣ, сказалъ ему швейцаръ,—и онъ не захотѣлъ войти, онъ не чувствовалъ себя въ состояніи притворяться, и поплелся къ Конверсаціонсгаузу. Неспособность Литвинова притворяться въ этотъ день испытали на себѣ и Ворошиловъ, и Пищалкинъ, которые попались ему навстрѣчу: онъ такъ и брякнулъ одному, что онъ пустъ, какъ бубенъ; другому, что онъ скученъ до обморока; хорошо еще, что Биндасовъ не подвернулся: навѣрное произошелъ бы „grosser Scandal“. Оба молодые человѣка изумились; Ворошиловъ даже вопросъ себѣ поставилъ, не требуетъ ли офицерская честь удовлетворенія?—но, какъ Гоголевскій поручикъ Пироговъ, успокоилъ себя въ кофейной буттеръ-бродами. Литвиновъ увидалъ издали Капитолину Марковну, хлопотливо перебѣгавшую въ своей пестрой мантильѣ изъ лавки въ лавку... Совѣстно стало ему передъ доброю, смѣшною, благородною старушкой. Потомъ онъ вспомнилъ о Потугинѣ, о вчерашнемъ разговорѣ... Но вотъ, что-то повѣяло на него, что-то неосязаемое и несомнѣнное; если бы дуновеніе шло отъ падающей тѣни, оно бы не было неуловимѣе, но онъ тотчасъ почувствовалъ, что это приближалась Ирина. Дѣйствительно: она появилась въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, подъ руку съ другой дамой; глаза ихъ тотчасъ встрѣтились. Ирина вѣроятно замѣтила что-то особенное въ выраженіи лица у Литвинова; она остановилась передъ лавкой, въ которой продавалось множество крошечныхъ деревянныхъ часовъ шварцвальдскаго издѣлія, подозвала его къ себѣ движеніемъ головы и показывая ему одни изъ этихъ часиковъ, прося его полюбоваться миловидными ци-

ферблатомъ съ раскрашенной кукушкой на верху, промолвила не шопотомъ, а обыкновеннымъ своимъ голосомъ, какъ бы продолжая начатую фразу—оно меньше привлекаетъ вниманіе постороннихъ.

— Приходите черезъ часъ, я буду дома одна.

Но тутъ подлетѣлъ къ ней извѣстный дамскій угодникъ мсьё Вердіе, и началъ приходить въ восторгъ отъ цвѣта feuille morte ея платья, отъ ея низенькой испанской шляпки, надвинутой на самыя брови... Литвиновъ исчезъ въ толпѣ.

XXI.

— Григорій, говорила ему два часа спустя Ирина, сидя возлѣ него на кушеткѣ и положивъ ему обѣ руки на плечо.—Что съ тобой? Скажи мнѣ теперь, скорѣе, пока мы одни.

— Со мною? промолвилъ Литвиновъ. — Я счастливъ, счастливъ, вотъ что со мной.

Ирина потупилась, улыбнулась, вздохнула.

— Это не отвѣтъ на мой вопросъ, мой милый.

Литвиновъ задумался.

— Ну, такъ знай же... такъ какъ ты этого непремѣнно требуешь (Ирина широко раскрыла глаза и слегка отшатнулась): я сегодня все сказалъ моей невѣстѣ.

— Какъ все? Ты меня назвалъ?

Литвиновъ даже руками всплеснулъ.

— Ирина, ради Бога, какъ могла тебѣ такая мысль въ голову придти! чтобы я...

— Ну извини, меня... извини меня. Что же ты сказалъ?

— Я сказалъ ей, что я не люблю ее болѣе.

— Она спросила, почему?

— Я не скрылъ отъ нея, что я полюбилъ другую, и что мы должны разстаться.

— Ну... и что жъ она? Согласна?

— Ахъ, Ирина! что это за дѣвушка! Она вся самоотверженіе, вся благородство!

— Вѣрю, вѣрю... впрочемъ, ей другого ничего и не оставалось.

— И ни одного упрека, ни одного горькаго слова мнѣ, человѣку, который испортилъ всю ея жизнь, обманулъ ее, бросилъ безжалостно...

Ирина разсматривала свои ногти.

— Скажи мнѣ, Григорій... она тебя любила?

— Да, Ирина, она любила меня.

Ирина помолчала, оправила платье.

— Признаюсь, начала она:—я хорошенько не понимаю, зачѣмъ это тебѣ вздумалось съ нею объясняться?

— Какъ зачѣмъ, Ирина! Неужели бы ты хотѣла, чтобъ я лгалъ, притворялся передъ нею, передъ этою чистою душой? Или ты полагала...

— Я ничего не полагала, перебила Ирина.—Я, каюсь мало о ней думала... Я не умѣю думать о двухъ людяхъ разомъ.

— То-есть, ты хочешь сказать...

— Ну, и что-жъ? Она уѣзжаетъ, эта чистая душа? вторично перебила Ирина.

— Я ничего не знаю, отвѣчалъ Литвиновъ.—Я еще долженъ увидаться съ ней. Но она не останется.

— А! счастливый путь!

— Нѣтъ, она не останется. Впрочемъ, я теперь тоже не о ней думаю, я думаю о томъ, что̀ *ты* мнѣ сказала, что̀ *ты* обѣщала мнѣ.

Ирина исподлобья посмотрѣла на него.

— Неблагодарный! ты еще не доволенъ?

— Нѣтъ, Ирина, я не доволенъ. Ты меня осчастливила, но я не доволенъ, и ты меня понимаешь.

— То-есть, я...

— Да, ты понимаешь меня. Вспомни твои слова, вспомни, что ты мнѣ писала. Я не могу дѣлиться съ другимъ, нѣтъ, нѣтъ, я не могу согласиться на жалкую роль тайнаго любовника, я не одну мою жизнь, я и другую жизнь бросилъ къ твоимъ ногамъ, я отъ всего отказался, я все разбилъ въ прахъ, безъ сожалѣнія и безъ возврата, но за то я вѣрю, я твердо убѣжденъ, что и ты сдержишь свое обѣщаніе и соединишь навсегда твою участь съ моею...

— Ты хочешь, чтобъ я бѣжала съ тобою? Я готова... (Литвиновъ восторженно припалъ къ ея рукамъ.) Я готова, я не отказываюсь отъ своего слова. Но ты самъ обдумалъ ли тѣ затрудненія... приготовилъ ли средства?

— Я? еще ничего не успѣлъ ни обдумать, ни приготовить, но скажи только: да, позволь мнѣ дѣйствовать, и мѣсяца не пройдетъ...

— Мѣсяца! Мы черезъ двѣ недѣли уѣзжаемъ въ Италію.

— Мнѣ и двухъ недѣль достаточно. О, Ирина! ты какъ будто холодно принимаешь мое предложеніе, быть-можетъ, оно кажется тебѣ мечтательнымъ, но я не мальчикъ, я не привыкъ тѣшиться мечтами, я знаю, какой это страшный шагъ, знаю, какую я беру на себя отвѣтственность; но я не вижу другого исхода. Подумай наконецъ, мнѣ уже для того должно навсегда разорвать всѣ связи съ прошедшимъ, чтобы не прослыть презрѣннымъ лгуномъ въ глазахъ той дѣвушки, которую я въ жертву тебѣ принесъ!

Ирина вдругъ выпрямилась и глаза ея засверкали.

— Ну, ужъ извините, Григорій Михайлычъ! Если я рѣшусь, если я убѣгу, такъ я убѣгу съ человѣкомъ, который это сдѣлаетъ для меня, собственно для меня, а не для того, чтобы не уронить себя во мнѣніи флегматической барышни, у которой въ жилахъ, вмѣсто крови, вода съ молокомъ, du lait coupé! И еще скажу я вамъ: мнѣ, признаюсь, въ первый разъ довелось услышать, что тотъ, къ кому я благосклонна, достоинъ сожалѣнія, играетъ жалкую роль! Я знаю роль болѣе жалкую: роль человѣка, который самъ не знаетъ, что происходитъ въ его душѣ!

Литвиновъ выпрямился въ свою очередь.

— Ирина, началъ-было онъ...

Но она вдругъ прижала обѣ ладони ко лбу и, съ судорожнымъ порывомъ бросившись ему на грудь, обняла его съ неженскою силой.

— Прости меня, прости меня, заговорила она трепетнымъ голосомъ:—прости меня, Григорій! Ты видишь, какъ *я испорчена, какая* я гадкая, ревнивая, злая! Ты видишь

какъ я нуждаюсь въ твоей помощи, въ твоемъ снисхожденіи! Да, спаси меня, вырви меня изъ этой бездны, пока я не совсѣмъ еще погибла! Да, убѣжимъ, убѣжимъ отъ этихъ людей, отъ этого свѣта въ какой-нибудь далекій, прекрасный, свободный край! Быть-можетъ, твоя Ирина станетъ наконецъ достойнѣе тѣхъ жертвъ, которыя ты ей приносишь! Не сердись на меня, прости меня, мой милый—и знай, что я сдѣлаю все, что ты прикажешь, пойду всюду, куда ты меня поведешь!

Сердце перевернулось въ Литвиновѣ. Ирина сильнѣе прежняго прижималась къ нему всѣмъ своимъ молодымъ и гибкимъ тѣломъ. Онъ нагнулся къ ея душистымъ разсыпаннымъ волосамъ и, въ опьянѣніи благодарности и восторга, едва дерзалъ ласкать ихъ рукой, едва касался до нихъ губами.

— Ирина, Ирина, твердилъ онъ:—мой ангелъ...

Она внезапно приподняла голову, прислушалась...—Это шаги моего мужа... онъ вошелъ въ свою комнату, прошептала она и проворно отодвинувшись, пересѣла на кресло. Литвиновъ хотѣлъ-было встать...—Куда же ты? продолжала она тѣмъ же шопотомъ, останься; онъ ужъ и такъ тебя подозрѣваетъ. Или ты боишься его?—Она не спускала глазъ съ двери.—Да, это онъ; онъ сейчасъ сюда придетъ. Разсказывай мнѣ что-нибудь, говори со мною.—Литвиновъ не могъ тотчасъ найтись и молчалъ.—Вы не пойдете завтра въ театръ? произнесла она громко.—Даютъ *le Verre d'eau*, устарѣлая піеса, и Плесси ужасно кривляется... Мы точно въ лихорадкѣ, прибавила она, понизивъ голосъ:—этакъ нельзя; это надо хорошенько обдумать. Я должна предупредить тебя, что всѣ мои деньги у него; mais j'ai mes bijoux. Уѣдемъ въ Испанію, хочешь?—Она снова возвысила голосъ.—Отчего это всѣ актрисы толстѣютъ? Вотъ хоть Madeleine Brohan... Да говори же, не сиди такъ молча. У меня голова кружится. Но ты не долженъ сомнѣваться во мнѣ... Я тебѣ дамъ знать, куда тебѣ завтра придти. Только ты напрасно сказалъ той барышнѣ... Ah, mais c'est charmant! воскликнула она вдругъ, и *засмѣявшись нервически*, оборвала оборку платка.

— Можно войти? спросилъ изъ другой комнаты Ратмировъ.

— Можно... можно.

Дверь отворилась, и на порогѣ появился генералъ. Онъ поморщился при видѣ Литвинова, однако поклонился ему, то-есть качнулъ верхнею частью корпуса.

— Я не зналъ, что у тебя гость, промолвилъ онъ: — je vous demande pardon de mon indiscrétion. А васъ Баденъ все еще забавляетъ, мсьё... Литвиновъ?

Ратмировъ всегда произносилъ фамилію Литвинова съ запинкой, точно онъ всякій разъ забывалъ, не тотчасъ припоминалъ ее... Этимъ, да ѣще преувеличенно-приподнятою шляпой при поклонѣ, онъ думалъ его уязвить.

— Я здѣсь не скучаю, мсьё le général.

— Въ самомъ дѣлѣ? А мнѣ Баденъ страшно пріѣлся. Мы скоро отсюда уѣзжаемъ, не правда ли, Ирина Павловна? Assez de Bade comme ça. Впрочемъ, я на ваше счастье сегодня пятьсотъ франковъ выигралъ.

Ирина кокетливо протянула руку.

— Гдѣ-жъ они? Пожалуйте. На булавки.

— За мной, за мной... А вы уже уходите, мсьё... Литвиновъ.

— Да-съ, ухожу, какъ изволите видѣть.

Ратмировъ опять качнулъ корпусомъ.

— До пріятнаго свиданія!

— Прощайте, Григорій Михайлычъ, промолвила Ирина.—А я сдержу свое обѣщаніе.

— Какое? Можно полюбопытствовать? спросилъ ея мужъ.

Ирина улыбнулась.

— Нѣтъ, это такъ... между нами. C'est à propos du voyage... où il vous plaira. Ты знаешь—сочиненіе Сталя?

— А! какъ же, какъ же, знаю. Премилые рисунки.

Ратмировъ казался въ ладахъ съ женою: онъ говорилъ ей „ты“.

XXII.

„Ужъ лучше не думать, право“, твердилъ Литвиновъ, *шагая по* улицѣ и чувствуя, что внутренняя возня снова *поднимается въ* немъ. „Дѣло рѣшеное. Она сдержитъ

свое обѣщаніе, и мнѣ остается принять всѣ нужныя мѣры... Но она словно сомнѣвается..." Онъ встряхнулъ головой. Ему самому въ странномъ свѣтѣ представлялись собственныя намѣренія; чѣмъ-то натянутымъ и неправдоподобнымъ отзывались они. Нельзя долго носиться съ однѣми и тѣми же мыслями: онѣ передвигаются постепенно, какъ стеклышки калейдоскопа... смотришь: ужъ образы совсѣмъ не тѣ передъ глазами. Ощущеніе глубокой усталости овладѣло Литвиновымъ... Отдохнуть бы хоть часикъ... Но Таня? Онъ встрепенулся и, уже не разсуждая, покорно побрелъ домой, и только въ голову ему пришло, что его сегодня какъ мячъ перебрасываетъ отъ одной къ другой... Все равно: надо было покончить. Онъ вернулся въ гостиницу и также проворно, почти безчувственно, безъ колебанія и замедленія, отправился къ Татьянѣ.

Его встрѣтила Капитолина Марковна. Съ перваго взгляда на нее, онъ уже зналъ, что ей все было извѣстно: глаза бѣдной дѣвицы опухли отъ слезъ, и окаймленное взбитыми бѣлыми локонами, покраснѣвшее лицо выражало испугъ и тоску негодованія, горя и безграничнаго изумленія. Она устремилась-было къ Литвинову, но тутъ же остановилась, и закусивъ трепетавшія губы, глядѣла на него такъ, какъ будто и умолить его хотѣла, и убить, и увѣриться, что все это сонъ, безуміе, невозможное дѣло, неправда ли?

— Вотъ, вы... вы пришли, пришли, заговорила она... Дверь изъ сосѣдней комнаты мгновенно распахнулась—и до прозрачности блѣдная, но спокойная, легкою походкой вошла Татьяна.

Она тихонько обняла тетку одною рукой и посадила ее возлѣ себя.

— Сядьте и вы, Григорій Михайлычъ, сказала она Литвинову, который стоялъ, какъ потерянный, у двери. — Я очень рада, что еще разъ вижусь съ вами. Я сообщила тетушкѣ ваше рѣшеніе, наше общее рѣшеніе; она вполнѣ его раздѣляетъ и одобряетъ... Безъ взаимной любви не *можетъ быть счастья, одного* взаимнаго уваженія недо-

статочно (при словѣ „уваженіе“ Литвиновъ невольно потупился), и лучше разстаться прежде, чѣмъ раскаиваться потомъ. Неправда ли, тетя?

— Да конечно, начала Капитолина Марковна: — конечно, Танюша, тотъ, кто не умѣетъ оцѣнить тебя... кто рѣшился...

— Тетя, тетя, перебила ее Татьяна:—помните, что вы мнѣ обѣщали. Вы сами мнѣ всегда говорили: правда, Татьяна, правда прежде всего—и свобода. Ну, а правда не всегда сладка бываетъ, и свобода тоже; а то какая была бы наша заслуга?

Она нѣжно поцѣловала Капитолину Марковну въ ея бѣлые волосы и, обратившись къ Литвинову, продолжала:

— Мы съ тетей положили уѣхать изъ Бадена... Я думаю, для всѣхъ насъ этакъ будетъ легче.

— Когда вы думаете уѣхать? глухо проговорилъ Литвиновъ. Онъ вспомнилъ, что тѣ же самыя слова ему недавно сказала Ирина.

Капитолина Марковна подалась-было впередъ, но Татьяна удержала ее, ласково коснувшись ея плеча.

— Вѣроятно скоро, очень скоро.

— И позволите ли вы мнѣ спросить, куда вы намѣрены ѣхать? тѣмъ же голосомъ проговорилъ Литвиновъ.

— Сперва въ Дрезденъ, потомъ вѣроятно въ Россію.

— Да на что же вамъ теперь это нужно знать, Григорій Михайлычъ... воскликнула Капитолина Марковна.

— Тетя, тетя, вмѣшалась опять Татьяна. Наступило небольшое молчаніе.

— Татьяна Петровна, началъ Литвиновъ: — вы понимаете, какое мучительно-тяжелое и скорбное чувство я долженъ испытывать въ это мгновеніе...

Татьяна встала.

— Григорій Михайлычъ, промолвила она:—не будемте говорить объ этомъ... Пожалуйста, прошу васъ, если не для васъ, такъ для меня. Я не со вчерашняго дня васъ знаю и хорошо могу себѣ представить, что̀ вы должны чувствовать теперь. Но къ чему говорить, къ чему растравливать... (Она остановилась: видно было, что она

хотѣла переждать поднявшееся въ ней волненіе, поглотить уже накипавшія слезы; ей это удалось). Къ чему растравливать рану, которую нельзя излѣчить? Предоставимте это времени. А теперь у меня до васъ просьба, Григорій Михайлычъ; будьте такъ добры, я вамъ дамъ сейчасъ письмо: отнесите это письмо на почту сами, оно довольно важно, а намъ съ тетей теперь некогда... Я вамъ очень буду благодарна. Подождите минутку... я сейчасъ...

На порогѣ двери Татьяна съ безпокойствомъ оглянулась на Капитолину Марковну; но она такъ важно и чинно сидѣла, съ такимъ строгимъ выраженіемъ въ нахмуренныхъ бровяхъ и крѣпко сжатыхъ губахъ, что Татьяна только головой ей кивнула и вышла.

Но едва лишь дверь за ней закрылась, какъ всякое выраженіе важности и строгости мгновенно исчезло съ лица Капитолины Марковны: она встала, на цыпочкахъ подбѣжала къ Литвинову и, вся сгорбившись и стараясь заглянуть ему въ глаза, заговорила трепетнымъ, слезливымъ шопотомъ:

— Господи Боже мой, заговорила она:—Григорій Михайлычъ, что жъ это такое: сонъ это, что ли? *Вы* отказываетесь отъ Тани, вы ее разлюбили, вы измѣняете своему слову! Вы это дѣлаете, Григорій Михайлычъ, вы, на кого мы всѣ надѣялись, какъ на каменную стѣну! Вы? Вы? Вы? Ты, Гриша?.. Капитолина Марковна остановилась.— Да вѣдь вы ее убьете, Григорій Михайлычъ, продолжала она, не дождавшись отвѣта, а слезы такъ и покатились мелкими капельками по ея щекамъ.—Вы не смотрите на нее, что она теперь храбрится, вы вѣдь знаете, какой у ней нравъ! Она никогда не жалуется; она себя не жалѣетъ, такъ другіе должны ее жалѣть! Вотъ она теперь мнѣ толкуетъ: „тетя, надо сохранить наше достоинство!“, а какое тутъ достоинство, когда я смерть, смерть предвижу...—Татьяна стукнула стуломъ въ сосѣдней комнатѣ.— Да, смерть предвижу, подхватила еще тише старушка.— И что такое могло сдѣлаться? Приворожили васъ, что ли? Давно ли вы писали ей самыя нѣжныя письма? Да, и наконецъ, развѣ честный человѣкъ такъ можетъ посту-

пать? Я, вы знаете, женщина безъ всякихъ предразсудковъ, ésprit fort, я и Танѣ дала такое же воспитаніе, у ней тоже свободная душа...

— Тетя! раздался изъ сосѣдней комнаты голосъ Татьяны.

— Но честное слово—это долгъ, Григорій Михайлычъ. Особенно для людей съ вашими, съ нашими правилами! Коли мы долга признавать не будемъ, что жъ у насъ останется? Этого нельзя нарушать—такъ, по собственной прихоти, не соображаясь съ тѣмъ, что каково, молъ, другому! Это безсовѣстно... да, это—преступленіе; какая же это свобода!

— Тетя, поди сюда пожалуйста, послышалось снова.

— Сейчасъ, душа моя, сейчасъ... — Капитолина Марковна схватила Литвинова за руку. — Я вижу, вы сердитесь, Григорій Михайлычъ... („Я?! я сержусь?!“ хотѣлось ему воскликнуть, но языкъ его онѣмѣлъ). — Я не хочу сердить васъ—о, Господи! до того ли мнѣ! я, напротивъ, просить васъ хочу: одумайтесь, пока есть время, не губите ея, не губите собственнаго счастія, она еще повѣритъ вамъ. Гриша, она повѣритъ тебѣ, ничего еще не пропало; вѣдь она тебя любитъ такъ, какъ никто, никогда не полюбитъ тебя! Брось этотъ ненавистный Баденъ-Баденъ, уѣдемъ вмѣстѣ, выйдь только изъ-подъ этого волшебства, а главное: пожалѣй, пожалѣй...

— Да тетя, промолвила Татьяна съ оттѣнкомъ нетерпѣнія въ голосѣ.

Но Капитолина Марковна не слушала ея.

— Скажи только: „да!“ твердила она Литвинову: — а ужъ я все улажу... Ну, хоть головой мнѣ кивни! головкой-то хоть разочекъ, вотъ такъ!

Литвиновъ охотно, кажется, умеръ бы въ эту минуту; но слова „да!“ онъ не произнесъ, и головой онъ не кивнулъ.

Съ письмомъ въ рукѣ появилась Татьяна. Капитолина Марковна тотчасъ отскочила отъ Литвинова и, отвернувъ лицо въ сторону, низко нагнулась надъ столомъ, какъ бы разсматривая лежавшіе на немъ счеты и бумаги.

Татьяна приблизилась къ Литвинову.

— Вотъ, сказала она: — то письмо, о которомъ я вамъ говорила... Вы сейчасъ пойдете на почту, неправда ли?

Литвиновъ поднялъ глаза... Передъ нимъ, дѣйствительно, ялъ его судья. Татьяна показалась ему выше, строй- е; просіявшее небывалою красотой лицо величаво ока- лѣло, какъ у статуи; грудь не поднималась, и платье, оцвѣтное и тѣсное, какъ хитонъ, падало прямыми, инными складками мраморныхъ тканей къ ея ногамъ, орыя оно закрывало. Татьяна глядѣла прямо передъ ой, на одного только Литвинова, и взглядъ ея ровный олодный, былъ также взглядомъ статуи. Онъ прочелъ немъ свой приговоръ; наклонился, взялъ письмо изъ подвижно-протянутой къ нему руки и удалился молча. Капитолина Марковна бросилась къ Татьянѣ, но та клонила ея объятія и опустила глаза; краска распро- анилась по ея лицу, и со словами: „ну, теперь скорѣе!“ а вернулась въ спальню; Капитолина Марковна послѣ- вала за ней, повѣсивъ голову.

На письмѣ, врученномъ Литвинову Татьяной, стоялъ ресъ одной ея дрезденской пріятельницы, нѣмки, кото- я отдавала въ наемъ небольшія меблированныя квар- ры. Литвиновъ опустилъ письмо въ ящикъ, и ему по- алось, что, вмѣстѣ съ этимъ маленькимъ клочкомъ ажки, онъ все свое прошедшее, всю жизнь свою опу- лъ въ могилу. Онъ вышелъ за городъ и долго бродилъ узкимъ тропинкамъ между виноградниками; онъ не ъ отбиться, какъ отъ жужжанія назойливой лѣтней ки, отъ постояннаго ощущенія презрѣнія къ самому ѣ: ужъ очень незавидную роль разыгралъ онъ въ этомъ слѣднемъ свиданіи... А когда онъ вернулся въ гости- цу и спустя нѣсколько времени освѣдомился о своихъ ахъ, ему отвѣтили, что онѣ тотчасъ послѣ его ухода лѣли отвезти себя на желѣзную дорогу и отправились почтовымъ поѣздомъ неизвѣстно куда. Вещи ихъ были жены и счеты уплачены съ утра. Татьяна попросила твинова отнести письмо на почту, очевидно, съ цѣлію лить его. Онъ попытался спросить швейцара: не оста- ли ли эти дамы на его имя записки; но швейцаръ вѣчалъ отрицательно, и даже изумился; видно было, и ему этотъ внезапный отъѣздъ съ нанятой за не-

дѣлю квартиры казался сомнительнымъ и страннымъ. Литвиновъ повернулся къ нему спиной и заперся у себя въ комнатѣ.

Онъ не выходилъ изъ нея до слѣдующаго дня; бо́льшую часть ночи онъ просидѣлъ за столомъ, писалъ и рвалъ написанное... Заря уже занималась, когда онъ окончилъ свою работу,—то было письмо къ Иринѣ.

XXIII.

Вотъ что́ стояло въ этомъ письмѣ къ Иринѣ:

„Моя невѣста уѣхала вчера: мы съ ней никогда больше не увидимся... я даже не знаю навѣрное, гдѣ она жить будетъ. Она унесла съ собою все, что́ мнѣ до сихъ поръ казалось желаннымъ и дорогимъ; всѣ моя предположенія, планы, намѣренія исчезли вмѣстѣ съ нею; самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась въ ничто, всѣ мои занятія не имѣютъ никакого смысла и примѣненія; все это умерло; мое я, мое прежнее я умерло и похоронено со вчерашняго дня. Я это ясно чувствую, вижу, знаю... И нисколько объ этомъ не жалѣю. Не для того, чтобы жаловаться, заговорилъ я объ этомъ съ тобою... Мнѣ ли жаловаться, когда ты меня любишь, Ирина! Я только хотѣлъ сказать тебѣ, что изъ всего этого мертваго прошлаго, изо всѣхъ этихъ — въ дымъ и прахъ обратившихся — начинаній и надеждъ, осталось одно живое, несокрушимое: моя любовь къ тебѣ. Кромѣ этой любви у меня ничего нѣтъ и не осталось; назвать ее моимъ единственнымъ сокровищемъ было бы недостаточно; я весь въ этой любви, эта любовь—весь я; въ ней мое будущее, мое призваніе, моя святыня, моя родина! Ты меня знаешь, Ирина, ты знаешь, что всякая фраза мнѣ чужда и противна, и какъ ни сильны слова, въ которыхъ я стараюсь выразить мое чувство, ты не заподозришь ихъ искренности, ты не найдешь ихъ преувеличенными. Не мальчикъ въ порывѣ минутнаго восторга лепечетъ передъ тобою необдуманныя клятвы, а человѣкъ уже испытанный лѣтами — просто и прямо, чуть не съ ужасомъ, высказываетъ то, что́ онъ призналъ несомнѣнною правдой.

Да, любовь твоя все для меня замѣнила — все, все! Суди же сама; могу ли я оставить это *все* въ рукахъ другого, могу ли я позволить ему располагать тобою? Ты, ты будешь принадлежать ему, все существо мое, кровь моего сердца будетъ принадлежать ему,—а я самъ... гдѣ я? что я? Въ сторонѣ, зрителемъ... зрителемъ собственной жизни! Нѣтъ, это невозможно, невозможно! Участвовать, украдкой участвовать въ томъ, безъ чего не зачѣмъ, невозможно *дышать*... это ложь и смерть. Я знаю, какой великой жертвы я требую отъ тебя, не имѣя на то никакого права; да и что можетъ дать право на жертву? Но не изъ эгоизма поступаю я такъ: эгоисту было бы легче и спокойнѣе не поднимать вовсе этого вопроса. Да, требованія мои тяжелы, и я не удивлюсь, если они тебя испугаютъ.—Тебѣ ненавистны люди, съ которыми ты жить должна, ты тяготишься свѣтомъ, но въ силахъ ли ты бросить этотъ самый свѣтъ, растоптать вѣнецъ, которымъ онъ тебя вѣнчалъ, возстановить противъ себя общественное мнѣніе, мнѣніе тѣхъ ненавистныхъ людей? Вопроси себя, Ирина, не бери на себя ношу не по плечамъ.—Я не хочу упрекать тебя, но помни: ты уже разъ не устояла противъ обаянія. Я такъ мало могу тебѣ дать взамѣнъ того, что ты потеряешь! Слушай же мое послѣднее слово: если ты не чувствуешь себя въ состояніи завтра же, сегодня же все оставить и уйти вслѣдъ за мною — видишь, какъ я смѣло говорю, какъ я себя не жалѣю,—если тебя страшитъ неизвѣстность будущаго, и отчужденіе, и одиночество, и порицаніе людское, если ты не надѣешься на себя, однимъ словомъ: скажи мнѣ это откровенно и безотлагательно, и я уйду; я уйду съ растерзанною душою, но благословлю тебя за твою правду. Если же ты, моя прекрасная, лучезарная царица, дѣйствительно полюбила такого маленькаго и темнаго человѣка, каковъ я, и дѣйствительно готова раздѣлить его участь,— ну, такъ дай мнѣ руку, и отправимся вмѣстѣ въ нашъ трудный путь! Только знай: мое рѣшеніе несомнѣнно: или все, или ничего! Это безумно... но я не могу иначе, не могу, Ирина! Я слишкомъ сильно тебя люблю.

Твой Г. Л.

Письмо это не очень понравилось самому Литвинову; оно не совсѣмъ вѣрно и точно выражало то, что онъ хотѣлъ сказать; неловкія выраженія, то высокопарныя, то книжныя, попадались въ немъ, и ужъ конечно оно не было лучше многихъ другихъ, имъ изорванныхъ писемъ; но оно пришлось послѣднимъ, главное все-таки было высказано—и усталый, измученный, Литвиновъ не чувствовалъ себя способнымъ извлечь что-нибудь другое изъ своей головы. Къ тому жъ, онъ не обладалъ умѣньемъ литературно изложить всю мысль, и, какъ всѣ люди, которымъ это не въ привычку, заботился о слогѣ. Первое его письмо было вѣроятно самымъ лучшимъ: оно горячѣе вылилось изъ сердца. Какъ бы то ни было, Литвиновъ отправилъ къ Иринѣ свое посланіе.

Она отвѣчала ему коротенькою запиской:

„Приходи сегодня ко мнѣ, писала она ему: *онъ* отлучился на цѣлый день. Твое письмо меня чрезвычайно взволновало. Я все думаю, думаю... и голова кружится отъ думъ. Мнѣ очень тяжело, но ты меня любишь, и я счастлива. Приходи.

Твоя И.“

Она сидѣла у себя въ кабинетѣ, когда Литвиновъ вошелъ къ ней. Его ввела та же тринадцати-лѣтняя дѣвочка, которая наканунѣ караулила его на лѣстницѣ. На столѣ передъ Ириной стоялъ раскрытый, полукруглый картонъ съ кружевами; она разсѣянно перебирала ихъ одною рукой; въ другой она держала письмо Литвинова. Она только-что перестала плакать: рѣсницы ея смокли и вѣки припухли; на щекахъ виднѣлись слѣды неотертыхъ слезъ. Литвиновъ остановился на порогѣ: она не замѣтила его входа.

— Ты плачешь? проговорилъ онъ съ изумленіемъ.

Она встрепенулась, провела рукой по волосамъ и улыбнулась.

— Отчего ты плачешь? повторилъ Литвиновъ. Она молча показала ему на письмо.—Такъ ты отъ этого... промолвилъ онъ съ разстановкой.

— Подойди сюда, сядь, сказала она: — дай мнѣ руку. Ну да, я плакала... Чему же ты удивляешься? Развѣ *это* легко? Она опять указала на письмо.

Литвиновъ сѣлъ.

— Я знаю, что это не легко, Ирина, я то же самое говорю тебѣ въ моемъ письмѣ... Я понимаю твое положеніе. Но если ты вѣришь въ значеніе твоей любви для меня, если слова мои тебя убѣдили, ты должна также понять, что̀ я чувствую теперь при видѣ твоихъ слезъ. Я пришелъ сюда, какъ подсудимый, и жду: что̀ мнѣ объявятъ? Смерть или жизнь? Твой отвѣтъ все рѣшитъ. Только не гляди на меня такими глазами... Они напоминаютъ мнѣ прежніе, московскіе глаза.

Ирина вдругъ покраснѣла и отвернулась, какъ будто сама чувствуя что-то неладное въ своемъ взорѣ.

— Что̀ ты это говоришь, Григорій? Какъ не стыдно тебѣ! ты желаешь знать мой отвѣтъ... да развѣ ты можешь въ немъ сомнѣваться! Тебя смущаютъ мои слезы... но ты ихъ не понялъ. Твое письмо, другъ мой, навело меня на размышленія. Вотъ, ты пишешь, что моя любовь для тебя все замѣнила, что даже всѣ твои прежнія занятія теперь должны остаться безъ примѣненія; а я спрашиваю тебя, можетъ ли мужчина жить одною любовью? Не прискучитъ ли она ему наконецъ, не захочетъ ли онъ дѣятельности и не будетъ ли онъ пенять на то, что̀ его отъ нея отвлекло? Вотъ какая мысль меня пугаетъ, вотъ чего я боюсь, а не то, что̀ ты предполагалъ.

Литвиновъ внимательно поглядѣлъ на Ирину, и Ирина внимательно поглядѣла на него, точно каждый изъ нихъ желалъ глубже и дальше проникнуть въ душу другого, глубже и дальше того, чего можетъ достигнуть, что̀ можетъ выдать слово.

— Ты напрасно этого боишься, началъ Литвиновъ:—я должно быть дурно выразился.—Скука? Бездѣйствіе? При тѣхъ новыхъ силахъ, которыя мнѣ дастъ твоя любовь? О, Ирина, повѣрь, въ твоей любви для меня цѣлый міръ, и я самъ еще не могу теперь предвидѣть все, что̀ можетъ развиться изъ него!

Ирина задумалась.

— Куда же мы поѣдемъ? шепнула она.

— Куда? Объ этомъ мы еще поговоримъ. Но, стало-быть... стало-быть, ты согласна, согласна? Ирина?

Она посмотрѣла на него.—И ты будешь счастливъ?

— О, Ирина!

— Ни о чемъ жалѣть не будешь? Никогда?

Она нагнулась къ картону съ кружевами и снова принялась перебирать ихъ.

— Не сердись на меня, мой милый, что я въ подобныя минуты занимаюсь этимъ вздоромъ... Я принуждена ѣхать на балъ къ одной дамѣ, мнѣ прислали эти тряпки, и я должна выбрать сегодня. Ахъ! мнѣ ужасно тяжело! воскликнула она вдругъ, и приложилась лицомъ къ краю картона. Слезы снова закапали изъ ея глазъ... Она отвернулась: слезы могли попасть на кружева.

— Ирина, ты опять плачешь, началъ съ безпокойствомъ Литвиновъ.

— Ну да, опять, подхватила Ирина. — Ахъ, Григорій, не мучь меня, не мучь себя!.. Будемъ свободные люди! Что̀ за бѣда, что я плачу! Да и я сама, понимаю ли я, отчего льются эти слезы? Ты знаешь, ты слышалъ мое рѣшеніе, ты увѣренъ, что оно не измѣнится, что я согласна на... какъ ты это сказалъ?.. на все или ничего... чего же еще? Будемъ свободны! Къ чему эти взаимныя цѣпи? Мы теперь одни съ тобою, ты меня любишь, я люблю тебя; неужели намъ только и дѣла, что выпытывать другъ у друга наши мнѣнія? Посмотри на меня, я не хотѣла рисоваться передъ тобою, я ни единымъ словомъ не намекнула о томъ, что мнѣ, можетъ-быть, не такъ-то легко было попрать супружескія обязанности... а я вѣдь себя не обманываю, я знаю, что я преступница, и что *онъ* въ правѣ меня убить. Ну, и что же! Будемъ свободны, говорю я. День нашъ—вѣкъ нашъ.

Она встала съ кресла и посмотрѣла на Литвинова сверху внизъ, чуть улыбаясь и щурясь и обнаженною до локтя рукою отводя отъ лица длинный локонъ, на которомъ блистали двѣ-три капли слезъ. Богатая кружевная косынка соскользнула со стола и упала на полъ, подъ ноги Ирины. Она презрительно наступила на нее. — Или я тебѣ не нравлюсь сегодня? Подурнѣла я со вчерашняго дня? Скажи мнѣ, часто видалъ ты болѣе красивую руку? А эти волосы? Скажи, любишь ты меня?

Она обхватила его обѣими руками, прижала его голову къ своей груди, гребень ея зазвенѣлъ и покатился, и разсыпавшіеся волосы обдали его пахучею и мягкою волной

XXIV.

Литвиновъ расхаживалъ по комнатѣ у себя въ гостиницѣ, задумчиво потупивъ голову. Ему предстояло теперь перейти отъ теоріи къ практикѣ, изыскать средства и пути къ побѣгу, къ переселенію въ невѣдомые края... Но, странное дѣло! онъ не столько размышлялъ объ этихъ средствахъ и путяхъ, какъ о томъ, дѣйствительно ли, несомнѣнно ли состоялось рѣшеніе, на которомъ онъ такъ упорно настаивалъ? Было ли произнесено окончательное, безповоротное слово? Но вѣдь Ирина сказала ему при прощаніи: „Дѣлай, дѣлай, и когда будетъ готово, предувѣдомь только". Кончено! Въ сторону всѣ сомнѣнія... Надо приступить. И Литвиновъ приступилъ—пока—къ соображеніямъ. Прежде всего деньги. У Литвинова на лицо оказалось тысяча-триста-двадцать-восемь гульденовъ, на французскую монету — двѣ-тысячи-восемьсотъ-пятьдесятъ-пять франковъ; сумма незначительная; но на первыя потребности хватитъ, а тамъ надо тотчасъ написать отцу, чтобъ онъ выслалъ елико возможно; продалъ бы лѣсъ, часть земли... Но подъ какимъ предлогомъ?.. Ну, предлогъ найдется. Ирина говорила, правда, о своихъ bijoux, но это никакъ въ соображеніе принимать не слѣдуетъ; это, кто знаетъ, про черный день пригодится. Притомъ въ наличности находился также хорошій женевскій полухронометръ, за который можно получить... ну, хоть 400 франковъ. Литвиновъ отправился къ банкиру и завелъ обинякомъ рѣчь о томъ, что нельзя ли, при случаѣ, занять денегъ; но банкиры въ Баденѣ народъ травленый и осторожный, и въ отвѣтъ на подобные обиняки немедленно принимаютъ видъ преклонный и увялый, ни дать ни взять полевой цвѣтокъ, которому коса надрѣзала стебель: нѣкоторые же бодро и смѣло смѣются вамъ въ лицо, какъ бы сочувствуя вашей невинной шуткѣ. Литвиновъ, къ стыду своему, попыталъ даже счастье свое на рулеткѣ, даже—о,

позоръ!—поставилъ талеръ на 30 нумеръ, соотвѣтствовавшій числу его лѣтъ. Онъ это сдѣлалъ въ видахъ увеличенія и округленія капитала; и онъ дѣйствительно, если не увеличилъ, то округлилъ этотъ капиталъ, спустивъ излишніе двадцать-восемь гульденовъ. Второй вопросъ, тоже немаловажный: это паспортъ. Но для женщины паспортъ не такъ обязателенъ, и есть страны, гдѣ его вовсе не требуютъ. Бельгія, напримѣръ, Англія; наконецъ, можно и не русскій паспортъ достать. Литвиновъ очень серіозно размышлялъ обо всемъ этомъ: рѣшимость его была сильная, безъ малѣйшаго колебанія, а между тѣмъ, противъ его воли, мимо его воли, что-то несеріозное, почти комическое, проступало, просачивалось сквозь его размышленія, точно самое его предпріятіе было дѣломъ шуточнымъ, и никто ни съ кѣмъ никогда не бѣгивалъ въ дѣйствительности, а только въ комедіяхъ да романахъ, да, пожалуй, гдѣнибудь въ провинціи, въ какомъ-нибудь чухломскомъ или сызранскомъ уѣздѣ, гдѣ, по увѣренію одного путешественника, людей со скуки даже рветъ подчасъ. Пришло тутъ Литвинову на память, какъ одинъ изъ его пріятелей, отставной корнетъ Бацовъ, увезъ на ямской тройкѣ съ бубенчиками купеческую дочь, напоивъ предварительно родителей, да и самоё невѣсту, и какъ потомъ оказалось, что его же надули и чуть ли не приколотили вдобавокъ. Литвиновъ чрезвычайно сердился на самого себя за подобныя неумѣстныя воспоминанія, и тутъ же, вспомнивъ Татьяну, ея внезапный отъѣздъ, все это горе и страданіе, и стыдъ, слишкомъ глубоко почувствовалъ, что дѣло онъ затѣялъ нешуточное, и какъ онъ былъ правъ, когда говорилъ Иринѣ, что для самой его чести другого исхода не оставалось... И снова при одномъ этомъ имени что-то жгучее мгновенно, съ сладостной болью, обвилось и замерло вокругъ его сердца.

Конскій топотъ раздался за нимъ... Онъ посторонился... Ирина верхомъ обогнала его; рядомъ съ нею ѣхалъ тучный генералъ. Она узнала Литвинова, кивнула ему головой, и ударивъ лошадь по боку хлыстикомъ, подняла ее въ галопъ, потомъ вдругъ пустила ее во всю прыть. Темный вуаль ея взвился по вѣтру...

— Pas si vite! Nom de Dieu! pas si vite! закричалъ генералъ и тоже поскакалъ за нею.

XXV.

На другое утро Литвиновъ только что возвратился домой отъ банкира, съ которымъ еще разъ побесѣдовалъ объ игривомъ непостоянствѣ нашего курса и лучшемъ способѣ высылать за границу деньги, какъ швейцаръ вручилъ ему письмо. Онъ узналъ почеркъ Ирины, и не срывая печати—недоброе предчувствіе, Богъ знаетъ почему, проснулось въ немъ,—ушелъ къ себѣ въ комнату. Вотъ что̀ прочелъ онъ (письмо было написано по-французски).

„Милый мой! я всю ночь думала о твоемъ предложеніи... я не стану съ тобой лукавить. Ты былъ откровененъ со мною, я и буду откровенна: я не *могу* бѣжать съ тобою, я не *въ силахъ* это сдѣлать. Я чувствую, какъ я передъ тобою виновата; вторая моя вина еще больше первой—я презираю себя, свое малодушіе, я осыпаю себя упреками, но я не могу себя перемѣнить. Напрасно я доказываю самой себѣ, что я разрушила твое счастіе, что ты теперь точно въ правѣ видѣть во мнѣ одну легкомысленную кокетку, что я сама вызвалась, сама дала тебѣ торжественныя обѣщанія... Я ужасаюсь, я чувствую ненависть къ себѣ, но я не могу поступать иначе, не могу, не могу. Я не хочу оправдываться, не стану говорить тебѣ, что я сама была увлечена... все это ничего не значитъ; но я хочу сказать тебѣ и повторить, и повторить еще разъ: я твоя, твоя навсегда, располагай мною какъ хочешь, когда хочешь, безотвѣтно и безотчетно, я твоя... Но бѣжать, все бросить... нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ! Я умоляла тебя спасти меня, я сама надѣялась все изгладить, сжечь все какъ въ огнѣ... но видно, мнѣ нѣтъ спасенія; видно, ядъ слишкомъ глубоко проникъ въ меня; видно, нельзя безнаказанно въ теченіе многихъ лѣтъ дышать этимъ воздухомъ! Я долго колебалась, писать ли тебѣ это письмо, мнѣ страшно подумать, какое ты примешь рѣшеніе, я надѣюсь только на любовь твою ко мнѣ. Но я сочла, что было бы безчестнымъ съ моей стороны не сказать тебѣ

правды — тѣмъ болѣе, что ты, быть-можетъ, уже началъ принимать первыя мѣры къ исполненію нашего замысла. Ахъ! онъ былъ прекрасенъ, но несбыточенъ. О, мой другъ, считай меня пустою, слабою женщиной, презирай меня, но не покидай меня, не покидай твоей Ирины!.. Оставить этотъ свѣтъ я не въ силахъ, но и жить въ немъ безъ тебя не могу. Мы скоро вернемся въ Петербургъ, пріѣзжай туда, живи тамъ, мы найдемъ тебѣ занятія, твои прошедшіе труды не пропадутъ, ты найдешь для нихъ полезное примѣненіе... только живи въ моей близости, только люби меня, какова я есть, со всѣми моими слабостями и пороками, и знай, ничье сердце никогда не будетъ такъ нѣжно тебѣ предано, какъ сердце твоей Ирины. Приходи скорѣе ко мнѣ, я не буду имѣть минуты спокойствія, пока я тебя не увижу.

„Твоя, твоя, твоя, И.“

Молотомъ ударила кровь въ голову Литвинова, а потомъ медленно и тяжело опустилась на сердце, и такъ камнемъ въ немъ и застыла. Онъ перечелъ письмо Ирины и, какъ въ тотъ разъ въ Москвѣ, въ изнеможеніи упалъ на диванъ и остался неподвижнымъ. Темная бездна внезапно обступила его со всѣхъ сторонъ, и онъ глядѣлъ въ эту темноту безсмысленно и отчаянно. Итакъ опять, опять обманъ, или нѣтъ, хуже обмана—ложь и пошлость... И жизнь разбита, все вырвано съ корнемъ, до тла, и то единственное, за которое еще можно было ухватиться—та послѣдняя опора—въ дребезги тоже! „Поѣзжай за нами въ Петербургъ“, повторялъ онъ съ горькимъ внутреннимъ хохотомъ: „мы тебѣ тамъ найдемъ занятія“... „Въ столоначальники, что ли, меня произведутъ? И кто эти *мы?* Вотъ когда сказалось ея прошедшее! Вотъ то тайное, безобразное, котораго я не знаю, но которое она пыталась-было изгладить и сжечь какъ бы въ огнѣ! Вотъ тотъ міръ интригъ, тайныхъ отношеній, исторій Бѣльскихъ, Дольскихъ... И какая будущность, какая прекрасная роль меня ожидаетъ! Жить въ ея близости, посѣщать ее, дѣлить съ ней развращенную меланхолію модной дамы, которая и тяготится, и скучаетъ свѣтомъ, а внѣ его круга существо-

вать не можетъ, быть домашнимъ другомъ ея и, разумѣется, его превосходительства... пока... пока минетъ капризъ, и пріятель-плебей потеряетъ свою пикантность, и тотъ же тучный генералъ или господинъ Финиковъ его замѣнитъ,— вотъ это возможно и пріятно и, пожалуй, полезно... говоритъ же она о полезномъ примѣненіи моихъ талантовъ?— а тотъ умыселъ несбыточенъ! несбыточенъ...“ Въ душѣ Литвинова поднимались, какъ мгновенные удары вѣтра передъ грозой, внезапные, бѣшеные порывы... Каждое выраженіе въ письмѣ Ирины возбуждало его негодованіе-самыя увѣренія ея въ неизмѣнности ея чувства оскорбля, ли его. „Этого нельзя такъ оставить“, воскликнулъ онъ, наконецъ: „я не позволю ей такъ безжалостно играть моею жизнію...“

Литвиновъ вскочилъ, схватилъ шляпу. Но что было дѣлать? Бѣжать къ ней? Отвѣчать на ея письмо? Онъ остановился и опустилъ руки.

Да: что было дѣлать?

Не самъ ли онъ предложилъ ей тотъ роковой выборъ? Онъ выпалъ не такъ, какъ ему хотѣлось... всякій выборъ подверженъ этой бѣдѣ. Она измѣнила свое рѣшеніе, правда; она сама, первая, объявила, что броситъ все и послѣдуетъ за нимъ, правда и то; но она не отрицаетъ своей вины, она прямо называетъ себя слабою женщиной; она не хотѣла обмануть его, она сама въ себѣ обманулась... Что на это возразить? По крайней мѣрѣ, она не притворяется, не лукавитъ... она откровенна съ нимъ, безпощадно откровенна. Ничто не заставляло ее тотчасъ высказываться, ничто не мѣшало ей успокоивать его обѣщаніями, оттягивать и оставлять все въ неизвѣстности до самаго отъѣзда... до отъѣзда съ мужемъ въ Италію! Но она жизнь его загубила, она двѣ жизни загубила!.... Мало ли чего нѣтъ!

А передъ Татьяной виновата не она, виноватъ онъ, одинъ онъ, Литвиновъ; и не имѣетъ онъ права стряхивать съ себя ту отвѣтственность, которую желѣзнымъ ярмомъ на него наложила его вина... Все такъ; но что же теперь оставалось дѣлать?

Онъ снова бросился на диванъ, и снова темно, и глухо, и безслѣдно, съ пожирающею быстротой, побѣжали мгновенія.....

„А не-то послушаться ея?“ мелькнуло въ его головѣ. „Она меня любитъ, она моя, и въ самомъ нашемъ влеченіи другъ къ другу, въ этой страсти, которая, послѣ стольких лѣтъ съ такой силой пробилась и вырвалась наружу, нѣтъ ли чего-то неизбѣжнаго, неотразимаго, какъ законъ природы? Жить въ Петербургѣ... да развѣ я первый буду находиться въ такомъ положеніи? Да и гдѣ бы мы пріютились съ ней?...“

И онъ задумался, и образъ Ирины въ томъ видѣ, въ какомъ онъ навѣкъ напечатлѣлся въ его послѣднихъ воспоминаніяхъ, тихо предсталъ передъ нимъ...

Но не надолго... Онъ опомнился и съ новымъ порывомъ негодованія оттолкнулъ прочь отъ себя и тѣ воспоминанія, и тотъ обаятельный образъ.

„Ты мнѣ даешь пить изъ этой золотой чаши, воскликнулъ онъ, но ядъ въ твоемъ питьѣ, и грязью осквернены твои бѣлыя крылья... Прочь! Оставаться здѣсь съ тобою, послѣ того, какъ я... прогналъ, прогналъ мою невѣсту... безчестное, безчестное дѣло!“ Онъ стиснулъ горестно руки, и другое лицо, съ печатью страданья на неподвижныхъ чертахъ, съ безмолвнымъ укоромъ въ прощальномъ взорѣ, возникло изъ глубины...

И долго такъ еще мучился Литвиновъ; долго, какъ трудный больной, металась изъ стороны въ сторону его истерзанная мысль... Онъ утихъ, наконецъ; онъ, наконецъ, рѣшился. Съ самой первой минуты онъ предчувствовалъ это рѣшеніе... оно явилось ему сначала, какъ отдаленная, едва замѣтная точка среди вихря и мрака внутренней борьбы; потомъ оно стало надвигаться все ближе и ближе и кончило тѣмъ, что врѣзалось холоднымъ лезвіемъ въ его сердце.

Литвиновъ снова вытащилъ свой чемоданъ изъ угла, снова уложилъ, не торопясь, и даже съ какою-то тупою заботливостью, всѣ свои вещи, позвонилъ кельнера, расплатился и отправилъ къ Иринѣ записку на русскомъ языкѣ слѣдующаго содержанія:

„Не знаю, больше ли вы теперь передо мной виноваты, чѣмъ тогда; но знаю, что теперешній ударъ гораздо сильнѣе... Это конецъ. Вы мнѣ говорите: „я не могу“; и я вамъ повторяю тоже: я не могу... того, что̀ вы хотите. Не могу и не хочу. Не отвѣчайте мнѣ. Вы не въ состояніи дать мнѣ единственный отвѣтъ, который я бы принялъ. Я уѣзжаю завтра рано съ первымъ поѣздомъ. Прощайте, будьте счастливы... Мы, вѣроятно, больше не увидимся“.

Литвиновъ до самой ночи не выходилъ изъ своей комнаты; ждалъ ли онъ чего, Богъ вѣдаетъ! Около семи часовъ вечера дама въ черной мантильѣ, съ вуалемъ на лицѣ, два раза подходила къ крыльцу его гостиницы. Отойдя немного въ сторону и поглядѣвъ куда-то вдаль, она вдругъ сдѣлала рѣшительное движеніе рукой и въ третій разъ направилась къ крыльцу...

— Куда вы, Ирина Павловна? раздался сзади ея чей-то напряженный голосъ.

Она обернулась съ судорожною быстротой... Потугинъ бѣжалъ къ ней.

Она остановилась, подумала, и такъ и бросилась къ нему, взяла его подъ руку и увлекла въ сторону.

— Уведите, уведите меня, твердила она, задыхаясь.

— Что̀ съ вами, Ирина Павловна? пробормоталъ онъ, изумленный.

— Уведите меня, повторила она съ удвоенной силой:— если вы не хотите, чтобъ я навсегда осталась... тамъ!

Потугинъ наклонилъ покорно голову, и оба поспѣшно удалились.

На слѣдующее утро, рано, Литвиновъ уже совсѣмъ собрался въ дорогу, — въ комнату къ нему вошелъ... тотъ же Потугинъ.

Онъ молча приблизился къ нему и молча пожалъ ему руку. Литвиновъ тоже ничего не сказалъ. У обоихъ были длинныя лица, и оба напрасно старались улыбнуться.

— Я пришелъ пожелать вамъ счастливаго пути, промолвилъ, наконецъ, Потугинъ.

— А почему вы знаете, что я уѣзжаю сегодня? спросилъ Литвиновъ.

Потугинъ поглядѣлъ вокругъ себя по полу...—Мнѣ это стало извѣстнымъ... какъ видите. Нашъ послѣдній разговоръ получилъ, наконецъ, такое странное направленіе... Я не хотѣлъ разстаться съ вами, не выразивъ вамъ моего искренняго сочувствія.

— Вы сочувствуете мнѣ теперь... когда я уѣзжаю?

Потугинъ печально посмотрѣлъ на Литвинова. — Эхъ, Григорій Михайлычъ, Григорій Михайлычъ, началъ онъ съ короткимъ вздохомъ:— не до того намъ теперь, не до тонкостей и препираній. Вы вотъ, сколько я могъ замѣтить, довольно равнодушны къ родной словесности и потому, быть-можетъ, не имѣете понятіе о Васькѣ Буслаевѣ?

— О комъ?

— О Васькѣ Буслаевѣ, новогородскомъ удальцѣ... въ сборникѣ Кирши Данилова.

— Какой Буслаевъ? промолвилъ Литвиновъ, нѣсколько озадаченный такимъ неожиданнымъ оборотомъ рѣчи. — Я не знаю.

— Ну, все равно. Такъ вотъ я на что̀ хотѣлъ обратить ваше вниманіе. Васька Буслаевъ, послѣ того какъ увлекъ своихъ новгородцевъ на богомолье въ Ерусалимъ, и тамъ, къ ужасу ихъ, выкупался нагимъ тѣломъ въ святой рѣкѣ Іорданѣ, ибо не вѣрилъ „ни въ чохъ, ни въ сонъ, ни въ птичій грай“,—этотъ логическій Васька Буслаевъ взлѣзаетъ на гору Ѳаворъ, а на вершинѣ той горы лежитъ большой камень, черезъ который всякаго роду люди напрасно пытались перескочить... Васька хочетъ тоже свое счастье извѣдать. И попадается ему на дорогѣ мертвая голова, человѣчья кость; онъ пихаетъ ее ногой. Ну, и говоритъ ему голова: „Что ты пихаешься? Умѣлъ я жить, умѣю и въ пыли валяться—и тебѣ то же будетъ.“ И точно: Васька прыгаетъ черезъ камень, и совсѣмъ-было перескочилъ, да каблукомъ задѣлъ и голову себѣ сломилъ. И тутъ я кстати долженъ замѣтить, что друзьямъ моимъ славянофиламъ, великимъ охотникамъ пихать ногою всякія мертвыя головы да гнилые народы, не худо бы призадуматься надъ этою былиной.

— Да къ чему все это? перебилъ, наконецъ, съ нетерпѣніемъ Литвиновъ.—Мнѣ пора, извините...

— А къ тому, отвѣчалъ Потугинъ,—и глаза его засвѣтились такимъ дружелюбнымъ чувствомъ, какого Литвиновъ даже не ожидалъ отъ него:—къ тому, что вотъ вы не отталкиваете мертвой человѣчьей головы и вамъ, бытьможетъ, за вашу доброту и удастся перескочить черезъ роковой камень. Не стану я васъ больше удерживать, только вы позвольте обнять васъ на прощанье.

— Я и пытаться не буду прыгать, промолвилъ Литвиновъ, троекратно цѣлуясь съ Потугинымъ, и къ скорбнымъ ощущеніямъ, переполнявшимъ его душу, примѣшалось на мигъ сожалѣніе объ одинокомъ горемыкѣ. Но надо ѣхать, ѣхать... Онъ заметался по комнатѣ.

— Хотите, я вамъ понесу что-нибудь? предложилъ свои услуги Потугинъ.

— Нѣтъ, благодарствуйте, не безпокойтесь, я самъ... Онъ надѣлъ шапку, взялъ въ руки мѣшокъ. —Итакъ, вы говорите, спросилъ онъ, уже стоя на порогѣ:—вы видѣли ее?

— Да, видѣлъ.

— Ну... и что же она?

Потугинъ помолчалъ.—Она васъ ждала вчера... и сегодня ждать васъ будетъ.

— А! Ну, такъ скажите ей... Нѣтъ, не нужно, ничего не нужно. Прощайте... Прощайте!

— Прощайте, Григорій Михайлычъ... Дайте мнѣ еще вамъ слово сказать. Вы еще успѣете меня выслушать: до отхода желѣзной дороги осталось больше получаса. Вы возвращаетесь въ Россію... Вы будете тамъ... со временемъ... дѣйствовать... Позвольте же старому болтуну—ибо я, увы! болтунъ и больше ничего,—дать вамъ напутственный совѣтъ. Всякій разъ, когда вамъ придется приниматься за дѣло, спросите себя: служите ли вы цивилизаціи—въ точномъ и строгомъ смыслѣ слова,—проводите ли одну изъ ея идей, имѣетъ ли вашъ трудъ тотъ педагогическій, европейскій характеръ, который единственно полезенъ и плодотворенъ въ наше время, у насъ? Если такъ—идите смѣло впередъ: вы на хорошемъ пути, и дѣло ваше—благое! Слава Богу! Вы не одни теперь. Вы не будете „сѣятелемъ пустынным“; завелись уже и у насъ труженики... піонеры... Но

вамъ теперь не до того.—Прощайте, не забывайте меня!

Литвиновъ бѣгомъ спустился съ лѣстницы, бросился въ карету и доѣхалъ до желѣзной дороги, не оглянувшись ни разу на городъ, гдѣ осталось столько собственной жизни... Онъ какъ будто отдался волнѣ: она подхватила его, понесла, и онъ твердо рѣшился не противиться ея влеченію... отъ всякаго другого изъявленія воли онъ отказался.

Онъ уже садился въ вагонъ.

— Григорій Михайловичъ... Григорій... послышался за его спиной умоляющій шопотъ.

Онъ вздрогнулъ... Неужели Ирина? Точно: она. Закутанная въ шаль своей горничной, съ дорожною шляпою на неубранныхъ волосахъ, она стоитъ на платформѣ и глядитъ на него померкшими глазами. „Вернись, вернись, я пришла за тобой“, говорятъ эти глаза. И чего, чего не сулятъ они! Она не движется, не въ силахъ прибавить слово; все въ ней, самый безпорядокъ ея одежды, все какъ бы проситъ пощады...

Литвиновъ едва устоялъ на ногахъ, едва не бросился къ ней... Но та волна, которой онъ отдался, взяла свое... Онъ вскочилъ въ вагонъ и, обернувшись, указалъ Иринѣ на мѣсто возлѣ себя. Она поняла его. Время еще не ушло. Одинъ только шагъ, одно движеніе, и умчались бы въ невѣдомую даль двѣ навсегда соединенныя жизни... Пока она колебалась, раздался громкій свистъ, и поѣздъ двинулся.

Литвиновъ откинулся назадъ, а Ирина подошла, шатаясь, къ скамейкѣ и упала на нее, къ великому изумленію заштатнаго дипломата, случайно забредшаго на желѣзную дорогу. Онъ мало былъ знакомъ съ Ириной, но очень ею интересовался, и увидавъ, что она лежитъ какъ въ забытьи, подумалъ, что съ ней случилась „une attaque de nerfs“, а потому счелъ своимъ долгомъ, долгомъ d'un galant chevalier, придти ей на помощь. Но изумленіе его принялс гораздо большіе размѣры, когда, при первомъ словѣ, къ ней обращенномъ, она вдругъ поднялась, оттолкнула предложенную руку, и выбѣжавъ на улицу, чрезъ нѣсколько мгновеній исчезла въ молочной мглѣ тумана, столь свойственяго шварцвальдскому климату въ первые осенніе дни.

XXVI.

Намъ случилось однажды войти въ избу крестьянки, только-что потерявшей единственнаго, горячо любимаго сына, и, къ немалому нашему удивленію, найти ее совершенно спокойною, чуть не веселою.—„Не замайте“, сказалъ ея мужъ, отъ котораго, вѣроятно, не скрылось это удивленіе: „она теперь закостенѣла“.—И Литвиновъ такъ же „закостенѣлъ“. Такое же спокойствіе нашло на него въ первые часы путешествія. Совершенно уничтоженный и безнадежно несчастный, онъ, однако, отдыхалъ, отдыхалъ послѣ тревогъ и терзаній послѣдней недѣли, послѣ всѣхъ этихъ ударовъ, разъ за разомъ обрушившихся на его голову. Они тѣмъ сильнѣе его потрясли, чѣмъ менѣе онъ былъ созданъ для подобныхъ бурь. Онъ ужъ точно ни на что не надѣялся теперь, и старался не вспоминать—пуще всего не вспоминать; онъ ѣхалъ въ Россію... надо же было куда-нибудь дѣваться! но уже никакихъ, лично до собственной особы касающихся, предположеній не дѣлалъ. Онъ не узнавалъ себя; онъ не понималъ своихъ поступковъ, точно онъ свое настоящее „я“ утратилъ, да и вообще онъ въ этомъ „я“ мало принималъ участія. Иногда ему сдавалось, что онъ собственный трупъ везетъ, и лишь пробѣгавшія изрѣдка горькія судороги неизлѣчимой душевной боли напоминали ему, что онъ еще носится съ жизнью. По временамъ ему казалось непостижимымъ, какимъ образомъ можетъ мужчина — мужчина! — допустить такое вліяніе на себя женщины, любви... „Постыдная слабость!“ шепталъ онъ и встряхивалъ шинелью и плотнѣе усаживался: вотъ, дескать, старое кончено, начнемъ новое...—минута, и онъ только улыбался горько и дивился самому себѣ. Онъ принялся глядѣть въ окно. День стоялъ сѣрый и сырой; дождя не было, но туманъ еще держался, и низкія облака заволокли небо. Вѣтеръ дулъ навстрѣчу поѣзду; бѣловатые клубы пара, то одни, то смѣшанные съ другими, болѣе темными клубами дыма, мчались безконечною вереницей мимо окна, подъ которымъ сидѣлъ Литвиновъ. Онъ сталъ слѣдить за этимъ паромъ,

за этимъ дымомъ. Безпрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, крутясь и цѣпляясь за траву, за кусты, какъ бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами... они непрестанно мѣнялись и оставались тѣ же... однообразная, торопливая, скучная игра! Иногда вѣтеръ мѣнялся, дорога уклонялась — вся масса вдругъ исчезала и тотчасъ же виднѣлась въ противоположномъ окнѣ; потомъ опять перебрасывался громадный хвостъ, и опять застилалъ Литвинову видъ широкой прирейнской равнины. Онъ глядѣлъ-глядѣлъ, и странное напало на него размышленіе... Онъ сидѣлъ одинъ въ вагонѣ: никто не мѣшалъ ему. — „Дымъ, дымъ“, повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, собственная жизнь, русская жизнь — все людское, особенно все русское. Все дымъ и паръ, думалъ онъ; все какъ будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все то же да то же; все торопится, спѣшитъ куда-то—и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая; другой вѣтеръ подулъ—и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная и — ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что̀ съ громомъ и трескомъ совершалось на его глазахъ въ послѣдніе годы... дымъ, шепталъ онъ, дымъ; вспомнились горячіе споры, толки и крики у Губарева, у другихъ, старыхъ и молодыхъ людей... дымъ, повторялъ онъ, дымъ и паръ; вспомнился, наконецъ, и знаменитый пикникъ, вспомнились и другія сужденія и рѣчи другихъ государственныхъ людей — и даже все то, что̀ проповѣдывалъ Потугинъ... дымъ, дымъ и больше ничего. А собственныя стремленія и чувства, и попытки, и мечтанія? Онъ только рукой махнулъ.

А между тѣмъ поѣздъ бѣжалъ да бѣжалъ; уже давно и Раштаттъ, и Карлсруэ, и Брухзаль остались назади; горы съ правой стороны дороги сперва отклонились, ушли въ даль, потомъ надвинулись опять, но уже не столь высокія и рѣже покрытыя лѣсомъ... Поѣздъ круто повернулъ въ сторону... вотъ и Гейдельбергъ. Вагоны подкатились подъ навѣсъ станціи; раздались крики разносчиковъ, про-

дающихъ всякіе, даже русскіе журналы; путешественники завозились на своихъ мѣстахъ, вышли на платформу; но Литвиновъ не покидалъ своего уголка и продолжалъ сидѣть, потупивъ голову. Вдругъ кто-то назвалъ его по имени; онъ поднялъ глаза: рожа Биндасова просунулась въ окно, а за нимъ—или это ему только померещилось?—нѣтъ, точно: всѣ баденскія, знакомыя лица: вотъ Суханчикова, вотъ Ворошиловъ, вотъ и Бамбаевъ; всѣ они подвигаются къ нему—а Биндасовъ оретъ:

— А гдѣ же Пищалкинъ? Мы его ждали; но все равно; вылѣзай, сосюля, мы всѣ къ Губареву.

— Да, братецъ, да, Губаревъ насъ ждетъ, подтвердилъ, выдвигаясь, Бамбаевъ:—вылѣзай.

Литвиновъ разсердился бы, если бъ не то мертвое бремя, которое лежало у него на сердцѣ. Онъ глянулъ на Биндасова и отвернулся молча.

— Говорятъ вамъ, здѣсь Губаревъ, воскликнула Суханчикова, и глаза ея чуть не выскочили.

Литвиновъ не пошевелился.

— Да, послушай, Литвиновъ, заговорилъ, наконецъ, Бамбаевъ:—здѣсь не одинъ только Губаревъ, здѣсь цѣлая фаланга отличнѣйшихъ, умнѣйшихъ молодыхъ людей, русскихъ—и всѣ занимаются естественными науками, всѣ съ такими благороднѣйшими убѣжденіями? Помилуй, ты для нихъ хоть останься. Здѣсь есть, напримѣръ, нѣкто... эхъ! фамилію забылъ! но это, просто, геній!

— Да бросьте его, бросьте его, Ростиславъ Ардаліонычъ, вмѣшалась Суханчикова:—бросьте! Вы видите, что̀ онъ за человѣкъ; и весь его родъ такой. Тетка у него есть: сначала мнѣ показалась путною, а третьяго дня ѣду я съ ней сюда—она передъ тѣмъ только что пріѣхала въ Баденъ, и глядь! ужъ назадъ летитъ,—ну-съ, ѣду я съ ней; стала ее разспрашивать... Повѣрите ли, слова отъ гордячки не добилась. Аристократка противная!

Бѣдная Капитолина Марковна — аристократка! Ожидала ли она подобнаго посрамленія?!

А Литвиновъ все молчалъ, и отвернулся, и фуражку на глаза надвинулъ. Поѣздъ тронулся, наконецъ.

— Да скажи хоть что-нибудь на прощанье, каменный ты человѣкъ! закричалъ Бамбаевъ. — Этакъ вѣдь нельзя!

— Дрянь! колпакъ! завопилъ Биндасовъ. Вагоны катились все шибче и шибче, и онъ могъ безнаказанно ругаться.—Скряга! слизнякъ! каплюжникъ!!

Изобрѣлъ ли Биндасовъ на мѣстѣ это послѣднее наименованіе, перешло ли оно къ нему изъ другихъ рукъ, только оно, повидимому, очень понравилось двумъ тутъ же стоявшимъ благороднѣйшимъ молодымъ людямъ, изучавшимъ естественныя науки, ибо нѣсколько дней спустя оно уже появилось въ русскомъ періодическомъ листкѣ, издававшемся въ то время въ Гейдельбергѣ подъ заглавіемъ: *A tout venant je crache!* или: „Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ“ *).

А Литвиновъ опять затвердилъ прежнее слово: дымъ, дымъ, дымъ! Вотъ, думалъ онъ, въ Гейдельбергѣ теперь болѣе сотни русскихъ студентовъ; всѣ учатся химіи, физикѣ, физіологіи — ни о чемъ другомъ и слышать не хотятъ... а пройдетъ пять-шесть лѣтъ, и пятнадцати человѣкъ на курсахъ не будетъ, у тѣхъ же знаменитыхъ профессоровъ... вѣтеръ перемѣнится, дымъ хлынетъ въ другую сторону... дымъ... дымъ... дымъ! **).

Къ ночи онъ проѣхалъ мимо Касселя. Вмѣстѣ съ темнотой, тоска несносная коршуномъ на него спустилась, и онъ заплакалъ, забившись въ уголъ вагона. Долго текли его слезы, не облегчая сердца, но какъ-то ѣдко и горестно терзая его; а въ то же время въ одной изъ гостиницъ Касселя, на постели, въ жару горячки лежала Татьяна; Капитолина Марковна сидѣла возлѣ нея.

— Таня, говорила она: — ради Бога, позволь мнѣ послать телеграмму къ Григорію Михайловичу; позволь, Таня!

— Нѣтъ, тетя, отвѣчала она: — не надо, не пугайся. Дай мнѣ воды; это скоро пройдетъ.

И дѣйствительно, недѣлю спустя здоровье ея поправилось, и обѣ подруги продолжали свое путешествіе.

---

*) Историческій фактъ.

**) Предчувствія Литвинова сбылись. Въ 1866 году было въ Гейдельбергѣ учащихся русскихъ въ лѣтній семестръ 13, а въ зимній 12.

XXVII.

Не останавливаясь ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ, Литвиновъ вернулся въ свое помѣстье. Онъ испугался, увидавъ отца: до того тотъ похилѣлъ и опустился. Старикъ обрадовался сыну, насколько можетъ радоваться человѣкъ, уже покончившій съ жизнью; тотчасъ сдалъ ему всѣ, сильно разстроенныя дѣла и, проскрипѣвъ еще нѣсколько недѣль, сошелъ съ земного поприща. Литвиновъ остался одинъ въ своемъ ветхомъ господскомъ флигелькѣ и съ тяжелымъ сердцемъ, безъ надежды, безъ рвенія и безъ денегъ—началъ хозяйничать. Хозяйничанье въ Россіи невеселое, слишкомъ многимъ извѣстное дѣло; мы не станемъ распространяться о томъ, какъ солоно оно показалось Литвинову. О преобразованіяхъ и нововведеніяхъ, разумѣется, не могло быть и рѣчи; примѣненіе пріобрѣтенныхъ за границею свѣдѣній отодвинулось на неопредѣленное время; нужда заставляла перебиваться со-дня-на-день, соглашаться на всякія уступки—и вещественныя, и нравственныя. Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумѣлый сталкивался съ недобросовѣстнымъ; весь поколебленный бытъ ходилъ ходуномъ, какъ трясина болотная, и только одно великое слово: „свобода“ носилось какъ Божій духъ надъ водами. Терпѣніе требовалось прежде всего, и терпѣніе не страдательное, а дѣятельное, настойчивое, не безъ сноровки, не безъ хитрости подчасъ... Литвинову, при душевномъ его настроеніи, приходилось вдвойнѣ тяжело. Охоты жить въ немъ оставалось мало... Откуда же было взяться охотѣ хлопотать и работать?

Но минулъ годъ, за нимъ минулъ другой, начинался третій. Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила въ кровь и плоть: выступилъ ростокъ изъ брошеннаго сѣмени, и уже не растоптать его врагамъ — ни явнымъ, ни тайнымъ. Самъ Литвиновъ, хотя кончилъ тѣмъ, что отдалъ бо̀льшую часть земли крестьянамъ изъ-полу, то-есть обратился къ убогому, первобытному хозяйству, однако кой въ чемъ успѣлъ: возобновилъ фабрику, завелъ крошечную ферму съ пятью вольнонаемными работника-

ми,—а перебывало ихъ у него цѣлыхъ сорокъ,— расплатился съ главными частными долгами... И духъ въ немъ окрѣпъ; онъ снова сталъ походить на прежняго Литвинова. Правда, грустное, глубоко затаенное чувство не покидало его никогда, и затихъ онъ не по лѣтамъ, замкнулся въ свой тѣсный кружокъ, прекратилъ всѣ прежнія сношенія... но исчезло мертвенное равнодушіе, и среди живыхъ онъ снова двигался и дѣйствовалъ какъ живой. Исчезли также и послѣдніе слѣды овладѣвшаго имъ очарованія: какъ сквозь сонъ являлось ему все, что произошло въ Баденѣ... А Ирина? И она поблѣднѣла и скрылась тоже, и только смутно чуялось Литвинову что-то опасное подъ туманомъ, постепенно окутавшимъ ея образъ. О Татьянѣ изрѣдка доходили вѣсти; онъ зналъ, что она вмѣстѣ съ своею теткой поселилась въ своемъ имѣньицѣ, верстахъ въ двухъ стахъ отъ него, живетъ тихо, мало выѣзжаетъ и почти не принимаетъ гостей,— а впрочемъ покойна и здорова. Вотъ, однажды, въ прекрасный майскій день, сидѣлъ онъ у себя въ кабинетѣ и безучастно перелистывалъ послѣдній нумеръ петербургскаго журнала; слуга вошелъ къ нему и доложилъ о пріѣздѣ старика дяди. Дядя этотъ доводился двоюроднымъ братомъ Капитолинѣ Марковнѣ и недавно посѣтилъ ее. Онъ купилъ имѣніе по сосѣдству Литвинова и пробирался туда. Цѣлыя сутки прогостилъ онъ у своего племянника и много разсказывалъ о житьѣ-бытьѣ Татьяны. На другой день послѣ его отъѣзда, Литвиновъ отправилъ къ ней письмо, первое послѣ ихъ разлуки. Онъ просилъ позволенія возобновить хотя письменное знакомство и также желалъ знать, навсегда ли онъ долженъ покинуть мысль—когда-нибудь съ ней увидѣться? Не безъ волненія ожидалъ онъ отвѣта... отвѣтъ пришелъ, наконецъ. Татьяна дружелюбно откликнулась на его запросъ. „Если вамъ вздумается насъ посѣтить“, такъ кончала она: „милости просимъ, пріѣзжайте: говорятъ, даже больнымъ легче вмѣстѣ, чѣмъ порознь“. Капитолина Марковна присоединяла свой поклонъ. Какъ дитя обрадовался Литвиновъ; уже давно и ни отъ чего такъ весело не билось его сердце. И легко ему стало вдругъ, и свѣтло...

Такъ точно, когда солнце встаетъ и разгоняетъ темноту ночи, легкій вѣтерокъ бѣжитъ вмѣстѣ съ солнечными лучами по лицу воскреснувшей земли. Весь этотъ день Литвиновъ все посмѣивался, даже когда обходилъ свое хозяйство и отдавалъ приказанія. Онъ тотчасъ сталъ снаряжаться въ дорогу, а двѣ недѣли спустя онъ уже ѣхалъ къ Татьянѣ.

XXVIII.

Ѣхалъ онъ довольно медленно, проселками, безъ особенныхъ приключеній: разъ только шина лопнула на заднемъ колесѣ; кузнецъ ее сваривалъ-сваривалъ, обругалъ и ее, и себя, да такъ и бросилъ; къ счастью оказалось, что и съ лопнувшей шиной можно у насъ прекрасно путешествовать, особенно по „мякенькому“, то-есть по грязи. Зато съ Литвиновымъ произошли двѣ-три довольно любопытныя встрѣчи. На одной станціи онъ засталъ мировой съѣздъ, и въ числѣ его Пищалкина, который произвелъ на него впечатлѣніе Солона или Соломона: такою возвышенною мудростью дышали его рѣчи, съ такимъ безграничнымъ уваженіемъ относились къ нему и помѣщики, и крестьяне... И по наружности Пищалкинъ сталъ походить на древняго мудреца: волосы его на темени вылѣзли, а пополнѣвшее лицо совершенно застыло въ какое-то величавое желе уже ничѣмъ необузданной добродѣтели. Онъ поздравилъ Литвинова съ прибытіемъ „въ мой—если смѣю употребить такое амбиціонное выраженіе,—собственный уѣздъ“, а впрочемъ, тутъ же такъ и замеръ въ припадкѣ благонамѣренныхъ ощущеній. Одно извѣстіе онъ, однако, успѣлъ сообщить, а именно о Ворошиловѣ. Витязь съ золотой доски снова поступилъ на военную службу, и уже успѣлъ прочесть лекцію офицерамъ своего полка: „о буддизмѣ“ или „динамизмѣ“, что-то въ этомъ родѣ... Пищалкинъ хорошенько не помнилъ. На другой станціи Литвинову долго не закладывали лошадей; дѣло было на утренней зорькѣ,— и онъ задремалъ, сидя въ своей коляскѣ. Голосъ, показавшійся ему знакомымъ, разбудилъ его: онъ раскрылъ глаза...

Господи! да не господинъ ли Губаревъ стоитъ въ сѣрой

курткѣ и отвислыхъ спальныхъ панталонахъ на крыльцѣ почтовой избы и ругается?.. Нѣтъ, это не господинъ Губаревъ... Но какое поразительное сходство!.. Только у этого барина ротъ еще шире и зубастѣе, и взоръ понурыхъ глазъ еще свирѣпѣе, и носъ крупнѣе, и борода гуще, и весь обликъ еще грузнѣе и противнѣе.

— Па-адлецы, па-адлецы! твердилъ онъ медленно и злобно, широко разѣвая свой волчій ротъ: — мужичье поганое... Вотъ она... хваленая свобода-то... и лошадей не достанешь... па-адлецы!

— Па-адлецы, па-адлецы! послышался тутъ другой голосъ за дверями, и на крыльцѣ предсталъ—тоже въ сѣрой курткѣ и отвислыхъ спальныхъ панталонахъ,—предсталъ на этотъ разъ, дѣйствительно, несомнѣнно, самъ настоящій господинъ Губаревъ, Степанъ Николаевичъ Губаревъ.—Мужичье поганое! продолжалъ онъ въ подражаніе брату (оказалось, что первый господинъ былъ его старшій братъ, тотъ „дантистъ“ прежней школы, который заправлялъ его имѣніемъ).—Бить ихъ надо, вотъ что; по мордамъ бить; вотъ имъ какую свободу—въ зубы... Толкуютъ... волостной голова!.. Я бъ ихъ!.. Да гдѣ же этотъ мусье Ростонъ?.. Чего же онъ смотритъ?.. Это его дѣло, дармоѣда этакого... до безпокойства не доводить...

— А я жъ вамъ сказывалъ, братецъ, заговорилъ Губаревъ старшій:—что онъ ни на что не годенъ, именно дармоѣдъ! Только вы вотъ, по старой памяти... Мусье Ростонъ, мусье Ростонъ!.. Гдѣ ты пропадаешь?

— Ростонъ! Ростонъ! закричалъ младшій, великій Губаревъ.—Да покличьте же его хорошенько, братецъ Доримедонтъ Николаичъ!

— Я и то, братецъ Степанъ Николаичъ, его кличу.— Мусье Ростонъ!

— Вотъ я, вотъ я, вотъ я! послышался торопливый голосъ, и изъ-за угла избы выскочилъ—Бамбаевъ.

Литвиновъ такъ и ахнулъ. На злосчастномъ энтузіастѣ плачевно болталась обтерханная венгерка съ прорѣхами на рукавахъ; черты его не то что перемѣнились, а скривились и сдвинулись; перетревоженные глазки выражали

подобострастный испугъ и голодную подчиненность; но крашеные усы попрежнему торчали надъ пухлыми губами. Братья Губаревы немедленно и дружно принялись распекать его съ вышины крыльца; онъ остановился передъ ними внизу, въ грязи, и униженно сгорбивъ спину, пытался умилостивить робкою улыбочкой, и картузъ мялъ въ красныхъ пальцахъ, и ногами сѣменилъ, и бормоталъ, что лошади, молъ, сейчасъ явятся... Но братья не унимались, пока младшій не вскинулъ наконецъ глазами на Литвинова. Узналъ ли онъ его, стыдно ли ему стало чужого человѣка, только онъ вдругъ повернулся на пяткахъ, помедвѣжьи, и, закусивъ бороду, заковылялъ въ станціонную избу: братецъ тотчасъ умолкъ и, тоже повернувшись помедвѣжьи, отправился за нимъ вслѣдъ. Великій Губаревъ, видно, и на родинѣ не утратилъ своего вліянія.

Бамбаевъ побрелъ-было за братьями... Литвиновъ кликнулъ его по имени. Онъ оглянулся, воззрѣлся и, узнавъ Литвинова, такъ и ринулся къ нему съ протянутыми руками; но, добѣжавъ до коляски, ухватился за дверцы, припалъ къ нимъ грудью, и зарыдалъ въ три ручья.

— Полно, полно же, Бамбаевъ, твердилъ Литвиновъ, наклонясь надъ нимъ и трогая его за плечо.

Но онъ продолжалъ рыдать. — Вотъ... вотъ... вотъ до чего... бормоталъ онъ, всхлипывая.

— Бамбаевъ! загремѣли братья по избѣ.

Бамбаевъ приподнялъ голову и поспѣшно утеръ слезы.

— Здравствуй, душа моя, прошепталъ онъ:—здравствуй и прощай!.. Слышишь, зовутъ.

— Да какими судьбами ты здѣсь? спросилъ Литвиновъ:— и что̀ все это значитъ? Я думалъ, они француза зовутъ...

— Я у нихъ... домо̀вымъ управляющимъ, дворецкимъ, отвѣчалъ Бамбаевъ и ткнулъ пальцемъ въ направленіи избы.—А во французы я попалъ такъ, для шутки. Что́, братъ, дѣлать! Ѣсть вѣдь нечего, послѣдняго гроша лишился, такъ поневолѣ въ петлю полѣзешь. Не до амбиціи.

— Да давно ли *онъ* въ Россіи? и какъ же онъ съ прежними товарищами раздѣлался?

— Э, братъ! Это теперь все по боку... Погода вишь

перемѣнилась... Суханчикову, Матрену Кузьминишну, просто, въ шею прогналъ. Та съ горя въ Португалію уѣхала.

— Какъ въ Португалію? Что за вздоръ?

— Да, братъ, въ Португалію, съ двумя Матреновцами.

— Съ кѣмъ?

— Съ Матреновцами: люди ея партіи такъ прозываются.

— У Матрены Кузьминишны есть партія? И многочисленна она?

— Да вотъ именно эти два человѣка. А *онъ* съ полгода скоро будетъ, какъ сюда воротился. Другихъ подъ сюркупъ взяли, а ему ничего. Въ деревнѣ съ братцемъ живетъ, и послушалъ бы ты теперь...

— Бамбаевъ!

— Сейчасъ, Степанъ Николаичъ, сейчасъ. А ты, голубчикъ, процвѣтаешь, наслаждаешься! Ну, и слава Богу! Куда это тебя несетъ теперь?.. Вотъ, не думалъ, не гадалъ... Помнишь Баденъ? Эхъ, было житье! Кстати, Биндасова тоже ты помнишь? Представь, умеръ. Въ акцизные попалъ, да подрался въ трактирѣ: ему кіемъ голову и проломили. Да, да, тяжелыя подошли времена! А все же я скажу: Русь... экая эта Русь! Посмотри хоть на эту пару гусей: вѣдь въ цѣлой Европѣ ничего нѣтъ подобнаго! Настоящіе арзамасскіе!

И, заплативъ эту послѣднюю дань неистребимой потребности восторгаться, Бамбаевъ побѣжалъ въ станціонную избу, гдѣ опять, и не безъ нѣкоторыхъ загвоздокъ, произносилось его имя.

Къ концу того же дня Литвиновъ подъѣзжалъ къ Татьяниной деревнѣ. Домикъ, гдѣ жила бывшая его невѣста, стоялъ на холмѣ, надъ небольшой рѣчкой, посреди недавно разведеннаго сада. Домикъ тоже былъ новенькій, только-что построенный, и далеко виднѣлся черезъ рѣчку и поле. Литвинову онъ открылся версты за двѣ съ своимъ острымъ мезониномъ и рядомъ окошекъ, ярко рдѣвшихъ на вечернемъ солнцѣ. Уже съ послѣдней станціи онъ чувствовалъ тайную тревогу; но тутъ, просто, смятеніе овладѣло имъ, смятеніе радостное, не безъ нѣкотораго страха. „Какъ меня встрѣтятъ, думалъ онъ: — какъ

я предстану?..“ Чтобы чѣмъ-нибудь развлечься, онъ заговорилъ съ ямщикомъ, степеннымъ мужикомъ съ сѣдою бородой, который однако взялъ съ него за тридцать верстъ, тогда какъ и двадцати пяти не было. Онъ спросилъ его: знаетъ ли онъ Шестовыхъ помѣщицъ?

— Шестовыхъ-то? Какъ не знать! Барыни добрыя, что̀ толковать! Нашего брата тоже лѣчатъ. Вѣрно говорю. Лѣкарки! Къ нимъ со всего округа ходятъ. Право. Такъ и ползутъ. Какъ кто, напримѣръ, заболѣлъ, или порѣзался, или что̀, сейчасъ къ нимъ, и онѣ сейчасъ примочку тамъ, порошки или флястырь,—и ничего: помогаетъ. А благодарность представлять не моги; мы, говоритъ, на это не согласны; мы не за деньги. Школу тоже завели... Ну, да это статья пустая!

Пока ямщикъ разсказывалъ, Литвиновъ не спускалъ глазъ съ домика... Вотъ женщина въ бѣломъ вышла на балконъ, постояла, постояла и скрылась... „Ужъ не она ли?“ Сердце такъ и подпрыгнуло въ немъ. „Скорѣй! скорѣй!“ крикнулъ онъ на ямщика: тотъ погналъ лошадей. Еще нѣсколько мгновеній... и коляска вкатилась въ раскрытыя ворота... А на крыльцѣ уже стояла Капитолина Марковна и, вся внѣ себя, хлопая въ ладоши, кричала: „Я узнала, я первая узнала! Это онъ! это онъ!.. Я узнала!“

Литвиновъ выскочилъ изъ коляски, не давъ подбѣжавшему казачку открыть дверцы, и торопливо обнявъ Капитолину Марковну, бросился въ домъ, черезъ переднюю, въ залу... Передъ нимъ, вся застыдившись, стояла Татьяна. Она взглянула на него своими добрыми, ласковыми глазами (она нѣсколько похудѣла, но это шло къ ней) и подала ему руку. Но онъ не взялъ руки, онъ упалъ передъ ней на колѣни. Она никакъ этого не ожидала и не знала что̀ сказать, что̀ дѣлать... Слезы выступили у ней на глаза. Испугалась она, а все лицо расцвѣтало радостью... „Григорій Михайлычъ, что это, Григорій Михайлычъ?“ говорила она... а онъ продолжалъ лобызать край ея одежды... и съ умиленіемъ вспомнилось ему, какъ онъ въ Баденѣ такъ же лежалъ передъ ней на колѣняхъ... Но тогда—и теперь!

— Таня, твердилъ онъ:—Таня! ты меня простила, Таня?

— Тётя, тётя, что жъ это? обратилась Татьяна къ вошедшей Капитолинѣ Марковнѣ.

— Не мѣшай, не мѣшай ему, Таня, отвѣчала добрая старушка.—Видишь: повинную голову принесъ.

Однако пора кончить; да и прибавлять нечего; читатель догадается и самъ... Но что жъ Ирина?

Она все такъ же прелестна, несмотря на свои тридцать лѣтъ; молодые люди влюбляются въ нее безъ счета и влюблялись бы еще болѣе, если бъ... если бъ...

Читатель, не угодно ли вамъ перенестись съ нами на нѣсколько мгновеній въ Петербургъ, въ одно изъ первыхъ тамошнихъ зданій? Смотрите: передъ вами просторный покой, убранный, не скажемъ: богато—это выраженіе слишкомъ низменно,—но важно, представительно, внушительно. Чувствуете ли вы нѣкій трепетъ подобострастія? Знайте же: вы вступили въ храмъ, въ храмъ, посвященный высшему приличію, любвеобильной добродѣтели, словомъ: неземному. Какая-то тайная, дѣйствительная тайная тишина васъ объемлетъ. Бархатныя портьерки у дверей, бархатныя занавѣски у оконъ, пухлый, рыхлый коверъ на полу, все какъ бы предназначено и приспособлено къ укрощенію, къ смягченію всякихъ грубыхъ звуковъ и сильныхъ ощущеній. Тщательно завѣшенныя лампы внушаютъ степенныя чувства; благопристойный запахъ разлитъ въ спертомъ воздухѣ; самый самоваръ на столѣ шипитъ сдержанно и скромно. Хозяйка дома, особа важная въ петербургскомъ мірѣ, говоритъ чуть слышно; она всегда говоритъ такъ, какъ будто въ комнатѣ находится трудный, почти умирающій больной; другія дамы, въ подражаніе ей, едва шепчутъ; а сестра ея, разливающая чай, уже совсѣмъ беззвучно шевелитъ губами, такъ что сидящій передъ ней молодой человѣкъ, случайно попавшій въ храмъ приличія, даже недоумѣваетъ, чего она отъ него хочетъ? а она въ шестой разъ шелеститъ ему: „Voulez vous une tasse du thé?“ По угламъ виднѣются молодые, благообразные мужчины; тихое искательство свѣтится въ ихъ взорахъ; без-

мятежно тихо, хотя и вкрадчиво, выраженіе ихъ лицъ; множество знаковъ отличія тихо мерцаетъ на ихъ грудяхъ. Бесѣда ведется тоже тихая; касается она предметовъ духовныхъ и патріотическихъ, *Таинственной Капли* Ѳ. Н. Глинки, миссіи на востокѣ, монастырей и братчиковъ въ Бѣлоруссіи. Изрѣдка, глухо выступая по мягкому ковру, проходятъ ливрейные лакеи; громадныя ихъ икры, облеченныя въ тѣсные шелковые чулки, безмолвно вздрагиваютъ при каждомъ шагѣ; почтительное трепетаніе дюжихъ мышцъ только усугубляетъ общее впечатлѣніе благолѣпія, благонамѣренности, благоговѣнія... Это храмъ! это храмъ!

— Видѣли вы сегодня госпожу Ратмирову? кротко спрашиваетъ одна особа.

— Я встрѣтила ее сегодня у Lise, отвѣчаетъ эоловою арфой хозяйка:—мнѣ жаль ея... У ней умъ озлобленный.., elle n'a pas la foi.

— Да, да, повторяетъ особа... это, помнится, Петръ Иванычъ про нее сказалъ, и очень вѣрно сказалъ, qu'elle a... qu'elle a l' озлобленный умъ.

— Elle n'a pas la foi,—испаряется, какъ дымъ кадильный, голосъ хозяйки.—C'est une âme égarée. У ней озлобленный умъ.

— У ней озлобленный умъ, повторяетъ однѣми губами сестра.

И вотъ отчего молодые люди не всѣ сплошь влюбляются въ Ирину... Они ея боятся... они боятся ея „озлобленнаго ума". Такая составилась о ней ходячая фраза; въ этой фразѣ, какъ во всякой фразѣ, есть доля истины. И не одни молодые люди ея боятся; ея боятся и взрослые, и высокопоставленныя лица, и даже особы. Никто не умѣетъ такъ вѣрно и тонко подмѣтить смѣшную или мелкую сторону характера, никому не дано такъ безжалостно заклеймить ее незабываемымъ словомъ... И тѣмъ больнѣе жжется это слово, что исходитъ оно изъ благоухающихъ, прекрасныхъ устъ... Трудно сказать, что́ происходитъ въ этой душѣ; но въ толпѣ ея обожателей молва ни за кѣмъ не признаетъ названія избранника.

Мужъ Ирины быстро подвигается на томъ пути, который у французовъ называется путемъ почестей. Тучный генералъ обскакиваетъ его; снисходительный остается сзади. И въ томъ же городѣ, гдѣ проживаетъ Ирина, проживаетъ и нашъ пріятель, Созонтъ Потугинъ: онъ рѣдко съ ней видится, и нѣтъ для нея особенной надобности поддерживать съ нимъ связь... Та дѣвочка, которую поручили его попеченіямъ, недавно умерла.

ДВОРЯНСКОЕ

ГНѢЗДО.

РОМАНЪ ВЪ XLV ГЛАВАХЪ, СЪ ЭПИЛОГОМЪ.

(НАПИСАНО ВЪ 1858 ГОДУ.)

I.

Весенній, свѣтлый день клонился къ вечеру, небольшія розовыя тучки стояли высоко въ ясномъ небѣ и, казалось, не плыли мимо, а уходили въ самую глубь лазури.

Передъ раскрытымъ окномъ краснваго дома, въ одной изъ крайнихъ улицъ губернскаго города О.... (дѣло происходило въ 1842 году), сидѣли двѣ женщины: одна лѣтъ пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лѣтъ.

Первую изъ нихъ звали Марьей Дмитріевной Калитиной. Ея мужъ, бывшій губернскій прокуроръ, извѣстный въ свое время дѣлецъ,—человѣкъ бойкій и рѣшительный, желчный и упрямый,—умеръ лѣтъ десять тому назадъ. Онъ получилъ изрядное воспитаніе, учился въ университетѣ, но, рожденный въ сословіи бѣдномъ, рано понялъ необходимость проложить себѣ дорогу и набить деньгу. Марья Дмитріевна вышла за него по любви: онъ былъ недуренъ собою, уменъ и, когда хотѣлъ, очень любезенъ. Марья Дмитріевна (въ дѣвицахъ Пестова) еще въ дѣтствѣ лишилась родителей, провела нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ, въ институтѣ, и вернувшись оттуда, жила въ пятидесяти верстахъ отъ О...., въ родовомъ своемъ селѣ Покровскомъ, съ теткой да съ старшимъ братомъ. Братъ этотъ скоро переселился въ Петербургъ на службу, и держалъ и сестру, и тетку въ черномъ тѣлѣ, пока внезапная смерть не по-

ложила предѣла его поприщу. Марья Дмитріевна наслѣдовала Покровское, но не долго жила въ немъ; на второй же годъ послѣ ея свадьбы съ Калитинымъ, который въ нѣсколько дней успѣлъ покорить ея сердце, Покровское было промѣняно на другое имѣніе, гораздо болѣе доходное, но некрасивое и безъ усадьбы; и въ то же время Калитинъ пріобрѣлъ домъ въ городѣ О...., гдѣ и поселился съ женою на постоянное жительство. При домѣ находился большой садъ; одной стороной онъ выходилъ прямо въ поле, за городъ. Стало-быть,—рѣшилъ Калитинъ, большой неохотникъ до сельской тишины,—въ деревню таскаться незачѣмъ. Марья Дмитріевна не разъ въ душѣ пожалѣла о своемъ хорошенькомъ Покровскомъ съ веселой рѣчкой, широкими лугами и зелеными рощами; но она ни въ чемъ не прекословила мужу и благоговѣла предъ его умомъ и знаніемъ свѣта. Когда же, послѣ пятнадцатилѣтняго брака, онъ умеръ, оставивъ сына и двухъ дочерей, Марья Дмитріевна уже до того привыкла къ своему дому и къ городской жизни, что сама не захотѣла выѣхать изъ О....

Марья Дмитріевна въ молодости пользовалась репутаціей миленькой блондинки; и въ пятьдесятъ лѣтъ черты ея не были лишены пріятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была болѣе чувствительна, нежели добра, и до зрѣлыхъ лѣтъ сохранила институтскія замашки; она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ея привычки; за то она была очень ласкова и любезна, когда всѣ ея желанія исполнялись, и никто ей не прекословилъ. Домъ ея принадлежалъ къ числу пріятнѣйшихъ въ городѣ. Состояніе у ней было весьма хорошее, не столько наслѣдственное, сколько благопріобрѣтенное мужемъ. Обѣ дочери жили съ нею; сынъ воспитывался въ одномъ изъ лучшихъ казенныхъ заведеній въ Петербургѣ.

Старушка, сидѣвшая съ Марьей Дмитріевной подъ окошкомъ, была та самая тетка, сестра ея отца, съ которою она провела нѣкогда нѣсколько уединенныхъ лѣтъ въ Покровскомъ. Звали ее Маѳоей Тимоѳеевной Шестовой. Она слыла чудачкой, нравъ имѣла независимый, говорила

всѣмъ правду въ глаза и при самыхъ скудныхъ средствахъ держалась такъ, какъ будто за ней водились тысячи. Она терпѣть не могла покойнаго Калитина, и какъ только ея племянница вышла за него замужъ, удалилась въ свою деревушку, гдѣ прожила цѣлыхъ десять лѣтъ у мужика въ курной избѣ. Марья Дмитріевна ея побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже въ старости, маленькая, востроносая, Марѳа Тимоѳеевна ходила живо, держалась прямо, и говорила скоро и внятно, тонкимъ и звучнымъ голоскомъ. Она постоянно носила бѣлый чепецъ и бѣлую кофту.

— О чемъ ты это? спросила она вдругъ Марью Дмитріевну.—О чемъ вздыхаешь, мать моя?

— Такъ, промолвила та.—Какія чудесныя облака!

— Такъ тебѣ ихъ жалко, что ли?

Марья Дмитріевна ничего не отвѣчала.

— Что это Гедеоновскій нейдетъ? проговорила Марѳа Тимоѳеевна, проворно шевеля спицами. (Она вязала большой шерстяной шарфъ.) Онъ бы повздыхалъ вмѣстѣ съ тобою,—не то, совралъ бы что-нибудь.

— Какъ вы всегда строго о немъ отзываетесь! Сергѣй Петровичъ—почтенный человѣкъ.

— Почтенный! повторила съ укоризной старушка.

— И какъ онъ покойному мужу былъ преданъ! проговорила Марья Дмитріевна:—до сихъ поръ вспомнить о немъ равнодушно не можетъ.

— Еще бы! тотъ его за уши изъ грязи вытащилъ, проворчала Марѳа Тимоѳеевна, и спицы еще быстрѣе заходили въ ея рукахъ.

— Глядитъ такимъ смиренникомъ, начала она снова:—голова вся сѣдая, а что ротъ раскроетъ, то солжетъ или насплетничаетъ. А еще статскій совѣтникъ! Ну, и то сказать: поповичъ!

— Кто же безъ грѣха, тетушка? Эта слабость въ немъ есть, конечно. Сергѣй Петровичъ воспитанія, конечно, не получилъ, по-французски не говоритъ; но онъ, воля ваша, пріятный человѣкъ.

— Да, онъ ручки у тебя все лижетъ. По-французски не говоритъ,—эка бѣда! Я сама не сильна во француз-

скомъ „діалехтѣ“. Лучше бы онъ ни по-каковски не говорилъ: не лгалъ бы. Да вотъ онъ, кстати, легокъ на поминѣ, прибавила Марѳа Тимоѳеевна, глянувъ на улицу.— Вонъ онъ шагаетъ, твой пріятный человѣкъ. Экой длинный, словно аистъ!

Марья Дмитріевна поправила свои локоны. Марѳа Тимоѳеевна съ усмѣшкой посмотрѣла на нее.

— Что это у тебя, никакъ сѣдой волосъ, мать моя? Ты побрани свою Палашку. Чего она смотритъ?

— Ужъ вы, тетушка, всегда... пробормотала съ досадой Марья Дмитріевна и застучала пальцами по ручкѣ креселъ.

— Сергѣй Петровичъ Гедеоновскій! пропищалъ краснощекій казачокъ, выскочивъ изъ-за двери.

II.

Вошелъ человѣкъ высокаго роста, въ опрятномъ сюртукѣ, коротенькихъ панталонахъ, сѣрыхъ замшевыхъ перчаткахъ и двухъ галстукахъ — одномъ черномъ сверху, другомъ бѣломъ снизу. Все въ немъ дышало приличіемъ и пристойностью, начиная съ благообразнаго лица и гладко причесанныхъ висковъ до сапоговъ безъ каблуковъ и безъ скрипу. Онъ поклонился сперва хозяйкѣ дома, потомъ Марѳѣ Тимоѳеевнѣ, и, медленно стащивъ перчатки, подошелъ къ ручкѣ Марьи Дмитріевны. Поцѣловавъ ее почтительно и два раза сряду, онъ сѣлъ, не торопясь, въ кресла, и съ улыбкой потирая самые кончики пальцевъ, проговорилъ:

— А Елизавета Михайловна здоровы?

— Да, отвѣчала Марья Дмитріевна:—она въ саду.

— И Елена Михайловна?

— Леночка въ саду тоже.—Нѣтъ ли чего новенькаго?

— Какъ не быть-съ, какъ не быть-съ, возразилъ гость, медленно моргая и вытягивая губы.—Гм!.. да вотъ, пожалуйте, есть новость, и преудивительная: Лаврецкій Ѳедоръ Иванычъ пріѣхалъ.

— Ѳедя? воскликнула Марѳа Тимоѳеевна.—Да ты, полно, не сочиняешь ли, отецъ мой?

— Никакъ нѣтъ-съ, я ихъ самолично видѣлъ.

— Ну, это еще не доказательство.

— Очень поздоровѣли, продолжалъ Гедеоновскій, показывая видъ, будто не слышалъ замѣчанія Марѳы Тимоѳеевны:—въ плечахъ еще шире стали, и румянецъ во всю щеку.

— Поздоровѣлъ, произнесла съ разстановкой Марья Дмитріевна:—кажется, съ чего бы ему здоровѣть?

— Да-съ, возразилъ Гедеоновскій: — другой, на его мѣстѣ, и въ свѣтъ-то показаться посовѣстился бы.

— Это отчего? перебила Марѳа Тимоѳеевна;—это что за вздоръ? Человѣкъ возвратился на родину — куда жъ ему дѣться прикажете? И благо онъ въ чемъ виноватъ былъ!

— Мужъ всегда виноватъ, сударыня, осмѣлюсь вамъ доложить, когда жена нехорошо ведетъ себя.

— Это ты, батюшка, оттого говоришь, что самъ женатъ не былъ.—Гедеоновскій принужденно улыбнулся.

— Позвольте полюбопытствовать, спросилъ онъ послѣ небольшого молчанія: — кому назначается этотъ миленькій шарфъ?

Марѳа Тимоѳеевна быстро взглянула на него.

— А тому назначается, возразила она: — кто никогда не сплетничаетъ, не хитритъ и не сочиняетъ, если только есть на свѣтѣ такой человѣкъ. Ѳедю я знаю хорошо; онъ только тѣмъ и виноватъ, что баловалъ жену. Ну, да и женился онъ по любви, а изъ этихъ изъ любовныхъ свадебъ ничего путнаго никогда не выходитъ, прибавила старушка, косвенно взглянувъ на Марью Дмитріевну и вставая.—А ты теперь, мой батюшка, на комъ угодно зубки точи, хоть на мнѣ; я уйду, мѣшать не буду. — И Марѳа Тимоѳеевна удалилась.

— Вотъ, она всегда такъ, проговорила Марья Дмитріевна, проводивъ свою тетку глазами:—всегда!

— Лѣта ихнія! Что дѣлать-съ! замѣтилъ Гедеоновскій.— Вотъ, онѣ изволятъ говорить: кто не хитритъ. Да кто нонеча не хитритъ? вѣкъ ужъ такой. Одинъ мой пріятель, препочтенный и, доложу вамъ, не малаго чина человѣкъ, говаривалъ: что нонеча, молъ, курица, и та съ хитростью къ зерну приближается — все норовитъ, какъ бы сбоку подойти. А какъ погляжу я на васъ, моя барыня, нравъ-то

у васъ истинно ангельскій; пожалуйте-ка мнѣ вашу бѣлоснѣжную ручку.

Марья Дмитріевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку съ отдѣленнымъ пятымъ пальчикомъ. Онъ приложился къ ней губами, и она пододвинула къ нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса:

— Такъ видѣли вы его? Въ самомъ дѣлѣ онъ—ничего, здоровъ, веселъ?

— Веселъ-съ, ничего-съ, возразилъ Гедеоновскій шопотомъ.

— А не слыхали вы, гдѣ его жена теперь?

— Въ послѣднее время въ Парижѣ была-съ; теперь, слышно, въ итальянское государство переселилась.

— Это ужасно, право,—Одино положеніе; я не знаю, какъ онъ переноситъ. Случаются, точно, несчастья со всякимъ: но вѣдь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали.

Гедеоновскій вздохнулъ.

— Да-съ, да-съ. Вѣдь она, говорятъ, и съ артистами, и съ піанистами, и, какъ тамъ по-ихнему, со львами, да со звѣрями знакомство вела. Стыдъ потеряла совершенно...

— Очень, очень жалко, проговорила Марья Дмитріевна.— По-родственному; вѣдь онъ мнѣ, Сергѣй Петровичъ, вы знаете, внучатный племянникъ.

— Какъ же-съ, какъ же-съ. Какъ мнѣ не знать-съ всего, что до вашего семейства относится? Помилуйте-съ.

— Придетъ онъ къ намъ,—какъ вы думаете?

— Должно полагать-съ; а впрочемъ они, слышно, къ себѣ въ деревню собираются.

Марья Дмитріевна подняла глаза къ небу.

— Ахъ, Сергѣй Петровичъ, Сергѣй Петровичъ, какъ я подумаю, какъ намъ, женщинамъ, нужно осторожно вести себя!

— Женщина женщинѣ рознь, Марья Дмитріевна. Есть, къ несчастію, такія — нрава непостоянпаго... ну, и лѣта; опять, правила не внушены сызмала. (Сергѣй Петровичъ досталъ изъ кармана клѣтчатый синій платокъ и началъ

его развертывать.)—Такія женщины, конечно, бываютъ. (Сергѣй Петровичъ поднесъ уголъ платка поочередно къ своимъ глазамъ.)—Но вообще говоря, если разсудить, то-есть... Пыль въ городѣ необыкновенная, заключилъ онъ.

— *Maman*, *maman*, вскричала, вбѣгая въ комнату, смазливая дѣвочка лѣтъ одиннадцати; — къ намъ Владиміръ Николаичъ верхомъ ѣдетъ!

Марья Дмитріевна встала; Сергѣй Петровичъ тоже всталъ и поклонился.—Еленѣ Михайловнѣ наше нижайшее, проговорилъ онъ и, отойдя въ уголъ для приличія, принялся сморкать свой длинный и правильный носъ.

— Какая у него чудесная лошадь! продолжала дѣвочка.—Онъ сейчасъ былъ у калитки и сказалъ намъ съ Лизой, что къ крыльцу подъѣдетъ.

Послышался топотъ копытъ; и стройный всадникъ на красивомъ гнѣдомъ конѣ показался на улицѣ и остановился передъ раскрытымъ окномъ.

III.

— Здравствуйте, Марья Дмитріевна! воскликнулъ звучнымъ и пріятнымъ голосомъ всадникъ.—Какъ вамъ нравится моя новая покупка?

Марья Дмитріевна подошла къ окну.

— Здравствуйте, Woldemar! Ахъ, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?

— У ремонтера... Дорого взялъ, разбойникъ.

— Какъ ее зовутъ?

— Орландомъ... Да это имя глупо; я хочу перемѣнить... Eh bien, eh bien, mon garçon... Какой неугомонный!

Конь фыркалъ, переступалъ ногами и махалъ опѣненною мордой.

— Леночка, погладьте ее, не бойтесь...

Дѣвочка протянула изъ окна руку, но Орландъ вдругъ взвился на дыбы и бросился въ сторону. Всадникъ не потерялся, взялъ коня въ шенкеля, вытянулъ его хлыстомъ по шеѣ и, несмотря на его сопротивленіе, поставилъ его опять передъ окномъ.

— Prenez garde, prenez garde, твердила Марья Дмитріевна.

— Леночка, поласкайте его, возразилъ всадникъ;—я не позволю ему вольничать.

Дѣвочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавшихъ ноздрей Орланда, который безпрестанно вздрагивалъ и рвалъ удила.

— Браво! воскликнула Марья Дмитріевна;—а теперь слѣзьте и придите къ намъ.

Всадникъ лихо повернулъ коня, далъ ему шпоры и, проскакавъ короткимъ галономъ по улицѣ, въѣхалъ на дворъ. Минуту спустя, онъ вбѣжалъ, помахивая хлыстикомъ, изъ двери передней въ гостиную; въ то же время на порогѣ другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая дѣвушка лѣтъ девятнадцати,—старшая дочь Марьи Дмитріевны, Лиза.

IV.

Молодой человѣкъ, съ которымъ мы только-что познакомили читателей, прозывался Владиміромъ Николаичемъ Паншинымъ. Онъ служилъ въ Петербургѣ чиновникомъ по особымъ порученіямъ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Въ городъ О.... онъ пріѣхалъ для исполненія временного казеннаго порученія и состоялъ въ распоряженіи губернатора, генерала Зонненберга, которому доводился дальнимъ родственникомъ. Отецъ Паншина, отставной штабсъ-ротмистръ, извѣстный игрокъ, человѣкъ съ сладкими глазами, помятымъ лицомъ и нервической дерготкей въ губахъ, весь свой вѣкъ терся между знатью, посѣщалъ англійскіе клубы обѣихъ столицъ и слылъ за ловкаго, не очень надежнаго, но милаго и задушевнаго малаго. Несмотря на свою ловкость, онъ находился почти постоянно на самомъ рубежѣ нищеты и оставилъ своему единственному сыну состояніе небольшое и разстроенное. За то онъ, по-своему, заботился объ его воспитаніи: Владиміръ Николаичъ говорилъ по-французски прекрасно, по-англійски хорошо, по-нѣмецки дурно. Такъ оно и слѣдуетъ: порядочнымъ людямъ стыдно говорить хорошо по-нѣмецки; но пускать въ ходъ германское словцо въ нѣкоторыхъ, большею частью забавныхъ, случаяхъ—можно,

c'est même très chic, какъ выражаются петербургскіе парижане. Владиміръ Николаичъ съ пятнадцатилѣтняго возраста уже умѣлъ не смущаясь войти въ любую гостиную, пріятно повертѣться въ ней и кстати удалиться. Отецъ Паншина доставилъ сыну своему много связей; тасуя карты между двумя робберами или послѣ удачнаго „большого шлема", онъ не пропускалъ случая запустить словечко о своемъ „Володькѣ" какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческихъ игръ. Съ своей стороны, Владиміръ Николаичъ, во время пребыванія въ университетѣ, откуда онъ вышелъ съ чиномъ дѣйствительнаго студента, познакомился съ нѣкоторыми знатными молодыми людьми и сталъ вхожъ въ лучшіе дома. Его вездѣ охотно принимали; онъ былъ очень недуренъ собою, развязенъ, забавенъ, всегда здоровъ и на все готовъ; гдѣ нужно—почтителенъ, гдѣ можно—дерзокъ, отличный товарищъ, un charmant garçon. Завѣтная область раскрылась передъ нимъ. Паншинъ скоро понялъ тайну свѣтской науки; онъ умѣлъ проникнуться дѣйствительнымъ уваженіемъ къ ея уставамъ; умѣлъ съ полунасмѣшливой важностью заниматься вздоромъ и показать видъ, что почитаетъ все важное за вздоръ,—танцовалъ отлично, одѣвался по-англійски. Въ короткое время онъ прослылъ однимъ изъ самыхъ любезныхъ и ловкихъ молодыхъ людей въ Петербургѣ. Паншинъ былъ дѣйствительно очень ловокъ,—не хуже отца; но онъ былъ также очень даровитъ. Все ему далось: онъ мило пѣлъ, бойко рисовалъ, писалъ стихи, весьма недурно игралъ на сценѣ. Ему всего пошелъ двадцать восьмой годъ, а онъ былъ уже камеръ-юнкеромъ и чинъ имѣлъ весьма изрядный. Паншинъ твёрдо вѣрилъ въ себя, въ свой умъ, въ свою проницательность; онъ шелъ впередъ смѣло и весело, полнымъ махомъ; жизнь его текла какъ по маслу. Онъ привыкъ нравиться всѣмъ, старому и малому, и воображалъ, что знаетъ людей, особенно женщинъ: онъ хорошо зналъ ихъ обыденныя слабости. Какъ человѣкъ не чуждый художеству, онъ чувствовалъ въ себѣ и жаръ, и нѣкоторое увлеченіе, и восторженность, и вслѣдствіе этого позво-

лялъ себѣ разныя отступленія отъ правилъ: кутилъ, знакомился съ лицами, не принадлежавшими къ свѣту, и вообще держался вольно и просто; но въ душѣ онъ былъ холоденъ и хитръ, и во время самаго буйнаго кутежа, его умный карій глазокъ все караулилъ и высматривалъ; этотъ смѣлый, этотъ свободный юноша никогда не могъ забыться и увлечься вполнѣ. Къ чести его должно сказать, что онъ никогда не хвастался своими побѣдами. Въ домъ Марьи Дмитріевны онъ попалъ тотчасъ по пріѣздѣ въ О..., и скоро освоился въ немъ совершенно. Марья Дмитріевна въ немъ души не чаяла.

Паншинъ любезно раскланялся со всѣми находившимися въ комнатѣ, пожалъ руку у Марьи Дмитріевны и у Лизаветы Михайловны, слегка потрепалъ Гедеоновскаго по плечу и, повернувшись на каблукахъ, поймалъ Леночку за голову и поцѣловалъ ее въ лобъ.

— И вы не боитесь ѣздить на такой злой лошади? спросила его Марья Дмитріевна.

— Помилуйте, она пресмирная; а вотъ, я доложу вамъ, чего я боюсь: я боюсь играть въ преферансъ съ Сергѣемъ Петровичемъ; вчера у Бѣленицыныхъ онъ обыгралъ меня въ пухъ.

Гедеоновскій засмѣялся тоненькимъ и подобострастнымъ смѣхомъ: онъ заискивалъ въ молодомъ, блестящемъ чиновникѣ изъ Петербурга, губернаторскомъ любимцѣ. Въ разговорахъ своихъ съ Марьей Дмитріевной онъ часто упоминалъ о замѣчательныхъ способностяхъ Паншина. Вѣдь вотъ, разсуждалъ онъ, какъ не похвалить? И въ высшей сферѣ жизни успѣваетъ молодой человѣкъ, и служитъ примѣрно, и гордости ни малѣйшей. Впрочемъ, Паншина и въ Петербургѣ считали дѣльнымъ чиновникомъ: работа кипѣла у него въ рукахъ; онъ говорилъ о ней шутя, какъ оно и слѣдуетъ свѣтскому человѣку, не придающему особеннаго значенія своимъ трудамъ, но былъ „исполнитель“. Начальники любятъ такихъ подчиненныхъ; онъ самъ не сомнѣвался въ томъ, что, если захочетъ, будетъ современемъ министромъ.

— Вы изволите говорить, что я обыгралъ васъ, про-

молвилъ Гедеоновскій:—а на прошлой недѣлѣ кто у меня выигралъ двѣнадцать рублей? да еще...

— Злодѣй, злодѣй, перебилъ его Паншинъ съ ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая болѣе на него вниманія, подошелъ къ Лизѣ.

— Я не могъ найти здѣсь увертюру Оберона, началъ онъ:—Бѣленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка,—на дѣлѣ у ней кромѣ полекъ и вальсовъ ничего нѣтъ; но я уже написалъ въ Москву, и черезъ недѣлю вы будете имѣть эту увертюру. Кстати, продолжалъ онъ:—я написалъ вчера новый романсъ; слова тоже мои. Хотите, я вамъ спою? Не знаю, что изъ этого вышло; Бѣленицына нашла его премиленькимъ, но ея слова ничего не значатъ,—я желаю знать ваше мнѣніе. Впрочемъ, я думаю, лучше послѣ...

— Зачѣмъ же послѣ? вмѣшалась Марья Дмитріевна:—отчего же не теперь?

— Слушаю-съ, промолвилъ Паншинъ съ какой-то свѣтлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась, и пропадала вдругъ,—пододвинулъ колѣномъ стулъ, сѣлъ за фортепіано и, взявши нѣсколько аккордовъ, запѣлъ, четко отдѣляя слова, слѣдующій романсъ:

Луна плыветъ высоко надъ землею
Межъ блѣдныхъ тучъ;
Но движетъ съ вышины волной морскою
Волшебный лучъ;
Моей души тебя признало море
Своей луной,
И, движется,—и въ радости, и въ горѣ—
Тобой одной.
Тоской любви, тоской нѣмыхъ стремленій
Душа полна;
Мнѣ тяжело... Но ты чужда смятеній,
Какъ та луна.

Второй куплетъ былъ спѣтъ Паншинымъ съ особеннымъ выраженіемъ и силой; въ бурномъ аккомпаниментѣ слышались переливы волнъ. Послѣ словъ: мнѣ тяжело... онъ вздохнулъ слегка, опустилъ глаза и понизилъ голосъ—morendo. Когда онъ кончилъ,—Лиза похвалила мотивъ,

Марья Дмитріевна сказала: прелестно,—а Гедеоновскій даже крикнулъ: восхитительно! и поэзія, и гармонія одинаково восхитительны!.. Леночка съ дѣтскимъ благоговѣніемъ посмотрѣла на пѣвца. Словомъ, всѣмъ присутствовавшимъ очень понравилось произведеніе молодого дилетанта; но за дверью гостиной въ передней стоялъ только-что пришедшій, уже старый человѣкъ, которому, судя по выраженію его потупленнаго лица и движенію плечей, романсъ Паншина, хотя и премиленькій, не доставилъ удовольствія. Подождавъ немного и смахнувъ пыль съ сапоговъ толстымъ носовымъ платкомъ, человѣкъ этотъ внезапно съежилъ глаза, угрюмо сжалъ губы, согнулъ свою, и безъ того сутулую, спину и медленно вошелъ въ гостиную.

— А! Христофоръ Ѳедорычъ, здравствуйте! воскликнулъ прежде всѣхъ Паншинъ и быстро вскочилъ со стула.—Я и не подозрѣвалъ, что вы здѣсь,—я бы при васъ ни за что не рѣшился спѣть свой романсъ. Я знаю, вы не охотникъ до легкой музыки.

— Я не слушиль, произнесъ дурнымъ русскимъ языкомъ вошедшій человѣкъ и, раскланявшись со всѣми, неловко остановился посреди комнаты.

— Вы, мосье Леммъ, сказала Марья Дмитріевна:—пришли дать урокъ музыки Лизѣ?

— Нѣтъ, не Лисафетъ Михайловнѣ, а Еленъ Михайловнѣ.

— А! Ну, что-жъ—прекрасно. Леночка, ступай наверхъ съ г-мъ Леммомъ.

Старикъ пошелъ-было вслѣдъ за дѣвочкой; но Паншинъ остановилъ его.

— Не уходите послѣ урока, Христофоръ Ѳедорычъ, сказалъ онъ:—мы съ Лизаветой Михайловной сыграемъ Бетховенскую сонату въ четыре руки.

Старикъ проворчалъ себѣ что-то подъ носъ, а Паншинъ продолжалъ по-нѣмецки, плохо выговаривая слова:

— Мнѣ Лизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли,—прекрасная вещь! Вы *пожалуйста не думайте*, что я не умѣю цѣнить серьезную

музыку,—напротивъ: она иногда скучна, но за то очень пользительна.

Старикъ покраснѣлъ до ушей, бросилъ косвенный взглядъ на Лизу и торопливо вышелъ изъ комнаты.

Марья Дмитріевна попросила Паншина повторить романсъ; но онъ объявилъ, что не желаетъ оскорблять ушей ученаго нѣмца, и предложилъ Лизѣ заняться Бетховенскою сонатой. Тогда Марья Дмитріевна вздохнула и съ своей стороны предложила Гедеоновскому пройтись съ ней по саду.—Мнѣ хочется, сказала она:—еще поговорить и посовѣтываться съ вами о бѣдномъ нашемъ Өедѣ. Гедеоновскій осклабился, поклонился, взялъ двумя пальцами свою шляпу съ аккуратно положенными на одномъ изъ ея полей перчатками, и удалился вмѣстѣ съ Марьей Дмитріевной. Въ комнатѣ остались Паншинъ и Лиза: она достала и раскрыла сонату; оба молча сѣли за фортепіано.—Сверху доносились слабые звуки гаммъ, разыгрываемыхъ невѣрными пальчиками Леночки.

V.

Христоферъ-Теодоръ-Готлибъ Леммъ родился въ 1786 году, въ королевствѣ саксонскомъ, въ городѣ Хемницѣ, отъ бѣдныхъ музыкантовъ. Отецъ его игралъ на волторнѣ, мать на арфѣ; самъ онъ уже по пятому году упражнялся на трехъ различныхъ инструментахъ. Восьми лѣтъ онъ осиротѣлъ, а съ десяти началъ зарабатывать себѣ кусокъ хлѣба своимъ искусствомъ. Онъ долго велъ бродячую жизнь, игралъ вездѣ—и въ трактирахъ, и на ярмаркахъ, и на крестьянскихъ свадьбахъ, и на балахъ; наконецъ попалъ въ оркестръ и, подвигаясь все выше и выше, достигъ дирижёрскаго мѣста. Исполнитель онъ былъ довольно плохой; но музыку зналъ основательно. На двадцать-восьмомъ году переселился онъ въ Россію. Его выписалъ большой баринъ, который самъ терпѣть не могъ музыки, но держалъ оркестръ изъ чванства. Леммъ прожилъ у него лѣтъ семь въ качествѣ капельмейстера и отошелъ отъ него съ пустыми руками: баринъ разорился, хотѣлъ дать ему на *себя* вексель, но впослѣдствіи отка-

залъ ему и въ этомъ, — словомъ, не заплатилъ ему ни копейки. Ему совѣтовали уѣхать; но онъ не хотѣлъ вернуться домой нищимъ изъ Россіи, изъ великой Россіи, этого золотого дна артистовъ; онъ рѣшился остаться и испытать свое счастье. Въ теченіе двадцати лѣтъ бѣдный нѣмецъ пыталъ свое счастье: побывалъ у различныхъ господъ, жилъ и въ Москвѣ, и въ губернскихъ городахъ, терпѣлъ и сносилъ многое, узналъ нищету, бился, какъ рыба объ ледъ; но мысль о возвращеніи на родину не покидала его среди всѣхъ бѣдствій, которымъ онъ подвергался; она только одна его и поддерживала. Судьбѣ однако не было угодно порадовать его этимъ послѣднимъ и первымъ счастіемъ: 50-ти лѣтъ, больной, до времени одряхлѣвшій, застрялъ онъ въ городѣ О..., и остался въ немъ навсегда, уже окончательно потерявъ всякую надежду покинуть ненавистную ему Россію и кое-какъ поддерживая уроками свое скудное существованіе. Наружность Лемма не располагала въ его пользу. Онъ былъ небольшого роста, сутуловатъ, съ кривовыдавшимися лопатками и втянутымъ животомъ, съ большими плоскими ступнями, съ блѣдно-синими ногтями на твердыхъ, не разгибавшихся пальцахъ жилистыхъ, красныхъ рукъ; лицо имѣлъ морщинистое, впалыя щеки и сжатыя губы, которыми онъ безпрестанно двигалъ и жевалъ, что, при его обычной молчаливости, производило впечатлѣніе почти зловѣщее; сѣдые его волосы висѣли клочьями надъ невысокимъ лбомъ; какъ только-что залитые угольки, глухо тлѣли его крошечные, неподвижные глазки; ступалъ онъ тяжело, на каждомъ шагу перекидывая свое неповоротливое тѣло. Иныя его движенія напоминали неуклюжее охорашиваніе совы въ клѣткѣ, когда она чувствуетъ, что на нее глядятъ, а сама едва видитъ своими огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарѣлое, неумолимое горе положило на бѣднаго музикуса свою неизгладимую печать, искривило и обезобразило его, и безъ того невзрачную, фигуру; но для того, кто умѣлъ не останавливаться на первыхъ впечатлѣніяхъ, что-то *доброе*, честное, что-то необыкновенное виднѣлось въ этомъ

полуразрушенномъ существѣ. Поклонникъ Баха и Генделя, знатокъ своего дѣла, одаренный живымъ воображеніемъ и той смѣлостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Леммъ со временемъ—кто знаетъ?—сталъ бы въ ряду великихъ композиторовъ своей родины, если бъ жизнь иначе его повела; но не подъ счастливой звѣздой онъ родился! Онъ много написалъ на своемъ вѣку — и ему не удалось увидѣть ни одного своего произведенія изданнымъ; не умѣлъ онъ приняться за дѣло, какъ слѣдовало, поклониться кстати, похлопотать во-время. Какъ-то, давнымъ-давно тому назадъ, одинъ его поклонникъ и другъ, тоже нѣмецъ и тоже бѣдный, издалъ на свой счетъ двѣ его сонаты, — да и тѣ остались цѣликомъ въ подвалахъ музыкальныхъ магазиновъ; глухо и безслѣдно провалились онѣ, словно ихъ ночью кто въ рѣку бросилъ. Леммъ наконецъ махнулъ рукой на все; притомъ и годы брали свое: онъ зачерствѣлъ, одеревянѣлъ, какъ пальцы его одеревянѣли. Одинъ, съ старой кухаркой, взятой имъ изъ богадѣльни (онъ никогда женатъ не былъ), проживалъ онъ въ О... въ небольшомъ домишкѣ, недалеко отъ Калитинскаго дома; много гулялъ, читалъ библію да собраніе протестантскихъ псалмовъ, да Шекспира въ шлегелевскомъ переводѣ. Онъ давно ничего не сочинялъ; но видно Лиза, лучшая его ученица, умѣла его расшевелить: онъ написалъ для нея кантату, о которой упомянулъ Паншинъ. Слова этой кантаты были имъ заимствованы изъ собранія псалмовъ; нѣкоторые стихи онъ самъ присочинилъ. Его пѣли два хора,—хоръ счастливцевъ и хоръ несчастливцевъ; оба они къ концу примирялись и пѣли вмѣстѣ: „Боже милостивый, помилуй насъ грѣшныхъ и отжени отъ насъ всякія лукавыя мысли и земныя надежды.“—На заглавномъ листѣ, весьма тщательно написанномъ и даже разрисованномъ, стояло: „Только праведные правы. Духовная кантата. Сочинена и посвящена дѣвицѣ Елизаветѣ Калитиной, моей любезной ученицѣ, ея учителемъ, Х. Т. Г. Леммомъ“. Слова: „Только праведные правы“ и „Елизаветѣ Калитиной“ были окружены лучами. Внизу были приписано: „Для васъ однѣхъ, für Sie allein“.—

Оттого-то Леммъ и покраснѣлъ и взглянулъ искоса на Лизу; ему было очень больно, когда Паншинъ заговорилъ при немъ объ его кантатѣ.

VI.

Паншинъ громко и рѣшительно взялъ первые аккорды сонаты (онъ игралъ вторую руку), но Лиза не начинала своей партіи. Онъ остановился и посмотрѣлъ на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствіе; губы ея не улыбались, все лицо было строго, почти печально.

— Что̀ съ вами? спросилъ онъ.

— Зачѣмъ вы не сдержали своего слова? сказала она.— Я вамъ показала кантату Христофора Ѳедорыча подъ тѣмъ условіемъ, чтобъ вы не говорили ему о ней.

— Виноватъ, Лизавета Михайловна,—къ слову пришлось.

— Вы его огорчили—и меня тоже. Теперь онъ и мнѣ довѣрять не будетъ.

— Что́ прикажете дѣлать, Лизавета Михайловна! Отъ младыхъ ногтей не могу видѣть равнодушно нѣмца: такъ и подмываетъ меня его подразнить.

— Что́ вы это говорите, Владиміръ Николаичъ! Этотъ нѣмецъ, бѣдный, одинокій, убитый человѣкъ—и вамъ его не жаль? Вамъ хочется дразнить его?

Паншинъ смутился.

— Вы правы, Лизавета Михайловна, промолвилъ онъ.— Всему виною—моя вѣчная необдуманность. Нѣтъ, не возражайте мнѣ; я себя хорошо знаю. Много зла мнѣ надѣлала моя необдуманность. По ея милости я прослылъ за эгоиста.

Паншинъ помолчалъ. Съ чего бы ни начиналъ онъ разговоръ, онъ обыкновенно кончалъ тѣмъ, что говорилъ о самомъ себѣ, и это выходило у него какъ-то мило и мягко, задушевно, словно невольно.

— Вотъ и въ вашемъ домѣ, продолжалъ онъ:—матушка ваша, конечно, ко мнѣ благоволитъ — она такая добрая; вы... впрочемъ, я не знаю вашего мнѣнія обо мнѣ; за то̀ ваша тетушка просто меня терпѣть не можетъ. Я ее тоже, должно-быть, обидѣлъ какимъ-нибудь необдуманнымъ, глу-

пымъ словомъ. Вѣдь она меня не любитъ, не правда ли?

— Да, произнесла Лиза съ небольшой запинкой: — вы ей не нравитесь.

Паншинъ быстро провелъ пальцами по клавишамъ; едва замѣтная усмѣшка скользнула по его губамъ.

— Ну, а вы? промолвилъ онъ: — я вамъ тоже кажусь эгоистомъ?

— Я васъ еще мало знаю, возразила Лиза:—но я васъ не считаю за эгоиста; я, напротивъ, должна быть благодарна вамъ...

— Знаю, знаю, что̀ вы хотите сказать, перебилъ ее Паншинъ, и снова пробѣжалъ пальцами по клавишамъ:— за ноты, за книги, которыя я вамъ приношу, за плохіе рисунки, которыми я украшаю вашъ альбомъ, и такъ далѣе, и такъ далѣе. Я могу все это дѣлать — и все-таки быть эгоистомъ. Смѣю думать, что вы не скучаете со мною и что вы не считаете меня за дурного человѣка, но все же вы полагаете, что я — какъ бишь это сказано? — для краснаго словца не пожалѣю ни отца, ни пріятеля.

— Вы разсѣянны и забывчивы, какъ всѣ свѣтскіе люди, промолвила Лиза:—вотъ и все.

Паншинъ немного нахмурился.

— Послушайте, сказалъ онъ: — не будемте больше говорить обо мнѣ; станемте разыгрывать нашу сонату. Объ одномъ только прошу я васъ, промолвилъ онъ, разглаживая рукою листы лежавшей на пюпитрѣ тетради:—думайте обо мнѣ, что̀ хотите, называйте меня даже эгоистомъ — такъ и быть! но не называйте меня свѣтскимъ человѣкомъ: эта кличка мнѣ нестерпима... Anch'io sono pittore. Я тоже артистъ, хотя плохой, и это, а именно то, что я плохой артистъ,—я вамъ докажу сейчасъ же на дѣлѣ. Начнемъ же.

— Начнемъ, пожалуй, сказала Лиза.

Первое adagio прошло довольно благополучно, хотя Паншинъ неоднократно ошибался. Свое и заученное онъ игралъ очень мило, но разбиралъ плохо. За то вторая часть сонаты — довольно быстрое allegro — совсѣмъ не пошла: на двадцатомъ тактѣ, Паншинъ, отставшій такта на два, не выдержалъ и со смѣхомъ отодвинулъ свой стулъ.

— Нѣтъ! воскликнулъ онъ:—я не могу сегодня играть; хорошо, что Леммъ насъ не слышалъ: онъ бы въ обморокъ упалъ.

Лиза встала, закрыла фортепіано и обернулась къ Паншину.

— Что́ же мы будемъ дѣлать? спросила она.

— Узнаю васъ въ этомъ вопросѣ! Вы никакъ не можете сидѣть сложа руки. Что-жъ, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсѣмъ стемнѣло. Авось другая муза—муза рисованія—какъ бишь ее звали? позабылъ... будетъ ко мнѣ благосклоннѣе. Гдѣ вашъ альбомъ? Помнится, тамъ мой пейзажъ не конченъ.

Лиза пошла въ другую комнату за альбомомъ, а Паншинъ, оставшись одинъ, досталъ изъ кармана батистовый платокъ, потеръ себѣ ногти и посмотрѣлъ, какъ-то скосясь, на свои руки. Онѣ у него были очень красивы и бѣлы; на большомъ пальцѣ лѣвой руки носилъ онъ винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась; Паншинъ усѣлся къ окну, развернулъ альбомъ.

— Ага! воскликнулъ онъ:—я вижу, вы начали срисовывать мой пейзажъ—и прекрасно. Очень хорошо! Вотъ тутъ только — дайте-ка карандашъ — не довольно сильно положены тѣни. Смотрите.

И Паншинъ размашисто проложилъ нѣсколько длинныхъ штриховъ. Онъ постоянно рисовалъ одинъ и тотъ же пейзажъ: на первомъ планѣ большія растрепанныя деревья, въ отдаленьѣ поляну, и зубчатыя горы на небосклонѣ. Лиза глядѣла черезъ его плечо на его работу.

— Въ рисункѣ, да и вообще въ жизни, говорилъ Паншинъ, сгибая голову то направо, то налѣво:—легкость и смѣлость—первое дѣло.

Въ это мгновеніе вошелъ въ комнату Леммъ и, сухо поклонившись, хотѣлъ удалиться; но Паншинъ бросилъ альбомъ и карандашъ въ сторону и преградилъ ему дорогу.

— Куда же вы, любезный Христоформъ Ѳедорычъ? развѣ вы не остаетесь чай пить?

— Мнѣ домой, проговорилъ Леммъ угрюмымъ голосомъ:—голова болитъ.

— Ну, что́ за пустяки, — останьтесь. Мы съ вами поспоримъ о Шекспирѣ.

— Голова болитъ, повторилъ старикъ.

— А мы безъ васъ принялись-было за Бетховенскую сонату, продолжалъ Паншинъ, любезно взявъ его за талію и свѣтло улыбаясь:—но дѣло совсѣмъ на ладъ не пошло. Вообразите, я не могъ двѣ ноты сряду взять вѣрно.

— Вы бы опять спѣлъ сфой романце лутчи, возразилъ Леммъ, отводя руки Паншина, и вышелъ вонъ.

Лиза побѣжала вслѣдъ за нимъ. Она догнала его на крыльцѣ.

— Христоферъ Ѳедорычъ, послушайте, сказала она ему по-нѣмецки, провожая его до воротъ по зеленой короткой травкѣ двора:—я виновата передъ вами — простите меня.

Леммъ ничего не отвѣчалъ.

— Я показала Владиміру Николаевичу вашу кантату; я была увѣрена, что онъ ее оцѣнитъ,—и она, точно, очень ему понравилась.

Леммъ остановился.

— Это ничего, сказалъ онъ по-русски и потомъ прибавилъ на родномъ своемъ языкѣ: — но онъ не можетъ ничего понимать; какъ вы этого не видите? Онъ дилетантъ— и все тутъ!

— Вы къ нему не справедливы, возразила Лиза:— онъ все понимаетъ и самъ почти все можетъ сдѣлать.

— Да, все второй нумеръ, легкій товаръ, спѣшная работа. Это нравится, и онъ нравится, и самъ онъ этимъ доволенъ — ну, и браво. А я не сержусь; эта кантата и я—мы оба старые дураки; мнѣ немножко стыдно, но это ничего.

— Простите меня, Христоферъ Ѳедорычъ, проговорила снова Лиза.

— Ничего, ничего, повторилъ онъ опять по-русски:— вы добрая дѣвушка... а вотъ кто-то къ вамъ идетъ. Прощайте. Вы очень добрая дѣвушка.

И Леммъ утороплennымъ шагомъ направился къ воротамъ, въ которыя входилъ какой-то незнакомый ему господинъ, въ сѣромъ пальто и широкой соломенной шляпѣ. Вѣжливо поклонившись ему (онъ кланялся всѣмъ новымъ лицамъ въ городѣ О....; отъ знакомыхъ онъ отворачивался

на улицѣ—такое ужъ онъ положилъ себѣ правило), Леммъ прошелъ мимо и исчезъ за заборомъ. Незнакомецъ съ удивленьемъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ и, вглядѣвшись въ Лизу, подошелъ прямо къ ней.

VII.

— Вы меня не узнаёте, промолвилъ онъ, снимая шляпу:—а я васъ узналъ, даромъ что уже восемь лѣтъ минуло съ тѣхъ поръ, какъ я васъ видѣлъ въ послѣдній разъ. Вы были тогда ребенокъ. Я Лаврецкій. Матушка ваша дома? Можно ее видѣть?

— Матушка будетъ очень рада, возразила Лиза: — она слышала о вашемъ пріѣздѣ.

— Вѣдь васъ, кажется, зовутъ Елизаветой? промолвилъ Лаврецкій, взбираясь по ступенямъ крыльца.

— Да.

— Я помню васъ хорошо; у васъ уже тогда было такое лицо, котораго не забываешь; я вамъ тогда возилъ конфекты.

Лиза покраснѣла и подумала: какой онъ странный! Лаврецкій остановился на минуту въ передней. Лиза вошла въ гостиную, гдѣ раздавался голосъ и хохотъ Паншина; онъ сообщалъ какую-то городскую сплетню Марьѣ Дмитріевнѣ и Гедеоновскому, уже успѣвшимъ вернуться изъ сада, и самъ громко смѣялся тому, что̀ разсказывалъ. При имени Лаврецкаго, Марья Дмитріевна вся всполошилась, поблѣднѣла и пошла къ нему навстрѣчу.

— Здравствуйте, здравствуйте, мой милый cousin! воскликнула она растянутымъ и почти слезливымъ голосомъ:— какъ я рада васъ видѣть!

— Здравствуйте, моя добрая кузина, возразилъ Лаврецкій и дружелюбно пожалъ ея протянутую руку: — какъ васъ Господь милуетъ?

— Садитесь, садитесь, мой дорогой Ѳедоръ Иванычъ. Ахъ, какъ я рада! Позвольте, во-первыхъ, представить вамъ мою дочь, Лизу...

— Я ужъ самъ отрекомендовался Лизаветѣ Михайловнѣ, перебилъ ее Лаврецкій.

— Мсьё Паншинъ... Сергѣй Петровичъ Гедеоновскій... Да садитесь же! Гляжу на васъ и, право, даже глазамъ не вѣрю. Какъ здоровье ваше?

— Какъ изволите видѣть: процвѣтаю. Да и вы, кузина,— какъ бы васъ не сглазить—не похудѣли въ эти восемь лѣтъ.

— Какъ подумаешь, сколько времени не видались, — мечтательно промолвила Марья Дмитріевна. — Вы откуда теперь? Гдѣ вы оставили... то-есть, я хотѣла сказать, торопливо подхватила она: — я хотѣла сказать, надолго ли вы къ намъ?

— Я пріѣхалъ теперь изъ Берлина, возразилъ Лаврецкій: — и завтра же отправляюсь въ деревню — вѣроятно, надолго.

— Вы, конечно, въ Лаврикахъ жить будете?

— Нѣтъ, не въ Лаврикахъ; а есть у меня, верстахъ въ двадцати-пяти отсюда, деревушка; такъ я туда ѣду.

— Это деревушка, что вамъ отъ Глафиры Петровны досталась?

— Та самая.

— Помилуйте, Ѳедоръ Иванычъ! У васъ въ Лаврикахъ такой чудесный домъ!

Лаврецкій чуть-чуть нахмурилъ брови.

— Да... но и въ той деревушкѣ есть флигелекъ; а мнѣ пока больше ничего не нужно. Это мѣсто—для меня теперь самое удобное.

Марья Дмитріевна опять до того смѣшалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншинъ пришелъ ей на помощь и вступилъ въ разговоръ съ Лаврецкимъ. Марья Дмитріевна успокоилась, опустилась на спинку креселъ и лишь изрѣдка вставляла свое словечко; но при этомъ такъ жалостливо глядѣла на своего гостя, такъ значительно вздыхала и такъ уныло покачивала головой, что тотъ, наконецъ, не вытерпѣлъ и довольно рѣзко спросилъ ее: здорова ли она?

— Слава Богу, возразила Марья Дмитріевна:—а что?

— Такъ, мнѣ показалось, что вамъ не по себѣ.

Марья Дмитріевна приняла видъ достойный и нѣсколько обиженный. „А коли такъ“, подумала она: „мнѣ со-

вершенно все равно: видно тебѣ, мой батюшка, все какъ съ гуся вода; иной бы съ горя исчахъ, а тебя еще разнесло". Марья Дмитріевна сама съ собой не церемонилась; вслухъ она говорила изящнѣе.

Лаврецкій, дѣйствительно, не походилъ на жертву рока. Отъ его краснощекаго, чисто-русскаго лица, съ большимъ бѣлымъ лбомъ, немного толстымъ носомъ и широкими правильными губами, такъ и вѣяло степнымъ здоровьемъ, крѣпкой, долговѣчной силой. Сложенъ онъ былъ на славу, — и бѣлокурые волосы вились на его головѣ, какъ у юноши. Въ однихъ только его глазахъ, голубыхъ, на выкатѣ и нѣсколько неподвижныхъ, замѣчалась — не то задумчивость, не то усталость, и голосъ его звучалъ какъ-то слишкомъ ровно.

Паншинъ между тѣмъ продолжалъ поддерживать разговоръ. Онъ навелъ рѣчь на выгоды сахароваренія, о которомъ недавно прочелъ двѣ французскія брошюрки, и съ спокойной скромностью принялся излагать ихъ содержаніе, не упоминая, впрочемъ, о нихъ ни единымъ словомъ.

— А вѣдь это Ѳедя! раздался вдругъ въ сосѣдней комнатѣ, за полу-закрытой дверью, голосъ Маѳы Тимоѳеевны:—Ѳедя, точно! И старушка проворно вошла въ гостиную. Лаврецкій не успѣлъ еще подняться со стула, какъ ужъ она обняла его. — Покажи-ка себя, покажи-ка, промолвила она, отодвигаясь отъ его лица. Э! да какой же ты славный! Постарѣлъ, а не подурнѣлъ нисколько, право! Да что ты руки у меня цѣлуешь—ты меня самоё цѣлуй, коли тебѣ мои сморщенныя щеки не противны. Небось, не спросилъ обо мнѣ: что, дескать, жива ли тетка? А вѣдь ты у меня на рукахъ родился, пострѣлъ этакой! Ну, да это все равно; гдѣ тебѣ было обо мнѣ вспомнить! Только ты умница, что пріѣхалъ. А что, мать моя, прибавила она, обращаясь къ Марьѣ Дмитріевнѣ: — угостила ты его чѣмъ-нибудь?

— Мнѣ ничего не нужно, поспѣшно проговорилъ Лаврецкій.

— Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи, Боже мой! Пріѣхалъ нивѣсть откуда, и чашки чаю ему не да-

дутъ. Лиза, пойди, похлопочи, да поскорѣй. Я помню, маленькій онъ былъ обжора страшный, да и теперь, должно-быть, покушать любитъ.

— Мое почтеніе, Марѳа Тимоѳеевна, промолвилъ Паншинъ, приближаясь сбоку къ расходившейся старушкѣ и низко кланяясь.

— Извините меня,. государь мой, возразила Марѳа Тимоѳеевна:—не замѣтила васъ на радости. На мать ты свою похожъ сталъ, на голубушку, продолжала она, снова обратившись къ Лаврецкому: — только носъ у тебя отцовскій былъ, отцовскимъ и остался. Ну—и надолго ты къ намъ?

— Я завтра ѣду, тетушка.

— Куда?

— Къ себѣ, въ Васильевское.

— Завтра?

— Завтра.

— Ну, коли завтра, такъ завтра. Съ Богомъ,—тебѣ лучше знать. Только ты, смотри, зайди проститься.—Старушка потрепала его по щекѣ.—Не думала я дождаться тебя; и не то, чтобъ я умирать собиралась; нѣтъ—меня еще годовъ на десять, пожалуй, хватитъ: всѣ мы, Пестовы, живучи; дѣдъ твой покойный, бывало, двужильными насъ прозывалъ; да вѣдь Господь тебя зналъ, сколько бъ ты еще за границей проболтался. Ну, а молодецъ ты, молодецъ; чай, попрежнему десять пудовъ одной рукой поднимаешь? Твой батюшка покойный, извини, ужъ на что былъ вздорный, а хорошо сдѣлалъ, что швейцарца тебѣ нанялъ; помнишь, вы съ нимъ на кулачки бились; гимнастикой, что ли, это прозывается?—Но, однако, что́ это я такъ раскудахталась; только г. Паншину (она никогда не называла его, какъ слѣдовало, Па́ншинымъ) разсуждать помѣшала. А, впрочемъ, станемте-ка лучше чай пить; да на террасу пойдемте его, батюшку, пить; у насъ сливки—не то, что́ въ вашихъ Лондонахъ да Парижахъ. Пойдемте-пойдемте, а ты, Ѳедюша, дай мнѣ руку. О! да какая же она у тебя толстая! Небось, съ тобой не упадешь.

Всѣ встали и отправились на террасу, за исключеніемъ Гедеоновскаго, который втихомолку удалился. Во все про-

долженіе разговора Лаврецкаго съ хозяйкой дома, Паншинымъ и Маѳоой Тимоѳеевной, онъ сидѣлъ въ уголкѣ, внимательно моргая и съ дѣтскимъ любопытствомъ вытянувъ губы: онъ спѣшилъ теперь разнести вѣсть о новомъ гостѣ по городу.

Въ тотъ же день, въ одиннадцать часовъ вечера, вотъ что происходило въ домѣ г-жи Калитиной. Внизу, на порогѣ гостиной, улучивъ удобное мгновеніе, Владиміръ Николаичъ прощался съ Лизой и говорилъ ей, держа ее за руку: „вы знаете, кто меня привлекаетъ сюда; вы знаете, зачѣмъ я безпрестанно ѣзжу въ вашъ домъ; къ чему тутъ слова, когда и такъ все ясно“. Лиза ничего не отвѣчала ему и, не улыбаясь, слегка приподнявъ брови и краснѣя, глядѣла на полъ, но не отнимала своей руки;—а наверху, въ комнатѣ Маоы Тимоѳеевны, при свѣтѣ лампадки, висѣвшей передъ тусклыми старинными образами, Лаврецкій сидѣлъ на креслахъ, облокотившись на колѣни и положивъ лицо на руки; старушка, стоя передъ нимъ, изрѣдка и молча гладила его по волосамъ. Болѣе часу провелъ онъ у ней, простившись съ хозяйкой дома; онъ почти ничего не сказалъ своей старинной доброй пріятельницѣ, и она его не разспрашивала... Да и къ чему было говорить, о чемъ разспрашивать? Она и такъ все понимала, она и такъ сочувствовала всему, чѣмъ переполнялось его сердце.

VIII.

Ѳедоръ Ивановичъ Лаврецкій (мы должны попросить у читателя позволеніе прервать на время нить нашего разсказа) происходилъ отъ стариннаго дворянскаго племени. Родоначальникъ Лаврецкихъ выѣхалъ въ княженіе Василія Темнаго изъ Пруссіи и былъ пожалованъ двумя стами четвертями земли въ Бѣжецкомъ-верху. Многіе изъ его потомковъ числились въ разныхъ службахъ, сидѣли подъ князьями и людьми именитыми на отдаленныхъ воеводствахъ, но ни одинъ изъ нихъ не поднялся выше стольника и не пріобрѣлъ значительнаго достоянія. Богаче и замѣчательнѣе всѣхъ Лаврецкихъ былъ родной прадѣдъ

Ѳедора Иваныча, Андрей, человѣкъ жестокій, дерзкій, умный и лукавый. До нынѣшняго дня не умолкла молва объ его самоуправствѣ, о бѣшеномъ его нравѣ, безумной щедрости и алчности неутолимой. Онъ былъ очень толстъ и высокъ ростомъ, изъ лица смуглъ и безбородъ, картавилъ и казался сонливымъ; но чѣмъ онъ тише говорилъ, тѣмъ больше трепетали всѣ вокругъ него. Онъ и жену досталъ себѣ подъ-стать. Пучеглазая, съ ястребинымъ носомъ, съ круглымъ желтымъ лицомъ, цыганка родомъ, вспыльчивая и мстительная, она ни въ чемъ не уступала мужу, который чуть не уморилъ ее и котораго она не пережила, хотя вѣчно съ нимъ грызлась. Сынъ Андрея, Петръ, Ѳедоровъ дѣдъ, не походилъ на своего отца: это былъ простой, степной баринъ, довольно взбалмошный, крикунъ и копотунъ, грубый, но не злой, хлѣбосолъ и псовый охотникъ. Ему было за тридцать лѣтъ, когда онъ наслѣдовалъ отъ отца двѣ тысячи душъ въ отличномъ порядкѣ; но онъ скоро ихъ распустилъ, частью продалъ свое имѣнье, дворню избаловалъ. Какъ тараканы сползались со всѣхъ сторонъ знакомые и незнакомые мелкіе людишки въ его обширныя, теплыя и неопрятныя хоромы; все это наѣдалось, чѣмъ попало, но до-сыта, напивалось до-пьяна и тащило вонъ, что могло, прославляя и величая ласковаго хозяина; и хозяинъ, когда былъ не въ духѣ, тоже величалъ своихъ гостей—дармоѣдами и прохвостами, а безъ нихъ скучалъ. Жена Петра Андреича была смиренница: онъ взялъ ее изъ сосѣдняго семейства, по отцовскому выбору и приказанію; звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмѣшивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выѣзжала, хотя пудриться, по ея словамъ, было для нея смертью. Поставятъ тебѣ, разсказывала она въ старости, войлочный шлыкъ на голову, волосы всѣ зачешутъ кверху, саломъ вымажутъ, мукой посыплютъ, желѣзныхъ булавокъ натыкаютъ,—не отмоешься потомъ; а въ гости безъ пудры нельзя—обидятся;—мука!—Она любила кататься на рысакахъ, въ карты готова была играть съ утра до вечера, и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее

копеечный выигрышъ, когда мужъ подходилъ къ игорному столу; а все свое приданое, всѣ деньги отдала ему въ безотвѣтное распоряженіе. Она прижила съ нимъ двухъ дѣтей: сына Ивана, Ѳедорова отца, и дочь Глафиру. Иванъ воспитывался не дома, а у богатой, старой тетки, княжны Кубенской: она назначила его своимъ наслѣдникомъ (безъ этого отецъ бы его не отпустилъ); одѣвала его, какъ куклу, нанимала ему всякаго рода учителей, приставила къ нему гувернера, француза, бывшаго аббата, ученика Жанъ-Жака Руссо, нѣкоего m-r Courtin de Vaucelles, ловкаго и тонкаго проныру,—самую, какъ она выражалась, fine fleur эмиграціи, — и кончила тѣмъ, что чуть не 70-ти лѣтъ вышла замужъ за этого „финь-флёра“; перевела на его имя все свое состояніе и вскорѣ потомъ, разрумяненная, раздушенная амброй à la Richelieu, окруженная арапчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковомъ кривомъ диванчикѣ временъ Людовика XV, съ эмалевой табакеркой работы Петито въ рукахъ,—и умерла, оставленная мужемъ: вкрадчивый господинъ Куртенъ предпочелъ удалиться въ Парижъ съ ея деньгами. Ивану пошелъ всего двадцатый годъ, когда этотъ неожиданный ударъ (мы говоримъ о бракѣ княжны, не объ ея смерти) надъ нимъ разразился; онъ не захотѣлъ остаться въ теткиномъ домѣ, гдѣ онъ изъ богатаго наслѣдника внезапно превратился въ приживальщика; въ Петербургѣ общество, въ которомъ онъ выросъ, передъ нимъ закрылось; въ службѣ съ низкихъ чиновъ, трудной и темной, онъ чувствовалъ отвращеніе (все это происходило въ самомъ началѣ царствованія императора Александра);—пришлось ему, поневолѣ, вернуться въ деревню, къ отцу. Грязно, бѣдно, дрянно показалось его родимое гнѣздо: глушь и копоть степного житья-бытья на каждомъ шагу его оскорбляли; скука его грызла; за то и на него всѣ въ домѣ, кромѣ матери, недружелюбно глядѣли. Отцу не нравились его столичныя привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, въ которой недаромъ чуялась ему гадливость; онъ, то и дѣло, жаловался и ворчалъ на сына. — „Все

здѣсь не по немъ, говаривалъ онъ: за столомъ привередничаетъ, не ѣстъ, людского запаху, духоты переносить не можетъ, видъ пьяныхъ его разстраиваетъ, драться при немъ тоже не смѣй, служить не хочетъ: слабъ, вишь, здоровьемъ; фу ты, нѣженка этакой! А все оттого, что Вольтеръ въ головѣ сидитъ". Старикъ особенно не жаловалъ Вольтера, да еще „изувѣра" Дидерота, хотя ни одной строки изъ ихъ сочиненій не прочелъ: читать было не по его части. Петръ Андреичъ не ошибался: точно, и Дидеротъ и Вольтеръ сидѣли въ головѣ его сына, и не они одни—и Руссо, и Рейналь, и Гельвецій, и много другихъ, подобныхъ имъ, сочинителей сидѣли въ его головѣ,— но въ одной только головѣ. Бывшій наставникъ Ивана Петровича, отставной аббатъ и энциклопедистъ, удовольствовался тѣмъ, что влилъ цѣликомъ въ своего воспитанника всю премудрость XVIII-го вѣка, и онъ такъ и ходилъ наполненный ею; она пребывала въ немъ, не смѣшавшись съ его кровью, не проникнувъ въ его душу, не сказавшись крѣпкимъ убѣжденьемъ... Да и возможно ли было требовать убѣжденій отъ молодого малаго 50 лѣтъ тому назадъ, когда мы еще и теперь не доросли до нихъ? Посѣтителей отцовскаго дома Иванъ Петровичъ тоже стѣснялъ: онъ ими гнушался, они его боялись; а съ сестрой Глафирой, которая была двѣнадцатью годами старше его, онъ не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо: некрасивая, горбатая, худая, съ широко раскрытыми, строгими глазами и сжатымъ тонкимъ ртомъ, она лицомъ, голосомъ, угловатыми быстрыми движеніями, напоминала свою бабку, цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотѣла о замужествѣ. Возвращеніе Ивана Петровича ей пришлось не по-нутру; пока княжна Кубенская держала его у себя, она надѣялась получить, по крайней мѣрѣ, половину отцовскаго имѣнія: она и по скупости вышла въ бабку. Сверхъ того, Глафира завидовала брату: онъ такъ былъ образованъ, такъ хорошо говорилъ по-французски, съ парижскимъ выговоромъ, а она едва умѣла сказать: „бонжуръ", да „команъ ву порте ву?" Правда, родители ея по-французски вовсе не разумѣли, — да отъ

этого ей не было легче. Иванъ Петровичъ не зналъ, куда дѣться отъ тоски и скуки; невступно годъ провелъ онъ въ деревнѣ, да и тотъ показался ему за десять лѣтъ. Только съ матерью своею онъ и отводилъ душу, и по цѣлымъ часамъ сиживалъ въ ея низкихъ покояхъ, слушая незатѣйливую болтовню доброй женщины и наѣдаясь вареньемъ. Случилось такъ, что въ числѣ горничныхъ Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая дѣвушка, съ ясными, кроткими глазками и тонкими чертами лица, по имени Маланья, умница и скромница. Она съ перваго разу приглянулась Ивану Петровичу; и онъ полюбилъ ее: онъ полюбилъ ея робкую походку, стыдливые отвѣты, тихій голосокъ, тихую улыбку; съ каждымъ днемъ она ему казалась милѣй. И она привязалась къ Ивану Петровичу всей силою души, какъ только русскія дѣвушки умѣютъ привязаться—и отдалась ему. Въ помѣщичьемъ деревенскомъ домѣ никакая тайна долго держаться не можетъ: скоро всѣ узнали о связи молодого барина съ Маланьей; вѣсть объ этой связи дошла наконецъ до самого Петра Андреича. Въ другое время онъ, вѣроятно, не обратилъ бы вниманія на такое маловажное дѣло; но онъ давно злился на сына, и обрадовался случаю пристыдить петербургскаго мудреца и франта. Поднялся гвалтъ, крикъ и гамъ: Маланью заперли въ чуланъ; Ивана Петровича потребовали къ родителю. Анна Павловна тоже прибѣжала на шумъ. Она попыталась-было укротить мужа, но Петръ Андреичъ уже ничего не слушалъ. Ястребомъ напустился онъ на сына; упрекалъ его въ безнравственности, въ безбожіи, въ притворствѣ; кстати выместилъ на немъ всю накипѣвшую досаду противъ княжны Кубенской, осыпалъ его обидными словами. Сначала Иванъ Петровичъ молчалъ и крѣпился, но когда отецъ вздумалъ грозить ему постыднымъ наказаньемъ, онъ не вытерпѣлъ. „Изувѣръ Дидеротъ опять на сценѣ,—подумалъ онъ,—такъ пущу же я его въ дѣло, постойте; я васъ всѣхъ удивлю“. И тутъ же спокойнымъ, ровнымъ голосомъ, хотя съ внутренней дрожью во всѣхъ членахъ, Иванъ Петровичъ объявилъ отцу, что онъ напрасно укоряетъ его въ безнравственности; что хотя онъ не намѣренъ оправды-

вать свою вину, но готовъ ее исправить, и тѣмъ охотнѣе, что чувствуетъ себя выше всякихъ предразсудковъ — а именно—готовъ жениться на Маланьѣ. Произнеся эти слова, Иванъ Петровичъ, безспорно, достигъ своей цѣли: онъ до того изумилъ Петра Андреича, что тотъ глаза вытаращилъ и онѣмѣлъ на мгновенье; но тотчасъ же опомнился, и какъ былъ въ тулупчикѣ на бѣличьемъ мѣху и въ башмакахъ на босу ногу, такъ и бросился съ кулаками на Ивана Петровича, который, какъ нарочно, въ тотъ день причесался à la Titus и надѣлъ новый англійскій синій фракъ, сапоги съ кисточками и щегольскіе лосинные панталоны въ обтяжку. Анна Павловна закричала благимъ матомъ и закрыла лицо руками, а сынъ ея побѣжалъ черезъ весь домъ, выскочилъ на дворъ, бросился въ огородъ, въ садъ, черезъ садъ вылетѣлъ на дорогу, и все бѣжалъ безъ оглядки, пока наконецъ пересталъ слышать за собою тяжелый топотъ отцовскихъ шаговъ и его усиленные прерывистые крики...—Стой, мошенникъ! вопилъ онъ,—стой! проклятну!—Иванъ Петровичъ спрятался у сосѣдняго однодворца, а Петръ Андреичъ вернулся домой весь изнеможенный и въ поту, объявилъ, едва переводя дыханіе, что лишаетъ сына благословенія и наслѣдства, приказалъ сжечь всѣ его дурацкія книги, а дѣвку Маланью немедленно сослать въ дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, извѣстили его обо всемъ. Пристыженный, взбѣшенный, онъ поклялся отомстить отцу, и въ ту же ночь, подкарауливъ крестьянскую телѣгу, на которой везли Маланью, отбилъ ее силой, поскакалъ съ нею въ ближайшій городъ и обвѣнчался съ ней. Деньгами его снабдилъ сосѣдъ, вѣчно пьяный и добрѣйшій отставной морякъ, страшный охотникъ до всякой, какъ онъ выражался, благородной исторіи. На другой день Иванъ Петровичъ написалъ язвительно-холодное и учтивое письмо Петру Андреичу, а самъ отправился въ деревню, гдѣ жилъ его троюродный братъ, Дмитрій Нестовъ, съ своею сестрой, уже знакомою читателямъ, Маріей Тимоѳеевной. Онъ разсказалъ имъ все, объявилъ, что намѣренъ ѣхать въ Петербургъ искать мѣста и упросилъ

ихъ хоть на время пріютить его жену. При словѣ: жена— онъ всплакнулъ горько и, несмотря на свое столичное образованіе и философію, униженно, бѣднячкомъ-русачкомъ поклонился своимъ родственникамъ въ ноги, и даже стукнулъ о-полъ лбомъ. Нестовы, люди жалостливые и добрые, охотно согласились на его просьбу; онъ прожилъ у нихъ недѣли три, втайнѣ ожидая отвѣта отъ отца; но отвѣта не пришло,—и придти не могло. Петръ Андреичъ, узнавъ о свадьбѣ сына, слегъ въ постель и запретилъ упоминать при себѣ имя Ивана Петровича; только мать, тихонько отъ мужа, заняла у благочиннаго и прислала 500 рублей ассигнаціями да образокъ его женѣ; написать она побоялась, но велѣла сказать Ивану Петровичу, черезъ посланнаго сухопараго мужичка, умѣвшаго уходить въ сутки по шестидесяти верстъ, чтобъ онъ не очень огорчался, что, Богъ дастъ, все устроится и отецъ переложитъ гнѣвъ на милость; что и ей другая невѣстка была бы желательнѣе, но что видно Богу такъ было угодно, а что она посылаетъ Маланьѣ Сергѣевнѣ свое родительское благословеніе. Сухопарый мужичокъ получилъ рубль, попросилъ позволенія повидаться съ новою барыней, которой онъ доводился кумомъ, поцѣловалъ у ней ручку и побѣжалъ во-свояси.

А Иванъ Петровичъ отправился въ Петербургъ съ легкимъ сердцемъ. Неизвѣстная будущность его ожидала; бѣдность, быть-можетъ, грозила ему, но онъ разстался съ ненавистною деревенской жизнью, а главное — не выдалъ своихъ наставниковъ, дѣйствительно „пустилъ въ ходъ“ и оправдалъ на дѣлѣ Руссо, Дидерота и la Déclaration des droits de l'homme. Чувство совершеннаго долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу; да и разлука съ женою не очень пугала его; его бы скорѣе смутила необходимость постоянно жить съ женою. То дѣло было сдѣлано; надобно было приняться за другія дѣла. Въ Петербургѣ, вопреки его собственнымъ ожиданіямъ, ему повезло: княжна Кубенская,—которую мусье Куртенъ успѣлъ бросить, но которая не успѣла еще умереть,— чтобы чѣмъ-нибудь загладить свою вину передъ племян-

никомъ, отрекомендовала его всѣмъ своимъ друзьямъ и подарила ему 5,000 рублей—едва ли не послѣднія свои денежки—да Лепиковскіе часы съ его вензелемъ въ гирляндѣ амуровъ. Не прошло трехъ мѣсяцевъ, какъ онъ ужъ получилъ мѣсто при русской миссіи въ Лондонѣ и съ первымъ отходившимъ англійскимъ кораблемъ (пароходовъ тогда еще въ поминѣ не было) уплылъ за море. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, получилъ онъ письмо отъ Пестова. Добрый помѣщикъ поздравлялъ Ивана Петровича съ рожденіемъ сына, явившагося на свѣтъ въ селѣ Покровскомъ 20 августа 1807 года и нареченнаго Ѳеодоромъ, въ честь святого мученика Ѳедора Стратилата. По причинѣ большой слабости Маланья Сергѣевна приписывала только нѣсколько строкъ; но и эти немногія строки удивили Ивана Петровича: онъ не зналъ, что Марѳа Тимоѳеевна выучила его жену грамотѣ. Впрочемъ, Иванъ Петровичъ не долго предавался сладостному волненію родительскихъ чувствъ: онъ ухаживалъ за одной изъ знаменитыхъ тогдашнихъ Фринъ или Лаисъ (классическія названія еще процвѣтали въ то время); Тильзитскій миръ былъ только-что заключенъ, и все спѣшило наслаждаться, все крутилось въ какомъ-то бѣшеномъ вихрѣ; черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денегъ у него было очень мало; но онъ счастливо игралъ въ карты, заводилъ знакомства, участвовалъ во всѣхъ увеселеніяхъ, словомъ, плылъ на всѣхъ парусахъ.

IX.

Старикъ Лаврецкій долго не могъ простить сыну его свадьбу; если бъ, пропустя полгода, Иванъ Петровичъ явился къ нему съ повинной головой и бросился ему въ ноги, онъ бы, пожалуй, помиловалъ его, выбранивъ сперва хорошенько и постучавъ по немъ для страха клюкою; но Иванъ Петровичъ жилъ за границей и, повидимому, въ усъ себѣ не дулъ. — „Молчи! не смѣй!“ твердилъ Петръ Андреичъ всякій разъ женѣ, какъ только та пыталась склонить его на милость; „ему, щенку, должно вѣчно за меня Бога молить, что я клятвы на него не положилъ,

покойный батюшка изъ собственныхъ рукъ убилъ бы его, негоднаго, и хорошо бы сдѣлалъ". Анна Павловна, при такихъ страшныхъ рѣчахъ, только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петръ Андреичъ сначала и слышать о ней не хотѣлъ, и даже въ отвѣтъ на письмо Пестова, въ которомъ тотъ упоминалъ о его невѣсткѣ, велѣлъ ему сказать, что онъ никакой якобы своей невѣстки не вѣдаетъ, а что законами воспрещается держать бѣглыхъ дѣвокъ, о чемъ онъ считалъ долгомъ его предупредить; но потомъ, узнавъ о рожденіи внука, смягчился, приказалъ подъ рукой освѣдомиться о здоровьѣ родительницы и послалъ ей, тоже будто не отъ себя, немного денегъ. Ѳедѣ еще году не минуло, какъ Анна Павловна занемогла смертельною болѣзнью. За нѣсколько дней до кончины, уже не вставая съ постели, съ робкими слезинками на погасающихъ глазахъ, объявила она мужу при духовникѣ, что желаетъ повидаться и проститься съ невѣсткой, благословить внука. Огорченный старикъ успокоилъ ее и тотчасъ же послалъ собственный свой экипажъ за невѣсткой, въ первый разъ называя ее Маланьей Сергѣевной. Она пріѣхала съ сыномъ и съ Марѳой Тимоѳеевной, которая ни за что не хотѣла отпустить ее одну и не дала бы ее въ обиду. Полуживая отъ страха вошла Маланья Сергѣевна въ кабинетъ Петра Андреича. Нянька несла за ней Ѳедю. Петръ Андреичъ молча поглядѣлъ на нее; она подошла къ его рукѣ; ея трепетныя губы едва сложились въ беззвучный поцѣлуй.

— Ну, сыромолотная дворянка, проговорилъ онъ наконецъ:—здравствуй; пойдемъ къ барынѣ.

Онъ всталъ и нагнулся къ Ѳедѣ; ребенокъ улыбнулся и протянулъ къ нему свои блѣдныя ручонки. Старика перевернуло.

— Охъ, промолвилъ онъ:—сиротливый! Умолилъ ты меня за отца; не оставлю я тебя, птенчикъ.

Маланья Сергѣевна, какъ вошла въ спальню Анны Павловны, такъ и стала на колѣни возлѣ двери. Анна Павловна подманила ее къ постели, обняла ее, благословила ея сына; потомъ, обративъ обглоданное жестокою болѣзнью лицо къ своему мужу, хотѣла-было заговорить...

— Знаю, знаю, о чемъ ты просить хочешь, промолвилъ Петръ Андреичъ:—не печалься: она останется у насъ, и Ваньку для нея помилую.

Анна Павловна съ усиліемъ поймала руку мужа и прижалась къ ней губами. Въ тотъ же вечеръ ея не стало.

Петръ Андреичъ сдержалъ свое слово. Онъ извѣстилъ сына, что для смертнаго часа его матери, для младенца Ѳедора, онъ возвращаетъ ему свое благословеніе, и Маланью Сергѣевну оставляетъ у себя въ домѣ. Ей отвели двѣ комнаты въ антресоляхъ, онъ представилъ ее своимъ почтеннѣйшимъ гостямъ, кривому бригадиру Скурехину и женѣ его; подарилъ ей двухъ дѣвокъ и казачка для посылокъ; Марѳа Тимоѳеевна съ ней простилась; она возненавидѣла Глафиру и въ теченіе одного дня раза три поссорилась съ нею.

Тяжело и неловко было сперва бѣдной женщинѣ; но потомъ она обтерпѣлась и привыкла къ своему тестю. Онъ тоже привыкъ къ ней, даже полюбилъ ее, хотя почти никогда не говорилъ съ ней, хотя въ самыхъ его ласкахъ къ ней замѣчалось какое-то невольное пренебреженіе. Больше всего терпѣла Маланья Сергѣевна отъ своей золовки. Глафира еще при жизни матери успѣла понемногу забрать весь домъ въ руки: всѣ, начиная съ отца, ей покорялись; безъ ея разрѣшенія куска сахару не выдавалось; она скорѣе согласилась бы умереть, чѣмъ подѣлиться властью съ другой хозяйкой, — и какою еще хозяйкой! Свадьба брата раздражила ее еще больше, чѣмъ Петра Андреича: она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергѣевна съ перваго же часа стала ея рабой. Да и гдѣ жъ ей было бороться съ самовольной, надменной Глафирой, ей, безотвѣтной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьемъ? Дня не проходило, чтобъ Глафира не напомнила ей прежняго ея положенія, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергѣевна охотно помирилась бы на этихъ напоминовеніяхъ и похвалахъ, какъ горьки онѣ ни были... но Ѳедю у нея отняли: вотъ что ее сокрушало. Подъ предлогомъ, что она не въ состояніи заниматься его воспитаніемъ, ее почти не допускали ко

него; Глафира взялась за это дѣло; ребенокъ поступилъ въ ея полное распоряженіе. Маланья Сергѣевна съ горя начала въ своихъ письмахъ умолять Ивана Петровича, чтобы онъ вернулся поскорѣе; самъ Петръ Андреичъ желалъ видѣть своего сына; но онъ все только отписывался, благодарилъ отца за жену, за присылаемыя деньги, обѣщалъ пріѣхать вскорѣ,—и не ѣхалъ. Двѣнадцатый годъ вызвалъ его, наконецъ, изъ-за границы. Увидавшись въ первый разъ послѣ шестилѣтней разлуки, отецъ съ сыномъ обнялись и даже словомъ не помянули о прежнихъ раздорахъ; не до того было тогда: вся Россія поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течетъ въ ихъ жилахъ. Петръ Андреичъ на свой счетъ одѣлъ цѣлый полкъ ратниковъ. Но война кончилась, опасность миновалась; Иванъ Петровичъ опять заскучалъ, опять потянуло его въ даль, въ тотъ міръ, съ которымъ онъ сросся и гдѣ чувствовалъ себя дома. Маланья Сергѣевна не могла удержать его; она слишкомъ мало для него значила. Даже надежды ея не сбылись: мужъ ея также нашелъ, что гораздо приличнѣе поручить Глафирѣ воспитаніе Ѳеди. Бѣдная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичной разлуки: безропотно, въ нѣсколько дней угасла она. Въ теченіе всей своей жизни не умѣла она ничему сопротивляться, и съ недугомъ она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильныя тѣни ложились на ея лицо, но черты ея попрежнему выражали терпѣливое недоумѣніе и постоянную кротость смиренія; съ той же нѣмой покорностью глядѣла она на Глафиру, и какъ Анна Павловна на смертномъ одрѣ поцѣловала руку Петра Андреича, такъ и она приложилась къ Глафириной рукѣ, поручая ей, Глафирѣ, своего единственнаго сына. Такъ кончило свое земное поприще тихое и доброе существо, Богъ знаетъ зачѣмъ выхваченное изъ родной почвы и тотчасъ же брошенное, какъ вырванное деревцо, корнями на солнце; оно увяло, оно пропало безъ слѣда, это существо, и никто не горевалъ о немъ. Пожалѣли о Маланьѣ Сергѣевнѣ ея горничныя, да еще Петръ Андреичъ. Старику недоставало ея молчаливаго присут-

ствія. „Прости—прощай, моя безотвѣтная!“ прошепталъ онъ, кланяясь ей въ послѣдній разъ, въ церкви. Онъ плакалъ, бросая горсть земли въ могилу.

Онъ самъ не долго пережилъ ее, не болѣе пяти лѣтъ. Зимой 1819 года, онъ тихо скончался въ Москвѣ, куда переѣхалъ съ Глафирой и внукомъ, и завѣщалъ похоронить себя рядомъ съ Анной Павловной, да съ „Малашей“. Иванъ Петровичъ находился тогда въ Парижѣ, для своего удовольствія; онъ вышелъ въ отставку скоро послѣ 1815 года. Узнавъ о смерти отца, онъ рѣшился возвратиться въ Россію. Надобно было подумать объ устройствѣ имѣнія, да и Ѳедѣ, по письму Глафиры, минуло двѣнадцать лѣтъ, и наступило время серьезно заняться его воспитаніемъ.

X.

Иванъ Петровичъ вернулся въ Россію англоманомъ. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртукъ со множествомъ воротничковъ, кислое выраженіе лица, что-то рѣзкое и вмѣстѣ равнодушное въ обращеніи, произношеніе сквозь зубы, деревянный внезапный хохотъ, отсутствіе улыбки, исключительно политическій и политико-экономическій разговоръ, страсть къ кровавымъ ростбифамъ и портвейну—все въ немъ такъ и вѣяло Великобританіей; весь онъ казался пропитанъ ея духомъ. Но—чудное дѣло! превратившись въ англомана, Иванъ Петровичъ сталъ въ то же время патріотомъ, по крайней мѣрѣ онъ называлъ себя патріотомъ, хотя Россію зналъ плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно: въ обыкновенной бесѣдѣ рѣчь его, неповоротливая и вялая, вся пестрѣла галлицизмами; но чуть разговоръ касался предметовъ важныхъ, у Ивана Петровича тотчасъ являлись выраженія въ родѣ: „оказать новые опыты самоусердія“, „сіе не согласуется съ самою натурою обстоятельства“ и т. д. Иванъ Петровичъ привезъ съ собою нѣсколько рукописныхъ плановъ, касавшихся до устройства и улучшенія государства; онъ очень былъ недоволенъ всѣмъ, что видѣлъ,—отсутствіе системы въ особенности возбуждало его желчь. При

свиданіи съ сестрою, онъ съ первыхъ же словъ объявилъ ей, что намѣренъ ввести коренныя преобразованія, что впредь у него все будетъ идти по новой системѣ. Глафира Петровна ничего не отвѣчала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала: „куда же я-то дѣнусь?“—Впрочемъ, пріѣхавши въ деревню вмѣстѣ съ братомъ и племянникомъ, она скоро успокоилась. Въ домѣ, точно, произошли нѣкоторыя перемѣны: приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанію; въ числѣ ихъ пострадали двѣ старухи, одна—слѣпая, другая—разбитая параличомъ, да еще дряхлый маіоръ Очаковскихъ временъ, котораго, по причинѣ его дѣйствительно-замѣчательной жадности, кормили однимъ чернымъ хлѣбомъ да чечевицей. Также вышелъ приказъ не принимать прежнихъ гостей: всѣхъ ихъ замѣнилъ дальній сосѣдъ, какой-то бѣлокурый, золотушный баронъ, очень хорошо воспитанный и очень глупый человѣкъ. Появилась новая мебель изъ Москвы; завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики, завтракъ сталъ иначе подаваться; иностранныя вина изгнали водки и наливки; людямъ пошили новыя ливреи; къ фамильному гербу прибавилась подпись: „in recto virtus“... Въ сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась: всѣ выдачи, покупки, попрежнему, отъ нея зависѣли; вывезенный изъ-за границы камердинеръ изъ эльзасцевъ попытался-было съ нею потягаться — и лишился мѣста, несмотря на то, что баринъ ему покровительствовалъ. Что же до хозяйства, до управленія имѣніями (Глафира Петровна входила и въ эти дѣла), то, несмотря на неоднократно выраженное Иваномъ Петровичемъ намѣреніе: вдохнуть новую жизнь въ этотъ хаосъ,—все осталось по-старому, только оброкъ кой-гдѣ прибавился, да барщина стала потяжелѣе, да мужикамъ запретили обращаться прямо къ Ивану Петровичу. Патріотъ очень ужъ презиралъ своихъ согражданъ. Система Ивана Петровича въ полной силѣ своей примѣнена была только къ Ѳедѣ: воспитаніе его дѣйствительно подверглось „коренному преобразованію“: отецъ исключительно занялся имъ.

XI.

До возвращенія Ивана Петровича изъ-за границы, Ѳедя находился, какъ уже сказано, на рукахъ Глафиры Петровны. Ему не было восьми лѣтъ, когда мать его скончалась; онъ видѣлъ ее не каждый день и полюбилъ ее страстно: память о ней, объ ея тихомъ и блѣдномъ лицѣ, объ ея унылыхъ взглядахъ и робкихъ ласкахъ навѣки запечатлѣлась въ его сердцѣ; но онъ смутно понималъ ея положеніе въ домѣ; онъ чувствовалъ, что между нимъ и нею существовала преграда, которую она не смѣла и не могла разрушить. Отца онъ дичился, да и самъ Иванъ Петровичъ никогда не ласкалъ его; дѣдушка изрѣдка гладилъ его по головкѣ и допускалъ къ рукѣ, но называлъ и считалъ дурачкомъ. Послѣ смерти Маланьи Сергѣевны, тетка окончательно забрала его въ руки. Ѳедя боялся ея, боялся ея свѣтлыхъ и зоркихъ глазъ, ея рѣзкаго голоса; онъ не смѣлъ пикнуть при ней; бывало, онъ только-что зашевелится на своемъ стулѣ, ужъ она и шипитъ: „куда? сиди смирно“. По воскресеньямъ, послѣ обѣдни, позволяли ему играть, то-есть, давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочиненіе нѣкоего Максимовича-Амбодика, подъ заглавіемъ: „Символы и Эмблемы“. Въ этой книгѣ помѣщалось около тысячи частью весьма загадочныхъ рисунковъ, съ столь же загадочными толкованіями на пяти языкахъ. Купидонъ съ голымъ и пухлымъ тѣломъ игралъ большую роль въ этихъ рисункахъ. Къ одному изъ нихъ, подъ названіемъ: „Шафранъ и Радуга“ относилось толкованіе: „дѣйствіе сего есть большое“; противъ другого, изображавшаго „Цаплю, летящую съ фіалковымъ цвѣткомъ во рту“, стояла надпись: „Тебѣ всѣ они суть извѣстны“.—„Купидонъ и медвѣдь, лижущій своего медвѣженка“, означали: „Мало-по-малу“. Ѳедя разсматривалъ эти рисунки; всѣ были ему знакомы до малѣйшихъ подробностей; нѣкоторые, всегда одни и тѣ же, заставляли его задумываться и будили его воображеніе; другихъ развлеченій онъ не зналъ. Когда наступила пора учить его языкамъ и музыкѣ, Глафира Петровна наняла за безцѣ-

нокъ старую дѣвицу, шведку съ заячьими глазами, которая съ грѣхомъ пополамъ говорила по-французски и понѣмецки, кое-какъ играла на фортепіано, да сверхъ того отлично солила огурцы. Въ обществѣ этой наставницы, тетки, да старой сѣнной дѣвушки, Васильевны, провелъ Ѳедя цѣлыхъ четыре года. Бывало, сидитъ онъ въ уголку съ своими „Эмблемами"—сидитъ... сидитъ... въ низкой комнатѣ пахнетъ гераніумомъ, тускло горитъ одна сальная свѣчка, сверчокъ трещитъ однообразно, словно скучаетъ, маленькіе стѣнные часы торопливо чикаютъ на стѣнѣ, мышь украдкой скребется и грызетъ за обоями, а три старыя дѣвы, словно Парки, молча и быстро шевелятъ спицами, тѣни отъ рукъ то бѣгаютъ, то странно дрожатъ въ полутьмѣ, и странныя, такъ же полутемныя мысли роятся въ головѣ ребенка. Никто бы не назвалъ Ѳедю интереснымъ дитятей: онъ былъ довольно блѣденъ, но толстъ, нескладно сложенъ и неловокъ, — настоящій мужикъ, по выраженію Глафиры Петровны; блѣдность скоро бы исчезла съ его лица, если бы его почаще выпускали на воздухъ. Учился онъ порядочно, хотя часто лѣнился; онъ никогда не плакалъ; зато по-временамъ находило на него дикое упрямство; тогда уже никто не могъ съ нимъ сладить. Ѳедя не любилъ никого изъ окружавшихъ его... Горе сердцу, не любившему смолоду!

Такимъ-то нашелъ его Иванъ Петровичъ и, не теряя времени, принялся примѣнять къ нему свою систему. — „Я изъ него хочу сдѣлать человѣка прежде всего, un homme, сказалъ онъ Глафирѣ Петровнѣ:—и не только человѣка, но спартанца". Исполненіе своего намѣренія Иванъ Петровичъ началъ съ того, что одѣлъ сына по-шотландски: двѣнадцатилѣтній малый сталъ ходить съ обнаженными икрами и съ пѣтушьимъ перомъ на складномъ картузѣ; шведку замѣнилъ молодой швейцарецъ, изучившій гимнастику до совершенства; музыку, какъ занятіе недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественныя науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совѣту Жанъ-Жака Руссо, и геральдика, для поддержанія *рыцарскихъ* чувствъ,—вотъ чѣмъ долженъ былъ за-

ниматься будущій „человѣкъ“; его будили въ четыре часа утра, тотчасъ окачивали холодною водой и заставляли бѣгать вокругъ высокаго столба на веревкѣ; ѣлъ онъ разъ въ день по одному блюду, ѣздилъ верхомъ, стрѣлялъ изъ арбалета; при всякомъ удобномъ случаѣ упражнялся, по примѣру родителя, въ твердости воли и каждый вечеръ вносилъ въ особую книгу отчетъ прошедшаго дня и свои впечатлѣнія; а Иванъ Петровичъ, съ своей стороны, писалъ ему наставленія по-французски, въ которыхъ онъ называлъ его: mon fils, и говорилъ ему: vous. По-русски Ѳедя говорилъ отцу: „ты“, но въ его присутствіи не смѣлъ садиться. „Система“ сбила съ толку мальчика, поселила путаницу въ его головѣ, притиснула ее; но за то на его здоровье новый образъ жизни благодѣтельно подѣйствовалъ: сначала онъ схватилъ горячку, но вскорѣ оправился и сталъ молодцомъ. Отецъ гордился и называлъ его на своемъ странномъ нарѣчіи: „сынъ натуры, произведеніе мое“. Когда Ѳедѣ минулъ шестнадцатый годъ, Иванъ Петровичъ почелъ за долгъ заблаговременно поселить въ него презрѣніе къ женскому полу,—и молодой спартанецъ, съ робостью на душѣ, съ первымъ пухомъ на губахъ, полный соковъ, силъ и крови, уже старался казаться равнодушнымъ, холоднымъ и грубымъ.

Между тѣмъ время шло да шло. Иванъ Петровичъ бо̀льшую часть года проводилъ въ Лаврикахъ (такъ называлось главное его родовое имѣніе), а по зимамъ пріѣзжалъ въ Москву одинъ, останавливался въ трактирѣ, прилежно посѣщалъ клубъ, ораторствовалъ и развивалъ свои планы въ гостиныхъ и болѣе чѣмъ когда-либо держался англоманомъ, брюзгой и государственнымъ человѣкомъ. Но насталъ 1825 годъ и много принесъ съ собою горя. Близкіе знакомые и пріятели Ивана Петровича подверглись тяжкимъ испытаніямъ. Иванъ Петровичъ поспѣшилъ удалиться въ деревню и заперся въ своемъ домѣ. Прошелъ еще годъ, и Иванъ Петровичъ вдругъ захилѣлъ, ослабѣлъ, опустился; здоровье ему измѣнило. Вольнодумецъ—началъ ходить въ церковь и заказывать молебны; европеецъ—сталъ париться въ банѣ, обѣдать въ два часа,

ложиться въ девять, засыпать подъ болтовню стараго дворецкаго; государственный человѣкъ—сжегъ всѣ свои планы, всю переписку, трепеталъ передъ губернаторомъ и егозилъ передъ исправникомъ; человѣкъ съ закаленною волею—хныкалъ и жаловался, когда у него вскакивалъ вередъ, когда ему подавали тарелку холоднаго супу. Глафира Петровна опять завладѣла всѣмъ въ домѣ; опять начали ходить съ задняго крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики къ „старой колотовкѣ",—такъ прозывали ее дворовые люди. Перемѣна въ Иванѣ Петровичѣ сильно поразила его сына; ему уже пошелъ девятнадцатый годъ, и онъ начиналъ размышлять и высвобождаться изъ-подъ гнета давившей его руки. Онъ и прежде замѣчалъ разладицу между словами и дѣлами отца, между его широкими либеральными теоріями и черствымъ, мелкимъ деспотизмомъ; но онъ не ожидалъ такого крутого перелома. Застарѣлый эгоистъ вдругъ выказался весь. Молодой Лаврецкій собирался ѣхать въ Москву, подготовиться въ университетъ, — неожиданное, новое бѣдствіе обрушилось на голову Ивана Петровича: онъ ослѣпъ, и ослѣпъ безнадежно, въ одинъ день.

Не довѣряя искусству русскихъ врачей, онъ сталъ хлопотать о позволеніи отправиться за границу. Ему отказали. Тогда онъ взялъ съ собою сына и цѣлыхъ три года проскитался по Россіи отъ одного доктора къ другому, безпрестанно переѣзжая изъ города въ городъ и приводя въ отчаяніе врачей, сына, прислугу, своимъ малодушіемъ и нетерпѣніемъ. Совершенной тряпкой, плаксивымъ и капризнымъ ребенкомъ воротился онъ въ Лаврики. Наступили горькіе денёчки, натерпѣлись отъ него всѣ. Иванъ Петровичъ утихалъ только, пока обѣдалъ; никогда онъ такъ жадно и такъ много не ѣлъ; все остальное время онъ ни себѣ, ни другимъ не давалъ покоя. Онъ молился, роптalъ на судьбу, бранилъ себя, бранилъ политику, свою систему, бранилъ все, чѣмъ хвастался и кичился, все, что ставилъ нѣкогда сыну въ образецъ; твердилъ, что ни во что не вѣритъ, и молился снова; не выносилъ ни одного *мгновенья* одиночества и требовалъ отъ своихъ домаш-

нихъ, чтобъ они постоянно, днемъ и ночью, сидѣли возлѣ его креселъ и занимали его разсказами, которые онъ то и дѣло прерывалъ восклицаніями: „вы все врете,—экая чепуха!“

Особенно доставалось Глафирѣ Петровнѣ; онъ рѣшительно не могъ обойтись безъ нея—и она до конца исполняла всѣ прихоти больного, хотя иногда не тотчасъ рѣшалась отвѣчать ему, чтобы звукомъ голоса не выдать душившей ее злобы. Такъ проскрипѣлъ онъ еще два года и умеръ въ первыхъ числахъ мая, вынесенный на балконъ, на солнце. „Глаша, Глашка! буліонцу, буліонцу, старая дур...“ пролепеталъ его коснѣющій языкъ и, не договоривъ послѣдняго слова, умолкъ навѣки. Глафира Петровна, которая только-что выхватила чашку буліону изъ рукъ дворецкаго, остановилась, посмотрѣла брату въ лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча; а тутъ же находившійся сынъ тоже ничего не сказалъ, оперся на перила балкона и долго глядѣлъ въ садъ, весь благовонный и зеленый, весь блестѣвшій въ лучахъ золотого весенняго солнца. Ему было двадцать-три года; какъ страшно, какъ незамѣтно скоро пронеслись эти двадцать-три года!.. Жизнь открывалась передъ нимъ.

XII.

Схоронивъ отца и поручивъ той же неизмѣнной Глафирѣ Петровнѣ завѣдываніе хозяйствомъ и надзоръ за приказчиками, молодой Лаврецкій отправился въ Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Онъ сознавалъ недостатки своего воспитанія и вознамѣрился по возможности воротить упущенное. Въ послѣднія пять лѣтъ онъ много прочелъ и кое-что увидѣлъ; много мыслей перебродило въ его головѣ; любой профессоръ позавидовалъ бы нѣкоторымъ его познаніямъ, но въ то же время онъ не зналъ многаго, что каждому гимназисту давнымъ-давно извѣстно. Лаврецкій сознавалъ, что онъ не свободенъ; онъ втайнѣ чувствовалъ себя чудакомъ. Недобрую шутку сыгралъ англоманъ съ своимъ сыномъ; капризное воспитаніе принесло свои плоды. Долгіе годы онъ безотчетно смирялся передъ

отцомъ своимъ; когда же наконецъ онъ разгадалъ его, дѣло уже было сдѣлано, привычки вкоренились. Онъ не умѣлъ сходиться съ людьми: двадцати-трехъ лѣтъ отъ роду, съ неукротимой жаждой любви въ пристыженномъ сердцѣ, онъ еще ни одной женщинѣ не смѣлъ взглянуть въ глаза. При его умѣ, ясномъ и здравомъ, но нѣсколько тяжеломъ, при его наклонности къ упрямству, созерцанію и лѣни, ему бы слѣдовало съ раннихъ лѣтъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его продержали въ искусственномъ уединеніи... И вотъ, заколдованный кругъ расторгся, а онъ продолжалъ стоять на одномъ мѣстѣ, замкнутый и сжатый въ самомъ себѣ. Смѣшно было въ его года надѣть студентскій мундиръ; но онъ не боялся насмѣшекъ: его спартанское воспитаніе хоть на то пригодилось, что развило въ немъ пренебреженіе къ чужимъ толкамъ,—и онъ надѣлъ, не смущаясь, студентскій мундиръ. Онъ поступилъ въ физико-математическое отдѣленіе. Здоровый, краснощекій, уже съ заросшей бородой, молчаливый, онъ производилъ странное впечатлѣніе на своихъ товарищей; они не подозрѣвали того, что въ этомъ суровомъ мужѣ, аккуратно пріѣзжавшемъ на лекціи въ широкихъ деревенскихъ саняхъ парой, таился чуть не ребенокъ. Онъ имъ казался какимъ-то мудренымъ педантомъ; они въ немъ не нуждались и не искали въ немъ, онъ избѣгалъ ихъ. Въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ, проведенныхъ имъ въ университетѣ, онъ сблизился только съ однимъ студентомъ, у котораго бралъ уроки латинскаго языка. Студентъ этотъ, по имени Михалевичъ, энтузіастъ и стихотворецъ, искренно полюбилъ Лаврецкаго и совершенно случайно сталъ виновникомъ важной перемѣны въ его судьбѣ.

Однажды, въ театрѣ (Мочаловъ находился тогда на высотѣ своей славы, и Лаврецкій не пропускалъ ни одного представленія) увидѣлъ онъ въ ложѣ бель-этажа дѣвушку,— и хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставивъ дрогнуть его сердце, никогда еще оно такъ сильно не забилось. Облокотясь на бархатъ ложи, дѣвушка не шевелилась; чуткая, молодая жизнь играла въ каждой чертѣ ея смуглаго, круглаго, миловид-

наго лица; изящный умъ сказывался въ прекрасныхъ глазахъ, внимательно и мягко глядѣвшихъ изъ-подъ тонкихъ бровей, въ быстрой усмѣшкѣ выразительныхъ губъ, въ самомъ положеніи ея головы, рукъ, шеи; одѣта она была прелестно. Рядомъ съ нею сидѣла сморщенная и желтая женщина лѣтъ 45, декольте, въ черномъ токѣ, съ беззубою улыбкой на напряженно-озабоченномъ и пустомъ лицѣ, а въ углубленіи ложи виднѣлся пожилой мужчина, въ широкомъ сюртукѣ и высокомъ галстукѣ, съ выраженіемъ тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности въ маленькихъ глазкахъ, съ крашеными усами и бакенбардами, незначительнымъ огромнымъ лбомъ и измятыми щеками, по всѣмъ признакамъ отставной генералъ. Лаврецкій не отводилъ взоры отъ поразившей его дѣвушки; вдругъ дверь ложи отворилась и вошелъ Михалевичъ. Появленіе этого человѣка, почти единственнаго его знакомаго во всей Москвѣ, появленіе его въ обществѣ единственной дѣвушки, поглотившей все его вниманіе, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на ложу, онъ замѣтилъ, что всѣ находившіяся въ ней лица обращались съ Михалевичемъ, какъ съ стариннымъ пріятелемъ. Представленіе на сценѣ переставало занимать Лаврецкаго; самъ Мочаловъ, хотя и былъ въ тотъ вечеръ въ „ударѣ“, не производилъ на него обычнаго впечатлѣнія. Въ одномъ очень патетическомъ мѣстѣ Лаврецкій невольно взглянулъ на свою красавицу: она вся наклонилась впередъ, щеки ея пылали; подъ вліяніемъ его упорнаго взора, глаза ея, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на немъ... Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась, наконецъ, искусственно возведенная плотина: онъ и дрожалъ, и горѣлъ, и на другой же день отправился къ Михалевичу. Онъ узналъ отъ него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьиной; что старикъ и старуха, сидѣвшіе съ ней въ ложѣ, были отецъ ея и мать, и что самъ онъ, Михалевичъ, познакомился съ ними годъ тому назадъ, во время своего пребыванія въ подмосковной, на „кондиціи“ у графа Н. Съ величайшей похвалой отозвался энтузіастъ о Ва-

варѣ Павловнѣ.—Это, братъ ты мой, воскликнулъ онъ со свойственною ему порывистой дѣвучестью въ голосѣ,—эта дѣвушка — изумительное, геніальное существо, артистка въ настоящемъ смыслѣ слова, и притомъ предобрая. Замѣтивъ изъ разспросовъ Лаврецкаго, какое впечатлѣніе произвела на него Варвара Павловна, онъ самъ предложилъ ему познакомить его съ нею, прибавивъ, что онъ у нихъ, какъ свой; что генералъ человѣкъ совсѣмъ не гордый, а мать такъ глупа, что только тряпки не сосетъ. Лаврецкій покраснѣлъ, пробормоталъ что-то невнятное и убѣжалъ. Цѣлыхъ пять дней боролся онъ съ своею робостью; на шестой день молодой спартанецъ надѣлъ новенькій мундиръ и отдался въ распоряженіе Михалевича, который, будучи своимъ человѣкомъ, ограничился тѣмъ, что причесалъ себѣ волосы, — и оба отправились къ Коробьинымъ.

XIII.

Отецъ Варвары Павловны, Павелъ Петровичъ Коробьинъ, генералъ-маіоръ въ отставкѣ, весь свой вѣкъ провелъ въ Петербургѣ на службѣ, слылъ въ молодости ловкимъ танцоромъ и фрунтовикомъ, находился, по бѣдности, адъютантомъ при двухъ-трехъ невзрачныхъ генералахъ, женился на дочери одного изъ нихъ, взявъ тысячъ двадцать-пять приданаго, до тонкости постигъ всю премудрость ученій и смотровъ; тянулъ, тянулъ лямку и, наконецъ, годиковъ черезъ двадцать, добился генеральскаго чина, получилъ полкъ. Тутъ бы ему отдохнуть и упрочить, не спѣша, свое благосостояніе; онъ на это и разсчитывалъ, да немножко неосторожно повелъ дѣло: онъ придумалъ было новое средство пустить въ оборотъ казенныя деньги,— средство оказалось отличное, но онъ не во-время поскупился: на него донесли; вышла болѣе чѣмъ непріятная, вышла скверная исторія. Кое-какъ отвертѣлся генералъ отъ исторіи, но карьера его лопнула: ему посовѣтовали выйти въ отставку. Года два потолкался онъ еще въ Петербургѣ, въ надеждѣ, не наскочитъ ли на него теплень-кое статское мѣсто: но мѣсто на него не наскакивало;

дочь вышла изъ института, расходы увеличивались съ каждымъ днемъ... Скрѣпя сердце, рѣшился онъ переѣхать въ Москву на дешевые хлѣба, нанялъ въ Старой Конюшенной крошечный, низенькій домъ съ саженнымъ гербомъ на крышѣ, и зажилъ московскимъ отставнымъ генераломъ, тратя 2750 руб. въ годъ. Москва—городъ хлѣбосольный, рада принимать встрѣчныхъ и поперечныхъ, а генераловъ и подавно; грузная, но не безъ военной выправки, фигура Павла Петровича скоро стала появляться въ лучшихъ московскихъ гостиныхъ. Его голый затылокъ, съ косицами крашеныхъ волосъ и засаленной аннинской лентой на галстукѣ цвѣта воронова крыла, сталъ хорошо извѣстенъ всѣмъ скучливымъ и блѣднымъ юношамъ, угрюмо скитающимся во время танцевъ вокругъ игорныхъ столовъ. Павелъ Петровичъ сумѣлъ поставить себя въ обществѣ; говорилъ мало, но, по старой привычкѣ, въ носъ,—конечно, не съ лицами чиновъ высшихъ; осторожно игралъ въ карты, дома ѣлъ умѣренно, а въ гостяхъ за шестерыхъ. О женѣ его почти нечего сказать: звали ее Калліопой Карловной; изъ лѣваго ея глаза сочилась слезинка, въ силу чего Калліопа Карловна (притомъ же она была нѣмецкаго происхожденія) сама считала себя за чувствительную женщину; она постоянно чего-то все боялась, словно не доѣла, и носила узкія бархатныя платья, токъ и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Калліопы Карловны, Варварѣ Павловнѣ, только-что минулъ семнадцатый годъ, когда она вышла изъ ....скаго института, гдѣ считалась если не первою красавицей, то ужъ навѣрное первою умницей и лучшею музыкантшей, и гдѣ получила шифръ; ей еще девятнадцати лѣтъ не было, когда Лаврецкій увидалъ ее въ первый разъ.

XIV.

Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевичъ ввелъ его въ довольно плохо убранную гостиную Коробьиныхъ и представилъ хозяевамъ. Но овладѣвшее имъ чувство робости скоро исчезло: въ генералѣ врожденное всѣмъ

русскимъ добродушіе еще усугублялось тою особеннаго рода привѣтливостью, которая свойственна всѣмъ, немного замараннымъ, людямъ; генеральша какъ-то скоро стушевалась; что же касается до Варвары Павловны, то она такъ была спокойна и самоувѣренно-ласкова, что всякій въ ея присутствіи тотчасъ чувствовалъ себя какъ бы дома; притомъ, отъ всего ея плѣнительнаго тѣла, отъ улыбавшихся глазъ, отъ невинно-покатыхъ плечей и блѣдно-розовыхъ рукъ, отъ легкой и въ то же время какъ бы усталой походки, отъ самаго звука ея голоса, замедленнаго, сладкаго,—вѣяло неуловимой, какъ тонкій запахъ, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, нѣгой, чѣмъ-то такимъ, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, — и уже, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкій навелъ рѣчь на театръ, на вчерашнее представленіе; она тотчасъ сама заговорила о Мочаловѣ и не ограничилась одними восклицаніями и вздохами, но произнесла нѣсколько вѣрныхъ и женски-проницательныхъ замѣчаній насчетъ его игры. Михалевичъ упомянулъ о музыкѣ; она, не чинясь, сѣла за фортепіано и отчетливо сыграла нѣсколько Шопеновскихъ мазурокъ, тогда только-что входившихъ въ моду. Насталъ часъ обѣда; Лаврецкій хотѣлъ удалиться, но его удержали; за столомъ генералъ потчивалъ его хорошимъ лафитомъ, за которымъ генеральскій лакей на извозчикѣ скакалъ къ Депре. Поздно вечеромъ вернулся Лаврецкій домой и долго сидѣлъ, не раздѣваясь и закрывъ глаза рукою, въ оцѣпенѣніи очарованія. Ему казалось, что онъ теперь только понималъ, для чего стоитъ жить; всѣ его предположенія, намѣренія, весь этотъ вздоръ и прахъ, исчезли разомъ; вся душа его слилась въ одно чувство, въ одно желаніе, въ желаніе счастья, обладанія, любви, сладкой женской любви. Съ того дня онъ часто сталъ ходить къ Коробьинымъ. Полгода спустя, онъ объяснился Варварѣ Павловнѣ и предложилъ ей свою руку. Предложеніе его было принято; генералъ давнымъ-давно, чуть ли не наканунѣ перваго посѣщенія Лаврецкаго, спросилъ у Михалевича, сколько у него, Лаврецкаго, душъ; да и Варварѣ Павловнѣ, кото-

рая во все время ухаживанія молодого человѣка и даже въ самое мгновеніе признанія, сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варварѣ Павловнѣ хорошо было извѣстно, что женихъ ея богатъ; а Калліопа Карловна подумала: meine Tochter macht eine schöne Partie— и купила себѣ новый токъ.

XV.

Итакъ, предложеніе его было принято, но съ нѣкоторыми условіями. Во-первыхъ, Лаврецкій долженъ былъ немедленно оставить университетъ: кто-жъ выходитъ за студента, да и что за странная мысль—помѣщику, богатому, въ 26 лѣтъ, брать уроки, какъ школьнику? Во-вторыхъ, Варвара Павловна взяла на себя трудъ заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практическаго смысла, много вкуса и очень много любви къ комфорту, много умѣнья доставлять себѣ этотъ комфортъ. Это умѣнье особенно поразило Лаврецкаго, когда, тотчасъ послѣ свадьбы, онъ вдвоемъ съ женою отправился въ удобной, ею купленной каретѣ, въ Лаврики. Какъ все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрѣно Варварой Павловной! Какіе появились въ разныхъ уютныхъ уголкахъ прелестные дорожные несессеры, какіе восхитительные туалетные ящики и кофейники, и какъ мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрамъ! Впрочемъ, Лаврецкому было тогда не до наблюденій: онъ блаженствовалъ, упивался счастіемъ; онъ предавался ему, какъ дитя... Онъ и былъ невиненъ, какъ дитя, этотъ юный Алкидъ. Недаромъ вѣяло прелестью отъ всего существа его молодой жены; недаромъ сулила она чувству тайную роскошь неизвѣданныхъ наслажденій; она сдержала больше, чѣмъ сулила. Пріѣхавши въ Лаврики, въ самый разгаръ лѣта, она нашла домъ грязнымъ и темнымъ, прислугу смѣшною и устарѣлою, но не почла за нужное даже намекнуть о томъ мужу. Если бы она располагала основаться въ Лаврикахъ, она бы все въ нихъ передѣлала, начиная, разумѣется, съ дома; но мысль остаться въ этомъ степномъ захолустьѣ ни на мигъ не прихо-

дила ей въ голову; она жила въ немъ, какъ въ палаткѣ, кротко перенося всѣ неудобства и забавно подтрунивая надъ ними. Марѳа Тимоѳеевна пріѣхала повидаться съ своимъ воспитанникомъ; она очень понравилась Варварѣ Павловнѣ, но ей Варвара Павловна не понравилась. Съ Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила; она бы ее оставила въ покоѣ, но старику Коробьину захотѣлось запустить руки въ дѣла зятя; управлять имѣніемъ такого близкаго родственника, говорилъ онъ, не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павелъ Петровичъ не погнушался бы заняться имѣніемъ и вовсе чуждаго ему человѣка. Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно: не выдаваясь впередъ, повидимому вся погруженная въ блаженство медовыхъ мѣсяцевъ, въ деревенскую тихую жизнь, въ музыку и чтеніе, она понемногу довела Глафиру до того, что та въ одно утро вбѣжала, какъ бѣшеная, въ кабинетъ Лаврецкаго и, швырнувъ связку ключей на столъ, объявила, что не въ силахъ больше заниматься хозяйствомъ и не хочетъ оставаться въ деревнѣ. Надлежащимъ образомъ подготовленный Лаврецкій тотчасъ согласился на ея отъѣздъ.—Этого Глафира Петровна не ожидала. „Хорошо, — сказала она, и глаза ея потемнѣли, — я вижу, что я здѣсь лишняя! знаю, кто меня отсюда гонитъ, съ родового моего гнѣзда. Только ты помяни мое слово, племянникъ: не свить же и тебѣ гнѣзда нигдѣ, скитаться тебѣ вѣкъ. Вотъ тебѣ мой завѣтъ“. Въ тотъ же день она удалилась въ свою деревеньку, а черезъ недѣлю прибылъ генералъ Коробьинъ и, съ пріятною меланхоліей во взглядахъ и движеніяхъ, принялъ управленіе всѣмъ имѣніемъ на свои руки.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ Варвара Павловна увезла своего мужа въ Петербургъ. Двѣ зимы провела она въ Петербургѣ (на лѣто они переселялись въ Царское Село) въ прекрасной, свѣтлой, изящно меблированной квартирѣ; много завели они знакомствъ въ среднихъ и даже высшихъ кругахъ общества, много выѣзжали и принимали, давали прелестнѣйшія музыкальныя и танцовальныя вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, какъ огонь бабо-

чекъ. Ѳедору Иванычу не совсѣмъ-то нравилась такая разсѣянная жизнь. Жена совѣтовала ему вступить на службу; онъ, по старой отцовской памяти, да и по своимъ понятіямъ, не хотѣлъ служить, но въ угоду Варварѣ Павловнѣ оставался въ Петербургѣ. Впрочемъ, онъ скоро догадался, что никто не мѣшалъ ему уединиться, что не даромъ у него самый покойный и уютный кабинетъ во всемъ Петербургѣ, что заботливая жена даже готова помочь ему уединяться, — и съ тѣхъ поръ все пошло прекрасно. Онъ принялся опять за собственное, по его мнѣнію недоконченное, воспитаніе, опять сталъ читать, приступилъ даже къ изученію англійскаго языка. Странно было видѣть его могучую, широкоплечую фигуру, вѣчно согнутую надъ письменнымъ столомъ, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро онъ проводилъ за работой, обѣдалъ отлично (Варвара Павловна была хозяйка хоть-куда), а по вечерамъ вступалъ въ очаровательный, пахучій, свѣтлый міръ, весь населенный молодыми, веселыми лицами,— и средоточіемъ этого міра была также рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рожденіемъ сына, но бѣдный мальчикъ жилъ недолго, онъ умеръ весной, а лѣтомъ, по совѣту врачей, Лаврецкій повезъ жену за границу, на воды. Разсѣяніе было ей необходимо послѣ такого несчастья, да и здоровье ея требовало теплаго климата. Лѣто и осень они провели въ Германіи и Швейцаріи, а на зиму, какъ оно и слѣдовало ожидать, поѣхали въ Парижъ. Въ Парижѣ Варвара Павловна расцвѣла какъ роза, и такъ же скоро и ловко, какъ въ Петербургѣ, сумѣла свить себѣ гнѣздышко. Квартиру она нашла премиленькую, въ одной изъ тихихъ, но модныхъ улицъ Парижа; мужу сшила такой шлафрокъ, какого онъ еще и не нашивалъ; наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопнаго лакея; пріобрѣла восхитительную каретку, прелестный піанино. Не прошло недѣли, какъ уже она перебиралась черезъ улицу, носила шаль, раскрывала зонтикъ и надѣвала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась.

Сперва къ ней ѣздили одни русскіе, потомъ стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, съ прекрасными манерами, съ благозвучными фамиліями; всѣ они говорили скоро и много, развязно кланялись, пріятно щурили глаза; бѣлые зубы сверкали у всѣхъ подъ розовыми губами,—и какъ они умѣли улыбаться! Каждый изъ нихъ приводилъ своихъ друзей, и la belle madame de Lavretzki скоро стала извѣстна отъ Chaussée d'Antin до Rue de Lille. Въ тѣ времена (дѣло происходило въ 1836 году) еще не успѣло развестись племя фельетонистовъ и хроникеровъ, которое теперь кишитъ повсюду, какъ муравьи въ разрытой кочкѣ; но ужъ тогда появлялся въ салонѣ Варвары Павловны нѣкто m-r Jules, неблаговидной наружности господинъ, съ скандалезной репутаціей, наглый и низкій, какъ всѣ дуэлисты и битые люди. Этотъ m-r Jules былъ очень противенъ Варварѣ Павловнѣ, но она его принимала, потому что онъ пописывалъ въ разныхъ газетахъ и безпрестанно упоминалъ о ней, называя ее то m-me de L....tzki, то m-me de *** cette grande dame russe si distinguée, qui demeure rue de P....; разсказывалъ всему свѣту, т. е. нѣсколькимъ сотнямъ подписчиковъ, которымъ не было никакого дѣла до m-me de L....tzki, какъ эта дама, настоящая по уму француженка (une vraie française par l'ésprit)—выше этого у французовъ похвалъ нѣтъ—мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша, и какъ она удивительно вальсируетъ (Варвара Павловна, дѣйствительно, такъ вальсировала, что увлекала всѣ сердца за краями своей легкой, улетающей одежды)... словомъ, пускалъ о ней молву по-міру, — а вѣдь это, что ни говорите—пріятно. Дѣвица Марсъ уже сошла тогда со сцены, а дѣвица Рашель еще не появлялась; тѣмъ не менѣе Варвара Павловна прилежно посѣщала театры. Она приходила въ восторгъ отъ итальянской музыки и смѣялась надъ развалинами Одри, прилично зѣвала во Французской Комедіи и плакала отъ игры г-жи Дорваль въ какой-нибудь ультра-романтической мелодрамѣ; а главное Листъ у ней игралъ два раза и такъ былъ милъ, такъ простъ—прелесть! Въ такихъ пріятныхъ ощущеніяхъ прошла зима,

къ концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Ѳедоръ Иванычъ съ своей стороны не скучалъ, хотя жизнь, подчасъ, тяжела становилась у него на плечахъ,—тяжела, потому что пуста. Онъ читалъ газеты, слушалъ лекціи въ Sorbonne и Collège de France, слѣдилъ за преніями палатъ, принялся за переводъ извѣстнаго ученаго сочиненія объ ирригаціяхъ. „Я не теряю времени", думалъ онъ: „все это полезно; но къ будущей зимѣ надобно непремѣнно вернуться въ Россію и приняться за дѣло". Трудно сказать, ясно ли онъ сознавалъ, въ чемъ собственно состояло это дѣло, и Богъ знаетъ, удалось ли бы ему вернуться въ Россію къ зимѣ, — пока онъ ѣхалъ съ женою въ Баденъ-Баденъ... Неожиданный случай разрушилъ всѣ его планы.

XVI.

Войдя однажды въ отсутствіи Варвары Павловны въ ея кабинетъ, Лаврецкій увидалъ на полу маленькую, тщательно сложенную бумажку. Онъ машинально ее поднялъ, машинально развернулъ и прочелъ слѣдующее, написанное на французскомъ языкѣ:

„Милый ангелъ Бетси! (Я никакъ не рѣшаюсь назвать тебя Barbe или Варвара—Varvara.) Я напрасно прождалъ тебя на углу бульвара; приходи завтра къ половинѣ второго на нашу квартирку. Твой добрый толстякъ (ton gros bon-homme de mari) объ эту пору обыкновенно зарывается въ свои книги; мы опять споемъ ту пѣсенку вашего поэта *Пускина* (de votre poëte Pouskine), которой ты меня научила: Старый мужъ, грозный мужъ!—Тысячу поцѣлуевъ твоимъ ручкамъ и ножкамъ. Я жду тебя.

Эрнестъ".

Лаврецкій не сразу понялъ, что̀ такое онъ прочелъ; прочелъ во второй разъ — и голова у него закружилась, полъ заходилъ подъ ногами, какъ палуба корабля во время качки. Онъ и закричалъ, и задохнулся, и заплакалъ въ одно мгновеніе.

Онъ обезумѣлъ. Онъ такъ слѣпо довѣрялъ своей женѣ; возможность обмана, измѣны, никогда не представлялась

его мысли. Этотъ Эрнестъ, этотъ любовникъ его жены, былъ бѣлокурый, смазливый мальчикъ лѣтъ 23-хъ, со вздернутымъ носикомъ и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный изъ всѣхъ ея знакомыхъ. Прошло нѣсколько минутъ, прошло полчаса; Лаврецкій все стоялъ, стискивая роковую записку въ рукѣ и безсмысленно глядя на полъ; сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему блѣдныя лица; мучительно замирало сердце; ему казалось, что онъ падалъ, падалъ, падалъ... и конца не было. Знакомый, легкій шумъ шелковаго платья вывелъ его изъ оцѣпенѣнія; Варвара Павловна, въ шляпѣ и шали, торопливо возвращалась съ прогулки. Лаврецкій затрепеталъ весь и бросился вонъ; онъ почувствовалъ, что въ это мгновенье онъ былъ въ состояніи истерзать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки, задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотѣла остановить его; онъ могъ только прошептать: Бетси,—и выбѣжалъ изъ дому.

Лаврецкій взялъ карету и велѣлъ везти себя за городъ. Весь остатокъ дня и всю ночь до утра пробродилъ онъ, безпрестанно останавливаясь и всплескивая руками: онъ то безумствовалъ, то ему становилось какъ будто смѣшно, даже какъ будто весело. Утромъ онъ прозябъ и зашелъ въ дрянной загородный трактиръ, спросилъ комнату и сѣлъ на стулъ передъ окномъ. Судорожная зѣвота напала на него. Онъ едва держался на ногахъ, тѣло его изнемогало,—а онъ и не чувствовалъ усталости,—зато усталость брала свое: онъ сидѣлъ, глядѣлъ и ничего не понималъ; не понималъ, что̀ съ нимъ такое случилось, отчего онъ очутился одинъ, съ одеревянѣлыми членами, съ горечью во рту, съ камнемъ на груди, въ пустой, незнакомой комнатѣ; онъ не понималъ, что̀ заставило ее, Варю, отдаться этому французу, и какъ могла она, зная себя невѣрной, быть попрежнему спокойной, попрежнему ласковой и довѣрчивой съ нимъ! „Ничего не понимаю!“ шептали его засохшія губы. „Кто мнѣ поручится теперь, что въ Петербургѣ...“ И онъ не доканчивалъ вопроса и зѣвалъ опять, дрожа и пожимаясь всѣмъ тѣломъ. Свѣтлыя и темныя воспоминанія одинаково его терзали; ему вдругъ пришло въ голову, что

на-дняхъ она при немъ и при Эрнестѣ сѣла за фортепіано и спѣла: „Старый мужъ, грозный мужъ!“ Онъ вспомнилъ выраженіе ея лица, странный блескъ глазъ и краску на щекахъ, — и онъ поднялся со стула, онъ хотѣлъ пойти, сказать имъ: „вы со мной напрасно пошутили; прадѣдъ мой мужиковъ за ребра вѣшалъ, а дѣдъ мой самъ былъ мужикъ“ — да убить ихъ обоихъ. То вдругъ ему казалось, что все, что̀ съ нимъ дѣлается, сонъ, и даже не сонъ, а такъ, вздоръ какой-то: что стоитъ только встряхнуться, оглянуться... Онъ оглядывался и, какъ ястребъ когтитъ пойманную птицу, глубже и глубже врѣзывалась тоска въ его сердце. Къ довершенію всего, Лаврецкій, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, надѣялся быть отцомъ... Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена. Онъ вернулся, наконецъ, въ Парижъ, остановился въ гостиницѣ и послалъ Варварѣ Павловнѣ записку г-на Эрнеста съ слѣдующимъ письмомъ:

„Прилагаемая бумажка вамъ объяснитъ все. Кстати скажу вамъ, что я не узналъ васъ: вы, такая всегда аккуратная, роняете такія важныя бумаги“. (Эту фразу бѣдный Лаврецкій готовилъ и лелѣялъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ.) „Я не могу больше васъ видѣть; полагаю, что и вы не должны желать свиданія со мною. Назначаю вамъ 15,000 франковъ въ годъ; больше дать не могу. Присылайте вашъ адресъ въ деревенскую контору. Дѣлайте, что̀ хотите; живите, гдѣ хотите. Желаю вамъ счастія. Отвѣта не нужно“.

Лаврецкій написалъ женѣ, что не нуждается въ отвѣтѣ... но онъ ждалъ, онъ жаждалъ отвѣта, объясненія этого непонятнаго, непостижимаго дѣла. Варвара Павловна въ тотъ же день прислала ему большое французское письмо. Оно его доконало; послѣднія его сомнѣнія исчезли, — и ему стало стыдно, что у него оставались еще сомнѣнія. Варвара Павловна не оправдывалась: она желала только увидать его, умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо было холодно и напряженно, хотя кой-гдѣ виднѣлись пятна слезъ. Лаврецкій усмѣхнулся горько и велѣлъ сказать черезъ посланнаго, что все очень хорошо. Три дня спустя, его уже не было въ Парижѣ: но онъ поѣхалъ не

въ Россію, а въ Италію. Онъ самъ не зналъ, почему онъ выбралъ именно Италію; ему въ сущности было все равно, куда ни ѣхать,—лишь бы не домой. Онъ послалъ предписаніе своему бурмистру насчетъ жениной пенсіи, приказывая ему въ то же время немедленно принять отъ генерала Коробьина всѣ дѣла по имѣнію, не дожидаясь сдачи счетовъ, и распорядиться о выѣздѣ его превосходительства изъ Лавриковъ; живо представилъ онъ себѣ смущеніе, тщетную величавость изгоняемаго генерала и, при всемъ своемъ горѣ, почувствовалъ нѣкоторое злобное удовольствіе. Тогда же попросилъ онъ въ письмѣ Глафиру Петровну вернуться въ Лаврики и отправилъ на ея имя довѣренность; Глафира Петровна въ Лаврики не вернулась и сама напечатала въ газетахъ объ уничтоженіи довѣренности, что было совершенно излишне. Скрываясь въ небольшомъ италіанскомъ городкѣ, Лаврецкій еще долго не могъ заставить себя не слѣдить за женою. Изъ газетъ онъ узналъ, что она изъ Парижа поѣхала, какъ располагала, въ Баденъ-Баденъ: имя ея скоро появилось въ статейкѣ, подписанной тѣмъ же мсьё Жюлемъ. Въ этой статейкѣ, сквозь обычную игривость, проступало какое-то дружественное соболѣзнованіе; очень гадко сдѣлалось на душѣ Ѳедора Иваныча при чтеніи этой статейки. Потомъ онъ узналъ, что у него родилась дочь; мѣсяца черезъ два получилъ онъ отъ бурмистра извѣщеніе о томъ, что Варвара Павловна вытребовала себѣ первую треть своего жалованья. Потомъ стали ходить все болѣе и болѣе дурные слухи; наконецъ, съ шумомъ пронеслась по всѣмъ журналамъ трагикомическая исторія, въ которой жена его играла незавидную роль. Все было кончено: Варвара Павловна стала „извѣстностью“.

Лаврецкій пересталъ слѣдить за нею; но не скоро могъ съ собою сладить. Иногда такая брала его тоска по женѣ, что онъ, казалось, все бы отдалъ, даже, пожалуй... простилъ бы ее, лишь бы услышать снова ея ласковый голосъ, почувствовать снова ея руку въ своей рукѣ. Однако время шло не даромъ. Онъ не былъ рожденъ страдальцемъ; его здоровая природа вступила въ свои права. Мно-

гое стало ему ясно; самый ударъ, поразившій его, не казался ему болѣе непредвидѣннымъ; онъ понялъ свою жену,—близкаго человѣка только тогда и поймешь вполнѣ, когда съ нимъ разстанешься. Онъ опять могъ заниматься, работать, хотя уже далеко не съ прежнимъ рвеніемъ; скептицизмъ, подготовленный опытами жизни, воспитаніемъ, окончательно забрался въ его душу. Онъ сталъ очень равнодушенъ ко всему. Прошло года четыре, и онъ почувствовалъ себя въ силахъ возвратиться на родину, встрѣтиться съ своими. Не останавливаясь ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ, прибылъ онъ въ городъ О..., гдѣ мы разстались съ нимъ, и куда мы просимъ теперь благосклоннаго читателя вернуться вмѣстѣ съ нами.

XVII.

На другое утро, послѣ описаннаго нами дня, часу въ десятомъ, Лаврецкій всходилъ на крыльцо Калитинскаго дома. Ему навстрѣчу вышла Лиза, въ шляпкѣ и въ перчаткахъ.

— Куда вы? спросилъ онъ ее.

— Къ обѣднѣ. Сегодня воскресенье.

— А развѣ вы ходите къ обѣднѣ?

Лиза молча, съ изумленіемъ, посмотрѣла на него.

— Извините, пожалуйста, проговорилъ Лаврецкій:—я... я не то хотѣлъ сказать, я пришелъ проститься съ вами, я черезъ часъ ѣду въ деревню.

— Вѣдь это отсюда недалеко? спросила Лиза.

— Верстъ двадцать-пять.

На порогѣ двери появилась Леночка въ сопровожденіи горничной.

— Смотрите, не забывайте насъ, промолвила Лиза и спустилась съ крыльца.

— И вы не забывайте меня. Да послушайте, прибавилъ онъ:—вы идете въ церковь: помолитесь кстати и за меня.

Лиза остановилась и обернулась къ нему.

— Извольте, сказала она, прямо глядя ему въ лицо:—я помолюсь и за васъ. Пойдемъ, Леночка.

Въ гостиной Лаврецкій засталъ Марью Дмитріевну одну. Отъ нея пахло одеколономъ и мятой. У ней, по ея сло-

вамъ, болѣла голова, и ночь она провела безпокойно. Она приняла его съ обычною своею томной любезностью и понемногу разговорилась.

— Не правда ли, спросила она его:—Какой Владиміръ Николаевичъ пріятный молодой человѣкъ!

— Какой это Владиміръ Николаичъ?

— Да Паншинъ, вотъ, что́ вчера здѣсь былъ. Вы ему ужасно понравились; я вамъ скажу по секрету, mon cher cousin, онъ просто безъ ума отъ моей Лизы. Что жъ? Онъ хорошей фамиліи, служитъ прекрасно, уменъ, ну, камеръ-юнкеръ, и если на то будетъ воля Божія... я съ своей стороны, какъ мать, очень буду рада. Отвѣтственность, конечно, большая; конечно, отъ родителей зависитъ счастіе дѣтей, да вѣдь и то сказать: до сихъ поръ, худо ли, хорошо ли, а вѣдь все я, вездѣ я одна, какъ есть: и воспитала-то дѣтей, и учила ихъ, все я... я вотъ и теперь мамзель отъ г-жи Болюсъ выписала...

Марья Дмитріевна пустилась въ описаніе своихъ заботъ стараній, своихъ материнскихъ чувствъ. Лаврецкій слушалъ ее молча и вертѣлъ въ рукахъ шляпу. Его холодный, тяжелый взглядъ смутилъ разболтавшуюся барыню.

— А Лиза какъ вамъ нравится? спросила она.

— Лизавета Михайловна прекраснѣйшая дѣвица, возразилъ Лаврецкій, всталъ, откланялся и зашелъ къ Маѳѣ Тимоѳеевнѣ. Марья Дмитріевна съ неудовольствіемъ посмотрѣла ему вслѣдъ и подумала: „экой тюлень, мужикъ! Ну, теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему вѣрной“.

Маѳа Тимоѳеевна сидѣла у себя въ комнатѣ, окруженная своимъ штатомъ. Онъ состоялъ изъ пяти существъ, почти одинаково близкихъ ея сердцу: изъ толстозобаго ученаго снѣгиря, котораго она полюбила за то, что онъ пересталъ свистать и таскать воду, — маленькой, очень пугливой и смирной собачонки Роски, — сердитаго кота Матроса,—черномазой вертлявой дѣвочки лѣтъ девяти, съ огромными глазами и вострымъ носикомъ, которую звали Шурочкой,—и пожилой женщины лѣтъ пяти[illegible]-пяти, *въ бѣломъ* чепцѣ и коричневой кургузой к[illegible]ейкѣ на

темномъ платьѣ, по имени Настасьи Карповны Огарковой. Шурочка была мѣщаночка, круглая сирота. Марѳа Тимоѳеевна взяла ее къ себѣ изъ жалости, какъ и Роску: и собачонку, и дѣвочку она нашла на улицѣ; обѣ были худы и голодны, обѣихъ мочилъ осенній дождь; за Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступилъ Марѳѣ Тимоѳеевнѣ ея дядя, пьяный башмачникъ, который самъ не доѣдалъ и племянницу не кормилъ, а колотилъ по головѣ колодкой. Съ Настасьей Карповной Марѳа Тимоѳеевна свела знакомство на богомольѣ, въ монастырѣ; сама подошла къ ней въ церкви (она понравилась Марѳѣ Тимоѳеевнѣ за то, что, по ея словамъ, очень вкусно молилась), сама съ ней заговорила и пригласила ее къ себѣ на чашку чаю. Съ того дня она уже не разставалась съ ней. Настасья Карповна была женщина самаго веселаго и кроткаго нрава, вдова бездѣтная, изъ бѣдныхъ дворянокъ; голову имѣла круглую, сѣдую, мягкія бѣлыя руки, мягкое лицо съ крупными, добрыми чертами и нѣсколько смѣшнымъ, вздернутымъ носомъ; она благоговѣла передъ Марѳой Тимоѳеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала надъ ея нѣжнымъ сердцемъ: она чувствовала слабость ко всѣмъ молодымъ людямъ и невольно краснѣла, какъ дѣвочка, отъ самой невинной шутки. Весь ея капиталецъ состоялъ изъ 1200 рублей ассигнаціями; она жила на счетъ Марѳы Тимоѳеевны, но на ровной съ ней ногѣ: Марѳа Тимоѳеевна не вынесла бы подобострастія.

— А! Ѳедя! начала она, какъ только увидала его: — вчера вечеромъ ты не видѣлъ моей семьи: полюбуйся. Мы всѣ къ чаю собрались; это у насъ второй, праздничный чай. Всѣхъ поласкать можешь: только Шурочка не дастъ, а котъ оцарапаетъ. Ты сегодня ѣдешь?

— Сегодня.—Лаврецкій присѣлъ на низкое стульце.—Я уже съ Марьей Дмитріевной простился. Я и Лизавету Михайловну видѣлъ.

— Зови ее Лизой, отецъ мой, что за Михайловна она для тебя! Да сиди смирно, а то ты Шурочкинъ стулъ сломаешь.

— Она къ обѣднѣ шла, продолжалъ Лаврецкій.—Развѣ она богомольна?

— Да, Ѳедя, очень. Больше насъ съ тобою, Ѳедя.

— А вы развѣ не богомольны? замѣтила, пришепетывая, Настасья Карповна. И сегодня: къ ранней обѣднѣ не пошла, а къ поздней пойдете.

— Анъ нѣтъ,—ты одна пойдешь: облѣнилась я, мать моя, возразила Марѳа Тимоѳеевна,—чаемъ ужъ очень себя балую. Она говорила Настасьѣ Карповнѣ: *ты*, хотя и жила съ ней на ровной ногѣ — не даромъ же она была Пестова: трое Пестовыхъ значатся въ синодикѣ Ивана Васильевича Грознаго; Марѳа Тимоѳеевна это знала.

— Скажите, пожалуйста, началъ опять Лаврецкій: — мнѣ Марья Дмитріевна сейчасъ говорила объ этомъ... какъ бишь его?.. Паншинѣ. Что это за господинъ?

— Экая она болтушка, прости Господи! проворчала Марѳа Тимоѳеевна:—чай, подъ секретомъ тебѣ сообщила, что вотъ, молъ, какой навертывается женихъ. Шушукала бы съ своимъ поповичемъ; нѣтъ, видно, ей мало. И вѣдь пѣтъ еще ничего, да и славу Богу! а она уже болтаетъ.

— Почему же слава Богу? спросилъ Лаврецкій.

— А потому, что молодецъ мнѣ не нравится; да и чему тутъ радоваться?

— Не нравится онъ вамъ?

— Да, не всѣхъ же ему плѣнять. Будетъ съ него и того, что вотъ Настасья Карповна въ него влюблена.

Бѣдная вдова вся всполошилась.

— Что вы это, Марѳа Тимоѳеевна, Бога вы не боитесь! воскликнула она, и румянецъ мгновенно разлился у ней по лицу и по шеѣ.

— И вѣдь знаетъ, плутъ, перебила ее Марѳа Тимоѳеевна:—знаетъ, чѣмъ ее прельстить: табакерку ей подарилъ. Ѳедя, попроси у ней табачку понюхать; ты увидишь, табакерка какая славная: на крышкѣ гусаръ на конѣ представленъ. Ужъ ты лучше, мать моя, не оправдывайся.

Настасья Карповна только руками отмахивалась.

— Ну, а Лиза, спросилъ Лаврецкій:—къ нему неравнодушна?

—Кажется, онъ ей нравится,—а, впрочемъ, Господь ее вѣдаетъ! Чужая душа, ты знаешь, темный лѣсъ, а дѣвичья

и подавно. Вотъ и Шурочкину душу—поди, разбери! Зачѣмъ она прячется, а не уходитъ, съ тѣхъ поръ, какъ ты пришелъ?

Шурочка фыркнула подавленнымъ смѣхомъ и выскочила вонъ, а Лаврецкій поднялся съ своего мѣста.

— Да, промолвилъ онъ съ разстановкой:—дѣвичью душу не разгадаешь.

Онъ сталъ прощаться.

— Что-жъ скоро мы тебя увидимъ? спросила Марѳа Тимоѳеевна.

— Какъ придется, тетушка; тутъ вѣдь недалеко.

— Да, вѣдь ты въ Васильевское ѣдешь. Ты не хочешь жить въ Лаврикахъ:—ну, это твое дѣло; только съѣзди ты, поклонись гробу матери твоей, да и бабкину гробу кстати. Ты тамъ, за границей, всякаго ума набрался, а кто знаетъ, можетъ-быть, онѣ и почувствуютъ въ своихъ могилкахъ, что ты къ нимъ пришелъ. Да не забудь, Ѳедя, по Глафирѣ Петровнѣ тоже панафиду отслужить; вотъ тебѣ и цѣлковый. Возьми, возьми, это я по ней хочу отслужить панафиду. Я ее при жизни не любила, а нечего сказать, съ характеромъ была дѣвка. Умница была; ну и тебя не обидѣла. А теперь ступай съ Богомъ, а то я тебѣ надоѣмъ.

И Марѳа Тимоѳеевна обняла своего племянника.

— А Лизѣ за Паншинымъ не быть, не безпокойся; не такого мужа она стоитъ.

— Да я нисколько и не безпокоюсь, отвѣчалъ Лаврецкій, и удалился.

XVIII.

Часа четыре спустя, онъ ѣхалъ домой. Тарантасъ его быстро катился по проселочной, мягкой дорогѣ. Недѣли двѣ какъ стояла засуха; тонкій туманъ разливался молокомъ въ воздухѣ и застилалъ отдаленные лѣса; отъ него пахло гарью. Множество темноватыхъ тучекъ съ неясно-обрисованными краями расползались по блѣдно-голубому небу; довольно крѣпкій вѣтеръ мчался сухой, непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой къ подушкѣ и скрестивъ на груди руки, Лаврецкій глядѣлъ на пробѣгавшіе вѣеромъ загоны полей, на медленно мель-

кавшія ракиты, на глупыхъ воронъ и грачей, съ тупой подозрительностью взиравшихъ бокомъ на проѣзжавшій экипажъ, на длинныя межи, заросшія чернобыльникомъ, полынью и полевой рябиной; онъ глядѣлъ... и эта свѣжая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги съ приземистыми дубовыми кустами, сѣрыя деревеньки, жидкія березы—вся эта, давно имъ невиданная, русская картина навѣвала на его душу сладкія и въ то же время почти скорбныя чувства, давила грудь его какимъ-то пріятнымъ давленіемъ. Мысли его медленно бродили; очертанія ихъ были такъ же неясны и смутны, какъ очертанія тѣхъ высокихъ, тоже какъ будто бы бродившихъ тучекъ. Вспомнилъ онъ свое дѣтство, свою мать, вспомнилъ, какъ она умирала, какъ поднесли его къ ней, и какъ она, прижимая его голову къ своей груди, начала было слабо голосить надъ нимъ, да взглянула на Глафиру Петровну—и умолкла. Вспомнилъ онъ отца, сперва бодраго, всѣмъ недовольнаго, съ мѣднымъ голосомъ,—потомъ слѣпого, плаксиваго, съ неопрятной, сѣдой бородой; вспомнилъ, какъ онъ однажды за столомъ, выпивъ лишнюю рюмку вина и заливъ себѣ салфетку соусомъ, вдругъ засмѣялся и началъ, мигая ничего не видѣвшими глазами и краснѣя, разсказывать про свои побѣды; вспомнилъ Варвару Павловну,—и невольно прищурился, какъ щурится человѣкъ отъ мгновенной внутренней боли, и встряхнулъ головой. Потомъ мысль его остановилась на Лизѣ.

„Вотъ,—подумалъ онъ:—новое существо только-что вступаетъ въ жизнь. Славная дѣвушка, что-то изъ нея выйдетъ? Она и собой хороша. Блѣдное, свѣжее лицо, глаза и губы такіе серьезные, и взглядъ честный и невинный. Жаль, она, кажется, восторженна немножко. Ростъ славный, и такъ легко ходитъ, и голосъ тихій. Очень я люблю, когда она вдругъ остановится, слушаетъ со вниманіемъ, безъ улыбки, потомъ задумается и откинетъ назадъ свои волосы. Точно, мнѣ самому сдается, Паншинъ ея не стоитъ. Однако, чѣмъ же онъ дуренъ? А впрочемъ, чего я размечтался? Побѣжитъ и она по той же дорожкѣ, по какой всѣ бѣгаютъ. Лучше я сосну“. И Лаврецкій закрылъ глаза.

Заснуть онъ не могъ, но погрузился въ дремотное дорожное онѣмѣніе. Образы прошедшаго, попрежнему, не спѣша, поднимались, всплывали въ его душѣ, мѣшаясь и путаясь съ другими представленіями. Лаврецкій, Богъ знаетъ почему, сталъ думать о Робертѣ Пилѣ... о французской исторіи... о томъ, какъ бы онъ выигралъ сраженіе, еслибъ онъ былъ генераломъ; ему чудились выстрѣлы и крики... Голова его скользила на бокъ, онъ открывалъ глаза... Тѣ же поля, тѣ же степные виды; стертыя подковы пристяжныхъ поперемѣнно сверкаютъ сквозь волнистую пыль; рубаха ямщика, желтая, съ красными ластовицами, надувается отъ вѣтра... „Хорошъ возвращаюсь я на родину“—промелькнуло у Лаврецкаго въ головѣ; и онъ закричалъ: „пошелъ!“ запахнулся въ шинель и плотнѣе прижался къ подушкѣ. Тарантасъ толкнуло: Лаврецкій выпрямился и широко раскрылъ глаза. Передъ нимъ на пригоркѣ тянулась небольшая деревенька; немного вправо виднѣлся ветхій господскій домикъ, съ закрытыми ставнями и кривымъ крылечкомъ; по широкому двору, отъ самыхъ воротъ росла крапива, зеленая и густая, какъ конопля; тутъ же стоялъ дубовый, еще крѣпкій амбарикъ. Это было Васильевское.

Ямщикъ повернулъ къ воротамъ, остановилъ лошадей; лакей Лаврецкаго приподнялся на козлахъ и, какъ бы готовясь соскочить, закричалъ: гей! Раздался сиплый, глухой лай, но даже собаки не показалось; лакей снова приготовился соскочить и снова закричалъ: гей! Повторился дряхлый лай и, спустя мгновенье, на дворъ, неизвѣстно откуда, выбѣжалъ человѣкъ въ нанковомъ кафтанѣ, съ бѣлой, какъ снѣгъ, головой; онъ посмотрѣлъ, защищая глаза отъ солнца, на тарантасъ, ударилъ себя вдругъ обѣими руками по ляжкамъ, сперва немного заметался на мѣстѣ, потомъ бросился отворять ворота. Тарантасъ въѣхалъ на дворъ, шурша колесами по крапивѣ, и остановился передъ крыльцомъ. Бѣлоголовый человѣкъ, весьма повидимому юркій, уже стоялъ, широко и криво разставивъ ноги, на послѣдней ступенькѣ, отстегнулъ передокъ, судорожно дернувъ кверху кожу, и помогая барину спуститься на землю, поцѣловалъ у него руку.

— Здравствуй, здравствуй, братъ, проговорилъ Лаврецкій:—тебя, кажется, Антономъ зовутъ? Ты живъ еще?

Старикъ молча поклонился и побѣжалъ за ключами. Покаонъ бѣгалъ, ямщикъ сидѣлъ неподвижно, сбочась и поглядывая на запертую дверь; а лакей Лаврецкаго, какъ спрыгнулъ, такъ и остался въ живописной позѣ, закинувъ одну руку на козлы. Старикъ принесъ ключи и, безъ всякой нужды изгибаясь, какъ змѣя, высоко поднимая локти, отперъ дверь, посторонился и опять поклонился въ поясъ.

„Вотъ я и дома, вотъ я и вернулся", подумалъ Лаврецкій, входя въ крошечную переднюю, между тѣмъ какъ ставни со стукомъ и визгомъ отворялись одинъ за другимъ, и дневной свѣтъ проникалъ въ опустѣлые покои.

XIX.

Небольшой домикъ, куда пріѣхалъ Лаврецкій и гдѣ два года тому назадъ скончалась Глафира Петровна, былъ выстроенъ въ прошломъ столѣтіи, изъ прочнаго сосноваго лѣса; онъ на видъ казался ветхимъ, но могъ простоять еще лѣтъ пятьдесятъ или болѣе. Лаврецкій обошелъ всѣ комнаты и, къ великому безпокойству старыхъ, вялыхъ мухъ съ бѣлой пылью на спинѣ, неподвижно сидѣвшихъ подъ притолками, велѣлъ всюду открыть окна: съ самой смерти Глафиры Петровны никто не открывалъ ихъ. Все въ домѣ осталось, какъ было; тонконогіе бѣлые диванчики въ гостиной, обитые глянцовитымъ сѣрымъ штофомъ, протертые и продавленные, живо напоминали Екатерининскія времена; въ гостиной же стояло любимое кресло хозяйки, съ высокой и прямой спинкой, къ которой она и въ старости не прислонялась. На главной стѣнѣ висѣлъ старинный портретъ Ѳедорова прадѣда, Андрея Лаврецкаго; темное, желчное лицо едва отдѣлялось отъ почернѣвшаго и покороблennаго фона; небольшіе, злые глаза угрюмо глядѣли изъ-подъ нависшихъ, словно опухшихъ вѣкъ; черные волосы безъ пудры щеткой вздымались надъ тяжелымъ, изрытымъ лбомъ. На углѣ портрета висѣлъ вѣнокъ изъ запыленныхъ иммортелей. „Сами Глафира Петровна изволили плести", доложилъ Антонъ. Въ спальнѣ возвышалась

узкая кровать, подъ пологомъ изъ стародавней, весьма добротной полосатой матеріи; горка полинялыхъ подушекъ и стеганное жидкое одѣяльце лежали на кровати, а у изголовья висѣлъ образъ Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы, тотъ самый образъ, къ которому старая дѣвица, умирая одна и всѣми забытая, въ послѣдній разъ приложилась уже хладѣющими губами. Туалетный столикъ изъ штучнаго дерева, съ мѣдными бляхами и кривымъ зеркальцемъ, съ почернѣлой позолотой, стоялъ у окна. Рядомъ съ спальной находилась образная, маленькая комнатка, съ голыми стѣнами и тяжелымъ кіотомъ въ углу; на полу лежалъ истертый, закапанный воскомъ коверчикъ; Глафира Петровна клала на немъ земные поклоны. Антонъ отправился съ лакеемъ Лаврецкаго отпирать конюшню и сарай; на мѣсто его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платкомъ по самыя брови; голова ея тряслась и глаза глядѣли тупо, но выражали усердіе, давнишнюю привычку служить безотвѣтно, и въ то же время—какое-то почтительное сожалѣніе. Она подошла къ ручкѣ Лаврецкаго и остановилась у двери, въ ожиданіи приказаній. Онъ рѣшительно не помнилъ, какъ ее звали, не помнилъ даже, видѣлъ ли ее когда-нибудь; оказалось, что ее звали Апраксѣей; лѣтъ сорокъ тому назадъ, та же Глафира Петровна сослала ее съ барскаго двора и велѣла ей быть птичницей; впрочемъ, она говорила мало,—словно изъ ума выжила,—а только глядѣла подобострастно. Кромѣ этихъ двухъ стариковъ, да трехъ пузатыхъ ребятишекъ въ длинныхъ рубашонкахъ, Антоновыхъ правнуковъ, жилъ еще на барскомъ дворѣ однорукій безтягольный мужичонка; онъ бормоталъ, какъ тетеревъ, и не былъ способенъ ни на что; не многимъ полезнѣе его была дряхлая собака, привѣтствовавшая лаемъ возвращеніе Лаврецкаго: она уже лѣтъ десять сидѣла на тяжелой цѣпи, купленной по распоряженію Глафиры Петровны, и едва-едва была въ состояніи двигаться и влачить свою ношу. Осмотрѣвъ домъ, Лаврецкій вышелъ въ садъ и остался имъ доволенъ. Онъ весь заросъ бурьяномъ, лопухами, крыжовникомъ и малиной; но въ немъ было много тѣни, много старыхъ

липъ, которыя поражали своею громадностью и страннымъ расположеніемъ сучьевъ; онѣ были слишкомъ тѣсно посажены и когда-то—лѣтъ сто тому назадъ—стрижены. Садъ оканчивался небольшимъ свѣтлымъ прудомъ съ каймой изъ высокаго красноватаго тростника. Слѣды человѣческой жизни глохнутъ очень скоро: усадьба Глафиры Петровны не успѣла одичать, но уже казалась погруженной въ ту тихую дрему, которой дремлетъ все на землѣ, гдѣ только нѣтъ людской, безпокойной заразы. Ѳедоръ Иванычъ прошелся также по деревнѣ; бабы глядѣли на него съ порога своихъ избъ, подпирая щеку рукою; мужики издали кланялись; дѣти бѣжали прочь; собаки равнодушно лаяли. Ему, наконецъ, захотѣлось ѣсть; но онъ ожидалъ свою прислугу и повара только къ вечеру; обозъ съ провизіей изъ Лавриковъ еще не прибывалъ,—пришлось обратиться къ Антону. Антонъ сейчасъ распорядился: поймалъ, зарѣзалъ и ощипалъ старую курицу; Апраксѣя долго терла и мыла ее, стирала ее, какъ бѣлье, прежде чѣмъ положить въ кастрюлю; когда она, наконецъ, сварилась, Антонъ накрылъ и убралъ столъ, поставилъ передъ приборомъ почернѣвшую солонку аплике о трехъ ножкахъ и граненый графинчикъ съ круглой стеклянной пробкой и узкимъ горлышкомъ; потомъ доложилъ Лаврецкому пѣвучимъ голосомъ, что кушанье готово,—и самъ сталъ за его стуломъ, обернувъ правый кулакъ салфеткой и распространяя какой-то крѣпкій, древній запахъ, подобный запаху кипарисоваго дерева. Лаврецкій отвѣдалъ супу и досталъ курицу; кожа ея была вся покрыта крупными пупырушками; толстая жила шла по каждой ногѣ, мясо отзывалось древесиной и щолокомъ. Пообѣдавъ, Лаврецкій сказалъ, что онъ выпилъ бы чаю, если... „Сею минуту-съ подамъ-съ“, перебилъ его старикъ,—и сдержалъ свое обѣщаніе. Скалась щепотка чаю, завернутая въ клочокъ красной бумажки, сыскался небольшой, но прерьяный и шумливый самоварчикъ, сыскался и сахаръ въ очень маленькихъ, словно обтаявшихъ, кускахъ. Лаврецкій напился чаю изъ большой чашки; онъ еще съ дѣтства помнилъ эту чашку: игорныя карты были изображены на ней, изъ нея пили

только гости,—и онъ пилъ изъ нея, словно гость. Къ вечеру прибыла прислуга; Лаврецкому не захотѣлось лечь въ теткиной кровати; онъ велѣлъ постлать себѣ постель въ столовой. Погасивъ свѣчку, онъ долго глядѣлъ вокругъ себя и думалъ невеселую думу; онъ испытывалъ чувство, знакомое каждому человѣку, которому приходится въ первый разъ ночевать въ давно необитаемомъ мѣстѣ; ему казалось, что обступившая его со всѣхъ сторонъ темнота не могла привыкнуть къ новому жильцу, что самыя стѣны дома недоумѣваютъ. Наконецъ онъ вздохнулъ, натянулъ на себя одѣяло и заснулъ. Антонъ дольше всѣхъ остался на ногахъ; онъ долго шептался съ Апраксѣей, охалъ вполголоса, раза два перекрестился; они оба не ожидали, чтобы баринъ поселился у нихъ въ Васильевскомъ, когда у него подъ-бокомъ было такое славное имѣнье съ отличноустроенной усадьбой; они и не подозрѣвали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому: она возбуждала въ немъ тягостныя воспоминанія. Нашептавшись вдоволь, Антонъ взялъ палку, поколотилъ по висячей, давно безмолвной доскѣ у амбара и тутъ же прикорнулъ на дворѣ, ничѣмъ не прикрывъ свою бѣлую голову. Майская ночь была тиха и ласкова,—и сладко спалось старику.

XX.

На другой день Лаврецкій всталъ довольно рано, потолковалъ со старостой, побывалъ на гумнѣ, велѣлъ снять цѣпь съ дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла отъ своей конуры;—и, вернувшись домой, погрузился въ какое-то мирное оцѣпенѣніе, изъ котораго не выходилъ цѣлый день. „Вотъ когда я попалъ на самое дно рѣки“, сказалъ онъ самому себѣ не однажды. Онъ сидѣлъ подъ окномъ, не шевелился и словно прислушивался къ теченію тихой жизни, которая его окружала, къ рѣдкимъ звукамъ деревенской глуши. Вотъ гдѣ-то за крапивой кто-то напѣваетъ тонкимъ-тонкимъ голоскомъ; комаръ словно вторитъ ему. Вотъ онъ пересталъ, а комаръ все пищитъ; сквозь дружное, назойливо-жалобное жужжанье мухъ раздается гудѣнье толстаго шмеля, ко-

торый то-и-дѣло стучится головой о потолокъ; пѣтухъ на улицѣ закричалъ, хрипло вытягивая послѣднюю ноту; простучала телѣга; на деревнѣ скрипятъ ворота. „Что?“ задребезжалъ вдругъ бабій голосъ. „Охъ, ты мой сударикъ“, говоритъ Антонъ двухлѣтней дѣвочкѣ, которую няньчитъ на рукахъ. „Квасъ неси“, повторяетъ тотъ же бабій голосъ, — и вдругъ находитъ тишина мертвая; ничто не стукнетъ, не шелохнется; вѣтеръ листкомъ не шевельнетъ; ласточки несутся безъ крика одна за другой по землѣ, и печально становится на душѣ отъ ихъ безмолвнаго налета. „Вотъ когда я на днѣ рѣки“, думаетъ опять Лаврецкій. „И всегда, во всякое время тиха и неспѣшна здѣсь жизнь“, думаетъ онъ: — „кто входитъ въ ея кругъ, — покоряйся: здѣсь незачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши! Вотъ тутъ, подъ окномъ, коренастый лопухъ лѣзетъ изъ густой травы; надъ нимъ вытягиваетъ зоря свой сочный стебель, богородицыны слезки еще выше выкидываютъ свои розовые кудри; а тамъ, дальше, въ поляхъ, лоснится рожь и овесъ уже пошелъ въ трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый листъ на каждомъ деревѣ, каждая травка на своемъ стеблѣ. На женскую любовь ушли мои лучшіе года“, продолжаетъ думать Лаврецкій: — „пусть же вытрезвитъ меня здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло“. И онъ снова принимается прислушиваться къ тишинѣ, ничего не ожидая,—и въ то же время какъ будто безпрестанно ожидая чего-то: тишина обнимаетъ его со всѣхъ сторонъ, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывутъ по немъ; кажется, они знаютъ, куда и зачѣмъ они плывутъ. Въ то самое время, въ другихъ мѣстахъ на землѣ, кипѣла, торопилась, грохотала жизнь; здѣсь та же жизнь текла неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ; и до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцаній этой уходящей, *утекающей жизни;* скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ какъ

весенній снѣгъ,—и странное дѣло!—никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины.

XXI.

Въ теченіе двухъ недѣль Ѳедоръ Иванычъ привелъ домикъ Глафиры Петровны въ порядокъ, расчистилъ дворъ, садъ; изъ Лавриковъ привезли ему удобную мебель, изъ города вино, книги, журналы; на конюшнѣ появились лошади; словомъ, Ѳедоръ Иванычъ обзавелся всѣмъ нужнымъ и началъ жить—не то помѣщикомъ, не то отшельникомъ. Дни его проходили однообразно; но онъ не скучалъ, хотя никого не видѣлъ; онъ прилежно и внимательно занимался хозяйствомъ, ѣздилъ верхомъ по окрестностямъ, читалъ. Впрочемъ, онъ читалъ мало: ему пріятнѣе было слушать разсказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкій садился съ трубкой табаку и чашкой холоднаго чаю къ окну; Антонъ становился у двери, заложивъ назадъ руки,—и начиналъ свои неторопливые разсказы о стародавнихъ временахъ, о тѣхъ баснословныхъ временахъ, когда овесъ и рожь продавались не мѣрками, а въ большихъ мѣшкахъ, по двѣ и по три копейки за мѣшокъ; когда во всѣ стороны, даже подъ городомъ, тянулись непроходимые лѣса, нетронутыя степи. „А теперь“, жаловался старикъ, которому уже стукнуло лѣтъ за восемьдесятъ:—„такъ все вырубили, да распахали, что проѣхать негдѣ“. Также разсказывалъ Антонъ много о своей госпожѣ, Глафирѣ Петровнѣ: какія онѣ были разсудительныя и бережливыя; какъ нѣкоторый господинъ, молодой сосѣдъ, поддѣлывался было къ нимъ, часто сталъ наѣзжать,—и какъ онѣ для него изволили даже надѣвать свой праздничный чепецъ съ лентами цвѣту массака и желтое платье изъ трю-трю-левантина; но какъ потомъ, разгнѣвавшись на господина сосѣда за неприличный вопросъ: „что, молъ, должонъ быть у васъ, сударыня, капиталъ?“ приказали ему отъ дому отказать, и какъ онѣ тогда же приказали, чтобъ все, послѣ ихъ кончины, до самомалѣйшей тряпицы, было представлено Ѳедору Ивановичу. И точно, Лаврецкій нашелъ весь теткинъ скарбъ въ цѣлости, не выключая

праздничнаго чепца съ лентами цвѣта массака и желтаго платья изъ трю-трю-левантина. Старинныхъ бумагъ и любопытныхъ документовъ, на которые разсчитывалъ Лаврецкій, не оказалось никакихъ, кромѣ одной ветхой книжки, въ которую дѣдушка его, Петръ Андреичъ, вписывалъ то—„Празднованіе въ городѣ Санктпетербургѣ замиренія, заключеннаго съ Турецкой имперіей его сіятельствомъ княземъ Александромъ Александровичемъ Прозоровскимъ“; то рецептъ грудного *декохта* съ примѣчаніемъ: „Сіе наставленіе дано генеральшѣ Прасковьѣ Ѳедоровнѣ Салтыковой отъ протопресвитера церкви Живоначальныя Троицы Ѳедора Авксентьевича“; то политическую новость слѣдующаго рода: „О тиграхъ французахъ что-то замолкло“;—и тутъ же рядомъ: „Въ Московскихъ Вѣдомостяхъ показано, что скончался господинъ преміеръ-маіоръ Михаилъ Петровичъ Колычевъ. Не Петра ли Васильевича Колычева сынъ?“ Лаврецкій нашелъ также нѣсколько старыхъ календарей и сонниковъ и таинственное сочиненіе г. Амбодика; много воспоминаній возбудили въ немъ давно забытые, но знакомые: „Символы и Эмблемы“. Въ туалетномъ столикѣ Глафиры Петровны Лаврецкій нашелъ небольшой пакетъ, завязанный черной ленточкой, запечатанный чернымъ сургучомъ и засунутый въ самую глубь ящика. Въ пакетѣ лежали лицомъ къ лицу пастелевый портретъ его отца въ молодости, съ мягкими кудрями, разсыпанными на лбу, съ длинными, томными глазами и полураскрытымъ ртомъ,—и почти стертый портретъ блѣдной женщины въ бѣломъ платьѣ, съ бѣлымъ розаномъ въ рукѣ,—его матери. Съ самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. „Я, батюшка, Ѳедоръ Иванычъ“, говаривалъ Лаврецкому Антонъ:—„хоша и въ господскихъ хоромахъ тогда жительства не имѣлъ, а вашего прадѣдушку, Андрея Аѳанасьевича, помню,—какъ же: мнѣ, когда они скончались, восьмнадцатый годочекъ пошелъ. Разъ я имъ въ саду встрѣлся,—такъ даже поджилки затряслись; однако, они ничего, только спросили, какъ зовутъ,—и въ свои покои за носовымъ платкомъ послали. *Баринъ* былъ, что и говорить, — и старшого надъ собой

не зналъ. Потому была, доложу вамъ, у вашего прадѣдушки чудная така ладонка; съ Аѳонской горы имъ монахъ ту ладонку подарилъ. И сказалъ онъ ему этта монахъ-то: за твое, бояринъ, радушіе сіе тебѣ дарю; носи— и суда не бойся. Ну, да вѣдь тогда, батюшка, извѣстно, какія были времена: что баринъ восхотѣлъ, то и творилъ. Бывало, кто даже изъ господъ вздумаетъ имъ перечить, такъ они только посмотрятъ на него, да скажутъ: мелко плаваешь;—самое это у нихъ было любимое слово. И жилъ онъ, вашъ блаженной памяти прадѣдушка, въ хоромахъ деревянныхъ малыхъ; а что добра послѣ себя оставилъ, серебра что, всякихъ запасовъ,—всѣ подвалы биткомъ набиты были! Хозяинъ былъ. Тотъ-то графинчикъ, что вы похвалить изволили,—ихъ былъ: изъ него водку кушали. А вотъ дѣдушка вашъ, Петръ Андреичъ, и палаты себѣ поставилъ каменныя, а добра не нажилъ; все у нихъ пошло *хинею*; и жили они хуже папенькинаго, и удовольствій никакихъ себѣ не производили, — а денежки всѣ порѣшилъ, и помянуть его нечѣмъ, ложки серебряной отъ нихъ не осталось,—и то еще спасибо, Глафира Петровна порадѣла".

— А правда ли, перебивалъ его Лаврецкій:—ее старой колотовкой звали?

— Да вѣдь кто звалъ! возражалъ съ неудовольствіемъ Антонъ.

— А что, батюшка, рѣшился спросить однажды старикъ: — что наша барынька, гдѣ изволитъ свое пребываніе имѣть?

— Я развелся съ женою, проговорилъ съ усиліемъ Лаврецкій:—пожалуйста, не спрашивай о ней.

— Слушаю-съ, печально возразилъ старикъ.

По прошествіи трехъ недѣль, Лаврецкій поѣхалъ верхомъ въ О..., къ Калитинымъ, и провелъ у нихъ вечеръ. Леммъ былъ тамъ; онъ очень понравился Лаврецкому. Хотя, по милости отца, онъ ни на какомъ инструментѣ не игралъ, однако страстно любилъ музыку, музыку дѣльную, классическую. Паншина въ тотъ вечеръ у Калитиныхъ не было. Губернаторъ услалъ его куда-то за городъ. Лиза играла одна и очень отчетливо; Леммъ оживился, расходился, свернулъ бумажку трубочкой и дирижировалъ. Марья

Дмитріевна сперва смѣялась, глядя на него, потомъ ушла спать; по ея словамъ, Бетховенъ слишкомъ волновалъ ея нервы. Въ полночь Лаврецкій проводилъ Лемма на квартиру и просидѣлъ у него до трехъ часовъ утра. Леммъ много говорилъ; сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали; самые волосы приподнялись надъ лбомъ. Уже такъ давно никто не принималъ въ немъ участья; а Лаврецкій видимо интересовался имъ, заботливо и внимательно разспрашивалъ его. Старика это тронуло; онъ кончилъ тѣмъ, что показалъ гостю свою музыку, сыгралъ и даже спѣлъ мертвеннымъ голосомъ нѣкоторые отрывки изъ своихъ сочиненій, между прочимъ цѣлую, положенную имъ на музыку, балладу Шиллера: Фридолинъ. Лаврецкій похвалилъ его, заставилъ кое-что повторить и, уѣзжая, пригласилъ его къ себѣ погостить на нѣсколько дней. Леммъ, проводившій его до улицы, тотчасъ согласился и крѣпко пожалъ его руку; но, оставшись одинъ на свѣжемъ и сыромъ воздухѣ, при только-что занимавшейся зарѣ, оглянулся, прищурился, съежился и, какъ виноватый, побрелъ въ свою комнатку: „Ich bin wohl nicht klug“ (я не въ своемъ умѣ) пробормоталъ онъ, ложась въ свою жёсткую и короткую постель. Онъ попытался сказаться больнымъ, когда, нѣсколько дней спустя, Лаврецкій заѣхалъ за нимъ въ коляскѣ; но Ѳедоръ Иванычъ вошелъ къ нему въ комнату и уговорилъ его. Сильнѣе всего подѣйствовало на Лемма то обстоятельство, что Лаврецкій собственно для него велѣлъ привезти къ себѣ въ деревню фортепіано изъ города. Они вдвоемъ отправились къ Калитинымъ и провели у нихъ вечеръ, но уже не такъ пріятно, какъ въ послѣдній разъ. Паншинъ былъ тамъ, много разсказывалъ о своей поѣздкѣ, очень забавно передразнивалъ и представлялъ видѣнныхъ имъ помѣщиковъ; Лаврецкій смѣялся, но Леммъ не выходилъ изъ своего угла, молчалъ, тихо шевелился весь, какъ паукъ, глядѣлъ угрюмо и тупо, и оживился только тогда, когда Лаврецкій сталъ прощаться. Даже сидя въ коляскѣ, старикъ продолжалъ дичиться и ежиться; но тихій, теплый воздухъ, легкій вѣтерокъ, легкія тѣни, запахъ травы, бе-

резовыкъ почекъ, мирное сіянье безлуннаго звѣзднаго неба, дружный топотъ и фырканіе лошадей, всѣ обаянія дороги, весны, ночи—спустились въ душу бѣднаго нѣмца, и онъ самъ первый заговорилъ съ Лаврецкимъ.

XXII.

Онъ сталъ говорить о музыкѣ, о Лизѣ, потомъ опять о музыкѣ. Онъ какъ-будто медленнѣе произносилъ слова, когда говорилъ о Лизѣ. Лаврецкій навелъ рѣчь на его сочиненія и, полушутя, предложилъ ему написать для него либретто.

— Гмъ, либретто! возразилъ Леммъ:—нѣтъ, это не по мнѣ: у меня уже нѣтъ той живости, той игры воображенія, которая необходима для оперы; я уже теперь лишился силъ моихъ... Но если-бъ я могъ еще что-нибудь сдѣлать,—я бы удовольствовался романсомъ; конечно, я желалъ бы хорошихъ словъ...

Онъ умолкъ, и долго сидѣлъ неподвижно и поднявъ глаза на небо.

— Напримѣръ, проговорилъ онъ наконецъ:—что-нибудь въ такомъ родѣ: вы, звѣзды, о вы чистыя звѣзды?...

Лаврецкій слегка обернулся къ нему лицомъ и сталъ глядѣть на него.

— Вы, звѣзды, чистыя звѣзды, повторилъ Леммъ.—Вы взираете одинаково на правыхъ и на виновныхъ... но одни невинные сердцемъ,—или что-нибудь въ этомъ родѣ... васъ понимаютъ, то-есть, нѣтъ,—васъ любятъ. Впрочемъ, я не поэтъ, — куда мнѣ! Но что-нибудь въ этомъ родѣ, что-нибудь высокое.

Леммъ отодвинулъ шляпу на затылокъ; въ тонкомъ сумракѣ свѣтлой ночи лицо его казалось блѣднѣе и моложе.

— И вы тоже, продолжалъ онъ постепенно утихавшимъ голосомъ: — вы знаете, кто любитъ, кто умѣетъ любить, потому что вы, чистыя, вы однѣ можете утѣшить... Нѣтъ, это все не то! Я не поэтъ, промолвилъ онъ; — но что-нибудь въ этомъ родѣ...

— Мнѣ жаль, что и я не поэтъ, замѣтилъ Лаврецкій.

— Пустыя мечтанья! возразилъ Леммъ и углубился

въ уголъ коляски. Онъ закрылъ глаза, какъ бы собираясь заснуть.

Прошло нѣсколько мгновеній... Лаврецкій прислушался... „Звѣзды, чистыя звѣзды, любовь“, шепталъ старикъ.

— Любовь, повторилъ про себя Лаврецкій, задумался, и тяжело стало у него на душѣ.

— Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофоръ Ѳедорычъ, промолвилъ онъ громко:—а какъ вы полагаете, этотъ Фридолинъ, послѣ того, какъ графъ привелъ его къ женѣ, вѣдь онъ тутъ-то и сдѣлался ея любовникомъ,—а?

— Это вы такъ думаете, возразилъ Леммъ: — потому что, вѣроятно, опытъ... Онъ вдругъ умолкъ и въ смущеніи отвернулся. Лаврецкій принужденно засмѣялся, тоже отвернулся и сталъ глядѣть на дорогу.

Звѣзды уже начинали блѣднѣть и небо сѣрѣло, когда коляска подъѣхала къ крыльцу домика въ Васильевскомъ. Лаврецкій проводилъ своего гостя въ назначенную ему комнату, вернулся въ кабинетъ и сѣлъ передъ окномъ. Въ саду пѣлъ соловей свою послѣднюю, передразсвѣтную пѣснь. Лаврецкій вспомнилъ, что и у Калитиныхъ въ саду пѣлъ соловей; онъ вспомнилъ также тихое движеніе Лизиныхъ глазъ, когда, при первыхъ его звукахъ, они обратились къ темному окну. Онъ сталъ думать о ней, и сердце въ немъ утихло. „Чистая дѣвушка, проговорилъ онъ вполголоса:—чистыя звѣзды“, прибавилъ онъ съ улыбкой и спокойно легъ спать.

А Леммъ долго сидѣлъ на своей кровати съ нотной тетрадкой на колѣняхъ. Казалось, небывалая, сладкая мелодія собиралась посѣтить его: онъ уже горѣлъ и волновался, онъ чувствовалъ уже истому и сладость ея приближенія... но онъ не дождался ея.

— Не поэтъ и не музыкантъ! прошепталъ онъ наконецъ... И усталая голова его тяжело опустилась на подушку.

XXIII.

На другое утро хозяинъ и гость пили чай въ саду, подъ старой липой.

— Маэстро! сказалъ между прочимъ Лаврецкій:—вамъ придется скоро сочинять торжественную кантату.

— По какому случаю?

— А по случаю бракосочетанія г. Паншина съ Лизой. Замѣтили вы, какъ онъ вчера за ней ухаживалъ? Кажется, у нихъ уже все идетъ на ладъ.

— Этого не будетъ! воскликнулъ Леммъ.

— Почему?

— Потому что это невозможно. Впрочемъ, прибавилъ онъ, погодя немного:—на свѣтѣ все возможно. Особенно здѣсь у васъ, въ Россіи.

— Россію мы оставимъ пока въ сторонѣ; но что же дурного находите вы въ этомъ бракѣ?

— Все дурно, все. Лизавета Михайловна дѣвица справедливая, серьёзная, съ возвышенными чувствами,—а онъ... онъ ди-ле-тантъ, однимъ словомъ.

— Да вѣдь она его любитъ?

Леммъ всталъ со скамейки.

— Нѣтъ, она его не любитъ, то-есть, она очень чиста сердцемъ и не знаетъ сама, что̀ это значитъ: любить. Мадамъ фонъ-Калитинъ ей говоритъ, что онъ хорошій молодой человѣкъ, а она слушается мадамъ фонъ-Калитинъ, потому что она еще совсѣмъ дитя, хотя ей и девятнадцать лѣтъ: молится утромъ, молится вечеромъ,—и это очень похвально; но она его не любитъ. Она можетъ любить одно прекрасное, а онъ не прекрасенъ, то-есть, душа его не прекрасна.

Леммъ произнесъ всю эту рѣчь связно и съ жаромъ, расхаживая маленькими шагами взадъ и впередъ передъ чайнымъ столикомъ и бѣгая глазами по землѣ.

— Дражайшій маэстро! воскликнулъ вдругъ Лаврецкій:—мнѣ сдается, что вы сами влюблены въ мою кузину.

Леммъ вдругъ остановился.

— Пожалуйста, началъ онъ невѣрнымъ голосомъ: — не шутите такъ надо мною. Я не безумецъ: я въ темную могилу гляжу, не въ розовую будущность.

Лаврецкому стало жаль старика; онъ попросилъ у него прощенія. Леммъ послѣ чая сыгралъ ему свою кантату, а

за обѣдомъ, вызванный самимъ Лаврецкимъ, опять разговорился о Лизѣ. Лаврецкій слушалъ его со вниманіемъ и любопытствомъ.

— Какъ вы думаете, Христофоръ Ѳедорычъ, сказалъ онъ наконецъ:—вѣдь у насъ теперь, кажется, все въ порядкѣ, садъ въ полномъ цвѣту... Не пригласить ли ее сюда на день, вмѣстѣ съ ея матерью и моей старушкой теткой,—а? Вамъ это будетъ пріятно?

Леммъ наклонилъ голову надъ тарелкой.

— Пригласите, проговорилъ онъ чуть слышно.

— А Паншина не надобно?

— Не надобно, возразилъ старикъ съ почти-дѣтской улыбкой.

Два дня спустя, Ѳедоръ Иванычъ отправился въ городъ, къ Калитинымъ.

XXIV.

Онъ засталъ всѣхъ дома, но онъ не тотчасъ объявилъ имъ о своемъ намѣреніи: онъ хотѣлъ сперва переговорить наединѣ съ Лизой. Случай помогъ ему: ихъ оставили вдвоемъ въ гостиной. Они разговорились; она успѣла уже привыкнуть къ нему, — да она и вообще никого не дичилась. Онъ слушалъ ее, глядѣлъ ей въ лицо и мысленно твердилъ слова Лемма, соглашался съ нимъ. Случается иногда, что два уже знакомыхъ, но не близкихъ другъ другу человѣка, внезапно и быстро сближаются въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній,—и сознаніе этого сближенія тотчасъ выражается въ ихъ взглядахъ, въ ихъ дружелюбныхъ и тихихъ усмѣшкахъ, въ самыхъ ихъ движеніяхъ. Именно это случилось съ Лаврецкимъ и Лизой. „Вотъ онъ какой“, подумала она, ласково глядя на него; „вотъ ты какая“, подумалъ и онъ. А потому онъ не очень удивился, когда она, не безъ маленькой однако запинки, объявила ему, что давно имѣетъ на сердцѣ сказать ему что-то, но боится его разсердить.

— Не бойтесь, говорите, промолвилъ онъ и остановился передъ ней.

Лиза подняла на него свои ясные глаза.

— Вы такіе добрые, начала она, и въ то же время подумала: „да, онъ точно добрый...“—вы извините меня, я бы не должна смѣть говорить объ этомъ съ вами... но какъ могли вы... отчего вы разстались съ вашей женой?

Лаврецкій дрогнулъ, поглядѣлъ на Лизу и подсѣлъ къ ней.

— Дитя мое, заговорилъ онъ:—не прикасайтесь, пожалуйста, къ этой ранѣ; руки у васъ нѣжныя, а все-таки мнѣ будетъ больно.

— Я знаю, продолжала Лиза, какъ будто не разслушавъ его:—она передъ вами виновата, я не хочу ее оправдывать; но какъ же можно разлучать то, что Богъ соединилъ?

— Наши убѣжденія на этотъ счетъ слишкомъ различны, Лизавета Михайловна, произнесъ Лаврецкій довольно рѣзко:—мы не поймемъ другъ друга.

Лиза поблѣднѣла; все тѣло ея слегка затрепетало; но она не замолчала.

— Вы должны простить, промолвила она тихо: — если хотите, чтобы и васъ простили.

— Простить! подхватилъ Лаврецкій. — Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите? Простить эту женщину, принять ее опять въ свой домъ, ее, это пустое, безсердечное существо! И кто вамъ сказалъ, что она хочетъ возвратиться ко мнѣ? Помилуйте, она совершенно довольна своимъ положеніемъ... Да что тутъ толковать! Имя ея не должно быть произносимо вами. Вы слишкомъ чисты, вы не въ состояніи даже понять такое существо.

— Зачѣмъ оскорблять? съ усиліемъ проговорила Лиза. Дрожь ея рукъ становилась видимой.—Вы сами ее оставили, Ѳедоръ Иванычъ.

— Но я же вамъ говорю, возразилъ съ невольнымъ взрывомъ нетерпѣнья Лаврецкій: — вы не знаете, какое это созданіе!

— Такъ зачѣмъ же вы женились на ней? прошептала Лиза и потупила глаза.

Лаврецкій быстро поднялся со стула.

— Зачѣмъ я женился? Я былъ тогда молодъ и неопытенъ; я обманулся, я увлекся красивой внѣшностью. Я не зналъ женщинъ, я ничего не зналъ. Дай вамъ Богъ за-

ключить болѣе счастливый бракъ! но повѣрьте, ни за что нельзя ручаться.

— И я могу такъ же быть несчастной, промолвила Лиза (голосъ ея началъ прерываться):—но тогда надо будетъ покориться; я не умѣю говорить, но если мы не будемъ покоряться...

Лаврецкій стиснулъ руки и топнулъ ногой.

— Не сердитесь, простите меня, торопливо произнесла Лиза.

Въ это мгновеніе вошла Марья Дмитріевна. Лиза встала и хотѣла удалиться.

— Постойте, неожиданно крикнулъ ей вслѣдъ Лаврецкій.—У меня есть до вашей матушки и до васъ великая просьба: посѣтите меня на моемъ новосельѣ. Вы знаете, я завелъ фортепіано; Леммъ гоститъ у меня; сирень теперь цвѣтетъ; вы подышите деревенскимъ воздухомъ и можете вернуться въ тотъ же день,—согласны вы?

Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитріевна приняла болѣзненный видъ; но Лаврецкій не далъ ей разинуть рта и тутъ же поцѣловалъ у ней обѣ руки. Марья Дмитріевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности отъ „тюленя“, умилилась душою и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкій подошелъ къ Лизѣ и, все еще взволнованный, украдкой шепнулъ ей: „спасибо, вы добрая дѣвушка; я виноватъ...“ И ея блѣдное лицо заалѣлось веселой и стыдливой улыбкой; глаза ея тоже улыбнулись,—она до того мгновенья боялась, не оскорбила ли она его.

— Владиміръ Николаичъ съ нами можетъ ѣхать? спросила Марья Дмитріевна.

— Конечно, возразилъ Лаврецкій: — но не лучше ли намъ быть въ своемъ семейномъ кружкѣ?

— Да вѣдь, кажется... начала-было Марья Дмитріевна... впрочемъ, какъ хотите, прибавила она.

Рѣшено было взять Леночку и Шурочку. Марѳа Тимоѳеевна отказалась отъ поѣздки.

— Тяжело мнѣ, свѣтъ, сказала она:—кости старыя ломать; и почевать у тебя, чай, негдѣ; да мнѣ и не спится въ чужой постелѣ. Пусть эта молодежь скачетъ.

Лаврецкому уже не удалось болѣе побывать наединѣ съ Лизой; но онъ такъ глядѣлъ на нее, что ей и хорошо становилось, и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь съ ней, онъ крѣпко пожалъ ей руку; она задумалась, оставшись одна.

LXV.

Когда Лаврецкій вернулся домой, его встрѣтилъ на порогѣ гостиной человѣкъ высокаго роста и худой, въ затасканномъ синемъ сюртукѣ, съ морщинистымъ, но оживленнымъ лицомъ, съ растрепанными сѣдыми бакенбардами, длиннымъ, прямымъ носомъ и небольшими воспаленными глазками. Это былъ Михалевичъ, бывшій его товарищъ по университету. Лаврецкій сперва не узналъ его, но горячо обнялъ, какъ только тотъ назвалъ себя. Они не видѣлись съ Москвы. Посыпались восклицанія, разспросы; выступили на свѣтъ Божій давно-заглохшія воспоминанія. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевичъ разсказалъ Лаврецкому свои похожденія; въ нихъ не было ничего очень веселаго, удачей въ предпріятіяхъ своихъ онъ похвастаться не могъ, — а онъ безпрестанно смѣялся сиплымъ нервическимъ хохотомъ. Мѣсяцъ тому назадъ, получилъ онъ мѣсто въ частной конторѣ богатаго откупщика, верстъ за 300 отъ города О... и, узнавъ о возвращеніи Лаврецкаго изъ-за границы, свернулъ съ дороги, чтобы повидаться съ старымъ пріятелемъ. Михалевичъ говорилъ такъ же порывисто, какъ и въ молодости, шумѣлъ и кипѣлъ попрежнему. Лаврецкій упомянулъ-было о своихъ обстоятельствахъ, но Михалевичъ перебилъ его, поспѣшно пробормотавъ: „слышалъ, братъ, слышалъ,—кто это могъ ожидать?“ — и тотчасъ перевелъ разговоръ въ область общихъ разсужденій.

— Я, братъ, промолвилъ онъ:—завтра долженъ ѣхать; сегодня, мы, ужъ ты извини меня, ляжемъ поздно. Мнѣ хочется непремѣнно узнать, что̀ ты, какія твои мнѣнія, убѣжденія, чѣмъ ты сталъ, чему жизнь тебя научила? (Михалевичъ придерживался еще фразеологіи 30-хъ го-

довъ.) Что касается до меня, я во многомъ измѣнился, братъ: волны жизни упали на мою грудь,—кто бишь это сказалъ?—хотя въ важномъ, существенномъ, я не измѣнился; я попрежнему вѣрю въ добро, въ истину; но я не только вѣрю,—я вѣрую теперь, да—я вѣрую, вѣрую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи; въ нихъ поэзіи нѣтъ, но есть правда. Я тебѣ прочту мою послѣднюю піесу: въ ней я выразилъ самыя задушевныя мои убѣжденія. Слушай. Михалевичъ принялся читать свое стихотвореніе, оно было довольно длинно и оканчивалось слѣдующими стихами:

Новымъ чувствамъ всѣмъ сердцемъ отдался,
Какъ ребенокъ душою я сталъ:
И я сжегъ все, чему поклонялся;
Поклонился всему, что сжигалъ.

Произнося послѣдніе два стиха, Михалевичъ чуть не заплакалъ; легкія судороги—признакъ сильнаго чувства—пробѣжали по его широкимъ губамъ, некрасивое лицо его просвѣтлѣло, Лаврецкій слушалъ его, слушалъ... духъ противорѣчія зашевелился въ немъ: его раздражала всегда-готовая, постоянно-кипучая восторженность московскаго студента. Четверть часа не прошло, какъ уже загорѣлся между ними споръ, одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди. Съ оника, послѣ многолѣтней разлуки, проведенной въ двухъ различныхъ мірахъ, не понимая ясно ни чужихъ, ни даже собственныхъ мыслей, цѣпляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ, — и спорили такъ, какъ будто дѣло шло о жизни и смерти обоихъ: голосили и вопили такъ, что всѣ люди всполошились въ домѣ, а бѣдный Леммъ, который съ самаго пріѣзда Михалевича заперся у себя въ комнатѣ, почувствовалъ недоумѣнье и началъ даже чего-то смутно бояться.

— Что же ты послѣ этого? разочарованный? кричалъ Михалевичъ въ первомъ часу ночи.

— Развѣ разочарованные такіе бываютъ? возражалъ Лав-

рецкій: тѣ всѣ бываютъ блѣдные и больные,—а хочешь, я тебя одной рукой подниму?

— Ну, если не *разочарованный*, то *скептикъ*, это еще хуже (выговоръ Михалевича отзывался его родиной, Малороссіей). А съ какого права можешь ты быть скептикомъ? Тебѣ въ жизни не повезло, положимъ; въ этомъ твоей вины не было: ты былъ рожденъ съ душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили отъ женщинъ: первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть.

— Она и тебя обманула, замѣтилъ угрюмо Лаврецкій.

— Положимъ, положимъ; я былъ тутъ орудіемъ судьбы,— впрочемъ, что̀ это я вру,—судьбы тутъ нѣту; старая привычка неточно выражаться. Но что-жъ это̀ доказываетъ?

— Доказываетъ то, что меня съ дѣтства вывихнули.

— А ты себя вправь!—на то ты человѣкъ, ты мужчина; энергіи тебѣ не занимать-стать!—Но какъ бы то ни было, развѣ можно, развѣ позволительно—частный, такъ-сказать, фактъ возводить въ общій законъ, въ непреложное правило?

— Какое тутъ правило? перебилъ Лаврецкій:—я не признаю...

— Нѣтъ, это твое правило, правило,—перебивалъ его въ свою очередь Михалевичъ.

— Ты эгоистъ, вотъ что! гремѣлъ онъ часъ спустя:— ты желалъ самонаслажденья, ты желалъ счастья въ жизни, ты хотѣлъ жить только для себя...

— Что такое самонаслажденье?

— И все тебя обмануло; все рухнуло подъ твоими ногами.

— Что такое самонаслажденье, спрашиваю я тебя?

— И оно должно было рухнуть. Ибо ты искалъ опоры тамъ, гдѣ ея найти нельзя, ибо ты строилъ свой домъ на зыбкомъ пескѣ...

— Говори яснѣй, безъ сравненій, *ибо* я тебя не понимаю.

— Ибо,—пожалуй, смѣйся,—ибо нѣтъ въ тебѣ вѣры, нѣтъ теплоты сердечной; умъ, все одинъ только копеечный умъ... ты, просто, жалкій, отсталый вольтеріянецъ—вотъ ты кто!

— Кто, я вольтеріянецъ?

— Да, такой же, какъ твой отецъ, и самъ того не подозрѣваешь.

— Послѣ этого, воскликнулъ Лаврецкій:—я въ правѣ сказать, что ты фанатикъ!

— Увы! возразилъ съ сокрушеньемъ Михалевичъ:—я, къ несчастью, ничѣмъ не заслужилъ еще такого высокаго наименованія...

— Я теперь нашелъ, какъ тебя назвать, кричалъ тотъ же Михалевичъ въ третьемъ часу ночи:—ты не скептикъ, не разочарованный, не вольтеріянецъ, ты—байбакъ, и ты злостный байбакъ, байбакъ съ сознаньемъ, не наивный байбакъ. Наивные байбаки лежатъ-себѣ на печи и ничего не дѣлаютъ, потому что не умѣютъ ничего дѣлать; они и не думаютъ ничего, а ты мыслящій человѣкъ—и лежишь; ты могъ бы что-нибудь дѣлать—и ничего не дѣлаешь; лежишь сытымъ брюхомъ кверху и говоришь: такъ оно и слѣдуетъ, лежать-то, потому что все, что люди ни дѣлаютъ,—все вздоръ и ни къ чему не ведущая чепуха.

— Да съ чего ты взялъ, что я лежу? твердилъ Лаврецкій:—почему ты предполагаешь во мнѣ такія мысли?

— А сверхъ того вы всѣ, вся ваша братія, продолжалъ неугомонный Михалевичъ:—начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку нѣмецъ хромаетъ, знаете, что̀ плохо у англичанъ и у французовъ,—и вамъ ваше жалкое знаніе въ подспорье идетъ, лѣнь вашу постыдную, бездѣйствіе ваше гнусное оправдываетъ. Иной даже гордится тѣмъ, что я, молъ, вотъ умница—лежу, а тѣ, дураки, хлопочутъ. Да!—А то есть у насъ такіе господа—впрочемъ, я это говорю не на твой счетъ,—которые всю жизнь свою проводятъ въ какомъ-то млѣніи скуки, привыкаютъ къ ней, сидятъ въ ней, какъ... какъ грибъ въ сметанѣ, подхватилъ Михалевичъ и самъ засмѣялся своему сравненію.—О, это млѣніе скуки—гибель русскихъ людей! Весь вѣкъ собирается работать, противный байбакъ...

— Да что-жъ ты бранишься? вонилъ въ свою̀ очередь Лаврецкій.—Работать... дѣлать... Скажи лучше, что̀ дѣлать, а не бранись, Демосѳенъ полтавскій!

— Вишь, чего захотѣлъ! Это я тебѣ не скажу, братъ; это всякій самъ долженъ знать, возражалъ съ ироніей Демосѳенъ.—Помѣщикъ, дворянинъ—и не знаетъ, что̀ дѣлать!

Вѣры нѣтъ, а то бы зналъ; вѣры нѣтъ—и нѣтъ откровенія.

— Дай же, по крайней мѣрѣ, отдохнуть, чортъ; дай оглядѣться, молилъ Лаврецкій.

— Ни минуты отдыха, ни секунды! возражалъ съ повелительнымъ движеніемъ руки Михалевичъ.—Ни одной секунды!—Смерть не ждетъ, и жизнь ждать не должна.

— И когда же, гдѣ же вздумали люди обайбачиться? кричалъ онъ въ четыре часа утра, но уже нѣсколько осипшимъ голосомъ:—у насъ! теперь! въ Россіи! когда на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собою! Мы спимъ, а время уходитъ; мы спимъ...

— Позволь мнѣ замѣтить тебѣ, промолвилъ Лаврецкій:— что мы вовсе не спимъ теперь, а скорѣе другимъ не даемъ спать. Мы, какъ пѣтухи, деремъ горло. Послушайка, это никакъ уже третьи кричатъ.

Эта выходка разсмѣшила и успокоила Михалевича. „До завтра“, проговорилъ онъ съ улыбкой,—и всунулъ трубку въ кисетъ. „До завтра“, повторилъ Лаврецкій. Но друзья еще болѣе часу бесѣдовали... Впрочемъ, голоса ихъ не возвышались болѣе, и рѣчи ихъ были тихія, грустныя, добрыя рѣчи.

Михалевичъ уѣхалъ на другой день, какъ ни удерживалъ его Лаврецкій. Ѳедору Ивановичу не удалось убѣдить его остаться; но наговорился онъ съ нимъ до-сыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкій уже наканунѣ съ сожалѣніемъ замѣтилъ въ немъ всѣ признаки и привычки застарѣлой бѣдности; сапоги у него были сбиты, сзади на сюртукѣ недоставало одной пуговицы, руки его не вѣдали перчатокъ, въ волосахъ торчалъ пухъ; пріѣхавши, онъ и не подумалъ попросить умыться, а за ужиномъ ѣлъ, какъ акула, раздирая руками мясо и съ трескомъ перегрызая кости своими крѣпкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему въ прокъ, что всѣ надежды свои онъ возлагалъ на откупщика, который взялъ его единственно для того, чтобы имѣть у себя въ конторѣ „образованнаго человѣка“. Со всѣмъ тѣмъ, Михалевичъ не унывалъ и жилъ

себѣ циникомъ, идеалистомъ, поэтомъ, искренно радѣя и сокрушаясь о судьбахъ человѣчества, о собственномъ призваніи,—и весьма мало заботясь о томъ, какъ бы не умереть съ голоду. Михалевичъ женатъ не былъ, но влюблялся безъ счету и писалъ стихотворенія на всѣхъ своихъ возлюбленныхъ; особенно пылко воспѣлъ онъ одну таинственную, чернокудрую „панну"... Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо извѣстная многимъ кавалерійскимъ офицерамъ... но, какъ подумаешь,—развѣ это не все равно?

Съ Леммомъ Михалевичъ не сошелся: нѣмца, съ непривычки, запугали его многошумныя рѣчи, его рѣзкія манеры... Горемыка издали тотчасъ чуетъ другого горемыку, но подъ старость рѣдко сходится съ нимъ,—а это нисколько не удивительно: ему съ нимъ нечѣмъ дѣлиться,—даже надеждами.

Передъ отъѣздомъ Михалевичъ еще долго бесѣдовалъ съ Лаврецкимъ, пророчилъ ему гибель, если онъ не очнется, умолялъ его серьезно заняться бытомъ своихъ крестьянъ, ставилъ себя въ примѣръ, говоря, что онъ очистился въ горнилѣ бѣдъ,—и тутъ же нѣсколько разъ назвалъ себя счастливымъ человѣкомъ, сравнивалъ себя съ птицей небесной, съ лиліей долины...

— Съ черной лиліей, во всякомъ случаѣ, замѣтилъ Лаврецкій.

— Э, братъ, не аристократничай, возразилъ добродушно Михалевичъ:—а лучше благодари Бога, что и въ твоихъ жилахъ течетъ честная плебейская кровь. Но я вижу, тебѣ нужно теперь какое-нибудь чистое, неземное существо, которое исторгло бы тебя изъ твоей апатіи.

— Спасибо, братъ, промолвилъ Лаврецкій:—съ меня будетъ этихъ неземныхъ существъ.

— Молчи, *цыныкъ!* воскликнулъ Михалевичъ.

— „Циникъ", поправилъ его Лаврецкій.

— Именно цыныкъ, повторилъ, не смущаясь, Михалевичъ.

Даже сидя въ тарантасѣ, куда вынесли его плоскій, желтый, до странности легкій чемоданъ, онъ еще говорилъ; окутанный въ какой-то испанскій плащъ съ порыжѣлымъ

воротникомъ и львиными лапами вмѣсто застежекъ, онъ еще развивалъ свои воззрѣнія на судьбы Россіи и водилъ смуглой рукой по воздуху, какъ бы разсѣевая сѣмена будущаго благоденствія. Лошади тронулись наконецъ... „Помни мои послѣднія три слова“, закричалъ онъ, высунувшись всѣмъ тѣломъ изъ тарантаса и стоя на балансѣ:—„религія, прогрессъ, человѣчность!.. Прощай!“ Голова его, съ нахлобученной на глаза фуражкой, исчезла. Лаврецкій остался одинъ на крыльцѣ—и пристально глядѣлъ вдаль по дорогѣ, пока тарантасъ не скрылся изъ виду. „А вѣдь онъ, пожалуй, правъ“, думалъ онъ, возвращаясь въ домъ:—„пожалуй, что я байбакъ“. Многія изъ словъ Михалевича неотразимо вошли ему въ душу, хоть онъ и спорилъ и не соглашался съ нимъ. Будь только человѣкъ добръ,—его никто отразить не можетъ.

XXVI.

Дня два спустя, Марья Дмитріевна, по обѣщанію, прибыла со всей своей молодежью въ Васильевское. Дѣвочки побѣжали тотчасъ въ садъ, а Марья Дмитріевна томно прошлась по комнатамъ и томно все похвалила. Визитъ свой Лаврецкому она считала знáкомъ великаго снисхожденья, чуть не добрымъ поступкомъ. Она привѣтливо улыбнулась, когда Антонъ и Апраксѣя, по старинной дворовой привычкѣ, подошли къ ней къ ручкѣ,—и разслабленнымъ голосомъ, въ носъ, попросила напиться чаю. Къ великой досадѣ Антона, надѣвшаго вязаныя бѣлыя перчатки, чай подалъ пріѣзжей барынѣ не онъ, а наемный камердинеръ Лаврецкаго, не понимавшій, по словамъ старика, никакихъ порядковъ. Зато Антонъ за обѣдомъ взялъ свое: твердой стопою сталъ онъ за кресло Марьи Дмитріевны — и уже никому не уступилъ своего мѣста. Давно-небывалое появленіе гостей въ Васильевскомъ и встревожило, и обрадовало старика: ему было пріятно видѣть, что съ его бариномъ хорошіе господа знаются. Впрочемъ, не онъ одинъ волновался въ тотъ день: Леммъ волновался тоже. Онъ надѣлъ коротенькій табачнаго цвѣта фракъ съ острымъ хвостикомъ, туго затянулъ свой шейный платокъ и безпрестан-

но откашливался и сторонился съ пріятнымъ и привѣтливымъ видомъ. Лаврецкій съ удовольствіемъ замѣтилъ, что сближеніе между нимъ и Лизой продолжалось: она, какъ только вошла, дружелюбно протянула ему руку. Послѣ обѣда Леммъ досталъ изъ задняго кармана фрака, куда онъ то-и-дѣло запускалъ руку, небольшой свертокъ нотной бумаги и, сжавъ губы, молча, положилъ его на фортепіано. Это былъ романсъ, сочиненный имъ наканунѣ на старомодныя нѣмецкія слова, въ которыхъ упоминалось о звѣздахъ. Лиза тотчасъ сѣла за фортепіано и разобрала романсъ... Увы! музыка оказалась запутанной и непріятно-напряженной; видно было, что композиторъ силился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло: усиліе такъ и осталось однимъ усиліемъ. Лаврецкій и Лиза оба это почувствовали, — и Леммъ это понялъ: ни слова не сказавъ, положилъ онъ свой романсъ обратно въ карманъ и, въ отвѣтъ на предложеніе Лизы сыграть его еще разъ, покачавъ только головой, значительно сказалъ: „теперь—баста!“—сгорбился, съежился, и отошелъ.

Къ вечеру пошли всѣмъ обществомъ ловить рыбу. Въ прудѣ за садомъ водилось много карасей и гольцовъ. Марью Дмитріевну посадили на кресло возлѣ берега, въ тѣни, постлали ей коверъ подъ ноги, дали лучшую удочку; Антонъ, какъ старый опытный рыболовъ, предложилъ свои услуги. Онъ усердно насаживалъ червяковъ, шлепалъ по нимъ рукою, плевалъ на нихъ и даже самъ закидывалъ удочку, граціозно наклоняясь впередъ всѣмъ корпусомъ. Марья Дмитріевна въ тотъ же день отозвалась о немъ Ѳедору Иванычу слѣдующей фразой на институтско-французскомъ языкѣ: „il n'y a plus maintenant de ces gens comme ça comme autrefois“. Леммъ съ двумя дѣвочками отправился подальше, къ самой плотинѣ; Лаврецкій помѣстился возлѣ Лизы. Рыба клевала безпрестанно, выхваченные караси то-и-дѣло сверкали въ воздухѣ своими то золотыми, то серебряными боками; радостныя восклицанія дѣвочекъ не умолкали; сама Марья Дмитріевна изрѣдка взвизгнула раза два. Рѣже всѣхъ бралось у Лаврецкаго и у Лизы; вѣроятно, это происходило отъ того,

что они меньше другихъ обращали вниманія на ловлю и дали поплавкамъ своимъ подплыть къ самому берегу. Красноватый высокій камышъ тихо шелестилъ вокругъ нихъ, впереди тихо сіяла неподвижная вода, и разговоръ у нихъ шелъ тихій. Лиза стояла на маленькомъ плоту; Лаврецкій сидѣлъ на наклоненномъ стволѣ ракиты; на Лизѣ было бѣлое платье, перехваченное вокругъ пояса широкой, тоже бѣлой лентой; соломенная шляпа висѣла у ней на одной рукѣ, — другою она съ нѣкоторымъ усиліемъ поддерживала гнуткое удилище. Лаврецкій глядѣлъ на ея чистый, нѣсколько строгій профиль, на закинутые за уши волосы, на нѣжныя щеки, которыя загорѣли у ней, какъ у ребенка, — и думалъ: „о, какъ мило стоишь ты надъ моимъ прудомъ!“ Лиза не оборачивалась къ нему, а смотрѣла на воду—и не то щурилась, не то улыбалась. Тѣнь отъ близкой липы падала на обоихъ.

— А знаете ли, началъ Лаврецкій:—я много размышлялъ о нашемъ послѣднемъ разговорѣ съ вами и пришелъ къ тому заключенію, что вы чрезвычайно добры.

— Я совсѣмъ не съ тѣмъ намѣреніемъ... возразила-было Лиза—и застыдилась.

— Вы добры, повторилъ Лаврецкій.—Я топорный человѣкъ, а чувствую, что всѣ должны васъ любить. Вотъ хоть бы Леммъ; онъ просто влюбленъ въ васъ.

Брови у Лизы—не то, чтобы нахмурились, а дрогнули; это съ ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь непріятное.

— Очень онъ мнѣ былъ жалокъ сегодня, подхватилъ Лаврецкій:—съ своимъ неудавшимся романсомъ. Быть молодымъ и не умѣть—это сносно; но состарѣться и не быть въ силахъ—это тяжело. И вѣдь обидно то, что не чувствуешь, когда уходятъ силы. Старику трудно переносить такіе удары!.. Берегитесь, у васъ клюетъ... Говорятъ, прибавилъ Лаврецкій, помолчавъ немного:—Владиміръ Николаичъ написалъ очень милый романсъ.

— Да, отвѣчала Лиза:—это бездѣлка, но недурная.

— А какъ по-вашему, спросилъ Лаврецкій: — хорошій онъ музыкантъ?

— Мнѣ кажется, у него большія способности къ музыкѣ; но онъ до сихъ поръ не занимался ею, какъ слѣдуетъ.

— Такъ. А человѣкъ онъ хорошій?

Лиза засмѣялась и быстро взглянула на Ѳедора Иваныча.

— Какой странный вопросъ! воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова.

— Отчего же странный? Я спрашиваю о немъ у васъ, какъ человѣкъ, недавно сюда пріѣхавшій, какъ родственникъ.

— Какъ родственникъ?

— Да. Вѣдь я вамъ, кажется, довожусь дядей?

— У Владиміра Николаича доброе сердце, заговорила Лиза:—онъ уменъ; maman его очень любитъ.

— А вы его любите?

— Онъ хорошій человѣкъ; отчего же мнѣ его не любить?

— А! промолвилъ Лаврецкій и умолкъ. Полу-печальное, полу-насмѣшливое выраженіе промелькнуло у него на лицѣ. Упорный взглядъ его смущалъ Лизу, но она продолжала улыбаться.—„Ну, и дай Богъ имъ счастья!“—пробормоталъ онъ, наконецъ, какъ будто про себя, — и отворотилъ голову.

Лиза покраснѣла.

— Вы ошибаетесь, Ѳедоръ Иванычъ, сказала она:—вы напрасно думаете... А развѣ вамъ Владиміръ Николаичъ не нравится? спросила она вдругъ.

— Не нравится.

— Отчего же?

— Мнѣ кажется, сердца-то у него и нѣту.

Улыбка сошла съ лица Лизы.

— Вы привыкли строго судить людей, промолвила она послѣ долгаго молчанья.

— Я не думаю. Какое право имѣю я строго судить другихъ, помилуйте, когда я самъ нуждаюсь въ снисхожденіи? Или вы забыли, что надо мной одинъ лѣнивый не смѣется?.. А что, прибавилъ онъ:—сдержали вы свое обѣщаніе?

— Какое?

— Помолились вы за меня?

— Да, я за васъ молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите легко объ этомъ.

Лаврецкій началъ увѣрять Лизу, что ему это и въ голову не приходило, что онъ глубоко уважаетъ всякія убѣжденія; потомъ онъ пустился толковать о религіи, о ея значеніи въ исторіи человѣчества, о значеніи христіанства...

— Христіаниномъ нужно быть, заговорила не безъ нѣкотораго усилія Лиза:—не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть.

Лаврецкій съ невольнымъ удивленіемъ поднялъ глаза на Лизу и встрѣтилъ ея взглядъ.

— Какое это вы промолвили слово! сказалъ онъ.

— Это слово не мое, отвѣчала она.

— Не ваше... Но почему вы заговорили о смерти?

— Не знаю. Я часто о ней думаю.

— Часто?

— Да.

— Этого не скажешь, глядя на васъ теперь: у васъ такое веселое, свѣтлое лицо, вы улыбаетесь...

— Да, мнѣ очень весело теперь, наивно возразила Лиза.

Лаврецкому захотѣлось взять ея обѣ руки и крѣпко стиснуть ихъ...

— Лиза, Лиза! закричала Марья Дмитріевна:—поди сюда, посмотри, какого карася я поймала.

— Сейчасъ, маша, отвѣчала Лиза и пошла къ ней, а Лаврецкій остался на своей ракитѣ. „Я говорю съ ней, словно я не отжившій человѣкъ“, думалъ онъ. Уходя, Лиза повѣсила свою шляпу на вѣтку; съ страннымъ, почти нѣжнымъ чувствомъ посмотрѣлъ Лаврецкій на эту шляпу, на ея длинныя, немного помятыя ленты. Лиза скоро къ нему вернулась и опять стала на плотъ.

— Почему же вамъ кажется, что у Владиміра Николаича сердца нѣтъ? спросила она, нѣсколько мгновеній спустя.

— Я вамъ уже сказалъ, что я могъ ошибиться; а впрочемъ, время все покажетъ.

Лиза задумалась. Лаврецкій заговорилъ о своемъ житьѣ-бытьѣ въ Васильевскомъ, о Михалевичѣ, объ Антонѣ; онъ чувствовалъ потребность говорить съ Лизой, сообщить ей все, что приходило ему въ душу: она такъ мило, такъ вни-

мательно его слушала; ея рѣдкія замѣчанія и возраженія казались ему такъ просты и умны. Онъ даже сказалъ ей это.

Лиза удивилась.

— Право? промолвила она: — а я такъ думала, что у меня, какъ у моей горничной Насти, *своихъ* словъ нѣтъ. Она однажды сказала своему жениху: тебѣ должно быть скучно со мною; ты мнѣ говоришь все такое хорошее, а у меня своихъ словъ нѣту.

„И слава Богу!“ подумалъ Лаврецкій.

XXVII.

Между тѣмъ, вечеръ наступалъ, и Марья Дмитріевна изъявила желаніе возвратиться домой. Дѣвочекъ съ трудомъ оторвали отъ пруда, снарядили. Лаврецкій объявилъ, что проводитъ гостей до полъ-дороги и велѣлъ осѣдлать себѣ лошадь. Усаживая Марью Дмитріевну въ карету, онъ хватился Лемма; но старика нигдѣ не могли найти. Онъ тотчасъ исчезъ, какъ только кончилось уженье. Антонъ, съ замѣчательной для его лѣтъ силой, захлопнулъ дверцы и сурово закричалъ: пошелъ, кучеръ! Карета тронулась. На заднихъ мѣстахъ помѣщались Марья Дмитріевна и Лиза; на переднихъ—дѣвочки и горничная. Вечеръ стоялъ теплый и тихій, и окна съ обѣихъ сторонъ были опущены. Лаврецкій ѣхалъ рысью возлѣ кареты со стороны Лизы, положивъ руку на дверцы,—онъ бросилъ поводья на шею плавно бѣжавшей лошади—и изрѣдка мѣняясь двумя-тремя словами съ молодой дѣвушкой. Заря исчезла; наступила ночь, а воздухъ даже потеплѣлъ. Марья Дмитріевна скоро задремала; дѣвочки и горничная заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета; Лиза наклонилась впередъ; только-что поднявшійся мѣсяцъ свѣтилъ ей въ лицо, ночной пахучій вѣтерокъ дышалъ ей въ глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ея опиралась на дверцы кареты рядомъ съ рукою Лаврецкаго. И ему было хорошо: онъ несся по спокойной ночной теплынѣ, не спуская глазъ съ добраго молодого лица, слушая молодой, и въ шопотѣ звенѣвшій *голосъ, говорившій* простыя, добрыя вещи; онъ и не *замѣтилъ*, какъ проѣхалъ полъ-дороги. Онъ не захотѣлъ

будить Марью Дмитріевну, пожалъ слегка руку Лизы, и сказалъ: „вѣдь мы друзья теперь, не правда ли?“ Она кивнула головой, онъ остановилъ лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя; Лаврецкій отправился шагомъ домой. Обаянье лѣтней ночи охватило его; все вокругъ казалось такъ неожиданно странно и въ то же время такъ давно и такъ сладко знакомо; вблизи и вдали,—а далеко было видно, хотя глазъ многаго не понималъ изъ того, что̀ видѣлъ, — все покоилось; молодая расцвѣтающая жизнь сказывалась въ самомъ этомъ покоѣ. Лошадь Лаврецкаго бодро шла, мѣрно раскачиваясь направо и налѣво; большая черная тѣнь ея шла съ ней рядомъ; было что-то таинственно-пріятное въ топотѣ ея копытъ, что-то веселое и чудное въ гремящемъ крикѣ перепелокъ. Звѣзды исчезали въ какомъ-то свѣтломъ дымѣ; неполный мѣсяцъ блестѣлъ твердымъ блескомъ; свѣтъ его разливался голубымъ потокомъ по небу и падалъ пятномъ дымчатаго золота на проходившія близко тонкія тучки; свѣжесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала всѣ члены, лилась вольною струею въ грудь. Лаврецкій наслаждался и радовался своему наслажденію. „Ну, мы еще поживемъ, думалъ онъ:—не совсѣмъ еще насъ заѣла...“ Онъ не договорилъ: кто или что... Потомъ онъ сталъ думать о Лизѣ, о томъ, что врядъ ли она любитъ Паншина; что встрѣться онъ съ ней при другихъ обстоятельствахъ,—Богъ знаетъ, что̀ могло бы изъ этого выйти; что онъ понимаетъ Лемма, хотя у ней „своихъ“ словъ нѣтъ. Да и это неправда: у ней есть свои слова... „Не говорите объ этомъ легкомысленно“, вспомнилось Лаврецкому. Онъ долго ѣхалъ, понуривъ голову, потомъ выпрямился, медленно произнесъ:

И я сжегъ все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигалъ...

но тотчасъ же ударилъ лошадь хлыстомъ и скакалъ вплоть до дому.

Слѣзая съ коня, онъ въ послѣдній разъ оглянулся, съ *невольной, благодарной улыбкой.* Ночь, безмолвная, ласковая *ночь, лежала на холмахъ* и на долинахъ; издали, изъ

ея благовонной глубины, Богъ знаетъ откуда,—съ неба ли, съ земли,—тянуло тихимъ и мягкимъ теплomъ. Лаврецкій послалъ послѣдній поклонъ Лизѣ и взбѣжалъ на крыльцо.

Слѣдующій день прошелъ довольно вяло. Съ утра падалъ дождь; Леммъ глядѣлъ исподлобья и все крѣпче и крѣпче стискивалъ губы, точно онъ давалъ себѣ зарокъ никогда не открывать ихъ. Ложась спать, Лаврецкій взялъ съ собою на постель цѣлую груду французскихъ журналовъ, которые уже болѣе двухъ недѣль лежали у него на столѣ не распечатанные. Онъ принялся равнодушно рвать обложки и пробѣгать столбцы газетъ, въ которыхъ, впрочемъ, не было ничего новаго. Онъ уже хотѣлъ бросить ихъ — и вдругъ вскочилъ съ постели, какъ ужаленный. Въ фельетонѣ одной изъ газетъ, извѣстный уже намъ мосье Жюль сообщалъ своимъ читателямъ „горестную новость“: прелестная, очаровательная москвитянка, писалъ онъ,—одна изъ царицъ моды, украшеніе парижскихъ салоновъ, Madame de Lavretzki скончалась почти внезапно, — и вѣсть эта, къ сожалѣнію, слишкомъ вѣрная, только-что дошла до него, г-на Жюля. Онъ былъ,—такъ продолжалъ онъ:— можно сказать, другомъ покойницы...

Лаврецкій одѣлся, вышелъ въ садъ и до самаго утра ходилъ взадъ и впередъ все по одной аллеѣ.

XXVIII.

На слѣдующее утро, за чаемъ, Леммъ попросилъ Лаврецкаго дать ему лошадей для того, чтобы возвратиться въ городъ. „Мнѣ пора приняться за дѣло, то-есть за уроки“, замѣтилъ старикъ: — „а то я здѣсь только даромъ время теряю“. Лаврецкій не сразу отвѣчалъ ему: онъ казался разсѣяннымъ. „Хорошо“, сказалъ онъ наконецъ: „я съ вами самъ поѣду“.—Безъ помощи слуги, кряхтя и сердясь, уложилъ Леммъ небольшой свой чемоданъ, изорвалъ и сжегъ нѣсколько листовъ нотной бумаги. Подали лошадей. Выходя изъ кабинета, Лаврецкій положилъ въ карманъ вчерашній нумеръ газеты. Во все время дороги, и Леммъ, и Лаврецкій мало говорили другъ съ другомъ: каждаго изъ нихъ занимали собственныя мысли, и каждый былъ радъ,

что другой его не безпокоитъ. И разстались они довольно сухо, что̀, впрочемъ, часто случается между пріятелями на Руси. Лаврецкій подвезъ старика къ его домику: тотъ вылѣзъ, досталъ свой чемоданъ и, не протягивая своему пріятелю руки (онъ держалъ чемоданъ обѣими руками передъ грудью), не глядя даже на него, сказалъ ему по-русски: прощайте-съ!—Прощайте, повторилъ Лаврецкій и велѣлъ кучеру ѣхать къ себѣ на квартиру. Онъ нанималъ, на всякій случай, квартиру въ городѣ О.... Написавши нѣсколько писемъ и наскоро пообѣдавъ, Лаврецкій отправился къ Калитинымъ. Онъ засталъ у нихъ въ гостиной одного Паншина, который объявилъ ему, что Марья Дмитріевна сейчасъ выйдетъ, и тотчасъ съ самой радушной любезностью вступилъ съ нимъ въ разговоръ. До того дня Паншинъ обращался съ Лаврецкимъ—не то, чтобъ свысока, а снисходительно; но Лиза, разсказывая Паншину свою вчерашнюю поѣздку, отозвалась о Лаврецкомъ, какъ о прекрасномъ и умномъ человѣкѣ; этого было довольно: слѣдовало завоевать „прекраснаго“ человѣка. Паншинъ началъ съ комплиментовъ Лаврецкому, съ описанія восторга, съ которымъ, по его словамъ, все семейство Марьи Дмитріевны отзывалось о Васильевскомъ, и потомъ, по обыкновенію своему, ловко перейдя къ самому себѣ, началъ говорить о своихъ занятіяхъ, о воззрѣніяхъ своихъ на жизнь, на свѣтъ и на службу; сказалъ слова два о будущности Россіи, о томъ, какъ слѣдуетъ губернаторовъ въ рукахъ держать; тутъ же весело подтрунилъ надъ самимъ собою и прибавилъ, что между прочимъ ему въ Петербургѣ поручили—„de populariser l'idée du cadastre“. Онъ говорилъ довольно долго, съ небрежной самоувѣренностью разрѣшая всѣ затрудненія и, какъ фокусникъ шарами, играя самыми важными административными и политическими вопросами. Выраженія: „вотъ что̀ бы я сдѣлалъ, если бъ я былъ правительствомъ“; „вы, какъ умный человѣкъ, тотчасъ со мной согласитесь“—не сходили у него съ языка. Лаврецкій холодно слушалъ разглагольствованія Паншина: *не нравился ему* этотъ красивый, умный и *непринужденно-изящный* человѣкъ, съ своей свѣтлой улыб-

кой, вѣжливымъ голосомъ и пытливыми глазами. Паншинъ скоро догадался, съ свойственнымъ ему быстрымъ пониманіемъ ощущеній другого, что не доставляетъ особеннаго удовольствія своему собесѣднику, и подъ благовиднымъ предлогомъ скрылся, рѣшивъ про себя, что Лаврецкій, можетъ-быть, и прекрасный человѣкъ, но не симпатичный, „aigri“ и, „en somme“, нѣсколько смѣшной.—Марья Дмитріевна появилась въ сопровожденіи Гедеоновскаго; потомъ пришла Марѳа Тимоѳеевна съ Лизой; за ними пришли остальные домочадцы; потомъ пріѣхала и любительница музыки, Бѣленицына, маленькая, худенькая дама, съ почти ребяческимъ, усталымъ и красивымъ личикомъ, въ шумящемъ черномъ платьѣ, съ пестрымъ вѣеромъ и толстыми золотыми браслетами; пріѣхалъ и мужъ ея, краснощекій, пухлый человѣкъ, съ большими ногами и руками, съ бѣлыми рѣсницами и неподвижной улыбкой на толстыхъ губахъ; въ гостяхъ жена никогда съ нимъ не говорила, а дома, въ минуту нѣжности, называла его своимъ поросеночкомъ; Паншинъ вернулся: очень стало людно и шумно въ комнатахъ. Лаврецкому такое множество народа было не понутру; особенно сердила его Бѣленицына, которая то-и-дѣло глядѣла на него въ лорнетъ. Онъ бы тотчасъ ушелъ, если бъ не Лиза: ему хотѣлось сказать ей два слова наединѣ, но онъ долго не могъ улучить удобное мгновенье и довольствовался тѣмъ, что съ тайной радостью слѣдилъ за нею взоромъ; никогда ея лицо не казалось ему благороднѣй и милѣй. Она много выигрывала отъ близости Бѣленицыной. Та безпрестанно двигалась на стулѣ, поводила своими узкими плечиками, смѣялась изнѣженнымъ смѣхомъ и то щурилась, то вдругъ широко раскрывала глаза. Лиза сидѣла смирно, глядѣла прямо и вовсе не смѣялась. Хозяйка сѣла играть въ карты съ Марѳой Тимоѳеевной, Бѣленицынымъ и Гедеоновскимъ, который игралъ очень медленно, безпрестанно ошибался, моргалъ глазами и утиралъ лицо платкомъ. Паншинъ принялъ меланхолическій видъ, выражался кратко, многозначительно и печально,—*ни дать*, ни взять невысказавшійся художникъ,—*но, несмотря на* просьбы Бѣленицыной, которая очень съ

нимъ кокетничала, не соглашался спѣть свой романсъ: Лаврецкій его стѣснялъ. Ѳедоръ Иванычъ тоже говорилъ мало; особенное выраженіе его лица поразило Лизу, какъ только онъ вошелъ въ комнату: она тотчасъ почувствовала, что онъ имѣетъ сообщить ей что-то, но, сама не зная почему, боялась разспросить его. Наконецъ, переходя въ залу наливать чай, она невольно поворотила голову въ его сторону. Онъ тотчасъ пошелъ вслѣдъ за ней.

— Что̀ съ вами? промолвила̀ она, ставя чайникъ на самоваръ.

— А развѣ вы что̀ замѣтили? проговорилъ онъ.

— Вы сегодня не такой, какимъ я васъ видѣла до сихъ поръ.

Лаврецкій наклонился надъ столомъ.

— Я хотѣлъ, началъ онъ:—передать вамъ одно извѣстіе, но теперь невозможно.—Впрочемъ, прочтите вотъ, что отмѣчено карандашомъ въ этомъ фельетонѣ, прибавилъ онъ, подавая ей нумеръ взятаго съ собою журнала. — Прошу хранить это въ тайнѣ; я зайду завтра утромъ.

Лиза изумилась... Паншинъ показался на порогѣ двери: она положила журналъ къ себѣ въ карманъ.

— Читали вы Обермана, Лизавета Михайловна? задумчиво спросилъ ее Паншинъ.

Лиза отвѣчала ему вскользь и пошла изъ залы наверхъ. Лаврецкій вернулся въ гостиную и приблизился къ игорному столу. Марѳа Тимоѳеевна, распустивъ ленты чепца и покраснѣвъ, начала ему жаловаться на своего партнера, Гедеоновскаго, который, по ея словамъ, ступить не умѣлъ.

— Видно, въ карты играть, говорила она:—не то, что выдумки сочинять.

Тотъ продолжалъ моргать глазами и утираться. Лиза пришла въ гостиную и сѣла въ уголъ; Лаврецкій посмотрѣлъ на нее, она на него посмотрѣла,—и обоимъ стало почти жутко. Онъ прочелъ недоумѣніе и какой-то тайный упрекъ на ея лицѣ. Поговорить съ нею, какъ бы ему хотѣлось, онъ не могъ; оставаться въ одной комнатѣ съ нею, гостемъ *въ числѣ* другихъ гостей, — было тяжело. *онъ рѣшился уйти. Прощаясь* съ нею, онъ успѣлъ почто-

рить, что придетъ завтра, и прибавилъ, что надѣется на ея дружбу.

— Приходите, отвѣчала она съ тѣмъ же недоумѣніемъ на лицѣ.

Паншинъ оживился по уходѣ Лаврецкаго; онъ началъ давать совѣты Гедеоновскому, пасмѣшливо любезничалъ съ Бѣленицыной и, наконецъ, спѣлъ свой романсъ. Но съ Лизой онъ говорилъ и глядѣлъ на нее попрежнему: значительно и немного печально.

А Лаврецкій опять не спалъ всю ночь. Ему не было грустно, онъ не волновался, онъ затихъ весь; но онъ не могъ спать. Онъ даже не вспоминалъ прошедшаго времени; онъ просто глядѣлъ въ свою жизнь: сердце его билось тяжело и ровно, часы летѣли, онъ и не думалъ о снѣ. По временамъ только всплывала у него въ головѣ мысль: „да это не правда, это все вздоръ“,—и онъ останавливался, поникалъ головою и снова принимался глядѣть въ свою жизнь.

XXIX.

Марья Дмитріевна не слишкомъ ласково приняла Лаврецкаго, когда онъ явился къ ней на слѣдующій день. „Вишь, повадился“, подумала она. Онъ ей самъ по себѣ не очень нравился, да и Паншинъ, подъ вліяніемъ котораго она находилась, весьма коварно и небрежно похвалилъ его наканунѣ. Такъ какъ она не считала его гостемъ и не полагала нужнымъ занимать родственника, почти домашняго человѣка, то и получаса не прошло, какъ онъ уже шелъ съ Лизой въ саду по аллеѣ. Леночка и Шурочка бѣгали въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нихъ по цвѣтнику.

Лиза была спокойна по обыкновенію, но болѣе обыкновеннаго блѣдна. Она достала изъ кармана и протянула Лаврецкому мелко сложенный листъ журнала.

— Это ужасно! промолвила она.

Лаврецкій ничего не отвѣчалъ.

— Да, можетъ-быть, это еще и не правда, прибавила Лиза.

— Оттого-то я и просилъ васъ не говорить объ этомъ *никому.*

Лиза прошлась немного.

— Скажите, начала она:—вы не огорчены? нисколько?

— Я самъ не знаю, что я чувствую, отвѣчалъ Лаврецкій.

— Но вѣдь вы ее любили прежде?

— Любилъ.

— Очень?

— Очень.

— И не огорчены ея смертью?

— Она не теперь для меня умерла.

— Это грѣшно, что вы говорите... Не сердитесь на меня. Вы меня называете своимъ другомъ: другъ все можетъ говорить. Мнѣ, право, даже страшно... Вчера у васъ такое нехорошее было лицо... Помните, недавно, какъ вы жаловались на нее?—а ея уже тогда, можетъ-быть, на свѣтѣ не было. Это страшно. Точно это вамъ въ наказаніе послано.

Лаврецкій горько усмѣхнулся.

— Вы думаете?.. По крайней мѣрѣ, я теперь свободенъ.

Лиза слегка вздрогнула.

— Полноте, не говорите такъ. На что вамъ ваша свобода? Вамъ не объ этомъ теперь надо думать, а о прощеніи...

— Я давно ее простилъ, перебилъ Лаврецкій и махнулъ рукой.

— Нѣтъ, не то, возразила Лиза и покраснѣла. — Вы не такъ меня поняли. Вы должны позаботиться о томъ, чтобы васъ простили...

— Кому меня прощать?

— Кому?—Богу. Кто же можетъ насъ простить, кромѣ Бога?

Лаврецкій схватилъ ее за руку.

— Ахъ, Лизавета Михайловна, повѣрьте, воскликнулъ онъ:—я и такъ довольно былъ наказанъ. Я уже все искупилъ, повѣрьте.

— Это вы не можете знать, проговорила Лиза вполголоса.—Вы забыли,—еще недавно, вотъ, когда вы со мной говорили,—вы не хотѣли ея прощать...

Оба молча прошлись по аллеѣ.

— А что же ваша дочь? спросила вдругъ Лиза и остановилась.

Лаврецкій встрепенулся.

— *О, не безпокойтесь!* Я уже послалъ письма во всѣ

мѣста. Будущность моей дочери, какъ вы ее... какъ вы говорите... обезпечена. Не безпокойтесь.

Лиза печально улыбнулась.

— Но вы правы, продолжалъ Лаврецкій:—что мнѣ дѣлать съ моей свободой? На что мнѣ она?

— Когда вы получили этотъ журналъ? промолвила Лиза, не отвѣчая на его вопросъ.

— На другой день послѣ вашего посѣщенія.

— И неужели... неужели вы даже не заплакали?

— Нѣтъ. Я былъ пораженъ; но откуда было взяться слезамъ? Плакать о прошедшемъ, — да вѣдь оно у меня все выжжено!.. Самый проступокъ ея не разрушилъ мое счастіе, а доказалъ мнѣ только, что его вовсе никогда не бывало. О чемъ же тутъ было плакать? Впрочемъ, кто знаетъ?—я, можетъ-быть, былъ бы болѣе огорченъ, если-бъ я получилъ это извѣстіе двумя недѣлями раньше...

— Двумя недѣлями? возразила Лиза. — Да что-жъ такое случилось въ эти двѣ недѣли?

Лаврецкій ничего не отвѣчалъ, а Лиза вдругъ покраснѣла еще пуще прежняго.

— Да, да, вы угадали, подхватилъ внезапно Лаврецкій:—въ теченіе этихъ двухъ недѣль я узналъ, что значитъ чистая женская душа, и мое прошедшее еще больше отъ меня отодвинулось.

Лиза смутилась и тихонько пошла въ цвѣтникъ, къ Леночкѣ и Шурочкѣ.

— А я доволенъ тѣмъ, что показалъ вамъ этотъ журналъ, говорилъ Лаврецкій, идя за нею слѣдомъ:—я уже привыкъ ничего не скрывать отъ васъ, и надѣюсь, что и вы отплатите мнѣ такимъ же довѣріемъ.

— Вы думаете? промолвила Лиза и остановилась.—Въ такомъ случаѣ я бы должна была... да нѣтъ! Это невозможно.

— Что такое? Говорите, говорите.

— Право, мнѣ кажется, я не должна... А, впрочемъ, прибавила Лиза, и съ улыбкой оборотилась къ Лаврецкому:—что за откровенность въ половину?—Знаете ли? я *получила сегодня* письмо.

— *Отъ Паншина?*

— Да, отъ него... Почему вы знаете?

— Онъ проситъ вашей руки?

— Да, произнесла Лиза, и прямо и серьезно посмотрѣла Лаврецкому въ глаза.

Лаврецкій, въ свою очередь, серьезно посмотрѣлъ на Лизу.

— Ну, и что же вы ему отвѣчали? проговорилъ онъ наконецъ.

— Я не знаю, что̀ отвѣчать, возразила Лиза и опустила сложенныя руки.

— Какъ? Вѣдь вы его любите?

— Да, онъ мнѣ нравится; онъ, кажется, хорошій человѣкъ...

— Вы то же самое и въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ сказали мнѣ четвертаго дня. Я желаю знать, любите ли вы его тѣмъ сильнымъ, страстнымъ чувствомъ, которое мы привыкли называть любовью?

— Какъ *вы* понимаете,—нѣтъ.

— Вы въ него не влюблены?

— Нѣтъ. Да развѣ это нужно?

— Какъ!

— Маменькѣ онъ нравится, продолжала Лиза: — онъ добрый; я ничего противъ него не имѣю.

— Однако, вы колеблетесь?

— Да... и можетъ-быть,—вы, ваши слова тому причиной. Помните, что̀ вы третьяго дня говорили? Но это слабость...

— О, дитя мое! воскликнулъ вдругъ Лаврецкій—и голосъ его задрожалъ: — не мудрствуйте лукаво, не называйте слабостью крикъ вашего сердца, которое не хочетъ отдаться безъ любви. Не берите на себя такой страшной отвѣтственности передъ тѣмъ человѣкомъ, котораго вы не любите и которому хотите принадлежать...

— Я слушаюсь, я ничего не беру на себя, произнесла-было Лиза...

— Слушайтесь вашего сердца; оно одно вамъ скажетъ правду, перебилъ ее Лаврецкій.—Опытъ, разсудокъ — все это прахъ и суета! Не отнимайте у себя лучшаго, единственнаго счастья на землѣ.

— Вы *ли это говорите*, Ѳедоръ Иванычъ? Вы сами *женились по любви—и* были ли вы счастливы?

Лаврецкій всплеснулъ руками.

— Ахъ, не говорите обо мнѣ! Вы и понять не можете всего того, что̀ молодой, неискушенный, безобразно воспитанный мальчикъ можетъ принять за любовь!.. Да и, наконецъ, къ чему клеветать на себя? Я сейчасъ вамъ говорилъ, что я не зналъ счастья... нѣтъ! я былъ счастливъ!

— Мнѣ кажется, Ѳедоръ Иванычъ, произнесла, понизивъ голосъ, Лиза (когда она не соглашалась съ своимъ собесѣдникомъ, она всегда понижала голосъ; притомъ, она чувствовала большое волненіе): — счастье на землѣ зависитъ не отъ насъ...

— Отъ насъ, отъ насъ, повѣрьте мнѣ (онъ схватилъ ее за обѣ руки; Лиза поблѣднѣла и почти съ испугомъ, но внимательно глядѣла на него):—лишь бы мы не портили сами своей жизни. Для иныхъ людей бракъ по любви можетъ быть несчастьемъ; но не для васъ, съ вашимъ спокойнымъ нравомъ, съ вашей ясной душой! Умоляю васъ, не выходите замужъ безъ любви, по чувству долга, отреченья, что̀ ли... Это то же безвѣріе, тотъ же расчетъ,— и еще худшій. Повѣрьте мнѣ,—я имѣю право это говорить: я дорого заплатилъ за это право. И если вашъ Богъ...

Въ это мгновеніе Лаврецкій замѣтилъ, что Леночка и Шурочка стояли подлѣ Лизы и съ нѣмымъ изумленьемъ уставились на него. Онъ выпустилъ Лизины руки, торопливо проговорилъ: извините меня, пожалуйста,—и направился къ дому.

— Объ одномъ только прошу я васъ, промолвилъ онъ, возвращаясь къ Лизѣ:—не рѣшайтесь тотчасъ, подождите, подумайте о томъ, что̀ я вамъ сказалъ. Если-бъ даже вы не повѣрили мнѣ, если-бъ вы рѣшились на бракъ по разсудку, — и въ такомъ случаѣ не за г-на Паншина вамъ выходить: онъ не можетъ быть вашимъ мужемъ... Не правда ли, вы обѣщаетесь мнѣ не спѣшить?

Лиза хотѣла отвѣтить Лаврецкому, и ни слова не вымолвила — не оттого, что она рѣшилась „спѣшить“; но *оттого, что* сердце у ней слишкомъ сильно билось, и чувство, *похожее* на страхъ, захватило дыханіе.

XXX.

Уходя отъ Калитиныхъ, Лаврецкій встрѣтился съ Паншинымъ; они холодно поклонились другъ другу. Лаврецкій пришелъ къ себѣ на квартиру и заперся. Онъ испытывалъ ощущенія, едва ли когда-нибудь имъ испытанныя. Давно ли находился онъ въ состояніи „мирнаго оцѣпенѣнія“? давно ли чувствовалъ себя, какъ онъ выражался, на самомъ днѣ рѣки? Что же измѣнило его положеніе? что вынесло его наружу, на поверхность? самая обыкновенная, неизбѣжная, хотя всегда неожиданная случайность: смерть? Да; но онъ не столько думалъ о смерти жены, о своей свободѣ, сколько о томъ,—какой отвѣтъ дастъ Паншину Лиза? Онъ чувствовалъ, что въ теченіе трехъ послѣднихъ дней онъ сталъ глядѣть на нее другими глазами; онъ вспомнилъ, какъ, возвращаясь домой и думая о ней въ тиши ночи, онъ говорилъ самому себѣ: „если бы!..“ Это „если бы“, отнесенное имъ къ прошедшему, къ невозможному, сбылось, хоть и не такъ, какъ онъ полагалъ, — но одной его свободы было мало. „Она послушается матери“, думалъ онъ: „она выйдетъ за Паншина; но если даже она ему откажетъ, — не все ли равно для меня?“ Проходя передъ зеркаломъ, онъ мелькомъ взглянулъ на свое лицо и пожалъ плечами.

День пронесся быстро въ этихъ размышленіяхъ; пасталъ вечеръ. Лаврецкій отправился къ Калитинымъ. Онъ шелъ поспѣшно, но къ дому ихъ приблизился замедленными шагами. Передъ крыльцомъ стояли дрожки Паншина. „Ну, подумалъ Лаврецкій, не буду эгоистомъ“ — и вошелъ въ домъ. Въ домѣ онъ никого не встрѣтилъ, и въ гостиной было тихо; онъ отворилъ дверь и увидѣлъ Марью Дмитріевну, игравшую въ пикетъ съ Паншинымъ. Паншинъ молча ему поклонился, а хозяйка дома воскликнула: вотъ неожиданно!—и слегка нахмурила брови. Лаврецкій подсѣлъ къ ней и сталъ глядѣть ей въ карты.

— Вы развѣ умѣете въ пикетъ? спросила она его съ какою-то скрытой *досадой, и тутъ же* объявила, что разнеслась.

Паншинъ счелъ девяносто и началъ учтиво и спокойно

брать взятки, съ строгимъ и достойнымъ выраженіемъ на лицѣ. Такъ должны играть дипломаты; вѣроятно, такъ и онъ игралъ въ Петербургѣ съ какимъ-нибудь сильнымъ сановникомъ, которому желалъ внушить выгодное мнѣніе о своей солидности и зрѣлости. „Сто-одинъ, сто-два, черви, сто-три“, мѣрно раздавался его голосъ, и Лаврецкій не могъ понять, чѣмъ онъ звучалъ: укоризной или самодовольствомъ.

— Можно видѣть Марѳу Тимоѳеевну? спросилъ онъ, замѣчая, что Паншинъ еще съ бо́льшимъ достоинствомъ принимался тасовать карты. Художника въ немъ уже не замѣчалось и тѣни.

— Я думаю, можно. Она у себя, наверху, отвѣчала Марья Дмитріевна:—освѣдомьтесь.

Лаврецкій отправился наверхъ. И Марѳу Тимоѳеевну онъ засталъ за картами: она играла въ дурачки съ Настасьей Карповной. Роска залаяла на него; но обѣ старушки привѣтливо его приняли, особенно Марѳа Тимоѳеевна казалась въ духѣ.

— А! Ѳедя! Милости просимъ, промолвила она:—садись, мой батюшка. А мы сейчасъ доиграемъ. Хочешь варенья? Шурочка, достань ему банку съ клубникой. Не хочешь? Ну, такъ сиди такъ; а курить—не кури: не могу я табачища вашего терпѣть, да и Матросъ отъ него чихаетъ.

Лаврецкій поспѣшилъ объявить, что вовсе не желаетъ курить.

— Былъ ты внизу? продолжала старушка:—кого тамъ видѣлъ? Паншинъ все тамъ торчитъ? А Лизу видѣлъ? Нѣтъ? Она сюда хотѣла придти... Да вотъ и она; легка на поминѣ.

Лиза вошла въ комнату и, увидѣвъ Лаврецкаго, покраснѣла.

— Я къ вамъ на минутку, Марѳа Тимоѳеевна, начала-было она...

— Зачѣмъ на минутку? возразила старушка.—Что это вы всѣ, молодыя дѣвки, за непосѣды за такія? Ты видишь, у меня гость: покалякай съ нимъ, займи его.

Лиза присѣла на край стула, подняла глаза на Лаврецкаго—*и почувствовала*, что ей нельзя было не дать ему

знать, чѣмъ кончилось ея свиданіе съ Паншинымъ. Но какъ это сдѣлать? Ей и стыдно было, и неловко. Давно ли она познакомилась съ нимъ, съ этимъ человѣкомъ, который и въ церковь рѣдко ходитъ, и такъ равнодушно переноситъ кончину жены,—и вотъ, уже она сообщаетъ ему свои тайны... Правда, онъ принимаетъ въ ней участіе; она сама вѣритъ ему и чувствуетъ къ нему влеченье; но все-таки ей стыдно стало, точно чужой вошелъ въ ея дѣвическую, чистую комнату.

Марѳа Тимоѳеевна пришла на помощь.

— Вѣдь, если ты его занимать не будешь, заговорила она:—кто-жъ его, бѣдненькаго, займетъ? Я для него слишкомъ стара, онъ для меня слишкомъ уменъ, а для Настасьи Карповны онъ слишкомъ старъ, ей все молоденькихъ подавай.

— Чѣмъ же я могу занять Ѳедора Иваныча? промолвила Лиза.—Если онъ хочетъ, я лучше ему что-нибудь на фортепіано сыграю, прибавила она нерѣшительно.

— И прекрасно: ты у меня умница, возразила Марѳа Тимоѳеевна.—Ступайте, мои милые, внизъ; когда кончите приходите; а я вотъ въ дурахъ осталась, мнѣ обидно, я отыграться хочу.

Лиза встала. Лаврецкій пошелъ за ней. Спускаясь съ лѣстницы, Лиза остановилась.

— Правду говорятъ, начала она:—что сердце людское исполнено противорѣчій. Вашъ примѣръ долженъ былъ испугать меня, сдѣлать меня недовѣрчивой къ бракамъ по любви, а я...

— Вы отказали ему? перебилъ Лаврецкій.

— Нѣтъ; но и не согласилась. Я ему все сказала, все, что я чувствовала, и просила его подождать. Довольны вы? прибавила она съ быстрой улыбкой,—и, слегка трогая перила рукою, сбѣжала съ лѣстницы.

— Что мнѣ сыграть вамъ? спросила она, поднимая крышку фортепіано.

— Что хотите, отвѣчалъ Лаврецкій и сѣлъ такъ, что могъ смотрѣть на нее.

Лиза начала играть и долго не отводила глазъ отъ своихъ пальцевъ. Она взглянула, наконецъ, на Лаврецкаго

и остановилась: такъ чудно и странно показалось ей его лицо.

— Что̀ съ вами? спросила она.

— Ничего, возразилъ онъ:—мнѣ очень хорошо; я радъ за васъ, я радъ васъ видѣть,—продолжайте.

— Мнѣ кажется, говорила Лиза нѣсколько мгновеній спустя:—если бы онъ точно меня любилъ, онъ бы не написалъ этого письма; онъ долженъ былъ бы чувствовать, что я не могу отвѣчать ему теперь.

— Это не важно, промолвилъ Лаврецкій:—важно то, что вы его не любите.

— Перестаньте, что̀ это за разговоръ! Мнѣ все мерещится ваша покойная жена, и вы мнѣ страшны.

— Не правда ли, Вольдемаръ, какъ мило играетъ моя Лизета? говорила въ то же время Марья Дмитріевна Паншину.

— Да, отвѣчалъ Паншинъ:—очень мило.

Марья Дмитріевна съ нѣжностью посмотрѣла на молодого своего партнёра; но тотъ принялъ еще болѣе важный и озабоченный видъ и объявилъ четырнадцать королей.

XXXI.

Лаврецкій не былъ молодымъ человѣкомъ; онъ не могъ долго обманываться на счетъ чувства, внушеннаго ему Лизой; онъ окончательно въ тотъ же день убѣдился въ томъ, что полюбилъ ее. Не много радости принесло ему это убѣжденіе. „Неужели, подумалъ онъ, мнѣ въ тридцать-пять лѣтъ нечего другого дѣлать, какъ опять отдать свою душу въ руки женщины? Но Лиза не чета *той:* она бы не потребовала отъ меня постыдныхъ жертвъ; она не отвлекла бы меня отъ моихъ занятій; она бы сама воодушевила меня на честный, строгій трудъ, и мы пошли бы оба впередъ, къ прекрасной цѣли. Да, кончилъ онъ свои размышленія:—все это хорошо, но худо то, что она вовсе не захочетъ пойти со мной. Не даромъ она сказала мнѣ, что я ей страшенъ. За то и Паншина она не любитъ... Слабое утѣшеніе!“

Лаврецкій поѣхалъ въ Васильевское; но и четырехъ дней тамъ не выжилъ,—такъ ему показалось скучно. Его томило *также ожиданіе:* извѣстіе, сообщенное г-мъ Жюлемъ, *требовало подтвержденія*, а онъ не получалъ никакихъ на-

семъ. Онъ вернулся въ городъ и просидѣлъ вечеръ у Калитиныхъ. Ему легко было замѣтить, что Марья Дмитріевна была противъ него возстановлена; но ему удалось нѣсколько умилостивить ее, проигравъ ей рублей пятнадцать въ пикетъ,—и онъ провелъ около получаса почти наединѣ съ Лизой, несмотря на то, что мать ей еще наканунѣ совѣтовала не быть слишкомъ фамильярной съ человѣкомъ „qui a un si grand ridicule“. Онъ нашелъ въ ней перемѣну: она стала какъ будто задумчивѣе, попеняла ему за его отсутствіе и спросила его—не пойдетъ ли онъ на другой день къ обѣднѣ? (на другой день было воскресенье).

— Ступайте, сказала она прежде, чѣмъ онъ успѣлъ отвѣтить: — мы вмѣстѣ помолимся за упокой *ея* души. — Потомъ она прибавила, что не знаетъ, какъ ей быть,— не знаетъ, имѣетъ ли она право заставлять Паншина далѣе ждать ея рѣшенія.

— Почему же? спросилъ Лаврецкій.

— Потому, сказала она: — что я уже теперь начинаю подозрѣвать, какое будетъ это рѣшеніе.

Она объявила, что голова у ней болитъ, и ушла къ себѣ наверхъ, нерѣшительно протянувъ Лаврецкому кончики пальцевъ.

На другой день Лаврецкій отправился къ обѣднѣ. Лиза уже была въ церкви, когда онъ пришелъ. Она замѣтила его, хотя не обернулась къ нему. Она усердно молилась; тихо свѣтились ея глаза, тихо склонялась и поднималась ея голова. Онъ почувствовалъ, что она молилась и за него,— и чудное умиленіе наполнило его душу. Ему было и хорошо, и немного совѣстно. Чинно стоявшій народъ, родныя лица, согласное пѣніе, запахъ ладану, длинные косые лучи отъ оконъ, самая темнота стѣнъ и сводовъ— все говорило его сердцу. Давно не былъ онъ въ церкви, давно не обращался къ Богу: онъ и теперь не произнесъ никакихъ молитвенныхъ словъ,—онъ безъ словъ даже не молился,—но хотя на мгновенье, если не тѣломъ, то всѣмъ помысломъ своимъ повергнулся ницъ и припикъ смиренно къ *землѣ. Вспомнилось ему*, какъ въ дѣтствѣ онъ всякій *разъ въ церкви до тѣхъ поръ* молился, пока не ощущалъ

у себя на лбу какъ бы чьего-то свѣжаго прикосновенія; это, думалъ онъ тогда, ангелъ-хранитель принимаетъ меня, кладетъ на меня печать избранія. Онъ взглянулъ на Лизу... „Ты меня сюда привела“, подумалъ онъ: „коснись же меня, коснись моей души“. Она все такъ же тихо молилась; лицо ея показалось ему радостнымъ, и онъ умилился вновь, онъ попросилъ другой душѣ—покоя, своей—прощенья...

Они встрѣтились на паперти; она привѣтствовала его съ веселой и ласковой важностью. Солнце ярко освѣщало молодую траву на церковномъ дворѣ, пестрыя платья и платки женщинъ; колокола сосѣднихъ церквей гудѣли въ вышинѣ; воробьи чирикали по заборамъ. Лаврецкій стоялъ съ непокрытой головой и улыбался; легкій вѣтерокъ вздымалъ его волосы и концы лентъ Лизиной шляпы. Онъ посадилъ Лизу и бывшую съ ней Леночку въ карету, роздалъ всѣ свои деньги нищимъ и тихонько побрелъ домой.

XXXII.

Настали трудные дни для Ѳедора Иваныча. Онъ находился въ постоянной лихорадкѣ. Каждое утро отправлялся онъ на почту, съ волненьемъ распечатывалъ письма, журналы,—и нигдѣ не находилъ ничего, что̀ бы могло подтвердить или опровергнуть роковой слухъ. Иногда онъ самъ себѣ становился гадокъ: „что это я“, думалъ онъ: „жду, какъ воронъ крови, вѣрной вѣсти о смерти жены!“ Къ Калитинымъ онъ ходилъ каждый день; но и тамъ ему не становилось легче: хозяйка явно дулась на него, принимала его изъ снисхожденія; Паншинъ обращался съ нимъ преувеличенно-вѣжливо; Леммъ напустилъ на себя мизантропію и едва кланялся ему, а главное: Лиза какъ будто его избѣгала. Когда же ей случалось оставаться съ нимъ наединѣ, въ ней, вмѣсто прежней довѣрчивости, проявлялось замѣшательство; она не знала, что сказать ему, и онъ самъ чувствовалъ смущеніе. Лиза въ нѣсколько дней стала не та, какою онъ ее зналъ: въ ея движеніяхъ, *голосѣ, въ самомъ* смѣхѣ замѣчалась тайная тревога, *небывалая прежде* неровность. Марья Дмитріевна, какъ истая

эгоистка, ничего не подозрѣвала; но Марѳа Тимоѳѣевна начинала присматривать за своей любимицей. Лаврецкій не разъ упрекнулъ себя въ томъ, что показалъ Лизѣ полученный имъ нумеръ журнала: онъ не могъ не сознаться, что въ его душевномъ состояніи было что-то возмутительное для чистаго чувства. Онъ полагалъ также, что перемѣна въ Лизѣ происходила отъ ея борьбы съ самой собою, отъ ея сомнѣній: какой отвѣтъ дать Паншину? Однажды она принесла ему книгу, романъ Вальтеръ-Скотта, который она сама у него спросила.

— Вы прочли эту книгу? проговорилъ онъ.

— Нѣтъ; мнѣ теперь не до книгъ, отвѣчала она и хотѣла уйти.

— Постойте на минуту; я съ вами такъ давно не былъ наединѣ. Вы словно меня боитесь.

— Да.

— Отчего же, помилуйте?

— Не знаю.

Лаврецкій помолчалъ.

— Скажите, началъ онъ:—вы еще не рѣшились?

— Что вы хотите сказать? промолвила она, не поднимая глазъ.

— Вы понимаете меня...

Лиза вдругъ вспыхнула.

— Не спрашивайте меня ни о чемъ, произнесла она съ живостью:—я ничего не знаю; я сама себя не знаю...

И она тотчасъ же удалилась.

На слѣдующій день, Лаврецкій пріѣхалъ къ Калитинымъ послѣ обѣда и засталъ у нихъ всѣ приготовленія ко всенощной. Въ углу столовой, на четыреугольномъ столѣ, покрытомъ чистой скатертью, уже находились прислоненные къ стѣнѣ небольшіе образа въ золотыхъ окладахъ, съ маленькими тусклыми алмазами на вѣнчикахъ. Старый слуга, въ сѣромъ фракѣ и башмакахъ, прошелъ, не спѣша и не стуча каблуками, черезъ всю комнату, поставилъ двѣ восковыя свѣчи въ тонкихъ подсвѣчникахъ передъ образами, перекрестился, поклонился и тихо вышелъ. Не освѣщенная гостиная была пуста. Лаврецкій походилъ по

столовой, спросилъ—не именинница ли кто? Ему отвѣчали шопотомъ, что нѣтъ, а что всенощную заказали по желанію Лизаветы Михайловны да Маѳы Тимоѳеевны; что хотѣли-было чудотворную икону поднять, но что она уѣхала за тридцать верстъ къ больному. Скоро прибылъ вмѣстѣ съ дьячками и священникъ, человѣкъ уже не молодой, съ большой лысиной, и громко кашлянулъ въ передней; дамы тотчасъ вереницей потянулись изъ кабинета и подошли къ нему подъ благословеніе; Лаврецкій молча имъ поклонился; и онѣ ему поклонились молча. Священникъ постоялъ немного, еще разъ откашлянулся и спросилъ вполголоса басомъ:

— Приступать прикажете?

— Приступите, батюшка, возразила Марья Дмитріевна.

Онъ началъ облачаться; дьячокъ въ стихарѣ подобострастно попросилъ уголька; запахло ладаномъ. Изъ передней вышли горничныя и лакеи, и остановились сплошной кучкой передъ дверями. Роска, никогда не сходившая съ верху, вдругъ появилась въ столовой: ее стали выгонять—она испугалась, завертѣлась и сѣла; лакей подхватилъ ее и унесъ. Всенощная началась. Лаврецкій прижался въ уголокъ; ощущенія его были странны, почти грустны; онъ самъ не могъ хорошенько разобрать, что онъ чувствовалъ. Марья Дмитріевна стояла впереди всѣхъ, передъ креслами; она крестилась изнѣженно-небрежно, по-барски — то оглядываясь, то вдругъ поднимала взоры кверху: она скучала. Маѳа Тимоѳеевна казалась озабоченной; Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала съ какимъ-то скромнымъ и мягкимъ шумомъ; Лиза, какъ стала, такъ и не двигалась съ мѣста и не шевелилась; по сосредоточенному выраженію ея лица можно было догадаться, что она пристально и горячо молилась. Прикладываясь ко кресту по окончаніи всенощной, она также поцѣловала большую красную руку священника. Марья Дмитріевна пригласила его откушать чаю; онъ снялъ эпитрахиль, принялъ нѣсколько свѣтскій видъ и вмѣстѣ съ дамами перешелъ въ гостиную. Начался разговоръ, не слишкомъ оживленный. Священникъ выпилъ четыре чашки, безпрестан-

но отирая платкомъ свою лысину, разсказалъ между прочимъ, что купецъ Авошниковъ пожертвовалъ семьсотъ рублей на позолоту церковнаго „кумпола“, и сообщилъ вѣрное средство противъ веснушекъ. Лаврецкій подсѣлъ было къ Лизѣ, но она держалась строго, почти сурово, и ни разу не взглянула на него. Она какъ-будто съ намѣреніемъ его не замѣчала; какая-то холодная, важная восторженность нашла на нее. Лаврецкому почему-то все хотѣлось улыбнуться и сказать что-нибудь забавное; но на сердцѣ у него было смущеніе, и онъ ушелъ, наконецъ, тайно недоумѣвая... Онъ чувствовалъ: что-то было въ Лизѣ, куда онъ проникнуть не могъ.

Въ другой разъ Лаврецкій, сидя въ гостиной и слушая вкрадчивыя, но тяжелыя разглагольствованія Гедеоновскаго, внезапно, самъ не зная почему, оборотился и уловилъ глубокій, внимательный, вопросительный взглядъ въ глазахъ Лизы... Онъ былъ устремленъ на него, этотъ загадочный взглядъ. Лаврецкій цѣлую ночь потомъ о немъ думалъ. Онъ любилъ не какъ мальчикъ, не къ лицу ему было вздыхать и томиться, да и сама Лиза не такого рода чувство возбуждала; но любовь на всякій возрастъ имѣетъ свои страданья,—и онъ испыталъ ихъ вполнѣ.

XXXIII.

Однажды Лаврецкій, по обыкновенію своему, сидѣлъ у Калитиныхъ. Послѣ томительно-жаркаго дня наступилъ такой прекрасный вечеръ, что Марья Дмитріевна, несмотря на свое отвращеніе къ сквозному вѣтру, велѣла отворить всѣ окна и двери въ садъ и объявила, что въ карты играть не станетъ, что въ такую погоду въ карты играть грѣхъ, а должно наслаждаться природой. Изъ гостей былъ одинъ Паншинъ. Настроенный вечеромъ и не желая пѣть передъ Лаврецкимъ, но чувствуя приливъ художническихъ ощущеній, онъ пустился въ поэзію: прочелъ хорошо, но слишкомъ сознательно и съ ненужными тонкостями, нѣсколько стихотвореній Лермонтова (тогда Пушкинъ не успѣлъ еще *опять войти въ моду*)—и вдругъ, какъ бы устыдясь *своихъ изліяній, началъ, по поводу* извѣстной „Думы“, ко-

рять и упрекать новѣйшее поколѣніе; при чемъ не упустилъ случая изложить, какъ бы онъ все повернулъ по-своему, если-бъ власть у него была въ рукахъ. „Россія,—говорилъ онъ,—отстала отъ Европы; нужно подогнать ее. Увѣряютъ, что мы молоды—это вздоръ; да и притомъ у насъ изобрѣтательности нѣтъ: самъ Х-въ признается въ томъ, что мы даже мышеловки не выдумали. Слѣдовательно, мы поневолѣ должны заимствовать у другихъ. Мы больны, говоритъ Лермонтовъ,—я согласенъ съ нимъ; но мы больны оттого, что только наполовину сдѣлались европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ мы и лѣчиться должны („le cadastre" подумалъ Лаврецкій).—У насъ,—продолжалъ онъ,—лучшія головы—les meilleures têtes—давно въ этомъ убѣдились; всѣ народы въ сущности одинаковы; вводите только хорошія учрежденія—и дѣло съ концомъ. Пожалуй, можно приноравливаться къ существующему народному быту; это наше дѣло, дѣло людей... (онъ чуть не сказалъ: государственныхъ) служащихъ; но, въ случаѣ нужды, не безпокойтесь: учрежденія передѣлаютъ самый этотъ бытъ". Марья Дмитріевна съ умиленіемъ поддакивала Паншину. „Вотъ какой,—думала она,—умный человѣкъ у меня бесѣдуетъ". Лиза молчала, прислонившись къ окну; Лаврецкій молчалъ тоже; Марѳа Тимоѳеевна, игравшая въ уголкѣ въ карты съ своей пріятельницей, ворчала себѣ что-то подъ носъ. Паншинъ расхаживалъ по комнатѣ и говорилъ красиво, но съ тайнымъ озлобленьемъ: казалось, онъ бранилъ не цѣлое поколѣнье, а нѣсколькихъ извѣстныхъ ему людей. Въ саду Калитиныхъ, въ большомъ кустѣ сирени, жилъ соловей; его первые вечерніе звуки раздавались въ промежуткахъ краснорѣчивой рѣчи; первыя звѣзды зажигались на розовомъ небѣ, надъ неподвижными верхушками липъ. Лаврецкій поднялся и началъ возражать Паншину; завязался споръ. Лаврецкій отстаивалъ молодость и самостоятельность Россіи; отдавалъ себя, свое поколѣніе на жертву,—но заступался за новыхъ людей, за ихъ убѣжденія и желанія; Паншинъ возражалъ раздра*жительно и рѣзко*, объявилъ, что умные люди должны *все передѣлать*, и занесся наконецъ до того, что, забывъ

свое камеръ-юнкерское званіе и чиновничью карьеру, назвалъ Лаврецкаго отсталымъ консерваторомъ, даже намекнулъ—правда, весьма отдаленно—на его ложное положеніе въ обществѣ. Лаврецкій не разсердился, не возвысилъ голоса (онъ вспомнилъ, что Михалевичъ тоже называлъ его отсталымъ—только вольтеріянцемъ) — и покойно разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ. Онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе, требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,— того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна; не отклонился, наконецъ, отъ заслуженнаго, по его мнѣнію, упрека въ легкомысленной растратѣ времени и силъ.

— Все это прекрасно! воскликнулъ, наконецъ, раздосадованный Паншинъ: — вотъ, вы вернулись въ Россію, — что же вы намѣрены дѣлать?

— Пахать землю, отвѣчалъ Лаврецкій: — и стараться какъ можно лучше ее пахать.

— Это очень похвально, безспорно, возразилъ Паншинъ:—и мнѣ сказывали, что вы уже большіе сдѣлали успѣхи по этой части; но согласитесь, что не всякій способенъ на такого рода занятія...

— Une nature poétique, заговорила Марья Дмитріевна:— конечно, не можетъ пахать... et puis, вы призваны, Владиміръ Николаичъ, дѣлать все en grand.

Этого было слишкомъ даже для Паншина: онъ замялся— и замялъ разговоръ. Онъ попытался перевести его на красоту звѣзднаго неба, на музыку Шуберта—все какъ-то не клеилось; онъ кончилъ тѣмъ, что предложилъ Марьѣ Дмитріевнѣ сыграть съ ней въ пикетъ.—„Какъ! въ такой вечеръ?“ слабо возразила она; однако велѣла принести карты.

Паншинъ съ трескомъ разорвалъ новую колоду, а Лиза и Лаврецкій, словно сговорившись, оба встали и помѣстились *возлѣ Маріи Тимоѳеевны*. Имъ сдѣлалось вдругъ *такъ хорошо обоимъ, что они* даже побоялись остаться

вдвоемъ,—и въ то же время они почувствовали оба, что испытанное ими въ послѣдніе дни смущеніе исчезло и не возвратится болѣе. Старушка потрепала украдкой Лаврецкаго по щекѣ, лукаво прищурилась и нѣсколько разъ покачала головой, приговаривая шопотомъ: „отдѣлалъ умника, спасибо“. Все затихло въ комнатѣ; слышалось только слабое потрескиваніе восковыхъ свѣчей, да иногда стукъ руки по столу, да восклицаніе или счетъ очковъ,— да широкой волной вливалась въ окна, вмѣстѣ съ росистой прохладой, могучая, до дерзости звонкая, пѣснь соловья.

XXXIV.

Лиза не вымолвила ни одного слова въ теченіе спора между Лаврецкимъ и Паншинымъ, но внимательно слѣдила за нимъ и вся была на сторонѣ Лаврецкаго. Политика ее занимала очень мало; но самонадѣянный тонъ свѣтскаго чиновника (онъ никогда еще такъ не высказывался) ее отталкивалъ; его презрѣніе къ Россіи ее оскорбило. Лизѣ и въ голову не приходило, что она патріотка; но ей было по душѣ съ русскими людьми; русскій складъ ума ее радовалъ; она, не чинясь, по цѣлымъ часамъ бесѣдовала съ старостой материнскаго имѣнія, когда онъ пріѣзжалъ въ городъ, и бесѣдовала съ нимъ какъ съ ровней, безъ всякаго барскаго снисхожденія. Лаврецкій все это чувствовалъ: онъ бы не сталъ возражать одному Паншину; онъ говорилъ только для Лизы. Другъ другу они ничего не сказали, даже глаза ихъ рѣдко встрѣчались; но оба они поняли, что тѣсно сошлись въ этотъ вечеръ, поняли, что и любятъ и не любятъ одно и то же. Въ одномъ только они расходились; но Лиза втайнѣ надѣялась привести его къ Богу. Они сидѣли возлѣ Маѳы Тимоѳеевны и, казалось, слѣдили за ея игрой; да они и дѣйствительно за ней слѣдили,—а между тѣмъ у каждаго изъ нихъ сердце росло въ груди, и ничего для нихъ не пропало: для нихъ пѣлъ соловей; и звѣзды горѣли, и деревья тихо шептали, убаюканныя и сномъ, и нѣгой лѣта, и теплomъ. Лаврецкій отдавался весь увлекавшей его волнѣ— *и радовался;* но слово не выразитъ того, что происходило

въ чистой душѣ дѣвушки: оно было тайной для нея самой; пусть же оно останется и для всѣхъ тайной. Никто не знаетъ, никто не видѣлъ и не увидитъ никогда, какъ, призванное къ жизни и расцвѣтанію, наливается и зрѣетъ зерно въ лонѣ земли.

Пробило десять часовъ. Марѳа Тимоѳеевна отправилась къ себѣ наверхъ съ Настасьей Карповной; Лаврецкій и Лиза прошлись по комнатѣ, остановились передъ раскрытой дверью сада, взглянули въ темную даль, потомъ другъ на друга—и улыбнулись; такъ, кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись къ Марьѣ Дмитріевнѣ и къ Паншину, у которыхъ пикетъ затянулся. Послѣдній „король". кончился наконецъ, и хозяйка встала, кряхтя и охая, съ обложеннаго подушками кресла; Паншинъ взялъ шляпу, поцѣловалъ у Марьи Дмитріевны руку, замѣтилъ, что инымъ счастливцамъ теперь ничто не мѣшаетъ спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидѣть надъ глупыми бумагами, холодно раскланялся съ Лизой (онъ не ожидалъ, что въ отвѣтъ на его предложеніе она попроситъ подождать, — и потому дулся на нее)—и удалился. Лаврецкій отправился вслѣдъ за нимъ. У воротъ они разстались; Паншинъ разбудилъ своего кучера, толкнувъ его концомъ палки въ шею, сѣлъ на дрожки и покатилъ. Лаврецкому не хотѣлось идти домой: онъ вышелъ изъ города въ поле. Ночь была тиха и свѣтла, хотя луны не было; Лаврецкій долго бродилъ по росистой травѣ; узкая тропинка попалась ему; онъ пошелъ по ней. Она привела его къ длинному забору, къ калиткѣ; онъ попытался, самъ не зная зачѣмъ, толкнуть ее: она слабо скрипнула и отворилась, словно ждала прикосновенія его руки. Лаврецкій очутился въ саду, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по липовой аллеѣ и вдругъ остановился въ изумленіи: онъ узналъ садъ Калитиныхъ.

Онъ тотчасъ же вошелъ въ черное пятно тѣни, падавшей отъ густого орѣховаго куста, и долго стоялъ неподвижно, дивясь и пожимая плечами.

„Это не даромъ", подумалъ онъ.

Все было тихо кругомъ; со стороны дома не приноси-

лось никакого звука. Онъ осторожно пошелъ впередъ. Вотъ, на поворотѣ аллеи, весь домъ вдругъ глянулъ на него своимъ темнымъ фасомъ; въ двухъ только окнахъ наверху мерцалъ свѣтъ: у Лизы горѣла свѣча за бѣлымъ занавѣсомъ, да у Марѳы Тимоѳеевны въ спальнѣ передъ образомъ теплилась краснымъ огонькомъ лампадка, отражаясь ровнымъ сіяніемъ на золотѣ оклада; внизу дверь на балконъ широко зѣвала, раскрытая настежь. Лаврецкій сѣлъ на деревянную скамейку, подперся рукою и сталъ глядѣть на эту дверь да на окно Лизы. Въ городѣ пробило полночь; въ домѣ маленькіе часики тонко прозвенѣли двѣнадцать; сторожъ дробно поколотилъ по доскѣ. Лаврецкій ничего не думалъ, ничего не ждалъ; ему пріятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидѣть въ ея саду на скамейкѣ, гдѣ и она сидѣла не однажды... Свѣтъ исчезъ въ Лизиной комнатѣ.

„Спокойной ночи, моя милая дѣвушка“, прошепталъ Лаврецкій, продолжая сидѣть неподвижно и не сводя взора съ потемнѣвшаго окна.

Вдругъ свѣтъ появился въ одномъ изъ оконъ нижняго этажа, перешелъ въ другое, въ третье... Кто-то шелъ со свѣчкой по комнатамъ. „Неужели Лиза? Не можетъ быть?..“ Лаврецкій приподнялся... Мелькнулъ знакомый обликъ, и въ гостиной появилась Лиза. Въ бѣломъ платьѣ, съ нерасплетенными косами по плечамъ, она тихонько подошла къ столу, нагнулась надъ нимъ, поставила свѣчку и чего-то поискала; потомъ, обернувшись лицомъ къ саду, она приблизилась къ раскрытой двери, и вся бѣлая, легкая, стройная, остановилась на порогѣ. Трепетъ пробѣжалъ по членамъ Лаврецкаго.

— Лиза! сорвалось едва внятно съ его губъ.

Она вздрогнула и начала всматриваться въ темноту.

— Лиза! повторилъ Лаврецкій громче и вышелъ изъ тѣни аллеи.

Лиза съ испугомъ вытянула голову и пошатнулась назадъ: она узнала его. Онъ назвалъ ее въ третій разъ и протянулъ къ ней руки. Она отдѣлилась отъ двери и вступила въ садъ.

— Вы? проговорила она.—Вы здѣсь?

— Я... я... выслушайте меня, прошепталъ Лаврецкій и, схвативъ ея руку, повелъ ее къ скамейкѣ.

Она шла за нимъ безъ сопротивленія; ея блѣдное лицо, неподвижные глаза, всѣ ея движенія выражали несказанное изумленіе. Лаврецкій посадилъ ее на скамейку и самъ сталъ передъ ней.

— Я не думалъ прійти сюда, началъ онъ:—меня привело... Я... я... я люблю васъ, произнесъ онъ съ невольнымъ ужасомъ.

Лиза медленно взглянула на него; казалось, она только въ это мгновеніе поняла, гдѣ она и что съ нею. Она хотѣла подняться, не могла и закрыла лицо руками.

— Лиза, произнесъ Лаврецкій:—Лиза, повторилъ онъ и склонился къ ея ногамъ...

Ея плечи начали слегка вздрагивать, пальцы блѣдныхъ рукъ крѣпче прижались къ лицу.

— Что съ вами? промолвилъ Лаврецкій и услышалъ тихое рыданіе. Сердце его захолонуло... Онъ понялъ, что значили эти слезы.—Неужели вы меня любите? прошепталъ онъ и коснулся ея колѣней.

— Встаньте, послышался ея голосъ:—встаньте, Ѳедоръ Иванычъ. Что мы это дѣлаемъ съ вами?

Онъ всталъ и сѣлъ подлѣ нея на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядѣла на него своими влажными глазами.

— Мнѣ страшно: что это мы дѣлаемъ? повторила она.

— Я васъ люблю, проговорилъ онъ снова: — я готовъ отдать вамъ всю жизнь мою.

Она опять вздрогнула, какъ-будто ее что-то ужалило, и подняла взоры къ небу.

— Это все въ Божьей власти, промолвила она.

— Но вы меня любите, Лиза? Мы будемъ счастливы?

Она опустила глаза; онъ тихо привлекъ ее къ себѣ, и голова ея упала къ нему на плечо... Онъ отклонилъ немного свою голову и коснулся ея блѣдныхъ губъ.

Полчаса спустя, Лаврецкій стоялъ уже передъ калит-

кой сада. Онъ нашелъ ее запертою и принужденъ былъ перепрыгнуть черезъ заборъ. Онъ вернулся въ городъ и пошелъ по заснувшимъ улицамъ. Чувство неожиданной, великой радости наполняло его душу; всѣ сомнѣнія въ немъ замерли. „Исчезни, прошедшее, темный призракъ, думалъ онъ:—она меня любитъ, она будетъ моя". Вдругъ ему почудилось, что въ воздухѣ, надъ его головою, разлились какіе-то дивные, торжествующіе звуки; онъ остановился: звуки загремѣли еще великолѣпнѣй; пѣвучимъ, сильнымъ потокомъ струились они,—и въ нихъ, казалось, говорило и пѣло все его счастіе. Онъ оглянулся: звуки неслись изъ двухъ верхнихъ оконъ небольшого дома.

— Леммъ! вскрикнулъ Лаврецкій и побѣжалъ къ дому.— Леммъ! Леммъ! повторилъ онъ громко.

Звуки замерли, и фигура старика въ шлафрокѣ, съ раскрытой грудью и растрепанными волосами, показалась въ окнѣ.

— Ага! проговорилъ онъ съ достоинствомъ: — это вы?

— Христоформъ Ѳедоровичъ, что̀ это за чудная музыка! ради Бога, впустите меня.

Старикъ, ни слова не говоря, величественнымъ движеніемъ руки кинулъ изъ окна ключъ отъ двери на улицу. Лаврецкій проворно взбѣжалъ наверхъ, вошелъ въ комнату и хотѣлъ-было броситься къ Лемму; но тотъ повелительно указалъ ему на стулъ, отрывисто сказалъ по-русски: „Садитесь и слушить"; самъ сѣлъ за фортепіано, гордо и строго взглянулъ кругомъ и заигралъ. Давно Лаврецкій не слышалъ ничего подобнаго: сладкая, страстная мелодія съ перваго звука охватывала сердце; она вся сіяла, вся томилась вдохновеніемъ, счастьемъ, красотою; она росла и таяла; она касалась всего, что̀ есть на землѣ дорогого, тайнаго, святого; она дышала безсмертной грустью и уходила умирать въ небеса. Лаврецкій выпрямился и стоялъ, похолодѣлый и блѣдный отъ восторга. Эти звуки такъ и впивались въ его душу, только-что потрясенную счастьемъ любви; они сами пылали любовью. „Повторите", прошепталъ онъ, какъ только раздался послѣдній аккордъ. *Старикъ* бросилъ на него орлиный взоръ, постучалъ ру-

кой по груди и, проговоривъ, не спѣша, на родномъ своемъ языкѣ: „это я сдѣлалъ, ибо я великій музыкантъ“, снова сыгралъ свою чудную композицію. Въ комнатѣ не было свѣчей; свѣтъ поднявшейся луны косо падалъ въ окна; звонко трепеталъ чуткій воздухъ; маленькая, блѣдная комнатка казалась святилищемъ, и высоко, и вдохновенно поднималась въ серебристой полутьмѣ голова старика. Лаврецкій подошелъ къ нему и обнялъ его. Сперва Леммъ не отвѣчалъ на его объятіе, даже отклонилъ его локтемъ; долго, не шевелясь ни однимъ членомъ, глядѣлъ онъ все такъ же строго, почти грубо, и только раза два промычалъ: ага! Наконецъ его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и онъ, въ отвѣтъ на горячія поздравленія Лаврецкаго, сперва улыбнулся немного, потомъ заплакалъ, слабо всхлипывая, какъ дитя.

— Это удивительно, сказалъ онъ:—что вы именно теперь пришли; но я знаю, все знаю.

— Вы все знаете? произнесъ съ смущеніемъ Лаврецкій.

— Вы меня слышали, возразилъ Леммъ:—развѣ вы не поняли, что я все знаю?

Лаврецкій до утра не могъ заснуть; онъ всю ночь просидѣлъ на постели. И Лиза не спала: она молилась.

XXXV.

Читатель знаетъ, какъ выросъ и развивался Лаврецкій; скажемъ нѣсколько словъ о воспитаніи Лизы. Ей минулъ 10-й годъ, когда отецъ ея умеръ; но онъ мало занимался ею. Заваленный дѣлами, постоянно озабоченный приращеніемъ своего состоянія, желчный, рѣзкій, нетерпѣливый, онъ не скупясь давалъ деньги на учителей, гувернеровъ, на одежду и прочія нужды дѣтей; но терпѣть не могъ, какъ онъ выражался, „няньчиться съ писклятами“, — да и некогда ему было няньчиться съ ними: онъ работалъ, возился съ дѣлами, спалъ мало, изрѣдка игралъ въ карты, опять работалъ; онъ самъ себя сравнивалъ съ лошадью, запряженной въ молотильную машину. „Скоренько жизнь моя проскочила“, промолвилъ онъ на смертномъ одрѣ, съ горькой усмѣшкой на высохшихъ губахъ. Марья Дмитріевна

въ сущности не много больше мужа занималась Лизой, хотя она и хвасталась передъ Лаврецкимъ, что одна воспитывала дѣтей своихъ: она одѣвала ее, какъ куколку, при гостяхъ гладила ее по головкѣ и называла въ глаза умницей и душкой—и только: лѣнивую барыню утомляла всякая постоянная забота. При жизни отца, Лиза находилась на рукахъ гувернантки, дѣвицы Моро̀ изъ Парижа; а послѣ его смерти поступила въ вѣдѣніе Марѳы Тимоѳеевны. Марѳу Тимоѳеевну читатель знаетъ; а дѣвица Моро̀ была крошечное, сморщенное существо съ птичьими ухватками и птичьимъ умишкомъ. Въ молодости она вела жизнь очень разсѣянную, а подъ старость у ней остались только двѣ страсти — къ лакомству да къ картамъ. Когда она была сыта, не играла въ карты и не болтала, — лицо у ней тотчасъ принимало выраженіе почти мертвенное: сидитъ, бывало, смотритъ, дышитъ—и такъ и видно, что никакой мысли не пробѣгаетъ въ головѣ. Ее даже нельзя было назвать доброю: не бываютъ же добры птицы. Вслѣдствіе ли легкомысленно-проведенной молодости, отъ парижскаго ли воздуха, которымъ она надышалась съ дѣтства,— въ ней гнѣздилось что-то въ родѣ всеобщаго дешевенькаго скептицизма, выражавшагося обыкновенно словами: „tout ça c'est des bêtises“. Она говорила неправильно, но чисто-парижскимъ жаргономъ, не сплетничала и не капризничала, — чего же больше можно желать отъ гувернантки? На Лизу она имѣла мало вліянія; тѣмъ сильнѣе было вліяніе на нее ея няни, Агафьи Власьевны.

Судьба этой женщины была замѣчательна. Она происходила изъ крестьянскаго семейства; 16-ти лѣтъ ее выдали за мужика; но отъ своихъ сестеръ-крестьянокъ она отличалась рѣзко. Отецъ ея лѣтъ двадцать былъ старостой, нажилъ денегъ много и баловалъ ее. Красавица она была необыкновенная, первая щеголиха по всему околотку, умница, рѣчистая, смѣлая. Ея баринъ, Дмитрій Пестовъ, отецъ Маріи Дмитріевны, человѣкъ скромный и тихій, увидалъ ее однажды на молотьбѣ, поговорилъ съ ней и страстно въ нее влюбился. Она скоро овдовѣла; Пестовъ, хотя и женатый былъ человѣкъ, взялъ ее къ себѣ въ

домъ, одѣлъ ее по-дворовому. Агафья тотчасъ освоилась съ новымъ своимъ положеніемъ, точно она вѣкъ свой иначе не жила. Она побѣлѣла, пополнѣла; руки у ней подъ кисейными рукавами стали „крупичатыя", какъ у купчихи; самоваръ не сходилъ со стола; кромѣ шелку да бархату, она ничего носить не хотѣла, спала на пуховыхъ перинахъ. Лѣтъ пять продолжалась эта блаженная жизнь, но Дмитрій Шестовъ умеръ; вдова его, барыня добрая, жалѣя память покойника, не хотѣла поступить съ своей соперницей нечестно, тѣмъ болѣе, что Агафья никогда передъ ней не забывалась; однако выдала ее за скотника и сослала съ глазъ долой. Прошло года три. Разъ какъ-то, въ жаркій лѣтній день, барыня заѣхала къ себѣ на скотный дворъ. Агафья попотчивала ее такими славными холодными сливками, такъ скромно себя держала, и сама была такая опрятная, веселая, всѣмъ довольная, что барыня объявила ей прощеніе и позволила ходить въ домъ; а мѣсяцевъ черезъ шесть такъ къ ней привязалась, что произвела ее въ экономки и поручила ей все хозяйство. Агафья опять вошла въ силу, опять раздобрѣла и побѣлѣла; барыня совсѣмъ ей ввѣрилась. Такъ прошло еще лѣтъ пять. Несчастье вторично обрушилось на Агафью. Мужъ ея, котораго она вывела въ лакеи, запилъ, сталъ пропадать изъ дому и кончилъ тѣмъ, что укралъ шесть господскихъ серебряныхъ ложекъ и запряталъ ихъ — до случая—въ женинъ сундукъ. Это открылось. Его опять повернули въ скотники, а на Агафью наложили опалу; изъ дома ее не выгнали, но разжаловали изъ экономокъ въ швеи и велѣли ей вмѣсто чепца носить на головѣ платокъ. Къ удивленію всѣхъ, Агафья съ покорнымъ смиреніемъ приняла поразившій ее ударъ. Ей уже было тогда за тридцать лѣтъ, дѣти у ней всѣ померли, и мужъ жилъ недолго. Пришла ей пора опомниться: она опомнилась. Она стала очень молчалива и богомольна, не пропускала ни одной заутрени, ни одной обѣдни, раздарила всѣ свои хорошія платья. Пятнадцать лѣтъ провела она тихо, смиренно, степенно, ни съ кѣмъ не ссорясь, всѣмъ уступая. Нагрубитъ ли ей кто—она только поклонится и поблаго-

даритъ за ученіе. Барыня давно ей простила, и опалу сложила съ нея, и съ своей головы чепецъ подарила; но она сама не захотѣла снять свой платокъ и все ходила въ темномъ платьѣ; а послѣ смерти барыни она стала еще тише и ниже. Русскій человѣкъ боится и привязывается легко; но уваженіе его заслужить трудно: дается оно не скоро и не всякому. Агафью всѣ въ домѣ очень уважали; никто и не вспоминалъ о прежнихъ грѣхахъ, словно ихъ вмѣстѣ съ старымъ бариномъ въ землю похоронили.

Сдѣлавшись мужемъ Марьи Дмитріевны, Калитинъ хотѣлъ было поручить Агафьѣ домашнее хозяйство; но она отказалась „ради соблазна“; онъ прикрикнулъ на нее: она низко поклонилась и вышла вонъ. Умный Калитинъ понималъ людей; онъ и Агафью понялъ и не забылъ ея. Переселившись въ городъ, онъ, съ ея согласія, приставилъ ее въ качествѣ няни къ Лизѣ, которой только-что пошелъ пятый годъ.

Лизу сперва испугало серьезное и строгое лицо новой няни; но она скоро привыкла къ ней и крѣпко полюбила. Она сама была серьезный ребенокъ; черты ея напоминали рѣзкій и правильный обликъ Калитина; только глаза у ней были не отцовскіе; они свѣтились тихимъ вниманіемъ и добротой, что̀ рѣдко въ дѣтяхъ. Она въ куклы не любила играть, смѣялась не громко и не долго, держалась чинно. Она задумывалась не часто, но почти всегда недаромъ; помолчавъ немного, она обыкновенно кончала тѣмъ, что обращалась къ кому-нибудь старшему съ вопросомъ, показывавшимъ, что голова ея работала надъ новымъ впечатлѣніемъ. Она очень скоро перестала картавить и уже на четвертомъ году говорила совершенно ясно. Отца она боялась; чувство ея къ матери было неопредѣленное,—она не боялась ея и не ласкалась къ ней; впрочемъ, она и къ Агафьѣ не ласкалась, хотя только одну ее и любила. Агафья съ ней не разставалась. Странно было видѣть ихъ вдвоемъ. Бывало, Агафья, вся въ черномъ, съ темнымъ платкомъ на головѣ, съ похудѣвшимъ, какъ воскъ прозрачнымъ, но все еще прекраснымъ и выразительнымъ лицомъ, сидитъ прямо и вяжетъ чулокъ; у ногъ ея, на маленькомъ креслецѣ, сидитъ Лиза и тоже тру-

дится надъ какой-нибудь работой или, важно поднявши свѣтлые глазки, слушаетъ, что разсказываетъ ей Агафья, а Агафья разсказываетъ ей не сказки: мѣрнымъ и ровнымъ голосомъ разсказываетъ она житіе Пречистой Дѣвы, житіе отшельниковъ, угодниковъ Божіихъ, святыхъ мученицъ; говоритъ она Лизѣ, какъ жили святые въ пустыняхъ, какъ спасались, голодъ терпѣли и нужду,—и царей не боялись, Христа исповѣдывали; какъ имъ птицы небесныя кормъ носили, и звѣри ихъ слушались; какъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кровь ихъ падала, цвѣты вырастали.— „Желтофіоли?“ спросила однажды Лиза, которая очень любила цвѣты... Агафья говорила съ Лизой важно и смиренно, точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такія высокія и святыя слова. Лиза ее слушала— и образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, наполнялъ ее чистымъ, благоговѣйнымъ страхомъ, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ: Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на зарѣ, торопливо ее одѣвала и уводила тайкомъ къ заутренѣ: Лиза шла за ней на цыпочкахъ, едва дыша; холодъ и полусвѣтъ утра, свѣжесть и пустота церкви, самая таинственность этихъ неожиданныхъ отлучекъ, осторожное возвращеніе въ домъ, въ постельку, — вся эта смѣсь запрещеннаго, страннаго, святого, потрясала дѣвочку, проникала въ самую глубь ея существа. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бранила за шалости. Когда она бывала чѣмъ недовольна, она только молчала; и Лиза понимала это молчаніе; съ быстрой прозорливостью ребенка она также хорошо понимала, когда Агафья была недовольна другими—Марьей ли Дмитріевной, самимъ ли Калитинымъ. Года три съ небольшимъ ходила Агафья за Лизой; дѣвица Морò ее смѣнила; но легкомысленная француженка съ своими сухими ухватками да восклицаніемъ: tout ça c'est des bêtises—не могла вытѣснить изъ сердца Лизы ея любимую няню: посѣянныя сѣмена пустили слишкомъ глубокіе корни. Притомъ, Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, осталась въ домѣ и часто видалась съ

своей воспитанницей, которая ей вѣрила попрежнему.

Агафья, однако, не ужилась съ Марѳой Тимоѳеевной, когда та переѣхала въ Калитинскій домъ. Строгая важность бывшей „панёвницы“ не нравилась нетерпѣливой и самовольной старушкѣ. Агафья отпросилась на богомолье и не вернулась. Ходили темные слухи, будто она удалилась въ раскольничій скитъ. Но слѣдъ, оставленный ею въ душѣ Лизы, не изгладился. Она попрежнему шла къ обѣднѣ, какъ на праздникъ, молилась съ наслажденьемъ, съ какимъ-то сдержаннымъ и стыдливымъ порывомъ, чему Марья Дмитріевна втайнѣ не мало дивилась, да и сама Марѳа Тимоѳеевна, хотя ни въ чемъ не стѣсняла Лизу, однако старалась умѣрить ея рвеніе и не позволяла ей класть лишніе земные поклоны: не дворянская, молъ, это замашка. Училась Лиза хорошо, то-есть усидчиво; особенно блестящими способностями, большимъ умомъ ее Богъ не наградилъ; безъ труда ей ничего не давалось. Она хорошо играла на фортепіано; но одинъ Леммъ зналъ, чего ей это стоило. Читала она немного; у ней не было „своихъ словъ“, но были свои мысли, и шла она своей дорогой. Недаромъ походила она на отца: онъ тоже не спрашивалъ у другихъ, что̀ ему дѣлать. Такъ росла она— покойно, неторопливо, такъ достигла девятнадцати-лѣтняго возраста. Она была очень мила, сама того не зная. Въ каждомъ ея движеніи высказывалась невольная, нѣсколько неловкая грація; голосъ ея звучалъ серебромъ нетронутой юности, малѣйшее ощущеніе удовольствія вызывало привлекательную улыбку на ея губы, придавало глубокій блескъ и какую-то тайную ласковость ея засвѣтившимся глазамъ. Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно. Лаврецкій первый нарушилъ ея тихую внутреннюю жизнь.

Такова была Лиза.

XXXVI.

На слѣдующій день, часу въ двѣнадцатомъ, Лаврецкій

отправился къ Калитинымъ. На дорогѣ онъ встрѣтилъ Паншина, который проскакалъ мимо него верхомъ, нахлобучивъ шляпу на самыя брови. У Калитиныхъ Лаврецкаго не приняли—въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ съ ними познакомился. Марья Дмитріевна „почивала“,—такъ доложилъ лакей; у „нихъ“ голова болѣла. Марѳы Тимоѳеевны и Лизаветы Михайловны не было дома. Лаврецкій походилъ около сада, въ смутной надеждѣ встрѣтиться съ Лизой, но не увидалъ никого. Онъ вернулся черезъ два часа и получилъ тотъ же отвѣтъ, при чемъ лакей какъ-то косо посмотрѣлъ на него. Лаврецкому показалось неприличнымъ навѣдываться въ тотъ же день въ третій разъ — и онъ рѣшился съѣздить въ Васильевское, гдѣ у него безъ того были дѣла. На дорогѣ онъ строилъ различные планы, одинъ прекраснѣе другого; но въ сельцѣ его тетки на него напала грусть; онъ вступилъ въ разговоръ съ Антономъ; у старика, какъ нарочно, все невеселыя мысли на умѣ были. Онъ разсказалъ Лаврецкому, какъ Глафира Петровна передъ смертью сама себя за руку укусила,—и, помолчавъ, сказалъ со вздохомъ: „всякъ человѣкъ, баринъ-батюшка, самъ себѣ на съѣденіе преданъ“. Было уже поздно, когда Лаврецкій пустился въ обратный путь. Вчерашніе звуки охватили его, образъ Лизы возсталъ въ его душѣ во всей своей кроткой ясности; онъ умилился при мысли, что она его любитъ,—и подъѣхалъ къ своему городскому домику, успокоенный и счастливый.

Первое, что поразило его при входѣ въ переднюю, былъ запахъ пачули, весьма ему противный; тутъ же стояли какіе-то высокіе сундуки и баулы. Лицо выскочившаго къ нему навстрѣчу камердинера показалось ему страннымъ. Не отдавая себѣ отчета въ своихъ впечатлѣніяхъ, переступилъ онъ порогъ гостиной... Ему навстрѣчу съ дивана поднялась дама въ черномъ шелковомъ платьѣ съ воланами и, поднеся батистовый платокъ къ блѣдному лицу, переступила нѣсколько шаговъ, склонила тщательно-расчесанную душистую голову — и упала къ его ногамъ... Тутъ только онъ узналъ ее: эта дама была—его жена.

Дыханіе у него захватило... Онъ прислонился къ стѣнѣ.

— Теодоръ, не прогоняйте меня! сказала она по-французски, и голосъ ея какъ ножомъ рѣзанулъ его по сердцу.

Онъ глядѣлъ на нее безсмысленно, и однако тотчасъ же невольно замѣтилъ, что она и побѣлѣла, и отекла.

— Теодоръ! продолжала она, изрѣдка вскидывая глазами и осторожно ломая свои удивительно-красивые пальцы съ розовыми, лощеными ногтями: — Теодоръ, я передъ вами виновата, глубоко виновата,—скажу болѣе, я преступница; но вы выслушайте меня; раскаяніе меня мучитъ, я стала самой себѣ въ тягость, я не могла болѣе переносить мое положеніе; сколько разъ я думала обратиться къ вамъ, но я боялась вашего гнѣва; я рѣшилась разорвать всякую связь съ прошедшимъ... puis, j'ai été si malade,—я была такъ больна, прибавила она и провела рукой по лбу и по щекѣ—я воспользовалась распространившимся слухомъ о моей смерти, я покинула все; не останавливаясь, день и ночь спѣшила я сюда; я долго колебалась предстать предъ васъ, моего судью — paraître devant vous, mon juge; но я рѣшилась наконецъ, вспомнивъ вашу всегдашнюю доброту, ѣхать къ вамъ; я узнала вашъ адресъ въ Москвѣ. Повѣрьте, продолжала она, тихонько поднимаясь съ полу и садясь на самый край кресла: — я часто думала о смерти и я бы нашла въ себѣ довольно мужества, чтобы лишить себя жизни—ахъ, жизнь теперь для меня несносное бремя! — но мысль о моей дочери, о моей Адочкѣ меня останавливала; она здѣсь, она спитъ въ сосѣдней комнатѣ, бѣдный ребенокъ! Она устала—вы ее увидите: она, по крайней мѣрѣ, передъ вами не виновата, а я такъ несчастна, такъ несчастна! воскликнула г-жа Лаврецкая и залилась слезами.

Лаврецкій пришелъ, наконецъ, въ себя; онъ отдѣлился отъ стѣны и повернулся къ двери.

— Вы уходите? съ отчаяніемъ проговорила его жена:— о, это жестоко! Не сказавши мнѣ ни одного слова, ни одного даже упрека... Это презрѣніе меня убиваетъ, это ужасно!

Лаврецкій остановился.

— Что вы хотите слышать отъ меня? произнесъ онъ *беззвучнымъ* голосомъ.

— Ничего, ничего, съ живостью подхватила она: — я знаю, я не въ правѣ ничего требовать; я не безумная, повѣрьте; я не надѣюсь, я не смѣю надѣяться на ваше прощеніе; я только осмѣливаюсь просить васъ, чтобы вы приказали мнѣ, что мнѣ дѣлать, гдѣ мнѣ жить? Я, какъ рабыня, исполню ваше приказаніе, какое бы оно ни было.

— Мнѣ нечего вамъ приказывать, возразилъ тѣмъ же голосомъ Лаврецкій:—вы знаете—между нами все кончено... и теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь. Вы можете жить, гдѣ вамъ угодно; и если вамъ мало вашей пенсіи...

— Ахъ, не говорите такихъ ужасныхъ словъ, перебила его Варвара Павловна:—пощадите меня, хотя... хотя ради этого ангела... И, сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбѣжала въ другую комнату и тотчасъ же вернулась съ маленькой, очень изящно одѣтой дѣвочкой на рукахъ. Крупныя, русыя кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на большіе, черные, заспанные глаза; она и улыбалась, и щурилась отъ огня, и упиралась пухлой ручонкой въ шею матери.

— Ada, vois, c'est ton père, проговорила Варвара Павловна, отводя отъ ея глазъ кудри и крѣпко цѣлуя ее:— prie le avec moi.

— C'est ça, papa, залепетала дѣвочка, картавя.

— Oui, mon enfant, n'est ce pas, que tu l'aimes?

Но тутъ стало не въ мочь Лаврецкому.

— Въ какой это мелодрамѣ есть совершенно такая сцена? пробормоталъ онъ и вышелъ вонъ.

Варвара Павловна постояла нѣкоторое время на мѣстѣ, слегка повела плечами, отнесла дѣвочку въ другую комнату, раздѣла и уложила ее. Потомъ она достала книжку, сѣла у лампы, подождала около часу и, наконецъ, сама легла въ постель.

— Eh bien, madame? спросила служанка, француженка, вывезенная ею изъ Парижа, снимая съ нея корсетъ.

— Eh bien, Justine, возразила она:—онъ очень постарѣлъ, но, мнѣ кажется, онъ все такой же добрый. Подайте мнѣ перчатки на ночь, приготовьте къ завтрашнему дню сѣрое платье до верху; да не забудьте бараньихъ

котлетъ для Ады... Правда, ихъ здѣсь трудно найти; но надо постараться.

— A la guerre, comme à la guerre, возразила Жюстина и загасила свѣчку.

XXXVII.

Болѣе двухъ часовъ скитался Лаврецкій по улицамъ города. Пришла ему на память ночь, проведенная въ окрестностяхъ Парижа. Сердце у него надрывалось, и въ головѣ, пустой и словно оглушенной, кружились все однѣ и тѣ же мысли, темныя, вздорныя, злыя. „Она жива, она здѣсь“, шепталъ онъ съ постоянно возрождавшимся изумленіемъ. Онъ чувствовалъ, что потерялъ Лизу. Желчь его душила; слишкомъ внезапно поразилъ его этотъ ударъ. Какъ могъ онъ такъ легко повѣрить вздорной болтовнѣ фельетона, лоскуту бумаги? „Ну, я бы не повѣрилъ“, подумалъ онъ: „какая была бы разница? Я бы не зналъ, что Лиза меня любитъ; она сама бы этого не знала“. Онъ не могъ отогнать отъ себя образа, голоса, взоровъ своей жены... и онъ проклиналъ себя, проклиналъ все на свѣтѣ.

Измученный, пришелъ онъ передъ утромъ къ Лемму. Долго онъ не могъ достучаться; наконецъ, въ окнѣ показалась голова старика въ колпакѣ, кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенно-суровую голову, которая, двадцать четыре часа тому назадъ, со всей высоты своего художническаго величія царски глянула на Лаврецкаго.

— Что вамъ надо? спросилъ Леммъ: — я не могу каждую ночь играть, я декоктъ принялъ. Но, видно, лицо у Лаврецкаго было очень странно: старикъ сдѣлалъ себѣ изъ руки надъ глазами козырекъ, вглядѣлся въ своего ночного посѣтителя и впустилъ его.

Лаврецкій вошелъ въ комнату и опустился на стулъ; старикъ остановился передъ нимъ, запахнувъ полы своего пестраго, дряхлаго халата, ёжась и жуя губами.

— Моя жена пріѣхала, проговорилъ Лаврецкій, поднялъ голову и вдругъ самъ невольно разсмѣялся.

Лицо Лемма выразило изумленіе, но онъ даже не улыбнулся, только крѣпче завернулся въ халатъ.

— Вѣдь вы не знаете, продолжалъ Лаврецкій: — я воображалъ... я прочелъ въ газетѣ, что ея уже нѣтъ на свѣтѣ.

— О-о, это вы недавно прочли? спросилъ Леммъ.

— Недавно.

— Ѳ-о, повторилъ старикъ и высоко поднялъ брови.— И она пріѣхала.

— Пріѣхала. Она теперь у меня; а я... я несчастный человѣкъ.

И онъ опять усмѣхнулся.

— Вы несчастный человѣкъ, медленно повторилъ Леммъ.

— Христоforъ Ѳедорычъ, началъ Лаврецкій: — возьметесь вы доставить записку?

— Гмъ. Можно узнать, кому?

— Лизав...

— А, да, да, понимаю. Хорошо. А когда нужно будетъ доставить записку?

— Завтра, какъ можно раньше.

— Гмъ. Можно послать Катринъ, мою кухарку. Нѣтъ, я самъ пойду.

— И принесете мнѣ отвѣтъ?

— И принесу отвѣтъ.

Леммъ вздохнулъ.

— Да, мой бѣдный молодой другъ; вы, точно,—несчастный молодой человѣкъ.

Лаврецкій написалъ два слова Лизѣ: онъ извѣстилъ ее о пріѣздѣ жены, просилъ ее назначить ему свиданіе,—и бросился на узенькій диванъ, лицомъ къ стѣнѣ; а старикъ легъ на постель и долго ворочался, кашляя и отпивая глотками свой декоктъ.

Настало утро; оба они поднялись. Странными глазами поглядѣли они другъ на друга. Лаврецкому хотѣлось въ этотъ мигъ убить себя. Кухарка Катринъ принесла имъ скверная кофе. Пробило восемь часовъ. Леммъ надѣлъ шляпу и, сказавши, что урокъ онъ даетъ у Калитиныхъ въ десять часовъ, но что найдетъ приличный предлогъ, отправился. Лаврецкій опять бросился на диванчикъ и опять со дна его души зашевелился горестный смѣхъ.

Онъ думалъ о томъ, какъ жена выгнала его изъ дому; онъ представлялъ себѣ положеніе Лизы, закрывалъ глаза и закидывалъ руки за голову. Наконецъ Леммъ вернулся и принесъ ему клочокъ бумаги, на которомъ Лиза начертила карандашомъ слѣдующія слова: „Мы сегодня не можемъ видѣться; можетъ-быть—завтра вечеромъ. Прощайте". Лаврецкій сухо и разсѣянно поблагодарилъ Лемма и пошелъ къ себѣ домой.

Онъ засталъ жену за завтракомъ; Ада, вся въ букляхъ, въ бѣленькомъ платьицѣ съ голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчасъ встала, какъ только Лаврецкій вошелъ въ комнату, и съ покорностью на лицѣ подошла къ нему. Онъ попросилъ ее послѣдовать за нимъ въ кабинетъ, заперъ за собою дверь и началъ ходить взадъ и впередъ; она сѣла, скромно положила одну руку на другую и принялась слѣдить за нимъ своими, все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными, глазами.

Лаврецкій долго не могъ заговорить: онъ чувствовалъ, что не владѣлъ собою; онъ видѣлъ ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала видъ, что вотъ сейчасъ въ обморокъ упадетъ.

— Послушайте, сударыня, началъ онъ наконецъ, тяжело дыша и по временамъ стискивая зубы:—намъ нечего притворяться другъ передъ другомъ; я вашему раскаянію не вѣрю; да если бы оно и было искренно, сойтись снова съ вами, жить съ вами мнѣ невозможно.

Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. „Это отвращеніе, подумала она:—кончено! я для него даже не женщина".

— Невозможно, повторилъ Лаврецкій и застегнулся до верху.—Я не знаю, зачѣмъ вамъ угодно было пожаловать сюда: вѣроятно, у васъ денегъ больше не стало.

— Увы! вы оскорбляете меня, прошептала Варвара Павловна.

— Какъ бы то ни было—вы, все-таки, къ сожалѣнію, моя жена.—Не могу же я васъ прогнать... и вотъ что я вамъ предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться въ Лаврики, живите тамъ; тамъ, вы знаете, хо-

рошій домъ; вы будете получать все нужное, сверхъ пенсіи... Согласны вы?

Варвара Павловна поднесла вышитый платокъ къ лицу.

— Я вамъ уже сказала, промолвила она, нервически подергивая губами:—что я на все буду согласна, что бы вамъ ни угодно было сдѣлать со мной; на этотъ разъ остается мнѣ спросить у васъ: позволите ли вы мнѣ, по крайней мѣрѣ, поблагодарить васъ за ваше великодушіе?

— Безъ благодарности, прошу васъ,—этакъ лучше, поспѣшно проговорилъ Лаврецкій.—Стало-быть, продолжалъ онъ, приближаясь къ двери:—я могу разсчитывать...

— Завтра же я буду въ Лаврикахъ, промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь съ мѣста.—Но, Ѳедоръ Иванычъ... (Теодоромъ она его больше не называла.)

— Что вамъ угодно?

— Я знаю, я еще ничѣмъ не заслужила своего прощенія; могу ли я надѣяться, по крайней мѣрѣ, что со временемъ...

— Эхъ, Варвара Павловна, перебилъ ее Лаврецкій:—вы умная женщина, да вѣдь и я не дуракъ, я знаю, что этого вамъ совсѣмъ не нужно. А я давно васъ простилъ; но между нами всегда была бездна.

— Я сумѣю покориться, возразила Варвара Павловна и склонила голову.—Я не забыла своей вины; я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались извѣстію о моей смерти,—коротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавшій на столѣ, забытый Лаврецкимъ, нумеръ журнала.

Ѳедоръ Иванычъ дрогнулъ: фельетонъ былъ отмѣченъ карандашомъ. Варвара Павловна еще съ большимъ уничиженіемъ посмотрѣла на него. Она была очень хороша въ это мгновенье. Сѣрое парижское платье стройно охватывало ея гибкій, почти семнадцати-лѣтній станъ, ея тонкая, нѣжная шея, окруженная бѣлымъ воротничкомъ, ровно дышавшая грудь, руки безъ браслетовъ и колецъ,—вся ея фигура, отъ лоснистыхъ волосъ до кончика едва выставленной ботинки, была такъ изящна...

Лаврецкій окинулъ ее злобнымъ взглядомъ, чуть не воскликнулъ: „brava!“ чуть не ударилъ ее кулакомъ по че-

мени—и удалился. Часъ спустя, онъ уже отправился въ Васильевское, а два часа спустя, Варвара Павловна велѣла нанять себѣ лучшую карету въ городѣ, надѣла простую соломенную шляпу съ чернымъ вуалемъ и скромную мантилью, поручила Аду Жюстинѣ, и отправилась къ Калитинымъ: изъ разспросовъ, сдѣланныхъ ею прислугѣ, она узнала, что мужъ ея ѣздилъ къ нимъ каждый день.

XXXVIII.

День пріѣзда жены Лаврецкаго въ городъ О...., невеселый для него день, былъ также тягостнымъ днемъ для Лизы Не успѣла она сойти внизъ и поздороваться съ матерью, какъ уже подъ окномъ раздался конскій топотъ, и она съ тайнымъ страхомъ увидѣла Паншина, въѣзжавшаго на дворъ. „Онъ явился такъ рано для окончательнаго объясненія“,—подумала она—и не обманулась; повертѣвшись въ гостиной, онъ предложилъ ей пойти съ нимъ въ садъ и потребовалъ рѣшенія своей участи. Лиза собралась съ духомъ и объявила ему, что не можетъ быть его женой. Онъ выслушалъ ее до конца, стоя къ ней бокомъ и надвинувъ на лобъ шляпу; вѣжливо, но измѣненнымъ голосомъ спросилъ ее: послѣднее ли это ея слово, и не подалъ ли онъ чѣмъ-нибудь повода къ подобной перемѣнѣ въ ея мысляхъ? потомъ прижалъ руку къ глазамъ, коротко и отрывисто вздохнулъ и отдернулъ руку отъ лица.

— Я не хотѣлъ пойти по избитой дорогѣ, проговорилъ онъ глухо:—я хотѣлъ найти подругу по влеченію сердца; но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта! Онъ глубоко поклонился Лизѣ и вернулся въ домъ.

Она надѣялась, что онъ тотчасъ же уѣдетъ; но онъ пошелъ въ кабинетъ къ Марьѣ Дмитріевнѣ и около часа просидѣлъ у ней. Уходя, онъ сказалъ Лизѣ: votre mère vous appelle; adieu à jamais... сѣлъ на лошадь и отъ самаго крыльца поскакалъ во всю прыть. Лиза вошла къ Марьѣ Дмитріевнѣ и застала ее въ слезахъ: Паншинъ сообщилъ ей свое несчастіе.

— За что ты меня убила? За что ты меня убила? такъ начала свои жалобы огорченная вдова. — Кого тебѣ еще

нужно? Чѣмъ онъ тебѣ не мужъ? Камеръ-юнкеръ! не интересанъ! Онъ въ Петербургѣ на любой фрейлинѣ могъ бы жениться. А я-то, я-то надѣялась! И давно ли ты къ нему измѣнилась? Откуда эта туча надута,—не сама собой пришла. Ужъ не тотъ ли фофанъ? Вотъ нашла совѣтчика!

— А онъ-то, мой голубчикъ, продолжала Марья Дмитріевна: — какъ онъ почтителенъ, въ самой печали какъ внимателенъ! Обѣщался не оставлять меня. Ахъ, я этого не перенесу! Ахъ, у меня голова смертельно разболѣлась. Пошли ко мнѣ Палашу. Ты убьешь меня, если не одумаешься,—слышишь? И, назвавъ ее раза два неблагодарною, Марья Дмитріевна услала Лизу.

Она отправилась въ свою комнату. Но не успѣла она еще отдохнуть отъ объясненія съ Паншинымъ и съ матерью, какъ на нее опять обрушилась гроза, и съ такой стороны, откуда она меньше всего ея ожидала. Марѳа Тимоѳеевна вошла къ ней въ комнату и тотчасъ захлопнула за собою дверь. Лицо старушки было блѣдно, чепецъ сидѣлъ на боку, глаза ея блестѣли, руки, губы дрожали. Лиза изумилась: она никогда еще не видала своей умной и разсудительной тетки въ такомъ состояніи.

— Прекрасно, сударыня, начала Марѳа Тимоѳеевна трепетнымъ и прерывистымъ шопотомъ:—прекрасно! У кого ты это только выучилась, мать моя?.. Дай мнѣ воды; я говорить не могу.

— Успокойтесь, тетушка; что̀ съ вами? говорила Лиза, подавая ей стаканъ воды. — Вѣдь вы сами, кажется, не жаловали г-на Паншина.

Марѳа Тимоѳеевна отставила стаканъ.

— Пить не могу: зубы себѣ послѣдніе выбью. Какой тутъ Паншинъ? Къ чему тутъ Паншинъ? А ты лучше мнѣ скажи, кто тебя научилъ свиданія по ночамъ назначать—а? мать моя?

Лиза поблѣднѣла.

— Ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться, продолжала Марѳа Тимоѳеевна.—Шурочка сама все видѣла и мнѣ сказала. Я ей запретила болтать, а она не солжетъ.

— Я и не отговариваюсь, тетушка, чуть слышно промолвила Лиза.

— А-а! Такъ вотъ какъ, мать моя; ты свиданіе ему назначила, этому старому грѣховоднику, смиреннику этому?

— Нѣтъ.

— Какъ же такъ?

— Я сошла внизъ, въ гостиную, за книжкой; онъ былъ въ саду—и позвалъ меня.

— И ты пошла? Прекрасно. Да ты любишь его, что ли?

— Люблю, отвѣчала тихимъ голосомъ Лиза.

— Матушки мои! она его любитъ!—Марѳа Тимоѳеевна сдернула съ себя чепецъ. — Женатаго человѣка любить! а? любить!

— Онъ мнѣ сказывалъ, начала Лиза...

— Что̀ онъ тебѣ сказывалъ, соколикъ этакой, что-о?

— Онъ мнѣ сказывалъ, что жена его скончалась.

Марѳа Тимоѳеевна перекрестилась.—Царство ей небесное, прошептала она:—пустая была бабенка—не тѣмъ будь помянута. Вотъ какъ: вдовый онъ, стало-быть. Да онъ, я вижу, на всѣ руки. Одну жену уморилъ, да и за другую. Каковъ тихоня? Только вотъ что̀ скажу тебѣ, племянница: въ наши времена, какъ я молода была, дѣвкамъ за такія продѣлки больно доставалось. Ты не сердись на меня, мать моя; за правду одни дураки сердятся. Я и отказать ему велѣла сегодня. Я его люблю, но этого я ему никогда не прощу. Вишь, вдовый! Дай-ка мнѣ воды... А что ты Паншина съ носомъ отослала, за это ты у меня молодецъ; только не сиди ты по ночамъ съ этой козьей породой, съ мужчинами; не сокрушай ты меня, старуху! А то вѣдь я не все ласкаться—я и кусаться умѣю... Вдовый!

Марѳа Тимоѳеевна ушла, а Лиза сѣла въ уголокъ и заплакала. Горько ей стало на душѣ; не заслужила она такого униженья. Не веселостью сказывалась ей любовь: во второй разъ плакала она со вчерашняго вечера. Въ ея сердцѣ едва только родилось то новое, нежданное чувство, и уже какъ тяжело поплатилась она за него, какъ грубо коснулись чужія руки ея завѣтной тайны! Стыдно, и горько, и больно было ей: но ни сомнѣнья, ни страха въ ней не было,—и Лаврецкій сталъ ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала; но послѣ того сви-

данія, послѣ того поцѣлуя — она уже колебаться не могла; она знала, что любить, — и полюбила честно, не шутя, привязалась крѣпко, на всю жизнь—и не боялась угрозъ; она чувствовала, что насилію не расторгнуть этой связи.

XXXIX.

Марья Дмитріевна очень встревожилась, когда ей доложили о пріѣздѣ Варвары Павловны Лаврецкой; она даже не знала—принять ли ее: она боялась оскорбить Ѳедора Иваныча. Наконецъ, любопытство превозмогло. Что жъ? подумала она: вѣдь она тоже родная, — и, усѣвшись въ креслахъ, сказала лакею: проси! Прошло нѣсколько мгновеній; дверь отворилась; Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами приблизилась къ Марьѣ Дмитріевнѣ и, не давая ей встать съ креселъ, почти склонила передъ ней колѣни.

— Благодарствуйте, тетушка, начала она тронутымъ и тихимъ голосомъ по-русски:—благодарствуйте; я не надѣялась на такое снисхожденье съ вашей стороны; вы добры, какъ ангелъ.

Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладѣла одной рукой Марьи Дмитріевны и, слегка стиснувъ ее въ своихъ блѣдно-лиловыхъ перчаткахъ, подобострастно поднесла ее къ розовымъ и полнымъ губамъ. Марья Дмитріевна совсѣмъ потерялась, увидѣвъ такую красивую, прелестно-одѣтую женщину почти у ногъ своихъ; она не знала, какъ ей быть: и руку-то свою она у ней отнять хотѣла, и усадить-то ее она желала, и сказать ей что-нибудь ласковое; она кончила тѣмъ, что приподнялась и поцѣловала Варвару Павловну въ гладкій и пахучій лобъ. Варвара Павловна вся сомлѣла подъ этимъ поцѣлуемъ.

— Здравствуйте, bonjour, сказала Марья Дмитріевна: — конечно, я не воображала... впрочемъ, я, конечно, рада васъ видѣть. Вы понимаете, милая моя, — не мнѣ быть судьею между женой и мужемъ...

— Мой мужъ во всемъ правъ, перебила ее Варвара Павловна:—я одна виновата.

— Это очень похвальныя чувства, возразила Марья Дмитріевна:—очень. Давно вы пріѣхали? Видѣли вы его? Да сядьте же, пожалуйста.

— Я вчера пріѣхала, отвѣчала Варвара Павловна, смиренно садясь на стулъ:—я видѣла Ѳедора Иваныча, я говорила съ нимъ.

— А! Ну, и что же онъ?

— Я боялась, что мой внезапный пріѣздъ возбудитъ его гнѣвъ, продолжала Варвара Павловна:—но онъ не лишилъ меня своего присутствія.

— То-есть, онъ не... Да, да, понимаю, промолвила Марья Дмитріевна.—Онъ только съ виду немного грубъ, а сердце у него мягкое.

— Ѳедоръ Иванычъ не простилъ меня; онъ не хотѣлъ меня выслушать... Но онъ былъ такъ добръ, что назначилъ мнѣ Лаврики мѣстомъ жительства.

— А! прекрасное имѣнье!

— Я завтра же отправляюсь туда, въ исполненіе его воли; но я почла долгомъ побывать прежде у васъ.

— Очень, очень вамъ благодарна, моя милая. Родныхъ никогда забывать не слѣдуетъ. А знаете ли, я удивляюсь какъ вы хорошо говорите по-русски. C'est étonnant.

Варвара Павловна вздохнула.

— Я слишкомъ долго пробыла за границей, Марья Дмитріевна, я это знаю; но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества.

— Такъ, такъ; это лучше всего. Ѳедоръ Иванычъ васъ, однако, вовсе не ожидалъ... Да; повѣрьте моей опытности: la patrie avant tout. Ахъ, покажите, пожалуйста, что это у васъ за прелестная мантилья?

— Вамъ она нравится? — Варвара Павловна проворно спустила ее съ плечъ. — Она очень простенькая, отъ madame Baudran.

— Это сейчасъ видно. Отъ madame Baudran.... Какъ мило и съ какимъ вкусомъ! Я увѣрена, вы привезли съ собой множество восхитительныхъ вещей. Я бы хоть посмотрѣла.

— Весь мой туалетъ къ вашимъ услугамъ, любезнѣй-

шая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристкѣ. Со мной служанка изъ Парижа,—удивительная швея.

— Вы очень добры, моя милая. Но, право, мнѣ совѣстно.

— Совѣстно... повторила съ упрекомъ Варвара Павловна.—Хотите вы меня осчастливить—распоряжайтесь мною, какъ вашей собственностью!

Марья Дмитріевна растаяла.

— Vous êtes charmante, проговорила она.—Да что же вы не снимаете вашу шляпу, перчатки?

— Какъ? вы позволяете? спросила Варвара Павловна и слегка, какъ бы съ умиленіемъ, сложила руки.

— Разумѣется; вѣдь вы обѣдаете съ нами, я надѣюсь. Я... я васъ познакомлю съ моей дочерью. — Марья Дмитріевна немного смутилась. „Ну! куда ни шло!“ подумала она.—Она сегодня что-то нездорова у меня.

— О, ma tante, какъ вы добры! воскликнула Варвара Павловна—и поднесла платокъ къ глазамъ.

Казачокъ доложилъ о приходѣ Гедеоновскаго. Старый болтунъ вошелъ, отвѣшивая поклоны и ухмыляясь. Марья Дмитріевна представила его своей гостьѣ. Онъ сперва было сконфузился; но Варвара Павловна такъ кокетливо-почтительно обошлась съ нимъ, что у него ушки разгорѣлись, и выдумки, сплетни, любезности медомъ потекли съ его устъ. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно разсказывала о Парижѣ, о своихъ путешествіяхъ, о Баденѣ; раза два разсмѣшила Марью Дмитріевну и всякій разъ потомъ слегка вздыхала и какъ будто мысленно упрекала себя въ неумѣстной веселости: выпросила позволеніе привести Аду; снявши перчатки, показывала своими гладкими, вымытыми мыломъ à la guimauve руками,—какъ и гдѣ носятся воланы, рюши, кружева, шу; обѣщалась принести стклянку съ новыми англійскими духами: Victoria's Essence, и обрадовалась, какъ дитя, когда Марья Дмитріевна согласилась принять ее въ подарокъ; всплакнула при воспоминаніи о томъ, какое чувство она испытала, когда въ первый разъ услыхала русскіе колокола: „такъ

глубоко поразили они меня въ самое сердце", промолвила она.

Въ это мгновеніе вошла Лиза.

Съ утра, съ самой той минуты, когда она, вся похолодѣвъ отъ ужаса, прочла записку Лаврецкаго, Лиза готовилась ко встрѣчѣ съ его женою; она предчувствовала, что увидитъ ее. Она рѣшилась не избѣгать ея, въ наказаніе своимъ, какъ она называла ихъ, преступнымъ надеждамъ. Внезапный переломъ въ ея судьбѣ потрясъ ее до основанія; въ два какихъ-нибудь часа ея лицо похудѣло; но она и слезинки не проронила. „По дѣломъ!" говорила она самой себѣ, съ трудомъ и волненіемъ подавляя въ душѣ какіе-то горькіе, злые, ее самоё пугавшіе порывы.—„Ну, надо идти!" подумала она, какъ только узнала о пріѣздѣ Лаврецкой, и она вошла... Долго стояла она передъ дверью гостиной, прежде чѣмъ рѣшилась отворить ее; съ мыслью: „я передъ нею виновата"—переступила она порогъ и заставила себя посмотрѣть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстрѣчу, какъ только увидала ее, и склонилась передъ ней слегка, но все-таки почтительно. — Позвольте мнѣ рекомендовать себя, заговорила она вкрадчивымъ голосомъ: — ваша maman такъ снисходительна ко мнѣ, что я надѣюсь, что и вы будете... добры. Выраженіе лица Варвары Павловны, когда она сказала это послѣднее слово, ея хитрая улыбка, холодный и въ то же время мягкій взглядъ, движеніе ея рукъ и плечей, самое ея платье, все ея существо—возбудили такое чувство отвращенія въ Лизѣ, что она ничего не могла ей отвѣтить, и черезъ силу протянула ей руку. „Эта барышня брезгаетъ мною", подумала Варвара Павловна, крѣпко стискивая холодные пальцы Лизы и, обернувшись къ Марьѣ Дмитріевнѣ, промолвила вполголоса: mais elle est délicieuse! Лиза слабо вспыхнула: насмѣшка, обида послышались ей въ этомъ восклицаніи; но она рѣшилась не вѣрить своимъ впечатлѣніямъ и сѣла къ окну, за пяльцы. Варвара Павловна и тутъ не оставила ее въ покоѣ: подошла къ ней, начала хвалить ея вкусъ, ея искусство... Сильно и

болѣзненно забилось сердце у Лизы: она едва переломила себя, едва усидѣла на мѣстѣ. Ей казалось, что Варвара Павловна все знаетъ и, тайно торжествуя, подтруниваетъ надъ ней. Къ счастью ея, Гедеоновскій заговорилъ съ Варварой Павловной и отвлекъ ея вниманіе. Лиза склонилась надъ пяльцами и украдкой наблюдала за нею. „Эту женщину,—думала она:—любилъ *онъ*“. Но она тотчасъ же изгнала изъ головы самую мысль о Лаврецкомъ: она боялась потерять власть надъ собой, она чувствовала, что голова у ней тихо кружилась. Марья Дмитріевна заговорила о музыкѣ.

— Я слышала, моя милая, начала она:—вы удивительная виртуозка.

— Я давно не играла, возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепіано, и бойко пробѣжала пальцами по клавишамъ.—Прикажете?

— Сдѣлайте одолженіе.

Варвара Павловна мастерски сыграла блестящій и трудный этюдъ Герца. У ней было очень много силы и проворства.

— Сильфида! воскликнулъ Гедеоновскій.

— Необыкновенно! подтвердила Марья Дмитріевна. — Ну, Варвара Павловна, признаюсь, — промолвила она, въ первый разъ называя ее по имени: — удивили вы меня; вамъ хоть бы концерты давать. Здѣсь у насъ есть музыкантъ, старикъ, изъ нѣмцевъ, чудакъ, очень ученый; онъ Лизѣ уроки даетъ; тотъ просто отъ васъ съ ума сойдетъ.

— Лизавета Михайловна тоже музыкантша? спросила Варвара Павловна, слегка обернувъ къ ней голову.

— Да, она играетъ недурно и любитъ музыку; но что это значитъ передъ вами? Но здѣсь есть еще одинъ молодой человѣкъ; вотъ съ кѣмъ вы должны познакомиться. Это—артистъ въ душѣ и сочиняетъ премило. Онъ одинъ можетъ васъ вполнѣ оцѣнить.

— Молодой человѣкъ? проговорила Варвара Павловна.— Кто онъ такой? Бѣдный какой-нибудь?

— Помилуйте, первый кавалеръ у насъ, да не только у насъ — et à Pétersbourg. Камеръ-юнкеръ, въ лучшемъ

обществѣ принятъ. Вы навѣрное слыхали о немъ: Паншинъ, Владиміръ Николаичъ. Онъ здѣсь по казенному порученію... будущій министръ, помилуйте!

— И артистъ?

— Артистъ въ душѣ, и такой любезный. Вы его увидите. Онъ все это время очень часто у меня бывалъ; я пригласила его на сегодняшній вечеръ; *надѣюсь*, что онъ пріѣдетъ, прибавила Марья Дмитріевна съ короткимъ вздохомъ и косвенной горькой улыбкой.

Лиза поняла значеніе этой улыбки; но ей было не до того.

— И молодой? повторила Варвара Павловна, слегка модулируя изъ тона въ тонъ.

— Двадцати-восьми лѣтъ—и самой счастливой наружности. Un jeune homme accompli, помилуйте.

— Образцовый, можно сказать, юноша, замѣтилъ Гедеоновскій.

Варвара Павловна внезапно заиграла шумный Штраусовскій вальсъ, начинавшійся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновскій даже вздрогнулъ; въ самой серединѣ вальса она вдругъ перешла въ грустный мотивъ и кончила аріею изъ „Лучіи“: Fra poco... Она сообразила, что веселая музыка нейдетъ къ ея положенію. Арія изъ „Лучіи“, съ удареніемъ на чувствительныхъ ноткахъ, очень растрогала Марью Дмитріевну.

— Какая душа! проговорила она вполголоса Гедеоновскому.

— Сильфида! повторилъ Гедеоновскій и поднялъ глаза къ небу.

Насталъ часъ обѣда. Марѳа Тимоѳеевна сошла съ верху, когда уже супъ стоялъ на столѣ. Она очень сухо обошлась съ Варварой Павловной, отвѣчала полусловами на ея любезности, не глядѣла на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что отъ этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать съ нею; зато Марья Дмитріевна стала еще ласковѣе съ своей гостьей: невѣжливость тетки ее разсердила. Впрочемъ, Марѳа Тимоѳеевна не на одну Варвару Павловну не глядѣла: она и на Лизу не глядѣла, хотя глаза такъ и блестѣли у ней.

Она сидѣла, какъ каменная, вся желтая, блѣдная, съ сжатыми губами—и не ѣла ничего. Лиза казалась спокойной; и точно: у ней на душѣ тише стало; странная безчувственность, безчувственность осужденнаго нашла на нее. За обѣдомъ Варвара Павловна говорила мало: она словно опять оробѣла и распространила по лицу своему выраженіе скромной меланхоліи. Одинъ Гедеоновскій оживлялъ бесѣду своими разсказами, хотя то-и-дѣло трусливо посматривалъ на Марѳу Тимоѳеевну и перхалъ,—перхота нападала на него всякій разъ, когда онъ въ ея присутствіи собирался лгать,—но она ему не мѣшала, не перебивала его. Послѣ обѣда оказалось, что Варвара Павловна большая любительница преферанса; Марьѣ Дмитріевнѣ это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя: „какой же, однако, дуракъ долженъ быть Ѳедоръ Иванычъ: не умѣлъ такую женщину понять!“

Она сѣла играть въ карты съ нею и Гедеоновскимъ, а Марѳа Тимоѳеевна увела Лизу къ себѣ на верхъ, сказавъ, что на ней лица нѣту, что у ней, должно-быть, болитъ голова.

— Да, у ней ужасно голова болитъ, промолвила Марья Дмитріевна, обращаясь къ Варварѣ Павловнѣ, и закатывая глаза.—У меня самой такіе бываютъ мигрени...

— Скажите! возразила Варвара Павловна.

Лиза вошла въ теткину комнату и въ изнеможеніи опустилась на стулъ. Марѳа Тимоѳеевна долго, молча, смотрѣла на нее, тихонько стала передъ нею на колѣни—и начала, все такъ же молча, цѣловать попеременно ея руки. Лиза подалась впередъ, покраснѣла—и заплакала, но не подняла Марѳы Тимоѳеевны, не отняла своихъ рукъ: она чувствовала, что не имѣла права отнять ихъ, не имѣла права помѣшать старушкѣ выразить свое раскаяніе, участіе, испросить у ней прощеніе за вчерашнее; и Марѳа Тимоѳеевна не могла нацѣловаться этихъ бѣдныхъ, блѣдныхъ, безсильныхъ рукъ—и безмолвныя слезы лились изъ ея глазъ и глазъ Лизы; а котъ Матросъ мурлыкалъ въ широкихъ креслахъ возлѣ клубка съ чулкомъ, продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и ше-

велилось передъ иконой,—въ сосѣдней комнаткѣ, за дверью, стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себѣ глаза свернутымъ въ клубочекъ клѣтчатымъ носовымъ платкомъ.

XL.

А между тѣмъ внизу, въ гостиной, шелъ преферансъ; Марья Дмитріевна выиграла и была въ духѣ. Человѣкъ вошелъ и доложилъ о пріѣздѣ Паншина.

Марья Дмитріевна уронила карты и завозилась на креслѣ; Варвара Павловна посмотрѣла на нее съ полуусмѣшкой, потомъ обратила взоры на дверь. Появился Паншинъ, въ черномъ фракѣ, въ высокихъ англійскихъ воротничкахъ, застегнутый до верху. „Мнѣ было тяжело повиноваться; но вы видите, я пріѣхалъ“: вотъ что̀ выражало его не улыбавшееся, только-что выбритое лицо.

— Помилуйте, Вольдемаръ, воскликнула Марья Дмитріевна:—прежде вы безъ доклада входили!

Паншинъ отвѣтилъ Марьѣ Дмитріевнѣ однимъ только взглядомъ, вѣжливо поклонился ей, но къ ручкѣ не подошелъ. Она представила его Варварѣ Павловнѣ; онъ отступилъ на шагъ, поклонился ей такъ же вѣжливо, но съ оттѣнкомъ изящества и уваженія, и подсѣлъ къ карточному столу. Преферансъ скоро кончился. Паншинъ освѣдомился о Лизаветѣ Михайловнѣ, узналъ, что она не совсѣмъ здорова, изъявилъ сожалѣнье; потомъ онъ заговорилъ съ Варварой Павловной, дипломатически взвѣшивая и отчеканивая каждое слово, почтительно выслушивая ея отвѣты до конца. Но важность его дипломатическаго тона не дѣйствовала на Варвару Павловну, не сообщалась ей. Напротивъ: она съ веселымъ вниманіемъ глядѣла ему въ лицо, говорила развязно, и тонкія ея ноздри слегка трепетали, какъ отъ сдержаннаго смѣха. Марья Дмитріевна начала превозносить ея талантъ; Паншинъ учтиво, насколько позволяли ему воротнички, наклонилъ голову, объявилъ, что „онъ былъ въ этомъ заранѣе увѣренъ“—и завелъ рѣчь чуть ли не о самомъ Меттерних*ѣ*. Варвара Павловна прищурила свои бархатные

глаза и, сказавши вполголоса: „да вѣдь вы тоже артистъ, un confrère“,—прибавила еще тише: „venez!“—и качнула головой въ сторону фортепіано. Это одно брошенное слово: venez! — мгновенно, какъ бы по волшебству, измѣнило всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла; онъ улыбнулся, оживился, разстегнулъ фракъ и, повторяя: „какой я артистъ, увы! вотъ вы, я слышалъ, артистка истинная“—направился вслѣдъ за Варварой Павловной къ фортепіано.

— Заставьте его спѣть романсъ — какъ луна плыветъ, воскликнула Марья Дмитріевна.

— Вы поете? промолвила Варвара Павловна, озаривъ его свѣтлымъ и быстрымъ взоромъ.—Садитесь.

Паншинъ сталъ отговариваться.

— Садитесь, повторила она, настойчиво постучавъ по спинкѣ стула.

Онъ сѣлъ, кашлянулъ, оттянулъ воротнички и спѣлъ свой романсъ.

— Charmant, проговорила Варвара Павловна:—вы прекрасно поете, vous avez du style,—повторите.

Она обошла вокругъ фортепіано и стала прямо напротивъ Паншина. Онъ повторилъ романсъ, придавая мелодраматическое дрожаніе своему голосу. Варвара Павловна пристально глядѣла на него, облокотясь на фортепіано и держа свои бѣлыя руки въ уровень своихъ губъ. Паншинъ кончилъ.

— Charmant, charmante idée,—сказала она съ покойной увѣренностью знатока.—Скажите, вы написали что-нибудь для женскаго голоса, для mezzo-soprano?

— Я почти ничего не пишу, возразилъ Паншинъ: — я вѣдь это только такъ, между дѣломъ... а развѣ вы поете?

— Пою.

— О! спойте намъ что-нибудь, проговорила Марья Дмитріевна.

Варвара Павловна отвела рукою волосы отъ заалѣвшихся щекъ и встряхнула головой.

— Наши голоса должны идти другъ къ другу, промолвила она, обращаясь къ Паншину: — споемте дуэтъ.

Знаете ли вы: Son geloso, или La ci darem, или Mira la bianca luna?

— Я пѣлъ когда-то Mira la bianca luna, отвѣчалъ Паншинъ:—да давно, забылъ.

— Ничего, мы прорепетируемъ вполголоса. Пустите меня.

Варвара Павловна сѣла за фортепіано. Паншинъ сталъ возлѣ нея. Они спѣли вполголоса дуэтъ, причемъ Варвара Павловна нѣсколько разъ его поправляла, потомъ спѣли громко, потомъ два раза повторили: Mira la bianca lu... u... una. Голосъ у Варвары Павловны утратилъ свѣжесть, но она владѣла имъ очень ловко. Паншинъ сперва робѣлъ и слегка фальшивилъ, потомъ вошелъ въ азартъ, и если пѣлъ не безукоризненно, то шевелилъ плечами, покачивалъ всѣмъ туловищемъ и поднималъ по временамъ руку, какъ настоящій пѣвецъ. Варвара Павловна сыграла двѣ-три Тальберховскія вещицы и кокетливо „сказала“ французскую аріетку. Марья Дмитріевна уже не знала, какъ выразить свое удовольствіе; она хотѣла нѣсколько разъ послать за Лизой; Гедеоновскій также не находилъ словъ и только головой качалъ,—но вдругъ неожиданно зѣвнулъ и едва успѣлъ прикрыть ротъ рукою. Зѣвокъ этотъ не ускользнулъ отъ Варвары Павловны; она вдругъ повернулась спиной къ фортепіано, промолвила: „assez de musique comme ça; будемъ болтать“, — и скрестила руки: „Oui, assez de musique“, весело повторилъ Паншинъ и завязалъ съ ней разговоръ—бойкій, легкій, на французскомъ языкѣ. „Совершенно, какъ въ лучшемъ парижскомъ салонѣ“, думала Марья Дмитріевна, слушая ихъ уклончивыя и вертлявыя рѣчи. Паншинъ чувствовалъ полное удовольствіе; глаза его сіяли, онъ улыбался; сначала онъ проводилъ рукой по лицу, хмурилъ брови и отрывисто вздыхалъ, когда ему случалось встрѣтиться взглядами съ Марьей Дмитріевной; но потомъ онъ совсѣмъ забылъ о ней и отдался весь наслажденію полу-свѣтской, полу-художественной болтовни. Варвара Павловна показывала себя большой философкой: на все у ней являлся готовый отвѣтъ, она ни надъ чѣмъ не колебалась, не сомнѣвалась ни въ *чемъ; замѣтно* было, что она много и часто бесѣдовала

съ умными людьми разныхъ разборовъ. Всѣ ея мысли, чувства вращались около Парижа. Паншинъ навелъ разговоръ на литературу: оказалось, что она, такъ же, какъ и онъ, читала однѣ французскія книжки: Жоржъ-Сандъ приводила ее въ негодованіе, Бальзака она уважала, хотя онъ ее утомлялъ, въ Сю и Скрибѣ видѣла великихъ сердцевѣдцевъ, обожала Дюма и Феваля; въ душѣ она имъ всѣмъ предпочитала Поль-де-Кока, но, разумѣется, даже имени его не упомянула. Собственно говоря, литература ее не слишкомъ занимала. Варвара Павловна очень искусно избѣгала всего, что могло хотя отдаленно напомнить ея положеніе; о любви въ ея рѣчахъ и помину не было: напротивъ, онѣ скорѣе отзывались строгостью къ увлеченіямъ страстей, разочарованіемъ, смиреніемъ. Паншинъ возражалъ ей; она съ нимъ не соглашалась... но странное дѣло! — въ то самое время, какъ изъ устъ ея исходили слова осужденія, часто суроваго, звукъ этихъ словъ ласкалъ и нѣжилъ, и глаза ея говорили... что именно говорили эти прелестные глаза,—трудно было сказать; но то были не строгія, не ясныя и сладкія рѣчи. Паншинъ старался понять ихъ тайный смыслъ, старался самъ говорить глазами, но онъ чувствовалъ, что у него ничего не выходило; онъ сознавалъ, что Варвара Павловна, въ качествѣ настоящей, заграничной львицы, стояла выше его, а потому онъ и не вполнѣ владѣлъ собою. У Варвары Павловны была привычка во время разговора чуть-чуть касаться рукава своего собесѣдника; эти мгновенныя прикосновенія очень волновали Владиміра Николаича. Варвара Павловна обладала умѣньемъ легко сходиться со всякимъ; двухъ часовъ не прошло, какъ уже Паншину казалось, что онъ знаетъ ее вѣкъ, а Лиза, та самая Лиза, которую онъ все-таки любилъ, которой онъ наканунѣ предлагалъ руку,—исчезала какъ бы въ туманѣ. Подали чай; разговоръ сталъ еще непринужденнѣе. Марья Дмитріевна позвонила казачка и велѣла сказать Лизѣ, чтобы она сошла внизъ, если ея головѣ стало легче. Паншинъ, услышавъ имя Лизы, пустился толковать о самопожертвованіи, *о томъ, кто* болѣе способенъ на жертвы—

мужчина или женщина. Марья Дмитріевна тотчасъ пришла въ волненіе, начала утверждать, что женщина болѣе способна, объявила, что она это въ двухъ словахъ докажетъ, запуталась и кончила какимъ-то довольно неудачнымъ сравненіемъ. Варвара Павловна взяла тетрадь нотъ, до половины закрылась ею и, нагнувшись въ сторону Паншина, покусывая бисквитъ, съ спокойной улыбочкой на губахъ и во взорѣ, вполголоса промолвила: „elle n'a pas inventé la poudre, la bonne dame". Паншинъ немножко испугался и удивился смѣлости Варвары Павловны; но онъ не понялъ, сколько презрѣнія къ нему самому таилось въ этомъ неожиданномъ изліяніи, и позабывъ ласки и преданность Марьи Дмитріевны, позабывъ обѣды, которыми она его кормила, деньги, которыя она ему давала взаймы,—онъ съ той же улыбочкой и тѣмъ же голосомъ возразилъ (несчастный!): „je crois bien"—и даже не: „je crois bien", а—„j'crois ben!"

Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взглядъ и встала. Лиза вошла; Марѳа Тимоѳеевна напрасно ее удерживала: она рѣшилась выдержать испытаніе до конца. Варвара Павловна пошла ей навстрѣчу вмѣстѣ съ Паншинымъ, на лицѣ котораго появилось прежнее дипломатическое выраженіе.

— Какъ ваше здоровье? спросилъ онъ Лизу.

— Мнѣ лучше теперь, благодарствуйте, отвѣчала она.

— А мы здѣсь немного занялись музыкой; жаль, что вы не слыхали Варвары Павловны. Она поетъ превосходно, un artiste consommée.

— Пойдите-ка сюда, ma chère, раздался голосъ Марьи Дмитріевны.

Варвара Павловна тотчасъ, съ покорностью ребенка, подошла къ ней и присѣла на небольшой табуретъ у ея ногъ. Марья Дмитріевна позвала ее для того, чтобы оставить, хотя на мгновенье, свою дочь наединѣ съ Паншинымъ: она все еще втайнѣ надѣялась, что та опомнится. Кромѣ того, ей въ голову пришла мысль, которую ей непремѣнно захотѣлось тотчасъ высказать.

— *Знаете ли,* шепнула она Варварѣ Павловнѣ:—я хочу

попытаться помирить васъ съ вашимъ мужемъ; не отвѣчаю за успѣхъ, но попытаюсь. Онъ меня, вы знаете, очень уважаетъ.

Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марью Дмитріевну и красиво сложила руки.

— Вы были бы моей спасительницей, ma tante, проговорила она печальнымъ голосомъ:—я не знаю, какъ благодарить васъ за всѣ ваши ласки; но я слишкомъ виновата передъ Ѳедоромъ Иванычемъ; онъ простить меня не можетъ.

— Да развѣ вы... въ самомъ дѣлѣ... начала-было съ любопытствомъ Марья Дмитріевна...

— Не спрашивайте меня, перебила ее Варвара Павловна и потупилась.—Я была молода, легкомысленна... Впрочемъ, я не хочу оправдываться.

— Ну, все-таки, отчего же не попробовать? Не отчаивайтесь, возразила Марья Дмитріевна и хотѣла потрепать ее по щекѣ, но взглянула ей въ лицо—и оробѣла. „Скромна, скромна,—подумала она:—а ужъ точно львица“.

— Вы больны? говорилъ между тѣмъ Паншинъ Лизѣ.

— Да, я нездорова.

— Я понимаю васъ, промолвилъ онъ послѣ довольно продолжительнаго молчанія.—Да, я понимаю васъ.

— Какъ?

— Я понимаю васъ, повторилъ значительно Паншинъ, который просто не зналъ, что̀ сказать.

Лиза смутилась, а потомъ подумала: „пусть!“ Паншинъ принялъ таинственный видъ и умолкъ, съ строгостью посматривал въ сторону.

— Однако уже, кажется, одиннадцать часовъ пробило, замѣтила Марья Дмитріевна.

Гости поняли намекъ и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обѣщать, что пріѣдетъ обѣдать на слѣдующій день и привезетъ Аду; Гедеоновскій, который чуть-было не заснулъ, сидя въ углу, вызвался ее проводить до дому. Паншинъ торжественно раскланялся со всѣми, а на крыльцѣ, подсаживая Варвару Павловну въ карету, пожалъ ей руку и закричалъ вслѣдъ: au revoir! Гедеоновскій *сѣлъ съ ней* рядомъ; она всю дорогу забa-

Влялась тѣмъ, что ставила, будто ненарочно, кончикъ своей ножки на его ногу; онъ конфузился, говорилъ ей комплименты; она хихикала и дѣлала ему глазки, когда свѣтъ отъ уличнаго фонаря западалъ въ карету. Сыгранный ею самою вальсъ звенѣлъ у ней въ головѣ, волновалъ ее; гдѣ бы она ни находилась, стоило ей только представить себѣ огни, бальную залу, быстрое круженье подъ звуки музыки—и душа въ ней такъ и загоралась, глаза странно меркли, улыбка блуждала на губахъ, что-то граціозно-вакхическое разливалось по всему тѣлу. Пріѣхавши домой, Варвара Павловна легко выскочила изъ кареты—только львицы умѣютъ такъ выскакивать—обернулась къ Гедеоновскому и вдругъ расхохоталась звонкимъ хохотомъ прямо ему въ носъ.

„Любезная особа, — думалъ статскій совѣтникъ, пробираясь къ себѣ на квартиру, гдѣ ожидалъ его слуга со стклянкой оподельдока:—хорошо, что я степенный человѣкъ... только—чему-жъ она смѣялась?“

Марѳа Тимоѳеевна всю ночь просидѣла у изголовья Лизы.

XLI.

Лаврецкій провелъ полтора дня въ Васильевскомъ и почти все время пробродилъ по окрестностямъ. Онъ не могъ оставаться долго на одномъ мѣстѣ: тоска его грызла; онъ испытывалъ всѣ терзанья непрестанныхъ, стремительныхъ и безсильныхъ порывовъ. Вспомнилъ онъ чувство, охватившее его душу на другой день послѣ пріѣзда въ деревню; вспомнилъ свои тогдашнія намѣренія и сильно негодовалъ на себя. Что могло оторвать его отъ того, что онъ призналъ своимъ долгомъ, единственной задачей своей будущности? Жажда счастья — опять-таки жажда счастья!—„Видно, Михалевичъ правъ“, думалъ онъ.—„Ты захотѣлъ вторично извѣдать счастья въ жизни, говорилъ онъ самъ себѣ: — ты позабылъ, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посѣтитъ человѣка. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты; да предъяви же свои права на полное, истинное *счастье! Оглянись*, кто вокругъ тебя блаженствуетъ, кто

наслаждается? Вонъ, мужикъ ѣдетъ на косьбу; можетъ-быть, онъ доволенъ своею судьбою... Что-жъ? захотѣлъ ли бы ты помѣняться съ нимъ? Вспомни свою мать: какъ ничтожно-малы были ея требованія, и какова выпала ей доля? Ты, видно, только похвастался передъ Паншинымъ, когда сказалъ ему, что пріѣхалъ въ Россію затѣмъ, чтобы пахать землю; ты пріѣхалъ волочиться на старости лѣтъ за дѣвочками. Пришла вѣсть о твоей свободѣ, и ты все бросилъ, все забылъ, ты побѣжалъ, какъ мальчикъ за бабочкой"... Образъ Лизы безпрестанно представлялся ему посреди его размышленій; онъ съ усиліемъ изгонялъ его, какъ и другой неотвязный образъ, другія, невозмутимо-лукавыя, красивыя и ненавистныя черты. Старикъ Антонъ замѣтилъ, что барину не по себѣ; вздохнувши нѣсколько разъ за дверью, да нѣсколько разъ на порогѣ, онъ рѣшился подойти къ нему, посовѣтовалъ ему напиться чего-нибудь тепленькаго. Лаврецкій закричалъ на него, велѣлъ ему выйти, а потомъ извинился передъ нимъ; но Антонъ отъ этого еще больше опечалился. Лаврецкій не могъ сидѣть въ гостиной; ему такъ и чудилось, что прадѣдъ Андрей презрительно глядитъ съ полотна на хилаго своего потомка. — „Эхъ ты! мелко плаваешь!" казалось, говорили его на бокъ скрученныя губы. „Неужели же, думалъ онъ, — я не слажу съ собою, — поддамся этому... вздору?" (Тяжело-раненые на войнѣ всегда называютъ „вздоромъ" свои раны. Не обманывать себя человѣку — не жить ему на землѣ.) „Мальчишка я, что ли, въ самомъ дѣлѣ? Ну, да: увидалъ вблизи, въ рукахъ почти держалъ возможность счастія на всю жизнь—оно вдругъ исчезло; да вѣдь и въ лотереѣ — повернись колесо еще немного, и бѣднякъ, пожалуй, сталъ бы богачомъ. Не бывать, такъ не бывать — и кончено. Возьмусь за дѣло, стиснувъ зубы, да и велю себѣ молчать; благо, мнѣ не въ первый разъ брать себя въ руки. И для чего я бѣжалъ, зачѣмъ сижу здѣсь, забивши, какъ страусъ, голову въ кустъ? Страшно бѣдѣ въ глаза взглянуть—вздоръ!"— Антонъ! закричалъ онъ громко:—прикажи сейчасъ закладывать тарантасъ.— „Да, подумалъ онъ опять,—надо ве-

лѣть себѣ молчать, надо взять себя въ ежовыя рукавицы"...

Такими-то разсужденіями старался помочь Лаврецкій своему горю; но оно было велико и сильно; и сама, выжившая не столько изъ ума, сколько изо всякаго чувства, Апраксѣя покачала головой и печально проводила его глазами, когда онъ сѣлъ въ тарантасъ, чтобы ѣхать въ городъ. Лошади скакали; онъ сидѣлъ неподвижно и прямо, и неподвижно глядѣлъ впередъ, на дорогу.

XLII.

Лиза наканунѣ написала Лаврецкому, чтобы онъ явился къ нимъ вечеромъ; но онъ сперва отправился къ себѣ на квартиру. Онъ не засталъ дома ни жены, ни дочери; отъ людей онъ узналъ, что она отправилась съ ней къ Калитинымъ. Это извѣстіе и поразило его, и взбѣсило. „Видно, Варвара Павловна рѣшилась не давать мнѣ жить", подумалъ онъ съ волненіемъ злобы на сердцѣ. Онъ началъ ходить взадъ и впередъ, безпрестанно отталкивая ногами и руками попадавшіяся ему дѣтскія игрушки, книжки, разныя женскія принадлежности; онъ позвалъ Жюстину и велѣлъ ей убрать весь этотъ „хламъ".—Oui, monsieur, сказала она съ ужимкой и начала прибирать комнату, граціозно наклоняясь и каждымъ своимъ движеніемъ давая Лаврецкому чувствовать, что она считаетъ его за необтесаннаго медвѣдя. Съ ненавистью смотрѣлъ онъ на ея истасканное, но все еще „пикантное", насмѣшливое, парижское лицо, на ея бѣлые нарукавнички, шелковый фартукъ и легкій чепчикъ. Онъ услалъ ее наконецъ и, послѣ долгихъ колебаній (Варвара Павловна все не возвращалась), рѣшился отправиться къ Калитинымъ, — не къ Марьѣ Дмитріевнѣ (онъ бы ни за что не вошелъ въ ея гостиную, въ ту гостиную, гдѣ находилась его жена), но къ Маѳѣ Тимоѳеевнѣ; онъ вспомнилъ, что задняя лѣстница съ дѣвичьяго крыльца вела прямо къ ней. Лаврецкій такъ и сдѣлалъ. Случай помогъ ему: онъ на дворѣ встрѣтилъ Шурочку; она провела его къ Маѳѣ Тимоѳеевнѣ. Онъ засталъ ее, противъ ея обыкновенія, одну; она сидѣла въ уголку, простоволосая, сгорбленная, съ

скрещенными на груди руками. Увидѣвъ Лаврецкаго, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда, и сюда по комнатѣ, какъ-будто отыскивая свой чепецъ.

— А, вотъ ты, вотъ, заговорила она, избѣгая его взора и суетясь: —ну, здравствуй. Ну, что-жъ? Что же дѣлать! Гдѣ ты былъ вчера? Ну, она пріѣхала, ну, да. Ну, надо ужъ такъ... какъ-нибудь.

Лаврецкій опустился на стулъ.

— Ну, садись, садись, продолжала старушка.—Ты прямо наверхъ прошелъ? Ну, да, разумѣется. Что-жъ? ты на меня пришелъ посмотрѣть? Спасибо.

Старушка помолчала; Лаврецкій не зналъ, что̀ сказать ей; но она его понимала.

— Лиза... да, Лиза сейчасъ здѣсь была, продолжала Марѳа Тимоѳеевна, завязывая и развязывая шнурки своего ридикюля.—Она не совсѣмъ здорова. Шурочка, гдѣ ты? Поди сюда, мать моя, что̀ это посидѣть не можешь? И у меня голова болитъ. Должно-быть, отъ *эфтаго* отъ пѣнья, да отъ музыки.

— Отъ какого пѣнья, тетушка?

— Да какъ же; тутъ ужъ эти они, какъ бишь они по-вашему, дуэты пошли. И все по-итальянски; *чи-чи* да *ча-ча*, настоящія сороки. Начнутъ ноты выводить, просто такъ за душу и тянутъ. Паншинъ этотъ, да вотъ твоя. И какъ это все скоро уладилось; ужъ точно, по-родственному, безъ церемоній. А впрочемъ, и то̀ сказать: собака—и та пристанища ищетъ; не пропадать же, благо люди не гонятъ.

— Все-таки, признаюсь, я этого не ожидалъ, возразилъ Лаврецкій:—тутъ смѣлость нужна была большая.

— Нѣтъ, душа моя, это не смѣлость, это расчетъ. Да Господь съ ней! Ты ее, говорятъ, въ Лаврики посылаешь, правда?

— Да, я предоставляю это имѣнье Варварѣ Павловнѣ.

— Денегъ спрашивала?

— Пока еще нѣтъ.

— Ну, это не затянется. А я тебя только теперь разглядѣла. Здоровъ ты?

— Здоровъ.

— Шурочка! воскликнула вдругъ Марѳа Тимоѳеевна:— поди-ка, скажи Лизаветѣ Михайловнѣ—то-есть, нѣтъ, спроси у ней... вѣдь она внизу?

— Внизу-съ.

— Ну, да; такъ спроси у ней: куда, молъ, она мою книжку дѣла? она ужъ знаетъ.

— Слушаю-съ.

Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики въ комодѣ. Лаврецкій сидѣлъ неподвижно на своемъ стулѣ.

Вдругъ послышались легкіе шаги по лѣстницѣ — и вошла Лиза.

Лаврецкій всталъ и поклонился; Лиза остановилась у двери.

— Лиза, Лизочка, хлопотливо заговорила Марѳа Тимоѳеевна:—куда ты мою книжку, книжку куда положила?

— Какую книжку, тетенька?

— Да книжку, Боже мой! Я тебя, впрочемъ, не звала... Ну, все равно. Что вы тамъ внизу дѣлаете? Вотъ и Ѳедоръ Иванычъ пріѣхалъ.—Что̀ твоя голова?

— Ничего.

— Ты все говоришь: ничего. Что у васъ тамъ внизу,— опять музыка?

— Нѣтъ—въ карты играютъ.

— Да вѣдь она на всѣ руки. Шурочка, я вижу, тебѣ по саду бѣгать хочется. Ступай.

— Да нѣтъ, Марѳа Тимоѳеевна...

— Не разсуждай, пожалуйста, ступай. Настасья Карповна въ садъ пошла одна: ты съ ней побудь. Уважь старуху.—Шурочка вышла.—Да гдѣ-жъ это мой чепецъ? Куда это онъ дѣлся, право?

— Позвольте, я поищу, промолвила Лиза.

— Сиди, сиди; у меня самой ноги еще не отвалились. Должно-быть, онъ у меня тамъ, въ спальнѣ.

И, бросивъ исподлобья взоръ на Лаврецкаго, Марѳа Тимоѳеевна удалилась. Она оставила-было дверь отворенной; но вдругъ вернулась къ ней и заперла ее.

Лиза прислонилась къ спинкѣ кресла и тихо занесла себѣ руки на лицо; Лаврецкій остался, гдѣ былъ.

— Вотъ какъ мы должны были увидѣться, проговорилъ онъ наконецъ.

Лиза приняла руки отъ лица.

— Да, сказала она глухо:—мы скоро были наказаны.

— Наказаны, проговорилъ Лаврецкій.—За что же вы-то наказаны?

Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали: они казались меньше и тусклѣй. Лицо ея было блѣдно; слегка раскрытыя губы тоже поблѣднѣли.

Сердце въ Лаврецкомъ дрогнуло отъ жалости и любви.

— Вы мнѣ написали: все кончено,—прошепталъ онъ:—да, все кончено—прежде чѣмъ началось.

— Это все надо забыть, проговорила Лиза: — я рада, что вы пришли; я хотѣла вамъ написать, но этакъ лучше. Только надо скорѣе пользоваться этими минутами. Намъ обоимъ остается исполнить нашъ долгъ. Вы, Ѳедоръ Иванычъ, должны примириться съ вашей женой.

— Лиза!

— Я васъ прошу объ этомъ; этимъ однимъ можно загладить... все, что было. Вы думаете—и не откажите мнѣ.

— Лиза, ради Бога,—вы требуете невозможнаго. Я готовъ сдѣлать все, что вы прикажете; но *теперь* примириться съ нею!.. Я согласенъ на все, я все забылъ; но не могу же я заставить свое сердце... Помилуйте, это жестоко!

— Я не требую отъ васъ... того, что вы говорите; не живите съ ней, если вы не можете; но примиритесь, возразила Лиза и снова занесла руку на глаза. — Вспомните вашу дочку; сдѣлайте это для меня.

— Хорошо, проговорилъ сквозь зубы Лаврецкій: — это я сдѣлаю, положимъ; этимъ я исполню свой долгъ. Ну, а вы—въ чемъ же вашъ долгъ состоитъ?

— Про это я знаю.

Лаврецкій вдругъ встрепенулся.

— Ужъ не собираетесь ли вы выйти за Паншина? спросилъ онъ.

Лиза чуть замѣтно улыбнулась.

— О, нѣтъ! промолвила она.

— Ахъ, Лиза, Лиза! воскликнулъ Лаврецкій:—какъ бы вы могли быть счастливы!

Лиза опять взглянула на него.

— Теперь вы сами видите, Ѳедоръ Иванычъ, что счастіе зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога.

— Да, потому что вы...

Дверь изъ сосѣдней комнаты быстро растворилась, и Марѳа Тимоѳеевна вошла съ чепцомъ въ рукѣ.

— Насилу нашла, сказала она, становясь между Лаврецкимъ и Лизой.—Сама его заложила. Вотъ, что̀ значитъ старость-то, бѣда! А впрочемъ, и молодость не лучше. Что̀, ты самъ съ женой въ Лаврикѝ поѣдешь? прибавила она, оборотясь къ Ѳедору Иванычу.

— Съ нею въ Лаврики? я? Не знаю, промолвилъ онъ, погодя немного.

— Ты внизъ не сойдешь?

— Сегодня—нѣтъ.

— Ну, хорошо, какъ знаешь; а тебѣ, Лиза, я думаю, надо бы внизъ пойти. Ахъ, батюшки-свѣты, я и забыла снѣгирю корму насыпать. Да вотъ, постойте, я сейчасъ...

И Марѳа Тимоѳеевна выбѣжала, не надѣвъ чепца.

Лаврецкій быстро подошелъ къ Лизѣ.

— Лиза, началъ онъ умоляющимъ голосомъ:—мы разстаемся навсегда, сердце мое разрывается, — дайте мнѣ вашу руку на прощаніе.

Лиза подняла голову. Ея усталый, почти погасшій взоръ остановился на немъ...

— Нѣтъ, промолвила она и отвела назадъ уже протянутую руку:—нѣтъ, Лаврецкій (она въ первый разъ такъ его называла), не дамъ я вамъ моей руки. Къ чему? Отойдите, прошу васъ. Вы знаете, я васъ люблю... да, я люблю васъ, прибавила она съ усиліемъ:—но нѣтъ... нѣтъ.

И она поднесла платокъ къ своимъ губамъ.

— Дайте мнѣ по крайней мѣрѣ этотъ платокъ.

Дверь скрипнула... Платокъ скользнулъ по колѣнямъ Лизы. Лаврецкій подхватилъ его, прежде чѣмъ онъ успѣлъ упасть на полъ, быстро сунулъ его въ боковой карманъ и, *обернувшись*, встрѣтился глазами съ Марѳой Тимоѳеевной.

— Лизочка, мнѣ кажется, тебя мать зоветъ, промолвила старушка.

Лиза тотчасъ встала и ушла.

Марѳа Тимоѳеевна опять сѣла въ свой уголокъ. Лаврецкій началъ прощаться съ нею.

— Ѳедя, сказала она вдругъ.

— Что, тетушка?

— Ты честный человѣкъ?

— Какъ?

— Я спрашиваю тебя: честный ли ты человѣкъ?

— Надѣюсь, да.

— Гмъ. А дай мнѣ честное слово, что ты честный человѣкъ.

— Извольте. Но къ чему это?

— Ужъ я знаю, къ чему. Да и ты, мой кормилецъ, коли подумаешь хорошенько,—вѣдь ты не глупъ,—самъ поймешь, къ чему я это у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка. Спасибо, что навѣстилъ; а слово сказанное помни, Ѳедя, да поцѣлуй меня. Охъ, душа моя, тяжело тебѣ, знаю: да вѣдь и всѣмъ не легко. Ужъ на что я, бывало, завидовала мухамъ; вотъ, думала я, кому хорошо на свѣтѣ пожить; да услыхала разъ, ночью, какъ муха у паука въ лапкахъ ноетъ,—нѣтъ, думаю, и на нихъ есть гроза. Что дѣлать, Ѳедя; а слово свое все-таки помни. Ступай.

Лаврецкій вышелъ съ задняго крыльца и уже приближался къ воротамъ... его нагналъ лакей.

— Марья Дмитріевна приказала просить васъ къ ней пожаловать, доложилъ онъ Лаврецкому.

— Скажи, братецъ, что я не могу теперь... началъ-было Ѳедоръ Иванычъ.

— Приказали очинно просить, продолжалъ лакей: — приказали сказать, что онѣ дома.

— А развѣ гости уѣхали? спросилъ Лаврецкій.

— Точно такъ-съ, возразилъ лакей и осклабился.

Лаврецкій пожалъ плечами и отправился вслѣдъ за нимъ.

XLIII.

Марья Дмитріевна сидѣла одна у себя въ кабинетѣ, на

вольтеровскомъ креслѣ, и нюхала одеколонъ; стаканъ воды съ флеръ-д'оранжемъ стоялъ возлѣ нея на столикѣ. Она волновалась и какъ будто трусила.

Лаврецкій вошелъ.

— Вы желали меня видѣть, сказалъ онъ, холодно кланяясь.

— Да, возразила Марья Дмитріевна и отпила немного воды.—Я узнала, что вы прошли прямо къ тетушкѣ; я приказала васъ просить къ себѣ: мнѣ нужно переговорить съ вами. Садитесь, пожалуйста. — Марья Дмитріевна перевела дыханіе.—Вы знаете, продолжала она:—ваша жена пріѣхала.

— Это мнѣ извѣстно, промолвилъ Лаврецкій.

— Ну, да, то-есть, я хотѣла сказать: она ко мнѣ пріѣхала, и я приняла ее; вотъ о чемъ я хочу теперь объясниться съ вами, Ѳедоръ Иванычъ. Я, слава Богу, заслужила, могу сказать, всеобщее уваженіе, и ничего неприличнаго ни за что на свѣтѣ не сдѣлаю. Хоть я и предвидѣла, что это будетъ вамъ непріятно, однако, я не рѣшилась отказать ей, Ѳедоръ Иванычъ; она мнѣ родственница—по вамъ: войдите въ мое положеніе, какое же я имѣла право отказать ей отъ дома,—согласитесь?

— Вы напрасно волнуетесь, Марья Дмитріевна, возразилъ Лаврецкій:—вы очень хорошо сдѣлали; я нисколько не сержусь. Я вовсе не намѣренъ лишать Варвару Павловну возможности видѣть своихъ знакомыхъ; сегодня я не вошелъ къ вамъ только потому, что не хотѣлъ встрѣтиться съ нею—вотъ и все.

— Ахъ, какъ мнѣ пріятно слышать это отъ васъ, Ѳедоръ Иванычъ, воскликнула Марья Дмитріевна: — впрочемъ, я всегда этого ожидала отъ вашихъ благородныхъ чувствъ. А что я волнуюсь—это не удивительно: я женщина и мать. А ваша супруга... Конечно, я не могу судить васъ съ нею—это я ей самой сказала; но она такая любезная дама, что кромѣ удовольствія ничего доставить не можетъ.

Лаврецкій усмѣхнулся и поигралъ шляпой.

— И вотъ что я хотѣла вамъ еще сказать, Ѳедоръ Иваныч*ъ*, продолжала Марья Дмитріевна, слегка подвигаясь

къ нему:—если-бъ вы видѣли, какъ она скромно себя держитъ, какъ почтительна!—Право, это даже трогательно. А если-бъ вы слышали, какъ она о васъ отзывается! Я, говоритъ, передъ нимъ кругомъ виновата; я, говоритъ, не умѣла цѣнить его, говоритъ; это, говоритъ, ангелъ, а не человѣкъ. Право, такъ и говоритъ: ангелъ. Раскаяніе у ней такое... Я, ей-Богу, и не видывала такого раскаянія!

— А что, Марья Дмитріевна, промолвилъ Лаврецкій:—позвольте полюбопытствовать: говорятъ, Варвара Павловна у васъ пѣла; во время своего раскаянія она пѣла,—или какъ?...

— Ахъ, какъ вамъ не стыдно такъ говорить! Она пѣла и играла для того только, чтобы сдѣлать мнѣ угодное, потому что я настоятельно ее просила объ этомъ, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело, такъ тяжело; думаю, чѣмъ бы ее развлечь,—да и слышала-то я, что талантъ у ней такой прекрасный!—Помилуйте, Ѳедоръ Иванычъ, она совсѣмъ уничтожена, спросите хоть Сергѣя Петровича; убитая женщина, tout-à-fait, что̀ вы это?

Лаврецкій только плечами пожалъ.

— А потомъ, что это у васъ за ангелочекъ эта Адочка, что за прелесть!—Какъ она мила, какая умненькая; по-французски какъ говоритъ; и по-русски понимаетъ—меня тетенькой назвала. И знаете ли, этакъ, чтобы дичиться, какъ всѣ почти дѣти въ ея годы дичатся,—совсѣмъ этого нѣтъ. На васъ такъ похожа, Ѳедоръ Иванычъ, что ужасъ. Глаза, брови... ну,—вы, какъ есть—вы. Я маленькихъ такихъ дѣтей не очень люблю, признаться; но въ вашу дочку просто влюбилась.

— Марья Дмитріевна, произнесъ вдругъ Лаврецкій:—позвольте васъ спросить, для чего вы это все мнѣ говорить изволите?

— Для чего?—Марья Дмитріевна опять понюхала одеколонъ и отпила воды.—А для того, Ѳедоръ Иванычъ, я это говорю, что... вѣдь я вамъ родственница, я принимаю въ васъ самое близкое участіе... я знаю, сердце у васъ добрѣйшее. Послушайте, mon cousin,—я все-таки женщина опытная и не буду говорить на вѣтеръ: простите, простите вашу жену.—*Глаза* Марьи Дмитріевны вдругъ напол-

нились слезами.—Подумайте: молодость, неопытность... ну, можетъ-быть, дурной примѣръ: не было такой матери, которая наставила бы ее на путь. Простите ее, Ѳедоръ Иванычъ, она довольно была наказана.

Слезы закапали по щекамъ Марьи Дмитріевны; она не утирала ихъ: она любила плакать. Лаврецкій сидѣлъ, какъ на угольяхъ. „Боже мой, думалъ онъ:—что же это за пытка, что за день мнѣ выдался сегодня!"

— Вы не отвѣчаете, заговорила снова Марья Дмитріевна:—какъ я должна васъ понять?—Неужели вы можете быть такъ жестоки? Нѣтъ, я этому вѣрить не хочу. Я чувствую, что мои слова васъ убѣдили. Ѳедоръ Иванычъ, Богъ васъ наградитъ за вашу доброту, а вы примите теперь изъ рукъ моихъ вашу жену...

Лаврецкій невольно поднялся со стула; Марья Дмитріевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. Блѣдная, полуживая, съ опущенными глазами, она, казалось, отреклась отъ всякой собственной мысли, отъ всякой воли—отдалась вся въ руки Марьи Дмитріевны.

Лаврецкій отступилъ шагъ назадъ.

— Вы были здѣсь! воскликнулъ онъ.

— Не вините ее, поспѣшно проговорила Марья Дмитріевна:—она ни за что не хотѣла оставаться, но я приказала ей остаться, я посадила ее за ширмы. Она увѣряла меня, что это еще больше васъ разсердитъ; я и слушать ее не стала; я лучше ея васъ знаю. Примите же изъ рукъ моихъ вашу жену; идите, Варя, не бойтесь, припадите къ вашему мужу (она дернула ее за руку)—и мое благословеніе...

— Постойте, Марья Дмитріевна, перебилъ ее Лаврецкій глухимъ, но потрясающимъ голосомъ.—Вы, вѣроятно, любите чувствительныя сцены (Лаврецкій не ошибался: Марья Дмитріевна еще съ института сохранила страсть къ нѣкоторой театральности); онѣ васъ забавляютъ; но другимъ отъ нихъ плохо приходится. Впрочемъ, я съ вами говорить не буду: въ *этой* сценѣ не вы главное дѣйствующее лицо. Что *вы* хотите отъ меня, сударыня? прибавилъ онъ, *обращаясь къ женѣ*. Не сдѣлалъ ли я для васъ, что могъ?

Не возражайте мнѣ, что не вы затѣяли это свиданіе; я вамъ не повѣрю, — и вы знаете, что я вамъ вѣрить не могу. Что же вы хотите? Вы умны,—вы ничего не дѣлаете безъ цѣли. Вы должны понять, что жить съ вами, какъ я жилъ прежде,—я не въ состояніи; не оттого, что я на васъ сержусь, а оттого, что я сталъ другимъ человѣкомъ. Я сказалъ вамъ это на второй же день вашего возвращенія, и вы сами, въ это мгновенье, въ душѣ со мной согласны. Но вы желаете возстановить себя въ общемъ мнѣніи; вамъ мало жить у меня въ домѣ, вы желаете жить со мной подъ одной кровлей—не правда ли?

— Я желаю, чтобы вы меня простили, проговорила Варвара Павловна, не поднимая глазъ.

— Она желаетъ, чтобы вы ее простили, повторила Марья Дмитріевна.

— И не для себя, для Ады, шепнула Варвара Павловна.

— Не для нея, для вашей Ады, повторила Марья Дмитріевна.

— Прекрасно. Вы этого хотите? произнесъ съ усиліемъ Лаврецкій.—Извольте, я и на это согласенъ.

Варвара Павловна бросила на него быстрый взоръ, а Марья Дмитріевна воскликнула: — Ну, слава Богу! — и опять потянула Варвару Павловну за руку.—Примите же теперь отъ меня...

— Постойте, говорю вамъ, перебилъ ее Лаврецкій.—Я соглашаюсь жить съ вами, Варвара Павловна, — продолжалъ онъ: — то-есть, я васъ привезу въ Лаврики и проживу съ вами, сколько силъ хватитъ, а потомъ уѣду — и буду наѣзжать. Вы видите, я васъ обманывать не хочу; но не требуйте больше ничего. Вы бы сами разсмѣялись, если бы я исполнилъ желаніе почтенной вашей родственницы и прижалъ бы васъ къ своему сердцу, сталъ бы увѣрять васъ, что... что прошедшаго не было, что срубленное дерево опять зацвѣтаетъ. Но я вижу: надо покориться. Вы это слово не такъ поймете... это все равно. Повторяю, я буду жить съ вами... или, нѣтъ, я этого обѣщать не могу... Я сойдусь съ вами, буду васъ снова считать моей женой...

— Дайте же ей, *по крайней* мѣрѣ, на томъ руку, промол-

вила Марья Дмитріевна, у которой давно высохли слезы.

— Я до сихъ поръ не обманывалъ Варвару Павловну, возразилъ Лаврецкій:— она мнѣ повѣритъ и такъ. Я ее отвезу въ Лаврики;—и помните, Варвара Павловна: уговоръ нашъ будетъ считаться нарушеннымъ, какъ только вы выѣдете оттуда. А теперь позвольте мнѣ удалиться.

Онъ поклонился обѣимъ дамамъ и торопливо вышелъ вонъ.

— Вы не берете ее съ собою, крикнула ему вслѣдъ Марья Дмитріевна...

— Оставьте его, шепнула ей Варвара Павловна и тотчасъ же обняла ее, начала ее благодарить, цѣловать у ней руки, называть ее своей спасительницей.

Марья Дмитріевна снисходительно принимала ея ласки; но въ душѣ она не была довольна ни Лаврецкимъ, ни Варварой Павловной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало; Варвара Павловна, по ея мнѣнію, должна была броситься къ ногамъ мужа.

— Какъ это вы меня не поняли? толковала она:—вѣдь я вамъ сказала: припадите.

— Этакъ лучше, милая тетушка; не безпокойтесь—все прекрасно, твердила Варвара Павловна.

— Ну, да вѣдь и онъ—холодный, какъ ледъ, замѣтила Марья Дмитріевна.—Положимъ, вы не плакали, да вѣдь я передъ нимъ разливалась. Въ Лаврикахъ запереть васъ хочетъ. Что жъ,—и ко мнѣ вамъ нельзя будетъ ѣздить? Всѣ мужчины безчувственны, сказала она въ заключеніе и значительно покачала головой.

— Зато женщины умѣютъ цѣнить доброту и великодушіе, промолвила Варвара Павловна и, тихонько опустившись на колѣни передъ Марьей Дмитріевной, обняла ея полный станъ руками и прижалась къ ней лицомъ. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитріевны опять закапали слезы.

А Лаврецкій отправился къ себѣ, заперся въ комнаткѣ своего камердинера, бросился на диванъ и пролежалъ такъ до утра.

XLIV.

На слѣдующій день было воскресенье. Колокольный звонъ къ ранней обѣднѣ не разбудилъ Лаврецкаго — онъ не смыкалъ глазъ во всю ночь—но напомнилъ ему другое воскресенье, когда онъ, по желанію Лизы, ходилъ въ церковь. Онъ поспѣшно всталъ; какой-то тайный голосъ говорилъ ему, что онъ и сегодня увидитъ ее тамъ же. Онъ безъ шума вышелъ изъ дома, велѣлъ сказать Варварѣ Павловнѣ, которая еще спала, что онъ вернется къ обѣду, и большими шагами направился туда, куда звалъ его однообразно-печальный звонъ. Онъ пришелъ рано: почти никого еще не было въ церкви; дьячокъ на клиросѣ читалъ часы; изрѣдка прерываемый кашлемъ, голосъ его мѣрно гудѣлъ, то упадая, то вздуваясь. Лаврецкій помѣстился недалеко отъ входа. Богомольцы приходили по одиночкѣ, останавливались, крестились, кланялись на всѣ стороны; шаги ихъ звенѣли въ пустотѣ и тишинѣ, явственно отзываясь подъ сводами. Дряхлая старушонка въ ветхомъ капотѣ съ капюшономъ стояла на колѣняхъ подлѣ Лаврецкаго и прилежно молилась: ея беззубое, желтое, сморщенное лицо выражало напряженное умиленіе; красные глаза неотвратимо глядѣли вверхъ, на образа иконостаса; костлявая рука безпрестанно выходила изъ капота и медленно и крѣпко клала большой, широкій крестъ. Мужикъ съ густой бородой и угрюмымъ лицомъ, взъерошенный и измятый, вошелъ въ церковь, разомъ сталъ на оба колѣна и тотчасъ же принялся поспѣшно креститься, закидывая назадъ и встряхивая голову послѣ каждаго поклона. Такое горькое горе сказывалось въ его лицѣ, во всѣхъ его движеніяхъ, что Лаврецкій рѣшился подойти къ нему и спросить его, что̀ съ нимъ. Мужикъ пугливо и сурово отшатнулся, посмотрѣлъ на него... „Сынъ померъ“, произнесъ онъ скороговоркой, — и снова принялся класть поклоны... „Что̀ для нихъ можетъ замѣнить утѣшенія церкви“,—подумалъ Лаврецкій,—и самъ попытался молиться; но сердце его отяжелѣло, ожесточилось, и мысли были далеко. Онъ *все ждалъ Лизы*,—но Лиза не приходила. Цер-

ковь стала наполняться народомъ; ея все не было. Обѣдня началась, дьяконъ уже прочиталъ евангеліе, зазвонили къ достойной; Лаврецкій подвинулся немного впередъ — и вдругъ увидѣлъ Лизу. Она пришла раньше его, но онъ ея не замѣтилъ; прижавшись въ промежуточекъ между стѣной и клиросомъ, она не оглядывалась, не шевелилась. Лаврецкій не свелъ съ нея глазъ до самаго конца обѣдни: онъ прощался съ нею. Народъ сталъ расходиться, а она все стояла; казалось, она ожидала ухода Лаврецкаго. Наконецъ, она перекрестилась въ послѣдній разъ и пошла, не оборачиваясь; съ ней была одна горничная. Лаврецкій вышелъ вслѣдъ за ней изъ церкви и догналъ ее на улицѣ; она шла очень скоро, наклонивъ голову и спустивъ вуаль на лицо.

— Здравствуйте, Лизавета Михайловна, сказалъ онъ громко, съ насильственной развязностью: — можно васъ проводить?

Она ничего не сказала: онъ отправился съ ней рядомъ.

— Довольны вы мной? спросилъ онъ ее, понизивъ голосъ.—Вы слышали, что вчера произошло?

— Да, да, проговорила она шопотомъ:—это хорошо.

И она пошла еще быстрѣй.

— Вы довольны?

Лиза только головой кивнула.

— Ѳедоръ Иванычъ, начала она спокойнымъ, но слабымъ голосомъ:—я хотѣла васъ просить: не ходите больше къ намъ, уѣзжайте поскорѣй; мы можемъ послѣ увидѣться,—когда-нибудь, черезъ годъ. А теперь, сдѣлайте это для меня; исполните мою просьбу, ради Бога.

— Я вамъ во всемъ готовъ повиноваться, Лизавета Михайловна:—но неужели мы такъ должны разстаться? неужели вы мнѣ не скажете ни одного слова?..

— Ѳедоръ Иванычъ, вотъ вы теперь идете возлѣ меня... А ужъ вы такъ далеко отъ меня. И не вы одни, а...

— Договаривайте, прошу васъ! воскликнулъ Лаврецкій:—что вы хотите сказать?

— Вы услышите, можетъ-быть... но что бы ни было, *забудьте... нѣтъ*, не забывайте меня, помните обо мнѣ.

— Мнѣ васъ забыть...

— Довольно, прощайте. Не идите за мной.

— Лиза, началъ-было Лаврецкій...

— Прощайте, прощайте! повторила она, еще ниже спустила вуаль и почти бѣгомъ пустилась впередъ.

Лаврецкій посмотрѣлъ ей вслѣдъ и, понуривъ голову, отправился назадъ по улицѣ. Онъ наткнулся на Лемма, который тоже шелъ, надвинувъ шляпу на носъ и глядя себѣ подъ ноги.

Они молча посмотрѣли другъ на друга.

— Ну, что скажете? проговорилъ, наконецъ, Лаврецкій.

— Что я скажу? угрюмо возразилъ Леммъ: — ничего я не скажу. Все умерло, и мы умерли (Alles ist todt und wir sind todt). Вѣдь вамъ направо идти?

— Направо.

— А мнѣ налѣво. Прощайте.

На слѣдующее утро Ѳедоръ Иванычъ съ женою отправился въ Лаврики. Она ѣхала впереди, въ каретѣ, съ Адой и съ Жюстиной; онъ сзади—въ тарантасѣ. Хорошенькая дѣвочка все время дороги не отходила отъ окна кареты; она удивлялась всему: мужикамъ, бабамъ, колодцамъ, дугамъ, колокольчикамъ и множеству грачей; Жюстина раздѣляла ея удивленіе; Варвара Павловна смѣялась ихъ замѣчаніямъ и восклицаніямъ... Она была въ духѣ; передъ отъѣздомъ изъ города О.... она имѣла объясненіе со своимъ мужемъ.

— Я понимаю ваше положеніе, сказала она ему: — и онъ, по выраженію ея умныхъ глазъ, могъ заключить, что она понимала его положеніе вполнѣ,—но вы отдадите мнѣ хоть ту справедливость, что со мной легко живется; я не стану вамъ навязываться, стѣснять васъ; я хотѣла обезпечить будущность Ады; больше мнѣ ничего не нужно.

— Да, вы достигли вашихъ цѣлей, промолвилъ Ѳедоръ Иванычъ.

— Я объ одномъ только мечтаю теперь: закрыться навсегда въ глуши; я буду вѣчно поминать ваши благодѣянія....

— Фи! *полноте*, перебилъ онъ ее.

— И сумѣю уважать вашу независимость и вашъ покой, докончила она свою приготовленную фразу.

Лаврецкій ей низко поклонился. Варвара Павловна поняла, что мужъ въ душѣ благодарилъ ее.

На второй день къ вечеру прибыли они въ Лаврики; недѣлю спустя, Лаврецкій отправился въ Москву, оставивъ женѣ тысячъ пять на прожитокъ—а на другой день послѣ отъѣзда Лаврецкаго явился Паншинъ, котораго Варвара Павловна просила не забывать ее въ уединеніи. Она его приняла какъ нельзя лучше, и до поздней ночи высокія комнаты дома и самый садъ оглашались звуками музыки, пѣнья и веселыхъ французскихъ рѣчей. Три дня прогостилъ Паншинъ у Варвары Павловны; прощаясь съ нею и крѣпко пожимая ея прекрасныя руки, онъ обѣщался очень скоро вернуться—и сдержалъ свое обѣщаніе.

XLV.

У Лизы была особая, небольшая комнатка во второмъ этажѣ дома ея матери, чистая, свѣтлая, съ бѣлой кроваткой, съ горшками цвѣтовъ по угламъ и передъ окнами, съ маленькимъ письменнымъ столикомъ, горкою книгъ и распятіемъ на стѣнѣ. Комнатка эта прозывалась дѣтской; Лиза родилась въ ней. Вернувшись изъ церкви, гдѣ ее видѣлъ Лаврецкій, она тщательнѣе обыкновеннаго привела все у себя въ порядокъ, отовсюду смела пыль, пересмотрѣла и перевязала ленточками всѣ свои тетради и письма пріятельницъ, заперла всѣ ящики, полила цвѣты и коснулась рукою каждаго цвѣтка. Все это она дѣлала не спѣша, безъ шума, съ какой-то умиленной и тихой заботливостью на лицѣ. Она остановилась, наконецъ, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя къ столу, надъ которымъ висѣло распятіе, опустилась на колѣни, положила голову на стиснутыя руки и осталась неподвижной.

Марѳа Тимоѳеевна вошла и застала ее въ этомъ положеніи. Лиза не замѣтила ея прихода. Старушка вышла на цыпочкахъ за дверь и нѣсколько разъ громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которыхъ *сіяли* свѣтлыя, непролившіяся слезы.

— А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку, промолвила Марѳа Тимоѳеевна и низко наклонилась къ горшку съ молодымъ розаномъ:—какъ славно пахнетъ!

Лиза задумчиво посмотрѣла на свою тетку.

— Какое вы это произнесли слово! прошептала она.

— Какое слово, какое? съ живостью подхватила старушка:—что̀ ты хочешь сказать?—Это ужасно, заговорила она, вдругъ сбросивъ чепецъ и присѣвши на Лизиной кроваткѣ:—это сверхъ силъ моихъ! четвертый день сегодня, какъ я словно въ котлѣ киплю; я не могу больше притворяться, что ничего не замѣчаю, — не могу видѣть, какъ ты блѣднѣешь, сохнешь, плачешь, не могу, не могу!

— Да что̀ съ вами, тетушка? промолвила Лиза:—я ничего...

— Ничего? воскликнула Марѳа Тимоѳеевна: — это ты другимъ говори, а не мнѣ! Ничего! а кто сейчасъ стоялъ на колѣняхъ? у кого рѣсницы еще мокры отъ слезъ? Ничего! Да ты посмотри на себя, что̀ ты сдѣлала со своимъ лицомъ, куда глаза свои дѣвала? — Ничего! развѣ я не все знаю?

— Это пройдетъ, тетушка; дайте срокъ.

— Пройдетъ, да когда? Господи Боже, мой Владыко! неужели ты такъ его полюбила? Да вѣдь онъ старикъ, Лизочка. Ну, я не спорю, онъ хорошій человѣкъ, не кусается; да вѣдь что жъ такое? всѣ мы хорошіе люди; земля не клиномъ сошлась, этого добра всегда будетъ много.

— Я вамъ говорю, все это пройдетъ, все это уже прошло.

— Слушай, Лизочка, что я тебѣ скажу, промолвила вдругъ Марѳа Тимоѳеевна, усаживая Лизу подлѣ себя на кровати и поправляя то ея волосы, то косынку.—Это тебѣ только такъ, сгоряча кажется, что горю твоему пособить нельзя. Эхъ, душа моя, на одну смерть лѣкарства нѣтъ! Ты только вотъ скажи себѣ: „не поддамся-молъ я, — ну его!“ и сама потомъ, какъ диву дашься,—какъ оно скоро, хорошо проходитъ. Ты только потерпи.

— Тетушка, возразила Лиза: — оно уже прошло, все прошло.

— Прошло: какое прошло! Вотъ, у тебя носикъ даже завострился, а ты говоришь: прошло. Хорошо: прошло!

— Да, прошло, тетушка, если вы только захотите мнѣ помочь, произнесла съ внезапнымъ одушевленіемъ Лиза и бросилась на шею Маѳѣ Тимоѳеевнѣ.—Милая тетушка, будьте мнѣ другомъ, помогите мнѣ; не сердитесь, поймите меня...

— Да что́ такое, что̀ такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста; я сейчасъ закричу, не гляди такъ на меня; говори скорѣе, что такое?

— Я... я хочу... Лиза спрятала свое лицо на груди Маѳы Тимоѳеевны...—Я хочу идти въ монастырь, проговорила она глухо.

Старушка такъ и подпрыгнула на кровати.

— Перекрестись, мать моя, Лизочка, опомнись: что̀ ты это, Богъ съ тобою, пролепетала она наконецъ: — лягъ, голубушка, усни немножко; это все у тебя отъ безсонницы, душа моя.

Лиза подняла голову, щеки ея пылали.

— Нѣтъ, тетушка, промолвила она:—не говорите такъ; я рѣшилась, я молилась, я просила совѣта у Бога; все кончено, кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастье ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грѣхи и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я все знаю. Все это отмолить, отмолить надо. Васъ мнѣ жаль, жаль мамаши, Леночки; но дѣлать нечего; чувствую я, что мнѣ не житье здѣсь; я уже со всѣмъ простилась, всему въ домѣ поклонилась въ послѣдній разъ; отзываетъ меня что-то; тошно мнѣ, хочется мнѣ запереться на-вѣкъ. Не удерживайте меня, не отговаривайте, помогите мнѣ, не то я одна уйду...

Маѳа Тимоѳеевна съ ужасомъ слушала свою племянницу.

„Она больна, бредитъ, думала она: — надо послать за докторомъ; да за какимъ? Гедеоновскій намедни хвалилъ какого-то; онъ все вретъ—а, можетъ-быть, на этотъ разъ и правду сказалъ“. Но когда она убѣдилась, что Лиза не больна и не бредитъ, когда на всѣ ея возраженья Лиза постоянно отвѣчала однимъ и тѣмъ же, Маѳа Тимоѳеевна испугалась и опечалилась не на шутку.—Да вѣдь ты не

знаешь, голубушка ты моя, начала она ее уговаривать:— какова жизнь-то въ монастыряхъ! Вѣдь тебя, мою родную, маслищемъ конопляным зеленымъ кормить станутъ, бѣльище на тебя надѣнутъ толстое-претолстое, по холоду ходить заставятъ; вѣдь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это все въ тебѣ Агашины слѣды; это она тебя съ толку сбила. Да вѣдь она начала съ того, что пожила, и въ свое удовольствіе пожила; поживи и ты. Дай мнѣ, по крайней мѣрѣ, умереть спокойно, а тамъ дѣлай, что хочешь. И кто жъ это видывалъ, чтобъ изъ-за этакой изъ-за козьей бороды, прости Господи, изъ-за мужчины— и въ монастырь идти? Ну, коли тебѣ такъ тошно, съѣзди, помолись угоднику, молебенъ отслужи, да не надѣвай ты чернаго шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя...

И Марѳа Тимоѳеевна горько заплакала.

Лиза утѣшала ее, отирала ея слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. Съ отчаянья Марѳа Тимоѳеевна попыталась пустить въ ходъ угрозу: все сказать матери... но и это не помогло. Только вслѣдствіе усиленныхъ просьбъ старушки, Лиза согласилась отложить исполненіе своего намѣренія на полгода; зато Марѳа Тимоѳеевна должна была дать ей слово, что сама поможетъ ей и выхлопочетъ согласіе Марьи Дмитріевны, если черезъ шесть мѣсяцевъ она не измѣнитъ своего рѣшенія.

Съ наступившими первыми холодами, Варвара Павловна, несмотря на свое обѣщаніе зарыться въ глуши, запасшись денежками, переселилась въ Петербургъ, гдѣ наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нея Паншинымъ, который еще раньше ея покинулъ О....скую губернію. Въ послѣднее время своего пребыванія въ О.... онъ совершенно лишился расположенія Марьи Дмитріевны; онъ вдругъ пересталъ ее посѣщать и почти не выѣзжалъ изъ Лавриковъ. Варвара Павловна его поработила, именно поработила: другимъ словомъ нельзя выразить ея неограниченную, безвозвратную, безотвѣтную власть надъ нимъ.

Лаврецкій прожилъ зиму въ Москвѣ, а весною слѣдую-

щаго года дошла до него вѣсть, что Лиза постриглась въ Б.....мъ монастырѣ, въ одномъ изъ отдаленнѣйшихъ краевъ Россіи.

ЭПИЛОГЪ.

Прошло восемь лѣтъ. Опять настала весна... Но скажемъ прежде нѣсколько словъ о судьбѣ Михалевича, Паншина, г-жи Лаврецкой, — и разстанемся съ ними. Михалевичъ, послѣ долгихъ странствованій, попалъ, наконецъ, на настоящее свое дѣло: онъ получилъ мѣсто старшаго надзирателя въ казенномъ заведеніи. Онъ очень доволенъ своей судьбой, и воспитанники его „обожаютъ“, хотя и передразниваютъ. Паншинъ сильно подвинулся въ чинахъ и мѣтитъ уже въ директоры; ходитъ нѣсколько согнувшись: должно-быть, владимірскій крестъ, пожалованный ему на шею, оттягиваетъ его впередъ. Чиновникъ въ немъ взялъ рѣшительный перевѣсъ надъ художникомъ; его все еще моложавое лицо пожелтѣло, волосы порѣдѣли, и онъ уже не поетъ, не рисуетъ, но втайнѣ занимается литературой: написалъ комедійку, въ родѣ „пословицъ“,—и такъ какъ теперь всѣ пишущіе непремѣнно „выводятъ“ кого-нибудь или что-нибудь, то и онъ вывелъ въ ней кокетку и читаетъ ее исподтишка двумъ-тремъ благоволящимъ къ нему дамамъ. Въ бракъ онъ, однако, не вступилъ, хотя много представлялось къ тому прекрасныхъ случаевъ: въ этомъ виновата Варвара Павловна. Что касается до нея, то она, попрежнему, постоянно живетъ въ Парижѣ: Ѳедоръ Иванычъ далъ ей на себя вексель и откупился отъ нея, отъ возможности вторичнаго неожиданнаго наѣзда. Она постарѣла и потолстѣла, но все еще мила и изящна. У каждаго человѣка есть свой идеалъ: Варвара Павловна нашла свой—въ драматическихъ произведеніяхъ г-на Дюма-сына. Она прилежно посѣщаетъ театръ, гдѣ выводятся на сцену чахоточныя и чувствительныя камеліи; быть г-жею Дошъ кажется ей верхомъ человѣческаго благополучія: она однажды объявила, что не желаетъ для своей дочери лучшей участи. Должно надѣяться, что судьба избавитъ mademoiselle Ada отъ подобнаго благо-

получія: изъ румянаго, пухлаго ребенка она превратилась въ слабогрудую, блѣдненькую дѣвочку; нервы ея уже разстроены. Число поклонниковъ Варвары Павловны уменьшилось, но они не перевелись; нѣкоторыхъ она, вѣроятно, сохранитъ до конца своей жизни. Самымъ рьянымъ изъ нихъ въ послѣднее время былъ нѣкто Закурдало-Скубырниковъ, изъ отставныхъ гвардейскихъ усоносовъ, человѣкъ лѣтъ тридцати восьми, необыкновенной крѣпости сложенія. Французскіе посѣтители салона г-жи Лаврецкой называютъ его „le gros taureau de l'Ukraïne"; Варвара Павловна никогда не приглашаетъ его на свои модные вечера, но онъ пользуется ея благорасположеніемъ вполнѣ.

И такъ... прошло восемь лѣтъ. Опять повѣяло съ неба сіяющимъ счастьемъ весны; опять улыбнулась она землѣ и людямъ; опять подъ ея лаской все зацвѣло, полюбило и запѣло. Городъ О.... мало измѣнился въ теченіе этихъ восьми лѣтъ; но домъ Марьи Дмитріевны какъ будто помолодѣлъ: его недавно-выкрашенныя стѣны бѣлѣли привѣтно, и стекла раскрытыхъ оконъ румянились и блестѣли на заходившемъ солнцѣ; изъ этихъ оконъ неслись на улицу радостные, легкіе звуки звонкихъ молодыхъ голосовъ, безпрерывнаго смѣха; весь домъ, казалось, кипѣлъ жизнью и переливался весельемъ черезъ край. Сама хозяйка дома давно сошла въ могилу: Марья Дмитріевна скончалась года два спустя послѣ постриженія Лизы; и Марѳа Тимоѳеевна не долго пережила свою племянницу; рядомъ покоятся онѣ на городскомъ кладбищѣ. Не стало и Настасьи Карповны; вѣрная старушка въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ еженедѣльно ходила молиться надъ прахомъ своей пріятельницы... Пришла пора, и ея косточки тоже улеглись въ сырой землѣ. Но домъ Марьи Дмитріевны не поступилъ въ чужія руки, не вышелъ изъ ея рода, гнѣздо не разорилось: Леночка, превратившаяся въ стройную, красивую дѣвушку, и ея женихъ—бѣлокурый гусарскій офицеръ; сынъ Марьи Дмитріевны, только что женившійся въ Петербургѣ и вмѣстѣ съ молодой женой пріѣхавшій на весну въ О....; сестра его жены, шестнадцатилѣтняя институтка съ алыми щеками и ясными глазками,

Шурочка, тоже выросшая и похорошѣвшая — вотъ какая молодежь оглашала смѣхомъ и говоромъ стѣны Калитинскаго дома. Все въ немъ измѣнилось, все стало подъ-ладъ новымъ обитателямъ. Безбородые дворовые ребята, зубоскалы и балагуры, замѣнили прежнихъ степенныхъ стариковъ; тамъ, гдѣ нѣкогда важно расхаживала зажирѣвшая Роска, двѣ легавыя собаки бѣшено возились и прыгали по диванамъ; на конюшнѣ завелись поджарые иноходцы, лихіе коренники, рьяныя пристяжныя съ плетеными гривами, донскіе верховые кони; часы завтрака, обѣда, ужина перепутались и смѣшались; пошли, по выраженію сосѣдей, „порядки небывалые“.

Въ тотъ вечеръ, о которомъ зашла у насъ рѣчь, обитатели Калитинскаго дома (старшему изъ нихъ, жениху Леночки, было всего двадцать-четыре года) занимались немногосложной, но судя по ихъ дружному хохотанью, весьма для нихъ забавной игрой: они бѣгали по комнатамъ и ловили другъ друга; собаки тоже бѣгали и лаяли, и висѣвшія въ клѣткахъ передъ окнами канарейки наперерывъ драли горло, усиливая всеобщій гамъ звонкой трескотней своего яростнаго щебетанья. Въ самый разгаръ этой оглушительной потѣхи къ воротамъ подъѣхалъ загрязненный тарантасъ, и человѣкъ лѣтъ сорока-пяти, въ дорожномъ платьѣ, вылѣзъ изъ него и остановился въ изумленіи. Онъ постоялъ, нѣкоторое время неподвижно, окинулъ домъ внимательнымъ взоромъ, вошелъ черезъ калитку на дворъ и медленно взобрался на крыльцо. Въ передней никто его не встрѣтилъ; но дверь залы быстро распахнулась;—изъ нея, вся раскраснѣвшаяся, выскочила Шурочка—и мгновенно, вслѣдъ за ней, съ звонкимъ крикомъ выбѣжала вся молодая ватага. Она внезапно остановилась и затихла, при видѣ незнакомаго; но свѣтлые глаза, устремленные на него, глядѣли такъ же ласково, свѣжія лица не перестали смѣяться.—Сынъ Марьи Дмитріевны подошелъ къ гостю и привѣтливо спросилъ его, что ему угодно?

— Я Лаврецкій, промолвилъ гость.

Дружный крикъ раздался ему въ отвѣтъ—и не потому,

чтобъ вся эта молодежь очень обрадовалась пріѣзду отдаленнаго, почти забытаго родственника, а просто потому, что она готова была шумѣть и радоваться при всякомъ удобномъ случаѣ. Лаврецкаго тотчасъ окружили: Леночка, какъ старинная знакомая, первая назвала себя, увѣрила его, что еще бы немножко — и она непремѣнно его бы узнала, и представила все остальное общество, называя каждаго, даже жениха своего, уменьшительными именами. Вся толпа двинулась черезъ столовую въ гостиную. Обои въ обѣихъ комнатахъ были другіе, но мебель уцѣлѣла; Лаврецкій узналъ фортепіано; даже пяльцы у окна стояли тѣ же, въ томъ же положеніи—и чуть ли не съ тѣмъ же неоконченнымъ шитьемъ, какъ восемь лѣтъ тому назадъ. Его усадили на покойное кресло; всѣ чинно усѣлись вокругъ него. Вопросы, восклицанія, разсказы посыпались наперерывъ.

— А давно мы васъ не видали, наивно замѣтила Леночка:—и Варвару Павловну тоже не видали.

— Еще бы! поспѣшно подхватилъ ея братъ. — Я тебя въ Петербургъ увезъ, а Ѳедоръ Иванычъ все жилъ въ деревнѣ.

— Да, вѣдь съ тѣхъ поръ и мамаша скончалась.

— И Марѳа Тимоѳеевна, промолвила Шурочка.

— И Настасья Карповна, возразила Леночка:—и мосьё Леммъ...

— Какъ? и Леммъ умеръ? спросилъ Лаврецкій.

— Да, отвѣчалъ молодой Калитинъ:—онъ уѣхалъ отсюда въ Одессу, говорятъ, кто-то его туда сманилъ; тамъ онъ и скончался.

— Вы не знаете,—музыки послѣ него не осталось?

— Не знаю, едва ли.

Всѣ замолкли и переглянулись. Облачко печали налетѣло на всѣ молодыя лица.

— А Матроска живъ, заговорила вдругъ Леночка.

— И Гедеоновскій живъ, прибавилъ ея братъ.

При имени Гедеоновскаго разомъ грянулъ дружный смѣхъ.

— Да, онъ живъ и лжетъ попрежнему, продолжалъ сынъ Марьи Дмитріевны: — и вообразите, вотъ эта егоза

(онъ указалъ на институтку, сестру своей жены) вчера ему перцу въ табакерку насыпала.

— Какъ онъ чихалъ! воскликнула Леночка — и снова зазвенѣлъ неудержимый смѣхъ.

— Мы о Лизѣ недавно имѣли вѣсти, промолвилъ молодой Калитинъ, — и опять кругомъ все притихло: — ей хорошо, здоровье ея теперь поправляется понемногу.

— Она все въ той же обители? спросилъ не безъ усилія Лаврецкій.

— Все въ той же.

— Она къ вамъ пишетъ?

— Нѣтъ, никогда; къ намъ черезъ людей вѣсти доходятъ.—Сдѣлалось внезапное, глубокое молчанье; вотъ, „тихій ангелъ пролетѣлъ", подумали всѣ.

— Не хотите ли вы въ садъ? обратился Калитинъ къ Лаврецкому: — онъ очень хорошъ теперь, хотя мы его и запустили немножко.

Лаврецкій вышелъ въ садъ, и первое, что бросилось ему въ глаза — была та самая скамейка, на которой онъ нѣкогда провелъ съ Лизой нѣсколько счастливыхъ, не повторившихся мгновеній; она почернѣла, искривилась; но онъ узналъ ее, и душу его охватило то чувство, которому нѣтъ равнаго и въ сладости, и въ горести,—чувство живой грусти объ исчезнувшей молодости, о счастьѣ, которымъ когда-то обладалъ. Вмѣстѣ съ молодежью прошелся онъ по аллеямъ: липы не много постарѣли и выросли въ послѣднія восемь лѣтъ, но тѣнь ихъ стала гуще; зато всѣ кусты поднялись, малинникъ вошелъ въ силу, орѣшникъ совсѣмъ заглохъ, и отовсюду пахло свѣжимъ дромомъ, лѣсомъ, травою, сиренью.

— Вотъ гдѣ хорошо бы играть въ четыре угла, вскрикнула вдругъ Леночка, войдя на небольшую зеленую поляну, окруженную липами:—насъ, кстати, пятеро.

— А Ѳедора Ивановича ты забыла? замѣтилъ ея братъ.— Или ты себя не считаешь?

Леночка слегка покраснѣла.

— Да развѣ Ѳедоръ Ивановичъ, въ его лѣта, можетъ... начала она.

— Пожалуйста, играйте, поспѣшно подхватилъ Лаврецкій:—не обращайте вниманія на меня. Мнѣ самому будетъ пріятнѣе, когда я буду знать, что я васъ не стѣсняю. А занимать вамъ меня нечего; у нашего брата, старика, есть занятіе, котораго вы еще не вѣдаете и котораго никакое развлеченіе замѣнить не можетъ: воспоминанія.

Молодые люди выслушали Лаврецкаго съ привѣтливой и чуть-чуть насмѣшливой почтительностью, — точно имъ учитель урокъ прочелъ,—и вдругъ посыпали отъ него всѣ прочь, вбѣжали на поляну; четверо стало около деревьевъ, одинъ на серединѣ—и началась потѣха.

А Лаврецкій вернулся въ домъ, вошелъ въ столовую, приблизился къ фортепіано и коснулся одной изъ клавишъ: раздался слабый, но чистый звукъ, и тайно задрожалъ у него въ сердцѣ: этой нотой начиналась та вдохновенная мелодія, которой, давно тому назадъ, въ ту же самую счастливую ночь, Леммъ, покойный Леммъ, привелъ его въ такой восторгъ. Потомъ Лаврецкій перешелъ въ гостиную и долго не выходилъ изъ нея: въ этой комнатѣ, гдѣ онъ такъ часто видалъ Лизу, живѣе возникалъ передъ нимъ ея образъ; ему казалось, что онъ чувствовалъ вокругъ себя слѣды ея присутствія; но грусть о ней была томительна и не легка: въ ней не было тишины, навѣваемой смертью. Лиза еще жила гдѣ-то, глухо, далеко; онъ думалъ о ней, какъ о живой, и не узнавалъ дѣвушки, имъ нѣкогда любимой, въ томъ смутномъ, блѣдномъ призракѣ, облаченномъ въ монашескую одежду, окруженномъ дымными волнами ладана. Лаврецкій самъ бы себя не узналъ, если бъ могъ такъ взглянуть на себя, какъ онъ мысленно взглянулъ на Лизу. Въ теченіе этихъ восьми лѣтъ совершился, наконецъ, переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца: онъ дѣйствительно пересталъ думать о собственномъ счастьѣ, о своекорыстныхъ цѣляхъ. Онъ утихъ, и—къ чему таить правду?—постарѣлъ не однимъ лицомъ и тѣломъ, постарѣлъ душою; сохранить до старости сердце молодымъ, какъ говорятъ иные, и трудно, и почти смѣшно; тотъ уже мо-

жетъ быть доволенъ, кто не утратилъ вѣры въ добро, постоянства воли, охоты къ дѣятельности. Лаврецкій имѣлъ право быть довольнымъ: онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ.

Лаврецкій вышелъ изъ дома въ садъ; сѣлъ на знакомой ему скамейкѣ—и на этомъ дорогомъ мѣстѣ, передъ лицомъ того дома, гдѣ онъ въ послѣдній разъ напрасно простиралъ свои руки къ завѣтному кубку, въ которомъ кипитъ и играетъ золотое вино наслажденья,—онъ, одинокій, бездомный странникъ, подъ долетавшіе до него веселые клики уже замѣнившаго его молодого поколѣнія,—оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердцѣ, но не тяжело и не прискорбно: сожалѣть ему было о чемъ, стыдиться — нечего. „Играйте, веселитесь, растите, молодыя силы“, думалъ онъ, и не было горечи въ его думахъ:— „жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить: вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть — и сколько изъ насъ не уцѣлѣло! — а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать,—и благословеніе нашего брата старика будетъ съ вами. А мнѣ, послѣ сегодняшняго дня, послѣ этихъ ощущеній, остается отдать вамъ послѣдній поклонъ—и хотя съ печалью, но безъ зависти, безъ всякихъ темныхъ чувствъ сказать, въ виду конца, въ виду ожидающаго Бога: „Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!“

Лаврецкій тихо всталъ и тихо удалился; его никто не замѣтилъ, никто не удерживалъ; веселые клики сильнѣе прежняго раздавались въ саду за зеленой, сплошной стѣной высокихъ липъ. Онъ сѣлъ въ тарантасъ и велѣлъ кучеру ѣхать домой и не гнать лошадей.

„И конецъ“, спроситъ, можетъ-быть, неудовлетворенный читатель. „А что же сталось потомъ съ Лаврецкимъ? Съ Лизой?“ Но что сказать о людяхъ, еще живыхъ, но уже сошедшихъ съ земного поприща, зачѣмъ возвращаться къ

нимъ? Говорятъ, Лаврецкій посѣтилъ тотъ отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза — увидѣлъ ее. Перебираясь съ клироса на клиросъ, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини— и не взглянула на него; только рѣсницы обращеннаго къ нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо—и пальцы сжатыхъ рукъ, перевитые чотками, еще крѣпче прижались другъ къ другу. Что̀ подумали, что̀ почувствовали оба? Кто узна̀етъ? Кто скажетъ? Есть такія мгновенія въ жизни, такія чувства... На нихъ можно только указать—и пройти мимо.

СОДЕРЖАНІЕ

ТРЕТЬЯГО ТОМА:

стр.

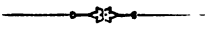
Дымъ. Романъ въ XXVIII главахъ 3

Дворянское гнѣздо. Романъ въ XLV главахъ, съ эпилогомъ. 187

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. С. ТУРГЕНЕВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.



Приложеніе къ журналу „Нива" на 1898 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1898.

Типографія А. Ф. Маркса, Ср. Подьяч., № 1.

НОВЬ.

РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

(НАПИСАНО ВЪ 1876 ГОДУ.)

Часть первая.

„Поднимать слѣдуетъ новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающимъ плугомъ".
Изъ записокъ *хозяина-агронома*.

I.

Весною 1868 года, часу въ первомъ дня, въ Петербургѣ, взбирался по черной лѣстницѣ пятиэтажнаго дома въ Офицерской улицѣ человѣкъ лѣтъ двадцати-семи, небрежно и бѣдно одѣтый. Тяжело шлёпая стоптанными калошами, медленно покачивая грузное, неуклюжее тѣло, человѣкъ этотъ достигнулъ наконецъ самаго верха лѣстницы, остановился передъ оборванной полураскрытой дверью — и, не позвонивъ въ колокольчикъ, а только шумно вздохнувъ, ввалился въ небольшую темную переднюю.

— Неждановъ дома? — крикнулъ онъ густымъ и громкимъ голосомъ.

— Его нѣтъ—я здѣсь, войдите,—раздался въ сосѣдней комнатѣ другой, тоже довольно грубоватый женскій голосъ.

— Машурина?—переспросилъ новоприбывшій.

— Она самая и есть.—А вы—Остродумовъ?

— Пименъ Остродумовъ,—отвѣчалъ тотъ, и старательно снявъ сперва калоши, а потомъ повѣсивъ на гвоздь

ветхую шинелишку, вошелъ въ комнату, откуда раздался женскій голосъ.

Низкая, неопрятная, со стѣнами выкрашенными мутно-зеленой краской, комната эта едва освѣщалась двумя запыленными окошками. Только и было въ ней мебели, что желѣзная кроватка въ углу, да столъ по серединѣ, да нѣсколько стульевъ, да этажерка, заваленная книгами. — Возлѣ стола сидѣла женщина лѣтъ тридцати, простоволосая, въ черномъ шерстяномъ платьѣ, и курила папироску. Увидѣвъ вошедшаго Остродумова, она молча подала ему свою широкую красную руку. Тотъ такъ же молча пожалъ ее—и, опустившись на стулъ, досталъ изъ бокового кармана полусломанную сигару. Машурина дала ему огня—онъ закурилъ, и оба, не говоря ни слова и даже не мѣняясь взглядами, принялись пускать струйки синеватаго дыма въ тусклый воздухъ комнаты, уже безъ того достаточно пропитанный имъ.

Въ обоихъ курильщикахъ было нѣчто общее, хотя чертами лица они не походили другъ на друга. Въ этихъ неряшливыхъ фигурахъ съ крупными губами, зубами, носами (Остродумовъ къ тому же еще былъ рябъ), сказывалось что-то честное, и стойкое, и трудолюбивое.

— Видѣли вы Нежданова?—спросилъ наконецъ Остродумовъ.

— Видѣла; онъ сейчасъ придетъ. Книги въ библіотеку понесъ.

Остродумовъ сплюнулъ въ сторону.

— Что это онъ все бѣгать сталъ? Никакъ его не поймаешь.

Машурина достала другую папироску.

— Скучаетъ,—промолвила она, тщательно ее разжигая.

— Скучаетъ!—повторилъ съ укоризной Остродумовъ.— Вотъ баловство! Подумаешь, занятій у насъ съ нимъ нѣту. Тутъ, дай Богъ всѣ дѣла обломать какъ слѣдуетъ — а онъ скучаетъ!

— Письмо изъ Москвы пришло?—спросила Машурина погодя немного.

— Пришло... третьяго дня.

— Вы читали?

Остродумовъ только головой качнулъ.

— Ну... и что же?

— Что?—скоро ѣхать надо будетъ.

Машурина вынула папироску изо рта.—Это отчего же? Тамъ, слышно, идетъ все хорошо.

— Идетъ, своимъ порядкомъ. Только человѣкъ одинъ подвернулся ненадежный. Такъ вотъ... смѣстить его надо; а не то и вовсе устранить. Да и другія есть дѣла.—Васъ тоже зовутъ.

— Въ письмѣ?

— Да; въ письмѣ.

Машурина встряхнула своими тяжелыми волосами. Небрежно скрученные сзади въ небольшую косу, они спереди падали ей на лобъ и на брови.

— Ну, что-жъ!—промолвила она:—коли выдетъ распоряженіе—разсуждать тутъ нечего!

— Извѣстно, нечего. Только безъ денегъ никакъ нельзя; а гдѣ ихъ взять, самыя эти деньги?

Машурина задумалась.

— Неждановъ долженъ достать, — проговорила она вполголоса, словно про себя.

— Я за этимъ самымъ и пришелъ,—замѣтилъ Остродумовъ.

— Письмо съ вами?—спросила вдругъ Машурина.

— Со мной. Хотите прочесть?

— Дайте... или нѣтъ, не нужно. Вмѣстѣ прочтемъ... послѣ.

— Вѣрно говорю, — пробурчалъ Остродумовъ: — не сомнѣвайтесь.

— Да я и не сомнѣваюсь.

И оба затихли опять, и только струйки дыма попрежнему бѣжали изъ ихъ безмолвныхъ устъ и поднимались, слабо змѣясь, надъ ихъ волосистыми головами.

Въ передней раздался стукъ калошъ.

— Вотъ онъ!—шепнула Машурина.

Дверь слегка пріотворилась, и въ отверстіе просунулась голова—но только не голова Нежданова.

То была круглая головка съ черными, жесткими волосами, съ широкимъ, морщинистымъ лбомъ, съ карими,

очень живыми глазками подъ густыми бровями, съ утинымъ, кверху вздернутымъ носомъ и маленькимъ, розовымъ, забавно-сложеннымъ ртомъ. Головка эта осмотрѣлась, закивала, засмѣялась—причемъ выказала множество крошечныхъ бѣлыхъ зубковъ—и вошла въ комнату вмѣстѣ со своимъ тщедушнымъ туловищемъ, короткими ручками и немного кривыми, немного хромыми ножками. И Машурина и Остродумовъ, какъ только увидали эту головку, оба выразили на лицахъ своихъ нѣчто въ родѣ снисходительнаго презрѣнія, точно каждый изъ нихъ внутренно произнесъ: „А! *этотъ!*“—и не проронили ни единаго слова, даже не пошевельнулись. Впрочемъ, оказанный ему пріемъ не только не смутилъ новопоявившагося гостя, но, кажется, доставилъ ему нѣкоторое удовлетвореніе.

— Что сіе означаетъ?—произнесъ онъ пискливымъ голоскомъ.—Дуэтъ? Отчего же не тріо? И гдѣ же главный теноръ?

— Вы это о Неждановѣ любопытствуете, г-нъ Паклинъ?—проговорилъ съ серьезнымъ видомъ Остродумовъ.

— Точно такъ, г-нъ Остродумовъ: о немъ.

— Онъ вѣроятно скоро прибудетъ, г-нъ Паклинъ.

— Это очень пріятно слышать, г-нъ Остродумовъ.

Хроменькій человѣкъ обратился къ Машуриной. Она сидѣла, насупившись—и продолжала, не спѣша, попыхивать изъ папироски.

— Какъ вы поживаете, любезнѣйшая.. любезнѣйшая... Вѣдь вотъ, какъ это досадно! Всегда я забываю, какъ васъ по имени и по отчеству!

Машурина пожала плечами.

— И совсѣмъ это не нужно знать! Вамъ моя фамилія извѣстна. Чего же больше! — И что за вопросъ: какъ вы поживаете?—Развѣ вы не видите, что я живу?

— Совершенно, совершенно справедливо!—воскликнулъ Паклинъ, раздувая ноздри и подергивая бровями: — не были бы вы живы — вашъ покорный слуга не имѣлъ бы удовольствія васъ здѣсь видѣть и бесѣдовать съ вами! — *Припишите* мой вопросъ застарѣло-дурной привычкѣ. *Вотъ и насчетъ* имени и отчества... Знаете: какъ-то не-

ловко говорить прямо: Машурина!—Мнѣ, правда, извѣстно, что вы и подъ письмами вашими иначе не подписываетесь, какъ: Бонапартъ! — то́ бишь: Машурина! — Но все-таки, въ разговорѣ...

— Да кто васъ проситъ со мной разговаривать?

Паклинъ засмѣялся нервически, какъ бы захлебываясь.

— Ну, полноте, милая, голубушка, дайте вашу руку, не сердитесь, вѣдь я знаю: вы предобрая — и я тоже добрый... Ну?..

Паклинъ протянулъ руку... Машурина посмотрѣла на него мрачно—однако подала ему свою.

— Если вамъ непремѣнно нужно знать мое имя,—промолвила она все съ тѣмъ же мрачнымъ видомъ—извольте: меня зовутъ Ѳеклой.

— А меня—Пименомъ,—прибавилъ басомъ Остродумовъ

— Ахъ! это очень... очень поучительно! Но въ такомъ случаѣ скажите мнѣ, о, Ѳекла! и вы, о, Пименъ! скажите мнѣ, отчего вы оба такъ недружелюбно, такъ постоянно-недружелюбно относитесь ко мнѣ, между тѣмъ какъ я...

— Машурина находитъ, — перебилъ Остродумовъ: — и не она одна это находитъ — что, такъ какъ вы на всѣ предметы смотрите съ ихъ смѣшной стороны, то и положиться на васъ нельзя.

Паклинъ круто повернулся на каблукахъ.

— Вотъ она, вотъ постоянная ошибка людей, которые обо мнѣ судятъ, почтеннѣйшій Пименъ! Во-первыхъ: я не всегда смѣюсь; а во-вторыхъ—это ничему не мѣшаетъ и положиться на меня можно, что и доказывается лестнымъ довѣріемъ, которымъ я не разъ пользовался въ вашихъ же рядахъ! Я честный человѣкъ, почтеннѣйшій Пименъ!

Остродумовъ промычалъ что-то сквозь зубы, а Паклинъ покачалъ головою и повторилъ, уже безъ всякой улыбки:

— Нѣтъ! я не всегда смѣюсь! Я вовсе не веселый человѣкъ! Вы посмотрите-ка на меня!

Остродумовъ посмотрѣлъ на него.—Дѣйствительно, когда Паклинъ не смѣялся, когда онъ молчалъ, лицо его принимало выраженіе почти унылое, почти запуганное: оно *становилось забавнымъ* и даже злымъ, какъ только онъ

раскрывалъ ротъ. Остродумовъ однако ничего не сказалъ.

Паклинъ снова обратился къ Машуриной.

— Ну, а ученіе какъ подвигается? Дѣлаете вы успѣхи въ вашемъ истинно-человѣколюбивомъ искусствѣ? Чай, штука трудная — помогать неопытному гражданину при его первомъ вступленіи на свѣтъ Божій?

— Ничего, труда нѣтъ, коли онъ не много больше васъ ростомъ,—отвѣтила Машурина, только-что сдавшая экзаменъ на повивальную бабушку,—и самодовольно ухмыльнулась. Года полтора тому назадъ, она, бросивъ свою родную, дворянскую, небогатую семью въ южной Россіи, прибыла въ Петербургъ съ шестью цѣлковыми въ карманѣ; поступила въ родовспомогательное заведеніе и безустаннымъ трудомъ добилась желаннаго аттестата. Она была дѣвица... и очень цѣломудренная дѣвица. Дѣло не удивительное! скажетъ иной скептикъ, вспомнивъ то, что было сказано объ ея наружности. Дѣло удивительное и рѣдкое! позволимъ себѣ сказать мы.

Услышавъ ея отповѣдь, Паклинъ снова разсмѣялся.

— Вы молодецъ, моя милая!—воскликнулъ онъ.—Славно меня отбрили! По-дѣломъ мнѣ! Зачѣмъ я такимъ карликомъ остался! Однако, гдѣ же это пропадаетъ нашъ хозяинъ?

Паклинъ не безъ умысла перемѣнилъ предметъ разговора. Онъ никакъ не могъ помириться съ крохотнымъ своимъ ростомъ, со всей своей невзрачной фигуркой. Это было ему тѣмъ чувствительнѣе, что онъ страстно любилъ женщинъ. Чего бы онъ не далъ, чтобъ нравиться имъ! Сознаніе своей мизерной наружности гораздо больнѣе грызло его, чѣмъ его низменное происхожденіе, чѣмъ незавидное положеніе его въ обществѣ. Отецъ Паклина былъ простой мѣщанинъ, дослужившійся всякими неправдами до чина титулярнаго совѣтника, ходокъ по тяжебнымъ дѣламъ, аферистъ. Онъ управлялъ имѣніями, домами, и зашибъ-таки копейку; но сильно пилъ подъ конецъ жизни и ничего не оставилъ послѣ своей смерти. Молодой Паклинъ (звали его: Сила... Сила Самсонычъ,—что онъ также считалъ насмѣшкой надъ собою)—воспитывался въ коммерческомъ училищѣ, гдѣ отлично выучился нѣмецкому языку.

Послѣ различныхъ, довольно тяжелыхъ передрягъ, онъ попалъ, наконецъ, въ частную контору на 1,500 р. с. годового содержанія. Этими деньгами онъ кормилъ себя, больную тетку, да горбатую сестру. Во время нашего разсказа ему только-что пошелъ 28-й годъ. Паклинъ знался со множествомъ студентовъ, молодыхъ людей, которымъ онъ нравился своей циничесой бойкостью, веселой желчью самоувѣренной рѣчи, односторонней, но несомнѣнной начитанностью, безъ педантизма. Лишь изрѣдка ему доставалось отъ нихъ. Разъ онъ какъ-то опоздалъ на политическую сходку... Войдя, онъ тотчасъ началъ торопливо извиняться...—„Трусоватъ былъ Паклинъ бѣдный“—запѣлъ кто-то въ углу—и всѣ расхохотались. Паклинъ наконецъ засмѣялся самъ, хоть и скребло у него на сердцѣ. „Правду сказалъ, мошенникъ!“ — подумалъ онъ про себя. Съ Неждановымъ онъ познакомился въ греческой кухмистерской, куда ходилъ обѣдать, и гдѣ выражалъ подчасъ весьма свободныя и рѣзкія мнѣнія. Онъ увѣрялъ, что главной причиной его демократическаго настроенія была скверная греческая кухня, которая раздражала его печень.

— Да... именно... гдѣ пропадаетъ нашъ хозяинъ? — повторилъ Паклинъ.—Я замѣчаю: онъ съ нѣкоторыхъ поръ словно не въ духѣ. Ужъ не влюбленъ ли онъ, Боже сохрани?

Машурина нахмурилась.

— Онъ пошелъ въ библіотеку за книгами,—а влюбляться ему некогда и не въ кого.

„А въ васъ?“ чуть-было не сорвалось съ губъ у Паклина.

— Я потому желаю его видѣть,—промолвилъ онъ громко: — что мнѣ нужно переговорить съ нимъ по одному важному дѣлу.

— По какому это дѣлу?—вмѣшался Остродумовъ.—По нашему?

— А можетъ быть и по вашему... т.-е., по нашему, общему.

Остродумовъ хмыкнулъ. Въ душѣ онъ усомнился, но тутъ же подумалъ: „А чортъ его знаетъ! Вишь онъ какой пролазъ!“

— Да вотъ онъ идетъ наконецъ,—проговорила вдругъ Машурина — *и въ ея маленькихъ, некрасивыхъ глазахъ,*

устремленныхъ на дверь передней, промелькнуло что-то теплое и нѣжное, какое-то свѣтлое, глубокое, внутреннее пятнышко.

Дверь отворилась, и на этотъ разъ, съ картузомъ на головѣ, со связкой книгъ подъ мышкой, вошелъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-трехъ, самъ Неждановъ.

II.

При видѣ гостей, находившихся въ его комнатѣ, онъ остановился на порогѣ двери, обвелъ ихъ всѣхъ глазами, сбросилъ картузъ, уронилъ книги прямо на полъ—и молча, добравшись до кровати, прикорнулъ на ея краѣ. Его красивое бѣлое лицо, казавшееся еще бѣлѣе отъ темно-краснаго цвѣта волнистыхъ рыжихъ волосъ, выражало неудовольствіе и досаду.

Машурина слегка отвернулась и закусила губу; Остродумовъ проворчалъ:

— Наконецъ-то!

Паклинъ первый приблизился къ Нежданову.

— Что съ тобой, Алексѣй Дмитріевичъ, россійскій Гамлетъ? Огорчилъ кто тебя? Или такъ—безъ причины—взгрустнулось?

— Перестань пожалуйста, россійскій Мефистофель,— отвѣчалъ раздраженно Неждановъ. — Мнѣ не до того, чтобы препираться съ тобою плоскими остротами.

Паклинъ засмѣялся.

— Ты неточно выражаешься: коли о́стро, такъ не плоско, коли плоско, такъ не о́стро.

— Ну, хорошо, хорошо... Ты, извѣстно, умница.

— А ты въ первозномъ состояньи,—произнесъ съ разстановкою Паклинъ.—Али въ самомъ дѣлѣ что случилось?

— Ничего не случилось особеннаго; — а случилось то, что нельзя носа на улицу высунуть, въ этомъ гадкомъ городѣ, въ Петербургѣ, чтобъ не наткнуться на какую-нибудь пошлость, глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху! Жить здѣсь больше невозможно.

— То-то ты въ газетахъ публиковалъ, что ищешь кондиціи и согласенъ на отъѣздъ,—проворчалъ опять Остродумовъ.

— И конечно; съ величайшимъ удовольствіемъ уѣду отсюда! Лишь бы нашелся дуракъ—мѣсто предложилъ!

— Сперва надо *здѣсь* свою обязанность исполнить,— значительно проговорила Машурина, не переставая глядѣть въ сторону.

— То-есть?—спросилъ Неждановъ, круто обернувшись къ ней. Машурина стиснула губы.

— Вамъ Остродумовъ скажетъ.

Неждановъ обернулся къ Остродумову. Но тотъ только крякнулъ и откашлялся:—„погоди-молъ“.

— Нѣтъ, не шутя, въ самомъ дѣлѣ,—вмѣшался Паклинъ:—ты узналъ что-нибудь, непріятность какую!

Неждановъ подскочилъ на постели, словно его что̀ подбросило.

— Какая тебѣ еще непріятность нужна?—закричалъ онъ внезапно зазвенѣвшимъ голосомъ.—Полъ-Россіи съ голода помираетъ. „Московскія Вѣдомости“ торжествуютъ, классицизмъ хотятъ ввести, студенческія кассы запрещаются, вездѣ шпіонство, притѣсненія, доносы, ложь и фальшь—шагу намъ ступить некуда... а ему все мало, онъ ждетъ еще новой непріятности, онъ думаетъ, что я шучу... Басанова арестовали,—прибавилъ онъ, нѣсколько понизивъ тонъ:—мнѣ въ библіотекѣ сказывали.

Остродумовъ и Машурина оба разомъ приподняли головы.

— Любезный другъ, Алексѣй Дмитріевичъ,—началъ Паклинъ:—ты взволнованъ—дѣло понятное... Да развѣ ты забылъ, въ какое время и въ какой странѣ мы живемъ?—Вѣдь у насъ утопающій самъ долженъ сочинить ту соломинку, за которую ему приходится ухватиться!—Гдѣ ужъ тутъ миндальничать?! Надо, братъ, чорту въ глаза умѣть смотрѣть, а не раздражаться по-ребячьи...

— Ахъ, пожалуйста, пожалуйста!—перебилъ тоскливо Неждановъ, и даже сморщился, словно отъ боли.—Ты, извѣстное дѣло, энергическій мужчина,—ты ничего и никого не боишься...

— Я-то никого не боюсь?!—началъ-было Паклинъ...

— Кто только могъ выдать Басанова?—продолжалъ Неждановъ:—не понимаю!

— А извѣстное дѣло — пріятель. — Они на это молодцы,—пріятели-то. Съ ними держи ухо востро! Былъ у меня, напримѣръ, пріятель—и, казалось, хорошій человѣкъ: такъ обо мнѣ заботился, о моей репутаціи! Бывало, смотришь: идетъ ко мнѣ...—„Представьте“, кричитъ: „какую объ васъ глупую клевету распустили: увѣряютъ, что вы вашего родного дядюшку отравили, что васъ ввели въ одинъ домъ, а вы сейчасъ къ хозяйкѣ сѣли спиной—и такъ весь вечеръ и просидѣли! И ужъ плакала она, плакала отъ обиды.—Вѣдь этакая чепуха! этакая нелѣпица! Какіе дураки могутъ этому повѣрить!“—И что же? Годъ спустя, разссорился я съ этимъ самымъ пріятелемъ... И пишетъ онъ мнѣ въ своемъ прощальномъ письмѣ: „Вы, который уморили своего дядю!—Вы, который не устыдились оскорбить почтенную даму, сѣвши къ ней спиной!..“ и т. д., и т. д.—Вотъ каковы пріятели!

Остродумовъ переглянулся съ Машуриной.

— Алексѣй Дмитріевичъ!—брякнулъ онъ своимъ тяжелымъ басомъ,—онъ явно желалъ прекратить возникавшее безполезное словоизверженіе:—отъ Василія Николаевича письмо изъ Москвы пришло.

Неждановъ слегка дрогнулъ и потупился.

— Что онъ пишетъ?—спросилъ онъ наконецъ.

— Да вотъ... намъ вотъ съ ней... — Остродумовъ указалъ бровями на Машурину:—ѣхать надо.

— Какъ? и ее зовутъ?

— Зовутъ и ее.

— Зачѣмъ же дѣло стало!

— Да извѣстно зачѣмъ... за деньгами.

Неждановъ поднялся съ кровати и подошелъ къ окну.

— Много нужно?

— Пятьдесятъ рублей... Меньше нельзя.

Неждановъ помолчалъ.

— У меня теперь ихъ нѣтъ, — прошепталъ онъ наконецъ, постукивая пальцами по стеклу: — но... я могу достать. Я достану. Письмо у тебя?

— Письмо-то? Оно... то-есть... конечно...

— Да что вы все отъ меня хоронитесь?—воскликнулъ

Паклинъ. — Неужто я не заслужилъ вашего довѣрія? — Если бы я даже не вполнѣ сочувствовалъ... тому, что вы предпринимаете,—неужто же вы полагаете, что я въ состояніи измѣнить или разболтать?

— Безъ умысла... пожалуй!—пробасилъ Остродумовъ.

— Ни съ умысломъ, ни безъ умысла!—Вотъ, г-жа Машурина глядитъ на меня и улыбается... а я скажу...

— Я нисколько не улыбаюсь,—окрысилась Машурина.

— А я скажу, — продолжалъ Паклинъ: — что у васъ, господа, чутья нѣтъ; что вы не умѣете различить, кто ваши настоящіе друзья! Человѣкъ смѣется, вы и думаете: онъ несерьёзный...

— А то небось нѣтъ?—вторично окрысилась Машурина.

— Вы, вотъ, напримѣръ,—подхватилъ съ новой силой Паклинъ, на этотъ разъ даже не возражая Машуриной:— вы нуждаетесь въ деньгахъ... а у Нежданова ихъ теперь нѣтъ... Такъ я могу дать.

Неждановъ быстро отвернулся отъ окна.

— Нѣтъ... нѣтъ... это къ чему же? Я достану... Я возьму часть пенсіи впередъ... Помнится, *они* остались мнѣ должны. А вотъ что, Остродумовъ: покажи-ка письмо.

Остродумовъ остался сперва нѣкоторое время неподвижнымъ; потомъ осмотрѣлся кругомъ; потомъ всталъ, нагнулся всѣмъ тѣломъ, и, засучивъ панталоны, вытащилъ изъ-за голенища сапога тщательно сложенный клочокъ синей бумаги; вытащивъ этотъ клочокъ, неизвѣстно зачѣмъ подулъ на него и подалъ Нежданову.

Тотъ взялъ бумажку, развернулъ ее, прочелъ внимательно и передалъ Машуриной... Та сперва встала со стула, потомъ тоже прочла и возвратила бумажку Нежданову, хотя Паклинъ протягивалъ за нею руку. Неждановъ пожалъ плечомъ и передалъ таинственное письмо Паклину. Паклинъ въ свою очередь пробѣжалъ глазами бумажку и, многозначительно сжавъ губы, торжественно и тихо положилъ ее на столъ. Тогда Остродумовъ взялъ ее, зажегъ большую спичку, распространившую сильный запахъ сѣры, и сперва высоко поднявъ бумажку надъ головою, какъ бы показывая ее всѣмъ присутствующимъ,

сжегъ ее до тла на спичкѣ, не щадя своихъ пальцевъ, и бросилъ пепелъ въ печку. Никто не произнесъ слова, никто даже не пошевелился въ теченіе этой операціи. Глаза у всѣхъ были опущены. Остродумовъ имѣлъ видъ сосредоточенный и дѣльный, лицо Нежданова казалось злымъ, въ Паклинѣ проявилось напряженіе; Машурина— священнодѣйствовала.

Такъ прошло минуты двѣ... Потомъ всѣмъ стало немного неловко. Паклинъ первый почувствовалъ необходимость нарушить безмолвіе.

— Такъ что же? — началъ онъ. — Принимается моя жертва на алтарь отечества или нѣтъ? Позволяется мнѣ поднести, если не всѣ пятьдесятъ, то хоть двадцать пять или тридцать рублей на общее дѣло?

Неждановъ вдругъ вспыхнулъ весь. Казалось, въ немъ накипѣла досада... Торжественное сжиганіе письма ея не уменьшило,—она ждала только предлога, чтобы вырваться наружу.

— Я уже сказалъ тебѣ, что это не нужно, не нужно... не нужно! Я этого не допущу и не приму. Я достану деньги, я сейчасъ же ихъ достану. Я не нуждаюсь ни въ чьей помощи!

— Ну, братъ,—промолвилъ Паклинъ:—я вижу: ты хоть и революціонеръ, а не демократъ!

— Скажи прямо, что я аристократъ!

— Да ты и точно аристократъ... до нѣкоторой степени.

Неждановъ принужденно засмѣялся.

— То-есть, ты хочешь намекнуть на то, что я незаконный сынъ. Напрасно трудишься, любезный... Я и безъ тебя этого не забываю.

Паклинъ всплеснулъ руками.

— Алёша, помилуй, что съ тобою! Какъ можно такъ понимать мои слова! Я не узнаю тебя сегодня. — Неждановъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе головой и плечами.— Арестъ Басанова тебя разстроилъ, но вѣдь онъ самъ такъ неосторожно велъ себя...

— Онъ не скрывалъ своихъ убѣжденій,—сумрачно вмѣшалась Машурина:—не намъ его осуждать!

— Да; только ему слѣдовало бы тоже подумать о другихъ, которыхъ онъ теперь скомпрометировать можетъ.

— Почему вы такъ о немъ полагаете?.. — загудѣлъ въ свою очередь Остродумовъ:—Басановъ человѣкъ съ характеромъ твердымъ; онъ никого не выдастъ. А что до осторожности... знаете что? Не всякому дано быть осторожнымъ, г-нъ Паклинъ!

Паклинъ обидѣлся и хотѣлъ-было возразить, но Неждановъ остановилъ его.

— Господа! — воскликнулъ онъ: — сдѣлайте одолженіе, бросимте на время политику!

Наступило молчаніе.

— Я сегодня встрѣтилъ Скоропихина,—заговорилъ наконецъ Паклинъ:—нашего всероссійскаго критика и эстетика, и энтузіаста. Что за несносное созданіе! Вѣчно закипаетъ и шипитъ, ни дать ни взять бутылка дрянныхъ кислыхъ щей... Половой на бѣгу заткнулъ ее пальцемъ вмѣсто пробки, въ горлышкѣ застрялъ пухлый изюмъ—она все брызжетъ и свиститъ—а какъ вылетитъ изъ нея вся пѣна—на днѣ остается всего нѣсколько капель прескверной жидкости, которая не только не утоляетъ ничьей жажды, но причиняетъ одну лишь рѣзь... Превредный для молодыхъ людей индивидуй!

Сравненіе, употребленное Паклинымъ, хотя вѣрное и мѣткое, не вызвало улыбки ни на чьемъ лицѣ. Одинъ Остродумовъ замѣтилъ, что о молодыхъ людяхъ, которые способны интересоваться эстетикой, жалѣть нечего, даже если Скоропихинъ и собьетъ ихъ съ толку.

— Но помилуйте, постойте, — воскликнулъ съ жаромъ Паклинъ; онъ тѣмъ болѣе горячился, чѣмъ менѣе встрѣчалъ себѣ сочувствія:—тутъ вопросъ, положимъ, не политическій, но все-таки важный. Послушать Скоропихина, всякое старое художественное произведеніе ужъ по тому самому не годится никуда, что оно старо... Да въ такомъ случаѣ, художество, искусство вообще—не что иное какъ мода — и говорить серьезно о немъ не стоитъ! Если въ немъ нѣтъ ничего незыблемаго, вѣчнаго — такъ чортъ съ нимъ! Въ наукѣ, въ математикѣ, напримѣръ: не считаете

же вы Эйлера, Лапласа, Гаусса за отжившихъ пошляковъ? Вы готовы признать ихъ авторитетъ, а Рафаэль или Моцартъ — дураки? И ваша гордость возмущается противъ ихъ авторитета? Законы искусства труднѣе уловить, чѣмъ законы науки... согласенъ; но они существуютъ — и кто ихъ не видитъ, тотъ слѣпецъ; добровольный или недобровольный—все равно!

Паклинъ умолкъ... и никто ничего не промолвилъ, точно всѣ въ ротъ воды набрали—точно всѣмъ было немножко совѣстно за него. Одинъ Остродумовъ проворчалъ:

— И все-таки я тѣхъ молодыхъ людей, которыхъ сбиваетъ Скоропихинъ,—нисколько не жалѣю.

„А ну васъ съ Богомъ!“ подумалъ Паклинъ. „Уйду!“

Онъ пришелъ-было къ Нежданову съ тѣмъ, чтобы сообщить ему свои соображенія насчетъ доставки „Полярной Звѣзды“ изъ-за границы („Колоколъ“ уже не существовалъ) — но разговоръ принялъ такой оборотъ, что лучше было и не поднимать этого вопроса. Паклинъ уже взялся за шапку, какъ вдругъ, безъ всякаго предварительнаго шума и стука, въ передней раздался удивительно пріятный, мужественный и сочный баритонъ, отъ самаго звука котораго вѣяло чѣмъ-то необыкновенно-благороднымъ, благовоспитаннымъ и даже благоуханнымъ.

— Господинъ Неждановъ дома?

Всѣ переглянулись въ изумленіи.

— Дома господинъ Неждановъ?—повторилъ баритонъ.

— Дома,—отвѣчалъ наконецъ Неждановъ.

Дверь отворилась скромно и плавно, и медленно снимая вылощенную шляпу съ благообразной, коротко остриженной головы, въ комнату вошелъ мужчина лѣтъ подъ-сорокъ, высокаго росту, стройный и величавый. Одѣтый въ прекраснѣйшее драповое пальто съ превосходнѣйшимъ бобровымъ воротникомъ, хотя апрѣль мѣсяцъ уже близился къ концу — онъ поразилъ всѣхъ, Нежданова, Паклина, даже Машурину... даже Остродумова! — изящной самоувѣренностью осанки и ласковымъ спокойствіемъ привѣта. Всѣ невольно поднялись при его появленіи.

III.

Изящный мужчина подошелъ къ Нежданову и, благосклонно осклабясь, проговорилъ: „Я уже имѣлъ удовольствіе встрѣтиться и даже бесѣдовать съ вами, г-нъ Неждановъ, третьяго дня, если изволите припомнить—въ театрѣ. (Посѣтитель остановился, какъ бы выжидая; Неждановъ слегка кивнулъ головою и покраснѣлъ.) — Да!.. а сегодня я явился къ вамъ вслѣдствіе объявленія, помѣщеннаго вами въ газетахъ. Я бы желалъ переговорить съ вами, если только не стѣсню гг. присутствующихъ... (Посѣтитель поклонился Машуриной и повелъ рукой, облеченной въ сѣроватую шведскую перчатку, въ направленіи Паклина и Остродумова)—и не помѣшаю имъ...“

— Нѣтъ... отчего же... — отвѣчалъ не безъ нѣкотораго труда Неждановъ.—Эти господа позволятъ... Не угодно ли вамъ присѣсть?

Посѣтитель пріятно перегнулъ станъ, и, любезно взявшись за спинку стула, приблизилъ его къ себѣ, но не сѣлъ—такъ какъ всѣ въ комнатѣ стояли,—а только повелъ кругомъ своими свѣтлыми, хотя и полузакрытыми глазами.

— Прощайте, Алексѣй Дмитричъ,—проговорила вдругъ Машурина:—я зайду послѣ.

— И я,—прибавилъ Остродумовъ.—Я тоже... послѣ.

Минуя посѣтителя, и какъ бы въ пику ему, Машурина взяла руку Нежданова, сильно тряхнула ее и пошла вонъ, никому не поклонившись. Остродумовъ отправился вслѣдъ за нею, безъ нужды стуча сапогами и даже фыркнувъ раза два: „вотъ-молъ тебѣ, бобровый воротникъ!“ Посѣтитель проводилъ ихъ обоихъ учтивымъ, слегка любопытнымъ взоромъ. Онъ устремилъ его потомъ на Паклина, какъ бы ожидая, что и тотъ послѣдуетъ примѣру двухъ удалившихся гостей; но Паклинъ, на лицѣ котораго, съ самаго появленія незнакомца, засвѣтилась особенная сдержанная улыбка, отошелъ въ сторону и пріютился въ уголку. Тогда посѣтитель опустился на стулъ. Неждановъ сѣлъ тоже.

— Моя фамилія — Сипягинъ, можетъ-быть, слыхали,— съ *горделивой скромностью* началъ посѣтитель.

Но прежде слѣдуетъ разсказать, какимъ образомъ Неждановъ встрѣтился съ нимъ въ театрѣ.

По случаю пріѣзда Садовскаго изъ Москвы, давали пьесу Островскаго: „Не въ свои сани не садись“. Роль Русакова была, какъ извѣстно, одной изъ любимыхъ ролей знаменитаго актера. Передъ обѣдомъ Неждановъ зашелъ въ кассу, гдѣ засталъ довольно много народу. Онъ собирался взять билетъ въ партеръ; — но въ ту минуту какъ онъ подходилъ къ отверстію кассы, стоявшій за нимъ офицеръ закричалъ кассиру, протягивая черезъ голову Нежданова три рублевыхъ ассигнаціи: „Имъ (т.-е. Нежданову) вѣроятно придется получать сдачу — а мнѣ не надо;—такъ вы дайте мнѣ, пожалуйста, поскорѣй билетъ въ первомъ ряду... мнѣ къ спѣху!“—„Извините, г-нъ офицеръ,—промолвилъ рѣзкимъ голосомъ Неждановъ:—я самъ желаю взять билетъ въ первомъ ряду“,—и тутъ же бросилъ въ окошко три рубля — весь свой наличный капиталъ. Кассиръ выдалъ ему билетъ — и вечеромъ Неждановъ очутился въ аристократическомъ отдѣленіи Александринскаго театра.

Онъ былъ плохо одѣтъ, безъ перчатокъ, въ нечищенныхъ сапогахъ — чувствовалъ себя смущеннымъ и досадовалъ на себя за самое это чувство. Возлѣ него, съ правой стороны, сидѣлъ усѣянный звѣздами генералъ; — съ лѣвой—тотъ самый изящный мужчина, тайный совѣтникъ Сипягинъ, появленіе котораго, два дня спустя, такъ взволновало Машурину и Остродумова. Генералъ изрѣдка взглядывалъ на Нежданова, какъ на нѣчто неприличное, неожиданное и даже оскорбительное; Сипягинъ, напротивъ, бросалъ на него хотя косвенные, но не враждебные взоры.—Всѣ лица, окружавшія Нежданова, казались, во-первыхъ, болѣе особами, нежели лицами; во-вторыхъ, они всѣ очень хорошо знали другъ друга и мѣнялись короткими разговорами, словами или даже простыми восклицаніями и привѣтами — иные опять-таки черезъ голову Нежданова; а онъ сидѣлъ неподвижно и неловко въ своемъ *широкомъ*, покойномъ креслѣ—точно парія какой. Горько *и стыдно*, и скверно было у него на душѣ, мало насла-

ждался онъ комедіей Островскаго и игрою Садовскаго. И вдругъ—о, чудо!—во время одного антракта, сосѣдъ его съ лѣвой стороны—не звѣздоносный генералъ, а другой, безъ всякаго знака отличія на груди,—заговорилъ съ нимъ учтиво и мягко, съ какой-то заискивавшей снисходительностью. Онъ заговорилъ о піесѣ Островскаго, желая узнать отъ Нежданова, какъ отъ „одного изъ представителей молодого поколѣнія“,—какое было его мнѣніе о ней? Изумленный, чуть не испуганный, Нежановъ отвѣчалъ сперва отрывисто и односложно... даже сердце у него застучало; но потомъ ему стало досадно на себя: съ чего это онъ волнуется? Не такой же ли онъ человѣкъ, какъ всѣ? И онъ пустился излагать свое мнѣніе, не стѣснялсь, безъ утайки, подъ-конецъ даже такъ громко и съ такимъ увлеченіемъ, что явно обезпокоивалъ сосѣда-звѣздоносца. Нежановъ былъ горячимъ поклонникомъ Островскаго; — но при всемъ уваженіи къ таланту, выказанному авторомъ въ комедіи: „Не въ свои сани не садись“, не могъ одобрить въ ней явное желаніе унизить цивилизацію въ карикатурномъ лицѣ Вихорева. — Учтивый сосѣдъ слушалъ его съ большимъ вниманіемъ, съ участіемъ—и въ слѣдующій антрактъ заговорилъ съ нимъ опять, но уже не о комедіи Островскаго, а вообще о разныхъ житейскихъ, научныхъ и даже политическихъ предметахъ. Онъ, очевидно, интересовался своимъ молодымъ и краснорѣчивымъ собесѣдникомъ. Нежановъ, попрежнему, не только не стѣснялся, но даже нѣсколько наддавалъ, какъ говорится, пару. „Коли, молъ, любопытствуешь,—такъ на же вотъ!“ Въ сосѣдѣ-генералѣ онъ возбуждалъ уже не простое безпокойство, а негодованіе и подозрительность. По окончаніи піесы, Синягинъ весьма благосклонно распростился съ Нежановымъ — но не пожелалъ узнать его фамилію и самъ не назвалъ себя. Дожидаясь кареты на лѣстницѣ, онъ столкнулся съ хорошимъ своимъ пріятелемъ, флигель-адъютантомъ княземъ Г. — Я смотрѣлъ на тебя изъ ложи, — сказалъ ему князь, посмѣиваясь сквозь раздушенные усы: — знаешь ли ты, съ кѣмъ ты это бесѣдовалъ? — *Нѣтъ, не знаю*; а ты? — Не глупый, небось, ма-

лый, а? — Очень неглупый: кто онъ такой? — Тутъ князь наклонился ему на ухо и шепнулъ по-французски: — Мой братъ. Да; онъ мой братъ. Побочный сынъ моего отца... зовутъ его Неждановымъ. Я тебѣ когда-нибудь разскажу... Отецъ никакъ этого не ожидалъ, оттого онъ и Неждановымъ его прозвалъ. Однако устроилъ его судьбу... il lui a fait un sort... Мы выдаемъ ему пенсію. Малый съ головой... получилъ, опять-таки по милости отца, хорошее воспитаніе. Только совсѣмъ съ толку сбился, республиканецъ какой-то... Мы его не принимаемъ... Il est impossible! Однако прощай; мою карету кричатъ. — Князь удалился, а на слѣдующій день Сипягинъ прочелъ въ „Полицейскихъ Вѣдомостяхъ“ объявленіе, помѣщенное Неждановымъ—и поѣхалъ къ нему...

— Моя фамилія—Сипягинъ,—говорилъ онъ Нежданову, сидя передъ нимъ на соломенномъ стулѣ и озирая его своимъ внушительнымъ взглядомъ:—я узналъ изъ газетъ, что вы желаете ѣхать на кондицію, и я пришелъ къ вамъ съ слѣдующимъ предложеніемъ. Я женатъ; у меня одинъ сынъ—девяти лѣтъ; мальчикъ, скажу прямо, очень даровитый. Бо́льшую часть лѣта и осени мы проводимъ въ деревнѣ, въ С....ой губерніи, въ пяти верстахъ отъ губернскаго города. Такъ вотъ: не угодно ли вамъ будетъ ѣхать туда съ нами на время вакаціи, учить моего сына россійскому языку и исторіи — тѣмъ предметамъ, о которыхъ вы упоминаете въ вашемъ объявленіи? Смѣю думать, что вы останетесь довольны мною, моимъ семействомъ и самымъ мѣстоположеніемъ усадьбы. Прекрасный садъ, рѣка, воздухъ хорошій, помѣстительный домъ... Согласны вы? Въ такомъ случаѣ остается только узнать ваши условія, хотя я не полагаю,—прибавилъ Сипягинъ съ легкой ужимкой:—чтобы на этотъ счетъ могли возникнуть у насъ съ вами какія-либо затрудненія.

Во все время, пока Сипягинъ говорилъ, Нежда́новъ неотступно глядѣлъ на него, на его небольшую, нѣсколько назадъ закинутую головку, на его узкій и низкій, но умный лобъ, тонкій римскій носъ, пріятные глаза, правильные губы, съ которыхъ такъ и лилась умильная рѣчь, на

его длинные, на англійскій манеръ висячіе бакены—гладѣлъ и недоумѣвалъ. — „Что это такое? думалъ онъ. Зачѣмъ этотъ человѣкъ словно заискиваетъ во мнѣ? Этотъ аристократъ — и я?! — Какъ мы сошлись? И что его привело ко мнѣ?“

Онъ до того погрузился въ свои думы, что не разинулъ рта даже тогда, когда Сипягинъ, окончивъ свою рѣчь, умолкъ, ожидая отвѣта. Сипягинъ скользнулъ взглядомъ въ уголъ, гдѣ, пожирая его глазами не хуже Нежданова, пріютился Паклинъ.—Ужъ не присутствіе ли этого третьяго лица мѣшало Нежданову высказаться?—Сипягинъ возвелъ брови горѣ, какъ бы подчиняясь странности той обстановки, въ которую попалъ, по собственной, впрочемъ, волѣ,—и, вслѣдъ за бровями возвысивъ голосъ, повторилъ свой вопросъ.

Неждановъ встрепенулся.

— Конечно,—заговорилъ онъ нѣсколько утопленнымъ образомъ: — я... согласенъ... съ охотой... хотя я долженъ признаться... что не могу не чувствовать нѣкотораго удивленія... такъ какъ у меня нѣтъ никакой рекомендаціи... да и самыя мнѣнія, которыя я высказалъ третьяго дня въ театрѣ, должны были скорѣй отклонить васъ...

— Въ этомъ вы совершенно ошибаетесь, любезный Алексѣй... Алексѣй Дмитричъ! такъ, кажется? — промолвилъ, осклабясь, Сипягинъ. — Я, смѣю сказать, извѣстенъ какъ человѣкъ убѣжденій либеральныхъ, прогрессивныхъ; и напротивъ, ваши мнѣнія, за устраненіемъ всего того, что въ нихъ свойственно молодости, склонной—не взыщите!— къ нѣкоторому преувеличенію—эти ваши мнѣнія нисколько не противорѣчатъ моимъ—и даже нравятся мнѣ своимъ юношескимъ жаромъ!

Сипягинъ говорилъ безъ малѣйшей запинки: какъ медъ по маслу катилась его круглая, плавная рѣчь.

— Жена моя раздѣляетъ мой образъ мыслей,—продолжалъ онъ:—ея воззрѣнія, быть-можетъ, даже ближе подходятъ къ вашимъ, чѣмъ къ моимъ; понятное дѣло: она моложе! — Когда, на другой день послѣ нашего свиданія, я *прочелъ въ газетахъ* ваше имя, которое вы, замѣчу

кстати, противъ общаго обыкновенія опубликовали вмѣстѣ съ вашимъ адресомъ (а узналъ я ваше имя уже въ театрѣ), то... это... этотъ фактъ меня поразилъ. Я увидалъ въ немъ—въ этомъ сопоставленіи—нѣкій... извините суевѣрность выраженія... нѣкій, такъ сказать, перстъ рока!—Вы упомянули о рекомендаціи; но мнѣ никакой рекомендаціи не нужно.—Ваша наружность, ваша личность возбуждаютъ мою симпатію. Сего мнѣ довольно. Я привыкъ вѣрить своему глазу. Итакъ—я могу надѣяться? Вы согласны?

— Согласенъ... конечно...—отвѣчалъ Неждановъ:—и постараюсь оправдать ваше довѣріе.—Только объ одномъ позвольте мнѣ теперь же васъ предувѣдомить: быть учителемъ вашего сына я готовъ, но не гувернеромъ. Я на это неспособенъ—да и не хочу закабалиться, не хочу лишиться моей свободы.

Сипягинъ легонько повелъ по воздуху рукою, какъ бы отгоняя муху.

— Будьте спокойны, мой любезнѣйшій... Вы не изъ той муки, изъ которой пекутся гувернеры;—да мнѣ гувернера и не нужно. Я ищу учителя—и нашелъ его. Ну, а какъ же условія? Денежныя условія? презрѣнный металлъ.

Неждановъ затруднялся, что сказать...

— Послушайте, — промолвилъ Сипягинъ, нагнувшись впередъ всѣмъ корпусомъ и ласково тронувъ концами пальцевъ колѣно Нежданова:—между порядочными людьми подобные вопросы разрѣшаются двумя словами. Предлагаю вамъ сто рублей въ мѣсяцъ; путевыя издержки туда и назадъ, конечно, на мой счетъ.—Вы согласны?

Неждановъ опять покраснѣлъ.

— Это гораздо больше, чѣмъ я намѣренъ былъ запросить... потому что... я...

— Прекрасно, прекрасно... — перебилъ Сипягинъ. — Я смотрю на это дѣло, какъ на рѣшенное... а на васъ — какъ на домочадца.—Онъ приподнялся со стула и вдругъ весь повеселѣлъ и распустился, словно подарокъ получилъ. Во всѣхъ его движеніяхъ проявилась нѣкоторая *пріятная фамильярность* и даже шутливость.—Мы уѣзжаемъ

на-дняхъ,—заговорилъ онъ развязнымъ тономъ:—я люблю встрѣчать весну въ деревнѣ, хотя я, по роду своихъ занятій, прозаическій человѣкъ и прикованъ къ городу... А потому позвольте считать первый вашъ мѣсяцъ, начиная съ нынѣшняго же дня. Жена моя съ сыномъ теперь уже въ Москвѣ. Она отправилась впередъ. Мы ихъ найдемъ въ деревнѣ... на лонѣ природы. Мы съ вами поѣдемъ вмѣстѣ... холостяками... Хе, хе! — Синягинъ кокетливо и коротко посмѣялся въ носъ.—А теперь...

Онъ досталъ изъ кармана пальто серебряный съ чернью портфельчикъ и вынулъ оттуда карточку.

— Вотъ мой здѣшній адресъ.— Зайдите — хоть завтра. Такъ... часовъ въ двѣнадцать. Мы еще потолкуемъ. Я разовью вамъ кое-какія свои мысли насчетъ воспитанія... Ну—и день отъѣзда мы рѣшимъ. — Синягинъ взялъ руку Нежданова. — И знаете что? — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ и искоса поставивъ голову: — если вы нуждаетесь въ задаткѣ... Пожалуйста, не церемоньтесь! хоть мѣсяцъ впередъ.

Нежданов просто не зналъ, что̀ отвѣчать—и съ тѣмъ же недоумѣньемъ глядѣлъ на это свѣтлое, привѣтное—и въ то же время столь чуждое лицо, которое такъ близко на него надвинулось и такъ снисходительно улыбалось ему.

— Не нуждаетесь?—а? шепнулъ Синягинъ.

— Я, если позволите, вамъ это завтра скажу,— произнесъ наконецъ Нежданов.

— Отлично! Итакъ—до свиданья! До завтра!—Синягинъ выпустилъ руку Нежданова — и хотѣлъ-было удалиться...

— Позвольте васъ спросить, — промолвилъ вдругъ Нежданов:—вы вотъ сейчасъ сказали мнѣ, что уже въ театрѣ узнали, какъ меня зовутъ?—Отъ кого вы это узнали?

— Отъ кого?—Да отъ одного вашего хорошаго знакомаго—и, кажется, родственника, князя... князя Г.

— Флигель-адъютанта?

— Да; отъ него.

Нежданов покраснѣлъ—сильнѣе прежняго—и раскрылъ ротъ... но ничего не сказалъ. Синягинъ снова пожалъ ему руку—*только молча на этотъ разъ*—и, поклонившись сперва

ему, а потомъ Паклину, надѣлъ шляпу передъ самой дверью, и вышелъ вонъ, унося на лицѣ своемъ самодовольную улыбку; въ ней выражалось сознаніе глубокаго впечатлѣнія, которое не могъ не произвести его визитъ.

IV.

Не успѣлъ Сипягинъ перешагнуть порогъ двери, какъ Паклинъ соскочилъ со стула и, бросившись къ Нежданову, принялся его поздравлять.

— Вотъ какого ты осетра залучилъ! — твердилъ онъ, хихикая и топоча ногами.—Вѣдь это, ты знаешь ли, кто? Извѣстный Сипягинъ, камергеръ, въ нѣкоторомъ родѣ, общественный столбъ, будущій министръ!

— Мнѣ онъ совершенно неизвѣстенъ,—угрюмо промолвилъ Неждановъ.

Паклинъ отчаянно взмахнулъ руками.

— Въ томъ-то и наша бѣда, Алексѣй Дмитричъ, что мы никого не знаемъ! Хотимъ дѣйствовать, хотимъ цѣлый міръ кверху дномъ перевернуть, а живемъ въ сторонѣ отъ самаго этого міра, водимся только съ двумя-тремя пріятелями, толчемся на мѣстѣ въ узенькомъ кружкѣ...

— Извини, перебилъ Неждановъ: это — неправда. Мы только съ врагами нашими знаться не хотимъ, а съ людьми нашего пошиба, съ народомъ, мы вступаемъ въ постоянныя сношенія.

— Стой, стой, стой, стой! — въ свою очередь перебилъ Паклинъ.—Во-первыхъ, что касается враговъ, то позволь тебѣ припомнить стихъ Гёте:

Wer den Dichter will versteh'n
Muss im Dichter's Lande geh'n...

—а я говорю:

Wer die *Feinde* will versteh'n
Muss im *Feindes* Lande geh'n...

Чуждаться враговъ своихъ, не знать ихъ обычая и быта нелѣпо!—Не...лѣ...по!.. Да! да! Коли я хочу подстрѣлить волка въ лѣсу—я долженъ знать всѣ его лазы... Во-вторыхъ, ты вотъ сейчасъ сказалъ: сближаться съ народомъ... *Душа моя!*—Въ 1862 году, поляки уходили „по лесу“—

въ лѣсъ;—и мы уходимъ теперь въ тотъ же лѣсъ, сирѣчь въ народъ, который для насъ глухъ и тёменъ не хуже любого лѣса!

— Такъ что жъ, по-твоему, дѣлать?

— Индійцы бросаются подъ колесницу Джаггернаута,— продолжалъ Паклинъ мрачно: — она ихъ давитъ, и они умираютъ—въ блаженствѣ.—У насъ есть тоже свой Джаггернаутъ... Давитъ-то онъ насъ давитъ, но блаженства не доставляетъ.

— Такъ что жъ, по-твоему, дѣлать? — повторилъ чуть не съ крикомъ Неждановъ.—Повѣсти съ „направленіемъ“ писать, что ли?

Паклинъ разставилъ руки и наклонилъ головку къ лѣвому плечу.

— Повѣсти — во всякомъ случаѣ — писать ты бы могъ, такъ какъ въ тебѣ есть литературная жилка... Ну, не сердись, не буду! Я знаю, ты не любишь, чтобы на это намекали; но я съ тобою согласенъ: сочинять такія штучки съ „начинкой“, да еще съ новомодными оборотами:— „Ахъ! я васъ люблю! *подскочила* она...“ „Мнѣ все равно! *почесался* онъ“—дѣло куда не веселое!—Оттого-то я повторяю: сближайтесь со всѣми сословіями, начиная съ высшаго! Не все же полагаться на однихъ Остродумовыхъ! Честные они, хорошіе люди—зато глупы! глупы!! Ты посмотри на нашего пріятеля. Самыя подошвы его сапоговъ—и тѣ не такія, какія бываютъ у умныхъ людей! Вѣдь отчего онъ сейчасъ ушелъ отсюда?—Онъ не хотѣлъ остаться въ одной комнатѣ, дышать однимъ воздухомъ съ аристократомъ!

— Прошу тебя не отзываться такъ объ Остродумовѣ при мнѣ, — съ запальчивостью подхватилъ Неждановъ.— Сапоги онъ носитъ толстые, потому что они дешевле.

— Я не въ томъ смыслѣ,—началъ-было Паклинъ...

— Если онъ не хочетъ остаться въ одной комнатѣ съ аристократомъ, — продолжалъ, возвысивъ тонъ, Неждановъ:—то я его хвалю за это;—а главное: онъ собой пожертвовать сумѣетъ — и, если нужно, на смерть пойдетъ, чего мы съ *тобой никогда* не сдѣлаемъ!

Паклинъ скорчилъ жалкую рожицу и указалъ на хроменькія, тоненькія свои ножки:

— Гдѣ же мнѣ сражаться, другъ мой, Алексѣй Дмитричъ! — Помилуй! Но въ сторону все это... Повторяю: я душевно радъ твоему сближенію съ г-мъ Сипягинымъ—и даже предвижу большую пользу отъ этого сближенія—для нашего дѣла. Ты попадешь въ высшій кругъ! Увидишь этихъ львицъ, этихъ женщинъ съ бархатнымъ тѣломъ на стальныхъ пружинахъ, какъ сказано въ „Письмахъ объ Испаніи"; изучай ихъ, братъ, изучай! Если бъ ты былъ эпикурейцемъ, я бы даже боялся за тебя... право!—Но вѣдь ты не съ этой цѣлью ѣдешь на кондицію?

— Я ѣду на кондицію,—подхватилъ Неждановъ:—чтобы зубовъ не положить на полку... „И чтобъ отъ васъ всѣхъ на время удалиться", прибавилъ онъ про себя.

— Ну, конечно! конечно! — Потому я и говорю тебѣ: изучай! Какой, однако, запахъ за собою этотъ баринъ оставилъ!—Паклинъ потянулъ воздухъ носомъ.—Вотъ оно, настоящее-то „амбрэ", о которомъ мечтала городничиха въ „Ревизорѣ"!

— Онъ обо мнѣ князя Г. разспрашивалъ,—глухо заговорилъ Неждановъ, снова уткнувшись въ окно:—ему, должно-быть, теперь вся моя исторія извѣстна.

— Не должно-быть, а — навѣрное! — Что жъ такое?— Пари держу, что ему именно отъ этого и пришла въ голову мысль взять тебя въ учители. Что тамъ ни толкуй, а вѣдь ты самъ аристократъ — по крови. Ну, и значитъ: свой человѣкъ! Однако, я у тебя засидѣлся; мнѣ пора въ мою контору къ эксплуататорамъ! До свиданія, братъ!

Паклинъ подошелъ-было къ двери, но остановился и вернулся.

— Послушай, Алёша, — сказалъ онъ вкрадчивымъ тономъ: — ты мнѣ вотъ сейчасъ отказалъ — у тебя теперь деньги будутъ, я знаю, но все-таки позволь мнѣ пожертвовать хотя малость на общее дѣло!—Ничѣмъ другимъ не могу, такъ хоть кармапомъ! Смотри: я кладу на столъ десятирублевую бумажку! Принимается?

Неждановъ ничего не отвѣчалъ и не шевельнулся.

— Молчаніе—знакъ согласія! Спасибо!—весело воскликнулъ Паклинъ и исчезъ.

Неждановъ остался одинъ... Онъ продолжалъ глядѣть черезъ стекло окна на сумрачный узкій дворъ, куда не западали лучи даже лѣтняго солнца—и сумрачно было и его лицо.

Неждановъ родился, какъ мы уже знаемъ, отъ князя Г., богача, генералъ адъютанта, и отъ гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки, умершей въ самый день родовъ. Первоначальное воспитаніе Неждановъ получилъ въ пансіонѣ одного швейцарца, дѣльнаго и строгаго педагога,—а потомъ поступилъ въ университетъ. Самъ онъ желалъ сдѣлаться юристомъ; но генералъ, отецъ его, ненавидѣвшій нигилистовъ, пустилъ его по „эстетикѣ", какъ съ горькой усмѣшкой выражался Неждановъ, т.-е. по историко-филологическому факультету. Отецъ Нежданова видѣлся съ нимъ всего три-четыре раза въ годъ, но интересовался его судьбою — и, умирая, завѣщалъ ему — „въ память Настеньки" (его матери)—капиталъ въ 6.000 р. с., проценты съ котораго, подъ именемъ „пенсіи", выдавались ему его братьями, князьями Г. Паклинъ не даромъ обзывалъ его аристократомъ; все въ немъ изобличало породу: маленькія уши, руки, ноги, нѣсколько мелкія, но тонкія черты лица, нѣжная кожа, пушистые волосы, самый голосъ, слегка картавый, но пріятный. Онъ былъ ужасно нервенъ, ужасно самолюбивъ, впечатлителенъ, и даже капризенъ: фальшивое положеніе, въ которое онъ былъ поставленъ съ самаго дѣтства, развило въ немъ обидчивость и раздражительность; но прирожденное великодушіе не давало ему сдѣлаться подозрительнымъ и недовѣрчивымъ. Тѣмъ же самымъ фальшивымъ положеніемъ Нежданова объяснялись и противорѣчія, которыя сталкивались въ его существѣ. Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, онъ силился быть циничнымъ и грубымъ на словахъ; идеалистъ по натурѣ, страстный и цѣломудренный, смѣлый и робкій въ одно и то же время, онъ, какъ позорнаго порока, стыдился и этой робости своей, и своего цѣломудрія, и считалъ долгомъ смѣяться надъ идеа-

лами. Сердце онъ имѣлъ нѣжное и чуждался людей; легко озлоблялся — и никогда не помнилъ зла. Онъ негодовалъ на своего отца за то, что тотъ пустилъ его „по эстетикѣ“; онъ явно, на виду у всѣхъ, занимался одними политическими и соціальными вопросами, исповѣдывалъ самыя крайнія мнѣнія—(въ немъ они не были фразой!)—и втайнѣ наслаждался художествомъ, поэзіей, красотой во всѣхъ ея проявленіяхъ... даже самъ писалъ стихи. Онъ тщательно пряталъ тетрадку, въ которую онъ заносилъ ихъ — и изъ петербургскихъ друзей только Паклинъ, и то по свойственному ему чутью, подозрѣвалъ ея существованіе. Ничто такъ не обижало, не оскорбляло Нежданова, какъ малѣйшій намекъ на его стихотворство, на эту его, какъ онъ полагалъ, непростительную слабость. По милости воспитателя швейцарца, онъ зналъ довольно много фактовъ и не боялся труда; онъ даже охотно работалъ—нѣсколько, правда, лихорадочно и непослѣдовательно. Товарищи его любили... ихъ привлекала его внутренняя правдивость и доброта и чистота; но не подъ счастливою звѣздою родился Неждановъ; не легко ему жилось.—Онъ самъ глубоко это чувствовалъ — и сознавалъ себя одинокимъ, несмотря на привязанность друзей.

Онъ продолжалъ стоять передъ окномъ — и думалъ, грустно и тяжко думалъ о предстоявшей ему поѣздкѣ, объ этомъ новомъ, неожиданномъ поворотѣ его судьбы... Онъ не жалѣлъ о Петербургѣ; онъ не оставлялъ въ немъ ничего особенно ему дорогого; притомъ же онъ зналъ, что вернется къ осени. А все-таки раздумье его брало онъ ощущалъ невольную унылость.

„Какой я учитель!“ приходило ему въ голову:—„какой педагогъ?!“ — Онъ готовъ былъ упрекнуть себя въ томъ, что принялъ обязанность преподавателя. А между тѣмъ—подобный упрекъ былъ бы несправедливъ. Неждановъ обладалъ достаточными свѣдѣніями — и, несмотря на его неровный нравъ, дѣти шли къ нему безъ принужденья—и онъ самъ легко привязывался къ нимъ. Грусть, овладѣвшая Неждановымъ, была то чувство, присущее всякой *перемѣнѣ мѣстопребыванія*, чувство, которое испытываютъ

всѣ меланхолики, всѣ задумчивые люди; людямъ характера бойкаго, сангвиническаго, оно незнакомо: они скорѣй готовы радоваться, когда нарушается повседневный ходъ жизни, когда мѣняется ея обычная обстановка. Неждановъ до того углубился въ свои думы, что понемногу, почти безсознательно, началъ ихъ передавать словами; бродившія въ немъ ощущенія уже складывались въ мѣрныя созвучія...

— Фу, ты, чортъ! — воскликнулъ онъ громко: — я, кажется, собираюсь стихи сочинять! — Онъ встрепенулся, отошелъ отъ окна; увидавъ лежащую на столѣ десятирублевую бумажку Паклина, сунулъ ее въ карманъ и принялся расхаживать по комнатѣ.

— Надо будетъ взять задатокъ,—размышлялъ онъ самъ съ собою:—благо этотъ баринъ предлагаетъ.—Сто рублей... да у братьевъ—у ихъ сіятельствъ—сто рублей... Пятьдесятъ на долги, пятьдесятъ или семьдесятъ на дорогу... а остальныя Остродумову. Да вотъ, что Паклинъ далъ—тоже ему... Да еще съ Меркулова надо будетъ что-нибудь получить...

Пока онъ велъ въ головѣ эти расчеты—прежнія созвучія опять зашевелились въ немъ. Онъ остановился, задумался... и, устремивъ глаза въ сторону, замеръ на мѣстѣ... Потомъ руки его, какъ бы ощупью, отыскали и открыли ящикъ стола, достали изъ самой его глубины исписанную тетрадку...

Онъ опустился за стулъ, все не мѣняя направленія взгляда, взялъ перо и, мурлыча себѣ подъ носъ, изрѣдка взмахивая волосами, перечеркивая, марая, принялся выводить строку за строкою...

Дверь въ переднюю отворилась наполовину—и показалась голова Машуриной. Неждановъ не замѣтилъ ея и продолжалъ свою работу. Машурина долго, пристально посмотрѣла на него—и, направо и налѣво покачавъ головою, подалась назадъ... Но Неждановъ вдругъ выпрямился, оглянулся и, промолвивъ съ досадой:

— А! Вы!—швырнулъ тетрадку въ ящикъ стола.

Тогда Машурина твердой поступью вошла въ комнату.

— Остродумовъ прислалъ меня къ вамъ,—проговорила она съ разстановкой:—за тѣмъ, чтобы узнать, когда можно будетъ получить деньги. — Если вы сегодня достанете, такъ мы сегодня же вечеромъ уѣдемъ.

— Сегодня нельзя,—возразилъ Неждановъ и нахмурилъ брови:—приходите завтра.

— Въ которомъ часу?

— Въ два часа.

— Хорошо.

Машурина помолчала немного и вдругъ протянула руку Нежданову...

— Я, кажется, вамъ помѣшала; извините меня. Да притомъ... я вотъ уѣзжаю. Кто знаетъ, увидимся ли мы? Я хотѣла проститься съ вами.

Неждановъ пожалъ ея красные, холодные пальцы.

— Вы видѣли у меня этого господина?—началъ онъ.— Мы съ нимъ условились. Я ѣду къ нему на кондицію. Его имѣніе въ С....ой губерніи, возлѣ самаго С*.

По лицу Машуриной мелькнула радостная улыбка.

— Возлѣ С*! Такъ мы, можетъ-быть, еще увидимся. Можетъ-быть, насъ туда пошлютъ.—Машурина вздохнула.— Ахъ, Алексѣй Дмитричъ...

— Что?—спросилъ Неждановъ.

Машурина приняла сосредоточенный видъ.

— Ничего.—Прощайте! Ничего.

Она еще разъ стиснула Нежданову руку и удалилась.

„А во всемъ Петербургѣ никто ко мнѣ такъ не привязанъ, какъ эта... чудачка!“ подумалось Нежданову. „Но нужно-жъ ей было мнѣ помѣшать... Впрочемъ, все къ лучшему!“

Утромъ слѣдующаго дня Неждановъ отправился на городскую квартиру Сипягина, и тамъ въ великолѣпномъ кабинетѣ, наполненномъ мебелью строгаго стиля, вполнѣ сообразной съ достоинствомъ либеральнаго государственнаго мужа и джентльмена, сидя передъ громаднымъ бюро, на которомъ въ стройномъ порядкѣ лежали никому и ни на что не нужныя бумаги, рядомъ съ исполинскими пожа*ми изъ слоновой* кости, никогда ничего не разрѣзывав-

шими—онъ, въ теченіе цѣлаго часа, выслушивалъ свободомыслящаго хозяина, обдавался елеемъ его мудрыхъ, благосклонныхъ, снисходительныхъ рѣчей, получилъ, наконецъ, сто рублей задатка, а десять дней спустя, тотъ же Неждановъ, полулежа на бархатномъ диванѣ въ особомъ отдѣленіи первокласснаго вагона, о-бокъ съ тѣмъ же мудрымъ, либеральнымъ государственнымъ мужемъ и джентльменомъ, мчался въ Москву по тряскимъ рельсамъ Николаевской дороги.

V.

Въ гостиной большого каменнаго дома съ колоннами и греческимъ фронтономъ, построеннаго въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, извѣстнымъ агрономомъ и „дантистомъ“ — отцомъ Сипягина, жена его, Валентина Михайловна, очень красивая дама, ждала съ часу на часъ прибытія мужа, возвѣщеннаго телеграммой. — Убранство гостиной носило отпечатокъ новѣйшаго, деликатнаго вкуса: все въ ней было мило и привѣтно, все, отъ пріятной пестроты кретонныхъ обоевъ и драпри до разнообразныхъ очертаній фарфоровыхъ, бронзовыхъ, хрустальныхъ бездѣлушекъ, разсыпанныхъ по этажеркамъ и столамъ, все мягко и стройно выдавалось—и сливалось—въ веселыхъ лучахъ майскаго дня, свободно струившихся сквозь высокія, настежь раскрытыя окна. Воздухъ гостиной, напоенный запахомъ ландышей (большіе букеты этихъ чудесныхъ весеннихъ цвѣтовъ бѣлѣли тамъ и сямъ)—по временамъ едва колыхался, возмущенный приливомъ легкаго вѣтра, тихо кружившаго надъ пышно-раскинутымъ садомъ.

Прелестная картина! И сама хозяйка дома, Валентина Михайловна Сипягина, довершала эту картину, придавала ей смыслъ и жизнь. Это была высокаго росту женщина, лѣтъ тридцати, съ темно-русыми волосами, смуглымъ, но свѣжимъ, одноцвѣтнымъ лицомъ, напоминавшимъ обликъ Сикстинской Мадонны, съ удивительными, глубокими, бархатными глазами. — Ея губы были немножко широки и блѣдны, плечи немного высоки, руки немного велики...

Но за всѣмъ тѣмъ, всякій, кто бы увидалъ, какъ она свободно и граціозно двигалась по гостиной, то наклоняя къ цвѣтамъ свой тонкій, едва перетянутый станъ и съ улыбкой нюхая ихъ, то переставляя какую-нибудь китайскую вазочку, то быстро поправляя передъ зеркаломъ свои лоснистые волосы и чуть-чуть прищуривая свои дивные глаза,—всякій, говоримъ мы, навѣрное воскликнулъ бы, про себя или даже громко, что онъ не встрѣчалъ болѣе плѣнительнаго созданія!

Хорошенькій, кудрявый мальчикъ лѣтъ девяти, въ шотландскомъ костюмѣ, съ голыми ножками, сильно напомаженный и завитой, вбѣжалъ стремительно въ гостиную и внезапно остановился при видѣ Валентины Михайловны.

— Что тебѣ, Коля?—спросила она.—Голосъ у ней былъ такой же мягкій и бархатный, какъ и глаза.

— Вотъ что, мама,—началъ съ замѣшательствомъ мальчикъ:—меня тетушка прислала сюда... велѣла принести ландышей... для ея комнаты... у нея нѣту...

Валентина Михайловна взяла своего сынишку за подбородокъ и приподняла его напомаженную головку.

— Скажи тетушкѣ, чтобы она послала за ландышами къ садовнику;—а эти ландыши—мои... Я не хочу, чтобы ихъ трогали. Скажи ей, что я не люблю, чтобы нарушались мои порядки. Сумѣешь ли ты повторить мои слова?

— Сумѣю...—прошепталъ мальчикъ.

— Ну-ка—скажи.

— Я скажу... я скажу... что ты не хочешь.

Валентина Михайловна засмѣялась. — И смѣхъ у нея былъ мягкій.

— Я вижу, тебѣ еще нельзя давать никакихъ порученій. Ну, все равно, скажи, что вздумается.

Мальчикъ быстро поцѣловалъ руку матери, всю украшенную кольцами, и стремглавъ бросился вонъ.

Валентина Михайловна проводила его глазами, вздохнула, подошла къ золоченой проволочной клѣткѣ, по стѣнкамъ которой, осторожно цѣпляясь клювомъ и лапками, пробирался зеленый попугайчикъ, подразнила его концомъ *пальца; потомъ* опустилась на низкій диванчикъ и, взявши

съ круглаго рѣзного столика послѣдній № „Revue des Deux Mondes“,—принялась его перелистывать.

Почтительный кашель заставилъ ее оглянуться. На порогѣ двери стоялъ благообразный слуга въ ливрейномъ фракѣ и бѣломъ галстукѣ.

— Чего тебѣ,—Агаѳонъ?—спросила Валентина Михайловна все тѣмъ же мягкимъ голосомъ.

— Семенъ Петровичъ Калломѣйцевъ пріѣхали-съ. Прикажете принять?

— Проси; разумѣется, проси.—Да вели сказать Маріаннѣ Викентьевнѣ, чтобы она пожаловала въ гостиную.

Валентина Михайловна бросила на столикъ № „Revue des Deux Mondes“—и, прислонившись къ спинкѣ дивана, подняла глаза кверху и задумалась,—что̀ очень къ ней шло.

Уже по тому, какъ Семенъ Петровичъ Калломѣйцевъ, молодой мужчина лѣтъ 32-хъ, вошелъ въ комнату—развязно, небрежно и томно; — какъ онъ вдругъ пріятно просвѣтлѣлъ, какъ поклонился немного въ бокъ—и какъ эластически выпрямился потомъ; какъ заговорилъ не то въ носъ, не то слащаво; — какъ почтительно взялъ, какъ внушительно поцѣловалъ руку Валентины Михайловны—уже по всему этому можно было догадаться, что новоприбывшій гость не былъ житель провинціи, не деревенскій, случайный, хоть и богатый сосѣдъ, а настоящій петербургскій „гранжанръ“ высшаго полета. — Къ тому же и одѣтъ онъ былъ на самый лучшій англійскій манеръ: цвѣтной кончикъ бѣлаго батистоваго платка торчалъ маленькимъ треугольникомъ изъ плоскаго бокового кармана пёстренькой жакетки; на довольно широкой черной ленточкѣ болталась одноглазая лорнетка; блѣдно-матовый тонъ шведскихъ перчатокъ соотвѣтствовалъ блѣдно-сѣрому колеру клѣтчатыхъ панталонъ. Остриженъ былъ г-нъ Калломѣйцевъ коротко, выбритъ гладко; лицо его, нѣсколько женоподобное, съ небольшими, близко другъ къ другу поставленными глазками, съ тонкимъ вогнутымъ носомъ, съ пухлыми красными губками, выражало пріятную вольность высокообразованнаго дворянина. Оно дышало привѣтомъ... *и весьма легко* становилось злымъ, даже грубымъ, стоило

кому-нибудь, чѣмъ-нибудь задѣть Семена Петровича, задѣть его консерваторскіе, патріотическіе и религіозные принципы, — о! тогда онъ дѣлался безжалостнымъ! Все его изящество испарялось мгновенно; — нѣжные глазки зажигались недобрымъ огонькомъ;—красивый ротикъ выпускалъ некрасивыя слова—и взывалъ—съ пискомъ взывалъ къ начальству!

Фамилія Семена Петровича происходила отъ простыхъ огородниковъ. Прадѣдъ его назывался, по мѣсту происхожденія: Коломенцовъ... Но уже дѣдъ его переименовалъ себя въ Коломейцева; отецъ писалъ: Калломейцевъ, наконецъ Семенъ Петровичъ поставилъ букву *ѣ* на мѣсто *е*—и, не шутя, считалъ себя чистокровнымъ аристократомъ; даже намекалъ на то, что ихъ фамилія происходитъ собственно отъ барономъ фонъ-Галленмейеръ, изъ коихъ одинъ былъ австрійскимъ фельдмаршаломъ въ Тридцатилѣтнюю войну. Семенъ Петровичъ служилъ въ министерствѣ двора, имѣлъ званіе камеръ-юнкера; патріотизмъ помѣшалъ ему пойти по дипломатической части, куда, казалось, все его призывало: и воспитаніе, и привычка къ свѣту, и успѣхи у женщинъ, и самая наружность... mais quitter la Russie? — jamais! — У Калломѣйцева было хорошее состояніе, были связи; онъ слылъ за человѣка надежнаго и преданнаго—„un peu trop... féodal dans ses opinions“, какъ выражался о немъ извѣстный князь Б., одно изъ свѣтилъ петербургскаго чиновничьяго міра. Въ С....ую губернію Калломѣйцевъ пріѣхалъ на двухмѣсячный отпускъ, чтобы хозяйствомъ позаняться, то-есть „кого пугнуть, кого поприжать“.—Вѣдь безъ этого невозможно!

— Я полагалъ, что найду уже здѣсь Бориса Андреича,—началъ онъ, любезно покачиваясь съ ноги на ногу—и внезапно глядя въ бокъ, въ подражаніе одному очень важному лицу.

Валентина Михайловна слегка прищурилась.

— А то бы вы не пріѣхали?

Калломѣйцевъ даже назадъ запрокинулся, до того *вопросъ г-жи* Сипягиной показался ему несправедливымъ и *ни съ чѣмъ* несообразнымъ!

— Валентина Михайловна! — воскликнулъ онъ:—помилуйте, возможно ли предполагать...

— Ну, хорошо, хорошо, садитесь; Борисъ Андреичъ сейчасъ здѣсь будетъ. Я за нимъ послала коляску на станцію. Подождите немного... Вы увидите его. Который теперь часъ?

— Половина третьяго,—промолвилъ Калломѣйцевъ, вынувъ изъ кармана жилета большіе золотые часы, украшенные эмалью. Онъ показалъ ихъ Сипягиной.— Вы видѣли мои часы? Мнѣ ихъ подарилъ Михаилъ, знаете... сербскій князь... Обреновичъ. Вотъ его шифръ, — посмотрите. Мы съ нимъ большіе пріятели. Вмѣстѣ охотились. Прекрасный малый! И рука желѣзная, какъ слѣдуетъ правителю. О, онъ шутить не любитъ! Нѣ-хѣ-хѣтъ!

Калломѣйцевъ опустился на кресло, скрестилъ ноги и началъ медленно стаскивать свою лѣвую перчатку.

— Вотъ намъ бы здѣсь, въ нашей губерніи, такого Михаила.

— А что? Вы развѣ чѣмъ недовольны?

Калломѣйцевъ наморщилъ носъ.

— Да все это земство! Это земство! Къ чему оно? Только ослабляетъ администрацію и возбуждаетъ... лишнія мысли... (Калломѣйцевъ поболталъ въ воздухѣ обнаженной лѣвой рукой, освобожденной отъ давленія перчатки)... и несбыточныя надежды (Калломѣйцевъ подулъ себѣ на руку). Я говорилъ объ этомъ въ Петербургѣ... mais, bah! Вѣтеръ не туда тянетъ. Даже супругъ вашъ... представьте! Впрочемъ, онъ извѣстный либералъ!

Сипягина выпрямилась на диванчикѣ.

— Какъ? И вы, мсьё Калломѣйцевъ, вы дѣлаете оппозицію правительству?

— Я? Оппозицію? Никогда! Ни за что! Mais j'ai mon franc parler. Я иногда критикую, но покоряюсь всегда!

— А я такъ напротивъ: не критикую, и не покоряюсь.

— Ah! mais c'est un mot! Я, если позволите, сообщу ваше замѣчаніе моему другу — Ladislas, vous savez, онъ собирается написать романъ изъ большого свѣта, и уже прочелъ мнѣ нѣсколько главъ. Это будетъ прелесть! Nous aurons enfin le grand monde russe peint par lui-même.

— Гдѣ это появится?

— Конечно, въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Это наша „Revue des Deux Mondes“. Я вотъ вижу, вы ее читаете.

— Да; но, знаете ли, она очень скучна становится.

— Можетъ-быть... можетъ-быть... И „Русскій Вѣстникъ“, пожалуй, тоже съ нѣкоторыхъ поръ—говоря современнымъ языкомъ,—крошечку подгулялъ.

Калломѣйцевъ засмѣялся во весь ротъ; ему показалось, что это очень забавно сказать: „подгулялъ“ да еще „крошечку“.—Mais c'est un journal, qui se respecte,— продолжалъ онъ.—А это главное. Я, доложу вамъ, я... русской литературой интересуюсь мало; въ ней теперь все какіе-то разночинцы фигурируютъ. Дошли, наконецъ, до того, что героиня романа — кухарка, простая кухарка, parole d'honneur! Но романъ Ладисласа я прочту непремѣнно. Il y aura le petit mot pour rire... и направленіе! направленіе. Нигилисты будутъ посрамлены—въ этомъ мнѣ порукой образъ мыслей Ладисласа,—qui est très correct.

— Но не его прошедшее,—замѣтила Сипягина.

— Ah! jetons un voile sur les erreurs de sa jeunesse!— воскликнулъ Калломѣйцевъ и стащилъ правую перчатку.

Г-жа Сипягина опять слегка прищурилась. Она немного кокетничала своими удивительными глазами.

— Семенъ Петровичъ, — промолвила она: — позвольте васъ спросить, зачѣмъ вы это, говоря по-русски, употребляете такъ много французскихъ словъ? Мнѣ кажется, что... извините меня... это устарѣлая манера.

— Зачѣмъ? зачѣмъ? Не всѣ же такъ отлично владѣютъ роднымъ нарѣчіемъ, какъ, напримѣръ, вы. Что касается до меня, то я признаю языкъ россійскій, языкъ указовъ и постановленій правительственныхъ; я дорожу его чистотою! Передъ Карамзинымъ я склоняюсь!.. Но русскій, такъ сказать, ежедневный языкъ... развѣ онъ существуетъ? Ну, напримѣръ, какъ бы вы перевели мое восклицаніе— de tout à l'heure: „C'est un mot!“—Это—слово!?. Помилуйте!

— Я бы сказала: это—удачное слово.

Калломѣйцевъ засмѣялся.

— „*Удачное* слово“! Валентина Михайловна! Да развѣ

вы не чувствуете, что тутъ... семинаріей сейчасъ запахло... Всякая соль исчезла...

— Ну, вы меня не переубѣдите. — Да что же это Маріанна!? Она позвонила въ колокольчикъ; вошелъ казачокъ.

— Я велѣла попросить Маріанну Викентьевну сойти въ гостиную. Развѣ ей не доложили?

Казачокъ не успѣлъ отвѣтить, какъ за его спиной, на порогѣ двери, появилась молодая дѣвушка, въ широкой темной блузѣ, остриженная въ кружокъ, Маріанна Викентьевна Синецкая, племянница Сипягина по матери.

VI.

— Извините меня, Валентина Михайловна, — сказала она, приблизившись къ Сипягиной:—я была занята и замѣшкалась.

Потомъ она поклонилась Калломѣйцеву, и отойдя немного въ сторону, сѣла на маленькое пате, въ сосѣдствѣ попугайчика, который, какъ только увидѣлъ ее, захлопалъ крыльями и потянулся къ ней.

— Зачѣмъ же это ты такъ далеко сѣла, Маріанна, — замѣтила Сипягина, проводивъ ее глазами до самаго пате. — Тебѣ хочется быть поближе къ твоему маленькому другу? Представьте, Семенъ Петровичъ,—обратилась она къ Калломѣйцеву: — попугайчикъ этотъ просто влюбленъ въ нашу Маріанну...

— Это меня не удивляетъ!

— А меня терпѣть не можетъ.

— Вотъ это удивительно! Вы его, должно-быть, дразните.

— Никогда; напротивъ. Я его сахаромъ кормлю. Только онъ изъ рукъ моихъ ничего не беретъ. Нѣтъ... это симпатія... и антипатія...

Маріанна исподлобья глянула на Сипягину... и Сипягина глянула на нее.

Эти двѣ женщины не любили другъ друга

Въ сравненіи съ теткой, Маріанна могла казаться почти „дурнушкой“. Лицо она имѣла круглое, носъ большой, орлиный,—сѣрые, *тоже* *большіе* и очень свѣтлые глаза,—*тонкія брови, тонкія* губы. Она стригла свои русые и ру-

стые волосы и смотрѣла букой. Но отъ всего ея существа вѣяло чѣмъ-то сильнымъ и смѣлымъ, чѣмъ-то стремительнымъ и страстнымъ. Ноги и руки у ней были крошечныя; ея крѣпко и гибко сложенное маленькое тѣло напоминало флорентійскія статуэтки XVI вѣка; двигалась она стройно и легко.

Положеніе Синецкой въ домѣ Сипягиныхъ было довольно тяжелое. Ея отецъ, очень умный и бойкій человѣкъ полу-польскаго происхожденія, дослужился генеральскаго чина, но сорвался вдругъ, уличенный въ громадной казенной кражѣ; его судили... осудили, лишили чиновъ, дворянства, сослали въ Сибирь. Потомъ простили... вернули; но онъ не успѣлъ выкарабкаться вновь и умеръ въ крайней бѣдности. Его жена, родная сестра Сипягина, мать Маріанны (кромѣ ея у нея не было дѣтей) — не перенесла удара, разгромившаго все ея благосостояніе, и умерла вскорѣ послѣ мужа. Дядя Сипягинъ пріютилъ Маріанну у себя въ домѣ. — Но жить въ зависимости было ей тошно; она рвалась на волю всѣми силами неподатливой души — и между ея теткою и ею кипѣла постоянная, хотя скрытая борьба. Сипягина считала ее нигилисткой и безбожницей; съ своей стороны, Маріанна ненавидѣла въ Сипягиной свою невольную притѣснительницу. Дяди она чуждалась, какъ и всѣхъ другихъ людей. — Она именно чуждалась ихъ, а не боялась; нравъ у нея былъ не робкій.

— Антипатія, — повторилъ Калломѣйцевъ: — да, это странная вещь. Всѣмъ, напримѣръ, извѣстно, что я глубоко-религіозный человѣкъ, православный въ полномъ смыслѣ слова; а поповскую косичку, пучокъ — видѣть не могу равнодушно: такъ и закипаетъ во мнѣ что-то, такъ и закипаетъ.

Калломѣйцевъ при этомъ даже представилъ, поднявши раза два сжатую руку, какъ у него въ груди закипаетъ.

— Васъ вообще волосы безпокоятъ, Семенъ Петровичъ,—замѣтила Маріанна: —я увѣрена, что вы тоже не *можете видѣть* равнодушно, если у кого они острижены, *какъ у меня.*

Сипягина медленно приподняла брови и преклонила голову, какъ бы удивляясь той развязности, съ которой нынѣшнія молодыя дѣвушки вступаютъ въ разговоръ, — а Калломѣйцевъ снисходительно осклабился.

— Конечно,—промолвилъ онъ:—я не могу не сожалѣть о тѣхъ прекрасныхъ кудряхъ, подобныхъ вашимъ, Маріанна Викентьевна, которыя падаютъ подъ безжалостнымъ лезвіемъ ножницъ; но антипатіи во мнѣ нѣтъ; и во всякомъ случаѣ... вашъ примѣръ могъ бы меня... меня... конвертировать!

Калломѣйцевъ не нашелъ русскаго слова,—а по-французски не хотѣлъ говорить, послѣ замѣчанія хозяйки.

— Слава Богу, Маріанна у меня еще очковъ не носитъ,— вмѣшалась Сипягина:—и съ воротничками, и съ рукавчиками пока еще не разсталась:—за то естественными науками, къ искреннему моему сожалѣнію, занимается; и женскимъ вопросомъ интересуется тоже... Не правда ли, Маріанна?

Все это было сказано съ цѣлію смутить Маріанну; но она не смутилась.

— Да, тетушка,—отвѣчала она:—я читаю все, что объ этомъ написано; я стараюсь понять, въ чемъ состоитъ этотъ вопросъ.

— Что значитъ молодость! — обратилась Сипягина къ Калломѣйцеву: — вотъ мы съ вами уже этимъ не занимаемся—а?

Калломѣйцевъ сочувственно улыбнулся: надо-жъ было поддержать веселую шутку любезной дамы.

— Маріанна Викентьевна,—началъ онъ:—исполнена еще тѣмъ идеализмомъ... тѣмъ романтизмомъ юности... который... со временемъ...

— Впрочемъ, я клевещу на себя,—перебила его Сипягина:—вопросы эти меня интересуютъ тоже. Я вѣдь не совсѣмъ еще состарѣлась.

— И я всѣмъ этимъ интересуюсь,—поспѣшно воскликнулъ Калломѣйцевъ;—только я запретилъ бы объ этомъ говорить!

— Запретили бы объ этомъ говорить? — переспросила Маріанна.

— *Да!—Я бы сказалъ* публикѣ: интересоваться не мѣ-

шаю... но говорить... тссс!—Онъ поднесъ палецъ къ губамъ. — Во всякомъ случаѣ, *печатно* говорить — запретилъ бы!—безусловно!

Сипягина засмѣялась.

— Что-жъ? По-вашему, не комиссію ли назначить при министерствѣ для разрѣшенія этого вопроса?

— А хоть бы и комиссію. Вы думаете, мы бы разрѣшили этотъ вопросъ хуже, чѣмъ всѣ эти голодные щелкопёры, которые дальше своего носа ничего не видятъ и воображаютъ, что они... первые геніи?—Мы бы назначили Бориса Андреевича предсѣдателемъ.

Сипягина еще пуще засмѣялась.

— Смотрите, берегитесь; Борисъ Андреичъ иногда такимъ бываетъ якобинцемъ...

— Жакò, жакò, жакò,—затрещалъ попугай.

Валентина Михайловна махнула на него платкомъ.

— Не мѣшай умнымъ людямъ разговаривать!.. Маріанна, уйми его.

Маріанна обернулась къ клѣткѣ и принялась чесать ногтемъ попугайчика по шеѣ, которую тотъ ей тотчасъ подставилъ.

— Да, — продолжала Сипягина: — Борисъ Андреичъ иногда меня самоё удивляетъ. Въ немъ есть жилка... жилка... трибуна.

— C'est parce qu'il est orateur! — сгоряча подхватилъ по-французски Калломѣйцевъ. — Вашъ мужъ обладаетъ даромъ слова, какъ никто, ну, и блестѣть привыкъ... ses propres paroles le grisent... а къ тому же и желаніе популярности... Впрочемъ, онъ теперь нѣсколько разсерженъ, не правда ли? Il boude? Eh?

Сипягина повела глазами на Маріанну.

— Я ничего не замѣтила,—промолвила она послѣ небольшого молчанія.

— Да,—продолжалъ задумчивымъ тономъ Калломѣйцевъ:—его немножко обошли на Святой.

Сипягина опять указала ему глазами на Маріанну.

Калломѣйцевъ улыбнулся и прищурился: — „я, молъ, *понялъ*“.

— Маріанна Викентьевна! — воскликнулъ онъ вдругъ, безъ нужды громко: — вы въ нынѣшнемъ году опять намѣрены давать уроки въ школѣ?

Маріанна отвернулась отъ клѣтки.

— И *это* васъ интересуетъ, Семенъ Петровичъ?

— Конечно; очень даже интересуетъ.

— Вы бы *этого* не запретили?

— Нигилистамъ запретилъ бы даже думать о школахъ; а подъ руководствомъ духовенства—и съ надзоромъ за духовенствомъ—самъ бы заводилъ!

— Вотъ какъ! А я не знаю, что буду дѣлать въ нынѣшнемъ году. Въ прошломъ все такъ дурно шло.—Да и какая школа лѣтомъ!

Когда Маріанна говорила, она постепенно краснѣла, какъ будто ея рѣчь ей стоила усилія, какъ будто она заставляла себя ее продолжать. Много еще въ ней было самолюбія.

— Ты не довольно подготовлена?—спросила Сипягина съ ироническимъ трепетаніемъ въ голосѣ.

— Можетъ-быть.

— Какъ! — снова воскликнулъ Калломѣйцевъ. — Что я слышу!! О, боги! Для того, чтобы учить крестьянскихъ дѣвочекъ азбукѣ—нужна подготовка?

Но въ эту минуту въ гостиную съ крикомъ: „Мама, мама! папа ѣдетъ!“ — вбѣжалъ Коля, а вслѣдъ за нимъ, переваливаясь на толстыхъ ножкахъ, появилась сѣдовласая дама въ чепцѣ и желтой шали — и тоже объявила, что Боринька сейчасъ будетъ!

Эта дама была тётка Сипягина, Анна Захаровна по имени.—Всѣ находившіяся въ гостиной лица повскакали съ своихъ мѣстъ и устремились въ переднюю, а оттуда спустились по лѣстницѣ на главное крыльцо. Длинная аллея стриженыхъ ёлокъ вела отъ большой дороги прямо къ этому крыльцу: по ней уже скакала коляска, запряженная четверней.—Валентина Михайловна, стоявшая впереди всѣхъ, замахала платкомъ, Коля запищалъ пронзительно; кучеръ лихо осадилъ разгоряченныхъ лошадей, *лакей слетѣлъ кубаремъ* съ козелъ, да чуть не вырвалъ

дверецъ коляски вмѣстѣ съ петлями и замкомъ—и вотъ, съ снисходительной улыбкой на устахъ, въ глазахъ, на всемъ лицѣ, однимъ ловкимъ движеніемъ плечъ сбросивъ съ себя шинель, Борисъ Андреевичъ спустился на землю. Валентина Михайловна красиво и быстро вскинула ему обѣ руки вокругъ шеи—и трижды съ нимъ поцѣловалась. Коля топалъ ногами и дергалъ отца сзади за полы сюртука... но тотъ сперва облобызался съ Анной Захаровной, предварительно снявъ съ головы пренеудобный и безобразный шотландскій дорожный картузъ, потомъ поздоровался съ Маріанной и Калломѣйцевымъ, которые тоже вышли на крыльцо—(Калломѣйцеву онъ далъ сильный англійскій shakehands, „въ раскачку“—словно въ колоколъ позвонилъ)—и только тогда обратился къ сыну; взялъ его подъ мышки, поднялъ и приблизилъ къ своему лицу.

Пока все это происходило, изъ коляски тихонько, словно виноватый, вылѣзъ Неждановъ и остановился близъ передняго колеса, не снимая шапки и посматривая исподлобья... Валентина Михайловна, обнимаясь съ мужемъ, зорко глянула черезъ его плечо на эту новую фигуру;—Сипягинъ предупредилъ ее, что привезетъ съ собою учителя.

Все общество, продолжая мѣняться привѣтами и рукопожатіями съ прибывшимъ хозяиномъ, двинулось вверхъ по лѣстницѣ, уставленной съ обѣихъ сторонъ главными слугами и служанками. — Къ ручкѣ они не подходили—эта „азіятщина“ была давно отмѣнена—и только кланялись почтительно; а Сипягинъ отвѣчалъ ихъ поклонамъ—больше бровями и носомъ, чѣмъ головою.

Неждановъ тоже поплелся вверхъ по широкимъ ступенямъ. Какъ только онъ вошелъ въ переднюю, Сипягинъ, который уже искалъ его глазами, представилъ его женѣ, Аннѣ Захаровнѣ, Маріаннѣ; а Колѣ сказалъ: „Это твой учитель, прошу его слушаться! Подай ему руку!“—Коля робко протянулъ руку Нежданову, потомъ уставился на него; но, видно, не найдя въ немъ ничего особеннаго или пріятнаго, снова ухватился за своего „папу“.—Неждановъ чувствовалъ себя неловко, такъ же, какъ тогда въ театрѣ. *На немъ было* старое, довольно невзрачное пальто, до-

рожная пыль насѣла ему на все лицо и на руки. — Валентина Михайловна сказала ему что-то любезное; но онъ хорошенько не разслышалъ ея словъ и не отвѣчалъ, а только замѣтилъ, что она особенно свѣтло и ласково взирала на своего мужа и жалась къ нему. — Въ Колѣ ему не понравился его завитой, напомаженный хохолъ; при видѣ Калломѣйцева онъ подумалъ: „экая облизанная мордочка!“—а на другія лица онъ вовсе не обратилъ вниманія. Сипягинъ раза два съ достоинствомъ повертѣлъ головою, какъ бы осматривая свои пенаты, при чемъ удивительно отчеканивались его длинныя висячія бакенбарды и нѣсколько крутой, маленькій затылокъ. — Потомъ онъ сильнымъ, вкуснымъ, отъ дороги нисколько не охрипшимъ голосомъ крикнулъ одному изъ лакеевъ: „Иванъ! проводи г-на учителя въ зеленую комнату; да чемоданъ ихъ туда снеси“—и объявилъ Нежданову, что онъ можетъ теперь отдохнуть и разобраться и почиститься—а обѣдъ у нихъ въ домѣ подаютъ ровно въ пять часовъ. Неждановъ поклонился и отправился вслѣдъ за Иваномъ въ „зеленую“ комнату, находившуюся во второмъ этажѣ.

Все общество перешло въ гостиную. Тамъ еще разъ повторились привѣтствія;—полуслѣпая старушка-няня явилась съ поклономъ. — Этой, изъ уваженія къ ея лѣтамъ Сипягинъ далъ поцѣловать свою руку, и, извинившись передъ Калломѣйцевымъ, удалился въ спальню, сопровождаемый своей супругой.

VII.

Обширная и опрятная комната, въ которую слуга ввелъ Нежданова, выходила окнами въ садъ. Они были раскрыты, и легкій вѣтеръ слабо надувалъ бѣлыя шторы: онѣ округлялись какъ паруса, приподнимались и падали снова. По потолку тихо скользили золотистые отблески; во всей комнатѣ стоялъ весенній, свѣжій, немного сырой запахъ.—Неждановъ началъ съ того, что услалъ слугу, выложилъ вещи изъ чемодана, умылся и переодѣлся. Путешествіе его уморило; двухдневное постоянное присутствіе *человѣка незнакомаго*, — съ которымъ онъ говорилъ

много, разнообразно—и безплодно, раздражило его нервы: что-то горькое, не то скука, не то злость, тайно забралось въ самую глубь его существа; онъ негодовалъ на свое малодушіе—а сердце все ныло!

Онъ подошелъ къ окну—и сталъ глядѣть на садъ. То былъ прадѣдовскій черноземный садъ, какого не увидишь по-сю сторону Москвы. — Расположенный по длинному скату пологаго холма, онъ состоялъ изъ четырехъ ясно обозначенныхъ отдѣленій. Передъ домомъ, шаговъ на двѣсти, разстилался цвѣтникъ, съ песчаными прямыми дорожками, группами акацій и сиреней и круглыми „клумбами“; налѣво, минуя конный дворъ, до самаго гумна тянулся фруктовый садъ, густо насаженный яблонями, грушами, сливами, смородиной и малиной; прямо напротивъ дома возвышались большимъ сплошнымъ четырехугольникомъ липовыя скрещенныя аллеи. Направо видъ преграждался дорогой, заслоненной двойнымъ рядомъ серебристыхъ тополей; изъ-за купы плакучихъ березъ виднѣлась крутая крыша оранжереи. Весь садъ нѣжно зеленѣлъ первой красою весенняго расцвѣтанія; не было еще слышно лѣтняго, сильнаго гудѣнья насѣкомыхъ; молодые листья лепетали — да зяблики кое-гдѣ пѣли, да двѣ горлинки ворковали все на одномъ и томъ же деревѣ, да куковала одна кукушка, перемѣщаясь всякій разъ, — да издалека, изъ-за мельничнаго пруда, приносился дружный гамъ грачиный, подобный скрипу множества телѣжныхъ колесъ. И надо всей этой молодою, уединенной, тихой жизнью, округляя свои груди, какъ большія, лѣнивыя птицы, тихо плыли свѣтлыя облака. — Неждановъ глядѣлъ, слушалъ, втягивалъ воздухъ сквозь раскрытыя, похолодѣвшія губы...

И ему словно легче становилось; тишина находила и на него.

А между тѣмъ внизу, въ спальнѣ, рѣчь шла тоже о немъ. Сипягинъ разсказывалъ женѣ, какъ онъ съ нимъ познакомился, и что̀ ему сказалъ князь Г., и какіе разговоры они вели во время путешествія.

— Умная голова!—повторилъ онъ:—и съ свѣдѣніями; *правда, онъ* красный, да вѣдь у меня, ты знаешь, это ни-

чего не значитъ; по крайней мѣрѣ у этихъ людей есть амбиція. Да и Коля слишкомъ молодъ; никакихъ глупостей онъ отъ него не переймета.

Валентина Михайловна слушала своего мужа съ ласковой и въ то же время насмѣшливой улыбкой, точно онъ каялся ей въ немного странной, но забавной выходкѣ; ей даже какъ будто пріятно было, что ея „seigneur et maître", такой солидный человѣкъ и важный чиновникъ, все еще въ состояніи вдругъ взять да выкинуть шалость, не хуже двадцатилѣтняго. Стоя передъ зеркаломъ въ бѣлой какъ снѣгъ рубашкѣ, въ голубыхъ шелковыхъ помочахъ, Сипягинъ принялся причесывать свою голову на англійскій фасонъ, въ двѣ щетки;—а Валентина Михайловна, взобравшись съ ботинками на турецкую низкую кушетку, начала сообщать ему разныя свѣдѣнія о хозяйствѣ, о бумажной фабрикѣ, которая—увы!—не шла такъ хорошо, какъ бы слѣдовало, о поварѣ, котораго надо будетъ перемѣнить, о церкви, съ которой свалилась штукатурка, о Маріаннѣ, о Калломѣйцевѣ...

Между обоими супругами существовало нелицемѣрное довѣріе и согласіе; они дѣйствительно жили въ „любви и совѣтѣ", какъ говаривалось въ старину; и когда Сипягинъ, окончивъ свой туалетъ, рыцарски попросилъ у Валентины Михайловны „ручку", когда она подала ему обѣ, и съ нѣжной гордостью глядѣла, какъ онъ попеременно цѣловалъ ихъ,—то чувство, которое выразилось на лицахъ у обоихъ, было чувство хорошее и правдивое, хотя у ней оно свѣтилось въ очахъ, достойныхъ Рафаэля, а у него въ простыхъ генеральскихъ „глядѣлкахъ".

Ровно въ пять часовъ Неждановъ сошелъ внизъ къ обѣду, возвѣщенному даже не звукомъ колокола, а протяжнымъ завываньемъ китайскаго „гонга". Все общество уже собралось въ столовой. Сипягинъ снова его привѣтствовалъ съ высоты своего галстука, и указалъ ему мѣсто за столомъ между Анной Захаровной и Колей. Анна Захаровна была перезрѣлая дѣва, сестра покойнаго старика Сипягина; отъ нея попахивало камфарой, какъ отъ залежалаго платья, и видъ она *имѣла безпокойный* и унылый. Она исполня-

ла въ домѣ роль Колинаго дядьки или гувернёра; ея сморщенное лицо выказало неудовольствіе, когда Нежданова посадили между ею и ея питомцемъ. Коля сбоку поглядывалъ на своего новаго сосѣда; умный мальчикъ скоро догадался, что учителю неловко, что онъ конфузился: онъ же не поднималъ глазъ и почти ничего не ѣлъ. Колѣ это понравилось: онъ до тѣхъ поръ боялся, какъ бы учитель не оказался строгимъ и сердитымъ. Валентина Михайловна тоже поглядывала на Нежданова.

„Онъ смотритъ студентомъ,—думалось ей:—и въ свѣтѣ онъ не живалъ, но лицо у него интересное, и оригинальный цвѣтъ волосъ, какъ у того апостола, котораго старые итальянскіе мастера всегда писали рыжимъ,—и руки чистыя". Впрочемъ, всѣ за столомъ поглядывали на Нежданова, и какъ бы щадили его, оставляя его въ покоѣ, на первыхъ порахъ; онъ это чувствовалъ, и былъ этимъ доволенъ, и въ то же время почему-то злился. Разговоръ за столомъ вели Калломѣйцевъ и Сипягинъ. Рѣчь шла о земствѣ, о губернаторѣ, о дорожной повинности, о выкупныхъ сдѣлкахъ, объ общихъ петербургскихъ и московскихъ знакомыхъ, о только-что входившемъ въ силу лицеѣ г-на Каткова, о трудности достать рабочихъ, о штрафахъ и потравахъ, а также о Бисмаркѣ, о войнѣ 66-го года и о Наполеонѣ III, котораго Калломѣйцевъ величалъ молодцомъ. Юный камеръ-юнкеръ высказывалъ мнѣнія весьма ретроградныя: онъ договорился наконецъ до того, что привелъ,—правда, въ видѣ шутки,—тостъ одного знакомаго ему барина, за нѣкоторымъ именинымъ банкетомъ: „Пью за единственные принципы, которые признаю",—воскликнулъ этотъ разгоряченный помѣщикъ:—„за кнутъ и за Рёдереръ!"

Валентина Михайловна наморщила брови и замѣтила, что эта цитата—de très mauvais goût.—Сипягинъ выражалъ, напротивъ, мнѣнія весьма либеральныя; вѣжливо и нѣсколько небрежно опровергалъ Калломѣйцева; даже подтрунивалъ надъ нимъ.

— Ваши страхи насчетъ эмансипаціи, любезный Семенъ Петровичъ, — сказалъ онъ ему, между прочимъ:—

напоминаютъ мнѣ записку, которую нашъ почтеннѣйшій и добрѣйшій Алексѣй Иванычъ Тверитиновъ подалъ въ 1860 году, и которую онъ всюду читалъ по петербургскимъ салонамъ. Особенно хороша была тамъ одна фраза о томъ, какъ нашъ освобожденный мужикъ непремѣнно пойдетъ, съ факеломъ въ рукѣ, по лицу всего отечества. Надо было видѣть, какъ нашъ милый Алексѣй Ивановичъ, надувая щёчки и тараща глазёнки, произносилъ своимъ младенческимъ ротикомъ: „ффакелъ! ффакелъ! пойдетъ съ ффакеломъ!“ Ну, вотъ совершилась эмансипація... Гдѣ же мужикъ съ факеломъ?

— Тверитиновъ, — возразилъ сумрачнымъ тономъ Калломѣйцевъ: — ошибся только въ томъ, что не мужики пойдутъ съ факелами, а другіе.

При этихъ словахъ Неждановъ, который до того мгновенія почти не замѣчалъ Маріанны—она сидѣла отъ него наискось — вдругъ переглянулся съ нею, и тотчасъ почувствовалъ, что они оба, эта угрюмая дѣвушка и онъ,— однихъ убѣжденій и одного пошиба. Она не произвела никакого впечатлѣнія на него, когда Сипягинъ представилъ его ей; почему же онъ теперь переглянулся именно съ нею? Онъ тутъ же поставилъ себѣ вопросъ: не стыдно ли, не позорно ли сидѣть и слушать подобныя мнѣнія, и не протестовать, и давать своимъ молчаніемъ поводъ думать, что самъ ихъ раздѣляешь? Неждановъ вторично глянулъ на Маріанну, и ему показалось, что онъ въ ея глазахъ прочелъ отвѣтъ на свой вопросъ: „погоди-молъ; теперь еще не время... не стоитъ... послѣ; всегда успѣешь...“

Ему пріятно было думать, что она его понимаетъ. Онъ опять прислушался къ разговору... Валентина Михайловна смѣнила своего мужа, и высказывалась еще свободнѣе, еще радикальнѣе, нежели онъ. Она не постигала „рѣшительно не пос...ти...га...ла“, какъ человѣкъ образованный и молодой можетъ придерживаться такой застарѣлой рутины!

— Впрочемъ,—прибавила она:—я увѣрена, что вы это говорите только такъ, для краснаго словца! Что же *касается до васъ, Алексѣй* Дмитричъ, — обратилась она съ

любезной улыбкой къ Нежданову (онъ внутренно изумился тому, что его имя и отчество были ей извѣстны):—я знаю, вы не раздѣляете опасеній Семена Петровича: мнѣ Борисъ передалъ ваши бесѣды съ нимъ во время дороги.

Нежданов покраснѣлъ, склонился надъ тарелкой и пробормоталъ что-то невнятное: оно не то, чтобы оробѣлъ, а не привыкъ онъ перекидываться рѣчами съ такими блестящими особами. Сипягина продолжала улыбаться ему; мужъ покровительственно поддакивалъ ей... Зато Калломѣйцевъ воткнулъ, не спѣша, свое круглое стеклышко между бровью и носомъ и уставился на студентика, который осмѣливается не раздѣлять его „опасеній“.—Ну,—*этимъ* смутить Нежданова было трудно; напротивъ: онъ тотчасъ выпрямился и уставился въ свою очередь на великосвѣтскаго чиновника:—и такъ же внезапно, какъ почувствовалъ въ Маріаннѣ товарища, онъ въ Калломѣйцевѣ почувствовалъ врага! И Калломѣйцевъ это почувствовалъ; выронилъ стеклышко, отвернулся и попытался усмѣхнуться... но ничего не вышло; одна Анна Захаровна, тайно благоговѣвшая передъ нимъ, мысленно стала на его сторону, и еще болѣе вознегодовала на непрошеннаго сосѣда, отдѣлившаго ее отъ Коли.

Вскорѣ затѣмъ обѣдъ кончился. Общество перешло на террасу пить кофе; Сипягинъ и Калломѣйцевъ закурили сигары. Сипягинъ предложилъ-было одну настоящую регалію Нежданову, но тотъ отказался.

— Ахъ, да!—воскликнулъ Сипягинъ: — я и забылъ: вы курите только свои папиросы!

— Странный вкусъ, — замѣтилъ сквозь зубы Калломѣйцевъ.

Нежданов чуть не вспылилъ. — „Разницу между регаліей и папиросой я очень хорошо знаю, но я одолжаться не хочу“,—чуть не сорвалось у него съ языка... Однако онъ удержался; но тутъ же занесъ эту вторую дерзость своему врагу въ „дебетъ“.

— Маріанна! — вдругъ громкимъ голосомъ промолвила Сипягина: — ты не церемонься передъ новымъ лицомъ... *кури съ Богомъ* свою пахитоску. Тѣмъ болѣе, — прика-

вила она, обращаясь къ Нежданову: — что, я слышала, въ вашемъ обществѣ всѣ барышни курятъ?

— Точно такъ-съ,—отвѣчалъ сухо Неждановъ. То было первое слово, сказанное имъ Сипягиной.

— А я вотъ не курю,—продолжала она, ласково прищуривъ свои бархатные глаза.—Отстала отъ вѣка.

Маріанна медлительно и обстоятельно, словно на зло тёткѣ, достала пахитоску, коробочку со спичками, и начала курить. Неждановъ тоже закурилъ папиросу, позаимствовавъ огня у Маріанны.

Вечеръ стоялъ чудесный. Коля съ Анной Захаровной отправились въ садъ; остальное общество оставалось еще около часа на террасѣ, наслаждаясь воздухомъ. Бесѣда шла довольно оживленная... Калломѣйцевъ нападалъ на литературу; Сипягинъ и тутъ явился либераломъ, отстаивалъ ея независимость, доказывалъ ея пользу, упомянулъ даже о Шатобріанѣ и о томъ, что императоръ Александръ Павловичъ пожаловалъ ему орденъ св. Андрея Первозваннаго! Неждановъ не вмѣшивался въ это словопреніе; Сипягина посматривала на него съ такимъ выраженіемъ, какъ будто, съ одной стороны, она одобряла его скромную воздержность, а съ другой—немного удивлялась ей.

Къ чаю всѣ перешли въ гостиную.

— У насъ, Алексѣй Дмитричъ, — сказалъ Сипягинъ Нежданову:—такая скверная привычка: по вечерамъ мы играемъ въ карты, да еще въ запрещенную игру—въ стуколку... представьте! — Я васъ не приглашаю... но, впрочемъ, Маріанна будетъ такъ добра, сыграетъ намъ что-нибудь на фортепіано. Вы вѣдь, надѣюсь, любите, музыку—а? И, не дожидаясь отвѣта, Сипягинъ взялъ въ руку колоду картъ. Маріанна сѣла за фортепіано и сыграла, ни хорошо, ни худо, нѣсколько „пѣсенъ безъ словъ“ Мендельсона.—Charmant! Charmant! quel touché!—закричалъ издали, словно ошпаренный, Калломѣйцевъ; но восклицаніе это было имъ пущено болѣе изъ вѣжливости; да и Неждановъ, несмотря на надежду, выраженную Сипягинымъ, никакого пристрастія къ музыкѣ не имѣлъ.

Между тѣмъ Сипягинъ съ женой, Калломѣйцевъ, Анна

Захаровна усѣлись за карты... Коля пришелъ проститься и, получивъ благословеніе отъ родителей да большой стаканъ молока вмѣсто чаю, отправился спать; отецъ крикнулъ ему вслѣдъ, что завтра же онъ начнетъ свои уроки съ Алексѣемъ Дмитричемъ. Немного спустя, увидавъ, что Неждановъ торчитъ безъ дѣла посреди комнаты и напряженно переворачиваетъ листы фотографическаго альбома, Сипягинъ сказалъ ему, чтобъ онъ не стѣснялся и шелъ бы къ себѣ отдохнуть, такъ какъ онъ вѣроятно усталъ послѣ дороги; что у нихъ въ домѣ главный девизъ: свобода.

Неждановъ воспользовался даннымъ позволеніемъ и, раскланявшись со всѣми, пошелъ вонъ: въ дверяхъ онъ столкнулся съ Маріанной и, снова заглянувъ ей въ глаза, снова убѣдился, что будетъ съ ней какъ товарищъ, хотя она не только не улыбнулась ему, но даже нахмурила брови.

Онъ нашелъ комнату свою всю наполненною душистой свѣжестью: окна оставались открытыми цѣлый день. Въ саду, прямо противъ его окна, коротко и звучно щелкалъ соловей; ночное небо тускло и тепло краснѣло надъ округленными верхушками липъ: то готовилась выплыть луна. Неждановъ зажегъ свѣчку; ночныя сѣрыя бабочки такъ и посыпались изъ темнаго сада и пошли на огонь, кружась и толкаясь, а вѣтеръ ихъ отдувалъ, и колебалъ сине-желтое пламя свѣчи.

„Странное дѣло!“ думалъ Неждановъ, уже лежа въ постели... „Хозяева — люди, кажется, хорошіе, либеральные, даже гуманные... а томно что-то на душѣ. Камергеръ... камеръ-юнкеръ... Ну, утро вечера мудренѣе... Сентиментальничать нечего“.

Но въ это мгновенье въ саду сторожъ настойчиво и громко застучалъ въ доску—и раздался протяжный крикъ: „Слуша...а...ай!“

— Примѣча...а...й!—отозвался другой заунывный голосъ.

— Фу ты, Боже мой!—точно въ крѣпости!

VIII.

Неждановъ проснулся рано и, не дожидаясь появленія *слуги, одѣлся* и сошелъ въ садъ. Очень онъ былъ велико

и красивъ, этотъ садъ, и содержался въ отличномъ порядкѣ: нанятые работники скребли лопатами дорожки; въ яркой зелени кустовъ мелькали красные платки на головахъ крестьянскихъ дѣвушекъ, вооруженныхъ граблями. Неждановъ добрался до пруда: утренній туманъ съ него слетѣлъ — но онъ еще дымился мѣстами, въ тѣнистыхъ излучинахъ береговъ. Невысокое солнце било розовымъ свѣтомъ по шелковистому свинцу его широкой глади. Человѣкъ пять плотниковъ возилось около плота: тутъ же колыхалась, слабо переваливаясь съ-боку-на-бокъ и пуская отъ себя легкую рябь по водѣ, новая, раскрашенная лодка. Людскіе голоса звучали рѣдко и сдержанно: ото всего вѣяло утромъ, тишиной и спокойствіемъ утренней работы, вѣяло порядкомъ и правильностью установленной жизни. И вотъ, на поворотѣ аллеи, Нежданову предстало само олицетвореніе порядка и правильности— предсталъ Сипягинъ.

На немъ былъ сюртукъ гороховаго цвѣта, въ родѣ шлафрока, и пестрый картузъ; онъ опирался на англійскую бамбуковую трость, и только-что выбритое лицо его дышало довольствомъ; онъ шелъ осматривать свое хозяйство. Сипягинъ привѣтливо поздоровался съ Неждановымъ.

— Ага!—воскликнулъ онъ:—я вижу, вы изъ молодыхъ, да ранній! (Онъ, вѣроятно, хотѣлъ этой не совсѣмъ умѣстной поговоркой выразить свое одобреніе Нежданову за то, что тотъ такъ же, какъ и онъ самъ, недолго оставался въ постели.) — Мы въ восемь часовъ пьемъ общій чай въ столовой, а въ двѣнадцать завтракаемъ; въ десять часовъ вы дадите Колѣ вашъ первый урокъ въ русскомъ языкѣ, а въ два—въ исторіи. Завтра, 9-го мая, онъ именинникъ, и уроковъ не будетъ; но сегодня прошу начать!

Неждановъ наклонилъ голову, а Сипягинъ простился съ нимъ на французскій манеръ, нѣсколько разъ сряду быстро поднеся руку къ собственнымъ губамъ и носу— и пошелъ далѣе, бойко размахивая тростью и посвистывая—вовсе не какъ важный чиновникъ или сановникъ— а какъ добрый русскій country gentleman.

До 8-ми часовъ Неждановъ оставался въ саду, наслаж-

ждаясь тѣнью старыхъ деревьевъ, свѣжестью воздуха, пѣньемъ птицъ; завыванія гонга призвали его въ домъ— и онъ нашелъ все общество въ столовой. Валентина Михайловна очень ласково обошлась съ нимъ; въ утреннемъ туалетѣ она показалась ему совершенной красавицей. Лицо Маріанны выражало обычную сосредоточенность и суровость. Ровно въ десять часовъ произошелъ первый урокъ въ присутствіи Валентины Михайловны: она сперва освѣдомилась у Нежданова, не будетъ ли она мѣшать? и все время очень скромно держала себя. Коля оказался мальчикомъ понятливымъ; послѣ неизбѣжныхъ первыхъ колебаній и неловкостей, урокъ сошелъ благополучно. Валентина Михайловна осталась, повидимому, весьма довольна Неждановымъ, и нѣсколько разъ привѣтливо заговаривала съ нимъ. — Онъ упирался... но не слишкомъ. Валентина Михайловна присутствовала также на второмъ урокѣ — изъ русской исторіи. Она съ улыбкой объявила, что по этому предмету нуждается въ наставникѣ не хуже самого Коли—и такъ же чинно и тихо держала себя, какъ въ теченіе перваго урока. Отъ 2-хъ до 5-ти Нежданов сидѣлъ у себя въ комнатѣ, писалъ письма въ Петербургъ— и чувствовалъ себя... такъ себѣ: скуки не было, не было и тоски; натянутые нервы понемножку смягчались. Они напряглись снова во время обѣда, хотя Калломѣйцевъ отсутствовалъ и ласковая предупредительность хозяйки не измѣнялась; но самая эта предупредительность нѣсколько сердила Нежданова. — Къ тому же, его сосѣдка, старая дѣвица Анна Захаровна, явно враждовала и дулась, а Маріанна продолжала серьезничать, и самый Коля уже слишкомъ безцеремонно толкалъ его ногами. Сипягинъ также казался не въ духѣ. Онъ былъ очень недоволенъ управляющимъ своей писчебумажной фабрики, нѣмцемъ, котораго нанялъ за большія деньги. Сипягинъ принялся бранить всѣхъ вообще нѣмцевъ, при чемъ объявилъ, что онъ до нѣкоторой степени славянофилъ, хоть и не фанатикъ, и упомянулъ объ одномъ молодомъ русскомъ, нѣкоемъ Соломинѣ, который, по слухамъ, на отличную ногу *поставилъ фабрику* сосѣда-купца; очень ему хотѣлось по-

знакомиться съ этимъ Соломинымъ. Къ вечеру пріѣхалъ Калломѣйцевъ, имѣніе котораго находилось всего въ десяти верстахъ отъ „Аржаного“; такъ называлась деревня Сипягина. Пріѣхалъ также мировой посредникъ, помѣщикъ изъ числа тѣхъ, которыхъ столь мѣтко охарактеризовалъ Лермонтовъ двумя извѣстными стихами:

Весь спрятанъ въ галстукъ, фракъ до пятъ...
Усы, дискантъ—и мутный взглядъ.

Пріѣхалъ другой сосѣдъ съ унылымъ, беззубымъ лицомъ, но чрезвычайно чисто одѣтый; пріѣхалъ уѣздный докторъ, весьма плохой врачъ, любившій щеголять учеными терминами: онъ увѣрялъ, напримѣръ, что предпочитаетъ Кукольника Пушкину, потому что въ Кукольникѣ много „протоплазмы“. Сѣли играть въ стуколку. Неждановъ удалился къ себѣ въ комнату—и за полночь читалъ и писалъ.

На слѣдующій день, 9-го мая, были Колины именины. Цѣлымъ домомъ, въ трехъ открытыхъ коляскахъ, съ лакеями на запяткахъ, отправились „господа“ къ обѣднѣ, а до нея и четверти версты не было. Все произошло очень парадно и пышно. Сипягинъ возложилъ на себя ленту; Валентина Михайловна одѣлась въ прелестное парижское платье блѣдно-сиреневаго цвѣта—и въ церкви, во время обѣдни, молилась по крошечной книжечкѣ, переплетенной въ малиновый бархатъ; книжечка эта смущала иныхъ стариковъ; одинъ изъ нихъ не воздержался и спросилъ у своего сосѣда: „Что это она, прости Господи, колдуетъ, что ли?“—Благовоніе цвѣтовъ, наполнявшихъ церковь, сливалось съ сильнымъ запахомъ новыхъ насѣренныхъ армяковъ, дегтярныхъ сапоговъ и котовъ—и надъ тѣми и другими испареніями удушливо-пріятно царилъ ладанъ. Дьячки и понамари на клиросахъ пѣли удивительно-старательно. Съ помощью присоединившихся къ нимъ фабричныхъ, они покусились даже на концертъ! Была минута, когда всѣмъ присутствовавшимъ стало нѣсколько... жутко. Теноровый голосъ (онъ принадлежалъ фабричному Климу, человѣку въ злѣйшей чахоткѣ) выводилъ одинъ, безъ всякой поддержки, хроматическіе, минорные и бемольные *тоны;—они были ужасны*, эти тоны!—но оборвись они—

во-вторыхъ, сословіе, общество; въ-третьихъ, народъ—да, милостивые государи, народъ,—и въ-четвертыхъ—правительство! Постепенно возвышаясь, Сипягинъ достигъ, наконецъ, истиннаго краснорѣчія, причемъ, на подобіе Роберта Пиля, закладывалъ руку за фалду фрака; пришелъ въ умиленіе отъ словъ „наука“ и кончилъ свой спичъ латинскимъ восклицаніемъ: Laboremus! которое тутъ же перевелъ на русскій языкъ. Коля съ бокаломъ въ рукѣ отправился вдоль стола благодарить отца и цѣловаться со всѣми.

Нежданову опять пришлось помѣняться взглядами съ Маріанной... Оба они, вѣроятно, ощущали одно и то же... Но другъ съ другомъ они не говорили.

Впрочемъ, Нежданову все, что онъ видѣлъ, казалось болѣе смѣшнымъ и даже занимательнымъ, нежели досаднымъ или противнымъ, а любезная хозяйка, Валентина Михайловна, являлась ему умной женщиной, которая знаетъ, что разыгрываетъ роль, и въ то же время тайно радуется, что есть другое лицо, тоже умное и догадливое, которое ее постигаетъ... Неждановъ, вѣроятно, самъ не подозрѣвалъ, до какой степени его самолюбіе было польщено ея обхожденіемъ съ нимъ.

На слѣдующій день уроки возобновились, и жизнь побѣжала обычной колеей.

Недѣля прошла незамѣтно... О томъ, что испыталъ, что передумалъ Неждановъ, лучше всего можетъ дать понятіе отрывокъ изъ его письма къ нѣкоему Силину, бывшему его товарищу по гимназіи и лучшему его другу. Силинъ этотъ жилъ не въ Петербургѣ, а въ отдаленномъ губернскомъ городѣ, у зажиточнаго родственника, отъ котораго зависѣлъ вполнѣ. Положеніе его опредѣлилось такъ, что ему нечего было и думать когда-нибудь вырваться оттуда; человѣкъ онъ былъ немощный, робкій и недальній, но замѣчательно чистой души. Политикой онъ не занимался, почитывалъ кое-какія книжки, игралъ отъ скуки на флейтѣ и боялся барышень. Силинъ страстно любилъ Нежданова — сердце у него было вообще привязчивое. *Ни передъ кѣмъ* Неждановъ такъ беззавѣтно не

высказывался, какъ передъ Владиміромъ Силинымъ; когда онъ писалъ къ нему, ему всегда казалось, что онъ бесѣдуетъ съ существомъ близкимъ и знакомымъ, — но жильцомъ другого міра, или съ собственной совѣстью. Неждановъ не могъ даже представить себѣ, какъ бы онъ снова зажилъ съ Силинымъ, по-товарищески, въ одномъ городѣ... Онъ, вѣроятно, тотчасъ охладѣлъ бы къ нему: очень мало было у нихъ общаго; но писалъ онъ къ нему охотно и много—и вполнѣ откровенно. Съ другими онъ — на бумагѣ, по крайней мѣрѣ,—все какъ будто фальшилъ или рисовался; съ Силинымъ—никогда! Плохо владѣя перомъ, Силинъ отвѣчалъ мало, короткими, неловкими фразами; но Неждановъ и не нуждался въ пространныхъ отвѣтахъ: онъ зналъ и безъ того, что другъ его поглощаетъ каждое его слово, какъ дорожная пыль брызги дождя, хранитъ его тайны, какъ святыню — и, затерянный въ глухомъ и безвыходномъ уединеніи, только и живетъ, что его жизнью. Никому въ свѣтѣ Неждановъ не говорилъ о своихъ сношеніяхъ съ нимъ и дорожилъ ими чрезвычайно.

„Ну, дружище,—чистый Владиміръ!“—такъ писалъ онъ ему: онъ всегда называлъ его чистымъ, и не даромъ!— „поздравь меня: попалъ я на подножный кормъ и могу теперь отдохнуть и собраться съ силами. Я живу на кондиціи у богатаго сановника Сипягина, учу его сынишку, ѣмъ чудесно (я въ жизни такъ не ѣдалъ!), сплю крѣпко, гуляю всласть по прекраснымъ окрестностямъ—а главное: вышелъ на время изъ-подъ опеки петербургскихъ друзей; и хоть сначала скука грызла лихо, но теперь какъ будто легче стало. Въ скорости придется надѣть извѣстную тебѣ лямку, т. е. полѣзть въ кузовъ, такъ какъ я назвался груздемъ (меня собственно затѣмъ и отпустили сюда); но, пока, я могу жить драгоцѣнной животной жизнью, расти въ брюхо—и, пожалуй, стихи сочинять, коли приспичитъ охота. Такъ-называемыя наблюденія отлагаются до другого времени: имѣніе мнѣ кажется благоустроеннымъ, вотъ только развѣ фабрика подгуляла; отдѣленные по выкупу мужики—какіе-то недоступные; нанятые дворовые—ужъ очень *всѣ пристойныя* физіономіи. Но мы это разберемъ

впослѣдствіи. Хозяева—учтивые, либеральные; баринъ все снисходитъ, все снисходитъ—а то вдругъ возьметъ и воспаритъ: преобразованный мужчина! Барыня—писанная красавица и очень, должно-быть, себѣ на умѣ: такъ и караулитъ тебя,—а ужъ какъ мягка!—Совсѣмъ безкостная! Я ея побаиваюсь; ты вѣдь знаешь, какой я дамскій кавалеръ!—Сосѣди есть—скверные; старуха одна меня притѣсняетъ... Но больше всѣхъ меня занимаетъ одна, дѣвушка, родственница ли, компаньонка ли,—Господь ее знаетъ!—съ которой я почти двухъ словъ не сказалъ, но въ которой я чувствую своего поля ягоду..."

Тутъ слѣдовало описаніе наружности Маріанны—всей ея повадки; а потомъ онъ продолжалъ:

„Что она несчастна, горда, самолюбива, скрытна, а главное, несчастна,—это для меня не подлежитъ сомнѣнію. Почему она несчастна,—этого я до сихъ поръ еще не знаю. Что она натура честная,—это мнѣ ясно; добра ли она,—это еще вопросъ. Да и существуютъ ли вполнѣ добрыя женщины—если онѣ не глупы? И нужно ли это? Впрочемъ, я женщинъ вообще мало знаю. Хозяйка ее не любитъ... И она ей платитъ тѣмъ же... Но кто изъ нихъ правъ,—неизвѣстно. Я полагаю, что скорѣй хозяйка не права... такъ какъ ужъ очень она вѣжлива съ нею; а у *той* даже брови нервически подергиваются, когда она говоритъ съ своей патроншей. Да; очень она нервическое существо; это тоже по моей части. И *вывихнута* она такъ же, какъ я,—хотя вѣроятно не однимъ и тѣмъ же манеромъ.

„Когда все это немножко распутается,—напишу тебѣ...

„Она со мной почти никогда не бесѣдуетъ, какъ я уже сказалъ тебѣ; но въ немногихъ ея словахъ, ко мнѣ обращенныхъ—(всегда внезапно и неожиданно)—звучитъ какая-то жесткая откровенность... Мнѣ это пріятно.

„Кстати, что, родственникъ твой все еще держитъ тебя на сухояденіи—и не собирается умирать?

„Читалъ ли ты въ „Вѣстникѣ Европы" статью о послѣднихъ самозванцахъ въ Оренбургской губерніи? Въ 34-мъ *году это* происходило, братъ! Журналъ я этотъ не люблю,

и авторъ—консерваторъ; но вещь интересная, и можетъ навести на мысли..."

IX.

Май уже перевалился за вторую половину; стояли первые жаркіе лѣтніе дни. — Окончивъ урокъ исторіи, Неждановъ отправился въ садъ, а изъ сада перешелъ въ березовую рощу, которая примыкала къ нему съ одной стороны.—Часть этой рощи свели купцы лѣтъ пятнадцать тому назадъ; но всѣмъ вырубленнымъ мѣстамъ засѣлъ сплошной березнякъ. Нѣжно-матовыми серебряными столбиками, съ сѣроватыми поперечными кольцами, стояли частые стволы деревьевъ; мелкіе листья ярко и дружно зеленѣли, словно кто ихъ вымылъ и лакъ на нихъ навелъ; весенняя травка пробивалась острыми язычками сквозь ровный слой прошлогодней темнопалевой листвы. Всю рощу прорѣзали узкія дорожки; желтоносые черные дрозды съ внезапнымъ крикомъ, словно испуганные, перелетывали черезъ эти дорожки, низко, надъ самой землей,—и бросались въ чащу, сломя голову. Погулявши съ полчаса, Неждановъ присѣлъ, наконецъ, на срубленный пень, окруженный сѣрыми, старыми щепками: онѣ лежали кучкой такъ, какъ упали, отбитыя когда-то топоромъ. Много разъ ихъ покрывалъ зимній снѣгъ—и сходилъ съ нихъ весною,—и никто ихъ не трогалъ. Неждановъ сидѣлъ спиною къ сплошной стѣнѣ молодыхъ березъ, въ густой, но короткой тѣни; онъ не думалъ ни о чемъ, онъ отдавался весь тому особенному весеннему ощущенію, къ которому — и въ молодомъ, и въ старомъ сердцѣ — всегда примѣшивается грусть... взволнованная грусть ожиданія—въ молодомъ, неподвижная грусть сожалѣнія—въ старомъ...

Нежданову вдругъ послышался шумъ приближавшихся шаговъ.

То шелъ не одинъ человѣкъ—и не мужикъ въ лаптяхъ или тяжелыхъ сапогахъ—и не босоногая баба. Казалось, двое шли не спѣша, мѣрно... Женское платье прошуршало *слегка...*

Вдругъ раздался глухой голосъ, голосъ мужчины:

— И такъ, это ваше послѣднее слово? Никогда?

— Никогда!—повторилъ другой, женскій голосъ, показавшійся Нежданову знакомымъ,—и мгновеніе спустя, изъза угла дорожки, огибавшей въ этомъ мѣстѣ молодой березнякъ,—выступила Маріанна въ сопровожденіи человѣка смуглаго, черноглазаго, котораго Нежановъ до того мгновенія не видалъ.

Оба остановились, какъ вкопанные, при видѣ Нежданова; — а онъ до того удивился, что даже не поднялся съ пня, на которомъ сидѣлъ... Маріанна покраснѣла до корней волосъ, но тотчасъ же презрительно усмѣхнулась... Къ кому относилась эта усмѣшка — къ ней самой за то, что она покраснѣла—или къ Нежданову?.. А спутникъ ея нахмурилъ свои густыя брови — и сверкнулъ желтоватыми бѣлками безпокойныхъ глазъ. Потомъ онъ переглянулся съ Маріанной — и оба, повернувшись спиною къ Нежданову, пошли прочь, молча, не прибавляя шагу, между тѣмъ какъ онъ провожалъ ихъ изумленнымъ взоромъ.

Полчаса спустя, онъ вернулся домой, въ свою комнату,— и когда, призванный завываньями гонга, вошелъ въ гостиную, онъ увидалъ въ ней того самаго черномазаго незнакомца, который наткнулся на него въ рощѣ. Сипягинъ подвелъ къ нему Нежданова и представилъ его, какъ своего beau-frère'a, брата Валентины Михайловны — Сергѣя Михайловича Маркелова.

— Прошу васъ, господа, любить другъ друга и жаловать!—воскликнулъ Сипягинъ съ столь свойственной ему величественно-привѣтной и въ то же время разсѣянной улыбкой.

Маркеловъ отвѣсилъ безмолвный поклонъ; Нежановъ отвѣчалъ таковымъ же... а Сипягинъ, слегка закидывая назадъ свою небольшую головку и подергивая плечами, отошелъ въ сторону.—„Я, молъ, васъ свелъ, а будете ли вы точно любить и жаловать другъ друга—это для меня *довольно индифферентно!*“

Тогда Валентина Михайловна приблизилась къ него-

движно-стоявшей четѣ, снова представила ихъ другъ другу— и съ особенной, ласковой свѣтлостью взгляда, которая, словно по командѣ, приливала къ ея чудеснымъ глазамъ, заговорила съ братомъ.

— Что̀ это, cher Serge, ты насъ совсѣмъ забываешь! даже на именины Коли не пріѣхалъ. Или занятій у тебя такъ много накопилось?—Онъ со своими крестьянами какіе-то новые порядки заводитъ,—обратилась она къ Нежданову:—преоригинальные: имъ три четверти всего—а себѣ одну четверть; и то онъ еще находитъ, что много ему достается.

— Сестра любитъ шутить,—обратился въ свою очередь Маркеловъ къ Нежданову:—но я готовъ съ ней согласиться, что *одному* человѣку взять четверть того, что̀ принадлежитъ цѣлой *сотнѣ*,—дѣйствительно много.

— А вы, Алексѣй Дмитріевичъ, замѣтили, что я люблю шутить?—спросила Сипягина все съ тою же ласковой мягкостью и взора, и голоса.

Неждановъ не нашелся, что̀ отвѣтить;—а тутъ доложили о пріѣздѣ Калломѣйцева. Хозяйка пошла къ нему навстрѣчу,—и нѣсколько минутъ спустя, дворецкій появился и пѣвучимъ голосомъ провозгласилъ, что—кушанье готово.

За обѣдомъ Неждановъ невольно все посматривалъ на Маріанну и на Маркелова.—Они сидѣли рядомъ, оба съ опущенными глазами, со стиснутыми губами, сумрачнымъ и строгимъ, почти озлобленнымъ выраженіемъ лица. Неждановъ особенно дивился тому, какимъ образомъ могъ Маркеловъ быть братомъ Сипягиной? Такъ мало сходства замѣчалось между ними.—Одно развѣ: у обоихъ кожа была смуглая; но у Валентины Михайловны матовый цвѣтъ лица, рукъ и плечъ составлялъ одну изъ ея прелестей... у ея брата онъ переходилъ въ ту черноту, которую вѣжливые люди величаютъ бронзой, но которая русскому глазу напоминаетъ—голенище. Волосы Маркеловъ имѣлъ курчавые, носъ нѣсколько крючковатый, губы крупныя, впалыя щеки, втянутый животъ и жилистыя *руки. Весь онъ былъ жилистый*, сухой,—и говорилъ мѣд-

нымъ, рѣзкимъ, отрывистымъ голосомъ. Сонный взглядъ—угрюмый видъ,—какъ есть желчевикъ! Онъ ѣлъ мало, больше каталъ шарики изъ хлѣба—и лишь изрѣдка вскидывалъ глазами на Калломѣйцева, который только-что вернулся изъ города, гдѣ видѣлъ губернатора—по не совсѣмъ пріятному для него, Калломѣйцева, дѣлу, о которомъ онъ впрочемъ тщательно умалчивалъ,—и заливался соловьемъ.

Сипягинъ, попрежнему, осаживалъ его, когда онъ черезчуръ заносился, но много смѣялся его анекдотамъ и бон-мо, хотя и находилъ — „qu'il est un affreux réactionnaire". Калломѣйцевъ увѣрялъ между прочимъ, что пришелъ въ совершенный восторгъ отъ названія, которое мужики — oui, oui! les simples mougiks! — даютъ адвокатамъ. „Брехунцы! брехунцы!" — повторялъ онъ съ восхищеніемъ: — ce peuple russe est délicieux! — Потомъ онъ разсказалъ, какъ, посѣтивъ однажды народную школу, онъ поставилъ ученикамъ вопросъ: Что есть строфокамилъ?—И такъ какъ никто не умѣлъ отвѣтить, ни даже самъ учитель,—то онъ, Калломѣйцевъ, поставилъ другой вопросъ: Что есть пиѳикъ? — причемъ привелъ стихъ Хемницера: „И пиѳикъ слабоумъ, списатель звѣрскихъ лицъ!"—И на это ему никто не отвѣтилъ.—Вотъ вамъ и народныя школы!

— Но позвольте,—замѣтила Валентина Михайловна:—я сама не знаю, что это за звѣри такіе?

— Сударыня!—воскликнулъ Калломѣйцевъ:—вамъ этого и не нужно знать!

— А для чего же это народу нужно?

— А для того, что ему лучше знать пиѳика или строфокамила,—чѣмъ какого-нибудь Прудона—или даже Адама Смита!

Но тутъ Сипягинъ снова осадилъ Калломѣйцева, объявивъ, что Адамъ Смитъ—одно изъ свѣтилъ человѣческой мысли, и что было бы полезно всасывать его принципы... (онъ налилъ себѣ рюмку шато д'икему...) вмѣстѣ съ молокомъ... (онъ провелъ у себя подъ носомъ и понюхалъ вино...) *матери!*—Онъ проглотилъ рюмку, Калломѣйцевъ тоже *выпилъ* и похвалилъ вино.

Маркеловъ не обращалъ особеннаго внимапія на разглагольствованія петербургскаго камеръ-юнкера, но раза два вопросительно посмотрѣлъ на Нежданова и, подбросивъ хлѣбный шарикъ, чуть было не попалъ имъ прямо въ носъ краснорѣчивому гостю...

Сипягинъ оставлялъ своего зятя въ покоѣ; Валентина Михайловна также не заговаривала съ нимъ;—видно было, что они оба, и мужъ и жена, привыкли считать Маркелова за чудака, котораго лучше не задирать.

Послѣ обѣда Маркеловъ отправился въ бильярдную курить трубку,—а Нежданов пошелъ въ свою комнату.— Въ коридорѣ онъ наткнулся на Маріанну. Онъ хотѣлъ было пройти мимо... она остановила его рѣзкимъ движеніемъ руки.

— Г-нъ Нежданов,—заговорила она не совсѣмъ твердымъ голосомъ: — мнѣ, по настоящему, должно быть все равно, что вы обо мнѣ ни думаете; но я все-таки полагаю... я полагаю... (она не находила слова...) Я полагаю умѣстнымъ сказать вамъ, что когда вы встрѣтили сегодня въ рощѣ меня съ г-мъ Маркеловымъ... Скажите, вы, вѣроятно, подумали: отчего это они оба смутились и зачѣмъ это они пришли сюда,—словно на свиданіе?

— Мнѣ дѣйствительно показалось немного страннымъ.., началъ-было Нежданов.

— Г-нъ Маркеловъ,— подхватила Маріанна: — сдѣлалъ мнѣ предложеніе; — и я ему отказала. Вотъ все, что я имѣла сказать вамъ; засимъ — прощайте. И думайте обо мнѣ, что хотите.

Она быстро отвернулась и пошла скорыми шагами по коридору.

Нежданов вернулся къ себѣ въ комнату и, присѣвъ передъ окномъ, задумался.—Что за странная дѣвушка — и къ чему эта дикая выходка, эта непрошенная откровенность? Что это такое — желаніе пооригинальничать — или просто фразерство—или гордость? Вѣрнѣе всего, что гордость. Ей не въ терпежъ малѣйшее подозрѣніе... Она не выноситъ мысли, что другой ложно судитъ о ней. — Странная дѣвушка!

Такъ размышлялъ Неждановъ; а внизу на террасѣ шелъ разговоръ о немъ; и онъ очень хорошо все слышалъ.

— Чуетъ мой носъ, — увѣрялъ Калломѣйцевъ: — чуетъ, что это — красный. Я, еще въ бытность мою чиновникомъ по особымъ порученіямъ у московскаго генералъ-губернатора — avec Ladislas — навострился на этихъ господъ — на красныхъ, да вотъ еще на раскольниковъ. Чутьемъ, бывало, беру, верхнимъ.—Тутъ Калломѣйцевъ „кстати" разсказалъ, какъ онъ однажды, въ окрестностяхъ Москвы, поймалъ *за каблукъ* старика-раскольника, на котораго нагрянулъ съ полиціей и который едва-было не выскочилъ изъ окна избы... „И такъ до той минуты смирно сидѣлъ на лавкѣ, бездѣдьникъ!"

Калломѣйцевъ забылъ прибавить, что этотъ самый старикъ, посаженный въ тюрьму, отказался отъ всякой пищи — и уморилъ себя голодомъ.

— А вашъ новый учитель, — продолжалъ ретивый камеръ-юнкеръ: — красный, непремѣнно! Обратили ли вы вниманіе на то, что онъ никогда первый не кланяется?

— Да зачѣмъ же онъ станетъ первый кланяться?—замѣтила Сипягина:—мнѣ это, напротивъ, въ немъ нравится.

— Я гость въ домѣ, гдѣ онъ служитъ, — воскликнулъ Калломѣйцевъ:—да, да служитъ, за деньги, comme un salarié... Стало-быть, я ему старшой.—И онъ *долженъ* мнѣ кланяться первый.

— Вы очень взыскательны, мой любезнѣйшій, — вмѣшался Сипягинъ, съ удареніемъ на *ѣй*:—все это пахнетъ, извините, чѣмъ-то весьма отсталымъ. Я купилъ его услуги, его работу, но онъ остался человѣкомъ свободнымъ.

— Узды онъ не чувствуетъ, — продолжалъ Калломѣйцевъ:—узды: le frein! Всѣ эти красные — таковы. Говорю вамъ: у меня на нихъ носъ чудный! — Вотъ развѣ Ladislas со мной—въ этомъ отношеніи—потягаться можетъ.— Попадись онъ мнѣ, этотъ учитель, въ руки, — я бы его подтянулъ! Я бы его вотъ какъ подтянулъ! Онъ бы у меня запѣлъ другимъ голосомъ;—и какъ бы шапку ломать передо мной сталъ... прелесть!

— *Дрянь*, хвастунишка!—чуть-было не закричалъ свер-

ху Неждановъ... Но въ это мгновеніе дверь его комнаты растворилась — и въ нее, къ немалому изумленію Нежданова,—вошелъ Маркеловъ.

X.

Неждановъ приподнялся съ своего мѣста ему навстрѣчу, а Маркеловъ прямо подошелъ къ нему и, безъ поклона и безъ улыбки, спросилъ его: точно ли онъ Алексѣй Дмитріевъ Неждановъ, студентъ С.-Петербургскаго университета?

— Да... точно,—отвѣчалъ Неждановъ.

Маркеловъ досталъ изъ бокового кармана распечатанное письмо.— Въ такомъ случаѣ—прочтите это. Отъ Василія Николаевича, — прибавилъ онъ, значительно понизивъ голосъ.

Неждановъ развернулъ и прочелъ письмо. Это было нѣчто въ родѣ полу-офиціальнаго циркуляра, въ которомъ податель, Сергѣй Маркеловъ, рекомендовался, какъ одинъ изъ „нашихъ“, вполнѣ заслуживавшихъ довѣрія; далѣе слѣдовало наставленіе о безотлагательной необходимости взаимнодѣйствія, о распространеніи извѣстныхъ правилъ. Циркуляръ былъ между прочимъ адресованъ и Нежданову, тоже какъ вѣрному человѣку.

Неждановъ протянулъ руку Маркелову, попросилъ его сѣсть и самъ опустился на стулъ. Маркеловъ началъ съ того, что, ни слова не говоря, закурилъ папиросу. Неждановъ послѣдовалъ его примѣру.

— Вы съ здѣшними крестьянами уже успѣли сблизиться?—спросилъ, наконецъ, Маркеловъ.

— Нѣтъ; пока еще не успѣлъ.

— Да вы давно ли сюда прибыли?

— Скоро двѣ недѣли будетъ.

— Занятій много?

— Не слишкомъ.

Маркеловъ угрюмо кашлянулъ.

— Гмъ! Народъ здѣсь довольно пустой, — продолжалъ онъ: — темный народъ. Поучать надо. Бѣдность большая, а растолковать некому, отчего эта самая бѣдность происходитъ.

— Бывшіе мужики вашего зятя, сколько можно судить, не бѣдствуютъ,—замѣтилъ Неждановъ.

— Зять мой—хитрецъ; глаза отводить—мастеръ. Крестьяне здѣшніе—точно, ничего; но у него есть фабрика. Вотъ гдѣ нужно стараніе приложить. Тутъ только копни: что̀ въ муравьиной кучкѣ, сейчасъ заворошатся.—Книжки у васъ съ собою есть?

— Есть... да не много.

— Я вамъ доставлю. Какъ же это вы такъ?

Неждановъ ничего не отвѣчалъ. — Маркеловъ тоже умолкъ и только дымъ пускалъ ноздрями.

— Какой, однако, мерзавецъ этотъ Калломѣйцевъ,—промолвилъ онъ вдругъ.—Я за обѣдомъ думалъ: встать, подойти къ этому барину—и расшибить въ прахъ всю его нахальную физіономію, чтобы другимъ повадно не было. Да нѣтъ! Теперь есть дѣла поважнѣе, чѣмъ бить камеръюнкеровъ. — Теперь не время сердиться на дураковъ за то̀, что они говорятъ глупыя слова; теперь время мѣшать имъ глупыя дѣла дѣлать.

Неждановъ качнулъ головой утвердительно, — а Маркеловъ опять принялся за папироску.

— Тутъ, между всей этой дворовой челядью, есть одинъ малый дѣльный—началъ онъ снова:—не слуга вашъ Иванъ... это — рыба какая-то, а другой... ему имя Кириллъ, онъ при буфетѣ. (Кириллъ этотъ былъ извѣстенъ, какъ горькій пьяница.) — Вы обратите на него вниманіе. Забубенная голова... да вѣдь намъ деликатничать не приходится. А что̀ объ моей сестрѣ скажете? — прибавилъ онъ, внезапно поднявъ голову и уставивъ свои желтые глаза на Нежданова.—Эта еще похитрѣе будетъ, чѣмъ мой зятёкъ. Какъ вы объ ней полагаете?

— Я полагаю, что она очень пріятная и любезная дама... И къ тому же она очень красива.

— Гмъ! Какъ это вы, господа, въ Петербургѣ тонко выражаетесь... Удивляюсь! — Ну... а насчетъ... — началъ было онъ, но вдругъ насупился, потемнѣлъ въ лицѣ и не докончилъ начатой фразы. — Намъ, я вижу, надо съ *вами хорошенько* потолковать,—заговорилъ онъ опять.—

Здѣсь невозможно. Чортъ ихъ знаетъ! Подъ дверьми, пожалуй, подслушиваютъ. Знаете ли, что я вамъ предлагаю? Сегодня суббота; завтра вы, чай, моему племяннику уроковъ не даете?.. Не правда ли?

— У меня завтра съ нимъ репетиція въ три часа.

— Репетиція! Точно въ театрѣ. Это, должно-быть, моя сестрица такія слова выдумываетъ. Ну, все равно. Хотите? Поѣдемте сейчасъ ко мнѣ. Моя деревня отсюда въ десяти верстахъ. Лошади у меня хорошія: сомчатъ духомъ—вы у меня переночуете, проведете утро,—а завтра къ тремъ часамъ я васъ обратно доставлю. Согласны?

— Извольте,—промолвилъ Нежданов.. Съ самаго прихода Маркелова онъ находился въ возбужденномъ и стѣсненномъ состояніи. — Внезапное сближеніе съ нимъ его смущало; и въ то же время его влекло къ нему. — Онъ чувствовалъ, онъ понималъ, что передъ нимъ существо, вѣроятно тупое, но несомнѣнно честное—и сильное.—Къ тому же эта крѣпкая встрѣча въ рощѣ, это неожиданное объясненіе Маріанны...

— Ну, и прекрасно! — воскликнулъ Маркеловъ. — Вы, пока, приготовьтесь; а я пойду, велю заложить тарантасъ. Вѣдь вамъ, я надѣюсь, нечего спрашиваться у здѣшнихъ хозяевъ?

— Я ихъ предувѣдомлю. Безъ этого, я полагаю, мнѣ отлучиться нельзя.

— Я имъ скажу, — подхватилъ Маркеловъ. — Вы не безпокойтесь.—Они теперь дуются въ карты—и не замѣтятъ вашего отсутствія. Мой зять все въ государственные люди мѣтитъ, а только за нимъ и есть, что въ карты отлично играетъ. Ну, и то сказать: черезъ этотъ фортель многіе выходятъ!.. Такъ будьте готовы. Я сейчасъ распоряжусь.

Маркеловъ удалился; а часъ спустя, Нежданов сидѣлъ рядомъ съ нимъ на большой кожаной подушкѣ, въ широкомъ, развалистомъ, очень старомъ и очень покойномъ тарантасѣ; приземистый кучеръ на облучкѣ непрестанно свисталъ какимъ-то удивительно-пріятнымъ, птичьимъ свистомъ; тройка пѣгихъ лошадокъ съ заплетенными черными гривами и хвостами быстро неслась по ровной до-

рогѣ; и уже застланные первою ночною тѣнью (въ минуту отъѣзда пробило десять часовъ) плавно проносились — иные взадъ, другіе впередъ, смотря по отдаленію—отдѣльныя деревья, кусты, поля, луга и овраги.

Небольшая деревенька Маркелова (въ ней было всего двѣсти десятинъ и приносила она около 700 р. дохода—звали ее Борзёнково) находилась въ трехъ верстахъ отъ губернскаго города, отъ котораго имѣніе Сипягина отстояло въ семи верстахъ. Чтобы попасть въ Борзёнково, надо было проѣхать черезъ городъ. — Не успѣли новые знакомцы обмѣняться и полусотней словъ,—какъ уже замелькали передъ ними дрянные подгородные мѣщанскіе домишки съ продавленными тесовыми крышами, съ тусклыми пятнами свѣта въ перекривленныхъ окошкахъ, а тамъ загремѣли подъ колесами камни губернской мостовой, тарантасъ запрыгалъ, заметался изъ стороны въ сторону... и, подпрыгивая при каждомъ толчкѣ, поплыли мимо глупые каменные двухъэтажные купеческіе дома, съ фронтонами, церкви съ колоннами, трактирныя заведенія... Дѣло было подъ воскресенье; на улицахъ уже не было прохожихъ, но въ кабакахъ еще толпился народъ. Хриплые голоса вырывались оттуда, пьяныя пѣсни, гнусливые звуки гармоникъ; изъ внезапно раскрытыхъ дверей било грязнымъ тепломъ, ѣдкимъ запахомъ спирта, краснымъ отблескомъ ночниковъ. Почти передъ каждымъ кабакомъ стояли крестьянскія телѣжёнки, запряженныя мохнатыми, пузатыми клячами; покорно понуривъ кудластыя головы, онѣ, казалось, спали; растерзанный, распоясанный мужикъ въ пухлой зимней шапкѣ, свѣсившейся мѣшкомъ на затылокъ, выходилъ изъ кабака—и, прислонившись грудью къ оглоблямъ, пребывалъ недвижимъ, что-то слабо ощупывая и разводя и шаря руками; или худощавый фабричный въ картузѣ набекрень, съ выпущенной китайчатой рубахой и босой — сапоги-то остались въ заведеніи — дѣлалъ нѣсколько нерѣшительныхъ шаговъ, останавливался, чесалъ *спину—и, внезапно* ахнувъ, возвращался вспять...

— *Одолѣваетъ* вино русскаго человѣка!—*сумрачно замѣтилъ* Маркеловъ.

— Съ горя, батюшка Сергѣй Михайловичъ! — промолвилъ, не оборачиваясь, кучеръ, который передъ каждымъ кабакомъ переставалъ свистать и словно въ себя углублялся.

— Пошелъ! пошелъ! — отвѣтилъ Маркеловъ, съ сердцемъ потрясая воротникомъ шинели. Тарантасъ перебрался черезъ обширную базарную площадь, всю провонявшую капустой и рогожей, миновалъ губернаторскій домъ съ пестрыми будками у воротъ, частный домъ съ башней, бульваръ съ только что посаженными и уже умиравшими деревцами, гостиный дворъ, наполненный собачьимъ лаемъ и лязгомъ цѣпей и, понемногу выбравшись за заставу, обогнавъ длинный, длинный обозъ, выступившій въ путь по холодку, снова очутился въ вольномъ загородномъ воздухѣ, на большой, вербами обсаженной дорогѣ — и снова покатилъ шибче и ровнѣй.

Маркеловъ — надо же сказать о немъ нѣсколько словъ — былъ шестью годами старше своей сестры, Сипягиной. Воспитывался онъ въ артиллерійскомъ училищѣ, откуда вышелъ офицеромъ; но уже въ чинѣ поручика онъ подалъ въ отставку, по непріятности съ командиромъ — нѣмцемъ. Съ тѣхъ поръ онъ возненавидѣлъ нѣмцевъ, особенно русскихъ нѣмцевъ. Отставка разссорила его съ отцомъ, съ которымъ онъ такъ и не видѣлся до самой его смерти; а унаслѣдовавъ отъ него деревеньку, поселился въ ней. Въ Петербургѣ онъ часто сходился съ разными умными, передовыми людьми, передъ которыми благоговѣлъ; они окончательно опредѣлили его образъ мыслей. Читалъ Маркеловъ немного — и больше все книги, идущія къ дѣлу: — Герцена въ особенности. Онъ сохранилъ военную выправку, жилъ спартанцемъ и монахомъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ страстно влюбился въ одну дѣвушку; но та измѣнила ему самымъ безцеремоннымъ манеромъ и вышла за адъютанта — тоже изъ нѣмцевъ. Маркеловъ возненавидѣлъ также и адъютантовъ. Онъ пробовалъ писать спеціальныя статьи о недостаткахъ нашей артиллеріи, но у *него не было никакого* таланта изложенія: — ни одной *статьи онъ не могъ* даже довести до конца — и все таки

продолжалъ исписывать большіе листы сѣрой бумаги своимъ крупнымъ, неуклюжимъ, истинно-дѣтскимъ почеркомъ. Маркеловъ былъ человѣкъ упрямый, неустрашимый до отчаянности, не умѣвшій ни прощать, ни забывать, постоянно оскорбляемый за себя, за всѣхъ угнетенныхъ — и на все готовый. Его ограниченный умъ билъ въ одну и ту же точку: чего онъ не понималъ, то для него не существовало; но презиралъ онъ и ненавидѣлъ фальшь и ложь. Съ людьми высшаго полета, „съ реаками", какъ онъ выражался, онъ былъ крутъ и даже грубъ; съ народомъ—простъ; съ мужикомъ обходителенъ, какъ съ своимъ братомъ. Хозяинъ онъ былъ посредственный; у него въ головѣ вертѣлись разные соціалистическіе планы, которые онъ такъ же не могъ осуществить, какъ не умѣлъ закончить начатыхъ статей о недостаткахъ артиллеріи. Ему вообще не везло—никогда и ни въ чемъ: въ корпусѣ онъ носилъ названіе „неудачника". Человѣкъ искренній, прямой, натура страстная и несчастная, онъ могъ, въ данномъ случаѣ, оказаться безжалостнымъ, кровожаднымъ, заслужить названіе изверга—и могъ также пожертвовать собою, безъ колебанія и безъ возврата.

Тарантасъ, на третьей верстѣ отъ города, внезапно въѣхалъ въ мягкій мракъ осиновой рощи, съ шорохомъ и трепетаніемъ незримыхъ листьевъ, съ свѣжей горечью лѣсного запаха, съ неясными прòсвѣтами вверху, съ перепутанными тѣнями внизу. Луна уже встала на небосклонѣ, красная и широкая, какъ мѣдный щитъ. Вынырнувъ изъ-подъ деревьевъ, тарантасъ очутился передъ небольшой помѣщичьей усадьбой. Три освѣщенныхъ окна яркими четырехугольниками выступали на переднемъ фасѣ низенькаго дома, заслонившаго собою дискъ луны: настежь раскрытыя ворота, казалось, не запирались никогда. На дворѣ, въ полумракѣ, виднѣлась высокая кибитка, съ привязанными сзади къ балчуку двумя бѣлыми ямскими лошадьми; два щенка, тоже бѣлыхъ, выскочили откуда-то и *залились* пронзительнымъ, но не злобнымъ лаемъ. Въ домѣ *зашевелились* люди—тарантасъ подкатилъ къ крыльцу — *и съ трудомъ* вылѣзая и отыскивая ногою желѣзную под-

ножку, придѣланную, какъ водится, доморощеннымъ кузнецомъ на самомъ неудобномъ мѣстѣ,—Маркеловъ сказалъ Нежданову:

— Вотъ, мы и дома — и вы найдете здѣсь гостей, которыхъ знаете хорошо, но никакъ не ожидаете встрѣтить.—Пожалуйте!

XI.

Этими гостями оказались наши старинные знакомые, Остродумовъ и Машурина. Оба сидѣли въ небольшой, крайне-плохо убранной гостиной Маркеловскаго дома—и при свѣтѣ керосиновой лампы пили пиво и курили табакъ. Они не удивились прибытію Нежданова; они знали, что Маркеловъ намѣревался привезти его съ собою; но Нежановъ очень удивился имъ. Когда онъ вошелъ, Остродумовъ промолвилъ: „здравствуй, братъ!“—и только; Машурина сперва побагровѣла вся, потомъ протянула руку. Маркеловъ объяснилъ Нежданову, что Остродумовъ и Машурина присланы по „общему дѣлу“, которое теперь скоро должно осуществиться; что они съ недѣлю тому назадъ выѣхали изъ Петербурга; что Остродумовъ остается въ С—й губерніи для пропаганды, — а Машурина ѣдетъ въ К. для свиданія съ однимъ человѣкомъ.

Маркеловъ внезапно раздражился, хотя никто ему не противорѣчилъ;—сверкая глазами, кусая усы, онъ началъ говорить взволнованнымъ, глухимъ, но отчетливымъ голосомъ о совершаемыхъ безобразіяхъ, о необходимости безотлагательнаго дѣйствія, о томъ, что въ сущности все готово и мѣшкать могутъ одни трусы; что нѣкоторая насильственность необходима, какъ ударъ ланцета по нарыву, какъ бы зрѣлъ этотъ нарывъ ни былъ! Онъ нѣсколько разъ повторилъ это сравненіе съ ланцетомъ: оно ему, очевидно, нравилось, онъ его не придумалъ, а вычиталъ гдѣ-то.—Казалось, что, потерявъ всякую надежду на взаимность со стороны Маріанны, онъ уже ничего не жалѣлъ, а только думалъ о томъ, какъ бы приняться поскорѣй *„за дѣло“*. Онъ говорилъ, точно топоромъ рубилъ, *безо всякой хитрости*, рѣзко, просто и злобно; слова одно

образно и вѣско выскакивали одно за другимъ изъ поблѣднѣвшихъ его губъ, напоминая отрывистый лай строгой и старой дворовой собаки. Онъ говорилъ о томъ, что хорошо знаетъ окрестныхъ мужиковъ, фабричныхъ—и что есть между ними дѣльные люди, — какъ напр. голоплёцкій Еремѣй—которые сію минуту пойдутъ на что угодно. Этотъ голоплёцкій Еремѣй, Еремѣй изъ деревни Голоплёкъ, безпрестанно приходилъ ему на языкъ. Черезъ каждыя десять словъ онъ ударялъ правой рукою—не ладонью, а ребромъ руки — по столу; а лѣвой тыкалъ въ воздухъ, отдѣливъ указательный палецъ.—Эти волосатыя, сухія руки, этотъ палецъ, этотъ гудѣвшій голосъ, эти пылавшіе глаза производили впечатлѣніе сильное. Въ теченіе дороги Маркеловъ съ Неждановымъ говорилъ мало; въ немъ желчь накоплялась... но тутъ его прорвало.—Машурина и Остродумовъ одобряли его улыбкой, взоромъ, иногда короткимъ восклицаніемъ; а съ Неждановымъ произошло нѣчто странное. Сперва онъ пытался возражать; упомянулъ о вредѣ поспѣшности, преждевременныхъ, необдуманныхъ поступковъ; главное—онъ дивился тому, что какъ это ужъ такъ все рѣшено—и сомнѣній нѣтъ — и не́ для чего ни справляться съ обстоятельствами, ни даже стараться узнать, чего собственно хочетъ народъ?.. Но потомъ всѣ нервы его натянулись какъ струны—затрепетали—и онъ съ какимъ-то отчаяніемъ, чуть не со слезами ярости на глазахъ, съ прорывавшимся крикомъ въ голосѣ, принялся говорить въ томъ же духѣ, какъ и Маркеловъ, пошелъ даже дальше, чѣмъ тотъ.—Что̀ побудило его къ этому—сказать трудно: раскаяніе ли въ томъ, что онъ какъ будто ослабѣлъ въ послѣднее время, досада ли на себя и на другихъ, потребность ли заглушить какой-то внутренній червь, желаніе ли, наконецъ, показать себя передъ новоприбывшими эмиссарами...—или слова Маркелова точно подѣйствовали на него, зажгли въ немъ кровь? До самой зари продолжалась бесѣда; Остродумовъ и Машурина не вста*вали съ своихъ* стульевъ, а Маркеловъ и Нежда*новъ не садились.* Маркеловъ стоялъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, *ни дать, ни взять* часовой; а Нежда*новъ все расхаживалъ*

по комнатѣ — неровными шагами, то медленно, то торопливо. Говорили о предстоящихъ мѣрахъ и средствахъ, о роли, которую каждый долженъ былъ взять на себя, разбирали и связывали въ пачки разныя книжонки и отдѣльные листы; упомянули о купцѣ изъ раскольниковъ, нѣкоемъ Голушкинѣ, весьма надежномъ, хотя и необразованномъ человѣкѣ, о молодомъ пропагандистѣ Кисляковѣ, который очень-молъ знающъ, но уже черезчуръ юрокъ и слишкомъ высокаго мнѣнія о собственныхъ талантахъ; произнесли также имя Соломина...

— Это тотъ, что̀ бумагопрядильной фабрикой завѣдываетъ? спросилъ Неждановъ, вспомнивъ сказанное о немъ за столомъ у Сипягиныхъ.

— Онъ самый и есть,—промолвилъ Маркеловъ: — надо вамъ съ нимъ познакомиться; мы его еще не раскусили, но дѣльный, дѣльный человѣкъ.

Еремѣй изъ Голоплёкъ опять явился на сцену. Къ нему присоединился сипягинскій Кирило—и еще какой-то Менделѣй, по прозвищу Дутикъ; только на этого Дутика положиться было трудно: въ трезвомъ видѣ храбръ, а въ пьяномъ трусливъ; и почти всегда пьянъ бываетъ.

— Ну, а собственно изъ вашихъ людей,—спросилъ Неждановъ Маркелова:—есть на кого положиться?

Маркеловъ отвѣчалъ, что есть; однако ни одного изъ нихъ не назвалъ по имени—и пустился толковать о городскихъ мѣщанахъ и семинаристахъ, которые были, впрочемъ, болѣе полезны тѣмъ, что очень крѣпки тѣлесной силой — и ужъ какъ примутся дѣйствовать кулаками, — такъ ужъ ну! — Неждановъ полюбопытствовалъ насчетъ дворянъ. Маркеловъ отвѣчалъ ему, что есть человѣкъ пять-шесть изъ молодыхъ—одинъ изъ нихъ даже нѣмецъ— и самый радикальный; только извѣстное дѣло: на нѣмца разсчитывать нечего... какъ разъ надуетъ или продастъ!— Да вотъ, надо подождать, какія свѣдѣнія доставитъ Кисляковъ. — Неждановъ полюбопытствовалъ также насчетъ военныхъ. Тутъ Маркеловъ запнулся, подергалъ свои длинныя бакенбарды и объявилъ, наконецъ, что ничего—пока—рѣшительнаго нѣтъ... вотъ развѣ что̀ Кисляковъ откроетъ

— Да кто такой этотъ Кисляковъ?—нетерпѣливо воскликнулъ Неждановъ.

Маркеловъ значительно усмѣхнулся и сказалъ, что это человѣкъ... такой человѣкъ...

— Я его, впрочемъ, знаю мало, — прибавилъ онъ: — всего два раза съ нимъ видѣлся; но какія письма этотъ человѣкъ пишетъ, какія письма!! Я вамъ покажу... Вы удивитесь! просто—огонь! И какая дѣятельность! Разъ пять или шесть всю Россію вдоль и поперекъ проскакалъ... и съ каждой станціи письмо въ десять—двѣнадцать страницъ!!

Неждановъ вопросительно посмотрѣлъ на Остродумова; но тотъ сидѣлъ какъ истуканъ и даже бровью не шевельнулъ; а Машурина сложила губы въ горькую усмѣшку— и тоже—хоть бы чукнула! Неждановъ вздумалъ-было разспросить Маркелова насчетъ его преобразованій въ соціальномъ духѣ,—по хозяйству... но тутъ Остродумовъ вмѣшался.

— Къ чему объ этомъ толковать теперь, — замѣтилъ онъ:—все равно—надо будетъ все потомъ передѣлать.

Разговоръ возвратился опять на политическую почву. Тайный внутренній червь продолжалъ точить и грызть Нежданова; но чѣмъ эта грызь была сильнѣй, тѣмъ громче и безповоротнѣе говорилъ онъ.—Онъ выпилъ всего одинъ стаканъ пива; но ему отъ времени до времени казалось, что онъ совсѣмъ опьянѣлъ — и голова его кружилась, и сердце стучало съ болѣзненной потяготой. Когда же, наконецъ, въ четвертомъ часу ночи, пренія прекратились, и собесѣдники, минуя спавшаго въ передней казачка, разбрелись по своимъ угламъ, Неждановъ, прежде чѣмъ легъ въ постель, долго стоялъ неподвижно, вперивъ глаза передъ собою въ полъ. Ему чудился постоянный, горестный, душу щемившій звукъ во всемъ, что произносилъ Маркеловъ: самолюбіе этого человѣка не могло не быть оскорбленнымъ, онъ *долженъ* былъ страдать, его надежды *на личное* счастіе рушились,—и, однако, какъ онъ себя *забывалъ*, какъ отдавался тому, что признавалъ за истину! *Ограниченный* субъектъ, думалось Нежданову... Но не

во сто ли разъ лучше быть такимъ ограниченнымъ субъектомъ, чѣмъ такимъ... такимъ, какимъ я, напримѣръ, чувствую себя?!

Но тутъ онъ возмутился противъ собственнаго уничиженія.

„Почему же такъ? Развѣ я тоже не сумѣю собой пожертвовать? Погодите, господа... И ты, Паклинъ, убѣдишься со временемъ, что я, хоть и эстетикъ, хоть и пишу стихи..."

Онъ сердито вскинулъ волосы рукою, скрипнулъ зубами и, торопливо сдернувъ съ себя одежду, бросился въ холодную и сырую постель.

— Спокойной ночи! — раздался за дверью голосъ Машуриной:—я ваша сосѣдка.

— Прощайте,—отвѣчалъ Неждановъ, и тутъ же вспомнилъ, что она въ теченіе вечера не спускала съ него глазъ.

— Чего ей нужно?—шепнулъ онъ про себя—и стыдно ему стало. „Ахъ, хоть бы поскорѣе заснуть!"

Но съ нервами сладить трудно... и солнце стояло уже довольно высоко на небѣ, когда онъ, наконецъ, заснулъ тяжелымъ и безотраднымъ сномъ.

На другое утро онъ всталъ поздно, съ головною болью. Онъ одѣлся, подошелъ къ окну мезонина, въ которомъ находилась его комната—и увидалъ, что у Маркелова собственно и усадьбы не было никакой: флигелекъ его стоялъ на юру, недалеко отъ рощи. Амбарчикъ, конюшня, погребокъ, избушка съ полуобвалившейся соломенной крышей—съ одной стороны; съ другой — крохотный прудъ, огородецъ, конопляникъ и другая избушка съ такою же крышей; вдали рига, молотильный сарайчикъ и пустое гумно—вотъ и вся „благодать", представлявшаяся взорамъ. Все казалось бѣднымъ, утлымъ—и не то, чтобы заброшеннымъ или одичалымъ—а такъ-таки никогда не расцвѣтшимъ, какъ плохо принявшееся деревцо. Неждановъ сошелъ внизъ. Машурина сидѣла въ столовой за самоваромъ,—и, повидимому, его дожидалась. Онъ узналъ отъ нея, что Остродумовъ уѣхалъ по дѣлу—и раньше двухъ недѣль не вернется; а хозяинъ пошелъ возиться съ батраками. Такъ какъ май уже близился къ концу, и съѣшныхъ

работъ никакихъ не было,—то Маркеловъ вздумалъ собственными средствами свести небольшую березовую рощу—и отправился туда съ утра.

Неждановъ чувствовалъ странную усталость на душѣ. Наканунѣ такъ много было говорено о невозможности долѣе медлить, о томъ, что оставалось только „приступить". Но какъ приступить, къ чему—да еще безотлагательно?— У Машуриной нѣчего было спрашивать: она не вѣдала колебаній; она не сомнѣвалась въ томъ, что̀ ей нужно было дѣлать, а именно: ѣхать въ К. Дальше она не заглядывала. Неждановъ не зналъ, что̀ сказать ей—и, напившись чаю, надѣлъ шапку и пошелъ по направленію березовой рощи. На дорогѣ ему попались мужики, ѣхавшіе съ навозницы, бывшіе крестьяне Маркелова. Онъ заговорилъ съ ними... толку большого онъ отъ нихъ не добился. Они тоже казались усталыми — но физической, обыкновенной усталостью, нисколько не похожею на то чувство, которое испытывалъ онъ. — Прежній ихъ помѣщикъ, по ихъ словамъ, былъ баринъ простой, только чудаковатый; они пророчили ему разореніе — потому: порядковъ не знаетъ и все на свой салтыкъ норовитъ, не такъ, какъ отцы. И мудренъ тоже бываетъ—не поймешь его, хоть ты что!— а добрѣ добръ!—Неждановъ отправился дальше и наткнулся на самого Маркелова.

Онъ шелъ, окруженный цѣлой толпою работниковъ; издали можно было видѣть, какъ онъ имъ что-то пояснялъ, толковалъ—а потомъ махнулъ рукой... значитъ: бросилъ! Рядомъ съ нимъ выступалъ его приказчикъ, малый молодой и подслѣповатый, безъ всякой представительности въ осанкѣ. Приказчикъ этотъ безпрестанно повторялъ: „Это какъ будетъ вамъ угодно-съ"—къ великой досадѣ его начальника, который ожидалъ отъ него больше самостоятельности. Неждановъ подошелъ къ Маркелову—и увидалъ на лицѣ его выраженіе такой же душевной усталости, какую ощущалъ онъ самъ. — Они поздоровались; Маркеловъ тотчасъ заговорилъ—правда, вкратцѣ—о вчерашнихъ „вопросахъ", о близости переворота; но выраженіе *усталости* не покидало его лица. Онъ былъ весь

въ пыли, въ поту; древесныя стружки, зеленыя нити моху прицѣпились къ его платью, голосъ его охрипъ... Окружавшіе его люди помалчивали: они не то трусили, не то посмѣивались... Неждановъ глядѣлъ на Маркелова — и слова Остродумова снова зазвучали въ его головѣ: „Къ чему это? Все равно — надо будетъ потомъ все передѣлать!“ Одинъ провинившійся работникъ началъ упрашивать Маркелова, чтобы тотъ снялъ съ него штрафъ... Маркеловъ сначала разсердился—и закричалъ неистово— а потомъ простилъ... „Все равно, надо будетъ потомъ все передѣлать...“ Неждановъ попросилъ у него лошадей и экипажа, чтобы вернуться домой; Маркеловъ словно удивился его желанію, однако отвѣчалъ, что все тотчасъ будетъ готово.

Онъ вернулся домой вмѣстѣ съ Неждановымъ... Онъ на ходу шатался отъ изнеможенія.

— Что съ вами?—спросилъ Неждановъ.

— Измучился!! — свирѣпо проговорилъ Маркеловъ. — Какъ ты съ этими людьми ни толкуй, сообразить они ничего не могутъ—и приказаній не исполняютъ... Даже по-русски не понимаютъ. — Слово: „участокъ“ имъ хорошо извѣстно... а „участіе“... Что такое участіе? Не понимаютъ! А вѣдь тоже русское слово, чортъ возьми. — Воображаютъ, что я хочу имъ участокъ дать! (Маркеловъ вздумалъ разъяснить крестьянамъ принципъ ассоціаціи и ввести ее у себя — а они упирались. — Одинъ изъ нихъ даже сказалъ по этому поводу: „Была яма глубока... а теперь и дна не видать...“, а всѣ прочіе крестьяне испустили глубокій, дружный вздохъ, что́ совсѣмъ уничтожило Маркелова.)

Вошедши въ домъ, онъ отпустилъ свою свиту—и сталъ распоряжаться насчетъ экипажа и лошадей — и насчетъ завтрака.—Прислуга его состояла изъ казачка, кухарки, кучера и какого-то очень древняго старика съ заросшими ушами, въ длиннополомъ мухояровомъ кафтанѣ, бывшаго камердинера его дѣда. — Этотъ старикъ постоянно съ глубокой унылостью глядѣлъ на своего барина—а впрочемъ ничего не дѣлалъ—и врядъ ли былъ въ состояніи

сдѣлать что-нибудь; но присутствовалъ неотлучно, прикорнувъ на рундучкѣ.

Позавтракавши яйцами въ-крутую, кильками и окрошкой (горчицу подалъ казачокъ въ старой помадной банкѣ, уксусъ въ одеколонной склянкѣ) — Неждановъ сѣлъ въ тотъ же самый тарантасъ, въ которомъ пріѣхалъ наканунѣ: но вмѣсто трехъ лошадей ему заложили только двухъ: третью заковали—и она охромѣла. Въ теченіе завтрака Маркеловъ говорилъ мало, ничего не ѣлъ и дышалъ усиленно... Произнесъ два-три горькихъ слова о своемъ хозяйствѣ—и опять махнулъ рукой... „Все равно, надо будетъ потомъ все передѣлать". Машурина попросила Неждановa довезти ее до города: ей понадобилось съѣздить туда для нѣкоторыхъ покупокъ; — „а вернуться изъ города я могу пѣшкомъ — а не то къ обратному мужичку на телѣгу подсяду".—Провожая ихъ обоихъ до крыльца, Маркеловъ упомянулъ о томъ, что въ скорости опять пришлетъ за Неждановымъ—и тогда... тогда—(онъ встрепенулся и опять пріободрился)—надо будетъ окончательно условиться; что Соломинъ тоже тогда пріѣдетъ; что онъ, Маркеловъ, ждетъ только извѣстія отъ Василія Николаевича—и тогда останется одно: немедленно „приступить"—такъ какъ народъ (тотъ самый народъ, который не понимаетъ слова: „участіе") дольше ждать не согласенъ!

— А что же, вы хотѣли показать мнѣ письма этого... какъ бишь его?—Кислякова?—спросилъ Неждановъ.

— Послѣ... послѣ, — поспѣшно проговорилъ Маркеловъ.—Тогда ужъ все—разомъ.

Тарантасъ тронулся.

— Будьте готовы!—раздался въ послѣдній разъ голосъ Маркелова. Онъ стоялъ на крыльцѣ,—а рядомъ съ нимъ, съ тою же неизмѣнной унылостью во взглядѣ, вытянувъ сгорбленный станъ, заложивъ обѣ руки за спину, распространяя запахъ ржаного хлѣба и мухояра—и ничего не слыша,—стоялъ „изъ слугъ слуга", дряхлый дѣдовскій камердинеръ.

До самаго города Машурина молчала, только покуривала папиросу. Приближаясь къ заставѣ, она вдругъ *громко вздохнула*.

— Жаль мнѣ Сергѣя Михайловича,—промолвила она—и лицо ея омрачилось.

— Захлопотался онъ совсѣмъ,—замѣтилъ Неждановъ:—мнѣ кажется, хозяйство его идетъ плохо.

— Мнѣ не оттого его жаль.

— Отчего же?

— Несчастный онъ человѣкъ, неудачливый!.. Ужъ на что лучше его... анъ нѣтъ! Не годится!

Неждановъ посмотрѣлъ на свою спутницу.

— Да вамъ развѣ что-нибудь извѣстно?

— Ничего мнѣ не извѣстно... а всякій чувствуетъ по себѣ. Прощайте, Алексѣй Дмитричъ.

Машурина вылѣзла изъ тарантаса—а часъ спустя, Неждановъ уже въѣзжалъ на дворъ Сипягинскаго дома.—Не очень хорошо онъ себя чувствовалъ... Ночь онъ провелъ безъ сна... и потомъ всѣ эти словопренія... эти толки...

Красивое лицо выглянуло изъ окна и дружелюбно ему улыбнулось... Это Сипягина привѣтствовала его возвращеніе.

„Какіе у ней глаза!“ подумалось ему.

XII.

Къ обѣду наѣхало много народу,—а послѣ обѣда, Неждановъ, воспользовавшись общей суетой, ускользнулъ къ себѣ въ комнату. Ему хотѣлось остаться наединѣ съ самимъ собою, хотя бы для того только, чтобы привести въ порядокъ впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ его поѣздки.—За столомъ Валентина Михайловна нѣсколько разъ внимательно посмотрѣла на него—но, повидимому, не имѣла возможности заговорить съ нимъ; а Маріанна, послѣ той неожиданной выходки, столь его удивившей, какъ будто совѣстилась и избѣгала его.—Неждановъ взялъ-было перо въ руки; ему захотѣлось побесѣдовать на бумагѣ съ своимъ другомъ Силинымъ;—но онъ не нашелъ, что̀ сказать даже другу; или, быть-можетъ, такъ много противоположныхъ мыслей и ощущеній столпилось у него въ головѣ, что онъ не попытался ихъ распутать — и отложилъ все до *другого дня.—Въ числѣ* обѣдавшихъ былъ также г. Кал-

ломѣйцевъ; никогда онъ не выказывалъ болѣе высокомѣрія и джентльменской презрительности; но его развязныя рѣчи нисколько не дѣйствовали на Нежданова: онъ не замѣчалъ ихъ. Его окружало какое-то облако; полутусклой завѣсой стояло оно между нимъ и остальнымъ міромъ—и, странное дѣло!—сквозь эту завѣсу виднѣлись ему только три лица—и всѣ три женскихъ—и всѣ три упорно устремляли на него свои глаза. Это были: Сипягина, Машурина и Маріанна. Что это значило? И почему именно эти три лица? Что между ними общаго? И что хотятъ они отъ него?

Онъ легъ спать рано — но заснуть не могъ. Его посѣтили—не то что печальныя,—а темныя мысли... мысли о неизбѣжномъ концѣ, о смерти.—Онѣ были ему знакомы. Долго онъ переворачивалъ ихъ и такъ, и сякъ, то содрогаясь передъ вѣроятностью ничтожества, то привѣтствуя ее, почти радуясь ей.—Онъ почувствовалъ наконецъ особенное, ему знакомое волненіе... Онъ всталъ, сѣлъ за письменный столъ и, немного подумавъ, почти безъ поправки, вписалъ слѣдующее стихотвореніе въ свою завѣтную тетрадку:

Милый другъ, когда я буду
Умирать—вотъ мой приказъ:
Всѣхъ моихъ писаній груду
Истреби ты въ тотъ же часъ!
Окружи меня цвѣтами,
Солнце въ комнату впусти—
За закрытыми дверями
Музыкантовъ помѣсти.
Запрети имъ плачъ печальный!
Пусть, какъ будто въ часъ пировъ,
Рѣзко взвизгнетъ вальсъ нахальный
Подъ ударами смычковъ!
Слухомъ гаснущимъ внимая
Замирающимъ струны,
Самъ замру я, засыпая...
И предсмертной тишины
Не смутивъ напраснымъ стономъ,
Перейду я въ міръ иной,
Убаюканъ легкимъ звономъ
Легкой радости земной!

Когда онъ писалъ слово: „другъ“—онъ думалъ о томъ же Силинѣ. Онъ продекламировалъ вполголоса свое стихотвореніе—и самъ удивился тому, что у него вышло изъ-подъ пера. Этотъ скептицизмъ, это равнодушіе, это легкомысленное безвѣріе — какъ согласовалось все это съ его принципами? съ тѣмъ, что онъ говорилъ у Маркелова?— Онъ бросилъ тетрадку въ ящикъ стола — и вернулся къ своей постели. — Но заснулъ онъ передъ самымъ утромъ, когда уже первые жаворонки зазвенѣли въ побѣлѣвшемъ небѣ.

На другой день—онъ только-что кончилъ урокъ и сидѣлъ въ бильярдной — Сипягина вошла, оглянулась, и съ улыбкой подойдя къ нему, позвала его къ себѣ въ кабинетъ. — На ней было легкое, барежевое платье, очень простенькое и очень миленькое: обшитые рюшемъ рукава доходили только до локтей, широкая лента охватывала ея станъ, волосы падали густыми космами на шею. Все въ ней дышало привѣтомъ и лаской, бережной, ободряющей лаской—все: и укрощенный блескъ полузакрытыхъ глазъ, и мягкая лѣность голоса, движеній, самой походки. Сипягина привела Неждановa въ свой кабинетъ, уютный, пріятный, весь пропитанный запахомъ цвѣтовъ и духовъ, чистой свѣжестью женскихъ одеждъ, постояннаго женскаго пребыванія; посадила его на кресло, сѣла сама возлѣ него и начала его разспрашивать объ его поѣздкѣ, о житьѣ-бытьѣ Маркелова — и такъ осторожно, коротко, хорошо! Она выказала искреннее участіе къ судьбѣ брата, о которомъ до тѣхъ поръ—при Неждановѣ—не упоминала ни разу; изъ иныхъ ея словъ можно было понять, что отъ ея вниманія не ускользнуло чувство, внушенное ему Маріанной; она слегка погрустила... о томъ ли, что со стороны Маріанны не проявилось взаимности,—о томъ ли, что выборъ брата палъ на дѣвушку, въ сущности ему чуждую—это осталось неразъясненнымъ. Но главное: она явно старалась приручить Нежданова, возбудить въ немъ довѣріе къ ней, заставить его перестать дичиться.—Валентина Михайловна даже немножко попеняла на него за то, что онъ имѣетъ о ней ложное понятіе.

Неждановъ слушалъ ее, глядѣлъ ей на руки, на плечи, изрѣдка бросалъ взоръ на ея розовыя губы, на чуть-чуть колебавшіяся пряди волосъ.—Сперва онъ отвѣчалъ очень кратко; онъ ощущалъ нѣкоторое стѣсненіе въ горлѣ и въ груди... но мало-по-малу ощущеніе это смѣнилось другимъ, все еще неспокойнымъ, но не лишеннымъ нѣкоторой сладости; онъ никакъ не ожидалъ, что такая важная и красивая барыня, такая аристократка, въ состояніи заинтересоваться имъ, простымъ студентомъ; а она не только имъ интересовалась — она какъ будто немножко кокетничала съ нимъ. Неждановъ спрашивалъ себя, для чего она это все дѣлаетъ? — и не находилъ отвѣта; да, правду сказать, онъ и не нуждался въ немъ. Г-жа Сипягина заговорила о Колѣ; она даже начала увѣрять Нежданова, что собственно для того только и пожелала съ нимъ сблизиться, чтобы серьёзно побесѣдовать о своемъ сынѣ — вообще, чтобы узнать его мысли насчетъ воспитанія русскихъ дѣтей. Нѣсколько странною могла показаться внезапность, съ которою возникло въ ней это желаніе. Но дѣло было вовсе не въ томъ, что именно говорила Валентина Михайловна, а въ томъ, что на нее набѣжало нѣчто въ родѣ чувственной струи, явилась потребность покорить, нагнуть къ ногамъ своимъ эту непокорную голову...

Но здѣсь приходится вернуться нѣсколько назадъ.

Валентина Михайловна была дочь очень ограниченнаго и не бойкаго генерала съ одной звѣздой и пряжкой за пятидесятилѣтнюю службу, — и очень пронырливой и хитрой малороссти, одаренной, какъ многія ея соотечественницы, крайне простодушной и даже глуповатой наружностью, изъ которой она умѣла извлечь всю возможную пользу. Родители Валентины Михайловны были люди небогатые; однако, она попала въ Смольный монастырь, гдѣ хотя и считалась республиканкой, но была на виду и на хорошемъ счету, потому что прилежно училась и примѣрно вела себя. По выходѣ изъ Смольнаго, она поселилась вмѣстѣ съ матерью (братъ уѣхалъ въ деревню, отецъ, генералъ со звѣздою и пряжкою, уже умеръ)—

въ опрятной, но очень холодной квартирѣ: когда въ этой квартирѣ говорили, можно было видѣть паръ, выходившій изъ устъ; Валентина Михайловна смѣялась и увѣряла, что это—„какъ въ церкви“. Она храбро переносила всѣ неудобства бѣднаго, стѣсненнаго житья:—у ней былъ удивительно ровный нравъ. Съ помощью матери ей удалось поддержать и пріобрѣсти знакомства и связи: о ней говорили всѣ, даже въ высшихъ сферахъ, какъ о дѣвушкѣ очень милой, очень образованной—и очень приличной. У Валентины Михайловны было нѣсколько жениховъ; изъ всѣхъ изъ нихъ она выбрала Сипягина — и влюбила его въ себя очень просто, быстро и ловко... Впрочемъ, онъ и самъ скоро понялъ, что ему лучше жены не найти. Она была умна, не зла... скорѣй добра, въ сущности холодна и равнодушна... и не допускала мысли, чтобы кто-нибудь могъ остаться равнодушнымъ къ ней. Валентина Михайловна была проникнута той особенной граціей, которая свойственна „милымъ“ эгоисткамъ;—въ этой граціи нѣтъ ни поэзіи, ни истинной чувствительности, но есть мягкость, есть симпатія, есть даже нѣжность. Только перѣчить этимъ прелестнымъ эгоистамъ не слѣдуетъ: онѣ властолюбивы — и не выносятъ чужой самостоятельности. Женщины, подобныя Сипягиной, возбуждаютъ и волнуютъ людей неопытныхъ и страстныхъ; сами онѣ любятъ правильность и тишину жизни. Добродѣтель имъ легко дается — онѣ невозмутимы; но постоянное желаніе повелѣвать, привлекать и нравиться придаетъ имъ подвижность и блескъ: воля у нихъ крѣпкая — и самое ихъ обаяніе частью зависитъ отъ этой крѣпкой воли. Трудно устоять человѣку, когда по такому ясному, нетронутому существу забѣгаютъ огоньки какъ бы невольной, тайной нѣги; онъ такъ и ждетъ, что вотъ-вотъ наступитъ часъ— и ледъ растаетъ; но свѣтлый ледъ только играетъ лучами—и не растаять, и не помутиться ему никогда!

Кокетничать немногаго стоило Сипягиной: она очень хорошо знала, что опасности для нея нѣтъ и не можетъ быть. А между тѣмъ — заставить чужіе глаза то померкнуть, то заблистать, чужія щеки разгорѣться желаніемъ,

и страхомъ, чужой голосъ задрожать и оборваться, смутить чужую душу — о, какъ это было сладко *ея* душѣ! Какъ весело было вспоминать поздно вечеромъ, ложась въ свое чистое ложе на безмятежный сонъ,—вспоминать всѣ эти взволнованныя слова, и взгляды, и вздохи. Съ какой довольной улыбкой уходила она тогда вся въ себя, въ сознательное ощущеніе своей неприступности, своей недосягаемости—и снисходительно отдавалась законнымъ ласкамъ благовоспитаннаго супруга! Это было такъ пріятно, что она даже умилялась подчасъ и готова была сдѣлать доброе дѣло, помочь ближнему... Она однажды основала маленькую богадѣльню послѣ того, какъ одинъ до безумія въ нее влюбленный секретарь посольства попытался зарѣзаться! Она искренно молилась за него, хотя религіозное чувство съ самыхъ раннихъ лѣтъ въ ней было слабо.

Итакъ, она бесѣдовала съ Неждановымъ и всячески старалась покорить его себѣ „подъ нози“. Она допускала его до себя, она какъ бы раскрывалась передъ нимъ, и съ милымъ любопытствомъ, съ полу-материнской нѣжностью смотрѣла, какъ этотъ очень недурной и интересный и суровый радикалъ тихонько и неловко шелъ ей навстрѣчу. День, часъ, минуту спустя все это исчезнетъ безъ слѣда—но, пока, ей весело, ей немножко смѣшно, немножко жутко—и немножко даже грустно. Позабывъ его происхожденіе, и зная, какъ подобное вниманіе цѣнится одинокими, отчужденными людьми, Валентина Михайловна начала было разспрашивать Нежданова объ его молодости, объ его семьѣ... Но мгновенно догадавшись по его смущеннымъ и рѣзкимъ отзывамъ, что попала впросакъ, Валентина Михайловна постаралась загладить свою ошибку и распустилась еще немножко больше передъ нимъ... Такъ въ томный жаръ лѣтняго полудня расцвѣтшая роза распускаетъ свои душистые лепестки, которые вскорѣ снова сожметъ и свернетъ крѣпительная прохлада ночи.

Вполнѣ загладить свою ошибку ей однако не удалось.—Затронутый за больное мѣсто, Нежданов уже не могъ довѣриться попрежнему. То горькое, что онъ всегда носилъ, всегда ощущалъ на днѣ души,—шевельнулось опять;

проснулись демократическія подозрѣнія и укоризны.—„Не для этого я пріѣхалъ сюда“, — подумалось ему; вспомнились ему насмѣшливыя наставленія Паклина... и онъ воспользовался первой минутой молчанія, всталъ, поклонился короткимъ поклономъ — и вышелъ „очень глупо“, какъ онъ невольно шепнулъ самому себѣ.

Его смущеніе не ускользнуло отъ Валентины Михайловны... но, судя по улыбочкѣ, съ которой она проводила его взоромъ,—она растолковала это смущеніе выгоднымъ для себя образомъ.

Въ бильярдной Нежданову попалась Маріанна. Она стояла спиной къ окну, недалеко отъ двери кабинета, тѣсно скрестивъ руки. Лицо ея находилось въ почти черной тѣни;—но такъ вопросительно, такъ настойчиво глядѣли на Нежданова ея смѣлые глаза, такое презрѣніе, такую обидную жалость выражали ея сжатыя губы, что онъ остановился въ недоумѣніи...

— Вы хотите мнѣ что-то сказать?—невольно проговорилъ онъ.

Маріанна не тотчасъ отвѣтила.

— Нѣтъ... или да; хочу. Только не теперь.

— Когда же?

— А вотъ погодите. Можетъ-быть — завтра, можетъ-быть — никогда. Я вѣдь очень мало знаю — кто вы собственно такой?

— Однако,—началъ Неждановъ:—мнѣ иногда казалось... что между нами...

— А вы меня совсѣмъ не знаете, — перебила Маріанна.—Да вотъ, погодите. Завтра, можетъ-быть. Теперь мнѣ надо идти къ моей... госпожѣ. До завтра!

Неждановъ ступилъ раза два—но вдругъ вернулся.

— Ахъ, да! Маріанна Викентьевна... я все хотѣлъ васъ спросить: не позволите ли вы мнѣ пойти съ вами въ школу,—посмотрѣть, какъ вы тамъ занимаетесь—пока ее не закрыли.

— Извольте... Только я не о школѣ хотѣла съ вами говорить.

— А о чемъ же?

— До завтра,—повторила Маріанна.

Но она не дождалась завтрашняго дня — и разговоръ между ею и Неждановымъ произошелъ въ тотъ же вечеръ — въ одной изъ липовыхъ аллей, начинавшихся недалеко отъ террасы.

XIII.

Она сама первая приблизилась къ нему.

— Г-нъ Неждановъ, — начала она торопливымъ голосомъ: — вы, кажется, совершенно очарованы Валентиной Михайловной?

Она повернулась, не дождавшись отвѣта, и пошла вдоль аллеи; и онъ пошелъ съ ней рядомъ.

— Почему вы это думаете?—спросилъ онъ, погодя немного.

— А развѣ нѣтъ? Въ такомъ случаѣ она дурно распорядилась сегодня. Воображаю, какъ она хлопотала, какъ разставляла свои маленькія сѣти!

Неждановъ ни слова не промолвилъ и только сбоку посмотрѣлъ на свою странную собесѣдницу.

— Послушайте,—продолжала она:—я не стану притворяться: я не люблю Валентины Михайловны — и вы это очень хорошо знаете. Я могу вамъ показаться несправедливой... но вы сперва подумайте...

Голосъ пересѣкся у Маріанны. Она краснѣла, она волновалась... Волненіе у ней всегда принимало такой видъ, какъ-будто она злится.

— Вы, вѣроятно, спрашиваете себя, — начала она снова:—зачѣмъ эта барышня мнѣ все это разсказываетъ? Вы, должно-быть, то же самое подумали, когда я вамъ сообщила извѣстіе... насчетъ г-на Маркелова.

Она вдругъ нагнулась, сорвала небольшой грибокъ, переломила его пополамъ и отбросила въ сторону.

— Вы ошибаетесь, Маріанна Викентьевна,—промолвилъ Неждановъ:—я, напротивъ, подумалъ, что я внушаю вамъ довѣріе—и эта мысль мнѣ была очень пріятна.

Неждановъ сказалъ неполную правду: эта мысль только теперь пришла ему въ голову.

Маріанна мгновенно глянула на него. До тѣхъ поръ она все отворачивалась.

— Вы не то, чтобы внушали мнѣ довѣріе,—проговорила она, какъ бы размышляя: — вы вѣдь мнѣ совсѣмъ чужой. Но ваше положеніе—и мое — очень схожи. Мы оба одинаково несчастливы; вотъ что̀ насъ связываетъ.

— Вы несчастливы?—спросилъ Неждановъ.

— А вы—нѣтъ?—отвѣчала Маріанна.

Онъ ничего не сказалъ.

— Вамъ извѣстна моя исторія?—заговорила она съ живостью:—исторія моего отца? его ссылка?—нѣтъ? Ну, такъ знайте же, что онъ былъ взятъ подъ-судъ, найденъ виноватымъ, лишенъ чиновъ... и всего — и сосланъ въ Сибирь. Потомъ онъ умеръ... мать моя тоже умерла. Дядя мой, г-нъ Сипягинъ, братъ моей матери, призрѣлъ меня— я у него на хлѣбахъ—онъ мой благодѣтель, и Валентина Михайловна моя благодѣтельница—а я имъ плачу черной неблагодарностью,—потому что у меня, должно-быть, сердце черствое—и чужой хлѣбъ горекъ—и я не умѣю переносить снисходительныхъ оскорбленій — и покровительства не терплю... и не умѣю скрывать—и когда меня безпрестанно колютъ булавками—я только оттого не кричу, что я очень горда.

Произнося эти отрывочныя рѣчи, Маріанна шла все быстрѣй и быстрѣй.

Она вдругъ остановилась.

— Знаете ли, что моя тетка, чтобы только сбыть меня съ рукъ, прочитъ меня... за этого гадкаго Калломѣйцева?—Вѣдь ей извѣстны мои убѣжденья — вѣдь я въ глазахъ ея нигилистка—а онъ! Я, конечно, ему не нравлюсь, я вѣдь не красива — но продать меня можно. Вѣдь это тоже благодѣяніе.

— Зачѣмъ же вы...—началъ-было Неждановъ — и запнулся.

Маріанна мгновенно глянула на него.

— Зачѣмъ я не приняла предложеніе г-на Маркелова— хотите вы сказать? Не такъ ли? Да; но что же дѣлать? Онъ хорошій человѣкъ. Но я не виновата: я не люблю его.

Маріанна снова пошла впередъ, какъ бы желая избавить своего собесѣдника отъ обязанности чѣмъ-нибудь отозваться на это нежданное признаніе.

Они оба достигли конца аллеи. Маріанна проворно свернула на узкую дорожку, проложенную сквозь сплошной ельникъ — и пошла по ней.—Неждановъ отправился за Маріанной. Онъ ощущалъ двойное недоумѣніе: чудно̀ ему казалось, какимъ образомъ эта дикая дѣвушка вдругъ такъ откровенничаетъ съ нимъ — и еще больше дивился онъ тому, что откровенность эта нисколько его не поражаетъ, что онъ находитъ ее естественной.

Маріанна вдругъ обернулась—и стала посреди дорожки, такъ что ея лицо пришлось на разстояніи аршина отъ лица Нежданова, и глаза ея вонзились прямо въ его глаза.

— Алексѣй Дмитричъ,—заговорила она: — не думайте, что моя тетка зла... Нѣтъ! она вся—ложь, она комедіантка, она позёрка — она хочетъ, чтобы всѣ ее обожали— какъ красавицу—и благоговѣли передъ нею, какъ передъ святою! Она придумаетъ задушевное слово, скажетъ его одному — а потомъ повторяетъ это же слово другому и третьему—и все съ такимъ видомъ, какъ-будто она сейчасъ это слово придумала — и тутъ же кстати играетъ своими чудесными глазами! Она самоё себя очень хорошо знаетъ—она знаетъ, что похожа на Мадонну, и никого не любитъ! Притворяется, что все возится съ Колей — а только всего и дѣлаетъ, что говоритъ о немъ съ умными людьми. Сама она никому зла не желаетъ... Она вся — благоволеніе! Но пускай вамъ въ ея присутствіи всѣ кости въ тѣлѣ переломаютъ... ей ничего! Она пальцемъ не пошевельнетъ, чтобы васъ избавить:—а если ей это нужно или выгодно... тогда... о, тогда!

Маріанна умолкла. Желчь душила ее, она рѣшилась дать ей волю, она не могла удержаться—но рѣчь ея невольно обрывалась. Маріанна принадлежала къ особенному разряду несчастныхъ существъ (въ Россіи они стали попадаться довольно часто)... Справедливость удовлетворяетъ, но не радуетъ ихъ—а несправедливость, на которую *они страшно* чутки, возмущаетъ ихъ до дна души.—

Пока она говорила, Неждановъ глядѣлъ на нее внимательно; ея покраснѣвшее лицо, съ слегка разбросанными короткими волосами, съ трепетнымъ подергиваньемъ тонкихъ губъ, показалось ему и угрожающимъ, и значительнымъ, — и красивымъ. Солнечный свѣтъ, перехваченный частой сѣткой вѣтвей, лежалъ у ней на лбу золотымъ косымъ пятномъ—и этотъ огненный языкъ шелъ къ возбужденному выраженію всего ея лица, къ широко раскрытымъ, недвижнымъ и блестящимъ глазамъ, къ горячему звуку ея голоса.

— Скажите,—спросилъ ее, наконецъ, Неждановъ:—отчего вы меня назвали несчастливымъ? Развѣ вамъ извѣстно мое прошедшее?

Маріанна кивнула головою.

— Да.

— То-есть... какъ же такъ извѣстно? Вамъ кто-нибудь говорилъ обо мнѣ?

— Мнѣ извѣстно... ваше происхожденіе.

— Вамъ извѣстно... Кто же вамъ сказалъ?

— Да все та же — та же Валентина Михайловна, которою вы такъ очарованы. Она не преминула замѣтить при мнѣ — по обыкновенію вскользь, но внятно — не съ сожалѣніемъ, а какъ либералка, которая выше всякихъ предразсудковъ—что вотъ-молъ какая существуетъ случайность въ жизни нашего новаго учителя! Не удивляйтесь, пожалуйста: Валентина Михайловна точно также вскользь и съ сожалѣніемъ, чуть не всякому посѣтителю сообщаетъ, что вотъ-молъ въ жизни моей племянницы какая существуетъ... случайность: ея отца за взятки сослали въ Сибирь! Какою аристократкой она себя ни воображай—она просто сплетница и позёрка —эта ваша Рафаэлевская Мадонна!

— Позвольте,—замѣтилъ Неждановъ:—почему же она „моя“?

Маріанна отвернулась и пошла опять по дорожкѣ.

— У васъ съ ней былъ такой большой разговоръ,— произнесла она глухо.

— Я почти ни одного слова не вымолвилъ,—отвѣтилъ Неждановъ:—она одна все время говорила.

Маріанна шла впередъ молча. Но вотъ дорожка повернула въ сторону,—ельникъ словно разступился, и открылась впереди небольшая поляна съ дуплистой плакучей березой посрединѣ и круглой скамьей, охватывавшей стволъ стараго дерева. Маріанна сѣла на эту скамью; Неждановъ помѣстился рядомъ. Надъ головами обоихъ тихонько покачивались длинные пучки висячихъ вѣтокъ, покрытыхъ мелкими зелеными листочками. Кругомъ въ жидкой травѣ бѣлѣли ландыши—и отъ всей поляны поднимался свѣжій запахъ молодой травы, пріятно облегчавшій грудь, все еще стѣсненную смолистыми испареніями елей.

— Вы хотите пойти со мной посмотрѣть здѣшнюю школу,—начала Маріанна:—что-жъ? пойдемте.—Только... я не знаю. Удовольствія вамъ будетъ мало. Вы слышали: нашъ главный учитель—діаконъ. Онъ человѣкъ добрый,—но вы не можете себѣ представить, о чемъ онъ бесѣдуетъ съ учениками! Межъ ними есть мальчикъ... его зовутъ Гарасей—онъ сирота, десяти лѣтъ,—и, представьте! онъ учится лучше всѣхъ!

Перемѣнивъ внезапно предметъ разговора, Маріанна сама какъ будто измѣнилась: она поблѣднѣла, утихла—и лицо ея выразило смущеніе, словно ей совѣстно стало всего, что она наговорила. Ей, видимо, хотѣлось навести Нежданова на какой-нибудь „вопросъ“—школьный, крестьянскій—лишь бы только не продолжать въ прежнемъ тонѣ. Но ему въ эту минуту было не до „вопросовъ“.

— Маріанна Викентьевна,—началъ онъ:—скажу вамъ откровенно: я никакъ не ожидалъ всего того... что теперь произошло между нами.—(При словѣ: „произошло“ она слегка насторожилась.) Мнѣ кажется, мы вдругъ—очень... очень сблизились. Да оно такъ и слѣдовало. Мы давно подходимъ другъ къ другу; только голосу не подавали.—А потому я буду съ вами говорить безъ утайки.—Вамъ тяжело и тошно въ здѣшнемъ домѣ; но дядя вашъ—онъ хотя ограниченный, однако, насколько я могу судить, гуманный человѣкъ? развѣ онъ не понимаетъ вашего положенія, *не становится* на вашу сторону?

— Мой дядя? Во-первыхъ—онъ вовсе не человѣкъ: онъ чиновникъ—сенаторъ, или министръ... я ужъ не знаю. А во-вторыхъ... я не хочу напрасно жаловаться и клеветать: мнѣ вовсе не тошно и не тяжело здѣсь, то-есть, меня здѣсь не притѣсняютъ; маленькія шпильки моей тетки въ сущности для меня ничто... Я совершенно свободна.

Неждановъ съ изумленіемъ глянулъ на Маріанну.

— Въ такомъ случаѣ... все, что̀ вы мнѣ сейчасъ говорили...

— Вы вольны смѣяться надо мною,—подхватила она:— но если я несчастна—то не своимъ несчастьемъ.—Мнѣ кажется иногда, что я страдаю за всѣхъ притѣсненныхъ, бѣдныхъ, жалкихъ на Руси... нѣтъ, не страдаю—а негодую за нихъ, возмущаюсь... что я за нихъ готова... голову сложить. Я несчастна тѣмъ, что я барышня, приживалка, что я ничего, ничего не могу и не умѣю! Когда мой отецъ былъ въ Сибири, а я съ матушкой оставалась въ Москвѣ—ахъ, какъ я рвалась къ нему!—и не то, чтобы я очень его любила или уважала — но мнѣ такъ хотѣлось извѣдать самой, посмотрѣть собственными глазами, какъ живутъ ссыльные... загнанные... И какъ мнѣ было досадно на себя и на всѣхъ этихъ спокойныхъ, зажиточныхъ, сытыхъ!.. А потомъ, когда онъ вернулся, надломанный, разбитый—и началъ унижаться, хлопотать и заискивать... ахъ... какъ это было тяжело! Какъ хорошо онъ сдѣлалъ, что умеръ... и матушка тоже! Но вотъ, я осталась въ живыхъ... Къ чему? Чтобы чувствовать, что у меня дурной нравъ, что я неблагодарна, что со мной ладу нѣтъ—и что я ничего, ничего—не могу ни для чего, ни для кого!

Маріанна отклонилась въ сторону—рука ея скользнула на скамью. Нежданову стало очень жаль ея; онъ прикоснулся къ этой повисшей рукѣ... но Маріанна тотчасъ ее отдернула, не потому, чтобы движеніе Нежданова показалось ей неумѣстнымъ—а чтобы онъ—сохрани Богъ—не подумалъ, что она напрашивается на участіе.

Сквозь вѣтки ельника мелькнуло вдали женское платье.

Маріанна выпрямилась. — Посмотрите, ваша Мадонна выслала свою шпіонку. Эта горничная должна наблюдать

Маріанна шла впередъ молча. Но вотъ дорожка повернула въ сторону,—ельникъ словно разступился, и открылась впереди небольшая поляна съ дуплистой плакучей березой посрединѣ и круглой скамьей, охватывавшей стволъ стараго дерева. Маріанна сѣла на эту скамью; Неждановъ помѣстился рядомъ. Надъ головами обоихъ тихонько покачивались длинные пучки висячихъ вѣтокъ, покрытыхъ мелкими зелеными листочками. Кругомъ въ жидкой травѣ бѣлѣли ландыши—и отъ всей поляны поднимался свѣжій запахъ молодой травы, пріятно облегчавшій грудь, все еще стѣсненную смолистыми испареніями елей.

— Вы хотите пойти со мной посмотрѣть здѣшнюю школу,—начала Маріанна:—что-жъ? пойдемте.—Только... я не знаю. Удовольствія вамъ будетъ мало. Вы слышали: нашъ главный учитель—діаконъ. Онъ человѣкъ добрый,—но вы не можете себѣ представить, о чемъ онъ бесѣдуетъ съ учениками! Межъ ними есть мальчикъ... его зовутъ Гарасей—онъ сирота, десяти лѣтъ,—и, представьте! онъ учится лучше всѣхъ!

Перемѣнивъ внезапно предметъ разговора, Маріанна сама какъ будто измѣнилась: она поблѣднѣла, утихла—и лицо ея выразило смущеніе, словно ей совѣстно стало всего, что она наговорила. Ей, видимо, хотѣлось навести Нежданова на какой-нибудь „вопросъ"—школьный, крестьянскій—лишь бы только не продолжать въ прежнемъ тонѣ. Но ему въ эту минуту было не до „вопросовъ".

— Маріанна Викентьевна,—началъ онъ:—скажу вамъ откровенно: я никакъ не ожидалъ всего того... что теперь произошло между нами.—(При словѣ: „произошло" она слегка насторожилась.) Мнѣ кажется, мы вдругъ—очень... очень сблизились. Да оно такъ и слѣдовало. Мы давно подходимъ другъ къ другу; только голосу не подавали.—А потому я буду съ вами говорить безъ утайки.—Вамъ тяжело и тошно въ здѣшнемъ домѣ; но дядя вашъ—онъ хотя ограниченный, однако, насколько я могу судить, гуманный человѣкъ? развѣ онъ не понимаетъ вашего поло-*женія, не становится* на вашу сторону?

— Мой дядя? Во-первыхъ—онъ вовсе не человѣкъ: онъ чиновникъ—сенаторъ, или министръ... я ужъ не знаю. А во-вторыхъ... я не хочу напрасно жаловаться и клеветать: мнѣ вовсе не тошно и не тяжело здѣсь, то-есть, меня здѣсь не притѣсняютъ; маленькія шпильки моей тетки въ сущности для меня ничто... Я совершенно свободна.

Неждановъ съ изумленіемъ глянулъ на Маріанну.

— Въ такомъ случаѣ... все, что̀ вы мнѣ сейчасъ говорили...

— Вы вольны смѣяться надо мною,—подхватила она:— но если я несчастна—то не своимъ несчастьемъ.—Мнѣ кажется иногда, что я страдаю за всѣхъ притѣсненныхъ, бѣдныхъ, жалкихъ на Руси... нѣтъ, не страдаю—а негодую за нихъ, возмущаюсь... что я за нихъ готова... голову сложить. Я несчастна тѣмъ, что я барышня, приживалка, что я ничего, ничего не могу и не умѣю! Когда мой отецъ былъ въ Сибири, а я съ матушкой оставалась въ Москвѣ—ахъ, какъ я рвалась къ нему!—и не то, чтобы я очень его любила или уважала — но мнѣ такъ хотѣлось извѣдать самой, посмотрѣть собственными глазами, какъ живутъ ссыльные... загнанные... И какъ мнѣ было досадно на себя и на всѣхъ этихъ спокойныхъ, зажиточныхъ, сытыхъ!.. А потомъ, когда онъ вернулся, надломанный, разбитый—и началъ унижаться, хлопотать и заискивать... ахъ... какъ это было тяжело! Какъ хорошо онъ сдѣлалъ, что умеръ... и матушка тоже! Но вотъ, я осталась въ живыхъ... Къ чему? Чтобы чувствовать, что у меня дурной нравъ, что я неблагодарна, что со мной ладу нѣтъ—и что я ничего, ничего—не могу ни для чего, ни для кого!

Маріанна отклонилась въ сторону—рука ея скользнула на скамью. Нежданову стало очень жаль ея; онъ прикоснулся къ этой повисшей рукѣ... но Маріанна тотчасъ ее отдернула, не потому, чтобы движеніе Нежданова показалось ей неумѣстнымъ—а чтобы онъ—сохрани Богъ—не подумалъ, что она напрашивается на участіе.

Сквозь вѣтки ельника мелькнуло вдали женское платье.

Маріанна выпрямилась. — Посмотрите, ваша Мадонна выслала свою шпіонку. Эта горничная должна наблюдать

мною—и доносить своей барынѣ, гдѣ я бываю и съ кѣмъ!—Тетка вѣроятно сообразила, что я съ вами,—и находитъ, что это неприлично—особенно, послѣ сентиментальной сцены, которую она передъ вами разыграла. Да и въ самомъ дѣлѣ—пора вернуться. Пойдемте.

Маріанна встала; Нежда новъ тоже поднялся со своего мѣста. Она глянула на него черезъ плечо и вдругъ по ея лицу мелькнуло выраженіе почти дѣтское, миловидное, немного смущенное.

— Вы вѣдь не сердитесь на меня? Вы не думаете, что я тоже порисовалась передъ вами?—Нѣтъ, вы этого не думаете, — продолжала она, прежде чѣмъ Нежда новъ ей что-нибудь отвѣтилъ. — Вы вѣдь такой же, какъ я—несчастный—и нравъ у васъ тоже... дурной, какъ у меня.— А завтра мы пойдемъ вмѣстѣ въ школу, потому что мы вѣдь теперь хорошіе пріятели.

Когда Маріанна и Нежда новъ приблизились къ дому, Валентина Михайловна посмотрѣла на нихъ въ лорнетку съ высоты балкона—и съ своей обычной, кроткой улыбкой тихонько покачала головою; а возвращаясь, черезъ раскрытую стеклянную дверь, въ гостиную, въ которой Сипягинъ уже сидѣлъ за преферансомъ съ завернувшимъ на чаекъ беззубымъ сосѣдомъ, промолвила громко и протяжно, отставляя слогъ отъ слога:

— Какъ сыро на воздухѣ! Это нездорово!

Маріанна переглянулась съ Нежда новымъ; а Сипягинъ, который только-что обремизилъ своего партнера, бросилъ на жену истинно-министерскій взоръ вбокъ и вверхъ черезъ щеку—и потомъ перевелъ тотъ же сонливо-холодный, но проницательный взоръ на входившую изъ темнаго сада молодую чету.

XIV.

Минуло еще двѣ недѣли.—Все шло своимъ порядкомъ. Сипягинъ распредѣлялъ ежедневныя занятія — если не какъ министръ, то уже навѣрное, какъ директоръ департамента—и держался попрежнему—высоко, гуманно и нѣсколько брезгливо; Коля бралъ уроки, Анна Захаровна

терзалась постоянной, угнетенной злобой, гости наѣзжали, разговаривали, сражались въ карты — и, повидимому, не скучали; Валентина Михайловна продолжала заигрывать съ Неждановымъ — хотя къ ея любезности стало примѣшиваться нѣчто въ родѣ добродушной иронiи. Съ Маріанной Неждановъ окончательно сблизился—и, къ удивленію своему, нашелъ, что у ней характеръ довольно ровный и что съ ней можно говорить обо всемъ, не натыкаясь на слишкомъ рѣзкія противорѣчія.—Вмѣстѣ съ нею онъ раза два посѣтилъ школу—но съ перваго же посѣщенія убѣдился, что ему тутъ дѣлать нечего. Отецъ діаконъ завладѣлъ ею вдоль-и-поперекъ, съ разрѣшенія Сипягина и по его волѣ. Отецъ діаконъ училъ грамотѣ недурно, хотя по старинному способу — но на экзаменахъ предлагалъ вопросы—довольно несообразные; напримѣръ, онъ спросилъ однажды Гараську: „какъ-молъ онъ объясняетъ выраженіе: „темна вода во облацѣхъ?“—на что̀ Гарася долженъ былъ, по указанію самого отца діакона, отвѣтствовать: „сіе есть необъяснимо“. Впрочемъ, школа скоро и такъ закрылась—по случаю лѣтняго времени—до осени.—Памятуя наставленіе Паклина и другихъ, Неждановъ старался также сближаться съ крестьянами; но въ скорости замѣтилъ, что онъ просто изучаетъ ихъ, насколько хватало наблюдательности — а вовсе не пропагандируетъ! Онъ почти всю свою жизнь провелъ въ городѣ — и между нимъ и деревенскимъ людомъ существовалъ оврагъ или ровъ, черезъ который онъ никакъ не могъ перескочить. Нежданову пришлось обмѣняться нѣсколькими словами съ пьяницей Кирилой и даже съ Менделѣемъ Дутикомъ — но, странное дѣло!—онъ словно робѣлъ передъ ними—и кромѣ очень общей и очень короткой ругани, онъ отъ нихъ ничего не услышалъ. Другой мужикъ — звали его Ѳитюевымъ — просто втупикъ его поставилъ. Лицо у этого мужика было необычайно энергическое, чуть не разбойничье... „Ну, этотъ—навѣрное, надежный!“—думалось Нежданову... И что же? Ѳитюевъ оказался бобылемъ; у него міръ отобралъ землю, потому что онъ — человѣкъ здоровый и даже сильный—*не могъ* работать.—„Не могу!“—

всхлипывалъ Ѳитюевъ самъ, съ глубокимъ, внутреннимъ стономъ — и протяжно вздыхалъ: — „не могу работать! убейте меня! — А то я на себя руки наложу!“ — И кончалъ тѣмъ, что просилъ милостыньки—грошика на хлѣбушко... А лицо—какъ у Риналдо Риналдини!—Фабричный народъ — такъ тотъ совсѣмъ не дался Нежданову; всѣ эти ребята были либо ужасно-бойкіе, либо ужасномрачные... и у Нежданова съ ними тоже не вышло ничего. Онъ по этому поводу написалъ другу своему, Силину, большое письмо, въ которомъ горько жаловался на свою неумѣлость и приписывалъ ее своему скверному воспитанію и пакостной эстетической натурѣ! Онъ вдругъ вообразилъ, что его призваніе — въ дѣлѣ пропаганды — дѣйствовать не живымъ, устнымъ словомъ, — а письменнымъ; но задуманныя имъ брошюры не клеились. Все, что онъ пытался выводить на бумагѣ, производило на него самого впечатлѣніе чего-то фальшиваго, натянутаго, невѣрнаго въ тонѣ, въ языкѣ, — и онъ раза два — о, ужасъ!—невольно сворачивалъ на стихи или на скептическія, личныя изліянія. Онъ даже рѣшился (важный признакъ довѣрія и сближенія!)—говорить объ этой своей неудачѣ съ Маріанной... и, опять-таки къ удивленію своему, — нашелъ въ ней сочувствіе — разумѣется, не къ своей беллетристикѣ — а къ той нравственной болѣзни, которой онъ страдалъ и которая не была ей чужда. Маріанна не хуже его возставала на эстетику; — а собственно потому и не полюбила Маркелова и не пошла за него, что въ немъ не существовало и слѣда той самой эстетики! — Маріанна, конечно, въ этомъ даже себѣ самой не смѣла сознаться; но вѣдь только то и сильно въ насъ, что остается для насъ самихъ полуподозрѣнной тайной.

Такъ шли дни—туго, неровно—но не скучно.

Нѣчто странное происходило съ Неждановымъ. Онъ былъ недоволенъ собою, своей дѣятельностью — то-есть, своимъ бездѣйствіемъ; рѣчи его почти постоянно отзывались желчью и ѣдкостью самобичеванія; а на душѣ у него, гдѣ-то тамъ, очень далеко внутри — было не дурно; онъ

испытывалъ даже нѣкоторое успокоеніе. Было ли то слѣдствіемъ деревенскаго затишья, воздуха, лѣта, вкусной пищи, удобнаго житья, — происходило ли оно отъ того, что ему въ первый разъ отроду случилось извѣдать сладость соприкосновенія съ женскою душою? — сказать трудно; но ему въ сущности было даже легко, хотя онъ и жаловался—искренно жаловался—другу своему, Силину.

Впрочемъ, это настроеніе Нежданова было внезапно и насильственно прервано—въ одинъ день.

Утромъ того дня онъ получилъ записку отъ Василія Николаевича, въ которой предписывалось ему вмѣстѣ съ Маркеловымъ — въ ожиданіи дальнѣйшихъ инструкцій — немедленно познакомиться и сговориться съ уже́ поименованнымъ Соломинымъ и нѣкоторымъ купцомъ Голушкинымъ, старообрядцемъ, проживавшимъ въ С*. Записка эта перетревожила Нежданова: упрекъ его бездѣйствію послышался ему въ ней. Горечь, которая все это время кипѣла у него на однихъ словахъ, теперь снова поднялась со дна его души.

Къ обѣду пріѣхалъ Калломѣйцевъ, разстроенный и раздраженный.—Представьте,—закричалъ онъ почти слезливымъ голосомъ: — какой ужасъ я сейчасъ вычиталъ въ газетѣ: — моего друга, моего милаго Михаила, сербскаго князя, какіе-то злодѣи убили въ Бѣлградѣ!—До чего наконецъ дойдутъ эти якобинцы и революціонеры, если имъ не положатъ твердый предѣлъ! — Сипягинъ „позволилъ себѣ замѣтить“, что это гнусное убійство, вѣроятно, совершено не якобинцами — „коихъ въ Сербіи не предполагается“—а людьми партіи Карагеоргіевичей, врагами Обреновичей... Но Калломѣйцевъ ничего слышать не хотѣлъ и тѣмъ же слезливымъ голосомъ началъ снова разсказывать, какъ покойный князь его любилъ, и какое ему подарилъ ружье!.. Понемногу расходившись и придя въ азартъ, Калломѣйцевъ отъ заграничныхъ якобинцевъ обратился къ доморощеннымъ нигилистамъ и соціалистамъ— и разразился наконецъ цѣлой филиппикой. Обхвативъ, по-модному, большой бѣлый хлѣбъ обѣими руками и переламывая его пополамъ надъ тарелкой супа, какъ это

дѣлаютъ завзятые парижане въ „Café-Riche“ — онъ изъявлялъ желаніе раздробить, превратить въ прахъ всѣхъ тѣхъ, которые сопротивляются — чему бы и кому бы то ни было!!. Онъ именно такъ выразился.—„Пора! пора!“—твердилъ онъ, занося себѣ ложку въ ротъ;—„пора! пора!“—повторялъ онъ, подставляя рюмку слугѣ, разливавшему хересъ. Съ благоговѣньемъ упомянулъ онъ о великихъ московскихъ публицистахъ—и Ladislas, notre bon et cher Ladislas, не сходилъ у него съ языка.—И при этомъ онъ то-и-дѣло устремлялъ взоръ на Нежданова, словно тыкалъ его имъ. — „Вотъ, молъ, тебѣ! Получай загвоздку! это я на твой счетъ! А вотъ еще!“—Тотъ не вытерпѣлъ наконецъ — и началъ возражать — немного, правда, трепетнымъ (конечно, не отъ робости) и хриповатымъ голосомъ; началъ защищать надежды, принципы, идеалы молодежи. Калломѣйцевъ немедленно заныщалъ—негодованіе въ немъ всегда выражалось фальцетомъ — и сталъ грубить. Сипягинъ величественно принялъ сторону Нежданова; Валентина Михайловна тоже соглашалась съ мужемъ; Анна Захаровна старалась отвлечь вниманіе Коли — и бросала, куда ни попало, яростные взгляды изъподъ нависшаго чепца; Маріанна не шевелилась, словно окаменѣла.

Но вдругъ, услышавъ въ двадцатый разъ произнесенное имя Ladislas'а, — Нежановъ вспыхнулъ весь и, ударивъ ладонью по столу, воскликнулъ:

— Вотъ нашли авторитетъ!—Какъ-будто мы не знаемъ, что̀ такое этотъ Ladislas? Онъ — прирожденный клеврет и больше ничего!

— А... а... а... во... вотъ какъ... вотъ ку... куда!—простоналъ Калломѣйцевъ, заикаясь отъ бѣшенства... — Вы вотъ какъ позволяете себѣ отзываться о человѣкѣ, котораго уважаютъ такія особы, какъ графъ Блазенкрамфъ и князь Коврижкинъ!

Нежановъ пожалъ плечами. — Хороша рекомендація: князь Коврижкинъ, этотъ лакей-энтузіастъ...

— Ladislas — мой другъ,—закричалъ Калломѣйцевъ:— *онъ мой* товарищъ—и я...

— Тѣмъ хуже для васъ,—перебилъ Неждановъ:—значитъ, вы раздѣляете его образъ мыслей, и мои слова относятся такъ же къ вамъ.

Калломѣйцевъ помертвѣлъ отъ злости. — Ка... какъ? Что? Какъ вы смѣете? На... надобно васъ... сейчасъ...

— Что вамъ угодно сдѣлать со мною *сейчасъ?* — вторично, съ иронической вѣжливостью, перебилъ Неждановъ.

Богъ вѣдаетъ, чѣмъ бы разрѣшилась эта схватка между двумя врагами, если бы Сипягинъ не прекратилъ ея въ самомъ началѣ. Возвысивъ голосъ и принявъ осанку, въ которой неизвѣстно что преобладало: важность ли государственнаго человѣка, или же достоинство хозяина дома— онъ съ спокойной твердостью объявилъ, что не желаетъ слышать болѣе у себя за столомъ подобныя неумѣренныя выраженія; что онъ давно поставилъ себѣ правиломъ (онъ поправился: священнымъ правиломъ) уважать всякаго рода убѣжденія, но только съ тѣмъ — (тутъ онъ поднялъ указательный палецъ, украшенный гербовымъ кольцомъ), чтобы они удерживались въ извѣстныхъ границахъ благопристойности и благоприличія; что если онъ, съ одной стороны, не можетъ не осудить въ г. Неждановѣ нѣкоторую воздержанность языка, извиняемую, впрочемъ, молодостью его лѣтъ, то, съ другой стороны, не можетъ также одобрить въ г-нѣ Калломѣйцевѣ ожесточеніе его нападокъ на людей противнаго лагеря — ожесточеніе, объясняемое, впрочемъ, его рвеніемъ къ общему благу.

— Подъ коимъ кровомъ, — такъ кончилъ онъ: — подъ кровомъ Сипягиныхъ нѣтъ ни якобинцевъ, ни клевретовъ, а есть только добросовѣстные люди, которые, однажды понявъ другъ друга, непремѣнно кончатъ тѣмъ, что подадутъ другъ другу руки!

Неждановъ и Калломѣйцевъ умолкли оба—однако руки другъ другу не подали; видно, часъ взаимнаго пониманія не наступилъ для нихъ. Напротивъ: они никогда еще не чувствовали такой сильной взаимной ненависти. Обѣдъ кончился въ непріятномъ и неловкомъ молчаніи; Сипягинъ попытался разсказать какой-то дипломатическій анекдотъ — но такъ и бросилъ его на полъ-пути. Марианна

упорно глядѣла на свою тарелку. Ей не хотѣлось выказать сочувствія, возбужденнаго въ ней рѣчами Неждановa, не изъ трусости — о, нѣтъ! но надо было прежде всего не выдать себя Сипягиной. Она чувствовала на себѣ ея проницательный, пристальный взоръ. И дѣйствительно, Сипягина не спускала съ нея глазъ—съ нея и съ Неждановa. Его неожиданная вспышка сперва поразила умную барыню; а потомъ ее какъ-будто что̀ озарило — да такъ, что она невольно шепнула:—А!.. Она вдругъ догадалась, что Нежданов̀ъ отвернулся отъ нея, тотъ самый Нежданов̀ъ, который еще недавно шелъ къ ней въ руки.—Тутъ что̀-то произошло... Ужъ не Маріанна ли? Да, навѣрное Маріанна... Онъ ей нравится... да и онъ...

„Надо принять мѣры“, такъ заключила она свои разсужденія, а между тѣмъ Калломѣйцевъ — задыхался отъ негодованія. Даже играя въ преферансъ, часа два спустя, онъ произносилъ слова: пасъ! или: покупаю! съ наболѣвшимъ сердцемъ—и въ голосѣ его слышалось глухое трѐмоло обиды, хотя онъ и показывалъ видъ, что „презираетъ!“ — Одинъ Сипягинъ былъ собственно даже очень доволенъ всей этой сценой. Ему пришлось выказать силу своего краснорѣчія, усмирить начинавшуюся бурю... Онъ зналъ латинскій языкъ, и Виргиліевское: Quos ego! (я васъ!) не было ему чуждымъ. Сознательно онъ не сравнивалъ себя съ Нептуномъ; но какъ-то сочувственно вспомнилъ о немъ.

XV.

Какъ только оказалось возможнымъ, Нежданов̀ъ отправился къ себѣ въ комнату и заперся.—Ему не хотѣлось ни съ кѣмъ видѣться—ни съ кѣмъ, кромѣ Маріанны. Ея комната находилась на самомъ концѣ длиннаго коридора, пересѣкавшаго весь верхній этажъ. Нежданов̀ъ только разъ—и то на нѣсколько минутъ—заходилъ туда; но ему казалось, что она не разсердится, если онъ къ ней постучится, что она даже желаетъ переговорить съ нимъ. Было уже довольно поздно, часовъ около десяти; хозяева, *послѣ сцены* за обѣдомъ, не считали нужнымъ его трево-

жить и продолжали играть въ карты съ Калломѣйцевымъ. Валентина Михайловна раза два навѣдалась о Маріаннѣ, такъ какъ она тоже исчезла скоро послѣ стола.—Гдѣ же Маріанна Викентьевна?—спросила она сперва по-русски, потомъ по-французски, не обращаясь ни къ кому въ особенности, а болѣе къ стѣнамъ, какъ это обыкновенно дѣлаютъ очень удивленные люди; впрочемъ, она вскорѣ сама занялась игрой.

Неждановъ прошелся нѣсколько разъ по своей комнатѣ, потомъ отправился по коридору до Маріанниной двери—и тихонько постучался. Отвѣта не было. Онъ постучался еще разъ—попопытался отворить дверь... Она оказалась запертою. Но не успѣлъ онъ вернуться къ себѣ, сѣсть на стулъ, какъ его собственная дверь слабо скрипнула и послышался голосъ Маріанны:

— Алексѣй Дмитричъ, это *вы* приходили ко мнѣ?

Онъ тотчасъ вскочилъ и бросился въ коридоръ; Маріанна стояла передъ дверью, со свѣчой въ рукѣ, блѣдная и неподвижная.

— Да... я...—шепнулъ онъ.

— Пойдемте,—отвѣчала она и пошла по коридору; но, не дойдя до конца, остановилась и толкнула рукою низкую дверь. Неждановъ увидалъ небольшую, почти пустую комнату. — Войдемте лучше сюда, Алексѣй Дмитричъ, здѣсь намъ никто не помѣшаетъ. — Неждановъ повиновался. Маріанна поставила свѣчку на подоконникъ и обернулась къ Нежданову.

— Я понимаю, почему вамъ именно меня хотѣлось видѣть,— начала она: — вамъ очень тяжело жить въ этомъ домѣ—и мнѣ тоже.

— Да; я хотѣлъ васъ видѣть, Маріанна Викентьевна,— отвѣчалъ Неждановъ:—но мнѣ не тяжело здѣсь съ тѣхъ поръ, какъ я сблизился съ вами.

Маріанна улыбнулась задумчиво.

— Спасибо, Алексѣй Дмитричъ—но скажите, неужели вы намѣрены остаться здѣсь послѣ всѣхъ этихъ безобразій?

— Я думаю, меня здѣсь не оставятъ—мнѣ откажутъ!— отвѣчалъ Неждановъ.

— А сами вы не откажетесь?

— Самъ... Нѣтъ.

— Почему?

— Вы хотите знать правду? Потому что *вы* здѣсь.

Маріанна наклонила голову и отошла немного въ глубь комнаты.

— И къ тому же,—продолжалъ Неждановъ:—я *обязанъ* остаться здѣсь. Вы ничего не знаете—но я хочу, я чувствую, что долженъ вамъ все сказать. — Онъ подступилъ къ Маріаннѣ и схватилъ ее за руку.—Она ея не приняла—и только посмотрѣла ему въ лицо. — Послушайте! — воскликнулъ онъ съ внезапнымъ, сильнымъ порывомъ. — Послушайте меня!—И тотчасъ же, не садясь ни на одно изъ двухъ-трехъ стульевъ, находившихся въ комнатѣ, продолжая стоять передъ Маріанной и держать ея руку, Неждановъ съ увлеченіемъ, съ жаромъ, съ неожиданнымъ для него самого краснорѣчіемъ, сообщилъ Маріаннѣ свои планы, намѣренія, причину, заставившую его принять предложеніе Сипягина — всѣ свои связи, знакомства, свое прошедшее, все, что онъ скрывалъ, что никому не высказывалъ! Онъ упомянулъ о полученныхъ письмахъ, о Васильѣ Николаевичѣ, обо всемъ—даже о Силинѣ!—Онъ говорилъ торопливо, безъ запинки, безъ малѣйшаго колебанья — словно онъ упрекалъ себя въ томъ, что до сихъ поръ не посвятилъ Маріанны во всѣ свои тайны—словно извинялся передъ нею. — Она его слушала внимательно, жадно; на первыхъ порахъ она изумилась... Но это чувство тотчасъ исчезло. Благодарность, гордость, преданность, рѣшимость—вотъ чѣмъ переполнялась ея душа. Ея лицо, ея глаза засіяли; она положила другую свою руку на руку Нежданова — ея губы раскрылись восторженно... Она вдругъ страшно похорошѣла!

Онъ остановился наконецъ — глянулъ на нее, и какъ будто впервые увидалъ *это* лицо, которое въ то же время такъ было и дорого ему, и такъ знакомо.

Онъ вздохнулъ сильно, глубоко...

— Ахъ, какъ я хорошо сдѣлалъ, что вамъ все сказалъ!— *едва могли* шепнуть его губы.

— Да, хорошо... хорошо! — повторила она тоже шопотомъ. Она невольно подражала ему — да и голосъ ея угасъ.—И значитъ, вы знаете,—продолжала она:—что я въ вашемъ распоряженіи, что я хочу быть тоже полезной вашему дѣлу, что я готова сдѣлать все, что будетъ нужно, пойти куда прикажутъ, что я всегда, всею душою, желала того же, что и вы...

Она тоже умолкла. Еще одно слово—и у ней брызнули бы слезы умиленія. Все ея крѣпкое существо стало внезапно мягко какъ воскъ. Жажда дѣятельности, жертвы, жертвы немедленной—вотъ чѣмъ она томилась.

Чьи-то шаги послышались за дверью—осторожные, быстрые, легкіе шаги.

Маріанна вдругъ выпрямилась, освободила свои руки—и вся тотчасъ перемѣнилась и повеселѣла. Что-то презрительное, что-то удалое мелькнуло по ея лицу.

— Я знаю, кто насъ подслушиваетъ въ эту минуту,—проговорила она такъ громко, что въ коридорѣ явственнымъ отзвучіемъ раздавалось каждое ея слово:—г-жа Сипягина подслушиваетъ насъ... но мнѣ это совершенно все равно.

Шорохъ шаговъ прекратился.

— Такъ какъ же?—обратилась Маріанна къ Нежданову:—что же мнѣ дѣлать? какъ помочь вамъ? Говорите... говорите скорѣй! Что дѣлать?

— Что?—промолвилъ Неждановъ.—Я еще не знаю... Я получилъ отъ Маркелова записку...

— Когда? Когда?

— Сегодня вечеромъ. Надо мнѣ ѣхать завтра съ нимъ къ Соломину на заводъ.

— Да... да... Вотъ еще славный человѣкъ—Маркеловъ. Вотъ настоящій другъ!

— Такой же, какъ я?

Маріанна глянула прямо въ лицо Нежданову.

— Нѣтъ—не такой же.

— Какъ?..

Она вдругъ отвернулась.

— Ахъ! да развѣ вы не знаете, чѣмъ вы для меня стали, и что я чувствую въ эту минуту...

Сердце Нежданова сильно забилось, и взоръ опустился невольно. Эта дѣвушка, которая полюбила его—его, бездомнаго горемыку,—которая ему довѣряется, которая готова идти за нимъ, вмѣстѣ съ нимъ, къ одной и той же цѣли — эта чудесная дѣвушка — Маріанна—въ это мгновенье стала для Нежданова воплощеніемъ всего хорошаго, правдиваго на землѣ — воплощеніемъ неиспытанной имъ семейной, сестриной, женской любви, — воплощеніемъ родины, счастья, борьбы, свободы!

Онъ поднялъ голову — и увидалъ ея глаза, снова на него обращенные...

О, какъ проникалъ ихъ свѣтлый, славный взглядъ въ самую глубь его души!

— Итакъ, — началъ онъ невѣрнымъ голосомъ:—я ѣду завтра... И когда я вернусь оттуда, я скажу... вамъ... (ему вдругъ стало неловко говорить Маріаннѣ: вы) — скажу вамъ, что узнаю, что будетъ рѣшено. Отнынѣ все, что̀ я буду дѣлать, все, что̀ я буду думать — все, все сперва узнаешь... ты.

— О, мой другъ!—воскликнула Маріанна—и опять схватила его руку.—Я то же самое обѣщаю тебѣ!

Это „тебѣ“ вышло у ней такъ легко и просто, какъ будто иначе и нельзя было — какъ будто это было товарищеское: „ты“.

— А письмо можно видѣть?

— Вотъ оно, вотъ.

Маріанна пробѣжала письмо и чуть не съ благоговѣніемъ подняла на него взоръ.

— На тебя возлагаютъ такія важныя порученія?

Онъ улыбнулся ей въ отвѣтъ и спряталъ письмо въ карманъ.

— Странно,—промолвилъ онъ: — вѣдь мы объяснились другъ другу въ любви — мы любимъ другъ друга — а ни слова объ этомъ между нами не было.

— Къ чему? — шепнула Маріанна и вдругъ бросилась къ нему на шею, притиснула свою голову къ его плечу... Но они даже не поцѣловались—это было бы по́шло и почему-то жутко—такъ, по крайней мѣрѣ, чувствовали они

оба — и тотчасъ же разошлись, крѣпко-крѣпко стиснувъ другъ другу руку.

Маріанна вернулась за свѣчой, которую оставила на подоконникѣ пустой комнаты — и только тутъ нашло на нее нѣчто въ родѣ недоумѣнія. Она погасила ее и, въ глубокой темнотѣ, быстро скользнувъ по коридору, вернулась въ свою комнату—раздѣлась, и легла въ той же для нея почему-то отрадной темнотѣ.

XVI.

На другое утро, когда Неждановъ проснулся, онъ не только не почувствовалъ никакого смущенія при воспоминаніи о томъ, что произошло наканунѣ,—но, напротивъ, онъ исполнился какой-то хорошей и трезвой радостью, точно онъ совершилъ дѣло, которое, по-настоящему, давно слѣдовало совершить. Отпросившись на два дня у Сипягина, который согласился на его отлучку немедленно, но строго,—Неждановъ уѣхалъ къ Маркелову. Передъ отъѣздомъ онъ успѣлъ свидѣться съ Маріанной. — Она тоже нисколько не стыдилась и не смущалась, глядѣла спокойно и рѣшительно, и спокойно говорила ему: *ты*. Волновалась она только о томъ, что онъ узнаетъ у Маркелова, и просила сообщить ей все.

— Это само собою разумѣется, — отвѣчалъ Неждановъ.

„И въ самомъ дѣлѣ,—думалось ему:—чего намъ тревожиться? Въ нашемъ сближеніи личное чувство играло роль... второстепенную — а соединились мы безвозвратно. Во имя дѣла? Да, во имя дѣла!“

Такъ думалось Нежданову, — и онъ самъ не подозрѣвалъ, сколько было правды—и неправды—въ его думахъ.

Онъ засталъ Маркелова въ томъ же усталомъ и суровомъ настроеніи духа. Пообѣдавши кое-какъ и кое-чѣмъ, они отправились въ извѣстномъ уже намъ тарантасѣ — (вторую пристяжную, очень молодую и не бывавшую еще въ упряжкѣ лошадь, взяли на-прокатъ у мужика—Маркеловская еще хромала) — на большую бумаго-прядильную фабрику купца Фалѣева, гдѣ жилъ Соломинъ. Любопытство Нежданова было возбуждено: ему очень хотѣлось по-

ближе познакомиться съ человѣкомъ, о которомъ въ послѣднее время онъ слышалъ такъ много. Соломинъ былъ предупрежденъ; какъ только оба путешественника остановились у воротъ фабрики и назвались—ихъ немедленно провели въ невзрачный флигелекъ, занимаемый „механикомъ-управляющимъ“. Самъ онъ находился въ главномъ фабричномъ корпусѣ; пока одинъ изъ рабочихъ бѣгалъ за нимъ, Неждановъ и Маркеловъ успѣли подойти къ окну и осмотрѣться. Фабрика, очевидно, была въ полномъ расцвѣтаніи и завалена работой; отовсюду несся бойкій гамъ и гулъ непрестанной дѣятельности: машины пыхтѣли и стучали, скрипѣли станки, колеса жужжали, хлюпали ремни, катились и исчезали тачки, бочки, нагруженныя телѣжки; раздавались повелительные крики, звонки, свистки; торопливо пробѣгали мастеровые въ подпоясанныхъ рубахахъ, съ волосами прихваченными ремешкомъ, рабочія дѣвки въ ситцахъ; двигались запряженныя лошади... Людская тысячеголовая сила гудѣла вокругъ, натянутая, какъ струна. Все шло правильно, разумно, полнымъ махомъ; но не только щегольства или аккуратности, даже опрятности не было замѣтно нигдѣ и ни въ чемъ; напротивъ—всюду поражала небрежность, грязь, копоть; тамъ стекло въ окнѣ разбито, тамъ облупилась штукатурка, доски вывалились, зѣваетъ настежь растворенная дверь; большая лужа, черная, съ радужнымъ отливомъ гнили, стоитъ посреди главнаго двора; дальше торчатъ груды разбросанныхъ кирпичей; валяются остатки рогожъ, цыновокъ, ящиковъ, обрывки веревокъ; шершавыя собаки ходятъ съ подтянутыми животами и даже не лаютъ; въ уголку, подъ заборомъ, сидитъ мальчикъ лѣтъ четырехъ, съ огромнымъ животомъ и взъерошенной головой, весь выпачканный въ сажѣ,—сидитъ и безнадежно плачетъ, словно оставленный цѣлымъ міромъ; рядомъ съ нимъ, замаранная той же сажей, свинья окруженная пестрыми поросятами, пожираетъ капустныя кочерыжки; дырявое бѣлье болтается на протянутой веревкѣ—а какой смрадъ, какая духота всюду!—Русская фабрика—какъ есть; не нѣмецкая и не французская мануфактура.

Нежданов глянул на Маркелова.

— Мнѣ столько натолковали объ отмѣнныхъ способностяхъ Соломина,—началъ онъ:—что, признаюсь, меня весь этотъ безпорядокъ удивляетъ; я этого не ожидалъ.

— Безпорядка тутъ нѣтъ, — отвѣчалъ угрюмо Маркеловъ: — а неряшливость русская. Все-таки — милліонное дѣло! А ему приспособляться приходится; и къ старымъ обычаямъ, — и къ дѣламъ, — и къ самому хозяину. Вы имѣете ли понятіе о Фалѣевѣ?

— Никакого.

— Первый по Москвѣ алтынникъ. Буржуй—одно слово!

Въ эту минуту Соломинъ вошелъ въ комнату. Нежданову пришлось разочароваться въ немъ, такъ же какъ и въ фабрикѣ. На первый взглядъ Соломинъ производилъ впечатлѣніе чухонца, или скорѣе шведа. Онъ былъ высокаго роста, бѣлобрысъ, сухопаръ, плечистъ; лицо имѣлъ длинное, желтое, носъ короткій и широкій, глаза очень небольшіе, зеленоватые, взглядъ спокойный, губы крупныя и выдвинутыя впередъ; зубы бѣлые, тоже крупные, и раздвоенный подбородокъ, чуть-чуть обросшій пухомъ. Одѣтъ онъ былъ ремесленникомъ, кочегаромъ: на туловищѣ старый пиджакъ съ отвислыми карманами, на головѣ клеенчатый помятый картузъ, на шеѣ шерстяной шарфъ, на ногахъ дегтярные сапоги. Его сопровождалъ человѣкъ лѣтъ сорока, въ простой чуйкѣ, съ чрезвычайно подвижнымъ, цыганскимъ лицомъ и черными какъ смоль, пронзительными глазами, которыми онъ, какъ только вошелъ, такъ разомъ и окинулъ Нежданова... Маркелова онъ уже зналъ. Звали его Павломъ; онъ слылъ фактотумомъ Соломина.

Соломинъ подошелъ, не спѣша, къ обоимъ посѣтителямъ, дважнулъ, молча, руку каждаго изъ нихъ своей мозолистой, костлявой рукой, вынулъ изъ стола запечатанный пакетъ и передалъ его, тоже молча, Павлу, который тотчасъ и вышелъ вонъ изъ комнаты. Потомъ онъ потянулся, крякнулъ; сбросивъ картузъ съ затылка долой однимъ взмахомъ руки, — присѣлъ на деревянный крашеный стульчикъ, — и, указавъ Маркелову и Нежданову на такой же диванъ, промолвилъ:—Прошу!

Маркеловъ сперва познакомилъ Соломина съ Неждановымъ; тотъ ему снова давануль руку.—Потомъ Маркеловъ началъ говорить о „дѣлѣ“, упомянулъ о письмѣ Василія Николаевича. Неждановъ подалъ это письмо Соломину. Пока онъ читалъ, внимательно и не торопясь, переводя глаза со строки на строку, — Неждановъ глядѣлъ на него. Соломинъ сидѣлъ близъ окна; уже низкое солнце ярко освѣщало его загорѣлое, слегка вспотѣвшее лицо, его бѣлокурые, запыленные волосы, зажигая въ нихъ множество золотистыхъ точекъ. Его ноздри подрыгивали и раздувались во время чтенія, и губы шевелились, какъ бы произнося каждое слово; онъ держалъ письмо крѣпко и высоко обѣими руками. Все это, Богъ вѣдаетъ почему, нравилось Нежданову. Соломинъ возвратилъ письмо Нежданову, улыбнулся ему, и опять принялся слушать Маркелова. Тотъ говорилъ, говорилъ — и умолкъ наконецъ.

— Знаете ли что, — началъ Соломинъ, и голосъ его, немного сиплый, но молодой и сильный, тоже понравился Нежданову:—у меня здѣсь несовсѣмъ удобно; поѣдемте-ка къ вамъ—до васъ всего семь верстъ. Вѣдь вы въ тарантасѣ пріѣхали?

— Да.

— Ну... мѣсто мнѣ будетъ. Черезъ часъ у меня работы кончаются, и я свободенъ. Мы и потолкуемъ. Вы тоже свободны?—обратился онъ къ Нежданову.

— До послѣ-завтра.

— И прекрасно. Мы вотъ заночуемъ у нихъ.—Можно будетъ, Сергѣй Михайлычъ?

— Что за вопросъ! Конечно, можно.

— Ну—я сейчасъ. Дайте только пообчиститься немного.

— А какъ у васъ по фабрикѣ?—значительно спросилъ Маркеловъ.

Соломинъ глянулъ въ сторону.

— Мы потолкуемъ,—промолвилъ онъ вторично.—Погодите-ка... Я сейчасъ... Я кое-что забылъ...

Онъ вышелъ. Если бы не хорошее впечатлѣніе, которое онъ произвелъ на Нежданова — тотъ бы, пожалуй,

подумалъ, и даже, быть-можетъ, спросилъ бы у Маркелова: „Ужъ не отлыниваетъ ли онъ?“ Но ему ничего подобнаго въ голову не пришло.

Часъ спустя, въ то время, когда изъ всѣхъ этажей громаднаго зданія по всѣмъ лѣстницамъ спускалась и во всѣ двери выливалась шумная фабричная толпа,—тарантасъ, въ которомъ сидѣли Маркеловъ, Неждановъ и Соломинъ, выѣзжалъ изъ воротъ на дорогу.

— Василій Ѳедотычъ, дѣйствовать? — закричалъ Соломину напослѣдяхъ Павелъ, проводившій его до воротъ.

— Попридержи... — отвѣчалъ Соломинъ. — Это насчетъ одной ночной операціи,—пояснилъ онъ своимъ товарищамъ.

Пріѣхали они въ Борзёнково; поужинали—больше приличія ради,—а тамъ запылали сигары и начались разговоры, тѣ ночные, неутомимые русскіе разговоры, которые въ такихъ размѣрахъ и въ такомъ видѣ едва ли свойственны другому какому народу. Впрочемъ, и тутъ Соломинъ не оправдалъ ожиданій Нежданова. Онъ говорилъ замѣчательно мало... такъ мало, что почти, можно сказать, постоянно молчалъ; но слушалъ пристально, и если произносилъ какое-либо сужденіе или замѣчаніе, то оно было и дѣльно, и вѣско, и очень коротко. Оказалось, что Соломинъ не вѣрилъ въ близость революціи въ Россіи; но, не желая навязывать свое мнѣніе другимъ, не мѣшалъ имъ попытаться, и посматривалъ на нихъ—не издали, а сбоку. Онъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ — и до нѣкоторой степени сочувствовалъ имъ — ибо былъ самъ изъ народа; но онъ понималъ невольное отсутствіе этого самаго народа, безъ котораго „ничего ты не подѣлаешь“, и котораго долго готовить надо—да и не такъ и не тому, какъ *тѣ*. Вотъ онъ и держался въ сторонѣ, не какъ хитрецъ и виляка, а какъ малый со смысломъ, который не хочетъ даромъ губить ни себя, ни другихъ.—А послушать... отчего не послушать—и даже поучиться, если такъ придется. Соломинъ былъ единственный сынъ дьячка; у него было пять сестеръ — всѣ замужемъ за попами и дьяконами; но онъ, съ согласія отца, степеннаго и трезваго человѣка, бросилъ семина-

рію, сталъ заниматься математикой и особенно пристрастился къ механикѣ; попалъ на заводъ къ англичанину, который полюбилъ его какъ сына — и далъ ему средства съѣздить въ Манчестеръ, гдѣ онъ пробылъ два года и выучился англійскому языку. На фабрику московскаго купца онъ попалъ недавно, и хотя съ подчиненныхъ взыскивалъ — потому что въ Англіи на эти порядки насмотрѣлся, — но пользовался ихъ расположеніемъ: свой, дескать, человѣкъ! Отецъ былъ имъ очень доволенъ, называлъ его „обстоятельнымъ“ и только жалѣлъ о томъ, что сынъ жениться не желаетъ.

Въ теченіе ночного разговора у Маркелова, Соломинъ, какъ мы уже сказали, почти все молчалъ; но когда Маркеловъ принялся толковать о надеждахъ, возлагаемыхъ имъ на фабричныхъ, Соломинъ, по своему обыкновенію, лаконически замѣтилъ, что у насъ на Руси фабричные не то, что за границей — самый тихоня народъ.

— А мужики?—спросилъ Маркеловъ.

— Мужики? Кулаковъ межъ ними ужъ теперь завелось довольно, и съ каждымъ годомъ больше будетъ—а кулаки только свою выгоду знаютъ; остальные—овцы, темнота.

— Такъ гдѣ же искать?

Соломинъ улыбнулся.

— Ищите и обрящете.

Онъ почти постоянно улыбался — и улыбка его была тоже какая-то безхитростная—но не безотчетная, какъ и весь онъ. — Съ Неждановымъ онъ обходился особеннымъ образомъ: молодой студентъ возбуждалъ въ немъ участіе, почти нѣжность.

Въ теченіе того же ночного разговора, Неждановъ вдругъ разгорячился и пришелъ въ азартъ; Соломинъ тихонько всталъ и, перейдя своей развалистой походкой черезъ всю комнату, заперъ открывшееся за головой Нежданова окошко...

— Какъ бы вы не простудились,—добродушно промолвилъ онъ въ отвѣтъ на изумленный взглядъ оратора.

Неждановъ сталъ разспрашивать его о томъ, какія соціальныя идеи онъ пытается провести во ввѣренной ему

фабрикѣ, и намѣренъ ли онъ устроить дѣло такъ, чтобы работники участвовали въ барышѣ?

— Душа моя!—отвѣчалъ Соломинъ:—мы школу завели и больницу маленькую—да и то патронъ упирался какъ медвѣдь!

Разъ только Соломинъ разсердился не на шутку и такъ ударилъ своимъ могучимъ кулакомъ по столу, что все на немъ подпрыгнуло, не исключая пудовой гирьки, пріютившейся возлѣ чернильницы. Ему разсказали о какой-то несправедливости на судѣ, о притѣсненіи рабочей артели...

Когда же Неждановъ и Маркеловъ принимались говорить, какъ „приступить“, какъ привести планъ въ дѣйствіе, Соломинъ продолжалъ слушать съ любопытствомъ, даже съ уваженіемъ — но самъ уже не произносилъ ни слова. До четырехъ часовъ длилась эта ихъ бесѣда. — И о чемъ, о чемъ они не перетолковали! Маркеловъ, между прочимъ, таинственно намекнулъ на неутомимаго путешественника Кислякова, на его письма, которыя становятся все интереснѣе, да интереснѣе; онъ обѣщалъ показать Нежданову нѣкоторыя изъ нихъ и даже дать ему на-домъ, такъ какъ они очень пространны и писаны не совсѣмъ разборчивымъ почеркомъ; да и сверхъ того въ нихъ много учености и даже стихи попадаются—но не какіе-нибудь легкомысленные, а съ соціалистическимъ направленіемъ!—Отъ Кислякова Маркеловъ перешелъ къ солдатамъ, къ адъютантамъ, къ нѣмцамъ — договорился наконецъ до артиллерійскихъ статей; Неждановъ упомянулъ объ антагонизмѣ Гейне и Бёрне, о Прудонѣ, о реализмѣ въ искусствѣ; а Соломинъ слушалъ, слушалъ, вникалъ, покуривалъ—и не переставая улыбаться, не сказавъ ни одного остроумнаго слова, казалось, лучше всѣхъ понималъ, въ чемъ состояла собственно вся суть.

Пробило четыре часа... Неждановъ и Маркеловъ едва держались на ногахъ отъ усталости, а Соломинъ хоть бы въ одномъ глазѣ!—Пріятели разошлись; но прежде было сообща положено: на слѣдующій день отправиться въ городъ къ старовѣру купцу Голушкину, для пропаганды; самъ Голушкинъ былъ очень ретивъ—да и обѣщалъ про-

зелитовъ! Соломинъ высказалъ-было сомнѣніе: стóитъ ли посѣщать Голушкина? Однако, потомъ согласился, что стóитъ.

XVII.

Гости Маркелова еще спали, когда къ нему явился посланецъ съ письмомъ отъ его сестры, г-жи Сипягиной.— Въ этомъ письмѣ Валентина Михайловна говорила ему о какихъ-то хозяйственныхъ пустячкахъ, просила его прислать ей взятую имъ книгу — да кстати въ постъ-скриптумѣ сообщала ему „забавную“ новость: его бывшая пассія, Маріанна, влюбилась въ учителя Нежданова, а учитель въ нее; и это она, Валентина Михайловна, не сплетни передаетъ, а видѣла все собственными глазами и слышала собственными ушами. Лицо Маркелова стало темнѣе ночи... но онъ ни слова не промолвилъ;—велѣлъ отдать посланцу книгу — и, увидѣвши сошедшаго сверху Нежданова, обычнымъ образомъ съ нимъ поздоровался— даже передалъ ему обѣщанную пачку Кисляковскихъ посланій; — но не остался съ нимъ, а ушелъ „по хозяйству“.—Неждановъ вернулся къ себѣ въ комнату и пробѣжалъ отданныя ему письма: молодой пропагандистъ въ нихъ толковалъ постоянно о себѣ, о своей судорожной дѣятельности; по его словамъ, онъ въ послѣдній мѣсяцъ обскакалъ одиннадцать уѣздовъ, былъ въ девяти городахъ, двадцати-девяти селахъ, пятидесяти-трехъ деревняхъ, одномъ хуторѣ и восьми заводахъ; шестнадцать ночей провелъ въ сѣнныхъ сараяхъ, одну въ конюшнѣ, одну даже въ коровьемъ хлѣвѣ (тутъ онъ замѣтилъ въ скобкахъ съ *нотабене*, что блоха его не беретъ); лазилъ по землянкамъ, по казармамъ рабочихъ, вездѣ поучалъ, наставлялъ, книжки раздавалъ и на-лету собиралъ свѣдѣнія; иныя записывалъ на мѣстѣ, другія заносилъ себѣ въ память, по новѣйшимъ пріемамъ мнемоники; написалъ четырнадцать большихъ писемъ, двадцать-восемь малыхъ и восемнадцать записокъ (изъ коихъ четыре карандашомъ, одну кровью, одну сажей, разведенной на водѣ); и все это онъ успѣвалъ сдѣлать, потому что научился систематически

распредѣлять время, принимая въ руководство Квинтина Джонсона, Сверлицкаго, Каррéліуса и другихъ публицистовъ и статистиковъ.—Потомъ онъ говорилъ опять-таки о себѣ, о своей звѣздѣ, о томъ, какъ и въ чемъ именно онъ дополнилъ теорію страстей Фурія; увѣрялъ, что онъ первый отыскалъ, наконецъ, „почву“, что онъ „не пройдетъ надъ міромъ безо всякаго слѣда“ — что онъ самъ удивляется тому, какъ это онъ, двадцати-двухъ-лѣтній юноша, уже рѣшилъ всѣ вопросы жизни и науки—и что онъ перевернетъ Россію, даже „встряхнетъ“ ее!—Dixi!!—приписывалъ онъ въ строку.—Это слово: Dixi—попадалось часто у Кислякова и всегда съ двумя восклицательными знаками. Въ одномъ изъ писемъ находилось и соціалистическое стихотвореніе, обращенное къ одной дѣвушкѣ и начинавшееся словами:

Люби не меня—но идею!

Неждановъ внутренно подивился не столько самохвальству г-на Кислякова—сколько честному добродушію Маркелова... но тутъ же подумалъ: „По-боку эстетику! и г-нъ Кисляковъ можетъ быть полезенъ“. — Къ чаю всѣ три пріятеля сошлись въ столовой; но вчерашнее словопреніе между ними не возобновилось.—Никому изъ нихъ не хотѣлось говорить — но одинъ Соломинъ молчалъ спокойно; и Неждановъ, и Маркеловъ казались внутренно взволнованными.

Послѣ чаю они отправились въ городъ; старый слуга Маркелова, сидя на рундучкѣ, сопровождалъ своего бывшаго барина обычнымъ унылымъ взоромъ.

Купецъ Голушкинъ, съ которымъ предстояло познакомиться Нежданову, былъ сынъ разбогатѣвшаго торговца москательнымъ товаромъ—изъ старовѣровъ-ѳедосѣевцевъ. Самъ онъ не увеличилъ отцовскаго состоянія, ибо былъ, какъ говорится, жуиръ, эпикуреецъ на русскій ладъ — и никакой въ торговыхъ дѣлахъ сообразительности не имѣлъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ сорока, довольно тучный и некрасивый, рябой, съ небольшими свиными глазками; говорилъ онъ очень поспѣшно и какъ бы путаясь въ словахъ, размахивалъ руками, ногами сѣменилъ, похохатывалъ

валъ... вообще производилъ впечатлѣніе парня дурковатаго, избалованнаго и крайне самолюбиваго. Самъ онъ почиталъ себя человѣкомъ образованнымъ, потому что одѣвался понѣмецки и жилъ хотя грязненько, да открыто, зналъ съ людьми богатыми—и въ театръ ѣздилъ, и протежировалъ каскадныхъ актрисъ, съ которыми изъяснялся на какомъ-то необычайномъ, якобы французскомъ языкѣ. Жажда популярности была его главною страстью: греми, молъ, Голушкинъ, по всему свѣту!—То Суворовъ или Потемкинъ—а то Капитонъ Голушкинъ!— Эта же самая страсть, побѣдившая въ немъ прирожденную скупость, бросила его, какъ онъ не безъ самодовольства выражался — въ оппозицію (прежде онъ говорилъ просто: „въ позицію“ — но потомъ его научили)—свела его съ нигилистами: онъ высказывалъ самыя крайнія мнѣнія, трунилъ надъ собственнымъ старовѣрствомъ, ѣлъ въ постъ скоромное, игралъ въ карты — а шампанское пилъ какъ воду. И все сходило ему съ рукъ:—потому, говорилъ онъ—у меня всякое, гдѣ слѣдуетъ, начальство закуплено, всякая прорѣха зашита, всѣ рты заткнуты, всѣ уши завѣшены.—Онъ былъ вдовъ, бездѣтенъ; сыновья его сестры съ подобострастнымъ трепетомъ вились около него... но онъ обзывалъ ихъ непросвѣщенными олухами, варварами, и едва пускалъ ихъ къ себѣ на глаза.—Жилъ онъ въ большомъ, каменномъ, довольно неряшливо содержанномъ домѣ; въ иныхъ комнатахъ мебель была заграничная — а въ иныхъ ничего не было, кромѣ крашеныхъ стульевъ да клеенчатаго дивана. Картины висѣли вездѣ—и вездѣ прескверныя: рыжіе ландшафты, лиловые морскіе виды—„Поцѣлуй“ Моллера, толстыя голыя женщины съ красными колѣнками или локтями. Хоть у Голушкина и не было семьи—но много разной челяди и приживальщиковъ ютилось подъ его кровлей: не изъ щедрости принималъ онъ ихъ, а опять-таки изъ популярничанья—да чтобъ было надъ кѣмъ командовать и ломаться. „Мои кліенты“, говорилъ онъ, когда желалъ пыль пустить въ глаза; книгъ онъ не читалъ, а ученыя выраженія запоминалъ отлично.

Молодые люди застали Голушкина въ его кабинетѣ.

Облеченный въ долгополое пальто, съ сигарой во рту, онъ притворялся, что читаетъ газету. При видѣ ихъ онъ тотчасъ вскочилъ, заметался, покраснѣлъ, закричалъ, чтобы скорѣй подавали закуску, что-то спросилъ, чему-то засмѣялся — и все это разомъ. Маркелова и Соломина онъ зналъ; Неждановъ былъ для него новое лицо. Услышавъ, что онъ студентъ, Голушкинъ опять засмѣялся, пожалъ ему вторично руку и промолвилъ:

— Славно! Славно! нашего полку прибыло... Ученіе свѣтъ, а неученіе тьма—я самъ на мѣдные гроши ученъ, но понимаю, потому достигъ!

Нежданову показалось, что г-нъ Голушкинъ робѣетъ и конфузится... да оно дѣйствительно и было такъ.—„Смотри, братъ Капитонъ! не ударь лицомъ въ грязь!“—было его первой мыслью при видѣ каждаго новаго лица. Онъ, однако, скоро оправился, и тѣмъ же торопливо-шепелявымъ, спутаннымъ языкомъ началъ говорить о Василіѣ Николаевичѣ, объ его характерѣ, о необходимости про... па...ганды—(онъ это слово хорошо зналъ, но выговаривалъ медленно); о томъ, что у него, Голушкина, открылся новый молодецъ, пренадежный; что, кажется, время теперь уже близко, назрѣло для... для ланцета (при этомъ онъ глянулъ на Маркелова, который, однако, даже бровью не повелъ); — потомъ, обратясь къ Нежданову, онъ принялся расписывать самого себя, не хуже чѣмъ самъ великій корреспондентъ, Кисляковъ. Что онъ, молъ, изъ самодуровъ вышелъ давно, что онъ хорошо знаетъ права пролетаріевъ (и это слово онъ помнилъ твердо), что хотя онъ собственно торговлю бросилъ и занимается банковыми операціями—для наращенія капитала—но это только для того, чтобы капиталъ сей въ данную минуту могъ послужить—въ пользу... въ пользу общему движенію, въ пользу, такъ сказать,—народу; а что онъ, Голушкинъ, въ сущности презираетъ капиталъ! Тутъ вошелъ человѣкъ съ закуской, и Голушкинъ значительно крякнулъ и попросилъ, не угодно ли пройтись по рюмочкѣ?—и самъ первый „хлопнулъ“ внушительную чарочку перцовки.

Гости принялись за закуску. — Голушкинъ запихивалъ

себѣ въ ротъ громадные куски паюсной икры и пилъ исправно, приговаривая: — Пожалуйте, господа, пожалуйте, хорошій макончикъ! Снова обратившись къ Нежданову, онъ спросилъ его, откуда онъ прибылъ, надолго ли, и гдѣ обрѣтается; а узнавъ, что онъ живетъ у Сипягина, воскликнулъ:

— Знаю я этого барина! Пустой! — И тутъ же началъ бранить всѣхъ землевладѣльцевъ С....ой губерніи, за то, что въ нихъ не только нѣтъ ничего гражданственнаго, но даже собственныхъ интересовъ они не чувствуютъ... Только—чудное дѣло! — самъ бранится, а глаза бѣгаютъ, и видно въ нихъ безпокойство.—Нежданов не могъ себѣ хорошенько отдать отчета, что̀ это за человѣкъ—и зачѣмъ онъ имъ нуженъ? Соломинъ, по обыкновенію, помалчивалъ; а Маркеловъ принялъ такой сумрачный видъ, что Нежданов спросилъ его, наконецъ: что̀ съ нимъ? — На что̀ Маркеловъ отвѣчалъ, что съ нимъ — ничего; но такимъ тономъ, какимъ обыкновенно отвѣчаютъ люди, когда хотятъ дать понять, что есть, молъ, что-то,—да не про тебя. — Голушкинъ опять принялся сперва бранить кого-то, а потомъ хвалить молодежь: какіе, дескать, теперь умницы пошли! У-умницы! У! — Соломинъ перебилъ его вопросомъ: кто̀, молъ, тотъ молодецъ надежный, о которомъ онъ говорилъ,—и гдѣ онъ его отыскалъ? Голушкинъ расхохотался, повторилъ раза два: а вотъ, увидите, увидите, — и началъ разспрашивать его объ его фабрикѣ, и объ ея „плутѣ“ владѣльцѣ, на что̀ Соломинъ отвѣчалъ весьма односложно. Тогда Голушкинъ налилъ всѣмъ шампанскаго—и, наклонясь къ уху Нежданова, шепнулъ:—За республику! и выпилъ бокалъ залпомъ. Нежданов пригубилъ. Соломинъ замѣтилъ, что онъ вина утромъ не пьетъ; Маркеловъ злобно и рѣшительно выпилъ свой бокалъ до дна. Казалось, нетерпѣнье грызло его: вонъ, молъ, мы все прохлаждаемся—а къ настоящему разговору не приступаемъ... Онъ ударилъ по столу, сурово промолвилъ: — Господа! и собрался-было говорить...

Но въ это мгновенье вошелъ въ комнату прилизанный человѣкъ съ кувшиннымъ рыльцемъ и чахоточный на видъ,

въ купеческомъ нанковомъ кафтанчикѣ, обѣ руки на отлётъ. Поклонившись всей компаніи, человѣкъ доложилъ что-то вполголоса Голушкину.

— Сейчасъ, сейчасъ, — отвѣчалъ тотъ торопливо. — Господа,— прибавилъ онъ: — я долженъ спросить извиненія... Мнѣ Вася вотъ, мой приказчикъ, одну таку „вещію“ сказалъ (Голушкинъ выразился такъ нарочно, шутки ради), что мнѣ безпремѣнно предстоитъ на время отлучиться; но надѣюсь, господа, что вы согласитесь у меня сегодня откушать — въ три часа; и гораздо тогда намъ будетъ свободнѣе.

Ни Соломинъ, ни Неждановъ не знали, что̀ отвѣтить; но Маркеловъ тотчасъ промолвилъ, съ той же суровостью на лицѣ и въ голосѣ:

— Конечно, будемъ; а то—что̀ же это за комедія.

— Благодаримъ покорно,—подхватилъ Голушкинъ — и, нагнувшись къ Маркелову, присовокупилъ: — „Тыщу“ рублевъ во всякомъ случаѣ на дѣло жертвую... въ этомъ не сомнѣвайся!

И при этомъ онъ раза три двинулъ правой рукой съ отопыренными мизинцемъ и большимъ пальцемъ: „вѣрно, значитъ!“

Онъ проводилъ гостей до двери — и, стоя на порогѣ, крикнулъ:

— Буду ждать въ три часа.

— Жди!—отвѣчалъ одинъ Маркеловъ.

— Господа! — промолвилъ Соломинъ, какъ только всѣ трое очутились на улицѣ.—Я возьму извозчика—и поѣду на фабрику. Что̀ мы будемъ дѣлать до обѣда?—Бить баклуши? Да и купецъ нашъ... мнѣ кажется—отъ него, какъ отъ козла,—ни шерсти, ни молока.

— Ну, шерсть-то будетъ, — замѣтилъ угрюмо Маркеловъ.—Онъ вотъ деньги обѣщаетъ. Или вы имъ брезгаете? Намъ во всё входить нельзя. — Мы — не разборчивыя невѣсты.

— Стану я брезгать!—спокойно проговорилъ Соломинъ. Я только себя спрашиваю, какую пользу мое присутствіе можетъ принести. А впрочемъ,— прибавилъ онъ, глянувъ

па Нежданова и улыбнувшись: — извольте; останусь. На людяхъ и смерть красна.

Маркеловъ поднялъ голову.

— Пойдемъ, пока, въ городской садъ;—погода хорошая. На людей посмотримъ.

— Пойдемъ.

Они пошли—Маркеловъ и Соломинъ впереди, Неждановъ за ними.

XVIII.

Странное было состояніе его души. Въ послѣдніе два дня сколько новыхъ ощущеній, новыхъ лицъ... Онъ въ первый разъ въ жизни сошелся съ дѣвушкой, которую — по всей вѣроятности—полюбилъ; онъ присутствовалъ при начинаніяхъ дѣла, которому—по всей вѣроятности—посвятилъ всѣ свои силы... И что же?—радовался онъ?—Нѣтъ.— Колебался онъ? трусилъ? смущался? — О, конечно, нѣтъ. Такъ чувствовалъ ли онъ, по крайней мѣрѣ, то напряженіе всего существа, то стремленіе впередъ, въ первые ряды бойцовъ, которое вызывается близостью борьбы?—Тоже нѣтъ. Да вѣритъ ли онъ, наконецъ, въ это дѣло? Вѣритъ ли онъ въ свою любовь? — О, эстетикъ проклятый! Скептикъ! беззвучно шептали его губы.—Отчего эта усталость, это нежеланіе даже говорить, какъ только онъ не кричитъ и не бѣснуется? — Какой внутренній голосъ желаетъ онъ заглушить въ себѣ этимъ крикомъ? Но Маріанна, этотъ славный, вѣрный товарищъ, эта чистая, страстная душа, эта чудесная дѣвушка, развѣ она его не любитъ? Не великое развѣ это счастье, что онъ встрѣтился съ нею, что онъ заслужилъ ея дружбу, ея любовь? И эти два существа, которыя теперь идутъ передъ нимъ, этотъ Маркеловъ, этотъ Соломинъ, котораго онъ знаетъ еще мало, но къ которому чувствуетъ такое влеченіе — развѣ они не отличные образчики русской сути, русской жизни—и знакомство, близость съ ними не есть ли также счастье? — Такъ отчего же это неопредѣленное, смутное, ноющее чувство? Къ чему, зачѣмъ эта грусть?—Коли ты *рефлектёръ* и меланхоликъ,— снова шептали его губы —

какой же ты къ чорту революціонеръ? Ты пиши стишки, да кисни, да возись съ собственными мыслишками и ощущеньицами—да копайся въ разныхъ психологическихъ соображеньицахъ и тонкостяхъ — а, главное, не принимай твоихъ болѣзненныхъ, нервическихъ раздраженій и капризовъ за мужественное негодованіе, за честную злобу убѣжденнаго человѣка! — О, Гамлетъ, Гамлетъ, датскій принцъ, какъ выйти изъ твоей тѣни? Какъ перестать подражать тебѣ во всемъ, даже въ позорномъ наслажденіи самобичеванія?

— Алексисъ! Другъ! россійскій Гамлетъ! — раздался вдругъ, какъ бы въ отзвучіе всѣмъ этимъ размышленіямъ, знакомый, пискливый голосъ.—Тебя ли я вижу?!

Нежданов поднялъ глаза—и съ изумленіемъ увидѣлъ передъ собою Паклина! — Паклина въ образѣ пастушка, облеченнаго въ лѣтнюю одежду бланжеваго цвѣту, безъ галстука на шеѣ, въ большой соломенной шляпѣ, обвязанной голубой лентой и надвинутой на самый затылокъ— и въ лаковыхъ башмачкахъ!

Онъ тотчасъ подковылялъ къ Нежданову и ухватился за его руки.

— Во-первыхъ,—началъ онъ:—хотя мы въ публичномъ саду, надо, по старинному обычаю, обняться... и поцѣловаться... Разъ, два, три!—Во-вторыхъ, ты знай, что если бы я тебя не встрѣтилъ сегодня, ты бы навѣрное завтра улицезрѣлъ меня,—ибо мнѣ извѣстно твое мѣстопребываніе, и я даже нарочно прибылъ въ сей городъ... какимъ манеромъ—объ этомъ послѣ; въ-третьихъ, познакомь меня съ твоими товарищами. Скажи мнѣ вкратцѣ, кто они, а имъ—кто я, и будемъ наслаждаться жизнью!

Нежданов исполнилъ желаніе своего друга, назвалъ его, Маркелова, Соломина—и сказалъ о каждомъ изъ нихъ кто онъ такой, гдѣ живетъ, что дѣлаетъ и т. п.

— Прекрасно! воскликнулъ Паклинъ:—а теперь позвольте мнѣ отвести васъ всѣхъ вдаль отъ толпы, которой, впрочемъ, нѣтъ,—на уединенную скамейку, сидя на которой я, въ часы мечтаній, наслаждаюсь природой. — Удивительный тамъ видъ: губернаторскій домъ, двѣ по-

лосатыхъ будки, три жандарма и ни одной собаки! — Не удивляйтесь, однако, слишкомъ моимъ рѣчамъ, которыми я столь тщетно стараюсь разсмѣшить васъ! — Я, по мнѣнію моихъ друзей, представляю русское остроуміе... оттого-то, вѣроятно, я и хромаю.

Паклинъ повелъ пріятелей къ „уединенной скамейкѣ“, и усадилъ ихъ на ней, предварительно согнавъ съ нея двухъ салопницъ. Молодые люди „обмѣнялись мыслями“... занятіе бо̀льшей частью довольно скучное — особенно, на первыхъ порахъ—и необыкновенно безплодное.

— Стой! — воскликнулъ вдругъ Паклинъ, обернувшись къ Нежданову:—надо тебѣ объяснить, почему я здѣсь. Ты знаешь, я свою сестру каждое лѣто увожу куда-нибудь; когда я узналъ, что ты отправляешься въ сосѣдство здѣшняго города, — я и вспомнилъ, что въ самомъ этомъ городѣ живутъ два удивительнѣйшихъ субъекта: мужъ и жена, которые намъ доводятся съ-родни... по матери. Мой отецъ былъ мѣщанинъ — (Нежда̀новъ это зналъ, но Паклинъ сказалъ это—для *тѣхъ двухъ*)—а она дворянка. И давнымъ-давно они насъ къ себѣ зазываютъ! — Стой! думаю я... Это мнѣ на руку. Люди они добрѣйшіе, сестрѣ у нихъ будетъ—лафа; чего же больше? Вотъ, мы и прикатили. И ужъ точно! Такъ намъ здѣсь хорошо... сказать нельзя! — Но что̀ за субъекты! Что за субъекты! — Вамъ непремѣнно надо съ ними познакомиться! Что вы здѣсь дѣлаете? Гдѣ вы обѣдаете? И зачѣмъ вы собственно сюда пріѣхали?

— Мы обѣдаемъ сегодня у одного Голушкина... Здѣсь есть такой купецъ,—отвѣчалъ Нежда̀новъ.

— Въ которомъ часу?

— Въ три часа.

— И вы видитесь съ нимъ насчетъ... насчетъ... — Паклинъ обвелъ взоромъ Соломина, который улыбался, и Марколова, который все темнѣлъ да темнѣлъ...

— Да ты имъ, Алеша, скажи... сдѣлай какой-нибудь фармазонскій знакъ, право... скажи, что со мной вѣдь чиниться нечего... Вѣдь я вашъ... вашего общества...

— *Голушкинъ* тоже нашъ,—замѣтилъ Нежда̀новъ.

— Ну, вотъ и чудесно!—До трехъ часовъ еще времени много.—Послушайтесь меня—пойдемте къ моимъ родственникамъ!

— Да ты съ ума сошелъ! Какъ же можно такъ...

— Объ этомъ ты не безпокойся! ужъ это я на себя беру.—Представь: оазисъ!—Ни политика, ни литература, ни что̀ современное туда и не заглядываетъ.—Домикъ какой-то пузатенькій, какихъ теперь и не видать нигдѣ; запахъ въ немъ—антикъ; люди—антикъ; воздухъ—антикъ... за что́ ни возьмись—антикъ, Екатерина Вторая, пудра, фижмы, XVIII-й вѣкъ?—Хозяева... представь: мужъ и жена, оба старенькіе-престаренькіе, однолѣтки—и безъ морщинъ; кругленькіе, пухленькіе, опрятненькіе, настоящіе попугайчики-периклитки; а добры до глупости, до святости, безконечно! Мнѣ скажутъ: „безконечная“ доброта часто бываетъ сопряжена съ отсутствіемъ нравственнаго чувства... Но я въ эти тонкости не вхожу и знаю только, что мои старички—добрячки! И дѣтей никогда не имѣли. Блаженные! Ихъ такъ въ городѣ блаженными и зовутъ. Одѣты оба одинаково, въ какіе-то полосатые капоты—и матерія такая добротная: такой тоже теперь нигдѣ не сыщешь.—Похожи другъ на друга ужасно—только вотъ что у одной на головѣ чепецъ, а у другого колпакъ—и съ такими же рюшами какъ на чепцѣ, только безъ банта. Не будь этого банта—такъ и не узнаешь: кто—кто̀; къ тому жъ и мужъ-то безбородый. И зовутъ ихъ: одного—Ѳомушка, а другую—Ѳимушка.—Я тебѣ говорю—деньги слѣдовало бы платить, чтобъ только посмотрѣть на нихъ. Любятъ другъ друга до невозможности: а посѣтитъ ихъ кто—милости просимъ!—И такіе податливые: сейчасъ всѣ свои штучки покажутъ. Только одно: курить у нихъ нельзя: не то̀, чтобы они были раскольники—но ужъ очень имъ табакъ мерзитъ... Да вѣдь въ ихъ времена кто же и курилъ?—За то и канареекъ они не держатъ—потому что птица эта тоже мало была тогда распространена... И это великое счастіе—согласитесь!—Ну, что жъ? идете вы?

— Я, право же, не знаю,—началъ Неждановъ.

— Стой: я еще не все сообщилъ.—Голоса у нихъ одн-

наковые: закрой глаза, такъ и не знаешь, кто говоритъ. Только у Ѳомушки рѣчь какъ будто почувствительнѣй.— Вотъ вы, господа, собираетесь теперь на великое дѣло,— быть-можетъ, на страшную борьбу... Что бы вамъ прежде чѣмъ броситься въ эти бурныя волны—окунуться...

— Въ стоячую воду?—перебилъ Маркеловъ.

— А хоть бы и такъ?—Стоячая она, точно; только не гнилая.—Такіе есть степные прудки; они хоть и не проточные, а никогда не зацвѣтаютъ, потому что на днѣ у нихъ есть ключи.—И у моихъ старичковъ есть ключи — тамъ, на днѣ сердца, чистые-пречистые. — Ужъ одно то: хотите вы узнать, какъ жили сто, полтораста лѣтъ тому назадъ? — такъ спѣшите; идите за мною. А то придетъ вдругъ день и часъ — одинъ и тотъ же часъ непремѣнно для обоихъ — и свалятся мои периклитки со своихъ жердочекъ—и всякій антикъ тотчасъ съ ними прекратится— и пузатенькій домъ пропадетъ—и вырастетъ на его мѣстѣ то, что, по словамъ моей бабушки, всегда вырастаетъ на мѣстѣ, гдѣ была „человѣчина“ — а именно: крапива, репейникъ, осотъ, полынь и конскій щавель; самой улицы не будетъ—и придутъ люди, и ничего уже больше такого не найдутъ во вѣки вѣковъ!...

— А что?—воскликнулъ Неждановъ:—и впрямь пойти!

— Я съ великимъ даже удовольствіемъ готовъ, — промолвилъ Соломинъ: — не по моей это части — а все-таки любопытно:—и коли г. Паклинъ точно можетъ поручиться, что мы своимъ приходомъ никого не обезпокоимъ, то... почему же...

— Да ужъ не сомнѣвайтесь!—воскликнулъ въ свою очередь Паклинъ:—восторгъ произведете—и больше ничего. Какія тутъ церемоніи! Говорятъ вамъ: они — блаженные, мы ихъ пѣть заставимъ.—А вы, г. Маркеловъ, согласны?

Маркеловъ сердито повелъ плечами.

— Не оставаться же мнѣ тутъ одному! — Извольте вести.—Молодые люди поднялись со скамейки.

— Какой это у тебя баринъ грозный, — шепнулъ Паклинъ Нежданову, указывая на Маркелова: — ни дать ни *взять* Іоаннъ Предтеча, наѣвшійся акридъ... однѣхъ акридъ,

безъ меда!—А тотъ,—прибавилъ онъ, кивнувъ головой на Соломина:—чудесный! Какъ это онъ славно улыбается!—Я замѣтилъ, такъ улыбаются только такіе люди, которые выше другихъ—а сами этого не знаютъ.

— Развѣ бываютъ такіе люди?—спросилъ Неждановъ.

— Рѣдко; но бываютъ,—отвѣчалъ Паклинъ.

XIX.

Ѳомушка и Ѳимушка,—Ѳома Лаврентьевичъ и Евѳимія Павловна Субочевы—принадлежали оба къ одному и тому же коренному русскому дворянскому роду—и считались чуть ли не самыми старинными обитателями города С*.—Они вступили въ бракъ очень рано—и очень давно тому назадъ поселились въ дѣдовскомъ деревянномъ домѣ на краю города—никогда оттуда не выѣзжали—и ни въ чемъ никогда не измѣнили ни своего образа жизни, ни своихъ привычекъ. Время, казалось, остановилось для нихъ; никакое „новшество“ не проникало за границу ихъ „оазиса“. Состояніе у нихъ было небольшое; но мужички ихъ попрежнему привозили имъ по нѣскольку разъ въ годъ домашнюю живность и провизію; староста въ указанный срокъ являлся съ оброчными деньгами и парой рябчиковъ, будто бы застрѣленныхъ въ господскихъ лѣсныхъ, въ дѣйствительности давно исчезнувшихъ, дачахъ; его поили чаемъ на порогѣ гостиной, дарили ему баранью шапку, пару зеленыхъ замшевыхъ рукавицъ—и отпускали съ Богомъ.—Дворовые люди попрежнему наполняли Субочевскій домъ. Старый слуга Калліопычъ, облеченный въ камзолъ изъ необычайно-толстаго сукна съ стоячимъ воротникомъ и маленькими стальными пуговицами, попрежнему докладывалъ нараспѣвъ, что „кушанье на столѣ“, и засыпалъ, стоя за кресломъ барыни. Буфетъ былъ у него на рукахъ;—онъ завѣдывалъ „разной бакаліей, кардамонами и лимонами“,—а на вопросъ: не слыхалъ ли онъ, что для всѣхъ крѣпостныхъ вышла воля,—всякій разъ отвѣчалъ, что мало ли кто какія мелетъ враки; это, молъ, у турковъ бываетъ воля, а его, слава Богу, она миновала. Дѣвка Пуфка, изъ карлицъ, держалась для

развлеченія, а старая няня Васильевна во время обѣда входила съ большимъ темнымъ платкомъ на головѣ—и разсказывала шамкавшимъ голосомъ про всякія новости:—про Наполеона, двѣнадцатый годъ, про антихриста и бѣлыхъ араповъ; — а не то, подперши рукою подбородокъ, словно горюя, сообщала, какой она видѣла сонъ и что онъ означалъ,—и что у ней на картахъ вышло. Самый домъ Субочевыхъ отличался ото всѣхъ другихъ домовъ въ городѣ: онъ былъ весь построенъ изъ дуба, и окна имѣлъ въ видѣ равносторонникъ четырехугольниковъ; двойныя рамы никогда не вынимались! И были въ немъ всевозможныя сѣнцы и горенки, и свѣтлицы и хоромники, и рундучки съ перильцами, и голубцы на точёныхъ столбикахъ, и всякіе задніе переходцы и камо́рки. Спереди находился палисадникъ, а сзади—садъ; а въ саду—что клѣтушекъ, пу́некъ, амбарчиковъ, погребковъ, ледничковъ...—какъ есть гнѣздо! И не то, чтобы во всѣхъ этихъ помѣщеніяхъ сохранилось много добра—иныя уже и завалились;—да заведено все это изстари—ну, и держалось. Лошадей у Субочевыхъ было только двѣ, древнія, сѣдлистыя, косматыя; по одной отъ старости даже бѣлыя пятна выступили; звали ее Недвигой. Закладывались онѣ—много-много разъ въ мѣсяцъ—въ необычайный, всему городу извѣстный экипажъ, представлявшій подобіе земного глобуса съ вырѣзанной спереди четвертою частью и обитый снутри заграничной желтой матеріей, сплошь усѣянной крупными пупырушками въ видѣ бородавокъ. Послѣдній аршинъ этой матеріи былъ вытканъ въ Утрехтѣ или Ліонѣ еще во времена императрицы Елизаветы! И кучеръ у Субочевыхъ былъ чрезвычайно древній, пропитанный запахомъ во́рвани и дегтя, старикъ; борода начиналась у него близъ самыхъ глазъ, а брови падали маленькимъ каскадомъ на бороду. Онъ до того былъ медлителенъ во всѣхъ своихъ движеніяхъ, что употреблялъ цѣлыхъ пять минутъ на понюшку табаку, двѣ минуты на то, чтобы заткнуть кнутъ за поясъ, и два часа слишкомъ на то, чтобы заложить одну Недвигу. А звали его *Перфишкой*. Если Субочевымъ случалось выѣхать и эки-

пажу приходилось хоть чуточку подниматься въ гору— то они непремѣнно пугались (спускаясь съ горы, они, впрочемъ, тоже пугались)—цѣплялись за каретные ремни и твердили оба вслухъ: „Конямъ—конямъ... сила Самуила:—а мы, а мы, легче пуха, легче духа!!.“ Субочевыхъ всѣ въ городѣ С* считали за чудаковъ, чуть не за сумасшедшихъ:—да они и сами сознавали, что не подходятъ къ настоящимъ порядкамъ... но не больно объ этомъ печалились: въ какомъ быту родились они, выросли и сочетались бракомъ — въ томъ и остались. Одна только особенность того быта къ нимъ не пристала: отроду они никогда никого не наказали, не взыскали ни съ кого. Коли слуга у нихъ оказывался отъявленнымъ пьяницей или воромъ—они сперва долго терпѣли и переносили—вотъ какъ переносятъ дурную погоду; а наконецъ старались отдѣлаться отъ него, спустить его другимъ господамъ: пускай же, дескать, и тѣ помаются маленько! Только эта бѣда случалась съ ними рѣдко,—до того рѣдко, что становилась въ ихъ жизни эпохой—и они говаривали, напримѣръ: „Этому очень давно; это приключилось тогда, когда у насъ проживалъ Алдошка озорникъ“, или „когда у насъ украли мѣховую дѣдушкину шапку съ лисьимъ хвостомъ...“ У Субочевыхъ еще водились такія шапки. — Другая, впрочемъ, отличительная черта стариннаго быта въ нихъ также не замѣчалась: ни Ѳимушка, ни Ѳомушка не были слишкомъ религіозными людьми. Ѳомушка такъ даже придерживался Вольтеріанскихъ правилъ; а Ѳимушка смертельно боялась духовныхъ лицъ; у нихъ, по ея примѣтамъ, глазъ былъ дурной. „Попъ у меня посидитъ, — говаривала она: — глядь! анъ сливки-то и скислись“. — Въ церковь они выѣзжали рѣдко — и постились по-католически, т.-е. употребляли яйца, масло и молоко. Въ городѣ это знали—и, конечно, это не поправляло ихъ репутаціи. Но доброта ихъ все побѣждала; и надъ чудаками Субочевыми хоть и смѣялись, хоть и считали ихъ юродивыми и блаженными— а все-таки, въ сущности, уважали ихъ.

Да; ихъ уважали... но ѣздить къ нимъ никто не ѣздилъ.

Впрочемъ, они объ этомъ также не тужили. Вмѣстѣ они никогда не скучали, а потому не разлучались никогда, и никакого другого общества не желали. Ни Ѳомушка, ни Ѳимушка ни разу не болѣли; а если съ однимъ изъ нихъ и приключалась какая легкая немощь—то они *оба* пили настой липоваго цвѣту, натирались теплымъ масломъ по поясницѣ—или капали горячимъ саломъ на подошвы—и въ скорости все проходило.—День они проводили всегда одинаково. Вставали поздно, кушали утромъ шоколадъ изъ крошечныхъ чашекъ въ видѣ ступокъ; „чай — увѣряли они—ужъ послѣ насъ въ моду-то вошелъ“;—садились другъ передъ другомъ—и либо бесѣдовали (и всегда находили о чемъ!)—либо читали изъ „*Пріятнаго препровожденія времени*“, „*Зеркала Свѣта*“, или „*Аонидъ*“; либо просматривали старенькій альбомъ, переплетенный въ красный сафьянъ съ золотою каёмкой, принадлежавшій нѣкогда, какъ гласила надпись, одной M-me Barbe de Kabyline.—Какъ и когда попалъ этотъ альбомъ къ нимъ въ руки — они сами не знали. Въ немъ находилось нѣсколько французскихъ и много русскихъ стихотвореній и прозаическихъ статей, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующаго „краткаго“ размышленія о „Цецеронѣ“:

„Въ каковомъ расположеніи Цецеронъ вступилъ въ чинъ квестора, объявляетъ онъ слѣдующее. Засвидѣтельствовавши богами чистосердіе своихъ чувственностей во всѣхъ чинахъ, коими дотолѣ почтенъ былъ, мнилъ себя обязанна самыми священными узами къ достойному оныхъ исполненію и въ семъ намѣреніи не попускался онъ, Цецеронъ, не токмо въ сладости законопреступныя,—но и убѣгалъ отъ таковыхъ увеселеній, кои кажутся быть всеконечно необходимы“.—Внизу стояло: „Записано въ Сибири, въ гладѣ и хладѣ“.—Хорошо было также стихотвореніе, озаглавленное: „Тирсисъ“, гдѣ встрѣчались такія строфы:

Покой вселенной управляетъ,
Роса съ пріятностью блеститъ,
Природу нѣжитъ, прохлаждаетъ,
Ей пову жизнь собой даритъ!

Одинъ Тирсисъ съ душой унылой

Страдаетъ, мучится, груститъ...
Когда съ нимъ нѣтъ Анеты милой—
Его ничто не веселитъ!

—и экспромптъ проѣзжаго капитана въ 1790 году, „Маія въ шестый день“:

Никогда я не забуду!
Тебя, любезное село!
И вѣчно помнить буду!
Пріятно время такъ текло!
Которое имѣлъ я честь!

У владѣлицы твоей!
Пять лучшихъ въ жизни дней!
Въ почтеннѣйшемъ кругу провесть!
Среди множества дамъ и дѣвицъ,
И прочихъ *ак*тересныхъ лицъ!

На послѣдней страницѣ альбома стояло — вмѣсто стиховъ — рецепты отъ желудка, спазмовъ — и увы! — даже отъ глистовъ. Субочевы обѣдали ровно въ двѣнадцать часовъ, и ѣли все старинныя кушанья: сырники, пигусы, солянки, разсольники, саламаты, кокурки, кисели, взвары, верченую курятину съ шафраномъ, оладьи съ мёдомъ; послѣ обѣда отдыхали—часикъ, не больше,—просыпались, опять садились другъ передъ другомъ и пили брусничную водицу, а иногда и шипучку, прозванную „сорокоумомъ“, которая, однако, почти всякій разъ вылетала вся вонъ изъ бутылки и причиняла много смѣху господамъ,—а Калліопычу много досады: надо было подтирать „всюду“— и онъ долго ворчалъ на ключницу и на повара, которые будто бы выдумали этотъ напитокъ... „И какое въ немъ удовольствіе? Только *небель* портитъ!“ — Потомъ супруги Субочевы опять что-нибудь читали или пересмѣивались съ карлицей Пуфкой, или пѣли вдвоемъ старинные романсы (голоса у нихъ были совершенно одинакіе, высокіе, слабые, нѣсколько дрожащіе и хриплые — особенно послѣ сна,—но не лишенные пріятности—или, наконецъ, играли въ карты, но въ тоже все старинныя игры: въ кребсъ, въ ламушъ или даже въ бостонъ сампрандеръ! Потомъ появлялся самоваръ; по вечерамъ они пили чай... *Эту* уступку духу времени они сдѣлали; однако всякій

разъ находили, что это баловство — и что народъ отъ „оной китайской травки“ становится нарочито слабѣе.— Вообще же они удерживались отъ порицаній новаго времени и отъ восхваленій стараго: иначе они отроду не живали, но что другіе люди могли жить другимъ манеромъ—и даже лучше—это они допускали; лишь бы ихъ не заставляли мѣняться!—Часамъ къ восьми Калліопычъ подавалъ ужинъ съ неизбѣжной окрошкой, а въ девять часовъ полосатые высокіе пуховики уже принимали въ свои рыхлыя объятія утучненныя тѣла Ѳомушки и Ѳимушки, и безмятежный сопъ не медлилъ спуститься на ихъ вѣжды.—И все утихало въ старенькомъ домѣ: лампадка теплилась, пахло выхухолью, мелиссой, сверчокъ трюкалъ—и спала добрая, смѣшная, невинная чета.

Вотъ къ этимъ-то юродивымъ или, какъ онъ выражался, периклиткамъ, пріютившимъ его сестру, — и привелъ Паклинъ своихъ знакомыхъ.

Сестра его была дѣвушка умная и недурная лицомъ— глаза у ней были удивительные; но несчастный ея горбъ сокрушалъ ее, отнималъ всякую самонадѣянность и веселость, сдѣлалъ ее недовѣрчивой, и чуть не злою. И имя ей попалось премудреное: Снандулія! — Паклинъ хотѣлъ было перекрестить ее въ Софію; но она упорно держалась своего страннаго имени, говоря, что горбатой такъ и слѣдуетъ называться Снандуліей. Она была хорошая музыкантша и порядочно играла на фортепіано—„по милости монхъ длинныхъ пальцевъ“,—замѣчала она, не безъ горечи: „у горбатыхъ они всегда такіе бываютъ“.

Гости застали Ѳомушку и Ѳимушку въ самую ту минуту, когда они просыпались отъ послѣ-обѣденнаго сна и пили водицу.

— Вступаемъ въ XVIII-й вѣкъ! — воскликнулъ Паклинъ, какъ только перешагнулъ порогъ Субочевскаго дома.

И дѣйствительно: XVIII-й вѣкъ встрѣтилъ гостей уже въ передней, въ видѣ низенькихъ, синенькихъ ширмочекъ, оклеенныхъ вырѣзанными черными силуэтками напудренныхъ дамъ и кавалеровъ. Съ легкой руки Лафатера силуэтки были въ большой модѣ въ Россіи въ 80-хъ годахъ

прошлаго столѣтія. Внезапное появленіе такого большого числа посѣтителей—цѣлыхъ четыре!—произвело волненіе въ рѣдко-посѣщаемомъ домѣ. Послышался топотъ обутыхъ и босыхъ ногъ, нѣсколько женскихъ лицъ мгновенно высунулось и исчезло—кого-то гдѣ-то припёрли, кто-то охнулъ, кто-то фыркнулъ, кто-то судорожно прошепталъ:—Ну васъ!

Наконецъ появился Калліопычъ въ своемъ шершавомъ камзолѣ — и, растворивъ дверь въ „зало“, громогласно воскликнулъ:

— Государь, эта будетъ Сила Самсонычъ съ другими господами!

Хозяева гораздо меньше перетревожились, чѣмъ ихъ прислуга. Вторженіе четырехъ взрослыхъ мужчинъ въ ихъ, довольно впрочемъ просторную, гостиную—нѣсколько, правда, изумило ихъ; — но Паклинъ немедленно ихъ успокоилъ, представивъ имъ поочередно, съ разными прибауточками — Нежданова, Соломина и Маркелова — какъ людей смирныхъ и не „коронныхъ“.

Ѳомушка и Ѳимушка особенно не жаловали коронныхъ, т.-е. чиновныхъ людей.

Появившаяся на призывъ брата, Снандулія гораздо больше волновалась и чинилась, чѣмъ старички Субочевы. Они попросили—оба вмѣстѣ—и въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ гостей сѣсть и пожелали узнать, чѣмъ ихъ потчивать: чаемъ, шоколадомъ или шипучей водицей съ вареньемъ? Когда же узнали, что гостямъ ничего не требуется, такъ какъ они незадолго передъ тѣмъ завтракали у купца Голушкина и скоро будутъ тамъ обѣдать—то перестали угощать ихъ—и, сложивъ одинаковымъ образомъ ручки на брюшкѣ, приступили къ бесѣдѣ.

Сперва она шла немного вяло—но скоро оживилась.—Паклинъ чрезвычайно разсмѣшилъ старичковъ извѣстнымъ Гоголевскимъ анекдотомъ о городничемъ, проникнувшемъ въ набитую биткомъ церковь—и о пирогѣ, который оказался тѣмъ же городничимъ; хохотали они до слезъ. Смѣялись они тоже одинаковымъ образомъ: очень визгливо, кончая кашлемъ и краснотой да испариной по

всему лицу. Паклинъ вообще замѣтилъ, что на людей въ родѣ Субочевыхъ цитаты изъ Гоголя дѣйствуютъ весьма сильно и какъ-то порывисто; но такъ какъ ему не столько хотѣлось ихъ потѣшать самихъ, сколько показать ихъ своимъ знакомымъ, то онъ перемѣнилъ батареи и повелъ дѣло такъ, что старички вскорѣ совсѣмъ раскуражились. Ѳомушка досталъ и показалъ гостямъ свою любимую деревянную рѣзную табакерку, на которой когда-то можно было счесть тридцать-шесть человѣческихъ фигуръ въ разныхъ положеніяхъ: всѣ онѣ давно стёрлись—но Ѳомушка ихъ видѣлъ, видѣлъ до сихъ поръ, и перечесть ихъ могъ, и указывалъ на нихъ.—„Смотрите—говорилъ онъ—вонъ одинъ изъ окошка глядитъ — смотрите: онъ голову высунулъ...“ А то мѣсто, на которое указывалъ его пухленькій палецъ съ приподнятымъ ноготкомъ — такъ же было гладко, какъ и вся остальная крыша табакерки. Потомъ онъ обратилъ вниманіе посѣтителей на висѣвшую надъ его головой картину, писанную масляными красками: она изображала охотника въ профиль, скачущаго во весь духъ на буланой лошади—тоже въ профиль—по снѣжной равнинѣ. На охотникѣ была высокая бѣлая баранья шапка съ голубымъ языкомъ, черкеска изъ верблюжьей шерсти съ бархатной оторочкой, перетянутая кованымъ золоченымъ поясомъ; расшитая шелкомъ рукавица была заткнута за тотъ поясъ; кинжалъ въ серебряной оправѣ съ чернью висѣлъ на немъ. Въ одной рукѣ охотникъ, на видъ очень моложавый и полный, держалъ огромный рогъ, украшенный красными кистями—а въ другой—поводья и нагайку; всѣ четыре ноги у лошади висѣли на воздухѣ;—и на каждой изъ нихъ живописецъ тщательно изобразилъ подкову, обозначивъ даже гвозди. „И замѣтьте“, промолвилъ Ѳомушка, указывая тѣмъ же пухленькимъ пальцемъ на четыре полукруглыхъ пятна, выведенныхъ на бѣломъ фонѣ позади лошадиныхъ ногъ—„слѣды на снѣгу—и тѣ представилъ!“—Почему этихъ слѣдовъ было всего четыре—а дальше позади не было видно ни одного—объ этомъ Ѳомушка умалчивалъ.

— А вѣдь это — я! — прибавилъ онъ, погодя немного, съ стыдливой улыбкой.

— Какъ? — воскликнулъ Неждановъ. — Вы были охотникомъ?

— Былъ... да недолго. Разъ, на всемъ скаку, черезъ голову лошади покатился, да курпей себѣ зашибъ. Ну, Өимушка испугалась... ну,—и запретила мнѣ. Я съ тѣхъ поръ и бросилъ.

— Что вы зашибли?—спросилъ Неждановъ.

— Курпей,—повторилъ Өомушка, понизивъ голосъ.

Гости молча переглянулись. Никто не зналъ, что такое курпей,—то-есть Маркеловъ зналъ, что курпеемъ зовется мохнатая кисть на казачьей или черкесской шапкѣ; да не могъ же *это* зашибить себѣ Өомушка! А спросить его, что именно онъ понималъ подъ словомъ курпей — никто такъ и не рѣшился.

— Ну, ужъ коли ты такъ расхвастался, — заговорила вдругъ Өимушка:—такъ похвастаюсь и я.

Изъ крохотнаго „бонёрдюжура“,—такъ называлось старинное бюро на маленькихъ кривыхъ ножкахъ съ подъёмной круглой крышей, которая входила въ спинку бюро,—она достала миніатюрную акварель въ бронзовой овальной рамкѣ, представлявшую совершенно голенькаго, четырехлѣтняго младенца съ колчаномъ за плечами и голубой ленточкой черезъ грудку, пробующаго концомъ пальчика остріе стрѣлы. Младенецъ былъ очень курчавъ, немного косъ и улыбался. Өимушка показала акварель гостямъ.

— Это была—я...—промолвила она.

— Вы.

— Да, я. Въ юности. Къ моему батюшкѣ покойному ходилъ живописецъ-французъ, отличный живописецъ!— Такъ вотъ, онъ меня написалъ ко дню батюшкиныхъ именинъ. И какой хорошій былъ французъ! Онъ и послѣ къ намъ ѣзжалъ.—Войдетъ, бывало—шаркнетъ ножкой, потомъ дрыгнетъ ею, дрыгнетъ, и ручку тебѣ поцѣлуетъ, а уходя—свои собственные пальчики поцѣлуетъ,—ей-ей!— И направо-то онъ поклонится—и налѣво, и назадъ—и впередъ! Очень хорошій былъ французъ.

Гости похвалили его работу; Паклинъ даже нашелъ, что есть еще какое-то сходство.

А тутъ Ѳомушка началъ говорить о теперешнихъ французахъ и выразилъ мнѣніе, что они, должно-быть, всѣ презлые стали!—Почему же это такъ, Ѳома Лаврентьевичъ?—Да помилуйте!.. Какія у нихъ пошли имена!—Напримѣръ?—Да вотъ, напримѣръ: Ножанъ-Центъ-Лорранъ!—прямо разбойникъ!—Ѳомушка кстати полюбопытствовалъ: кто, молъ, теперь въ Парижѣ царствуетъ?—Ему сказали: что Наполеонъ.—Это его, кажется, и удивило—и опечалило.—Какъ же такъ?.. Старика такого...—началъ-было онъ и умолкъ, оглянувшись съ смущеніемъ. Ѳомушка плохо зналъ по-французски, и Вольтера читалъ въ переводѣ (подъ его изголовьемъ, въ завѣтномъ ящикѣ, сохранялся рукописный Кандидъ)—но у него иногда вырывались выраженія въ родѣ: „это, батюшка, фоссъ-паркэ!“—(въ смыслѣ: „это подозрительно“, „невѣрно“)—надъ которыми много смѣялись, пока одинъ ученый французъ не объяснилъ, что это есть старое парламентское выраженіе, употреблявшееся въ его родинѣ до 1789 года.

Такъ какъ рѣчь зашла о Франціи да о французахъ, то и Ѳимушка рѣшилась спросить о нѣкоторой вещи, которая у ней осталась на душѣ.—Сперва она подумала обратиться къ Маркелову, но ужъ очень онъ смотрѣлъ сердито; Соломина бы она спросила... только нѣтъ!—подумала она,—этотъ простой; должно быть, по-французски не разумѣетъ. Вотъ она и обратилась къ Нежданову.

— Что, батюшка, я отъ васъ узнать желаю,—начала она:—извините вы меня! Да вотъ, мой родственничекъ, Сила Самсонычъ, знать, трунитъ надо мной старухой, надъ моимъ невѣдѣньемъ бабьимъ.

— А что?

— А вотъ что. Если кто на французскомъ діалектѣ хочетъ вопросъ такой поставить: „Что, молъ, это такое?“—долженъ онъ сказать: „Кесе-кесе-кесе-ля?“

— Точно такъ.

— А можетъ онъ тоже сказать такъ: кесе-кесе-ля?

— Можетъ.

— И просто: кесе-ля?

— И такъ можетъ.

— И все это—едино будетъ?

— Да.

Ѳимушка задумалась и руками развела.

— Ну, Силушка,—промолвила она, наконецъ:—виновата я, а ты правъ. Только ужъ французы!.. Бѣдовые!

Паклинъ началъ просить старичковъ спѣть какой-нибудь романсикъ... Они оба посмѣялись и удивились, какая это ему пришла мысль; однако, скоро согласились, но только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы Снандулія сѣла за клавесинъ и аккомпанировала имъ—она ужъ знаетъ что. Въ одномъ углу гостиной оказалось крошечное фортепіано, котораго никто изъ гостей сначала не замѣтилъ. Снандулія сѣла за этотъ „клавесинъ“, взяла нѣсколько аккордовъ... Такихъ беззубенькихъ, кисленькихъ, дряхленькихъ, дрябленькихъ звуковъ Неждановъ не слыхивалъ отроду; но старички немедленно запѣли:

„На толь, чтобы печали—

началъ Ѳомушка—

„Въ любви намъ находить,
„Намъ боги сердце дали
„Способное любить?

„Одно лишь чувство страсти—

отвѣчала Ѳимушка—

„Безъ бѣдъ, безъ злой напасти
„На свѣтѣ есть ли гдѣ?“

„Нигдѣ, нигдѣ, нигдѣ!“—

подхватилъ Ѳомушка;—

„Нигдѣ, нигдѣ, нигдѣ!“—

повторила Ѳимушка;—

„Съ нимъ горести жестоки
„Вездѣ, вездѣ, вездѣ!“—

пропѣли они вдвоемъ;—

„Вездѣ, вездѣ, вездѣ!“—

протянулъ одинъ Ѳомушка.

— Браво! закричалъ Паклинъ:—это—первый куплетъ; а второй?

— Изволь, — отвѣчалъ Ѳомушка: — только, Снандулія Самсоновна, что же трель? Послѣ моего стишка нужна трель.

— Извольте,—отвѣчала Снандулія:—будетъ вамъ трель.

Ѳомушка опять началъ:

„Любилъ ли кто въ вселенной
„И мукъ не испыталъ?
„Какой, какой влюбленный
„Не плакалъ, не вздыхалъ?“

А тутъ Ѳимушка:

„Такъ сердце странно въ горѣ,
„Какъ лодка гибнетъ въ морѣ...
„На что-жъ оно дано?“

„На зло, на зло, на зло!“ — воскликнулъ Ѳомушка — и подождалъ, чтобы дать время Снандуліи пустить трель.

Снандулія пустила ее.

„На зло, на зло, на зло!“—повторила Ѳимушка.

А тамъ оба вмѣстѣ:

„Возьмите, боги, сердце,
„Назадъ, назадъ, назадъ!
„Назадъ, назадъ, назадъ!“

И все опять заключилось трелью.

— Браво! браво!—закричали всѣ, за исключеніемъ Маркелова, и даже въ ладоши забили.

„А что, — подумалъ Неждановъ, какъ только рукоплесканья унялись: — чувствуютъ ли они, что разыгрываютъ роль... какъ бы шутовъ?—Быть-можетъ, нѣтъ:—а быть-можетъ, и чувствуютъ да думаютъ: „что за бѣда? вѣдь зла мы никому не дѣлаемъ. Даже потѣшаемъ другихъ!“ И какъ поразмыслишь хорошенько—правы они, сто разъ правы!“

Подъ вліяніемъ этихъ мыслей, онъ началъ вдругъ говорить имъ любезности, въ отвѣтъ на которыя они только слегка присѣдали, не покидая своихъ креселъ... Но въ это мгновеніе, изъ сосѣдней комнаты, вѣроятно спальней или дѣвичьей, гдѣ уже давно слышался шопотъ и шелестъ, внезапно появилась карлица Пуфка, въ сопровожденіи нянюшки Васильевны.—Пуфка принялась пищать и кривляться—а нянюшка то уговаривала ее, то пуще дразнила.

Маркеловъ, который уже давно подавалъ знаки нетерпѣнія — (Соломинъ—тотъ только улыбался шире обыкновеннаго)—Маркеловъ вдругъ обратился къ Ѳомушкѣ:

— А я отъ васъ не ожидалъ, — началъ онъ съ своей рѣзкой манерой: — что вы, съ вашимъ просвѣщеннымъ умомъ,—вѣдь вы, я слышалъ, поклонникъ Вольтера?—можете забавляться тѣмъ, что должно составлять предметъ жалости—а именно:—увѣчьемъ... Тутъ онъ вспомнилъ сестру Паклина и прикусилъ языкъ;—а Ѳомушка покраснѣлъ: „Да... да вѣдь не я... она сама...“ Зато Пуфка такъ и накинулась на Маркелова.

— И съ чего ты это выдумалъ,—затрещала она своимъ картавымъ голосомъ: — нашихъ господъ обижать? Меня убогую призрѣли, приняли, кормятъ, поятъ — такъ тебѣ завидно! Знать, у тебя на чужой хлѣбъ глазъ коробитъ?— И откуда взялся, черномазый, паскудный, нудный, усы какъ у таракана... Тутъ Пуфка показала своими толстыми, короткими пальцами, какіе у него усы. — Васильевна засмѣялась во весь свой беззубый ротъ — и въ сосѣдней комнатѣ послышался отголосокъ.

— Я, конечно, вамъ не судья, — обратился Маркеловъ къ Ѳомушкѣ: — убогихъ да увѣчныхъ призрѣвать—дѣло хорошее. Но позвольте вамъ замѣтить: жить въ довольствѣ, какъ сыръ въ маслѣ кататься—да не заѣдать чужого вѣка, да палецъ о палецъ не ударить для блага ближняго... это еще не значитъ быть добрымъ; я, по крайней мѣрѣ, такой добротѣ, правду говоря, никакой цѣны не придаю!

Тутъ Пуфка завизжала оглушительно; она ничего не поняла изъ всего, что сказалъ Маркеловъ; но „черномазый“ бранился... какъ онъ смѣлъ! — Васильевна тоже что-то забормотала—а Ѳомушка сложилъ ручки передъ грудью—и повернувшись лицомъ къ своей женѣ — „Ѳимушка, голубушка,—сказалъ онъ, чуть не всхлипывая:— слышишь, что господинъ гость говоритъ? Мы съ тобой грѣшники, злодѣи, фарисеи... какъ сыръ въ маслѣ катаемся, ой! ой! ой!.. На улицу насъ съ тобою надо, изъ дому вонъ—да по метлѣ въ руки дать, чтобы мы жизнь свою заработывали—о, хо-хо!“ Услышавъ такія печальныя слова, Пуфка завизжала пуще прежняго, Ѳимушка съежила глаза, перекосила губы—и уже воздуху въ грудь набрала, чтобы хорошенько пріударить—заголосить...

Богъ знаетъ, чѣмъ бы это все кончилось, если бъ Паклинъ не вмѣшался.

— Что это! помилуйте,—началъ онъ, махая руками и громко смѣясь:—какъ не стыдно?—Господинъ Маркеловъ пошутить хотѣлъ:—но такъ какъ видъ у него очень серьезный—оно и вышло немного строго... а вы и повѣрили!—Полноте!—Евѳимія Павловна, милочка, мы вотъ сейчасъ уйти должны—такъ знаете что? на прощанье—погадайте-ка намъ всѣмъ... вы на это мастерица. — Сестра! достань карты!

Ѳимушка глянула на своего мужа; а ужъ тотъ сидѣлъ совсѣмъ успокоенный;—и она успокоилась.

— Карты, карты...—заговорила она:—да разучилась я, отецъ; забыла—давно въ руки ихъ не брала...

А сама уже принимала изъ рукъ Снандуліи колоду какихъ-то древнихъ, необыкновенныхъ ломберныхъ картъ.

— Кому погадать-то?

— Да всѣмъ,—подхватилъ Паклинъ—а самъ подумалъ:—„Ну, что-жъ это за подвижная старушка! куда хочешь поверни... Просто прелесть!"—Всѣмъ, бабушка, всѣмъ,—прибавилъ онъ громко.—Скажите намъ нашу судьбу, характеръ нашъ, будущее... все скажите!

Ѳимушка стала-было раскладывать карты — да вдругъ бросила всю колоду.

— И не нужно мнѣ гадать!—воскликнула она:—я и такъ характеръ каждаго изъ васъ знаю.—А каковъ у кого характеръ, такова и судьба.—Вотъ этотъ—(она указала на Соломина) — прохладный человѣкъ, постоянный; — вотъ этотъ—(она погрозилась Маркелову)—горячій, погубительный человѣкъ... (Пуфка высунула ему языкъ);—тебѣ (она глянула на Паклина)—и говорить нечего: самъ себя ты знаешь: вертопрахъ! А этотъ...

Она указала на Нежданова—и запнулась.

— Что-жъ?—промолвилъ онъ:—говорите, сдѣлайте одолженіе: какой я человѣкъ!

— Какой ты человѣкъ...—протянула Ѳимушка:—жалкій ты—вотъ что!

Неждановъ встрепенулся.

— Жалкій! Почему такъ?

— А такъ! Жалокъ ты мнѣ—вотъ что!

— Да почему?

— А потому! Глазъ у меня такой. — Ты думаешь, я дура? Анъ я похитрѣй тебя—даромъ что ты рыжій.—Жалокъ ты мнѣ... вотъ тебѣ и сказъ!

Всѣ помолчали... переглянулись—и опять помолчали.

— Ну, прощайте, други, — брякнулъ Паклинъ. — Засидѣлись мы у васъ—и вамъ, чай, надоѣли.—Этимъ господамъ пора идти... да и я отправлюсь.—Прощайте, спасибо на ласкѣ.

— Прощайте, прощайте, заходите, не брезгуйте,—заговорили въ одинъ голосъ Ѳомушка и Ѳимушка... А Ѳомушка, какъ затянетъ вдругъ:

— Многая, многая, многая лѣта, многая...

— Многая, многая,—совершенно неожиданно забасилъ Калліопычъ, отворяя дверь молодымъ людямъ...

И всѣ четверо вдругъ очутились на улицѣ, передъ пузатенькимъ домомъ; — а за окнами раздавался пискливый голосъ Пуфки.

— Дураки...—кричала она:—дураки!..

Паклинъ громко засмѣялся; но никто не отвѣчалъ ему. Маркеловъ даже оглядѣлъ поочередно всѣхъ, какъ бы ожидая, что услышитъ слово негодованія...

Одинъ Соломинъ улыбался по обыкновенію.

XX.

— Ну, что-жъ!—началъ, первый, Паклинъ.—Были въ XVIII-мъ вѣкѣ—валяй теперь прямой въ XX-й!—Голушкинъ такой передовой человѣкъ, что его въ XIX-мъ считать неприлично.

— Да онъ развѣ тебѣ извѣстенъ?—спросилъ Неждановъ.

— Слухомъ земля полнится;—а сказалъ я: валяй! потому что намѣренъ отправиться вмѣстѣ съ вами.

— Какъ же такъ? Вѣдь ты съ нимъ незнакомъ?

— Вона! А съ моими периклитками вы развѣ были знакомы?

— Да ты насъ представилъ!

— А ты меня представь!—Тайнъ у васъ отъ меня быть не можетъ—и Голушкинъ человѣкъ широкій.—Онъ, посмотри, еще обрадуется новому лицу. Да и у насъ, здѣсь въ С*... просто!

— Да, — проворчалъ Маркеловъ: — люди у васъ здѣсь безцеремонные.

Паклинъ покачалъ головою.

— Это вы, можетъ-быть, на мой счетъ... Что дѣлать! Я этотъ упрекъ заслужилъ.—Но знаете ли что, новый мой знакомецъ, отложите-ка на время мрачныя мысли, которыя внушаетъ вамъ вашъ желчный темпераментъ! — А главное...

— Господинъ мой новый знакомецъ,—перебилъ его съ запальчивостью Маркеловъ:—скажу вамъ въ свою очередь... въ видѣ предостереженія: я никогда ни малѣйшаго расположенія къ шуткамъ не имѣлъ—а особливо сегодня!— И почему вамъ извѣстенъ мой темпераментъ! (онъ ударилъ на послѣдній слогъ). — Кажется, мы не такъ давно—въ первый разъ увидали другъ друга.

— Ну, постойте, постойте, не сердитесь—и не божитесь—я и такъ вамъ вѣрю, — промолвилъ Паклинъ—и, обратившись къ Соломину:—О, вы,—воскликнулъ онъ:—вы, котораго сама прозорливая Ѳимушка назвала прохладнымъ человѣкомъ—и въ которомъ точно есть нѣчто успокоительное—скажите, имѣлъ ли я въ мысляхъ сдѣлать кому-нибудь непріятность—или пошутить некстати? — Я только напросился идти съ вами къ Голушкину—а впрочемъ—я существо безобидное. — Я не виноватъ, что у г. Маркелова желтый цвѣтъ лица.

Соломинъ повелъ сперва однимъ плечомъ—потомъ другимъ;—у него была такая повадка, когда онъ не тотчасъ рѣшался отвѣчать.

— Безъ сомнѣнія, — проволвилъ онъ наконецъ: — вы, г-нъ Паклинъ, обиды никому причинить не можете—и не желаете; и къ г-ну Голушкину почему же вамъ не пойти? Мы, я полагаю, тамъ съ такимъ же удовольствіемъ проведемъ время, какъ и у вашихъ родственниковъ;—да и *съ такой* же пользой.

Паклинъ погрозилъ ему пальцемъ.

— О! да и вы, я вижу, злой! — Однакоже, вѣдь вы тоже пойдете къ Голушкину?

— Конечно, пойду. Сегодняшній день у меня и безъ того пропалъ.

— Ну, такъ—„en avant, marchons!“—къ XX-му вѣку! къ XX-му вѣку!—Неждановъ, передовой человѣкъ, веди!

— Хорошо; ступай; да не повторяй своихъ остротъ. Какъ бы кто не подумалъ, что онѣ у тебя на исходѣ.

— На вашего брата еще за глаза хватитъ, — весело возразилъ Паклинъ—и пустился впередъ, какъ онъ говорилъ, не въ припрыжку, а „въ прихромку“.

— Презанятный господинъ! — замѣтилъ, идя за нимъ подъ-руку съ Неждановымъ, Соломинъ: — коли насъ, сохрани Богъ, сошлютъ всѣхъ въ Сибирь, будетъ кому развлекать насъ!

Маркеловъ шелъ, молча, позади всѣхъ.

А между тѣмъ въ домѣ купца Голушкина были приняты всѣ мѣры, чтобы задать обѣдъ съ „форсомъ“—или съ „шикомъ“. Сварена была уха, прежирная — и прескверная; заготовлены были разные „патишò и фрыкасеи“— (Голушкинъ, какъ человѣкъ стоящій на высотѣ европейскаго образованія, хотя и старовѣръ, придерживался французской кухни, и повара взялъ изъ клуба, откуда его выгнали за нечистоплотность),—а главное: было припасено и заморожено нѣсколько бутылокъ шампанскаго.

Хозяинъ встрѣтилъ нашихъ молодыхъ людей съ свойственными ему неуклюжими ужимками, утороплепнымъ видомъ да похохатываніемъ. — Очень обрадовался Паклину, какъ тотъ и предсказывалъ; спросилъ про него: вѣдь нашъ?—и не дожидаясь отвѣта, воскликнулъ:—Ну, конечно! еще бы! Потомъ разсказалъ, что онъ сейчасъ былъ у этого „чудака“ губернатора, который все пристаетъ къ нему изъ-за какихъ-то—чортъ его знаетъ!—благотворительныхъ заведеній... И рѣшительно нельзя было понять, чѣмъ онъ, Голушкинъ, больше доволенъ: тѣмъ ли, что его принимаютъ у губернатора — или же тѣмъ, что ему удалось ругнуть его въ присутствіи молодыхъ лю-

довыхъ людей? Потомъ онъ познакомилъ ихъ съ обѣщаннымъ прозелитомъ. И кто же оказался этимъ прозелитомъ? Тотъ самый прилизанный, чахоточный человѣкъ, съ кувшиннымъ рыльцемъ, который поутру вошелъ съ докладомъ, и котораго Голушкинъ звалъ Васей — его приказчикъ.—Не краснорѣчивъ, увѣрялъ Голушкинъ, указывая на него всей пятернею—но нашему дѣлу всей душой преданъ.—А Вася только кланялся, да краснѣлъ, да моргалъ, да скалилъ зубы съ такимъ видомъ, что опять-таки нельзя было понять—что онъ такое: пошлый ли дурачокъ—или напротивъ—всесовершеннѣйшій выжига и плутъ?

— Ну, однако, за столъ, господа, за столъ, — залотошилъ Голушкинъ.—Сѣли за столъ, закусивъ сперва вплотную. Тотчасъ послѣ ухи, Голушкинъ велѣлъ подать шампанское. Мерзлыми кусками льдистаго сала вываливалось оно изъ горлышка бутылки въ подставленные бокалы. „За наше... наше предпріятіе!“ воскликнулъ Голушкинъ, мигая при этомъ глазомъ и указывая головою на слугу, какъ бы давая знать, что въ присутствіи чужого надо быть осторожнымъ? Прозелитъ Вася продолжалъ молчать—и хотя сидѣлъ на краюшкѣ стула и вообще держался съ подобострастіемъ, уже вовсе несвойственнымъ тѣмъ убѣжденіямъ, которымъ онъ, по словамъ его хозяина, былъ преданъ всею душою—но хлопалъ вино отчаянно... Зато другіе всѣ говорили; то-есть, собственно, говорилъ хозяинъ—да Паклинъ; Паклинъ особенно. Неждановъ внутренно досадовалъ; Маркеловъ злился и негодовалъ—иначе, но такъ же сильно, какъ у Субочевыхъ; Соломинъ наблюдалъ.

Паклинъ потѣшался!—Своею бойкой рѣчью онъ чрезвычайно понравился Голушкину, который и не подозрѣвалъ того, что этотъ самый „хромушка“ то-и-дѣло шепчетъ на ухо сидѣвшему возлѣ него Нежданову—самыя злостныя замѣчанія насчетъ его, Голушкина!—Онъ даже полагалъ, что это—малый простой, и что его можно „третировать“ свысока... оттого-то онъ ему и понравился, между прочимъ. Сиди Паклинъ возлѣ него—онъ бы давно *ткнулъ его* пальцемъ въ ребра или ударилъ по плечу;

онъ и то кивалъ ему черезъ столъ и моталъ головою въ его направленіи... но между Неждановымъ и имъ возсѣдалъ, во-первыхъ, Маркеловъ — эта „мрачная туча“; а тамъ Соломинъ.—Зато Голушкинъ закатисто смѣялся каждому слову Паклина, смѣялся на вѣру, напередъ, хлопая себя по животу, выказывая свои синеватыя дёсны. Паклинъ скоро понялъ, чего отъ него требовалось, и началъ все бранить (оно же для него было дѣломъ подходящимъ)—все и всѣхъ: и консерваторовъ, и либераловъ, и чиновниковъ, и адвокатовъ, и администраторовъ, и помѣщиковъ, и земцевъ, и думцевъ, и Москву, и Петербургъ!

— Да, да, да, да,—подхватывалъ Голушкинъ:—такъ, такъ, такъ, такъ!—Вотъ, напримѣръ, у насъ голова—совершенный оселъ! Тупица непроходимая!—Я ему говорю и то, и то... а онъ ничего не понимаетъ; не хуже нашего губернатора!

— А вашъ губернаторъ — глупъ? — полюбопытствовалъ Паклинъ.

— Я жъ вамъ говорю: оселъ!

— Вы не замѣтили: онъ хрипитъ, или гнуситъ?

— Какъ?—спросилъ Голушкинъ не безъ недоумѣнья.

— Да развѣ вы не знаете? У насъ на Руси важные штатскіе хрипятъ; важные военные гнусятъ въ носъ;—и только самые высокіе сановники и хрипятъ, и гнусятъ въ одно и то же время.

Голушкинъ захохоталъ съ ревомъ, даже прослезился.

— Да, да, — лепеталъ онъ:—гнуситъ... гнуситъ... Онъ военный!

„Ахъ, ты, олухъ!“ думалъ про себя Паклинъ.

— У насъ все гнило, гдѣ ни троны!—кричалъ Голушкинъ, немного спустя.—Все, все гнило!

— Почтеннѣйшій Капитонъ Андреичъ, — внушительно замѣчалъ Паклинъ, — а самъ тихонько говорилъ Неждановy: „Что это онъ все руками разводитъ, точно сюртукъ ему подъ мышками рѣжетъ?“ — Почтеннѣйшій Капитонъ Андреичъ, повѣрьте мнѣ: тутъ полумѣры ничего не помогутъ!

— Какія полумѣры!—вскричалъ Голушкинъ, внезапно

переставая смѣяться и принимая свирѣпый видъ: — тутъ одно: съ корнемъ вонъ!—Васька, ней, с....ъ с....ъ!

— И то́ пью-съ, Капитонъ Андреичъ,—отвѣчалъ приказчикъ, опрокидывая себѣ въ горло стаканъ.

Голушкинъ тоже „ухнулъ".

— И какъ только онъ не лопнетъ!—шепталъ Паклинъ Нежданову.

— Привычка!—отвѣчалъ тотъ.

Но не одинъ приказчикъ пилъ вино. Понемногу оно разобрало всѣхъ. — Неждановъ, Маркеловъ, даже Соломинъ вмѣшались понемногу въ разговоръ.

Сперва, какъ бы съ пренебреженіемъ, какъ бы съ досадой противъ самого себя, что вотъ, молъ, и онъ не выдерживаетъ характера и пускается толочь воду, Неждановъ началъ толковать о томъ, что пора перестать забавляться одними словами, пора „дѣйствовать"; — упомянулъ даже объ отысканной почвѣ!! — И тутъ же, не замѣчая, что онъ себѣ противорѣчитъ, началъ требовать, чтобы ему указали тѣ существующіе, реальные элементы, на которые можно опереться, что онъ ихъ не видитъ.— „Въ обществѣ нѣтъ сочувствія, въ народѣ нѣтъ сознанія... вотъ тутъ и бейся!" Ему, конечно, не возражали; не потому, что возражать было нечего—по каждый уже началъ говорить тоже свое.—Маркеловъ забарабанилъ глухимъ и злобнымъ голосомъ, настойчиво, однообразно („ни дать, ни взять—капусту рубитъ",—замѣтилъ Паклинъ). О чемъ собственно онъ говорилъ, не совсѣмъ было понятно; слово: „артиллерія" послышалось изъ его усть въ моментъ затишья... онъ, вѣроятно, вспомнилъ тѣ недостатки, которые открылъ въ ея устройствѣ. Досталось также нѣмцамъ и адъютантамъ. Соломинъ — и тотъ замѣтилъ, что есть двѣ манеры выжидать: выжидать и ничего не дѣлать — и выжидать, да подвигать дѣло впередъ.

— Намъ не нужно постепеновцевъ, — сумрачно проговорилъ Маркеловъ.

— Постепеновцы до сихъ поръ шли сверху,— замѣтилъ Соломинъ:—а мы попробуемъ снизу.

— Не нужно, къ чорту! не нужно,—рьяно подхватывалъ Голушкинъ:—надо разомъ, разомъ!

— То-есть, вы хотите въ окно прыгнуть?

— И прыгну! — завопилъ Голушкинъ. — Прыгну! — и Васька прыгнетъ! — Прикажу — прыгнетъ! А? — Васька? Вѣдь прыгнешь?

Приказчикъ допилъ стаканъ шампанскаго.

— Куда вы, Капитонъ Андреичъ, туда и мы.—Развѣ мы разсуждать смѣемъ?

— А! то-то!—Въ бар-раній р-рогъ согну!

Въ скорости наступило то, что̀ на языкѣ пьяницъ носитъ названіе столпотворенія вавилонскаго. Поднялся гамъ и шумъ „велій". — Какъ первыя снѣжинки кружатся, быстро смѣняясь и пестрѣя еще въ тепломъ осеннемъ воздухѣ—такъ, въ разгоряченной атмосферѣ Голушкинской столовой, завертѣлись, толкая и тѣсня другъ дружку, всяческія слова: прогрессъ, правительство, литература; податной вопросъ, церковный вопросъ, женскій вопросъ, судебный вопросъ; классицизмъ, реализмъ, нигилизмъ, коммунизмъ; интернаціоналъ, клерикалъ, либералъ, капиталъ; администрація, организація, ассоціація и даже кристаллизація! Голушкинъ, казалось, приходилъ въ восторгъ именно отъ этого гама; въ немъ-то, казалось, и заключалась для него настоящая суть... Онъ торжествовалъ!— „Знай, молъ, нашихъ! Разступись—убью!.. Капитонъ Голушкинъ ѣдетъ!" — Приказчикъ Вася до того, наконецъ, нализался, что началъ фыркать и говорить въ тарелку,— и вдругъ, какъ бѣшеный, закричалъ: — „Что за дьяволъ такой—прогимназія?!?"

Голушкинъ внезапно поднялся, — и, закинувъ назадъ свое побагровѣвшее лицо, на которомъ къ выраженію грубаго самовластія и торжества страннымъ образомъ примѣшивалось выраженіе другого чувства, похожаго на тайный ужасъ и даже на трепетаніе—гаркнулъ:—„Жертвую еще *тышу!* — Васька, тащи!" на что Васька вполголоса отвѣтствовалъ: — „Малина!" А Паклинъ, весь блѣдный и въ поту (онъ въ послѣднія четверть часа пилъ не хуже приказчика),—Паклинъ, вскочивъ съ своего мѣста и под-

нявъ объ руки надъ головою, проговорилъ съ разстановкой:—„Жертвую! Онъ произнесъ: жертвую!—О! оскверненіе святого слова!—Жертва! Никто не дерзаетъ возвыситься до тебя, никто не имѣетъ силы исполнить тѣ обязанности, которыя ты налагаешь, по крайней мѣрѣ никто изъ насъ, здѣсь предстоящихъ,—а этотъ самодуръ, этотъ дрянной мѣшокъ тряхнулъ своей раздутой утробой, высыпалъ пригоршню рублей и кричитъ: жертвую! И требуетъ благодарности; лавроваго вѣнка ожидаетъ — подлецъ!!“ Голушкинъ либо не разслышалъ, либо не понялъ того, что сказалъ Паклинъ, или, быть-можетъ, принялъ его слова за шутку, потому что еще разъ провозгласилъ: „Да! *тыщу* рублевъ! Что̀ Капитонъ Голушкинъ сказалъ—то свято!“ Онъ вдругъ запустилъ руку въ боковой карманъ.—„Вотъ онѣ, денежки-то!—На-те, рвите; да помните Капитона!“—Онъ какъ только приходилъ въ нѣкоторый азартъ, говорилъ о себѣ, какъ маленькія дѣти, въ третьемъ лицѣ. Нежданов подобралъ брошенныя на залитую скатерть бумажки. Но послѣ этого уже нечего было оставаться; да и поздно становилось. Всѣ встали, взяли шапки—и убрались.

На вольномъ воздухѣ у всѣхъ закружились головы — особенно у Паклина.

— Ну?—куда-жъ мы теперь?—не безъ труда проговорилъ онъ.

— Не знаю, куда вы, — отвѣчалъ Соломинъ:—а я къ себѣ домой.

— На фабрику?

— На фабрику.

— Теперь, ночью, пѣшкомъ?

— Что-жъ такое?—Здѣсь ни волковъ, ни разбойниковъ нѣтъ,—а ходить я здоровъ.—Ночью-то еще свѣжѣе.

— Да тутъ четыре версты!

— А хоть бы и всѣ пять.—До свиданья, господа!

Соломинъ застегнулся, надвинувъ картузъ на лобъ, закурилъ сигару и зашагалъ большими шагами по улицѣ.

— А ты куда?—обратился Паклинъ къ Нежданову.

— Я вотъ къ нему.— Онъ указалъ на Маркелова, ко-

торый стоялъ неподвижно, скрестивъ руки на груди.—У насъ здѣсь и лошади, и экипажъ.

— Ну, прекрасно... а я, братъ, въ оазисъ, къ Ѳомушкѣ да къ Ѳимушкѣ. И знаешь, что я тебѣ скажу, братъ? И тамъ чепуха — и здѣсь чепуха... Только та чепуха, — чепуха XVIII-го вѣка, ближе къ русской сути, чѣмъ этотъ XX-й вѣкъ. — Прощайте, господа; я пьянъ... не взыщите.—Послушайте, что я вамъ еще скажу! Добрѣй и лучше моей сестры... Снандуліи... на свѣтѣ женщины нѣтъ; а вотъ она — и горбатая, и Снандулія. И всегда такъ на свѣтѣ бываетъ! — А впрочемъ, ей и слѣдъ такъ называться. — Вы знаете ли, кто была святая Снандулія? — Добродѣтельная жена, которая ходила по тюрьмамъ и врачевала раны узникамъ и больнымъ.—Ну, однако, прощайте! Прощай, Неждановъ—жалкій человѣкъ! И ты, офицеръ... у! бука! прощай!

Онъ поплелся, прихрамывая и пошатываясь, въ „оазисъ“,— а Маркеловъ, вмѣстѣ съ Неждановымъ, отыскали постоялый дворъ, въ которомъ они оставили свой тарантасъ, велѣли заложить лошадей—и полчаса спустя уже катили по большой дорогѣ.

XXI.

Небо заволокло низкими тучами — и хотя не было совсѣмъ темно и накатанныя колеи на дорогѣ виднѣлись, блѣдно поблескивая, впереди, однако направо, налѣво все застилалось, и очертанія отдѣльныхъ предметовъ сливались въ смутныя большія пятна. — Была тусклая, невѣрная ночь; вѣтеръ набѣгалъ порывистыми сырыми струйками, принося съ собою запахъ дождя и широкихъ, хлѣбныхъ полей. Когда, проѣхавъ дубовый кустъ, служившій примѣтой, пришлось свернуть на просёлокъ, дѣло стало еще неладнѣе; узкая путина по временамъ совсѣмъ пропадала... Кучеръ поѣхалъ тише.

— Какъ бы не сбиться намъ!—замѣтилъ молчавшій до тѣхъ поръ Неждановъ.

— Нѣтъ! не собьемся!—промолвилъ Маркеловъ.—Двухъ бѣдъ въ одинъ день не бываетъ.

— Да какая же была первая бѣда?

— Какая? А что мы день напрасно потеряли—это вы ни за что считаете?

— Да... конечно... Этотъ Голушкинъ!! — Не слѣдовало такъ много вина пить. Голова теперь болитъ... смертельно.

— Я не о Голушкинѣ говорю, онъ по крайней мѣрѣ денегъ далъ;—стало-быть, хоть какая-нибудь отъ нашего посѣщенія польза была!

— Такъ неужели вы сожалѣете о томъ, что Паклинъ свелъ насъ къ своимъ... какъ бишь онъ называлъ ихъ... периклиткамъ?

— Жалѣть объ этомъ нечего... да и радоваться нечему. Я вѣдь не изъ тѣхъ, которые интересуются подобными игрушками... Я не на эту бѣду намекалъ.

— Такъ на какую же?

Маркеловъ ничего не отвѣчалъ — и только повозился немного въ своемъ уголку, словно кутаясь. Неждановъ не могъ хорошенько разобрать его лица; одни усы выдавались черной поперечной чертой; но онъ съ самаго утра чувствовалъ въ Маркеловѣ присутствіе чего-то такого, до чего было лучше не касаться — какого-то глухого и тайнаго раздраженія.

— Послушайте, Сергѣй Михайловичъ, — началъ онъ, погодя немного: — неужели вы, не шутя, восхищаетесь письмами этого г-на Кислякова, которыя вы мнѣ дали прочесть сегодня? Вѣдь это, извините рѣзкость выраженія,—это—дребедень!

Маркеловъ выпрямился.

— Во-первыхъ,—заговорилъ онъ гнѣвнымъ голосомъ:— я нисколько не раздѣляю вашего мнѣнія насчетъ этихъ писемъ—и нахожу ихъ весьма замѣчательными... и добросовѣстными! А во-вторыхъ, Кисляковъ трудится, работаетъ — и главное, онъ *вѣритъ;* вѣритъ въ наше дѣло, вѣритъ въ ре-во-люцію! Я долженъ вамъ сказать одно, Алексѣй Дмитріевичъ,—я замѣчаю, что *вы*,—вы охладѣваете къ нашему дѣлу;—вы не вѣрите въ него!

— Изъ чего вы это заключаете? — медлительно произнесъ Неждановъ.

— Изъ чего? Да изо всѣхъ вашихъ словъ, изъ всего вашего поведенія!!—Сегодня, у Голушкина, кто говорилъ, что онъ не видитъ, на какіе элементы можно опереться?—Вы! — Кто требовалъ, чтобъ ихъ ему указали? — Опять-таки вы! И когда этотъ вашъ пріятель, этотъ пустой балагуръ и зубоскалъ, г. Паклинъ, сталъ, поднимая глаза къ небу, увѣрять, что никто изъ насъ не въ силахъ принести жертву, кто ему поддакивалъ, кто одобрительно покачивалъ головою? Развѣ не вы?—Говорите о себѣ, какъ хотите, думайте о себѣ, какъ знаете... это ваше дѣло... но мнѣ извѣстны люди, которые сумѣли оттолкнуть отъ себя все, чѣмъ жизнь прекрасна—самое блаженство любви—для того, чтобъ служить своимъ убѣжденіямъ, чтобъ не измѣнить имъ!—Ну, *вамъ* сегодня... конечно, было не до того!

— Сегодня? Почему же именно сегодня?

— Да не притворяйтесь, ради Бога, счастливый Донъ-Жуанъ, увѣнчанный миртами любовникъ! — вскричалъ Маркеловъ, совершенно забывъ о кучерѣ, который хоть и не оборачивался съ козелъ, но могъ отлично все слышать. Правда, кучера въ эту минуту гораздо болѣе озабочивала дорога, чѣмъ всѣ пререканья сидѣвшихъ за его спиною господъ — и онъ осторожно и даже нѣсколько робко отпрукивалъ коренника, который моталъ головою и садился на задъ, спуская тарантасъ съ какой-то кручи, которой и не слѣдовало совсѣмъ тутъ быть.

— Позвольте—я васъ что-то не понимаю,—промолвилъ Неждановъ.

Маркеловъ захохоталъ принужденно и злобно.

— Вы меня не понимаете! Ха, ха, ха! — Я все знаю, милостивый государь! Знаю, съ кѣмъ вы объяснялись вчера въ любви; знаю, кого вы плѣнили вашей счастливой наружностью и краснорѣчіемъ; знаю, кто допускаетъ васъ къ себѣ въ комнату... послѣ десяти часовъ вечера!

— Баринъ!—обратился вдругъ кучеръ къ Маркелову.—Подержите-ка вожжи... Я слѣзу, посмотрю... Мы, кажись, съ дороги сбились... Водомоина тутъ, что-ль, какая...

Тарантасъ, дѣйствительно, стоялъ совсѣмъ на боку.

Маркеловъ ухватилъ вожжи, переданныя ему кучеромъ,— и продолжалъ все такъ же громко:

— Я васъ нисколько не виню, Алексѣй Дмитричъ! Вы воспользовались... Вы были правы. Я говорю только о томъ, что не удивляюсь вашему охлажденію къ общему дѣлу: у васъ, я опять-таки скажу,—не то на умѣ. И прибавлю кстати отъ себя: гдѣ тотъ человѣкъ, который можетъ заранѣе предугадать, что̀ именно нравится дѣвическимъ сердцамъ—или постигнуть, чего онѣ желаютъ!!.

— Я теперь понимаю васъ,—началъ-было Неждановъ:— понимаю ваше огорченіе, догадываюсь, кто васъ подкараулилъ и поспѣшилъ сообщить вамъ...

— Тутъ не заслуги,— продолжалъ Маркеловъ, притворяясь, что не слышитъ Нежданова, и съ намѣреніемъ растягивая и какъ бы распѣвая каждое слово:—не какія-нибудь необыкновенныя душевныя или физическія качества... Нѣтъ! Тутъ просто... треклятое счастье всѣхъ незаконнорожденныхъ дѣтей... всѣхъ в.....ъ!

Послѣднюю фразу Маркеловъ произнесъ отрывисто и быстро—и вдругъ умолкъ, словно замеръ.

А Неждановъ даже въ темнотѣ почувствовалъ, что весь поблѣднѣлъ, и мурашки забѣгали по его щекамъ. Онъ едва удержался, чтобы не броситься на Маркелова, не схватить его за горло... „Кровью надо смыть эту обиду, кровью...“

— Призналъ дорогу!—воскликнулъ кучеръ, появившись у праваго передняго колеса: — маленько ошибся, влѣво взялъ... теперь ничего! — духомъ представимъ; и версты до насъ не будетъ. Извольте сидѣть!

Онъ взобрался на облучокъ, взялъ у Маркелова вожжи, повернулъ коренника въ сторону... Тарантасъ сильно тряхнуло раза два—потомъ онъ покатился ровнѣе и шибче—мгла какъ будто разступилась и приподнялась — потянуло дымкомъ—впереди выросъ какой-то бугоръ. Вотъ мигнулъ огонекъ... онъ исчезъ... Мигнулъ другой... Собака залаяла...

— Наши выселки,— промолвилъ кучеръ:—эхъ, вы, котята любезные!

Чаще и чаще неслись навстрѣчу огоньки.

— Послѣ того оскорбленія,— заговорилъ наконецъ Неждановъ: — вы легко поймете, Сергѣй Михайловичъ, что мнѣ невозможно ночевать подъ вашимъ кровомъ; а потому, мнѣ остается просить васъ, какъ это мнѣ ни непріятно, чтобы вы, пріѣхавши домой, дали мнѣ вашъ тарантасъ, который довезетъ меня до города; завтра я уже найду способъ, какъ добраться до дому; — а тамъ вы получите отъ меня увѣдомленіе, котораго, вѣроятно, ожидаете.

Маркеловъ не тотчасъ отвѣчалъ.

— Неждановъ, — сказалъ онъ вдругъ не громкимъ, но почти отчаяннымъ голосомъ: — Неждановъ! Ради самого Бога, войдите ко мнѣ въ домъ—хоть бы только для того, чтобы я могъ на колѣняхъ попросить у васъ прощенія!— Неждановъ! Забудьте... забудь, забудь мое безумное слово! Ахъ, если бъ кто-нибудь могъ почувствовать, до какой степени я несчастливъ!— Маркеловъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь—и въ ней словно что̀ застонало.—Неждановъ! будь великодушенъ! Дай мнѣ руку... Не откажись простить меня!

Неждановъ протянулъ ему руку — перѣшительно, но протянулъ.—Маркеловъ стиснулъ ее такъ, что тотъ чуть не вскрикнулъ.

Тарантасъ остановился у крыльца Маркеловскаго дома.

— Слушай, Неждановъ, — говорилъ ему Маркеловъ четверть часа спустя, у себя въ кабинетѣ... — Слушай. (Онъ уже не говорилъ ему иначе какъ: „ты“, и въ этомъ неожиданномъ: *ты* — обращенномъ къ человѣку, въ которомъ онъ открылъ счастливаго соперника, котораго онъ только что оскорбилъ кровно, котораго онъ готовъ былъ убить, разорвать на части — въ этомъ „ты“ было и безповоротное отреченіе — и моленіе смиренное, горькое — и какое-то право... Неждановъ это право призналъ тѣмъ, что самъ началъ говорить Маркелову: *ты*.)

— Слушай! Я тебѣ сейчасъ сказалъ, что я отъ счастья любви отказался, оттолкнулъ его, чтобы только служить своимъ убѣжденіямъ... Это вздоръ, бахвальство! Никогда

мнѣ ничего подобнаго не предлагали, нечего мнѣ было отталкивать! Я какъ родился безталаннымъ, такъ и остался имъ... Или, можетъ-быть, оно такъ и слѣдовало.—Потому, руки у меня не туда поставлены—мнѣ предстоитъ дѣлать иное! Коли ты можешь соединить и то, и другое... любить и быть любимымъ... и въ то же время служить дѣлу... ну, такъ ты молодецъ!—я тебѣ завидую... но самъ я—нѣтъ. Я не могу. Ты счастливецъ! Ты счастливецъ!—А я не могу.

Маркеловъ говорилъ все это тихимъ голосомъ, сидя на низкомъ стулѣ, понуривъ голову и свѣсивъ обѣ руки, какъ плети. Неждановъ стоялъ передъ нимъ, погруженный въ какое-то задумчивое вниманіе, и хотя Маркеловъ и величалъ его счастливцемъ—онъ не смотрѣлъ и не чувствовалъ себя такимъ.

— Меня въ молодости обманула одна... — продолжалъ Маркеловъ:—была она дѣвушка чудесная и все-таки измѣнила мнѣ... для кого же? Для нѣмца! для адъютанта!!—А Маріанна...

Онъ пріостановился... Онъ въ первый разъ произнесъ ея имя, и оно какъ будто обожгло его губы.

— Маріанна не обманула меня: она прямо объявила мнѣ, что я не нравлюсь ей... Да и чему тутъ нравиться?—Ну—отдалась она тебѣ... Ну, что-жъ? Развѣ она не была свободна?

— Да постой, постой!—воскликнулъ Неждановъ.—Что ты такое говоришь?!—Какое: отдалась?—Я не знаю, что тебѣ написала твоя сестра; но увѣряю тебя...

— Я не говорю: физически; но нравственно отдалась—сердцемъ, душою,—подхватилъ Маркеловъ, которому почему-то видимо понравилось восклицаніе Нежданова. — И прекрасно сдѣлала. А моя сестра... Конечно, она не имѣла намѣренія меня огорчить... То-есть, въ сущности это ей все равно; но она, должно-быть, тебя ненавидитъ — и Маріанну тоже.—Она не солгала... а впрочемъ, Господь съ ней!

„Да“,—подумалъ про-себя Неждановъ:—„она насъ ненавидитъ“.

— Все къ лучшему, продолжалъ Маркеловъ, не перемѣняя положенія. — Теперь съ меня послѣднія путы сняты; теперь—уже ничего мнѣ не помѣшаетъ! Ты не смотри на то, что Голушкинъ—самодуръ: это ничего. И письма Кислякова... они, можетъ-быть, смѣшны... точно; но надо обращать вниманіе на главное. По его словамъ... вездѣ все готово.—Ты вотъ, пожалуй, и этому не вѣришь?

Неждановъ ничего не отвѣчалъ.

— Ты, можетъ-быть, правъ;—но вѣдь если ждать минуты, когда все, рѣшительно все будетъ готово—никогда не придется начинать.—Вѣдь если взвѣшивать напередъ *всѣ* послѣдствія,—навѣрное между ними будутъ какія-либо дурныя. Напримѣръ: когда наши предшественники устроили освобожденіе крестьянъ—что-жъ? могли они предвидѣть, что однимъ изъ послѣдствій этого освобожденія будетъ появленіе цѣлаго класса помѣщиковъ-ростовщиковъ, которые продаютъ мужику четверть прѣлой ржи за шесть рублей—а получаютъ съ него (тутъ Маркеловъ пригнулъ одинъ палецъ): во-первыхъ, работу на всѣ шесть рублей, да сверхъ того—(Маркеловъ пригнулъ другой палецъ)—цѣлую четверть хорошей ржи—да еще (Маркеловъ пригнулъ третій) съ прибавкомъ! т.-е. высасываютъ послѣднюю кровь изъ мужика! Вѣдь это эманципаторы наши предвидѣть не могли—согласись! И все-таки, если даже они это предвидѣли, хорошо они сдѣлали, что освободили крестьянъ—и не взвѣшивали всѣхъ послѣдствій! А потому я... рѣшился!

Неждановъ вопросительно, съ недоумѣніемъ, посмотрѣлъ на Маркелова; но тотъ отвелъ свой взглядъ въ сторону, въ уголъ. Его брови сдвинулись и закрыли зрачки; онъ кусалъ губы и жевалъ усы.

— Да, я рѣшился!—повторилъ онъ, съ размаху ударивъ по колѣну своимъ волосатымъ, смуглымъ кулакомъ. — Я вѣдь упрямый... Я не даромъ наполовину малороссъ.

Потомъ онъ всталъ и, шаркая ногами, точно онѣ у него ослабѣли, пошелъ въ свою спальню и вынесъ оттуда небольшой портретъ Маріанны подъ стекломъ.

— Возьми,—промолвилъ онъ печальнымъ, но ровнымъ

голосомъ:—это *я* когда-то сдѣлалъ. Рисую я плохо; но ты посмотри, кажется, похожъ—(портретъ, сдѣланный карандашомъ, въ профиль, былъ дѣйствительно похожъ). — Возьми, братъ; это мое завѣщаніе. Вмѣстѣ съ этимъ портретомъ я тебѣ передаю не мои права... у меня ихъ не было... а, знаешь—все! Я тебѣ все передаю—и ее. Она, братъ, хорошая...

Маркеловъ молчалъ; грудь его замѣтно поднималась.

— Возьми. Вѣдь ты на меня не сердишься? Ну, такъ возьми. А мнѣ теперь ужъ ничего... этакого не нужно.

Неждановъ взялъ портретъ; но странное чувство стѣснило его грудь. Ему казалось, что онъ не имѣлъ права принять этотъ подарокъ; что если бы Маркеловъ зналъ, что̀ у него, Нежданова, на-сердцѣ, онъ бы, можетъ-быть, ему этого портрета не отдалъ. Неждановъ держалъ въ рукѣ этотъ малепькій круглый кусочекъ картона, тщательно обведенный по черной рамкѣ узкой полоской золотой бумаги — и не зналъ, что̀ дѣлать съ нимъ. — Вѣдь это тутъ цѣлая жизнь человѣка въ моей рукѣ, — думалось ему. Онъ понималъ, какую жертву приноситъ Маркеловъ, но зачѣмъ, зачѣмъ именно ему?—А отдать портретъ? Нѣтъ! Это было бы оскорбленіе еще злѣйшее... И, наконецъ, вѣдь ему дорого это лицо, вѣдь онъ любитъ ее!

Неждановъ не безъ нѣкотораго внутренняго страха возвелъ глаза на Маркелова... не глядитъ ли тотъ на него—не старается ли уловить его мысли?—Но Маркеловъ опять уставился на уголъ и жевалъ усы.

Старикъ слуга вошелъ въ комнату со свѣчкой въ рукѣ.

Маркеловъ встрепенулся.

— Спать пора, братъ Алексѣй! — воскликнулъ онъ. — Утро вечера мудренѣе. Дамъ тебѣ завтра лошадей — ты покатишь домой—и прощай.

— Прощай и ты, старина! — прибавилъ онъ вдругъ, обратившись къ слугѣ и ударивъ его по плечу.—Не поминай лихомъ!

Старикъ до того изумился, что чуть не выронилъ свѣчки, и взглядъ его, устремленный на своего барина, выразилъ нѣчто другое—и бо̀льшее, чѣмъ обычную его унылость.

Неждановъ ушелъ къ себѣ въ комнату. Ему было нехорошо. Голова его все еще болѣла отъ выпитаго вина, въ ушахъ звенѣло, въ глазахъ мерещилось, хотя онъ и закрывалъ ихъ. Голушкинъ, Васька-приказчикъ, Ѳомушка, Ѳимушка—вертѣлись передъ нимъ; вдали образъ Маріанны, какъ бы не довѣряя, не рѣшался приблизиться. Все, что онъ дѣлалъ и говорилъ самъ—казалось ему такою фальшью и ложью, такимъ ненужнымъ и приторнымъ вздоромъ... а то, что надо дѣлать, къ чему надо стремиться,—неизвѣстно гдѣ, недоступно, за десятью замками, зарыто въ преисподнюю...

И безпрестанно ему хотѣлось встать, сойти къ Маркелову, сказать ему: возьми свой подарокъ—возьми его назадъ!

— Фу! Какая скверность—жизнь! — воскликнулъ онъ наконецъ.

На другое утро онъ уѣхалъ рано. Маркеловъ уже былъ на крыльцѣ, окруженный крестьянами. Созвалъ ли онъ ихъ, пришли ли они сами собою—Неждановъ такъ и не узналъ; Маркеловъ очень односложно и сухо простился съ нимъ... но казалось, что онъ собирался сообщить имъ нѣчто важное. Старый слуга тутъ же торчалъ съ своимъ неизмѣннымъ взоромъ.

Тарантасъ скоро проскочилъ городъ—и, выбравшись въ поля, покатилъ лихо.—Лошади были тѣ же самыя; но кучеръ—потому ли, что Неждановъ жилъ въ богатомъ домѣ, по другимъ ли соображеніямъ, разсчитывалъ на хорошую „на водку“... а извѣстно: когда кучеръ выпилъ водки или съ увѣренностью ждетъ ея—лошади бѣгутъ отлично. Погода была іюньская, хоть и свѣжая: высокія, рѣзвыя облака по синему небу, сильный, ровный вѣтеръ, дорога не пылитъ, убитая вчерашнимъ дождемъ, ракиты шумятъ, блестятъ и струятся,—все движется, все летитъ,—перепелиный крикъ приносится жидкимъ посвистомъ съ отдаленныхъ холмовъ, черезъ зеленые овраги, точно и у этого крика есть крылья, и онъ самъ прилетаетъ на нихъ,—грачи лоснятся на солнцѣ,—какія-то темныя блохи ходятъ по ровной чертѣ обнаженнаго небосклона... это мужики двоятъ поднятый паръ.

Но Неждановъ пропускалъ все это мимо... мимо... онъ и не замѣтилъ, какъ доѣхалъ до Сипягинскаго имѣнья, — до того имъ овладѣли думы...

Однако онъ вздрогнулъ, когда увидѣлъ крышу дома, верхній этажъ, окно Маріанниной комнаты.—„Да,—сказалъ онъ себѣ—и тепло ему стало на-сердцѣ:—*онъ* правъ—она хорошая—и я люблю ее".

XXII.

Онъ наскоро переодѣлся и пошелъ давать урокъ Колѣ.—Сипягинъ, котораго онъ встрѣтилъ въ столовой, поклонился ему холодно и учтиво—и, процѣдивъ сквозь зубы: „Хорошо ли съѣздили?" — прослѣдовалъ въ свой кабинетъ.—Государственный человѣкъ уже рѣшилъ въ своемъ министерскомъ умѣ, что, какъ только кончатся вакаціи, онъ немедленно отправитъ въ Петербургъ этого — „положительно слишкомъ краснаго"—учителя, а пока, будетъ наблюдать за нимъ.—Je n'ai pas eu la main heureuse cette fois-ci, подумалъ онъ про себя; а впрочемъ... j'aurais pu tomber pire". — Чувства Валентины Михайловны къ Нежданову были гораздо энергичнѣе и опредѣленнѣе. Она его уже совсѣмъ терпѣть не могла... Опъ, этотъ мальчишка!—онъ оскорбилъ ее. — Маріанна не ошиблась: это она, Валентина Михайловна, подслушивала ее и Нежданова въ коридорѣ... Знатная барыня этимъ не побрезгала. Въ теченіе тѣхъ двухъ дней, въ которые продолжалось его отсутствіе—она, хотя ничего не сказала своей „легкомысленной" родственницѣ—но безпрестанно давала ей понять, что ей все извѣстно; что она негодовала бы, если бъ частью не презирала, частью не сожалѣла... Сдержанное, внутреннее презрѣніе наполняло ея щеки, что-то насмѣшливое и въ то же время сожалительное приподнимало ея брови, когда она глядѣла на Маріанну, говорила съ нею; ея чудесные глаза съ мягкимъ недоумѣньемъ, съ грустной гадливостью останавливались на самонадѣянной дѣвушкѣ, которая, послѣ всѣхъ своихъ „фантазій и эксцентричностей" кончила тѣмъ, что цѣ...лу...ет...ся въ темныхъ комнатахъ съ какимъ-то недоучившимся студентомъ!

Бѣдная Маріанна! Ея строгія, гордыя губы не вѣдали еще ничьихъ лобзаній.

Впрочемъ, мужу своему Валентина Михайловна не намекнула о сдѣланномъ ею открытіи; она удовольствовалась тѣмъ, что сопровождала немногія слова, обращенныя ею къ Маріаннѣ въ *его* присутствіи—значительной усмѣшкой, которая нисколько не обусловливалась ихъ содержаніемъ.— Валентина Михайловна даже нѣсколько раскаивалась въ томъ, что написала письмо брату... Но въ концѣ концовъ она предпочла: раскаиваться—и чтобъ это было сдѣлано,— чѣмъ не раскаиваться—и чтобъ письмо осталось не написаннымъ.

Съ Маріанной Неждановъ увидѣлся мелькомъ, въ столовой, за завтракомъ. Онъ нашелъ, что она похудѣла и пожелтѣла: она была нехороша собой въ тотъ день; но быстрый взглядъ, который она бросила на него, какъ только онъ вошелъ въ комнату, проникъ въ самое его сердце. — Зато Валентина Михайловна посматривала на него такъ, какъ будто постоянно внутренно твердила: „Поздравляю! Прекрасно! Очень ловко!“—и въ то же время ей хотѣлось вычитать на его лицѣ: показалъ ли ему Маркеловъ ея письмо или нѣтъ?—Она рѣшила, наконецъ, что показалъ.

Сипягинъ, узнавъ, что Неждановъ ѣздилъ на фабрику, которою завѣдывалъ Соломинъ, началъ разспрашивать его объ этомъ „во всѣхъ отношеніяхъ любопытномъ промышленномъ заведеніи“; — но, въ скорости убѣдившись изъ отвѣтовъ молодого человѣка, что онъ, собственно, тамъ ничего не видѣлъ, умолкъ величественно, какъ бы упрекая самого себя въ томъ, что могъ ожидать какихъ-либо дѣльныхъ свѣдѣній отъ такого еще незрѣлаго субъекта!—Выходя изъ столовой, Маріанна успѣла шепнуть Нежданову: — „Жди меня въ старой березовой рощѣ, на концѣ сада;— я приду туда — какъ только будетъ возможно“. — Неждановъ подумалъ: „и она говоритъ мнѣ: „ты“ — такъ же, какъ тотъ“. — И какъ это было ему пріятно, хоть и нѣсколько жутко!.. и какъ было бы странно — да и невозможно — если бъ она вдругъ снова начала говорить ему: „вы“—если бъ она отодвинулась отъ него...

Онъ почувствовалъ, что это было бы для него несчастьемъ.—Былъ ли онъ влюбленъ въ нее—этого онъ еще не зналъ; но что она стала ему дорогою—и близкой—и нужной... главное: нужной—это онъ чувствовалъ всѣмъ существомъ своимъ.

Роща, куда послала его Маріанна, состояла изъ сотни высокихъ, старыхъ, бо́льшей частью плакучихъ березъ. Вѣтеръ не переставалъ; длинныя пачки вѣтвей качались, метались какъ распущенныя косы; облака попрежнему неслись быстро и высоко;—и когда одно изъ нихъ налетало на солнце, все кругомъ становилось—не темно, но одноцвѣтно.—Но вотъ, оно пролетѣло—и всюду, внезапно, яркія пятна свѣта мягкожно колыхались снова: они путались, пестрѣли, мѣшались съ пятнами тѣни... шумъ и движеніе были тѣ же: но какая-то праздничная радость прибавлялась къ нему. Съ такимъ же радостнымъ насиліемъ врывается страсть въ потемнѣвшее, взволнованное сердце... И такое именно сердце принесъ въ груди своей Неждановъ.

Онъ прислонился къ стволу березы—и началъ ждать.—Онъ собственно не зналъ, что́ онъ чувствовалъ—да и не желалъ это знать: ему было и страшнѣе—и легче, чѣмъ у Маркелова. Онъ хотѣлъ прежде всего ее видѣть, говорить съ нею; тотъ узелъ, который внезапно связываетъ два живыхъ существа, уже захватилъ его.—Неждановъ вспомнилъ веревку, которая летитъ на набережную съ парохода, когда тотъ собирается причалить... Вотъ, ужъ она обвилась около столба—и пароходъ остановился...

Въ пристани! Слава Богу!

Онъ вдругъ вздрогнулъ. Женское платье замелькало вдали по дорожкѣ. Это она. Но идетъ ли она къ нему, уходитъ ли отъ него—онъ не зналъ, пока не увидѣлъ, что пятна свѣта и тѣни скользили по ея фигурѣ *снизу вверхъ*... значитъ, она приближается. Они бы спускались *сверху внизъ*, если бъ она удалялась. Еще нѣсколько мгновеній—и она стояла возлѣ него, передъ нимъ, съ привѣтнымъ, оживленнымъ лицомъ, съ ласковымъ блескомъ въ глазахъ, съ слабо, но весело улыбавшимися губами.—Онъ схватилъ ея протянутыя руки—однако, тотчасъ не могъ

вымолвить ни слова;—и она ничего не сказала. Она очень скоро шла и немного задыхалась; но видно было, что она очень обрадовалась тому, что онъ обрадовался ей.

Она первая заговорила.

— Ну, что,—начала она:—сказывай скорѣй, чѣмъ вы рѣшили?

Неждановъ удивился.

— Рѣшили... да развѣ надо было теперь же рѣшить?

— Ну, ты понимаешь меня.—Разсказывай, о чемъ вы говорили? Кого ты видѣлъ? Познакомился ли ты съ Соломинымъ?—Разсказывай все... все! Постой, пойдемъ туда, подальше. Я знаю мѣсто... тамъ не такъ видно.

Она повлекла его за собою. Онъ послушно шелъ за ней цѣликомъ по высокой, рѣдкой, сухой травѣ.

Она привела его, куда хотѣла. Тамъ лежала, поваленная бурей, большая береза. Они усѣлись на ея стволѣ.

— Разсказывай!—повторила она, но тотчасъ же прибавила:—Ахъ, какъ я рада тебя видѣть! Мнѣ казалось, что эти два дня никогда не кончатся. Ты знаешь, я теперь убѣждена въ томъ, что Валентина Михайловна насъ подслушала.

— Она написала объ этомъ Маркелову,—промолвилъ Неждановъ.

— Ему?!

Маріанна помолчала и понемногу покраснѣла вся,—не отъ стыда, а отъ другого, болѣе сильнаго чувства.

— Злая, дурная женщина!—медленно прошептала она:—она не въ правѣ была это сдѣлать... Ну, все равно! Разсказывай, разсказывай.

Неждановъ началъ говорить... Маріанна слушала его съ какимъ-то окаменѣлымъ вниманіемъ—и только тогда прерывала его, когда она замѣчала, что онъ спѣшитъ, не останавливается на подробностяхъ.—Впрочемъ, не всѣ подробности его поѣздки были одинаково интересны для нея: надъ Ѳомушкой и Ѳимушкой она посмѣялась, но они ея не занимали. Ихъ бытъ былъ слишкомъ отъ нея далекъ.

— Ты мнѣ точно о Навуходоносорѣ свѣдѣнія сообщаешь,—замѣтила она.

А вотъ, что говорилъ Маркеловъ, что думаетъ даже Го-

лушкинъ (хотя она тотчасъ поняла, что это за птица)— а главное: какого мнѣнія Соломинъ — и что онъ самъ за человѣкъ — вотъ что ей нужно было знать, вотъ о чемъ она сокрушалась. „Когда же? когда?“—этотъ вопросъ постоянно вертѣлся у ней въ головѣ, просился на уста во все время, пока говорилъ Неждановъ. А онъ какъ будто избѣгалъ всего, что могло дать положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Онъ самъ сталъ замѣчать, что налегаетъ именно на тѣ подробности, которыя менѣе интересовали Маріанну... нѣтъ-нѣтъ—да и возвратится къ нимъ. Юмористическія описанія возбуждали въ ней нетерпѣніе; тонъ разочарованный или унылый ее огорчалъ... Надо было постоянно обращаться къ „дѣлу“, къ „вопросу“. Тутъ никакое многословіе ее не утомляло. Вспомнилось Неждановъ время, когда онъ, еще не будучи студентомъ, и живя лѣтомъ на дачѣ у однихъ хорошихъ знакомыхъ, вздумалъ разсказывать ихъ дѣтямъ сказки:—и они также не цѣнили ни описаній, ни выраженія личныхъ, собственныхъ ощущеній... Они также требовали дѣла, фактовъ!— Маріанна не была ребенкомъ, но прямотою и простотою чувства она походила на ребенка.

Неждановъ искренно и горячо похвалилъ Маркелова— и съ особеннымъ сочувствіемъ отозвался о Соломинѣ. Говоря о немъ чуть не въ восторженныхъ выраженіяхъ, онъ спрашивалъ самого себя: что собственно заставляло его быть такого высокаго мнѣнія объ этомъ человѣкѣ? Ничего особенно-умнаго онъ не высказалъ: иныя его слова даже какъ будто шли въ разрѣзъ съ убѣжденіями его, Нежданова... „Уравновѣшенный характеръ, — думалось ему:—вотъ что; обстоятельный, свѣжій, какъ говорила Өимушка; — крупный человѣкъ; спокойная, крѣпкая сила; знаетъ, что ему нужно, и себѣ довѣряетъ—и возбуждаетъ довѣріе; тревоги нѣтъ... и равновѣсіе! равновѣсіе!.. Вотъ это главное; именно, чего у меня нѣтъ“. Неждановъ умолкъ, предавшись размышленію... Вдругъ онъ почувствовалъ прикосновеніе руки на своемъ плечѣ.

Онъ поднялъ голову: Маріанна глядѣла на него заботливымъ и нѣжнымъ взоромъ.

— Другъ! Что съ тобою?—спросила она.

Онъ снялъ ея руку съ плеча и въ первый разъ поцѣловалъ эту маленькую, но крѣпкую руку. Маріанна слегка засмѣялась, какъ бы удивившись; съ чего могла ему придти въ голову такая любезность?—Потомъ она въ свою очередь задумалась.

— Маркеловъ показалъ тебѣ письмо Валентины Михайловны?—спросила она наконецъ.

— Да.

— Ну... и что же онъ?

— Онъ?—Онъ благороднѣйшее, самоотверженное существо! Онъ... Неждановъ хотѣлъ-было сказать Маріаннѣ о портретѣ—да удержался, и только повторилъ:—благороднѣйшее существо!

— О, да, да!

Маріанна опять задумалась — и вдругъ, повернувшись къ Нежданову на стволѣ березы, служившей имъ обоимъ сидѣньемъ, съ живостью промолвила:

— Ну, такъ чѣмъ же вы рѣшили?

Неждановъ пожалъ плечами.

— Да я тебѣ сказалъ уже, что — пока — ничѣмъ; надо будетъ еще подождать.

— Подождать еще... Чего же?

— Послѣднихъ инструкцій. („А вѣдь я вру"—думалось Нежданову.)

— Отъ кого?

— Отъ того... ты знаешь... отъ Василья Николаевича. Да вотъ, еще надо подождать, чтобы Остродумовъ вернулся.

Маріанна вопросительно посмотрѣла на Нежданова.

— Скажи, ты когда-нибудь видѣлъ этого Василія Николаевича?

— Видѣлъ раза два... мелькомъ.

— Что онъ... замѣчательный человѣкъ?

— Какъ тебѣ сказать? Теперь онъ голова — ну, и орудуетъ. А безъ дисциплины въ нашемъ дѣлѣ нельзя; повиноваться нужно. („И *это* все вздоръ"—думалось Нежданову.)

— Какой онъ изъ себя?

— Какой?—приземистый, грузный, чернявый... Лицо скуластое, калмыцкое... грубое лицо. Только глаза очень живые.

— А говоритъ онъ какъ?

— Онъ не столько говоритъ, сколько командуетъ.

— Отчего же онъ сдѣлался головою?

— А съ характеромъ человѣкъ. Ни предъ чѣмъ не отступитъ. Если нужно—убьетъ. Ну—его и боятся.

— А Соломинъ каковъ изъ себя?—спросила Маріанна, погодя немного.

— Соломинъ тоже не очень красивъ; только у этого славное лицо, простое, честное. Между семинаристами — хорошими—такія попадаются лица.

Неждановъ подробно описалъ Соломина. Маріанна посмотрѣла на Нежданова долго... долго... потомъ промолвила, словно про себя:

— У тебя тоже хорошее лицо. Съ тобою, думаю, можно жить.

Это слово тронуло Нежданова; онъ снова взялъ ея руку—и поднесъ-было ее къ губамъ...

— Погоди любезничать, — промолвила, смѣясь, Маріанна—она всегда смѣялась, когда у ней цѣловали руку:— ты не знаешь: я передъ тобой виновата.

— Какимъ это образомъ?

— А вотъ какъ. — Я въ твоемъ отсутствіи вошла къ тебѣ въ комнату—и тамъ, на твоемъ столѣ, увидала тетрадку со стихами... (Неждановъ дрогнулъ: онъ вспомнилъ, что онъ, точно, забылъ эту тетрадку на столѣ своей комнаты) — и каюсь передъ тобою: не сумѣла побѣдить свое любопытство—и прочла.—Вѣдь это твои стихи?

— Мои; и знаешь ли что, Маріанна? Лучшимъ доказательствомъ, до какой степени я къ тебѣ привязанъ и какъ я тебѣ довѣряю — можетъ служить то, что я почти не сержусь на тебя.

— Почти? Стало-быть, хоть немного, да сердишься?— Кстати, ты меня зовешь Маріанной; не могу же я тебя звать Нежда новымъ! Буду звать тебя Алексѣемъ. А стихотвореніе, которое начинается такъ: „Милый другъ, когда *я буду умирать*...“ тоже твое?

— Мое... мое. — Только, пожалуйста, брось это... Не мучь меня.

Маріанна покачала головою.

— Оно очень печально.—Это стихотвореніе... Надѣюсь, что ты его написалъ до сближенія со мною. Но стихи хороши—насколько я могу судить. Мнѣ сдается, что ты могъ бы сдѣлаться литераторомъ, только я *навѣрное* знаю, что у тебя есть призваніе лучше и выше литературы. Этимъ хорошо было заниматься прежде,—когда другое было невозможно.

Неждановъ кинулъ на нее быстрый взглядъ.

— Ты думаешь? Да, я съ тобой согласенъ. Лучше гибель тамъ—чѣмъ успѣхъ здѣсь.

Маріанна стремительно встала.

— Да, мой милый, ты правъ!—воскликнула она—и все лицо ея просіяло, вспыхнуло огнемъ и блескомъ восторга, умиленіемъ великодушныхъ чувствъ:—ты правъ!—Но, можетъ-быть, мы и не погибнемъ тотчасъ; мы успѣемъ, ты увидишь, мы будемъ полезны, наша жизнь не пропадетъ даромъ, мы пойдемъ въ народъ... Ты знаешь какое-нибудь ремесло? Нѣтъ? Ну, все равно—мы будемъ работать, мы принесемъ имъ, нашимъ братьямъ, все, что̀ мы знаемъ—я, если нужно, въ кухарки пойду, въ швеи, въ прачки... Ты увидишь, ты увидишь... И никакой тутъ заслуги не будетъ—а счастье, счастье...

Маріанна умолкла; но взоръ ея, устремленный въ даль, не въ ту, которая разстилалась передъ нею — а въ другую, невѣдомую, еще не бывалую, но видимую ей,—взоръ ея горѣлъ...

Неждановъ склонился къ ея стану...

— О, Маріанна!—шепнулъ онъ:—я тебя не стою!

Она вдругъ вся встрепенулась.

— Пора домой—пора!—промолвила она:—а то сейчасъ опять насъ отыскивать станутъ. Впрочемъ, Валентина Михайловна, кажется, махнула на меня рукой. Я въ ея глазахъ—пропащая!

Маріанна произнесла это слово съ такимъ свѣтлымъ, *радостнымъ лицомъ*, что и Неждановъ, глядя на нее, не *могъ не улыбнуться* и не повторить: пропащая!

— Только она очень оскорблена тѣмъ, — продолжала Маріанна:—какъ же это ты не у ея ногъ? — Но это все ничего—а вотъ что... Вѣдь здѣсь оставаться мнѣ нельзя будетъ... Надо будетъ бѣжать.

— Бѣжать?—повторилъ Неждановъ.

— Да, бѣжать... Вѣдь и ты не останешься?—Мы уйдемъ вмѣстѣ. — Намъ надо будетъ работать вмѣстѣ... Вѣдь ты пойдешь со мною?

— На край свѣта!—воскликнулъ Неждановъ—и голосъ его внезапно зазвенѣлъ отъ волненія и какой-то порывистой благодарности. — На край свѣта! — Въ эту минуту онъ точно ушелъ бы съ нею, безъ оглядки, куда бы она ни пожелала!

Маріанна поняла его—и коротко и блаженно вздохнула.

— Такъ возьми же мою руку... только не цѣлуй ея—а пожми ее крѣпко, какъ товарищу, какъ другу... вотъ такъ!

Они пошли вмѣстѣ домой, задумчивые, счастливые, — молодая трава ластилась подъ ихъ ногами, молодая листва шумѣла кругомъ; пятна свѣта и тѣни побѣжали, проворно скользя по ихъ одеждѣ—и оба они улыбались и тревожной ихъ игрѣ, и веселымъ ударамъ вѣтра, и свѣжему блистанью листьевъ—и собственной молодости, и другъ другу.

Часть вторая.

XXIII.

Заря уже занималась на небѣ, когда, въ ночь послѣ Голушкинскаго обѣда, Соломинъ, бодро прошагавъ около пяти верстъ, постучался въ калитку высокаго забора, окружавшаго фабрику. Сторожъ тотчасъ впустилъ его—и въ сопровожденіи трехъ цѣпныхъ овчарокъ, широко размахивавшихъ мохнатыми хвостами, съ почтительной заботливостью довелъ его до его флигеля.—Онъ видимо радовался благополучному возвращенію начальника.

— Какъ же это вы ночью, Василій Ѳедотычъ? Мы васъ ждали только завтра.

— Ничего, Гаврила; еще лучше ночью-то прогуляться.

Хорошія, хотя и не совсѣмъ обыкновенныя, отношенія существовали между Соломинымъ и фабричными: они уважали его какъ старшаго — и обходились съ нимъ какъ съ ровнымъ, какъ со своимъ: только ужъ очень онъ былъ знающъ въ ихъ глазахъ! — „Что Василій Ѳедотовъ сказалъ“—толковали они—„ужъ это свято! потому онъ всяку мудрость произошелъ—и нѣтъ такого àгличана, котораго онъ бы за поясъ не заткнулъ!“—Дѣйствительно: какой-то важный англійскій мануфактуристъ посѣтилъ однажды фабрику; и отъ того ли, что Соломинъ съ нимъ по-англійски говорилъ—или онъ точно былъ пораженъ его свѣдѣніями—только онъ все его по плечу хлопалъ, и смѣялся, и *звалъ его съ собою* въ Ливерпуль; — а фабричнымъ *твердилъ на своемъ ломаномъ языкѣ*: „Караша оу васъ

эта! Оу! караша!" — чему фабричные въ свою очередь много смѣялись, не безъ гордости: „Вотъ, молъ, нашъ-то каковъ!—Нашъ-то!"

И онъ точно былъ ихъ—и ихній.

На другое утро рано вошелъ къ Соломину въ комнату его любимецъ, Павелъ; разбудилъ его, подалъ ему умыться, кое-что разсказалъ, кое-о-чемъ разспросилъ. Потомъ они вмѣстѣ наскоро напились чаю — и Соломинъ, натащивъ на себя свой замасленный сѣрый рабочій пиджакъ, отправился на фабрику—и завертѣлась опять его жизнь, какъ большое маховое колесо.

Но ей была суждена новая остановка.

Дней пять спустя послѣ возвращенія Соломина во-свояси, на дворъ фабрики вкатился красный фаэтончикъ, запряженный четверней отличныхъ лошадей, — и ливрейный, бѣло-гороховый лакей, введенный Павломъ во флигель, торжественно вручилъ Соломину письмо съ гербовою печатью—отъ „Его превосходительства Бориса Андреевича Сипягина".—Въ этомъ письмѣ, пропитанномъ не духами—фи!—а какой-то необычайно-приличной англійской вонью, и писанномъ — хоть и въ третьемъ лицѣ, — но не секретарской, а собственной генеральской рукою, просвѣщенный владѣлецъ села Аржаного, извинившись сперва, что обращается къ человѣку, лично ему не знакомому—но о которомъ онъ, Сипягинъ, наслышанъ съ самой лестной стороны,—бралъ на себя „смѣлость" пригласить къ себѣ въ деревню г-на Соломина, совѣты котораго могли быть чрезвычайно полезны для него, Сипягина, въ нѣкоторомъ значительномъ промышленномъ предпріятіи; и въ надеждѣ на любезное согласіе г-на Соломина—онъ, Сипягинъ, посылаетъ ему экипажъ.— Въ случаѣ же невозможности со стороны г-на Соломина отлучиться въ тотъ день, онъ, Сипягинъ, покорнѣйше проситъ г-на Соломина назначить ему другой, какой будетъ ему угодно, — и тотъ же экипажъ будетъ съ радостью предоставленъ имъ, Сипягинымъ, въ распоряженіе г-на Соломина. За симъ слѣдовали обычныя заявленія,—а въ концѣ письма находилось *post-scriptum*, уже въ первомъ лицѣ: „Надѣюсь, что вы

не откажетесь откушать у меня *запросто*, въ сюртукѣ". (Слово „запросто" было подчеркнуто.) Вмѣстѣ съ этимъ письмомъ бѣло-гороховый лакей съ нѣкоторымъ какъ бы смущеніемъ подалъ Соломину простую, даже не запечатанную, а заклеенную записку отъ Нежданова, въ которой стояло только нѣсколько словъ: „Пріѣзжайте пожалуйста, вы здѣсь очень нужны—и можете быть очень полезны;—только, конечно, не г-ну Сипягину".

Прочтя письмо Сипягина, Соломинъ подумалъ: „А какъ же мнѣ иначе ѣхать, какъ не запросто; фрака-то у меня въ заводѣ нѣту... Да и на кой чортъ мнѣ туда таскаться... только время терять!" — но, пробѣжавъ записку Нежданова, онъ почесалъ у себя въ затылкѣ и подошелъ, въ нерѣшительности, къ окну.

— Какой же изволите отвѣтъ дать? — степенно вопросилъ бѣло-гороховый лакей.

Соломинъ постоялъ еще немного у окна—и наконецъ, встряхнувъ волосами и проведя рукой по лбу,—промолвилъ:

— Ѣду.—Дайте мнѣ время одѣться.

Лакей благопристойно вышелъ, а Соломинъ велѣлъ позвать Павла, потолковалъ съ нимъ, сбѣгалъ еще разъ на фабрику — и, надѣвъ черный сюртукъ съ очень длинной таліей, сшитый ему губернскимъ портнымъ, и нѣсколько порыжѣлый цилиндръ, немедленно придавшій его лицу деревянное выраженіе, сѣлъ въ фаэтончикъ — но вдругъ вспомнилъ, что не взялъ съ собой перчатокъ; кликнулъ „вездѣсущаго" Павла—и тотъ принесъ ему пару только-что вымытыхъ замшевыхъ бѣлыхъ перчатокъ, каждый палецъ которыхъ, расширенный къ концу, походилъ на бисквитъ. Соломинъ сунулъ перчатки въ карманъ и сказалъ, что можно ѣхать. Тогда лакей съ какой-то внезапной, совершенно не нужной отвагой вскочилъ на козла — благовоспитанный кучеръ пискнулъ фальцетомъ — и лошади побѣжали.

Пока онѣ постепенно приближали Соломина къ имѣнію Сипягина—этотъ государственный мужъ, сидя у себя въ гостиной, съ полуразрѣзанной политической брошюрой *на колѣняхъ, бесѣдовалъ* о немъ съ своей женой. Онъ

повѣрялъ ей, что выписалъ его собственно за тѣмъ, чтобы попытаться, нельзя ли сманить его съ купеческой фабрики на свою собственную, такъ какъ она идетъ изъ рукъ вонъ плохо и нужны коренныя преобразованія!—На мысли, что Соломинъ откажется пріѣхать или даже назначитъ другой день, Сипягинъ и останавливаться не хотѣлъ; хоть самъ же, въ своемъ письмѣ къ Соломину, предлагалъ ему выборъ дня.

— Да вѣдь фабрика у насъ писчебумажная, не прядильная,—замѣтила Валентина Михайловна.

— Все равно, душа моя: и тамъ машины—и здѣсь машины... а онъ—механикъ!

— Да вѣдь онъ, быть-можетъ, спеціалистъ!

— Душа моя, во-первыхъ—на Руси нѣтъ спеціалистовъ; а во-вторыхъ—я повторяю тебѣ:—онъ механикъ!

Валентина Михайловна улыбнулась.

— Смотри, мой другъ: тебѣ уже разъ не посчастливилось съ молодыми людьми; какъ бы тебѣ во второй разъ не ошибиться!

— Это ты насчетъ Нежданова? — Но, мнѣ кажется, цѣли своей я все-таки достигъ: репетиторъ для Коли онъ хорошій. А потомъ,—ты знаешь: non bis in idem! Извини, пожалуйста, мой педантизмъ... Это значитъ, что двѣ вещи сряду не повторяются.

— Ты полагаешь?—А *я* такъ думаю, что все на свѣтѣ повторяется... особенно то, что̀ въ натурѣ вещей... и особенно между молодыми людьми.

— Que voulez vous dire?—спросилъ Сипягинъ, округленнымъ жестомъ бросая брошюру на столъ.

— Ouvrez les yeux—et vous verrez!—отвѣтила ему Сипягина; по-французски они, конечно, говорили другъ другу вы.

— Гмъ!—произнесъ Сипягинъ.—Это ты про студентика?

— Про г-на студента.

— Гмъ!—развѣ у него тутъ... (онъ повертѣлъ рукою около лба...) что-нибудь завелось? А?

— Открой глаза!

— *Маріанна*? А?—(Второе „А?“—было произнесено *болѣе въ носъ*, чѣмъ первое).

— Открой глаза, говорятъ тебѣ!

Сипягинъ нахмурилъ брови.

— Ну, это мы все разберемъ впослѣдствіи.—А теперь я хотѣлъ только одно сказать... Этотъ Соломинъ, вѣроятно, будетъ нѣсколько конфузиться... ну, понятное дѣло, не привыкъ.—Такъ надо будетъ этакъ съ нимъ поласковѣе... чтобы не запугать. Я это не для тебя говорю; ты у меня—золото; и кого захочешь—мигомъ очаровать можешь.—J'en sais quelque chose, madame!—Я это говорю для другихъ;—вотъ хоть бы для этого...

Онъ указалъ на модную сѣрую шляпу, стоявшую на этажеркѣ: эта шляпа принадлежала г. Калломѣйцеву, который съ утра находился въ Аржаномъ.

— Il est très cassant, ты знаешь; очень ужъ онъ презираетъ народъ, что̀ я весьма... осуждаю! Къ тому же, я съ нѣкоторыхъ поръ замѣчаю въ немъ какую-то раздражительность, придирчивость... Или его дѣла—*тамъ*—(Сипягинъ качнулъ куда-то неопредѣленно головою... но жена поняла его)—не подвигаются? А?

— Открой глаза... опять скажу я тебѣ.

Сипягинъ приподнялся.

—А?—(Это „А?“ было уже совсѣмъ другого свойства и въ другомъ тонѣ... гораздо ниже).—Вотъ какъ?!—Какъ бы я ужъ ихъ тогда слишкомъ не открылъ!

— Это твое дѣло;—а насчетъ твоего новаго молодого—если онъ только пріѣдетъ сегодня—ты не безпокойся; будутъ приняты всѣ мѣры предосторожности.

И что же? Оказалось, что никакихъ мѣръ предосторожности вовсе не требовалось.—Соломинъ нисколько не сконфузился и не испугался.—Когда слуга доложилъ о немъ, Сипягинъ тотчасъ всталъ, промолвилъ громко, такъ, чтобъ въ передней было слышно: „проси! разумѣется, проси!“—направился къ двери гостиной и остановился вплоть передъ нею. Лишь только Соломинъ переступилъ порогъ, Сипягинъ, на котораго онъ едва не наткнулся, протянулъ ему обѣ руки и, любезно осклабясь и пошатывая головою, радушно приговаривая—„вотъ какъ мило...съ вашей стороны... какъ я *вамъ благодаренъ*“—*подвелъ* его къ Валентинѣ Михайловнѣ.

— Вотъ эта жёнка моя,—проговорилъ онъ, мягко нажимая своею ладонью спину Соломина—и какъ бы надвигая его на Валентину Михайловну,—а вотъ, моя милая, нашъ первый здѣшній механикъ и фабрикантъ, Василій... Ѳедосѣевичъ Соломинъ.—Сипягина приподнялась и красиво взмахнувъ снизу вверхъ своими чудесными рѣсницами, сперва улыбнулась ему—добродушно—какъ знакомому, потомъ протянула ему свою ручку ладонью вверхъ, прижимая локотокъ къ стану и наклонивъ головку въ сторону ручки... словно просительница. Соломинъ далъ и мужу, и женѣ продѣлать надъ нимъ всѣ ихнія штучки, пожалъ руку и ему, и ей—и сѣлъ по первому приглашенію. Сипягинъ сталъ безпокоиться—не нужно ли ему чего? Но Соломинъ отвѣчалъ, что ничего ему не нужно, что онъ нисколько не усталъ съ дороги—и находится въ полномъ его распоряженіи.

— Такъ, что можно васъ попросить пожаловать на фабрику?—воскликнулъ Сипягинъ, какъ бы совѣстясь и не смѣя вѣрить такой большой снисходительности со стороны гостя.

— Хоть сейчасъ,—отвѣчалъ Соломинъ.

— Ахъ, какой же вы обязательный! Прикажете дрожки заложить?—или, можетъ-быть, вы желаете пѣшкомъ...

— Да вѣдь она, чай, недалеко отсюда, ваша фабрика?

— Съ полверсты, не больше!

— Такъ на что же экипажъ закладывать?

— Ну, такъ прекрасно. Человѣкъ,—шляпу мнѣ, палку, поскорѣе!—А ты, хозяюшка, хлопочи, обѣдъ намъ припасай!—Шляпу!

Сипягинъ волновался гораздо болѣе, чѣмъ его гость. Повторивъ еще разъ:—„да что жъ это мнѣ шляпу!“ онъ—сановникъ!—выскочилъ вонъ—совсѣмъ какъ рѣзвый школьникъ. Пока онъ разговаривалъ съ Соломинымъ, Валентина Михайловна посматривала украдкой, но внимательно, на этого „новаго молодого“.—Онъ спокойно сидѣлъ на креслѣ, положивъ обѣ обнаженныя руки себѣ на колѣни (*онъ* такъ-таки и не надѣлъ перчатокъ)—и спокойно, *хотя съ любопытствомъ*, оглядывалъ мебель, картины.—

Это что такое? думала она.—Плебей... явный плебей... а какъ просто себя держитъ!—Соломинъ дѣйствительно держалъ себя очень просто, не такъ, какъ иной, который простъ-то простъ—но съ форсомъ: „Смотри, молъ, на меня и понимай, каковъ я есть!“—а какъ человѣкъ, у котораго и чувства, и мысли несложныя, хоть и крѣпкія. Сипягина хотѣла-было заговорить съ нимъ—и, къ изумленію своему, не тотчасъ нашлась.

„Господи!“ подумала она: „неужели же этотъ фабричный мнѣ импонируетъ?“

— Борисъ Андреичъ долженъ быть вамъ очень благодаренъ, — промолвила она наконецъ: — что вы согласились пожертвовать для него частью вашего драгоцѣннаго времени...

— Не такъ ужъ оно драгоцѣнно, сударыня,—отвѣчалъ Соломинъ:—да вѣдь я и не надолго къ вамъ.

„Voila où l'ours a montré sa patte“, подумала она по-французски; но въ эту минуту ея мужъ появился на порогѣ раскрытой двери, съ шляпой на головѣ и „стикомъ“ въ рукѣ. Стоя въ полуоборотъ, онъ развязно воскликнулъ:

— Василій Ѳедосѣичъ! Угодно пожаловать?

Соломинъ всталъ, поклонился Валентинѣ Михайловнѣ— и пошелъ вслѣдъ за Сипягинымъ.

— За мной, сюда, сюда, Василій Ѳедосѣичъ!—твердилъ Сипягинъ, точно онъ пробирался по какимъ-то дебрямъ— и Соломину нуженъ былъ проводникъ.—Сюда! здѣсь ступеньки, Василій Ѳедосѣичъ!

— Коли ужъ вамъ угодно меня величать по отчеству,— промолвилъ, не спѣша, Соломинъ: — я не Ѳедосѣичъ,— а Ѳедотычъ.

Сипягинъ оглянулся на него назадъ, черезъ плечо, почти съ испугомъ.

— Ахъ, извините, пожалуйста, Василій Ѳедотычъ!

— Ничего-съ; не стоитъ.

Они вышли на дворъ.—Имъ навстрѣчу попался Калломѣйцевъ.

— Куда это вы?—спросилъ онъ, покосившись на Соломина.—*На фабрику? C'est la l'individu en question?*

Сипягинъ вытаращилъ глаза и легонько потрясъ головою, въ знакъ предостереженія.

— Да, на фабрику... показывать мои грѣхи да прорѣхи—вотъ г-ну механику. Позвольте васъ познакомить: г-нъ Калломѣйцевъ, здѣшній помѣщикъ; г-нъ Соломинъ...

Калломѣйцевъ кивнулъ раза два головою—едва замѣтно—совсѣмъ не въ сторону Соломина—и не глядя на него.—А тотъ воззрѣлся въ Калломѣйцева—и въ его полузакрытыхъ глазахъ мелькнуло нѣчто...

— Можно присоединиться къ вамъ?—спросилъ Калломѣйцевъ.—Вы знаете, я люблю поучиться.

— Конечно, можно.

Они вышли со двора на дорогу—и не успѣли пройти и двадцати шаговъ, какъ увидѣли приходскаго священника, въ подоткнутой рясѣ, пробиравшагося во-свояси, въ такъ-называемую „поповскую слободку". Калломѣйцевъ немедленно отдѣлился отъ своихъ двухъ товарищей—и твердыми, большими шагами подойдя къ священнику, который никакъ этого не ожидалъ и нѣсколько оробѣлъ—попросилъ его благословенія, звучно поцѣловалъ его потную, красную руку,—и, обернувшись къ Соломину, бросилъ ему вызывающій взглядъ. Онъ, очевидно, зналъ про него „кое-что"—и хотѣлъ показать себя и „носъ наклеить" ученому проходимцу.

— C'est une manifestation, mon cher?—процѣдилъ сквозь зубы Сипягинъ.

Калломѣйцевъ фыркнулъ.

— Oui, mon cher, une manifestation nécessaire par le temps qui court!

Они пришли на фабрику. Ихъ встрѣтилъ малороссъ съ громаднѣйшей бородой и фальшивыми зубами, замѣнившій прежняго управляющаго, нѣмца, котораго Сипягинъ окончательно прогналъ. Этотъ малороссъ былъ временной: онъ явно ничего не смыслилъ и только безпрестанно говорилъ: „отò..." да „байдуже"—и все вздыхалъ.

Начался осмотръ заведенія. Нѣкоторые фабричные знали *Соломина* въ лицо и кланялись ему.—Одному онъ даже *сказалъ*: „А, здравствуй, Григорій! Ты здѣсь?"—Онъ

скоро убѣдился, что дѣло велось плохо. Денегъ было потрачено пропасть, да безъ толку. Машины оказались дурного качества; много было лишняго и ненужнаго; много нужнаго недоставало. Сипягинъ постоянно заглядывалъ въ глаза Соломину, чтобы угадать его мнѣніе, дѣлалъ робкіе запросы, желалъ узнать, доволенъ ли онъ по крайней мѣрѣ порядкомъ?

— Порядокъ-то есть,—отвѣчалъ Соломинъ:—но можетъ ли быть доходъ?—сомнѣваюсь.

Не только Сипягинъ, даже Калломѣйцевъ чувствовалъ, что Соломинъ на фабрикѣ—какъ дома, что ему тутъ все извѣстно и знакомо, до послѣдней мелочи; что онъ тутъ хозяинъ. Онъ клалъ руку на машину, какъ ѣздокъ на шею лошади; тыкалъ пальцемъ колесо—и оно останавливалось или начинало вертѣться; бралъ на ладонь изъ чана немного того мѣсива, изъ котораго выдѣлывается бумага—и оно тотчасъ показывало всѣ свои недостатки. Соломинъ говорилъ мало, а на бородатаго малоросса даже не глядѣлъ вовсе; молча вышелъ онъ также изъ фабрики. Сипягинъ и Калломѣйцевъ отправились вслѣдъ за нимъ.

Сипягинъ не велѣлъ никому провожать себя... даже ногою топнулъ и зубомъ скрипнулъ! Очень онъ былъ разстроенъ.

— Я по вашей физіономіи вижу, — обратился онъ къ Соломину:—что вы моей фабрикой недовольны,—и я самъ знаю, что она у меня въ неудовлетворительномъ состояніи и недоходна; однако, собственно... вы, пожалуйста, не церемоньтесь... какія ея важнѣйшія погрѣшности? И что бы сдѣлать такое, дабы улучшить ее?

— Писчебумажное производство не по моей части,— отвѣчалъ Соломинъ: — но одно могу сказать вамъ: — промышленныя заведенія—не дворянское дѣло.

— Вы считаете эти занятія унизительными для дворянства?—вмѣшался Калломѣйцевъ.

Соломинъ улыбнулся своей широкой улыбкой.

— О, нѣтъ! Помилуйте! Что тутъ унизительнаго? Да если бъ и было что подобное—дворянство *вѣдь этимъ не брезгаетъ.*

— Какъ-съ? Что такое-съ?

— Я хочу только сказать, — спокойно продолжалъ Соломинъ: — что дворяне не привыкли къ этого рода дѣятельности. Тутъ нуженъ коммерческій расчетъ; тутъ все надо поставить на другую ногу; выдержка нужна. Дворяне этого не соображаютъ. Мы и видимъ сплошь да рядомъ, что они затѣваютъ суконныя, бумажныя и другія фабрики, — а въ концѣ-концовъ — кому всѣ эти фабрики попадаютъ въ руки? купцамъ? Жаль; потому купецъ—та же піявка; а только дѣлать нечего.

— Послушать васъ, — вскричалъ Калломѣйцевъ: — дворянамъ нашимъ недоступны финансовые вопросы!

— О, напротивъ! дворяне на это мастера. Концессію на желѣзную дорогу получить, банкъ завести, льготу какую себѣ выпросить — или тамъ что-нибудь въ такомъ родѣ—никто на это какъ дворяне! Большіе капиталы составляютъ. Я именно на это намекалъ — вотъ когда вы изволили разсердиться. Но я имѣлъ въ виду правильныя промышленныя предпріятія; говорю: правильныя—потому что заводить собственные кабаки, да промѣнныя мелочныя лавочки, да ссужать мужичковъ хлѣбомъ и деньгами за сто и за полтораста процентовъ—какъ теперь дѣлаютъ многіе изъ дворянъ-владѣльцевъ — я подобныя операціи не могу считать настоящимъ финансовымъ дѣломъ.

Калломѣйцевъ ничего не отвѣтилъ. Онъ принадлежалъ именно къ этой новой породѣ помѣщиковъ-ростовщиковъ, о которой упомянулъ Маркеловъ въ послѣднемъ своемъ разговорѣ съ Неждановымъ,— и онъ былъ тѣмъ безчеловѣчнѣе въ своихъ требованіяхъ, что лично съ крестьянами дѣла никогда не имѣлъ — не допускать же ихъ въ свой раздушенный европейскій кабинетъ!—а вѣдался съ ними черезъ приказчика. Слушая неторопливую, какъ бы безучастную рѣчь Соломина, онъ весь внутренно закипалъ... но промолчалъ на этотъ разъ, и только одна игра мускуловъ на щекахъ, произведенная стиснутіемъ челюстей, изобличала то, что̀ въ немъ происходило.

— *Однако*, позвольте, позвольте, Василій Ѳедотычъ,— *заговорилъ* Сипягинъ:—все, что̀ вы намъ излагаете, было

совершенно справедливо въ прежнія времена, когда дворяне пользовались... совсѣмъ другими правами, и вообще находились въ другомъ положеніи. Но теперь, послѣ всѣхъ благодѣтельныхъ реформъ, въ нашъ промышленный вѣкъ, почему же дворяне не могутъ обратить свое вниманіе, свои способности, наконецъ, на подобныя предпріятія? Почему же они не могутъ понять того, что̀ понимаетъ простой, часто даже безграмотный купецъ? Не страдаютъ же они недостаткомъ образованности — и даже можно съ удостовѣрительностью утверждать, что они въ нѣкоторомъ родѣ представители просвѣщенія и прогресса!

Очень хорошо говорилъ Борисъ Андреевичъ; его краснорѣчіе имѣло бы большой успѣхъ гдѣ-нибудь въ Петербургѣ—въ департаментѣ—или даже повыше, но на Соломина оно не произвело никакого впечатлѣнія.

— Не могутъ дворяне этими дѣлами орудовать, — повторилъ онъ.

— Да почему же? почему?—чуть не закричалъ Калломѣйцевъ.

— А потому, что они тѣ же чиновники.

— Чиновники? — Калломѣйцевъ захохоталъ язвительно.—Вы, вѣроятно, г. Соломинъ, не отдаете себѣ отчета въ томъ, что̀ вы изволите говорить?

Соломинъ не переставалъ улыбаться.

— Отчего вы такъ полагаете, г. Калѳменцевъ? (Калломѣйцевъ даже дрогнулъ, услышавъ подобное „искаженіе“ своей фамиліи.)—Нѣтъ, я себѣ въ своихъ словахъ отчетъ всегда отдаю.

— Такъ объясните то, что̀ вы хотѣли сказать вашей фразой.

— Извольте: по-моему, всякій чиновникъ — чужакъ, и былъ всегда такимъ, а дворянинъ теперь *сталъ* чужакомъ.

Калломѣйцевъ захохоталъ еще пуще.

— Ну, ужъ извините, милостивый государь; этого я совсѣмъ не понимаю!

— Тѣмъ хуже для васъ. Понатужьтесь... можетъ-быть, и *поймете.*

— *Милостивый* государь!

— Господа, господа,—поспѣшно заговорилъ Сипягинъ, какъ бы ища кого-то сверху глазами. — Пожалуйста, пожалуйста... Kallomeïtzeff, je vous prie de vous calmer. Да и обѣдъ, должно-быть, скоро будетъ готовъ. Прошу, господа, за мною!

— Валентина Михайловна,—вопилъ Калломѣйцевъ, пять минутъ спустя вбѣгая въ ея кабинетъ.—Это ни на что не похоже, что вашъ мужъ дѣлаетъ! Одинъ у васъ нигилистъ завелся, теперь онъ привелъ другого! И этотъ еще хуже!

— Почему такъ?

— Помилуйте, онъ, чортъ-знаетъ что̀ проповѣдуетъ; и притомъ—замѣтьте одно: цѣлый часъ говорилъ съ вашимъ мужемъ, и ни разу, *ни разу* не сказалъ ему: ваше превосходительство!—Le vagabond!

XXIV.

Передъ обѣдомъ Сипягинъ отозвалъ жену свою въ библіотеку. Ему нужно было переговорить съ нею наединѣ. Онъ казался озабоченнымъ. Онъ сообщилъ ей, что фабрика положительно плоха, что этотъ Соломинъ кажется ему человѣкомъ очень толковымъ, хоть и немного... рѣзкимъ, и что надо продолжать съ нимъ быть aux petits soins.—„Ахъ, какъ бы хорошо было его сманить!“ повторилъ онъ раза два. Сипягинъ очень досадовалъ на присутствіе Калломѣйцева... Чортъ его принесъ. Всюду видитъ нигилистовъ—и только о томъ и думаетъ, какъ бы ихъ уничтожить! Ну, уничтожай ихъ у себя дома! Не можетъ никакъ языкъ за зубами подержать!

Валентина Михайловна замѣтила, что она рада быть „aux petits soins“ съ этимъ новымъ гостемъ; только онъ, кажется, въ этихъ „petits soins“ не нуждается и не обращаетъ на нихъ вниманія; не грубъ, а какъ-то ужъ очень равнодушенъ, что̀ весьма удивительно въ человѣкѣ — du commun.

— Все равно... постарайся!—взмолился Сипягинъ.

Валентина Михайловна обѣщала постараться—и постаралась. Она начала съ того, что поговорила — en tête-à-tête—съ Калломѣйцевымъ. Неизвѣстно, что̀ она ему ска-

зала, но онъ пришелъ къ столу съ видомъ человѣка, который „взялъ на себя“ быть смирнымъ и скромнымъ, что̀ бы онъ ни услыхалъ. Эта заблаговременная „резиньяція“ придавала всему его существу оттѣнокъ легкой грусти; зато сколько достоинства... о! сколько достоинства было въ каждомъ его движеніи! Валентина Михайловна познакомила Соломина со всѣми своими домочадцами... (пристальнѣе, чѣмъ на другихъ, посмотрѣлъ онъ на Маріанну) — и за столомъ посадила его возлѣ себя, о правую руку. Калломѣйцевъ сидѣлъ о лѣвую. Развертывая салфетку, онъ прищурился и улыбнулся такъ, какъ бы желалъ сказать: „Ну-съ, будемте играть комедію!“ Сипягинъ сидѣлъ напротивъ и съ нѣкоторой тревогой слѣдилъ за нимъ взоромъ. По новому распоряженію хозяйки, Неждановъ очутился не возлѣ Маріанны, а между Анной Захаровной и Сипягинымъ. Маріанна нашла свой билетикъ (такъ какъ обѣдъ былъ парадный) на салфеткѣ между мѣстами Калломѣйцева и Коли.—Обѣдъ былъ сервированъ отлично; было даже „мэню“: разрисованный листикъ лежалъ передъ каждымъ приборомъ. Тотчасъ послѣ супа, Сипягинъ навелъ опять рѣчь на свою фабрику — вообще на фабричное производство въ Россіи. Соломинъ отвѣчалъ, по своему обыкновенію, очень кратко. Какъ только онъ заговорилъ, Маріанна устремила на него глаза. Сидѣвшій возлѣ нея Калломѣйцевъ началъ-было обращаться къ ней съ разными любезностями (такъ какъ его попросили „не возбуждать полемики“), но она не слушала его; да и онъ произносилъ эти любезности вяло, для очистки совѣсти: онъ сознавалъ, что между молодой дѣвушкою и имъ существовало нѣчто недоступное.

Что же касается до Нежданова—то нѣчто еще худшее установилось внезапно между имъ и хозяиномъ дома... Для Сипягина Неждановъ сталъ просто мебелью или воздушнымъ пространствомъ, котораго онъ совсѣмъ — такъ-таки совсѣмъ — не замѣчалъ! Эти новыя отношенія такъ быстро и такъ несомнѣнно опредѣлились, что когда Неждановъ *въ теченіе обѣда* произнесъ нѣсколько словъ *въ отвѣтъ на замѣчаніе своей* сосѣдки, Анны Захаровны,—

Сипягинъ съ удивленіемъ оглянулся, какъ бы спрашивая себя: „Откуда идетъ сей звукъ?“

Очевидно, Сипягинъ обладалъ нѣкоторыми изъ качествъ, отличающихъ русскихъ крупно-сановныхъ людей.

Послѣ рыбы, Валентина Михайловна, которая съ своей стороны расточала всѣ свои обаянія и приманки направо, т.-е. передъ Соломинымъ, замѣтила по-англійски черезъ столъ своему супругу, что „нашъ гость не пьетъ вина, можетъ-быть, онъ желаетъ пива...“ Сипягинъ громко потребовалъ „элю“, а Соломинъ, спокойно обратившись къ Валентинѣ Михайловнѣ, сказалъ ей, что вы, молъ, вѣроятно, сударыня, не знаете, что я слишкомъ два года пробылъ въ Англіи—и понимаю и говорю по-англійски; и что я васъ объ этомъ предупреждаю въ случаѣ, если бъ вамъ угодно было что-нибудь сказать по секрету въ моемъ присутствіи. Валентина Михайловна засмѣялась и начала увѣрять его, что предостереженіе это безполезно, такъ какъ онъ не услышалъ бы о себѣ ничего, кромѣ выгоднаго; сама же она нашла поступокъ Соломина нѣсколько страннымъ, но, по-своему, деликатнымъ.

Калломѣйцевъ тутъ, наконецъ, не выдержалъ.

— Вотъ, вы были въ Англіи,—началъ онъ:—и вѣроятно, наблюдали тамошніе нравы. Позвольте спросить, признаете ли вы ихъ достойными подражанія?

— Иное да, иное—нѣтъ.

— Коротко—и не ясно,—замѣтилъ Калломѣйцевъ, стараясь не обращать вниманія на знаки, которые дѣлалъ ему Сипягинъ.—Но вотъ, вы сегодня говорили о дворянахъ... Вы, конечно, имѣли случай изучать на мѣстѣ то, что въ Англіи называется landed gentry?

— Нѣтъ, я этого случая не имѣлъ; я вращался совсѣмъ въ другой сферѣ,—но понятіе объ этихъ господахъ себѣ составилъ.

— И что жъ? Вы полагаете, что такое landed gentry у насъ невозможно? И что, во всякомъ случаѣ, не слѣдуетъ этого желать?

— *Во-первыхъ*, я, точно, полагаю, что оно невозможно; *а во-вторыхъ*—и желать-то этого не стоитъ.

— Почему же-съ такъ-съ? — проговорилъ Калломѣйцевъ. — Эти два „слово-еръ“ должны были служить къ тому, чтобы успокоить Сипягина, который очень волновался и даже ёрзалъ на своемъ стулѣ.

— А потому, что лѣтъ черезъ двадцать-тридцать вашей landed gentry и безъ того не будетъ.

— Но позвольте-съ; почему же-съ такъ-съ?

— Потому, что въ то время земля будетъ принадлежать владѣльцамъ—безъ разбора происхожденія.

— Купцамъ-съ?

— Вѣроятно, бо̀льшею частью купцамъ.

— Какимъ это манеромъ?

— А такимъ, что купятъ они ее—эту самую землю.

— У дворянъ?

— У господъ дворянъ.

Калломѣйцевъ снисходительно осклабился. — Вы, помнится, говорили прежде то же самое о фабрикахъ и заводахъ, а теперь обо всей землѣ.

— А теперь говорю обо всей землѣ.

— И вы, вѣроятно, будете этому очень рады!

— Нисколько, какъ я уже вамъ до̀кладывалъ, народу отъ этого легче не будетъ.

Калломѣйцевъ чуть-чуть поднялъ одну руку. — Какая заботливость о народѣ, подумаешь!

— Василій Ѳедотычъ!—закричалъ во всю голову Сипягинъ. — Вамъ пива принесли! — Voyons, Siméon! — прибавилъ онъ вполголоса.

Но Калломѣйцевъ не унимался.

— Вы, я вижу,—заговорилъ онъ опять, обращаясь къ Соломину:—не слишкомъ лестнаго мнѣнія о купцахъ; но вѣдь они принадлежатъ, по происхожденію, народу?

— Такъ что же-съ?

— Я полагалъ, что все народное или относящееся къ народу—вы находите прекраснымъ.

— О, нѣтъ-съ! Напрасно вы это полагали. Народъ нашъ во многомъ можно упрекнуть, хоть онъ и не всегда виноватъ бываетъ. Купецъ у насъ до сихъ поръ хищникъ, *онъ и своимъ-то, собственнымъ* добромъ владѣетъ, какъ

хищникъ... Что будешь дѣлать! Тебя грабятъ... и ты грабишь. А народъ...

— Народъ?—переспросилъ фистулой Калломѣйцевъ.

— Народъ—сѐня.

— И вы желаете его разбудить?

— Это было бы не худо.

— Ага! ага! вотъ какъ-съ...

— Позвольте, позвольте,—промолвилъ повелительно Сипягинъ. Онъ понялъ, что наступила минута положить, такъ-сказать, предѣлъ... остановить! И онъ положилъ предѣлъ. Онъ остановилъ! Помавая кистью правой руки, локоть которой оставался опертымъ о столъ, онъ произнесъ длинную, обстоятельную рѣчь. Съ одной стороны, онъ похвалилъ консерваторовъ, а съ другой—одобрилъ либераловъ, отдавая симъ послѣднимъ нѣкоторый преферансъ и причисляя себя къ ихъ разряду; превознесъ народъ—но указалъ на нѣкоторыя его слабыя стороны; выразилъ полное довѣріе къ правительству — но спросилъ себя: исполняютъ ли *всѣ* подчиненные его благія предначертанія? Призналъ пользу и важность литературы, но объявилъ, что безъ крайней осторожности она немыслима! Взглянулъ на Западъ: сперва порадовался — потомъ усомнился; взглянулъ на Востокъ: сперва отдохнулъ—потомъ воспрянулъ! И, наконецъ, предложилъ выпить тостъ за процвѣтаніе тройственнаго союза:

РЕЛИГІИ, ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

— Подъ эгидой власти!—строго прибавилъ Калломѣйцевъ!

— Подъ эгидой мудрой и снисходительной власти,—поправилъ его Сипягинъ.

Тостъ былъ выпитъ въ молчаніи.—Воздушное пространство, налѣво отъ Сипягина, называемое Неждановымъ, произнесло, правда, нѣкоторый неодобрительный звукъ—но, не возбудивъ ничьего вниманія, затихло снова;—и, не возмущенный уже никакимъ новымъ преніемъ, обѣдъ благополучно достигнулъ конца.

Валентина Михайловна съ самой прелестной улыбкой *подала чашку* кофе Соломину: онъ ее выпилъ—и уже

искалъ глазами своей шляпы... но мягко подхваченный подъ руку Сипягинымъ, былъ немедленно увлеченъ въ его кабинетъ — и получилъ: сперва отличнѣйшую сигару, а потомъ предложеніе перейти къ нему, Сипягину, на фабрику на выгоднѣйшихъ условіяхъ! — „Полнымъ властелиномъ вы будете, Василій Ѳедотычъ, полнымъ властелиномъ!“ — Сигару Соломинъ принялъ; отъ предложенія отказался.—Онъ такъ и остался при своемъ отказѣ, какъ Сипягинъ ни настаивалъ.

— Не говорите прямо: „нѣтъ!“—любезнѣйшій Василій Ѳедотычъ!—Скажите, по крайней мѣрѣ, что вы подумаете до завтра!

— Да вѣдь все равно — я принять ваше предложеніе не могу.

— До завтра! Василій Ѳедотычъ!—Что̀ вамъ сто̀итъ?

Соломинъ согласился, что стоить это ему ничего не будетъ... однако вышелъ изъ кабинета и снова сталъ искать свою шляпу. Но Неждановъ, которому, до того мгновенія, не удалось помѣняться съ нимъ единымъ словомъ, приблизился къ нему и торопливо шепнулъ:

— Ради Бога, не уѣзжайте, а то намъ невозможно будетъ переговорить!

Соломинъ оставилъ свою шляпу въ покоѣ, тѣмъ болѣе, что Сипягинъ, замѣтивъ его нерѣшительныя движенія взадъ и впередъ по гостиной, воскликнулъ:

— Вѣдь вы, конечно, ночуете у насъ?

— Какъ прикажете,—отозвался Соломинъ.

Благодарный взглядъ, брошенный ему Маріанной,—она стояла у окна гостиной—заставилъ его призадуматься.

XXV.

До пріѣзда Соломина, Маріанна воображала его себѣ совсѣмъ инымъ. На первый взглядъ онъ ей показался какимъ-то неопредѣленнымъ, безличнымъ... Рѣшительно: она на своемъ вѣку видала много такихъ бѣлокурыхъ, жилистыхъ, сухопарыхъ людей! Но чѣмъ больше она въ него всматривалась, чѣмъ больше вслушивалась въ его рѣчи, *тѣмъ сильнѣе становилось* въ ней чувство довѣрія къ

нему,—именно довѣрія.—Этотъ спокойный, не то, чтобы неуклюжій, а тяжеловатый человѣкъ, не только не могъ солгать или прихвастнуть; на него можно было положиться, какъ на каменную стѣну... Онъ не выдастъ; мало того: онъ пойметъ и поддержитъ. — Маріаннѣ казалось даже, что не въ ней одной, что во всѣхъ присутствующихъ лицахъ Соломинъ возбуждалъ подобное чувство. Тому, что онъ говорилъ, она особеннаго значенія не придавала; всѣ эти толки о купцахъ, о фабрикахъ, мало интересовали ее; но какъ онъ говорилъ, какъ онъ при этомъ глядѣлъ и улыбался—это нравилось ей чрезвычайно...

Правдивый человѣкъ... вотъ главное! вотъ что ее трогало.—Извѣстное, хоть не совсѣмъ понятное, дѣло: русскіе люди—самые изолгавшіеся люди въ цѣломъ свѣтѣ; а ничего такъ не уважаютъ, какъ правду—ничему такъ не сочувствуютъ, какъ именно ей. — Къ тому жъ, на Соломинѣ, въ глазахъ Маріанны — лежала особая печать; на немъ почилъ ореолъ человѣка, котораго самъ Василій Николаевичъ рекомендовалъ своимъ послѣдователямъ. Въ теченіе обѣда Маріанна нѣсколько разъ переглянулась „на его счетъ“ съ Неждановымъ, а подъ-конецъ вдругъ сама себя поймала на томъ, что невольно сравниваетъ ихъ обоихъ — и не въ пользу Нежданова. Черты лица у Нежданова были, правда, гораздо красивѣе и пріятнѣе, чѣмъ у Соломина;—но самое лицо выражало смѣсь различныхъ тревожныхъ ощущеній: досады, смущенія, нетерпѣнія... даже унынія; онъ сидѣлъ какъ на иголкахъ, пытался говорить и умолкалъ, усмѣхался нервически... Соломинъ, напротивъ, производилъ такое впечатлѣніе, что онъ, пожалуй, скучаетъ немного, но что, впрочемъ, онъ какъ дома;—и что „то, какъ онъ“, никогда и ни въ чемъ не зависитъ отъ „того, какъ другіе“. — Рѣшительно, надо попросить совѣта у этого человѣка—думалось Маріаннѣ: онъ непремѣнно скажетъ что-нибудь полезное. — Нежданова послѣ обѣда подослала къ нему *она*.

Вечеръ прошелъ довольно вяло; къ счастью, обѣдъ *кончился поздно*—и до ночи оставалось недолго. Калломѣйцевъ *учтиво дулся* и безмолвствовалъ.

— Что̀ съ вами?—полунасмѣшливо спросила его Сипягина.—Или вы что̀ потеряли?

— Именно-съ,—отвѣчалъ Калломѣйцевъ.—Объ одномъ изъ нашихъ начальниковъ гвардіи разсказываютъ, будто онъ горевалъ о томъ, что его солдаты потеряли „носо̀къ...“ „Отыщите мнѣ носо̀къ!“ А я говорю: отыщите мнѣ „слово-ерикъ-съ!“ — „Слово-ерикъ-съ“ пропало — и вмѣстѣ съ нимъ всякое уваженіе и чинопочитаніе!

Сипягина объявила Калломѣйцеву, что не станетъ помогать ему въ его по̀искахъ.

Ободренный успѣхомъ своего обѣденнаго „спича“, Сипягинъ произнесъ парочку другихъ, причемъ пустилъ въ ходъ нѣсколько государственныхъ соображеній о необходимыхъ мѣропріятіяхъ; — пустилъ также нѣсколько словъ — des mots—не столько острыхъ, сколько вѣскихъ—приготовленныхъ имъ собственно для Петербурга.—Одно изъ этихъ словъ онъ даже повторилъ, предпославъ фразу: „если позволительно такъ выразиться“. А именно: объ одномъ изъ тогдашнихъ министровъ онъ сказалъ, что у него непостоянный и праздный умъ, направленный къ мечтательнымъ цѣлямъ. — Съ другой стороны, Сипягинъ, не забывая, что онъ имѣетъ дѣло съ русскимъ человѣкомъ — изъ народа — не преминулъ щегольнуть нѣкоторыми изреченіями, долженствовавшими доказать, что и онъ самъ—не только русскій человѣкъ—но „русакъ“,—и близко знакомъ съ самой сутью народной жизни! — Такъ напр., на замѣчаніе Калломѣйцева, что дождь можетъ помѣшать уборкѣ сѣна, онъ немедленно отвѣчалъ, что „пусть будетъ сѣно черно—за то греча бѣла“;—употребилъ также поговорки въ родѣ: „товаръ безъ хозяина сирота“; „десять разъ примѣрь, одинъ разъ отрѣжь“;—„когда хлѣбъ—тогда и мѣра“; — „коли къ Егорью на березѣ листъ въ полушку — на Казанской клади хлѣбъ въ кадушку“. — Правда, иногда съ нимъ случалось, что онъ вдругъ промахнется и скажетъ, напр.:—„знай куликъ свой шестокъ“, — или: „красна изба углами!“ — Но общество, въ средѣ котораго эти бѣды съ нимъ случались, бо̀льшею частію и не *подозрѣвало, что* тутъ „notre bon русакъ“ далъ промахъ;

да и, благодаря князю Коврижкину, оно уже привыкло къ подобнымъ россійскимъ „патакэсамъ“. — И всѣ эти поговорки и изреченія Сипягинъ произносилъ какимъ-то особеннымъ, здороваго, даже сипловатымъ голосомъ— d'une voix rustique. — Подобныя изреченія, в-время и у мѣста пущенныя имъ въ Петербургѣ, заставляли высокопоставленныхъ, вліятельныхъ дамъ восклицать:—„Comme il connait bien les moeurs de notre peuple!“ А высокопоставленные, вліятельные сановники прибавляли: — „Les moeurs et les besoins!“

Валентина Михайловна очень старалась около Соломина; но видимый неуспѣхъ ея стараній ее обезкураживалъ; — и, проходя мимо Калломѣйцева, она невольно проговорила вполголоса: Mon Dieu, que je me sens fatiguée!

На что тотъ отвѣчалъ съ ироническимъ поклономъ:

— Tu l'as voulu, Georges Dandin!

Наконецъ, послѣ этой обычной вспышки любезности и привѣта, которыя являются на всѣхъ лицахъ поскучавшаго общества въ самый моментъ разставанія; послѣ внезапныхъ рукопожатій, улыбокъ и дружескихъ хмыканій въ носъ—усталые гости, усталые хозяева разошлись.

Соломинъ, которому отвели едва ли не лучшую комнату во второмъ этажѣ, съ англійскими туалетными принадлежностями и купальнымъ шкапомъ,—отправился къ Нежданову.

Тотъ началъ съ того, что горячо поблагодарилъ его за согласіе остаться.

— Я знаю... это для васъ жертва...

— Э! полноте!—отвѣчалъ неторопливо Соломинъ.—Какая тутъ жертва!—Да притомъ, *вамъ* я не могу отказать.

— Почему же!

— Да потому, что я полюбилъ васъ.

Нежданов обрадовался и удивился, а Соломинъ пожалъ ему руку. Потомъ онъ сѣлъ верхомъ на стулъ, закурилъ сигару, и, опершись обѣими локтями о спинку, промолвилъ:

— Ну, говорите, въ чемъ дѣло?

Неждановъ тоже сѣлъ верхомъ на стулъ противъ Соломина—но сигары не закурилъ.

— Въ чемъ дѣло—спрашиваете вы?.. А въ томъ, что я хочу бѣжать отсюда.

— То-есть—вы хотите оставить этотъ домъ! Ну, что-жъ? съ Богомъ!

— Не оставить... а бѣжать.

— Развѣ васъ удерживаютъ? Вы, можетъ-быть... забрали денегъ впередъ? Такъ вамъ стоитъ только слово сказать... Я съ удовольствіемъ...

— Вы меня не понимаете, любезный Соломинъ... Я сказалъ: бѣжать — а не оставить — потому что я отсюда удаляюсь—не одинъ.

Соломинъ приподнялъ голову.

— Съ кѣмъ же это?

— А съ той дѣвушкой, которую вы видѣли здѣсь сегодня...

— Съ этой!—У ней хорошее лицо. Что-жъ? Вы полюбили другъ друга?.. Или только такъ—рѣшаетесь вмѣстѣ оставить домъ, гдѣ вамъ обоимъ нехорошо?

— Мы любимъ другъ друга.

— А!—Соломинъ помолчалъ.—Она родственница здѣшнимъ господамъ?

— Да.—Но она вполнѣ раздѣляетъ наши убѣжденія—и готова идти на все.

Соломинъ улыбнулся.

— А вы, Неждановъ, готовы?

Неждановъ нахмурился слегка.

— Къ чему этотъ вопросъ? Я вамъ докажу мою готовность на дѣлѣ.

— Я не сомнѣваюсь въ васъ, Неждановъ; я только потому спросилъ васъ, что, кромѣ васъ, я полагаю, никто не готовъ.

— А Маркеловъ?

— Да! вотъ развѣ Маркеловъ.—Да тотъ, чай, родился готовымъ.

Въ это мгновенье кто-то тихо и быстро застучалъ въ дверь—и, не дожидаясь отзыва, отворилъ ее.—То была Маріанна. Она тотчасъ подошла къ Соломину.

— Я увѣрена,—начала она:—вы не удивитесь, увидѣвши меня здѣсь, въ эту пору.—Онъ (Маріанна указала на Нежданова)—вамъ, конечно, все сказалъ.—Дайте мнѣ вашу руку—и знайте, что передъ вами честная дѣвушка.

— Да, я это знаю,—серьезно промолвилъ Соломинъ.—Онъ поднялся со стула, какъ только Маріанна появилась.—Я уже за столомъ смотрѣлъ на васъ и думалъ: вотъ, какіе у этой барышни честные глаза.—Мнѣ Неждановъ, точно, сказывалъ о вашемъ намѣреніи. Но, собственно—зачѣмъ вы хотите бѣжать?

— Какъ зачѣмъ?—Дѣло, которому я сочувствую... не удивляйтесь: Неждановъ ничего не скрылъ отъ меня... это дѣло должно начаться на-дняхъ... а я останусь въ этомъ помѣщичьемъ домѣ, гдѣ все—ложь и обманъ?—Люди, которыхъ я люблю, будутъ подвергаться опасности, а я...

Соломинъ остановилъ ее движеніемъ руки.

— Не волнуйтесь.—Сядьте, и я сяду! Сядьте и вы, Неждановъ.—Послушайте: если у васъ нѣтъ другой причины—то бѣжать еще вамъ отсюда не́ для чего. Дѣло это еще не такъ скоро начнется, какъ вы думаете.—Тутъ нужно еще нѣкоторое благоразуміе. Нечего соваться впередъ, зря. Повѣрьте мнѣ.

Маріанна сѣла и запахнулась большимъ плэдомъ, который она накинула себѣ на плечи.

— Но я не могу остаться здѣсь больше! Меня здѣсь всѣ оскорбляютъ. Сегодня еще, эта глупая Анна Захаровна, при Колѣ, сказала мнѣ, намекая на моего отца, что яблоко отъ яблони недалеко падаетъ! Коля даже удивился и спросилъ, что это значитъ?—Я уже не говорю о Валентинѣ Михайловнѣ!

Соломинъ опять остановилъ ее—и на этотъ разъ улыбнулся. — Маріанна поняла, что онъ немножко посмѣивается надъ нею, но его улыбка никогда никого оскорбить не могла.

— Что-жъ это вы, милая барышня? Я не знаю, кто такая Анна Захаровна, ни о какой яблонѣ вы говорите... но помилуйте: вамъ глупая женщина скажетъ что-нибудь глупое, а вы это снести не можете? Какъ же вы жить-то

будете? Весь свѣтъ на глупыхъ людяхъ стоитъ. Нѣтъ, это не резонъ. Развѣ что другое?

— Я убѣжденъ,—вмѣшался глухимъ голосомъ Неждановъ:—что не нынче, завтра, г. Сипягинъ мнѣ самъ откажетъ отъ дома. Ему навѣрное донесли; онъ обращается со мною... самымъ презрительнымъ образомъ.

Соломинъ обернулся къ Нежданову.

— Такъ для чего же вамъ бѣжать, коли вамъ безъ того откажутъ?

Неждановъ не тотчасъ нашелся, что отвѣтить.

— Я уже говорилъ вамъ,—началъ онъ...

— Онъ такъ выразился,—подхватила Маріанна:—потому что я ухожу съ нимъ.

Соломинъ посмотрѣлъ на нее и добродушно покачалъ головою.

— Такъ, такъ, милая барышня;—но опять-таки скажу вамъ: если вы точно хотите оставить этотъ домъ, потому что полагаете, что революція сейчасъ вспыхнетъ...

— Мы именно для этого и выписали васъ,—перебила Маріанна:—чтобъ узнать достовѣрно, въ какомъ положеніи находятся дѣла?

— Въ такомъ случаѣ,—продолжалъ Соломинъ:—повторяю: вы можете еще сидѣть дома—довольно долго.—Если же вы хотите бѣжать, потому что любите другъ друга и иначе вамъ соединиться нельзя—тогда...

— Ну, что тогда?

— Тогда мнѣ остается только пожелать вамъ, какъ говаривалось въ старину—любовь да совѣтъ;—да если нужно и можно—оказать вамъ посильную помощь. Потому что и васъ, милая барышня—и его—я съ перваго раза полюбилъ какъ родныхъ.

И Маріанна, и Неждановъ, оба подошли къ нему, справа и слѣва,—и каждый изъ нихъ взялъ одну его руку.

— Скажите намъ только, что намъ дѣлать?—промолвила Маріанна.—Положимъ, революція еще далека... но подготовительныя работы, труды, которые въ этомъ домѣ, при этой *обстановкѣ*, *невозможны*—и на которые мы такъ *охотно пойдемъ*—вдвоемъ... вы намъ укажете ихъ;—вы

только скажите намъ, куда намъ идти... Пошлите насъ!— Вѣдь вы пошлете насъ?

— Куда?

— Въ народъ... Куда же идти, какъ не въ народъ?

„До лясу", подумалъ Неждановъ... Ему вспомнилось слово Паклина.

Соломинъ поглядѣлъ пристально на Маріанну.

— Вы хотите узнать народъ?

— Да, то-есть—не узнать народъ хотимъ мы только;— но и дѣйствовать... трудиться для него.

— Хорошо, я вамъ обѣщаю, что вы его узнаете. Я доставлю вамъ возможность дѣйствовать — и трудиться для него. — И вы, Неждановъ, готовы идти... за нею... и за него?

— Конечно, готовъ,—произнесъ онъ поспѣшно.—„Джаггернаутъ" — вспомнилось ему другое слово Паклина.— „Вотъ она катится, громадная колесница... и я слышу трескъ и грохотъ ея колесъ..."

— Хорошо,—повторилъ задумчиво Соломинъ.—Но когда же вы намѣрены бѣжать?

— Хоть завтра,—воскликнула Маріанна.

— Хорошо. Но куда?

— Тссс... тише...—шепнулъ Неждановъ.—Кто-то ходитъ по коридору.

Всѣ помолчали.

— Куда же вы намѣрены бѣжать?—спросилъ опять Соломинъ, понизивъ голосъ.

— Мы не знаемъ,—отвѣчала Маріанна.

Соломинъ перевелъ глаза на Нежданова. Тотъ только потрясъ отрицательно головою.

Соломинъ протянулъ руку и осторожно снялъ со свѣчки.

— Вотъ что, дѣти мои,—проговорилъ онъ наконецъ.— Ступайте ко мнѣ на фабрику.—Некрасиво тамъ... да неопасно. Я васъ спрячу. У меня тамъ есть комнатка. Никто васъ не отыщетъ. — Попадите только туда... а мы васъ не выдадимъ. Вы скажете: на фабрикѣ людно. Это-то и хорошо. Гдѣ людно—тамъ-то и можно спрятаться.— Идетъ, что-ль?

— Намъ остается только благодарить васъ, — промолвилъ Неждановъ; а Маріанна, которую мысль о фабрикѣ сначала смутила, съ живостью прибавила: — Конечно! конечно! Какой вы добрый! Но вѣдь вы насъ недолго тамъ оставите? Вы пошлете насъ?

— Это будетъ отъ васъ зависѣть... А въ случаѣ, если бы вамъ вздумалось сочетаться бракомъ, и на этотъ счетъ у меня на фабрикѣ удобно. Тамъ у меня, близехонько, есть сосѣдъ — двоюроднымъ братомъ мнѣ приходится — попъ, по имени Зосима, преподатливый. Онъ васъ духомъ обвѣнчаетъ.

Маріанна улыбнулась про себя, а Неждановъ еще разъ стиснулъ руку Соломину, да погодя немного, полюбопытствовалъ:

— А что, скажите: хозяинъ, владѣлецъ вашей фабрики, не будетъ претендовать? Никакихъ непріятностей вамъ не сдѣлаетъ?

Соломинъ покосился на Нежданова.

— Обо мнѣ вы не заботьтесь. — Это вы совсѣмъ напрасно. Лишь бы фабрика шла какъ слѣдуетъ, а въ прочемъ моему хозяину — все едино. И вамъ, и вашей милой барышнѣ отъ него никакихъ непріятностей не будетъ. И рабочихъ вамъ опасаться нечего. Только предувѣдомьте меня: около какого времени васъ ждать?

Неждановъ и Маріанна переглянулись.

— Послѣ-завтра, утромъ рано, или день спустя,—проговорилъ, наконецъ, Неждановъ.—Мѣшкать болѣе нельзя. Того и гляди, мнѣ завтра отъ дома откажутъ.

— Ну...—промолвилъ Соломинъ—и поднялся со стула.— Я буду васъ ждать каждое утро. Да и всю недѣлю я изъ дома не отлучусь. Всѣ мѣры будутъ приняты—какъ слѣдуетъ.

Маріанна приблизилась къ нему... (Она подошла-было къ двери.)—Прощайте, милый, добрый, Василій Ѳедотычъ... Вѣдь васъ такъ зовутъ?

— Такъ.

— Прощайте... или нѣтъ: до свиданія! И спасибо, спасибо вамъ!

— Прощайте... Доброй ночи, моя голубушка!

— Прощайте и вы, Неждановъ! До завтра... — прибавила она.

Маріанна быстро вышла.

Оба молодыхъ человѣка остались нѣкоторое время неподвижны—и оба молчали.

— Неждановъ... — началъ, наконецъ, Соломинъ — и умолкъ. — Неждановъ... началъ онъ опять: — разскажите мнѣ объ этой дѣвушкѣ... что вы можете разсказать. Какая была ея жизнь до сихъ поръ?.. Кто она?.. почему она находится здѣсь?..

Неждановъ въ короткихъ словахъ сообщилъ Соломину, что̀ зналъ.

— Неждановъ... — заговорилъ онъ, наконецъ. — Вы должны беречь эту дѣвушку. Потому... что если... что-нибудь... Вамъ будетъ очень грѣшно. Прощайте.

Онъ удалился, а Неждановъ постоялъ немного посреди комнаты, и прошептавъ: „ахъ! лучше не думать!“ бросился лицомъ на постель.

А Маріанна, вернувшись къ себѣ въ комнату, нашла на столикѣ небольшую записку слѣдующаго содержанія:

„Мнѣ жаль васъ. Вы губите себя. Опомнитесь. Въ какую бездну бросаетесь вы съ закрытыми глазами? Для кого и для чего?—В.“

Въ комнатѣ пахло особенно тонкимъ и свѣжимъ запахомъ: очевидно, Валентина Михайловна только что вышла оттуда. — Маріанна взяла перо и, приписавъ внизу: „Не жалѣйте меня. Богъ вѣдаетъ, кто изъ насъ двухъ болѣе достойна сожалѣнія; знаю только, что не хотѣла бы быть на вашемъ мѣстѣ. М.“—оставила записку на столѣ. Она не сомнѣвалась въ томъ, что отвѣтъ ея попадетъ въ руки Валентины Михайловны.

А на другое утро Соломинъ, повидавшись съ Неждановымъ и окончательно отказавшись отъ управленія Сипягинской фабрикой, уѣхалъ къ себѣ домой.—Онъ размышлялъ во все время дороги, что̀ съ нимъ случалось рѣдко: качка экипажа обыкновенно погружала его въ легкую дремоту. Онъ размышлялъ о Маріаннѣ, а также и о Нежда-

новѣ; ему казалось, что будь *онъ* влюбленъ, онъ, Соломинъ,—онъ имѣлъ бы другой видъ, говорилъ и глядѣлъ бы иначе. — Но, подумалъ онъ, такъ какъ этого никогда со мной не случалось, то я и не знаю, какой бы я имѣлъ при этомъ видъ. — Онъ вспомнилъ одну ирландку, которую онъ видѣлъ разъ въ одномъ магазинѣ, за прилавкомъ; вспомнилъ, какіе у ней были чудесные, почти черные волосы, и синіе глаза, и густыя рѣсницы,—и какъ она вопросительно и печально посмотрѣла на него, и какъ онъ долго ходилъ потомъ по улицѣ передъ ея окнами, и какъ волновался и спрашивалъ самого себя: познакомиться ли ему съ нею или нѣтъ? Онъ былъ тогда проѣздомъ въ Лондонѣ; патронъ прислалъ его туда за покупками и далъ ему денегъ. — Соломинъ чуть-было не остался въ Лондонѣ, чуть-было не послалъ этихъ денегъ назадъ патрону; такъ сильно было впечатлѣніе, произведенное на него прекрасной Полли... (Онъ узналъ ея имя: одна изъ ея товарокъ назвала ее.) — Однакожъ, преодолѣлъ себя — и вернулся къ своему патрону. Полли была красивѣе Маріанны; но у этой былъ такой же вопросительный и печальный взглядъ... и она русская...

— Однако, что жъ это я?—проговорилъ Соломинъ вполголоса:—о чужихъ невѣстахъ забочусь!—и встряхнулъ воротникомъ шинели, какъ бы желая отбросить отъ себя всѣ ненужныя мысли. Кстати жъ, онъ подъѣзжалъ къ своей фабрикѣ, и на порогѣ его флигелька мелькнула фигура вѣрнаго Павла.

XXVI.

Отказъ Соломина очень оскорбилъ Сипягина: онъ даже вдругъ нашелъ, что этотъ доморощенный Стифенсонъ ужъ не такой замѣчательный механикъ, и что онъ, пожалуй, не позируетъ, но ломается, какъ истый плебей. — „Всѣ эти русскіе, когда вообразятъ, что знаютъ что-нибудь — изъ рукъ вонъ! — Au fond, Калломѣйцевъ правъ!“ Подъ вліяніемъ подобныхъ непріязненныхъ и раздражительныхъ ощущеній, государственный мужъ — en herbe — еще безучастнѣе и отдаленнѣе взглянулъ на Нежданова; сооб-

щилъ Колѣ, что онъ можетъ не заниматься сегодня съ своимъ учителемъ, что ему надо привыкать къ самостоятельности... Однако, самому учителю этому не отказалъ, какъ тотъ ожидалъ. Онъ продолжалъ его игнорировать! За то Валентина Михайловна не игнорировала Маріанны.— Между ними произошла страшная сцена.

Часа за два до обѣда онѣ какъ-то вдругъ очутились однѣ въ гостиной. Каждая изъ нихъ немедленно почувствовала, что минута неизбѣжнаго столкновенія настала, и потому, послѣ мгновеннаго колебанія, обѣ тихонько подошли другъ къ дружкѣ. Валентина Михайловна слегка улыбалась; Маріанна стиснула губы; обѣ были блѣдны. Переходя черезъ комнату, Валентина Михайловна посматривала направо, налѣво, сорвала листокъ гераніума... Глаза Маріанны были прямо устремлены на приближавшееся къ ней улыбавшееся лицо.

Сипягина первая остановилась; и, похлопывая концами пальцевъ по спинкѣ стула:

— Маріанна Викентьевна,—заговорила она небрежнымъ голосомъ: — мы, кажется, находимся въ корреспонденціи другъ съ другомъ... Живя подъ одной крышей, это довольно странно; а вы знаете, я не охотница до странностей.

— Не я начала эту корреспонденцію, Валентина Михайловна.

— Да... Вы правы. Въ странности на этотъ разъ виновата я. Только я не нашла другого средства, чтобы возбудить въ васъ чувство... какъ бы это сказать?—чувство...

— Говорите прямо, Валентина Михайловна; не стѣсняйтесь,—не бойтесь оскорбить меня.

— Чувство... приличія.

Валентина Михайловна умолкла; одинъ легкій стукъ ея пальцевъ по спинкѣ стула слышался по комнатѣ.

— Въ чемъ же вы находите, что я не соблюла приличія?—спросила Маріанна.

Валентина Михайловна пожала плечами.

— Ma chère, vous n'êtes plus un enfant — и вы меня очень хорошо понимаете. Неужели вы полагаете, что ваши поступки могли остаться тайной для меня, для Анны За-

харовны, для всего дома, наконецъ? Впрочемъ, вы и не слишкомъ заботились о томъ, чтобъ, чтобъ они остались тайной. Вы, просто, бравировали.—Одинъ Борисъ Андреичъ, можетъ-быть, не обратилъ на нихъ вниманія... Онъ занятъ другими, болѣе интересными и важными дѣлами. Но, кромѣ его, всѣмъ извѣстно ваше поведеніе, всѣмъ!

Маріанна все болѣе и болѣе блѣднѣла.

— Я бы попросила васъ, Валентина Михайловна, выразиться опредѣлительнѣе. — Чѣмъ вы собственно недовольны?

„L'insolente!"—подумала Сипягина—однако, еще удержалась.

— Вы желаете знать, чѣмъ я недовольна, Маріанна?—Извольте!—Я недовольна вашими продолжительными свиданіями съ молодымъ человѣкомъ, который и по рожденію, и по воспитанію, и по общественному положенію стоитъ слишкомъ низко для васъ; я недовольна... нѣтъ это слово не довольно сильно—я возмущена вашими поздпими... вашими ночными визитами у этого самаго человѣка.—И гдѣ же? подъ моимъ кровомъ! Или вы находите, что это такъ и слѣдуетъ, и что я должна молчать — и какъ бы оказывать покровительство вашему легкомыслію?—Какъ честная женщина... Oui, mademoiselle, je l'ai été, je le suis et le serai toujours!—я не могу не чувствовать негодованія!

Валентина Михайловна бросилась въ кресло, какъ будто подавленная тяжестью этого самаго негодованія.

Маріанна усмѣхнулась въ первый разъ.

— Я не сомнѣваюсь въ вашей честности, прошедшей, настоящей и будущей,—начала она:—и говорю это совершенно искренне. — Но вы напрасно негодуете. Я не нанесла никакого позора вашему крову. Молодой человѣкъ, на котораго вы намекаете... да, я дѣйствительно... полюбила его...

— Вы полюбили мсьё Нежданова?

— Я люблю его

Валентина Михайловна выпрямилась на креслѣ.

— Да помилуйте, Маріанна! вѣдь онъ студентъ, безъ

роду, безъ племени;—вѣдь онъ моложе васъ! (Не безъ злорадства были произнесены эти послѣднія слова.)—Что же изъ этого можетъ выдти?—И что вы съ вашимъ умомъ, нашли въ немъ? Онъ, просто, пустой мальчикъ.

— Вы не всегда о немъ такъ думали, Валентина Михайловна.

— О, Боже мой! моя милая, оставьте меня въ сторонѣ... Pas tant d'ésprit que ça, je vous prie. Тутъ дѣло идетъ о васъ, о вашей будущности. Подумайте! какая же это партія для васъ?

— Признаюсь вамъ, Валентина Михайловна, я не думала о партіи.

— Какъ? Что? Какъ мнѣ васъ понять? Вы слѣдовали влеченію вашего сердца, положимъ... Но вѣдь все это должно же кончиться бракомъ?

— Не знаю... я объ этомъ не думала.

— Вы объ этомъ не думали?—Да вы съ ума сошли! Маріанна немного отвернулась.

— Прекратимъ этотъ разговоръ, Валентина Михайловна. Онъ ни къ чему не можетъ повести. Мы все-таки не поймемъ другъ друга.

Валентина Михайловна порывисто встала.

— Я не могу, я не должна прекратить этотъ разговоръ! Это слишкомъ важно... я отвѣчаю за васъ передъ...—Валентина Михайловна хотѣла-было сказать: передъ Богомъ! но запнулась—и сказала: передъ цѣлымъ свѣтомъ!—Я не могу молчать, когда я слышу подобныя безумія! И почему это я не могу понять васъ? Что за несносная гордость у всѣхъ этихъ молодыхъ людей! Нѣтъ... я васъ очень хорошо понимаю; я понимаю, что вы пропитались этими новыми идеями, которыя васъ непремѣнно поведутъ къ погибели! Но тогда уже будетъ поздно.

— Можетъ-быть; но, повѣрьте мнѣ: мы, и погибая, не протянемъ вамъ пальца, чтобы вы спасли насъ!

— Опять эта гордость, эта ужасная гордость! Ну, послушайте, Маріанна, послушайте меня,—прибавила она, *внезапно* перемѣнивъ тонъ... Она хотѣла-было притянуть *Маріанну* къ себѣ—но та отшатнулась назадъ.—Ecoutez-

moi, je vous en conjure! — Вѣдь я, наконецъ, не такъ же ужъ стара—и не такъ глупа, чтобы нельзя было сойтись со мною!—Je ne suis pas une encroutée. Меня въ молодости даже считали республиканкой... не хуже васъ. — Послушайте: я не стану притворяться; материнской нѣжности я къ вамъ никогда не питала;—да и не въ вашемъ характерѣ объ этомъ сожалѣть... Но я знала, и знаю, что у меня есть обязанности по отношенію къ вамъ—и я всегда старалась ихъ исполнить. Быть-можетъ, та партія, о которой я мечтала для васъ и для которой и Борисъ Андреичъ, и я—мы бы не отступили ни передъ какими жертвами... эта партія не вполнѣ отвѣчала вашимъ идеямъ... но въ глубинѣ моего сердца...

Маріанна глядѣла на Валентину Михайловну, на эти чудные глаза, на эти розовыя, чуть-чуть разрисованныя губы, на эти бѣлыя руки, на слегка растопыренные пальцы, украшенные перстнями, которые изящная дама такъ выразительно прижимала къ корсажу своего шелковаго платья... и вдругъ перебила ее:

— Партія, говорите вы, Валентина Михайловна? Вы называете „партіей“ — этого вашего бездушнаго, пошлаго друга, г-на Калломѣйцева?

Валентина Михайловна отняла пальцы отъ корсажа.

— Да, Маріанна Викентьевна! я говорю о г-нѣ Калломѣйцевѣ—объ этомъ образованномъ, отличномъ молодомъ человѣкѣ, который навѣрное составитъ счастье своей жены—и отъ котораго можетъ отказаться одна только сумасшедшая! Одна сумасшедшая!

— Что дѣлать, ma tante! Видно, я такая!

— Да въ чемъ можешь ты—серьёзно—упрекнуть его?

— О, ни въ чемъ!—Я презираю его... вотъ и всё.

Валентина Михайловна нетерпѣливо покачала головою сбоку-на-бокъ—и снова опустилась на кресло.

— Оставимъ его. Retournons à nos moutons. — Итакъ, ты любишь г-на Нежданова?

— Да.

— И намѣрена продолжать... свои свиданья съ нимъ?

— *Да, намѣрена.*

— Ну...а если я тебѣ это запрещу?

— Я васъ не послушаюсь.

Валентина Михайловна подпрыгнула на креслѣ.

— А! вы не послушаетесь! Вотъ какъ!.. И это мнѣ говоритъ облагодѣтельствованная мною дѣвушка, которую я призрѣла у себя въ домѣ, это мнѣ говоритъ... говоритъ мнѣ...

— Дочь обезчещеннаго отца, — сумрачно подхватила Маріанна:—продолжайте, не церемоньтесь!

— Ce n'est pas moi qui vous le fait dire, mademoiselle! Но, во всякомъ случаѣ, *этимъ* гордиться нечего! Дѣвушка, которая ѣстъ мой хлѣбъ...

— Не попрекайте меня вашимъ хлѣбомъ, Валентина Михайловна!—Вамъ бы дороже стоило нанять француженку Колѣ... Вѣдь *я* ему даю уроки французскаго языка.

Валентина Михайловна приподняла руку, въ которой она держала раздушенный илангъ-иланговомъ батистовый платокъ съ огромнымъ бѣлымъ вензелемъ въ одномъ изъ угловъ,—и хотѣла что-то вымолвить;—но Маріанна стремительно продолжала:

— Вы были бы правы, тысячу разъ правы, если вмѣсто всего того, что вы теперь насчитали, вмѣсто всѣхъ этихъ мнимыхъ благодѣяній и жертвъ, вы бы въ состояніи были сказать: „та дѣвушка, которую я любила..." Но вы настолько честны, что *такъ* солгать не можете!—Маріанна дрожала, какъ въ лихорадкѣ. — Вы всегда меня ненавидѣли.—Вы даже теперь, въ самой глубинѣ вашего сердца, о которой въ сію минуту упомянули, рады—да, рады тому, что вотъ, я оправдываю ваши всегдашнія предсказанія, покрываю себя скандаломъ, позоромъ—и вамъ непріятно только то, что часть этого позора должна пасть на вашъ аристократическій, *честный* домъ.

— Вы меня оскорбляете,—шепнула Валентина Михайловна:—извольте выйти вонъ!

Но уже Маріанна не могла совладать съ собою.

— Вашъ домъ, сказали вы, весь вашъ домъ, и Анна Захаровна, и всѣ знаютъ о моемъ поведеніи!—И всѣ приходятъ въ ужасъ и негодованіе... Но развѣ я что-нибудь

прошу у васъ, у нихъ, у всѣхъ этихъ людей? Развѣ я могу дорожить ихъ мнѣніемъ? Развѣ этотъ вашъ хлѣбъ не горекъ? Какую бѣдность не предпочту я этому богатству? Развѣ между вашимъ домомъ и мною не цѣлая бездна, бездна, которую ничто, ничто закрыть не можетъ? Неужели вы—вы тоже умная женщина—вы этого не сознаете? И если *вы* питаете ко мнѣ чувство ненависти, то неужели вы не понимаете того чувства, которое *я* питаю къ вамъ, и котораго я не называю по имени только потому, что оно слишкомъ явно.

— Sortez, sortez, vous dis-je... — повторила Валентина Михайловна и топнула при этомъ своей хорошенькой узенькой ножкой.

Маріанна шагнула въ направленіи двери.

— Я сейчасъ избавлю васъ отъ моего присутствія; но знаете ли что, Валентина Михайловна? Говорятъ, даже Рашели въ „Баязетѣ“ Расина не удавалось это „sortez!“— а ужъ вамъ подавно! Да еще вотъ что: какъ, бишь, это вы сказали... Je suis une honnête femme, je l'ai été et le serai toujours? Представьте: я увѣрена въ томъ, что я гораздо честнѣе васъ! Прощайте!

Маріанна поспѣшно вышла, а Валентина Михайловна вскочила съ кресла, хотѣла-было закричать, хотѣла заплакать... Но что закричать — она не знала; и слезы не повиновались ей.

Она ограничилась тѣмъ, что помахала на себя платкомъ, но распространяемое имъ благовоніе еще сильнѣе подѣйствовало на ея нервы... Она почувствовала себя несчастной, обиженной... Она сознавала нѣкоторую долю правды въ томъ, что она сейчасъ слышала. Но какъ же можно было такъ несправедливо судить о ней? „Неужели же я такая злая“, подумала она — и поглядѣла на себя въ зеркало, находившееся прямо противъ нея, между двумя окнами. Зеркало это отразило прелестное, нѣсколько искаженное, съ выступившими красными пятнами, но все-таки очаровательное лицо, чудесные, мягкіе, бархатные глаза... „Я? я злая?“—подумала она опять... „Съ такими глазами!“

Но въ это мгновеніе вошелъ ея супругъ — и она снова закрыла платкомъ лицо.

— Что съ тобою? — заботливо спросилъ онъ. — Что съ тобою, Валя? (Онъ придумалъ для нея это уменьшительное имя, которое, однако, позволялъ себѣ употреблять лишь въ совершенномъ tête-à-tête, преимущественно въ деревнѣ.)

Она сперва отнѣкивалась, увѣряла, что съ ней ничего... но кончила тѣмъ, что какъ-то очень красиво и трогательно повернулась на креслѣ, бросила ему руки на плечи— (онъ стоялъ, наклонившись къ ней)—спрятала свое лицо въ разрѣзѣ его жилета — и разсказала все; безо всякой хитрости и безъ задней мысли постаралась—если не извинить, то до нѣкоторой степени оправдать Маріанну; сваливала всю вину на ея молодость, страстный темпераментъ, на недостатки перваго воспитанія; также до нѣкоторой степени — и также безъ задней мысли упрекала самое себя. „Съ моей дочерью этого бы не случилось!—Я бы не такъ за ней присматривала!“ Сипягинъ выслушалъ ее до конца снисходительно, сочувственно—и строго; держалъ свой станъ согбеннымъ, пока она не сняла своихъ рукъ съ его плечъ и не отодвинула своей головы; — назвалъ ее ангеломъ, поцѣловалъ ее въ лобъ, объявилъ, что знаетъ теперь, какой образъ дѣйствія предписываетъ ему его роль—роль хозяина дома—и удалился такъ, какъ удаляется человѣкъ гуманный, но энергическій, который собирается исполнить непріятный, но необходимый долгъ...

Часу въ восьмомъ послѣ обѣда, Неждановъ, сидя въ своей комнатѣ, писалъ своему другу, Силину.

„Другъ Владиміръ, я пишу тебѣ въ минуту рѣшительнаго переворота въ моемъ существованіи.—Мнѣ отказали отъ здѣшняго дома, я ухожу отсюда. Но это бы ничего... Я отхожу отсюда не одинъ. Меня сопровождаетъ та дѣвушка, о которой я тебѣ писалъ. Насъ все соединяетъ: сходство жизненныхъ судебъ, одинаковость убѣжденій, стремленій—взаимность чувства, наконецъ. — Мы любимъ другъ друга: по крайней мѣрѣ, я убѣжденъ, что не въ состояніи испытать чувство любви подъ другою формой,

чѣмъ та, подъ которой она мнѣ представляется теперь.— Но я бы солгалъ передъ тобою, если бъ сказалъ, что не ощущаю ни тайнаго страха, ни даже какого-то страннаго сердечнаго замиранія... Все темно впереди—и мы вдвоемъ устремляемся въ эту темноту. Мнѣ не нужно тебѣ объяснять, на что̀ мы идемъ и какую дѣятельность избрали. Мы съ Маріанной не ищемъ счастія; не наслаждаться мы хотимъ, — а бороться вдвоемъ, рядомъ, поддерживая другъ друга. Наша цѣль намъ ясна; но какіе пути ведутъ къ ней—мы не знаемъ. Найдемъ ли мы, если не сочувствіе, не помощь, то хоть возможность дѣйствовать? Маріанна — прекрасная, честная дѣвушка; если намъ суждено погибнуть, я не буду упрекать себя въ томъ, что я ее увлекъ, потому что для нея другой жизни уже не было.—Но, Владиміръ, Владиміръ! мнѣ тяжело... Сомнѣніе меня мучитъ, не въ моемъ чувствѣ къ ней, конечно, а... я не знаю! — Только теперь вернуться уже поздно. Протяни намъ обоимъ издалека руки — и пожелай намъ терпѣнья, силы самопожертвованья, и любви... больше любви. А ты, невѣдомый намъ, но любимый нами всѣмъ нашимъ существомъ, всею кровью нашего сердца, русскій народъ, прими насъ—не слишкомъ безучастно — и научи насъ, чего мы должны ждать отъ тебя?

„Прощай, Владиміръ, прощай!“

Написавши эти немногія строки, Нежда̀новъ отправился на деревню. — Въ слѣдующую но̀чь, заря чуть-чуть брезжила,—а онъ уже стоялъ на опушкѣ березовой рощи, не въ дальнемъ разстояніи отъ Сипягинскаго сада. Немного позади его, изъ-за спутанной зелени широкаго орѣховаго куста, едва виднѣлась крестьянская телѣжка, запряженная парой разнузданныхъ лошадокъ; въ телѣгѣ, подъ веревочнымъ переплетомъ, спалъ, лежа на клочкѣ сѣна и натянувъ на голову заплатанную свитку, старенькій, сѣдой мужичо̀къ. Нежда̀новъ неотступно глядѣлъ на дорогу, на купы ракитъ вдоль сада: сѣрая, тихая ночь еще лежала кругомъ, звѣздочки слабо, въ перебивку мигали, затерянныя въ небесной пустой глубинѣ. По круглымъ нижнимъ краямъ протянутыхъ тучекъ шла съ востока

блѣдная алость, и оттуда же тянуло первымъ холодкомъ утренней рани. Вдругъ Неждановъ вздрогнулъ и насторожился: гдѣ-то близко сперва взвизгнула, потомъ стукнула калитка; маленькое женское существо, окутанное платкомъ, съ узелкомъ на голой рукѣ, выступило, не спѣша, изъ неподвижной тѣни ракитъ на мягкую пыль дороги — и, перейдя ее вкось, словно на цыпочкахъ, направилось къ рощѣ. Неждановъ бросился къ нему.

— Маріанна?—шепнулъ онъ.

— Я! — послышался тихій отзывъ изъ-подъ нависшаго платка.

— Сюда, за мной,—отвѣчалъ Неждановъ, неловко хватая ее за голую руку съ узелкомъ.

Она пожималась, какъ бы чувствуя ознобъ.—Онъ подвелъ ее къ телѣгѣ, разбудилъ мужичка.—Тотъ проворно вскочилъ, тотчасъ перебрался на облучокъ, вдѣлъ свитку въ рукава, подхватилъ веревочныя вожжи... Лошади зашевелились; онъ ихъ осторожно отпрукнулъ охриплымъ отъ крѣпкаго сна голосомъ. Неждановъ посадилъ Маріанну на телѣжный переплетъ, подостлавъ сперва свой плащъ; окуталъ ей ноги одѣяломъ—сѣно на днѣ было волжко— умѣстился возлѣ нея — и, нагнувшись къ мужику, тихо сказалъ: „Пошелъ, куда знаешь“. — Мужичокъ задергалъ вожжами, лошади выбрались изъ опушки, фыркал и ёжась; — и, подпрыгивая и постукивая узкими, старыми колесами, покатилась телѣга по дорогѣ. Неждановъ придерживалъ одной рукой станъ Маріанны; она приподняла платокъ своими холодными пальцами — и, обернувшись къ нему лицомъ и улыбаясь, промолвила:

— Какъ славно свѣжо, Алёша!

— Да,—отвѣчалъ мужичокъ:—роса будетъ сильная!

Такъ была уже сильна роса, что втулки телѣжныхъ колесъ, цѣпляясь за верхушки высокихъ придорожныхъ былинокъ, сбивали съ нихъ цѣлыя гроздья тончайшихъ водяныхъ брызгъ—и зелень травы казалась сизо-сѣрой.

Маріанна опять пожалась отъ холода.

— Свѣжо́, свѣжо́,—повторила она веселымъ голосомъ.— И воля, Алёша, воля!

XXVII.

Соломинъ выскочилъ къ воротамъ фабрики, какъ только прибѣжали ему сказать, что какой-то господинъ съ госпожей пріѣхали въ телѣжкѣ и спрашиваютъ его.—Не поздоровавшись съ своими гостями, а только кивнувъ имъ нѣсколько разъ головою, онъ тотчасъ приказалъ мужичку-кучеру въѣзжать на дворъ — и, направивъ его прямо къ своему флигельку, ссадилъ съ телѣги Маріанну. Неждановъ спрыгнулъ вслѣдъ за нею. Соломинъ повелъ обоихъ черезъ длинный и темный коридорчикъ—да по узенькой, кривой лѣсенкѣ—въ заднюю часть флигелька—во второй этажъ. Тамъ онъ отворилъ низенькую дверь—и всѣ трое вошли въ небольшую, довольно опрятную комнатку съ двумя окнами.

— Добро пожаловать!—проговорилъ Соломинъ съ своей завсегдашней улыбкой, которая на этотъ разъ казалась и и шире, и свѣтлѣе обыкновеннаго.

— Вотъ вамъ квартира.—*Эта* комната—да вотъ, рядомъ, еще другая. — Неказисто, да ничего: жить можно. И глазѣть здѣсь на васъ будетъ некому. Тутъ, подъ окнами у васъ—по увѣренію хозяина—цвѣтникъ, а по-моему—огородъ; упирается онъ въ стѣну,—а направо да налѣво заборы.—Тихое мѣстечко!—Ну, здравствуйте! вторично, милая барышня,—и вы, Неждановъ, здравствуйте!

Онъ пожалъ имъ обоимъ руки.—Они стояли неподвижно, не раздѣваясь—и съ молчаливымъ, полуизумленнымъ, полурадостнымъ волненіемъ глядѣли оба прямо передъ собою.

— Ну, что жъ вы?—началъ опять Соломинъ.—Разоблачайтесь!—Какія съ вами есть вещи?

Маріанна показала узелокъ, который она все еще держала въ рукѣ.

— У меня вотъ только это.

— А у меня сакъ-вояжъ и мѣшокъ въ телѣгѣ остались.—Да вотъ, я сейчасъ...

— Оставайтесь, оставайтесь. — Соломинъ отворилъ дверь. — Павелъ! — крикнулъ онъ въ темноту лѣсенки:— сбѣгай, братъ... Тамъ вещи въ телѣгѣ... принеси.

— Сейчасъ,—послышался голосъ вездѣсущаго.

Соломинъ обратился къ Маріаннѣ, которая сбросила съ себя платокъ и начала разстегивать мантилью.

— И все удалось благополучно?—спросилъ онъ.

— Все... никто насъ не увидѣлъ. — Я оставила письмо г-ну Сипягину. — Я, Василій Ѳедотычъ, оттого не взяла съ собою ни платьевъ, ни бѣлья, что такъ какъ вы насъ посылать будете... (Маріанна почему-то не рѣшилась прибавить: въ народъ)—вѣдь все равно: то бы не годилось. А деньги у меня есть, чтобы купить, что будетъ нужно.

— Все это мы устроимъ впослѣдствіи... а вотъ,—промолвилъ Соломинъ, указывая на входившаго съ Неждановскими вещами Павла: — рекомендую вамъ моего лучшаго здѣшняго друга: на него вы можете положиться вполнѣ... какъ на самого меня.—Ты Татьянѣ насчетъ самовара сказалъ?—прибавилъ онъ вполголоса.

— Сейчасъ будетъ,—отвѣтилъ Павелъ:—и сливки—и всё.

— Татьяна—это его жена,—продолжалъ Соломинъ:—и такая же неизмѣнная, какъ онъ.—Пока вы сами... ну, тамъ, привыкнете, что ли—она вамъ, моя барышня, прислуживать будетъ.

Маріанна бросила свою мантилью на стоявшій въ уголку кожаный диванчикъ. — Зовите меня Маріанной, Василій Ѳедотычъ, — я не хочу быть барышней. И прислужницы мнѣ не надо... Я не для того ушла—оттуда, чтобы имѣть прислужницъ. Не глядите на мое платье; у меня—тамъ—другого не было. Это все надо будетъ перемѣнить.

Платье это, изъ коричневаго драдедама, было очень просто; но, сшитое петербургской портнихой, оно красиво прилегало къ стану и къ плечамъ Маріанны — и вообще имѣло видъ модный.

— Ну, не прислужница — такъ помощница, по-американски.—А чаю вы все-таки напейтесь. Теперь еще рано—да и вы оба, должно-быть, устали. Я теперь отправляюсь по фабричнымъ дѣламъ;—позднѣе мы опять увидимся.—Что нужно будетъ—скажите Павлу или Татьянѣ.

Маріанна быстро протянула ему обѣ руки.

— Чѣмъ намъ отблагодарить васъ, Василій Ѳедотычъ?—Она съ умиленіемъ глядѣла на него.

Соломинъ тихонько погладилъ ей одну руку. — Я бы сказалъ вамъ не стоитъ благодарности... да это будетъ неправда. Лучше же я скажу вамъ, что ваша благодарность мнѣ доставляетъ великое удовольствіе.—Вотъ мы и квиты. До свиданья! Павелъ, пойдемъ.

Маріанна и Неждановъ остались одни.

Она бросилась къ нему, — и, глядя на него тѣмъ же взглядомъ, какъ на Соломина, — только еще радостнѣе, еще умиленнѣй и свѣтлѣй:—О, мой другъ!—проговорила она.— Мы начинаемъ новую жизнь... Наконецъ! наконецъ!—Ты не повѣришь, какъ эта бѣдная квартирка, въ которой намъ суждено прожить всего нѣсколько дней, мнѣ кажется любезна и мила въ сравненіи съ тѣми ненавистными палатами! скажи, ты радъ?

Неждановъ взялъ ея руки и прижалъ ихъ къ своей груди.

— Я счастливъ, Маріанна, тѣмъ, что я начинаю эту новую жизнь съ тобою вмѣстѣ! — Ты будешь моей путеводной звѣздой, моей поддержкой, моимъ мужествомъ...

— Милый Алёша! Но постой—надо немножко почиститься и туалетъ свой привести въ порядокъ. Я пойду въ свою комнату... а ты—останься здѣсь.—Я сію минуту...

Маріанна вышла въ другую комнату, заперлась—и, минуту спустя, отворивъ до-половины дверь, высунула голову и проговорила: — А какой Соломинъ славный! — Потомъ она опять заперлась—и послышался щёлкъ ключа.

Неждановъ подошелъ къ окну, посмотрѣлъ на садикъ... одна старая-престарая яблоня почему-то привлекла его особое вниманіе.—Онъ встряхнулся, потянулся, раскрылъ свой сакъ-вояжъ—и ничего оттуда не вынулъ; онъ задумался...

Черезъ четверть часа вернулась и Маріанна съ оживленнымъ, свѣже-вымытымъ лицомъ, вся веселая и подвижная; а нѣсколько мгновеній спустя появилась Павлова жена, Татьяна, съ самоваромъ, чайнымъ приборомъ, булками, сливками.

Въ противоположность своему цыганообразному мужу—это была настоящая русская женщина, дородная, русая, простоволосая, съ широкой косой, туго завернутой около рогового гребня, съ крупными, но пріятными чертами

лица, съ очень добрыми сѣрыми глазами. Одѣта она была въ опрятное, хоть и полинялое ситцевое платье; — руки у ней были чистыя и красивыя, хоть и большія. Она спокойно поклонилась, произнесла твердымъ, отчетливымъ выговоромъ, безо всякой нѣвучести: „Здравы будете“ — и принялась устанавливать самоваръ, чашки и т. д.

Маріанна подошла къ ней.

— Позвольте, Татьяна, я помогу вамъ. — Дайте мнѣ хоть салфетку.

— Ничего, барышня, мы къ этому пріобыкли. — Мнѣ Василій Ѳедотычъ сказывалъ. Коли что потребуется, извольте приказать, мы со всѣмъ нашимъ удовольствіемъ.

— Татьяна, не зовите меня, пожалуйста, барышней... Одѣта я по-барски, — а впрочемъ, я... я совсѣмъ...

Пристальный взглядъ Татьяниныхъ зоркихъ глазъ смутилъ Маріанну; — она умолкла.

— А кто же вы такая будете? — спросила Татьяна своимъ ровнымъ голосомъ.

— Коли вы хотите... я, точно... я изъ дворянокъ; только я хочу все это бросить — и сдѣлаться какъ всѣ... какъ всѣ простыя женщины.

— А, вотъ что! Ну, теперь знаю. Вы, стало, изъ тѣхъ, что опрòститься хотятъ. — Ихъ теперь довольно бываетъ.

— Какъ вы сказали, Татьяна? Опрòститься?

— Да... такое у насъ теперь слово пошло. Съ простымъ народомъ, значитъ, заодно быть. Опрòститься. — Что жъ? Это дѣло хорошее — народъ поучить уму-разуму. — Только трудное это дѣло? Ой, тру-удное? — Дай Богъ часъ!

— Опрòститься! — повторяла Маріанна. — Слышишь, Алёша, мы съ тобой теперь опростѣлые!

Неждановъ засмѣялся и даже повторилъ:

— Опрóститься! опростѣлые!

— А что это у васъ, муженёкъ будетъ — али братъ? — спросила Татьяна, осторожно перемывая чашки своими большими, ловкими руками и съ ласковой усмѣшкой поглядывая то на Нежданова, то на Маріанну.

— *Нѣтъ*, — отвѣчала Маріанна: — онъ мнѣ не мужъ и *не братъ*.

Татьяна приподняла голову.

— Стало, такъ, по вольной милости живете?—Теперь и это—тоже часто бываетъ.—Допрежь больше у раскольниковъ водилось,—а нонѣ и у прочихъ людей.—Лишь бы Богъ благословилъ—да жилось бы ладно!—А то попъ и не нуженъ. На фабрикѣ у насъ тоже такіе есть. Не изъ худшихъ ребятъ.

— Какія у васъ хорошія слова, Татьяна!.. „По вольной милости...“ Очень это мнѣ нравится.—Вотъ что, Татьяна, я о чемъ васъ просить буду.—Мнѣ нужно себѣ платье сшить или купить, такое вотъ, какъ ваше, или еще попроще.—И башмаки, и чулки, и косынка—все, чтобы было какъ у васъ.—Деньги у меня на это есть.

— Что же, барышня, это все можно... Ну, не буду, не извольте гнѣваться.—Не буду васъ барышней называть. Только какъ мнѣ васъ звать-то?

— Маріанной.

— А по отчеству какъ васъ величаютъ?

— Да на что вамъ мое отчество? Зовите меня просто Маріанной. Зову же я васъ Татьяной.

— И то—да не то. Вы ужъ лучше скажите.

— Ну, хорошо. Моего отца звали Викентьемъ.—А вашего какъ?

— А моего—Осипомъ.

— Ну, такъ я буду васъ звать Татьяной Осиповной.

— А я васъ Маріанной Викентьевной. Вотъ оно какъ славно будетъ!

— Что бы вамъ съ нами чайку выпить, Татьяна Осиповна?

— На первый случай можно, Маріанна Викентьевна. Чашечкой себя побалую. А то Егорычъ забрюнитъ.

— Кто это Егорычъ?

— А Павелъ, мужъ мой.

— Садитесь, Татьяна Осиповна.

— И то сяду, Маріанна Викентьевна.

Татьяна присѣла на стулъ и начала пить чай въ прикуску, безпрестанно поворачивая въ пальцахъ кусочекъ сахара и щурясь глазомъ съ той стороны, съ какой она *прикусывала сахаръ*. Маріанна вступила съ нею въ разго-

воръ. Татьяна отвѣчала не чинясь и сама разспрашивала и разсказывала. На Соломина она чуть не молилась, а мужа своего ставила тотчасъ послѣ Василія Ѳедотыча. Фабричнымъ житьемъ она, однако, тяготилась.

— Ни тебѣ городъ здѣсь, ни деревня... безъ Василія Ѳедотыча и часу бы я не осталась!

Маріанна слушала ея разсказы внимательно. Усѣвшійся въ сторонкѣ Неждановъ наблюдалъ за своей подругой, и не удивлялся ея вниманію: для Маріанны это все было вновѣ—а ему казалось, что онъ подобныхъ Татьянъ видѣлъ цѣлыя сотни—и говорилъ съ ними сотни разъ.

— Вотъ что, Татьяна Осиповна, — сказала наконецъ Маріанна: — вы думаете, что мы хотимъ учить народъ; нѣтъ—мы служить ему хотимъ.

— Какъ такъ служить?—Учите его; вотъ вамъ и служба. Я хоть съ себя примѣръ возьму. Я какъ за Егорыча вышла—ни читать, ни писать не умѣла; а теперь вотъ знаю, спасибо Василію Ѳедотычу. Не самъ онъ училъ меня,—а заплатилъ одному старичку. Тотъ и выучилъ.—Вѣдь я еще молодая, даромъ что рослая.

Маріанна помолчала.

— Мнѣ, Татьяна Осиповна,—начала она опять:—хотѣлось бы выучиться какому-нибудь ремеслу... да мы еще поговоримъ объ этомъ съ вами.—Шью я плохо; если бъ я выучилась стряпать—можно бы въ кухарки пойти.

Татьяна задумалась.

— Какъ же такъ въ кухарки?—Кухарки у богатыхъ бываютъ, у купцовъ; а бѣдные сами стряпаютъ.—А на артель готовить, на рабочихъ... Ну, ужъ это совсѣмъ послѣднее дѣло!

— Да мнѣ бы хоть у богатаго жить, а съ бѣдными знаться. А то какъ я съ ними сойдусь!—Не все же такой случай выйдетъ, какъ съ вами.

Татьяна опрокинула пустую чашку на блюдечко.

— Это дѣло мудреное,—промолвила она наконецъ со вздохомъ:—около пальца не обвертишь. Что умѣю—*покажу*,—*а* многому я сама не учена. Съ Егорычемъ *потолковать надо*. Вѣдь онъ какой? Книжки всякія читаетъ!—

и все можетъ сейчасъ какъ руками развести.—Тутъ она взглянула на Маріанну, которая свертывала папироску... И вотъ еще что, Маріанна Викентьевна: извините меня; но коли вы точно опроститься желаете,—такъ это ужъ вамъ придется бросить.—Она указала на папироску.—Потому въ тѣхъ званіяхъ, хоть бы вотъ въ кухаркахъ—этого не полагается:—и васъ сейчасъ всякій признаетъ, что вы есть барышня.—Да.

Маріанна выбросила папироску за окно.

— Я курить не буду... отъ этого легко отвыкнуть.—Простыя женщины не курятъ: стало-быть, и мнѣ не слѣдъ курить.

— Это вы вѣрно сказали, Маріанна Викентьевна. Мужской полъ этимъ балуетъ и у насъ,—а женскій—нѣтъ. Такъ-то!.. Э! да вотъ и самъ Василій Ѳедотычъ сюда жалуетъ. Его это шаги. Вы его спросите: онъ вамъ сейчасъ все опредѣлитъ—лучшимъ манеромъ.

И точно: за дверью раздался голосъ Соломина.

— Можно войти?

— Войдите, войдите!—закричала Маріанна.

— Это у меня англійская привычка,—сказалъ, входя, Соломинъ.—Ну, каковò вы себя чувствуете? Не заскучали еще пока?—Я вижу, вы здѣсь чайничаете съ Татьяной.—Вы слушайте ее: она разумница... А ко мнѣ сегодня мой хозяинъ пріѣзжаетъ... вотъ некстати! И обѣдать остается.—Что дѣлать! На то онъ хозяинъ.

— Что за человѣкъ!—спросилъ Неждановъ, выходя изъ своего уголка.

— Ничего... Тряпки не сосетъ. Изъ новыхъ. Вѣжливъ очень—и рукавчики носитъ,—а глазъ всюду запускаетъ, не хуже стараго. Самъ шкуру деретъ—и самъ приговариваетъ: „Повернитесь-ка на этотъ бочекъ, сдѣлайте одолженіе;—тутъ есть еще живое мѣстечко... Надо его пообчистить!“—Ну, да со мной онъ шелковый: я ему нуженъ! Только я пришелъ вамъ сказать, что ужъ сегодня врядъ ли удастся свидѣться.—Обѣдъ вамъ принесутъ. А на дворъ не показывайтесь. Какъ вы думаете, Маріанна, Сипягины *будутъ васъ отыскивать*, за вами гнаться?

— Я думаю, что нѣтъ,—отвѣтила Маріанна.

— А я такъ увѣренъ, что да,—сказалъ Неждановъ.

— Ну, все равно,—продолжалъ Соломинъ:—надо быть осторожнымъ на первыхъ порахъ. Потомъ обойдется.

— Да; только вотъ что̀,—замѣтилъ Неждановъ:—о моемъ мѣстонребываніи долженъ знать Маркеловъ;—надо его извѣстить.

— Зачѣмъ?

— Нельзя иначе, для нашего дѣла. — Онъ долженъ всегда знать, гдѣ я. Слово дано. Да онъ не проболтаетъ!

— Ну, хорошо. Пошлемъ Павла.

— А платье мнѣ будетъ готово?—спросилъ Неждановъ.

— То-есть костюмъ? — какъ же... какъ же. — Тотъ же маскарадъ. Спасибо—недорого. Прощайте, отдохните.— Татьяна, пойдемъ.

Маріанна и Неждановъ опять остались одни.

XXVIII.

Сперва они опять крѣпко пожали другъ другу руки;— потомъ Маріанна воскликнула: „Постой, я помогу тебѣ убрать твою комнату“—и начала выкладывать еще вещи изъ сакъ-вояжа и мѣшка. Неждановъ хотѣлъ-было помочь ей; но она объявила, что все сдѣлаетъ одна.—„Потому что надо привыкать служить“. И дѣйствительно: сама развѣсила платье на гвоздики, которые нашла въ ящикѣ стола и вбила собственноручно въ стѣну оборотной стороною щетки, за неимѣніемъ молотка; уложила бѣлье въ старенькій комодецъ, находившійся между оконъ.

— Что это?—спросила она вдругъ:—револьверъ? Онъ заряженъ? На что̀ онъ тебѣ?

— Онъ не заряженъ... а впрочемъ, дай его сюда. Ты спрашиваешь: на что̀? Какъ же безъ револьвера въ нашемъ-то званіи!

Она засмѣялась и продолжала свою работу, встряхивая каждую отдѣльную вещь, и хлопая по ней ладонью; поставила даже двѣ пары сапогъ подъ диванъ;—а нѣсколько книгъ, пачку бумагъ и маленькую тетрадку со стихами расположила торжественно на трехногомъ угловомъ столѣ,

назвавъ его письменнымъ и рабочимъ, въ противность другому, круглому, который назвала обѣденнымъ и чайнымъ. Потомъ, взявъ стихотворную тетрадь въ обѣ руки, приподнявъ ее въ уровень своего лица—и глядя черезъ ея край на Нежданова, она съ улыбкой промолвила:

— Вѣдь мы все это перечтемъ вмѣстѣ въ свободное отъ занятій время!—А?

— Дай мнѣ эту тетрадь! я ее сожгу!—воскликнулъ Нежда новъ.—Она другого не стоитъ!

— Зачѣмъ же ты ее взялъ съ собою, коли такъ?—Нѣтъ, нѣтъ, я тебѣ ее не дамъ на сожженіе. А, впрочемъ, говорятъ, сочинители только грозятся—и никогда своихъ вещей не жгутъ. Но я все-таки лучше унесу ее къ себѣ!

Нежданов хотѣлъ протестовать—но Маріанна выскочила въ сосѣднюю комнату съ тетрадью—и вернулась безъ нея.

Она подсѣла къ Нежданову—и тотчасъ же встала.—Ты у меня еще не былъ... въ моей комнатѣ. Хочешь посмотрѣть?—Она не хуже твоей. Пойдемъ—я тебѣ покажу.

Нежданов тоже всталъ—и послѣдовалъ за Маріанной.—Комнатка *ея*, какъ она выражалась, была немного меньше *его* комнаты; но мебель въ ней была какъ будто почище и поновѣй; на окнѣ стояла хрустальная вазочка съ цвѣтами, а въ углу—желѣзная кроватка.

— Видишь, какой онъ милый, Соломинъ,—воскликнула Маріанна:—только не надо себя слишкомъ нѣжить: такія квартиры намъ не часто попадаться будутъ. — А вотъ что я думаю; вотъ было бы хорошо: такъ устроиться, чтобы намъ обоимъ, не разставаясь, на какое-нибудь мѣсто поступить!—Трудно это будетъ,—прибавила она, погодя немного:—ну, тамъ подумаемъ. Вѣдь все равно въ Петербургъ ты не вернешься?

— Что мнѣ въ Петербургѣ дѣлать?—Въ университетъ ходить—да уроки давать? Это ужъ никуда не годится.

— Вотъ, что Соломинъ скажетъ,—промолвила Маріанна:—онъ лучше рѣшитъ, какъ и что.

Они вернулись въ первую комнату и опять сѣли другъ *подлѣ друга. Похвалили* Соломина, Татьяну, Павла; упо-

мянули о Сипягинѣ, о томъ, какъ прежняя жизнь вдругъ такъ далеко отъ нихъ ушла, словно туманомъ покрылась; потомъ опять пожали другъ другу руки—обмѣнялись радостными взглядами; потомъ поговорили о томъ, въ какіе слои должно стараться проникать и какъ имъ надо будетъ держаться, чтобы ихъ не подозрѣвали.

Неждановъ увѣрялъ, что чѣмъ меньше объ этомъ думать, чѣмъ проще себя держать—тѣмъ лучше.

— Конечно!—воскликнула Маріанна.—Вѣдь мы хотимъ опрòститься, какъ говоритъ Татьяна.

— Я не въ этомъ смыслѣ,—началъ-было Неждановъ.—Я хотѣлъ сказать, что не надо принуждать себя...

Маріанна вдругъ засмѣялась.

— Я вспомнила, Алеша, какъ это я насъ обоихъ назвала: опростѣлые!

Неждановъ тоже посмѣялся, повторилъ: „опростѣлые...“—а потомъ задумался.

И Маріанна задумалась.

— Алеша!—промолвила она.

— Что?

— Мнѣ кажется, намъ обоимъ немного неловко.—Молодые—des nouveaux mariés,—пояснила она—въ первый день своего брачнаго путешествія должны чувствовать нѣчто подобное.—Они счастливы... имъ очень хорошо—и немножко неловко.

Неждановъ улыбнулся—принужденной улыбкой.

— Ты очень хорошо знаешь, Маріанна, что мы не молодые—въ твоемъ смыслѣ.

Маріанна поднялась съ своего мѣста и стала прямо передъ Неждановымъ.

— Это отъ тебя зависитъ.

— Какъ?

— Алеша, ты знаешь, что когда ты мнѣ скажешь, какъ честный человѣкъ—а я тебѣ вѣрю, потому что ты точно честный человѣкъ;—когда ты мнѣ скажешь, что ты меня любишь той любовью... ну, той любовью, которая даетъ *право на жизнь* другого,—когда ты мнѣ это скажешь—я твоя.

Неждановъ покраснѣлъ и отвернулся немного.

— Когда я тебѣ это скажу...

— Да, тогда! Но вѣдь ты самъ видишь, ты мнѣ теперь этого не говоришь... О, да, Алеша, ты, точно, честный человѣкъ. Ну, и давай толковать о вещахъ болѣе серьезныхъ.

— Но вѣдь я люблю тебя, Маріанна!

— Я въ этомъ не сомнѣваюсь... и буду ждать. Постой, я еще не совсѣмъ привела въ порядокъ твой письменный столъ. Вотъ тутъ что-то завернуто, что-то жесткое...

Неждановъ рванулся со стула.

— Оставь это, Маріанна... Это... пожалуйста, оставь.

Маріанна повернула къ нему голову черезъ плечо — и съ изумленіемъ приподняла брови.

— Это—тайна? Секретъ? У тебя есть секретъ?

— Да... да,—промолвилъ Неждановъ:—и, весь смущенный, прибавилъ—въ видѣ объясненія:—Это... портретъ.

Слово это вырвалось у него невольно. Въ бумажкѣ, которую Маріанна держала въ рукахъ, былъ дѣйствительно завернутъ ея портретъ, данный Нежданову Маркеловымъ.

— Портретъ?—произнесла она протяжнымъ голосомъ...— Женскій?

Она подала ему пакетецъ; но онъ неловко его взялъ; онъ чуть не выскользнулъ у него изъ рукъ, и раскрылся.

— Да это... мой портретъ! —воскликнула Маріанна съ живостью...— Ну—свой-то портретъ я имѣю право взять.— Она выхватила его у Нежданова.

— Это—ты нарисовалъ?

— Нѣтъ... не я.

— Кто же? Маркеловъ?

— Ты угадала... Онъ.

— Какимъ же образомъ онъ у тебя?

— Онъ мнѣ подарилъ его.

— Когда?

Неждановъ разсказалъ, когда и какъ. Пока онъ говорилъ, Маріанна взглядывала то на него, то на портретъ... и у обоихъ, у Нежданова и у ней, мелькнула одна и та же мысль въ головѣ. „Если бы *онъ* былъ въ этой комнатѣ, *онъ бы имѣлъ* право потребовать...“ Но ни Маріи-

анна, ни Неждановъ не высказали громко своей мысли... быть-можетъ потому, что каждый изъ нихъ почувствовалъ ее въ другомъ.

Маріанна тихонько завернула портретъ въ бумажку — и положила ее на столъ.

— Добрый человѣкъ!—прошептала она.—Гдѣ-то онъ теперь?

— Какъ гдѣ?.. — Дома, у себя. Я завтра или послѣзавтра пойду къ нему за книжками, за брошюрами. Онъ хотѣлъ мнѣ дать—да, видно, забылъ при отъѣздѣ.

— И ты, Алеша, того мнѣнія, что, отдавая тебѣ этотъ портретъ, онъ уже ото всего отказывался... рѣшительно ото всего?

— Мнѣ такъ показалось.

— И ты надѣешься его найти дома?

— Конечно.

— А! — Маріанна опустила глаза — уронила руки. — А вотъ, намъ обѣдъ Татьяна несетъ, — вскрикнула она вдругъ.—Какая она славная женщина!

Татьяна явилась съ приборами, салфетками, судками.— Пока она накрывала на столъ, она разсказывала о томъ, что происходило на фабрикѣ.

— Хозяинъ пріѣхалъ изъ Москвы по чугункѣ — и пошелъ бѣгать по всѣмъ этажамъ, какъ оглашенный; да вѣдь онъ ничего, какъ есть, не смыслитъ; а только такъ, для виду дѣйствуетъ, для примѣру.—А Василій Ѳедотычъ нимъ какъ съ малымъ младенцемъ; — а хозяинъ хотѣлъ какую-то противность учинить,— такъ его Василій Ѳедотычъ сейчасъ отчеканилъ: брошу, говоритъ, сейчасъ все; тотъ сейчасъ хвостъ и поджалъ.—Теперь вмѣстѣ кушаютъ; а хозяинъ съ собой кумпаньона привезъ... Такъ тотъ только всему удивляется. А денежный, должно-быть, человѣкъ, этотъ кумпаньонъ, потому все больше молчитъ да головой потряхиваетъ. А самъ толстый, претолстый!— Тузъ московскій! Не даромъ пословица такая слыветъ, что— Москва у всей Россіи подъ горою: все въ нее катится.

— Какъ вы все примѣчаете!—воскликнула Маріанна.

— Я и то замѣтливая, — возразила Татьяна. — Вотъ,

готовъ вамъ обѣдъ. Кушайте на здоровье. А я тутъ малость посижу, на васъ погляжу.

Маріанна и Неждановъ принялись ѣсть; Татьяна прикорнула на подоконникъ и подперла щеку рукою.

— Погляжу я на васъ,— повторила она: — и какіе же вы оба молоденькіе да кволенькіе... Такъ пріятно на васъ глядѣть, что даже печально! Эхъ, голубчики мои! Берете вы на себя тяготу не въ моготу! Такихъ-то, какъ васъ, приставà царскіе—охочи въ куролеску сажать!

— Ничего, тетушка, не пугайте насъ, — замѣтилъ Неждановъ. — Вы знаете поговорку: „Назвался груздемъ — полѣзай въ кузовъ“.

— Знаю... знаю; да кузовья-то пошли нонѣ тѣсные да невылазные!..

— Есть у васъ дѣти? — спросила Маріанна, чтобы перемѣнить разговоръ.

— Есть; сынокъ. Въ школу ходить началъ. Была и дочка, да не стало ея сердешной! Несчастье съ ней приключилось: попала подъ колесо. И хоть бы разомъ ее убило! А то—мучилась долго. Съ тѣхъ поръ я жалостливая стала; а прежде—что̀ жимолость—что̀ я,—какъ есть дерево!

— Ну, а какъ же вы Павла Егорыча-то вашего—развѣ не любили?

— Э! То̀ особъ-статья; то̀ — дѣло дѣвичье. Вѣдь вотъ и вы—вашего-то любите? Аль нѣтъ?

— Люблю.

— Очень любите?

— Очень.

— Чтой-то... — Татьяна посмотрѣла на Нежданова, на Маріанну—и ничего не прибавила.

Маріаннѣ опять пришлось перемѣнить разговоръ. Она объявила Татьянѣ, что бросила табакъ курить; та ее похвалила. — Потомъ Маріанна вторично попросила ее насчетъ платья; напомнила ей, что она обѣщалась показать, какъ стряпаютъ...

— Да вотъ еще что̀: нельзя ли мнѣ достать толстыхъ, *суровыхъ нитокъ! Я* буду чулки вязать... простые.

Татьяна отвѣчала, что все будетъ исполнено, какъ слѣдуетъ, и, убравъ со стола, вышла изъ комнаты — своей твердой, спокойной походкой.

— Ну, а мы что будемъ дѣлать?—обратилась Маріанна къ Нежданову; — и, не давши ему отвѣтить: — Хочешь? такъ какъ только завтра начнется настоящее дѣло, посвятимъ нынѣшній вечеръ литературѣ.— Перечтемъ твои стихи! Я судья буду строгій.

Нежданов долго не соглашался... Однако кончилъ тѣмъ, что уступилъ — и сталъ читать изъ тетрадки. Маріанна сѣла близко возлѣ него — и глядѣла ему въ лицо, пока онъ читалъ. — Она сказала правду: судьей она оказалась строгимъ. Немногія стихотворенія ей понравились: она предпочитала чисто-лирическія, короткія и, какъ она выражалась — не нравоучительныя. Читалъ Нежданов не совсѣмъ хорошо: не рѣшался декламировать и не хотѣлъ впадать въ сухой тонъ; выходило: — ни рыба, ни мясо. Маріанна вдругъ перервала его вопросомъ: знаетъ ли онъ удивительное стихотвореніе Добролюбова, которое начинается такъ: „Пускай умру — печали мало“ *) — и тутъ же прочла его — тоже не совсѣмъ хорошо — какъ-то немножко по-дѣтски.

Нежданов замѣтилъ, что оно горько и горестно до-

*) Пускай умру—печали мало;
Одно страшитъ мой умъ больной;
Чтобы и смерть не разыграла
Обидной шутки надо мной.

Боюсь, чтобъ надъ холоднымъ трупомъ
Не пролилось горячихъ слезъ,
Чтобъ кто-нибудь въ усердьи глупомъ
На гробъ цвѣтовъ мнѣ не принесъ;

Чтобъ безкорыстною толпою
За нимъ не шли мои друзья,
Чтобъ подъ могильною землею
Не сталъ любви предметомъ я.

Чтобъ все, чего желалъ такъ жадно
И такъ напрасно я—живой,
Не улыбнулось мнѣ отрадно
Надъ гробовой моей доской.

Соч. Д-ва, IV т., стр. 615.

нельзя,— и потомъ прибавилъ, что онъ, Неждановъ, не могъ бы написать это стихотвореніе уже потому, что ему нечего бояться слезъ надъ своей могилой... ихъ не будетъ.

— Будетъ, если я тебя переживу,—произнесла медлительно Маріанна—и, поднявши глаза къ потолку да помолчавъ немного, вполголоса, какъ бы говоря съ самой собою, спросила:

— Какъ же это онъ съ меня портретъ нарисовалъ? По памяти?

Неждановъ быстро обернулся къ ней...

— Да; по памяти.

Маріанна удивилась, что онъ отвѣчалъ ей. Ей казалось, что она этотъ вопросъ только подумала.

— Это удивительно... продолжала она тѣмъ же голосомъ.—Вѣдь у него и таланта къ живописи нѣтъ.—Что я хотѣла сказать...—прибавила она громко: — да! насчетъ стиховъ Добролюбова. — Надо такіе стихи писать, какъ Пушкинъ—или вотъ такіе, какъ эти Добролюбовскіе:—это не поэзія... но что-то не хуже ея.

— А такіе, какъ мои, — спросилъ Неждановъ: — вовсе не слѣдуетъ писать?—Не правда ли?

— Такіе стихи, какъ твои, нравятся друзьямъ, не потому, что они очень хороши—но потому, что *ты* хорошій человѣкъ—и они на тебя похожи.

Неждановъ усмѣхнулся.

— Похоронила же ты ихъ—да и меня кстати!

Маріанна ударила его по рукѣ и назвала злымъ... Скоро потомъ она объявила, что она устала и пойдетъ спать.

— Кстати, ты знаешь,—прибавила она, встряхнувъ своими короткими, но густыми кудрями:—у меня 137 рублей,—а у тебя?

— 98.

— О! да мы богаты... для опростѣлыхъ.—Ну —до завтра!

Она ушла; но черезъ нѣсколько мгновеній ея дверь чуть-чуть отворилась—и изъ-за узкой щели послышалось сперва: Прощай!—потомъ болѣе тихо: Прощай!—И ключъ щелкнулъ въ замкѣ.

Неждановъ опустился на диванъ и закрылъ глаза ру-

кою... Потомъ онъ быстро всталъ, подошелъ къ двери— и постучался.

— Чего тебѣ?—раздалось оттуда.

— Не *до* завтра—Маріанна... а—завтра!

— Завтра,—отозвался тихій голосъ.

XXIX.

На другой день по-утру рано Неждановъ постучался опять въ дверь къ Маріаннѣ.

— Это я,—отвѣчалъ онъ на ея вопросъ: кто тамъ?— Можешь ты ко мнѣ выйти?

— Погоди... сейчасъ.

Она вышла—и ахнула. Въ первую минуту она его не узнала. На немъ былъ истасканный, желтоватый нанковый кафтанъ съ крошечными пуговками и высокой тальей; волосы онъ причесалъ по-русски—съ прямымъ проборомъ; шею повязалъ синимъ платочкомъ; въ рукѣ держалъ картузъ съ изломаннымъ козырькомъ; на ногахъ у него были нечищенные, выростковые сапоги.

— Господи!—воскликнула Маріанна:—какой ты... некрасивый! и тутъ же быстро обняла его—и еще быстрѣй поцѣловала.—Да зачѣмъ же ты *такъ* одѣлся? Ты смотришь какимъ-то плохимъ городскимъ мѣщаниномъ... или разносчикомъ, или отставнымъ дворовымъ. Отчего этотъ кафтанъ— а не поддевка или просто крестьянскій армякъ?

— То-то и есть,—началъ Неждановъ, который въ своемъ костюмѣ дѣйствительно смахивалъ на мелкаго прасола изъ мѣщанъ—и самъ это чувствовалъ, и въ душѣ досадовалъ и смущался;—онъ до того смущался, что все потрогивалъ себя по груди растопыренными пальцами обѣихъ рукъ, словно обчищался...—Въ поддевкѣ или въ армякѣ меня бы сейчасъ узнали, по увѣренію Павла;—а эта одёжа— по его словамъ... словно я другой отъ роду и не нашивалъ. Что не очень лестно для моего самолюбія, замѣчу въ скобкахъ.

— Развѣ ты хочешь сейчасъ идти... начинать?—съ *живостью спросила* Маріанна.

— *Да; я попытаюсь*, хотя... по-настоящему...

— Счастливецъ!—перебила Маріанна.

— Этотъ Павелъ какой-то удивительный,—продолжалъ Неждановъ:—все-то онъ знаетъ, такъ тебя глазами насквозь и нижетъ; а то вдругъ такое скорчитъ лицо, словно онъ отъ всего въ сторонѣ—и ни во что не мѣшается! Самъ услуживаетъ—а самъ все подсмѣивается.—Книжки мнѣ принесъ отъ Маркелова; онъ и его знаетъ, и Сергѣемъ Михайловичемъ величаетъ. А за Соломина и въ огонь, и въ воду готовъ.

— И Татьяна тоже—промолвила Маріанна.—Отчего это ему люди такъ преданы?

Неждановъ не отвѣчалъ.

— Какія книжки принесъ тебѣ Павелъ?—спросила Маріанна.

— Да... обыкновенныя.—„Сказка о четырехъ братьяхъ...“ Ну, еще тамъ... обыкновенныя, извѣстныя.—Впрочемъ—эти лучше.

Маріанна тоскливо оглянулась.

— Но что-жъ это Татьяна? Обѣщала, что придетъ ранёхонько...

— А вотъ она и я,—проговорила Татьяна, входя въ комнату съ узелкомъ въ рукѣ.—Она стояла за дверью—и слышала восклицаніе Маріанны.

— Успѣете еще... вотъ нѣвидаль!

Маріанна такъ и бросилась ей навстрѣчу.

— Принесли?

Татьяна ударила рукой по узелку.

— Все тутъ... въ полномъ составѣ... Стоитъ только примѣрить... да и ступай щеголять—народъ удивлять!

— Ахъ, пойдемте, пойдемте, Татьяна Осиповна, милая...

Маріанна увлекла ее въ свою комнату.

Оставшись одинъ, Неждановъ прошелся раза два взадъ и впередъ какой-то особенной, шмыгающей походкой... (Онъ почему-то воображалъ, что мѣщане именно такъ ходятъ)—понюхалъ осторожно свой собственный рукавъ, внутренность фуражки — и поморщился; посмотрѣлъ на себя въ маленькое зеркальце, прикрѣпленное на стѣнѣ *возлѣ окна, и помоталъ* головою: очень ужъ онъ былъ не-

казистъ.—(„А впрочемъ, тѣмъ лучше“, подумалъ онъ.) Потомъ онъ досталъ нѣсколько брошюръ, запихнулъ ихъ себѣ въ задній карманъ—и произнесъ вполголоса: „штошъ... робята... іефто... ничаво... потому-шта...“ — „Кажется, похоже“, подумалъ онъ опять: „да и что за актерство! за меня мой нарядъ отвѣчаетъ“. И вспомнилъ тутъ Неждановъ одного ссыльнаго нѣмца, которому нужно было бѣжать черезъ всю Россію—а онъ и по-русски плохо говорилъ; но благодаря купеческой шапкѣ съ кошачьимъ околышемъ, которую онъ купилъ себѣ въ одномъ уѣздномъ городѣ—его всюду принимали за купца—и онъ благополучно пробрался за границу.

Въ это мгновеніе вошелъ Соломинъ.

— Ага! — воскликнулъ онъ: — окопировался!—Извини, братъ: въ этомъ нарядѣ нельзя же тебѣ „вы“ говорить.

— Да сдѣлайте... сдѣлай одолженіе... я и то хотѣлъ тебя просить.

— Только рано ужъ больно; а то, развѣ вотъ что: пріобыкнуть желаешь.—Ну, тогда—ничего. Все-таки подождать нужно: хозяинъ еще не уѣхалъ. Спитъ.

— Я попозже выйду,—отвѣчалъ Неждановъ:—похожу по окрестностямъ—пока получится какое распоряженіе.

— Резонъ! Только вотъ что, братъ Алексѣй... вѣдь такъ я говорю: Алексѣй?

— Алексѣй.—Если хочешь: Ликсѣй,—прибавилъ, смѣясь, Неждановъ.

— Нѣтъ; зачѣмъ пересаливать.—Слушай: уговоръ лучше денегъ.—Книжки, я вижу—у тебя есть; раздавай ихъ кому хочешь,—только на фабрикѣ—ни-ни!

— Отчего же?

— Оттого, во-первыхъ, что оно для тебя же опасно;—во-вторыхъ, я хозяину поручился, что этого здѣсь не будетъ; вѣдь фабрика все-таки его; въ-третьихъ: у насъ коечто началось—школы тамъ и прочее... Ну—ты испортить можешь. Дѣйствуй на свой страхъ, какъ знаешь,—я не препятствую; а фабричныхъ моихъ не трогай.

— *Осторожность* никогда не мѣшаетъ... ась?—съ *язвительной полуусмѣшкой* замѣтилъ Неждановъ.

Соломинъ широко улыбнулся, по-своему.

— Именно, братъ Алексѣй; не мѣшаетъ никогда.—Но кого это я вижу? Гдѣ мы?

Эти послѣднія восклицанія относились къ Маріаннѣ, которая въ ситцевомъ, пестренькомъ, много разъ мытомъ платьицѣ, съ желтымъ платочкомъ на плечахъ, съ краснымъ на головѣ, появилась на порогѣ своей комнаты.—Татьяна выглядывала изъ-за ея спины и добродушно любовалась ею. Маріанна казалась и свѣжѣй, и моложе въ своемъ простенькомъ нарядѣ: онъ пристали ей гораздо больше, чѣмъ долгополый кафтанъ Нежданову.

— Василій Ѳедотычъ, пожалуйста, не смѣйтесь,—взмолилась Маріанна—и покраснѣла какъ маковъ цвѣтъ.

— Ай-да парочка!—воскликнула межъ тѣмъ Татьяна—и въ ладоши ударила.—Только ты, мой голубчикъ, паренекъ, не прогнѣвись: хорошъ ты, хорошъ; а противъ моей молодухи—фигурой не вышелъ.

„И въ самомъ дѣлѣ, она—прелесть“,—подумалъ Нежданов:—„о! какъ я ее люблю!“

— И глянь-ка,—продолжала Татьяна:—колечками со мной помѣнялась.—Мнѣ дала свое золотое,—а сама взяла мое серебряное.

— Дѣвушки простыя золотыхъ колецъ не носятъ,—промолвила Маріанна.

Татьяна вздохнула.

— Я вамъ его сохраню, голубушка, не бойтесь.

— Ну, сядьте; сядьте оба,—началъ Соломинъ, который все время, наклонивъ нѣсколько голову, глядѣлъ на Маріанну:—въ прежнія времена, вы помните, люди всегда саживались, когда въ путь-дорогу отправлялись.—А вамъ обоимъ дорога предстоитъ длинная и трудная.

Маріанна, все еще красная, сѣла; сѣлъ и Нежданов; сѣлъ Соломинъ... сѣла, наконецъ, и Татьяна на „тычкѣ“, т.-е. на стоявшее стоймя толстое полѣно.—Соломинъ посмотрѣлъ по очереди на всѣхъ:

— Отойдемъ—да поглядимъ,
Какъ мы хорошо сидимъ...

—*промолвилъ* онъ, слегка прищурясь,—и вдругъ захохо-

талъ, да такъ славно, что не только никто не обидѣлся, а напротивъ, всѣмъ очень стало пріятно.

Но Неждановъ внезапно поднялся.

— Я пойду, — сказалъ онъ: — теперь же; а то это все очень любезно—только слегка на водевиль съ переодѣваньемъ смахиваетъ.—Не безпокойся,—обратился онъ къ Соломину:—я твоихъ фабричныхъ не трону. Поболтаюсь по окрестностямъ, вернусь,—и тебѣ, Маріанна, разскажу мои похожденія, если только будетъ что разсказывать. Дай руку на счастье!

— Чайку бы сперва,—замѣтила Татьяна.

— Нѣтъ, что за чайничанье!—Если нужно—я въ трактиръ зайду, или просто въ кабакъ.

Татьяна качнула головой.

— У насъ теперь по большимъ-то по дорогамъ трактировъ этихъ развелось, что блохъ въ овечьей шубѣ. Сѣла все пространныя—вотъ, хоть бы Балмасово...

— Прощайте, до свиданья... счастливо оставаться!— поправилъ себя Неждановъ, входя въ свою мѣщанскую роль.—Но не успѣлъ онъ приблизиться къ двери, какъ изъ коридора, передъ самымъ его носомъ, вынырнулъ Павелъ—и вручая ему высокій, тонкій посохъ съ вырѣзанной въ видѣ винта, во всю его длину, полосой коры,— промолвилъ:

— Извольте получить, Алексѣй Дмитричъ,—подпирайтесь на ходу,—и чѣмъ вы эту самую палочку дальше отъ себя отставлять будете, тѣмъ пріятнѣе будетъ.

Неждановъ взялъ посохъ молча и удалился; за нимъ и Павелъ. — Татьяна хотѣла-было уйти также; Маріанна приподнялась и остановила ее:

— Погодите, Татьяна Осиповна: мнѣ вы нужны.

— А я сейчасъ вернусь, да съ самоваромъ. Вашъ товарищъ ушелъ безъ чаю; вишь—ужъ очень ему приспичило... А вамъ-то съ чего себя казнить? — Дальше—виднѣе будетъ.

Татьяна вышла, Соломинъ тоже всталъ. Маріанна стояла *къ нему* спиной;—и когда она, наконецъ, обернулась *къ нему*,—такъ какъ онъ очень долго не промолвилъ ни

единаго слова,—то увидѣла на его лицѣ, въ его глазахъ, на нее устремленныхъ, выраженіе, какого она прежде у него не замѣчала: выраженіе вопросительное, безпокойное, почти любопытствующее. — Она смутилась и опять покраснѣла. — А Соломину словно стало совѣстно того, что̀ она уловила на его лицѣ—и онъ заговорилъ громче обыкновеннаго.

— Такъ, та̀къ-то, Маріанна... Вотъ, вы и начали.

— Какое начала̀, Василій Ѳедотычъ! — Что это за начало? Мнѣ что-то вдругъ очень неловко становится. Алексѣй правду сказалъ: мы точно какую-то комедію играемъ.

Соломинъ сѣлъ опять на стулъ.

— Да, позвольте, Маріанна... Ка̀къ же вы себѣ это представляете: *начать?*—Не баррикады же строить со знаменемъ наверху—да: ура! за республику! — Это же и не женское дѣло. — А вотъ, вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите;—и трудно вамъ это будетъ, потому что не легко понимаетъ Лукерья, и васъ чуждается, — да еще воображаетъ, что ей совсѣмъ не нужно то, чему вы ее учить собираетесь;—а недѣли черезъ двѣ или три вы съ другой Лукерьей помучитесь; а пока—ребеночка вы помоете, или азбуку ему покажете,—или больному лѣкарство дадите... вотъ вамъ и начало.

— Да вѣдь это сестры милосердія дѣлаютъ, Василій Ѳедотычъ! Для чего жъ мнѣ тогда... все это? —Маріанна указала на себя и вокругъ себя неопредѣленнымъ движеніемъ руки.—Я о другомъ мечтала.

— Вамъ хотѣлось собой пожертвовать?

Глаза у Маріанны заблистали.

— Да... да... да!

— А Неждановъ?

Маріанна пожала плечомъ.

— Что̀ Неждановъ! Мы пойдемъ вмѣстѣ... или я пойду одна.

Соломинъ пристально посмотрѣлъ на Маріанну.

— Знаете что̀, Маріанна... Вы извините неприличность выраженія... но по-моему: шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва, и большая жертва, на которую не *многіе способны.*

— Да я отъ этого не отказываюсь, Василій Ѳедотычъ.

— Я знаю, что не отказываетесь! Да, вы на это способны.—И вы будете — пока — дѣлать это; а потомъ, пожалуй—и другое.

— Но для этого надо поучиться у Татьяны!

— И прекрасно... учитесь.—Вы будете чумичкой горшки мыть, щипать куръ... А тамъ, кто знаетъ, можетъ-быть, спасете отечество!

— Вы смѣетесь надо мною, Василій Ѳедотычъ.

Соломинъ медленно потрясъ головою.

— О, моя милая Маріанна, повѣрьте: не смѣюсь я надъ вами; и въ моихъ словахъ—простая правда. Вы уже теперь, всѣ вы, русскія женщины, дѣльнѣе и выше насъ, мужчинъ.

Маріанна подняла опустившіеся глаза.

— Я бы хотѣла оправдать ваши ожиданія, Соломинъ... а тамъ—хоть умереть!

Соломинъ всталъ.

— Нѣтъ, живите... живите! Это главное. — Кстати, не хотите ли вы узнать, что происходитъ теперь въ вашемъ домѣ по поводу вашего бѣгства?—Не принимаютъ ли мѣръ какихъ? Стоитъ только слово шепнуть Павлу: — все развѣдаетъ мигомъ.

Маріанна изумилась.

— Какой онъ у васъ необыкновенный человѣкъ.

— Да... довольно удивительный. — Вотъ, когда васъ нужно будетъ бракомъ сочетать съ Алексѣемъ—онъ тоже это устроитъ съ Зосимой... Помните, я вамъ говорилъ, есть такой попъ... Да вѣдь—пока—еще не нужно? Нѣтъ?

— Нѣтъ.

— А нѣтъ—такъ нѣтъ.—Соломинъ подошелъ къ двери, раздѣлявшей обѣ комнатки — Нежданова и Маріанны—и нагнулся къ замку.

— Что вы тамъ смотрите?—спросила Маріанна.

— А запираетъ ли ключъ?

— Запираетъ,—шепнула Маріанна.

Соломинъ обернулся къ ней.—Она не поднимала глазъ.

— Такъ не нужно развѣдывать, какія намѣренія Сипягиныхъ?—весело промолвилъ онъ.—не нужно?

Соломинъ хотѣлъ удалиться.

— Василій Ѳедотычъ...

— Что прикажете?

— Скажите пожалуйста, отчего вы, всегда такой молчаливый, такъ разговорчивы со мной? Вы не повѣрите, какъ это меня радуетъ.

— Отчего?—Соломинъ взялъ обѣ ея маленькія, мягкія руки въ свои большія, жесткія.—Отчего?—Ну, да должно-быть, оттого, что я васъ очень люблю. Прощайте.

Онъ вышелъ... Маріанна постояла, поглядѣла ему вслѣдъ, подумала — и отправилась къ Татьянѣ, которая еще не успѣла принести ей самоваръ, и у которой она—правда—напилась чаю—но также мыла чумичкой горшки, и куръ щипала,—и даже расчесала какому-то мальчику его вихрястую голову.

Къ обѣденному времени она вернулась на свою квартирку... Ей не пришлось долго дожидаться Неждапова.

Онъ возвратился, усталый, запыленный—и такъ и упалъ на диванъ. Она тотчасъ подсѣла къ нему.—Ну, что? Ну, что? Разсказывай!

— Ты помнишь эти два стиха,—отвѣчалъ онъ ей слабымъ голосомъ:

„Все это было бы смѣшно —
„Когда бы не было такъ грустно...“

— Помнишь?

— Конечно, помню.

— Ну, вотъ, эти самые стихи отлично примѣняются къ моему первому выходу. — Но, нѣтъ! Рѣшительно, смѣшного въ немъ было больше. Во-первыхъ, я убѣдился, что ничего нѣтъ легче, какъ разыгрывать роль: никто и не думалъ подозрѣвать меня.—Только вотъ чего я не сообразилъ: надо сочинить напередъ какую-нибудь исторію... а то спрашиваютъ: откуда? почему?—а у тебя ничего не готово. Впрочемъ, и это почти не нужно. Предложи только шкаликъ водки въ кабакѣ—и ври, что угодно.

— И ты... вралъ?—спросила Маріанна.

— Вралъ... какъ умѣлъ.—Во-вторыхъ: всѣ, рѣшительно *всѣ люди, съ которыми я* разговаривалъ — недовольные, и

никому не хочется даже знать, какъ пособить этому недовольству!—Но въ пропагандѣ я оказался — швахъ; двѣ брошюрки просто тайкомъ оставилъ въ горницахъ—одну засунулъ въ телѣгу... Что̀ изъ нихъ выйдетъ—Ты единъ, Господи, вѣси! — Четыремъ человѣкамъ предлагалъ брошюры. Одинъ спросилъ — божественная ли эта книга?— и не взялъ; другой сказалъ, что не знаетъ грамотѣ — и взялъ для дѣтей — потому на обложкѣ есть рисунокъ; третій сперва все мнѣ поддакивалъ—„тэ-акъ: тэ-акъ...“ потомъ вдругъ выругалъ меня самымъ неожиданнымъ образомъ, и тоже не взялъ; четвертый, наконецъ, взялъ — и много благодарилъ меня; — но, кажется, ни бельмеса не понялъ изо всего того, что̀ я ему говорилъ. Кромѣ того, одна собака укусила мнѣ ногу; одна баба съ порога своей избы погрозилась мнѣ ухватомъ, прибавивъ: „у! постылый! — Шалопуты вы московскіе! — Погибели на васъ нѣтути!“ — Да еще одинъ солдатъ безсрочный все мнѣ вслѣдъ кричалъ: „Погоди, постой! мы тебя, братъ, распатронимъ!“—А на мои же деньги напился.

— А еще что?

— Еще что? — Я натеръ себѣ мозоль: одинъ сапогъ ужасно великъ. А теперь я голоденъ,—и голова трещитъ отъ водки.

— Да развѣ ты много пилъ?

— Нѣтъ, немного—для примѣра; но былъ въ пяти кабакахъ.—Только я совсѣмъ этой мерзости—водки—не переношу. И какъ это нашъ народъ ее пьетъ—непостижимо! Если нужно пить водку, чтобы опро́ститься — слуга покорный!

— И такъ-таки никто тебя не заподозрилъ?

— Никто.—Одинъ цѣловальникъ, толстый такой, блѣдный человѣкъ съ бѣлыми глазами, былъ единственный человѣкъ, взглянувшій на меня подозрительно. Я слышалъ, какъ онъ говорилъ своей женѣ: „Ты наблюдай этого рыжаго... косого“. (А и я не зналъ до тѣхъ поръ, что я косъ.) „Это—жуликъ. Вишь ты, какъ пьетъ вальяжно!“— *Что̀ въ подобномъ случаѣ значитъ: „вальяжно“—я не понялъ; но* едва ли эта похвала.—Въ родѣ Гоголевскаго „мо-

ветона", — помнишь, въ „Ревизорѣ". Развѣ то, что я старался потихоньку расплескивать водку подъ столъ. Охъ, трудно, трудно эстетику соприкасаться съ дѣйствительною жизнью!

— Въ другой разъ будетъ удачнѣе,—утѣшала Нежданова Маріанна:—но я рада, что ты взглянулъ на первую свою попытку съ юмористической точки зрѣнія... Вѣдь, въ сущности, ты не скучалъ?

— Нѣтъ, не скучалъ; даже забавлялся. — Но я знаю навѣрное, что буду теперь обо всемъ этомъ думать — и мнѣ будетъ гадко и грустно.

— Нѣтъ, нѣтъ! я не дамъ тебѣ думать — я буду разсказывать тебѣ, что я дѣлала. Сейчасъ намъ принесутъ обѣдъ; кстати, знай, что я отлично... вымыла горшокъ, въ которомъ Татьяна намъ сварила щи.—И я буду тебѣ разсказывать... все, все, за каждымъ кускомъ.

Такъ она и сдѣлала. Неждановъ слушалъ ея разсказы— и глядѣлъ, глядѣлъ на нее... такъ, что она нѣсколько разъ останавливалась, чтобы дать ему сказать, зачѣмъ онъ такъ на нее глядитъ... Но онъ молчалъ.

Послѣ обѣда она предложила ему читать вслухъ изъ Шпильгагена. Но не успѣла она кончить первую страницу, какъ онъ стремительно всталъ—и, подойдя къ ней, упалъ къ ея ногамъ. Она приподнялась, онъ обхватилъ ея колѣни обѣими руками—и началъ говорить страстныя, безсвязныя, отчаянныя слова! „Онъ хотѣлъ умереть, онъ зналъ, что умретъ скоро"...—Она не шевелилась, не сопротивлялась; спокойно покорялась его порывистому объятію, спокойно, даже ласково глядѣла на него сверху внизъ. Она возложила обѣ руки на его голову, бившуюся въ складкахъ ея одежды.—Но самое это спокойствіе сильнѣе подѣйствовало на него, чѣмъ если бы она его оттолкнула. Онъ всталъ; промолвилъ: „Прости меня, Маріанна, за сегодняшнее и вчерашнее; повтори мнѣ, что ты готова ждать, пока я стану достойнымъ твоей любви,—и прости меня".

— *Я дала тебѣ слово...* и не умѣю мѣняться.

— *Ну, спасибо; прощай.*

Неждановъ вышелъ;—Марiанна заперлась въ своей комнатѣ.

XXX.

Двѣ недѣли спустя, на той же самой квартирѣ, вотъ что писалъ Неждановъ другу Силину, нагнувшись надъ своимъ трехножнымъ столикомъ, на которомъ скупо и тускло горѣла сальная свѣча.—(Было уже далеко за полночь. На диванѣ, на полу валялась второпяхъ сброшенная загрязненная одежда; въ стекло оконъ постукивалъ мелкій непрерывный дождь — и широкій теплый вѣтеръ пробѣгалъ большими вздохами по крышѣ.)

— „Милый Владиміръ, пишу тебѣ, не выставляя адреса, и даже это письмо будетъ послано съ нарочнымъ до отдаленной почтовой станціи; потому что мое пребываніе здѣсь—тайна; и выдать ее—значитъ, погубить не одного меня.— Съ тебя довольно будетъ знать, что я живу на большой фабрикѣ, вдвоемъ съ Маріанной, вотъ уже двѣ недѣли. Мы бѣжали отъ Сипягиныхъ въ тотъ самый день, когда я писалъ тебѣ. Насъ здѣсь пріютилъ одинъ пріятель: буду звать его Василіемъ. Онъ здѣсь главное лицо—отличнѣйшій человѣкъ. Пребываніе наше въ этой фабрикѣ—временное. Мы находимся здѣсь, пока наступитъ время дѣйствовать;—хотя, если судить по тому, что произошло до сихъ поръ — время это едва ли когда наступитъ! Владиміръ, мнѣ очень, очень тяжело. Прежде всего я долженъ тебѣ сказать, что хотя мы съ Маріанной бѣжали вмѣстѣ—но мы до сихъ поръ — какъ братъ съ сестрою. Она меня любитъ... и сказала мнѣ, что будетъ моею, если... я почувствую себя въ правѣ потребовать этого отъ нея.

„Владиміръ, я этого права за собой не чувствую! Она вѣритъ мнѣ, моей честности—я ея обманывать не стану. Я знаю, что я никого не любилъ и не полюблю—(это-то ужъ навѣрно!) больше, чѣмъ ее. Но все-таки! Какъ могу я присоединить навсегда ея судьбу къ моей! Живое *существо—къ трупу?*—Ну, не къ трупу,—къ существу *полумертвому?*—Гдѣ же будетъ совѣсть?—Ты скажешь: была

бы сильная страсть—совѣсть замолчала бы.— Въ томъ-то и дѣло, что я трупъ; честный, благонамѣренный трупъ, коли хочешь.—Пожалуйста, не кричи, что я всегда преувеличиваю... Все, что̀ я тебѣ говорю—правда! правда!— Маріанна—натура очень сдержанная—и теперь вся поглощена своей дѣятельностью, въ которую вѣритъ... А я!

„Ну—бросимъ любовь и личное счастье—и все такое.— Вотъ ужъ двѣ недѣли, какъ я хожу „въ народъ"—и, ей-же-ей, ничего глупѣй и представить себѣ нельзя. Конечно, вина тутъ моя—а не самаго дѣла. Положимъ, я не славянофилъ; я не изъ тѣхъ, которые *льнутся* народомъ, соприкосновеніемъ съ нимъ;—я не прикладываю его къ своей больной утробѣ, какъ флапелевый набрюшникъ... я хочу самъ дѣйствовать на него;—но какъ??—Какъ это совершить? Оказывается, что когда я съ народомъ, я все только приникаю—да прислушиваюсь,—а коли придется самому что̀ сказать—изъ рукъ вонъ! Самъ чувствую, что не гожусь. Точно скверный актеръ въ чужой роли. Тутъ и добросовѣстность некстати, и скептицизмъ—и даже какой-то мизерный, на самого себя обращенный юморъ... Гроша мѣднаго все это не сто̀итъ!—Даже гадко вспоминать;—гадко глядѣть на эту ветошь, которую я таскаю,— на этотъ маскарадъ, какъ выражается Василій!—Увѣряютъ, что нужно сперва выучиться языку народа, узнать его обычаи и нравы... Вздоръ! вздоръ! вздоръ! Нужно *вѣрить* въ то, что̀ говоришь—а говори, какъ хочешь! Мнѣ разъ пришлось слышать нѣчто въ родѣ проповѣди одного раскольничьяго пророка. Чортъ знаетъ, что̀ онъ мололъ, какая это была смѣсь церковнаго языка, книжнаго, простонароднаго—да еще не русскаго—а бѣлорусскаго какого-то... „Цобѣ" вмѣсто „тебѣ";—„исть" вмѣсто „ѣсть";—„ы" вмѣсто „и"—и вѣдь все одно и то же долбилъ, какъ тетеревъ какой! „Накатылъ духъ... накатылъ духъ"...—За то глаза горятъ, голосъ глухой и твердый, кулаки сжаты— и весь онъ какъ желѣзный! Слушатели не понимаютъ—а благоговѣютъ! И идутъ за нимъ.—А я начну говорить,— точно виноватый, все прощенія прошу. Хоть въ расколь-

ники бы пошелъ—право; мудрость ихъ не велика... да

гдѣ вѣры-то взять, вѣры!! — Вонъ Маріанна вѣритъ. Съ утра работаетъ, возится съ Татьяной—тутъ есть одна такая баба, добрая и неглупая: кстати, она про насъ говоритъ, что мы опрóститься желаемъ и зоветъ насъ опростѣлыми;—такъ вотъ, съ этой-то бабой Маріанна возится, минуты не посидитъ—настоящій муравей!—Радуется, что руки покраснѣли да заскорузли; и ждетъ, что, вотъ-вотъ, и она, сейчасъ, коли нужно, на плаху! Да что на плаху! Она даже башмаки съ себя пробовала снять; ходила куда-то босая, и вернулась босая. Слышу — потомъ — ноги себѣ долго мыла; вижу, наступаетъ на нихъ съ осторожностью — потому съ непривычки — больно; а лицомъ вся радостная и свѣтлая, словно кладъ нашла, словно солнце ее озарило. Да—Маріанна молодецъ!—А я, какъ стану съ ней говорить о моихъ чувствахъ—такъ, во-первыхъ, мнѣ какъ-то стыдно станетъ, точно я на чужое руку заношу; а, во-вторыхъ, этотъ взглядъ... о, этотъ ужасный, преданный, непротивящійся взглядъ... „Возьми, молъ, меня... но *помни!*.. Да и къ чему все это? Развѣ нѣтъ лучшаго, высшаго на землѣ?“—То-есть, другими словами: надѣвай вонючій кафтанъ, иди въ народъ... И вотъ, я иду въ этотъ народъ...

„О, какъ я проклинаю тогда эту нервность, чуткость, впечатлительность, брезгливость, все это наслѣдіе моего аристократическаго отца! Какое право имѣлъ онъ втолкнуть меня въ жизнь, спабдивъ меня органами, которые несвойственны средѣ, въ которой я долженъ вращаться? Создалъ птицу — да и пихнулъ ее въ воду?— Эстетика— да въ грязь! демократа, народолюбца, въ которомъ одинъ запахъ этой поганой водки—„зелена́ вина“—возбуждаетъ тошноту, чуть не рвоту?..

„Вотъ до чего я договорился: сталъ бранить моего отца!—И демократомъ сдѣлался я самъ: тутъ онъ ни при чемъ.

„Да, Владиміръ, худо мнѣ. Стали посѣщать меня какія-то сѣрыя, скверныя мысли! — Такъ неужто же, спро*сишь ты* меня, я даже въ теченіе этихъ двухъ недѣль не *наткнулся* на какое-нибудь отрадное явленіе, на какого-

нибудь хорошаго, живого, хоть и темнаго человѣка?— Какъ тебѣ сказать? Встрѣчалъ я нѣчто подобное... Одинъ даже очень хорошій попался—славный, бойкій малый. — Да какъ я ни вертѣлся—не нуженъ я ему съ моими брошюрами — и все тутъ! У здѣшняго фабричнаго Павла — (онъ правая рука Василія, преумный и прехитрый, будущая „голова“... я тебѣ, кажется, о немъ писалъ) — у него есть пріятель изъ мужиковъ. Елизаромъ его зовутъ... тоже свѣтлый умъ—и душа свободная, безо всякихъ путъ; но какъ только онъ со мною—точно стѣна между нами!— такъ и смотритъ „нѣтомъ!“ А то еще вотъ на какого я наскочилъ... впрочемъ, этотъ былъ изъ сердитыхъ.—„Ужъ ты“, говоритъ, „баринъ, не размазывай—а прямо скажи: отдашь ли ты всю свою землю, какъ есть—аль нѣтъ?“— „Что ты“, отвѣчаю я ему: — „какой я баринъ?“ (И еще, помнится, прибавилъ: Христосъ съ тобою!) — „А коли ты изъ простыхъ“, говоритъ:—„такъ какой въ тебѣ толкъ? И оставь ты меня, сдѣлай милость!“

„И вотъ еще что. — Я замѣтилъ: коли кто ужъ очень охотно тебя слушаетъ, книжки сейчасъ беретъ, — знай: этотъ изъ плохенькихъ, вѣтеркомъ подбитъ.—Или на какого краснобая наткнешься—изъ образованныхъ, который только и знаетъ, что одно облюбленное слово твердитъ.— Одинъ, напримѣръ, просто замучилъ меня: все у него „прызводство!“—Что ему ни говори, а онъ: „такое—значитъ—прызводство!“—А! чортъ тебя побери! — Еще одно замѣчаніе... Помнишь, была когда-то—давно тому назадъ— рѣчь о „лишнихъ“ людяхъ, о Гамлетахъ?—Представь: такіе „лишніе люди“ попадаются теперь между крестьянами!—Конечно, съ особымъ оттѣнкомъ... притомъ они, большей частью, чахоточнаго сложенія.—Интересные субъекты—и идутъ къ намъ охотно; но собственно для дѣла— непригодные; такъ же, какъ и прежніе Гамлеты. Ну, что тутъ будешь дѣлать?—Типографію завести секретную? Да вѣдь книжекъ и безъ того уже довольно, и такихъ, что говорятъ: „перекрестись, да возьми топоръ“, и такихъ, что говорятъ: „*возьми топоръ просто*“. Повѣсти изъ *народнаго быта, съ начинкой*, сочинять? Не напечатаютъ.

пожалуй.—Или ужъ точно взять топоръ?.. А на кого идти, съ кѣмъ, зачѣмъ?—Чтобы казенный солдатъ тебя убубухалъ изъ казеннаго ружья? Да вѣдь это какое-то сложное самоубійство! Ужъ лучше же я самъ съ собой покончу. По крайней мѣрѣ, буду знать, когда и какъ, — и самъ выберу, въ какое мѣсто выпалить.

„Право, мнѣ кажется, что если бы гдѣ-нибудь теперь происходила народная война — я бы отправился туда, не для того, чтобы освобождать кого бы то ни было (освобождать другихъ, когда свои не свободны!!) — но чтобы покончить съ собою...

„Нашъ пріятель Василій, тотъ, что здѣсь насъ пріютилъ, счастливый человѣкъ: онъ изъ нашего лагеря — да спокойный какой-то. — Ему не къ спѣху. Другого я бы выбранилъ... а его не могу. И оказывается, что вся суть не въ убѣжденіяхъ—а въ характерѣ. У Василія характеръ такой, что иголки не подпустишь. — Ну, вотъ, онъ и правъ. — Онъ много съ нами сидитъ, съ Маріанной.— И вотъ, что удивительно. Я ее люблю, и она меня любитъ (я вижу, какъ ты улыбаешься при этой фразѣ—но ей-Богу же это — такъ!);— а говорить мнѣ съ нею почти не о чемъ. — А съ нимъ она и споритъ, и толкуетъ, и слушаетъ его.—Не ревную я ее къ нему;—онъ же собирается ее куда-то помѣстить—по крайней мѣрѣ, она его объ этомъ проситъ;— только горько мнѣ, глядя на нихъ.— И вѣдь представь: заикнись я словомъ о женитьбѣ—она бы сейчасъ согласилась — и попъ Зосима выступилъ бы на сцену — „Исаія, ликуй!“ — и все какъ слѣдуетъ. Только отъ этого мнѣ бы не было легче — и *ничего бы не измѣнилось*... Куда ни кинь — все клинъ! — Окургузила меня жизнь, мой Владиміръ, какъ помнишь говаривалъ нашъ знакомый, пьянчужка портной, жалуясь на свою жену.

„Впрочемъ, я чувствую, что это долго не продлится. Чувствую я, что готовится что-то...

„Не самъ ли я требовалъ и доказывалъ, что надо „приступить?“—Ну, вотъ, мы и приступимъ.

„*Я не помню*, писалъ ли я тебѣ о *другомъ моемъ знакомомъ*, черномазомъ—родственникѣ Сипягиныхъ? Тотъ

можетъ, пожалуй, заварить такую кашу, что и не расхлебаешь.

„Совсѣмъ уже хотѣлъ кончить это письмо—да что!—Вѣдь я все нѣтъ, нѣтъ—да настрочу стихи, Маріаннѣ я ихъ не читаю—она ихъ не очень жалуетъ—а ты... иногда и похвалишь; а главное никому не разболтаешь. Пораженъ я былъ однимъ всеобщимъ явленіемъ на Руси... А впрочемъ, вотъ они, эти стихи:

Сонъ.

Давненько не бывалъ я въ сторонѣ родной...
Но не нашелъ я въ ней замѣтной перемѣны.
Все тотъ же мертвенный, безсмысленный застой,
Строенія безъ крышъ, разрушенныя стѣны,
И та же грязь, и вонь, и бѣдность, и тоска!
И тотъ же рабскій взглядъ, то дерзкій, то унылый...
Народъ нашъ вольнымъ сталъ; и вольная рука
Виситъ, попрежнему, какой-то плеткой хилой.
Все, все попрежнему... И только лишь въ одномъ
Европу, Азію, весь свѣтъ мы перегнали...
Нѣтъ! никогда еще такимъ ужаснымъ сномъ
Мои любезные соотчичи не спали!

Все спитъ кругомъ: вездѣ, въ деревняхъ, въ городахъ,
Въ телѣгахъ, на сапяхъ, днемъ, ночью, сидя, стоя...
Купецъ, чиновникъ спитъ; спитъ сторожъ на часахъ,
Подъ снѣжнымъ холодомъ—и на припекѣ зноя!
И подсудимый спитъ—и дрыхнетъ судія;
Мертво спятъ мужики: жнутъ, пашутъ—спятъ; молотятъ—
Спятъ тоже: спитъ отецъ, спитъ мать, спитъ вся семья...
Всѣ спятъ! Спитъ тотъ, кто бьетъ, и тотъ, кого колотятъ!
Одинъ царевъ кабакъ—тотъ не смыкаетъ глазъ;
И штофъ съ очищенной всей пятерней сжимая,
Лбомъ въ полюсъ упершись, а пятками въ Кавказъ,
Спитъ непробуднымъ сномъ отчизна, Русь святая!

„Пожалуйста, извини меня; я не хотѣлъ послать тебѣ такое грустное письмо, не насмѣшивъ тебя хоть подъ конецъ (ты навѣрное замѣтишь нѣсколько натянутыхъ риѳмъ: „молотятъ—колотятъ...“ да мало ли чего!)—Когда я напишу тебѣ слѣдующее письмо? И напишу ли? Что бы со мною ни было, я увѣренъ, ты не забудешь—

„Твоего вѣрнаго друга—

А. Н.

„P. S.—Да, нашъ народъ спитъ... Но, мнѣ сдается, если что̀ его разбудитъ—это будетъ не то, что *мы* думаемъ...“

Дописавъ послѣднюю строку, Неждановъ бросилъ перо—и, сказавъ самому себѣ: „Ну—теперь постарайся заснуть и забыть всю эту чушь, стихотворъ!“—легъ на постель... но сонъ долго бѣжалъ его глазъ.

На другое утро Маріанна разбудила его, проходя черезъ его комнату къ Татьянѣ; но онъ только-что успѣлъ одѣться, какъ она уже вернулась снова. Ея лицо выражало радость и тревогу: она казалась взволнованной.

— Знаешь что̀, Алёша: говорятъ, въ Т...мъ уѣздѣ—близко отсюда—уже начало́сь!

— Какъ? Что̀ началось? Кто это говоритъ?

— Павелъ.—Говорятъ, крестьяне поднимаются—не хотятъ платить податей, собираются толпами.

— Ты сама это слышала?

— Мнѣ Татьяна сказывала.—Да вотъ и самъ Павелъ. Спроси у него.

Павелъ вошелъ и подтвердилъ сказанное Маріанной.

— Въ Т...мъ уѣздѣ безпокойно—это вѣрно!—промолвилъ онъ, потряхивая бородкой и прищуривая свои блестящіе черные глаза.—Сергѣя Михайловича, должно полагать, работа. Вотъ уже пятый день, какъ ихъ нѣту дома.

Неждановъ взялся за шапку.

— Куда ты?—спросила Маріанна.

— Да... туда,—отвѣчалъ онъ, не поднимая глазъ и сдвинувъ брови.—Въ Т...ій уѣздъ.

— Такъ и *я* съ тобой. Вѣдь ты меня возьмешь? Дай мнѣ только большой платокъ надѣть.

— Это не женское дѣло,—сумрачно промолвилъ Неждановъ, попрежнему глядя внизъ, точно озлобленный.

— Нѣтъ... нѣтъ!.. Ты хорошо дѣлаешь, что идешь:—а то Маркеловъ счелъ бы тебя за труса... И я иду съ тобой.

— Я не трусъ,—такъ же сумрачно промолвилъ Неждановъ.

— Я хотѣла сказать, что онъ насъ обоихъ за трусовъ *бы принялъ*. Я иду съ тобой.

Маріанна отправилась за платкомъ въ свою комнату—

а Павелъ произнесъ исподтишка и какъ бы втягивая въ себя воздухъ: „Эге-ге!“ и немедленно исчезъ.—Онъ побѣжалъ предупредить Соломина.

Маріанна еще не появилась, какъ уже Соломинъ вошелъ въ комнату Нежданова.—Онъ стоялъ лицомъ къ окну, опершись лбомъ о руку, а рукой о стекло. Соломинъ тронулъ его за плечо. Онъ быстро обернулся.—Взъерошенный, немытый, Нежданов имѣлъ видъ дикій и странный. Впрочемъ, и Соломинъ измѣнился въ послѣднее время. Онъ пожелтѣлъ, лицо его вытянулось, верхніе зубы обнажились слегка... Онъ тоже казался встревоженнымъ, насколько могла тревожиться его „уравновѣшенная“ душа.

— Маркеловъ-таки не выдержалъ,—началъ онъ.—Это можетъ кончиться худо; для него—во-первыхъ... ну, и для другихъ.

— Я хочу пойти посмотрѣть, что тамъ такое...—промолвилъ Нежданов.

— И я,—прибавила Маріанна, показавшись на порогѣ двери.

Соломинъ медленно обратился къ ней.

— Я бы вамъ не совѣтовалъ, Маріанна.—Вы можете выдать себя—и насъ; невольно и безо всякой нужды.—Пускай Нежданов идетъ да понюхаетъ немножко воздухъ, коли онъ хочетъ... и то немножко!—а вы-то зачѣмъ?

— Я не хочу отстать отъ него.

— Вы его свяжете.

Маріанна глянула на Нежданова. Онъ стоялъ неподвижно, съ неподвижнымъ, угрюмымъ лицомъ.

— Но если будетъ опасность?—спросила она.

Соломинъ улыбнулся.

— Не бойтесь... когда будетъ опасность—я васъ пущу.

Маріанна молча сняла платокъ съ головы—и сѣла.

Тогда Соломинъ обратился къ Нежданову.

— А ты, братъ, въ самомъ дѣлѣ, посмотри-ка немножко. Можетъ-быть, все это преувеличено.—Только, пожалуйста, осторожнѣе.—Впрочемъ, тебя подвезутъ. И вернись поскорѣе. *Ты обѣщаешь?* Нежданов? обѣщаешь?

— Да.

— Да,—навѣрное?

— Коли тебѣ здѣсь всѣ покоряются, начиная съ Маріанны.

Нежановъ вышелъ въ коридоръ—не простившись. Павелъ вынырнулъ изъ темноты и побѣжалъ впередъ по лѣстницѣ, стуча коваными подковами сапоговъ.—*Онъ* долженъ былъ подвезти Нежданова.

Соломинъ подсѣлъ къ Маріаннѣ.

— Вы слышали послѣднія слова Нежданова?

— Да; онъ досадуетъ, что я слушаюсь васъ больше, чѣмъ его. И вѣдь это правда.—Я люблю *его*, а слушаюсь *васъ*. Онъ мнѣ дороже... а вы мнѣ ближе.

Соломинъ осторожно поласкалъ своей рукой ея руку.

— Эта исторія... очень непріятная,—промолвилъ онъ наконецъ.—Если Маркеловъ въ ней замѣшанъ—онъ погибъ.

Маріанна вздрогнула.

— Погибъ?

— Да.—Онъ ничего не дѣлаетъ вполовину—и не прячется за другихъ.

— Погибъ!—шепнула Маріанна снова—и слезы побѣжали по ея лицу.—Ахъ, Василій Ѳедотычъ! мнѣ очень жаль его. Но почему же онъ не можетъ восторжествовать? Почему онъ долженъ непремѣнно погибнуть?

— Потому, Маріанна, что въ подобныхъ предпріятіяхъ первые всегда погибаютъ, даже если они удаются... А въ этомъ дѣлѣ, что̀ *онъ* затѣялъ, не только первые и вторые погибнутъ—но и десятые... и двадцатые...

— Такъ мы и не дождемся?

— Того, что̀ вы думаете?—Никогда. Глазами мы этого не увидимъ; вотъ этими, живыми глазами.—Ну—духовными... это другое дѣло. Любуйся хоть теперь, сейчасъ.—Тутъ контроля нѣтъ.

— Такъ зачѣмъ же вы, Соломинъ...

— Что?

— Зачѣмъ вы идете по этой дорогѣ?

— *Потому*, что нѣтъ другой.—То-есть, собственно цѣль *у насъ* съ Маркеловымъ одна,—дорога другая.

— Бѣдный Серѣй Михайловичъ! — уныло промолвила Маріанна. Соломинъ опять осторожно поласкалъ ее.

— Ну—полноте; еще нѣтъ ничего вѣрнаго. Посмотримъ, какія извѣстія привезетъ Павелъ.—Въ нашемъ... званіи надо быть твердымъ. Англичане говорятъ: „Never say die“.—Хорошая поговорка. Лучше русской: „Пришла бѣда, растворяй ворота!“—Заранѣе горевать нечего.

Соломинъ поднялся со стула.

— А мѣсто, которое вы хотѣли мнѣ достать?—спросила вдругъ Маріанна.—Слезы блестѣли еще у ней на щекахъ—но въ глазахъ уже не было печали.

Соломинъ сѣлъ опять.

— Развѣ вамъ такъ хочется поскорѣй уѣхать отсюда?

— О, нѣтъ! но я желала бы быть полезной.

— Маріанна, вы очень полезны и здѣсь. Не покидайте насъ, подождите.—Чего вамъ? — спросилъ Соломинъ вошедшую Татьяну.—(Онъ говорилъ: „ты“ одному Павлу—и то потому, что тотъ былъ бы слишкомъ несчастливъ, если-бъ Соломинъ вздумалъ говорить ему „вы“).

— Да тутъ какой-то женскій полъ спрашиваетъ Алексѣя Дмитрича, — отвѣчала Татьяна, посмѣиваясь и разводя руками: — я-было сказала, что его нѣтъ у насъ, совсѣмъ нѣту.—Мы, молъ, и не знаемъ, что за человѣкъ такой?—Но тутъ онъ...

— Да кто—онъ?

— Да самый этотъ женскій полъ.—Взялъ да написалъ свое имя на этой вотъ бумагѣ—и говоритъ, чтобы я показала—и что его пустятъ; и что если точно Алексѣя Дмитрича дома нѣтъ, такъ онъ и подождать можетъ.

На бумагѣ стояло крупными буквами: Машурина.

— Впустите,—сказалъ Соломинъ.—Васъ, Маріанна, не стѣснитъ, если она сюда войдетъ?—Она тоже—изъ нашихъ.

— Нисколько, помилуйте.

Черезъ нѣсколько мгновеній на порогѣ показалась Машурина—въ томъ же самомъ платьѣ, въ какомъ мы ее видѣли въ началѣ первой главы.

XXXI.

— Нежданова нѣтъ дома?—спросила она; потомъ, увидѣвъ Соломина, подошла къ нему и подала ему руку.— Здравствуйте, Соломинъ!—На Маріанну она только кинула косвенный взглядъ.

— Онъ скоро вернется,—отвѣчалъ Соломинъ.—Но позвольте спросить, отъ кого вы узнали...

— Отъ Маркелова. — Впрочемъ, оно и въ городѣ... двумъ-тремъ лицамъ уже извѣстно.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да. Кто-нибудь проболталъ. — Да и Нежданова, говорятъ, самого узнали.

— Вотъ-те и переодѣванія! — проворчалъ Соломинъ.— Позвольте васъ познакомить, — прибавилъ онъ громко.— Г-жа Синецкая, г-жа Машурина!—Присядьте.

Машурина слегка кивнула головою и сѣла.

— У меня къ Нежданову есть письмо; а къ вамъ, Соломинъ, словесный запросъ.

— Какой? И отъ кого?

— Отъ извѣстнаго вамъ лица... Что, у васъ... все готово?

— Ничего у меня не готово.

Машурина раскрыла, насколько могла, свои крохотные глазки.

— Ничего?

— Ничего.

— Такъ-таки рѣшительно ничего?

— Рѣшительно ничего.

— Такъ и сказать?

— Такъ и скажите.

Машурина подумала и вынула папироску изъ кармана.

— Огня—можно?

— Вотъ вамъ спичка.

Машурина закурила свою папироску.

— „Они“ другого ждали, — начала она. — Да и кругомъ—не такъ, какъ у васъ. Впрочемъ, это ваше дѣло. А *я къ вамъ* не надолго. Только вотъ съ Нежановымъ *повидаться*, да письмо передать.

— Куда же вы ѣдете?

— А далеко отсюда. (Она отправлялась собственно въ Женеву, но не хотѣла сказать это Соломину. Она его находила несовсѣмъ надежнымъ, да и „чужая“ сидѣла тутъ. Машурину, которая едва знала по-нѣмецки, посылали въ Женеву для того, чтобы вручить тамъ неизвѣстному ей лицу половину куска картона съ нарисованной виноградной вѣткой и 279 руб. сер.).

— А Остродумовъ гдѣ? Съ вами?

— Нѣтъ. Онъ тутъ близко... застрялъ. Да этотъ отзовется. Пименъ—не пропадетъ. Безпокоиться нечего.

— Вы какъ сюда пріѣхали?

— На телѣгѣ... А то какъ? Дайте-ка еще спичку...

Соломинъ подалъ ей зажженную спичку...

— Василій Ѳедотычъ! — прошепталъ вдругъ чей-то голосъ изъ-за двери.—Пожалуйте!

— Кто тамъ? Чего нужно?

— Пожалуйте, — повторилъ голосъ внушительно и настойчиво. — Тутъ пришли чужіе работники, что-й-то толкуютъ, а Павла Егорыча нѣту.

Соломинъ извинился, всталъ и вышелъ.

Машурина принялась глядѣть на Маріанну и глядѣла долго, такъ что той неловко стало.

— Простите меня, — промолвила она вдругъ своимъ грубым отрывистымъ голосомъ: — я простая, не умѣю... этакъ. — Не сердитесь; коли хотите — не отвѣчайте. *Вы* та дѣвица, что̀ ушла отъ Сипягиныхъ?

Маріанна нѣсколько изумилась, однако промолвила:

— Я.

— Съ Нежда новымъ?

— Ну, да.

— Позвольте... дайте мнѣ руку. Простите меня пожалуйста. Вы, стало-быть, хорошая, коли онъ полюбилъ васъ.

Маріанна пожала руку Машуриной.

— А вы коротко знаете Нежданова?

— Я его знаю. Я въ Петербургѣ его видала. Оттого-то я и говорю. Сергѣй Михайлычъ тоже мнѣ сказывалъ...

— *Ахъ, Маркеловъ?* Вы его недавно видѣли?

— Недавно. Теперь онъ ушелъ.

— Куда?

— Куда приказано.

Маріанна вздохнула.

— Ахъ, г-жа Машурина, я боюсь за него.

— Во-первыхъ, что я за госпожа? Эти манеры бросить надо. А во-вторыхъ... вы говорите: „я боюсь". И это тоже не годится. За себя не будешь бояться — и за другихъ перестанешь. Ни думать о себѣ, ни бояться за себя — не надо вовсе. Вотъ что развѣ... вотъ что мнѣ приходитъ въ голову: мнѣ, Θеклѣ Машуриной, легко этакъ говорить. Я дурна собою. А вѣдь вы... вы красавица. Стало-быть, это вамъ все труднѣе. (Маріанна потупилась и отвернулась.) Мнѣ Сергѣй Михайлычъ говорилъ... Онъ зналъ, что у меня есть письмо къ Нежданову... „Не ходи ты на фабрику,—говорилъ онъ мнѣ,—не носи письма: оно тамъ все взбудоражитъ. Оставь! Они тамъ оба счастливы... Такъ пусть ихъ! Не мѣшай!" Я бы рада не мѣшать... да какъ быть съ письмомъ!

— Надо отдать его непремѣнно,— подхватила Маріанна.—Но только, какой же онъ добрый, Сергѣй Михайловичъ! Неужели онъ погибнетъ, Машурина... или въ Сибирь пойдетъ?

— Что жъ? Изъ Сибири-то развѣ не уходятъ? А жизнь потерять?! Кому она сладка, кому горька.—Его-т[illegible]изнь— тоже не рафинадъ.

Машурина снова взглянула на Маріанну пристально и пытливо.

— А точно, красавица вы, — воскликнула она наконецъ: — настоящая птичка! Я ужъ думаю: Алексѣй не идетъ.. Не отдать ли вамъ письмо? Чего ждать?

— Я ему передамъ, будьте увѣрены.

Машурина подперла щеку одной рукой и долго-долго молчала.

— Скажите,—начала она...—извините меня... вы очень его любите?

— *Да.*

Машурина встряхнула своей тяжелой головой.

— Ну, а о томъ, и спрашивать нечего—любитъ ли онъ васъ? Я, однако, уѣду, а то запоздаю пожалуй. Вы ему скажите, что я была здѣсь... кланялась ему. Скажите: была Машурина. Вы моего имени не забудете? Нѣтъ? Машурина. А письмо... Постой, куда же это я его сунула?..

Машурина встала, отвернулась, дѣлая видъ, что шаритъ у себя въ карманахъ, а между тѣмъ быстро поднесла ко рту маленькую свернутую бумажку и проглотила ее.— Ай, батюшки! Вотъ глупость-то! Неужто жъ я его обронила? Обронила и есть. Ай, бѣда! Не нашелъ бы кто... Нѣту; нигдѣ нѣту. Вотъ и вышло такъ, какъ желалъ Сергѣй Михайлычъ!

— Поищите еще,—шепнула Маріанна.

Машурина махнула рукой.

— Нѣтъ! Что искать! Потеряла!

Маріанна пододвинулась къ ней.

— Ну, такъ поцѣлуйте меня!

Машурина вдругъ обняла Маріанну и съ неженской силой прижала ее къ своей груди.

— Ни для кого бы я этого не сдѣлала,—проговорила она глухо:—противъ совѣсти... въ первый разъ! Скажите ему, чтобы онъ былъ осторожнѣе... И вы тоже. Смотрите! Здѣсь скоро всѣмъ худо будетъ, очень худо. Уходите-ка оба, по[illegible].—Прощайте!—прибавила она громко и рѣзко.— Да вотъ еще что... скажите ему... Нѣтъ, ничего не надо. Ничего.

Машурина ушла, стукнувъ дверью, а Маріанна осталась въ раздумьѣ посреди комнаты.

— Что это такое? — промолвила она наконецъ: — вѣдь эта женщина больше его любитъ, чѣмъ я его люблю! И что значатъ ея намёки? И отчего Соломинъ вдругъ ушелъ и не возвращается?

Она начала ходить взадъ и впередъ. — Странное чувство—смѣсь испуга и досады, и изумленія—овладѣло ею.— Зачѣмъ она не пошла съ Неждановымъ? — Соломинъ ее отговорилъ... но гдѣ же онъ самъ? И что такое происходитъ кругомъ?—*Машурина, конечно, изъ участія къ Нежданову, не передала ей* того опаснаго письма... Но какъ

могла она рѣшиться на такое непослушаніе? — Хотѣла показать свое великодушіе? Съ какого права? И почему *она*, Маріанна, была такъ тронута этимъ поступкомъ? Да и была ли она тронута? — Некрасивая женщина интересуется молодымъ человѣкомъ... Въ сущности—что же въ этомъ необыкновеннаго? И почему Машурина предполагаетъ, что привязанность Маріанны къ Нежданову сильнѣе чувства долга? Можетъ-быть, Маріанна вовсе не требовала этой жертвы? И что могло заключаться въ томъ письмѣ? — Призывъ къ немедленной дѣятельности? Такъ что жъ!!

А Маркеловъ? — Онъ въ опасности... а мы-то что дѣлаемъ? — Маркеловъ щадитъ насъ обоихъ, даетъ намъ возможность быть счастливыми, не разлучаетъ насъ... что это? Тоже великодушіе... или презрѣніе?

И развѣ мы для этого бѣжали изъ того ненавистнаго дома, чтобы оставаться вмѣстѣ и ворковать голубками?

Такъ размышляла Маріанна... И все сильнѣе и сильнѣе разыгрывалась въ ней та взволнованная досада. Къ тому же ея самолюбіе было задѣто. Почему всѣ ее оставили—*всѣ?*—Эта „толстая“ женщина назвала ее птичкой, красоткой... почему не прямо куколкой? И отчего это Нежданов отправился не одинъ, а съ Павломъ? Точно ему нуженъ опекунъ! Да и какіе собственно убѣжденія Соломина? Онъ вовсе не революціонеръ! И неужели же кто-нибудь можетъ думать, что она относится ко всему этому не серьёзно?

Вотъ какія мысли кружились, перегоняя одна другую и путаясь, въ разгоряченной головѣ Маріанны. Стиснувъ губы и скрестивъ по-мужски руки,—сѣла она, наконецъ, возлѣ окна и осталась опять неподвижной, не прислоняясь къ спинкѣ стула, — вся настороженная, напряженная, готовая тотчасъ вскочить. Къ Татьянѣ идти, работать—она не хотѣла; она хотѣла одного: ждать!—И она ждала, упорно, почти злобно. — Отъ времени до времени ей самой казалось страннымъ и непонятнымъ ея *собственное* настроеніе... Но все равно! Разъ ей даже пришло *въ голову:* ужъ не отъ ревности ли это все въ ней? Но

вспомнивъ фигуру бѣдной Машуриной, она только пожала плечомъ и махнула рукой... не въ дѣйствительности,—а соотвѣтственнымъ этому жесту внутреннимъ движеніемъ.

Маріаннѣ долго пришлось ждать; наконецъ, она услышала стукъ отъ двухъ людей, взбиравшихся по лѣстницѣ. Она устремила глаза на дверь... шаги приближались.— Дверь отворилась — и Неждановъ, поддерживаемый подъ руку Павломъ, появился на порогѣ. Онъ былъ смертельно блѣденъ, безъ картуза; растрепанные волосы падали мокрыми клочьями на лобъ; глаза глядѣли прямо, ничего не видя.— Павелъ перевелъ его черезъ комнату (ноги Нежданова двигались невѣрно и слабо) и посадилъ его на диванъ.

Маріанна вскочила съ мѣста.

— Что это значитъ? Что съ нимъ? Онъ боленъ?

Но усаживавшій Нежданова Павелъ отвѣчалъ ей съ улыбкой, въ полуоборотъ черезъ плечо:

— Не извольте безпокоиться: это сейчасъ пройдетъ... Это только съ непривычки.

— Да что такое?—настойчиво переспросила Маріанна.

— Охмелѣли маленько. — Выпили натощакъ; ну, оно и того!

Маріанна нагнулась къ Нежданову. Онъ полулежалъ поперекъ дивана; голова его спустилась на грудь, глаза застилались... Отъ него пахло водкой: онъ былъ пьянъ.

— Алексѣй!—сорвалось у ней съ языка.

Онъ съ усиліемъ приподнялъ отяжелѣвшія вѣки и попытался усмѣхнуться.

— А! Маріанна!—пролепеталъ онъ;—ты все говорила: о... опрос... опростѣлые;—вотъ, теперь я настоящій опростѣлый.—Потому весь народъ нашъ всегда пьянъ... значитъ...

Онъ умолкъ;—потомъ пробурчалъ что-то невнятное, закрылъ глаза—и заснулъ.—Павелъ заботливо уложилъ его на диванъ.

— Вы не безпокойтесь, Маріанна Викентьевна, — повторилъ онъ: — часика два соснетъ — и встанетъ, какъ встрепанный.

Маріанна намѣревалась было спросить, какъ это случилось, но ея разспросы удержали бы Павла; а ей хотѣ-

лось быть одной... то-есть, ей не хотѣлось, чтобы Павелъ дольше видѣлъ его въ такомъ безобразіи передъ нею. Она отошла къ окну—а Павелъ, который тотчасъ все постигъ, бережно закрылъ ноги Нежданова полами его кафтана, подложилъ ему подъ голову подушечку, еще разъ промолвилъ: ничего!—и вышелъ на цыпочкахъ.

Маріанна оглянулась.—Голова Нежданова тяжело ушла въ подушку; на блѣдномъ лицѣ замѣчалось недвижимое напряженіе, какъ у трудно больного.

„Какъ же это случилось?“—думала она.

XXXII.

А случилось это дѣло вотъ какъ.

Садясь въ телѣгу къ Павлу, Неждановъ вдругъ пришелъ въ весьма возбужденное состояніе; а какъ только они выѣхали съ фабричнаго двора и покатили по дорогѣ въ направленіи къ Т....у уѣзду, — онъ началъ окликать, останавливать проходившихъ мужиковъ, держать имъ краткія, но несообразныя рѣчи.—„Что, молъ, вы спите? Поднимайтесь! Пора!— Долой налоги! Долой землевладѣльцевъ!“— Иные мужики глядѣли на него съ изумленіемъ; другіе шли дальше, мимо, не обращая вниманія на его возгласы; — они принимали его за пьянаго; одинъ—такъ даже, придя домой, разсказывалъ, что ему навстрѣчу французъ попался, который кричалъ—„непонятно таково, картаво“.— У Нежданова было довольно ума, чтобы понять, какъ несказанно-глупо и даже безсмысленно было то, что онъ дѣлалъ; но онъ постепенно до того „взвинтилъ“ себя, что уже пересталъ понимать, что умно и что глупо. Павелъ старался успокоить его, говорилъ, что этакъ, помилуйте, нельзя; что вотъ скоро будетъ большое село, первое на границѣ Т...го уѣзда — „Бабьи-Ключи“; что тамъ можно будетъ поразвѣдать... Но Неждановъ не унимался... и въ то же время лицо у него было какъ-то печальное, почти отчаянное. — Лошадка у нихъ была пребойкая, кругленькая, съ остриженной гривой на зарѣзистой шеѣ; *она очень* хлопотливо перебирала своими крѣпкими ножками—*и все* просила поводьевъ, точно на дѣло спѣшила.

и нужныхъ людей везла.—Не доѣзжая „Бабьихъ-Ключей", Неждановъ замѣтилъ — въ сторонѣ отъ дороги, передъ раскрытымъ хлѣбнымъ амбаромъ—человѣкъ восемь мужиковъ; онъ тотчасъ соскочилъ съ телѣги, подбѣжалъ къ нимъ и минутъ съ пять говорилъ поспѣшно, съ внезапными криками, на-отмашь, двигая руками. — Слова: „За свободу! Впередъ! Двинемся грудью!" вырывались хрипло и звонко изъ множества другихъ, менѣе понятныхъ словъ. Мужики, которые собрались передъ амбаромъ, чтобы потолковать о томъ, какъ бы его опять насыпать—хоть для примѣра — (онъ былъ мірской, слѣдовательно пустой) — уставились на Нежданова и, казалось, съ большимъ вниманіемъ слушали его рѣчь; — но едва ли что-нибудь въ толкъ взяли—потому что когда онъ, наконецъ, бросился отъ нихъ прочь, крикнувъ послѣдній разъ: „Свобода!"— одинъ изъ нихъ, самый прозорливый, глубокомысленно покачавъ головою, промолвилъ: „Какой строгій!"—а другой замѣтилъ: „Знать, начальникъ какой!"—на что прозорливецъ возразилъ: „Извѣстное дѣло — даромъ глотку драть не станетъ". — „Заплачутъ теперича наши денежки!"—Самъ Неждановъ, взлѣзая на телѣгу и садясь возлѣ Павла, подумалъ про себя: „Господи! какая чепуха!—Но вѣдь никто изъ насъ не знаетъ, какъ именно слѣдуетъ бунтовать народъ—можетъ-быть, оно и такъ?—Разбирать тутъ некогда! Валяй! На душѣ скребетъ? Пускай!"

Въѣхали они на улицу. По самой серединѣ ея, передъ кабакомъ, толпилось довольно много народу. Павелъ хотѣлъ-было удержать Нежданова; но ужъ онъ кувыркомъ слетѣлъ съ телѣги—да съ воплемъ: „братцы!" въ толпу...— Она разступилась немного; и Неждановъ пустился опять проповѣдывать, не глядя ни на кого—и какъ бы сердясь и плача.—Но результатъ тутъ вышелъ другой, чѣмъ передъ амбаромъ. — Какой-то громадный парень, съ безбородымъ, но свирѣпымъ лицомъ, въ короткомъ, засаленномъ полушубкѣ, высокихъ сапогахъ и бараньей шапкѣ, подошелъ къ Нежданову—и, съ размаху треснувъ его по плечу: — „Ладно! Молодца!" - - гаркнулъ онъ зычнымъ голосомъ: — *„только стой! аль не знаешь, сухая ложка ротъ*

деретъ? Подь сюда! Тутъ разговаривать много-ловчѣй".— Онъ потащилъ Нежданова въ кабакъ; — остальная толпа повалила за ними гурьбой. — „Михеичъ, — крикнулъ парень: — ну-тка — десятикопеечную! Мою любимую стопку! Пріятеля угощаю! Кто онъ такой, чьего роду и племени— бѣсъ его вѣдаетъ — да бояръ честитъ лихо." — „Пей" — обратился онъ къ Нежданову, подавая ему тяжелый, полный, мокрый снаружи, словно потный, стаканъ; —„пей,— коли ты точно о нашемъ братѣ печалуешься!"—„Пей!"— зашумѣли голоса. Неждановъ схватилъ стопку (онъ былъ какъ въ чаду)— закричалъ: „за васъ, ребята!" и выпилъ ее разомъ.—Ухъ! —Онъ выпилъ ее съ той же отчаянной отвагой, съ какой онъ бросился бы на штурмъ батареи или на строй штыковъ... Но что съ нимъ сдѣлалось! — Что-то ударило вдоль спины да по ногамъ, обожгло ему горло, грудь, желудокъ, выдавило слезы на глаза... Судорога отвращенія пробѣжала по всему его тѣлу,—и онъ едва сладилъ съ нею... Онъ закричалъ во всю голову, чтобы только чѣмъ-нибудь утишить ее.—Въ темной комнатѣ кабака стало вдругъ жарко, и липко, и душно; что народу набралось!—Неждановъ началъ говорить, говорить долго, кричать съ ожесточеньемъ, съ яростью, хлопать по какимъ-то широкимъ деревяннымъ ладонямъ, цѣловать какія-то осклизлыя бороды... Громадный парень въ полушубкѣ тоже цѣловался съ нимъ—чуть ребра ему не продавилъ.—Но этотъ оказался какимъ-то извергомъ.—„Перерву глотку!"—рычалъ онъ: — „перерву глотку всякому, кто нашего брата забижаетъ! — А не то — мякну его по макушкѣ... Онъ у меня запищитъ! Вѣдь мнѣ что: я мясникомъ былъ;—дѣла-то эти знаю хорошо!"—И при томъ онъ показывалъ свой громадный, покрытый веснушками кулакъ... И вотъ — Господи! — опять кто-то заревѣлъ: „Пей!"—и Неждановъ опять выпилъ этотъ гадкій ядъ.— Но этотъ второй разъ былъ ужасенъ! Его точно рвануло по внутренностямъ тупыми крючьями.—Голова поплыла— пошли зеленые круги.—Гамъ поднялся, звонъ... О, ужасъ!.. *Третья стопка*... Неужто онъ и ее проглотилъ? Багровые *носы полѣзли* къ нему, пыльные волосы, загорѣлыя шеи,

затылки, изсѣченные сѣтками морщинъ. — Жёсткія руки хватали его. — „Усердствуй!“ орали неистовые голоса. — „Бесѣдуй! Позавчера такой же чужакъ расписывалъ важно.—Валяй, такой-сякой!“... Земля заколыхалась подъ ногами Нежданова. — Собственный голосъ казался ему чужимъ, какъ бы извнѣ приходящимъ... Смерть это, что ли?

И вдругъ... впечатлѣніе свѣжаго воздуха на лицѣ — и нѣтъ уже ни толкотни, ни красныхъ рожъ, ни смрада отъ вина, отъ овчинъ, отъ дегтя, отъ кожи... И онъ опять уже сидитъ на телѣгѣ съ Павломъ, сперва порывается и кричитъ: „Куда? Стой! Я еще ничего не успѣлъ сказать имъ — надо растолковать“... а потомъ прибавляетъ: „Да ты самъ, чортъ, лукавый человѣкъ, какія твои мнѣнія?— А Павелъ ему отвѣчаетъ: „Хорошо бы, кабы не было господъ и земли всѣ были бы наши — чего бы лучше?— да приказа такого еще не вышло“;—а самъ тихонько заворачиваетъ лошадь назадъ—да вдругъ бьетъ ее вожжами по спинѣ — да прочь во всю прыть отъ того гвалта и гула... да на фабрику...

Дремлетъ Неждановъ — и покачивается онъ—а вѣтеръ ему пріятно дуетъ въ лицо — и не даетъ возникать дурнымъ мыслямъ...

Только досадно ему, что какъ же это ему не дали высказаться... И опять вѣтеръ ласкаетъ его воспаленное лицо.

А тамъ — мгновенное явленіе Маріанны — мгновенное, жгучее чувство позора—и сонъ, глубокій, мертвый сонъ...

Все это разсказывалъ Павелъ потомъ Соломину. Не скрылъ онъ также и того, что самъ не помѣшалъ Нежданову выпить... а то такъ-таки не вывелъ бы его изъ кружала.—Другіе бы его не пустили.

— „Ну, а какъ заслабѣлъ-то онъ очень, я и попросилъ съ поклонами: „Господа, молъ, честные, отпустите паренька; видите, младъ больно“... Ну, и отпустили; только полтинникъ магарыча, говорятъ, подавай!—Я такъ и далъ“.

— И хорошо сдѣлалъ,—похвалилъ его Соломинъ.

Неждановъ спалъ; а Маріанна сидѣла подъ окномъ и глядѣла въ палисадникъ. — И, странное дѣло! — Нехорошія, *почти злыя чувства* и мысли, волновавшія ее до

прибытія Нежданова съ Павломъ, — покинули ее разомъ; самъ Неждановъ нисколько не былъ ни противенъ ей, ни гадокъ: она жалѣла его. — Она знала очень хорошо, что онъ не развратникъ и не пьяница—и уже думала о томъ, что̀ сказать ему, когда онъ проснется: что-нибудь дружелюбное, чтобы онъ не слишкомъ совѣстился и огорчался. „Надо такъ сдѣлать, надо — чтобы онъ самъ разсказалъ, какъ эта бѣда стряслась надъ нимъ".

Она не волновалась; но ей было грустно... безотрадно грустно. На нее, какъ будто, повѣяло настоящимъ запахомъ того міра, куда она стремилась... и содрогнулась она отъ этой грубости и темноты. — Какому Молоху собиралась она принести себя въ жертву?

Однако—нѣтъ! Быть не можетъ!—Это—такъ; это случайно, и сейчасъ пройдетъ. — Мгновенное впечатлѣніе, которое потому только ее поразило, что было слишкомъ неожиданно. — Она встала, подошла къ дивану, на которомъ лежалъ Неждановъ, утерла платкомъ его блѣдный, даже во снѣ мучительно стянутый лобъ, откинула назадъ его волосы...

Ей снова стало жалко его; такъ мать жалѣетъ своего больного ребенка.—Но глядѣть на него ей было немного жутко—и она тихонько ушла въ свою комнату, оставивъ дверь незапертою.

Никакой работы не взяла она въ руки;—и сѣла опять—и опять нашли на нее думы. — Она чувствовала, какъ время таяло, какъ минута исчезала за минутой, и ей было даже пріятно это чувствовать — и сердце у ней билось—и она опять принялась ждать чего-то.

Куда это Соломинъ дѣлся?

Дверь тихонько скрипнула—и Татьяна вошла въ комнату.

— Что̀ вамъ?—спросила Маріанна почти съ досадой.

— Маріанна Викентьевна,—начала Татьяна вполголоса.—Вотъ что̀. Вы не огорчайтесь! потому, дѣло житейское;—и еще слава Богу...

— Я нисколько не огорчаюсь, Татьяна Осиповна,—*перебила ее* Маріанна.—Алексѣй Дмитричъ не совсѣмъ здоровъ, *важность* не велика!..

— Ну, и чудесно!—А то, я думаю: не идетъ моя Маріанна Викентьевна, думаю: что съ ней?—Но я все-таки не пошла бы къ вамъ, потому въ этомъ разѣ первое правило: не трожь, не ворошь!—Только тутъ явился къ намъ на фабрику какой-то — кто его знаетъ? Маленькій такой да хроменькій: вынь да положь ему Алексѣя Дмитрича!—И что за чудеса: сегодня утромъ эта женка его спрашивала... а теперь вотъ этотъ хромой. — А коли, говоритъ, Алексѣя Дмитрича нѣтъ,—подавай ему Василья Ѳедотыча!—Не пойду безъ того, говоритъ; потому, говоритъ, дѣло оченно важное. Мы его гнать, какъ ту женку.—Василія-то Ѳедотыча, точно нѣтъ... отлучился; — а тотъ-то-хромой: — не пойду, говоритъ, буду ждать хотя до ночи... Такъ по двору и ходитъ.—Вотъ, подите сюда, въ коридорчикъ; увидѣть его изъ окошка можете... не узнаете ли, что за кавалеръ такой?

Маріанна послѣдовала за Татьяной—ей пришлось пройти мимо Нежданова—и она опять замѣтила болѣзненно-нахмуренный лобъ, и опять провела по немъ платкомъ.—Сквозь пыльное стекло окошка она увидѣла посѣтителя, о которомъ говорила Татьяна. Онъ былъ ей незнакомъ.—Но въ ту же минуту изъ-за угла дома показался Соломинъ.

Маленькій хромой человѣчекъ быстро подошелъ къ нему, протянулъ ему руку.—Соломинъ взялъ ее. Онъ, очевидно, зналъ этого человѣка. Оба скрылись...

Но вотъ, уже слышатся ихъ шаги по лѣстницѣ... Они идутъ сюда...

Маріанна проворно вернулась въ свою комнату—и остановилась по серединѣ, съ трудомъ переводя дыханіе.—Ей было страшно... чего? Она сама не знала.

Голова Соломина показалась въ дверяхъ.

— Маріанна Викентьевна, позвольте войти къ вамъ. Я привелъ человѣка, котораго вамъ непремѣнно нужно видѣть.

Маріанна только кивнула головой въ отвѣтъ, и вслѣдъ за Соломинымъ *явился*—Паклинъ.

XXXIII.

— Я другъ вашего супруга,—промолвилъ онъ, низко склоняясь передъ Маріанной и какъ бы стараясь скрыть отъ нея свое перетревоженное, перепуганное лицо;—я также другъ Василія Ѳедотыча. Алексѣй Дмитричъ спитъ;—онъ, я слышу, нездоровъ; а я, къ сожалѣнью, привезъ дурныя вѣсти, которыя я уже успѣлъ частью сообщить Василію Ѳедотычу—и вслѣдствіе которыхъ нужно принять нѣкоторыя рѣшительныя мѣры.

Голосъ Паклина безпрестанно обрывался, какъ у человѣка, котораго сушитъ и мучитъ жажда.—Вѣсти, которыя онъ привезъ, были дѣйствительно очень дурны!—Маркелова схватили крестьяне и препроводили въ городъ. Дурковатый приказчикъ выдалъ Голушкина: его арестовали.—Онъ, въ свою очередь, все и всѣхъ выдаетъ, желаетъ перейти въ православіе, жертвуетъ въ гимназію портретъ митрополита Филарета и препроводилъ уже пять тысячъ рублей для раздачи „увѣчнымъ воинамъ“.—Нѣтъ никакого сомнѣнія, что онъ выдалъ Нежданова; полиція можетъ ежеминутно нагрянуть на фабрику. Василію Ѳедотычу тоже грозитъ опасность.—Что касается до меня,—прибавилъ Паклинъ: — то я удивляюсь, какъ я еще расхаживаю на свободѣ; хотя, вѣдь, собственно политикой я никогда не занимался и ни въ какихъ планахъ не участвовалъ!—Я воспользовался забывчивостью или оплошностью полиціи, чтобы предувѣдомить васъ и сообразить, какія можно употребить средства... къ удаленію всякихъ непріятностей.

Маріанна выслушала Паклина до конца.—Она не испугалась — она даже осталась спокойною... Но вѣдь точно: надобно же было что-нибудь предпринять! — Первымъ ея движеніемъ было обратить глаза на Соломина.

Онъ тоже казался спокойнымъ; только вокругъ губъ чуть-чуть шевелились мускулы—и это была не его обычная улыбка.

Соломинъ понялъ значеніе Маріаннина взгляда: она *ждала*, что онъ скажетъ, чтобы такъ поступить.

— Дѣло, дѣйствительно, довольно щекотливое,—началъ онъ: — Нежданову, я полагаю, не худо на время скрыться.—Кстати, какимъ манеромъ узнали вы, что онъ здѣсь, г. Паклинъ?

Паклинъ махнулъ рукою.

— Одинъ индивидуй сказалъ. Видѣлъ его, когда онъ расхаживалъ по окрестностямъ и проповѣдывалъ.—Ну, и выслѣдилъ его, хоть и не съ дурной цѣлью.— Онъ изъ сочувствующихъ. — Извините, — прибавилъ онъ, обратившись къ Маріаннѣ: — но, право же, другъ нашъ Нежда-новъ былъ очень... очень неосторожень.

— Упрекать его теперь не къ чему,—заговорилъ опять Соломинъ.—Жаль, что съ нимъ посовѣтоваться нельзя; но до завтра болѣзнь его пройдетъ,—а полиція не такъ быстра, какъ вы предполагаете. Вѣдь и вамъ, Маріанна Викентьевна, придется съ нимъ удалиться.

— Непремѣнно,—глухо, но твердо отвѣчала Маріанна.

— Да!—сказалъ Соломинъ. — Надо будетъ подумать;— надо будетъ поискать: гдѣ и какъ?

— Позвольте изложить вамъ одну мысль,—началъ Паклинъ: — мысль эта пришла мнѣ въ голову, когда я сюда ѣхалъ. Спѣшу замѣтить, что извозчика изъ города я отпустилъ за версту отсюда.

— Какая эта мысль?—спросилъ Соломинъ.

— Вотъ что. — Дайте мнѣ сейчасъ лошадей... и я поскачу къ Сипягинымъ.

— Къ Сипягинымъ!—повторила Маріанна.—Зачѣмъ?

— А вотъ увидите.

— Да развѣ вы ихъ знаете?

— Ни малѣйше! Но послушайте.—Обсудите мою мысль хорошенько. Она мнѣ кажется просто геніальной.—Вѣдь Маркеловъ—зять Сипягина, братъ его жены. Не такъ ли? Неужели же этотъ баринъ ничего не сдѣлаетъ, чтобы спасти его? И къ тому же — самъ Неждановъ! — Положимъ, что г. Сипягинъ сердитъ на него... Но вѣдь, все же, Неждановъ сталъ его родственникомъ, женившись на васъ. И опасность, которая виситъ надъ головою нашего друга...

— *Я не замужемъ*,—замѣтила Маріанна.

Паклинъ даже вздрогнулъ.

— Какъ?! Не успѣли въ теченіе всего этого времени!— Ну, ничего,—прибавилъ онъ:—соврать можно. Все равно: вы теперь вступите же въ бракъ.—Право, другого ничего не придумаешь! — Обратите вниманіе на то, что до сихъ поръ Сипягинъ не рѣшился васъ преслѣдовать. Слѣдовательно, въ немъ есть нѣкоторое... великодушіе.—Я вижу, вамъ это выраженіе не нравится — скажемъ: нѣкоторая чванливость. Отчего же намъ ею не воспользоваться и въ данномъ случаѣ? Посудите!

Маріанна подняла голову и провела рукой по волосамъ.

— Вы можете пользоваться чѣмъ вамъ угодно для Маркелова, г. Паклинъ... или для васъ самихъ: но мы съ Алексѣемъ не желаемъ ни заступничества, ни покровительства г-на Сипягина. Мы покинули его домъ не для того, чтобы стучаться въ его дверь просителями. Ни до великодушія, ни до чванливости г-на Сипягина или его жены намъ нѣтъ никакого дѣла!

— Это—чувства весьма похвальныя,—отвѣчалъ Паклинъ (а самъ подумалъ: „вишь ты! какъ водой меня окатила!“)—хотя съ другой стороны, если сообразить... Впрочемъ, я готовъ повиноваться. Буду хлопотать о Маркеловѣ, объ одномъ нашемъ добромъ Маркеловѣ!—Замѣчу только, что онъ ему родственникъ не по крови—а по женѣ — между тѣмъ какъ вы...

— Г-нъ Паклинъ, прошу васъ!

— Слушаю... слушаю! — Только не могу не выразить своего сожалѣнія, потому что Сипягинъ человѣкъ очень сильный.

— А за себя вы не боитесь?—спросилъ Соломинъ.

Паклинъ выставилъ грудь.

— Въ подобныя минуты о себѣ не слѣдуетъ думать!— промолвилъ онъ гордо.—А между тѣмъ, онъ именно думалъ о себѣ.—Онъ хотѣлъ (бѣдненькій, слабенькій!) забѣжать, какъ говорится, зайцемъ. Въ силу оказанной услуги, Сипягинъ могъ, если бы предстала въ томъ нужда, *замолвить* о немъ слово.—Вѣдь и онъ,—какъ тамъ ни толкуй!—былъ замѣшанъ,—слышалъ... и даже самъ болтался!

— Я нахожу, что ваша мысль—недурна,—промолвилъ наконецъ Соломинъ:—хоть собственно на успѣхъ надѣюсь мало. Во всякомъ случаѣ, попытаться можно. Испортить—вы ничего не испортите.

— Конечно, ничего. — Ну, — положимъ самое худшее: прогонятъ меня въ зашеи... Что́ за бѣда!

— Бѣды въ томъ, точно, нѣтъ никакой... („Mercі", подумалъ Паклинъ—а Соломинъ продолжалъ:)—Который-то часъ?—Пятый. Времени терять нечего. Лошади вамъ сейчасъ будутъ. Павелъ!

Но на мѣсто Павла, на порогѣ комнаты показался Неждановъ. — Онъ пошатывался на ногахъ, придерживаясь одной рукой за притолку — и, безсильно раскрывъ губы, глядѣлъ помутившимся взоромъ. Онъ ничего не понималъ.

Паклинъ первый подошелъ къ нему.

— Алеша! — воскликнулъ онъ: — вѣдь ты меня признаешь? Неждановъ посмотрѣлъ на него, медленно мигая:

— Паклинъ?—проговорилъ онъ, наконецъ.

— Да, да: это я. Ты нездоровъ?

— Да... Я нездоровъ. Но... зачѣмъ ты здѣсь?

— Зачѣмъ я...—Но въ эту минуту Маріанна тихонько тронула Паклина за локоть. Онъ оглянулся—и увидѣлъ, что она ему дѣлаетъ знаки... — Ахъ, да! — пробормоталъ онъ громко:—я пріѣхалъ сюда по одному важному дѣлу—и сейчасъ отправляюсь дальше... Тебѣ Соломинъ все разскажетъ — а также Маріанна... Маріанна Викентьевна.—Они оба вполнѣ одобряютъ мое намѣреніе.—Дѣло идетъ обо всѣхъ насъ:—то-есть нѣтъ, нѣтъ,—подхватилъ онъ въ отвѣтъ на взглядъ и движеніе Маріанны...— Дѣло идетъ о Маркеловѣ; о нашемъ общемъ пріятелѣ Маркеловѣ;—о немъ одномъ. Но теперь прощай! Минута каждая дорога,—прощай другъ... Мы еще увидимся. — Василій Ѳедотычъ, угодно вамъ пойти со мною распорядиться насчетъ лошадей?

— Извольте.—Маріанна, я хотѣлъ-было сказать вамъ: будьте тверды! Да это не нужно.—Вы—настоящая!

— О, да! О, да,—поддакнулъ Паклинъ.—Вы римлянка временъ Катона. Утическаго Катона! Однако, пойдемте, *Василій Ѳедотычъ*,—пойдемте!

— Успѣете,—съ лѣнивой уемѣшкой промолвилъ Соломинъ. Неждановъ посторонился немного, чтобы пропустить ихъ обоихъ... Но въ глазахъ его было все то же непониманіе. Потомъ онъ шагнулъ раза два — и тихо сѣлъ на стулъ, лицомъ къ Маріаннѣ.

— Алексѣй, — сказала она ему: — все открылось; Маркелова схватили крестьяне, которыхъ онъ пытался поднять; онъ сидитъ арестованнымъ въ городѣ, такъ же, какъ и тотъ купецъ, съ которымъ ты обѣдалъ; вѣроятно, и за нами скоро пріѣдетъ полиція.—А Паклинъ отправился къ Сипягину.

— Зачѣмъ?—прошепталъ едва слышно Неждановъ. Но глаза его просвѣтлѣли — лицо приняло обычное выраженіе. Хмель мгновенно соскочилъ съ него.

— А затѣмъ, чтобы попытаться, не заступится ли онъ.

Неждановъ выпрямился...—За насъ?

— Нѣтъ; за Маркелова. Онъ хотѣлъ было просить и за насъ... да я не позволила.—Хорошо я сдѣлала, Алексѣй?

— Хорошо ли?—промолвилъ Неждановъ, и, не поднимаясь со стула, протянулъ къ ней руки. —Хорошо ли?— повторилъ онъ—и, приблизивъ ее къ себѣ и прижавшись лицомъ къ ея стану, внезапно залился слезами.

— Что съ тобой? Что съ тобой?—воскликнула Маріанна.—Какъ тотъ разъ, когда онъ палъ передъ ней на колѣни, замирая и задыхаясь отъ внезапно нахлынувшей страсти, она и теперь положила обѣ свои руки на его трепетавшую голову. —Но что *она* теперь чувствовала— было уже совсѣмъ не то, что тогда. —Тогда она отдавалась ему—она покорялась — и только ждала, что онъ ей скажетъ. —Теперь она жалѣла его — и только думала о томъ, какъ бы его успокоить.

— Что съ тобой? — повторила она. — Зачѣмъ ты плачешь? Неужели оттого, что пришелъ домой въ немного... странномъ видѣ? Быть не можетъ!—Или тебѣ жаль Маркелова — и страшно за меня, за себя? Или нашихъ надеждъ тебѣ жаль? Не ожидалъ же ты, что все пойдетъ *какъ по маслу*.

Неждановъ вдругъ приподнялъ голову.

— Нѣтъ, Маріанна, — проговорилъ онъ, какъ бы оборвавъ свои рыданія:—не страшно мнѣ ни за тебя, ни за себя... А точно... мнѣ жаль...

— Кого?

— Тебя, Маріанна! Мнѣ жаль, что ты соединила свою судьбу съ человѣкомъ, который этого не стоитъ.

— Почему такъ?

— А хоть бы потому, что этотъ человѣкъ, въ такую минуту, можетъ плакать!

— Это не ты плачешь; плачутъ твои нервы!

— Мои нервы и я—все едино! — Ну, послушай, Маріанна, посмотри мнѣ въ глаза: неужели ты можешь мнѣ теперь сказать, что не раскаиваешься...

— Въ чемъ?

— Въ томъ, что ты ушла со мною?

— Нѣтъ!

— И ты пойдешь со мною дальше? Всюду?

— Да!

— Да? Маріанна... Да?

— Да. Я дала тебѣ руку, и пока ты будешь тѣмъ, кого я полюбила—я ея не отниму.

Неждановъ продолжалъ сидѣть на стулѣ; Маріанна стояла передъ нимъ. Его руки лежали вокругъ ея стана; ея руки опирались объ его плечи.— „Да“, „нѣтъ“, — думалъ Неждановъ... „а между тѣмъ, бывало, прежде—когда мнѣ случалось держать ее въ своихъ объятіяхъ— вотъ такъ, какъ теперь—ея тѣло оставалось по крайней мѣрѣ неподвижнымъ, а теперь, я чувствую: оно тихо, и—быть-можетъ, противъ ея воли—бѣжитъ отъ меня прочь!“

Онъ разжалъ свои руки... И точно, Маріанна чуть замѣтно отодвинулась назадъ.

— Вотъ что! — промолвилъ онъ громко. — Вѣдь если мы должны бѣжать... прежде чѣмъ полиція насъ накрыла... я думаю, не худо бы намъ сперва обвѣнчаться. Въ другомъ мѣстѣ, пожалуй, такого податливаго попа Зосиму не найдешь!

— Я готова,—промолвила Маріанна.

Неждановъ внимательно посмотрѣлъ на нее.

— Римлянка! — проговорилъ онъ съ нехорошей полуулыбкой.—Чувство долга!

Маріанна пожала плечомъ.

— Надо будетъ сказать Соломину.

— Да... Соломину...—протянулъ Неждановъ.—Но вѣдь и ему, чай, угрожаетъ опасность. Полиція и его возьметъ. — Мнѣ кажется, онъ участвовалъ и зналъ еще больше моего.

— Это мнѣ неизвѣстно,—отвѣчала Маріанна.—Онъ никогда не говоритъ о самомъ себѣ.

— „Не то, что я!“ подумалъ Неждановъ.—„Вотъ что она хотѣла сказать“.—Соломинъ... Соломинъ!—прибавилъ онъ, послѣ долгаго молчанія.—Вотъ, Маріанна, я бы не жалѣлъ тебя, если бъ человѣкъ, съ которымъ ты связала навсегда свою жизнь,—былъ такой же, какъ Соломинъ... или былъ самъ Соломинъ.

Маріанна, въ свою очередь, внимательно посмотрѣла на Нежданова.

— Ты не имѣлъ права это сказать,—промолвила она, наконецъ.

— Не имѣлъ права!—Въ какомъ смыслѣ мнѣ понять эти слова? Въ томъ ли, что ты *меня* любишь—или въ томъ, что я не долженъ былъ вообще касаться этого вопроса?

— Ты не имѣлъ права,—повторила Маріанна.

Неждановъ понурилъ голову.

— Маріанна!—произнесъ онъ нѣсколько измѣнившимся голосомъ.

— Что?

— Если бъ я теперь... если бъ я сдѣлалъ тебѣ тотъ вопросъ, ты знаешь?.. Нѣтъ, я ничего у тебя не спрошу... прощай.

Онъ всталъ и вышелъ; Маріанна его не удерживала. Неждановъ сѣлъ на диванъ и закрылъ лицо руками. Онъ пугался своихъ собственныхъ мыслей и старался не размышлять.—Онъ чувствовалъ одно: какая-то темная, подземная рука ухватилась за самый корень его существования—*и уже* не выпуститъ его. Онъ зналъ, что то хорошее, *дорогое* существо, которое осталось въ сосѣдней комнатѣ,

къ нему не выйдетъ;—а войти къ нему онъ не посмѣетъ. Да къ чему? Что сказать?

Быстрые, твердые шаги заставили его раскрыть глаза.— Соломинъ переходилъ черезъ его комнату и, постучавшись въ дверь Маріанны, вошелъ къ ней.

— Честь и мѣсто!—шепнулъ горькимъ шопотомъ Неждановъ.

XXXIV.

Было уже десять часовъ вечера, и въ гостиной села Аржаного—Сипягинъ, его жена и Калломѣйцевъ играли въ карты, когда вошедшій лакей доложилъ о пріѣздѣ какого-то незнакомца, г. Паклина, который желалъ видѣть Бориса Андреича по самонужнѣйшему и важнѣйшему дѣлу.

— Такъ поздно!—удивилась Валентина Михайловна.

— Какъ?—спросилъ Борисъ Андреичъ—и наморщилъ свой красивый носъ.—Какъ ты сказалъ фамилію этого господина?

— Они сказали: Паклинъ-съ.

— Паклинъ!—воскликнулъ Калломѣйцевъ. Прямо деревенское имя.—Паклинъ... Соломинъ... De vrais noms ruraux, hein?

— И ты говоришь,—продолжалъ Борисъ Андреичъ, обращаясь къ лакею все съ тѣмъ же наморщеннымъ носомъ:—что дѣло его важное, нужное?

— Они говорятъ-съ.

— Гмъ... Какой-нибудь ниціій или интриганъ.—(„Или то и другое вмѣстѣ“, ввернулъ Калломѣйцевъ.)—Очень можетъ быть. Попроси его въ кабинетъ.—Борисъ Андреичъ всталъ.—Pardon, ma bonne.—Сыграйте, пока, въ экарте.—Или подождите меня... я скоро вернусь.

— Nous causerons... allez!—промолвилъ Калломѣйцевъ.

Когда Сипягинъ вошелъ къ себѣ въ кабинетъ и увидалъ мизерную, тщедушную фигурку Паклина, смиренно прижавшуюся въ простѣнокъ между каминомъ и дверью—имъ овладѣло то истинно-министерское чувство высокомѣрной жалости и гадливаго снисхожденія, которое столь *свойственно петербургскому* сановному люду.— „Господи!

Какая несчастная пиголица!“ подумалъ онъ; „да еще, кажется, хромаетъ!“

— Садитесь,—промолвилъ онъ громко, пуская въ ходъ свои благосклоннѣйшія баритонныя ноты, пріятно подергивая назадъ закинутой головкой—и садясь прежде гостя.—Вы, я полагаю, устали съ дороги; садитесь и объяснитесь: какое такое важное дѣло привело васъ ко мнѣ столь поздно?

— Я, ваше превосходительство, — началъ Шаклинъ, осторожно опускаясь на кресло:—позволилъ себѣ явиться къ вамъ...

— Погодите, погодите,—перебилъ его Сипягинъ.—Я васъ вижу не въ первый разъ. Я никогда не забываю ни одного лица, съ которымъ мнѣ случилось встрѣтиться; я помню все. — А... а... а... собственно... гдѣ я васъ встрѣтилъ?

— Вы, ваше превосходительство, не ошибаетесь.—Я имѣлъ честь встрѣтиться съ вами въ Петербургѣ, у одного человѣка, который... который съ тѣхъ поръ... къ сожалѣнію... возбудилъ ваше негодованіе...

Сипягинъ быстро поднялся съ кресла.

— У г-на Нежданова! Я вспоминаю теперь.—Ужъ не отъ него ли вы пріѣхали?

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство; напротивъ... я...

Сипягинъ снова сѣлъ.

— И хорошо сдѣлали. Потому что я, въ такомъ случаѣ, попросилъ бы васъ немедленно удалиться. — Никакого посредника между мною и г-мъ Неждановымъ я допустить не могу. Г-нъ Неждановъ нанесъ мнѣ одно изъ тѣхъ оскорбленій, которыя не забываются... Я выше мести;—но ни о немъ я не хочу ничего знать, ни о той дѣвицѣ—впрочемъ, болѣе развращенной умомъ, нежели сердцемъ (эту фразу Сипягинъ повторялъ чуть не въ тридцатый разъ послѣ бѣгства Маріанны)—которая рѣшилась покинуть кровъ дома, ее пріютившаго, чтобы сдѣлаться *любовницей* безроднаго проходимца!—Довольно съ нихъ *того*, что я ихъ забываю!

При этомъ послѣднемъ словѣ Сипягинъ двинулъ кистью руки прочь отъ себя, снизу вверхъ.

— Я забываю ихъ, милостивый государь!

— Ваше превосходительство, я уже доложилъ вамъ, что я явился сюда не отъ ихъ имени;—хотя, все-таки, могу, между прочимъ, сообщить вашему превосходительству, что они уже сочетались узами законнаго брака... („А, все равно!“ подумалъ Паклинъ: „я сказалъ, что совру... вотъ и совралъ. Куда ни шло!“)

Сипягинъ поёрзалъ затылкомъ по спинкѣ кресла, вправо и влѣво.

— Это меня нисколько не интересуетъ, милостивый государь.—Однимъ глупымъ бракомъ на свѣтѣ больше—вотъ и все.—Но какое же то самонужнѣйшее дѣло, которому я обязанъ удовольствіемъ вашего посѣщенія?

„А! проклятый директоръ департамента!“ снова подумалъ Паклинъ.—„Будетъ тебѣ ломаться, англійская морда!“

— Братъ вашей супруги, — промолвилъ онъ громко:— г-нъ Маркеловъ,—схваченъ мужиками, которыхъ вздумалъ возмущать—и сидитъ взаперти въ губернаторскомъ домѣ.

Сипягинъ вскочилъ во второй разъ.

— Что... что вы сказали?—залепеталъ онъ ужъ вовсе не министерскимъ баритономъ, — а такъ, какою-то гортанной дрянью.

— Я сказалъ, что вашъ зять схваченъ и сидитъ на цѣпи.—Я, какъ только узналъ объ этомъ, взялъ лошадей и пріѣхалъ васъ предувѣдомить. Я полагалъ, что могу оказать этимъ нѣкоторую услугу и вамъ, и тому несчастному, котораго вы можете спасти!

— Очень вамъ благодаренъ,—проговорилъ все тѣмъ же слабымъ голосомъ Сипягинъ—и съ размаху ударивъ ладонью по колокольчику въ видѣ гриба, наполнилъ весь домъ металлическимъ звономъ стального тембра.—Очень вамъ благодаренъ,—повторилъ онъ уже болѣе рѣзко:— но знайте: человѣкъ, рѣшившійся попрать всѣ законы, божескіе и человѣческіе, будь онъ сто разъ мнѣ родственникъ—въ моихъ глазахъ не есть несчастный, онъ— *преступникъ!*

Лакей вскочилъ въ кабинетъ.

— Изволите приказать?

— Карету! Сію минуту карету четверней! — Я ѣду въ городъ.—Филиппъ и Степанъ со мною!—Лакей выскочилъ.— Да, сударь, мой зять—есть преступникъ; и въ городъ ѣду я не затѣмъ, чтобы его спасать!—О, нѣтъ!

— Но, ваше превосходительство...

— Таковы мои правила, милостивый государь,—и прошу меня возраженіями не утруждать!

Сипягинъ принялся ходить взадъ и впередъ по кабинету,—а Паклинъ даже глаза вытаращилъ.—„Фу ты, чортъ!“ думалъ онъ:—„да вѣдь про тебя говорили, что ты либералъ?!—А ты левъ рыкающій!“

Дверь распахнулась — и проворными шагами вошли: сперва Валентина Михайловна,—а за нею Калломѣйцевъ.

— Что это значитъ, Борисъ? ты велѣлъ карету заложить? ты ѣдешь въ городъ? что случилось?

Сипягинъ приблизился къ женѣ—и взялъ ее за правую руку, между локтемъ и кистью.—Il faut vous armer de courage, ma chère.—Вашего брата арестовали.

— Моего брата? Сережу? за что?

— Онъ проповѣдывалъ мужикамъ соціалистическія теоріи—(Калломѣйцевъ слабо взвизгнулъ). Да! Онъ проповѣдывалъ имъ революцію, онъ пропагандировалъ! Они его схватили—и выдали.—Теперь онъ сидитъ... въ городѣ.

— Безумецъ! Но кто это сказалъ?..

— Вотъ господинъ... господинъ... какъ бишь его?.. Господинъ Конопатинъ привезъ эту вѣсть.

Валентина Михайловна взглянула на Паклина. Тотъ уныло поклонился.—(„А баба какая знатная!“—подумалось ему. — Даже въ подобныя трудныя минуты... ахъ, какъ былъ доступенъ Паклинъ вліянію женской красоты!)

— И ты хочешь ѣхать въ городъ—такъ поздно?

— Я еще застану губернатора на ногахъ.

— Я всегда предсказывалъ, что это такъ должно было кончиться,—вмѣшался Калломѣйцевъ.—Это не могло быть *иначе!*—Но какіе славные русскіе наши мужички!—Чудо!—*Pardon*, madame, c'est votre frère! Mais la vérité avant tout

— Неужели ты въ самомъ дѣлѣ хочешь ѣхать, Боря?— спросила Валентина Михайловна.

— Я убѣжденъ также,— продолжалъ Калломѣйцевъ: — что и тотъ, тотъ *учитель*, г-нъ Неждановъ, тутъ же замѣшанъ. — J'en mettrais ma main au feu. — Это все одна шайка! Его не схватили? Вы не знаете?

Сипягинъ опять двинулъ кистью руки.

— Не знаю — и не желаю знать! Кстати, — прибавилъ онъ, обращаясь къ женѣ:—il paraît qu'ils sont mariés.

— Кто это сказалъ? Тотъ же господинъ? — Валентина Михайловна опять посмотрѣла на Паклина, но прищурилась на этотъ разъ.

— Да, тотъ же.

— Въ такомъ случаѣ, — подхватилъ Калломѣйцевъ: — онъ непремѣнно знаетъ, гдѣ они. — Вы знаете, гдѣ они? Знаете, гдѣ они? А? А? А? Знаете? — Калломѣйцевъ началъ шмыгать передъ Паклинымъ, какъ бы желая преградить ему дорогу, хотя тотъ и не изъявлялъ никакого поползновенія бѣжать.—Да говорите же! Отвѣчайте! А? А? Знаете? Знаете?

— Хоть бы зналъ-съ, — промолвилъ съ досадой Паклинъ,—въ немъ жёлчь, наконецъ, шевельнулась, и глазки его заблистали:—хоть бы зналъ-съ, вамъ бы не сказалъ-съ.

— О... о... о.... — пробормоталъ Калломѣйцевъ. — Слышите... Слышите! — Да этотъ тоже — этотъ тоже, должно-быть, изъ ихъ банды!

— Карета готова!—гаркнулъ вошедшій лакей.

Сипягинъ схватилъ свою шляпу красивымъ, бойкимъ жестомъ; — но Валентина Михайловна такъ настойчиво стала его упрашивать остаться до завтрашняго утра, она представила ему такіе убѣдительные доводы: и ночь-то на дворѣ, и въ городѣ всѣ будутъ спать, и онъ только разстроитъ свои нервы и простудиться можетъ,—что Сипягинъ, наконецъ, согласился съ нею, воскликнулъ:

— Повинуюсь! — и такимъ же краснымъ, но уже не бойкимъ жестомъ поставилъ шляпу на столъ.

— Карету отложить! — скомандовалъ онъ лакею. — но *завтра, ровно въ шесть* часовъ утра, чтобы она была го-

това! Слышишь?— Ступай!— Стой! Экипажъ господина... господина гостя отослать. Извозчику заплатить!— А? Вы, кажется, что-то говорите, г-нъ Конопатинъ? — Я возьму васъ завтра съ собою, г-нъ Конопатинъ!— Что̀ вы говорите? Я не слышу... Вы вѣдь пьете водку?—Подай водки г-ну Конопатину!—Нѣтъ? Не пьете?—Въ такомъ случаѣ... Ѳедоръ! Отведи ихъ въ зеленую комнату!— Спокойной но̀чи, г-нъ Коно...

Паклинъ вышелъ, наконецъ, изъ терпѣнія.

— Паклинъ!—завопилъ онъ.— Моя фамилія: Паклинъ!

— Да... да; ну, да это все равно.—Похоже, знаете. Какой у васъ, однако, громкій голосъ, при вашей сухощавой комплекціи!— До завтра, г-нъ Паклинъ... *Такъ* я теперь сказалъ? Siméon, vous viendrez avec nous?

— Je crois bien!

И Паклина отвели въ зеленую комнату. И даже заперли его. Ложась спать, онъ слышалъ, какъ щелкнулъ ключъ въ звонкомъ англійскомъ замкѣ.—Сильно онъ себя выбранилъ за свою „геніальную“ мысль— и спалъ очень дурно.

На другое утро рано, въ половинѣ шестого, его пришли разбудить. Подали ему кофе; пока онъ пилъ— лакей, съ пестрымъ аксельбантомъ на плечѣ, ждалъ, держа подносъ на рукахъ и переминаясь ногами: „Поспѣшай-молъ— господа дожидаются“. Потомъ его повели внизъ. Карета уже стояла передъ домомъ.—Тутъ же стояла и коляска Калломѣйцева. Сипягинъ появился на крыльцѣ, въ камлотовой шинели съ круглымъ воротникомъ. Такихъ шинелей никто уже давно не носилъ, за исключеніемъ одного, очень сановнаго лица, которому Сипягинъ старался прислуживать и подражать. Въ важныхъ офиціальныхъ случаяхъ онъ потому и надѣвалъ подобную шинель.

Сипягинъ довольно привѣтливо раскланялся съ Паклинымъ—и энергическимъ движеніемъ руки указавъ ему на карету, попросилъ его сѣсть въ нее.— Г-нъ Паклинъ, вы ѣдете со мною, г-нъ Паклинъ! Положите на ко̀зла сакъ-*вояжъ г-на* Паклина! Я везу г-на Паклина, — говорилъ *онъ, напирая* на слово: Паклинъ! и на букву: а! „Ты,

молъ, имѣешь такое прозвище, да еще обижаешься, когда тебѣ его иначатъ? — Такъ вотъ же тебѣ! Кушай! Подавись!“—Г-нъ Паклинъ! Паклинъ!! Звучно раздавалось злосчастное имя въ свѣжемъ утреннемъ воздухѣ. Онъ былъ такъ свѣжъ, что заставилъ вышедшаго за Сипягинымъ Калломѣйцева нѣсколько разъ произнести по-французски: Brrr! brrr! brrr!—и плотнѣе завернуться въ шинель, садясь въ свою щегольскую коляску съ откинутымъ вѣрхомъ.—(Бѣдный его другъ, князь Михаилъ Сербскій Обреновичъ, увидѣвъ ее, купилъ себѣ точно такую же у Бендера... „Vous savez, Binder, le grand carrossier des Champs Elysées?“) Изъ-за полураскрытыхъ ставенъ окна въ спальнѣ выглядывала, „въ чепцѣ, въ ночномъ платочкѣ“, Валентина Михайловна.

Сипягинъ сѣлъ, сдѣлалъ ей ручкой.

— Вамъ ловко, г-нъ Паклинъ!—Трогай!

— Je vous recommande mon frère, épargnez-le,—послышался голосъ Валентины Михайловны.

— Soyez tranquille!—воскликнулъ Калломѣйцевъ, бойко взглянувъ на нее изъ-подъ околыша какой-то, имъ самимъ сочиненной, дорожной фуражки съ кокардой...—C'est surtout l'autre, qu'il faut pincer!

— Трогай!—повторилъ Сипягинъ.—Г-нъ Паклинъ, вамъ не холодно?—Трогай!

Экипажи покатились.

Первыя десять минутъ и Сипягинъ, и Паклинъ безмолвствовали.—Злополучный Силушка, въ своемъ неказистомъ пальтишкѣ и помятой фуражкѣ, казался еще мизернѣе на темно-синемъ фонѣ богатой шелковой матеріи, которою была обита внутренность кареты. Онъ молча оглядывалъ и тонкія голубыя шторы, быстро взвивавшіяся отъ одного прикосновенія пальца къ пружинѣ, и полость изъ нѣжнѣйшей бѣлой бараньей шерсти въ ногахъ — и вдѣланный спереди ящикъ краснаго дерева съ выдвижной дощечкой для письма и даже полочкой для книгъ—(Борисъ Андреичъ, не то, что любилъ,—а желалъ, чтобы другіе думали, что онъ любитъ—работать въ каретѣ, *подобно Тьéру, во время* путешествія). Паклинъ чувствовалъ

робость. Сипягинъ раза два взглянулъ на него черезъ выбритую до лоска щеку — и съ медлительной важностью вынувъ изъ бокового кармана серебряную сигарочницу съ кудрявымъ вензелемъ славянской вязью — предложилъ... дѣйствительно предложилъ ему сигару, едва держа ее между вторымъ и третьимъ пальцемъ руки, облеченной въ желтую англійскую перчатку изъ собачьей кожи.

— Я не курю,—пробормоталъ Паклинъ.

— А! — отвѣчалъ Сипягинъ, и самъ закурилъ сигару, которая оказалась превосходнѣйшей регаліей.

— Я долженъ вамъ сказать... любезный господинъ Паклинъ,—началъ онъ, вѣжливо попыхивая и испуская тонкія, круглыя струйки благовоннаго дыма... — что я... въ сущности... очень вамъ... благодаренъ... Я могъ показаться... вамъ вчера... нѣсколько рѣзкимъ... что не въ моемъ... характерѣ (Сипягинъ съ намѣреніемъ неправильно разсѣкалъ свою рѣчь). — Смѣю васъ въ этомъ увѣрить. — Но, г-нъ Паклинъ! войдите же и вы въ мое... положеніе— (Сипягинъ перекатилъ сигару изъ одного угла рта въ другой).—Мѣсто, которое я занимаю, ставитъ меня... такъ сказать... на виду; и вдругъ... братъ моей жены... компрометируетъ и себя... и меня такимъ невѣроятнымъ образомъ! А? Г-нъ Паклинъ!—Вы, можетъ-быть, думаете: это—ничего?

— Я этого не думаю, ваше превосходительство.

— Вы не знаете, за что собственно... и гдѣ именно его арестовали?

— Слышалъ я, что въ Т....мъ уѣздѣ.

— Отъ кого вы слышали?

— Отъ... отъ одного человѣка.

— Конечно, не отъ птицы.—Но отъ какого человѣка?

— Отъ... отъ одного помощника правителя дѣлъ канцеляріи губернатора...

— Какъ его зовутъ?

— Правителя?

— Нѣтъ, помощника?

— Его... его зовутъ Ульяшевичемъ. Онъ очень хорошій чиновникъ, ваше превосходительство. — Узнавъ объ этомъ происшествіи, я тотчасъ поспѣшилъ къ вамъ.

— Ну, да, ну, да! — И я повторяю, что весьма вамъ благодаренъ. — Но какое безуміе! — Вѣдь это безуміе? а? Г-нъ Паклинъ? а?

— Совершенное безуміе! — воскликнулъ Паклинъ—а у самого по спинѣ теплой змѣйкой заструился потъ. — Это значитъ,—продолжалъ онъ:—не понимать вовсе русскаго мужика.—У г-на Маркелова, сколько я его знаю, сердце очень доброе и благородное; — но русскаго мужика онъ никогда не понималъ (Паклинъ глянулъ на Сипягина, который, слегка повернувшись къ нему, обдавалъ его холоднымъ, но не враждебнымъ взоромъ).—Русскаго мужика даже въ бунтъ можно вовлечь не иначе, какъ пользуясь его преданностью высшей власти, царскому роду. Должно выдумать какую-нибудь легенду — вспомните лже-Димитрія; — показать какіе-нибудь царскіе знаки на груди, выжженные раскаленными пятаками.

— Да, да, какъ Пугачевъ,—перебилъ Сипягинъ такимъ тономъ, какъ будто хотѣлъ сказать: „Мы исторію еще не забыли... не расписывай!“—и прибавивъ:—Это безуміе! это безуміе!—погрузился въ созерцаніе быстрой струйки дыма, поднимавшейся съ конца сигары.

— Ваше превосходительство!—замѣтилъ осмѣлившійся Паклинъ: — я сейчасъ сказалъ вамъ, что я не курю... но это неправда—я курю; и сигара ваша такъ восхитительно пахнетъ...

— А? что? что такое?—проговорилъ Сипягинъ, какъ бы просыпаясь;—и, не давши Паклину повторить сказанное, чѣмъ самымъ несомнѣнно доказалъ, что очень хорошо слышалъ его слова, но сдѣлалъ учащенные вопросы единственно для важности, — подалъ ему раскрытую сигарочницу.

Паклинъ осторожно и благодарно закурилъ.

„Вотъ, кажется, удобная минута“, подумалъ онъ; но Сипягинъ его предупредилъ.

— Вы, помнится, говорили мнѣ также,—произнесъ онъ небрежнымъ голосомъ, прерывая самого себя, разсматривая свою сигару, передвигая шляпу съ затылка на лобъ:— *вы говорили... а? вы* говорили о томъ... о томъ вашемъ

пріятелѣ, который женился на моей... родственницѣ.—Вы ихъ видаете?—Они недалеко поселились отсюда?

(„Эге!“—подумалъ Паклинъ:—„Сила, берегись!“)

— Я ихъ видѣлъ всего разъ, ваше превосходительство! Они живутъ, дѣйствительно... не въ слишкомъ далекомъ разстояніи отсюда.

— Вы, конечно, понимаете,—продолжалъ тѣмъ же манеромъ Сипягинъ:—что я не могу болѣе серьезно интересоваться, какъ я уже объяснилъ вамъ,—ни той легкомысленной дѣвицей, ни вашимъ пріятелемъ.—Боже мой! предразсудковъ у меня нѣтъ, но вѣдь согласитесь: это уже изъ рукъ вонъ.—Глупо, знаете. Впрочемъ, я полагаю, ихъ соединила болѣе политика... (политика!!—повторилъ онъ, и пожалъ плечами)—чѣмъ какое-либо иное чувство.

— И я такъ полагаю, ваше превосходительство!

— Да, г-нъ Неждановъ былъ совсѣмъ красный.—Отдаю ему справедливость: онъ своихъ мнѣній не скрывалъ.

— Неждановъ, — рискнулъ Паклинъ: — быть-можетъ, увлекался; но сердце въ немъ...

— Доброе,—подхватилъ Сипягинъ:—конечно... конечно, какъ у Маркелова. — У всѣхъ у нихъ сердца добрыя. — Вѣроятно, и онъ участвовалъ,—и будетъ тоже завлеченъ... Придется еще заступаться за него!

Паклинъ сложилъ руки передъ грудью.—Ахъ, да, да, ваше превосходительство!—Окажите ему ваше покровительство! Право... онъ стоитъ... стоитъ вашего участія.

Сипягинъ хмыкнулъ.

— *Вы* полагаете?

— Наконецъ, если не для него... то для вашей племянницы; для его супруги!—(Боже мой! Боже мой!—думалъ Паклинъ:—что это я вру!)

Сипягинъ прищурился.

— Вы, я вижу, очень преданный другъ. Это хорошо; это похвально, молодой человѣкъ.—Итакъ, вы говорите, они живутъ здѣсь близко!

— Да, ваше превосходительство; въ одномъ большомъ *заведеніи*...—Тутъ Паклинъ прикусилъ себѣ языкъ.

— *Те*, те, те, те... у Соломина! вотъ гдѣ!—Впрочемъ,

я это зналъ; мнѣ это сказывали, мнѣ говорили... Да.— (Г-нъ Сипягинъ нисколько этого не зналъ и никто объ этомъ ему не говорилъ; но, вспомнивъ посѣщеніе Соломина, ночныя ихъ свиданія, онъ запустилъ эту удочку... И Паклинъ разомъ пошелъ на нее.)

— Коли вы это знаете,—началъ онъ, и вторично прикусилъ языкъ...—Но уже было поздно... По одному взгляду, брошенному на него Сипягинымъ, онъ понялъ, что тотъ все время игралъ съ нимъ, какъ кошка съ мышью.

— Впрочемъ, ваше превосходительство,—залепеталъ-было несчастный:—я долженъ сказать, что собственно ничего не знаю...

— Да я васъ не разспрашиваю, помилуйте! Что вы?!— За кого вы меня и себя принимаете?—надменно промолвилъ Сипягинъ—и немедленно ушелъ въ свою министерскую высь.

А Паклинъ снова почувствовалъ себя мизернымъ, маленькимъ, пойманнымъ... До того мгновенія онъ, куря, клалъ свою сигару въ уголъ рта, не обращенный къ Сипягину, и пускалъ дымъ тихонько, въ сторону; тутъ онъ совсѣмъ ее вынулъ изо рта и совсѣмъ пересталъ курить.

— „Боже мой!“—внутренно простоналъ онъ—а горячій потъ обильнѣе прежняго заструился по его членамъ.—„Что это я сдѣлалъ!—Я выдалъ все и всѣхъ... Меня одурачили, меня подкупили хорошей сигарой!!.. Я доносчикъ... и какъ теперь помочь бѣдѣ? Господи!“

Помочь бѣдѣ было невозможно.—Сипягинъ началъ засыпать достойно, важно, тоже какъ министръ, завернувшись въ свою „степенную“ шинель... Къ тому же и четверти часа не прошло, какъ оба экипажа остановились передъ губернаторскимъ домомъ.

XXXV.

Губернаторъ города С... принадлежалъ къ числу добродушныхъ, беззаботныхъ, свѣтскихъ генераловъ, генераловъ, одаренныхъ удивительно вымытымъ бѣлымъ тѣломъ и почти такой же чистой душой, генераловъ породистыхъ, *хорошо воспитанныхъ*, и, такъ-сказать, крупичатыхъ, ко-

торые, никогда не готовившись быть „пастырями народовъ“, выказываютъ, однако, весьма изрядныя администраторскія способности—и, мало работая, постоянно вздыхая о Петербургѣ и волочась за хорошенькими провинціальными дамами, приносятъ несомнѣнную пользу губерніи и оставляютъ о себѣ хорошую память.—Онъ только-что поднялся съ постели—и, сидя въ шелковомъ шлафрокѣ и ночной рубашкѣ на распашку передъ туалетнымъ зеркаломъ, вытиралъ себѣ одеколономъ съ водою лицо и шею, съ которой предварительно снялъ цѣлую коллекцію образковъ и ладонокъ,—когда ему доложили о пріѣздѣ Сипягина и Калломѣйцева, по важному и спѣшному дѣлу.—Съ Сипягинымъ онъ былъ очень коротокъ, на „ты“,—зналъ его съ молодыхъ лѣтъ, безпрестанно встрѣчался съ нимъ въ петербургскихъ гостиныхъ—и въ послѣднее время началъ мысленно прибавлять къ его имени—всякій разъ, когда оно приходило ему въ голову—почтительное: „А!“—какъ къ имени будущаго сановника. Калломѣйцева онъ зналъ нѣсколько менѣе и уважалъ гораздо меньше, такъ какъ на него стали съ нѣкоторыхъ поръ поступать „нехорошія“ жалобы; однако, считалъ его за человѣка—qui fera chemin—такъ или иначе.

Онъ велѣлъ попросить посѣтителей пожаловать къ нему въ кабинетъ—и немедленно вышелъ къ нимъ въ томъ же шелковомъ шлафрокѣ, не извиняясь даже, что принимаетъ ихъ въ такомъ неофиціальномъ убранствѣ—и дружелюбно потрясая имъ руки.—Впрочемъ, въ кабинетъ губернатора вошли только Сипягинъ и Калломѣйцевъ; Паклинъ остался въ гостиной. Вылѣзая изъ кареты, онъ хотѣлъ-было ускользнуть, пробормотавъ, что у него дома дѣла; но Сипягинъ съ вѣжливой твердостью удержалъ его—(Калломѣйцевъ подскочилъ и шепнулъ Сипягину на ухо: Ne le lâchez pas! Tonnerre de tonnerres!) и повелъ его съ собою. Въ кабинетъ, однако, онъ его не ввелъ—и попросилъ—все съ тою же вѣжливою твердостью—подождать въ гостиной, пока его позовутъ.—Паклинъ и тутъ надѣялся *улизнуть*... но въ дверяхъ появился дюжій жандармъ, *предупрежденный* Калломѣйцевымъ... Паклинъ остался.

— Ты, навѣрное, догадываешься, что̀ меня привело къ тебѣ, Voldemar?—началъ Сипягинъ.

— Нѣтъ, душа, не догадываюсь,—отвѣчалъ милый эпикуреецъ,—между тѣмъ какъ привѣтливая улыбка округляла его розовыя щеки и выставляла его блестящіе зубы, полузакрытые шелковистыми усами.

— Какъ?.. Но вѣдь Маркеловъ?

— Что такое: Маркеловъ?—повторилъ съ тѣмъ же видомъ губернаторъ.—Онъ, во-первыхъ, не совсѣмъ ясно помнилъ, что вчерашняго арестованнаго звали Маркеловымъ;—а во-вторыхъ, онъ совершенно позабылъ, что у жены Сипягина былъ братъ, носившій эту фамилію.—Да что ты стоишь, Борисъ?—сядь; не хочешь ли чаю?

Но Сипягину было не до чаю.

Когда онъ растолковалъ, наконецъ, въ чемъ было дѣло и по какой причинѣ они явились оба съ Калломѣйцевымъ, губернаторъ издалъ огорченное восклицаніе, ударилъ себя по лбу, и лицо его приняло выраженіе печальное.

— Да... да... да!—повторилъ онъ:—какое несчастье! И онъ у меня тутъ сидитъ—сегодня—пока; ты знаешь мы *такихъ* никогда больше одной ночи у себя не держимъ; да жандармскаго начальника пѣтъ въ городѣ: твой зять и застрялъ... Но завтра его препроводятъ. Боже мой, какъ это непріятно!—Какъ твоя жена должна быть огорчена!! Чего же ты хочешь?

— Я бы хотѣлъ свидѣться съ нимъ у тебя, здѣсь,—если это не противно закону.

— Помилуй, душа моя!—Для такихъ людей, какъ ты, законъ не писанъ.—Я *такъ* тебѣ сочувствую... C'est affreux, tu sais!

Онъ позвонилъ особеннымъ манеромъ. Явился адъютантъ.

— Любезный баронъ, пожалуйста — тамъ — распорядитесь. — Онъ сказалъ ему, какъ и что̀ сдѣлать. Баронъ исчезъ. — Представь, mon cher ami: вѣдь его чуть не убили мужики. Руки назадъ, въ телѣгу—и маршъ!—И онъ—представь!—нисколько на нихъ не сердится—и не негодуетъ, ей-ей! И *вообще* такой спокойный... Я удивился! *да вотъ, ты увидишь самъ.*—C'est un fanatique tranquille.

— Ce sont les pires, — сентенціозно произнесъ Калломѣйцевъ.

Губернаторъ посмотрѣлъ на него исподлобья.

— Кстати, мнѣ нужно переговорить съ вами, Семенъ Петровичъ.

— А что?

— Да такъ; не хорошо.

— А именно?

— Да знаете, вашъ должникъ-то, мужикъ этотъ, что ко мнѣ жаловаться приходилъ...

— Ну?

— Вѣдь онъ повѣсился.

— Когда?

— Это все равно, когда;—а только не хорошо.

Калломѣйцевъ пожалъ плечами и отошелъ, щегольски покачиваясь, къ окну. Въ это мгновеніе адъютантъ ввелъ Маркелова.

Губернаторъ сказалъ о немъ правду: онъ былъ—неестественно спокоенъ.—Даже обычная угрюмость сошла съ его лица—и замѣнилась выраженіемъ какой-то равнодушной усталости. Оно осталось тѣмъ же, когда онъ увидѣлъ своего зятя; и только во взглядѣ, брошенномъ имъ на приведшаго его нѣмца-адъютанта—мелькнулъ мгновенный остатокъ его старинной ненависти къ этому сорту людей.—Пальто на немъ было разорвано въ двухъ мѣстахъ и наскоро зашито толстыми нитками; на лбу, надъ бровью и на переносицѣ виднѣлись небольшія ссадины съ засохшей кровью.—Онъ не умылся, но волосы причесалъ. Глубоко засунувъ обѣ кисти рукъ въ рукава, онъ остановился недалеко отъ двери.—Дышалъ онъ ровно.

— Сергѣй Михайловичъ!—началъ взволнованнымъ голосомъ Сипягинъ, подойдя къ нему шага на два—и протянувъ настолько правую руку, чтобы она могла тронуть—или остановить его, если-бъ онъ сдѣлалъ движеніе впередъ:—Сергѣй Михайловичъ! я прибылъ сюда не для того только, чтобы выразить тебѣ наше изумленіе, наше глубокое огорченіе;—въ немъ ты не можешь сомнѣваться!—*Ты самъ хотѣлъ* погубить себя! И погубилъ!!—Но я не

лалъ тебя видѣть, чтобы сказать тебѣ... э... э... чтобы дать... чтобы поставить тебя въ возможность услышать голосъ благоразумія, чести и дружбы! Ты можешь еще облегчить свою участь; и, повѣрь, я, со своей стороны, сдѣлаю все, что будетъ отъ меня зависѣть!—вотъ и почтенный начальникъ здѣшней губерніи тебѣ это подтвердитъ.—Тутъ Сипягинъ возвысилъ голосъ.—Чистосердечное раскаяніе въ твоихъ заблужденіяхъ, полное признаніе, безо всякой утайки, которое будетъ заявлено, гдѣ слѣдуетъ...

— Ваше превосходительство,—заговорилъ вдругъ Маркеловъ, обращаясь къ губернатору—и самый звукъ его голоса былъ спокоенъ, хоть и немного хриплъ:—я полагалъ, что вамъ угодно было меня видѣть—и снова допросить меня, что ли... Но если вы призвали меня только по желанію г-на Сипягина, то велите, пожалуйста, меня отвести: мы другъ друга понять не можемъ.—Все, что онъ говоритъ—для меня та же латынь.

— Позвольте... латынь! — вмѣшался Калломѣйцевъ заносчиво и пискливо:—а это латынь: бунтовать крестьянъ?—Это—латынь? А? Латынь это?

— Что это у васъ, ваше превосходительство, чиновникъ по тайной полиціи, что ли? Такой усердный? — спросилъ Маркеловъ — и слабая улыбка удовольствія тронула его блѣдныя губы.

Калломѣйцевъ зашипѣлъ, затопалъ ногами... Но губернаторъ остановилъ его.

— Вы сами виноваты, Семенъ Петровичъ. Зачѣмъ мѣшаетесь не въ ваше дѣло?

— Не въ мое дѣло... не въ мое дѣло... Кажется, это дѣло общее... всѣхъ насъ, дворянъ...

Маркеловъ окинулъ Калломѣйцева холоднымъ, медленнымъ,—какъ бы послѣднимъ взоромъ—и повернулся немного къ Сипягину.—А коли *вы*, зятекъ, хотите, чтобы я вамъ объяснилъ *мои* мысли — такъ вотъ вамъ: я признаю, что крестьяне имѣли право меня арестовать и выдать, коли имъ не нравилось то, что я имъ говорилъ.—*На то была ихъ воля.—Я* къ нимъ пришелъ, не они ко

мнѣ.—И правительство,—если оно меня сошлетъ въ Сибирь... я роптать не буду — хоть и виноватымъ себя не почту. Оно свое дѣло дѣлаетъ, потому — защищается.— Довольно съ васъ этого?

Сипягинъ воздѣлъ руки горѣ.

— Довольно!! Что за слово!—Не въ томъ вопросъ—и не намъ судить, какъ поступитъ правительство;—а я желаю знать, чувствуете ли вы—чувствуешь ли *ты*—Сергѣй (Сипягинъ рѣшился затронуть сердечныя струны)—безразсудство, безуміе своего предпріятія, готовъ ли ты доказать свое *раскаяніе* на дѣлѣ—и могу ли я поручиться—до нѣкоторой степени поручиться—за тебя, Сергѣй?

Маркеловъ сдвинулъ свои густыя брови.

— Я сказалъ... и повторять сказанное не хочу.

— Но раскаяніе? раскаяніе гдѣ?

Маркелова вдругъ передернуло.

— Ахъ, отстаньте съ вашимъ „раскаяніемъ"! Вы хотите мнѣ въ душу залѣзть? Предоставьте это—хоть мнѣ самому.

Сипягинъ пожалъ плечами.

— Вотъ, ты всегда такъ; не хочешь внять голосу разсудка! Тебѣ предстоитъ возможность раздѣлаться тихо, благородно...

— Тихо, благородно...—повторялъ угрюмо Маркеловъ.— Знаемъ мы эти слова! Ихъ всегда говорятъ тому, кому предлагаютъ сдѣлать подлость. Вотъ что они значатъ, эти слова!

— Мы о васъ сожалѣемъ, — продолжалъ усовѣщивать Маркелова Сипягинъ:—а вы насъ ненавидите.

— Хорошо сожалѣніе! Въ Сибирь насъ,—на каторгу,— вотъ какъ вы сожалѣете о насъ! Ахъ, оставьте... оставьте меня, ради Бога!

И Маркеловъ понурилъ голову.

На душѣ у него было очень смутно, какъ ни тихъ былъ его наружный видъ. Больше всего его грызло и мучило то, что выдалъ его—кто же? Голоплёцкій Еремѣй! Тотъ *Еремѣй*, въ котораго онъ такъ слѣпо вѣрилъ!—Что Менделѣй Дутикъ не пошелъ за нимъ, это его въ сущности

не удивляло... Менделѣй былъ пьянъ и потому струсилъ. Но Еремѣй!! Для Маркелова Еремѣй былъ какъ бы олицетвореніемъ русскаго народа... И онъ ему измѣнилъ!— Стало-быть—все, о чемъ хлопоталъ Маркеловъ, все было не то, не такъ?—И Кисляковъ вралъ,—и Василій Николаевичъ приказывалъ пустяки, и всѣ эти статьи, книги, сочиненія соціалистовъ, мыслителей, каждая буква которыхъ являлась ему чѣмъ-то несомнѣннымъ и несокрушимымъ, все это—пуфъ? Неужели??—И это прекрасное сравненіе пазрѣвшаго вереда, ожидавшаго удара ланцета— тоже фраза? Нѣтъ! нѣтъ!—шепталъ онъ про себя, и на его бронзовыя щеки набѣгала слабая краска кирпичнаго цвѣта:—нѣтъ; то все правда; все... а это *я* виноватъ, *я* не сумѣлъ, не то *я* сказалъ, не такъ принялся!—Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать сталъ или упираться—пулю ему въ лобъ! тутъ разбирать нечего. Кто не съ нами, тотъ права жить не имѣетъ... убиваютъ же шпіоновъ, какъ собакъ, хуже чѣмъ собакъ!

И представились Маркелову подробности, какъ его схватили... Сперва молчаніе, перемигиванія, крики въ заднихъ рядахъ... Вотъ, одинъ приближается бокомъ, какъ бы кланяется. Потомъ эта внезапная возня! И какъ его о-земь... „Ребята... ребята... что вы?“ А они: „Кушакъ давай! Вяжи!..“ Кости трещатъ... и безсильная ярость... и вонючая пыль во рту, въ ноздряхъ... „Вали, вали его... на телѣгу“. Кто-то густо хохочетъ... фай!

— Не такъ... не такъ я взялся...

Вотъ что, собственно, его грызло и мучило; а что онъ самъ попалъ подъ колесо, это была его личная бѣда: она не касалась общаго дѣла,—ее бы можно было перенести... но Еремѣй! Еремѣй!

Между тѣмъ какъ Маркеловъ стоялъ съ головой, опущенной на грудь, Сипягинъ отвелъ губернатора въ сторону и началъ говорить ему вполголоса, разводя немного руками, выдѣлывая двумя пальцами небольшую трель на своемъ лбу, какъ бы желая показать, что тутъ-дескать у этого несчастнаго неладно, и вообще стараясь возбудить *если не сочувствіе, то* снисхожденіе къ безумцу.—А ту-

бернаторъ пожималъ плечами, то поднималъ, то закрывалъ глаза, сожалѣлъ о собственномъ безсиліи,—и однако что-то обѣщалъ... „Tous les égards... certainement, tous les égards...“ — слышались пріятно-картавыя слова, мягко проходившія сквозь раздушённые усы... „Но ты знаешь: законъ!“ — Конечно: законъ! — подхватилъ Сипягинъ съ какой-то строгой покорностью.

Пока они такъ разговаривали въ уголку, Калломѣйцевъ просто не могъ утерпѣть на мѣстѣ: двигался взадъ и впередъ, слегка чмокалъ, кряхтѣлъ, являлъ всѣ признаки нетерпѣнія. Наконецъ онъ подошелъ къ Сипягину и поспѣшно промолвилъ:

— Vous oubliez l'autre!

— А, да!—промолвилъ Сипягинъ громко.—Mercі de me l'avoir rappelé.—Я долженъ довести слѣдующій фактъ до свѣдѣнія вашего превосходительства,—обратился онъ къ губернатору... (Онъ величалъ такъ друга своего Voldemar'a собственно для того, чтобы не скомпрометировать престижа власти передъ бунтовщикомъ). Я имѣю основательныя причины предполагать, что сумасбродное предпріятіе моего beau-frère'a имѣетъ нѣкоторыя рамификаціи; и что одна изъ этихъ вѣтвей, т.-е. одно изъ заподозрѣнныхъ лицъ—находится въ недальнемъ разстояніи отъ сего города.—Вели ввести,—прибавилъ онъ вполголоса:—тамъ, у тебя въ гостиной, есть одинъ... Я его привезъ.

Губернаторъ взглянулъ на Сипягина, подумалъ съ уваженіемъ: „каковъ!“—и отдалъ приказъ.—Минуту спустя, рабъ Божій Сила Паклинъ—предсталъ предъ его очи.

Сила Паклинъ началъ съ того, что низко поклонился губернатору: но, увидѣвъ Маркелова, не докончилъ поклона, и такъ и остался, на-половину согнутый, переминая шапку въ рукахъ. Маркеловъ бросилъ на него разсѣянный взглядъ, но едва ли узналъ его; ибо снова погрузился въ думу.

— Это — вѣтвь? — спросилъ губернаторъ, указывая на Паклина большимъ бѣлымъ пальцемъ, украшеннымъ *бирюзою*.

— *О*, нѣтъ! — съ полусмѣхомъ отвѣчалъ Сипягинъ.—

А впрочемъ!—прибавилъ онъ, подумавъ немного.—Вотъ, ваше превосходительство,—заговорилъ онъ снова громко:—передъ вами нѣкто г-нъ Паклинъ. Онъ, сколько мнѣ извѣстно, петербургскій житель и близкій пріятель нѣкотораго лица, которое состояло у меня въ качествѣ учителя и покинуло мой домъ, увлекши за собою,—прибавлю, краснѣя,—одну молодую дѣвицу, мою родственницу.

— Ah! oui, oui,—пробормоталъ губернаторъ, и покачавъ сверху внизъ головою:—я что-то слышалъ... Графиня сказывала...

Сипягинъ возвысилъ голосъ.

— Это лицо есть нѣкто г-нъ Нежданов, сильно мною заподозрѣнный въ превратныхъ понятіяхъ и теоріяхъ...

— Un rouge à tous crins—вмѣшался Калломѣйцевъ...

— ...Въ превратныхъ понятіяхъ и теоріяхъ,—повторилъ еще отчетливѣе Сипягинъ:—и ужъ, конечно, не чуждый всей этой пропагандѣ; онъ находится... скрывается, какъ мнѣ сказывалъ г-нъ Паклинъ, на фабрикѣ купца Фалѣева...

При словахъ: „какъ мнѣ сказывалъ", Маркеловъ вторично бросилъ взглядъ на Паклина, и только усмѣхнулся, медленно и равнодушно.

— Позвольте, позвольте, ваше превосходительство,—закричалъ Паклинъ:—и вы, г-нъ Сипягинъ: я никогда... никогда...

— Ты говоришь: купца Фалѣева?—обратился губернаторъ къ Сипягину, поигравъ только пальцами въ направленіи Паклина:—„потише, дескать, братецъ, потише".—Что съ ними дѣлается, съ нашими почтенными бородачами? Вчера тоже одного схватили, по тому же дѣлу. Ты, можетъ, слышалъ его имя: Голушкинъ, богачъ. Ну, этотъ революціи не сдѣлаетъ. Такъ на колѣнкахъ и ползаетъ.

— Купецъ Фалѣевъ тутъ ни при чемъ,—отчеканилъ Сипягинъ:—я его мнѣній не знаю; я говорю только о его фабрикѣ, на которой, по словамъ г-на Паклина, находится въ настоящую минуту г-нъ Нежданов.

— Этого я не говорилъ!—возопилъ опять Паклинъ.—*Это вы говорили!*

— Позвольте, г-нъ Паклинъ,—все съ тою же неумолимой отчетливостью произнесъ Сипягинъ. — Я уважаю то чувство дружбы, которое внушаетъ вамъ вашу „денегацію". (Экій... Гизо! подумалъ тутъ про себя губернаторъ.) Но возьму смѣлость поставить вамъ себя въ примѣръ. Полагаете ли вы, что во мнѣ чувство родственное не столь же сильно, какъ ваше дружеское? — Но есть другое чувство, милостивый государь, которое еще сильнѣе и которое должно руководить всѣми нашими дѣйствіями и поступками: чувство долга!

— Le sentiment du devoir,—пояснилъ Калломѣйцевъ.

Маркеловъ окинулъ взоромъ обоихъ говорившихъ.

— Г-нъ губернаторъ, — промолвилъ онъ: — повторяю мою просьбу: велите, пожалуйста, увести меня прочь отъ этихъ болтуновъ.

Но тутъ губернаторъ потерялъ немножко терпѣніе.

— Г-нъ Маркеловъ!—воскликнулъ онъ:—я совѣтовалъ бы вамъ, въ вашемъ положеніи, болѣе сдержанности въ языкѣ и болѣе уваженія къ старшимъ... особенно, когда они выражаютъ патріотическія чувства, подобныя тѣмъ, которыя вы сейчасъ слышали въ устахъ вашего beau-frère'а!—Я счастливымъ себя почту, любезный Борисъ,— прибавилъ губернаторъ, обратясь къ Сипягину:—довести твои благородные поступки до свѣдѣнія министра.—Но у кого же собственно находится этотъ г-нъ Неждановъ— на этой фабрикѣ?

Сипягинъ нахмурился.

— У нѣкоего г-на Соломина, тамошняго главнаго механика, какъ мнѣ сказывалъ тотъ же г-нъ Паклинъ.

Казалось, Сипягину доставляло особенное удовольствіе терзать бѣднаго Силушку: онъ вымещалъ въ немъ теперь и данную ему въ каретѣ сигару, и фамиліарную вѣжливость своего обращенія съ нимъ, и нѣкоторое даже заигрываніе.

— И этотъ Соломинъ, — подхватилъ Калломѣйцевъ: — есть несомнѣнный радикалъ и республиканецъ,—и вашему *превосходительству* не худо было бы обратить ваше *вниманіе также* и на него.

— Вы знаете этихъ... господъ... Соломина... и, какъ бишь? и... Нежданова? — немного по-начальнически, въ носъ, спросилъ губернаторъ Маркелова.

Маркеловъ злорадно раздулъ ноздри.

— А вы, ваше превосходительство, знаете Конфуція и Тита-Ливія?

Губернаторъ отвернулся.

— Il n'y a pas moyen de causer avec cet homme, — промолвилъ онъ, пожимая плечами.—Г-нъ баронъ, пожалуйте сюда.

Адъютантъ подскочилъ къ нему;—а Паклинъ, улучивъ время, приблизился, ковыляя и спотыкаясь, къ Сипягину.

— Что же это вы дѣлаете,—прошепталъ онъ:—зачѣмъ же вы губите вашу племянницу? Вѣдь она съ нимъ, съ Неждановымъ!..

— Я никого не гублю, милостивый государь, — отвѣчалъ Сипягинъ громко: — я дѣлаю то, что мнѣ повелѣваетъ совѣсть и...

— И ваша супруга, моя сестра, у которой вы подъ башмакомъ,—ввернулъ столь же громко Маркеловъ.

Сипягинъ, какъ говорится, даже не чукнулъ... Такъ это было ниже его!

— Послушайте, — продолжалъ шептать Паклинъ:—все его тѣло трепетало отъ волненія и, быть-можетъ, отъ робости,—а глаза сверкали злобой и въ горлѣ клокотали слезы—слезы сожалѣнія о *тѣхъ* и досады на себя; — послушайте: я сказалъ вамъ, что она замужемъ — это неправда — я вамъ солгалъ! — но бракъ этотъ долженъ совершиться—и если вы этому помѣшаете, если туда явится полиція—на вашей совѣсти будетъ лежать пятно, которое вы ничѣмъ не смоете—и вы...

— Извѣстіе, сообщенное вами, — перебилъ еще громче Сипягинъ:—если оно только справедливо, въ чемъ я имѣю право сомнѣваться,—это извѣстіе можетъ только ускорить тѣ мѣры, которыя я почелъ бы нужнымъ предпринять; а о чистотѣ моей совѣсти я ужъ буду просить васъ, милостивый государь, не заботиться.

— *Вылощена она, братъ*,—ввернулъ опять Маркеловъ.—

петербургскій лакъ на нее наведенъ; никакая жидкость ея не беретъ! А ты, г-нъ Паклинъ, шепчи, шепчи, сколько хочешь: не отшепчешься, шалишь!

Губернаторъ почелъ за нужное прекратить всѣ эти пререканія.

— Я полагаю,—началъ онъ:—что вы, господа, уже достаточно высказались — а потому, любезный баронъ, увѣдите г-на Маркелова. N'est ce pas, Boris, ты не нуждаешься болѣе...

Сипягинъ развелъ руками.

— Я сказалъ все, что̀ могъ!..

— И прекрасно!..—Любезный баронъ!..

Адъютантъ приблизился къ Маркелову, щелкнулъ шпорами, сдѣлалъ горизонтальное движеніе ручкою... „Пожалуйте-молъ!“ Маркеловъ повернулся и пошелъ вонъ. — Паклинъ, правда, мысленно, но съ горькимъ сочувствіемъ и жалостью пожалъ ему руку.

— А на фабрику мы пошлемъ нашихъ молодцовъ, — продолжалъ губернаторъ.—Только вотъ что̀, Борисъ: мнѣ сдается — этотъ баринъ — (онъ указалъ подбородкомъ на Паклина)—тебѣ что-то сообщилъ насчетъ твоей родственницы... Будто она тамъ, на той фабрикѣ... Такъ какъ же...

— Ее арестовать во всякомъ случаѣ нельзя,—замѣтилъ глубокомысленно Сипягинъ:—можетъ-быть, она одумается и вернется. Если позволишь, я напишу ей записочку.

— Сдѣлай одолженіе. И вообще, ты можешь быть увѣренъ... Nous coffrerons le quidam... mais nous sommes galants avec les dames... et avec celle-là donc!

— Но вы не принимаете никакихъ распоряженій насчетъ этого Соломина,—жалобно воскликнулъ Калломѣйцевъ, который все время приникалъ ухомъ и старался вслушаться въ маленькое à parte губернатора съ Сипягинымъ.—Увѣряю васъ: это главный зачинщикъ! У меня на это нюхъ... такой нюхъ!

— Pas trop de zèle, любезнѣйшій Семенъ Петровичъ,— замѣтилъ, осклабясь, губернаторъ.—Вспомните Таллейрана! *Коли что̀*, тотъ отъ насъ тоже не уйдетъ. Вы лучше по*думайте о вашемъ*... ккк....къ! — И губернаторъ сдѣлалъ

знакъ удушенія на своей шеѣ... Да, кстати, — обратился онъ снова къ Сипягину: — et ce gaillard-là — (онъ опять указалъ подбородкомъ на Паклина). — Qu'en ferons nous? На видъ онъ не страшенъ.

— Отпусти его,—сказалъ тихо Сипягинъ и прибавилъ по-нѣмецки:—Lass'den Lumpen laufen!

Онъ почему-то подумалъ, что дѣлаетъ цитату изъ Гёте, изъ „Гёца фонъ-Берлихингена".

— Вы можете идти, милостивый государь!—промолвилъ громко губернаторъ.—Мы болѣе въ васъ не нуждаемся.— До зобаченья!

Паклинъ отдалъ общій поклонъ и вышелъ на улицу, весь уничтоженный и разбитый. Боже! Боже! это презрѣніе его доконало.

„Что же это такое?" — думалъ онъ съ невыразимымъ отчаяніемъ:—„и трусъ, и доносчикъ? Да нѣтъ... нѣтъ; я честный человѣкъ, господа,—и я не совсѣмъ уже лишенъ всякаго мужества!"

Но что̀ за знакомая фигура торчитъ на крыльцѣ губернаторскаго дома и смотритъ на него унылымъ, исполненнымъ упрека взоромъ? Да это — старый слуга Маркелова. Онъ, видно, пришелъ за своимъ бариномъ въ городъ и не отходитъ прочь отъ его тюрьмы... Только зачѣмъ же онъ смотритъ такъ на Паклина? Вѣдь не онъ же Маркелова выдалъ!

„И зачѣмъ я совался туда, куда мнѣ — ни къ кожѣ, ни къ рожѣ?"—думалъ онъ опять свою отчаянную думу.— „Не могъ сидѣть смирно на своей лавочкѣ? — А теперь они говорятъ, и пожалуй, напишутъ: нѣкто г-нъ Паклинъ все разсказалъ, выдалъ ихъ... своихъ друзей — выдалъ врагамъ!"—Вспомнился ему тутъ взглядъ, брошенный на него Маркеловымъ, вспомнились эти послѣднія слова: „не отшепчешься, шалишь!"—а тутъ эти старческіе, унылые, убитые глаза! — И, какъ сказано въ писаніи,—онъ „плакася горько" — и побрелъ себѣ въ оазисъ, къ Ѳомушкѣ и Ѳимушкѣ, къ Снандуліи...

XXXVI.

Когда Маріанна, въ то самое утро, вышла изъ своей комнаты—она увидѣла Нежданова одѣтымъ и сидящимъ на диванѣ. Одной рукой онъ поддерживалъ голову, другая безсильно и недвижимо лежала на колѣняхъ. — Она подошла къ нему.

— Здравствуй, Алексѣй... Ты не раздѣвался? не спалъ? Какой ты блѣдный!

Отяжелѣвшія вѣки его глазъ приподнялись медленно.

— Я не раздѣвался, я не спалъ.

— Ты нездоровъ? или это еще слѣдъ вчерашняго?

Неждановъ покачалъ головою.

— Я не спалъ съ тѣхъ поръ, какъ Соломинъ вошелъ въ твою комнату.

— Когда?

— Вчера вечеромъ.

— Алексѣй, ты ревнуешь? Вотъ новость! И нашелъ время, когда ревновать! Онъ остался у меня всего четверть часа... И мы говорили объ его двоюродномъ братѣ, священникѣ,—и о томъ, какъ устроить нашъ бракъ.

— Я знаю, что онъ остался всего четверть часа: — я видѣлъ, когда онъ вышелъ. И я не ревную, о нѣтъ! Но, все-таки, я не могъ заснуть съ тѣхъ поръ.

— Отчего же?

Неждановъ помолчалъ.

— Я все думалъ... думалъ... думалъ!

— О чемъ?

— О тебѣ... о немъ... и о самомъ себѣ.

— И до чего же ты додумался?

— Сказать тебѣ, Маріанна?

— Скажи.

— Я думалъ, что я мѣшаю—тебѣ... ему... и самому себѣ.

— Мнѣ? ему? Я воображаю, что ты этимъ хочешь сказать, хотя ты и увѣряешь, что не ревнуешь.—Но: самому себѣ?

— Маріанна, во мнѣ сидятъ два человѣка — и одинъ *не даетъ* жить другому. Такъ я ужъ полагаю, что лучше *перестать* обоимъ жить.

— Ну, полно, Алексѣй, пожалуйста.—Что за охота себя мучить—и меня?—Намъ слѣдуетъ теперь сообразить, какія надо принять мѣры... Вѣдь насъ въ покоѣ не оставятъ.

Неждановъ ласково взялъ ее за руку.

— Сядь возлѣ меня, Маріанна, и поболтаемъ немного, по-дружески. — Пока есть время. — Дай мнѣ руку.— Мнѣ кажется, что намъ не худо объясниться,—хотя, говорятъ, всякія объясненія ведутъ обыкновенно только къ бо̀льшей путаницѣ. Но ты умна и добра; ты все поймешь—и чего я не доскажу—ты додумаешь. Сядь.

Голосъ Нежданова былъ очень тихъ — и какая-то осо̀бенная, дружеская нѣжность и просьба высказывались въ его глазахъ, пристально устремленныхъ на Маріанну.

Она тотчасъ охотно сѣла возлѣ него и взяла его руку

— Ну, спасибо, моя милая,—и слушай.—Я тебя долго не задержу.—Я уже ночью въ головѣ все приготовилъ— что я долженъ тебѣ сказать.— Ну — слушай.—Не думай, чтобы вчерашнее происшествіе меня слишкомъ смутило: я былъ, вѣроятно, очень смѣшонъ и немножко даже гадокъ; но ты, конечно, не подумала обо мнѣ ничего дурного или низкаго... ты меня знаешь.—Я сказалъ, что это происшествіе меня не смутило; это—неправда, это вздоръ... оно смутило меня, но не потому, что меня привезли домой пьянаго; — а потому, что оно окончательно доказало мнѣ мою несостоятельность! — И не только въ томъ, что я не могу пить, какъ пьютъ русскіе люди — а вообще! вообще! — Маріанна, я обязанъ сказать тебѣ, что я — не вѣрю больше въ то дѣло, которое насъ соединило, въ силу котораго мы вмѣстѣ ушли изъ того дома и къ которому я, говоря правду, уже охладѣвалъ — когда твой огонь согрѣлъ и зажёгъ меня:—не вѣрю! не вѣрю!

Онъ положилъ свою свободную руку себѣ на глаза и умолкъ на мгновенье...—Маріанна тоже ни слова не промолвила и потупилась... Она почувствовала, что онъ ей не сказалъ ничего новаго.

— Я думалъ прежде,—продолжалъ Неждановъ, отнявъ руку отъ глазъ, но уже не глядя больше на Маріанну:— *что я въ самое-то* дѣло вѣрю — а только сомнѣваюсь въ

самомъ себѣ, въ своей силѣ, въ своемъ умѣньѣ; мои способности, думалъ я, не соотвѣтствуютъ моимъ убѣжденіямъ... Но, видно, этихъ двухъ вещей отдѣлить нельзя—да и къ чему обманываться? Нѣтъ—я въ *самое дѣло* не вѣрю.—А ты вѣришь, Маріанна?

Маріанна выпрямилась и подняла голову.

— Да, Алексѣй, вѣрю. Вѣрю всѣми силами души — и посвящу этому дѣлу всю свою жизнь! До послѣдняго дыханія!

Неждановъ повернулся къ ней и измѣрилъ ее всю умиленнымъ и завидующимъ взглядомъ.

— Такъ, такъ; я ждалъ такого отвѣта. — Вотъ, ты и видишь, что намъ вмѣстѣ дѣлать нечего: ты сама однимъ ударомъ перерубила нашу связь.

Маріанна молчала.

— Вотъ, и Соломинъ,—началъ снова Неждановъ:—хоть и онъ не вѣритъ...

— Какъ?

— Нѣтъ! Онъ не вѣритъ... да это ему и не нужно; онъ подвигается спокойно впередъ. Человѣкъ, который идетъ по дорогѣ въ городъ, не спрашиваетъ себя: да существуетъ ли полно этотъ городъ? Онъ идетъ себѣ да идетъ. Такъ и Соломинъ. И больше ничего не нужно. А я... впередъ не могу; назадъ не хочу; оставаться на мѣстѣ—томно. Кому же дерзну я предложить быть моимъ товарищемъ? Знаешь поговорку: одинъ подъ одинъ конецъ, другой подъ другой — и пошло дѣло на ладъ? А коли одинъ не сможетъ нести—какъ быть другому?

— Алексѣй, — промолвила нерѣшительно Маріанна: — ты, мнѣ кажется, преувеличиваешь. — Мы вѣдь любимъ другъ друга?

Неждановъ глубоко вздохнулъ.

— Маріанна... Я преклоняюсь передъ тобою... а ты жалѣешь меня—и каждый изъ насъ увѣренъ въ честности другого: вотъ настоящая правда! А любви между нами нѣтъ.

— Но постой, Алексѣй, что ты говоришь! Вѣдь *сегодня же, сейчасъ* за нами явится погоня... Вѣдь намъ *надобно* уходить вмѣстѣ, а не разставаться...

— Да; и ѣхать къ попу Зосимѣ, чтобы онъ насъ обвѣнчалъ, по предложенію Соломина. Я хорошо знаю, что въ твоихъ глазахъ этотъ бракъ не что иное, какъ паспортъ, какъ средство избѣгнуть полицейскихъ затрудненій... но, все-таки, онъ нѣкоторымъ образомъ обязываетъ... къ житію вмѣстѣ, рядомъ... или, если не *обязываетъ*, то, по крайней мѣрѣ, предполагаетъ желаніе жить вмѣстѣ.

— Что жъ это, Алексѣй? Ты здѣсь останешься?

У Нежданова чуть-было не сорвалось съ языка: Да— но онъ одумался и промолвилъ:

— Н...н...нѣтъ.

— Въ такомъ случаѣ, ты удалишься отсюда не туда, куда я?

Неждановъ крѣпко пожалъ ея руку, которая все еще лежала на его рукѣ.

— Оставить тебя безъ покровителя, безъ защитника, было бы преступно — и я этого не сдѣлаю, какъ я ни плохъ. У тебя будетъ защитникъ... Не сомнѣвайся въ томъ!

Маріанна нагнулась къ Нежданову—и, заботливо приблизивъ свое лицо къ его лицу, старалась заглянуть ему въ глаза, въ душу—въ самую душу.

— Что съ тобой, Алексѣй? Что у тебя на-сердцѣ? Скажи!.. Ты меня безпокоишь. Твои слова такъ загадочны, такъ странны... И лицо твое! Я никогда не видала у тебя такого лица!

Неждановъ тихонько отклонилъ ее и тихонько поцѣловалъ у ней руку. На этотъ разъ она не противилась— и не засмѣялась—и все продолжала заботливо и тревожно глядѣть на него.

— Не безпокойся, пожалуйста! Тутъ ничего страннаго нѣтъ.—Вся бѣда моя вотъ въ чемъ. Маркелова, говорятъ, мужики побили; онъ отвѣдалъ ихъ кулаковъ, они помяли ему бока... — Меня мужики не били, они даже пили со мною, пили мое здоровье... но душу они мою помяли, хуже чѣмъ бока у Маркелова. Я былъ рожденъ вывихнутымъ... хотѣлъ себя вправить, да еще хуже себя вывихнулъ. Вотъ именно то, что̀ ты замѣчаешь на моемъ лицѣ.

— Алексѣй, — медленно промолвила Маріанна: — тебѣ *было бы грѣшно* не быть откровеннымъ со мною.

Онъ стиснулъ свои руки.

— Маріанна, все мое существо передъ тобою, какъ на ладони; и что бы я ни сдѣлалъ, говорю тебѣ напередъ: въ сущности, ничему, ничему ты не удивишься!

Маріанна хотѣла попросить объясненія этихъ словъ, однако не попросила... притомъ, въ это мгновенье въ комнату вошелъ Соломинъ.

Движенія его были быстрѣй и рѣзче обыкновеннаго. Глаза прищурились, широкія губы сжались, все лицо какъ будто заострилось и приняло выраженіе сухое, твердое и нѣсколько грубое.

— Друзья мои,—началъ онъ:—я пришелъ вамъ сказать, что мѣшкать нечего. Собирайтесь... ѣхать вамъ пора. Черезъ часъ надо вамъ быть готовыми. Надо вамъ ѣхать вѣнчаться. Отъ Паклина нѣтъ никакого извѣстія; лошадей его сперва задержали въ Аржаномъ, а потомъ прислали назадъ... Онъ остался тамъ. Вѣроятно, его увезли въ городъ. Онъ, конечно, не донесетъ, но, Богъ его знаетъ, разболтаетъ, пожалуй. Да и по лошадямъ могли узнать. Мой двоюродный предупрежденъ. Павелъ съ вами поѣдетъ. Онъ и свидѣтелемъ будетъ.

— А вы... а ты?—спросилъ Неждановъ.—Развѣ ты не поѣдешь? Я вижу, ты одѣтъ по-дорожному,—прибавилъ онъ, указавъ на высокіе болотные сапоги, въ которыхъ пришелъ Соломинъ.

— Это я... такъ... на дворѣ грязно.

— Но отвѣчать ты за насъ вѣдь не будешь?

— Не полагаю... во всякомъ случаѣ—это ужъ мое дѣло. И такъ, черезъ часъ.—Маріанна, Татьяна желаетъ васъ видѣть. Она что-то тамъ приготовила.

— А! Да! Я и сама хотѣла къ ней идти...

Маріанна направилась къ двери...

На лицѣ Нежданова изобразилось нѣчто странное, нѣчто въ родѣ испуга, тоски...

— Маріанна, ты уходишь?—промолвилъ онъ внезапно упавшимъ голосомъ.

Она остановилась.

— *Я* черезъ полчаса вернусь. Мнѣ уложиться недолго.

— Да; но подойди ко мнѣ...

— Изволь;—зачѣмъ?

— Мнѣ еще разъ хочется взглянуть на тебя.—Онъ посмотрѣлъ на нее долгимъ взоромъ.—Прощай, прощай, Маріанна! — Она изумилась. — То бишь... Что это я? — Это я такъ... сболтнулъ. — Ты вѣдь черезъ полчаса вернешься? Да?

— Конечно...

— Ну, да... да... Извини. У меня въ головѣ путаница отъ безсонницы.—Я тоже сейчасъ... уложусь.

Маріанна вышла изъ комнаты. Соломинъ хотѣлъ-было пойти за ней.

Неждановъ остановилъ его.

— Соломинъ!

— Что?

— Дай мнѣ руку. Надо жъ мнѣ поблагодарить тебя за твое гостепріимство.

Соломинъ усмѣхнулся.

— Вотъ что вздумалъ!—Однако, подалъ ему руку.

— И вотъ еще что,—продолжалъ Неждановъ:—если со мной что случится, могу я надѣяться на тебя, что ты не оставишь Маріанну?

— Твою будущую жену?

— Ну, да,—Маріанну!

— Во-первыхъ, я увѣренъ, что съ тобой ничего не случится; а, во-вторыхъ, ты можешь быть спокоенъ: — Маріанна мнѣ такъ же дорога, какъ и тебѣ.

— О! Я это знаю... знаю... знаю! Ну, и прекрасно. И спасибо.—Такъ черезъ часъ?

— Черезъ часъ.

— Я буду готовъ. Прощай!

Соломинъ вышелъ и догналъ Маріанну на лѣстницѣ. Онъ намѣревался ей сказать что-то насчетъ Нежданова—да промолчалъ. И Маріанна, съ своей стороны, поняла, что Соломинъ намѣревался ей что-то сказать—и именно насчетъ Нежданова—и что онъ промолчалъ.—И она промолчала тоже.

XXXVII.

Какъ только Соломинъ вышелъ, Неждановъ мгновенно вскочилъ съ дивана, прошелся раза два изъ одного угла въ другой, потомъ постоялъ съ минуту въ какомъ-то каменномъ раздумьѣ посреди комнаты; внезапно встрепенулся, торопливо сбросилъ съ себя свой „маскарадный“ костюмъ, отпихнулъ его ногою въ уголъ, досталъ и надѣлъ свое прежнее платье. — Потомъ онъ подошелъ къ трехногому столику, вынулъ изъ ящика двѣ запечатанныя бумажки и еще какой-то небольшой предметъ, сунулъ его въ карманъ, а бумажки оставилъ на столѣ. Потомъ онъ присѣлъ на корточки передъ печкой, отворилъ заслонку... Въ печкѣ оказалась цѣлая груда пепла. Это было все, что̀ оставалось отъ бумагъ Нежданова, отъ завѣтной тетрадки... Онъ сжегъ все это въ теченіе ночи. Но тутъ же, въ печкѣ, сбоку, прислоненный къ одной изъ стѣнокъ, находился портретъ Маріанны, подаренный ему Маркеловымъ. Видно, у него не хватило духа сжечь и этотъ портретъ! Неждановъ бережно вынулъ его и положилъ на столъ рядомъ съ запечатанными бумажками.

Потомъ онъ рѣшительнымъ движеніемъ руки сгребъ свою фуражку и направился-было къ двери... но остановился, вернулся назадъ и вошелъ въ комнату Маріанны. Тамъ онъ постоялъ съ минуту, оглянулся кругомъ и, приблизившись къ ея узенькой кроваткѣ, нагнулся — и съ одиночнымъ нѣмымъ рыданьемъ приникъ губами не къ изголовью, а къ ногамъ постели... Потомъ онъ разомъ выпрямился—и, надвинувъ фуражку на лобъ, бросился вонъ.

Ни съ кѣмъ не встрѣтившись ни въ коридорѣ, ни на лѣстницѣ, ни внизу, Неждановъ проскользнулъ въ палисадникъ. День былъ сѣрый, небо висѣло низко, сырой вѣтерокъ шевелилъ верхушки травъ и качалъ листья деревьевъ; фабрика стучала и шумѣла меньше, чѣмъ о ту же пору въ другіе дни; съ двора ея несло запахомъ угля, дегтя, сала. — Зорко и подозрительно оглянулся Неждановъ и пошелъ прямо къ той старой яблонѣ, которая привлекла его вниманіе въ самый день его пріѣзда, когда

онъ въ первый разъ выглянулъ изъ окна своей квартирки. Стволъ этой яблони обросъ сухимъ мохомъ; шероховатые, обнаженные сучья, съ кое-гдѣ висѣвшими красновато-зелеными листьями, искривленно поднимались кверху, на подобіе старческихъ, умоляющихъ, въ локтяхъ согбенныхъ рукъ. Нежданов сталъ твердой ногою на темную землю, окружавшую корень яблони, и вынулъ изъ кармана тотъ небольшой предметъ, который находился въ ящикѣ стола. — Потомъ онъ внимательно посмотрѣлъ на окна флигелька... „Если кто-нибудь меня увидитъ въ эту минуту“, подумалъ онъ, „тогда, быть-можетъ, я отложу“... Но нигдѣ не показалось ни одного человѣческаго лица... точно все вымерло, все отвернулось отъ него, удалилось навсегда, оставило его на произволъ судьбы.—Одна фабрика глухо гудѣла и воняла, да сверху стали сѣяться мелкія, иглистыя капли холоднаго дождя.

Тогда Нежданов, взглянувъ сквозь кривые сучья дерева, подъ которымъ онъ стоялъ, на низкое, сѣрое, безучастно-слѣпое и мокрое небо, зѣвнулъ, пожался, подумалъ: „вѣдь ничего другого не осталось, не назадъ же въ Петербургъ, въ тюрьму“, сбросилъ фуражку долой и заранѣе ощутивъ во всемъ тѣлѣ какую-то слащавую, сильную, томительную потяготу, приложилъ къ груди револьверъ, дернулъ пружину курка...

Что-то разомъ толкнуло его, даже не слишкомъ сильно... но онъ уже лежалъ на спинѣ и старался понять, что̀ съ нимъ и ка̀къ онъ сейчасъ видѣлъ Татьяну?.. Онъ даже хотѣлъ позвать ее, сказать: „Ахъ, не надо!“ — но вотъ уже, онъ весь онѣмѣлъ и надъ лицомъ его въ глазахъ, на лбу, въ мозгу завертѣлся мутно-зеленый вихрь— и что-то страшно-тяжелое и плоское придавило его навсегда къ землѣ.

Татьяна недаромъ померещилась Нежданову: въ ту самую минуту, какъ онъ спустилъ курокъ револьвера, она подошла къ одному изъ оконъ флигелька и увидѣла его подъ яблонью. Не успѣла она подумать: „что это онъ въ такую погоду торчитъ подъ яблонью, простоволосый?“ — *какъ онъ повалился* навзничь, точно сноп̀ъ. Выстрѣла она.

не слыхала—звукъ его былъ очень слабъ,—но тотчасъ почуяла что-то недоброе и опрометью бросилась внизъ, въ палисадникъ... Она добѣжала до Нежданова... „Алексѣй Дмитричъ, что̀ съ вами?“ Но уже имъ овладѣла темнота. Татьяна нагнулась къ нему, увидала кровь...

— Павелъ! — закричала она не своимъ голосомъ. — Павелъ!

Нѣсколько мгновеній спустя,—Маріанна, Соломинъ, Павелъ и еще двое фабричныхъ уже были въ палисадникѣ. Нежданова тотчасъ подняли, понесли во флигель и положили на тотъ самый диванъ, на которомъ онъ провелъ свою послѣднюю ночь.

Онъ лежалъ на спинѣ съ полузакрытыми недвижными глазами, съ посинѣлымъ лицомъ,—хрипѣлъ протяжно и туго, изрѣдка всхлипывая и какъ бы давясь. Жизнь еще не покинула его.—Маріанна и Соломинъ стояли по обѣимъ сторонамъ дивана, оба почти такіе же блѣдные, какъ и самъ Неждановъ. Поражены, потрясены, уничтожены были оба—особенно Маріанна—но не изумлены. „Какъ мы этого не предвидѣли?“ думалось имъ; и въ то же время имъ казалось, что они... да, они это предвидѣли.—Когда онъ сказалъ Маріаннѣ: „что бы я ни сдѣлалъ, говорю тебѣ напередъ: ничему ты не удивишься“ — и еще, когда онъ говорилъ о тѣхъ двухъ человѣкахъ, которые въ немъ ужиться не могутъ—развѣ не шевельнулось въ ней нѣчто въ родѣ смутнаго предчувствія?—Почему же она не остановилась тотчасъ и не вдумалась и въ эти слова, и въ это предчувствіе?—Отчего она теперь не смѣетъ взглянуть на Соломина, какъ будто онъ ея сообщникъ... какъ будто и онъ ощущаетъ угрызеніе совѣсти? Отчего ей не только безконечно, до отчаянія жаль Нежданова, но какъ-то страшно, и жутко—и совѣстно? Можетъ-быть, отъ нея зависѣло его спасти? Отчего они оба не смѣютъ произнести слова? Почти не смѣютъ дышать—и ждутъ... чего? Боже мой!

Соломинъ послалъ за докторомъ, хотя, конечно, надежды *не было* никакой. На маленькую, уже почернѣвшую, *безкровную* рану Нежданова Татьяна положила большую губку

съ холодною водой, намочила его волосы тоже холодной водою съ уксусомъ. Вдругъ Неждановъ пересталъ хрипѣть и пошевельнулся.

— Приходитъ въ память,—прошепталъ Соломинъ.

Маріанна стала на колѣни возлѣ дивана... Неждановъ взглянулъ на нее... до того времени его глаза были недвижны, какъ у всѣхъ умирающихъ.

— А я еще... живъ,—проговорилъ онъ чуть слышно.— И тутъ не сумѣлъ... задерживаю васъ.

— Алёша,—простонала Маріанна.

— Да вотъ... сейчасъ... Помнишь, Маріанна, въ моемъ... стихотвореніи... „Окружи меня цвѣтами“... Гдѣ же цвѣты?.. Но за то ты тутъ... Тамъ, въ моемъ письмѣ...

Онъ вдругъ затрепеталъ весь.

— Охъ, вотъ она... Дайте оба... другъ другу... руки— при мнѣ... Поскорѣе... дайте...

Соломинъ схватилъ руку Маріанны. Голова ея лежала на диванѣ, лицомъ внизъ, возлѣ самой раны.

Самъ Соломинъ стоялъ прямо и строго, сумрачный какъ ночь.

— Такъ... хорошо... такъ...

Неждановъ опять началъ всхлипывать, но какъ-то ужъ очень необычно... Грудь выставилась, бока втянулись...

Онъ явно пытался положить свою руку на ихъ соединенныя руки, но его руки уже были мертвы.

— Отходитъ,—шепнула Татьяна, стоявшая у двери, и стала креститься.

Всхлипыванья стали рѣже, короче... Онъ еще искалъ взоромъ Маріанну... но какая-то грозная бѣлесоватость уже заволакивала изнутри его глаза...

„Хорошо“... было его послѣднимъ словомъ.

Его не стало... а соединенныя руки Соломина и Маріанны все еще лежали на его груди.

Вотъ что писалъ онъ въ двухъ оставленныхъ имъ короткихъ запискахъ. Одна была адресована Силину, и содержала всего нѣсколько строкъ:

„Прощай, братъ, другъ, прощай! Когда ты получишь *этотъ клочокъ—меня* уже не будетъ. Не спрашивай, какъ,

почему,—и не сожалѣй; знай, что мнѣ теперь лучше. Возьми ты нашего безсмертнаго Пушкина и прочти въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ описаніе смерти Ленскаго. Помнишь: „Окна мѣломъ забѣлены; хозяйки нѣтъ“ и т. д. Вотъ и все. Сказать мнѣ тебѣ нечего... оттого, что слишкомъ много пришлось бы говорить, а времени нѣтъ. Но я не хотѣлъ уйти, не увѣдомивъ тебя; а то бы думалъ обо мнѣ, какъ о живомъ, и я согрѣшилъ бы передъ нашей дружбой. Прощай; живи.

„Твой другъ А. Н.“ .

Другое письмо было нѣсколько длиннѣе. Оно было адресовано на имя Соломина и Маріанны.—Вотъ что̀ стояло въ немъ:

„Дѣти мои!

(Тотчасъ послѣ этихъ словъ былъ перерывъ: что-то было зачеркнуто или скорѣе замарано, какъ будто слезы брызнули тутъ.)

„Вамъ, быть-можетъ, странно, что я васъ такъ величаю, я самъ почти ребенокъ—и ты, Соломинъ, конечно, старше меня. Но я умираю—и, стоя на концѣ жизни, гляжу на себя, какъ на старика. Я очень виноватъ предъ вами обоими, особенно предъ тобой, Маріанна—въ томъ, что причиняю вамъ такое горе—(я знаю, Маріанна, ты будешь горевать)—и доставилъ вамъ столько безпокойства. Но что̀ было дѣлать? Я другого выхода не нашелъ. Я не умѣлъ *опроститься*; оставалось вычеркнуть себя совсѣмъ.—Маріанна, я былъ бы бременемъ и для себя, и для тебя. Ты великодушная—ты бы обрадовалась этому бремени, какъ новой жертвѣ... но я не имѣлъ права налагать на тебя эту жертву: у тебя есть лучшее и бо̀льшее дѣло.—Дѣти мои, позвольте мнѣ соединить васъ какъ бы загробной рукою.—Вамъ будетъ хорошо вдвоемъ. Маріанна, ты окончательно полюбишь Соломина—а онъ... онъ тебя полюбилъ, какъ только увидѣлъ тебя у Сипягиныхъ. Это не осталось для меня тайной, хотя мы нѣсколько дней спустя бѣжали съ тобою.—Ахъ, то утро! Какое оно было славное, *свѣжее*, молодое! Оно представляется мнѣ теперь какъ *знаменіе*, какъ символъ вашей двойной жизни,—твоей и

его;—и я только случайно находился тогда на его мѣстѣ.—Но пора кончить; я не желаю тебя разжалобить... я желаю только оправдаться. — Завтра будутъ нѣсколько очень тяжелыхъ минутъ... Но что же дѣлать? Другого выхода вѣдь нѣтъ? — Прощай, Маріанна, моя хорошая, честная дѣвушка! — Прощай, Соломинъ! — Поручаю тебѣ ее.—Живите счастливо—живите съ пользой для другихъ; а ты, Маріанна, вспоминай обо мнѣ только когда будешь счастлива. — Вспоминай обо мнѣ, какъ о человѣкѣ тоже честномъ и хорошемъ, но которому было какъ-то приличнѣе умереть, нежели жить.—Любилъ ли я тебя любовью—не знаю, милый другъ, но знаю, что сильнѣе чувства я никогда не испыталъ, и что мнѣ было бы еще страшнѣе умереть, если-бъ я не уносилъ такого чувства съ собой въ могилу.

„Маріанна! Если ты встрѣтишь когда-нибудь дѣвушку, Машурину по имени,—Соломинъ ее знаетъ, впрочемъ и ты, кажется, ее видѣла—скажи ей, что я съ благодарностью вспомнилъ о ней незадолго передъ кончиной... Она ужъ пойметъ.

„Надо-жъ однако оторваться.—Я сейчасъ взглянулъ изъ окна:—среди быстро мчавшихся тучъ стояла одна прекрасная звѣзда.—Какъ быстро онѣ ни мчались—онѣ не могли ея закрыть. Эта звѣзда напомнила мнѣ тебя, Маріанна.—Въ это мгновенье ты спишь въ сосѣдней комнатѣ—и ничего не подозрѣваешь... Я подошелъ къ твоей двери, приложилъ ухо, и, казалось, уловилъ твое чистое, спокойное дыханіе... Прощай! прощай! прощайте, мои дѣти, мои друзья!

„Вашъ А.

„Ба, ба, ба! Какъ же это я въ *предсмертномъ* письмѣ ничего не сказалъ о нашемъ великомъ дѣлѣ?—Знать, потому, что передъ смертью лгать уже не приходится... Маріанна, прости мнѣ эту приписку... Ложь была во мнѣ—а не въ томъ, чему ты вѣришь!

„Да! вотъ еще что: ты, быть-можетъ, подумаешь, Маріанна: онъ испугался тюрьмы, въ которую его непремѣнно *засадили бы—и нашелъ это* средство ея избѣгнуть?—Нѣтъ.

тюрьма еще не важность; но сидѣть въ тюрьмѣ за дѣло, въ которое не вѣришь—это ужъ никуда не годится. И я кончаю съ собою—не изъ страха тюрьмы.

„Прощай, Маріанна! Прощай, моя чистая, нетронутая!"

Маріанна и Соломинъ поочередно прочли это письмо.—Потомъ она положила и портретъ свой, и обѣ бумажки къ себѣ въ карманъ—и осталась неподвижной.

Тогда Соломинъ сказалъ ей:

— Все готово, Маріанна; поѣдемъ. Надо исполнить его волю.

Маріанна приблизилась къ Нежданову, прикоснулась устами къ его уже похолодѣвшему лбу—и, обернувшись къ Соломину, сказала:—Поѣдемъ.

Онъ взялъ ее за руку—и оба вышли изъ комнаты.

Когда, нѣсколько часовъ спустя, полиція нагрянула на фабрику, она, конечно, нашла Нежданова—но уже трупомъ.—Татьяна опрятно убрала его, положила ему подъ голову бѣлую подушку, скрестила его руки, поставила даже букетъ цвѣтовъ возлѣ него на столикъ. — Павелъ, получившій всѣ нужныя инструкціи, принялъ полицейскихъ чиновниковъ съ величайшимъ подобострастіемъ и таковымъ же глумленіемъ,—такъ что тѣ не знали, благодарить ли его или тоже арестовать? Онъ разсказалъ обстоятельно, какъ происходило дѣло самоубійства, накормилъ ихъ швейцарскимъ сыромъ, напоилъ мадерой;—но насчетъ настоящаго мѣстопребыванія Василія Ѳедотыча и пріѣзжей барышни отозвался совершеннымъ невѣдѣніемъ—и только ограничился увѣреньемъ, что Василій, молъ, Ѳедотычъ никогда долго въ отсутствіи не пребываетъ—потому дѣла;—что онъ не нынче—завтра вернется—и тогда тотчасъ, минуточки не теряя, дастъ о томъ знать въ городъ.—Человѣкъ онъ на это—аккуратный!

Такъ господа чиновники и отъѣхали ни съ чѣмъ, приставивъ сторожей къ тѣлу и обѣщавшись прислать судебнаго слѣдователя.

XXXVIII.

Черезъ два дня послѣ всѣхъ этихъ происшествій—на

дворъ къ „складному“ попу Зосимѣ въѣхала телѣжка, въ которой сидѣли мужчина и женщина, уже извѣстные намъ—и на другой же день послѣ ихъ пріѣзда они сочетались бракомъ. Вскорѣ потомъ они исчезли—и добрый Зосима нисколько не горевалъ о томъ, что́ онъ сдѣлалъ. На фабрикѣ, оставленной Соломинымъ, оказалось письмо, адресованное на имя хозяина и доставленное ему Павломъ; въ немъ отдавался полный и точный отчетъ о положеніи дѣлъ (оно было блестящее)—и выпрашивался трехмѣсячный отпускъ. Письмо это было написано за два дня до смерти Нежданова, изъ чего можно было заключить, что Соломинъ уже тогда считалъ нужнымъ ѣхать съ нимъ и съ Маріанной и скрыться на время. Слѣдствіе, произведенное по поводу самоубійства, ничего не открыло.—Трупъ похоронили; Сипягинъ прекратилъ всякое дальнѣйшее исканіе своей племянницы.

А мѣсяцевъ девять спустя судили Маркелова. Онъ и на судѣ держалъ себя такъ же, какъ передъ губернаторомъ: спокойно, не безъ достоинства и нѣсколько уныло.—Его обычная рѣзкость смягчилась—но не отъ малодушія: тутъ участвовало другое, болѣе благородное чувство.—Онъ ни въ чемъ не оправдывался, ни въ чемъ не раскаивался, никого не обвинялъ и никого не назвалъ: его исхудалое лицо съ потухшими глазами сохраняло одно выраженіе: покорности судьбѣ и твердости; а его короткіе, но прямые и правдивые отвѣты возбуждали въ самихъ его судьяхъ чувство, похожее на состраданіе. Даже крестьяне, которые его схватили и свидѣтельствовали противъ него—даже они раздѣляли это чувство—и говорили о немъ, какъ о баринѣ „простомъ“ и добромъ. Но вина его была слишкомъ явна; избѣгнуть наказанія онъ не могъ,—и, казалось, самъ принялъ это наказаніе, какъ должное.—Изъ остальныхъ его, впрочемъ, немногочисленныхъ, соучастниковъ,—Машурина скрылась; Остродумовъ былъ убитъ однимъ мѣщаниномъ, котораго онъ подговаривалъ къ возстанію и который „неловко“ толкнулъ его; Голушкина, за его „чистосердечное раскаяніе“—(онъ чуть съ ума не сошелъ *отъ ужаса и тоски*),—подвергли легкому наказанію;

Кислякова продержали съ мѣсяцъ подъ арестомъ, а потомъ выпустили и даже не препятствовали ему снова „скакать“ по губерніямъ; Нежданова избавила смерть; Соломина, за недостаткомъ уликъ,—оставили въ нѣкоторомъ подозрѣніи—и въ покоѣ. (Онъ, впрочемъ, не уклонился отъ суда и явился въ срокъ.) О Маріаннѣ не было и рѣчи... Паклинъ окончательно вывернулся; да на него и не обратили особеннаго вниманія.

Прошло года полтора, настала зима 1870 года. Въ Петербургѣ, въ томъ самомъ Петербургѣ, гдѣ тайный совѣтникъ и камергеръ Сипягинъ готовился играть значительную роль, гдѣ его жена покровительствовала всѣмъ искусствамъ, давала музыкальные вечера и устраивала дешевыя кухни,—а г. Калломѣйцевъ считался однимъ изъ надежнѣйшихъ чиновниковъ своего министерства,—по одной изъ линій Васильевскаго острова шелъ, ковыляя и слегка переваливаясь, маленькій человѣкъ въ скромномъ пальто съ кошачьимъ воротникомъ. То былъ Паклинъ. Онъ порядкомъ измѣнился въ послѣднее время: въ концахъ висковъ, выдававшихся изъ-подъ краевъ мѣховой шапки, виднѣлось нѣсколько серебряныхъ нитей.—Навстрѣчу ему двигалась по тротуару дама довольно полная, высокаго роста, плотно закутанная въ темный суконный плащъ.—Паклинъ бросилъ на нее разсѣянный взглядъ, прошелъ мимо... потомъ вдругъ остановился, задумался, разставилъ руки—и, съ живостью обернувшись и нагнавъ ее, взглянулъ ей подъ шляпку въ лицо.

— Машурина?—промолвилъ онъ вполголоса.

Дама величественно измѣрила его взоромъ—и, не сказавъ слова, пошла дальше.

— Милая Машурина, я васъ узналъ, — продолжалъ Паклинъ, ковыляя съ нею рядомъ: — только вы, пожалуйста, не бойтесь. Вѣдь я васъ не выдамъ—*я слишкомъ* радъ, что встрѣтилъ васъ!—Я, Паклинъ, Сила Паклинъ, знаете, пріятель Нежданова... Зайдите ко мнѣ:—я живу въ двухъ шагахъ отсюда... Пожалуйста!

— Io sono контесса Рокка ди Санто-Фіуме!—отвѣчала *дама низкимъ* голосомъ, но съ удивительно-чистымъ *русскимъ акцентомъ*.

— Ну, что̀ контесса... какая тамъ контесса... Зайдите, поболтаемте...

— Да гдѣ вы живете? — спросила вдругъ по-русски итальянская графиня.—Мнѣ некогда.

— Я живу здѣсь, въ этой линіи, вотъ мой домъ, тотъ сѣрый, трехъ-этажный.—Какая вы добрая, что не хотите больше секретничать со мною! Дайте мнѣ руку, пойдемте.— Давно ли вы здѣсь? И почему вы графиня? вышли замужъ за какого-нибудь итальянскаго контэ?

Машурина ни за какого контэ не выходила: ее снабдили паспортомъ, выданнымъ на имя нѣкоей графини Рокка ди Санто-Фіуме, недавно передъ тѣмъ умершей — и она съ нимъ преспокойно отправилась въ Россію, хотя ни слова не понимала по-итальянски — и имѣла лицо самое русское.

Паклинъ привелъ ее въ свою скромную квартиру. Горбатая сестра, съ которой онъ жилъ, вышла навстрѣчу гостьѣ изъ-за перегородки, отдѣлявшей крохотную кухню отъ такой же передней.

— Вотъ, Снапочка, — промолвилъ онъ: — рекомендую: большая моя пріятельница; дай-ка намъ поскорѣе чаю.

Машурина, которая не пошла бы къ Паклину, если бъ онъ не упомянулъ имени Нежданова, сняла шляпу съ головы,—и, поправивши своей мужественной рукой свои попрежнему коротко остриженные волосы, поклонилась и сѣла молча. Она такъ вовсе не измѣнилась; даже платье на ней было то же самое, какъ и два года тому назадъ; но въ глазахъ ея установилась какая-то недвижная печаль, которая придавала нѣчто трогательное обычно-суровому выраженію ея лица.

Снандулія побѣжала за самоваромъ,—а Паклинъ помѣстился противъ Машуриной, слегка похлопалъ ее по колѣну и понурилъ голову, а когда хотѣлъ заговорить, принужденъ былъ откашляться; голосъ его прервался, и слезинки сверкнули въ глазахъ. — Машурина сидѣла неподвижно и прямо, не прислоняясь къ спинкѣ стула — и угрюмо смотрѣла въ сторону.

— *Да, да,—началъ* Паклинъ:—были дѣла! Глядя на

васъ и вспоминаю... многое и многихъ. — Мертвыхъ и живыхъ. — Вотъ, и мои переклитки умерли... да вы ихъ, кажется, не знали; — и объ, какъ я предсказывалъ, въ одинъ день.—Неждановъ... бѣдный Неждановъ!.. Вы вѣдь, вѣроятно, знаете...

— Да, знаю,—промолвила Машурина, все такъ же глядя въ сторону.

— И объ Остродумовѣ тоже знаете?

Машурина только кивнула головою. Ей хотѣлось, чтобы онъ продолжалъ говорить о Неждановѣ — но она не рѣшилась просить его объ этомъ.—Онъ ее понялъ и такъ.

— Я слышалъ, что онъ въ своемъ предсмертномъ письмѣ упомянулъ о васъ.—Правда это?

Машурина не тотчасъ отвѣчала.

— Правда,—произнесла она наконецъ.

— Чудесный былъ человѣкъ! Только не въ свою колею попалъ! — Онъ такой же былъ революціонеръ, какъ и я! Знаете, кто онъ собственно былъ?—Романтикъ реализма! Понимаете ли вы меня?

Машурина бросила быстрый взглядъ на Паклина. Она его не поняла, — да и не хотѣла дать себѣ трудъ его понять. — Ей показалось неумѣстнымъ и страннымъ, что онъ осмѣливается приравнивать себя къ Нежданову;—но она подумала: „Пускай хвастается теперь“. (Хоть онъ вовсе не хвастался,—а скорѣй, по его понятіямъ, принижалъ себя.)

— Меня тутъ отыскалъ нѣкто Силинъ, — продолжалъ Паклинъ: — Неждановъ тоже писалъ къ нему передъ смертью. Такъ вотъ онъ, этотъ самый Силинъ, просилъ: нельзя ли найти какія-нибудь бумаги покойнаго? — Но Алёшины вещи были опечатаны... да и бумагъ тамъ не было; онъ все сжегъ—и стихи свои сжегъ.—Вы, можетъ-быть, не знали, что онъ стихи писалъ? Мнѣ ихъ жаль; я увѣренъ—иные должны были быть очень недурны.—Все это исчезло вмѣстѣ съ нимъ—все попало въ общій круговоротъ—и замерло навѣки! Только что у друзей осталось воспоминаніе,—пока они сами не исчезнутъ въ свою очередь!

Паклинъ помолчалъ.

— Зато Сипягины,—подхватилъ онъ снова:—помните, эти снисходительные, важные, отвратительные тузы—они теперь на верху могущества и славы!—Машурина вовсе не „помнила“ Сипягиныхъ; но Паклинъ такъ ихъ ненавидѣлъ обоихъ—особенно его—что не могъ отказать себѣ въ удовольствіи ихъ „продернуть“.—Говорятъ, у нихъ въ домѣ такой высокій тонъ!—Все о добродѣтели толкуютъ!! Только я замѣтилъ: если гдѣ слишкомъ много толкуютъ о добродѣтели—это все равно, какъ если въ комнатѣ у больного слишкомъ накурено благовоніями: навѣрно предъ этимъ совершилась какая-нибудь тайная пакость!—Подозрительно это!—Бѣднаго Алексѣя *они* погубили, эти Сипягины!

— Что Соломинъ?— спросила Машурина. — Ей вдругъ перестало хотѣться слышать что-нибудь отъ *этого* о *немъ!*

— Соломинъ! — воскликнулъ Паклинъ. — Этотъ молодцомъ. Вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросилъ и лучшихъ людей съ собой увелъ. — Тамъ былъ одинъ... голова, говорятъ, бѣдовая! Павломъ его звали... такъ и того увелъ. Теперь, говорятъ, свой заводъ имѣетъ—небольшой—гдѣ-то тамъ, въ Перми, на какихъ-то артельныхъ началахъ. Этотъ дѣла своего не оставитъ! Онъ продолбитъ!—Клювъ у него тонкій—да и крѣпкій зато. Онъ—молодецъ! А главное: онъ не внезапный исцѣлитель общественныхъ ранъ. — Потому, вѣдь мы, русскіе, какой народъ? мы все ждемъ: вотъ-молъ придетъ что-нибудь, или кто-нибудь, и разомъ насъ излѣчитъ, всѣ наши раны заживитъ, выдернетъ всѣ наши недуги, какъ больной зубъ. Кто будетъ этотъ чародѣй?—Дарвинизмъ? Деревня? Архипъ Перепентьевъ? Заграничная война?—Что угодно! только, батюшка, рви зубъ!!—Это все—лѣность, вялость, недомысліе! — А Соломинъ не такой: нѣтъ, — онъ зубовъ не дергаетъ—онъ молодецъ!

Машурина сдѣлала знакъ рукою, какъ бы желая сказать, что: „этого, стало-быть, похѣрить надо“.

— Ну, а та дѣвушка,—спросила она:—я забыла ея имя—*которая тогда съ нимъ*—съ Неждановымъ—ушла?

— Маріанна? Да она теперь этого самаго Соломина жена. Уже больше года, какъ она за нимъ замужемъ. Сперва только числилась—а теперь, говорятъ, настоящей женою стала. Да-а.

Машурина опять сдѣлала тотъ же знакъ рукою.

Бывало, она ревновала Нежданова къ Маріаннѣ; а теперь она негодовала на нее за то, что какъ могла она измѣнить его памяти?!..—Чай, ребенокъ уже есть,—прибавила она съ пренебреженіемъ.

— Можетъ-быть, не знаю.—Но куда же вы, куда?—прибавилъ Паклинъ, видя, что она берется за шляпу.—Подождите: Снапочка намъ сейчасъ чаю подастъ. Ему не столько хотѣлось удержать собственно Машурину, сколько не упустить случая высказать все, что̀ накопилось и накипѣло у него на душѣ. — Съ тѣхъ поръ, какъ Паклинъ вернулся въ Петербургъ, онъ видѣлъ очень мало людей, особенно молодыхъ.—Исторія съ Нежданомъ его напугала, онъ сталъ очень остороженъ и чуждался общества,—и молодые люди, съ своей стороны, поглядывали на него подозрительно. Одинъ такъ даже прямо въ глаза обругалъ его доносчикомъ. Со стариками онъ самъ не охотно сближался; вотъ ему и приходилось иногда молчать по недѣлямъ. Передъ сестрой онъ не высказывался: не потому, чтобы воображалъ ее неспособной его понять—о, нѣтъ! Онъ высоко цѣнилъ ея умъ... Но съ ней надо было говорить серьёзно и вполнѣ правдиво; а какъ только онъ пускался „козырять“ или „запускать брандеръ“—она тотчасъ принималась глядѣть на него какимъ-то особеннымъ, внимательнымъ и соболѣзнующимъ взглядомъ;—и ему становилось совѣстно. Но скажите, возможно ли обойтись безъ легкой „козырки“? Хоть съ двойки—да козыряй! Оттого-то и жизнь въ Петербургѣ начала становиться тошна Паклину, и онъ уже думалъ какъ бы перебраться въ Москву, что ли?—Разныя соображенія, измышленія, выдумки, смѣшныя или злыя слова, набирались въ немъ, какъ вода на запертой мельницѣ... Заставокъ нельзя было поднимать: вода дѣлалась стоячей и портилась. — Машурина подвернулась... *Вотъ онъ и поднялъ заставки и заговорилъ, заговорилъ...*

Досталось же Петербургу, петербургской жизни, всей Россіи?—Никому и ничему не было ни малѣйшей пощады! — Машурину все это занимало весьма умѣренно; но она не возражала и не перебивала его... а ему больше ничего не требовалось.

— Да-съ,—говорилъ онъ:—веселое наступило времячко, доложу вамъ! Въ обществѣ застой совершенный; всѣ скучаютъ адски! Въ литературѣ пустота—хоть шаромъ покати! Въ критикѣ... если молодому передовому рецензенту нужно сказать, что „курицѣ свойственно нести яйца"—подавай ему цѣлыхъ двадцать страницъ для изложенія этой великой истины—да и то онъ едва съ нею сладитъ! Пухлы эти господа, доложу вамъ, какъ пуховики, размазисты, какъ тюря—и съ пѣной у рта говорятъ—общія мѣста! Въ наукѣ... ха-ха-ха! *ученый Кантъ* есть и у насъ:—только на воротникахъ инженеровъ! Въ искусствѣ то же самое! Не угодно ли вамъ сегодня пойти въ концертъ? Услышите народнаго пѣвца Агремантскаго... Большимъ успѣхомъ пользуется... А если бы лещъ съ кашей—*лещъ съ кашей*, говорю вамъ, былъ одаренъ голосомъ, то онъ именно такъ бы и пѣлъ, какъ этотъ господинъ!—И тотъ же Скоропихинъ, знаете нашъ исконный Аристархъ—его хвалитъ! Это, молъ, не то, что западное искусство! Онъ же и нашихъ паскудныхъ живописцевъ хвалитъ!—Я, молъ, прежде самъ приходилъ въ восторгъ отъ Европы, отъ итальянцевъ;—а услышалъ Россини и подумалъ:—Э! э!—увидѣлъ Рафаэля... Э! э!.. И этого э! э!—нашимъ молодымъ людямъ совершенно достаточно; и они за Скоропихинымъ повторяютъ: э! э!—и довольны, представьте! А въ то же время народъ бѣдствуетъ страшно, подати его разорили въ конецъ, и только та и совершилась реформа, что всѣ мужики картузы надѣли, а бабы бросили кички... А голодъ! А пьянство! А кулаки!

Но тутъ Машурина зѣвнула—и Паклинъ попялъ, что надо перемѣнить разговоръ.

— Вы мнѣ еще не сказали,—обратился онъ къ ней:—гдѣ вы эти два года были и давно ли пріѣхали—и что дѣлали—и какимъ *образомъ* превратились въ итальянку и почему...

— Вамъ все это не слѣдуетъ знать,—перебила Машурина:—къ чему? Вѣдь ужъ это теперь не по вашей части.

Паклина какъ будто что-то кольнуло,—и онъ, чтобъ скрыть свое смущеніе, посмѣялся коротенькимъ, натянутымъ смѣхомъ.

— Ну, какъ угодно,—промолвилъ онъ:—я знаю, я въ глазахъ нынѣшняго поколѣнія человѣкъ отсталый; да и точно, я уже не могу считаться... въ тѣхъ рядахъ... Онъ не закончилъ своей фразы.—Вотъ намъ Снапочка чай несетъ. Вы выкушайте чашечку, да послушайте меня... Можетъ-быть, въ моихъ словахъ будетъ что-нибудь интересное для васъ.

Машурина взяла чашку, кусочекъ сахару и принялась пить въ-прикуску.

Паклинъ разсмѣялся уже на-чисто.

— Хорошо, что полиціи здѣсь нѣтъ, а то итальянская графиня... какъ бишь?

— Рокка ди Санто-Фіуме,—съ невозмутимой важностью проговорила Машурина, втягивая въ себя горячую струю.

— Рокка ди Санто-Фіуме!—повторилъ Паклинъ:—и пьетъ въ-прикуску чай! Ужъ очень неправдоподобно! Полиція сейчасъ возымѣла бы подозрѣнія.

— Ко мнѣ и то на границѣ,—замѣтила Машурина:—приставалъ какой-то въ мундирѣ; все разспрашивалъ; я ужъ и не вытерпѣла: „Отвяжись ты отъ меня, говорю, ради Бога!“

— Вы это по-итальянски ему сказали?

— Нѣтъ, по-русски.

— И что же онъ?

— Что? Извѣстно, отошелъ.

— Браво! — воскликнулъ Паклинъ. — Ай да контесса! Еще чашечку! Ну, такъ вотъ что́ я хотѣлъ вамъ сказать: вы вотъ о Соломинѣ отозвались сухо.—А знаете ли, что̀ я вамъ доложу? Такіе, какъ онъ—они-то вотъ и суть настоящіе. Ихъ сразу не раскусишь, а они—настоящіе, повѣрьте; и будущее имъ припадлежитъ. Это—не герои; это даже не тѣ „герои труда“, о которыхъ какой-то чудакъ—*американецъ* или англичанинъ—написалъ книгу для на-

зиданія насъ, убогихъ; это—крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народные люди. Теперь только такихъ и нужно! Вы смотрите на Соломина: уменъ—какъ день,—и здоровъ—какъ рыба... Какъ же не чудно! Вѣдь у насъ до сихъ поръ на Руси какъ было: коли ты живой человѣкъ, съ чувствомъ, съ сознаніемъ—такъ непремѣнно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тѣмъ же болѣетъ, чѣмъ и наше—и ненавидитъ онъ то же, что мы ненавидимъ—да нервы у него молчатъ—и все тѣло повинуется, какъ слѣдуетъ... значитъ: молодецъ! Помилуйте: человѣкъ съ идеаломъ—и безъ фразы; образованный—и изъ народа; простой—и себѣ-на-умѣ... Какого вамъ еще надо?..

— И вы не глядите на то,—продолжалъ Паклинъ, приходя все болѣе и болѣе въ азартъ, и не замѣчая, что Машурина его уже давно не слушала и опять уставилась куда-то въ сторону:—не глядите на то, что у насъ теперь на Руси всякій водится народъ: и славянофилы, и чиновники, и простые, и махровые генералы, и эпикурейцы, и подражатели, и чудаки—(знавалъ же я одну барыню, Хавронью Прыщову по имени, которая вдругъ съ бухта-барахта сдѣлалась легитимисткой и увѣряла всѣхъ, что когда она умретъ—то стоитъ только вскрыть ея тѣло—и на сердцѣ ея найдутъ начертаннымъ имя Генриха V... Это у Хавроньи Прыщовой-то!)—Не глядите на все это, моя почтеннѣйшая, а знайте, что настоящая, исконная наша дорога—тамъ, гдѣ Соломины, сѣрые, простые, хитрые Соломины! Вспомните, *когда* я это говорю вамъ—зимой 1870 года, когда Германія собирается уничтожить Францію—когда...

— Силушка, — послышался за спиной Паклина тихій голосокъ Снандуліи:—мнѣ кажется, въ твоихъ разсужденіяхъ о будущемъ ты забываешь нашу религію и ея вліяніе... И къ тому же,—поспѣшно прибавила она:—г-жа Машурина тебя не слушаетъ... Ты бы лучше предложилъ ей еще чашку чаю.

Паклинъ спохватился.

— Ахъ, да, моя почтенная—не хотите ли вы, въ самомъ *дѣлѣ*?..

Но Машурина медленно перевела на него свои темные глаза и задумчиво промолвила:

— Я хотѣла спросить у васъ, Паклинъ, нѣтъ ли у васъ какой-нибудь записки Нежданова—или его фотографіи?

— Есть фотографія... есть; и кажется, довольно хорошая.—Въ столѣ.—Я сейчасъ отыщу вамъ ее.

Онъ сталъ рыться у себя въ ящикѣ—а Снандулія подошла къ Машуриной—и съ участіемъ, долго и пристально посмотрѣвъ на нее, пожала ей руки—какъ собрату.

— Вотъ она! Нашелъ!—воскликнулъ Паклинъ и подалъ фотографію. Машурина быстро,—почти не взглянувъ на нее и не сказавъ спасибо, но покраснѣвши вся,—сунула ее въ карманъ, надѣла шляпу и направилась къ двери.

— Вы ухóдите?—промолвилъ Паклинъ.—Гдѣ вы живете, по крайней мѣрѣ?

— А гдѣ придется.

— Понимаю: вы не хотите, чтобъ я объ этомъ зналъ. Ну, скажите, пожалуйста, хоть одно: вы все по приказанію Василія Николаевича дѣйствуете?

— На что̀ вамъ знать!

— Или, можетъ, кого другого,—Сидора Сидорыча?

Машурина не отвѣчала.

— Или вами распоряжается безымянный какой?

Машурина уже перешагнула порогъ.

— А, можетъ быть, и безымянный!

Она захлопнула дверь.

Паклинъ долго стоялъ неподвижно передъ этой закрытой дверью.

— „Безымянная Русь!“—сказалъ онъ наконецъ.

РУДИНЪ.

РОМАНЪ ВЪ XII ГЛАВАХЪ СЪ ЭПИЛОГОМЪ.

(НАПИСАНО ВЪ 1855 ГОДУ.)

I.

Было тихое лѣтнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистомъ небѣ, но поля еще блестѣли росой; изъ недавно проснувшихся долинъ вѣяло душистой свѣжестью, и въ лѣсу, еще сыромъ и не шумномъ, весело распѣвали раннія птички. На вершинѣ пологаго холма, сверху до низу покрытаго только-что зацвѣтшею рожью, виднѣлась небольшая деревенька. Къ этой деревенькѣ, по узкой проселочной дорожкѣ, шла молодая женщина, въ бѣломъ кисейномъ платьѣ, круглой соломенной шляпѣ и съ зонтикомъ въ рукѣ. Казачокъ издали слѣдовалъ за ней.

Она шла не торопясь, и какъ бы наслаждаясь прогулкой. Кругомъ, по высокой, зыбкой ржи, переливалась то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, съ мягкимъ шелестомъ бѣжали длинныя волны; въ вышинѣ звенѣли жаворонки. Молодая женщина шла изъ собственнаго своего села, отстоявшаго не болѣе версты отъ деревеньки, куда она направляла путь; звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездѣтна и довольно богата, жила вмѣстѣ съ своимъ братомъ, отставнымъ штабсъ-ротмистромъ Сергѣемъ Павлычемъ Волынцевымъ. Онъ не былъ женатъ и распоряжался ея имѣніемъ.

Александра Павловна дошла до деревеньки, *остановилась у крайней избушки*, весьма ветхой и низкой, и, подо-

звавъ своего казачка, велѣла ему войти въ нее и спросить о здоровьѣ хозяйки. Онъ скоро вернулся въ сопровожденіи дряхлаго мужика съ бѣлой бородой.

— Ну, что?—спросила Александра Павловна.

— Жива еще...—проговорилъ старикъ.

— Можно войти?

— Отчего же? можно.

Александра Павловна вошла въ избу. Въ ней было тѣсно, и душно, и дымно... Кто-то закопошился и застоналъ на лежанкѣ. Александра Павловна оглянулась и увидѣла въ полумракѣ желтую и сморщенную голову старушки, повязанной клѣтчатымъ платкомъ. Покрытая по самую грудь тяжелымъ армякомъ, она дышала съ трудомъ, слабо разводя худыми руками.

Александра Павловна приблизилась къ старушкѣ и прикоснулась пальцами до ея лба... онъ такъ и пылалъ.

— Какъ ты себя чувствуешь, Матрена?—спросила она, наклонившись надъ лежанкой.

— О-охъ!—простонала старушка, всмотрѣвшись въ Александру Павловну.—Плохо, плохо, родная! Смертный часикъ пришелъ, голубушка!

— Богъ милостивъ, Матрена: можетъ-быть, ты поправишься. Ты приняла лѣкарство, которое я тебѣ прислала?

Старушка тоскливо заохала и не отвѣчала. Она не разслышала вопроса.

— Приняла,—проговорилъ старикъ, остановившійся у двери.

Александра Павловна обратилась къ нему.

— Кромѣ тебя при ней никого нѣтъ?—спросила она.

— Есть дѣвочка — ея внучка, да все вотъ отлучается. Не посидитъ: такая егозливая. Воды подать испить бабкѣ—и то лѣнь. А я самъ старъ: куда мнѣ!

— Не перевезти ли ее ко мнѣ въ больницу?

— Нѣтъ! зачѣмъ въ больницу? все одно помирать-то. Пожила довольно; видно, ужъ такъ Богу угодно. Съ лежанки *не* сходитъ. Гдѣ-жъ ей въ больницу! Ее станутъ *поднимать*, она и помретъ.

— Охъ,—застонала больная:—красавица-барыня, сироточку-то мою не оставь; наши господа далеко, а ты...

Старушка умолкла. Она говорила черезъ силу.

— Не безпокойся,—промолвила Александра Павловна:—все будетъ сдѣлано. Вотъ, я тебѣ чаю и сахару принесла. Если захочется, выпей... Вѣдь самоваръ у васъ есть?—прибавила она, взглянувъ на старика.

— Самоваръ-то? Самовара у насъ нѣту, а достать можно.

— Такъ достань, а то я пришлю свой. Да прикажи внучкѣ, чтобы она не отлучалась. Скажи ей, что это стыдно.

Старикъ ничего не отвѣчалъ, а свертокъ съ чаемъ и сахаромъ взялъ въ обѣ руки.

— Ну, прощай, Матрена!—проговорила Александра Павловна: — я къ тебѣ еще приду, а ты не унывай и лѣкарство принимай аккуратно...

Старуха приподняла голову и потянулась къ Александрѣ Павловнѣ.

— Дай, барыня, ручку,—пролепетала она.

Александра Павловна не дала ей руки, нагнулась и поцѣловала ее въ лобъ.

— Смотри же,—сказала она, уходя, старику:—лѣкарство ей давайте непремѣнно, какъ написано. И чаемъ ее напойте...

Старикъ опять ничего не отвѣчалъ и только поклонился.

Свободно вздохнула Александра Павловна, очутившись на свѣжемъ воздухѣ. Она раскрыла зонтикъ и хотѣла было идти домой, какъ вдругъ изъ-за угла избушки выѣхалъ, на низенькихъ бѣговыхъ дрожкахъ, человѣкъ лѣтъ тридцати, въ старомъ пальто изъ сѣрой коломянки и такой же фуражкѣ. Увидѣвъ Александру Павловну, онъ тотчасъ остановилъ лошадь и обернулся къ ней лицомъ. Широкое, безъ румянца, съ небольшими, блѣдно-сѣрыми глазками и бѣлесоватыми усами, оно подходило подъ цвѣтъ его одежды.

— Здравствуйте,—проговорилъ онъ съ лѣнивой усмѣшкой:—что это вы тутъ такое дѣлаете, позвольте узнать?

— Я навѣщала больную... А вы откуда, Михайло Михайлычъ?

Человѣкъ, называвшійся Михайло Михайлычемъ, посмотрѣлъ ей въ глаза и опять усмѣхнулся.

— Это вы хорошо дѣлаете, — продолжалъ онъ: — что больную навѣщаете; только не лучше ли вамъ ее въ больницу перевезти.

— Она слишкомъ слаба: ее нельзя тропуть.

— А больницу свою вы не намѣрены уничтожить?

— Уничтожить? зачѣмъ!

— Да такъ.

— Что за странная мысль! Съ чего это вамъ въ голову пришло?

— Да вы вотъ съ Ласунской все знаетесь и, кажется, находитесь подъ ея вліяніемъ. А по ея словамъ, больницы, училища — это все пустяки, ненужныя выдумки. Благотвореніе должно быть личное, просвѣщеніе то же: это все дѣло души... такъ, кажется, она выражается. Съ чьего это голоса она поетъ, желалъ бы я знать?

Александра Павловна засмѣялась.

— Дарья Михайловна умная женщина, я ее очень люблю и уважаю; но и она можетъ ошибаться, и я не каждому ея слову вѣрю.

— И прекрасно дѣлаете,—возразилъ Михайло Михайлычъ, все не слѣзая съ дрожекъ: — потому что она сама словамъ своимъ плохо вѣритъ. А я очень радъ, что встрѣтилъ васъ.

— А что?

— Хорошъ вопросъ! Какъ будто не всегда пріятно васъ встрѣтить! Сегодня вы такъ же свѣжи и милы, какъ это утро.

Александра Павловна опять засмѣялась.

— Чему же вы смѣетесь?

— Какъ чему? Если-бъ вы могли видѣть, съ какой вялой и холодной миной вы произнесли вашъ комплиментъ! Удивляюсь, какъ вы не зѣвнули на послѣднемъ словѣ.

— Съ холодной миной... Вамъ все огня нужно; а огонь никуда не годится. Вспыхнетъ, надымитъ и погаснетъ.

— И согрѣетъ,—подхватила Александра Павловна.

— Да... и обожжетъ.

— Ну, что-жъ, что обожжетъ! И это не бѣда. Все же лучше, чѣмъ...

— А вотъ я посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть разъ хорошенько обожжетесь,—перебилъ ее съ досадой Михайло Михайлычъ и хлопнулъ вожжой по лошади.—Прощайте!

— Михайло Михайлычъ, постойте!—закричала Александра Павловна:—когда вы у насъ будете?

— Завтра; поклонитесь вашему брату.

И дрожки покатились.

Александра Павловна посмотрѣла вслѣдъ Михайлу Михайловичу.

„Какой мѣшокъ!“ подумала она. Сгорбленный, запыленный, съ фуражкой на затылкѣ, изъ-подъ которой безпорядочно торчали косицы желтыхъ волосъ, онъ, дѣйствительно, походилъ на большой мучной мѣшокъ.

Александра Павловна отправилась тихонько назадъ по дорогѣ домой. Она шла съ опущенными глазами. Близкій топотъ лошади заставилъ ее остановиться и поднять голову... Ей навстрѣчу ѣхалъ ея братъ верхомъ; рядомъ съ нимъ шелъ молодой человѣкъ небольшого роста, въ легонькомъ сюртучкѣ на распашку, легонькомъ галстучкѣ и легонькой сѣрой шляпѣ, съ тросточкой въ рукѣ. Онъ уже давно улыбался Александрѣ Павловнѣ, хотя и видѣлъ, что она шла въ раздумьѣ, ничего не замѣчая, а какъ только она остановилась, подошелъ къ ней и радостно, почти нѣжно произнесъ:

— Здравствуйте, Александра Павловна, здравствуйте!

— А! Константинъ Діомидычъ? здравствуйте!—отвѣтила она.—Вы отъ Дарьи Михайловны?

— Точно такъ-съ, точно такъ-съ,—подхватилъ съ сіяющимъ лицомъ молодой человѣкъ:—отъ Дарьи Михайловны. Дарья Михайловна послала меня къ вамъ-съ; я предпочелъ идти пѣшкомъ... Утро такое чудесное, всего четыре версты разстоянія. Я прихожу—васъ дома нѣтъ-съ. Мнѣ вашъ братецъ говоритъ, что вы пошли въ Семеновку, и сами, собираются въ поле: я вотъ съ ними и пошелъ-съ, *къ вамъ навстрѣчу*. Да-съ. Какъ это пріятно!

Молодой человѣкъ говорилъ по-русски чисто и правильно, но съ иностраннымъ произношеніемъ, хотя трудно было опредѣлить, съ какимъ именно. Въ чертахъ лица его было нѣчто азіатское. Длинный носъ съ горбиной, большіе неподвижные глаза на выкатѣ, крупныя красныя губы, покатый лобъ, черные какъ смоль волосы,—все въ немъ изобличало восточное происхожденіе, но молодой человѣкъ именовался по фамиліи Пандалевскимъ и называлъ своею родиной Одессу, хотя и воспитывался гдѣ-то въ Бѣлоруссіи, насчетъ благодѣтельной и богатой вдовы. Другая вдова опредѣлила его на службу. Вообще, дамы среднихъ лѣтъ охотно покровительствовали Константину Діомидычу: онъ умѣлъ искать, умѣлъ находить въ нихъ. Онъ и теперь жилъ у богатой помѣщицы, Дарьи Михайловны Ласунской, въ качествѣ пріемыша или нахлѣбника. Онъ былъ весьма ласковъ, услужливъ, чувствителенъ и втайнѣ сластолюбивъ, обладалъ пріятнымъ голосомъ, порядочно игралъ на фортепіано и имѣлъ привычку, когда говорилъ съ кѣмъ-нибудь, такъ и впиваться въ него глазами. Онъ одѣвался очень чистенько и платье носилъ чрезвычайно долго, тщательно выбривалъ свой широкій подбородокъ и причесывалъ волосокъ къ волоску.

Александра Павловна выслушала его рѣчь до конца и обратилась къ брату.

— Сегодня мнѣ все встрѣчи: сейчасъ я разговаривала съ Лежневымъ.

— А, съ нимъ! онъ ѣхалъ куда-нибудь?

— Да; и вообрази, на бѣговыхъ дрожкахъ, въ какомъ-то полотняномъ мѣшкѣ, весь въ пыли... Какой онъ чудакъ!

— Да, быть-можетъ; только онъ славный человѣкъ.

— Кто это? Г-нъ Лежневъ?—спросилъ Пандалевскій, какъ бы удивясь.

— Да, Михайло Михайлычъ Лежневъ,—возразилъ Волынцевъ. — Однако, прощай, сестра: мнѣ пора ѣхать въ поле; у тебя гречиху сѣютъ. Г-нъ Пандалевскій тебя проведетъ домой...

И Волынцевъ пустилъ лошадь рысью.

— *Съ величайшимъ удовольствіемъ!*—воскликнулъ Кон-

стантинъ Діомидычъ и предложилъ Александрѣ Павловнѣ руку.

Она подала ему свою, и оба отправились по дорогѣ въ ея усадьбу.

Вести подъ руку Александру Павловну доставляло, повидимому, большое удовольствіе Константину Діомидычу; онъ выступалъ маленькими шагами, улыбался, а восточные глаза его даже покрылись влагой, что, впрочемъ, съ ними случалось не рѣдко: Константину Діомидычу ничего не стоило умилиться и пролить слезу. И кому бы не было пріятно вести подъ руку хорошенькую женщину, молодую и стройную? Объ Александрѣ Павловнѣ вся ....ая губернія единогласно говорила, что она прелесть, и ....ая губернія не ошибалась. Одинъ ея прямой, чуть-чуть вздернутый носикъ могъ свести съ ума любого смертнаго, не говоря уже о ея бархатныхъ карихъ глазкахъ, золотисто-русыхъ волосахъ, ямкахъ на круглыхъ щечкахъ и другихъ красотахъ. Но лучше всего въ ней было выраженіе ея миловиднаго лица: довѣрчивое, добродушное и кроткое, оно и трогало, и привлекало. Александра Павловна глядѣла и смѣялась, какъ ребенокъ; барыни находили ее простенькой... Можно ли было чего-нибудь еще желать?

— Васъ Дарья Михайловна ко мнѣ прислала, говорите вы?—спросила она Пандалевскаго.

— Да-съ, прислала-съ,—отвѣчалъ онъ, выговаривая букву *с*, какъ англійское *th*: — онѣ непремѣнно желаютъ и велѣли васъ убѣдительно просить, чтобы вы пожаловали сегодня къ нимъ обѣдать... Онѣ (Пандалевскій, когда говорилъ о третьемъ лицѣ, особенно о дамѣ, строго придерживался множественнаго числа):—онѣ ждутъ къ себѣ новаго гостя, съ которымъ непремѣнно желаютъ васъ познакомить.

— Кто это?

— Нѣкто Муффель, баронъ, камеръ-юнкеръ изъ Петербурга. Дарья Михайловна недавно съ нимъ познакомились *у князя Гарина* и съ большой похвалой о немъ отзы-

ваются, какъ о любезномъ и образованномъ молодомъ человѣкѣ. Г-нъ баронъ занимаются также литературой, или, лучше сказать... ахъ, какая прелестная бабочка! извольте обратить ваше вниманіе... лучше сказать, политической экономіей. Онъ написалъ статью о какомъ-то очень интересномъ вопросѣ — и желаетъ подвергнуть ее на судъ Дарьѣ Михайловнѣ.

— Политико-экономическую статью?

— Съ точки зрѣнія языка-съ, Александра Павловна, съ точки зрѣнія языка-съ. Вамъ, я думаю, извѣстно, что и въ этомъ Дарья Михайловна знатокъ-съ. Жуковскій съ ними совѣтовался, а благодѣтель мой, проживающій въ Одессѣ благопотребный старецъ Роксоланъ Медіаровичъ Ксандрыка... Вамъ, навѣрное, извѣстно имя этой особы?

— Нисколько, и не слыхивала.

— Не слыхивали о такомъ мужѣ? Удивительно! Я хотѣлъ сказать, что и Роксоланъ Медіаровичъ очень былъ всегда высокаго мнѣнія о познаніяхъ Дарьи Михайловны въ россійскомъ языкѣ.

— А не педантъ этотъ баронъ?—спросила Александра Павловна.

— Никакъ нѣтъ-съ; Дарья Михайловна разсказываютъ, что, напротивъ, свѣтскій человѣкъ въ немъ сейчасъ виденъ. О Бетховенѣ говорилъ съ такимъ краснорѣчіемъ, что даже старый князь почувствовалъ восторгъ... Это я, признаюсь, послушалъ бы: вѣдь это по моей части. Позвольте вамъ предложить этотъ прекрасный полевой цвѣтокъ.

Александра Павловна взяла цвѣтокъ и, пройдя нѣсколько шаговъ, уронила его на дорогу... До дому ея оставалось шаговъ двѣсти, не болѣе. Недавно выстроенный и выбѣленный, онъ привѣтливо выглядывалъ своими широкими, свѣтлыми окнами изъ густой зелени старинныхъ липъ и кленовъ.

— Такъ какъ же-съ прикажете доложить Дарьѣ Михайловнѣ,—заговорилъ Пандалевскій, слегка обиженный участью поднесеннаго имъ цвѣтка: — пожалуете вы къ *обѣду? Онѣ* и братца вашего просятъ.

— *Да*, мы пріѣдемъ, непремѣнно. А что Наташа?

— Наталья Алексѣевна, слава Богу, здоровы-съ... Но мы уже прошли поворотъ къ имѣнью Дарьи Михайловны. Позвольте мнѣ раскланяться.

Александра Павловна остановилась.—А вы развѣ не зайдете къ намъ?—спросила она нерѣшительнымъ голосомъ.

— Душевно бы желалъ-съ, но боюсь опоздать. Дарьѣ Михайловнѣ угодно послушать новый этюдъ Тальберга: такъ надо приготовиться и подучить. Притомъ, я, признаюсь, сомнѣваюсь, чтобы моя бесѣда могла доставить вамъ какое-нибудь удовольствіе.

— Да нѣтъ... почему же...

Пандалевскій вздохнулъ и выразительно опустилъ глаза.

— До свиданія, Александра Павловна! проговорилъ онъ, помолчавъ немного, поклонился и отступилъ шагъ назадъ.

Александра Павловна повернулась и пошла домой.

Константинъ Діомидычъ также пустился во-свояси. Съ лица его тотчасъ исчезла вся сладость: самоувѣренное, почти суровое выраженіе появилось на немъ. Даже походка Константина Діомидыча измѣнилась: онъ теперь и шагалъ шире, и наступалъ тяжелѣе. Онъ прошелъ версты двѣ, развязно помахивая палочкой, и вдругъ опять осклабился: онъ увидѣлъ возлѣ дороги молодую, довольно смазливую крестьянскую дѣвушку, которая выгоняла телятъ изъ овса. Константинъ Діомидычъ осторожно, какъ котъ, подошелъ къ дѣвушкѣ и заговорилъ съ ней. Та сперва молчала, краснѣла и посмѣивалась, наконецъ, закрыла губы рукавомъ, отворотилась и промолвила:

— Ступай, баринъ, право...

Константинъ Діомидычъ погрозилъ ей пальцемъ и велѣлъ ей принести себѣ васильковъ.

— На что тебѣ васильковъ? вѣнки, что ль, плесть?—возразила дѣвушка:—да ну, ступай же, право...

— Послушай, моя любезная красоточка,—началъ-было Константинъ Діомидычъ...

— Да ну, ступай,—перебила его дѣвушка: — баричи, вонъ, идутъ.

Константинъ Діомидычъ оглянулся. Дѣйствительно, по дорогѣ *бѣжали Ваня и Петя*, сыновья Дарьи Михайловны,

за ними шелъ ихъ учитель, Басистовъ, молодой человѣкъ двадцати-двухъ лѣтъ, только-что окончившій курсъ. Басистовъ былъ рослый малый, съ простымъ лицомъ, большимъ носомъ, крупными губами и свиными глазками, некрасивый и неловкій, но добрый, честный и прямой. Онъ одѣвался небрежно, не стригъ волосъ, — не изъ щегольства, а отъ лѣни; любилъ поѣсть, любилъ поспать, но любилъ также хорошую книгу, горячую бесѣду и всей душой ненавидѣлъ Пандалевскаго.

Дѣти Дарьи Михайловны обожали Басистова и ужъ нисколько его не боялись; со всѣми остальными въ домѣ онъ былъ на короткой ногѣ, что̀ не совсѣмъ нравилось хозяйкѣ, какъ она ни толковала о томъ, что для нея предразсудковъ не существуетъ.

— Здравствуйте, мои миленькіе!—заговорилъ Константинъ Діомидычъ: — какъ вы рано сегодня гулять пошли! А я,—прибавилъ онъ, обращаясь къ Басистову:—уже давно вышелъ; моя страсть—наслаждаться природой.

— Видѣли мы какъ вы наслаждаетесь природой,—пробормоталъ Басистовъ.

— Вы матеріалистъ: ужъ сейчасъ Богъ знаетъ, что̀ думаете. Я васъ знаю!

Пандалевскій, когда говорилъ съ Басистовымъ или подобными ему людьми, легко раздражался и букву *с* произносилъ чисто, даже съ маленькимъ свистомъ.

— Что же, вы у этой дѣвки, небось, дорогу спрашивали?—проговорилъ Басистовъ, поводя глазами и вправо и влѣво.

Онъ чувствовалъ, что Пандалевскій глядитъ ему прямо въ лицо, а это ему было крайне непріятно.

— Я повторяю, вы матеріалистъ и больше ничего. Вы непремѣнно желаете во всемъ видѣть одну прозаическую сторону...

— Дѣти!—скомандовалъ вдругъ Басистовъ:—видите вы на лугу ракиту: посмотримъ, кто скорѣе до нея добѣжитъ... разъ! два! три!

И дѣти бросились во всѣ ноги къ ракитѣ. Басистовъ *устремился* за ними.

„Мужикъ!“ подумалъ Пандалевскій: — „испортитъ онъ этихъ мальчишекъ... Совершенный мужикъ!“

И, съ удовольствіемъ окинувъ взглядомъ свою собственную опрятную и изящную фигурку, Константинъ Діомидычъ ударилъ раза два растопыренными пальцами по рукаву сюртука, встряхнулъ воротникомъ и отправился далѣе. Вернувшись къ себѣ въ комнату, онъ надѣлъ старенькій халатъ и съ озабоченнымъ лицомъ сѣлъ за фортепіано.

II.

Домъ Дарьи Михайловны Ласунской считался чуть ли не первымъ по всей ....ой губерніи. Огромный, каменный, сооруженный по рисункамъ Растрелли во вкусѣ прошедшаго столѣтія, онъ величественно возвышался на вершинѣ холма, у подошвы котораго протекала одна изъ главныхъ рѣкъ средней Россіи. Сама Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, вдова тайнаго совѣтника. Хотя Пандалевскій и разсказывалъ про нее, что она знаетъ всю Европу, да и Европа ее знаетъ!—однако, Европа ее знала мало; даже въ Петербургѣ она важной роли не играла; за то въ Москвѣ ее всѣ знали и ѣздили къ ней. Она принадлежала къ высшему свѣту и слыла за женщину нѣсколько странную, не совсѣмъ добрую, но чрезвычайно умную. Въ молодости она была очень хороша собою. Поэты писали ей стихи, молодые люди въ нее влюблялись, важные господа волочились за ней. Но съ тѣхъ поръ прошло лѣтъ двадцать пять или тридцать, и прежнихъ прелестей не осталось и слѣда. „Неужели,—спрашивалъ себя невольно всякій, кто только видѣлъ ее въ первый разъ:— неужели эта худенькая, желтенькая, востроносая и еще не старая женщина была когда-то красавицей? Неужели это она, та самая, о которой бряцали лиры?.. И всякій внутренно удивлялся перемѣнчивости всего земного. Правда, Пандалевскій находилъ, что у Дарьи Михайловны удивительно сохранились ея великолѣпные глаза; но вѣдь тотъ же Пандалевскій утверждалъ, что ее вся Европа знаетъ.

Дарья Михайловна пріѣзжала каждое лѣто къ себѣ въ

деревню съ своими дѣтьми (у нея ихъ было трое: дочь Наталья, семнадцати лѣтъ, и два сына, десяти и девяти лѣтъ) и жила открыто, то-есть принимала мужчинъ, особенно холостыхъ; провинціальныхъ барынь она терпѣть не могла. За то и доставалось же ей отъ этихъ барынь! Дарья Михайловна, по ихъ словамъ, была и горда, и безнравственна, и тиранка страшная; а главное — она позволяла себѣ такія вольности въ разговорѣ, что ужасти! Дарья Михайловна, дѣйствительно, не любила стѣснять себя въ деревнѣ, и въ свободной простотѣ ея обхожденія замѣчался легкій оттѣнокъ презрѣнія столичной львицы къ окружавшимъ ее, довольно темнымъ и мелкимъ существамъ... Она и съ городскими знакомыми обходилась очень развязно, даже насмѣшливо; но оттѣнка презрѣнія не было.

Кстати, читатель: замѣтили ли вы, что человѣкъ, необыкновенно разсѣянный въ кружкѣ подчиненныхъ, никогда не бываетъ разсѣянъ съ лицами высшими? Отчего бы это? Впрочемъ, подобные вопросы ни къ чему не ведутъ.

Когда Константинъ Діомидычъ, вытвердивъ, наконецъ, тальберховскій этюдъ, спустился изъ своей чистой и веселенькой комнаты въ гостиную, онъ уже засталъ все домашнее общество собраннымъ. *Салонъ* уже начался. На широкой кушеткѣ, подобравъ подъ себя ноги и вертя въ рукахъ новую французскую брошюру, расположилась хозяйка; у окна, за пяльцами, сидѣли: съ одной стороны дочь Дарьи Михайловны, а съ другой m-lle Boncourt— гувернантка, старая и сухая дѣва лѣтъ шестидесяти, съ накладкой черныхъ волосъ подъ разноцвѣтнымъ чепцомъ и хлопчатой бумагой въ ушахъ; въ углу, возлѣ двери, помѣстился Басистовъ и читалъ газету; подлѣ него Петя и Ваня играли въ шашки, а прислонясь къ печкѣ и заложивъ руки за спину, стоялъ господинъ небольшого роста, взъерошенный и сѣдой, съ смуглымъ лицомъ и бѣглыми черными глазками—нѣкто Африканъ Семенычъ Пигасовъ.

Странный человѣкъ былъ этотъ господинъ Пигасовъ. *Озлобленный* противу всего и всѣхъ — особенно противъ

женщинъ—онъ бранился съ утра до вечера, иногда очень мѣтко, иногда довольно тупо, но всегда съ наслажденіемъ. Раздражительность его доходила до ребячества; его смѣхъ, звукъ его голоса, все его существо казалось пропитаннымъ желчью. Дарья Михайловна охотно принимала Пигасова: онъ потѣшалъ ее своими выходками. Онѣ, точно, были довольно забавны. Все преувеличивать было его страстью. Напримѣръ: о какомъ бы несчастьѣ при немъ ни говорили — разсказывали ли ему, что громомъ зажгло деревню, что вода прорвала мельницу, что мужикъ себѣ топоромъ руку отрубилъ — онъ всякій разъ съ сосредоточеннымъ ожесточеніемъ спрашивалъ: — „А какъ ее зовутъ?“ — то-есть, какъ зовутъ женщину, отъ которой произошло то несчастіе, потому что, по его увѣреніямъ, всякому несчастію причиной женщина, стоитъ только хорошенько вникнуть въ дѣло. Онъ однажды бросился на колѣни передъ почти незнакомой ему барыней, которая приставала къ нему съ угощеніемъ, и началъ слезно, но съ написанной на лицѣ яростью умолять ее, чтобы она его пощадила, что онъ ничѣмъ передъ ней не провинился и впередъ у ней никогда не будетъ. Разъ лошадь помчала подъ-гору одну изъ прачекъ Дарьи Михайловны, опрокинула ее въ ровъ и чуть не убила. Пигасовъ съ тѣхъ поръ иначе не называлъ эту лошадь, какъ „добрый, добрый конекъ“, а самую гору и ровъ находилъ чрезвычайно живописными мѣстами. Пигасову въ жизни не повезло — онъ эту дурь и напустилъ на себя. Онъ происходилъ отъ бѣдныхъ родителей. Отецъ его занималъ разныя мелкія должности, едва зналъ грамотѣ и не заботился о воспитаніи сына; кормилъ, одѣвалъ его — и только. Мать его баловала, но скоро умерла. Пигасовъ самъ себя воспиталъ, самъ опредѣлилъ себя въ уѣздное училище, потомъ въ гимназію, выучился языкамъ: французскому, нѣмецкому и даже латинскому и, выйдя изъ гимназіи съ отличнымъ аттестатомъ, отправился въ Дерптъ, гдѣ постоянно боролся съ нуждою, но выдержалъ трехгодичный курсъ до конца. Способности Пигасова не выходили изъ разряда *обыкновенныхъ*; терпѣніемъ и настойчивостью

онъ отличался, но особенно сильно было въ немъ чувство честолюбія, желаніе попасть въ хорошее общество, не отстать отъ другихъ, на зло судьбѣ. Онъ и учился прилежно, и въ дерптскій университетъ поступилъ изъ честолюбія. Бѣдность сердила его и развила въ немъ наблюдательность и лукавство. Онъ выражался своеобразно; онъ смолоду присвоилъ себѣ особый родъ желчнаго и раздражительнаго краснорѣчія. Мысли его не возвышались надъ общимъ уровнемъ; а говорилъ онъ такъ, что могъ казаться не только умнымъ, но даже очень умнымъ человѣкомъ. Получивъ степень кандидата, Пигасовъ рѣшился посвятить себя ученому званію: онъ понялъ, что на всякомъ другомъ поприщѣ онъ бы никакъ не могъ угнаться за своими товарищами (онъ старался выбирать ихъ изъ высшаго круга и умѣлъ къ нимъ поддѣлаться, даже льстилъ имъ, хотя все ругался). Но тутъ въ немъ, говоря попросту, матеріала не хватило. Самоучка не изъ любви къ наукѣ, Пигасовъ въ сущности зналъ слишкомъ мало. Онъ жестоко провалился на диспутѣ, между тѣмъ, какъ жившій съ нимъ въ одной комнатѣ другой студентъ, надъ которымъ онъ постоянно смѣялся, человѣкъ весьма ограниченный, но получившій правильное и прочное воспитаніе, восторжествовалъ вполнѣ. Неудача эта взбѣсила Пигасова: онъ бросилъ въ огонь всѣ свои книги и тетради и поступилъ на службу. Сначала дѣло шло недурно: чиновникъ онъ былъ хоть куда, не очень распорядительный, зато крайне самоувѣренный и бойкій; но ему захотѣлось поскорѣе выскочить въ люди—онъ запутался, споткнулся и принужденъ былъ выйти въ отставку. Года три просидѣлъ онъ у себя въ благопріобрѣтенной деревенькѣ и вдругъ женился на богатой, полуобразованной помѣщицѣ, которую поймалъ на удочку своихъ развязныхъ и насмѣшливыхъ манеръ. Но нравъ Пигасова уже слишкомъ раздражился и окисъ; онъ тяготился семейной жизнью... Жена его, поживъ съ нимъ нѣсколько лѣтъ, уѣхала тайкомъ въ Москву и продала какому-то ловкому аферисту *свое имѣніе*, а Пигасовъ только-что построилъ въ немъ *усадьбу*. Потрясенный до основанія этимъ послѣднимъ

ударомъ, Пигасовъ затѣялъ-было тяжбу съ женою, но ничего не выигралъ... Онъ доживалъ свой вѣкъ одиноко, разъѣзжалъ по сосѣдямъ, которыхъ бранилъ за глаза и даже въ глаза, и которые принимали его съ какимъ-то напряженнымъ полухохотомъ, хотя серьезнаго страха онъ имъ не внушалъ, — и никогда книги въ руки не бралъ. У него было около ста душъ; мужики его не бѣдствовали.

— А! Constantin!—проговорила Дарья Михайловна, какъ только Пандалевскій вошелъ въ гостиную: — Alexandrine будетъ?

— Александра Павловна велѣла васъ благодарить и за особенное удовольствіе себѣ поставляютъ,—выразилъ Константинъ Діомидычъ, пріятно раскланиваясь на всѣ стороны и прикасаясь толстой, но бѣлой ручкой съ ногтями, остриженными треугольникомъ, къ превосходно причесаннымъ волосамъ.

— И Волынцевъ тоже будетъ?

— И они-съ.

— Такъ какъ же, Африканъ Семенычъ,—продолжала Дарья Михайловна, обратясь къ Пигасову:—по-вашему, всѣ барышни неестественны?

У Пигасова губы скрутились на-бокъ, и онъ нервически задергалъ локтемъ.

— Я говорю,—началъ онъ неторопливымъ голосомъ—онъ въ самомъ сильномъ припадкѣ ожесточенія говорилъ медленно и отчетливо:—я говорю, что барышни вообще—о присутствующихъ, разумѣется, я умалчиваю...

— Но это не мѣшаетъ вамъ и о нихъ думать,—перебила Дарья Михайловна.

— Я о нихъ умалчиваю,—повторилъ Пигасовъ. — Всѣ барышни вообще неестественны въ высшей степени—неестественны въ выраженіи чувствъ своихъ. Испугается ли, напримѣръ, барышня, обрадуется ли чему, или опечалится, она непремѣнно сперва придастъ тѣлу своему какой-нибудь этакій изящный изгибъ (и Пигасовъ пребезобразно выгнулъ свой станъ и оттопырилъ руки) и потомъ ужъ *крикнетъ: ахъ! или* засмѣется, или заплачетъ. Мнѣ, одна-

ко (и тутъ Пигасовъ самодовольно улыбнулся), удалось-таки добиться однажды истиннаго, неподдѣльнаго выраженія ощущенія отъ одной замѣчательно неестественной барышни!

— Какимъ это образомъ?

Глаза Пигасова засверкали.

— Я ее хватилъ въ бокъ осиновымъ коломъ сзади. Она какъ взвизгнетъ, а я ей: браво! браво! Вотъ это голосъ природы, это былъ естественный крикъ... Вы и впередъ всегда такъ поступайте!

Всѣ въ комнатѣ засмѣялись.

— Что вы за пустяки говорите, Африканъ Семенычъ!— воскликнула Дарья Михайловна. — Повѣрю ли я, что вы станете дѣвушку толкать коломъ въ бокъ!

— Ей-Богу, коломъ, пребольшимъ коломъ, въ родѣ тѣхъ, которые употребляются при защитѣ крѣпостей.

— Mais c'est une horreur ce que vous dites là, monsieur,— возопила m-lle Boncourt, грозно посматривая на расхохотавшихся дѣтей.

— Да не вѣрьте ему,—промолвила Дарья Михайловна:— развѣ вы его не знаете?

Но негодующая француженка долго не могла успокоиться и все что-то бормотала себѣ подъ носъ.

— Вы можете мнѣ не вѣрить,—продолжалъ хладнокровнымъ голосомъ Пигасовъ: — но я утверждаю, что я сказалъ сущую правду. Кому-жъ это знать, коли не мнѣ? Послѣ этого вы, пожалуй, также не повѣрите, что наша сосѣдка Чепузова, Елена Антоновна, сама, замѣтьте сама, мнѣ разсказала, какъ она уморила своего родного племянника?

— Вотъ еще выдумали!

— Позвольте, позвольте! Выслушайте и судите сами. Замѣтьте, я на нее клеветать не желаю, я ее даже люблю, насколько, то-есть, можно любить женщину; у ней во всемъ домѣ нѣтъ ни одной книги, кромѣ календаря, и читать она не можетъ иначе, какъ вслухъ—чувствуетъ *отъ этого* упражненія испарину и жалуется потомъ, что *у ней глаза* пупомъ полѣзли... Словомъ, женщина она ко-

рошая, и горничныя у ней толстыя. Зачѣмъ мнѣ на нее клеветать?

— Ну!—замѣтила Дарья Михайловна:—взобрался Африканъ Семенычъ на своего конька—теперь не слѣзетъ съ него до вечера.

— Мой конекъ... А у женщинъ ихъ цѣлыхъ три, съ которыхъ онѣ никогда не слѣзаютъ—развѣ когда спятъ.

— Какіе же эти три конька?

— Попрекъ, намекъ и упрекъ.

— Знаете ли что, Африканъ Семенычъ,—начала Дарья Михайловна:—вы не даромъ такъ озлоблены на женщинъ. Какая-нибудь, должно-быть, васъ...

— Обидѣла, вы хотите сказать?—перебилъ ее Пигасовъ.

Дарья Михайловна немного смутилась; она вспомнила о несчастномъ бракѣ Пигасова... и только головой кивнула.

— Меня одна женщина точно обидѣла,—промолвилъ Пигасовъ:—хоть и добрая была, очень добрая...

— Кто же это такая?

— Мать моя,—произнесъ Пигасовъ, понизивъ голосъ.

— Ваша мать? Чѣмъ же она могла васъ обидѣть!

— А тѣмъ, что родила...

Дарья Михайловна наморщила брови.

— Мнѣ кажется,—заговорила она: — разговоръ нашъ принимаетъ невеселый оборотъ... Constantin, сыграйте намъ новый этюдъ Тальберха... Авось, звуки музыки укротятъ Африкана Семеныча. Орфей укрощалъ же дикихъ звѣрей.

Константинъ Діомидычъ сѣлъ за фортепіано и сыгралъ этюдъ весьма удовлетворительно. Сначала Наталья Алексѣевна слушала со вниманіемъ, потомъ опять принялась за работу.

— Mercі, c'est charmant,—промолвила Дарья Михайловна:—люблю Тальберха. Il est si distingué. Что вы задумались, Африканъ Семенычъ?

— Я думалъ,—началъ медленно Пигасовъ: — что есть три разряда эгоистовъ: эгоисты, которые сами живутъ и жить даютъ другимъ; эгоисты, которые сами живутъ и не *даютъ жить другимъ*; наконецъ, эгоисты, которые и сами

не живутъ, и другимъ не даютъ... Женщины, большею частію, принадлежатъ къ третьему разряду.

— Какъ это любезно! Одному я только удивляюсь, Африканъ Семенычъ, какая у васъ самоувѣренность въ сужденіяхъ; точно вы никогда ошибиться не можете.

— Кто говоритъ! и я ошибаюсь; мужчина тоже можетъ ошибаться. Но знаете ли, какая разница между ошибкою нашего брата и ошибкою женщины? Не знаете? Вотъ какая: мужчина можетъ, напримѣръ, сказать, что дважды-два не четыре, а пять или три съ половиною; а женщина скажетъ, что дважды-два—стеариновая свѣчка.

— Я уже это, кажется, слышала отъ васъ... Но позвольте спросить, какое отношеніе имѣетъ ваша мысль о трехъ родахъ эгоистовъ къ музыкѣ, которую вы сейчасъ слышали?

— Никакого, да я и не слушалъ музыки.

— Ну, „ты, батюшка, я вижу, неисправимъ, хоть брось“,— возразила Дарья Михайловна, слегка искажая Грибоѣдовскій стихъ.—Что же вы любите, коли вамъ и музыка не нравится? литературу, что ли?

— Я литературу люблю, да только не нынѣшнюю.

— Почему?

— А вотъ почему. Я недавно переѣзжалъ черезъ Оку на паромѣ съ какимъ-то бариномъ. Паромъ пристalъ къ крутому мѣсту: надо было втаскивать экипажи на рукахъ. У барина была коляска претяжёлая. Пока перевозчики надсаживались, втаскивая коляску на берегъ, баринъ такъ кряхтѣлъ, стоя на паромѣ, что даже жалко его становилось... Вотъ, подумалъ я, новое примѣненіе системы раздѣленія работъ! Такъ и нынѣшняя литература: другіе везутъ, дѣло дѣлаютъ, а она кряхтитъ.

Дарья Михайловна улыбнулась.

— И это называется воспроизведеніемъ современнаго быта,—продолжалъ неугомонный Пигасовъ:—глубокимъ сочувствіемъ къ общественнымъ вопросамъ и еще какъ-то... Охъ, ужъ эти мнѣ громкія слова!

— А вотъ женщины, на которыхъ вы такъ нападаете—*тѣ, по* крайней мѣрѣ, не употребляютъ громкихъ словъ.

Пигасовъ пожалъ плечомъ.

— Не употребляютъ, потому что не умѣютъ.

Дарья Михайловна слегка покраснѣла.

— Вы начинаете дерзости говорить, Африканъ Семенычъ!—замѣтила она съ принужденной улыбкой.

Все затихло въ комнатѣ.

— Гдѣ это Золотоноша?—спросилъ вдругъ одинъ изъ мальчиковъ у Басистова.

— Въ Полтавской губерніи, мой милѣйшій,—подхватилъ Пигасовъ: — въ самой Хохландіи. (Онъ обрадовался случаю перемѣнить разговоръ.)—Вотъ, мы толковали о литературѣ,—продолжалъ онъ:—если бъ у меня были лишнія деньги, я бы сейчасъ сдѣлался малороссійскимъ поэтомъ.

— Это что́ еще? хорошъ поэтъ!—возразила Дарья Михайловна:—развѣ вы знаете по-малороссійски?

— Нимало; да оно и не нужно.

— Какъ не нужно?

— Да такъ же, не нужно. Сто́итъ только взять листъ бумаги и написать наверху: „Дума“; потомъ начать такъ: „гой, ты доля моя, доля!“ или: „сѣде казачино Наливайко на курганѣ!“ а тамъ: „по-пидъ горо́ю, по-пидъ зелено́ю, грае, грае воропае, гопъ! гопъ!“ или что-нибудь въ этомъ родѣ. И дѣло въ шляпѣ. Печатай и издавай. Малороссъ прочтетъ, подопретъ рукою щеку и непремѣнно заплачетъ,—такая чувствительная душа!

— Помилуйте!—воскликнулъ Басистовъ.—Что вы это такое говорите? Это ни съ чѣмъ не сообразно. Я жилъ въ Малороссіи, люблю ее и языкъ ея знаю... грае, грае воропае“—совершенная безсмыслица.

— Можетъ-быть, а хохолъ все-таки заплачетъ. Вы говорите: языкъ... Да развѣ существуетъ малороссійскій языкъ? Я попросилъ разъ одного хохла перевести слѣдующую, первую попавшуюся мнѣ фразу: „грамматика есть искусство правильно читать и писать“. Знаете, какъ онъ это перевелъ: „храматыка е выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты...“ Что жъ, это языкъ, по-вашему? самостоятельный языкъ? Да скорѣй, чѣмъ съ этимъ согласиться, я готовъ *позволить лучшаго своего* друга истолочь въ ступѣ...

Басистовъ хотѣлъ возражать.

— Оставьте его,—промолвила Дарья Михайловна:—вѣдь вы знаете, отъ него кромѣ парадоксовъ ничего не услышишь.

Пигасовъ язвительно улыбнулся. Лакей вошелъ и доложилъ о пріѣздѣ Александры Павловны и ея брата.

Дарья Михайловна встала навстрѣчу гостямъ.

— Здравствуйте, Alexandrine!—заговорила она, подходя къ ней: — какъ вы умно сдѣлали, что пріѣхали... Здравствуйте, Сергѣй Павлычъ!

Волынцевъ пожалъ Дарьѣ Михайловнѣ руку и подошелъ къ Натальѣ Алексѣевнѣ.

— А что, этотъ баронъ, вашъ новый знакомый, пріѣдетъ сегодня?—спросилъ Пигасовъ.

— Да, пріѣдетъ.

— Онъ, говорятъ, великій филозо́фъ: такъ Гегелемъ и брызжетъ.

Дарья Михайловна ничего не отвѣчала, усадила Александру Павловну на кушетку и сама помѣстилась возлѣ нея.

— Философія,—продолжалъ Пигасовъ: — высшая точка зрѣнія! Вотъ еще смерть моя: эти высшія точки зрѣнія. И что́ можно увидать сверху? Небось, коли захочешь лошадь купить, не съ каланчи на нее смотрѣть станешь!

— Вамъ этотъ баронъ хотѣлъ привезти статью какую-то? спросила Александра Павловна.

— Да, статью,—отвѣчала съ преувеличенною небрежностью Дарья Михайловна: — объ отношеніяхъ торговли къ промышленности въ Россіи... Но не бойтесь: мы ее здѣсь читать не станемъ... я васъ не за тѣмъ позвала. Le baron est aussi aimable que savant. И такъ хорошо говоритъ по-русски! C'est un vrai torrent... il vous entraine.

— Такъ хорошо по-русски говоритъ,—проворчалъ Пигасовъ:—что заслуживаетъ французской похвалы.

— Поворчите еще, Африканъ Семенычъ, поворчите... Это очень идетъ къ вашей взъерошенной прическѣ... Однако, что же онъ не ѣдетъ? Знаете ли что́, messieurs et mesdames,—прибавила Дарья Михайловна, взглянувъ кругомъ:—пойдемте въ садъ... До обѣда еще около часу осталось, а погода славная...

Все общество поднялось и отправилось въ садъ.

Садъ у Дарьи Михайловны доходилъ до самой рѣки. Въ немъ было много старыхъ липовыхъ аллей, золотисто-темныхъ и душистыхъ, съ изумрудными просвѣтами по концамъ, много бесѣдокъ изъ акацій и сирени.

Волынцевъ вмѣстѣ съ Натальей и m-lle Boncourt забрались въ самую глушь сада. Волынцевъ шелъ рядомъ съ Натальей и молчалъ. M-lle Boncourt слѣдовала немного поодаль.

— Что же вы дѣлали сегодня?—спросилъ наконецъ Волынцевъ, подергивая концы своихъ прекрасныхъ темно-русыхъ усовъ.

Онъ чертами лица очень походилъ на сестру; но въ выраженіи ихъ было меньше игры и жизни, и глаза его, красивые и ласковые, глядѣли какъ-то грустно.

— Да ничего,—отвѣчала Наталья:—слушала, какъ Пигасовъ бранится, вышивала по канвѣ, читала.

— А что̀ такое вы читали?

— Я читала... исторію крестовыхъ походовъ,—проговорила Наталья съ небольшой запинкой.

Волынцевъ посмотрѣлъ на нее.

— А!—произнесъ онъ наконецъ:—это должно-быть интересно.

Онъ сорвалъ вѣтку и началъ вертѣть ей по воздуху Они прошли еще шаговъ двадцать.

— Что это за баронъ, съ которымъ ваша матушка познакомилась?—спросилъ опять Волынцевъ.

— Камеръ-юнкеръ, пріѣзжій; maman его очень хвалитъ.

— Ваша матушка способна увлекаться.

— Это доказываетъ, что она еще очень молода сердцемъ,—замѣтила Наталья.

— Да. Я скоро пришлю вамъ вашу лошадь. Она уже почти совсѣмъ выѣзжена. Мнѣ хочется, чтобы она съ мѣста поднимала въ галопъ, и я этого добьюсь.

— Мегсі... Однако, мнѣ совѣстно. Вы сами ее выѣзжаете... это, говорятъ, очень трудно...

— Чтобы доставить вамъ малѣйшее удовольствіе, вы знаете, *Наталья Алексѣевна*, я готовъ... я... и не такіе пустяки...

Волынцевъ замялся.

Наталья дружелюбно взглянула на него и еще разъ сказала: merci.

— Вы знаете,—продолжалъ Сергѣй Павлычъ послѣ долгаго молчанья: — что нѣтъ такой вещи... Но къ чему я это говорю? вѣдь вы все знаете.

Въ это мгновеніе въ домѣ прозвенѣлъ колоколъ.

— Ah! la cloche du diner!—воскликнула m-lle Boncourt:—rentrons.

„Quel dommage", подумала про-себя старая француженка, взбираясь на ступеньки балкона вслѣдъ за Волынцевымъ и Натальей: — „quel dommage que ce charmant garçon ait si peu de ressources dans la conversation..." что по-русски можно такъ перевести: ты, мой милый, милъ, но плохъ немножко.

Баронъ къ обѣду не пріѣхалъ. Его прождали съ полчаса. Разговоръ за столомъ не клеился. Сергѣй Павлычъ только посматривалъ на Наталью, возлѣ которой сидѣлъ, и усердно наливалъ ей воды въ стаканъ. Пандалевскій тщетно старался занять сосѣдку свою, Александру Павловну: онъ весь закипалъ сладостью, а она чуть не зѣвала.

Басистовъ каталъ шарики изъ хлѣба и ни о чемъ не думалъ; даже Пигасовъ молчалъ, и когда Дарья Михайловна замѣтила ему, что онъ очень не любезенъ сегодня, угрюмо отвѣтилъ: когда же я бываю любезнымъ? Это не мое дѣло... И, усмѣхнувшись горько, прибавилъ: — потерпите маленько. Вѣдь я квасъ, du prostoï русскій квасъ; а вотъ вашъ камеръ-юнкеръ...

— Браво!—воскликнула Дарья Михайловна.—Пигасовъ ревнуетъ, заранѣе ревнуетъ!

Но Пигасовъ ничего не отвѣтилъ ей и только посмотрѣлъ исподлобья.

Пробило семь часовъ и всѣ опять собрались въ гостиную.

— Видно, не будетъ,—сказала Дарья Михайловна...

Но вотъ, раздался стукъ экипажа, небольшой тарантасъ *въѣхалъ* на дворъ, и черезъ нѣсколько мгновеній лакей *вошелъ въ* гостиную и подалъ Дарьѣ Михайловнѣ письмо

на серебряномъ блюдечкѣ. Она пробѣжала его до конца и, обратясь къ лакею, спросила:

— А гдѣ же господинъ, который привезъ это письмо?

— Въ экипажѣ сидитъ-съ. Прикажете принять-съ?

— Проси.

Лакей вышелъ.

— Вообразите, какая досада,—продолжала Дарья Михайловна: — баронъ получилъ предписаніе тотчасъ вернуться въ Петербургъ. Онъ прислалъ мнѣ свою статью съ однимъ господиномъ Рудинымъ, своимъ пріятелемъ. Баронъ хотѣлъ мнѣ его представить—онъ очень его хвалилъ. Но какъ это досадно! я надѣялась, что баронъ поживетъ здѣсь...

— Дмитрій Николаевичъ Рудинъ,—доложилъ лакей.

III.

Вошелъ человѣкъ лѣтъ тридцати-пяти, высокаго роста, нѣсколько сутуловатый, курчавый, смуглый, съ лицомъ неправильнымъ, но выразительнымъ и умнымъ, съ жидкимъ блескомъ въ быстрыхъ, темно-синихъ глазахъ, съ прямымъ, широкимъ носомъ и красно очерченными губами. Платье на немъ было не ново и узко, словно онъ изъ него выросъ.

Онъ проворно подошелъ къ Дарьѣ Михайловнѣ, поклонясь короткимъ поклономъ, сказалъ ей, что онъ давно желалъ имѣть честь представиться ей, и что пріятель его, баронъ, очень сожалѣлъ о томъ, что не могъ проститься лично.

Тонкій звукъ голоса Рудина не соотвѣтствовалъ его росту и его широкой груди.

— Садитесь... очень рада,—промолвила Дарья Михайловна и, познакомивъ его со всѣмъ обществомъ, спросила, здѣшній ли онъ, или заѣзжій.

— Мое имѣніе въ Т****ой губерніи,—отвѣчалъ Рудинъ, держа шляпу на колѣняхъ: — а здѣсь я недавно. Я пріѣхалъ по дѣлу и поселился пока въ вашемъ уѣздномъ городѣ.

— *У кого?*

— У доктора. Онъ мой старинный товарищъ по университету.

— А! у доктора... Его хвалятъ. Онъ, говорятъ, свое дѣло разумѣетъ. А съ барономъ вы давно знакомы?

— Я нынѣшней зимой въ Москвѣ съ нимъ встрѣтился и теперь провелъ у него около недѣли.

— Онъ очень умный человѣкъ—баронъ.

— Да-съ.

Дарья Михайловна понюхала узелокъ носового платка, напитанный одеколономъ.

— Вы служите?—спросила она.

— Кто? я-съ?

— Да.

— Нѣтъ... Я въ отставкѣ.

Наступило небольшое молчаніе. Общій разговоръ возобновился.

— Позвольте полюбопытствовать, — началъ Пигасовъ, обратясь къ Рудину:—вамъ извѣстно содержаніе статьи, присланной господиномъ бароном?

— Извѣстно.

— Статья эта трактуетъ объ отношеніяхъ торговли... или нѣтъ, бишь, промышленности къ торговлѣ въ нашемъ отечествѣ... Такъ, кажется, вы изволили выразиться, Дарья Михайловна?

— Да, она объ этомъ...—проговорила Дарья Михайловна и приложила руку ко лбу.

— Я, конечно, въ этихъ дѣлахъ судья плохой,—продолжалъ Пигасовъ: — но я долженъ сознаться, что мнѣ самое заглавіе статьи кажется чрезвычайно... какъ бы это сказать поделикатнѣе?... чрезвычайно темнымъ и запутаннымъ.

— Почему же оно вамъ такъ кажется?

Пигасовъ усмѣхнулся и посмотрѣлъ вскользь на Дарью Михайловну.

— А вамъ оно ясно?—проговорилъ онъ, снова обративъ свое лисье личико къ Рудину.

— Мнѣ? Ясно.

— Гм... Конечно, это вамъ лучше знать.

— У васъ голова болитъ?—спросила Александра Павловна Дарью Михайловну.

— Нѣтъ. Это у меня такъ... C'est nerveux.

— Позвольте полюбопытствовать,—заговорилъ опять носовымъ голоскомъ Пигасовъ:—вашъ знакомецъ, господинъ баронъ Муффель... такъ, кажется, ихъ зовутъ?

— Точно такъ.

— Господинъ баронъ Муффель спеціально занимается политической экономіей, или только такъ, посвящаетъ этой интересной наукѣ часы досуга, остающагося среди свѣтскихъ удовольствій и занятій по службѣ?

Рудинъ пристально посмотрѣлъ на Пигасова.

— Баронъ въ этомъ дѣлѣ дилетантъ,—отвѣчалъ онъ, слегка краснѣя:— но въ его статьѣ много справедливаго и любопытнаго.

— Не могу спорить съ вами, не зная статьи... Но, смѣю спросить, сочиненіе вашего пріятеля, барона Муффеля, вѣроятно, болѣе придерживается общихъ разсужденій, нежели фактовъ.

— Въ немъ есть и факты, и разсужденія, основанныя на фактахъ.

— Такъ-съ, такъ-съ. Доложу вамъ, по моему мнѣнію... а я могу-таки, при случаѣ, свое слово молвить: я три года въ Дерптѣ выжилъ... всѣ эти, такъ-называемыя, общія разсужденія, гипотезы тамъ, системы... извините меня, я провинціалъ, правду-матку рѣжу прямо... никуда не годятся. Это все одно умствованіе — этимъ только людей морочатъ. Передавайте, господа, факты, и будетъ съ васъ.

— Въ самомъ дѣлѣ!—возразилъ Рудинъ.—Ну, а смыслъ фактовъ передавать слѣдуетъ?

— Общія разсужденія,—продолжалъ Пигасовъ:—смерть моя эти общія разсужденія, обозрѣнія, заключенія. Все это основано на такъ-называемыхъ убѣжденіяхъ; всякій толкуетъ о своихъ убѣжденіяхъ, и еще уваженія къ нимъ требуетъ, носится съ ними... Эхъ!

И Пигасовъ потрясъ кулакомъ въ воздухѣ. Пандалевскій *разсмѣялся.*

— Прекрасно!—промолвилъ Рудинъ:—стало-быть, по-вашему, убѣжденій нѣтъ?

— Нѣтъ—и не существуетъ.

— Это ваше убѣжденіе?

— Да.

— Какъ же вы говорите, что ихъ нѣтъ? Вотъ вамъ уже одно на первый случай.

Всѣ въ комнатѣ улыбнулись и переглянулись.

— Позвольте, позвольте, однако, началъ-было Пигасовъ...

Но Дарья Михайловна захлопала въ ладоши, воскликнула: браво, браво, разбитъ Пигасовъ, разбитъ! и тихонько вынула шляпу изъ рукъ Рудина.

— Погодите радоваться, сударыня: успѣете!—заговорилъ съ досадой Пигасовъ. — Недостаточно сказать, съ видомъ превосходства, острое словцо: надобно доказать, опровергнуть... Мы отбились отъ предмета спора.

— Позвольте,—хладнокровно замѣтилъ Рудинъ:—дѣло очень просто. Вы не вѣрите въ пользу общихъ разсужденій, вы не вѣрите въ убѣжденія...

— Не вѣрю, не вѣрю, ни во что не вѣрю!

— Очень хорошо. Вы скептикъ.

— Не вижу необходимости употреблять такое ученое слово. Впрочемъ...

— Не перебивайте же!—вмѣшалась Дарья Михайловна.

„Кусь, кусь, кусь!“ сказалъ про-себя въ это мгновенье Пандалевскій, и весь осклабился.

— Это слово, выражаетъ мою мысль,—продолжалъ Рудинъ. — Вы его понимаете: отчего же не употреблять его? Вы ни во что не вѣрите... Почему же вѣрите вы въ факты?

— Какъ почему? вотъ прекрасно! Факты—дѣло извѣстное, всякій знаетъ, что такое факты... Я сужу о нихъ по опыту, по собственному чувству.

— Да развѣ чувство не можетъ обмануть васъ? Чувство вамъ говоритъ, что солнце вокругъ земли ходитъ... или, можетъ-быть, вы не согласны съ Коперникомъ? Вы и ему не вѣрите?

Улыбка опять промчалась по всѣмъ лицамъ, и глаза

всѣхъ устремились на Рудина. „А онъ человѣкъ не глупый“, подумалъ каждый.

— Вы все изволите шутить,—заговорилъ Пигасовъ.—Конечно, это очень оригинально, но къ дѣлу нейдетъ.

— Въ томъ, что̀ я сказалъ до сихъ поръ,—возразилъ Рудинъ:—къ сожалѣнію, слишкомъ мало оригинальнаго. Это все очень давно извѣстно и тысячу разъ было говорено. Дѣло не въ томъ...

— А въ чемъ же?—спросилъ не безъ наглости Пигасовъ.

Въ спорѣ онъ сперва подтрунивалъ надъ противникомъ, потомъ становился грубымъ, а наконецъ дулся и умолкалъ.

— Вотъ въ чемъ,—продолжалъ Рудинъ:—я, признаюсь, не могу не чувствовать искренняго сожалѣнія, когда умные люди при мнѣ нападаютъ...

— На системы?—перебилъ Пигасовъ.

— Да, пожалуй, хоть на системы. Что̀ васъ пугаетъ такъ это слово? Всякая система основана на знаніи основныхъ законовъ, началъ жизни...

— Да ихъ узнать, открыть ихъ нельзя... помилуйте!

— Позвольте. Конечно, не всякому они доступны, и человѣку свойственно ошибаться. Однако, вы, вѣроятно, согласитесь со мною, что, напримѣръ, Ньютонъ открылъ хотя нѣкоторые изъ этихъ основныхъ законовъ. Онъ былъ геній, положимъ; но открытія геніевъ тѣмъ и велики, что становятся достояніемъ всѣхъ. Стремленіе къ отысканію общихъ началъ въ частныхъ явленіяхъ есть одно изъ коренныхъ свойствъ человѣческаго ума, и вся наша образованность...

— Вотъ вы куда-съ!—перебилъ растянутымъ голосомъ Пигасовъ.—Я практическій человѣкъ и во всѣ эти метафизическія тонкости не вдаюсь и не хочу вдаваться.

— Прекрасно! Это въ вашей волѣ. Но замѣтьте, что самое ваше желаніе быть исключительно практическимъ человѣкомъ есть уже своего рода система, теорія...

— Образованность, говорите вы!—подхватилъ Пигасовъ:—вотъ еще чѣмъ удивить вздумали! Очень нужна она, эта хваленая образованность! Гроша мѣднаго не дамъ я за вашу образованность!

— Однако, какъ вы дурно спорите, Африканъ Семенычъ!—замѣтила Дарья Михайловна, внутренно весьма довольная спокойствіемъ и изящной учтивостью новаго своего знакомца.—„C'est un homme comme il faut“, подумала она, съ доброжелательнымъ вниманіемъ взглянувъ въ лицо Рудину. „Надо его приласкать“. Эти послѣднія слова она мысленно произнесла по-русски.

— Образованность я защищать не стану,—продолжалъ, помолчавъ немного, Рудинъ:—она не нуждается въ моей защитѣ. Вы ея не любите... у всякаго свой вкусъ. Притомъ, это завело бы насъ слишкомъ далеко. Позвольте вамъ только напомнить старую поговорку: „Юпитеръ, ты сердишься: стало-быть, ты виноватъ“. Я хотѣлъ сказать, что всѣ эти нападенія на системы, на общія разсужденія и т. д.—потому особенно огорчительны, что, вмѣстѣ съ системами, люди отрицаютъ вообще знаніе, науку и вѣру въ нее, стало-быть, и вѣру въ самихъ себя, въ свои силы. А людямъ нужна эта вѣра: имъ нельзя жить одними впечатлѣніями, имъ грѣшно бояться мысли и не довѣрять ей. Скептицизмъ всегда отличался безплодностью и безсиліемъ...

— Это все слова!—пробормоталъ Пигасовъ.

— Можетъ-быть. Но позвольте вамъ замѣтить, что, говоря: „это все слова!“—мы часто сами желаемъ отдѣлаться отъ необходимости сказать что-нибудь подѣльнѣе однихъ словъ.

— Чего-съ?—спросилъ Пигасовъ и прищурилъ глаза.

— Вы поняли, что я хотѣлъ сказать вамъ,—возразилъ съ невольнымъ, но тотчасъ сдержаннымъ нетерпѣніемъ, Рудинъ.—Повторяю, если у человѣка нѣтъ крѣпкаго начала, въ которое онъ вѣритъ, нѣтъ почвы, на которой онъ стоитъ твердо, какъ можетъ онъ дать себѣ отчетъ въ подробностяхъ, въ значеніи, въ будущности своего народа? какъ можетъ онъ знать, что онъ долженъ самъ дѣлать, если...

— Честь и мѣсто!—отрывисто проговорилъ Пигасовъ, поклонился и отошелъ въ сторону, ни на кого не глядя.

Рудинъ посмотрѣлъ на него, усмѣхнулся слегка и умолкъ.

— Ага! обратился въ бѣгство!—заговорила Дарья Михайловна.—Не безпокойтесь, Дмитрій... Извините,—прибавила она съ привѣтливой улыбкой:—какъ васъ по батюшкѣ?

— Николаичъ.

— Не безпокойтесь, любезный Дмитрій Николаичъ. Онъ никого изъ насъ не обманулъ. Онъ желаетъ показать видъ, что не *хочетъ* больше спорить... Онъ чувствуетъ, что не *можетъ* спорить съ вами. А вы лучше подсядьте-ка къ намъ поближе, да поболтаемте.

Рудинъ пододвинулъ свое кресло.

— Какъ это мы до сихъ поръ не познакомились?—продолжала Дарья Михайловна.—Это меня удивляетъ... Читали ли вы эту книгу? C'est de Tocqueville, vous savez?

И Дарья Михайловна протянула Рудину французскую брошюру.

Рудинъ взялъ тоненькую книжонку въ руки, перевернулъ въ ней нѣсколько страницъ и, положивъ ее обратно на столъ, отвѣчалъ, что собственно этого сочиненія г-на Токвиля онъ не читалъ, но часто размышлялъ о затронутомъ имъ вопросѣ. Разговоръ завязался. Рудинъ сперва какъ будто колебался, не рѣшался высказаться, не находилъ словъ, но наконецъ разгорѣлся и заговорилъ. Черезъ четверть часа одинъ его голосъ раздавался въ комнатѣ. Всѣ столпились въ кружокъ около него.

Одинъ Пигасовъ оставался въ отдаленіи, въ углу, подлѣ камина. Рудинъ говорилъ умно, горячо, дѣльно; выказалъ много знанія, много начитанности. Никто не ожидалъ найти въ немъ человѣка замѣчательнаго... Онъ былъ такъ посредственно одѣтъ, о немъ такъ мало ходило слуховъ. Всѣмъ непонятно казалось и странно, какимъ это образомъ вдругъ, въ деревнѣ, могъ проявиться такой умница. Тѣмъ болѣе удивилъ онъ и, можно сказать, очаровалъ всѣхъ, начиная съ Дарьи Михайловны... Она гордилась своей находкой и уже заранѣе думала о томъ, какъ она выведетъ Рудина въ свѣтъ. Въ первыхъ ея впечатлѣніяхъ было много почти дѣтскаго, несмотря на ея года. Александра Павловна, правду сказать, поняла мало изо всего, что́ говорилъ Рудинъ, но была очень удивлена и

обрадована; братъ ея тоже дивился; Пандалевскій наблюдалъ за Дарьей Михайловной и завидовалъ; Пигасовъ думалъ: „дамъ пятьсотъ рублей — еще лучше соловья достану!“... Но больше всѣхъ были поражены Басистовъ и Наталья. У Басистова чуть дыханье не захватило; онъ сидѣлъ все время съ раскрытымъ ртомъ и выпученными глазами—и слушалъ, слушалъ какъ отроду не слушалъ никого, а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взоръ ея, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнѣлъ, и заблисталъ...

— Какіе у него славные глаза!—шепнулъ ей Волынцевъ.

— Да, хороши.

— Жаль только, что руки велики и красны.

Наталья ничего не отвѣчала.

Подали чай. Разговоръ сталъ болѣе общимъ, но уже по одной внезапности, съ которой всѣ замолкали, лишь только Рудинъ раскрывалъ ротъ, можно было судить о силѣ произведеннаго впечатлѣнія. Дарьѣ Михайловнѣ вдругъ захотѣлось подразнить Пигасова. Она подошла къ нему и вполголоса проговорила: „Что же вы молчите и только улыбаетесь язвительно? Попытайтесь-ка, схватитесь съ нимъ опять“, и не дождавшись его отвѣта, подозвала рукою Рудина.

— Вы про него еще одной вещи не знаете,—сказала она ему, указывая на Пигасова:—онъ ужасный ненавистникъ женщинъ, безпрестанно нападаетъ на нихъ; пожалуйста, обратите его на путь истины.

Рудинъ посмотрѣлъ на Пигасова... поневолѣ свысока: онъ былъ выше его двумя головами. Пигасова чуть не покоробило со злости, и желчное лицо его поблѣднѣло.

— Дарья Михайловна ошибается,—началъ онъ невѣрнымъ голосомъ: — я не на однѣхъ женщинъ нападаю: я до человѣческаго рода не большой охотникъ.

— Что же вамъ могло дать такое дурное мнѣніе о немъ?—спросилъ Рудинъ.

Пигасовъ глянулъ ему прямо въ глаза.

— Вѣроятно, изученіе собственнаго сердца, въ которомъ я съ каждымъ днемъ открываю все болѣе и болѣе

дряни. Я сужу о другихъ по себѣ. Можетъ-быть, это и несправедливо, и я гораздо хуже другихъ, но что̀ прикажете дѣлать? привычка!

— Я васъ понимаю и сочувствую вамъ,—возразилъ Рудинъ.—Какая благородная душа не испытала жажды самоуниженія? Но не слѣдуетъ останавливаться на этомъ безвыходномъ положеніи.

— Покорно благодарю за выдачу моей душѣ аттестата въ благородствѣ,—возразилъ Пигасовъ:—а положеніе мое—ничего, недурно, такъ что если даже есть изъ него выходъ, то Богъ съ нимъ! я его искать не стану.

— Но это значитъ—извините за выраженіе—предпочитать удовлетвореніе своего самолюбія желанію быть и жить въ истинѣ...

— Да еще бы!—воскликнулъ Пигасовъ:—самолюбіе—это и я понимаю, и вы, надѣюсь, понимаете, и всякій понимаетъ: а истина—что̀ такое истина? Гдѣ она, эта истина?

— Вы повторяетесь, предупреждаю васъ, — замѣтила Дарья Михайловна.

Пигасовъ поднялъ плечи.

— Такъ что жъ за бѣда? Я спрашиваю: гдѣ истина? Даже философы не знаютъ, что̀ она такое. Кантъ говоритъ: вотъ она, молъ, что̀; а Гегель—нѣтъ, врешь, она вотъ что̀.

— А вы знаете, что̀ говоритъ о ней Гегель?—спросилъ, не возвышая голоса, Рудинъ.

— Я повторяю,—продолжалъ разгорячившійся Пигасовъ:—что я не могу понять, что̀ такое истина. По-моему, ея вовсе и нѣтъ на свѣтѣ, то-есть, слово-то есть, да самой вещи нѣтъ.

— Фи! фи!—воскликнула Дарья Михайловна:—какъ вамъ не стыдно это говорить, старый вы грѣшникъ! Истины нѣтъ? Для чего же жить послѣ этого на свѣтѣ?

— Да ужъ я думаю, Дарья Михайловна,—возразилъ съ досадой Пигасовъ: — что вамъ, во всякомъ случаѣ, легче было бы жить безъ истины, чѣмъ безъ вашего повара Степана, который такой мастеръ варить бульоны! И на что вамъ истина, скажите на милость? вѣдь чепчика изъ нея сшить нельзя!

обрадована; братъ ея тоже дивился; Пандалевскій наблюдалъ за Дарьей Михайловной и завидовалъ; Пигасовъ думалъ: „дамъ пятьсотъ рублей — еще лучше соловья достану!“... Но больше всѣхъ были поражены Басистовъ и Наталья. У Басистова чуть дыханье не захватило; онъ сидѣлъ все время съ раскрытымъ ртомъ и выпученными глазами—и слушалъ, слушалъ какъ отроду не слушалъ никого, а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взоръ ея, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнѣлъ, и заблисталъ...

— Какіе у него славные глаза!—шепнулъ ей Волынцевъ.

— Да, хороши.

— Жаль только, что руки велики и красны.

Наталья ничего не отвѣчала.

Подали чай. Разговоръ сталъ болѣе общимъ, но уже по одной внезапности, съ которой всѣ замолкали, лишь только Рудинъ раскрывалъ ротъ, можно было судить о силѣ произведеннаго впечатлѣнія. Дарьѣ Михайловнѣ вдругъ захотѣлось подразнить Пигасова. Она подошла къ нему и вполголоса проговорила: „Что же вы молчите и только улыбаетесь язвительно? Попытайтесь-ка, схватитесь съ нимъ опять“, и не дождавшись его отвѣта, подозвала рукою Рудина.

— Вы про него еще одной вещи не знаете,—сказала она ему, указывая на Пигасова:—онъ ужасный ненавистникъ женщинъ, безпрестанно нападаетъ на нихъ; пожалуйста, обратите его на путь истины.

Рудинъ посмотрѣлъ на Пигасова... поневолѣ свысока: онъ былъ выше его двумя головами. Пигасова чуть не покоробило со злости, и желчное лицо его поблѣднѣло.

— Дарья Михайловна ошибается,—началъ онъ невѣрнымъ голосомъ: — я не на однѣхъ женщинъ нападаю: я до человѣческаго рода не большой охотникъ.

— Что же вамъ могло дать такое дурное мнѣніе о немъ?—спросилъ Рудинъ.

Пигасовъ глянулъ ему прямо въ глаза.

— Вѣроятно, изученіе собственнаго сердца, въ которомъ я съ каждымъ днемъ открываю все болѣе и болѣе

дряни. Я сужу о другихъ по себѣ. Можетъ-быть, это и несправедливо, и я гораздо хуже другихъ, но что̀ прикажете дѣлать? привычка!

— Я васъ понимаю и сочувствую вамъ,—возразилъ Рудинъ.—Какая благородная душа не испытала жажды самоуниженія? Но не слѣдуетъ останавливаться на этомъ безвыходномъ положеніи.

— Покорно благодарю за выдачу моей душѣ аттестата въ благородствѣ,—возразилъ Пигасовъ:—а положеніе мое—ничего, недурно, такъ что если даже есть изъ него выходъ, то Богъ съ нимъ! я его искать не стану.

— Но это значитъ—извините за выраженіе—предпочитать удовлетвореніе своего самолюбія желанію быть и жить въ истинѣ...

— Да еще бы!—воскликнулъ Пигасовъ:—самолюбіе—это и я понимаю, и вы, надѣюсь, понимаете, и всякій понимаетъ: а истина—что̀ такое истина? Гдѣ она, эта истина?

— Вы повторяетесь, предупреждаю васъ, — замѣтила Дарья Михайловна.

Пигасовъ поднялъ плечи.

— Такъ что жъ за бѣда? Я спрашиваю: гдѣ истина? Даже философы не знаютъ, что̀ она такое. Кантъ говоритъ: вотъ она, молъ, что̀; а Гегель—нѣтъ, врешь, она вотъ что̀.

— А вы знаете, что̀ говоритъ о ней Гегель?—спросилъ, не возвышая голоса, Рудинъ.

— Я повторяю,—продолжалъ разгорячившійся Пигасовъ:—что я не могу понять, что̀ такое истина. По-моему, ея вовсе и нѣтъ на свѣтѣ, то-есть, слово-то есть, да самой вещи нѣтъ.

— Фи! фи!—воскликнула Дарья Михайловна:—какъ вамъ не стыдно это говорить, старый вы грѣшникъ! Истины нѣтъ? Для чего же жить послѣ этого на свѣтѣ?

— Да ужъ я думаю, Дарья Михайловна,—возразилъ съ досадой Пигасовъ: — что вамъ, во всякомъ случаѣ, легче было бы жить безъ истины, чѣмъ безъ вашего повара Степана, который такой мастеръ варить бульоны! И на что вамъ истина, скажите на милость? вѣдь чепчика изъ нея сшить нельзя!

— Шутка не возраженіе,—замѣтила Дарья Михайловна:—особенно, когда сбиваешься на клевету...

— Не знаю, какъ истина, а правда, видно, глаза колетъ,—пробормоталъ Пигасовъ и съ сердцемъ отошелъ въ сторону.

А Рудинъ заговорилъ о самолюбіи, и очень дѣльно заговорилъ. Онъ доказывалъ, что человѣкъ безъ самолюбія ничтожепъ, что самолюбіе—архимедовъ рычагъ, которымъ землю съ мѣста можно сдвинуть, но что, въ то же время, тотъ только заслуживаетъ названіе человѣка, кто умѣетъ овладѣть своимъ самолюбіемъ, какъ всадникъ конемъ, кто свою личность приноситъ въ жертву общему благу...

— Себялюбіе,—такъ заключилъ онъ:—самоубійство. Себялюбивый человѣкъ засыхаетъ словно одинокое, безплодное дерево; но самолюбіе, какъ дѣятельное стремленіе къ совершенству, есть источникъ всего великаго.... Да! человѣку надо надломить упорный эгоизмъ своей личности, чтобы дать ей право себя высказывать!

— Не можете ли вы одолжить мнѣ карандашика?—обратился Пигасовъ къ Басистову.

Басистовъ не тотчасъ понялъ, что у него спрашивалъ Пигасовъ.

— Зачѣмъ вамъ карандашъ? проговорилъ онъ наконецъ.

— Хочу записать вотъ эту послѣднюю фразу г. Рудина. Не записавъ, позабудешь, чего добраго! А согласитесь сами, такая фраза—все равно, что большой шлемъ въ ералашѣ.

— Есть вещи, надъ которыми смѣяться и трунить грѣшно, Африканъ Семенычъ!—съ жаромъ проговорилъ Басистовъ, и отвернулся отъ Пигасова.

Между тѣмъ Рудинъ подошелъ къ Натальѣ. Она встала: лицо ея выразило замѣшательство.

Волынцевъ, сидѣвшій подлѣ нея, тоже всталъ.

— Я вижу фортепіано,—началъ Рудинъ мягко и ласково, какъ путешествующій принцъ:—не вы ли играете па немъ?

— Да, я играю,—проговорила Наталья:—но не очень *хорошо*. Вотъ, Константинъ Діомидычъ гораздо лучше *меня играетъ*.

Пандалевскій выставилъ свое лицо и оскалилъ зубы.

— Напрасно вы это говорите, Наталья Алексѣевна: вы играете нисколько не хуже меня.

— Знаете ли вы „Erlkönig“ Шуберта? спросилъ Рудинъ.

— Знаетъ, знаетъ!—подхватила Дарья Михайловна.— Садитесь, Constantin... А вы любите музыку, Дмитрій Николаичъ?

Рудинъ только наклонилъ слегка голову и провелъ рукой по волосамъ, какъ бы готовясь слушать... Пандалевскій заигралъ.

Наталья стала возлѣ фортепіано, прямо напротивъ Рудина. Съ первымъ звукомъ лицо его приняло прекрасное выраженіе. Его темно-синіе глаза медленно блуждали, изрѣдка останавливаясь на Натальѣ. Пандалевскій кончилъ.

Рудинъ ничего не сказалъ и подошелъ къ раскрытому окну. Душистая мгла лежала мягкой пеленою надъ садомъ; дремотной свѣжестью дышали близкія деревья. Звѣзды тихо теплились. Лѣтняя ночь и нѣжилась, и нѣжила. Рудинъ поглядѣлъ въ темный садъ—и обернулся.

— Эта музыка и эта ночь,—заговорилъ онъ:—напомнили мнѣ мое студенческое время въ Германіи: наши сходки, наши серенады...

— А вы были въ Германіи? спросила Дарья Михайловна.

— Я провелъ годъ въ Гейдельбергѣ и около года въ Берлинѣ.

— И одѣвались студентомъ? Говорятъ, они тамъ какъ-то особенно одѣваются.

— Въ Гейдельбергѣ я носилъ большіе сапоги со шпорами и венгерку со шнурками, и волосы отрастилъ до самыхъ плечъ... Въ Берлинѣ студенты одѣваются, какъ всѣ люди.

— Разскажите намъ что-нибудь изъ вашей студенческой жизни,—промолвила Александра Павловна.

Рудинъ началъ разсказывать. Разсказывалъ онъ не совсѣмъ удачно. Въ описаніяхъ его недоставало красокъ. Онъ не умѣлъ смѣшить. Впрочемъ, Рудинъ отъ разсказовъ своихъ заграничныхъ похожденій скоро перешелъ къ *общимъ разсужденіямъ* о значеніи просвѣщенія и

науки, объ университетахъ и жизни университетской вообще. Широкими и смѣлыми чертами набросалъ онъ громадную картину. Всѣ слушали его съ глубокимъ вниманіемъ... Онъ говорилъ мастерски, увлекательно, не совсѣмъ ясно... но самая эта неясность придавала особенную прелесть его рѣчамъ.

Обиліе мыслей мѣшало Рудину выражаться опредѣлительно и точно. Образы смѣнялись образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, возникали за сравненіями. Не самодовольной изысканностью опытнаго говоруна — вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно и свободно приходили къ нему на уста, и каждое слово, казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва ли не высшей тайной — музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣть и дрожать всѣ другія. Иной слушатель, пожалуй, и не понималъ въ точности, о чемъ шла рѣчь; но грудь его высоко поднималась, какія-то завѣсы разверзались передъ его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди.

Всѣ мысли Рудина казались обращенными въ будущее; это придавало имъ что-то стремительное и молодое... Стоя у окна, не глядя ни на кого въ особенности, онъ говорилъ — и, вдохновенный общимъ сочувствіемъ и вниманіемъ, близостію молодыхъ женщинъ, красотою ночи, увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній, онъ возвысился до краснорѣчія, до поэзіи... Самый звукъ его голоса, сосредоточенный и тихій, увеличивалъ обаяніе; казалось, его устами говорило что-то высшее, для него самого неожиданное... Рудинъ говорилъ о томъ, что̀ придаетъ вѣчное значеніе временной жизни человѣка.

— Помню я одну скандинавскую легенду,—такъ кончилъ онъ: — царь сидитъ съ своими воинами въ темномъ и длинномъ сараѣ, вокругъ огня. Дѣло происходитъ ночью, зимой. Вдругъ небольшая птичка влетаетъ въ раскрытыя *двери и вылетаетъ* въ другія. Царь замѣчаетъ, что эта *птичка*—какъ человѣкъ въ мірѣ: прилетѣла изъ темноты

и улетѣла въ темноту, и недолго побыла въ теплѣ и свѣтѣ... „Царь“,— возражаетъ самый старый изъ воиновъ:— „птичка и во тьмѣ не пропадетъ и гнѣздо свое сыщетъ“... Точно, наша жизнь быстра и ничтожна; но все великое совершается черезъ людей. Сознаніе быть орудіемъ тѣхъ высшихъ силъ должно замѣнить человѣку всѣ другія радости: въ самой смерти найдетъ онъ свою жизнь, свое гнѣздо...

Рудинъ остановился и потупилъ глаза съ улыбкой невольнаго смущенія...

— Vous êtes un poète,—вполголоса проговорила Дарья Михайловна.

И всѣ съ ней внутренно согласились, — всѣ, исключая Пигасова. Не дождавшись конца длинной рѣчи Рудина, онъ тихонько взялъ шляпу и, уходя, озлобленно прошепталъ стоявшему близъ двери Пандалевскому:

— Нѣтъ! поѣду къ дуракамъ!

Впрочемъ никто его не удерживалъ и не замѣтилъ его отсутствія.

Люди внесли ужинъ, и полчаса спустя, всѣ разъѣхались и разошлись. Дарья Михайловна упросила Рудина остаться ночевать. Александра Павловна, возвращаясь съ братомъ домой въ каретѣ, нѣсколько разъ принималась ахать и удивляться необыкновенному уму Рудина. Волынцевъ соглашался съ ней, однако замѣтилъ, что онъ иногда выражается немного темно... то-есть не совсѣмъ вразумительно, прибавилъ онъ, желая, вѣроятно, пояснить свою мысль; но лицо его омрачилось, и взглядъ, устремленный въ уголъ кареты, казался еще грустнѣе.

Пандалевскій, ложась спать и снимая свои вышитыя шелкомъ помочи, проговорилъ вслухъ: „очень ловкій человѣкъ!“ и вдругъ, сурово взглянувъ на своего казачка-камердинера, приказалъ ему выйти. Басистовъ цѣлую ночь не спалъ и не раздѣвался: онъ до самаго утра все писалъ письмо къ одному своему товарищу въ Москву; а Наталья хотя и раздѣлась, и легла въ постель, но тоже ни на минуту не уснула и не закрывала даже глазъ. Подпершись *голову рукою, она глядѣла* пристально въ темноту, лихо-

радочно бились ея жилы, и тяжелый вздохъ часто приподнималъ ея грудь.

IV.

На другое утро, Рудинъ только-что успѣлъ одѣться, какъ явился къ нему человѣкъ отъ Дарьи Михайловны съ приглашеніемъ пожаловать къ ней въ кабинетъ и откушать съ ней чай. Рудинъ засталъ ее одну. Она очень любезно съ нимъ поздоровалась, освѣдомилась, хорошо ли онъ провелъ ночь, сама налила ему чашку чаю, спросила даже, довольно ли сахару, предложила ему папироску и раза два опять повторила, что удивляется, какъ она давно съ нимъ не познакомилась. Рудинъ сѣлъ-было нѣсколько поодаль; но Дарья Михайловна указала ему на небольшое пате́, стоявшее подлѣ ея кресла, и, слегка наклонясь въ его сторону, начала разспрашивать его объ его семействѣ, объ его намѣреніяхъ и предположеніяхъ. Дарья Михайловна говорила небрежно, слушала разсѣянно; но Рудинъ очень хорошо понималъ, что она ухаживала за нимъ, чуть не льстила ему. Не даромъ же она устроила это утреннее свиданіе, не даромъ одѣлась просто, но изящно, à la madame Récamier! Впрочемъ, Дарья Михайловна скоро перестала его разспрашивать: она начала ему разсказывать о себѣ, о своей молодости, о людяхъ, съ которыми она зналась. Рудинъ съ участіемъ внималъ ея разглагольствованіямъ, хотя — странное дѣло! — о какомъ бы лицѣ ни заговорила Дарья Михайловна, на первомъ планѣ оставалась все-таки она, она одна, а то лицо какъ-то скрадывалось и исчезало. За то, Рудинъ узналъ въ подробности, что́ именно Дарья Михайловна говорила такому-то извѣстному сановнику, какое она имѣла вліяніе на такого-то знаменитаго поэта. Судя по разсказамъ Дарьи Михайловны, можно было подумать, что всѣ замѣчательные люди послѣдняго двадцатипятилѣтія только о томъ и мечтали, какъ бы повидаться съ ней, какъ бы заслужить ея расположеніе. Она говорила о нихъ просто, безъ *особенныхъ* восторговъ и похвалъ, какъ о своихъ, *называя иныхъ* чудаками. Она говорила о нихъ, и, какъ бо-

гатая оправа вокругъ драгоцѣннаго камня, имена ихъ ложились блестящей каймой вокругъ главнаго имени — вокругъ Дарьи Михайловны...

А Рудинъ слушалъ, покуривая папироску, и молчалъ, лишь изрѣдка вставляя въ рѣчь разболтавшейся барыни небольшія замѣчанія. Онъ умѣлъ и любилъ говорить; вести разговоръ было не по немъ, но онъ умѣлъ также слушать. Всякій, кого онъ только не запугивалъ сначала, довѣрчиво распускался въ его присутствіи; такъ охотно и одобрительно слѣдилъ онъ за нитью чужого разсказа. Въ немъ было много добродушія,— того особеннаго добродушія, которымъ исполнены люди, привыкшіе чувствовать себя выше другихъ. Въ спорахъ онъ рѣдко давалъ высказываться своему противнику и подавлялъ его своей стремительной и страстной діалектикой.

Дарья Михайловна изъяснялась по-русски. Она щеголяла знаніемъ родного языка, хотя галлицизмы, французскія словечки попадались у ней частенько. Она съ намѣреніемъ употребляла простые народные обороты, но не всегда удачно. Ухо Рудина не оскорблялось странной нестротою рѣчи въ устахъ Дарьи Михайловны, да и врядъ ли имѣлъ онъ на это—ухо.

Дарья Михайловна утомилась наконецъ и, прислонясь головой къ задней подушкѣ креселъ, устремила глаза на Рудина и умолкла.

— Я теперь понимаю,—началъ медленнымъ голосомъ Рудинъ:—я понимаю, почему вы каждое лѣто пріѣзжаете въ деревню. Вамъ этотъ отдыхъ необходимъ: деревенская тишина, послѣ столичной жизни, освѣжаетъ и укрѣпляетъ васъ. Я увѣренъ, что вы должны глубоко сочувствовать красотамъ природы.

Дарья Михайловна искоса посмотрѣла на Рудина.

— Природа... да... да, конечно... я ужасно ее люблю; но знаете ли, Дмитрій Николаичъ, и въ деревнѣ нельзя безъ людей. А здѣсь почти никого нѣтъ. Пигасовъ самый умный человѣкъ здѣсь.

— Вчерашній сердитый старикъ?—спросилъ Рудинъ.

— Да, этотъ... Въ деревнѣ, впрочемъ, и онъ годится— хоть *разсмѣшитъ* иногда.

— Онъ человѣкъ не глупый,—возразилъ Рудинъ: — но онъ на ложной дорогѣ. Я не знаю, согласитесь ли вы со мною, Дарья Михайловна, но въ отрицаніи — въ отрицаніи полномъ и всеобщемъ—нѣтъ благодати. Отрицайте все, и вы легко можете прослыть за умницу: это уловка извѣстная. Добродушные люди сейчасъ готовы заключить, что вы стойте выше того, что̀ отрицаете. А это часто неправда. Во-первыхъ, во всемъ можно сыскать пятна, а во-вторыхъ, если даже вы и дѣло говорите, — вамъ же хуже; вашъ умъ, направленный на одно отрицаніе, бѣднѣетъ, сохнетъ. Удовлетворяя ваше самолюбіе, вы лишитесь истинныхъ наслажденій созерцанія; жизнь — сущность жизни—ускользаетъ отъ вашего мелкаго и желчнаго наблюденія, и вы кончите тѣмъ, что будете лаяться и смѣшить. Порицать, бранить имѣетъ право только тотъ, кто любитъ.

— Voilà m-r Pigassoff enterré,—проговорила Дарья Михайловна.—Какой вы мастеръ опредѣлять человѣка! Впрочемъ, Пигасовъ, вѣроятно, и не понялъ бы васъ. А любитъ онъ только собственную свою особу.

— И бранитъ ее для того, чтобы имѣть право бранить другихъ,—подхватилъ Рудинъ.

Дарья Михайловна засмѣялась.

— Съ больной... какъ это говорится... съ больного на здороваго. Кстати, что вы думаете о баронѣ?

— О баронѣ? Онъ хорошій человѣкъ, съ добрымъ сердцемъ и знающій... но въ немъ нѣтъ характера... и онъ весь свой вѣкъ останется полу-ученымъ, полу-свѣтскимъ человѣкомъ, т.-е. дилетантомъ, т.-е., говоря безъ обиняковъ,—ничѣмъ... А жаль!

— Я сама того же мнѣнія,—возразила Дарья Михайловна.—Я читала его статью... Entre nous... cela a assez peu de fond...

— Кто же еще у васъ тутъ есть?—спросилъ, помолчавъ, Рудинъ.

Дарья Михайловна отряхнула пятымъ пальцемъ пепелъ *съ пахитоски.*

— *Да* больше почти никого нѣтъ. Липина, Александра

Павловна, которую вы вчера видѣли: она очень мила,— но и только. Братъ ея—тоже прекрасный человѣкъ, un parfait honnête homme. Князя Гарина вы знаете. Вотъ и всѣ. Есть еще два-три сосѣда, но тѣ уже совсѣмъ ничего. Либо ломаются—претензіи страшныя—либо дичатся, или ужъ некстати развязны. Барынь я, вы знаете, не вижу. Есть еще одинъ сосѣдъ, очень, говорятъ, образованный, даже ученый человѣкъ, но чудакъ ужасный, фантазёръ. Alexandrine его знаетъ, и, кажется, къ нему неравнодушна... Вотъ, вамъ бы заняться ею, Дмитрій Николаичъ: это милое существо; ее надо только развить немножко, непремѣнно надо ее развить!

— Она очень симпатична,—замѣтилъ Рудинъ.

— Совершенное дитя, Дмитрій Николаичъ, ребенокъ настоящій. Она была замужемъ, mais c'est tout comme.. Если-бъ я была мужчина, я только въ такихъ бы женщинъ влюблялась.

— Неужели?

— Непремѣнно. Такія женщины, по крайней мѣрѣ, свѣжи, а ужъ подъ свѣжесть поддѣлаться нельзя.

— А подо все другое можно?—спросилъ Рудинъ и засмѣялся, что̀ съ нимъ случалось очень рѣдко. Когда онъ смѣялся, лицо его принимало странное, почти старческое выраженіе, глаза ежились, носъ морщился...

— А кто же такой этотъ, какъ вы говорите, чудакъ, къ которому г-жа Липина неравнодушна?—спросилъ онъ.

— Нѣкто Лежневъ, Михайло Михайлычъ, здѣшній помѣщикъ.

Рудинъ изумился и поднялъ голову.

— Лежневъ, Михайло Михайлычъ?—спросилъ онъ: — развѣ онъ сосѣдъ вашъ?

— Да. А вы его знаете?

Рудинъ помолчалъ.

— Я его зналъ прежде... тому давно. Вѣдь онъ, кажется, богатый человѣкъ?—прибавилъ онъ, пощипывая рукою бахрому кресла.

— Да, богатый, хотя одѣвается ужасно и ѣздитъ на бѣ*говыхъ дрожкахъ*, какъ приказчикъ. Я желала залучить

его къ себѣ: онъ, говорятъ, уменъ; у меня же съ нимъ дѣло есть... Вѣдь, вы знаете, я сама распоряжаюсь моимъ имѣніемъ.

Рудинъ наклонилъ голову.

— Да, сама,—продолжала Дарья Михайловна:—я никакихъ иностранныхъ глупостей не ввожу, придерживаюсь своего, русскаго, и видите, дѣла, кажется, идутъ недурно,—прибавила она, проведя рукой кругомъ.

— Я всегда былъ убѣжденъ,—замѣтилъ вѣжливо Рудинъ:—въ крайней несправедливости тѣхъ людей, которые отказываютъ женщинамъ въ практическомъ смыслѣ.

Дарья Михайловна пріятно улыбнулась.

— Вы очень снисходительны,—промолвила она:—но что бишь я хотѣла сказать? О чемъ мы говорили? Да! о Лежневѣ. У меня съ нимъ дѣло по размежеванію. Я его нѣсколько разъ приглашала къ себѣ, и даже сегодня я его жду; но онъ, Богъ его знаетъ, не ѣдетъ... такой чудакъ!

Пологъ передъ дверью тихо распахнулся, и вошелъ дворецкій, человѣкъ высокаго роста, сѣдой и плѣшивый, въ черномъ фракѣ, бѣломъ галстукѣ и бѣломъ жилетѣ.

— Что ты?—спросила Дарья Михайловна и, слегка обратясь къ Рудину, прибавила вполголоса:—n'est ce pas, comme il ressemble à Canning?

— Михайло Михайлычъ Лежневъ пріѣхали,—доложилъ дворецкій:—прикажете принять?

— Ахъ, Боже мой!—воскликнула Дарья Михайловна:—вотъ легокъ на поминѣ. Проси!

Дворецкій вышелъ.

— Такой чудакъ, пріѣхалъ наконецъ, и то некстати: нашъ разговоръ перервалъ.

Рудинъ поднялся съ мѣста; но Дарья Михайловна его остановила:

— Куда же вы? Мы можемъ толковать и при васъ. А я желаю, чтобы вы его опредѣлили, какъ Пигасова. Когда вы говорите, vous gravez comme avec un burin. Останьтесь.

Рудинъ хотѣлъ-было что-то сказать, но подумалъ и остался.

Михайло Михайлычъ, уже знакомый читателю, вошелъ въ кабинетъ. На немъ было то же сѣрое пальто, и въ загорѣлыхъ рукахъ онъ держалъ ту же старую фуражку. Онъ спокойно поклонился Дарьѣ Михайловнѣ и подошелъ къ чайному столу.

— Наконецъ-то вы пожаловали къ намъ, мосьё Лежневъ!—проговорила Дарья Михайловна.—Прошу садиться. Вы, я слышала, знакомы,—продолжала она, указывая на Рудина.

Лежневъ взглянулъ на Рудина и какъ-то странно улыбнулся.

— Я знаю господина Рудина,—промолвилъ онъ съ небольшимъ поклономъ.

— Мы вмѣстѣ были въ университетѣ,—замѣтилъ вполголоса Рудинъ и опустилъ глаза.

— Мы и послѣ встрѣчались,—холодно проговорилъ Лежневъ.

Дарья Михайловна посмотрѣла съ нѣкоторымъ изумленіемъ на обоихъ и попросила Лежнева сѣсть. Онъ сѣлъ.

— Вы желали меня видѣть,—началъ онъ:—насчетъ размежеванія?

— Да, насчетъ размежеванія, но я и такъ-таки желала васъ видѣть. Вѣдь мы близкіе сосѣди и чуть ли не съ родни.

— Очень вамъ благодаренъ,—возразилъ Лежневъ:—что же касается до размежеванія, то мы съ вашимъ управляющимъ совершенно покончили это дѣло: я на всѣ его предложенія согласенъ.

— Я это знала.

— Только онъ мнѣ сказалъ, что безъ личнаго свиданія съ вами бумаги подписать нельзя.

— Да; это у меня ужъ такъ заведено. Кстати, позвольте спросить, вѣдь у васъ, кажется, всѣ мужики на оброкѣ?

— Точно такъ.

— И вы сами хлопочете о размежеваніи? Это похвально.

Лежневъ *помолчалъ*.

— Вотъ, я и явился для личнаго свиданія,—проговорилъ онъ.

Дарья Михайловна усмѣхнулась.

— Вижу, что явились. Вы говорите это такимъ тономъ... Вамъ, должно-быть, очень не хотѣлось ко мнѣ ѣхать.

— Я никуда не ѣзжу,—возразилъ флегматически Лежневъ.

— Никуда? А къ Александрѣ Павловнѣ вы ѣздите?

— Я съ ея братомъ давно знакомъ.

— Съ ея братомъ! Впрочемъ, я никого не принуждаю... Но, извините меня, Михайло Михайловичъ, я старше васъ годами и могу васъ пожурить: что̀ вамъ за охота жить этакимъ бирюкомъ? Или собственно *мой* домъ вамъ не нравится? я вамъ не нравлюсь?

— Я васъ не знаю, Дарья Михайловна, и потому вы мнѣ не нравиться не можете. Домъ у васъ прекрасный; но, признаюсь вамъ откровенно, я не люблю стѣснять себя. У меня и фрака порядочнаго нѣтъ; перчатокъ нѣтъ; да я и не принадлежу къ вашему кругу.

— По рожденію, по воспитанію, вы принадлежите къ нему, Михайло Михайлычъ! vous êtes des nôtres.

— Рожденіе и воспитаніе въ сторону, Дарья Михайловна! Дѣло не въ томъ...

— Человѣкъ долженъ жить съ людьми, Михайло Михайлычъ! Что̀ за охота сидѣть, какъ Діогенъ въ бочкѣ?

— Во-первыхъ, ему тамъ было очень хорошо, а во-вторыхъ, почему вы знаете, что я не съ людьми живу?

Дарья Михайловна закусила губы.

— Это другое дѣло! Мнѣ остается только сожалѣть о томъ, что я не удостоилась попасть въ число людей, съ которыми вы знаетесь.

— Мосьё Лежневъ,—вмѣшался Рудинъ:—кажется, преувеличиваетъ весьма похвальное чувство — любовь къ свободѣ.

Лежневъ ничего не отвѣтилъ и только взглянулъ на Рудина. Наступило небольшое молчаніе.

— Итакъ-съ,—началъ Лежневъ, поднимаясь:—я могу считать *наше* дѣло покончennымъ и сказать вашему управляющему, чтобы онъ прислалъ ко мнѣ бумаги.

— Можете... хотя, признаться, вы такъ нелюбезны... мнѣ бы слѣдовало отказать вамъ.

— Да вѣдь это размежеваніе гораздо выгоднѣе для васъ, чѣмъ для меня.

Дарья Михайловна пожала плечами.

— Вы не хотите даже позавтракать у меня?—спросила она.

— Покорно васъ благодарю: я никогда не завтракаю, да и тороплюсь домой.

Дарья Михайловна встала.

— Я васъ не удерживаю,—промолвила она, подходя къ окну:—не смѣю васъ удерживать.

Лежневъ началъ раскланиваться.

— Прощайте, мосьё Лежневъ! Извините, что обезпокоила васъ.

— Ничего, помилуйте,—возразилъ Лежневъ и вышелъ.

— Каковъ?—спросила Дарья Михайловна у Рудина.—Я слыхала про него, что онъ чудакъ; но вѣдь ужъ это изъ рукъ вонъ!

— Онъ страдаетъ той же болѣзнью, какъ и Пигасовъ,— проговорилъ Рудинъ:—желаньемъ быть оригинальнымъ. Тотъ прикидывается Мефистофелемъ, этотъ — циникомъ. Во всемъ этомъ много эгоизма, много самолюбія и мало истины, мало любви. Вѣдь это тоже своего рода расчетъ надѣлъ на себя человѣкъ маску равнодушія и лѣни, авось молъ, кто-нибудь подумаетъ: вотъ человѣкъ, сколько талантовъ въ себѣ погубилъ! А поглядѣть попристальнѣе— и талантовъ-то въ немъ никакихъ нѣтъ.

— Et de deux!—промолвила Дарья Михайловна. — Вы ужасный человѣкъ на опредѣленія. Отъ васъ не скроешься.

— Вы думаете?—промолвилъ Рудинъ.—Впрочемъ, продолжалъ онъ:—по-настоящему, мнѣ бы не слѣдовало говорить о Лежневѣ; я его любилъ, любилъ, какъ друга... но потомъ, вслѣдствіе различныхъ недоразумѣній...

— Вы разссорились?

— Нѣтъ. Но мы разстались, и разстались, кажется, навсегда.

— То-то, я замѣтила, вы во все время его посѣщенія

были какъ будто не по себѣ... Однако, я весьма вамъ благодарна за сегодняшнее утро. Я чрезвычайно пріятно провела время. Но надо же и честь знать. Отпускаю васъ до завтрака, а сама иду заниматься дѣлами. Мой секретарь, вы его видѣли—Constantin, c'est lui qui est mon sécrétaire—должно-быть, уже ждетъ меня. Рекомендую его вамъ: онъ прекрасный, преуслужливый молодой человѣкъ, и въ совершенномъ восторгѣ отъ васъ. До свиданія, cher Дмитрій Николаичъ! Какъ я благодарна барону за то, что онъ познакомилъ меня съ вами!

И Дарья Михайловна протянула Рудину руку. Онъ сперва пожалъ ее, потомъ поднесъ къ губамъ и вышелъ въ залу, а изъ залы на террасу. На террасѣ онъ встрѣтилъ Наталью.

V.

Дочь Дарьи Михайловны, Наталья Алексѣевна, съ перваго взгляда могла не понравиться. Она еще не успѣла развиться, была худа, смугла, держалась немного сутуловато. Но черты ея лица были красивы и правильны, хотя слишкомъ велики для семнадцатилѣтней дѣвушки. Особенно хорошъ былъ ея чистый и ровный лобъ надъ тонкими, какъ бы надломленными по срединѣ бровями. Она говорила мало, слушала и глядѣла внимательно, почти пристально,—точно она себѣ во всѣмъ хотѣла дать отчетъ. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лицѣ ея выражалась тогда внутренняя работа мыслей... Едва замѣтная улыбка появится вдругъ на губахъ и скроется; большіе, темные глаза тихо подымутся... Qu'avez vous? спроситъ ее m-lle Boncourt и начнетъ бранить ее, говоря, что молодой дѣвицѣ неприлично задумываться и принимать разсѣянный видъ. Но Наталья не была разсѣянна: напротивъ, она училась прилежно; читала и работала охотно. Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно; она и въ дѣтствѣ рѣдко плакала, а теперь даже вздыхала рѣдко, и только блѣднѣла слегка, *когда* что-нибудь ее огорчало. Мать ее считала добро*нравной*, благоразумной дѣвушкой, называла ее въ шутку:

mon honnête homme de fille, но не была слишкомъ высокаго мнѣнія объ ея умственныхъ способностяхъ. „Наташа у меня, къ счастью, холодна,—говаривала она:—не въ меня... тѣмъ лучше. Она будетъ счастлива". Дарья Михайловна ошибалась. Впрочемъ, рѣдкая мать понимаетъ дочь свою.

Наталья любила Дарью Михайловну и не вполнѣ ей довѣряла.

— Тебѣ нечего отъ меня скрывать,—сказала ей однажды Дарья Михайловна:—а то бы ты скрытничала: ты-таки себѣ на умѣ...

Наталья поглядѣла матери въ лицо и подумала: „для чего же не быть себѣ на умѣ?"

Когда Рудинъ встрѣтилъ ее на террасѣ, она вмѣстѣ съ m-lle Boncourt шла въ комнату, чтобы надѣть шляпу и отправиться въ садъ. Утреннія ея занятія уже кончились. Наталью перестали держать, какъ дѣвочку, m-lle Boncourt давно уже не давала ей уроковъ изъ миѳологіи и географіи; но Наталья должна была каждое утро читать историческія книги, путешествія и другія назидательныя сочиненія—при ней. Выбирала ихъ Дарья Михайловна, будто бы придерживаясь особой, своей системы. На самомъ дѣлѣ, она просто передавала Натальѣ все, что̀ ей присылалъ французъ-книгопродавецъ изъ Петербурга, исключая, разумѣется, романовъ Дюма̀-фиса и Комп. Эти романы Дарья Михайловна читала сама. M-lle Boncourt особенно строго и кисло посматривала черезъ очки свои, когда Наталья читала историческія книги: по понятіямъ старой француженки, вся исторія была наполнена непозволительными вещами, хотя она сама изъ великихъ мужей древности знала, почему-то, только одного Камбиза, а изъ новѣйшихъ временъ—Людовика XIV и Наполеона, котораго терпѣть не могла. Но Наталья читала и такія книги, существованія которыхъ m-lle Boncourt не подозрѣвала: она знала наизусть всего Пушкина...

Наталья слегка покраснѣла при встрѣчѣ съ Рудинымъ.

— Вы идете гулять?—спросилъ онъ ее.

— Да. *Мы идемъ* въ садъ.

— Можно идти съ вами?

Наталья взглянула на m-lle Boncourt.

— Mais certainement, monsieur, avec plaisir,—поспѣшно проговорила старая дѣва.

Рудинъ взялъ шляпу и пошелъ вмѣстѣ съ ними.

Натальѣ было сперва неловко идти рядомъ съ Рудинымъ по одной дорожкѣ; потомъ ей немного легче стало. Онъ началъ разспрашивать ее о занятіяхъ, о томъ, какъ ей нравится деревня. Она отвѣчала не безъ робости, но безъ той торопливой застѣнчивости, которую такъ часто и выдаютъ, и принимаютъ за стыдливость. Сердце у ней билось.

— Вы не скучаете въ деревнѣ?—спросилъ Рудинъ, окидывая ее боковымъ взоромъ.

— Какъ можно скучать въ деревнѣ? Я очень рада, что мы здѣсь. Я здѣсь очень счастлива.

— Вы счастливы... Это великое слово. Впрочемъ, это понятно: вы молоды.

Рудинъ произнесъ это послѣднее слово какъ-то странно: не то онъ завидовалъ Натальѣ, не то онъ сожалѣлъ о ней.

— Да! молодость!—прибавилъ онъ.—Вся цѣль науки—дойти сознательно до того, что молодости дается даромъ.

Наталья внимательно посмотрѣла на Рудина: она не поняла его.

— Я сегодня цѣлое утро разговаривалъ съ вашей матушкой,—продолжалъ онъ:—она необыкновенная женщина. Я понимаю, почему всѣ наши поэты дорожили ея дружбой. А вы любите стихи?—прибавилъ онъ, помолчавъ немного.

„Онъ меня экзаменуетъ", подумала Наталья и промолвила:—да, очень люблю.

— Поэзія—языкъ боговъ. Я самъ люблю стихи. Но не въ однихъ стихахъ поэзія; она разлита вездѣ, она вокругъ насъ... Взгляните на эти деревья, на это небо—отовсюду вѣетъ красотою и жизнью; а гдѣ красота и жизнь, тамъ и поэзія.

— Сядемте здѣсь, на скамью,—продолжалъ онъ.—Вотъ такъ. Мнѣ почему-то кажется, что когда вы привыкнете *ко мнѣ* (и онъ съ улыбкой посмотрѣлъ ей въ лицо), мы *будемъ* пріятели съ вами. Какъ вы полагаете?

„Онъ обращается со мной, какъ съ дѣвочкой", подумала опять Наталья и, не зная, что̀ сказать, спросила его, долго ли онъ намѣренъ остаться въ деревнѣ.

— Все лѣто, осень, а можетъ-быть и зиму. Я, вы знаете, человѣкъ очень небогатый; дѣла мои разстроены, да и притомъ мнѣ уже наскучило таскаться съ мѣста на мѣсто. Пора отдохнуть.

Наталья изумилась.

— Неужели вы находите, что вамъ пора отдыхать?— спросила она робко.

Рудинъ повернулся лицомъ къ Натальѣ.

— Что̀ вы хотите этимъ сказать?

— Я хочу сказать,—возразила она съ нѣкоторымъ смущеніемъ:—что отдыхать могутъ другіе; а вы... вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ. Кому же, какъ не вамъ...

— Благодарю за лестное мнѣніе,—перебилъ ее Рудинъ.— Быть полезнымъ... легко сказать! (Онъ провелъ рукою по лицу.) Быть полезнымъ!—повторилъ онъ. — Если-бъ даже было во мнѣ твердое убѣжденіе: какъ я могу быть полезнымъ?—если-бъ я даже вѣрилъ въ свои силы—гдѣ найти искреннія, сочувствующія души?..

И Рудинъ такъ безнадежно махнулъ рукою и такъ печально поникъ головою, что Наталья невольно спросила себя: полно, его ли восторженныя, дышащія надеждой, рѣчи она слышала наканунѣ?

— Впрочемъ, нѣтъ,—прибавилъ онъ, внезапно встряхнувъ своей львиной гривой: — это вздоръ, и вы правы. Благодарю васъ, Наталья Алексѣевна, благодарю васъ искренно. (Наталья рѣшительно не знала, за что онъ ее благодаритъ.) Ваше одно слово напомнило мнѣ мой долгъ, указало мнѣ мою дорогу... Да, я долженъ дѣйствовать. Я не долженъ скрывать свой талантъ, если онъ у меня есть; я не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовню пустую, безполезную болтовню, на одни слова...

И слова его полились рѣкою. Онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно—о позорѣ малодушія и лѣни, о необходимости дѣлать дѣло. Онъ осыпалъ самого себя упре-

ками, доказывалъ, что разсуждать напередъ о томъ, что̀ хочешь сдѣлать, такъ же вредно, какъ накалывать булавкой наливающійся плодъ, что это только напрасная трата силъ и соковъ. Онъ увѣрялъ, что нѣтъ благородной мысли, которая бы не нашла себѣ сочувствія, что непонятыми остаются только тѣ люди, которые либо еще сами не знаютъ, чего хотятъ, либо не стоятъ того, чтобы ихъ понимали. Онъ говорилъ долго, и окончилъ тѣмъ, что еще разъ поблагодарилъ Наталью Алексѣевну и совершенно неожиданно стиснулъ ей руку, промолвивъ:—Вы прекрасное, благородное существо!

Эта вольность поразила m-lle Boncourt, которая, несмотря на сорокалѣтнее пребываніе въ Россіи, съ трудомъ понимала по-русски и только удивлялась красивой быстротѣ и плавности рѣчи въ устахъ Рудина. Впрочемъ, онъ въ ея глазахъ былъ чѣмъ-то въ родѣ виртуоза или артиста; а отъ подобнаго рода людей, по ея понятіямъ, невозможно было требовать соблюденія приличій.

Она встала, и порывисто поправивъ на себѣ платье, объявила Натальѣ, что пора идти домой, тѣмъ болѣе, что monsieur Volinsoff (такъ она называла Волынцева) хотѣлъ быть къ завтраку.

— Да вотъ и онъ!—прибавила она, взглянувъ въ одну изъ аллей, ведущихъ отъ дому.

Дѣйствительно, Волынцевъ показался невдалекѣ.

Онъ подошелъ нерѣшительнымъ шагомъ, издали раскланялся со всѣми и, съ болѣзненнымъ выраженіемъ на лицѣ обратясь къ Натальѣ, проговорилъ:

— А! вы гуляете?

— Да,—отвѣчала Наталья:—мы уже шли домой.

— А!—произнесъ Волынцевъ.—Что жъ, пойдемте.

И всѣ пошли къ дому.

— Какъ здоровье вашей сестры?—спросилъ, какимъ-то особенно ласковымъ голосомъ, Рудинъ у Волынцева. Онъ и наканунѣ былъ очень съ нимъ любезенъ.

— Покорно благодарю. Она здорова. Она сегодня, *можетъ-быть*, будетъ... Вы, кажется, о чемъ-то разсуждали, *когда я* подошелъ?

— Да, у насъ былъ разговоръ съ Натальей Алексѣевной. Она мнѣ сказала одно слово, которое сильно на меня подѣйствовало...

Волынцевъ не спросилъ, какое это было слово, и всѣ въ глубокомъ молчаніи возвратились въ домъ Дарьи Михайловны.

Передъ обѣдомъ опять составился салонъ. Пигасовъ, однако, не пріѣхалъ. Рудинъ не былъ въ ударѣ; онъ все заставлялъ Пандалевскаго играть изъ Бетховена. Волынцевъ молчалъ и поглядывалъ на полъ. Наталья не отходила отъ матери, и то задумывалась, то принималась за работу. Басистовъ не спускалъ глазъ съ Рудина, все выжидая, не скажетъ ли онъ чего-нибудь умнаго? Такъ прошло часа три довольно однообразно. Александра Павловна не пріѣхала къ обѣду—и Волынцевъ, какъ только встали изъ-за стола, тотчасъ велѣлъ заложить свою коляску и ускользнулъ, не простясь ни съ кѣмъ.

Ему было тяжело. Онъ давно любилъ Наталью и все собирался сдѣлать ей предложеніе... Она къ нему благоволила — но сердце ея оставалось спокойнымъ: онъ это ясно видѣлъ. Онъ и не надѣялся внушить ей чувство болѣе нѣжное и ждалъ только мгновенья, когда она совершенно привыкнетъ къ нему, сблизится съ нимъ. Что же могло взволновать его? какую перемѣну замѣтилъ онъ въ эти два дня? Наталья обращалась съ нимъ точно такъ же, какъ и прежде...

Запала ли ему въ душу мысль, что онъ, быть-можетъ, вовсе не знаетъ нрава Натальи, что она ему еще болѣе чужда, чѣмъ онъ думалъ, — ревность ли проснулась въ немъ, смутно ли почуялъ онъ что-то недоброе... но только онъ страдалъ, какъ ни уговаривалъ самого себя.

Когда онъ вошелъ къ своей сестрѣ, у ней сидѣлъ Лежневъ.

— Что это ты такъ рано вернулся?—спросила Александра Павловна.

— Такъ! соскучилось.

— *Рудинъ тамъ?*

Але-

— Тамъ.

Волынцевъ бросилъ фуражку и сѣлъ.

Александра Павловна съ живостью обратилась къ нему.

— Пожалуйста, Сережа, помоги мнѣ убѣдить этого упрямаго человѣка (она указала на Лежнева) въ томъ, что Рудинъ необыкновенно уменъ и краснорѣчивъ.

Волынцевъ промычалъ что-то.

— Да я нисколько съ вами не спорю,—началъ Лежневъ:—я не сомнѣваюсь въ умѣ и краснорѣчіи г. Рудина; я говорю только, что онъ мнѣ не нравится.

— А ты его развѣ видѣлъ?—спросилъ Волынцевъ.

— Видѣлъ сегодня поутру, у Дарьи Михайловны. Вѣдь *онъ* у ней теперь великимъ визиремъ. Придетъ время, она и съ нимъ разстанется — она съ однимъ Пандалевскимъ никогда не разстанется,—но теперь онъ царитъ. Видѣлъ его, какъ же! Онъ сидитъ—а она меня ему показываетъ: глядите, молъ, батюшка, какіе у насъ водятся чудаки. Я не заводская лошадь—къ выводкѣ не привыкъ. Я взялъ, да уѣхалъ.

— Да зачѣмъ ты былъ у ней?

— По размежеванію; да это вздоръ: ей просто хотѣлось посмотрѣть на мою физіономію. Барыня—извѣстно!

— Васъ оскорбляетъ его превосходство—вотъ что!—заговорила съ жаромъ Александра Павловна: — вотъ чего вы ему простить не можете. А я увѣрена, что, кромѣ ума, у него и сердце должно быть отличное. Вы взгляните на его глаза, когда онъ...

— „О честности высокой говоритъ“... подхватилъ Лежневъ.

— Вы меня разсердите, и я заплачу. Я отъ души сожалѣю, что не поѣхала къ Дарьѣ Михайловнѣ и осталась съ вами. Вы этого не стоите. Полноте дразнить меня,— прибавила она жалобнымъ голосомъ. — Вы лучше разскажите мнѣ объ его молодости.

— О молодости Рудина?

— Ну, да. Вѣдь вы мнѣ сказали, что хорошо его знаете давно съ нимъ знакомы.

Лежневъ всталъ и прошелся по комнатѣ.

— Да,—началъ онъ:—я его хорошо знаю. Вы хотите, чтобы я разсказалъ вамъ его молодость? Извольте. Родился онъ въ Т...вѣ, отъ бѣдныхъ помѣщиковъ. Отецъ его скоро умеръ. Онъ остался одинъ у матери. Она была женщина добрѣйшая и души въ немъ не чаяла: толокномъ однимъ питалась, и всѣ, какія были у ней, денежки употребляла на него. Получилъ онъ свое воспитаніе въ Москвѣ, сперва на счетъ какого-то дяди, а потомъ, когда онъ подросъ и оперился, на счетъ одного богатаго князька, съ которымъ снюхался... ну, извините, не буду... съ которымъ сдружился. Потомъ онъ поступилъ въ университетъ. Въ университетѣ я узналъ его и сошелся съ нимъ очень тѣсно. О нашемъ тогдашнемъ житьѣ-бытьѣ я поговорю съ вами когда-нибудь послѣ. Теперь не могу. Потомъ онъ уѣхалъ за границу...

Лежневъ продолжалъ расхаживать по комнатѣ; Александра Павловна слѣдила за нимъ взоромъ.

— Изъ-за границы,—продолжалъ онъ:—Рудинъ писалъ къ своей матери чрезвычайно рѣдко, и посѣтилъ ее всего одинъ разъ, дней на десять... Старушка и скончалась безъ него, на чужихъ рукахъ; но до самой смерти не спускала глазъ съ его портрета. Я къ ней ѣзжалъ, когда проживалъ въ Т....вѣ. Добрая была женщина и прегостепріимная; вишневымъ вареньемъ, бывало, все меня потчивала. Она любила своего Митю безъ памяти. Господа Печоринской школы скажутъ вамъ, что мы всегда любимъ тѣхъ, которые сами мало способны любить: а *мнѣ* такъ кажется, что всѣ матери любятъ своихъ дѣтей, особенно отсутствующихъ. Потомъ, я встрѣтился съ Рудинымъ за границей. Тамъ къ нему одна барыня привязалась, изъ нашихъ русскихъ, синій чулокъ какой-то, ужъ не молодой и некрасивый, какъ оно и слѣдуетъ синему чулку. Онъ довольно долго съ ней возился, и, наконецъ, ее бросилъ... или нѣтъ, бишь, виноватъ: она его бросила. И я тогда его бросилъ. Вотъ и все.

Лежневъ умолкъ, провелъ рукою по лбу и, словно усталый, опустился на кресло.

— *А знаете ли* что, Михайло Михайлычъ,—начала Але-

ксандра Павловна: — вы, я вижу, злой человѣкъ; право, вы не лучше Пигасова. Я увѣрена, что все, что̀ вы сказали, правда, что вы ничего не присочинили, и между тѣмъ, въ какомъ непріязненномъ свѣтѣ вы все это представили! Эта бѣдная старушка, ея преданность, ея одинокая смерть, эта барыня... Къ чему это все?... Знаете ли, что можно жизнь самаго лучшаго человѣка изобразить въ такихъ краскахъ — и ничего не прибавляя, замѣтьте—что всякій ужаснется! Вѣдь это тоже своего рода клевета!

Лежневъ всталъ и опять прошелся по комнатѣ.

— Я вовсе не желалъ заставить васъ ужаснуться, Александра Павловна,—проговорилъ онъ, наконецъ.—Я не клеветникъ. А, впрочемъ,—прибавилъ онъ, подумавъ немного:—дѣйствительно, въ томъ, что̀ вы сказали, есть доля правды. Я не клеветалъ на Рудина; но — кто знаетъ! — можетъ-быть, онъ съ тѣхъ поръ успѣлъ измѣниться—можетъ-быть, я несправедливъ къ нему.

— А! вотъ видите... Такъ обѣщайте же мнѣ, что вы возобновите съ нимъ знакомство, узнаете его хорошенько и тогда уже выскажете мнѣ свое окончательное мнѣніе о немъ.

— Извольте... Но что же ты молчишь, Сергѣй Павлычъ?

Волынцевъ вздрогнулъ и поднялъ голову, какъ-будто его разбудили.

— Что̀ мнѣ говорить? Я его не знаю. Притомъ, у меня сегодня голова болитъ.

— Ты, точно, что-то блѣденъ сегодня,—замѣтила Александра Павловна:—здоровъ ли ты?

— У меня голова болитъ,—повторилъ Волынцевъ и вышелъ вонъ.

Александра Павловна и Лежневъ посмотрѣли ему вслѣдъ и обмѣнялись взглядомъ, но ничего не сказали другъ другу. Ни для него, ни для нея не было тайной, что̀ происходило въ сердцѣ Волынцева.

VI.

Прошло два мѣсяца слишкомъ. Въ теченіе всего этого *времени* Рудинъ почти не выѣзжалъ отъ Дарьи Михай-

ловны. Она не могла обойтись безъ него. Разсказывать ему о себѣ, слушать его разсужденія, стало для нея потребностью. Онъ, однажды, хотѣлъ уѣхать подъ тѣмъ предлогомъ, что у него вышли всѣ деньги: она дала ему пятьсотъ рублей. Онъ занялъ также у Волынцева рублей двѣсти. Пигасовъ гораздо рѣже прежняго посѣщалъ Дарью Михайловну: Рудинъ давилъ его своимъ присутствіемъ. Впрочемъ, давленіе это испытывалъ не одинъ Пигасовъ.

— Не люблю я этого умника,—говаривалъ онъ:—выражается онъ неестественно, ни дать, ни взять, лицо изъ русской повѣсти: скажетъ: „я“, и съ умиленіемъ остановится... „Я, молъ, я...“ Слова употребляетъ все такія длинныя. Ты чихнешь,—онъ тебѣ сейчасъ станетъ доказывать, почему ты именно чихнулъ, а не кашлянулъ... Хвалитъ онъ тебя—точно въ чинъ производитъ... Начнетъ самого себя бранить, съ грязью себя смѣшаетъ,—ну, думаешь, теперь на свѣтъ Божій глядѣть не станетъ. Какое! повеселѣетъ даже, словно горькой водкой себя попотчивалъ.

Пандалевскій побаивался Рудина и осторожно за нимъ ухаживалъ. Волынцевъ находился въ странныхъ отношеніяхъ съ нимъ. Рудинъ называлъ его рыцаремъ, превозносилъ его, въ глаза и за глаза; но Волынцевъ не могъ полюбить его и всякій разъ чувствовалъ невольное нетерпѣніе и досаду, когда тотъ принимался въ его же присутствіи разбирать его достоинства. „Ужъ не смѣется ли онъ надо мною?“ думалъ онъ, и враждебно шевелилось въ немъ сердце. Волынцевъ старался переломить себя; но онъ ревновалъ его къ Натальѣ. Да и самъ Рудинъ, хотя всегда шумно привѣтствовалъ Волынцева, хотя называлъ его рыцаремъ и занималъ у него деньги, едва ли былъ къ нему расположенъ. Трудно было бы опредѣлить, что̀ собственно чувствовали эти два человѣка, когда, стискивая по-пріятельски одинъ другому руки, они глядѣли другъ другу въ глаза.

Басистовъ продолжалъ благоговѣть передъ Рудинымъ и ловить на лету каждое его слово. Рудинъ мало обращалъ на него вниманія. Какъ-то разъ онъ провелъ съ нимъ цѣ-

лое утро, толковалъ съ нимъ о самыхъ важныхъ міровыхъ вопросахъ и задачахъ, и возбудилъ въ немъ живѣйшій восторгъ; но потомъ онъ его бросилъ... Видно онъ только на словахъ искалъ чистыхъ и преданныхъ душъ. Съ Лежневымъ, который началъ ѣздить къ Дарьѣ Михайловнѣ, Рудинъ даже въ споръ не вступалъ и какъ будто избѣгалъ его. Лежневъ такъ же обходился съ нимъ холодно, а впрочемъ, не высказывалъ своего окончательнаго мнѣнія о немъ, что̀ очень смущало Александру Павловну. Она преклонялась передъ Рудинымъ; но и Лежневу она вѣрила. Всѣ въ домѣ Дарьи Михайловны покорялись прихоти Рудина: малѣйшія желанія его исполнялись. Порядокъ дневныхъ занятій отъ него зависѣлъ. Ни одна partie de plaisir не составлялась безъ него. Впрочемъ, онъ не большой былъ охотникъ до всякихъ внезапныхъ поѣздокъ и затѣй, и участвовалъ въ нихъ, какъ взрослые въ дѣтскихъ играхъ, съ ласковымъ и слегка скучающимъ благоволеніемъ. Зато онъ входилъ во все: толковалъ съ Дарьей Михайловной о распоряженіяхъ по имѣнію, о воспитаніи дѣтей, о хозяйствѣ, вообще о дѣлахъ; выслушивалъ ея предположенія, не тяготился даже мелочами, предлагалъ преобразованія и нововведенія. Дарья Михайловна восхищалась ими на словахъ—и только. Въ дѣлѣ хозяйства она придерживалась совѣтовъ своего управляющаго, пожилого одноглазаго малоросса, добродушнаго и хитраго плута. — „Старенькое-то жирненько, молоденькое худенько“, говаривалъ онъ, спокойно ухмыляясь и подмигивая своимъ единственнымъ глазомъ.

Послѣ самой Дарьи Михайловны Рудинъ ни съ кѣмъ такъ часто и такъ долго не бесѣдовалъ, какъ съ Натальей. Онъ тайкомъ давалъ ей книги, повѣрялъ ей свои планы, читалъ ей первыя страницы предполагаемыхъ статей и сочиненій.—Смыслъ ихъ часто оставался недоступнымъ для Натальи. Впрочемъ, Рудинъ, казалось, и не очень заботился о томъ, чтобы она его понимала—лишь бы слушала его. Близость его съ Натальей была не совсѣмъ понутру Дарьѣ Михайловнѣ. Но, — думала она: — пускай *она* съ нимъ поболтаетъ въ деревнѣ. Она забавляетъ

его, какъ дѣвочка. Бѣды большой нѣтъ, а она все-таки поумнѣетъ... Въ Петербургѣ я это все перемѣню...

Дарья Михайловна ошибалась. Не какъ дѣвочка болтала Наталья съ Рудинымъ: она жадно внимала его рѣчамъ, она старалась вникнуть въ ихъ значеніе; она повергала на судъ его свои мысли, свои сомнѣнія: онъ былъ ея наставникомъ, ея вождемъ. Пока—одна голова у ней кипѣла... но молодая головка недолго кипитъ одна. Какія сладкія мгновенія переживала Наталья, когда, бывало, въ саду, на скамейкѣ, въ легкой, сквозной тѣни ясени, Рудинъ начнетъ читать ей гётевскаго Фауста, Гоффмана, или Письма Беттины, или Новалиса, безпрестанно останавливаясь и толкуя то, что̀ ей казалось темнымъ! Она по-нѣмецки говорила плохо, какъ почти всѣ наши барышни, но понимала хорошо, а Рудинъ былъ весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ, и увлекалъ ее за собой въ тѣ заповѣдныя страны. Невѣдомыя, прекрасныя, раскрывались онѣ передъ ея внимательнымъ взоромъ; со страницъ книги, которую Рудинъ держалъ въ рукахъ, дивные образы, новыя, свѣтлыя мысли такъ и лились звенящими струями ей въ душу, и въ сердцѣ ея, потрясенномъ благородной радостью великихъ ощущеній, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга...

— Скажите, Дмитрій Николаичъ,—начала она однажды, сидя у окна за пяльцами: — вѣдь вы на зиму поѣдете въ Петербургъ?

— Не знаю,—возразилъ Рудинъ, опуская на колѣни книгу, которую перелистывалъ: — если соберусь со средствами, поѣду.

Онъ говорилъ вяло: онъ чувствовалъ усталость и бездѣйствовалъ съ самаго утра.

— Мнѣ кажется, какъ не найти вамъ средства?

Рудинъ покачалъ головой.

— Вамъ такъ кажется!

И онъ значительно глянулъ въ сторону.

Наталья хотѣла-было что-то сказать и удержалась.

— Посмотрите,—началъ Рудинъ, и указалъ ей рукой

въ окно:—видите вы эту яблоню: она сломилась отъ тяжести и множества своихъ собственныхъ плодовъ. Вѣрная эмблема генія...

— Она сломилась оттого, что у ней не было подпоры,— возразила Наталья.

— Я васъ понимаю, Наталья Алексѣевна; но человѣку не такъ легко сыскать ее, эту подпору.

— Мнѣ кажется, сочувствіе другихъ... во всякомъ случаѣ, одиночество...

Наталья немного запуталась и покраснѣла.

— И что́ вы будете дѣлать зимой въ деревнѣ?—поспѣшно прибавила она.

— Что̀ я буду дѣлать? Окончу мою большую статью— вы знаете—о трагическомъ въ жизни и въ искусствѣ—я вамъ третьяго дня планъ разсказывалъ—и пришлю ее вамъ.

— И напечатаете?

— Нѣтъ.

— Какъ нѣтъ? Для кого же вы будете трудиться?

— А хоть бы для васъ.

Наталья опустила глаза.

— Это не по моимъ силамъ, Дмитрій Николаичъ!

— О чемъ, позвольте спросить, статья?—скромно спросилъ Басистовъ, сидѣвшій поодаль.

— О трагическомъ въ жизни и въ искусствѣ,—повторилъ Рудинъ.—Вотъ и г. Басистовъ прочтетъ. Впрочемъ, я не совсѣмъ еще сладилъ съ основною мыслью. Я до сихъ поръ еще не довольно уяснилъ самому себѣ трагическое значеніе любви.

Рудинъ охотно и часто говорилъ о любви. Сначала, при словѣ: любовь, m-lle Boncourt вздрагивала и навастривала уши, какъ старый полковой конь, заслышавшій трубу, но потомъ привыкла и только, бывало, съежитъ губы и съ разстановкой понюхаетъ табаку.

— Мнѣ кажется,—робко замѣтила Наталья:—трагическое въ любви—это несчастная любовь.

— Вовсе нѣтъ!—возразилъ Рудинъ:—это скорѣе комическая сторона любви... Вопросъ этотъ надобно совсѣмъ *иначе* поставить... надо поглубже зачерпнуть... Любовь!—

продолжалъ онъ:—въ ней все тайна: какъ она приходитъ, какъ развивается, какъ исчезаетъ. То является она вдругъ, несомнѣнная, радостная, какъ день, то долго тлѣетъ, какъ огонь подъ золой, и пробивается пламенемъ въ душѣ, когда уже все разрушено; то вползетъ она въ сердце, какъ змѣя, то вдругъ выскользнетъ изъ него вонъ... Да, да; это вопросъ важный. Да и кто любитъ въ наше время, кто дерзнетъ любить?

И Рудинъ задумался.

— Что это Сергѣя Павлыча давно не видать?—спросилъ онъ вдругъ.

Наталья вспыхнула и нагнула голову къ пальцамъ.

— Не знаю,—прошептала она.

— Какой это прекраснѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ! промолвилъ Рудинъ, вставая. — Это одинъ изъ лучшихъ образцовъ настоящаго русскаго дворянина...

M-lle Boncourt посмотрѣла на него вкось своими французскими глазками.

Рудинъ прошелся по комнатѣ.

— Замѣтили ли вы,—заговорилъ онъ, круто повернувшись на каблукахъ:—что на дубѣ—а дубъ крѣпкое дерево—старые листья только тогда отпадаютъ, когда молодые начнутъ пробиваться?

— Да,—медленно возразила Наталья:—замѣтила.

— Точно то же случается и съ старой любовью въ сильномъ сердцѣ: она уже вымерла, но все еще держится; только другая, новая любовь можетъ ее выжить.

Наталья ничего не отвѣтила.

„Что это значитъ?“ подумала она.

Рудинъ постоялъ, встряхнулъ волосами и удалился.

А Наталья пошла къ себѣ въ комнату. Долго сидѣла она въ недоумѣніи на своей кроваткѣ, долго размышляла о послѣднихъ словахъ Рудина и вдругъ сжала руки и горько заплакала. О чемъ она плакала — Богъ вѣдаетъ! Она сама не знала, отчего у ней такъ внезапно полились слезы. Она утирала ихъ, но онѣ бѣжали вновь, какъ вода изъ давно накопившагося родника.

Въ тотъ же самый день и у Александры Павловны происходилъ разговоръ о Рудинѣ съ Лежневымъ. Сперва онъ все отмалчивался; но она рѣшилась добиться толку.

— Я вижу,—сказала она ему:—вамъ Дмитрій Николаевичъ, попрежнему, не нравится. Я нарочно до сихъ поръ васъ не разспрашивала; но вы теперь уже успѣли убѣдиться, произошла ли въ немъ перемѣна, и я желаю знать, почему онъ вамъ не нравится.

— Извольте,—возразилъ съ обычной флегмой Лежневъ:—коли ужъ вамъ такъ не терпится; только, смотрите, не сердитесь...

— Ну, начинайте, начинайте.

— И дайте мнѣ выговорить все до конца.

— Извольте, извольте, начинайте.

— И такъ-съ,—началъ Лежневъ, медлительно опускаясь на диванъ:—доложу вамъ, мнѣ Рудинъ, дѣйствительно, не нравится. Онъ умный человѣкъ...

— Еще бы!

— Онъ замѣчательно умный человѣкъ, хотя въ сущности пустой...

— Это легко сказать!

— Хотя въ сущности пустой,—повторилъ Лежневъ:—но это еще не бѣда: всѣ мы пустые люди. Я даже не ставлю въ вину ему то, что онъ деспотъ въ душѣ, лѣнивъ, не очень свѣдущъ...

Александра Павловна всплеснула руками.

— Не очень свѣдущъ! Рудинъ!—воскликнула она.

— Не очень свѣдущъ,—точно тѣмъ же голосомъ повторилъ Лежневъ: — любитъ пожить на чужой счетъ, разъигрываетъ роль, и такъ далѣе... это все въ порядкѣ вещей. Но дурно то, что онъ холоденъ, какъ ледъ.

— Онъ, эта пламенная душа, холоденъ!—перебила Александра Павловна.

— Да, холоденъ, какъ ледъ, и знаетъ это, и прикидывается пламеннымъ. Худо то,—продолжалъ Лежневъ, постепенно оживляясь: — что онъ играетъ опасную игру,—опасную не для него, разумѣется; самъ копейки, волоска не ставитъ на карту—а другіе ставятъ душу...

— О комъ, о чемъ вы говорите? я васъ не понимаю,— проговорила Александра Павловна.

— Худо то, что онъ не честенъ. Вѣдь онъ умный человѣкъ: онъ долженъ же знать цѣну словъ своихъ, — а произноситъ ихъ такъ, какъ будто они ему что-нибудь стоятъ... Спору нѣтъ, онъ краснорѣчивъ: только краснорѣчіе его не русское. Да и, наконецъ, красно говорить простительно юношѣ, а въ его года стыдно тѣшиться шумомъ собственныхъ рѣчей, стыдно рисоваться!

— Мнѣ кажется, Михайло Михайлычъ, для слушателя все равно, рисуетесь ли вы или нѣтъ...

— Извините, Александра Павловна, не все равно. Иной скажетъ мнѣ слово, меня всего проймetъ, другой то же самое слово скажетъ, или еще красивѣе,— я и ухомъ не поведу. Отчего это?

— То-есть *вы* не поведете,—перебила Александра Павловна.

— Да, не поведу,—возразилъ Лежневъ:—хотя, можетъ-быть, у меня и большія уши. Дѣло въ томъ, что слова Рудина такъ и остаются словами, и никогда не станутъ поступкомъ—а между тѣмъ, эти самыя слова могутъ смутить, погубить молодое сердце.

— Да о комъ, о комъ вы говорите, Михайло Михайлычъ?

Лежневъ остановился.

— Вы желаете знать, о комъ я говорю? О Натальѣ Алексѣевнѣ.

Александра Павловна смутилась на мгновеніе, но тотчасъ же усмѣхнулась.

— Помилуйте,—начала она:—какія у васъ всегда странныя мысли! Наталья еще ребенокъ; да, наконецъ, если бъ что-нибудь и было, неужели вы думаете, что Дарья Михайловна...

— Дарья Михайловна, во-первыхъ, эгоистка и живетъ для себя; а, во-вторыхъ, она такъ увѣрена въ своемъ умѣньѣ воспитывать дѣтей, что ей и въ голову не приходитъ безпокоиться о нихъ. Фи! какъ можно! одно мгновенье, одинъ величественный взглядъ — и все пойдетъ,

какъ по ниточкѣ. Вотъ что думаетъ эта барыня, которая и меценаткой себя воображаетъ, и умницей, и Богъ знаетъ чѣмъ, а на дѣлѣ она больше ничего, какъ свѣтская старушонка. А Наталья не ребенокъ: она, повѣрьте, чаще и глубже размышляетъ, чѣмъ мы съ вами. И надобно же, чтобы этакая честная, страстная и горячая натура наткнулась на такого актера, на такую кокетку! Впрочемъ, и это въ порядкѣ вещей.

— Кокетка! Это вы его называете кокеткой?

— Конечно, его... Ну, скажите сами, Александра Павловна, что за роль его у Дарьи Михайловны? Быть идоломъ, оракуломъ въ домѣ, вмѣшиваться въ распоряженія, въ семейныя сплетни и дрязги — неужели это достойно мужчины?

Александра Павловна съ изумленіемъ посмотрѣла Лежневу въ лицо.

— Я не узнаю васъ, Михайло Михайлычъ,—проговорила она.—Вы покраснѣли, вы пришли въ волненіе. — Право, тутъ что-нибудь должно скрываться другое...

— Ну, такъ и есть! Ты говоришь женщинѣ дѣло, по убѣжденію; а она до тѣхъ поръ не успокоится, пока не придумаетъ какой-нибудь мелкой, посторонней причины, заставляющей тебя говорить именно такъ, а не иначе.

Александра Павловна разсердилась.

— Браво, мосьё Лежневъ! вы начинаете преслѣдовать женщинъ не хуже г. Пигасова; но, воля ваша, какъ вы ни проницательны, все-таки мнѣ трудно повѣрить, чтобы вы въ такое короткое время могли всѣхъ и все понять. Мнѣ кажется, вы ошибаетесь. По-вашему, Рудинъ—Тартюфъ какой-то.

— Въ томъ-то и дѣло, что онъ даже не Тартюфъ. Тартюфъ, тотъ, по крайней мѣрѣ, зналъ, чего добивался; а этотъ, при всемъ своемъ умѣ...

— Что же, что же онъ? Доканчивайте вашу рѣчь, несправедливый, гадкій человѣкъ!

Лежневъ всталъ.

— *Послушайте*, Александра Павловна,—началъ онъ: — *несправедливы*-то вы, а не я. Вы досадуете на меня за

мои рѣзкія сужденія о Рудинѣ: я имѣю право говорить о немъ рѣзко! Я, можетъ-быть, не дешевой цѣной купилъ это право. Я хорошо его знаю: я долго жилъ съ нимъ вмѣстѣ. Помните, я обѣщался разсказать вамъ когда-нибудь наше житье въ Москвѣ. Видно, придется теперь это сдѣлать. Но будете ли вы имѣть терпѣніе меня выслушать?

— Говорите, говорите!

— Ну, извольте.

Лежневъ принялся ходить медленными шагами по комнатѣ, изрѣдка останавливаясь и наклоняя голову впередъ.

— Вы, можетъ-быть, знаете,—заговорилъ онъ:—а, можетъ-быть, и не знаете, что я осиротѣлъ рано и уже на семнадцатомъ году не имѣлъ надъ собою нáбольшаго. Я жилъ въ домѣ тетки, въ Москвѣ, и дѣлалъ, что̀ хотѣлъ. Малый я былъ довольно пустой и самолюбивый, любилъ порисоваться и похвастать. Вступивъ въ университетъ, я велъ себя, какъ школьникъ, и скоро попался въ исторію. Я вамъ ее разсказывать не стану: не сто̀итъ. Я солгалъ, и довольно гадко солгалъ... Меня вывели на свѣжую воду, уличили, пристыдили... Я пѣтерялся и заплакалъ какъ дитя. Это происходило на квартирѣ одного знакомаго, въ присутствіи многихъ товарищей. Всѣ принялись хохотать надо мною, всѣ, исключая одного студента, который, замѣтьте, больше прочихъ негодовалъ на меня, пока я упорствовалъ и не сознавался въ своей лжи. Жаль ему, что ли, меня стало, только онъ взялъ меня подъ руку и увелъ къ себѣ.

— Это былъ Рудинъ?—спросила Александра Павловна.

— Нѣтъ, это не былъ Рудинъ... это былъ человѣкъ... онъ уже теперь умеръ... это былъ человѣкъ необыкновенный. Звали его Покорскимъ. Описать его въ немногихъ словахъ я не въ силахъ, а начавъ говорить о немъ, уже ни о комъ другомъ говорить не захочешь. Эта была высокая, чистая душа, и ума такого я уже не встрѣчалъ потомъ. Покорскій жилъ въ маленькой, пизенькой комнаткѣ, въ мезонинѣ стараго деревяннаго домика. Онъ былъ очень бѣденъ и перебивался кое-какъ уроками. Бывало, онъ *даже чашкой* чаю не могъ попотчивать гостя; а, един-

ственный его диванъ до того провалился, что сталъ похожъ на лодку. Но, несмотря на эти неудобства, къ нему ходило множество народа. Его всѣ любили, онъ привлекалъ къ себѣ сердца. Вы не повѣрите, какъ сладко и весело было сидѣть въ его бѣдной комнаткѣ! У него я познакомился съ Рудинымъ. Онъ уже отсталъ тогда отъ своего князька.

— Что же было такого особеннаго въ этомъ Покорскомъ?—спросила Александра Павловна.

— Какъ вамъ сказать? Поэзія и правда—вотъ что влекло всѣхъ къ нему. При умѣ ясномъ, обширномъ, онъ былъ милъ и забавенъ, какъ ребенокъ. У меня до сихъ поръ звенитъ въ ушахъ его свѣтлое хохотанье, и въ то же время онъ—

Пылалъ полуночной лампадой
Передъ святынею добра...

Такъ выразился о немъ одинъ полу-сумасшедшій и милѣйшій поэтъ нашего кружка.

— А какъ онъ говорилъ?—спросила опять Александра Павловна.

— Онъ говорилъ хорошо, когда былъ въ духѣ, но не удивительно. Рудинъ и тогда былъ въ двадцать разъ краснорѣчивѣе его.

Лежневъ остановился и скрестилъ руки.

— Покорскій и Рудинъ не походили другъ на друга. Въ Рудинѣ было гораздо больше блеску и треску, больше фразъ и, пожалуй, больше энтузіазма. Онъ казался гораздо даровитѣе Покорскаго, а на самомъ дѣлѣ, онъ былъ бѣднякъ въ сравненіи съ нимъ. Рудинъ превосходно развивалъ любую мысль, спорилъ мастерски; но мысли его рождались не въ его головѣ: онъ бралъ ихъ у другихъ, особенно у Покорскаго. Покорскій былъ на видъ тихъ и мягокъ, даже слабъ—и любилъ женщинъ до безумія, любилъ покутить, и не дался бы никому въ обиду. Рудинъ казался полнымъ огня, смѣлости, жизни, а въ душѣ былъ холоденъ и чуть ли не робокъ, пока не задѣвалось его *самолюбіе*: тутъ онъ на стѣны лѣзъ. Онъ всячески *старался* покорить себѣ людей, но покорялъ онъ ихъ во имя

общихъ началъ и идей, и дѣйствительно, имѣлъ вліяніе сильное на многихъ. Правда, никто его не любилъ; одинъ я, можетъ-быть, привязался къ нему. Его иго носили... Покорскому всѣ отдавались сами собой. За то Рудинъ никогда не отказывался толковать и спорить съ первымъ встрѣчнымъ... Онъ не слишкомъ много прочелъ книгъ, но во всякомъ случаѣ гораздо больше, чѣмъ Покорскій и чѣмъ всѣ мы; притомъ, умъ имѣлъ систематическій, память огромную, а вѣдь это-то и дѣйствуетъ на молодежь! Ей выводы подавай, итоги, хоть невѣрные, да итоги! Совершенно добросовѣстный человѣкъ на это не годится. Попытайтесь сказать молодежи, что вы не можете дать ей полной истины, потому что сами не владѣете ею... молодежь васъ и слушать не станетъ. Но обмануть вы ее тоже не можете. Надобно, чтобы вы сами хотя на половину вѣрили, что обладаете истиной... Оттого-то Рудинъ и дѣйствовалъ такъ сильно на нашего брата. Видите ли, я вамъ сейчасъ сказалъ, что онъ прочелъ немного, но читалъ онъ философскія книги, и голова у него такъ была устроена, что онъ тотчасъ же изъ прочитаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла, и уже потомъ проводилъ отъ него во всѣ стороны свѣтлыя, правильныя нити мысли, открывалъ духовныя перспективы. Нашъ кружокъ состоялъ тогда, говоря по совѣсти, изъ мальчиковъ—и недоученыхъ мальчиковъ. Философія, искусство, наука, самая жизнь — все это для насъ были одни слова, пожалуй даже понятія, заманчивыя, прекрасныя но разбросанныя, разъединенныя. Общей связи этихъ понятій, общаго закона мірового мы не сознавали, не осязали, хотя смутно толковали о немъ, силились отдать себѣ въ немъ отчетъ... Слушая Рудина, намъ впервые показалось, что мы наконецъ схватили ее, эту общую связь, что поднялась наконецъ завѣса! Положимъ, онъ говорилъ не свое—что за дѣло! но стройный порядокъ водворялся во всемъ, что́ мы знали, все разбросанное вдругъ соединялось, складывалось, вырастало передъ нами, точно зданіе, все свѣтлѣло, духъ вѣялъ всюду... Ничего не оставалось безсмысленнымъ, случайнымъ; во всемъ высказыва-

лась разумная необходимость и красота, все получало значеніе ясное и, въ то же время, таинственное; каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами, съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ, чувствовали себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому... Вамъ все это не смѣшно?

— Нисколько!—медленно возразила Александра Павловна:—почему вы это думаете? Я васъ не совсѣмъ понимаю, но мнѣ не смѣшно.

— Мы съ тѣхъ поръ успѣли поумнѣть, конечно,—продолжалъ Лежневъ:—все это намъ теперь можетъ казаться дѣтствомъ... Но, я повторяю, Рудину мы тогда были обязаны многимъ. Покорскій былъ несравненно выше его, безспорно; Покорскій вдыхалъ въ насъ всѣхъ огонь и силу; но онъ иногда чувствовалъ себя вялымъ и молчалъ. Человѣкъ онъ былъ нервическій, нездоровый; зато, когда онъ расправлялъ свои крылья,—Боже! куда не залеталъ онъ! въ самую глубь и лазурь неба! А въ Рудинѣ, въ этомъ красивомъ и статномъ маломъ, было много мелочей; онъ даже сплетничалъ; страсть его была во все вмѣшиваться, все опредѣлять и разъяснять. Его хлопотливая дѣятельность никогда не унималась... политическая натура-съ! Я о немъ говорю, какимъ я его зналъ тогда. Впрочемъ, онъ, къ несчастію, не измѣнился. Зато онъ и въ вѣрованіяхъ своихъ не измѣнился... въ тридцать-пять лѣтъ!.. Не всякій можетъ сказать это о себѣ.

— Сядьте,—проговорила Александра Павловна:—что вы, какъ маятникъ, по комнатѣ ходите?

— Этакъ мнѣ лучше,—возразилъ Лежневъ.—Ну-съ, попавъ въ кружокъ Покорскаго, я доложу вамъ, Александра Павловна, я совсѣмъ переродился: смирился, разспрашивалъ, учился, радовался, благоговѣлъ — однимъ словомъ, точно въ храмъ какой вступилъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ вспомню я наши сходки, ну, ей-Богу же, много въ нихъ было хорошаго, даже трогательнаго. *Вы представьте*: сошлись человѣкъ пять-шесть *мальчиковъ, одна* сальная свѣча горитъ, чай подается прескверъ-

ный и сухари къ нему старые-престарые; а посмотрѣли бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется, и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о будущности человѣчества, о поэзіи, — говоримъ иногда вздоръ, восхищаемся пустяками; но что за бѣда!.. Покорскій сидитъ, поджавъ ноги, подпираетъ блѣдную щеку рукой; а глаза его такъ и свѣтятся. Рудинъ стоитъ посерединѣ комнаты и говоритъ, говоритъ прекрасно, ни дать ни взять — молодой Демосѳенъ передъ шумящимъ моремъ; взъерошенный поэтъ Субботинъ издаетъ, по временамъ, и какъ бы во снѣ, отрывистыя восклицанія; сорокалѣтній буршъ, сынъ нѣмецкаго пастора, Шеллеръ, прослывшій между нами за глубочайшаго мыслителя, по милости своего вѣчнаго, ничѣмъ ненарушимаго молчанья, какъ-то особенно торжественно безмолвствуетъ; — самъ веселый Щитовъ, Аристофанъ нашихъ сходокъ, утихаетъ и только ухмыляется; два-три новичка слушаютъ съ торжественнымъ наслажденіемъ... А ночь летитъ тихо и плавно, какъ на крыльяхъ. Вотъ ужъ и утро сѣрѣетъ, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой-то пріятной усталостью на душѣ... и даже на звѣзды какъ-то довѣрчиво глядишь, словно онѣ и ближе стали, и понятнѣе... Эхъ! славное было время тогда, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ! Да оно и не пропало, — не пропало даже для тѣхъ, которыхъ жизнь опошлила потомъ... Сколько разъ мнѣ случалось встрѣтить такихъ людей, прежнихъ товарищей! Кажется, совсѣмъ звѣремъ сталъ человѣкъ, а стоитъ только произнести при немъ имя Покорскаго — и всѣ остатки благородства въ немъ зашевелятся, точно ты въ грязной и темной комнатѣ раскупорилъ забытую стклянку съ духами...

Лежневъ умолкъ; его безцвѣтное лицо раскраснѣлось.

— Но отчего же, когда вы поссорились съ Рудинымъ? — заговорила Александра Павловна, съ изумленіемъ глядя на Лежнева.

— Я съ нимъ не поссорился, а съ нимъ разстался, когда узналъ его окончательно за границей. А уже въ Москвѣ я бы могъ разссориться съ нимъ. Онъ со мной уже тогда сыгралъ недобрую штуку.

— Что такое?

— А вотъ что. Я... какъ бы это сказать?.. къ моей фигурѣ оно нейдетъ... но я всегда былъ очень способенъ влюбиться.

— Вы?

— Я. Это странно, не правда ли? А между тѣмъ, оно такъ... Ну-съ, вотъ, я и влюбился тогда въ одну очень миленькую дѣвочку... Да что вы на меня такъ глядите? Я бы могъ сказать вамъ о себѣ вещь, гораздо болѣе удивительную.

— Какую это вещь, позвольте, узнать?

— А хоть бы вотъ какую вещь. Я, въ то, московское-то время, хаживалъ по ночамъ на свиданіе... съ кѣмъ бы вы думали? съ молодой липой на концѣ моего сада. Обниму ея тонкій и стройный стволъ, и мнѣ кажется, что я обнимаю всю природу, а сердце расширяется и млѣетъ такъ, какъ будто, дѣйствительно, вся природа въ него вливается... Вотъ-съ я былъ какой!.. Да что? Вы, можетъ, думаете, я стиховъ не писалъ? Писалъ-съ, и даже цѣлую драму сочинилъ, въ подражаніе Манфреду. Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ былъ призракъ съ кровью на груди, и не съ своей кровью, замѣтьте, а съ кровью человѣчества вообще... Да-съ, да-съ, не извольте удивляться... Но я началъ разсказывать о моей любви. Я познакомился съ одной дѣвушкой...

— И перестали ходить на свиданіе съ липой?—спросила Александра Павловна.

— Пересталъ. Дѣвушка эта была предобренькое и прехорошенькое существо, съ веселыми, ясными глазками и звенящимъ голосомъ.

— Вы хорошо описываете,—замѣтила съ усмѣшкой Александра Павловна.

— А вы очень строгій критикъ,—возразилъ Лежневъ.— *Ну-съ, жила* эта дѣвушка со старикомъ-отцомъ... Впро-

чемъ, я въ подробности вдаваться не стану. Скажу вамъ только, что эта дѣвушка была точно предобренькая— вѣчно, бывало, нальетъ тебѣ три-четверти стакана чаю, когда ты просишь только половину!.. На третій день, послѣ первой встрѣчи съ ней, я уже пылалъ, а на седьмой день не выдержалъ и во всемъ сознался Рудину. Молодому человѣку, влюбленному, не возможно не проболтаться; а я Рудину исповѣдывался во всемъ. Я тогда находился весь подъ его вліяніемъ, и это вліяніе, скажу безъ обиняковъ, было благотворно во многомъ. Онъ первый не побрезгалъ мною, обтесалъ меня. Покорскаго я любилъ страстно и ощущалъ нѣкоторый страхъ передъ его душевной чистотой; а къ Рудину я стоялъ ближе. Узнавъ о моей любви, онъ пришелъ въ восторгъ неописанный: поздравилъ, обнялъ меня и тотчасъ же пустился вразумлять меня, толковать мнѣ всю важность моего новаго положенія. Я уши развѣсилъ... Ну, да вѣдь вы знаете, какъ онъ умѣетъ говорить. Слова его подѣйствовали на меня необыкновенно. Уваженіе я къ себѣ вдругъ возымѣлъ удивительное, видъ принялъ серьезный и смѣяться пересталъ. Помнится, я даже ходить началъ тогда осторожнѣе, точно у меня въ груди находился сосудъ, полный драгоцѣнной, влаги, которую я боялся расплескать... Я былъ очень счастливъ, тѣмъ болѣе, что ко мнѣ благоволили явно. Рудинъ пожелалъ познакомиться съ моимъ предметомъ; да чуть ли не я самъ настоялъ на томъ, чтобы представить его.

— Ну, вижу, вижу теперь, въ чемъ дѣло,—перебила Александра Павловна.—Рудинъ отбилъ у васъ вашъ предметъ, и вы до сихъ поръ ему простить не можете... Держу пари, что не ошиблась!

— И проиграли бы пари, Александра Павловна: вы ошибаетесь. Рудинъ не отбилъ у меня моего предмета, да онъ и не хотѣлъ его у меня отбивать; а все-таки онъ разрушилъ мое счастье, хотя, разсудивъ хладнокровно, я теперь готовъ сказать ему спасибо за это. Но тогда я чуть не рехнулся. Рудинъ нисколько не желалъ повредить мнѣ, — напротивъ! но вслѣдствіе своей проклятой привычки каждое движеніе жизни, и своей, и чужой, при-

шпиливать словомъ, какъ бабочку булавкой, онъ пустился обоимъ намъ объяснять насъ самихъ, наши отношенія, какъ мы должны вести себя, деспотически заставлялъ отдавать себѣ отчетъ въ нашихъ чувствахъ и мысляхъ, хвалилъ насъ, порицалъ, вступилъ даже въ переписку съ нами, вообразите!.. ну, сбилъ насъ съ толку совершенно! Я бы едва ли женился тогда на моей барышнѣ (столько-то во мнѣ еще здраваго смысла оставалось), но, по крайней мѣрѣ, мы бы съ ней славно провели нѣсколько мѣсяцевъ, въ родѣ Павла и Виргиніи; а тутъ пошли недоразумѣнія, напряженности всякія, — чепуха пошла, однимъ словомъ. Кончилось тѣмъ, что Рудинъ, въ одно прекрасное утро, договорился до того убѣжденія, что ему, какъ другу, предстоитъ священнѣйшій долгъ извѣстить обо всемъ старика-отца,—и онъ это сдѣлалъ.

— Неужели!—воскликнула Александра Павловна.

— Да, и, замѣтьте, съ моего согласія сдѣлалъ — вотъ что чудно!.. Помню до сихъ поръ, какой хаосъ носилъ я тогда въ головѣ: просто все кружилось и представлялось, какъ въ камеръ-обскурѣ: бѣлое казалось чернымъ, черное—бѣлымъ, ложь—истиной, фантазія—долгомъ... Э! даже и теперь совѣстно вспоминать объ этомъ! Рудинъ—тотъ не унывалъ... куда! носится, бывало, среди всякаго рода недоразумѣній и путаницы, какъ ласточка надъ прудомъ.

— Итакъ, вы разстались съ вашей дѣвицей?—спросила Александра Павловна, наивно склонивъ головку на бокъ и приподнявъ брови.

— Разстался... и не хорошо разстался, оскорбительно-неловко, гласно, и безъ нужды гласно... Самъ я плакалъ, и она плакала, и чортъ знаетъ, что̀ произошло... Гордіевъ узелъ какой-то затянулся—пришлось перерубить, а больно было! Впрочемъ, все на свѣтѣ устраивается къ лучшему. Она вышла замужъ за хорошаго человѣка и благодетствуетъ теперь...

— А признайтесь, вы все-таки не могли простить Рудину... начала-было Александра Павловна.

— Какое!—перебилъ Лежневъ:—я плакалъ, какъ ребенокъ, когда провожалъ его за границу. Однако, правду

сказать, сѣмя тамъ у меня на душѣ залегло тогда же. И когда я встрѣтилъ его потомъ за границей... ну, я тогда уже и постарѣлъ... Рудинъ предсталъ мнѣ въ настоящемъ своемъ свѣтѣ.

— Что же именно вы открыли въ немъ?

— Да все то, о чемъ я говорилъ вамъ съ часъ тому назадъ. Впрочемъ, довольно о немъ. Можетъ-быть, все обойдется благополучно. Я только хотѣлъ доказать вамъ, что если я сужу о немъ строго, такъ не потому, что его не знаю... Что же касается до Натальи Алексѣевны, я не буду тратить лишнихъ словъ; но вы обратите вниманіе на вашего брата.

— На моего брата! А что?

— Да посмотрите на него. Развѣ вы ничего не замѣчаете?—Александра Павловна потупилась.

— Вы правы,—промолвила она:—точно... братъ... съ нѣкоторыхъ поръ я его не узнаю... Но неужели вы думаете...

— Тише! онъ, кажется, идетъ сюда,—произнесъ шопотомъ Лежневъ. — А Наталья не ребенокъ, повѣрьте мнѣ, хотя, къ несчастію, неопытна, какъ ребенокъ. Вы увидите, эта дѣвочка удивитъ всѣхъ насъ.

— Какимъ это образомъ?

— А вотъ какимъ образомъ... Знаете ли, что именно такія дѣвочки топятся, принимаютъ яду и такъ далѣе? Вы не глядите, что она такая тихая: страсти въ ней сильныя, и характеръ—тоже ой-ой!

— Ну, ужъ это, мнѣ кажется, вы въ поэзію вдаетесь. Такому флегматику, какъ вы, пожалуй, и я покажусь вулканомъ.

— Ну, нѣтъ!—проговорилъ съ улыбкой Лежневъ.—А что до характера,—у васъ, слава Богу, характера нѣтъ вовсе.

— Это еще что за дерзость?

— Это? Это величайшій комплиментъ, помилуйте...

Волынцевъ вошелъ и подозрительно посмотрѣлъ на Лежнева и на сестру. Онъ похудѣлъ въ послѣднее время. Они оба заговорили съ нимъ; но онъ едва улыбался въ отвѣтъ на ихъ шутки и глядѣлъ, какъ выразился о немъ однажды Пигасовъ, грустнымъ зайцемъ. Впрочемъ, нѣ-

ролятно, не было еще на свѣтѣ человѣка, который, хотя разъ въ жизни, не глядѣлъ еще хуже того. Волынцевъ чувствовалъ, что Наталья отъ него удалялась, а вмѣстѣ съ ней, казалось, и земля бѣжала у него изъ-подъ ногъ.

VII.

На другой день было воскресенье, и Наталья поздно встала. Наканунѣ она была очень молчалива до самаго вечера, втайнѣ стыдилась слезъ своихъ и очень дурно спала. Сидя, полуодѣтая, передъ своимъ маленькимъ фортепіано, она то брала аккорды, едва слышные, чтобы не разбудить m-lle Boncourt, то приникала лбомъ къ холоднымъ клавишамъ и долго оставалась неподвижной. Она все думала — не о самомъ Рудинѣ, но о какомъ-нибудь словѣ, имъ сказанномъ, и погружалась вся въ свою думу. Изрѣдка приходилъ ей Волынцевъ на память. Она знала, что онъ ее любитъ. Но мысль ея тотчасъ его покидала... Странное она чувствовала волненіе. Утромъ она поспѣшно одѣлась, сошла внизъ и, поздоровавшись съ своею матерью, улучила время и ушла одна въ садъ... День былъ жаркій, свѣтлый, лучезарный день, несмотря на перепадавшіе дождики. По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкія, дымчатыя тучи и, по временамъ, роняли на поля обильные потоки внезапнаго и мгновеннаго ливня. Крупныя, сверкающія капли сыпались быстро, съ какимъ-то сухимъ шумомъ, точно алмазы; солнце играло сквозь ихъ мелькающую сѣтку; трава, еще недавно взволнованная вѣтромъ, не шевелилась, жадно поглощая влагу; орошенныя деревья томно трепетали всѣми своими листочками; птицы не переставали пѣть, и отрадно было слушать ихъ болтливое щебетанье при свѣжемъ гулѣ и ропотѣ пробѣгавшаго дождя. Пыльныя дороги дымились и слегка пестрѣли подъ рѣзкими ударами частыхъ брызгъ. Но вотъ, тучка пронеслась, запорхалъ вѣтерокъ, изумрудомъ и золотомъ начала переливать трава... Прилипая другъ къ дружкѣ, засквозили листья деревьевъ... Сильный запахъ поднялся отовсюду...

Небо почти все очистилось, когда Наталья пошла въ

садъ. Отъ него вѣяло свѣжестью и тишиной, той кроткой и счастливой тишиной, на которую сердце человѣка отзывается сладкимъ томленіемъ тайнаго сочувствія и неопредѣленныхъ желаній...

Наталья шла вдоль пруда, по длинной аллеѣ серебристыхъ тополей; внезапно, передъ нею, словно изъ земли, выросъ Рудинъ.

Она смутилась. Онъ посмотрѣлъ ей въ лицо.

— Вы однѣ?—спросилъ онъ.

— Да, я одна,—отвѣчала Наталья:—впрочемъ, я вышла на минуту... Мнѣ пора домой.

— Я васъ провожу.

И онъ пошелъ съ ней рядомъ.

— Вы какъ-будто печальны?—промолвилъ онъ.

— Я?... А я хотѣла вамъ замѣтить, что вы, мнѣ кажется, не въ духѣ.

— Можетъ-быть... это со мною бываетъ. Мнѣ это извинительнѣе, чѣмъ вамъ.

— Почему же? Развѣ вы думаете, что мнѣ не отъ чего быть печальной?

— Въ ваши годы надо наслаждаться жизнью.

Наталья сдѣлала нѣсколько шаговъ молча.

— Дмитрій Николаевичъ!—проговорила она.

— Что?

— Помните вы... сравненіе, которое вы сдѣлали вчера... помните... съ дубомъ.

— Ну, да, помню. Что же?

Наталья взглянула украдкой на Рудина.

— Зачѣмъ вы... что вы хотѣли сказать этимъ сравненіемъ?

Рудинъ наклонилъ голову и устремилъ глаза вдаль.

— Наталья Алексѣевна!—началъ онъ, съ свойственнымъ ему сдержаннымъ и значительнымъ выраженіемъ, которое всегда заставляло слушателя думать, что Рудинъ не высказывалъ и десятой доли того, что̀ тѣснилось ему въ душу:—Наталья Алексѣевна! вы могли замѣтить, я мало говорю о своемъ прошедшемъ. Есть нѣкоторыя струны, до которыхъ я не касаюсь вовсе. Мое сердце... кому какая нужда знать о томъ, что̀ въ немъ происходило? Выста-

влять это напоказъ мнѣ всегда казалось святотатствомъ. Но съ вами я откровененъ: вы возбуждаете мое довѣріе... Не могу утаить отъ васъ, что и я любилъ, и страдалъ, какъ всѣ... Когда и какъ? объ этомъ говорить не стóитъ; но сердце мое испытало много радостей и много горестей...

Рудинъ помолчалъ немного.

— То, что̀ я вамъ сказалъ вчера,—продолжалъ онъ:—можетъ быть до нѣкоторой степени примѣнено ко мнѣ, къ теперешнему моему положенію. Но, опять-таки, объ этомъ говорить не стóитъ. Эта сторона жизни для меня уже исчезла. Мнѣ остается теперь тащиться по знойной и пыльной дорогѣ, со станціи до станціи, въ тряской телѣгѣ... Когда я доѣду, и доѣду ли—Богъ знаетъ... Поговоримте лучше о васъ.

— Неужели же, Дмитрій Николаевичъ,—перебила его Наталья:—вы ничего не ждете отъ жизни?

— О, нѣтъ! Я жду многаго, но не для себя... Отъ дѣятельности, отъ блаженства дѣятельности я никогда не откажусь, но я отказался отъ наслажденія. Мои надежды, мои мечты—и собственное мое счастіе не имѣютъ ничего общаго. Любовь (при этомъ словѣ онъ пожалъ плечомъ)... любовь—не для меня; я... ея не стóю; женщина, которая любитъ, въ правѣ требовать всего человѣка, а я ужъ весь отдаться не могу. Притомъ, нравиться — это дѣло юношей: я слишкомъ старъ. Куда мнѣ кружить чужія головы? Дай Богъ свою сносить на плечахъ!

— Я понимаю,—промолвила Наталья: — кто стремится къ великой цѣли, уже не долженъ думать о себѣ; но развѣ женщина не въ состояніи оцѣнить такого человѣка? Мнѣ кажется, напротивъ, женщина скорѣе отвернется отъ эгоиста... Всѣ молодые люди, эти юноши, по-вашему, всѣ — эгоисты, всѣ только собою заняты, даже когда любятъ. Повѣрьте, женщина не только способна понять самопожертвованіе: она сама умѣетъ пожертвовать собою.

Щеки Натальи слегка зарумянились, и глаза ея заблестѣли. До знакомства съ Рудинымъ она никогда бы не *произнесла* такой длинной рѣчи и съ такимъ жаромъ.

— *Вы* не разъ слышали мое мнѣніе о призваніи жен-

щины,—возразилъ съ снисходительной улыбкой Рудинъ:—вы знаете, что, по-моему, одна Жанна д'Аркъ могла спасти Францію... но дѣло не въ томъ. Я хотѣлъ поговорить о васъ. Вы стоите на порогѣ жизни... Разсуждать о вашей будущности и весело, и не безплодно... Послушайте: вы знаете, я вашъ другъ; я принимаю въ васъ почти родственное участіе... А потому, я надѣюсь, вы не найдете моего вопроса нескромнымъ; скажите, ваше сердце до сихъ поръ совершенно спокойно?

Наталья вся вспыхнула и ничего не сказала. Рудинъ остановился, и она остановилась.

— Вы не сердитесь на меня?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ,—проговорила она:—но я никакъ не ожидала...

— Впрочемъ,—продолжалъ онъ:—вы можете не отвѣчать мнѣ. Ваша тайна мнѣ извѣстна.

Наталья почти съ испугомъ взглянула на него.

— Да... да; я знаю, кто вамъ нравится. И я долженъ сказать—лучшаго выбора вы сдѣлать не могли. Онъ человѣкъ прекрасный; онъ сумѣетъ оцѣнить васъ; онъ не измятъ жизнью—онъ простъ и ясенъ душою... онъ составитъ ваше счастіе.

— О комъ говорите вы, Дмитрій Николаичъ?

— Будто вы не понимаете, о комъ я говорю? Разумѣется, о Волынцевѣ. Что жъ? развѣ это неправда?

Наталья отвернулась немного отъ Рудина. Она совершенно растерялась.

— Развѣ онъ не любитъ васъ? Помилуйте! онъ не сводитъ съ васъ глазъ, слѣдитъ за каждымъ вашимъ движеніемъ; да и наконецъ, развѣ можно скрыть любовь! И вы сами развѣ неблагосклонны къ нему? Сколько я могъ замѣтить, и матушкѣ вашей онъ также нравится... Вашъ выборъ...

— Дмитрій Николаичъ,—перебила его Наталья, въ смущеніи протягивая руку къ близъ стоявшему кусту:—мнѣ, право, такъ неловко говорить объ этомъ, но я васъ увѣряю... вы ошибаетесь.

— Я ошибаюсь?—повторилъ Рудинъ.—Не думаю... Я съ вами познакомился недавно; но я уже хорошо васъ знаю

Что же значитъ перемѣна, которую я вижу въ васъ, вижу ясно? Развѣ вы такая, какою я засталъ васъ шесть недѣль тому назадъ?.. Нѣтъ, Наталья Алексѣевна, сердце ваше не спокойно.

— Можетъ-быть,—отвѣтила Наталья едва внятно:—но вы все-таки ошибаетесь.

— Какъ это?—спросилъ Рудинъ.

— Оставьте меня, не спрашивайте меня!—возразила Наталья и быстрыми шагами направилась къ дому.

Ей самой стало страшно всего того, что она вдругъ почувствовала въ себѣ.

Рудинъ догналъ и остановилъ ее.

— Наталья Алексѣевна,—заговорилъ онъ:—этотъ разговоръ не можетъ такъ кончиться: онъ слишкомъ важенъ и для меня... Какъ мнѣ понять васъ?

— Оставьте меня!—повторила Наталья.

— Наталья Алексѣевна, ради Бога!

На лицѣ Рудина изобразилось волненіе. Онъ поблѣднѣлъ.

— Вы все понимаете, вы и меня должны понять!—сказала Наталья, вырвала у него руку и пошла, не оглядываясь.

— Одно только слово!—крикнулъ ей вслѣдъ Рудинъ.

Она остановилась, но не обернулась.

— Вы меня спрашивали, что я хотѣлъ сказать вчерашнимъ сравненіемъ. Знайте же, я обманывать васъ не хочу. Я говорилъ о себѣ, о своемъ прошедшемъ,—и о васъ.

— Какъ? обо мнѣ?

— Да, о васъ; я, повторяю, не хочу васъ обманывать... Вы теперь знаете, о какомъ чувствѣ, о какомъ новомъ чувствѣ, я говорилъ тогда... До нынѣшняго дня я никогда бы не рѣшился...

Наталья вдругъ закрыла лицо руками и побѣжала къ дому.

Она такъ была потрясена неожиданной развязкой разговора съ Рудинымъ, что и не замѣтила Волынцева, мимо котораго пробѣжала. Онъ стоялъ неподвижно, прислонясь спиною къ дереву. Четверть часа тому назадъ, онъ пріѣхалъ къ Дарьѣ Михайловнѣ и засталъ ее въ гостиной; сказалъ слова два, незамѣтно удалился и отправился отъ-

искивать Наталью. Руководимый чутьемъ, свойственнымъ влюбленнымъ людямъ, онъ пошелъ прямо въ садъ и наткнулся на нее и на Рудина въ то самое мгновеніе, когда она вырвала у него руку. У Волынцева потемнѣло въ глазахъ. Проводивъ Наталью взоромъ, онъ отдѣлился отъ дерева и шагнулъ раза два, самъ не зная, куда и зачѣмъ. Рудинъ увидѣлъ его, поровнявшись съ нимъ. Оба посмотрѣли другъ на друга въ глаза, поклонились и разошлись молча.

„Это такъ не кончится", подумали оба.

Волынцевъ пошелъ на самый конецъ сада. Ему горько и тошно стало; а на сердце залегъ свинецъ, и кровь по временамъ поднималась злобно. Дождикъ сталъ опять накрапывать. Рудинъ вернулся къ себѣ въ комнату. И онъ не былъ спокоенъ: вихремъ кружились въ немъ мысли. Довѣрчивое, неожиданное прикосновеніе молодой, честной души смутитъ хоть кого.

За столомъ все шло какъ-то неладно. Наталья, вся блѣдная, едва держалась на стулѣ и не поднимала глазъ. Волынцевъ сидѣлъ, по обыкновенію, возлѣ нея и, время отъ времени, принужденно заговаривалъ съ нею. Случилось такъ, что Пигасовъ въ тотъ день обѣдалъ у Дарьи Михайловны. Онъ больше всѣхъ говорилъ за столомъ. Между прочимъ, онъ началъ доказывать, что людей, какъ собакъ, можно раздѣлить на куцыхъ и длиннохвостыхъ. Куцыми бываютъ люди—говорилъ онъ—и отъ рожденія, и по собственной винѣ. Куцымъ плохо: имъ ничего не удается — они не имѣютъ самоувѣренности. По человѣку, у котораго длинный пушистый хвостъ—счастливецъ. Онъ можетъ быть и плоше, и слабѣе куцаго, да увѣренъ въ себѣ; распуститъ хвостъ—всѣ любуются. И вѣдь вотъ что достойно удивленія! вѣдь хвостъ совершенно безполезная часть тѣла, согласитесь; на что можетъ пригодиться хвостъ? а всѣ судятъ о вашихъ достоинствахъ по хвосту.

— Я,—прибавилъ онъ со вздохомъ: — принадлежу къ числу куцыхъ, и, что̀ досаднѣе всего, я самъ отрубилъ себѣ хвостъ.

— То-есть, вы хотите сказать,—замѣтилъ небрежно Ру-

динъ: — что, впрочемъ, уже давно до васъ сказалъ ла-Рошфуко: будь увѣренъ въ себѣ, другіе въ тебя вѣрятъ. Къ чему тутъ было примѣшивать хвостъ, я не понимаю.

— Позвольте же каждому,—рѣзко заговорилъ Волынцевъ, и глаза его загорѣлись:—позвольте каждому выражаться, какъ ему вздумается. Толкуютъ о деспотизмѣ... По-моему, нѣтъ хуже деспотизма такъ-называемыхъ умныхъ людей. Чортъ бы ихъ побралъ!

Всѣхъ изумила выходка Волынцева, всѣ притихли. Рудинъ посмотрѣлъ-было на него, но не выдержалъ его взора, отворотился, улыбнулся и рта не разинулъ.

„Эге! да и ты купъ!“ подумалъ Пигасовъ; а у Натальи душа замерла отъ страха. Дарья Михайловна долго, съ недоумѣніемъ посмотрѣла на Волынцева и, наконецъ, первая заговорила; начала разсказывать о какой-то необыкновенной собакѣ министра N. N...

Волынцевъ уѣхалъ скоро послѣ обѣда. Раскланиваясь съ Натальей, онъ не вытерпѣлъ и сказалъ ей:

— Отчего вы такъ смущены, словно виноваты? вы ни передъ кѣмъ виноваты быть не можете!..

Наталья ничего не поняла, и только посмотрѣла ему вслѣдъ. Передъ чаемъ, Рудинъ подошелъ къ ней, и, нагнувшись надъ столомъ, какъ будто разбирая газеты, шепнулъ:

— Все это какъ сонъ, не правда ли? Мнѣ непремѣнно нужно видѣть васъ наединѣ... хотя минуту. — Онъ обратился къ m-lle Boncourt.—Вотъ,—сказалъ онъ ей:—тотъ фельетонъ, который вы искали, — и снова наклоняясь къ Натальѣ, прибавилъ шопотомъ:—постарайтесь быть около десяти часовъ возлѣ террасы, въ сиреневой бесѣдкѣ: я буду ждать васъ...

Героемъ вечера былъ Пигасовъ. Рудинъ уступилъ ему поле сраженія. Онъ очень смѣшилъ Дарью Михайловну; сперва онъ разсказывалъ объ одномъ своемъ сосѣдѣ, который, состоя лѣтъ тридцать подъ башмакомъ жены, до того обабился, что, переходя однажды, въ присутствіи Пигасова, мелкую лужицу, занесъ назадъ руку и отвелъ *вбокъ* фалды сюртука, какъ женщины это дѣлаютъ со *своими* юбками. Потомъ онъ обратился къ другому помѣ-

щику, который сначала былъ масономъ, потомъ меланхоликомъ, потомъ желалъ быть банкиромъ.

— Какъ же это вы были масономъ, Филиппъ Степанычъ?—спросилъ его Пигасовъ.

— Извѣстно какъ: я носилъ длинный ноготь на пятомъ пальцѣ.

Но больше всего смѣялась Дарья Михайловна, когда Пигасовъ пустился разсуждать о любви и увѣрять, что и о немъ вздыхали, что одна пылкая нѣмка называла его даже „аппетитнымъ Африканчикомъ“ и „хрипунчикомъ“. Дарья Михайловна смѣялась, а Пигасовъ не лгалъ: онъ дѣйствительно имѣлъ право хвастаться своими побѣдами. Онъ утверждалъ, что ничего не можетъ быть легче, какъ влюбить въ себя какую угодно женщину: стóить только повторять ей десять дней сряду, что у ней въ устахъ рай, а въ очахъ блаженство, и что остальныя женщины передъ ней простыя тряпки, и на одиннадцатый день она сама скажетъ, что у ней въ устахъ рай и въ очахъ блаженство, и полюбитъ васъ. Все на свѣтѣ бываетъ. Почему знать, можетъ-быть, Пигасовъ и правъ.

Въ половинѣ девятаго Рудинъ уже былъ въ бесѣдкѣ. Въ далекой и блѣдной глубинѣ неба только-что проступали звѣздочки; на западѣ еще алѣло—тамъ и небосклонъ казался яснѣй и чище; полукругъ луны блестѣлъ золотомъ сквозь черную сѣтку плакучей березы. Другія деревья либо стояли угрюмыми великанами, съ тысячью просвѣтовъ, наподобіе глазъ, либо сливались въ сплошныя, мрачныя громады. Ни одинъ листокъ не шевелился; верхнія вѣтки сиреней и акацій какъ будто прислушивались къ чему-то и вытягивались въ тепломъ воздухѣ. Домъ темнѣлъ вблизи; пятнами красноватаго свѣта рисовались на немъ освѣщенныя длинныя окна. Кротокъ и тихъ былъ вечеръ; но сдержанный, страстный вздохъ чудился въ этой тишинѣ.

Рудинъ стоялъ, скрестивъ руки на груди, и слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ. Сердце въ немъ билось сильно, и онъ невольно удерживалъ дыханіе. Наконецъ ему послышались легкіе, торопливые шаги, и въ бесѣдку вошла Наталья.

Рудинъ бросился къ ней, взялъ ее за руки. Онѣ были холодны какъ ледъ.

— Наталья Алексѣевна!—заговорилъ онъ трепетнымъ шопотомъ:—я хотѣлъ васъ видѣть... я не могъ дождаться завтрашняго дня. Я долженъ вамъ сказать, чего я не подозрѣвалъ, чего я не сознавалъ даже сегодня утромъ: я люблю васъ!

Руки Наталья слабо дрогнули въ его рукахъ.

— Я люблю васъ,—повторилъ онъ:—и какъ я могъ такъ долго обманываться, какъ я давно не догадался, что люблю васъ!.. А вы?.. Наталья Алексѣевна, скажите, вы?..

Наталья едва переводила духъ.

— Вы видите, я пришла сюда, проговорила она наконецъ.

— Нѣтъ, скажите, вы любите меня?

— Мнѣ кажется... да... прошептала она.

Рудинъ еще крѣпче стиснулъ ея руки и хотѣлъ-было привлечь ее къ себѣ...

Наталья быстро оглянулась.

— Пустите меня,—мнѣ страшно,—мнѣ кажется, кто-то насъ подслушиваетъ... Ради Бога, будьте осторожны. Волынцевъ догадывается.

— Богъ съ нимъ! Вы видѣли, я и не отвѣчалъ ему сегодня... Ахъ, Наталья Алексѣевна, какъ я счастливъ! Теперь уже насъ ничто не разъединитъ!

Наталья взглянула ему въ глаза.

— Пустите меня,—прошептала она:—мнѣ пора.

— Одно мгновенье,—началъ Рудинъ...

— Нѣтъ, пустите, пустите меня...

— Вы какъ будто меня боитесь?

— Нѣтъ; но мнѣ пора...

— Такъ повторите, по крайней мѣрѣ, еще разъ...

— Вы говорите, вы счастливы?—спросила Наталья.

— Я? Нѣтъ человѣка въ мірѣ счастливѣе меня! Неужели вы сомнѣваетесь?

Наталья приподняла голову. Прекрасно было ея блѣдное лицо, благородное, молодое и взволнованное — въ *таинственной* тѣни бесѣдки, при слабомъ свѣтѣ, *падавшемъ* съ ночного неба.

— Знайте же,—сказала она:—я буду ваша.

— О, Боже!—воскликнулъ Рудинъ...

Но Наталья уклонилась и ушла. Рудинъ постоялъ немного, потомъ вышелъ медленно изъ бесѣдки. Луна ясно освѣтила его лицо; на губахъ его блуждала улыбка.

— Я счастливъ,—произнесъ онъ вполголоса.—Да, я счастливъ,—повторилъ онъ, какъ бы желая убѣдить самого себя.

Онъ выпрямилъ свой станъ, встряхнулъ кудрями и пошелъ проворно въ садъ, весело размахивая руками.

А между тѣмъ, въ сиреневой бесѣдкѣ тихонько раздвинулись кусты и показался Пандалевскій. Онъ осторожно оглянулся, покачалъ головой, сжалъ губы, произнесъ значительно: „Вотъ какъ-съ. Это надобно будетъ довести до свѣдѣнія Дарьи Михайловны“, и скрылся.

VIII.

Возвратясь домой, Волынцевъ былъ такъ унылъ и мраченъ, такъ неохотно отвѣчалъ своей сестрѣ и такъ скоро заперся къ себѣ въ кабинетъ, что она рѣшилась послать гонца за Лежневымъ. Она прибѣгала къ нему во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ. Лежневъ велѣлъ ей сказать, что пріѣдетъ на слѣдующій день.

Волынцевъ и къ утру не повеселѣлъ. Онъ хотѣлъ-было послѣ чаю отправиться на работы, но остался, легъ на диванъ и принялся читать книгу, что̀ съ нимъ случалось не часто. Волынцевъ къ литературѣ влеченія не чувствовалъ, а стиховъ просто боялся. — Это непонятно, какъ стихи, говаривалъ онъ, и, въ подтвержденіе словъ своихъ, приводилъ слѣдующія строки поэта Айбулата:

И до конца печальныхъ дней
Ни гордый опытъ, ни разсудокъ
Не изомнутъ рукой своей
Кровавыхъ жизни незабудокъ.

Александра Павловна тревожно посматривала на своего брата, но не безпокоила его вопросами. Экипажъ подъѣхалъ къ крыльцу. „Ну,—подумала она,—слава Богу, Лежневъ“... Слуга вошелъ и доложилъ о пріѣздѣ Рудина.

Волынцевъ бросилъ книгу на полъ и поднялъ голову.

— Кто пріѣхалъ?—спросилъ онъ.

— Рудинъ, Дмитрій Николаичъ,—повторилъ слуга.

Волынцевъ всталъ.

— Проси,—промолвилъ онъ:—а ты, сестра,—прибавилъ онъ, обратясь къ Александрѣ Павловнѣ:—оставь насъ.

— Да почему же?—начала она...

— Я знаю,—перебилъ онъ съ запальчивостью:—я прошу тебя.

Вошелъ Рудинъ. Волынцевъ холодно поклонился ему, стоя посреди комнаты, и не протянулъ ему руки.

— Вы меня не ждали, признайтесь,—началъ Рудинъ и поставилъ шляпу на окно.

Губы его слегка передергивало. Ему было неловко; но онъ старался скрыть свое замѣшательство.

— Я васъ не ждалъ, точно,—возразилъ Волынцевъ: —я скорѣе, послѣ вчерашняго дня, могъ ждать кого-нибудь—съ порученіемъ отъ васъ.

— Я понимаю, что вы хотите сказать,—промолвилъ Рудинъ, садясь:—и очень радъ вашей откровенности. Этакъ гораздо лучше. Я самъ пріѣхалъ къ вамъ, какъ къ благородному человѣку.

— Нельзя ли безъ комплиментовъ? замѣтилъ Волынцевъ.

— Я желаю объяснить вамъ, зачѣмъ я пріѣхалъ.

— Мы съ вами знакомы: почему же вамъ и не пріѣхать ко мнѣ? Притомъ же, вы не въ первый разъ удостоиваете меня своимъ посѣщеніемъ.

— Я пріѣхалъ къ вамъ, какъ благородный человѣкъ къ благородному человѣку,—повторилъ Рудинъ:—и хочу теперь сослаться на собственный вашъ судъ... Я довѣряю вамъ вполнѣ...

— Да въ чемъ дѣло?—проговорилъ Волынцевъ, который все еще стоялъ въ прежнемъ положеніи и сумрачно глядѣлъ на Рудина, изрѣдка подергивая концы усовъ.

— Позвольте... я пріѣхалъ за тѣмъ, чтобы объясниться, конечно; но, все-таки, это нельзя разомъ.

— Отчего же нельзя?

— Здѣсь замѣшано третье лицо...

— Какое третье лицо?

— Сергѣй Павлычъ, вы меня понимаете.

— Дмитрій Николаичъ, я васъ нисколько не понимаю.

— Вамъ угодно...

— Мнѣ угодно, чтобы вы говорили безъ обиняковъ!— подхватилъ Волынцевъ.

Онъ начиналъ сердиться не на шутку.

Рудинъ нахмурился.

— Извольте... мы одни... Я долженъ вамъ сказать— впрочемъ, вы, вѣроятно, уже догадываетесь (Волынцевъ нетерпѣливо пожалъ плечами)—я долженъ вамъ сказать, что я люблю Наталью Алексѣевну и имѣю право предполагать, что и она меня любитъ.

Волынцевъ поблѣднѣлъ, но ничего не отвѣтилъ, отошелъ къ окну и отвернулся.

— Вы понимаете, Сергѣй Павлычъ,—продолжалъ Рудинъ:—что если бы я не былъ увѣренъ...

— Помилуйте!—поспѣшно перебилъ Волынцевъ:—я нисколько не сомнѣваюсь... Что жъ! на здоровье! Только я удивляюсь, съ какого дьявола вамъ вздумалось ко мнѣ съ этимъ извѣстіемъ пожаловать... Я-то тутъ что? Что мнѣ за дѣло, кого вы любите и кто васъ любитъ? Я просто не могу понять.

Волынцевъ продолжалъ глядѣть въ окно. Голосъ его звучалъ глухо.

Рудинъ всталъ.

— Я вамъ скажу, Сергѣй Павлычъ, почему я рѣшился пріѣхать къ вамъ, почему я не почелъ себя даже въ правѣ скрыть отъ васъ нашу... наше взаимное расположеніе. Я слишкомъ глубоко уважаю васъ — вотъ почему я пріѣхалъ; я не хотѣлъ... мы оба не хотѣли разыгрывать передъ вами комедію. Чувство ваше къ Натальѣ Алексѣевнѣ было мнѣ извѣстно.... Повѣрьте, я знаю себѣ цѣну: я знаю, какъ мало достоинъ я того, чтобы замѣнить васъ въ ея сердцѣ; но если ужъ этому суждено было случиться, неужели же лучше хитрить, обманывать, притворяться? Неужели лучше подвергаться недоразумѣніямъ или даже возможности такой сцены, какая произошла вчера за обѣдомъ? Сергѣй Павлычъ, скажите сами?

Волынцевъ скрестилъ руки на груди, какъ бы усиливаясь укротить самого себя.

— Сергѣй Павлычъ!—продолжалъ Рудинъ:—я огорчилъ васъ, я это чувствую... но поймите насъ... поймите, что мы не имѣли другого средства доказать вамъ наше уваженіе, доказать, что мы умѣемъ цѣнить ваше прямодушное благородство. Откровенность, полная откровенность со всякимъ другимъ была бы неумѣстна; но съ вами она становится обязанностью. Намъ пріятно думать, что наша тайна въ вашихъ рукахъ.

Волынцевъ принужденно захохоталъ.

— Спасибо за довѣренность!—воскликнулъ онъ:—хотя, прошу замѣтить, я не желалъ ни знать вашей тайны, ни своей вамъ выдать, а вы ею распоряжаетесь, какъ своимъ добромъ. Но, позвольте: вы говорите, какъ бы отъ общаго лица. Стало-быть, я могу предполагать, что Натальѣ Алексѣевнѣ извѣстно ваше посѣщеніе и цѣль этого посѣщенія?

Рудинъ немного смутился.

— Нѣтъ, я не сообщилъ Натальѣ Алексѣевнѣ моего намѣренія; но, я знаю, она раздѣляетъ мой образъ мыслей.

— Все это прекрасно,—заговорилъ, помолчавъ немного, Волынцевъ и забарабанилъ пальцами по стеклу: — хотя, признаться, было бы гораздо лучше, если бы вы поменьше меня уважали. Мнѣ, по правдѣ сказать, ваше уваженіе ни къ чорту не нужно; но что же вы теперь хотите отъ меня?

— Я ничего не хочу... или, нѣтъ! я хочу одного: я хочу, чтобы вы не считали меня коварнымъ и хитрымъ человѣкомъ, чтобы вы поняли меня... Я надѣюсь, что вы теперь уже не можете сомнѣваться въ моей искренности... Я хочу, Сергѣй Павлычъ, чтобы мы разстались друзьями... чтобы вы, попрежнему, протянули мнѣ руку...

И Рудинъ приблизился къ Волынцеву.

— Извините меня, милостивый государь,—промолвилъ Волынцевъ, обернувшись и отступивъ шагъ назадъ: — я *готовъ* отдать полную справедливость вашимъ *намѣреніямъ*, все это прекрасно, положимъ, даже возвышенно, но

мы люди простые, ѣдимъ пряники неписанные, мы не въ состояніи слѣдить за полетомъ такихъ великихъ умовъ, каковъ вашъ... Что̀ вамъ кажется искреннимъ, намъ кажется навязчивымъ и нескромнымъ... Что̀ для васъ просто и ясно, для насъ запутанно и темно... Вы хвастаетесь тѣмъ, что̀ мы скрываемъ: гдѣ же намъ понять васъ! Извините меня: ни другомъ я васъ считать не могу, ни руки я вамъ не подамъ... Это, можетъ-быть, мелко; да вѣдь я самъ мелокъ.

Рудинъ взялъ шляпу съ окна.

— Сергѣй Павлычъ!—проговорилъ онъ печально:—прощайте; я обманулся въ своихъ ожиданіяхъ. Посѣщеніе мое, дѣйствительно, довольно странно; но я надѣялся, что вы... (Волынцевъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе)... Извините, я больше говорить объ этомъ не стану. Сообразивъ все, я вижу, точно: вы правы и иначе поступить не могли. Прощайте и позвольте, по крайней мѣрѣ, еще разъ, въ послѣдній разъ, увѣрить васъ въ чистотѣ моихъ намѣреній... Въ вашей скромности я убѣжденъ...

— Это уже слишкомъ!—воскликнулъ Волынцевъ и затрясся отъ гнѣва:—я нисколько не напрашивался на ваше довѣріе; а потому разсчитывать на мою скромность вы не имѣете никакого права!

Рудинъ хотѣлъ что-то сказать, но только руками развелъ, поклонился и вышелъ, а Волынцевъ бросился на диванъ и повернулся лицомъ къ стѣнѣ.

— Можно войти къ тебѣ?—послышался у двери голосъ Александры Павловны.

Волынцевъ не тотчасъ отвѣчалъ и украдкой провелъ рукой по лицу. — Нѣтъ, Саша,—проговорилъ онъ слегка измѣнившимся голосомъ:—погоди еще немножко.

Полчаса спустя, Александра Павловна опять подошла къ двери.

— Михайло Михайлычъ пріѣхалъ,—сказала она:—хочешь ты его видѣть?

— Хочу,—отвѣтилъ Волынцевъ:—пошли его сюда.

Лежневъ вошелъ.

— Что̀—ты нездоровъ?—спросилъ онъ, усаживаясь на кресла возлѣ дивана.

Волынцевъ приподнялся, оперся на локоть, долго, долго посмотрѣлъ своему пріятелю въ лицо и тутъ же передалъ ему весь свой разговоръ съ Рудинымъ, отъ слова до слова. Онъ никогда до тѣхъ поръ и не намекалъ Лежневу о своихъ чувствахъ къ Натальѣ, хотя и догадывался, что они для него не были скрыты.

— Ну, братъ, удивилъ ты меня,—проговорилъ Лежневъ, какъ только Волынцевъ кончилъ свой разсказъ. — Много странностей ожидалъ я отъ него, но ужъ это... Впрочемъ, узнаю его и тутъ.

— Помилуй!—говорилъ взволнованный Волынцевъ:—вѣдь это просто наглость! Вѣдь я чуть-чуть его за окно не выбросилъ! Похвастаться, что ли, онъ хотѣлъ передо мной, или струсилъ? Да съ какой стати? Какъ рѣшиться ѣхать къ человѣку...

Волынцевъ закинулъ руки за голову и умолкъ.

— Нѣтъ, братъ, это не то,—спокойно возразилъ Лежневъ.—Ты, вотъ, мнѣ не повѣришь, а вѣдь онъ это сдѣлалъ изъ хорошаго побужденія. Право... Оно, вишь ты, и благородно, и откровенно, ну, да и поговорить представляется случай, краснорѣчіе въ ходъ пустить; а вѣдь намъ вотъ чего нужно, вотъ безъ чего мы жить не въ состояніи... Охъ, языкъ его—врагъ его... Ну, за то же онъ и слуга ему.

— Съ какой торжественностью онъ вошелъ и говорилъ, ты себѣ представить не можешь!..

— Ну, да безъ этого ужъ нельзя. Онъ сюртукъ застегиваетъ, словно священный долгъ исполняетъ. Я бы посадилъ его на необитаемый островъ и посмотрѣлъ бы изъ-за угла, какъ бы онъ тамъ распоряжаться сталъ. А онъ толкуетъ о простотѣ!

— Да скажи мнѣ, братъ, ради Бога,—спросилъ Волынцевъ:—что это такое: философія, что ли?

— Какъ тебѣ сказать? съ одной стороны, пожалуй, это точно философія—а съ другой ужъ это совсѣмъ не то. На философію всякій вздоръ сваливать тоже не приходится.

Волынцевъ взглянулъ на него.

— А не солгалъ ли онъ, какъ ты думаешь?

— Нѣтъ, сынъ мой, не солгалъ. А, впрочемъ, знаешь ли что? Довольно разсуждать объ этомъ. Давай-ка, братецъ, закуримъ трубки, да попросимъ сюда Александру Павловну... При ней и говорится лучше, и молчится легче. Она насъ чаемъ напоитъ.

— Пожалуй,—возразилъ Волынцевъ.—Саша, войди!—крикнулъ онъ.

Александра Павловна вошла. Онъ схватилъ ея руку и крѣпко прижалъ ее къ своимъ губамъ.

Рудинъ вернулся домой въ состояніи духа смутномъ и странномъ. Онъ досадовалъ на себя, упрекалъ себя въ непростительной опрометчивости, въ мальчишествѣ. Недаромъ сказалъ кто-то: нѣтъ ничего тягостнѣе сознанія только-что сдѣланной глупости.

Раскаяніе грызло Рудина.

„Чортъ меня дернулъ“, шепталъ онъ сквозь зубы:—„съѣздить къ этому помѣщику! Вотъ пришла мысль! Только на дерзости напрашиваться!“...

А въ домѣ Дарьи Михайловны происходило что-то необыкновенное. Сама хозяйка цѣлое утро не показывалась, и къ обѣду не вышла: у ней, по увѣренію Пандалевскаго, единственнаго допущеннаго до ней лица, голова болѣла. Наталью Рудинъ также почти не видалъ: она сидѣла въ своей комнатѣ съ m-lle Boncourt... Встрѣтясь съ нимъ въ столовой, она такъ печально на него посмотрѣла, что у него сердце дрогнуло. Ея лицо измѣнилось, словно несчастье обрушилось на нее со вчерашняго дня. Тоска неопредѣленныхъ предчувствій начала томить Рудина. Чтобы какъ-нибудь развлечься, онъ занялся съ Басистовымъ, много съ нимъ разговаривалъ и нашелъ въ немъ горячаго, живого малаго, съ восторженными надеждами и нетронутой еще вѣрой. Къ вечеру Дарья Михайловна появилась часа на два въ гостиной. Она была любезна съ Рудинымъ, но держалась какъ-то отдаленно, и то посмѣивалась, то хмурилась, говорила въ носъ, и все больше намеками... Такъ отъ нея придворной дамой и вѣяло. Въ послѣднее время она, какъ будто, охладѣла немного къ Рудину.—

„Что̀ за загадка?“ думалъ онъ, глядя сбоку на ея закинутую головку.

Онъ не долго дожидался разрѣшенія этой загадки. Возвращаясь, часу въ двѣнадцатомъ ночи, въ свою комнату, шелъ онъ по темному коридору. Вдругъ кто-то сунулъ ему въ руку записку. Онъ оглянулся: отъ него удалялась дѣвушка, какъ ему показалось, Натальина горничная. Онъ пришелъ къ себѣ, услалъ человѣка, развернулъ записку и прочелъ слѣдующія строки, начертанныя рукою Натальи:

„Приходите завтра, въ седьмомъ часу утра, не позже, къ Авдюхину пруду, за дубовымъ лѣсомъ. Всякое другое время невозможно. Это будетъ наше послѣднее свиданіе, все будетъ кончено, если... Приходите. Надо будетъ рѣшиться...

P. S. Если я не приду, значитъ, мы не увидимся больше: тогда я вамъ дамъ знать...“

Рудинъ задумался, повертѣлъ записку въ рукахъ, положилъ ее подъ подушку, раздѣлся, легъ, но заснулъ не скоро, спалъ чуткимъ сномъ, и не было еще пяти часовъ, когда онъ проснулся.

IX.

Авдюхинъ прудъ, возлѣ котораго Наталья назначила свиданіе Рудину, давно пересталъ быть прудомъ. Лѣтъ тридцать тому назадъ его прорвало и съ тѣхъ поръ его забросили. Только по ровному и плоскому дну оврага, нѣкогда затянутому жирнымъ иломъ, да по остаткамъ плотины можно было догадаться, что здѣсь былъ прудъ. Тутъ же существовала усадьба. Она давнымъ-давно исчезла. Двѣ огромныя сосны напоминали о ней; вѣтеръ вѣчно шумѣлъ и угрюмо гудѣлъ въ ихъ высокой, тощей зелени... Въ народѣ ходили таинственные слухи о страшномъ преступленіи, будто бы совершенномъ у ихъ корня; поговаривали также, что ни одна изъ нихъ не упадетъ, не причинивъ кому-нибудь смерти; что тутъ прежде стояла третья сосна, которая въ бурю повалилась и задавила *дѣвочку*. Все мѣсто около стараго пруда считалось *нечистымъ*; пустое и голое, но глухое и мрачное, даже въ

солнечный день—оно казалось еще мрачнѣе и глуше отъ близости дряхлаго дубоваго лѣса, давно вымершаго и засохшаго. Рѣдкіе сѣрые остовы громадныхъ деревьевъ высились какими-то унылыми призраками надъ низкой порослью кустовъ. Жутко было смотрѣть на нихъ: казалось, злые старики сошлись и замышляютъ что-то недоброе. Узкая, едва проторенная дорожка вилась въ сторонѣ. Безъ особенной нужды никто не проходилъ мимо Авдюхина пруда. Наталья съ намѣреніемъ выбрала такое уединенное мѣсто. До него отъ дома Дарьи Михайловны было не болѣе полуверсты.

Солнце уже давно встало, когда Рудинъ пришелъ къ Авдюхину пруду; но не веселое было утро. Сплошныя тучи молочнаго цвѣта покрывали все небо; вѣтеръ быстро гналъ ихъ, свистя и взвизгивая. Рудинъ началъ ходить взадъ и впередъ по плотинѣ, покрытой цѣпкимъ лопушникомъ и почернѣлой крапивой. Онъ не былъ спокоенъ. Эти свиданія, эти новыя ощущенія занимали, но и волновали его, особенно послѣ вчерашней записки. Онъ видѣлъ, что развязка приближалась, и втайнѣ смущался духомъ, хотя никто бы этого не подумалъ, глядя, съ какой сосредоточенной рѣшимостью онъ скрещивалъ руки на груди и поводилъ кругомъ глазами. Не даромъ про него сказалъ однажды Пигасовъ, что его, какъ китайскаго болванчика, постоянно перевѣшивала голова. Но съ одной головой, какъ бы она сильна ни была, человѣку трудно узнать даже то, что̀ въ немъ самомъ происходитъ... Рудинъ, умный, проницательный Рудинъ, не въ состояніи былъ сказать навѣрное, любитъ ли онъ Наталью, страдаетъ ли онъ, будетъ ли страдать, разставшись съ нею. Зачѣмъ же, не прикидываясь даже Ловласомъ—эту справедливость отдать ему слѣдуетъ—сбилъ онъ съ толку бѣдную дѣвушку? Отчего ожидалъ ее съ тайнымъ трепетомъ? На это одинъ отвѣтъ: никто такъ легко не увлекается, какъ безстрастные люди.

Онъ ходилъ по плотинѣ, а Наталья спѣшила къ нему прямо черезъ поле, по мокрой травѣ.

— Барышня! барышня! вы себѣ ноги замочите,—говорила ей ея горничная, Маша, едва поспѣвая за ней.

Наталья не слушала ее и бѣжала безъ оглядки.

— Ахъ, какъ бы не подсмотрѣли насъ! — твердила Маша.—Ужъ и тому дивиться надо, какъ мы изъ дому-то вышли. Какъ бы мамзель не проснулась... Благо, недалеко... А ужъ они ждутъ-съ,—прибавила она, увидѣвъ внезапно статную фигуру Рудина, картинно стоявшаго на плотинѣ: — только напрасно они этакъ на юру стоятъ — сошли бы въ лощину.

Наталья остановилась.

— Подожди здѣсь, Маша, у сосенъ,—промолвила она и спустилась къ пруду.

Рудинъ подошелъ къ ней и остановился въ изумленіи. Такого выраженія онъ еще не замѣчалъ на ея лицѣ. Брови ея были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядѣли прямо и строго.

— Дмитрій Николаичъ,—начала она:—намъ время терять некогда. Я пришла на пять минутъ. Я должна сказать вамъ, что матушка все знаетъ. Г-нъ Пандалевскій подсмотрѣлъ насъ третьяго-дня и разсказалъ ей о нашемъ свиданіи. Онъ всегда былъ шпіономъ у матушки. Она вчера позвала меня къ себѣ.

— Боже мой!—воскликнулъ Рудинъ: — это ужасно... Что же сказала ваша матушка?

— Она не сердилась на меня, не бранила меня, только попеняла мнѣ за мое легкомысліе.

— Только?

— Да, и объявила мнѣ, что она скорѣе согласится видѣть меня мертвою, чѣмъ вашей женою.

— Неужели она это сказала?

— Да; и еще прибавила, что вы сами нисколько не желаете жениться на мнѣ, что вы только такъ, отъ скуки, приволокнулись за мной, и что она этого отъ васъ не ожидала; что, впрочемъ, она сама виновата, зачѣмъ позволила мнѣ такъ часто видѣться съ вами... что она надѣется на мое благоразуміе, что я ее очень удивила... да уже я и не помню всего, что она говорила мнѣ.

Наталья произнесла все это какимъ-то ровнымъ, почти *беззвучнымъ* голосомъ.

— А вы, Наталья Алексѣевна, что̀ вы ей отвѣтили?— спросилъ Рудинъ.

— Что̀ я ей отвѣтила?—повторила Наталья.—Что̀ *вы* теперь намѣрены дѣлать?

— Боже мой! Боже мой!—возразилъ Рудинъ:—это жестоко! Такъ скоро!.. такой внезапный ударъ!.. И ваша матушка пришла въ такое негодованіе?

— Да... да, она слышать о васъ не хочетъ.

— Это ужасно! Стало-быть, никакой надежды нѣтъ?

— Никакой.

— За что̀ мы такъ несчастливы! Гнусный этотъ Пандалевскій!.. Вы меня спрашиваете, Наталья Алексѣевна, что̀ я намѣренъ дѣлать? У меня голова кругомъ идетъ— я ничего сообразить не могу... Я чувствую только свое несчастіе... удивляюсь, какъ вы можете сохранить хладнокровіе!..

— Вы думаете, мнѣ легко?—проговорила Наталья.

Рудинъ началъ ходить по плотинѣ. Наталья не спускала съ него глазъ.

— Ваша матушка васъ не разспрашивала?—промолвилъ онъ наконецъ.

— Она меня спросила, люблю ли я васъ.

— Ну... и вы?

Наталья помолчала.—Я не солгала.

Рудинъ взялъ ее за руку.

— Всегда, во всемъ благородна и великодушна! О, сердце дѣвушки—это чистое золото! Но неужели ваша матушка такъ рѣшительно объявила свою волю насчетъ невозможности нашего брака?

— Да, рѣшительно. Я ужъ вамъ сказала: она убѣждена, что вы сами не думаете жениться на мнѣ.

— Стало-быть, она считаетъ меня за обманщика! Чѣмъ я заслужилъ это?

И Рудинъ схватилъ себя за голову.

— Дмитрій Николаичъ!—промолвила Наталья:—мы тратимъ попусту время. Вспомните, я въ послѣдній разъ вижусь съ вами. Я пришла сюда не плакать, не жаловаться—вы видите, я не плачу—я пришла за совѣтомъ.

— Да какой совѣтъ могу я дать вамъ, Наталья Алексѣевна?

— Какой совѣтъ? Вы мужчина: я привыкла вамъ вѣрить, я до конца буду вѣрить вамъ. Скажите мнѣ, какія ваши намѣренія?

— Мои намѣренія? Ваша матушка, вѣроятно, откажетъ мнѣ отъ дому.

— Можетъ-быть. Она уже вчера объявила мнѣ, что должна будетъ раззнакомиться съ вами... Но вы не отвѣчаете на мой вопросъ.

— На какой вопросъ?

— Какъ вы думаете, что̀ намъ надобно теперь дѣлать?

— Что̀ намъ дѣлать?—возразилъ Рудинъ:—разумѣется, покориться.

— Покориться,—медленно повторила Наталья, и губы ея поблѣднѣли.

— Покориться судьбѣ,—продолжалъ Рудинъ.—Что̀ же дѣлать! Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыносимо; но, посудите сами, Наталья Алексѣевна, я бѣденъ... Правда, я могу работать; но если бъ я былъ даже богатый человѣкъ, въ состояніи ли вы перенести насильственное расторженіе съ вашимъ семействомъ, гнѣвъ вашей матери?.. Нѣтъ, Наталья Алексѣевна; объ этомъ и думать нечего. Видно, намъ не суждено было жить вмѣстѣ, и то счастье, о которомъ я мечталъ, не для меня!

Наталья вдругъ закрыла лицо руками и заплакала. Рудинъ приблизился къ ней.

— Наталья Алексѣевна! милая Наталья!—заговорилъ онъ съ жаромъ: — не плачьте, ради Бога, не терзайте меня, утѣшьтесь...

Наталья подняла голову.

— Вы мнѣ говорите, чтобы я утѣшилась,—начала она, и глаза ея заблестѣли сквозь слезы:—я не о томъ плачу, о чемъ вы думаете... Мнѣ не то больно: мнѣ больно то, что я въ васъ обманулась... Какъ! я прихожу къ вамъ за совѣтомъ, и въ какую минуту!—и первое ваше слово: покориться... Покориться! Такъ вотъ какъ вы примѣняете на дѣлѣ ваши толкованія о свободѣ, о жертвахъ, которыя...

Ея голосъ прервался.

— Но, Наталья Алексѣевна,—началъ смущенный Рудинъ:—вспомните... я не отказываюсь отъ словъ моихъ... только...

— Вы спрашивали меня,—продолжала она съ новой силой:—что я отвѣтила моей матери, когда она объявила мнѣ, что скорѣе согласится на мою смерть, чѣмъ на бракъ мой съ вами: я ей отвѣтила, что скорѣе умру, чѣмъ выйду за другого замужъ... А вы говорите: покориться! Сталобыть, она была права; вы, точно, отъ нечего дѣлать, отъ скуки, пошутили со мной...

— Клянусь вамъ, Наталья Алексѣевна... увѣрю васъ... твердилъ Рудинъ.

Но она его не слушала.

— Зачѣмъ же вы не остановили меня? зачѣмъ вы сами... Или вы не разсчитывали на препятствія? Мнѣ стыдно говорить объ этомъ... но, вѣдь, все уже кончено.

— Вамъ надо успокоиться, Наталья Алексѣевна,—началъ-было Рудинъ: — намъ надо вдвоемъ подумать, какія мѣры...

— Вы такъ часто говорили о самопожертвованіи,—перебила она:—но, знаете ли, если бъ вы сказали мнѣ сегодня, сейчасъ: „я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее, дай мнѣ руку и ступай за мной“,— знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все рѣшилась? Но, вѣрно, отъ слова до дѣла еще далеко, и вы теперь струсили точно такъ же, какъ струсили третьяго-дня, за обѣдомъ, передъ Волынцевымъ.

Краска бросилась въ лицо Рудину. Неожиданная восторженность Натальи его поразила; но послѣднія слова ея уязвили его самолюбіе.

— Вы слишкомъ раздражены теперь, Наталья Алексѣевна,—началъ онъ: — вы не можете понять, какъ вы жестоко оскорбляете меня. Я надѣюсь, что современемъ вы отдадите мнѣ справедливость; вы поймете, чего мнѣ стоило отказаться отъ счастія, которое, какъ вы говорите сами, не налагало на меня никакихъ обязанностей. Ваше спокойствіе мнѣ дороже всего въ мірѣ, и я былъ бы

человѣкомъ самымъ низкимъ, если-бъ рѣшился воспользоваться...

— Можетъ-быть, можетъ-быть,—перебила Наталья: — можетъ-быть, вы правы, я не знаю, что говорю. Но я до сихъ поръ вамъ вѣрила, каждому вашему слову вѣрила... Впередъ, пожалуйста, взвѣшивайте ваши слова, не произносите ихъ на вѣтеръ. Когда я вамъ сказала, что я люблю васъ, я знала, что значитъ это слово: я на все была готова... Теперь мнѣ остается благодарить васъ за урокъ—и проститься.

— Остановитесь, ради Бога, Наталья Алексѣевна, умоляю васъ. Я не заслуживаю вашего презрѣнія, клянусь вамъ. Войдите же и вы въ мое положеніе. Я отвѣчаю за васъ и за себя. Если бъ я не любилъ васъ самой преданной любовью—да Боже мой! я бы тотчасъ самъ предложилъ вамъ бѣжать со мною... Рано или поздно, матушка ваша проститъ насъ... и тогда... Но прежде чѣмъ думать о собственномъ счастьѣ...

Онъ остановился. Взоръ Натальи, прямо на него устремленный, смущалъ его.

— Вы стараетесь мнѣ доказать, что вы честный человѣкъ, Дмитрій Николаичъ,—промолвила она:—я въ этомъ не сомнѣваюсь. Вы не въ состояніи дѣйствовать изъ расчета; но развѣ въ этомъ я желала убѣдиться, развѣ для этого я пришла сюда...

— Я не ожидалъ, Наталья Алексѣевна...

— А! вотъ когда вы проговорились! Да, вы не ожидали всего этого—вы меня не знали. Не безпокойтесь... вы не любите меня, а я никому не навязываюсь.

— Я васъ люблю!—воскликнулъ Рудинъ.

Наталья выпрямилась.

— Можетъ-быть; но какъ вы меня любите! Я помню всѣ ваши слова, Дмитрій Николаичъ. Помните, вы мнѣ говорили: безъ полнаго равенства нѣтъ любви... Вы для меня слишкомъ высоки, вы не мнѣ чета... Я подѣломъ наказана. Вамъ предстоятъ занятія, болѣе достойныя васъ. Я не забуду нынѣшняго дня... Прощайте...

— *Наталья Алексѣевна, вы уходите? Неужели мы такъ разстанемся?*

Онъ протянулъ къ ней руки. Она остановилась. Его умоляющій голосъ, казалось, поколебалъ ее.

— Нѣтъ,—промолвила она наконецъ:—я чувствую, что-то во мнѣ надломилось... Я шла сюда, я говорила съ вами точно въ горячкѣ; надо опомниться. Этому не должно быть, вы сами сказали, этого не будетъ. Боже мой, когда я шла сюда, я мысленно прощалась съ моимъ домомъ, со всѣмъ моимъ прошедшимъ,—и что же? кого я встрѣтила здѣсь? малодушнаго человѣка... И почему вы знали, что я не въ состояніи буду перенести разлуку съ семействомъ? „Ваша матушка не согласна... Это ужасно!“ Вотъ все, что я слышала отъ васъ. Вы ли это, вы ли это, Рудинъ? Нѣтъ! прощайте... Ахъ! если бы вы меня любили, я бы почувствовала это теперь, въ это мгновеніе... Нѣтъ, нѣтъ, прощайте!..

Она быстро повернулась и побѣжала къ Машѣ, которая уже давно начала безпокоиться и дѣлать ей знаки.

— *Вы* трусите, а не я! крикнулъ Рудинъ вслѣдъ Натальѣ.

Она уже не обращала на него вниманія и спѣшила черезъ поле домой. Она благополучно возвратилась къ себѣ въ спальню; но только лишь переступила порогъ, силы ей измѣнили, и она безъ чувствъ упала на руки Машѣ.

А Рудинъ долго еще стоялъ на плотинѣ. Наконецъ, онъ встрепенулся, медленными шагами добрался до дорожки и тихо пошелъ по ней. Онъ былъ очень пристыженъ... и огорченъ. „Какова?“ думалъ онъ. „Въ восемнадцать лѣтъ!.. Нѣтъ, я ея не зналъ... Она замѣчательная дѣвушка. Какая сила воли!.. Она права; она стоитъ не такой любви, какую я къ ней чувствовалъ... Чувствовалъ?..“ спросилъ онъ самого себя. „Развѣ я уже больше не чувствую любви? Такъ вотъ какъ это все должно было кончиться! Какъ я былъ жалокъ и ничтоженъ передъ ней!“

Легкій стукъ бѣговыхъ дрожекъ заставилъ Рудина поднять глаза. Къ нему навстрѣчу, на неизмѣнномъ своемъ рысачкѣ, ѣхалъ Лежневъ. Рудинъ молча съ нимъ раскланялся, и, какъ пораженный внезапной мыслью, свернулъ съ дороги и быстро пошелъ по направленію къ дому Дарьи Михайловны.

Лежневъ далъ ему отойти, посмотрѣлъ вслѣдъ за нимъ и, подумавъ немного, тоже поворотилъ назадъ свою лошадь — и поѣхалъ обратно къ Волынцеву, у котораго провелъ ночь. Онъ засталъ его спящимъ, не велѣлъ будить его и, въ ожиданіи чая, сѣлъ на балконъ и закурилъ трубку.

X.

Волынцевъ всталъ часу въ десятомъ и, узнавъ, что Лежневъ сидитъ у него на балконѣ, очень удивился и велѣлъ его попросить къ себѣ.

— Что случилось?—спросилъ онъ его.—Вѣдь ты хотѣлъ къ себѣ поѣхать.

— Да, хотѣлъ, да встрѣтилъ Рудина... Одинъ шагаетъ по полю, и лицо такое разстроенное. Я взялъ, да и вернулся.

— Ты вернулся оттого, что встрѣтилъ Рудина?

— То-есть, правду сказать, я самъ не знаю, почему я вернулся; вѣроятно, потому, что о тебѣ вспомнилъ; хотѣлось съ тобой посидѣть; а къ себѣ я еще успѣю.

Волынцевъ гордо усмѣхнулся.

— Да, о Рудинѣ нельзя теперь подумать, не подумавъ также и обо мнѣ... Человѣкъ!—крикнулъ онъ громко:— дай намъ чаю.

Пріятели начали пить чай. Лежневъ заговорилъ-было о хозяйствѣ, о новомъ способѣ крыть амбары бумагой...

Вдругъ Волынцевъ вскочилъ съ креселъ и съ такой силой ударилъ по столу, что чашки и блюдечки зазвенѣли.

— Нѣтъ!—воскликнулъ онъ:—я дольше этого выносить не въ силахъ! Я вызову этого умника, и пусть онъ меня застрѣлитъ, либо ужъ я постараюсь влѣпить пулю въ его ученый лобъ!

— Что ты, что ты, помилуй!—пробормоталъ Лежневъ:— какъ можно такъ кричать! я чубукъ уронилъ... Что съ тобой?

— А то, что я слышать равнодушно имени его не могу: вся кровь у меня такъ и заходитъ.

— *Полно*, братъ, полно! какъ тебѣ не стыдно!—возразилъ *Лежневъ*, поднимая съ полу трубку.—Брось!—Чу его!..

— Онъ меня оскорбилъ,—продолжалъ Волынцевъ, расхаживая по комнатѣ.—Да! онъ оскорбилъ меня. Ты самъ долженъ съ этимъ согласиться. На первыхъ порахъ я не нашелся: онъ озадачилъ меня; да и кто могъ ожидать этого? Но я ему докажу, что шутить со мной нельзя... Я его, проклятаго философа, какъ куропатку застрѣлю.

— Много ты этимъ выиграешь, какъ же! Я уже о сестрѣ твоей не говорю. Извѣстно, ты обуреваемъ страстью... гдѣ тебѣ о сестрѣ думать! Да въ отношеніи къ другой особѣ, что ты думаешь, убивши философа, ты дѣла свои поправишь?

Волынцевъ бросился въ кресла.

— Такъ уѣду я куда-нибудь! А то здѣсь тоска мнѣ просто сердце отдавила: просто, мѣста нигдѣ найти не могу.

— Уѣдешь... вотъ это другое дѣло! Вотъ съ этимъ я согласенъ. И знаешь ли, что я тебѣ предлагаю? Поѣдемъ-ка вмѣстѣ—на Кавказъ или такъ просто въ Малороссію, галушки ѣсть. Славное, братъ, дѣло!

— Да; а сестру-то съ кѣмъ оставимъ?

— А почему же Александрѣ Павловнѣ не поѣхать съ нами? Ей-Богу, отлично выйдетъ. Ухаживать за ней,—ужъ за это я берусь! Ни въ чемъ недостатка имѣть не будетъ; коли захочетъ, каждый вечеръ серенаду подъ окномъ устрою; ямщиковъ одеколономъ надушу, цвѣты по дорогамъ натыкаю. А ужъ мы, братъ, съ тобой просто переродимся; такъ наслаждаться будемъ, брюханами такими назадъ пріѣдемъ, что никакая любовь насъ уже не прометъ!

— Ты все шутишь, Миша!

— Вовсе не шучу. Это тебѣ блестящая мысль въ голову пришла.

— Нѣтъ! вздоръ!—вскрикнулъ опять Волынцевъ: — я драться, драться съ нимъ хочу!..

— Опять! Экой ты, братъ, сегодня съ колеромъ!..

Человѣкъ вошелъ съ письмомъ въ рукѣ.

— Отъ кого?—спросилъ Лежневъ.

— Отъ Рудина, Дмитрія Николаевича. Ласунскихъ человѣкъ привезъ.

— Отъ Рудина?—повторилъ Волынцевъ.—къ кому?

— Къ вамъ-съ.

— Ко мнѣ?.. подай.

Волынцевъ схватилъ письмо, быстро распечаталъ его, сталъ читать. Лежневъ внимательно глядѣлъ на него: странное, почти радостное изумленіе изображалось на лицѣ Волынцева; онъ опустилъ руки.

— Что такое?—спросилъ Лежневъ.

— Прочти,—проговорилъ Волынцевъ вполголоса и протянулъ ему письмо.

Лежневъ началъ читать. Вотъ что писалъ Рудинъ:

„Милостивый государь, Сергѣй Павловичъ!

„Я сегодня уѣзжаю изъ дома Дарьи Михайловны, и уѣзжаю навсегда. Это васъ, вѣроятно, удивитъ, особенно послѣ того, что произошло вчера. Я не могу объяснить вамъ, что именно заставляетъ меня поступить такъ; но мнѣ почему-то кажется, что я долженъ извѣстить васъ о моемъ отъѣздѣ. Вы меня не любите, и даже считаете меня за дурного человѣка. Я не намѣренъ оправдываться: меня оправдаетъ время. По-моему, и недостойно мужчины, и безполезно доказывать предубѣжденному человѣку несправедливость его предубѣжденій. Кто захочетъ меня понять, тотъ извинитъ меня, а кто понять не хочетъ или не можетъ—обвиненія того меня не трогаютъ. Я ошибся въ васъ. Въ глазахъ моихъ вы, попрежнему, остаетесь благороднымъ и честнымъ человѣкомъ; но я полагалъ, вы сумѣете стать выше той среды, въ которой развились... Я ошибся. Что дѣлать?! Не въ первый и не въ послѣдній разъ. Повторяю вамъ: я уѣзжаю. Желаю вамъ счастія. Согласитесь, что это желаніе совершенно безкорыстно, и надѣюсь, что вы теперь будете счастливы. Можетъ-быть, вы современемъ измѣните свое мнѣніе обо мнѣ. Увидимся ли мы когда-нибудь, не знаю, но, во всякомъ случаѣ, остаюсь искренно васъ уважающій—

Д. Р.“

„P. S. Должные мною вамъ двѣсти рублей я вышлю, какъ только пріѣду къ себѣ въ деревню, въ Т....ую *губернію*. Также прошу васъ не говорить при Дарьѣ *Михайловнѣ* объ этомъ письмѣ“.

„P. P. S. Еще одна послѣдняя, но важная просьба: такъ какъ я теперь уѣзжаю, то, я надѣюсь, вы не будете упоминать передъ Натальей Алексѣевной о моемъ посѣщеніи у васъ...“

— Ну, что̀ ты скажешь?—спросилъ Волынцевъ, какъ только Лежневъ окончилъ письмо.

— Что̀ тутъ сказать!—возразилъ Лежневъ:—воскликнуть по-восточному: „Аллахъ! Аллахъ!“ и положить въ ротъ палецъ изумленія — вотъ все, что можно сдѣлать. Онъ уѣзжаетъ... Ну! доро́га скатертью. Но вотъ что любопытно: вѣдь и это письмо онъ почелъ *за долгъ* написать, и являлся онъ къ тебѣ по чувству долга... У этихъ господъ на каждомъ шагу долгъ, и все долгъ — да долги,—прибавилъ Лежневъ, съ усмѣшкой указывая на post-scriptum.

— А каковы онъ фразы выпускаетъ?—воскликнулъ Волынцевъ. — Онъ ошибся во мнѣ: онъ ожидалъ, что я стану выше какой-то среды... Что за ахинея, Господи! хуже стиховъ!

Лежневъ ничего не отвѣтилъ; одни глаза его улыбнулись. Волынцевъ всталъ.

— Я хочу съѣздить къ Дарьѣ Михайловнѣ,—промолвилъ онъ:—я хочу узнать, что̀ все это значитъ...

— Погоди, братъ: дай ему убраться. Къ чему тебѣ опять съ нимъ сталкиваться? Вѣдь онъ исчезаетъ — чего тебѣ еще? Лучше поди-ка лягъ, да усни; вѣдь ты, чай, всю ночь съ боку на бокъ проворочался. А теперь дѣла твои поправляются...

— Изъ чего ты это заключаешь?

— Да такъ мнѣ кажется. Право, усни; а я пойду къ твоей сестрѣ—посижу съ ней.

— Я вовсе спать не хочу. Съ какой стати мнѣ спать?.. Я лучше поѣду, поля осмотрю,—сказалъ Волынцевъ, одергивая полы пальто.

— И то добре. Поѣзжай, братъ, поѣзжай, осмотри поля...

И Лежневъ отправился на половину Александры Павловны. Онъ засталъ ее въ гостиной. Она ласково его привѣтствовала. Она всегда радовалась его приходу, но лицо

ея осталось печально. Ее безпокоило вчерашнее посѣщеніе Рудина.

— Вы отъ брата?—спросила она Лежнева:—каковъ онъ сегодня?

— Ничего, поѣхалъ поля осматривать.

Александра Павловна помолчала.

— Скажите, пожалуйста,—начала она, внимательно разсматривая кайму носового платка:—вы не знаете, зачѣмъ...

— Пріѣзжалъ Рудинъ?—подхватилъ Лежневъ. — Знаю: онъ пріѣзжалъ проститься.

Александра Павловна подняла голову.

— Какъ—проститься?

— Да. Развѣ вы не слыхали? Онъ уѣзжаетъ отъ Дарьи Михайловны.

— Уѣзжаетъ?

— Навсегда; по крайней мѣрѣ, онъ такъ говоритъ.

— Да помилуйте, какъ же это понять, послѣ всего того...

— А это другое дѣло! Понять этого нельзя, но оно такъ. Должно-быть, что-нибудь тамъ у нихъ произошло. Струну слишкомъ натянулъ—она и лопнула.

— Михайло Михайлычъ! начала Александра Павловна:—я ничего не понимаю; вы, мнѣ кажется, смѣетесь надо мной...

— Да ей-Богу же нѣтъ... Говорятъ вамъ, онъ уѣзжаетъ, и даже письменно извѣщаетъ объ этомъ своихъ знакомыхъ. Оно, если хотите, съ нѣкоторой точки зрѣнія, недурно; но отъѣздъ его помѣшалъ осуществиться одному удивительнѣйшему предпріятію, о которомъ мы начали-было толковать съ вашимъ братомъ.

— Что такое? какое предпріятіе?

— А вотъ какое. Я предлагалъ вашему брату поѣхать, для развлеченія, путешествовать, и взять васъ съ собой. Ухаживать, собственно за вами, брался я...

— Вотъ прекрасно!—воскликнула Александра Павловна: — воображаю себѣ, какъ бы вы за мною ухаживали. Да вы бы меня съ голоду уморили.

— Вы это потому такъ говорите, Александра Павловна, *что не знаете* меня. Вы думаете, что я чурбанъ, чурбанъ *совершенный*, деревяжка какая-то; а извѣстно ли вамъ,

что я способенъ таять, какъ сахаръ, дни простаивать на колѣняхъ?

— Вотъ это бы я, признаюсь, посмотрѣла!

Лежневъ вдругъ поднялся.—Да выдьте за меня замужъ, Александра Павловна, вы все это и увидите.

Александра Павловна покраснѣла до ушей.

— Что вы это такое сказали, Михайло Михайлычъ?— повторила она съ смущеніемъ.

— А то я сказалъ,—отвѣтилъ Лежневъ:—что уже давнымъ-давно и тысячу разъ у меня на языкѣ было. Я проговорился наконецъ, и вы можете поступить, какъ знаете. А чтобы не стѣснять васъ, я теперь выйду. Если вы хотите быть моею женою... Удаляюсь. Если вамъ не противно, вы только велите меня позвать: я уже пойму...

Александра Павловна хотѣла-было удержать Лежнева, но онъ проворно ушелъ, безъ шапки отправился въ садъ, оперся на калитку и началъ глядѣть куда-то.

— Михайло Михайлычъ!—раздался за нимъ голосъ горничной: — пожалуйте къ барынѣ. Онѣ васъ велѣли позвать.

Михайло Михайловичъ обернулся, взялъ горничную, къ великому ея изумленію, обѣими руками за голову, поцѣловалъ ее въ лобъ и пошелъ къ Александрѣ Павловнѣ.

XI.

Вернувшись домой, тотчасъ послѣ встрѣчи съ Лежневымъ, Рудинъ заперся въ своей комнатѣ и написалъ два письма: одно — къ Волынцеву (оно уже извѣстно читателямъ) и другое — къ Натальѣ. Онъ очень долго сидѣлъ надъ этимъ вторымъ письмомъ, многое въ немъ перемарывалъ и передѣлывалъ и, тщательно списавъ его на тонкомъ листѣ почтовой бумаги, сложилъ его какъ можно мельче и положилъ въ карманъ. Съ грустью на лицѣ прошелся онъ нѣсколько разъ взадъ и впередъ по комнатѣ, сѣлъ на кресло передъ окномъ, подперся рукою; слеза тихо выступила на его рѣсницы... Онъ всталъ, застегнулся на всѣ пуговицы, позвалъ человѣка и велѣлъ спросить у Дарьи Михайловны, можетъ ли онъ ее видѣть.

Человѣкъ скоро вернулся и доложилъ, что Дарья Михайловна приказала его просить. Рудинъ пошелъ къ ней.

Она приняла его въ кабинетѣ, какъ въ первый разъ, два мѣсяца тому назадъ. Но теперь она не была одна: у ней сидѣлъ Пандалевскій, скромный, свѣжій, чистый и умиленный, какъ всегда.

Дарья Михайловна любезно встрѣтила Рудина, и Рудинъ любезно ей поклонился, но, при первомъ взглядѣ на улыбавшіяся лица обоихъ, всякій хотя нѣсколько опытный человѣкъ понялъ бы, что между ними, если и не высказалось, то произошло что-то неладное. Рудинъ зналъ, что Дарья Михайловна на него сердится. Дарья Михайловна подозрѣвала, что ему уже все извѣстно.

Донесеніе Пандалевскаго очень ее разстроило. Свѣтская спѣсь въ ней зашевелилась. Рудинъ, бѣдный, нечиновный и пока неизвѣстный человѣкъ, дерзалъ назначить свиданіе ея дочери—дочери Дарьи Михайловны Ласунской!!

— Положимъ, онъ уменъ, онъ геній!—говорила она:—да что же это доказываетъ? Послѣ этого всякій можетъ надѣяться быть моимъ зятемъ?

— Я долго глазамъ своимъ не вѣрилъ,—подхватилъ Пандалевскій.—Какъ это не знать своего мѣста, удивляюсь!

Дарья Михайловна очень волновалась, и Натальѣ досталось отъ нея.

Она попросила Рудина сѣсть. Онъ сѣлъ, но уже не какъ прежній Рудинъ, почти хозяинъ въ домѣ, даже не какъ хорошій знакомый, а какъ гость, и не какъ близкій гость. Все это сдѣлалось въ одно мгновеніе... Такъ вода внезапно превращается въ твердый ледъ.

— Я пришелъ къ вамъ, Дарья Михайловна,—началъ Рудинъ:—поблагодарить васъ за ваше гостепріимство. Я получилъ сегодня извѣстіе изъ моей деревеньки и долженъ непремѣнно сегодня же ѣхать туда.

Дарья Михайловна пристально посмотрѣла на Рудина.

„Онъ предупредилъ меня; должно-быть, догадывается“, подумала она. „Онъ избавляетъ меня отъ тягостнаго объ*ясненія*; тѣмъ лучше. Да здравствуютъ умные люди!“

— *Неужели*?—промолвила она громко.—Ахъ, какъ это

непріятно! Ну, что дѣлать! Надѣюсь увидѣть васъ нынѣшней зимой въ Москвѣ. Мы сами скоро отсюда ѣдемъ.

— Я не знаю, Дарья Михайловна, удастся ли мнѣ быть въ Москвѣ; но если соберусь со средствами, за долгъ почту явиться къ вамъ.

„Ага, братъ!“ подумалъ въ свою очередь Пандалевскій: „давно ли ты здѣсь распоряжался бариномъ, а теперь вотъ какъ пришлось выражаться!“

— Вы, стало-быть, неудовлетворительныя извѣстія изъ вашей деревни получили?—произнесъ онъ съ обычной разстановкой.

— Да,—сухо возразилъ Рудинъ.

— Неурожай, можетъ-быть?

— Нѣтъ... другое... Повѣрьте, Дарья Михайловна,—прибавилъ Рудинъ: — я никогда не забуду времени, проведеннаго мною въ вашемъ домѣ.

— И я, Дмитрій Николаичъ, всегда съ удовольствіемъ буду вспоминать наше знакомство съ вами... Когда вы ѣдете?

— Сегодня, послѣ обѣда.

— Такъ скоро!.. Ну, желаю вамъ счастливаго пути. Впрочемъ, если ваши дѣла не задержатъ васъ, можетъ-быть, вы еще насъ застанете здѣсь.

— Я едва ли успѣю,—возразилъ Рудинъ и всталъ. — Извините меня,—прибавилъ онъ:—я не могу тотчасъ выплатить мой долгъ вамъ; но какъ только пріѣду въ деревню...

— Полноте, Дмитрій Николаичъ!—перебила его Дарья Михайловна:—какъ вамъ не стыдно!.. Но который-то часъ?—спросила она.

Пандалевскій досталъ изъ кармана жилета золотые часики съ эмалью и посмотрѣлъ на нихъ, осторожно налегая розовой щекой на твердый и бѣлый воротничокъ.

— Два часа и тридцать-три минуты,—промолвилъ онъ.

— Пора одѣваться,—замѣтила Дарья Михайловна.— До свиданья, Дмитрій Николаичъ!

Рудинъ всталъ. Весь разговоръ между нимъ и Дарьей Михайловной носилъ особый отпечатокъ. Актеры такъ ре-

петируютъ роли, дипломаты такъ на конференціяхъ мѣняются заранѣе условленными фразами...

Рудинъ вышелъ. Онъ теперь зналъ по опыту, какъ свѣтскіе люди даже не бросаютъ, а просто роняютъ человѣка, ставшаго имъ ненужнымъ: какъ перчатку послѣ бала, какъ бумажку съ конфетки, какъ невыигравшій билетъ лотереи-томболы.

Онъ нàскоро уложился и съ нетерпѣніемъ началъ ожидать мгновенія отъѣзда. Всѣ въ домѣ очень удивились, узнавъ объ его намѣреніи; даже люди глядѣли на него съ недоумѣніемъ. Басистовъ не скрывалъ своей горести. Наталья явно избѣгала Рудина. Она старалась не встрѣчаться съ нимъ взорами; однако, онъ успѣлъ всунуть ей въ руку свое письмо. За обѣдомъ Дарья Михайловна еще разъ повторила, что надѣется увидѣть его передъ отъѣздомъ въ Москву, но Рудинъ ничего не отвѣчалъ ей. Пандалевскій чаще всѣхъ съ нимъ заговаривалъ. Рудина не разъ подмывало броситься на него и поколотить его цвѣтущее и румяное лицо. M-lle Boncourt частенько посматривала на Рудина, съ лукавымъ и страннымъ выраженіемъ въ глазахъ: у старыхъ, очень умныхъ легавыхъ собакъ можно иногда замѣтить такое выраженіе... „Эге!“ казалось, говорила она про себя:—„вотъ какъ тебя!“

Наконецъ, пробило шесть часовъ и подали тарантасъ Рудина. Онъ сталъ торопливо прощаться со всѣми. На душѣ у него было очень скверно. Не ожидалъ онъ, что такъ выѣдетъ изъ этого дома: его какъ будто выгоняли... „Какъ это все сдѣлалось! и къ чему было спѣшить? А впрочемъ, одинъ конецъ“—вотъ что думалъ онъ, раскланиваясь на всѣ стороны съ принужденной улыбкой. Въ послѣдній разъ взглянулъ онъ на Наталью, и сердце его шевельнулось: глаза ея были устремлены на него съ печальнымъ, прощальнымъ упрекомъ.

Онъ проворно сбѣжалъ съ лѣстницы, вскочилъ въ тарантасъ. Басистовъ вызвался проводить его до первой станціи и сѣлъ вмѣстѣ съ нимъ.

— Помните ли вы,—началъ Рудинъ, какъ только тарантасъ выѣхалъ со двора на широкую дорогу, обсаженную

елками:—помните вы, что говоритъ донъ-Кихотъ своему оруженосцу, когда выѣзжаетъ изъ дворца герцогини? „Свобода—говоритъ онъ—другъ мой Санчо, одно изъ самыхъ драгоцѣнныхъ достояній человѣка, и счастливъ тотъ, кому небо даровало кусокъ хлѣба, кому не нужно быть за него обязаннымъ другому!“ Что донъ-Кихотъ чувствовалъ тогда,—я чувствую теперь... Дай Богъ и вамъ, добрый мой Басистовъ, испытать когда-нибудь это чувство!

Басистовъ стиснулъ руку Рудину, и сердце честнаго юноши забилось сильно въ его растроганной груди. До самой станціи говорилъ Рудинъ о достоинствѣ человѣка, о значеніи истинной свободы,—говорилъ горячо, благородно и правдиво—и когда наступило мгновеніе разлуки, Басистовъ не выдержалъ, бросился ему на шею и зарыдалъ. У самого Рудина полились слезы; но онъ плакалъ не о томъ, что разставался съ Басистовымъ, и слезы его были самолюбивыя слезы.

Наталья ушла къ себѣ и прочла письмо Рудина.

„Любезная Наталья Алексѣевна—писалъ онъ ей—я рѣшился уѣхать. Мнѣ другого выхода нѣтъ. Я рѣшился уѣхать, пока мнѣ не сказали ясно, чтобы я удалился. Отъѣздомъ моимъ прекращаются всѣ недоразумѣнія; а сожалѣть обо мнѣ едва ли кто-нибудь будетъ. Чего же ждать?... Все такъ; но для чего же писать къ вамъ?

„Я разстаюсь съ вами, вѣроятно, навсегда, и оставить вамъ о себѣ память еще хуже той, которую я заслуживаю, было бы слишкомъ горько. Вотъ для чего я пишу къ вамъ. Я не хочу ни оправдываться, ни обвинять кого бы то ни было, кромѣ самого себя: я хочу, по мѣрѣ возможности, объясниться... Происшествія послѣднихъ дней были такъ неожиданны, такъ внезапны...

„Сегодняшнее свиданіе послужитъ мнѣ памятнымъ урокомъ. Да, вы правы: я васъ не зналъ, а я думалъ, что зналъ васъ! Въ теченіе моей жизни я имѣлъ дѣло съ людьми всякаго рода, я сближался со многими женщинами и дѣвушками; но, встрѣтясь съ вами, я въ первый разъ встрѣтился съ душой *совершенно* честной и прямой. *Мнѣ это было* не въ привычку, и я не сумѣлъ оцѣнить

васъ. Я почувствовалъ влеченіе къ вамъ съ перваго дня нашего знакомства—вы это могли замѣтить. Я проводилъ съ вами часы за часами, и я не узналъ васъ; я едва ли даже старался узнать васъ... и я могъ вообразить, что полюбилъ васъ!! За этотъ грѣхъ я теперь наказанъ.

„Я и прежде любилъ одну женщину, и она меня любила... Чувство мое къ ней было сложно, какъ и ея ко мнѣ; но такъ какъ она сама не была проста, оно и пришлось кстати. Истина мнѣ тогда не сказалась: я не узналъ ея и теперь, когда она предстала передо мною... Я ее узналъ, наконецъ, да слишкомъ поздно... Прошедшаго не воротишь... Наши жизни могли бы слиться—и не сольются никогда. Какъ доказать вамъ, что я могъ бы полюбить васъ настоящей любовью—любовью сердца, не воображенія—когда я самъ не знаю, способенъ ли я на такую любовь!

„Мнѣ природа дала много—я это знаю, и изъ ложнаго стыда не стану скромничать передъ вами, особенно теперь, ~~въ~~ такія горькія, въ такія постыдныя для меня мгновенія... Да, природа мнѣ много дала; но я умру, не сдѣлавъ ничего достойнаго силъ моихъ, не оставивъ за собою никакого благотворнаго слѣда. Все мое богатство пропадетъ даромъ; я не увижу плодовъ отъ сѣмянъ своихъ. Мнѣ недостаетъ... я самъ не могу сказать, чего именно недостаетъ мнѣ... Мнѣ недостаетъ, вѣроятно, того, безъ чего такъ же нельзя двигать сердцами людей, какъ и овладѣть женскимъ сердцемъ; а господство надъ одними умами и непрочно, и безполезно. Странная, почти комическая моя судьба: я отдаюсь весь, съ жадностью, вполнѣ—и не могу отдаться. Я кончу тѣмъ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду... Боже мой! въ тридцать-пять лѣтъ все еще собираться что-нибудь сдѣлать!..

„Я еще ни передъ кѣмъ такъ не высказывался—это моя исповѣдь.

„Но довольно обо мнѣ. Мнѣ хочется говорить о васъ, *дать вамъ* нѣсколько совѣтовъ: больше я ни на что не *годенъ*... Вы еще молоды; но, сколько бы вы ни жили,

слѣдуйте всегда внушеніямъ вашего сердца, не подчиняйтесь ни своему, ни чужому уму. Повѣрьте, чѣмъ проще, чѣмъ тѣснѣе кругъ, по которому пробѣгаетъ жизнь, тѣмъ лучше; не въ томъ дѣло, чтобы отыскивать въ ней новыя стороны, но въ томъ, чтобы всѣ переходы ея совершались своевременно. „Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ“... Но я замѣчаю, что эти совѣты относятся гораздо болѣе ко мнѣ, чѣмъ къ вамъ.

„Признаюсь вамъ, Наталья Алексѣевна, мнѣ очень тяжело. Я никогда не обманывалъ себя въ свойствѣ того чувства, которое я внушалъ Дарьѣ Михайловнѣ; но я надѣялся, что нашелъ хотя временную пристань... Теперь опять придется мыкаться по свѣту. Что мнѣ замѣнитъ вашъ разговоръ, ваше присутствіе, вашъ внимательный и умный взглядъ?.. Я самъ виноватъ; но согласитесь, что судьба какъ бы нарочно подсмѣялась надъ нами. Недѣлю тому назадъ, я самъ едва догадывался, что люблю васъ. Третьяго-дня, вечеромъ, въ саду, я въ первый разъ услыхалъ отъ васъ... но къ чему напоминать вамъ то, что вы тогда сказали — и вотъ, уже я уѣзжаю сегодня, уѣзжаю съ позоромъ, послѣ жестокаго объясненія съ вами, не унося съ собой никакой надежды... И вы еще не знаете, до какой степени я виноватъ передъ вами... Во мнѣ есть какая-то глупая откровенность, какая-то болтливость... Но къ чему говорить объ этомъ! Я уѣзжаю навсегда“.

(Здѣсь Рудинъ разсказалъ-было Натальѣ свое посѣщеніе у Волынцева, но подумалъ и вымаралъ все это мѣсто, а въ письмѣ къ Волынцеву прибавилъ второй postscriptum.)

„Я остаюсь одинокъ на землѣ для того, чтобы предаться, какъ вы сказали мнѣ сегодня поутру съ жестокой усмѣшкой, другимъ, болѣе свойственнымъ мнѣ занятіямъ. Увы! если бъ я могъ, дѣйствительно, предаться этимъ занятіямъ, побѣдить наконецъ свою лѣнь... Но нѣтъ! я останусь тѣмъ же неоконченнымъ существомъ, какимъ былъ до сихъ поръ... Первое препятствіе — и я весь разсыпался; происшествіе съ вами мнѣ это доказало. Если бъ я, по крайней мѣрѣ, принесъ мою любовь къ

жертву моему будущему дѣлу, моему призванію; но я просто испугался отвѣтственности, которая на меня падала, и потому я, точно, недостоинъ васъ. Я не стою того, чтобы вы для меня отторглись отъ вашей сферы... А, впрочемъ, все это, можетъ-быть, къ лучшему. Изъ этого испытанія я, можетъ-быть, выйду чище и сильнѣй.

„Желаю вамъ полнаго счастія. Прощайте! Иногда вспоминайте обо мнѣ. Надѣюсь, что вы еще услышите обо мнѣ.

Рудинъ".

Наталья опустила письмо Рудина къ себѣ на колѣни и долго сидѣла неподвижно, устремивъ глаза на полъ. Письмо это, яснѣе всѣхъ возможныхъ доводовъ, доказало ей, какъ она была права, когда поутру, разставаясь съ Рудинымъ, она невольно воскликнула, что онъ ея не любитъ! Но отъ этого ей не было легче. Она сидѣла не шевелясь; ей казалось, что какія-то темныя волны безъ плеска сомкнулись надъ ея головой, и она шла ко дну, застывая и нѣмѣя. Всякому тяжело первое разочарованіе; но для души искренней, не желавшей обманывать себя, чуждой легкомыслія и преувеличенія, оно почти нестерпимо. Вспомнила Наталья свое дѣтство, когда, бывало, гуляя вечеромъ, она всегда старалась идти по направленію къ свѣтлому краю неба, тамъ, гдѣ заря горѣла, а не къ темному. Темна стояла теперь жизнь передъ нею, и спиной она обратилась къ свѣту...

Слезы навернулись на глазахъ Натальи. Не всегда благотворны бываютъ слезы. Отрадны и цѣлебны онѣ, когда, долго накипѣвъ на груди, потекутъ онѣ наконецъ—сперва съ усиліемъ, потомъ все легче, все слаще; нѣмое томленіе тоски разрѣшается ими... Но есть слезы холодныя, скупо льющіяся слезы: ихъ по каплѣ выдавливаетъ изъ сердца тяжелымъ и недвижнымъ бременемъ налегшее на него горе; онѣ безотрадны и не приносятъ облегченія. Нужда плачетъ такими слезами, и тотъ еще не былъ несчастливъ, кто не проливалъ ихъ. Наталья узнала ихъ въ этотъ день.

Прошло часа два. Наталья собралась съ духомъ, встала, *отерла* глаза, засвѣтила свѣчку, сожгла на ея пламени

письмо Рудина до конца и пепелъ выкинула за окно. Потомъ она раскрыла наудачу Пушкина и прочла первыя попавшіяся ей строки (она часто загадывала такъ по немъ). Вотъ что́ вышло:

Кто чувствовалъ, того тревожитъ
Призракъ невозвратимыхъ дней...
Тому ужъ нѣтъ очарованій,
Того змѣя воспоминаній,
Того раскаянье грызетъ....

Она постояла, посмотрѣла съ холодной улыбкой на себя въ зеркало и, сдѣлавъ небольшое движеніе головою сверху внизъ, сошла въ гостиную.

Дарья Михайловна, какъ только ее увидѣла, повела ее въ кабинетъ, посадила подлѣ себя, ласково потрепала по щекѣ, а между тѣмъ, внимательно, почти съ любопытствомъ, заглядывала ей въ глаза. Дарья Михайловна чувствовала тайное недоумѣніе: въ первый разъ ей пришло въ голову, что она дочь свою, въ сущности, не знаетъ. Услышавъ отъ Пандалевскаго объ ея свиданіи съ Рудинымъ, она не столько разсердилась, сколько удивилась тому, какъ могла благоразумная Наталья рѣшиться на такой поступокъ. Но когда она ее призвала къ себѣ и принялась бранить ее—вовсе не такъ, какъ бы слѣдовало ожидать отъ европейской женщины, а довольно крикливо и не изящно — твердые отвѣты Натальи, рѣшимость ея взоровъ и движеній, смутили, даже испугали Дарью Михайловну.

Внезапный, тоже не совсѣмъ понятный отъѣздъ Рудина снялъ большую тяжесть съ ея сердца; но она ожидала слезъ, истерическихъ припадковъ... Наружное спокойствіе Натальи опять ее сбило съ толку.

— Ну, что́, дитя,—начала Дарья Михайловна:—какъ ты сегодня?

Наталья посмотрѣла на свою мать.

— Вѣдь онъ уѣхалъ... твой предметъ. Ты не знаешь, отчего онъ такъ скоро собрался?

— Маменька!—заговорила Наталья тихимъ голосомъ.—

даю вамъ слово, что если вы сами не будете упоминать о немъ, отъ меня вы никогда ничего не услышите.

— Стало-быть, ты сознаешься, что была виновата передо мною?

Наталья опустила голову и повторила:

— Вы отъ меня никогда ничего не услышите.

— Ну, смотри же!—возразила съ улыбкой Дарья Михайловна.—Я тебѣ вѣрю. А третьяго-дня, помнишь ли ты, какъ... Ну, не буду. Кончено, рѣшено и похоронено. Не правда ли? Вотъ, я опять тебя узнаю; а то я совсѣмъ было втупикъ пришла. Ну, поцѣлуй же меня, умница!..

Наталья поднесла руку Дарьи Михайловны къ своимъ губамъ, а Дарья Михайловна поцѣловала ее въ наклоненную голову.

— Слушайся всегда моихъ совѣтовъ, не забывай, что ты Ласунская и моя дочь,—прибавила она:—и ты будешь счастлива. А теперь ступай.

Наталья вышла молча. Дарья Михайловна поглядѣла ей вслѣдъ и подумала: „она въ меня—тоже будетъ увлекаться: mais elle aura moins d'abandon". И Дарья Михайловна погрузилась въ воспоминанія о прошедшемъ... о давно прошедшемъ...

Потомъ она велѣла кликнуть m-lle Boncourt и долго сидѣла съ ней, запершись вдвоемъ. Отпустивъ ее, она позвала Пандалевскаго. Ей непремѣнно хотѣлось узнать настоящую причину отъѣзда Рудина... но Пандалевскій ее успокоилъ совершенно. Это было по его части.

На другой день Волынцевъ съ сестрою пріѣхалъ къ обѣду. Дарья Михайловна была всегда очень любезна съ нимъ, а на этотъ разъ она особенно ласково съ нимъ обращалась. Натальѣ было невыносимо тяжело; но Волынцевъ такъ былъ почтителенъ, такъ робко съ ней заговаривалъ, что она въ душѣ не могла не поблагодарить его.

День прошелъ тихо, довольно скучно, но всѣ, разъѣзжаясь, почувствовали, что попали въ прежнюю колею; а *это* много значитъ, очень много.

Да, всѣ попали въ прежнюю колею... всѣ, кромѣ На-

тальи. Оставшись наконецъ одна, она съ трудомъ дотащилась до своей кровати и, усталая, разбитая, упала лицомъ на подушки. Ей такъ горько, и противно, и пошло казалось жить, такъ стыдно ей стало самой себя, своей любви, своей печали, что въ это мгновеніе она бы, вѣроятно, согласилась умереть... Много еще предстояло ей тяжелыхъ дней, ночей безсонныхъ, томительныхъ волненій, но она была молода — жизнь только-что начиналась для нея, а жизнь рано или поздно свое возьметъ. Какой бы ударъ ни поразилъ человѣка, онъ въ тотъ же день, много на другой — извините за грубость выраженія—по-ѣстъ, и вотъ вамъ уже первое утѣшеніе...

Наталья страдала мучительно, она страдала впервые... Но первыя страданія, какъ первая любовь, не повторяются,—и слава Богу!

XII.

Минуло около двухъ лѣтъ. Настали первые дни мая. На балконѣ своего дома сидѣла Александра Павловна, но уже не Липина, а Лежнева; она болѣе года какъ вышла замужъ за Михайла Михайлыча. Она, попрежнему, была мила, только пополнѣла въ послѣднее время. Передъ балкономъ, отъ котораго въ садъ вели ступени, расхаживала кормилица, съ краснощекимъ ребенкомъ на рукахъ, въ бѣлой пинелькѣ и съ бѣлымъ помпономъ на шляпѣ. Александра Павловна то-и-дѣло взглядывала на него. Ребенокъ не пищалъ. съ важностью сосалъ свой палецъ и спокойно посматривалъ кругомъ. Достойный сынъ Михайла Михайлыча уже сказывался въ немъ.

Возлѣ Александры Павловны сидѣлъ на балконѣ старый нашъ знакомецъ, Пигасовъ. Онъ замѣтно посѣдѣлъ съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались съ нимъ, сгорбился, похудѣлъ и шипѣлъ, когда говорилъ: одинъ передній зубъ у него вывалился; шипѣніе придавало еще болѣе ядовитости его рѣчамъ... Озлобленіе не уменьшалось въ немъ съ годами, но остроты его притуплялись, и онъ чаще прежняго повторялся. Михайла Михайлыча не было дома; его ждали къ чаю. Солнце уже сѣло. Тамъ, гдѣ оно за-

катилось, полоса блѣдно-золотого, лимоннаго цвѣта тянулась вдоль небосклона; на противоположной сторонѣ ихъ было двѣ: одна, пониже, голубая, другая, выше, красно-лиловая. Легкія тучки таяли въ вышинѣ. Все обѣщало постоянную погоду.

Вдругъ Пигасовъ засмѣялся.

— Чему вы, Африканъ Семенычъ?—спросила Александра Павловна.

— Да такъ... Вчера, слышу я, одинъ мужикъ говоритъ женѣ—а она, этакъ, разболталась: — не скрыпи!.. Очень это мнѣ понравилось. Не скрыпи! Да и въ самомъ дѣлѣ, о чемъ можетъ разсуждать женщина? Я, вы знаете, никогда не говорю о присутствующихъ. Наши старики умнѣе насъ были. У нихъ въ сказкахъ красавица сидитъ подъ окномъ, во лбу звѣзда, а сама ни гугу. Вотъ это какъ слѣдуетъ. А то, посудите сами: третьяго-дня наша предводительша какъ изъ пистолета мнѣ въ лобъ выстрѣлила: говоритъ мнѣ, что ей не нравится моя *тенденція*! Тенденція! Ну, не лучше ли было бы и для нея, и для всѣхъ, еслибъ какъ-нибудь, благодѣтельнымъ распоряженіемъ природы, она лишилась вдругъ употребленія языка?

— А вы все такой же, Африканъ Семенычъ: все нападаете на насъ, бѣдныхъ... Знаете ли, вѣдь это въ своемъ родѣ несчастье право. Я о васъ сожалѣю.

— Несчастье? Что̀ вы это изволите говорить! Во-первыхъ, по-моему, на свѣтѣ только три несчастья и есть: жить зимой въ холодной квартирѣ, лѣтомъ носить узкіе сапоги, да ночевать въ комнатѣ, гдѣ пищитъ ребенокъ, котораго нельзя посыпать персидскимъ порошкомъ; а во-вторыхъ, помилуйте, я самый смирный сталъ теперь человѣкъ. Хоть прописи съ меня пиши! Вотъ какъ я нравственно веду себя.

— Хорошо вы ведете себя, нечего сказать! Не дальше, какъ вчера, Елена Антоновна мнѣ на васъ жаловалась.

— Вотъ какъ-съ! А что̀ она вамъ такое говорила, *позвольте* узнать?

— Она говорила мнѣ, что вы, въ теченіе цѣлаго утра,

на всѣ ея вопросы только и отвѣчали, что „чего-съ? чего-съ?“ да еще такимъ пискливымъ голосомъ.

Пигасовъ засмѣялся.

— А вѣдь хорошая эта была мысль, согласитесь, Александра Павловна... а?

— Удивительная! Развѣ можно быть этакъ съ женщиной невѣжливымъ, Африканъ Семенычъ?

— Какъ? Елена Антоновна, по-вашему,—женщина?

— Что же она по-вашему?

— Барабанъ, помилуйте, обыкновенный барабанъ, вотъ, по которому бьютъ палками...

— Ахъ, да!—перебила Александра Павловна, желая перемѣнить разговоръ:—васъ, говорятъ, поздравить можно?

— Съ чѣмъ?

— Съ окончаніемъ тяжбы. Глиновскіе луга остались за вами.

— Да, за мною,—мрачно возразилъ Пигасовъ.

— Вы сколько лѣтъ этого добивались, а теперь словно недовольны.

— Доложу вамъ, Александра Павловна,—медленно промолвилъ Пигасовъ:—ничего не можетъ быть хуже и обиднѣе слишкомъ поздно пришедшаго счастья. Удовольствія оно все-таки вамъ доставить не можетъ, а зато лишаетъ васъ права, драгоцѣннѣйшаго права — браниться и проклинать судьбу. Да, сударыня, горькая и обидная штука— позднее счастіе.

Александра Павловна только плечами пожала.

— Нянюшка,—начала она:—я думаю, Мишѣ пора спать лечь. Подай его сюда.

И Александра Павловна занялась своимъ сыномъ, а Пигасовъ отошелъ, ворча, на другой уголъ балкона.

Вдругъ невдалекѣ, по дорогѣ, ведущей вдоль сада, показался Михайло Михайлычъ на своихъ бѣговыхъ дрожкахъ. Передъ лошадью его бѣжали двѣ огромныя дворныя собаки: одна желтая, другая сѣрая; онъ недавно завелъ ихъ. Онѣ безпрестанно грызлись и жили въ неразлучной дружбѣ. Имъ навстрѣчу вышла изъ воротъ старая шавка, раскрыла ротъ, какъ бы собираясь залаять, а кончила

тѣмъ, что зѣвнула и отправилась назадъ, дружелюбно повиливая хвостомъ.

— Глядь-ка, Саша,—закричалъ Лежневъ издали своей женѣ:—кого я тебѣ везу...

Александра Павловна не сразу узнала человѣка, сидѣвшаго за спиной ея мужа.

— А! г. Басистовъ!—воскликнула она наконецъ.

— Онъ, онъ,—отвѣчалъ Лежневъ: — и какія славныя вѣсти привезъ. Вотъ, погоди, сейчасъ узнаешь.

И онъ въѣхалъ на дворъ.

Нѣсколько мгновеній спустя, онъ съ Басистовымъ явился на балконѣ.

— Ура!—воскликнулъ онъ и обнялъ жену. — Сережа женится!

— На комъ? съ волненіемъ спросила Александра Павловна.

— Разумѣется, на Натальѣ... Вотъ, пріятель привезъ это извѣстіе изъ Москвы, и письмо къ тебѣ есть... Слышишь, Мишукъ?—прибавилъ онъ, схвативъ сына на руки:—дядя твой женится!.. Экая флегма злодѣйская! и тутъ только глазами хлопаетъ!

— Онѣ спать хотятъ,—замѣтила няня.

— Да-съ,—промолвилъ Басистовъ, подойдя къ Александрѣ Павловнѣ:—я сегодня пріѣхалъ изъ Москвы, по порученію Дарьи Михайловны—счеты по имѣнію ревизовать. А вотъ и письмо.

Александра Павловна поспѣшно распечатала письмо своего брата. Оно состояло въ нѣсколькихъ строкахъ. Въ первомъ порывѣ радости онъ увѣдомлялъ сестру, что сдѣлалъ предложеніе Натальѣ, получилъ ея согласіе и Дарьи Михайловны, обѣщался больше написать съ первой почтой и заочно всѣхъ обнималъ и цѣловалъ. Видно было, что онъ писалъ въ какомъ-то чаду.

Подали чай, усадили Басистова. Разспросы посыпались на него градомъ. Всѣхъ, даже Пигасова, обрадовало извѣстіе, привезенное имъ.

— Скажите, пожалуйста,—сказалъ, между прочимъ, Лежневъ: —до насъ доходили слухи о какомъ-то господинѣ Корчагинѣ. Стало-быть, это былъ вздоръ?

(Корчагинъ былъ красивый молодой человѣкъ—свѣтскій левъ, чрезвычайно надутый и важный: онъ держался необыкновенно величественно, точно онъ былъ не живой человѣкъ, а собственная своя статуя, воздвигнутая по общественной подпискѣ.)

— Ну, нѣтъ, не совсѣмъ вздоръ,—съ улыбкой возразилъ Басистовъ: — Дарья Михайловна очень къ нему благоволила; но Наталья Алексѣевна и слышать о немъ не хотѣла.

— Да вѣдь я его знаю,—подхватилъ Пигасовъ:—вѣдь онъ махровый болванъ, съ трескомъ болванъ... помилуйте! Вѣдь если бъ всѣ люди были на него похожи, надо бы большія деньги брать, чтобы согласиться жить... помилуйте!

— Можетъ-быть,—возразилъ Басистовъ: — а въ свѣтѣ онъ играетъ роль не изъ послѣднихъ.

— Ну, все равно!—воскликнула Александра Павловна:— Богъ съ нимъ! Ахъ, какъ я рада за брата!.. И Наталья весела, счастлива?

— Да-съ. — Она спокойна, какъ всегда — вы вѣдь ее знаете—но, кажется, довольна.

Вечеръ прошелъ въ пріятныхъ и оживленныхъ разговорахъ. Сѣли за ужинъ.

— Да, кстати,—спросилъ Лежневъ у Басистова, наливая ему лафиту:—вы знаете, гдѣ Рудинъ?

— Теперь навѣрное не знаю. Онъ пріѣзжалъ прошлой зимой въ Москву на короткое время, потомъ отправился съ однимъ семействомъ въ Симбирскъ; мы съ нимъ нѣкоторое время переписывались: въ послѣднемъ письмѣ своемъ онъ извѣщалъ меня, что уѣзжаетъ изъ Симбирска — не сказалъ куда — и вотъ, съ тѣхъ поръ я ничего о немъ не слышу.

— Не пропадетъ!—подхватилъ Пигасовъ:—гдѣ-нибудь сидитъ да проповѣдуетъ. Этотъ господинъ всегда найдетъ себѣ двухъ или трехъ поклонниковъ, которые будутъ его слушать, разиня ротъ, и давать ему взаймы деньги. Посмотрите, онъ кончитъ тѣмъ, что умретъ гдѣ-нибудь въ Царевококшайскѣ или въ Чухломѣ—на рукахъ престарѣлой дѣвы въ парикѣ, которая будетъ думать о немъ, какъ о геніальнѣйшемъ человѣкѣ въ мірѣ...

— Вы очень рѣзко о немъ отзываетесь,—замѣтилъ вполголоса и съ неудовольствіемъ Басистовъ.

— Ничуть не рѣзко!—возразилъ Пигасовъ: — а совершенно справедливо. По моему мнѣнію, онъ, просто, не что иное, какъ лизоблюдъ. Я забылъ вамъ сказать,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Лежневу: — вѣдь я познакомился съ этимъ Терлаховымъ, съ которымъ Рудинъ за границу ѣздилъ. Какъ же! какъ же! Что онъ мнѣ разсказывалъ о немъ, вы себѣ представить не можете — умора, просто! Замѣчательно, что всѣ друзья и послѣдователи Рудина современемъ становятся его врагами.

— Прошу меня исключить изъ числа такихъ друзей!— съ жаромъ перебилъ Басистовъ.

— Ну, вы—другое дѣло! О васъ и рѣчи нѣтъ.

— А что такое вамъ разсказывалъ Терлаховъ?—спросила Александра Павловна.

— Да многое разсказывалъ: всего не упомнишь. Но самый лучшій вотъ какой случился съ Рудинымъ анекдотъ. Безпрерывно развиваясь (эти господа все развиваются: другіе, напримѣръ, просто спятъ, или ѣдятъ—а они находятся въ моментѣ развитія спанья или ѣды; не такъ ли, г. Басистовъ?—Басистовъ ничего не отвѣтилъ)... Итакъ, развиваясь постоянно, Рудинъ дошелъ, путемъ философіи, до того умозаключенія, что ему должно влюбиться. Началъ онъ отыскивать предметъ, достойный такого удивительнаго умозаключенія. Фортуна ему улыбнулась. Познакомился онъ съ одной француженкой, прехорошенькой модисткой. Дѣло происходило въ одномъ нѣмецкомъ городѣ, на Рейнѣ, замѣтьте. Началъ онъ ходить къ ней, носить ей разныя книги, говорить ей о природѣ и Гегелѣ. Можете себѣ представить положеніе модистки? она считала его за астронома. Однако, вы знаете, малый онъ изъ себя ничего; ну — иностранецъ, русскій—попразился. Вотъ, наконецъ, назначаетъ онъ ~~свиданіе~~, и очень поэтическое свиданіе: въ гондолѣ, на рѣкѣ. Француженка согласилась; пріодѣлась получше и поѣхала съ нимъ въ *гондолѣ*. Такъ они катались часа два. Чѣмъ же, вы думаете, занимался онъ все это время? Гладилъ француз-

женку по головѣ, задумчиво глядѣлъ въ небо и нѣсколько разъ повторилъ, что чувствуетъ къ ней отеческую нѣжность. Француженка вернулась домой взбѣшенная, и сама потомъ все разсказала Терлахову. Вотъ онъ какой господинъ!

И Пигасовъ засмѣялся.

— Вы старый циникъ!—замѣтила съ досадой Александра Павловна: — а я болѣе и болѣе убѣждаюсь въ томъ, что про Рудина даже тѣ, которые его бранятъ, ничего дурного сказать не могутъ.

— Ничего дурного? Помилуйте! а его вѣчное житье на чужой счетъ, его займы... Михайло Михайлычъ? вѣдь онъ и у васъ, навѣрное, занималъ?

— Послушайте, Африканъ Семенычъ!—началъ Лежневъ, и лицо его приняло серьезное выраженіе: — послушайте: вы знаете, и жена моя знаетъ, что я въ послѣднее время особеннаго расположенія къ Рудину не чувствовалъ и даже часто осуждалъ его. Со всѣмъ тѣмъ (Лежневъ разлилъ шампанское по бокаламъ), вотъ что́ я вамъ предлагаю: мы сейчасъ пили за здоровье дорогого нашего брата и его невѣсты; я предлагаю вамъ выпить теперь за здоровье Дмитрія Рудина!

Александра Павловна и Пигасовъ съ изумленіемъ посмотрѣли на Лежнева, а Басистовъ встрепенулся весь, покраснѣлъ отъ радости и глаза вытаращилъ.

— Я знаю его хорошо,—продолжалъ Лежневъ:—недостатки его мнѣ хорошо извѣстны. Они тѣмъ болѣе выступаютъ наружу, что самъ онъ не мелкій человѣкъ.

— Рудинъ—геніальная натура!—подхватилъ Басистовъ.

— Геніальность въ немъ, пожалуй, есть,—возразилъ Лежневъ; —а натура... Въ томъ-то вся его бѣда, что натуры-то собственно въ немъ нѣтъ... Но не въ этомъ дѣло. Я хочу говорить о томъ, что́ въ немъ есть хорошаго, рѣдкаго. Въ немъ есть энтузіазмъ; а это, повѣрьте мнѣ, флегматическому человѣку, самое драгоцѣнное качество въ наше время. Мы всѣ стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы; мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на мигъ насъ расшевелитъ и согрѣетъ! Пора! Помнишь, Саша, я разъ говорилъ съ тобой о немъ

и упрекалъ его въ холодности. Я былъ и правъ, и не правъ тогда. Холодность эта у него въ крови — это не его вина—а не въ головѣ. Онъ не актеръ, какъ я называлъ его, не надувало, не плутъ; онъ живетъ на чужой счетъ не какъ проныра, а какъ ребенокъ... Да, онъ, дѣйствительно, умретъ гдѣ-нибудь въ нищетѣ и въ бѣдности; но неужели жъ и за это пускать въ него камнемъ? Онъ не сдѣлаетъ самъ ничего именно потому, что въ немъ натуры, крови нѣтъ; но кто въ правѣ сказать, что онъ не принесетъ, не принесъ уже пользы? что его слова не заронили много добрыхъ сѣмянъ въ молодыя души, которымъ природа не отказала, какъ ему, въ силѣ дѣятельности, въ умѣніи исполнять собственные замыслы? Да я самъ, я первый, все это испыталъ на себѣ... Саша знаетъ, чѣмъ былъ для меня въ молодости Рудинъ. Я, помнится, также утверждалъ, что слова Рудина не могутъ дѣйствовать на людей; но я говорилъ тогда о людяхъ, подобныхъ мнѣ, въ теперешніе мои годы, о людяхъ уже пожившихъ и поломанныхъ жизнью. Одинъ фальшивый звукъ въ рѣчи—и вся ея гармонія для насъ исчезла; а въ молодомъ человѣкѣ, къ счастью, слухъ еще не такъ развитъ, не такъ избалованъ. Если сущность того, что онъ слышитъ, ему кажется прекрасной, что ему за дѣло до тона! Тонъ онъ самъ въ себѣ найдетъ.

— Браво! браво!—воскликнулъ Басистовъ: — какъ это справедливо сказано! А что касается до вліянія Рудина, клянусь вамъ, этотъ человѣкъ не только умѣлъ потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя!

— Вы слышите?—продолжалъ Лежневъ, обращаясь къ Пигасову: — какого вамъ еще доказательства нужно? Вы нападаете на философію; говоря о ней, вы не находите довольно презрительныхъ словъ. Я самъ ее не больно жалую и плохо ее понимаю: но не отъ философіи наши главныя невзгоды! Философическія хитросплетенія и бредни *никогда* не привьются къ русскому: на это у него слишкомъ много здраваго смысла; но нельзя же допустить,

чтобы подъ именемъ философіи нападали на всякое честное стремленіе къ истинѣ и къ сознанію. Несчастье Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это, точно, большое несчастье. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ, двойное горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ— чепуха, космополитъ — нуль, хуже нуля; внѣ народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ физіономіи нѣтъ даже идеальнаго лица; только пошлое лицо возможно безъ физіономіи. Но, опять-таки скажу, это не вина Рудина: это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы-то ужъ випить его не станемъ. Насъ бы очень далеко завело, если бы мы хотѣли разобрать, отчего у насъ являются Рудины. А за то, что въ немъ есть хорошаго, будемъ же ему благодарны. Это легче, чѣмъ быть несправедливымъ къ нему, а мы были къ нему несправедливы. Наказывать его не наше дѣло, да и не нужно: онъ самъ себя наказалъ гораздо жесточе, чѣмъ заслуживалъ... И дай Богъ, чтобы несчастье вытравило изъ него все дурное и оставило въ немъ одно прекрасное! Пью за здоровье Рудина! Пью за здоровье товарища моихъ лучшихъ годовъ, пью за молодость, за ея надежды, за ея стремленія, за ея довѣрчивость и честность, за все то, отъ чего и въ двадцать лѣтъ бились наши сердца, и лучше чего мы, все-таки, ничего не узнали и не узнаемъ въ жизни... Пью за тебя, золотое время, пью за здоровье Рудина?

Всѣ чокнулись съ Лежневымъ. Басистовъ сгоряча чуть не разбилъ своего стакана и осушилъ его разомъ, а Александра Павловна пожала Лежневу руку.

— Я, Михайло Михайлычъ, и не подозрѣвалъ, что вы такъ краснорѣчивы,—замѣтилъ Пигасовъ:—хоть бы самому г. Рудину подъ-стать; даже меня проняло.

— Я вовсе не краснорѣчивъ,—возразилъ Лежневъ не безъ досады:—а васъ, я думаю, пронять мудрено. Впрочемъ, довольно о Рудинѣ; давайте говорить о чемъ-нибудь другомъ... Что... какъ бишь его?.. Пандалевскій все

у Дарьи Михайловны живетъ?—прибавилъ онъ, обратясь къ Басистову.

— Какъ же, все у ней! Она выхлопотала ему очень выгодное мѣсто.

Лежневъ усмѣхнулся.

— Вотъ этотъ не умретъ въ нищетѣ, за это можно поручиться.

Ужинъ кончился. Гости разошлись. Оставшись наединѣ съ своимъ мужемъ, Александра Павловна съ улыбкой посмотрѣла ему въ лицо.

— Какъ ты хорошъ былъ сегодня, Миша,—промолвила она, лаская его рукой по лбу:—какъ ты умно и благородно говорилъ! Но сознайся, что ты немного увлекся въ пользу Рудина, какъ прежде увлекался противъ него...

— Лежачаго не бьютъ... а я тогда боялся какъ бы онъ тебѣ голову не вскружилъ.

— Нѣтъ,—простодушно возразила Александра Павловна:—онъ мнѣ казался всегда слишкомъ ученымъ, я боялась его и не знала, что говорить въ его присутствіи. А вѣдь Пигасовъ довольно зло подсмѣялся надъ нимъ сегодня, сознайся?

— Пигасовъ?—проговорилъ Лежневъ.—Я оттого именно и заступился такъ горячо за Рудина, что Пигасовъ былъ тутъ. Онъ смѣетъ называть Рудина лизоблюдомъ! А по-моему, его роль, роль Пигасова, во сто разъ хуже. Имѣетъ независимое состояніе, надо всѣмъ издѣвается, а ужъ какъ льнетъ къ знатнымъ да къ богатымъ! Знаешь ли, что этотъ Пигасовъ, который съ такимъ озлобленіемъ все и всѣхъ ругаетъ, и на философію нападаетъ, и на женщинъ, — знаешь ли ты, что онъ, когда служилъ, бралъ взятки, и какъ еще! А! Вотъ то-то и есть!

— Неужели? воскликнула Александра Павловна.—Этого я никакъ не ожидала!.. Послушай, Миша,—прибавила она помолчавъ немного:—что я хочу у тебя спросить...

— Что?

— Какъ ты думаешь? будетъ ли братъ счастливъ съ *Натальей*?

— Какъ тебѣ сказать... вѣроятности всѣ есть... Коман-

довать будетъ она—между нами таить это не для чего—она умнѣй его; но онъ славный человѣкъ и любитъ ее отъ души. Чего же больше? Вѣдь вотъ, мы другъ друга любимъ и счастливы, не правда ли?

Александра Павловна улыбнулась и стиснула руку Михайлѣ Михайлычу.

Въ тотъ самый день, когда все, разсказанное нами, происходило въ домѣ Александры Павловны,—въ одной изъ отдаленныхъ губерній Россіи тащилась, въ самый зной, по большой дорогѣ, плохенькая рогожная кибитка, запряженная тройкой обывательскихъ лошадей. На облучкѣ торчалъ, упираясь искоса ногами въ валёкъ, сѣдой мужичокъ въ дырявомъ армякѣ, и то и дѣло подергивалъ веревочными вожжами и помахивалъ кнутикомъ; а въ самой кибиткѣ сидѣлъ, на тощемъ чемоданѣ, человѣкъ высокаго роста въ фуражкѣ и старомъ запыленномъ плащѣ. То былъ Рудинъ. Онъ сидѣлъ понуривъ голову и нахлобучивъ козырекъ фуражки на глаза. Неровные толчки кибитки бросали его съ стороны на сторону, онъ казался совершенно безчувственнымъ, словно дремалъ. Наконецъ онъ выпрямился.

— Когда же это мы до станціи доѣдемъ?—спросилъ онъ мужика, сидѣвшаго на облучкѣ.

— А вотъ, батюшка,—заговорилъ мужикъ и еще сильнѣе задергалъ вожжами:—какъ на взволочекъ взберемся, версты двѣ останется, не болѣ... Ну, ты! думай... Я тебѣ подумаю,—прибавилъ онъ тоненькимъ голосомъ, принимаясь стегать правую пристяжную.

— Ты, кажется, очень плохо ѣдешь,—замѣтилъ Рудинъ:—мы съ самаго утра тащимся и никакъ доѣхать не можемъ. Ты бы хоть спѣлъ что-нибудь.

— Да что будешь дѣлать, батюшка! лошади, вы сами видите, заморенныя... опять — жара. А пѣть мы не можемъ: мы не ямщики... Барашекъ, а барашекъ!—воскликнулъ вдругъ мужичокъ, обращаясь къ прохожему въ бурой свитченкѣ и стоптанныхъ лаптишкахъ:—посторонись, барашекъ.

— Вишь ты... кучеръ!—пробормоталъ ему вслѣдъ про-

хожій, и остановился.—Московская косточка!—прибавилъ онъ голосомъ, исполненнымъ укоризны, тряхнулъ головой и заковыялъ далѣе.

— Куда ты!—подхватилъ мужичокъ съ разстановкой, дергая коренную:—ахъ ты, лукавая! право, лукавая...

Измученныя лошаденки кое-какъ доплелись, наконецъ, до почтоваго двора. Рудинъ вылѣзъ изъ кибитки, расплатился съ мужикомъ (который ему не поклонился и деньги долго пошвыривалъ на ладони—знать, на водку мало досталось) и самъ внесъ чемоданъ въ станціонную комнату.

Одинъ мой знакомый, много покатавшійся на своемъ вѣку по Россіи, сдѣлалъ замѣчаніе, что если въ станціонной комнатѣ на стѣнахъ висятъ картинки, изображающія сцены изъ „Кавказскаго Плѣнника“ или русскихъ генераловъ, то лошадей скоро достать можно; но если на картинкахъ представлена жизнь извѣстнаго игрока Жоржаде-Жермани, то путешественнику нечего надѣяться на быстрый отъѣздъ: успѣетъ онъ налюбоваться на закрученный кокъ, бѣлый раскидной жилетъ и чрезвычайно узкіе и короткіе панталоны игрока въ молодости, на его изступленную физіономію, когда онъ, будучи уже старцемъ, убиваетъ, высоко взмахнувъ стуломъ, въ хижинѣ съ крутою крышей, своего сына. Въ комнатѣ, куда вошелъ Рудинъ, висѣли именно эти картины изъ тридцати лѣтъ или „Жизни Игрока“. На крикъ его явился смотритель, заспанный (кстати — видѣлъ ли кто-нибудь смотрителя не заспаннаго?) и, не выждавъ даже вопроса Рудина, вялымъ голосомъ объявилъ, что лошадей нѣтъ.

— Какъ же вы говорите, что лошадей нѣтъ,—промолвилъ Рудинъ: — а даже не знаете, куда я ѣду? Я сюда на обывательскихъ пріѣхалъ.

— У насъ никуда лошадей нѣтъ,—отвѣчалъ смотритель.—А вы куда ѣдете?

— Въ ....скъ.

— Нѣтъ лошадей, повторилъ смотритель и вышелъ вонъ.

Рудинъ съ досадой приблизился къ окну и бросилъ фуражку на столъ. Онъ не много измѣнился, но пожелтѣлъ въ послѣдніе два года; серебряныя нити заблистали кой-

гдѣ въ кудряхъ, и глаза, все еще прекрасные, какъ будто потускнѣли; мелкія морщины, слѣды горькихъ и тревожныхъ чувствъ, легли около губъ, на щекахъ, на вискахъ.

Платье на немъ было изношенное и старое, и бѣлья не виднѣлось нигдѣ. Пора его цвѣтенія видимо прошла: онъ, какъ выражаются садовники, пошелъ въ сѣмя.

Онъ принялся читать надписи по стѣнамъ... извѣстное развлеченіе скучающихъ путешественниковъ... вдругъ дверь заскрипѣла, и вошелъ смотритель.

— Лошадей въ ....скъ нѣтъ, и долго еще не будетъ,— заговорилъ онъ:—а вотъ въ ....овъ есть обратныя.

— Въ ....въ?—промолвилъ Рудинъ.—Да помилуйте! это мнѣ совсѣмъ не по дорогѣ. Я ѣду въ Пензу, а ....овъ лежитъ, кажется, въ направленіи къ Тамбову.

— Что жъ? вы изъ Тамбова можете тогда проѣхать, а не то изъ ....ова какъ-нибудь свернете.

Рудинъ подумалъ.

— Ну, пожалуй,—проговорилъ онъ, наконецъ:—велите закладывать лошадей. Мнѣ все равно; поѣду въ Тамбовъ.

Лошадей скоро подали. Рудинъ вынесъ свой чемоданчикъ, взлѣзъ на телѣгу, сѣлъ, понурился попрежнему. Было что-то безпомощное и грустно-покорное въ его нагнутой фигурѣ... И тройка поплелась неторопливой рысью, отрывисто позвякивая бубенчиками.

ЭПИЛОГЪ.

Прошло еще нѣсколько лѣтъ.

Былъ осенній холодный день. Къ крыльцу главной гостиницы губернскаго города С...а подъѣхала дорожная коляска; изъ нея, слегка потягиваясь и покряхтывая, вылѣзъ господинъ, еще не пожилой, но уже успѣвшій пріобрѣсть ту полноту къ туловищѣ, которую привыкли называть почтенной. Поднявшись по лѣстницѣ во второй этажъ, онъ остановился у входа въ широкій коридоръ и, не видя никого передъ собою, громкимъ голосомъ спросилъ себѣ нумеръ. Дверь гдѣ-то стукнула, изъ-за низкихъ ширмочекъ выскочилъ длинный лакей и пошелъ впередъ *проворной, боковой* походкой, мелькая въ полутьмѣ кори-

дора глянцовитой спиной и подвороченными рукавами. Войдя въ нумеръ, проѣзжій тотчасъ сбросилъ съ себя шинель и шарфъ, сѣлъ на диванъ и, опершись въ колѣни кулаками, сперва поглядѣлъ кругомъ, какъ бы съ просонья, потомъ велѣлъ позвать своего слугу. Лакей сдѣлалъ уклончивое движеніе и исчезъ. Проѣзжій этотъ былъ не кто иной, какъ Лежневъ. Рекрутскій наборъ вызвалъ его изъ деревни въ С....ъ.

Слуга Лежнева, малый молодой, курчавый и краснощекій, въ сѣрой шинели, подпоясанный голубымъ кушачкомъ, и мягкихъ валенкахъ, вошелъ въ комнату.

— Ну вотъ, братъ, мы и доѣхали,—продолжалъ Лежневъ:—а ты все боялся, что шина съ колеса соскочитъ.

— Доѣхали!—возразилъ слуга, силясь улыбнуться черезъ поднятый воротникъ шинели: — а ужъ отчего эта шина не соскочила...

— Никого здѣсь нѣтъ?—раздался голосъ въ коридорѣ.

Лежневъ вздрогнулъ и сталъ прислушиваться.

— Эй! кто тамъ?—повторилъ голосъ.

Лежневъ всталъ, подошелъ къ двери и быстро отворилъ ее.

Передъ нимъ стоялъ человѣкъ высокаго роста, почти совсѣмъ сѣдой и сгорбленный, въ старомъ плисовомъ сюртукѣ съ бронзовыми пуговицами. Лежневъ узналъ его тотчасъ.

— Рудинъ!—воскликнулъ онъ съ волненіемъ.

Рудинъ обернулся. Онъ не могъ разобрать черты Лежнева, стоявшаго къ свѣту спиною, и съ недоумѣніемъ глядѣлъ на него.

— Вы меня не узнаете?—заговорилъ Лежневъ.

— Михайло Михайлычъ!—воскликнулъ Рудинъ, и протянулъ руку, но смутился и отвелъ ее было назадъ...

Лежневъ поспѣшно ухватился за нее своими обѣими.

— Войдите, войдите ко мнѣ!—сказалъ онъ Рудину, и ввелъ его въ нумеръ.

— Какъ вы измѣнились!—произнесъ Лежневъ, помолчавъ и невольно понизивъ голосъ.

— Да, говорятъ!—возразилъ Рудинъ, блуждая по ком-

натѣ взоромъ.—Года... А вотъ вы—ничего. Какъ здоровье Александры... вашей супруги?

— Благодарствуйте,—хорошо. Но какими судьбами вы здѣсь?

— Я? Это долго разсказывать. Собственно, сюда я зашелъ случайно. Я искалъ одного знакомаго. Впрочемъ, я очень радъ...

— Гдѣ вы обѣдаете?

— Я? Не знаю. Гдѣ-нибудь въ трактирѣ. Я долженъ сегодня же выѣхать отсюда.

— Должны?

Рудинъ значительно усмѣхнулся.

— Да-съ, долженъ. Меня отправляютъ къ себѣ въ деревню, на жительство.

— Пообѣдайте со мной.

Рудинъ въ первый разъ взглянулъ прямо въ глаза Лежневу.

— Вы мнѣ предлагаете съ собой обѣдать? проговорилъ онъ.

— Да, Рудинъ, по-старинному, по-товарищески. Хотите? Не ожидалъ я васъ встрѣтить, и Богъ знаетъ, когда мы увидимся опять. Не разстаться же намъ съ вами такъ!

— Извольте, я согласенъ.

Лежневъ пожалъ Рудину руку, кликнулъ слугу, заказалъ обѣдъ и велѣлъ поставить на ледъ бутылку шампанскаго.

Въ теченіе обѣда Лежневъ и Рудинъ, какъ бы сговорившись, все толковали о студенческомъ своемъ времени, припоминали многое и многихъ — мертвыхъ и живыхъ. Сперва Рудинъ говорилъ неохотно, но онъ выпилъ нѣсколько рюмокъ вина, и кровь въ немъ разгорѣлась. Наконецъ, лакей выпесъ послѣднее блюдо. Лежневъ всталъ, заперъ дверь и, вернувшись къ столу, сѣлъ прямо напротивъ Рудина и тихонько оперся подбородкомъ на обѣ руки.

— Ну, теперь,—началъ онъ: — разсказывайте-ка мнѣ все, что съ вами случилось съ тѣхъ поръ, какъ я васъ не видалъ.

Рудинъ посмотрѣлъ на Лежнева.

„Боже мой!“ — подумалъ опять Лежневъ: — „какъ онъ измѣнился, бѣднякъ!“

Черты Рудина измѣнились мало, особенно съ тѣхъ поръ, какъ мы видѣли его на станціи, хотя печать приближающейся старости уже успѣла лечь на нихъ; но выраженіе ихъ стало другое. Иначе глядѣли глаза; во всемъ существѣ его, въ движеніяхъ, то замедленныхъ, то безсвязно порывистыхъ, въ похолодѣвшей, какъ бы разбитой рѣчи, высказывалась усталость окончательная, тайная и тихая скорбь, далеко различная отъ той полупритворной грусти, которою онъ щеголялъ бывало, какъ вообще щеголяетъ ею молодежь, исполненная надеждъ и довѣрчиваго самолюбія.

— Разсказать вамъ все, что̀ со мною случилось?—заговорилъ онъ. — Всего разсказать нельзя и не сто̀итъ... Маялся я много, скитался не однимъ тѣломъ—душой скитался. Въ чемъ и въ комъ я не разочаровывался, Богъ мой! съ кѣмъ не сближался! Да, съ кѣмъ!—повторилъ Рудинъ, замѣтивъ, что Лежневъ съ какимъ-то особеннымъ участіемъ посмотрѣлъ ему въ лицо. — Сколько разъ мои собственныя слова становились мнѣ противными — не говорю уже въ моихъ устахъ, но и въ устахъ людей, раздѣлявшихъ мои мнѣнія! Сколько разъ переходилъ я отъ раздражительности ребенка къ тупой безчувственности лошади, которая уже и хвостомъ не дрыгаетъ, когда ее сѣчетъ кнутъ... Сколько разъ я радовался, надѣялся, враждовалъ и унижался напрасно! Сколько разъ вылеталъ соколомъ—и возвращался ползкомъ, какъ улитка, у которой раздавили раковину!.. Гдѣ не бывалъ я, по какимъ дорогамъ не ходилъ!... А дороги бываютъ грязныя,—прибавилъ Рудинъ, и слегка отвернулся. — Вы знаете... продолжалъ онъ...

— Послушайте,—перебилъ его Лежневъ:—мы когда-то говорили „ты“ другъ другу... Хочешь? возобновимъ старину... Выпьемъ на *ты*!

Рудинъ встрепенулся, приподнялся, а въ глазахъ его *промелькнуло* что-то, чего слово выразить не можетъ.

— Выпьемъ,—сказалъ онъ:—спасибо тебѣ, братъ, выпьемъ!

Лежневъ и Рудинъ выпили по бокалу.

— *Ты* знаешь,—началъ опять, съ удареніемъ на словѣ „ты“ и съ улыбкою, Рудинъ: — во мнѣ сидитъ какой-то червь, который грызетъ меня и гложетъ, и не дастъ мнѣ успокоиться до конца. Онъ наталкиваетъ меня на людей— они сперва подвергаются моему вліянію, а потомъ...

Рудинъ провелъ рукой по воздуху.

— Съ тѣхъ поръ, какъ я разстался съ вами... съ тобою, я переиспыталъ и переизвѣдалъ многое... Начиналъ я жить, принимался за новое разъ двадцать — и вотъ — видишь!

— Выдержки въ тебѣ не было,—проговорилъ, какъ бы про-себя, Лежневъ.

— Какъ ты говоришь, выдержки во мнѣ не было!... Строить я никогда ничего не умѣлъ; да и мудрено, братъ, строить, когда почвы-то подъ ногами нѣту, когда самому приходится собственный свой фундаментъ создавать! Всѣхъ моихъ похожденій, то-есть, собственно говоря, всѣхъ моихъ неудачъ, я тебѣ описывать не буду. Передамъ тебѣ два-три случая... тѣ случаи изъ моей жизни, когда, казалось, успѣхъ уже улыбался мнѣ, или нѣтъ, когда я начиналъ надѣяться на успѣхъ, — что̀ не совсѣмъ одно и то же...

Рудинъ откинулъ назадъ свои сѣдые и уже жидкіе волосы тѣмъ самымъ движеніемъ руки, какимъ нѣкогда отбрасывалъ свои темныя и густыя кудри.

— Ну, слушай,—началъ онъ.—Сошелся я, въ Москвѣ, съ однимъ довольно страннымъ господиномъ. Онъ былъ очень богатъ и владѣлъ обширными помѣстьями; не служилъ. Главная, единственная его страсть была любовь къ наукѣ, къ наукѣ вообще. До сихъ поръ я постигнуть не могу, почему эта страсть въ немъ проявилась! Шла она къ нему, какъ къ коровѣ сѣдло. Самъ онъ съ усиліемъ держался на высотѣ ума, и говорить почти не умѣлъ, только поводилъ выразительно глазами и значительно покачивалъ головой. Я, братъ, не встрѣчалъ бездарнѣе и

бѣдностей его природы... Въ Смоленской губерніи есть такія мѣста — песокъ и больше ничего, да изрѣдка трава, которую ни одно животное ѣсть не станетъ. Ничего ему въ руки не давалось—все такъ и ползло отъ него прочь, подальше; а онъ еще помѣшанъ былъ на томъ, чтобы все легкое дѣлать труднымъ. Если бы это зависѣло отъ его распоряженій, у него бы люди ѣли пятками, право. Работалъ, писалъ и читалъ онъ неутомимо. Онъ ухаживалъ за наукой съ какой-то упрямой настойчивостью, съ терпѣніемъ страшнымъ; самолюбіе въ немъ было огромное, и характеръ онъ имѣлъ желѣзный. Онъ жилъ одинъ и слылъ чудакомъ. Я познакомился съ нимъ... ну, и понравился ему. Я признаюсь, скоро его понялъ; но рвеніе его меня тронуло. Притомъ, онъ владѣлъ такими средствами, столько можно было черезъ него сдѣлать добра, принести пользы существенной... Я поселился у него и уѣхалъ съ нимъ, наконецъ, въ его деревню.—Планы, братъ, у меня были громадные: я мечталъ о разныхъ усовершенствованіяхъ, нововведеніяхъ...

— Какъ у Ласунской, помнишь,—замѣтилъ Лежневъ съ добродушной улыбкой.

— Какое! тамъ я зналъ, въ душѣ, что изъ словъ моихъ ничего не выйдетъ; а тутъ... тутъ совсѣмъ другое поле раскрывалось передо мною... Я навезъ съ собою агрономическихъ книгъ... правда, я до конца не прочелъ ни одной... ну, и приступилъ къ дѣлу. Сначала оно не пошло, какъ я и ожидалъ; а потомъ оно какъ-будто и пошло. Мой новый другъ все помалчивалъ, да посматривалъ, не мѣшалъ мнѣ, т.-е. до извѣстной степени не мѣшалъ мнѣ. Онъ принималъ мои предложенія и исполнялъ ихъ, но съ упорствомъ, туго, съ тайной недовѣрчивостью, и все гнулъ на свое. Онъ чрезвычайно дорожилъ каждой своей мыслью. Взберется на нее съ усиліемъ, какъ Божія коровка на конецъ былинки, и сидитъ-сидитъ на ней, все какъ-будто крылья расправляетъ и полетѣть собирается— и вдругъ свалится, и опять полѣзетъ... Не удивляйся *всѣмъ этимъ* сравненіямъ: они еще тогда накипѣли у *меня на* душѣ. Такъ я вотъ и бился года два. Дѣло подви-

галось плохо, несмотря на всѣ мои хлопоты. Началъ я уставать, пріятель мой надоѣдалъ мнѣ, я сталъ язвить его, онъ давилъ меня, словно перина; педовѣрчивость его перешла въ глухое раздраженіе, непріязненное чувство охватывало насъ обоихъ, мы уже не могли говорить ни о чемъ; онъ исподтишка, но безпрестанно старался доказать мнѣ, что не подчиняется моему вліянію, распоряженія мои либо искажались, либо отмѣнялись вовсе... Я замѣтилъ, наконецъ, что состою у господина помѣщика въ качествѣ приживальщика по части умственныхъ упражненій. Горько мнѣ стало тратить попусту время и силы, горько почувствовать, что я опять и опять обманулся въ своихъ ожиданіяхъ. Я зналъ очень хорошо, что я терялъ, уѣзжая; но я не могъ сладить съ собой, и въ одинъ день, вслѣдствіе тяжелой и возмутительной сцены, которой я былъ свидѣтелемъ и которая показала мнѣ моего пріятеля со стороны уже слишкомъ невыгодной, я разссорился съ нимъ окончательно и уѣхалъ, бросилъ барича-педанта, вылѣпленнаго изъ степной мукй съ примѣсью нѣмецкой патоки...

— То-есть, бросилъ насущный кусокъ хлѣба,—проговорилъ Лежневъ и положилъ обѣ руки на плечи Рудину.

— Да, и очутился опять легокъ и голъ въ пустомъ пространствѣ. Лети, молъ, куда хочешь... Эхъ, выпьемъ!

— За твое здоровье,—промолвилъ Лежневъ, приподнялся и поцѣловалъ Рудина въ лобъ.—За твое здоровье и въ память Покорскаго... Онъ также умѣлъ остаться нищимъ.

— Вотъ тебѣ и нумеръ первый моихъ похожденій,—началъ, спустя немного, Рудинъ.—Продолжать, что ли?

— Продолжай, пожалуйста.

— Эхъ! да говорить-то не хочется. Усталъ я говорить, братъ... Ну, однако, такъ и быть. Потолкавшись еще по разнымъ мѣстамъ... кстати, я бы могъ разсказать тебѣ, какъ я попалъ-было въ секретари къ благонамѣренному сановному лицу, и что изъ этого вышло; но это завело бы насъ слишкомъ далеко... Потолкавшись по разнымъ мѣ-

стамъ, я рѣшился сдѣлаться, наконецъ... не смѣйся, по-

жалуйста... дѣловымъ человѣкомъ, практическимъ. Случай такой вышелъ: я сошелся съ однимъ... ты, можетъ-быть, слыхалъ о немъ... съ однимъ Курбѣевымъ... нѣтъ?

— Нѣтъ, не слыхалъ. Но, помилуй, Рудинъ, какъ же ты, съ своимъ умомъ, не догадался, что твое дѣло не въ томъ состоитъ, чтобы быть... извини за каламбуръ... дѣловымъ человѣкомъ?

— Знаю, братъ, что не въ томъ; а впрочемъ, въ чемъ оно состоитъ-то?.. Но если-бъ ты видѣлъ Курбѣева! Ты, пожалуйста, не воображай его себѣ какимъ-нибудь пустымъ болтуномъ. Говорятъ, я былъ краснорѣчивъ когда-то. Я передъ нимъ просто ничего не значу. Это былъ человѣкъ удивительно ученый, знающій, голова, творческая, братъ, голова въ дѣлѣ промышленности и предпріятій торговыхъ. Проекты самые смѣлые, самые неожиданные, такъ и кипѣли у него на умѣ. Мы соединились съ нимъ и рѣшились употребить свои силы на общее полезное дѣло...

— На какое, позволь узнать?

Рудинъ опустилъ глаза.

— Ты засмѣешься.

— Почему же? Нѣтъ не засмѣюсь.

— Мы рѣшились одну рѣку въ К....ой губерніи превратить въ судоходную,—проговорилъ Рудинъ съ неловкой улыбкой.

— Вотъ какъ! Стало-быть, этотъ Курбѣевъ капиталистъ?

— Онъ былъ бѣднѣе меня,—возразилъ Рудинъ, и тихо поникнулъ своей сѣдой головой.

Лежневъ захохоталъ, но вдругъ остановился и взялъ за руку Рудина.

— Извини меня, братъ, пожалуйста,—заговорилъ онъ:— но я этого никакъ не ожидалъ. Ну, что-жъ, это предпріятіе ваше такъ и осталось на бумагѣ?

— Не совсѣмъ. Начало исполненія было. Мы наняли работниковъ... ну, и приступили. Но тутъ встрѣтились различныя препятствія. Во-первыхъ, владѣльцы мельницъ *никакъ* не хотѣли попять насъ, да сверхъ того мы съ *водой* безъ машины справиться не могли, а на машину не

хватило денегъ. Шесть мѣсяцевъ прожили мы въ землянкахъ. Курбѣевъ однимъ хлѣбомъ питался, я тоже не доѣдалъ. Впрочемъ, я объ этомъ не сожалѣю: природа тамъ удивительная. Мы бились, бились, уговаривали купцовъ, письма писали, циркуляры. Кончилось тѣмъ, что я послѣдній грошъ свой добилъ на этомъ проектѣ.

— Ну!—замѣтилъ Лежневъ:—я думаю, добить твой послѣдній грошъ было не мудрено.

— Не мудрено, точно.

Рудинъ глянулъ въ окно.

— А проектъ, ей-Богу, былъ не дуренъ и могъ бы принесть огромныя выгоды.

— Куда же Курбѣевъ этотъ дѣлся?—спросилъ Лежневъ.

— Онъ? онъ въ Сибири теперь, золотопромышленникомъ сдѣлался. И ты увидишь, онъ себѣ составитъ состояніе; онъ не пропадетъ.

— Можетъ-быть; но ты, вотъ, ужъ навѣрное состоянія себѣ не составишь.

— Я? что дѣлать! Впрочемъ, я знаю: я всегда въ глазахъ твоихъ былъ пустымъ человѣкомъ.

— Ты? Полно, братъ!.. Было время, точно, когда мнѣ въ глаза бросались однѣ твои темныя стороны; но теперь, повѣрь мнѣ, я научился цѣнить тебя. Ты себѣ состоянія не составишь... Да я люблю тебя за это... помилуй!

Рудинъ слабо усмѣхнулся.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Я уважаю тебя за это!—повторилъ Лежневъ:—понимаешь ли ты меня?

Оба помолчали.

— Что-жъ, переходить къ нумеру третьему?—спросилъ Рудинъ.

— Сдѣлай одолженіе.

— Изволь. Нумеръ третій и послѣдній. Съ этимъ нумеромъ я только теперь раздѣлался. Но не наскучилъ ли я тебѣ?

— Говори, говори.

— Вотъ, видишь ли,—началъ Рудинъ:—я однажды подумалъ на досугѣ... досуга-то у меня всегда много было... я подумалъ: свѣдѣній у меня довольно, желанія добра...

послушай, вѣдь и ты не станешь отрицать во мнѣ желанія добра?

— Еще бы!

— На другихъ всѣхъ пунктахъ я болѣе или менѣе срѣзался... отчего бы мнѣ не сдѣлаться педагогомъ, или, говоря попросту, учителемъ... чѣмъ такъ жить даромъ...

Рудинъ остановился и вздохнулъ.

— Чѣмъ жить даромъ, не лучше ли постараться передать другимъ, что я знаю: можетъ-быть, они извлекутъ изъ моихъ познаній хотя нѣкоторую пользу. Способности мои не дюжинныя же наконецъ, языкомъ я владѣю... Вотъ, я и рѣшился посвятить себя этому новому дѣлу. Хлопотно мнѣ было достать мѣсто; частныхъ уроковъ давать я не хотѣлъ; въ низшихъ училищахъ мнѣ дѣлать было нечего. Наконецъ, мнѣ удалось достать мѣсто преподавателя въ здѣшней гимназіи.

— Преподавателя—чего?—спросилъ Лежневъ.

— Преподавателя русской словесности. Скажу тебѣ, ни за одно дѣло не принимался я съ такимъ жаромъ, какъ за это. Мысль дѣйствовать на юношество меня воодушевила. Три недѣли просидѣлъ я надъ составленіемъ вступительной лекціи.

— Ея нѣтъ у тебя?—перебилъ Лежневъ.

— Нѣтъ: затерялась куда-то. Она вышла недурна и понравилась. Какъ теперь вижу лица моихъ слушателей,—лица добрыя, молодыя, съ выраженіемъ чистосердечнаго вниманія, участія, даже изумленія. Взошелъ я на каѳедру, прочелъ лекцію въ лихорадкѣ; я думалъ, ея хватитъ на часъ слишкомъ, а я ее въ двадцать минутъ кончилъ. Инспекторъ тутъ же сидѣлъ—сухой старикъ, въ серебряныхъ очкахъ и короткомъ парикѣ,—онъ изрѣдка наклонялъ голову въ мою сторону. Когда я кончилъ и соскочилъ съ креселъ, онъ мнѣ сказалъ: „Хорошо-съ, только высоко немножко, темповато, да и о самомъ предметѣ мало сказано“. А гимназисты съ уваженіемъ проводили меня взорами... право. Вѣдь вотъ чѣмъ драгоцѣнна молодежь! Вторую лекцію я принесъ написанную, и третью тоже... потомъ я сталъ импровизировать.

— И имѣлъ успѣхъ?—спросилъ Лежневъ.

— Имѣлъ большой успѣхъ. Я передавалъ слушателямъ все, что у меня было въ душѣ. Между ними было три-четыре мальчика, дѣйствительно замѣчательныхъ; остальные меня понимали плохо. Впрочемъ, сознаться надо, что и тѣ, которые меня понимали, иногда смущали меня своими вопросами. Но я не унывалъ. Любить-то меня всѣ любили; я на репетиціяхъ ставилъ полные баллы всѣмъ. Но тутъ началась противъ меня интрига... или нѣтъ! никакой интриги не было; а я, просто, попалъ не въ свою сферу. Я стѣснялъ другихъ, и меня тѣснили. Я читалъ гимназистамъ, какъ и студентамъ не всегда читаютъ; слушатели мои выносили мало изъ моихъ лекцій... факты я самъ зналъ плохо. Притомъ, я не удовлетворялся кругомъ дѣйствій, который былъ мнѣ назначенъ... ужъ это, ты знаешь, моя слабость. Я хотѣлъ коренныхъ преобразованій, а, клянусь тебѣ, эти преобразованія были и дѣльны, и легки. Я надѣялся провести ихъ черезъ директора, добраго и честнаго человѣка, на котораго я сначала имѣлъ вліяніе. Его жена мнѣ помогала. Я, братъ, въ жизни своей не много встрѣчалъ такихъ женщинъ. Ей уже было лѣтъ подъ сорокъ; но она вѣрила въ добро, любила все прекрасное, какъ пятнадцати-лѣтняя дѣвушка, и не боялась высказывать свои убѣжденія передъ кѣмъ бы то ни было. Я никогда не забуду ея благородной восторженности и чистоты. По ея совѣту, я написалъ-было планъ... Но тутъ подъ меня подкопались, очернили меня передъ ней. Особенно повредилъ мнѣ учитель математики, маленькій человѣкъ, острый, желчный и ни во что не вѣрившій, въ родѣ Пигасова, только гораздо дѣльнѣе его... Кстати, что Пигасовъ, живъ?

— Живъ и, вообрази, женился на мѣщанкѣ, которая, говорятъ, его бьетъ.

— По дѣломъ! Ну, а Наталья Алексѣевна здорова?

— Да.

— Счастлива?

— Да.

Рудинъ помолчалъ.

— О чемъ, бишь, я говорилъ... да! объ учителѣ математики. Онъ меня возненавидѣлъ; сравнивалъ мои лекціи съ фейерверкомъ, подхватывалъ на-лету каждое не совсѣмъ ясное выраженіе, разъ даже сбилъ меня на какомъ-то памятникѣ XVI-го вѣка... а главное, онъ заподозрилъ мои намѣренія; послѣдній мой мыльный пузырь наткнулся на него, какъ на булавку, и лопнулъ. Инспекторъ, съ которымъ я сразу не поладилъ, возстановилъ противъ меня директора; вышла сцена; я не хотѣлъ уступить, погорячился, дѣло дошло до свѣдѣнія начальства; я принужденъ былъ выйти въ отставку. Я этимъ не ограничился, я хотѣлъ показать, что со мной нельзя поступить такъ... но со мной можно было поступить, какъ угодно... Я теперь долженъ выѣхать отсюда.

Наступило молчаніе. Оба пріятеля сидѣли, понуривъ головы.

Первый заговорилъ Рудинъ.

— Да, братъ,—началъ онъ:—я теперь могу сказать съ Кольцовымъ: „До чего ты, моя молодость, довела меня, домыкала, что ужъ шагу ступить некуда“... И между тѣмъ, неужели я ни на что не былъ годенъ, неужели для меня такъ-таки нѣтъ дѣла на землѣ? Часто я ставилъ себѣ этотъ вопросъ, и какъ я ни старался себя унизить въ собственныхъ глазахъ, не могъ же я не чувствовать въ себѣ присутствія силъ, не всѣмъ людямъ данныхъ! Отчего же эти силы остаются безплодными? И вотъ еще что: помнишь, когда мы съ тобой были за границей, я былъ тогда самонадѣянъ и ложенъ... Точно, я тогда ясно не сознавалъ, чего я хотѣлъ, я упивался словами и вѣрилъ въ призраки; но теперь, клянусь тебѣ, я могу громко, передо всѣми высказать все, чего я желаю. Мнѣ рѣшительно скрывать нечего: я вполнѣ, и въ самой сущности слова, человѣкъ благонамѣренный; я смиряюсь, хочу примѣниться къ обстоятельствамъ, хочу малаго, хочу достигнуть цѣли близкой, принести хотя ничтожную пользу. Нѣтъ! не удается! Что это значитъ? Что мѣшаетъ мнѣ *жить* и дѣйствовать, какъ другіе?.. Я только объ этомъ

теперь и мечтаю. Но едва успѣю я войти въ опредѣленное положеніе, остановиться на извѣстной точкѣ, судьба такъ и сопретъ меня съ нея долой... Я сталъ бояться ея — моей судьбы... Отчего все это? Разрѣши мнѣ эту загадку!

— Загадку!—повторилъ Лежневъ.—Да, это правда. Ты и для меня былъ всегда загадкой. Даже въ молодости, когда, бывало, послѣ какой-нибудь мелочной выходки, ты вдругъ заговоришь такъ, что сердце дрогнетъ, а тамъ— опять начнешь... ну, ты знаешь, что я хочу сказать... даже тогда я тебя не понималъ: оттого-то я разлюбилъ тебя... Силъ въ тебѣ такъ много, стремленіе къ идеалу такое неутомимое...

— Слова, все слова! дѣлъ не было!—прервалъ Рудинъ.

— Дѣлъ не было! Какія же дѣла...

— Какія дѣла? Слѣпую бабку и все ея семейство своими трудами прокормить, какъ помнишь, Пряженцовъ... Вотъ тебѣ и дѣло.

— Да; но доброе слово—тоже дѣло.

Рудинъ посмотрѣлъ молча на Лежнева и тихо покачалъ головой.

Лежневъ хотѣлъ-было что-то сказать и провелъ рукой по лицу.

— Итакъ, ты ѣдешь въ деревню? спросилъ онъ наконецъ.

— Въ деревню.

— Да развѣ у тебя осталась деревня?

— Тамъ что-то такое осталось. Двѣ души съ половиною. Уголъ есть, гдѣ умереть. Ты, можетъ-быть, думаешь въ эту минуту: „И тутъ не обошелся безъ фразы!“ Фраза, точно, меня сгубила; она заѣла меня, я до конца не могъ отъ нея отдѣлаться. Но то, что я сказалъ, не фраза. Не фраза, братъ, эти бѣлые волосы, эти морщины; эти прорванные локти—не фраза. Ты всегда былъ строгъ ко мнѣ, и ты былъ справедливъ; но не до строгости теперь, когда уже все кончено, и масла въ лампадѣ нѣтъ, и сама лампада разбита, и вотъ-вотъ, сейчасъ докурится фитиль... Смерть, братъ, должна примирить наконецъ...

Лежневъ вскочилъ.

— Рудинъ!—воскликнулъ онъ:—зачѣмъ ты мнѣ это говоришь? Чѣмъ я заслужилъ это отъ тебя? Что я за судья такой, и что̀ бы я былъ за человѣкъ, если бъ, при видѣ твоихъ впалыхъ щекъ и морщинъ, слово: фраза — могло прійти въ голову? Ты хочешь знать, что̀ я думаю о тебѣ? Изволь! я думаю: вотъ человѣкъ... съ его способностями, чего бы не могъ онъ достигнуть, какими земными выгодами не обладалъ бы теперь, если бъ захотѣлъ!.. а я его встрѣчаю голоднымъ, безъ пристанища...

— Я возбуждаю твое сожалѣніе, промолвилъ глухо Рудинъ.

— Нѣтъ, ты ошибаешься. Ты уваженіе мнѣ внушаешь— вотъ что̀. Кто тебѣ мѣшалъ проводить годы за годами у этого помѣщика, твоего пріятеля, который, я вполнѣ увѣренъ, если бъ ты только захотѣлъ подъ него подлаживаться, упрочилъ бы твое состояніе? Отчего ты не могъ ужиться въ гимназіи, отчего ты — странный человѣкъ!— съ какими бы помыслами ни начиналъ дѣло, всякій разъ непремѣнно кончалъ его тѣмъ, что жертвовалъ своими личными выгодами, не пускалъ корней въ недобрую почву, какъ она жирна ни была?

— Я родился перекати-полемъ,—продолжалъ Рудинъ съ унылой усмѣшкой.—Я не могу остановиться.

— Это правда; но ты не можешь остановиться не оттого, что въ тебѣ червь живетъ, какъ ты сказалъ мнѣ сначала... Не червь въ тебѣ живетъ, не духъ празднаго безпокойства,—огонь любви къ истинѣ въ тебѣ горитъ и видно, несмотря на всѣ твои дрязги, онъ горитъ въ тебѣ сильнѣе, чѣмъ во многихъ, которые даже не считаютъ себя эгоистами, а тебя, пожалуй, называютъ интриганомъ. Да я первый, на твоемъ мѣстѣ, давно бы заставилъ замолчать въ себѣ этого червя и примирился бы со всѣмъ; а въ тебѣ даже желчи не прибавилось, и ты, я увѣренъ, сегодня же, сейчасъ, готовъ опять приняться за новую работу, какъ юноша.

— Нѣтъ, братъ, я теперь усталъ,—проговорилъ Рудинъ.— *Съ меня* довольно.

— Усталъ! Другой бы умеръ давно. Ты говоришь, смерть *примиряетъ*; а жизнь, ты думаешь, не примиряетъ? Кто

пожилъ, да не сдѣлался снисходительнымъ къ другимъ, тотъ самъ не заслуживаетъ снисхожденія. А кто можетъ сказать, что онъ въ снисхожденіи не нуждается? Ты сдѣлалъ, что могъ, боролся, пока могъ... Чего же больше? Наши дороги разошлись...

— Ты, братъ, совсѣмъ другой человѣкъ, нежели я,—перебилъ Рудинъ со вздохомъ.

— Наши дороги разошлись,—продолжалъ Лежневъ:—можетъ-быть, именно оттого, что, благодаря моему состоянію, холодной крови, да другимъ счастливымъ обстоятельствамъ, ничто мнѣ не мѣшало сидѣть сиднемъ, да оставаться зрителемъ, сложивъ руки; а ты долженъ былъ выйти на полѣ, засучивъ рукава, трудиться, работать. Наши дороги разошлись... но посмотри, какъ мы близки другъ другу. Вѣдь мы говоримъ съ тобой почти однимъ языкомъ, съ полунамека понимаемъ другъ друга; на однихъ чувствахъ выросли. Вѣдь ужъ мало насъ остается, братъ; вѣдь мы съ тобой послѣдніе могикане! Мы могли расходиться, даже враждовать въ старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди; но теперь, когда толпа рѣдѣетъ вокругъ насъ, когда новыя поколѣнія идутъ мимо насъ къ не нашимъ цѣлямъ, намъ надобно крѣпко держаться другъ за друга. Чокнемся, братъ, и давай-ка, по-старинному: Gaudeamus igitur!

Пріятели чокнулись стаканами и пропѣли растроганными и фальшивыми, прямо русскими голосами старинную студенческую пѣсню.

— Вотъ, ты теперь въ деревню ѣдешь,—заговорилъ опять Лежневъ.—Не думаю, чтобъ ты долго въ ней остался, и не могу себѣ представить, чѣмъ, гдѣ и какъ ты кончишь... Но помни: что бы съ тобою ни случилось, у тебя всегда есть мѣсто, есть гнѣздо, куда ты можешь укрыться. Это мой домъ... слышишь, старина? У мысли тоже есть свои инвалиды: надобно, чтобъ и у нихъ былъ пріютъ.

Рудинъ всталъ.

— Спасибо тебѣ, братъ,—продолжалъ онъ.—Спасибо! Не забуду я тебѣ этого. Да только пріюта я не стою. Испортилъ я свою жизнь, и не служилъ мысли, какъ слѣдуетъ.

— Молчи!—продолжалъ Лежневъ. — Каждый остается тѣмъ, чѣмъ сдѣлала его природа, и больше требовать отъ него нельзя! Ты назвалъ себя Вѣчнымъ Жидомъ... А почему ты знаешь, можетъ-быть, тебѣ и слѣдуетъ такъ вѣчно странствовать, можетъ-быть, ты исполняешь этимъ высшее, для тебя самого неизвѣстное назначеніе: народная мудрость гласитъ не даромъ, что мы всѣ подъ-Богомъ ходимъ.—Ты ѣдешь?—продолжалъ Лежневъ, видя, что Рудинъ брался за шапку.—Ты не останешься ночевать?

— Ѣду! прощай. Спасибо... А кончу я скверно.

— Это знаетъ Богъ... Ты рѣшительно ѣдешь?

— Ѣду. Прощай. Не поминай меня лихомъ.

— Ну, не поминай же лихомъ и меня... и не забудь, что я сказалъ тебѣ. Прощай...

Пріятели обнялись. Рудинъ быстро вышелъ.

Лежневъ долго ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, остановился передъ окномъ, подумалъ, промолвилъ вполголоса: „бѣднякъ!“ и, сѣвъ за столъ, началъ писать письмо къ своей женѣ.

А на дворѣ поднялся вѣтеръ и завылъ зловѣщимъ завываньемъ, тяжело и злобно ударяясь въ звенящія стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто въ такія ночи сидитъ подъ кровомъ дома, у кого есть теплый уголокъ... И да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ!

Въ знойный полдень 26 іюля 1848 года, въ Парижѣ, когда уже возстаніе „національныхъ мастерскихъ“ было почти подавлено, въ одномъ изъ тѣсныхъ переулковъ предмѣстья св. Антонія, баталіонъ линейнаго войска бралъ баррикаду. Нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ уже разбили ее; ея защитники, оставшіеся въ живыхъ, ее покидали и только думали о собственномъ спасеніи, какъ вдругъ на самой ея вершинѣ, на продавленномъ кузовѣ поваленнаго омнибуса, появился высокій человѣкъ въ *старомъ* сюртукѣ, подпоясанномъ краснымъ шарфомъ, и *соломенной* шляпѣ на сѣдыхъ, растрепанныхъ волосахъ. *Въ одной* рукѣ онъ держалъ красное знамя, въ другой—

кривую и тупую саблю, и кричалъ что-то напряженнымъ, тонкимъ голосомъ, карабкаясь кверху и помахивая и знаменемъ, и саблей. — Венсенскій стрѣлокъ прицѣлился въ него—выстрѣлилъ... Высокій человѣкъ выронилъ знамя— и, какъ мѣшокъ, повалился лицомъ внизъ, точно въ ноги кому-то поклонился... Пуля прошла ему сквозь самое сердце.

— Tiens!—сказалъ одинъ изъ убѣгавшихъ инсургентовъ другому:—on vient de tuer le Polonais.

— Bigre!—отвѣтилъ тотъ, и оба бросились въ подвалъ дома, у котораго всѣ ставни были закрыты и стѣны пестрѣли слѣдами пуль и ядеръ.

Этотъ „Polonais“ былъ—Дмитрій Рудинъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ЧЕТВЕРТАГО ТОМА:

стр

Новь. Романъ въ XXXVIII главахъ. 3

Рудинъ. Романъ въ XII главахъ, съ эпилогомъ. 299

~~14-DAY USE~~
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED
LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewals only: Tel. No. 642-3405
Renewals may be made 4 days prior to date due.
Renewed books are subject to immediate recall.

Due end of FALL Quarter OCT 25 '72
subject to recall after —

REC'D LD [illegible] PM 5 0

~~REC. CIR.~~ APR 10 '78

AUG 21 1980

REC. CIR. AUG 25 '80

MAR 8 1981

REC. CIR. APR 4 '81

NOV 29 1984

RECEIVED BY AUTO. DISC.
NOV 5 1984 DEC 03 1985
CIRCULATION DEPT.

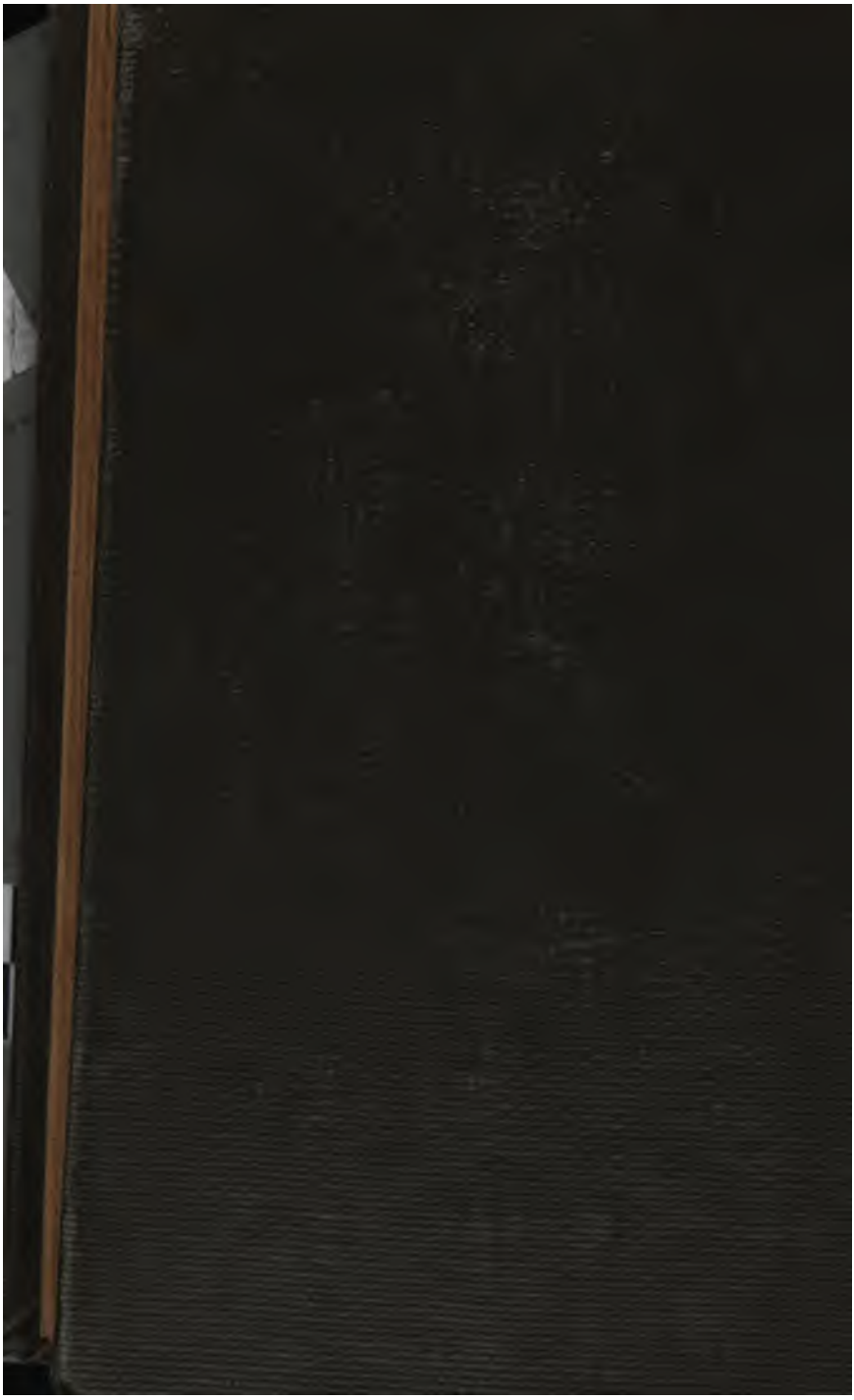
LD21A-40m-8,'72
(Q1173s10)476-A-32

General Library
University of California
Berkeley

GENERAL LIBRARY - U.C.

B000707326

469842

8364
1898
v. 3-4

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRA